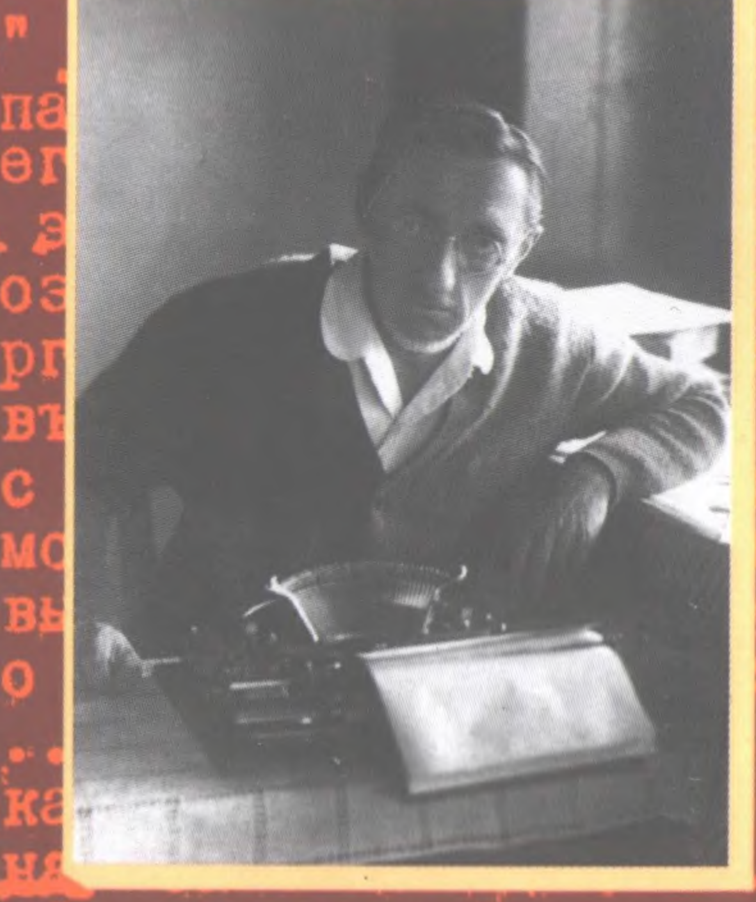
И.С. Шмелев



Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений

Том 3 (дополнительный)

Часть 2

Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив литературы и искусства

Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев
и
О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

В 2 томах



Москва
РОССПЭН
2006

Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив литературы и искусства

И. С. Шмелев

Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений

Том 3 (дополнительный)

Часть 2

Москва
РОССПЭН
2006

ББК 84(2Рос-Рус) 6
Ш 72

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 05-04-16190

Составление
О. В. Лексиной, Л. В. Хачатурян

Текстологическая подготовка документов
А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, Л. В. Хачатурян

Примечания
И. М. Богоявленской, А. А. Голубковой,
О. В. Лексиной, Л. В. Хачатурян

Ш 72 **И. С. Шмелев. Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений.** Т. 3 (дополнительный). Ч. 2 / Предисловие, подготовка текста и комментарий: А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 1096 с., ил.

Настоящее издание завершает публикацию переписки И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной. В книгу включены письма 1944—1950 гг., не вошедшие в двухтомник («Роман в письмах») и редакции произведений, над которыми И. С. Шмелев работал в эти годы.

ISBN 5-8243-0424-6
ISBN 5-8243-071526 (Т. 3, ч. 2)

«Ты — дополнение меня...»
В поисках героини «Путей небесных»

В июне 1936 г., после смерти жены, И. С. Шмелев прекращает работу над второй книгой «Путей небесных». В качестве незавершенного произведения роман неоднократно упоминается в переписке Шмелева с Ольгой Бредиус-Субботиной и И. А. Ильиным, однако даже продолжение работы над ним ставится писателем под сомнение.

В октябре 1941 г. происходит событие, в корне изменившее отношение автора. Писатель находит новый прототип героини, и «Пути» перестают быть для него произведением, завершение которого отложено на неопределенное время. Из письма к Ольге Бредиус-Субботиной: «...знай, что если “Пути Небесные” будут написаны, это только через тебя — и пусть все мои читатели и — особенно — читательницы знают, что должны ТЕБЯ благодарить. <...> История Литературы Русской — отметит э т о» (13.11.1941).

В августе 1940 г. переписка с И. А. Ильиным прерывается. С этого времени (если не считать переданных с оказией эпизодических открыток) переписка с Ольгой Бредиус-Субботиной становится основным источником, по которому мы можем проследить ход работы над второй частью романа.

Октябрь—ноябрь 1941 г. — время наибольшей идеализации Шмелевым своей корреспондентки, время, когда он ищет и находит в Ольге Субботиной «неземные» черты. «Дива — ты — от Храма, от Святых недр. Моя Дари — тоже, от Церкви, но не вся. <...> Быть может, для тебя ее искал, писал... <...> Дари сложна. Но ты — сложней: тебя века лепили. <...> В тебе течет лучшая из кровей — земно-небесная, ты — как чудотворная Икона, “обмоленная”...» (22.10.1941).

С этого времени роман начинает занимать воображение писателя, и «сквозь магический кристалл» постепенно проступает его фабула. Событийная канва «Путей» изложена в письмах к О. А. Бредиус-Субботиной от 25 октября и 3 ноября 1941 г. — общий план романа и, более отчетливо, почти детально — первая глава (приезд главных героев в Мценск).

Что же меняется в романе по сравнению с заметками 1939—1940 гг.?

Во-первых, определяется трехчастная композиция. За первой частью романа (предварительный очерк характеров и взаимоотношений героев) следуют вторая (кризис, измена Дари, рождение и смерть ее ребенка) и третья (покаяние и мученическая смерть главной героини). «Сказать в письмах о “Путях” — романе — невозможно: нельзя. <...> Кратко: Должно дать любовь матери — тончайшую и — животную — к ребенку, — и — ВОЙ Дари. Это ряд сцен, меня страшащих — одолею ли? Два—три посещения Оптиной. <...> Тайна — чей ребенок — неизвестно ни ей, ни В. А. ... но читателю, пожалуй, будет ясно. Тут очень трудно дать “намеки”. Будто нет греха... для Дари» (25.10.1941).

Во-вторых, именно в замысле осени 1941 г. Шмелев наиболее близок к философским построениям Владимира Соловьева. Он заимствует две основополагающие идеи философа — Вечно-женственного как искупляющей и направляющей силы (напутствие старца Амвросия Дариньке «везти возок»), и диалектическое понимание христианства (восходящее еще к Гегелю), согласно которому падение (искушение) является необходимым этапом становления человеческого и Мирового духа. Поэтому центральным событием второй части романа становится измена Дари, понимаемая как грехопадение, — малиновая поляна в предгрозовой июльский день. «“Пути” не могут быть оскопленными. К концу только повеет бесплотностью. Кульминационный пункт — зачатие (поляна, малина спеет. О, какой бунт красного, запахов... — пожар крови!). Дари в этот один момент вся истает, отдаст все, что было в ней земного. Как бы — за этим — наступит ее “Преображение”» (там же).

Две наполненные событиями части вместо предполагаемой одной — задача почти непосильная. В 1941 г. И. С. Шмелеву 68 лет, он тяжело болен. Нет надежды увидеться с Ольгой Субботиной. И в ноябре 1941 г. он делает ей странное, на первый взгляд, предложение — дописать роман вместо него. Странное, если не учитывать развития их взаимоотношений. Шмелев высоко оценивал литературные наброски О. А. Бредиус-Субботиной, цитировал в своих произведениях фрагменты ее писем. В ноябре 1941 г. она становится единственной ученицей писателя. Отныне и до последних лет их переписки Шмелев будет разбирать и править ее произведения (очерк «Повесть жизни», «Мой первый пост», «Яйюшка», «Дома», «Заветный образ» и др.), настаивая на серьезной литературной работе. «Возможно, что “Пути небесные” так и не завершатся. На случай этот, я тебе — отдельно — набросаю <...> ход

“явлений” — для второй и третьей частей. Ты их, м. б., сама закончишь. Ты — в силе. <...> Ты — естественное дополнение меня» (2.11.1941). К счастью, «замены» автора романа не произошло: пожалуй, единственное в своем роде предложение осталось намеренно незамеченным корреспонденткой И. С. Шмелева.

В марте 1942 г. И. С. Шмелев упоминает о двух текстовых фрагментах романа, до нас не дошедших. Однако систематической работы за этим не последовало. Шмелев пишет о невозможности «с головой уйти в работу», причем препятствуют ему не столько бытовые условия оккупированного Парижа, сколько собственные незавершенные произведения. К августу 1942 г. он устанавливает строгую последовательность работы над ними: сначала — «Лето Господне», и только затем — «Пути небесные». «Куликово поле» будет ждать своей очереди еще очень долго — до 1947 г.

В феврале 1944 г. работа над текстом «Лета Господня» была завершена (впереди — правка). Здесь имеет смысл отметить довольно любопытный аспект, который мог бы стать темой самостоятельного исследования. С 1944 г. и, фактически, по 1948 г. И. С. Шмелев одновременно работает над двумя романами. В обоих произведениях находит общие стилистические недочеты. Оба произведения («Лето Господне» и «Пути небесные») автор отправляет на критический отзыв И. А. Ильину. Замечания, сделанные Ильиным относительно «Лета Господня», отражены в правке «Путей небесных». Изменения стилистики «Путей» — в тексте «Лета Господня».

С марта 1944 г. И. С. Шмелев начинает работу над текстом «Путей небесных», одновременно корректируя планы романа. В процессе работы меняется принятое им в ноябре 1941 г. соотношение частей романа. Первые главы («мирное житие» в Уютове) постепенно разрастаются в объеме, замещая найденную ранее трагическую развязку. Появление Вагаева, рождение и смерть ребенка вытесняются в третью часть, за которой намечается четвертая — монастыри.

С 7 апреля по 15 августа 1944 г. И. С. Шмелев высылает О. А. Бредиус-Субботиной 15 глав — 193 страницы текста. Машинописный текст этих страниц — первая из дошедших до нас редакций второй части романа. Затем переписка с О. А. Бредиус-Субботиной была прервана: Голландия перестала быть частью германской империи.

В первом из писем 1945 г. Шмелев перечисляет новые главы и сообщает, что полный текст второй части составил 294 страницы. Он отправляет недостающий фрагмент.

Прочитав рукопись, Ольга Бредиус-Субботина возвращает ее назад, не сделав копии. К сожалению, в «голландском» архиве И. С. Шмелева недостающая часть рукописи не сохранилась.

12 февраля 1945 г. возобновляется переписка и с И. А. Ильиным. В почтовой открытке на французском языке Шмелев сообщает о том, что завершил вторую часть романа. С октября писатель начинает правку «Путей», и объем произведения несколько увеличивается — с 294 до 308 страниц.

Вероятно, редакция октября 1945 — февраля 1946 г. — наиболее развернутая. В эту редакцию вставлен фрагмент о петушином крике и толковании Дари, впоследствии вызвавший резкую критику И. А. Ильина (гл. 27 окончательной редакции). Рукопись была отправлена на отзыв философу, и 15 марта 1946 г. Ильин ответил подробным письмом.

Упрекая писателя в «агиографичности», И. А. Ильин повторил определение Шмелева «православный роман», однако в несколько ином контексте — «сознательно православный роман», придав всему высказыванию негативную окраску. «Сказать о человеке — “святой” — значит вооружить читателя <...> к критике, к придирчивому разбору поступков, слов, ситуаций и т. д. Может быть, лучше не произносить этой квалификации, даже устами других героев романа?..»[i]

Отзыв И. А. Ильина был крайне болезнен для И. С. Шмелева. Критик коснулся не отдельных стилистических приемов, которые писатель мог, по своему усмотрению, изменить или сохранить, а самого построения романа, при котором автор использовал главного героя для выражения собственной позиции. Именно на это указал И. С. Шмелев в ответе: «Это — вмешательство — персонажа в рассказ <...> автора... — вывихнулось как-то, само, с первой еще книги. Затруднило, но и... освободило меня от новых пут и капканов... <...> Вы метко определяете: “пристальность рефлектора”, которым свечу читателю. <...> Я в этом романе не пугаюсь, почему-то, подписывать “се лев, а не собака!”»[ii].

Предложенная Ильиным правка требовала от Шмелева, ни много ни мало, переписать весь роман, создав на его основе совсем иное произведение. Согласиться на это Шмелев не мог, даже при всем пиетете к Ильину. Он просто... отложил рукопись. И только в декабре 1946 г. принял решение. По собственному выражению, И. С. Шмелев «подсушивает»

---

[i] Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов. М., 2000. Т. 2. С. 387.

[ii] Там же. С. 391—392.

текст, убирая эмоции персонажей и утяжеляющие роман подробности. «Высушил — так и знал, что высушу! — “слезы умиления” (и не только, а много и четких, но загромождающих мелочей)...»[i] К февралю 1947 г. И. С. Шмелев завершает правку, сократив вторую часть почти на 100 страниц. Исчезают не только подробности: автор «снимает» упоминание о Тургеневе, молитву-разговор Дари со свт. Филиппом. Так возникает одна из последних редакций романа, наиболее близкая к опубликованной.

К сожалению, И. С. Шмелев не хранил рукописи своих произведений. Дошедшие до нас тексты сохранены другими людьми — Д. В. Замотиной, О. А. Бредиус-Субботиной, Ю. А. Кутыриной. Отсутствие рукописных вариантов крайне затрудняет создание истории произведений Шмелева. Однако архивы еще не произнесли «окончательный приговор», в Российском Фонде Культуры продолжается работа с материалами И. С. Шмелева. Надеемся, что и эти источники скоро станут доступными исследователям.

Л. В. Хачатурян

---

[i] Ильин И. А. Указ. соч. С. 521.

Письма



310

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1/14.I.1944

Родная моя Олюночка, с Новолетием! Прошлое письмо (от 11.I)[1], помню, было очень унылое... Но что я могу с этим поделать?! Такая душевная придавленность, такая «эсхатологичность», — и не скажу, что это — нелогичность! Очевидно, пережитое в то утро, — 3-го сент., все же отозвалось. Теперь эти рёвы сирен для меня — как бы рёвы грозящие, повергающие в оцепенение. Доводы рассудка, усилие воли — все это так, я эти клапаны никак не закрываю... но — есть более властное что-то в человеке, его ненащупываемая подоплёка... Это — как в снах жутких: все парализовано, и только эта «подоплека» живет вовсю. Сегодня выдался день, после 5 совсем тихих, без рева, (небо было в облаках, дождило): две тревоги. Одна — в 3 ч. — до 4 1/2 и вторая — в 7 1/2 по 8—15 вечера. И не дивно ли? В 1-ю со мной была в квартире Анна Васильевна (сегодня пятница!) и должна была высидеть; во 2-ю явилась часов в 6 Юля, и ее застало. Только сейчас ушла. И так бывало много раз! Одному было бы жутко-тяжко. Ярко вспыхивает в памяти и свет, и гром — 3-го сент. утром. Чего, кажется, страшиться? Но это не страх, а ху-же... «страх страха», по Достоевскому (его Кириллов в «Бесах»)[2]. Ведь жизнь прожита, ведь каждый день валятся, м. б. десятки тысяч на войне, и каждый миг уходят в мире, по естеству, — тысячи... А ты — свое отжил, будь всегда готов. И вот — эта ужасная «рефлексивность»! Ее можно унимать... только молитвой или каким-либо «захватом» тебя мыслью, чувством... счетом... — и душевно, и механически. Так устроены... Долго ли хватит выдержки, сил, — не знаю. М. б. уехать куда, в пансион? в тишину? Где — они?! Да и очень это сложно, и выбивает всячески. Вот, когда дает себя знать одиночество — внешнее. Внутреннее — сложней и... утолимей. Я знаю, что со мной мои отшедшие, со мною — ты, родная. И — всегда пекущаяся Юля. Она свято хранит завет Оли. — На днях умер ген. Головин[3], от гриппа, (воспаление

легкого), а я с ним встретился в нашем квартале 28-го дек. 31-го он спустился в подвал... а 3—4 — заболел. Сердце было изработано... ему 67 лет. Вчера хоронили в St-Geneviève, я не был, погода промозглая. — У меня тепло, до 20—21°С, бронхит лучше, можно в ясный день выйти. А выйдешь... — лезь в любое «убежище». Но они у нас мало приспособлены, как и все почти у французов. Где надежней?! Я знаю очень много горестных случаев. Статистики нет, точной. Надо мной еще 5 этажей, и уже было обстреляно. Тут — теория вероятностей или — лотерея. От осколков D.C.A.[i] я укрыт дверями. И — от стекол. 3-го сент. Господь сохранил мне жизнь. Теперь — вижу ясно. Но довольно о сем «варении» в одном, одном... Это воображение!! Дочего оно точит, что вытворяет! Трудно писать в таком состоянии. А тогда — что же делать? И потому я так беспричален. Дни — изо-дня-в день. Влачатся. И — самые дорогие, из последних, — для творчества. А сколько думок — мешает! Это все равно, если бы сказали: пиши! — накануне, положим, трудной операции.

В[иген] так и не побывал у меня, и Сережино писание пока втуне[4]. Не понимаю... Ах, милая детка, чем утешу тебя?! Вчера вечером была невыносимая тоска, — такой редко бывал одержим. Спал скверно. Проснулся в 4 1/2 и так провалялся до 8, до света. Зато день вышел (в смысле чая, обеда и проч.) «как у людей». Да вот... Где-то далеко бухает... О, как трудно — одному, одному... Молиться не могу, не умею... о, Господи! Но сегодня утром — читал молитвы и кончил — «Слава Тебе, показавшему нам Свет!»[5] Был спокоен — до... 3 ч. Мог писать деловые письма, коротенькие.

Еще раз: твой рассказ о «звезде»[6] и ожидании, о всенощной, морозе... — очень хорош! Я его вижу, все. И еще раз: ты можешь, ты — должна работать!

Так и не отвечаешь, что сказал новый доктор, 11 окт., о почке. Почему не ответила? Все бухает, далеко... Черная ночь, м. б. и звезды, у меня спущены жалюзи. Заснуть — и не просыпаться. Ведь все сделано, или — почти все. Лучшего не напишу. О, где ты — возможность закончить мои «Пути Небесные»?!! ... И [веется] рассказ — «Бред?»[7] — итоги, я тебе писал: самобичевание русского интеллигента в духе (общем) пушкинского «Воспоминания»:[8] «Когда для смертного умолкнет шумный день»... И приходится дать монолог черта... — параллель с кошмаром Ивана Карамазова... Но это меня не остановит. Я чувствую, как все это — готово. Но вряд ли напишу.

---

[i] Противовоздушная оборона (*от фр. Défense Contre Avions*).

Опиши мне один полный твой день, на ферме и в доме. Должно быть ты очень устаешь. Ольгуша, храни себя. Меня томит, что у тебя холод, ужас... –4—5°С! Я знаю, что это... когда два года тому у меня t° упал до –1°. Душа стынет. — Руке лучше. Ленты на машинку не могу найти, приличную, — марает, дрянь. —

А зима переломилась, и прибывает дня. Так я всегда это любил! А теперь... лучше бы и не прибывало, верней. Сколько я всего видал, сколько раз был на волосок от напрасной гибели!.. — но тогда были... нервы крепче? Конечно, тут многое — от физики. Жаль — не могу вина! Эта моя старая боль обострится, и нервы — будет еще гаже.

Ах, эта наша переписка! Это — как... океан! Неужели все пропадет?! Я знаю: это заполонило бы. И не надо наших лиц, имен даже. Это — выше и глубже самого гениального романа. Если бы случилось ему явиться, все тиражи были бы побиты. И какой же душевный опыт — для сотен тысяч! Чувствую. Я его не прочту. М. б. и ты — не. А жаль, жаль... Я не могу уйти в тишь — и перечитывать все — сплошь — твои письма... Как уберегу их?! С завещанием — хлопоты. Ку-да? Я размножил его в 4 экз. Один — на хранение в собор на Daru. Там есть для хранения. Другой — Карташеву, он живет вне возможных бомб, у парка. Третий — Юле. 4-й у меня.

Не смущайся: это же важно, нужно. Ты — разумная. А вот рукописи — оттиски неизданного! Одно — у тебя есть проработанное «Куликово поле»[9]. Помни: что у тебя из посланного мною, — все это проработано, и это — последняя редакция. Храни. Отвезти рукописи — Карташеву?.. Ах, многое случиться может. И не восстановить. Много не печатавшегося. Печатавшееся можно восстановить, отыщется как-нибудь.

Прости, что все об одном. Но это — естественный след моего напряженного душевного состояния.

Напиши мне отвлекающее письмо. Мне так недостает тебя, родная моя!

Ну, в руки, в руки себя! Довольно «панихиды». Эх, будь я лет 40! Как бы я пел!

Целую твое сердце, твои очи... твои ручки, твой у-мный ло-бик!

Господь с тобой. Столько света пролила ты в тусклое бытие мое! Благодарю, благоговейно благодарю тебя, дружка моя, будь же здорова!

Твой Ваня

И маме, и Сереже — самые добрые пожелания и — привет.

[На полях:] Прежняя бумага — вся.

Ужин есть! А[нна] В[асильевна] напекла блинчиков. Разогрею на пару.

311

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.I.44, вечер

Милая Олюша, заставил себя — пого-о-да! — отправил тебе письмо. Решил послать последнюю мою работу — «Почему так случилось». Хоть у тебя, может, уцелеет... кто знает! Нет, решительно не отдам в печать[10]. Слишком вешают на нас собак. Правда — правдой, но она — для вразумления, для истины, — не для плясанья на ней и мощения дорог. В частности, если тебе неизвестен случай с Фетом[11], на что намекает у меня «черт», вот он: накануне именин, жена ушла за покупками, Ф[ет] вдруг почувствовал неистовый сердечный припадок, такой... что схватил нож и хотел покончиться; вошедшая бонна увидала: Фет сидел в кресле и, смотря с неимоверным ужасом к углу, хрипел: «о н... там о н!» Так этот ужас и застыл на его лице. Такое было, что, обрядив, его закрыли густо кисеей, — вы-нести было трудно! А теперь вот рассказ:[i]

Продолжение следует.

Вот, пока. М. б. завтра закончу, если смогу. Скажи маме, как я всем сердцем внушаю ей — крепости душевной, упования — вернуть здоровье. И — тебе, попрыгунья неудержимая. Оля, отнесись серьезно к своему здоровью! Трудно, знаю, но — надо меру! Ваня

312

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.I.44

Вот, милая Олюша, продолжаю свой рассказ — «Почему... и т. д.»[ii]

---

[i] Далее в оригинале начало рассказа «Почему так случилось».

[ii] Далее в оригинале продолжение рассказа «Почему так случилось».

Сбереги. Господь с тобой. Напиши, что с тобой, — здоровье?! и как мама?

Твой Ваня

313

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.II.44 Воскресенье

Милая моя Ольгуночка, только хотел продолжать — 10:35 утра — «вой»! Спустился в подвал, в 2 мин. хода. Пробыл 1-40. Вернулся, только хотел продолжать — с н о в а! По-шел. 30 мин. Вернулся, — сейчас 1-30. Продолжаю[i].

Этой главой завершается «Лето Господне». В этой — II-ой части — будет 25—26 глав[12], (в I было 16 глав). Это с 27 года, помаленьку писалось...[13] 16 лет почти! Тебе понятно, родная моя Оля, мое удовлетворенье: Бог соизволил — внушить мне — недостойному! — этот труд, з а в е т н ы й. (А «Богомолье»-то!) В этом хранится н а ш е. Я убедился, к а к принял читатель русский эту I ч. и «Богомолье». II-ая, думаю, н е н и ж е? Я страшился за последнюю главу, заключающее в с е! Вот почему я так оттягивал! А незаконченность «главного» мешала мне уйти к «Путям Небесным». Теперь — «ныне отпущаеши...» Что Бог даст, а хо-чу-у!.. Но в нынешних условиях — это неимоверно трудно. Подумай: я — сверх сил! — с авг.—сент. — с перебоями, дал... 9 глав! — больше 100 моих страниц! И самых мучительных, для меня. И вот, нервы сдали. Я это чувствую. Да еще этот рассказ «Почему так случилось»..! Это сверх моих сил. И мои годы, и болезни... Не раз я бросал работу... слезы вскипали... — так я в и д е л все... И сердце... Но сознание, что даю н у ж н о е и в а ж н о е... — укрепляло. Знаю, что я н е дал с о в е р ш е н н о г о... я м о г бы теперь переработать многое... дополнить... выпустить... но я не в силах. Я м. б. 4 редакции дал — последней главы. Я у в е л себя от мучительных подробностей отпевания, «целования»... о п у с к а н и я ... — это должно чувствоваться. Все это — д а н о — прикровенно. Кто-то в е л меня, и я — вдруг — нашел позицию... избавляющую меня от сего — и — в с е главное дающую. Я чувствую, что этой последней главой я н е с н и з и л тона всего труда: я его — п о д н я л. И счастлив, что смог т а к найти, т а к заключить... «Бессмертным»![14]

Твой Ваня. О, я у с т а л!..

---

[i] Далее в оригинале окончание главы «Похороны» романа «Лето Господне».

314

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.II.1944

Дорогая Олюша, посылаю о Пушкине, — сбереги: у меня был единственный экз. моего «Слова» в 100-летие по кончине поэта, сказанное мной в Праге, в июне 1937 г.[15] перед тысячной аудиторией. «Слово» — в з я л о, поднялись после 2-часового слушания (с перерывом в 1/2) — все — даже л е в ы е, с-р и прочие «деятели». Слава Богу, во-имя Пушкина — его «тайны». Я боюсь за оригинал, особенно после бомб 3-го сент., когда разбило мою квартиру. Сбереги, родная. Твой Ваня[i]

Продолжение «Слова» пришлю в следующем письме. Твой Ваня

315

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.II.44

Милая Олюша, продолжаю о Пушкине — «Слово» в 100-летие его кончины. Твой Ваня[ii]

Окончание — пришлю в следующем письме.

Твой Ваня

316

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.II.44

Вот, дорогая Олюша окончание моего «Слова о Пушкине» — сказанного в Праге в июне 1937 г. Сохрани у себя на ферме, а то я боюсь утратить оригинал, после бомб 3 сент., разбивших мою квартиру. Ваня[iii]

Сбереги, Олюшенька.

Твой Ваня

---

[i] Далее в оригинале начало речи «Заветная встреча. Пушкин».

[ii] Далее в оригинале продолжение речи «Заветная встреча. Пушкин».

[iii] Далее в оригинале окончание речи «Заветная встреча. Пушкин».

М. б. я вышлю тебе, переписав, в письмах, последние главы «Лета Господня», еще не печатавшиеся.

Господь с тобой. Напиши!

Ив. Шмелев. Твой Ваня

317

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.II.1944

Дорогая Ольгуна, я решил сделать копию с единственного экземпляра — рукописи последних 9 глав «Лета Господня», чтобы «застраховать» от возможного испепеления в наше жестокое время. Один экземпляр письменно перешлю тебе, на ферме больше надежды, уберечь: было бы горько, если бы труд пропал, не увидав света — не дошел, как-нибудь, до читателя. Твой Ваня. Жду письма![i]

Господь с тобой. У меня адский холодище, и я все же пишу. Ах, как хочу писать «Пути Небесные»! Твой Ваня

[На полях:] Я — весь в работе. Когда приходит Анна Васильевна — я сыт, а так... — чего-нибудь, не до кухни! Ваня

Ты удивительно чутка — художник! Как верно ты истолковываешь мое искусство. — И вот это — «вспыхнуло крестом»[16] — и все, все.

318

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.II.1944

Милая моя Олюша, вот тебе продолжение «Святая радость». Сохрани, м. б. убережется на ферме от бомб. Я, после бомбардировки 3 сент. боюсь за неизданное, ненапечатанное. Твой Ваня[ii]

Перепишу дальше — пришлю. Господь с тобой. У нас испортилось отопление. 3-й день в холоду + 7—8°. Твой Ванятка

Вчера я тебе послал мое «Слово» о Пушкине, говорил на 100-летие смерти — в Праге, в 1937 г.

---

[i] Далее в оригинале начало главы «Святая радость» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале продолжение главы «Святая радость» романа «Лето Господне».

319

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.II.44

Дорогая Олюша, я с 12-го у Юли, испортилось отопление. Очень рад, что «Похороны» — тронули тебя[17]. О «Почему так случилось» — как-нибудь напишу особо. Жаль — послал тебе раннюю редакцию рассказа. В последней правке — ясней, и шире (17 страниц вместо 12[18]). Рад за маму и за тебя. О себе не пишешь, о больной почке. Ваня. Продолжаю «Святую радость». Напиши, какие главы из «Лета Господня» II ч. есть у тебя[i].

«Почему так случилось» можно отнести к особой группе рассказов — как, например «Лик скрытый», «На пеньках»... — Мне н а д о было его дать, чтобы облегчить душу. Ведь это не «черт», — а «надрыв от угрызений». Твой Ваня

[На полях:] О «просьбе» напишу — это касается Ивана Александровича — дать ему знать, нельзя ли похлопотать о визе мне[19]. Там у меня — гонорар есть.

Предполагаю, что «детское словечко» — «жёлтики» (первые весенние цветочки, одуванчики, куриная слепота).

С 12.II я у Юли. Сегодня (18-го) звонили на квартиру — м. б. в понедельник (21-го!) починят.

320

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.II.44

Дорогая Ольгуночка, продолжаю последние 9 глав «Лета Господня», — для тебя и — сохранности: они нигде не печатались. Это — пушкинское: «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим г р о б а м»[20]. Для с е г о мне и было назначено — стать писателем! Это и выполняю, а как — судить не мне. Не забывай же писать мне! Пока я у Юли, у меня было два дня тому в квартире +2°. М. б. на днях починят отопление. Ночами — боли, — нервы? — но после приема «gel gastriques» — проходят. Режим невольно нарушен, хоть и уход. Ваня[ii]

Продолжение пошлю. Твой Ваня

---

[i] Далее в оригинале окончание главы «Святая радость» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале начало главы «Живая вода» романа «Лето Господне».

321

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17—18.II.1944

Дорогая Олюша, досылаю продолжение «Живая вода». Письмо твое было мне в радость. Ваня[i]

Окончание вышлю. Напиши о здоровье, беспокоюсь. Ваня

Мерзну! чуть болею.

322

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.II.44

Посылаю, милая Олюша, новую главу «Лета». От тебя н е т писем с 15-го II. Вот какая мне награда за мое терзание — глядеть в горькое!

И. Ш.[ii]

Окончание посылаю.

Твой Ваня

323

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.II.44

Милая Олюша, вот окончание главы «Москва».

Твой Ваня[iii]

Твой Ваня. Как твое здоровье и — мама?

324

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.1944

Милая Олюша, вот посылаю еще из «Лета Господня», II ч. От тебя нет весточки, последнее твое письмо получил 15-го II.

---

[i] Далее в оригинале окончание главы «Живая вода» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале начало главы «Москва» романа «Лето Господне».

[iii] Далее в оригинале окончание главы «Москва» романа «Лето Господне».

Я все еще у Юли, отопление починили, но на другой день испортился электрический мотор! М. б. еще 2—3 дня буду не у себя. В таких условиях трудно работать, но я все же пишу, иначе — как неприкаянный в жизни. Что с тобой? Здоровье как? Читал, что бомбардировали Arnhem. Как Сережа, мама? Твой Ваня[i]

Окончание посылаю. Ваня

Напиши, что из «Лета Господня» — получила.

325

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.44

Милая Олюша, вот продолжение главы «Серебряный сундучок». Ваня[ii]

Окончание главы досылаю.

Ваня

326

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.44

Вот, милая Олюша, окончание главы «Серебряный сундучок». Напиши о здоровье. Ваня[iii]

Дальше не стану посылать, — нет от тебя писем. Что же писать впустую!

Ив. Шмелев

327

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27—28.II.44
Воскресенье

Дорогая Олюша, получил твое письмо от 16.II. Обещала написать «вкусно» (в письме от 12-го[21]), а пишешь «растерян-

---

[i] Далее в оригинале начало главы «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале продолжение главы «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне».

[iii] Далее в оригинале окончание главы «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне».

но». Не повторяй — «хочу творить», а — твори, как душа скажет. Не буду повторяться. Можешь писать о ферме, и тут же можешь, отступая, писать и об «образе», о видении Пречистой, все можно уложить. Пиша о жизни фермы, ты дашь себе всю свободу. Весь февраль, живя на-юру, я работал. Дал даже для календаря отрывки[22].

Продолжаю «Лето Господне». Ваня[i]

Продолжу в следующем письме. 28-го, м. б., вернусь на свою квартиру, — кажется, починили отопление. Твой Ваня

328

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.II.44

Дорогая Олюша, вот и Чистый Понедельник. В наступающий горький твой день — кончина о. Александра (24 февр. ст. ст.) молитвенно помяну усопшего, если доживем. Погода крепкая, все еще зима. Вот продолжение моего рассказа «Горькие дни». Ваня[ii]

Окончание шлю одновременно. Ваня

329

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.II.44

Милая Олюша, вот окончание главы «Горькие дни». М. б. у тебя сбережется, на тихой ферме. Теперь позабочусь о твоих письмах ко мне: запакую, по крайней мере и положу у проф. Карташева, там, у парка Buffe-Chaumon, на 3, rue Manin, Paris, 19-е — ни разу не бросали бомб. Ты не вполне, думается, охватываешь значение нашей «встречи» — в письмах. Это — знаю! — огромное сокровище, для будущих ж и в ы х. Это — т о м ы о Жизни. Твой Ваня. Жалею, что нет у меня — «У всенощной»[23] — так название?[iii]

Твой Ваня

---

[i] Далее в оригинале начало главы «Горькие дни» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале продолжение главы «Горькие дни» романа «Лето Господне».

[iii] Далее в оригинале окончание главы «Горькие дни» романа «Лето Господне».

330

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.II.44

Чувствуешь ли, как разворачивается и назревает конец «Лета Господня». Это реквием русский, и вся вещь приобретает характер эпический[i].

Окончание главы пошлю дня через 3.

Ваня

331

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.II.44

Дорогая Олюша, вот и Великий пост. Прости меня, грешного! Сегодня думаю вернуться к себе: отопление поправили. 17 дней я был у Юли. Эти 2—3 дня — приступы болей (по ночам), должно быть я надорвался, — прочтя, с большим напряжением вслух рассказ. И — сорвал голос, лаю. Если не будет помехи, попробую писать «Пути Небесные». М. б. отдам рассказ в газету... хочу его видеть. Продолжаю свой рассказ «Благословение детей». (4)

Ваня. Целую[ii].

Окончание «Благословение детей» — досылаю (письмо 5).

Ваня

332

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.II.44

(5 письмо)

Вот, дорогая моя Олюша, окончание «Благословения детей». Побереги, а то тревожусь, что здесь, в Париже, может

---

[i] Далее в оригинале начало главы «Благословение детей» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале продолжение главы «Благословение детей» романа «Лето Господне».

пропасть, от возможных всегда налетов. Все эти 9 глав «Лета Господня» — нигде не были напечатаны.

Твой Ваня[i]

Не могу не послать тебе, дорогая, «Подснежник»: я его нашел на 12, rue Chevert, где я живу у Юли (отопление починили, и я возвращаюсь к себе на Boileau). Эти стихи написаны Иваном Ивановичем, большим поэтом, мужем Юли. Это — шедевр, который не уступит совершенством о б р а з а — «Вчера я растворил темницу...» Туманского[24]. У того — только это одно и осталось. У Ивана Ивановича таких найдется — как теперь вижу — не одно. Суди сама... Да, примечание: сибирский подснежник — белый, как крымский!

Подснежник

Снега много за таёжкой,
Но подснежничек цветок
Семенит зеленой ножкой, —
Звонкий выкинул флажок.

На сугробы наступает...
Испугался, тает снег,
Ручейком в ложок сбегает,
Гати моет для телег.

Вскрылась речка, зашумела,
Разметала зимний дом,
По весеннему запела,
Загремела синим льдом.

Разбудил цветочек белый
И тайгу, и даль степей, —
Ждет тепла весны несмелой
И звенит навстречу ей.

И. Новгород-Северский

Какая про-сто-та!
И — о б р а з !

Еще:

Осинка

Нежной, трепетной осинке
Не видать веселых дней,
В темной, низенькой ложбинке
Век дрожать придется ей;

---

[i] Далее в оригинале окончание главы «Благословение детей» романа «Лето Господне».

Лист багряный свой роняя
В голубой таежный мох,
Жить, про солнышко не зная,
Слышать только ветра вздох;

Зыбких крыльев не имея,
Лишь в одном забыться сне,
Лишь одну мечту имея, —
Быть в сережках по весне.

И. Новгород-Северский

Нравится? Мне — очень.
Пиши — и мне, и себе — твори, как скажет сердце.
Твой Ваня. Господь с тобой!

333

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.II.44

Вот, дорогая Олюша, посылаю главу «Соборование», убереги, у вас, на ферме, верней, от бомб.

Твой Ваня[i]

Продолжение досылаю. Твой Ваня

334

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.III.44

Дорогая Олюна, вчера я вернулся на квартиру, топят, но слабо, t +11—10°. Болей не было, но приходится держаться строгой диеты. Как все это скучно! Получил твои письма от 17 и 25—26.II. Пока не отвечаю на них. Спешу дослать тебе последние главы «Лета Господня». Я уверен, что у тебя будет безопасней для моих ненапечатанных глав, ты сбережешь их. Ваня. Господь с тобой. Ну, да... после гриппа — и почка твоя кровоточит, обычно.

Окончание «Соборования»[ii].

---

[i] Далее в оригинале начало главы «Соборование» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале продолжение главы «Соборование» романа «Лето Господне».

Ты так и не послала мне рассказов, которые отдала доктору![25]

Ваня

335

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.III.44

Милая моя Олюша, я очень рад — счастлив! — что последние главы «Лета Господня» — тебе нравятся. Да, кажется, книга получила эпический характер: здесь есть, кажется, то, что общенародно, н а ш е . Не все, конечно, но это ш и р е, чем «Детство», «Отрочество» Л. Толстого[26] и «Семейные хроники» Аксакова[27]. С помощью Божией я дал — что был в силах дать. Книга, кажется, будет ж и т ь.

Твой Ваня[i]

Вот, милая Олюша, предпоследняя глава «Лета Господня» — «Кончина». Последнюю ты получила[ii].

Вот и Великий пост. Хочу хоть раз — к мефимонам. Как твоя почка? М. б., если буду в силе, займусь теперь же, на этой неделе — «Путями Господними»[iii]. Твой Ваня

336

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.III.44

Дорогая Олюша, вот последний посыл из «Лета Господня». Слава Богу! Скончался (вдруг) Петр Бернгардович Струве[28]. Сколько моих почти-сверстников — у ш л о! Не забывай писать мне. Как же холодно у меня! 9° — топят чуть. Стынут руки... как тут писать!... Ваня. Да, «зима свое возьмет». Бе-рет. Окончание главы — «Кончина». Сколько надо было у с и л и й!.. О, как тяжело было писать эти 9 глав![iv]

---

[i] Далее в оригинале окончание главы «Соборование» романа «Лето Господне».

[ii] Далее в оригинале начало главы «Кончина» романа «Лето Господне».

[iii] Вероятно, описка И. С. Шмелева, имеется в виду роман «Пути небесные».

[iv] Далее в оригинале окончание главы «Кончина» романа «Лето Господне».

Конец — и Богу Слава!

«Миг вожделенный настал — окончен мой труд многолетний...»[29]

А. Пушкин

10 лет он продолжался. Не правда ли?.. С 1934—1944 гг.!

Рука едва удерживает перо. Весь стыну. Отходят стены, потому и не быстро отогревается квартира. О, как понимаю твое состояние!... 24 февраля — особенно с тобой, сердечко мое. Тебе грустно, но я с тобой, сниму с тебя хоть немного горького — на себя. Я привык к горькому... Родная моя, душа моя... держись крепче, Бог поможет — и над твоей головкой да не пройдет ничто страшное, ничто грозящее!

Целую тебя, Олюночка. Твой Ванятка

Этим — я отдаю своему народу, что народ (и Господь!) дал мне. + м о е. Ив. Шмелев

337

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.III.44

Дорогая моя Олюша, 10-го марта[30] я послал тебе адрес моей переводчицы. Но все это так утопично-зыбко! — хлопоты о визе разумею. Ну, попытайся написать ей, ты сумеешь — знаю — возбудить ее энергию, а этого свойства у ней через край. А у меня опять со вчерашнего дня прервано отопление! — и пишу в пледе, а пальцы стынут, у меня только + 9 градусов, — на воле + 5. Что за погода! Другой месяц «держит», «зима свое берет».

Я в отчаянии за тебя, — какое же испытание! Все понимаю, что в тебе творится. Я думал, что улучшение у тебя; ты писала, что можешь лучше двигать рукой, меньше болей, — применяешься. А вот, вижу теперь, как ты терзаешься, до ропота, до опустошения душевного. И еще эта таинственная болезнь почки! Господи, помоги! Это меня пришибло, — твое последнее письмо[31].

Надеюсь, что ты получила письма с рассказом «Серебряный сундучок». Послал 25 февр. 29-го, еще от Юли, послал с «Горькими днями» и началом главы «Благословения детей». 1-го марта, от себя, 6 писем с последними главами. Извести, что получила. Если что пропало, постараюсь выслать, перепишу снова.

Ничего не понял из твоих слов, будто хотел тебя «обидеть»! Чем?! Я никогда не питал и не питаю таких чувств к тебе — оби-деть! Это тебя-то! Я, вообще-то, не могу никого обижать, сознательно... — поверь мне! Я бы себя измучил думами, что кого-то обидел, поддавшись раздражению, а не невольно. Не помню, как я выразился о... «недооценке» тобой нашей «встречи». Изволь привести выдержку из письма. А сейчас я ни-чего не вспомню. Под «У всенощной» я и разумел «Свете тихий», конечно, только запамятовал заглавие.

Что мне писать — о себе?! Все то же. Я гнал переписку «Лета Господня» для тебя, — это такая утомительная работа! — и потому считал, что эти письма с рассказами — не «письма» к тебе, а — работа, для отвлечения тебя от горьких дум — главное, а второе — для возможно лучшего обережения рукописи в зыбкую пору нашего безвременья. Я лишь кой-где делал приписочки, а то и как бы письма писал, даже стихи Новгород-Северского переписал.

Никак не могу отдаться работе над «Путями Небесными» — а теперь опять холодюга у меня, стынет во мне дух мой. Изо дня в день переволакиваюсь... Да и воздух событий — не располагает, все дерганье, томленье, ожиданье... — ожиданье — «что же изо всего сего выйдет?» — разумею возможности увидеть Россию, свободную, исшедшую из ада — какими бы путями ни случилось. Из большевицкого провального ада! Этим и теплюсь, только. Эта надежда только и дает силы продолжать творческую работу. И потому страшусь смерти, взывая: «Господи, не оставь милосердием Твоим, дай мне сил!»

Чего бы не отдал я, только бы ты воскресла! Это мое непреходящее, — моя молитва.

Милая... меня как-то хлестнуло остро одно место в твоем предыдущем письме, — слова твоего брата об отце моем. Понимаю, что это — его «одобрение», выражение добрых чувств... но он, как и ты, очевидно, — иначе ты и не привела бы его словечка! — вкладываете иной смысл в словечко «пистолет»: «ну и пистолет был!..» Это жаргонное словечко, а потому и «пошлое»: оно значит — совершенно определенно — «пройдоха», как вот — более мягко — «Пасс-Парту», лакей Филеаса Фогга, у Жюль-Верна, в «Вокруг света в 80 дней». В ходячем же смысле — почти мазурик, что вот на-ходу подметки срезает. Я знаю, что С. совсем не хотел выразить подобное, я лишь пользуюсь случаем дать понять, какой подлинный смысл кроется под этим «портерным» словечком, какого в деревне не услышишь, это — от города, от ловкачей-проныр. — Из «блатного» языка, каким порой

не брезгуют и в салонах. М. б. даже это «европейское» словечко, как, например, у французов — «пистон» — «нужный человечек, через которого можно многого добиться», «счастливый случай», и всегда — противузаконно. Мой отец никогда не был «ловкачом» в определенном смысле, напротив — часто свое терял, был «непрактичен» в делах накопления. Опять не прими превратно этих строк: не в укор говорю, — знаю, что лишь ошибочно взято словечко, — а только для пояснения. И прошу — не *расстраивай и С.*: это он от светлого чувства так несоответственно выразил приязнь к моему отцу. Как, например, «русский иностранец», бывало, скажет, не вникнув в точный смысл русской приговорки: радушно провожая гостей, садящихся в карету, — «скатертью дорожка»! Или — «не красен пирог углем — красен уголь пирогом».

А вот тебе «почин», с чего должна бы начаться II часть «Путей Небесных», — но я, кажется, еще не раз отмерю и изменю...

I. Благовестие

В «Уютове», под Мценском, прошла самая важная часть жизни Дариньки и Виктора Алексеевича. В записке к ближним Даринька называла мценскую жизнь — «тихим житием», «нашим земным раем», и отмечала не раз, что там и ей, и Виктору Алексеевичу дано было милостию Божией вновь родиться. По словам Виктора Алексеевича, — там он как бы вкусил от «Древа Жизни», там он постиг глубочайший смысл литургического гимна, — «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»

У меня только несколько набросков, но в этом кусочке — основное. «Тихое житие» понимай условно: и в мценском житии не все было т и х о, — м. б., даже не менее бурно, чем в 1-й части романа. Но для «рождения вновь» было многое т и х о е.

М. б. сегодня я вложусь в работу. Сегодня обещают починить отопление и согревать. Да... будешь писать Кандрейе — скажи, что я им обоим шлю привет сердечный, что я помню их гостеприимство в 38 г.[32], и как хорошо у них писалось мне, — много я тогда написал![33] Бывало, вечером приносила мне она «мятный чаек», и я, в тепле, с удовольствием согревался, заедая пряничками. Помню и чудесные трубочки в сбитых сливках... — и чудесные метели...

Только собирался пить кофе — сирена, пришлось спускаться. Вернулся только что, напился кофе, закусил малороссийским салом, сливочным маслом и белым хлебом. И вот, продолжаю

писать тебе. 11 с четвертью утра, надо идти за молоком. Погода серенькая, стало потеплей, облачно. Ночью не было болей. Лег я вчера, от холода, в 7 с половиной вечера, а тут — звонок, приехала Юля, пришлось отпирать, поговорили, — сыру мне привезла, грюйер[i], это теперь редкое лакомство. Я ее наградил отличным печеньем, совсем как «альберт», тоже редкость.

Вернулся с молоком, и — радость! — горячие радиаторы! Да еще подвезли угольной пыли, — пылью топят! Значит, можно писать.

Очень удручило меня твое душевное состояние, твое отчаяние. Все понимаю, детка, и так весь — к тебе, с тобой! Я верю, что хирург прав, все улучшится, потерпи, милок. Душа моя нежная, Олюночка светлая, — твоя почка опять после гриппа... — обрати внимание хирурга на это. М. б. нужно тебе — вместо временно-невозможной гимнастики спортивной, — массированье дефективных частей мускулатуры?

Какое редкое словцо ты дала — стамИк! Должно быть это северное словечко. Я понял его смысл, сверился у Даля... — да, стояк, отвес. Вообще, словарь у тебя богатый. Ты спрашивала, знаю ли — «солощий»... — ну, конечно, знаю. Это чаще всего к корове относят: неразборчиво-прожорливая, неприхотливая на еду, к корму. Ты и не подозреваешь, сколько восприняла, живя у бабушки, да и передвигаясь по Руси. Много получила от няни. Северная духовная среда — хранитель нашего языка. Пушкин говорил — «русскому языку надо учиться у московских просвирен»[34]. Ты как раз среди «просвирен» и набиралась.

Голубка моя, я так страдаю за тебя, с тобой, и прошу Господа дать тебе сил вынести испытания и преодолеть болезнь! Ты должна выправиться, и это будет, будет, — почка оздоровится, и состояние ее не угрожает тебе, но, понимаю я, как это тебя удручает, как ослабляет твою волю в преодолении болезни! Олёчек мой, я всегда-всегда полон ласки к тебе, никогда в мыслях даже нет, чтобы обижать тебя, в чем-то винить... — ни-когда! Если тебе порой и покажется что-то, так это только призрачность, не суть. Или я не так выражусь, или, просто, ты не так воспримешь. Никогда не забывал тебя, и не в силах забыть. А когда посылал тебе копии глав «Лета Господня», торопился, только одним и занятый, чтобы ты скорей получила, и делал лишь краткие приписки.

Целую тебя, голубка, нежно, от сердца, томящегося тобой. Чтобы ты успокоилась, только: выберу (твоими глазами) себе

---

[i] Швейцарский сыр (от фр. *gruyere*).

цветок. А ты мне напиши — какой, да? Цветок — какая пышная она, твоя азалия! — поцеловал. Твой Ванёк

Сейчас дождит, постегивает в окна.

М. б. заработаюсь и не слишком часто буду писать тебе.

[На полях:] Напиши переводчице: сколько у меня на текущем счету денег, помимо положенных ценных бумаг (в 1938 г.) по-моему, около 500—600 швейцарских франков и не приходится ли мне что-то от издательства Huber und K° за немецкое издание «Няни»[35].

Но если только 500—600 швейцарских франков — так это лишь на 1—1 1/2 мес. жизни там, если нельзя будет реализовать бумаги.

Извини, капнул, принимая лекарство.

338

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.III.44 Суббота перед Крестопоклонной

Дорогая, Олёчек мой... сегодня я не нашел сил пойти в церковь, на вынос Животворящего Креста Господня. И задержали, и — разбитость. Три ночи плохо спал. После 2-х полубессонных поехал к Юле, а там уголь кончился, холодно, — едва сомкнул глаза. Тасканье в metro по лестницам изводит. И никуда нельзя уединиться, у й т и... У меня уже не хватает силы воображения — укрыть себя для творческой работы. Да, ныне искусство — искус не по силам человеческим. — Вот, продолжение главы «Петровками». Можно дать подзаголовок — «На Москва-реке». Ваня. Еще 1 день — и весна! Но... какая!..[i]

Благодарю, дорогая, я получил переписанный тобой мой тебе этюдик — «Свете тихий». Нет, я ни словечка не выкинул бы и ныне. Кажется, ничего этюдик... Читал — и молодел.

Нынче две сирены, — одна в лавочке захватила, другая, вот сейчас, в 4-45, — кончилась, уходил под укрытие. Нервы мои сильно сдали, после испытания 3-го сент. прошлого года. Сплю плохо. Дня два был у Юли, у нас опять испортилась топка. Теперь у меня +19°. Не могу избыть это состояние «ожидания — эсхатологического». Как-то померкло в жизни.

Господь да сохранит тебя и твоих!

---

[i] Далее в оригинале глава «Петровками» романа «Лето Господне».

Только, было, вложился в работу над «Путями» — пошли вои, — выбивает это. И гложет дума острая — да кчему ты пишешь, кому это ныне нужно?! А, ведь, нужно. Очень много читают теперь — нужно! А книг моих давно нет. «Лета Господня» и «Богомолья» ищут-ищут... ко мне добиваются, — и у меня-то по 1—2 экз. — для себя.

Целую тебя, родная моя детка,

Твой Ваня

Хотел бы переписать и послать тебе остальные главы «Лета Господня», да не знаю, осилю ли. До сего дня не знаю, все ли 9 глав конца «Лета Господня» — дошли, — ты не пишешь мне, а последние главы я послал 1-го марта! Пора бы и ответить...

Чувствуется мне — не удастся уйти в работу над «Путями Небесными» — в моих условиях: как может унести меня воображение? как смогу жить весь — в том?! Это труднейший искус и в тихом житии — как же преобразиться надо! — а тут, в заботах о дне сем, при непрестанных «тревогах» да еще и в моих — нет-нет да и возвращающихся болях?! Все больше вижу-слышу, как же проникает в читателей роман этот! И еще: знать, как живут (и творят свое) «Лето Господне» и «Богомолье»... — и сознавать свое бессилие! Нельзя переиздать эти книги, которых давно нет в продаже, — нельзя издать и II ч. «Лета Господня» — завершающую душевно мне дорогой труд! Страшась утраты всегда возможной, таскаю с собой в сумке, когда ухожу. Ах, Олёк милый, всего не скажешь, что думается. И как же безнадежно думается! Если бы еще не один..! А то — ох, эти вечера, эти ночи..! Милый мой Сережечка... — как он сказал мне — в сне, на 2, кажется, окт.: «папа, я пришел побыть с тобой». Он почувствовал, как одиноко, как тревожно-уныло мне! Лучше бы, кажется, не быть, не жить... — что теперь пользы от меня?! зачем живу? Если не смогу работать, — зачем тогда..? Отсчитыванье дней... с тем, чтобы узнавать каждый новый день новую гнусность в мире, новое осквернение святого в мире?! новое паденье..? В какие формы все выливается! Англо-американцы снабжают деньгами «патриотов»[36] — для организации убийств ни в чем не повинного населения, стариков, умирающих (!), матерей, мирных тружеников... (должно быть ты читала, как раскрыли центральную организацию террористов, работавших на большевиков, посылавшую доклад советскому послу в Лондон!) Идет подготовка чекистов для Европы... — вот во что превратилась война... Рыцарство, былое... — где оно?! Тайный убийца — вот оно, знамение века. А эти «налеты» всюду[37],

всюду... — вот она, сущность «американизма». Я вижу страдания, как я их чувствую! И есть еще идиоты и подлецы, которые говорят: «но это же так естественно!» Тьфу! Это уже как бы мировой садизм. Доколе, Господи?! И... творить, найти силы творить т и х о е — в таком аду!

Голубка, прости это отчаяние: оно — законно. Ваня

[На полях:] Сообщи о своем здоровье-нездоровье. И — о маме. Нет, я не смею настаивать, чтобы ты находила силы писать о жизни фермы. Есть ферма, но нет жизни.

Вчера вложился, — было, — в «Пути Небесные». Написал 4 страницы. А сегодня — сегодня, 20-го, было 3 тревоги до полудня. В 2 ч. — без тревоги началась пальба, а то, во время тревоги, не было! Вот и работай в таких условиях!

339

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.III.44

Олюнка, глупая девчонка, ты меня изводишь! Да, да, этим изыскиванием всего, что могло бы сладостно-больно бередить твои — выдуманные! — душевные — в отношении нас двоих — раны... — скулишь, выдумываешь чушь. Меня это злит. Возьми книжку о неврастении, временной «упадочности»... — найдешь картину — твоих тревог, выдумываний, укоров — и тут же — «я не корю!» — Просто, ты... глупёнок-опенок! Смешно и больно мне: ну, как я тебе п о к а ж у, что я все тот же с тобой, — если еще не сверх-тот же! — и если бы тебя не было у меня, мне н е ч е м было бы ды-шать! — Я тебе писал 1-го окт.[i], с концом «Лета», 10-го — тебе[38] и маме на ее письмо, — там и адрес дал Р. Кандрейя, переводчицы. 13-го[39], о том же, кажется, и вчера, с рассказом «Петровками»[40]. Прикинь, сколько было работы, с перепиской. А жизнь меня теребит, я должен о себе думать — о «дне сем», — это самое трудное, искать еды, готовить, — старушка 2 раза в неделю ходит, — говорить с посетителями, писать письма, думать о своей душевной работе... и — все это в подавленности или навинченности нервозной. Ты от с е б я исходишь, а ты попробуй из меня исходить! Дура ты эдакая, и — дуренок милый, бедный мой! Все понимаю, и не серчаю никак. — О «недооценке» переписки не поняла ты... — не в смысле на-

---

[i] Описка И. С. Шмелева. Имеется в виду письмо от 1 марта 1944 г. (№ 336).

ших личных чувств, а в смысле «значимости» переписки для д р у г и х! (ты хотела уничтожить!) Какое это богатство!! И от тебя, и от меня. Вот. «Стамик-а» значение я, конечно, знаю. — О тупой боли — «кол»! — в пищеводе думаю, что это, по всей вероятности опять нервное. Я знаю профессора одного, он годы мучается — периодически, а опасался «неизлечимости»! Теперь, кажется, лучше. Обязательно, проверь себя у доктора. Уверен — нервы. Такое чувство, как когда быстро глотнешь гречневой каши, пищевод сделает спазму... возможно, что это спазмы. Изволь мне написать! Ничего превратного о желании — неисполнимом! — Шахбагова не подумал. Да что ты меня все в дурачки рядишь! О «пистолете» — жаргонном словечке, оговорился, лишь пояснил, как, обычно, это слово понимают. Хороша награда за остроумие! «Свете тихий» — не «было да прошло», а — есть! Очевидно, ты не получила моего письма, где я «вылился из границ», зажегся к тебе земным огнем... а потом, отослав, укорил себя, как бы э т о не обеспокоило тебя. — Вчера стал перечитывать «Пути Небесные», для работы вспомнить в с е... И — только тебе пишу, ты для меня — сам я, как бы себе открываюсь: после 4—5 главы... — читал очень внутренно! — стал вот так, на колени перед Господом и Пречистой! — один, ведь, никто не увидит! — и сказал: «Господи, благодарю Тебя за дар Твой, мне дарованный... что смог э т о написать, у в и д е т ь, т а к дать!» И так это от сердца у меня, — поверь же — ни тени гордыни, самолюбования, а благодарность, мое п р и н о ш е н и е!

Что возражу против твоего движения сердца — взять дитя?! Слушай сердце. Конечно, не легкое это дело... но, слушай, что сердце скажет. Одно думаю: в твоем положении, — не оправившейся, не совладавшей с собой — это очень подвижнически-трудно, это может очень тебя с в я з а т ь. И какая ответственность!

Чувствуется мне, что у вас будет тихо, и ничего вам, т. е. — тебе и твоим, не грозит. Олёк, не омрачай сердца вымыслами. Живи, поскольку можешь, красотой творенья, столько чуткости в твоем сердце к принятию даров Божиих! Господи, только бы ты получила физическое облегчение, исцеление! И что за укоризны, что я, вот, единственный, кто не отозвался л и ч н о, на твои боли и тревоги, при операции! Это — чудовищно-несправедливо! Но я и оправдываться не стану, — так это дико!

Адрес Р. Кандрейя я послал тебе, в письме 1-го и 10. Еще раз: Schloss Haldenstein, b/Chur (Coire) Mrs. Dr. R. Candreia. Так как же — эти все 9 глав «Лета Господня» не разочаровали

тебя, — ты мне не пишешь. Не похвалы твоей жду, а — твоего суждения. Не снизил сравнительно с I ч.? — хотя тут, во 2-й, много «личного», но оно все связано с о б щ и м, — м. б. я утомлю читателя? Нет, так было н у ж н о дать... — ну, лучше я не в силах дать. Теперь тревога за «Пути» — завершу ли, как н у ж н о?

Надо сейчас идти за молоком... И так все — в моей работе — эти перебои... Трудно работать на всяческом «юру»... Да еще и боли, порой... — так нервы избиты, так многое изранено... так все — неопределенно, неопределимо...

Хочу у й т и в работу над «Путями»... — в с е мешает, цепляет... отводит. Это письмо, экстренно пишу, взбитый и встревоженный — твоим неверием. А то бы писал другое, «Пути»... Мне нужно в с е м у уйти в них.

Голубонька, будь спокойна, я — прежний — больше! — твой, и не мыслю тебя утратить. Тогда — конец мне, в с е м у. Поступись же, для нас, для дорогого нам, — своими надуманными сомнениями! Мне больно и еще более тревожно, до бессилия! О поездке не мечтаю — это неисполнимо, кажется мне. Не думал я, что хирург т а к может отвечать на «шпоры» сумасшедшей жизни! Безразличие?! Это у него-то!! ... — он как мне казалось, должен быть почти счастливым от сознания, скольких он спасает! Устыди его. Напиши о себе, о «почке», порадуй более светлым, дал бы Господь! что мама? Я ей написал, я был рад получить ее оценку моих трудов. И счастлив, что ты т а к понимаешь все мое.

Поцеловал твой «жёлтик». Ах, как хочу весну в и д е т ь, пить день за днем! Н а ш у... Бегу за молоком, а то — без еды буду. Забегу на почту. Целую, детка, всю тебя. Твой неизменный Ваня

[На полях:] Сейчас твое, от 15—17.III[41].

Погляди, ско-лько я тебе [пустил] писем! Сколько и труда — [переписать]!

Послушай мое сердце! Ты же чутка.

А[нна] В[асильевна] еще не заявилась.

Вот и весна. Свежо. Каштаны надувают почки.

340

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.IV.1944

Дорогая Ольгуночка, Христос Воскресе! Слышу-услышу, Бог даст, твое пасхальное приветствие! — и отзовусь — Воис-

тину Воскресе Христос! И с этим вечным вскриком сердца ты прими в свое сердечко мои горячие моленья о твоем здоровье, дорогая. Эти две недели я болел (обычное мое!) теперь гораздо легче. И с этим состоянием моим всегда связано мое подавленное душевное состояние: пропадает воля, ни мысли, ни желаний. Тебе знакомо это. М. б. это и нервное переутомление. Я давно не писал тебе, и горько сознаю, что ты снова и снова будешь толковать это — как мое безразличие, отстранение и проч. Не так это. Да, я переработал, утомился за эти 3—4 мес. непрестанного труда. Я написал 3 главы (до 30 стр.) «Путей». Хотел тебе послать дубликат, да — по стремительности работы — не смог отделать — послать в окончательной редакции. М. б. и пошлю, если соберусь с силами.

Благодарю за твои заботы, — в частности, о моей поездке. Но доводы И. А. приведенные им мотивы к ходатайству о визе — хоть и логичны, убедительны... но для моей цели — о т д ы х а и работы в спокойных условиях — не годятся. Ведь деловые мотивы — что дадут? Если и будет разрешение, — так на самый короткий срок, ну — на 10 дней, на 2 недели... Ну, ладно, увидим.

Меня тревожит твое молчание о здоровье. В последнем письме, от 27.III[42] ты о себе ни слова! Что у тебя с глотаньем? боли продолжаются? Ответь, прошу. Думаю, что все это в связи с больными нерва́ми, — нервные спазмы.

Вот, снова — Пасха, Светлый День, и снова — уныние непреходящее. И уже нет воли — переломить себя. Но что я такую тоску пишу?!

Весна... распускаются каштаны. Дочего надоели эти европейские деревья! Пусть их распускаются, — мне безразлично. Знаешь, я даже есть принуждаю себя. Я устал — ждать, у с - т а л — надеяться! Какое же опустошение!.. Но Бог поможет мне — не одеревенеть — хотя бы во имя работы не окаменеть мне. «Пути» — как-то потускнели, не хочу браться...

М. б. пошлю тебе — перепишу из «Лета Господня» — «На Святой». Если силы позволят. Пусть это будет тебе — мое «яичко». Лежат они, для тебя добытые, не взятые «дубиной голландской» в прошлом году! Ждут...

Попрошу докторшу Крым — дать мне чего-нибудь взвинчивающего. Сейчас — сонливость, едва пишу. У-стал.

Целую твои глазки, голубка моя. Христос Воскресе — маме и Сереже. Отнесись ко мне благостно. Я достоин лишь сожаления. Твой Ваня

341

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.IV.1944

Еще и еще, голубка моя, Олюшенька, — «Христос Воскресе!» Самое горячее мое желанье — чтобы ты выздоровела, окрепла, чтобы вернулась к тебе бодрость, светлые упования, охота к творческой работе. Вместо красного яичка перепишу для тебя — посылаю — «На Святой»[43], ты не знаешь, пожалуй, этой главки из «Лета Господня». Вот она, — «Христос Воскресе», светленькая.

Твой Ваня[i]

Окончание досылаю. Родная, сегодня Благовещение (7 апр.), не знаю, попаду ли в церковь. Тревожусь — как твое здоровье! Очень меня подавляет одиночество. Охладел к работе над «Путями». Мои боли прошли, но все-таки надо держать диету. Как это скучно, и — трудно, ничего подходящего не найду. Макароны только. Христос Воскресе, птичка! Ваня

342

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Благовещение
25.III/7.IV.44

Христос Воскресе! — дорогая моя Ольгунка. С каким усилием заставляю себя — переписывать! Но мысль, что это — тебе, дает силу. Целую. Твой Ваня[i]

Олюша, это окончательная редакция[44], я опять проработал, кой-что вычеркнул, кой-что вставил. Целую. Спешу за молоком, а то буду без еды. Твой Ванёк

343

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[7.IV.1944]
Благовещение

Христос Воскресе! — дорогая моя дружка-Олюша. Господь да сохранит тебя, светлая моя девочка. Христосуюсь

---

[i] Далее в оригинале начало главы «На Святой» романа «Лето Господне».

[i] Далее в оригинале окончание главы «На Святой» романа «Лето Господне».

с тобой братски, и посылаю тебе мое пасхальное яичко — первую главу II ч. «Путей Небесных». Напиши о здоровье, что с тобой.

Твой Ваня[i]

Досылаю окончание главы. Твой Ваня

344

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[7.IV.1944]
Благовещение

Вот, дорогая Олюша, продолжение 1-ой главы «Путей Небесных». Боюсь, — не покажется ли тебе вялым начало это? Действие романа будет первое время раскрываться неспешно, — в ритме захолустного жития. Ты найдешь несколько перепутанные страницы. Но я правильно указал их на уголку[ii].

Продолжение дошлю. Ваня

345

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Благовещение, 1944

Вот, дорогая, продолжение и окончание 1-й главки. Христос Воскресе, Олюночка. Ваня[iii]

Постараюсь дослать окончание II-ой главы. Ваня

346

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.IV.44

Христос Воскресе, дорогая Ольгуночка! Что с тобой? мучаюсь, как твое здоровье. Продолжаю писать «Пути»... —

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 1).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 2).

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 3).

заканчиваю 3-ю главу — написано до 30 страниц. Очень широко разворачивается, голова даже кружится! — ох, дал бы Бог совладать! и ужасаюсь, уместится ли во 2-ой части...

Твой Ваня, целую

Говею. Сейчас — к вечерне-утрене[i].

В отчаянье, — не получаю от тебя, что с тобой?! Ваня

347

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IV.44

Христос Воскресе, родная! и — «Воистину Воскресе»!

Милая Олюша, послал тебе вчера письмо и зашел в церковь, слушал — «Чертог Твой...» И в храме думалось о «Путях Небесных»[45]. Томлюсь, что с тобой... ничего не знаю, встревожен. Сегодня, 12-го, твое пасхальное[46]. Грустно стало, ни слова о здоровье. Бог знает, что думаю... — скажи мне, облегчи сердце!

В тоске, все же продолжаю для тебя «Пути...» Вот, дальше... Целую. Ваня[ii]

Сейчас еду исповедываться и постою утреню: «Егда славнии ученицы...» Скоро постараюсь дослать. Сохрани. Господь с тобой. Так хочу писать! 3-ья глава вышла, кажется, удачной... Слышавшие были до слез растроганы, Юля и один старый друг. Ваня

348

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.IV.44 Св. и Вел. Суббота. 10 ч. утра

Дорогая моя Ольгуночка, сейчас хочу пойти в церковь, к литургии, послушать — «Воскресни, Боже...». Занесу это письмо на почту. Жду от тебя известий о здоровье. Милая детка, когда услышу твой бодрый, просветленный голосок? Родная, не томи и не томись. Я теряюсь, что с тобой, — такое горькое — по смыслу — было твое письмо пасхальное.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 4).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 5).

Да смилостивится над тобой Пречистая, пошлет тебе мир в душу!

Твой Ваня[i]

Постараюсь дослать. — Целую, спешу... Твой Ваня

349

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.IV.1944[ii] Светлое Христово Воскресение

Родная, голубка, еще, и еще, и еще — «Христос Воскресе!» Напиши, что с тобой. Вчера был за великой обедней — я так люблю эту велико-субботнюю литургию! — и подавал о твоем здоровье — просфорку — и дома съел ее, думая о тебе. Был у Св. Заутрени, а потом разговлялся у Юли и ночевал там. Приехал сегодня утром. С 3 ч. сел за работу — для тебя переписать. Пока мало мешали, т. к. я говорил, что вернусь к 6. Господь с тобой. Целую. Ваня. Продолжение 3-й гл. «Пути Небесные»[iii].

Постараюсь дальше переписать. Твой Ваня

Сегодня появилась 1-ая половина рассказа «Почему так случилось», в русской парижской газете[47].

350

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.IV.44 3-й день Св. Пасхи

Вот, милая Олюша, продолжение 3-ей главы «Путей Небесных». Св. День провел я почти один, писал, думал о тебе... — все жду от тебя письма о здоровье. Сегодня же запрошу А[лександру] А[лександровну], — ты мне не отвечаешь. Как провела Св. День? Неужели ездила в Гаагу? Пишешь в горьком пасхальном письме, что болит «душевное» сердце, а физическое «теперь здоровое». Как это понимать? У меня

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 6).

[ii] На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной: 25.IV.44 «Пути Небесные». До письма 22.IV.

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 7).

смута в душе, — мне тяжело ничего не знать. Ваня. Голубушка, ответь[i].

Дошлю конец 3-й главы. Твой Ваня

Волею судеб — и моей — автора, — в Ютовых та же родовая кровь, что и у Дариньки! Это открытие сделает, не зная того, Аграфена!

351

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.V.44

Милая моя Олюша, на твое, такое горькое мне и неправедное письмо от 19.IV[48], полученное 27-го, я написал тебе 28.IV[49] — все. Я без вины виноват. Но я тебя не виню: понимаю, как ты измучилась в болезнях. Господь с тобой. Я никогда не кривил душой перед тобой, — и не умею, не могу — кривить. Обидеть тебя..! — я могу вспылить, да, но — обижать, притворствовать — это не в моей природе. Я долго не писал, был так подавлен. Уезжал в деревню, писал... Всего одолел 50 страниц романа I—IV гл. Посылаю конец 3-ей — в 2-х письмах. Вчера, вернувшись, получил твое от 1—2.V[50]. Ты еще не получала моего ответного на твое неправедное. Господь с тобой. Ваня. Посылку романа пока остановлю, до лучших дней[ii].

До следующего письма. Ваня

352

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.V.44

Родная моя Олюшка, очень я устал — ото всего — и эти 3—4 дня не писал ни строчки. Роман тянет, но его огромность (я вижу, чувствую, как он может развиваться) пугает меня: не хватит ни сил, ни дней... Написал я еще очень большую (20 страниц) 4-ую главу — «Благословенный день»... М. б. буду снова ее прорабатывать, разобью на 2—3[51].

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 8).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 9).

Она — очень важна. Здесь — встреча со Святителем... (придел церкви ПокровА) — здесь и познанное Даринькой — впервые! — радование. Эта сцена на взгорье — в овсах — в июньское утро... То, что у А. К. Толстого в «Иоанне Дамаскине»[52] — «Благословляю вас, леса, долины, горы, воды...» А за ней — труднейшая сцена в церкви, придел-темница, где образ Святителя (Филиппа)[53] — древнейший предок рода[54] — по отцу... (незаконному!) — и переживание Дарьи, ее стыд... (толпа в церкви глазеет на новую «ютовскую барыню»)... Меня закружило. И затем — Д. узнает, что мать Ютовых — ее родная тетка (по незаконному отцу). Трудность в необычайном положении — совпадании! И надо это так дать, чтобы это было не надумано. Надумывает сама жизнь: Ты когда-нибудь узнаешь, как это сделано, преодолена ли трудность. Кажется, я овладел этим. Сейчас ушел в книги — читаю о Филиппе. Навожу справки о художниках[55] — Крамском, Перове, Нестерове (его зачаток — Алеша), Сурикове... Все надо вымерить, чтобы не ошибиться ни в чем... Я когда-то был — под Москвой — в имении барона Бодэ[56], из рода бояр Колычевых... Род Филиппа еще был в 90-х годах. Вот эта-то святая струя.... хранится в св. Руси. Мне важно это показать. Эта струя — в наших святых и добрых людях Руси, — при всем окаянстве зла в современности. Пока не совладаю с 4—5—6 главами — не пошлю тебе. Роман как бы расширяет свое плавное, медлительное течение... Только бы дал Господь дней и сил. О, как трудно сейчас — о сем! Но я так хочу плескаться в родной стихии! — и уже намечается глава — принесение икон в Уютово...[57] на освящение новоселья... Это только «запевка» будущей огромной рапсодии...

Господь с тобой. Я все понимаю в тебе и тени укора нет во мне. Да сохранит тебя Господь и Пресвятая. Благодарю за чудесный нарцисс — но он безуханен. Твой Ваня[i]

353

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.V.44
Вечер

Дорогая моя Ольгуночка, ко дню рождения твоего рад послать тебе, взамен цветочка, — эту росистую главку романа.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 10).

Ты ее почувствуешь, думаю так. Это мой авторский тебе дарок, — правда, трудно он мне давался (до 4-х редакций!). Дальше — еще трудней, но у меня написано еще страниц 10—12. — Здесь будет церковь, народ и — «встреча» со Святителем (предком!) — в придельчике — как бы в темнице. Конечно, это св. митр. Филипп. Очень было трудно взять! Кажется, — дал. Там трудно о... свете, как увидишь, — образ. Будь здорова, светла, уповай на Бога. Как хочу тебе — света и радованья. Целую новорожденную. Твой Ваня[i]

Даст Бог, дошлю. Нежно целую и благословляю. Будь здорова, детка. Твой Ваня

354

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.V.44[ii]

Дорогая Ольгуночка, еще и еще приветствую день рождения твоего — 40! — и да будет много-много еще!.. — и да будет с тобой Милость Господня и Покров Пресвятой Девы. Будь же здорова и радостна. И да укрепит тебя — если бы — да! — эта моя светлая работа! Досылаю конец 4-ой главы и зачин 5-ой.

Твой Ваня[iii]

Постараюсь дослать окончание. Ваня

355

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.V.44

Дорогая Ольгуша,

Приветствую день твоего рождения. Будь здорова, будь светлая!

Только-что вернулся с дачи. Те ландыши, что получил от тебя к Пасхе 1943 г. — посаженные мной на даче прошлым

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 11).

[ii] На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной: неужели надолго последнее?!??

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 12).

летом, принесли (— уцелел!) только один цветок, — его и посылаю, сорвал сегодня утром. Еще — жасминчик и махровую сирень. Все — белые. Будь и ты такая же светлая, безоблачная, — как этот мой «сбор» для тебя.

После холодов — жара, все сохнет. Жить все тяжелей — ничего не достанешь, что мне надо при моем режиме. За неделю я получил всего 3 раза по 1/4 л молока. И оттого — вялость, работа дается через силу. Бросаю ее... — Не уехал бы с дачи, да Юле приходится проводить 5 дней в Париже, а один я не остаюсь, — трудно питаться. Целую.

Твой Ваня

М. б. Милостию Божией и г. цензора мои сухие цветочки-привет дойдут до тебя. Отпиши.

В.

356

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.VI.1944

Дорогая Олюша, не надумывай: никогда я не отходил от тебя. Поверь же. Мне горько читать такое. Я работаю — и потому мало ухожу в личное. Тороплюсь. И если шлю тебе — то не для сбережения, главное, а чтобы делиться с тобой — своим. Это заменяет все же — личное. Твое письмо[58] грустно. Не поддавайся унынию: нет оснований страшиться возврата болезни. Твоя знакомая дама-казанка[59] 10 лет была здорова. 10 лет! — мало ли это? И если заболела, то почему это последствие 1-ой болезни и операции? Она могла заболеть и без 1-ой болезни. Часто боятся того, чего не надо было бояться. Никто не знает, на чем оступится. Особенно — ныне. А ты еще растравляешь себя домыслами, визитами... (хотя и я сделал бы тоже, дать внимание, утешить). Чудесно ты дала — освещение Неба. Особенно — это — налитое жаром солнце! Браво!! Этого я еще не читал ни у кого: метко! Именно — жаром (когда жар углей!), есть отличное слово — жаркОй (цвет). Не колеблись: бери уроки и музыки, и — живописи! Все бери! И принимай каждый день — как Дар. Пей его — этот дар Божий. Я очень много испытываю, до... порой — упадка духа. И заставляю себя работать. Целую, милая девочка.
Твой Ваня[i]

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 13).

Постараюсь дослать, есть еще стр. 8—10. Все эти дни — тревоги-вои, по 4—5 раз в день. Жизнь стала жесткой, — такое одичание, усыхают сердца! Твой Ваня. Мне трудно во всех смыслах.

Роман развивается в полноте, неторопливо, как течет большая русская река: я как бы созерцаю — в с е наше. Это — эпическое.

357

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VI.1944 Троицын день

Дорогая Олюша, мало пишешь, а мне так необходима твоя душа, твое доброе словечко. Так мне трудно. Еще у в о д и т ото всего безумия работа! На дачу не поехал в эту субботу — да и не хотелось, и что же! — дорога туда отрезана. Бомбы..! сколько раз проезжал я (2 раза в неделю) мимо той станции! Последнюю поездку нас высадили (alerte![i]) — 1/4 ч. стояли под небом. И вот, в пятницу — оборвалось. Юлин муж застрял на даче, она помчалась — м. б. с пересадками доедет. А оттуда как?.. Другой раз били вчера. Не имею от нее известий. Это 32 километра. Как раз я там пересадил тыкву, ухаживал, любовался... Какао свое (редкость!) там оставил... — Каждый день (и ночь) по 4—5—6 сирен! Вот и пиши тут. Все равно. Надо быть готовым ко всему. А пока — п и ш у и целую. Твой Ваня[ii]

Ах, как хочу писать!.. Как все разворачивается!.. Помоги, Господи! Это — во-имя Света. Кончать жизнь — так — с л у ж а е й. Твой Ваня

Не терзай себя сомнениями и тревогами. Благословляй Господа и пиши, рисуй, учись — [все] силы, [время] — и дыши, и твори. В этом — жизнь. Наперекор всей грязи.

358

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VI.44 Духов день

Ольгуночка милая, еще тебе порция романа. А куда я зайду — не ведаю. Плыву... Такова наша стихия... — то-пит. Взял-

---

[i] Тревога (*фр.*).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 14).

ся хвалу петь — буду петь, пока сил и духа хватит: выверну, лишь бы не выбило меня и не стерло в прах! В такой стихии, в которой я плыву (в романе), действие будет нарастать исподволь, — иначе нельзя (чувствую). Это, ведь, не прудок (европка), а океан. Это не похотливый пОзыв, — а возрастание и ширение души. И так теперь я вижу каждую пылинку в солнце нашем, все мелочи мне дороги, раз они нужны для цели моего искусства. Люди... — ведь я еще и не касался всей глыби... (монастыри!) — я лишь в передней хожу с читателем, а сколько же — покоев! и каких! Даст Бог — увидишь. Я — почти вижу, — голова кружится. Мне нужно дать отсев: свет духа человеческого и его потемки. Отсюда — масса лиц... Целую. Твой Ваня. Слава Богу — дождь, с утра. Поля стонут, иссякает все. М. б. вздохнут. Ваня. Крещу[i].

Конец постараюсь дослать. 5-ая глава! А их должно быть — 105! Хватит и на 2 тома. Страшусь и — рвусь. Господь с тобой, мой светик. Ваня. Напиши!

[На полях:] Хорошо, что пришло на мысль в последний отъезд с дачи взять оригинал «Лета Господня» II ч. — а то бы... не достать.

Мне старик-агроном (петровец!)[60] на даче говорил: жду дождя 4—5 июня, а то — пропадет все. Недели 3 тому сказал. И — вот: 3 часа дождь идет. Небо обложено.

И еще сказал агроном: наши агрономы все здесь смотрели, изучали, и пришли — единогласно! — к выводу: «нам нечему здесь учиться» ([и это] — научно!) Да... ах, какие были возможности — и достижения — во всех путях!

Плохо у меня: неделю — ни капли молока! Это мне — крах. Ищу овсянки... Слава Богу, нет болей, но сплю плохо.

Замечала? — в Духов день почти всегда — дождь?.. Какой-то закон — в связи с явлением инея до Рождества! (У нас, в России).

359

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VI.1944

Дорогая Олюша, обрадовало твое письмо, от 9-го VI[61], слава Богу, ты чувствуешь себя здоровой. Целовал твои цветоч-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 15).

ки — тебя. Ах, как я рад за тебя, родная, светик мой. Спешу послать, сейчас была тревога. Работаю среди всего сего, но в этом мое убежище. Рад, что по душе тебе. Роман в голове кружится волшебно... ско-лько лиц...! всего... ты и не представляешь... Нет, во II т. не уместить! Я плыву медленно, как широкая Волга... Все так важно! Особенно эти первые главы, где дается трудное — новая Даринька! — ты узнаешь ее? Ваня[i]

Одновременно шлю дальше. Целую. Как тебе росистое утро, а?.. — а — придельчик, толпа?.. Ваня

360

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VI.1944

Дорогая Олюша, спешу послать. У меня написано еще стр. 15 — но так влечет дальше, а писать трудно, очень жизнь изводит. Трудно с питанием, я не имею капли молока. Боюсь заболеть. Словом, это — Труд Трудный. По-мни! Твой Ваня[ii]

Твой Ваня. Завтра пошлю, м. б. еще — дальше. Ах, как я рад, что ты светишься. Твой всегда.

361

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VI.1944

Дорогая Олюша, спешу дослать кончик 6-ой главы. Я думаю, что V главу «Святитель» придется разделить, я уже наметил. 2-ая ее половина составит 6-ую главу — Отпущение, (может быть). Прекрасно, что ты берешь уроки музыки и акварели, — чудесно! Сейчас, 5, в 6 1/2 иду в церковь — память Оли. Весь день писал. Целую. С едой — кой-как. Нет молока, это тяжело. Твой Ваня. Отвратительные чернила![iii]

Напишу — дошлю. Ваня. Есть еще страниц 12.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 16).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 17).

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 18).

362

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VI.1944

Дорогая Олюша, очень спешу — в церковь. Заработался, невзирая ни на что. Куда меня заведет Даринька в романе — не ведаю. Знаешь... пишу — и часто чувствую, что ты бы так чувствовала, как она... Но сколько ей — испытаний!.. (г р е з и т - с я так мне). Но — главное — р о д н о е дать — в с ю нашу с т и х и ю ... А потому — много теснится всяких ликов. Ваня[i]

Это еще не конец главы. Дошлю. Ваня

363

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.VI.44
Париж

Дорогая Олюшенька, напиши, прошли ли у тебя боли в руке (ты не могла причесать волосы!) и груди. Как ощущения спазмы в пищеводе (уверен — нервный рефлекс!). Совсем о себе — ничего! Живу и работаю в очень тревожной обстановке, но, кажется, «притерпелся». С питанием — однообразно, скудно. Господи, ты не представляешь условий, это же не «лоно природы», каменная мурья[ii], все снуют в поисках подходящего продукта... ну, в пору лишь о себе, о семье думать. Елизавета Семеновна с ноября, с сыном, в Фонтенбло, далеко... да что она могла бы! Нет молока, грудным даже — дозами! Но я сыт. А главное — пока не болею и могу у х о д и т ь в работу. Эти вои (сегодня, до 5 ч. было 4 «пустых», но вчера... снова и снова жертвы, в Версале — до 1000). Вот — житие мое. Меня трогает твоя забота. Целую. Ваня[iii]

Есть еще страниц 6—8. О, только бы закончить! Но — когда?! Ваня

[На полях:] Отлично, что берешь уроки! Глупости: с т а р а! Это в твой-то расцвет!

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 19).

[ii] Конурка (*рус., устар.*).

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 20).

Не робей — пиши «Лик» и «Белую ширму»[62]. Что хотИшь, как говорят на юге.

Сегодня мне рассказывали как «чистую правду»: одна французская «ясновидящая» католичка, — сказала: в с е кончится через 6 недель (к августу) — миром. Православие в с е осветит! Америка — отвернется. Все державы будут пожимать руку молодому российскому и м п е р а т о р у! Поглядим...

Напиши о здоровье мамы. Привет ей.

364

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VI.1944
Париж

Дорогая Ольгуночка, вот еще «доза» романа. Сбереги. Со мной — все то же, а тут еще старушка где-то упала, слышал, не была ни в пятницу, ни сегодня. Верчусь в хозяйстве, и все же пишу. Это — моя отрада. Непременно бери уроки и музыки, и живописи: в этом — ж и з н ь. М. б. тебя подкрепят и мои «Пути». Не смущайся, если покажется длинновато: н е л ь з я иначе. Очевидно, масштаб всей вещи должен быть огромный! Не ожидал. Пишу — по наитию, сОслепа, но з н а ю, что н а д о. Дальше пойдет стремительней. А сейчас я ввожу читателя (и вхожу сам) в в о з д у х романа. Да ведь, какая с т и - х и я -то... Это не Голландия тебе! Да и много важного втекает в душу. Целую. От тебя последнее письмо — от 9.VI[63]. Не ленись писать. А то — замолкну. Храни Господь тебя. Будь благополучна! Ваня[i]

Дошлю. Твой Ваня

365

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VI.1944
Париж

Родная моя Олюша, 5-ю главу я разбил на две. 5-ая должна кончиться на 60 странице словами из «записки» Дариньки: «Ныне отпущаеши... спасение Твое...» VI-ая глава носит назва-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 21).

ние — Высшая гармония. VII-ая «Земной рай»[64]. Теперь пишу легче — [потому что] знаю, что пишу, и как должно быть. Если бы не все, — написал бы за 5—6 мес., а м. б. и скорей. Я много прорабатываю. Не думай, что [1 сл. нрзб.] «правки»... о, если бы видела!.. Иногда по 3—4—5 редакций, с новой перелицовкой. Целую. Благословляю. Твой Ваня. Пиши же мне![i]

Есть еще страниц 5. Твой Ваня

Эти 8 написал за 1—2 дня, с проработкой. Это уже мно-го!

366

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.VI.44
Париж

Дорогая Олюша, от тебя все нет, последнее получил 21-го от 9-го VI. Меня тревожит. Иду в романе, в этом свет мне*. А еще, в одном рассказе: «в углу дьячок раздувал... паникадило!» Из-за этих мелочей мне все кажется лживым. Если ты, чуткая читательница и дружка моя, усмотришь что — непременно поправь или мне напиши. Я всегда строг к себе, но теперь многого лишен, негде часто навести справки. Вот, [день], когда точно, Чайковский создал романс[65] «Благословляю вас, леса...» — обещали узнать. Ведь я как бы и историческое даю... почти 70 лет тому (пока). Вчера написал 8 страниц (рекорд!), их и шлю. Был — в подъеме. Напиши о себе. Господь с тобой. В свободные часы (о, хозяйство! надо накормить себя, а А[нна] В[асильевна] и во вторник не была!) — читаю Карамзина (!) — для «успокоения»... эпоху Ивана Грозного! Вы-думал! Но тогда — чище все же было — ибо прямее. Твой, милка, Ванёк. Думаю — тебе будет по душке[ii].

Дошлю. Твой Ваня — труженик. Трудник у Господа, если бы!

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 22).

* Да, исправь в 1-ой главе на 4-й стр. – приехали в пятницу, а не в четверг (это был 1877 г.) это надо, и это верно высчитал по формуле. Не выношу промахов, когда, у Тургенева, в «Отцах и детях» сирень цветет в... середине июня.

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 23).

367

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.VI.1944
Париж

Милый Олёк, назови меня молодцом — ведь уже почти 100 страниц (а конца... не видать!). Но н а д о, если Бог судил, оставить родным людям — про н и х , про русскую — свет-красу-душу. Про — суть нашу... Не ужасайся, Дима д о л ж е н быть, он н у ж е н, но... ты увидишь — к а к это будет! Что, дурак я что ль, — потешать дур — дураков! Я свою душу тешу. Вот ты бы так г у л я л а... и т а к бы восклицала! Эх, милая... искусство — та же молитва! Работай, и будет нужно, угодно Богу и жизни. И — не отчаивайся, никогда! Непременно достань «успокоительного», очень хорошее «ephitose»: формула: teinture[i] de Crategus exyacanta — 5 gr.; Extrait fluide[ii] de Passiflora incarnate — 8 gr. Extrait fluide de Paullinia sorbilis — 2,5. Extrait mou[iii] de Valeriana officinalis — 2 gr. Alcoolature[iv] de Ballotanigra — 15 gr. 60. Excipient Q.S. pour[v] 100. Ваня[vi]

Чешутся руки (сердце!) — д а л ь ш е! Попробую... Твой Ваня

368

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.VII.44
Париж

Дорогая Олюша, все нет писем от тебя! Что же так мне платишь за м о е ?! Сейчас так дорого родное сердце! Да, исправь в стихотворении гр. А. К. Толстого, приведенном в романе, 3-ий стих:[66] надо, кажется, так: «Благословляю я свободу», но еще не сверил, нет под рукой. Господь с тобой. Старушка все

---

[i] Настойка (*фр.*).

[ii] Жидкий экстракт (*фр.*).

[iii] Слабый экстракт (*фр.*).

[iv] Спиртовая настойка (*фр.*).

[v] Связующее средство, достаточное для (*фр.*).

[vi] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 24).

не является, и не знаю, что с ней: очевидно, сильно больна. Мне, конечно, очень трудно, все кое-как, и неопрятно в квартире. Твой Ваня[i]

Вот. Еще 1 страничка, и VII гл. кончена.

[На полях:] Если и не суждено кончить, то и эта сотня страниц — свершение, освещает Дариньку, — самую суть.

В страшное время — 18 году писалась в о т т а к — «Неупиваемая»[67].

Одно знаю: такого не было, и — не будет. — Не похвальба, а — г р е ж у...

Пишу — как во с н е. Не скучно, а? но вся эта «длиннота» нужна — дать н о в у ю Дариньку. Ваня

369

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.VII.1944
Париж

Дорогая моя Олюночка, не исправляй, как я тебя просил в одном из последних писем, на 4-ой странице романа «четверг» на пятницу: так надо было, так написалось, и оказалось нужным, как ты усмотришь на 99 странице: я пишу по наитию, и это не раз оправдывалось, и тут вышло как раз — самоисправление. Глава эта — не особенно захватывающая, но она нужна, как увидишь, — я еще н е вижу, но — увижу, думается. Чего не надо — с а м о отвеется, в правке. А нужна была эта неточность, чтобы Даринька снова проявилась: эта сцена — «я п о й д у...» — находка! А ты чувствуешь, к а к наша «встреча» была нужна для восполнения лика Д.?! ты чу-вствуешь, глупка?! Вот оно — взаимопроникание! А ты-то мне порой скулила!.. Все т а к, к а к — смею позволить себе подумать — надо по высшей Воле... — даже и в таком малом, как труд писателя. Если бы эта книга исполнилась и дала чистый плод! Да будет Его Воля! Господь с тобой, мой дружок. Твой Ваня[ii]

Отвратительная бумага, промокает! Ищу лучше. Ваня

[На полях:] Исполнилось сто страниц романа!

А письма от тебя, с 9.VI нет и нет. Вот это гонорар!

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 25).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 26).

370

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VII.1944
Париж

Дорогая моя Ольгуночка, сейчас письмо твое, от 21.VI[68]. Как долго шло! А я-то тебе с той поры послал чуть ли не 40 страниц романа! Если ты довольна прочитанным, то уверен, что дальше — не менее тебя возьмет: да, я как бы даю «рай», как ты сказала-угадала, так и называется 7-ая глава — «Земной рай». Пишу 8-ю главу — Делание. Видишь, что происходит с Даринькой? И все — обосновано. Моя задача — дать русскому читателю пример благостности и роста. Это ему по-плечу! Этим и живу. Написано 104 стр. Очень хочу — дальше, дальше, как Д. Хорош пчеляк-то? И все у меня натекает само. Я за минуту до написания и не думал об Егорыче, — он сам родился. Целую. Ваня[i]

Ну, пей мои сны! Твой Ваня

[На полях:] Конечно, я вижу, как увидел, когда писал «Свете тихий» — и носил сколько же времени! Теперь — рожаю.

Часть из «Свете тихий» — если дойду до [креста], должна влиться в роман, — это «сердечко» — «благословен плод».

Счастлив, что ты, слава Богу, здорова: «ком» — нервное ясно. Изволь заказать, что я тебе написал, — успокоительное.

Тобой и творю, и все это было нужно! Вот он, — Смысл-то! Сие — Его Воля.

371

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.VII.44
Париж

Дорогая Олюша, теперь начнется действие романа. Даринька оформлена, как и «Уютово». Кажется, мне удалось показать превращение, и — «перегрузку» ее души, до беспамятства. Это было ее «крещеньем» — для делания благостного, ее влияния. Смотри, она уже окончательно заслонила В. А.! И — все заслонит, чтобы взять и вести.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 27).

Ах, милая, ты не учитываешь н а ш е й сложной обстановки: каждому только до себя, ну, я пока мызгаюсь. Анна Васильевна явилась, слава Богу. Но молока ни капли, а это для меня большой урон. Не знаю, хватит ли сил — писать.

Целую. Твой Ваня. Прошу — п и ш и мне, пусть с и м — позаботишься обо мне. А я — не сдам в работе, а? А ведь уже — 67! Пора, мой друг, пора...[i]

Твой Ваня. Итак: «Уютово» о ф о р м л е н о! — это было очень трудно.

372

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.VII.44

Дорогой Ванюша!

Спасибо за твои письма.

Пишу тебе в ужасном состоянии — сама не знаю, что с собой делать.

Бросила музыку! Сейчас отправила письмо учителю. Нет смысла. Я совершенно больна и 2—3 ночи до дня с уроком музыки уже не сплю, кошмары все о музыке. А с невероятной радость начала учиться, — проснусь — и радостно: «а внизу меня ждет рояль»! Но я так волнуюсь (что ли?), что не могу играть. Одна когда, то хорошо идет, а с учителем — один скандал. Последний урок — был пыткой. Пальцы липли к клавишам. Я все, самое простое, проигранное давно уже, не могла играть. Одни ошибки. Отчего? Массу готовилась. Но согласись, что подобные уроки отнимают охоту. И еще если бы, не ночи полные кошмаров! Мой «ком» в горле не проходит. Я вся нерв, и при том больной. Для меня омерзела музыка. Рояль я закрыла и ноты спрятала. Мне больно учителя старика (очень бедного еще) обидеть, и я мучаюсь. Мои все меня ругают, воображая, что я скромничаю. А я страдаю не меньше их. Но учиться так я не могу! Проигранные мной одной без единой ошибки 2 листа, являются на уроке для меня непроходимой трущобой. И я знаю, что теперь кончено. Я уже панически боюсь этих уроков. Мне совестно мучить терпение старого учителя. И все, все! Я бросаю н а в с е г д а!

Как бросила живопись в 21 году.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 28).

Я не беру **и никогда не буду брать** уроков рисования. Unsinn![i] Я все, решительно все сожгла. Точно также, как спалила все остатки бумагомарания пером. После твоего разбора «ландышей»[69] не пишу даже дневника. Взяла у доктора (мотивируя перепиской для себя) подаренное ему, и тоже уничтожила. Он не хватится — очень уж занят.

Квиты с искусством! Оттого-то мне и больно от чудесных произведений, — храм-то сей для меня за семью замками. —

Не пиши мне того, что обычно говорят: «всякое начало трудно», «корень ученья горек...» и т. п. ерунду, чушь. Здесь сложнее. И я не ребенок. Я очень страдаю. Я уязвлена. И психологически не могу!

И оставьте меня с уговорами. Глупо было начинать. Не могу писать — изводит кто-то царапаньем гравия. Избила бы девку! Скребется часами у соседей...

Я ужасно устала от вечной внутренней какой-то гонки. У меня нет покоя. Как хочу его.

Оставь меня с искусством. Дайте мне просто, обывательски, по-женски пожить. Нет, не люблю «бабью» жизнь с их интересами. И подруг не желаю, Фасю, добродетельную душу иногда за бабью дурь презираю.

Как бы мне хотелось сознания, что я заслужила право на отдых и отдохнуть. В глуши, одной. А то все эти... желающие как-то за меня сделать, меня охранить, за меня самим до издыхания работать!.. Это же не помощь!

И я все в гонке: не опоздать бы, чтобы они не выхватили работу. Вчера до 12 ч. ночи возилась. Ночь спала мерзко, встала в 7 ч. Чувство такое, что все бы перебила и ушла. И прежде всего разбила бы рояль, проклятый, стоит, мозолит глаза.

Хотела тебе писать хорошо. Не могу ничего. Ты тоже мне пронзил когда-то душу — она болит, не заживает. Но молчу. Разлука с тобой мне тяжела, я тревожусь о тебе. Ты, как никто, лишил меня храбрости полететь в искусстве. Пришиб. Твои хвалы — не могут дать равновесия, ибо они были не sachlich[ii], я же понимаю.

Никогда, никаких видов художества. Не мучь меня, не пиши об этом. Пойми, что я этим болею. После «ландышей» я все рву. Ни одного русского слова. По-немецки для доктора писала и взяла. Я ненавижу профанацию и сотру ее у себя с корнем. Все акварельки бездарные, вся эта пошлость лежит кучкой золы.

Бросьте ваши замечания, я их ненавижу с института! Дайте жить каждому, как ему надо. «Зарывать талантов» не следует,

---

[i] Бессмыслица, вздор (*нем.*).

[ii] Объективные (*нем.*).

но при условии, если они есть! Надумают вот таковые и делать этим несчастными — грех!!!!

Целую. Оля

Я так устала... больше всего от самой себя. От своей усталости. Пью 2 раза в день валерьянку. Ни к каким лекарям больше не пойду. Все они прохвосты и гады. «Пути Небесные» меня очень захватывают. Я тоже не сплю ночи от них. Я мучаюсь всякой книгой, всем, что затрагивает душу. Недавно чуть не плакала от одной книги — разочаровал автор, написав гадость, вместо ожидаемого разрешения проблемы.

373

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VII.44
Paris

Дорогая Ольгуна, вот тебе начало главы «Аллилуиа». Она должна начинаться (в самом конце предыдущего письма), со слов — «На другой день после разговора о гречихе...» — так и исправь. Окончание этой главы — в следующих письмах (есть еще 12 страниц). Роман, как увидишь, раздвигается и яснеет мне. «Аллилуиа», — знаю — будет тебе по душке! Правда, — как выходит созвучно «Свете тихий»! Но, посвященный тебе этот «Свете тихий» уже жил, очевидно, во мне... готовился. При писании «Аллилуиа» случилось со мной то, что случалось при написании I части: прозрение! Я вдруг почуял, что надо (слепо!), открыть наудачу Псалтырь — чтобы выбрать «место из шестопсалмия»[70], — и вот, сразу увидал — что нужно! И что же из сего сотворилось. Пусть эта глава — тебе на радость к Ангелу. Целую. Твой Ваня[i]

374

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.VII.44
Paris

Вот, дорогая Ольгунка, продолжаю IX гл. «Аллилуиа». Сбереги. Не знаю, — теперь, ведь, ни за что не поручишься, — дойдет ли письмо «именинное»[71], завтра м. б., напи-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 29).

шу, а на всякий случай — с Ангелом тебя, родная! Будь, голубка, бодрой, здоровенькой, радостной, как Даринька. Целую твои светлые глаза, ясные. Пусть эти главы чуть заменят тебе мои цветы — ведь и тут — цветы! и — мно-го! и — знаю — живые! Слава Богу, во мне кипит. Ты видишь, сколько и как дано! Ты можешь видеть, приблизительно, как я работаю, по этим легким уже правкам по чистяку! А если бы видела — всыре?! И можешь сделать выводы как надо и как не надо. Твой Ваня[i]

[На полях:] Это, конечно, не «именинное»: именинное — для тебя — «Аллилуиа», и послал уже.

Еще и еще целую — лапки уже. Твой Ваня

Ем все-таки кое-что. А Меркулов иногда очень выручает.

375

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.VII.1944

И еще, еще — дорогу именинницу Олюшу праздную. Есть 1/2 пирожка с клубничным вареньем. Ничего, мне главное — не потерять вкуса... к работе. Смотри, ско-лько!.. Голова кружится от дум. И потому сон плохой. Теперь начинает вылезать действие в романе... — и все — как всегда у меня — без заранее обдуманного плана, — накатом. Но уж раз я написал — все пересмотрю много раз и тут уж ни с чем не считаюсь: все должно быть сковано четко — и законно. Я знаю, чего стоит даже эта малая часть романа. Знаю. Она уже кое-что дает — догадливому. О, сколько *ей* выпадет света и — страдания! (Крестный сон-то автор не забыл.) Но главная цель — дать родную стихию. Она помаленьку лепится... чуешь? [Полет]-то мне можно теперь увидеть и дышать в нем. «Гречневая каша», а? Нет: самокритика и — положительная, к счастью. Твой Ваня[ii]

Эта глава очень нужна, и потому — в работе, и размер ее широк. Ваня

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 30).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 31).

376

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VII.44
Paris

Дорогая моя, Олёк, сейчас твое, от 2.VII[72] — светлое, дивное, — так осветило! Все твое, июль 41[73], — сказалось для меня, не пропало. Оно — в моей работе, чувствуешь? Должно остаться и для тебя, и нечего жалеть, — есть. Во всяком случае с благодарением говори: было. Это — дарение, свыше. Мой роман не только реальность, он — повыше, я это чувствую, сам как во сне. Сейчас правил — и смеялся: какие же чи-стые, ну... ба-бочки! И что за чудо — человек! Каким он может быть! И во скольких «проявлениях»! «Дьявол» — пока! — среди «ангелочков». Но это даром ему не пройдет: «прости, он рек, тебя я видел...»[74] Гениальный Пушкин! А сцена-то с «роем»![75] Предстоят Дариньке и небесные радости... и — какой же Крест! Почему? — пока не знаю. Но — почему-то. Я — питаюсь... но рвусь к работе. И надо ковать железо... — а дальше... — и нечего о «дальше». Все сосчитано, измерено. Принимай, что будет надо. Еще раз — поздравляю с Ангелом — будь же благостная и радостная, здоровая. Твой Ваня. Крещу[i].

Есть еще стр. 6—7. Пой-дет... и вот дойдет ли до конца — не вем. Твой всегда Ванёк

[На полях:] Спасибо за цветок. Духи — я слышал. Спасибо. Дышал тобой, Олей.

В свободный час перечитываю «Житие протопопа Аввакума». Наслаждаюсь словом! И — Карамзина — эпоху Грозного. Ну, и плавность, и — чувства! Читала? Достань.

Я счастлив, что тебя захватило. Кому читал — всех! Юля — [в трепете]. Говорит — как ты помолодел — духовно! Но я — слава Богу — здоров. Нет болей.

Недавно спал ночью и не услыхал воя.

377

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VII.1944
Paris

Дорогая моя Ольгуночка, — вот тебе «цветок» — на День ангела. Это стоит «Свете тихий». И пусть это вернет тебе

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 32).

и обновит навсегда т о т день, 24 июля 1941 г. — когда ты открыла мой земной цветок. Целую. Ваня. В с я глава «Аллилуиа» — тебе[i].

Вчитайся в 21 гл. от Иоанна! Вдумайся. Все писатели мира, всех веков, не могли бы т а к! Э т о г о н е л ь з я в ы д у м а т ь: это — б ы л о. Какие «частности»!.. И это трикратное — «Симоне Ионин... любиши ли?»[76] Это — сверххудожество! Иоанн не мог (чуткость!) пояснять, поминать 3-кратное отречение Петра[77]. В с е кончено, з а к р ы т о. Но... д а л целомудренный намек... и сколько же светлой грусти! Какой т а к т — Его! Всю эту главу можно только лучами солнца начертать в небе! Эти «мелочи»... до расстояния лодки до берега, до числа улова! И помни — это все — явление, после Голгофы! Тут все утверждено, бесспорно. Б ы л о в с е: была Голгофа, была ночь холодная у огня... было Воскресение! В с е п о к а з а н о, все доказано: о щ у п а й! Как нельзя было выдумать покрывало и голоту убежавшего в страхе юноши[78] (у Марка, и юноша — только Марк, [сам очевидец] и участник). Оля, какое творчество в сем — Господа! Мы, писатели, можем лишь н е м е т ь в изумлении. Я счастлив, что ошибся и — нашел для романа — э т о! Был з а с т а в л е н (!) было т а к даровано... ошибиться — и так исправить. Часами мог бы говорить тебе об этой главе от Иоанна! Твой Ваня

Переработал часть этой главы и шлю сегодня, как раз в Петров день!!! Так вышло.

Исправь-зачеркни на 14 строчке 113-ой bis[ii] «из шестопсалмия»[79].

378

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.VII.44
Paris

Дорогая моя Оля, этой главой (11-ой)[80] как бы вступление ко 2-ой части романа завершается. Устрашает меня объем в с е г о. Ну, да что Бог даст... Мне живется т р у д н о, но... force majeure![iii] Ни капли молока, уже 3 недели. Приходится и хлеба искать. Спасибо Меркулову, он — о д и н! — выручает,

---

[i] Далее в оригинале вариант части главы «Аллилуиа» романа «Пути небесные» (Приложение. № 33).

[ii] Здесь: второй вариант (букв. второй, *фр.*).

[iii] Непреодолимая сила (*фр.*).

как может. А эти дни... ну, нечего скулить, мелочи, (возможно, племянница уехала на дачу — давно не была). Теперь... ну, кому *до*... писателя! И почему я должен притязать на особое внимание? Разве мне мое искусство ма-ло дает... — душе-то! Ведь таких, как ты, — днем с огнем поискать! Не тревожься, я все же всегда сыт, и Юля заботилась... теперь ей трудно добираться на дачу, а приходится все же. Ну, как говорила Марковна, жена Аввакума: «ино еще побредем!»[81] Целую. Ваня[i]

Конец этой главы посылаю. Ваня

379

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.VII.44

Ах, милая Олюша, до-зируешь же ты письма, про-визор! Перебрал — вижу: через 13 да через 15 дней... Так. У меня все меньше и меньше — в с е г о. А теперь и — писем. А скоро и это кончится. Ну, Господь с тобой. Я на тебя не пеняю, ни-ни... и с чистым сердцем говорю: милая, будь здорова... а там — что Бог даст.

Возможно, что замедлю — ничего не написано. Твой Ваня[ii]

Господь с тобой. Твой Ваня. Сегодня я сыт.

380

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VII.44
Paris

Дорогая Олюша, невзирая ни на что, продолжаю «Пути Небесные» — при всем видимом б е с п у т и и. Это меня у в о д и т. Все возможно, чего и не ждешь, и ждешь. А ты мало мне пишешь, — за мое-то многописание! Я в е с ь в работе (не всегда и поем), и потому не пишу длинных писем тебе, у меня ни минутки незанятой. Ты видишь... боюсь не успеть. Ну, все же и того, что д а н о — есть что-то. Но ч т о должно бы быть, я уже в и ж у. Скоро войдет Дима, но мне никак несму-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 34).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 35).

тительно, совладаю с сим. Теперь мне ясно, что 2-ой этап жизни моих главных героев — закончится смертью Даринькиного ребенка (один из «гвоздей» Крестного сна). И это будет II частью. III ч. — восхождение... полное! Во II части будет болезнь В. А. ([тиф брюшной]) и исцеление — по молитве старца. Это ведет в Оптино. Во II части — смерть Димы (в имении Кузюмова) и — страшный «случай» (Кузюмов.). Победа Дариньки. Значит — пи-ши! Твой Ваня. Господь с тобой[i].

Спешу на почту. Ел только суп — вчерашний, не мог поварить. Да — из чего? Все меня что-то забывают, да я не ропщу. Один Меркулов еще заботится. Ваня

[На полях:] Елизавета Семеновна с ноября — в Fontainebleau, забилась с сыном в норку... куда ей заботиться! Да и не надо мне ничьей заботы. Господь позаботится, если будет Его Воля.

Умер священник о. Сергий Булгаков[82].

381

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VII.44
Paris

Милая моя Олёнка, обеими лапами пишу. Но боюсь зачахнуть. Что, кажется — не сдаЮ? а? Нет, все вижу. И все помню. А пора бы и... ведь — скоро к 70. Понравился тебе «случай с малиновкой»? Мне — да. Я ее вижу... И ты видишь, знаю. Очень трудна, конечно, сцена с портретом, но я ее взял шутя, — на-чи-сто-с! А она — нечто. Ах, как бы я тебе истолковал 21-ю главу (последнюю) от Иоанна! Почему даже... 153 было рыбы[83]. Знай: у профессионалов, рыбаков, охотников.... исключительные удачи входят в кровь, передаются от поколения в поколение. «Иван-то [1 сл. нрзб.]... был такой... так он в одну зиму... лет 50 тому... 17 медведев взял!» Вот этот случай дал Иоанн Богослов, такой умеренный на факты. Этот улов был, — и был после Голгофы. А что бы я тебе насказал! Твой Ваня. Господь над тобой, милочка[ii].

[На полях:] Я и молодым не писал так много! Подумай, за год что дал, «Лето Господне», «Пути» и еще.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 36).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 37).

Это же на 2 томика!

Всегда я был свободен в писательстве, не приглядывался «по сторонам». А теперь обрел полную свободу. Не стыдно, не страшно — ни-чего! Правду, с в о ю, пишу.

Целую. Твой Ваня. Если бы довелось завершить!

382

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.VII.44
Париж

Очень интересное письмо твое от 8.VII[84], дорогая моя! — о Диме. И все — о-чень верно. Но я-то и не думал т а к повести роман. То, что думаешь, остерегая меня, было одной из многих вариаций, сразу же и отброшенных. Дима для романа н у ж е н, и о н я в и т с я, чтобы... уйти с о в с е м. О нем уже будет в следующей главе «О г л у ш е н и е»... (случай на путейском обеде[85] у Касьяныча на Зуше, когда появляется... Кузюмов. Он-то и «о г л у ш а е т»). Сейчас и пишу сие. Пройдет и Кузюмов, — и очень драматично... — но Даринька уже забронирована. Уверен, что ты меня «поймала» на ошибке за «в с е н о щ н о й»... — послал тебе это 8-го, а уж 11-го нашел, переработал — и как еще! — и послал н о в о е — 12-го уже. Эта ошибка пошла мне впрок, как и будущему читателю, если Бог судил. Временами очень на душе [смутно], — «ничего в волнах не видно»[86], а кажутся все... для нас (и для меня, в частности) — великие испытания, до... †. Ну, что Господь даст. Мне бы только хоть главную часть закончить, о б о л ь ш е м не думаю. Дивятся, как я работаю. И сам на себя дивлюсь. 24-го буду здесь в церкви. Целую. Господь с тобой. Ваня[i]

[На полях:] Понравилась тебе «птичка»? Мне — о-чень. И так — нежданно в ы ш л о !

Как хочу дышать, а ку-да по-е-дешь! Как же я у-стал!

Пожалуйста, побереги копии, у меня может и пропасть. Только 2: мой печатный список и твоя копия. И лень, и хлопотно.

А черновики я рву.

Не забывай меня, пока возможно. Ты д о з и р у е ш ь письма! За 4 месяца всего девять—десять. Ну, не стану подхлестывать — вольному воля. В.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 38).

383

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VII.1944
Париж

Дорогая Олюша, вот дальше, из романа. Есть еще, страниц 5—6. Но я устал-таки. Прерывать работу не могу, все во мне ж и в е т. Воображаю, как ты ужасалась моей «ошибкой» с 50 псалмом, но я тут же и нашел ее, и отдал день (Петров!) на переработку, и послал тебе. Вышло, думается, п о л н е й. Сцена с большим раком — н а х о д к а! Она, конечно, может понравиться, но мне не это важно, а тут — о н а! Вообще, наша стихия, лежавшая подспудно во мне, — находит себе в о з д у х. Твой Ваня

Сейчас — страницы, после «рака»... — о г л у ш е н и е... Надо их в з я т ь![i]

Сейчас будет «вкусное». Ваня

384

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VII—44
Париж

Дорогая Олюшенька, спешу послать продолжение моего романа. Эта сцена «на Зуше» о г л у ш и т Дариньку, а почему — увидишь, если Бог даст, в следующем. Тут «у з е л» романа. Но не вершина. Твой Ваня. 6 часов вечера, а я еще... не завтракал, с 11 часов утра! — С п е ш и л — послать. Целую. Ваня[ii]

Ну, что дальше... — сейчас должно быть очень в а ж н о е, оглушающее... — увидишь, Бог даст. Зайдет речь...

Твой Ваня. Спешу на почту, 6 ч.

385

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VII.1944
Париж

Милая Олюша, ты продолжаешь «дозировать» свои письма. Была одна отрада (работы не считая!), а вот... Новостей

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 39).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 40).

у меня нет. Вчера был в церкви, панихида по Оле. Были самые близкие — Юля, Серов, Меркулов. Пришли ко мне на чай... (редкость это, последнее). Ухожу в работу. Поустал, м. б. — остановлю, буду почитывать, разное. В следующей главе — как это почти всегда, в «Путях Небесных», — В. А. дает анализ «онемения» — в случае с «выходкой» Дари... почему — изумление! Надо. Для «нечутких» — слушателей «рассказчика». Хочется мне форсировать роман... перескоками. А то — «на-долгих». Твой Ваня

Иногда... охладеваю в писаньи. Усталость..?[i]

Следует. Ваня

Колебался в возможности «прояснения» Настеньки.

Думаю, что это возможно. Доктор говорит — да, да, — «раскостенение». Но надо пояснить, что и попытаюсь.

386

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.VII.44 Париж

Дорогая Олюша, досылаю главу романа. Очень устал. Пока остановлю работу. Читать буду. Тянет к евангельскому, перечитываю Мережковского «Иисус Неизвестный»[87] — 2 т., но не рассуждения его мне нужны, а собранный им огромный матерьял — аграфы, апокрифы, «Отцы Церкви и критика». Читаю по малости, а вперемежку — Достоевского. Так бы хотел достать атлас русских цветов!.. Нету. Вижу, что роман упростится. Твой Ваня. Господь с тобой[ii].

Когда еще пошлю — не могу сказать. В.

От тебя давно нет письма.

387

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.VIII.44
Париж

Дорогая Олюша, я не помню, что я писал, о чем ты спрашиваешь — «пока мы такие»... напиши весь кусок из письма.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 41).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 42).

Вставь в разговор о пироге у батюшки — 3 раза — пропущенное — с зеленым луком и яйцами! Рад за тебя, что могла справить именины... вот польза фермы. Ну, для меня это недосягаемо. 1 1/2 мес. не вижу капли молока. Вчера впервые получил — по режиму! — 1/4 л. Сегодня свернулось, но я и это съем. Хорошо, что аппетит пропал... И снова что-то... отрыжки, «бунт», хотя пока нет болей. Как с таким питанием можно работать?! И я — 5 дней — ни строчки. Я устал. Нет, не завершу я «Путей Небесных»... Настроение... что писать тут! Радуют только письма от тебя. Рад, что «Аллилуиа» — по душе тебе. У меня не хватит пороху на сильные страницы. Ну, можно ли ликовать, когда... ну, хоть зубы болят. А тут... О твоих болезнях — не думай. Твой Ваня[i]

Есть еще страницы 4. Ваня. Меркулову сказал привет — он был рад. Ваня

[На полях:] Нежданно вчера получил (4 1/2 мес. ни звука!) от Земмеринг 1 фунт гречневой крупы.

Анна Васильевна сварила кашу — слава Богу.

В твои именины съел 1 картофелину с яйцо и кусок черствого хлеба с каким-то сиропцем. И еще 1 яичко. Да это все пустяки.

И питание мое — случайное. Хочу дышать, а воздуху нет. Без него не могу работать.

Не жалобись над моим житием, ничего от сего не изменится. А о тортах пиши — «в-приглядку» будет мне.

388

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VIII.44
Paris

Дорогая моя Олюша, не знаю, смогу ли еще написать тебе и послать следующие главы: у меня есть еще стр. 5—6. Под названием XV главы[88] не разумей отрицательного: наоборот, это как бы восторг и «головокружение» — забытье. Открытие В. А. Дариньку ошеломляет. Будет дана страничка ее темной жизни, по показаниям бывшего дворецкого, где жила (справки адвоката). Это ее последняя поездка, такая бурная. Между прочим в романе будет дана «дуэль» — В. А. и Ку-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 43).

зюмова. Вагаев проходит п р и з р а к о м. Он или совсем слепнет, или — умирает, — м. б. и стреляется. Встреча Д[ариньки] и матери Вагаева. Жуткая сцена в доме у Кузюмова. Это все — за 1 год. Потом — Даринька беременна, роды, болезнь В. А. — и — первое знакомство с Оптиной, — б л и з и т с я перелом... Пока — вот. Но это лишь — с х е м а... Целую. Ваня[i]

Стоим перед — ? На все Воля Божия. Кой-как справляюсь с жизнью. Если бы не эта работа... истаял бы. Помни, твои письма мне — свет. Господь с тобой. Крещу. Ваня

389

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VIII.44
Париж

Дорогая Олюша, влекутся дни. Не заглядываю вперед. Только бы была воля — писать! Как же воздуху хочется... в о з д у х у! Проходит лето. Сплю плохо. Сейчас читаю — разное, к душе и м. б. как-то — и к роману. Читаю «Петр и Иоанн»[89], С. Булгакова, Карамзина, «Иисус Неизвестный» — Мережковского. Эх, на море бы посидел! А лучше — на речке, где-нибудь в с в о е м крае... — п и л бы с в о е в и н о! Господь с тобой, моя чудесная! И да хранит тебя Пречистая! Твой Ваня — Ив. Шмелев[ii]

М. б. и дошлю дальше... Ваня

390

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VIII.44
Paris

Дорогая моя Олюшенька, все-таки я продолжаю писать роман. Н а д о , иначе души не соберу. Следующие сцены, после дома и церкви — в «княжеской богадельне», «кн. Куракиных», тут же, поблизости. Даринька видит бывшего дворецкого, отцова, — и с л ы ш и т, от него, — главное. Он ее «на руках держал когда-то». Тип! Сцена эта сбивчивая, с перебро-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 44).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 45).

сами, — а в с е дано будет в особой главе (справка адвоката, «со слов дворецкого»). Что дальше — темна вода (не о романе я). Кое-как тащусь. Все закрыто моей работой. Это — мне милость Божия. Целую и благословляю тебя. Твой Ваня[i]

Досылаю одновременно[ii]. Ваня. И есть еще немножко. Но я бы расписался!..

391

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VIII.1944
Paris

Милая моя Олюшенька, очень давно (с 1-го VIII)[90] нет от тебя. Очень мешают «шептуны», я их гоню: «могу уделить лишь 2—3 мин., я весь в работе». Дураки — обижаются!

Теперь мне ясно все развитие «Путей Небесных». Дари — забронирована. И укреплена. После дуэли с Кузюмовым (не скоро) — болезнь В. А. (тиф, кризис, и чудесное излечение — был на краю...) — Поездка в Оптино. А Дима пройдет — скоро — в 1—2 главах — м. б. он ослепнет на оба глаза, чтобы — прозреть духовно. Еще не знаю. Господь да хранит тебя, моя дорогая Олюша. Твой Ваня

Очень спешу. Боюсь — ну, не примут![iii]

Твой Ваня. Напиши же мне. Не скучен роман, а?

392

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.VIII.44
Paris

Дорогая Олюша, очень я заработался, устал. Едва держу перо. Спешу послать тебе... Эту сцену, особенно, в богадельне, — трудная! — очень перерабатывал. Она нужна — для упрочения Дари — в ней самой.

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 46).

[ii] Окончание письма со слов фрагмента романа «Пути небесные» «Оставленное место...» (Приложение. № 46) отправлено в одном конверте со вторым письмом от 8 августа 1944 г. (№ 391).

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 47).

Целую. Твой Ваня[i]
Никогда еще так спешно не работал. Крещу. Ваня

393

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.VIII.1944
Paris

Дорогая Олюша, с 1-го нет от тебя строчки.

Да хранит тебя Господь!

Все еще — 15-ая глава романа. Дальше будет дана г р о з а, — и сцена у н и х, в «Славянском базаре» — разряжение в с е г о. Ваня. Целую[ii].

Не ругай, читай. А м. б. и похвалишь. Ваня

Достал картошки. Вид сравнительно ничего.

394

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.VII/11.VIII.1944
Paris

Дорогая моя Олюшенька, вот, досылаю тебе конец XV главы «Путей Небесных». Все же, хоть и в 15 главах, есть некоторая «завершенность»... Будущее — неизвестно. Я рад, что мне, в таких трудностях для спокойной работы, все же удалось что-то дать этим куском романа (I—XV гл.). Дальше — главное: раскрытие В. А. Даринька почти г о т о в а. Будет, мимолетно, натиск на нее, Кузюмова, проходит слепнущий Дима, м. б. дуэль В. А. с К[узюмовым], ранение Кузюмова — его у с п о к о е н и е. Болезнь (тиф) В. А. — чудесное выздоровление, Оптино... начало связи с ним. Между этим — «оркестр земли», жизнь Уютова, зима, весна, осень... — мальчики (они так и не узнают), делание... музыка (игра на фисгармонии — сюрприз!) — Д. учится пению. Циник-доктор... Эх, много всего, и — как отзывается дело Д. — на в с е м... ребенок. Но у меня голова устала... что Бог даст. Помолись за Ваню[iii].

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 48).

[ii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 49).

[iii] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 50).

А дальше — Воля Господня. Крещу, мой светик. Твой Ваня. Ив. Шмелев

395

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.VIII.44
Париж

Дорогая Олюша, не знаю, удастся ли посылать дальше, как события сложатся[91]. Буду писать, если не изменят силы, если позволит жизнь. Она слишком темна. Голубка, я знаю, что ты думаешь обо мне... — и это меня крепит. Единственное мое убежище — работа. А что будет... — только бы Бог дал силу перенести и достойно кончить путину... Самому чуднО как-то! — тут апокалипсическое[92], а я ушел в Образы мои, живу каким же чуждым всему, что гремит, грозится... И как же ясно, что все это — итоги ошибок и преступлений человечества! — недоросшего до включения в жизнь Правды Слова. Да будет над тобой, родная, Милосердие Господне! Поклонись маме и Сереже. От тебя последнее письмо было получено 1 авг. (от 25.VII). Крещу тебя. Твой Ваня. Ив. Шмелев[i]

Твой всегда Ваня. И — благодарю за твою любовь, за твою дружбу и сердце.

396

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.VIII.44
«Overbosch» Garderen

Мой дорогой милый Ванюша!

Эти дни в горячке сборов была и не урвала часика для тебя. Уехала на отдых. Собралась-таки. С пятницы тут. Гощу, или собственно наполовину гощу, т. к. условилась именно жить самостоятельно и ни от кого никак не зависеть, — у сестры Арнольда и ее русского мужа. Они же в свою очередь нанимают, как эвакуированные, дом у Фаси. Чудно здесь. Похоже на наше... бугры, холмы, пески, березки... много березок. И сосны... шумят... И масса вереску. Солнце, жара. Вчера гро-

---

[i] Далее в оригинале фрагмент романа «Пути небесные» (Приложение. № 51).

за была. Ах, до чего красиво небо бывает тут, и его так далеко видно. Все открыто, не застроено. Кой-где только затерялись виллы. Дом благоустроенный, все есть. И ежевики тьма. Вчера, когда все ушли купаться, мы с Юрием пили чай с моим (собственная, малина) вареньем и чествовали Преображение. Больше-то, к сожалению, никак не отметила. Кое-как помолилась. О тебе, хотя все время думаю — молюсь. Ванюша, как-то ты!? Нет минутки, чтобы не мучилась этим вопросом. Я думаю, что мои письма к тебе тоже пропадают, — я писала последнее время раза 2 в неделю, а ты упрекаешь. Твои пропали — 5—6, а то и больше. Я в отчаянии, что разбиты главы «Путей Небесных».

Вчера бродила по вересковым зарослям, нашла белый. Посылаю тебе на счастье!

Пчел какая масса... наверх слышно как жужжат они в этом лиловом ковре. И как же тут все пересохло... Дождик брызнул, но этого так мало! Березки милые мои пожелтели, сыплют листочки. Трава сгорела прямо. Фася с дубиной и Леной[93] оказалась тоже тут до завтра, а дубина м. б. и дольше. Ночью у Ф[аси] был опять припадок, а уж год не бывало. Дубина ее за это отругал, а Лена на него полезла. Она здоровенная, чего доброго и в драку пойдет. Ну, скандал. Фася бледная сегодня, плачет украдкой от мужа, нарядного по воскресному и пьющего на веранде кофе. Ну, как ее утешишь? Говорю: «не расстраивайся, каждой из нас свое дано, ну, уже неси, не вдумывайся лучше, если изменить нельзя...» Нет, там изменить ничего нельзя! — Увы. Жаль ее.

Ленка вчера мне открылась: «не могу полюбить дядю Yo, — маму мамой зову, а его дядей. Не могу!» и дальше: «все равно я потом замуж выйду... за русского...» Страстно так повторила: «тетя Оля, я только русского хочу найти, а эти нас не понимают, как и мы их никогда не поймем». Ей 13 лет. Правда, она очень развита и душой, и физически.

Помолчала и говорит: «я в гимназии начну учиться, думаю, что сразу под своей и фамилией пойду... маме это все равно, я спрашивала... мне ее не хочется обидеть, а дядя...» Девчонка сорванец, но молодец. Может еще и Фасе стать опорой. Умна и самостоятельна. Хорошенькая шельма.

Я до отъезда тоже с одной такой девой возилась... Прелестная Лиличка[94]. Русская. Мать сумасшедшая, но дома. Читала ей твой «Последний выстрел». Она глазки утирала. А когда я сказала, что этот дядя, который написал, в Париже, что я его знаю, то страшно заинтересовалась и все сокрушалась, что тебе должно быть плохо теперь. Трогательны бывают детки. И так мало они видят сами тепла.

Напиши мне скорей, ради Бога, о себе. Неужели ты не можешь себе представить, как я волнуюсь? Здесь почта открыта только 1 раз и страшная даль, понесу письмо только завтра. Ах, Ванюша, когда же мы увидимся!? Господь да сохранит тебя, оградит от всякого зла! Обнимаю тебя и целую, и молюсь за тебя, солнышко. Оля

397

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VI.45

Только что послал письмо[95], получив сегодня твое от 23.V[96]. Сегодня мой Светлый День, и счастлив я, еще могу к тебе и близким твоим воскликнуть — Христос Воскресе! Тяжела, темна жизнь, но — жизнь, все-таки, вопреки всему, — жизнь, Жизнь! И будем достойно наполнять ее, исполнять дарованное нам Всеблагим. Прекрасный, высокий дар, и все возможности даны нам хранить этот дар и преумножать, и совершенствовать. О, какие силы-права дарованы! И как небрежно-преступно искажены! Ищу, всюду ищу сознания ошибок, греха и — преступлений, — и нигде, ни в чем не вижу, не слышу. И великое слово наше, духовные силы наши — обречены на бессилие. И все же, несмотря ни на что, вопреки всему — восклицаю: Воскресе Христос!

Господь с тобой. Ваня

398

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.VII.45

Здравствуй, дорогая именинница, Господь да хранит тебя! Приветствую тебя, освобожденную, светлую, уповающую. Только бы ты была здорова и сильна душевно! Жизнь нелегка, — и неведомо, какие еще испытания несет нам. Все чуткие — а ты исключительно восприимчива-чутка, — получили за эти страшные годы и жестокий опыт, и очень болезненные раны в сердце. Милая, как я разбит! какие жуткие итоги в душе сложились! Какое нравственное бессилие обнажили в людях эти годы! Опустошение душевное. Но что это я?! ... — в твой-то святой день! Святая твоя великой душев-

ной силой обладала, — так это видится, — хоть и скудны летописи об этом. Кипучая натура, и так понятна ее воля найти пути! Нашла, внука вывела на великий путь, откуда пошла вся наша знаменательная сущность, еще не сказавшаяся в мире — главным, лишь чуемым. Голубка Олюша, будь вся голубая-светлая, как лазурь, твори и пОлни жизнь желанным!

Как хотел бы душу открыть тебе, — столько глубинного высказал бы, — дней не хватит! Ведь ты мое с полслова понимаешь, как я — твое. Какое бы это было душевное наполнение!

Я вступаю в третью книгу своего труда — «Пути Небесные». Жду от тебя ответа, сколько страниц копии романа у тебя, что дошло до тебя от последнего моего письма[97] от августа прошлого года? Хочу знать, что сталось с твоим яблонным садом? с твоими курами? Меня всегда радует твое — о живом. Помнишь, советовал тебе писать о ферме. О, какая огромная картина! — особенно, за эти страшные годы. Пишучи о ферме, ты дала бы все, что было, — все, с чем связала земля: людей, их жизни-судьбы, их отношения... — это была бы трагическая эпопея! Такое было чувство у меня — настаивать: пиши! Вот где развернулся бы твой бесспорный дар. Ведь ты мне «кусочки», крошки давала в письмах, и по ним я видел, что важно, нужно писать тебе. А свето-тени! Небо и вода, и зелень!.. Какое раздолье! — И какая свобода — форма! Просто, непритязательно, — день за днем. Ты остро-памятлива, впечатлительна: ты и теперь могла бы. Я загодя предрекаю огромный успех! Подумай: в какую пору ферма жила! И — как неумолимо надвигалась гибель! Тут ты всю душу твою открыла бы, — ибо все тут можно сказать обо всем. От Бога до последнего червячка, до стонущих под топорами тополей канала. И — картина — вода идет! когда взорвали[98]. Дай, умоляю тебя — начни. Только начни — увидишь. Я давно не получал письма от тебя. Жизнь моя невесела, весь я в томленьях перед неизвестным. Вот, вложусь в работу, — отпустит. Целую тебя, дружка моя заветная. Мысленно убираю твою комнату, — и твою милую головку, — цветами. Последнее твое письмо[99] получил 26.VI — и в тот же день тебе написал[100]. Всех твоих поздравляю с дорогой — единственно-дорогой — именинницей! Твой Ваня

[На полях:] 22.VI служил панихиду, 24-го м. б. соберусь в St-Geneviève на могилку.

Узнай, сколько можно страниц писать? У нас на почте не ведают.

Завтра м. б. уеду на 5—6 дней на воздух.

Как вы живете? Как питаешься? Оля, берегись спать в сыром помещении! Если можно, пускай электрический радиатор у постели.

399

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VII.45

Chère Madame Olga Alexandrovna, votre dernière lettre avait été datée «le 16 juin». Je suis inquiétant: comment vous porter-vous, — et votre famille aussi? Ma dernière lettre à vous — du 10 juillet. Je suis malade ces jours-ci et je ne puis pas écrire. Mon cœur est trop affaibli. Je me couche pendant le jour tout entier. C'est le total de tous ces évènements, — j'attends vos nouvelles. I. A. Iljin s'est montré comme l'ami précieux! — et comme je voudrais (hélas — c'est impossible!) rendre à Vous tous ces «colis suisses», qui parviennent de la part de lui et d'une americaine ma lectrice! — On édite «Histoire amoureuse» (Tonitchka!), je change son titre: «Printemps tumultueux». On réédite «Garçon». Je souffre de ma maladie et parce qu'il n'y a pas de nouvelles de vous. T. à vous Chmeleff[i] [101].

400

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.VIII.45

Lieber Iwan Sergeewitsch, soeben Ihre Karte in französisch. Ich bin unglücklich darüber, dass Sie krank sind! Wie schrecklich sich

---

[i] Дорогая Ольга Александровна, Ваше последнее письмо было датировано «16 июня». Я беспокоюсь: как чувствуете себя Вы, а также Ваша семья? Мое последнее письмо Вам — 10 июля. Я болен эти дни и не могу писать. Мое сердце слишком ослаблено. Я лежу в постели целый день. Это — итог всех происшествий, я жду известий от Вас. И. А. Ильин — образец преданного друга! — и как бы я хотел (увы, это невозможно!) передать Вам все «швейцарские посылки», которые дошли по поручению его и одной моей американской читательницы! — Издается «История любовная» (Тоничка!), я изменил ее заглавие: «Весна шумная». Переиздается «Человек из ресторана». Я страдаю от моей болезни и оттого, что от Вас нет известий. Ваш Шмелев (*фр.*).

macht es zu fühlen um Ihnen zu helfen!... Ich schrieb Ihnen schon, dass ich krank gewesen bin. Vor 2 Tagen wieder aufgestanden, alles gut. Ich danke Ihnen für Ihre Gratulation für meinen Namenstag. Es war ein sehr stiller Tag — ich lag im Bett mit einem strengen Diät. Schreiben Sie bitte mir genau was Sie haben! — Wie glücklich, dass Ihre Bücher ausgegeben werden! Ich bin in Gedanken stets bei Ihnen. Seien Sie um in Gottes Namen vorsichtig.

Ich schreibe diese Karte in der Hoffnung, dass sie schneller Sie erreicht. Der Brief soll direkt folgen! Ihre Karte habe ich völlig verstehen — denn, aber selbst in französisch zu schreiben wage ich nicht, obwohl diese Sprache sehr liebe.

Immer für Sie betend und an Sie denkend wie früher, Ihre O. S.[i]

401

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IX.45

Милая Олюша, сообщи тотчас же, — давно жду, — *по* какую страницу у тебя имеется рукопись «Путей Небесных». Теперь можно слать заказной бандеролью. Вышлю тогда, немедля, остальные главы до конца. Какими словами кончается твой «хвост» рукописи. Вчера получил твое письмо от 17—19 сент.[102] и вчера же ответил на письмо от 6-го[103], где картина «праздника освобождения». Сегодня шлю! А эту открытку шлю, чтобы быстрей дошла. Я оправился от болей, начинаю работать, — Господи, благослови! — приступаю к 3-ей книге «Путей». Ничего не в и ж у, куда замахнусь, но... пред-вижу.

Здоровья, покоя, полного дыханья! В.

---

[i] Дорогой Иван Сергеевич, только что Ваша открытка на французском. Я страдаю от того, что Вы больны! Как ужасно чувствовать невозможность Вам помочь! Я уже писала Вам, что заболела. Уже два дня как я встала, все хорошо. Благодарю Вас за Ваше поздравление ко дню моих именин. Это был очень спокойный день — я лежала в постели со строгой диетой. Пожалуйста, напишите мне точно, что у Вас! — Какое счастье, что Ваши книги распроданы. Я постоянно думаю о Вас. Ради Бога, будьте осторожны.

Я пишу эту открытку в надежде, что она быстрее дойдет до Вас. Сразу за ней будет письмо! Вашу открытку я поняла полностью – но сама по-французски писать не осмеливаюсь, хотя очень люблю этот язык.

Всегда молящаяся за Вас и думающая о Вас, как и раньше, Ваша О. С. (*нем.*).

[На полях:] Гони девицу — получишь духи.

Живу — хлеб жую. А для чего?.. Как я рад, что ты бодра. Молодец — во всем!

402

О.А. Бредиус-Субботина — И.С. Шмелеву

2 окт. 45

Ванюшечка родной, прости, что так задержала с ответом на твой вопрос о последних главах «Путей Небесных», имеющихся у меня. Сейчас твое письмо от 25.IX[104] и 26.IX и тотчас пишу. Последнее письмо с «Путями Небесными» было от 15.VIII.44, страницы 197—200. Начинается словами: «Кто такая красавица?.. А вот такая-то. Чего она в черном? А родители померли. Липочка и заплакала при нем»... И заканчивается «Вот и все, что узнал адвокат. Справку свою закончил: “Это, действительно потрясающий роман, по плечу разве только Толстому или, скорей, Достоевскому. Я дал только оболочку”».

Скорей бегу на почту, еще нет 8-ми утра. А оттуда еду к «попадье» отказаться от участия, вернее, от водительства и распорядительства на свадьбе. Это мне не по силам при ситуации «рыба, рак и лебедь»[105]. В прошлое воскресенье здешний пастор меня публично благодарил, — и напрасно. Как они все мало мир знают. Мне не надо этого, а вот у других-то губу разъело. Нельзя дразнить людские страсти. А мне давно подобные почести мишурой и ветошью маскарада представляются и только смущают. Целую, Ванёк, и много буду думать о тебе в День рождения. Твоя Оля

403

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

День св. апостола Иоанна Богослова[i]

Ванечка, роднушечка, имениннничек мой милый...

Сегодня особенно думаю о тебе. Завтра летит Толен в Париж. Я узнала только вчера поздно вечером.

Сидела последние 10 дней без прислуги, сперва она была в отпуску, а потом, ввиду некоего «недоразумения» вчера

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: с приезжим из Голландии: 14.X.45.

просто сбежала с работы, оставив меня среди отчаянной суеты. У нас эта несчастная свадьба пасторской сестры завтра.

Меня осаждают. Девчонка с отпуска явилась на 3 дня без предупреждения, и на мое замечание, что это не годится (заметь: я не бранила ее, я только сказала, так не поступают), заявила, что она и совсем может уйти. Оказалось, что она якобы не поняла до какого дня я ее отпустила и «не чувствовала за собой вины». Ну, это отговорки. Сегодня был разговор с ее матерью у меня, и она явилась. Беда с прислугами — их нет, а молоденькие бегут в город — веселее.

Я потеряла голову с этими делами, да еще свинья с 14 малышами. Сегодня уж только 9, остальные передохли. Я еще вчера с соской за ними бегала. А и сосок-то нет в продаже. Какую-то рваную дал работник от своих ребят. Да, у нас тем много для описания фермы.

Ванечёк, ничего тебе не придумаю послать, кроме масла. Толен не смеет на аэроплане взять много багажа. Пишу — тороплюсь послать нарочного к Толенам.

С четверга у меня гостит золовка больная. Там совсем скверно. Ее муж измучился. Трудная жизнь.

Посылаю тебе розочку из моего садика и поцелуй мой в ней тебе.

Пиши мне все, все о себе. Я так мало знаю о твоей жизни. Получил ли ты мою открытку с последними словами из «Путей Небесных», дошедших до меня?

Сейчас я делаю 3 торта для невесты, — сама от себя и на заказ. И до чего бы хотела и тебя угостить. Кажется, у здешних такое мнение, что я все могу. От распорядительской роли на этой бестолковой свадьбе я отказалась. И, слава Богу, вовремя.

Обнимаю тебя и крещу, и поздравляю.

Мама и Сережа тоже поздравляют.

Будь здоров и радостен, и светел!

Твоя Оля

404

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.X.45

Вчера, воскресенье, часа в 2 был у меня, дорогая Ольгуночка, г. Толен, с «поднебесным», скажу лучше — с небесным маслом, — от тебя. За-чем ты это... ?! Слава Богу, в с е у меня имеется, кроме... тебя. Масло, действительно, знаме-

нитое: вчера же и опробовал, и сейчас, с кофе. Толен тоже, хоть и не небесный, а все же аэропланно-поднебесный... хотя и не воздушный, но и не бездушный. Вручил ему «душистый горошек» и, досада! — забыл дать для тебя давно хранимое пасхальное яичко. Мог бы и еще кое-что добавить, — ах, растерёха... — мог бы вручить кило сахару!.. Да смущало, что напугаешь его доставкой, он и не зайдет больше. Впрочем, скоро, надо надеяться, эти доставки почта принимать будет. Был с ним наилюбезен, и он ничего, не тюленистый, скорей даже приятный. Поил его кофеем, с пирожком, поднес — чокнулись — рюмочку черносмородинного ликерчику, своей заботы. Побеседовали с полчасика. Передал для его жены — что за редкостное имя — Фавста?.. — так мне начертал г. Т[олен] — книжку «Про одну старуху», больше у меня ничего свободного не осталось для «угощения» читателей, разве два—три экземпляра «Неупиваемой». Очень я обрадовался, что мог послать тебе духов. Изволь лить их, а не солить.

Миленькая, на днях написал тебе сумасбродное письмо...[106] не очень меня бранишь?.. Прости... утратил волю над собой — тобой, чудесная, был захвачен, до помрачения. Вызвал, ярко, живую... — и... сорвался. Не в счет, да? Прости этот «ляпсус лингвэ»[i], — срыв языка... Розу твою поцеловал... и доцеловал до твоего поцелуя, в ней хранившегося нетленно. Она была еще мягкая, чуть дышала... еще жила!

Был у меня — писал уже, — И[оанн] Шаховской[107], едет в Америку. Говорили о тебе. Понятно — как. Твое мнение о нем, а?.. Деятельный, с золотником духовным. Прислал мне Иван Александрович новую книгу, по-немецки, — «Сущность русской культуры»[108]. Там и о Шмелеве частенько[109]. Большое дело И. А. вершит, служит России. Читаю по страничке, и никогда так не жалел, что в гимназии небрежно — можно было — изучал язык. Правда, никогда его не любил, «шипучего-трескучего».

Весь ушел в переписку — снова! — «Путей». Режу и жму. Надо. Куда лучше становится. Да, да, необходимо — «стилум вертэрэ»[ii], — т. е. «перевертывать чертящее острие», буквально: римляне писали на вощеных дощечках и, правя, переворачивали острие, затирали написанное — вощанку — и правили.

Правя, вхожу в воздух работы, многое уясняется и проступает — для 3-й книги, — раздражаюсь и чувствую аппетит.

---

[i] Языковая ошибка (*от лат. lapsus linguae*).

[ii] Поворачивать стиль (*от лат. stilum vertere*).

Так же и в думах о тебе... Посему и проступила ты дотого ярко, что я утратил волю и начертал тебе... — прости, если перешел предел... да, перешел, конечно. Не вмени: не к лицу мне писать т а к. Да ты меня знаешь, порой — безумца. Горки все еще не укатали сивку! А сколько этих «горок»... пора бы уж. Но что поделаешь, когда ты во мне слилась с Даринькой... только влюбившись в Д., могу писать ее. И знаешь, в ней, поистине, е с т ь от тебя... состав ее довольно сложный.

Звал меня о. И[оанн] — в далекое...[110] Нет, это не подходит. Ну, увидим...

Погода блещет. Тепло. Еще не пускал электрический радиатор.

К удивлению, г. Толен оставил милое впечатление. Я не стал ему открываться, не послал с ним тебе записочки. На коробке с духами было еще в авг. 44 г. мной нацарапано — передать тебе, коли уцелеет... — вплотную пришли острые времена, все было возможно... — ну, вот, пока уцелели и духи, и пославший их. Еще раз настаиваю: беги от злого яда, от сырости, как от чумы! Хоть один раз послушайся, — иначе можешь погибнуть. Я видал ужасы, что эта сырость делает. Страдания непередаваемы. Б е г и!.. У тебя есть всякой дряни, вещички... продай какую-нибудь пустельгу, — с тебя хватит и бу-дет еще! — и уезжай лечиться и работать в тихий курорт швейцарский, что ли — на зиму... где будет тепло, уютно, с в о б о д н о. Там ты, понятно, влюбишь в себя десятка три бездельников, неважно: важно, чтобы там могла дать эпопею... — на отдалении — «всевидящую живую “ферму”»... — это будет б о л ь ш о е. Ты насытишь все своей душой, любовью, болью...

Ну, целую благоговейно-чисто, прелестную. Твой В.

Спешу послать. 11 1/2 ч. дня.

[На полях:] Еще 6-го выслал тебе «хвостище» «Путей Небесных» — 201—294 стр. — конец 2-ой книги. 3-ья пойдет более широкими этапами, думаю. Иначе и конца не будет. Не разочаровал ли? Защищаться не могу... — т а к с л ы ш у в себе. А там — что Бог пошлет.

405

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28 окт. 45

Дорогой мой баловник-Ванюша,

ну, на что же это похоже? Целую бутыль духов ты раскопал! Я прямо в уныние повержена таким твоим подарком.

Я не стою этого! Не решаюсь даже открыть ее. Я угадываю: в то время как ты ее купил, наверное, уже последнее распродавалось, и т. к. на такой огромный флакон разумных покупателей не находилось, — остался еще этот размер в продаже. И Ванечка-расточитель, конечно, нашелся. Ваня-Ваня, за ушко тебя да и на солнышко! Ну, [уж], что же с тобой делать? Целую тебя и браню за такое баловство и благодарю за сердце твое ко мне! Была вчера у Толена, он очень о тебе трогательно и сердечно вспоминал. Как я завидовала ему, что тебя видел. Вчера же была у Dr. Klinkenbergh, об одном больном раковом хлопотала, (не ревнуй — это совсем посторонний, хоть и из семьи Бредиус, старичок один под 80 лет).

Dr. K[linkenbergh] отвез меня на шикарном своем автомобиле в Schalkwijk, т. к. ехал к семье умершей сестры милосердия. Дорогой он опять восторгался И. А. и его книгами. Говорили о тебе. Я сказала, что И. А. советует иностранцам, желающим составить мнение о России, читать из современников Шмелева. Конечно, это так. Ваня — русское сердце, сердце русской литературы.

Конечно, ты можешь Dr. K[linkenbergh'y] написать по-французски, он хорошо этим языком владеет. Все, все хочет знать о России. Интересуется православием, всем дает книги о России. Говорит сам, что безумно занят, вчера (говорил) до 3-х часов ночи проговорил с засидевшимся товарищем, о... хирургии (это же не по-западному!), а вот всякую минутку урывает, чтобы прочесть и то, и другое. В свободное время сидит у больных, падающих духом, чтобы подбодрить. Этот тоже из кадра вашего, вас, служителей святому, чистых тружеников. Как редки такие люди, как ты, Ваня! Какое мягкое у тебя сердце, какое теплое. Дорогой мой Ванёк! От тебя давно нет писем. Здоров ли? Не забывай Олюну. Я обязательно пришлю тебе что-нибудь из моего, только все стараюсь получше. И рассказик отделаю, «переведу» на русский и пошлю. Хорошо, в газеты писать не буду, ты прав. Все горе, что мало времени. Хочу взять где́-нибудь комнату на несколько дней в неделю в Утрехте и с утра 1/2 8 ч. до вечера 1/2 7-го уезжать работать. Дома не собраться. Только холодно всюду. Но я согласна в шубе сидеть и писать, чем ничего не предпринимать. Меня терзают всяческие темы. И ужасно то, что время стирает свежесть чувств. Ну, вдохновения что ли!

А я уже некоторые рассказы так ярко вписала в душу, что сама не разберусь, где быль, где небылица. Ярко вижу. До сапог моих героев, до распоровшейся подкладки в рукаве, до белого дУшеного кота с ленточкой у бессердечной женщины. И т. п.

Хотела бы все написать, что в жизни видела, все, что дано было узнать. О героях и «героях» и о том, как первые всегда в услужении вторых оказываются. Вот здешние стригуны купонов на таких клинкенбергов смотрят ведь только как на слуг своих, как на рабов. А что они блестящие специалисты... «так ведь, помилуйте, они на то и учились, если бы они плохо оперировали, так мы бы их и не осчастливили своим выбором, мы бы их заплевали тогда...» За их деньги (которые они даже не сумели сами-то и заработать) все обязаны им служить. Такого хамства ни одному нашему хаму даже и не снилось. Никогда бы мы не страдали так, как случилось, если бы не было сгнившего от капитала Запада. Гадко и погано. И удобная почва для всего, что хочешь и не хочешь. Ну, довольно.

Часто в часы раздумья содрогаюсь при мысли об атомной бомбе. В этом открытии есть что-то истинно сатанинское. Ум, т. е. вернее интеллект, хитрость человеческая, обратился на разложение, растление даже и неразложимого. Ведь получается то, что «всемогущий» «ум» бросает созданную Господом гармонию в хаос небытия. Я страшусь мистически этого открытия. Отвратительно. Ну, да меня не спросят. Жутко, жутко... Но все же я в хорошем настроении. Хочу жадно работать. Дома суеты много, но все же урываю время и для акварели и для музыки и все время в уме складываю то, что должна написать.

Музыка и акварель — это только так «перышки птички», а песенку надо спеть всем сердцем. Но музыка мне уже начинает давать радость. Похоже и впрямь на музыку, а не на скучные экзерсисы.

Сегодня затопили впервые — уютно стало. Горит лампадочка. Толен говорит, что в Париже еще тепло было, и что у вас хорошо освещен ночью город. Дорого все. С продовольствием у вас тоже не густо. Он мне все рассказал. Умоляю тебя не посылать мне посылок. Это было бы только баловство, т. к. у нас все есть. Я бы тебе послать хотела! М. б. и можно будет! В Швейцарии Dr. Klinkenbergh[111] убавил в весе и говорит, что из 7 дней недели, 2 обычно голодал. Шоколаду даже не попробовал. Как иностранец ничего не мог достать. Всюду ищу дров для зимы, — холод наводит уныние. Как у тебя с топливом? Будет ли центральное отопление?

Хочу починить керосиновый газо-аппарат и зажигать его — дает много тепла. Один русский господин[112] (наш зимний клиент продовольственный) обещал достать. У нас все деревья уже сожжены в прошлые зимы. Ну, Господь поможет.

Болит сердце за друзей в Берлине. Мое мнение об о. И[оанне] Шаховском точно такое же, как у И. А.[113] о нем:

«смиренно-лукавый». Я его очень не люблю. И он является для меня олицетворением какого-то очень нездорового и очень неправославного движения среди этих молодых монахов. Честолюбие у них на 1-ом месте. И масса новшеств ради честолюбия и во имя его с уроном для истинно православного духа. И он не добрый, а только личину носит. Впрочем, мнения моего о нем он не знает, и у нас никаких столкновений не было. Меня только всегда тошнило от его стилизаций. Ну, кончаю. Обнимаю тебя, солнышко. Твоя Оля. Пиши!!!!

Сегодня опять нет от тебя! Пиши!

Ах, дура, опять забыла адрес Dr. Klinkenbergh! Utrecht, Princesselaan 1.

406

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7 November 45

Мой дорогой, родной Ванюша!

Я теряюсь в догадках, отчего ты не пишешь. Душенька, напиши скорее. Не мучь меня! М. б. ты работаешь и не хочешь отрываться? Ну, хоть строчечку черкни! Очень прошу! Каждое утро я бегу еще без туфель (как заслышу почтальона) вниз кубарем и хватаю почту... увы, все такое ненужное... все не твое! Днем тоже все жду и жду. Ванечка, что с тобой? Здоров ли ты? У меня все еще гостит золовка и пробудет до числа 18—19-го ноября. А потом хочет свекор приехать, он совсем уж старый — 83 года, заброшен детьми, которым, когда он им все давал и «подтыкал» всюду, — еще кое-как был интересен, да и то вечно его критиковали, трепали языками со всеми, рисовали тираном. А теперь он один сычом сидит. Гостил у меня в сентябре и теперь только и ждет, когда я за ним автомобиль пришлю. Меня он очень любит, и дети ревнуют даже, т. е. не Арнольд, конечно, а прочие, которые все до отказа, до предела завидущие. Стоит только мне что-нибудь начать, например рисовать, как золовка тоже открывает у себя эти же таланты. Я хотела попросить у ее сестры в Америке красок прислать и холста, — а она уже для себя просит. Это мелочь, но она вот сию минуту перед глазами. Если у меня красивое пальто, платье, или еще что, то обязательно: «смотри, пожалуйста, у маленькой Ольги (почему-то всегда я "маленькая" у них) какие вещи!..» И при этом глаза... «Да, еще в Берлине купила». Выкуси, мол, не из Вашего кармана! Когда А. хотел маму и Се-

режу притащить сюда из Берлина даже контрабандой (до войны), то она мне сказала (захлебываясь): «вот как, он убивается за твою родню, но о сестре даже и не подумал»! Я ей тогда сказала: «да ведь у тебя те же права, что и у него, ты же с голландским паспортом»... — «Ах, да... я не сообразила».

Разве не собака на сене? Ах, как много материала для того «как не надо быть». Хочу очень писать. Думаю найти себе комнату на 2—3 дня в неделю, куда буду из суеты домашней уходить с утра до вечера, чтобы работать. Только вот холод! У нас сырища невообразимая. Будем, кажется, как пострадавшие от воды, получать керосин, — постараюсь купить печурку. Рояль ужасно испортился. Играть начинаю недурно и вхожу во вкус. Сегодня хвалил учитель. Но, в общем, я в музыке — бездарь. Ванечка, у меня нет покоя для письма, — я все думаю, отчего ты молчишь. На этих днях высылаю тебе акварельки, если буду здорова. Хочу узнать, как ты их примешь. Одна — с светлой водой, с туманной далью взята оттуда, где мы жили во время потопа. С домиком поближе — вид из спальни, а с деревом (моя любимая) сад против нас (кусочек сада), взята в чудесный день, последний, прощальный, нежный... Ни звука, ни пылинки не было, все замерло в этом прощальном поцелуе солнца. Не знаю, удалось ли хоть немного. Почувствует ли зритель. Я так люблю эти настроения природы.

Никому не показывай, храни у себя, для себя.

Прими от моего сердца.

Целую тебя, моя радость, пиши!

Твоя Оля

Посылаю тебе бутончики жасмина, полу-погибшего, не цветшего в воде. Миленький, из всех силенок хотел жизни, набрал бутончики, но в холоде они не раскрываются. Принесла в комнату — посмотрю, что будет.

407

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13 дек. 45

Дорогой Ванюша, не знаю, что сказать тебе на твое молчание. Ты не хочешь писать мне. Это совершенно очевидно. И потому, та посылка, которую ты мне послал через M-me Candreia, которую я вчера получила, — нерадостна мне. Я не хочу ее. Впрочем, я не хотела бы ее и во всяком ином случае. Тебе все ее содержимое гораздо нужнее, чем мне. Если у нас

молока гораздо меньше, чем в прошлую зиму даже, то все же есть кое-что. Дают по карточкам регулярно маргарин. Я не люблю молоко и никогда его не пью. Масло могу с наслаждением не есть. Сыр тебе нужнее, чем мне. И вообще все. Кроме того, мне присылают посылки из Америки, и их я тоже молю давно перестать. У меня все необходимое есть. Я успокоюсь немного только тогда, когда по кусочкам (как «двойное письмо») перешлю тебе и молочную пудру, и сыр, и какао, и рис перешлю. Я не могу морально все это у себя оставить, и ты должен это понять. Мне больно твое отношение ко мне. Если ты не хочешь писать мне, то хорошо, я не буду тебя беспокоить. Тебе не понравились мои рисунки, ты до сих пор даже не дал мне простой справки, что они дошли. Ну, хорошо, будет.

Я не знаю, как ты теперь живешь, и мне трудно писать, ты меня исключил из твоего обихода. А что тебя интересует в отношении меня, я тоже не знаю.

У меня много дела, чувствую себя неважно. Вчера была у доктора, сердечного специалиста. Завтра узнаю, что он нашел.

Начали давать визы в Швейцарию, на целый месяц. Если бы и devis'ы[i], то уехала бы туда. У нас холодище был ужасный несколько дней. Кошмарно было. Сырища дикая. Течет со стен. Но ничего не поделаешь. Топлива почти нет. На всю зиму обещают 8 мешков угля, а пока дали только 4 на 2 печки: мамину и общую. Дрова сырые — дымище. Ах, ну да что... Это же пустое писанье. Скоро сойдешь, пожалуй, на отчет о погоде. Я получаю газету из Парижа[114] и кое-что о жизни у вас улавливаю сквозь дурацкую болтовню.

Ну, да сохранит тебя Господь здоровым.

Обнимаю тебя.

Оля

Конечно, благодарю тебя за заботы, за посылку, как отражение твоей заботы, но она нерадостна мне, так как она не отражает твое открытое ко мне сердце.

О.

408

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.XII.45 11 ч. 45 мин. вечера

Олюша моя, сидел у печурки (дрова!), и захотелось сказать тебе, набежал рой мыслей-образов... Ягоды... Увидал —

[i] Переводный вексель, чек (*от нем. Devise*).

и к а к! — малину, спелую... го-рит! — красную смородину... — нет слов: что за гроздок!.. клубнику, черную смороду, рябину, ви-ишшшшни-и!... черешни, сливы — (ма-а-товые, как в теплом инее, такие... с в и н ц о в а т ы е...) бруснику, клюкву... черничку... — костянику!!! — землянику, «викторийку» — все, все, все... о, какая красота Божья, — может ли быть совершенней?! А запахи... а вкус!.. Все — особое, с в о е, неповторимое... Оля, милая... напиши мне... Эти «картинки», эти малюсенькие «натюр-морт»... Я их приколю у постели и буду смотреть, и — в и д е т ь, и — дышать. И когда я буду у х о - д и т ь... я ими прощусь с тобой и с жизнью, — с Господним Духом все это. Им создано, — эти «minuscule»[i] — эти «маленькие» — и что за совершенство! Я хотел бы послать тебе м о й ликер — «черно-смородинный», — ни один бармен в мире не даст такого! Ягоды, сахар, солнце... — все. Это — божественная амброзия. И еще — баночку черно-смородинового желе. Как сделать? Не будет ли оказии? Справлюсь на почте.

Еще и еще: уезжай в Швейцарию. Прошу — уезжай. Можешь погубить себя. Столько себя отдав людям, ты не можешь укорить себя в себялюбии. [Шубка] у тебя есть. Там, устроившись в тишине и тепле, в зиме... — поработай, пиши и пером, и краской... — пробудь до 10 апр. или до Страстной (она начинается 15-го апр.). Вернешься здоровой и полной сил и воли. Если исполнишь мою просьбу — я з н а ю тогда я, Бог поможет, закончу «Пути Небесные». Слава Богу: сказать в час добрый, вот уже 5-й день я совсем почти в порядке, ем, хочу писать... Ми-лая... хоть раз сделай по моему совету! Такое во мне чувство — это н е о б х о д и м о. Так размечтался — о ягодах и фруктах... — и так захотелось хорошего сухого мармаладу!.. Ни-где нет. Ну, сам сделаю. Я все умею. Целую нежно. Ванюша, будто я дитя. Нет, это поэт во мне.

[На полях:] Прислали мне из Дании целую колбасную лавку, — но что с ней делать?!. Правда, масло я могу и даже бекон...

Не сочти этот «бросок письма» за чудачество вдруг захотелось поделиться с тобой.

Скоро выйдет «Чехов» с моим выбором и предисловием в Цюрихе (по-немецки).

Пошлю тебе новую книжку[115] (вышла в Швейцарии) — «Am Meer».

Новая переводчица[116] кончила, наконец, перевод «Путей» на французский.

---

[i] «Крошечные» (*фр.*).

409

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.XII.45

Дорогой мой Ванечка,

твое укоризненное письмо[117] мне я тоже получила, но не хочу его разбирать, ибо оно бранит меня за все то, что я писала, не имея никакого понятия о причинах твоего молчания. Мне было странно не получить от тебя почти 2 месяца ни звука и об акварельках. Я сама о них не очень большого мнения — это проба пера, но все же я хоть твоего извещения о их прибытии ждала. Меня *очень* огорчила весть о твоем нездоровье. Ты, конечно, не бережешь себя. И очень, очень сетую на тебя за всякого рода посылки, т. к. жизнь у вас для себя-то самих тяжелая. Мне посылает золовка все из Нью-Йорка, вплоть до элегантных чулок и тепленьких рубашечек и даже крема для лица и рук. Я снова вхожу таким образом в колею «дамской жизни». Надеюсь, что Валентина Дмитриевна Грондейс[118] уже была у тебя и передала благополучно провезенное. Я так хочу верить, что все пропустили!.. Твою заботу и совет уехать в Швейцарию, я разделяю и очень тронута, но это невозможно. Ивана Александровича не могу беспокоить, девиз не получу, а те, о которых ты пишешь, — не существуют. От спасенных мной евреев я ничего не имею, они сами обобраны, как липки, да и не за ценности я их спасала в свое время. Они мне только посылки прислали в признательность. Моего лично ничего нет, а то маленькое, что от мамы, я бы никогда не выпустила из рук, как реликвию, да и немного бы мне дали. Из родовых бредиусовских есть кое-что, но это у меня лишь в пожизненном использовании, а не в собственность. После моей смерти по описи должно перейти по мужской линии к младшему. Если у меня нет сына, то к сыну двоюродного брата Арнольда. Это здесь в Голландии у всех так. Я не люблю носить эти роскошные вещи, т. к. они не мои, и я боюсь потерять или сломать. Все богатые люди здесь сидят на своем родовом. Новых бриллиантов не покупают, т. к. довольно фамильных сияний. Понял?

М. б. M-me Грондейс тебе кое-что порасскажет о правовой стороне женщины в сей стране. Это дикая непроходимая глушь. Ну, довольно. Вчера я приехала с празднования Рождества у свекра и сегодня хоть выспалась и отдохнула. Завтра еду снова, — умер один дядюшка[119] и надо на похороны. Дела

масса. Так хочу покоя. Хорошо, что побывала у сердечного специалиста, т. к. все это время сильные боли в груди — надумалась бы. Не знаю точно, писала ли тебе об этом. Очень известный специалист все у меня просветил и снял электрокардиограмму.

Сердце будто бы в порядке, кроме невроза сильного, а вот аортой он остался недоволен. Coronal-sclérose?[i]

Принимаю содистый препарат и должна делать дыхательную гимнастику. Я устала. Клинкенберг посылает меня тоже на отдых подальше от Schalkwijk'a, находя, впрочем, эту деревню ни в каком случае не подходящей для меня. Я рада намерению мужа продать ферму. М. б. тогда я отдохну. Этот год и будущий принесут только убыток. Никаких возмещений со стороны государства нет. А я мечтаю об устройстве своей комнаты для занятий вне дома. М. б. и удастся. После моего подношения Королевскому дому[120] моего писания и малевания, многие стали кричать: «Вы должны работать». Подумай: такой пустяк вызвал уже маленькие «овации». Меня приглашали к себе, Dr. Klinkenbergh распинался в благодарности за то, что я «дала ему возможность мне услужить в этом деле» (он возил меня на своем Lincoln). Вчера был директор Голландской железной дороги и тоже без конца хвалил. Кое-кто прослезились. Поздравляли мужа, и я слышала: «из 1000 женщин не найдется такой 2-ой, которая бы так смогла придумать только». Ну я не обольщаюсь, но все же мне теперь легче будет пробить себе дорогу к... труду. До сих пор мои занятия были бы «блажью». Больше всех меня поддерживает (здесь) Dr. Klinkenbergh. Приятно, что он понимает толк в искусстве. Вообще, эстет. Его задергивает жизнь, — нет времени, все отдано больным. А у меня очень много планов, масса тем... Ах, и сколько же надо для общественности. Надо бы здесь многое сказать и прокричать. Но не разорваться же. Хочу и рисовать. Но сейчас, кажется, больше тянет писать. И так много скопилось. Зима пока что милостивая. Дров у нас почти нет. Топим только к вечеру. М. б. я устрою все же свою поездку за границу. Я все время об этом думаю. Устала, и так часто болит и щемит сердце. Но будем верить доктору, что только невроз. Ну, целую тебя, Ванёк. Будь же здоров. Господи, неужели никто не найдется хоть в очередях-то за тебя стоять? Господь с тобой.
Твоя Оля

Если можешь, — пиши. Я волнуюсь, не зная, как ты.

---

[i] Склероз сосудов (*фр.*).

410

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.I.1946

Дорогая моя Олюша,

Поздравляю тебя, дружок, с Праздником Рождества Христова. Будь здорова. Все неудачи и невзгоды, — и всякие недомогания... — мимо, мимо! — от всего сердца шлю это горячее и волевое желание — м о л е н ь е.

Спасибо за посылку. Это — особенно **сыр** — сверхмерно и — не поесть. Но... так н е л ь з я: вкатить из моего тебе «Washington»'а![121] Горьковато... — и я сник.

Твое «крученье» меня удивило... даже — и з у м и л о! Нет, это не т о т путь... Известила меня в последнюю минуту — c'est fait![i] Твое дело. Хорошего не вижу. Но не хочу и углубляться в сие «действо»... — мимо, мимо.

Одно: не украсит это ж и з н ь, а создаст для тебя — не дай Бог — лишние трения и обострит языки злоречия.

Господь с тобой. Только будь здорова!

Нет, не принимаю (пощади!) твоего — искреннего, верю — желания облегчить жизнь мою твоей заботой. Сейчас твой путь не в Париж, а в тепло доброй и прочной-укладливой Швейцарии: там перегодишь холода и убивающую «плесень» голландскую... Здесь — тоже мало уюта. Но теперь я крепну, взята еще дама для услуг[122] (теперь я обслужен 5 дней в неделю...) Ем сытно, боли отошли, я много пишу. II книга переработана — не узнать. Например, вместо первых 1—13 глав — 19! Пополняется, раздвигается... — дивлюсь сам. То, что у тебя, — о, далеко не т о. Половина II книги совсем готова. На днях вышлю ее дорогому другу И. А. Он ждет[123]. И попрошу его — по прочтении — переслать тебе. А ты — после — перешлешь мне.

Ем я, благодаря заботам друзей-читателей — сверх-обильно. И ни в ч е м нет недостачи...

26-го декабря был 2-ой приступ полупотери сознания; доктор Серов (это как раз после болезненной инъекции) переполошился, но Cl. Krymm сказала: это очень часто после болезненной инъекции. Давление крови 14 и 8. Сердце в порядке, я окреп. И страстно хочу писать. И пишу. Это самый — для меня — лучший знак.

Ну, прими Свет Рождества Христова всем сердцем и будь радостно-просветлена Им! Твой Ив. Шмелев

---

[i] Это сделано (*фр.*).

411

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.I.46

Дорогой Ванюша, благодарю тебя за твое Рождественское письмо. Как не похоже оно на прежние. И я спрашиваю себя: любишь ли ты меня и... любил ли когда-нибудь? Не хочу вдумываться, — мне это больно — что значит твое: «...твоя забота обо мне (хочется верить искренняя)...»[124] Что же, ты допускаешь какую-то возможность и неискренней заботы? Но, что же тогда? Какая же тогда эта забота? Не хочу вникать в лабиринт каких-то мучительных больных предположений, но иногда невольно начинаю ломать голову над тем, какой бы вариант моей неискренности тут мог у тебя иметь место. Господь с тобой, Ванюша. Подумай хорошенько. И не пиши мне так, если любишь, — это больно.

Очень удручена, что моя посылка не пришлась тебе по вкусу. Сыр ты не хочешь почему-то кушать. Я сама его делала из самого жирного молока. Он только немного «молод», не стал еще пикантным, но очень полезен.

Я не могла ничего придумать лучше, это был последний мой, оставшийся с осени, когда еще кое-как доили[сь] коровы. Обычно тут всем он нравится, его хвалили.

Яиц было мало, наши куры еще не неслись, т. к. из-за воды были поздние цыплята. Но за 1—2 дня до отъезда В[алентины] Д[митриевны] занеслась первая, и я могла занять у соседей (продавать никто не хочет) несколько штук. Теперь несутся понемногу.

Из посылки «Вашинтон» я взяла лишь молочную пудру, т. к. мне-то она совсем не нужна. Шоколад, какао и чай мое, частью от золовки из New-York'a, частью просто полученное здесь. Напрасно огорчаешься. Я от чистого сердца это послала. Ты никак не отозвался на пасхальное мое яичко, лежавшее так долго, ждавшее встречи с тобой. Я знаю теперь, что все мое такое тебе **не** нравится. Не пошлю никогда больше ничего. Ты... такой чуткий... т а а а к не чутко?

Недавно в одном доме (я туда случайно попала с Dr. Klinkenbergh'ом — его зазвали к пациенту спасенному им от смерти, а я сидела в автомобиле (по дороге во дворец, ну, и меня пригласили на чашку чаю). Оказалось, что эти простые с вида люди, очень известны в культурно-религиозно-философском мире и приняты за доблесть у Двора. При выходе уже меня хозяйка спросила, кто я по национальности и вдруг,

услыша, радостно всполошилась: «ах, Doktor, — это, это та русская дама, ну, знаете... та картинка?.. Да?» А он смутился на вопрос мой «какая картинка?» Оказалось, он им показывал какие-то безделки, сама не знаю что, случайно бывшее у умиравшей его невесты. Тебе не нравится, я это вижу.

В чем ты боишься для меня «злоречья»? Из-за презента принцессе? Кто будет «злоречить» и почему? Я с сохранением полного человеческого достоинства, без тени лести поднесла ей, мной (в виде некоего сказочного «залога» нашего освобождения) взращенное оранжевое деревцо. «Oranjeboom» = Oranienbaum — есть эмблема их династии. Мой альбом, приложенный к деревцу — поэтически рассказанная история этого деревца и того, чему оно было свидетелем. 8 акварелей иллюстрировали все это. Не было никого из читавших, кому бы что-либо не понравилось*. Dr. K[linkenbergh] считал за честь отвезти это и быть хоть таким образом соучастником подарка. Были директор железных дорог в Голландии с женой и тоже читали. Жена плакала. И много других. Один русский полковник сказал, что гордится, что это русская так могла. От принцессы получила благодарственное письмо. От кого же «злоречье»?

Мне это не «путь», как ты думаешь, но ключ к пути. И не у публики, а у своей собственной среды, т. е. у голландской части родственников и свойственников. Ты не имеешь представления о жизни тут и о положении женщины. Удостоверившись в том, что я не «глупостями» занимаюсь, а это непременно так, после признания самой принцессой, — они меня оставят работать. Мне по многим соображениям необходимо, чтобы мне в этом не мешали. Не забывай, что женщине и всюду-то нелегко быть признанной, а здесь тем паче. Если мужчина писателем становится, то это одно, а у женщины на лоб покажут. Мне же еще «разрешение» надо иметь комнату у умершего дядюшки занять.

А главное это то, что я важным считала показать в хорошей форме, «берущей» форме все то, что мы пережили в Их отсутствие. Как жили во всех смыслах «на волоске». И чем и как спасались, откуда черпали силы держаться за этот волосок. Много всего теперь, много недоверия, злобы и зависти, много всякого острого и мало любви и понимания. Надо

---

* Сегодня, как раз, еще один господин подчеркивал большой вкус, который я выказала этой работой. Вкус изложения и безупречная, краткая форма. Нравится вся комбинация.

как-то все увидеть, суметь увидеть сердцем. И тогда многих из ближних можно понять. М. б. здешняя королевская семья[125] все это уже поняли, — они очень просты и гуманны, но хорошо и тепло будет у них на сердце (я это знаю), когда прочитают этот альбом, и Бог весть, что это принесет. Нет, мне лично ничего не надо.

Но я уверена, что из честно задуманного, из сердца ничего плохого не может выйти. «Пути» для меня тут и не может быть, т. к. этим все и кончится. Но если у монархини согреется сердце, м. б. вздрогнет и что-то уяснит — разве это плохо. Думай ты, как хочешь, а я знаю, что моя совесть меня не осудит. И это главное. **Все** в жизни определяет она и сердце. Если бы ты знал, сколько и самых разнообразных (и часто противустоящих) просило помощи. И я их спасала, невзирая на то, «кто»? А по сердцу их и своему.

Я не жидолюбка, но спасала евреев. И кого, кого еще не спасала. Голос во мне судья. Ты не понял меня. Я не знаю, что ты представил. Ты не обнял меня в последнем письме.

Я не навязываюсь тоже. О. Или по-твоему? О. А. Бредиус? Как ты «Ив. Шмелев».

[На полях:] Ванёк, пригрейся и будь ласков! Ибо злой ты — не ты...

На днях надеюсь найти контакт с Родиной. Я должна сама все знать. Я осторожна и не дура.

7-го были все же в церкви. 8-го был Dr. K[linkenbergh] и прислал в 1-ый день с нарочным огромную корзину растений, с 6-ью толстыми свечами — extra заказ рождественский. Это он за мое деревцо чтит «будущую писательницу». Нет, нет, не злись, — шучу: просто всем нам троим на праздник!

Если не хочешь, не заеду в Париж, — вернее, к тебе не заеду, т. к. поеду в Швейцарию (если поеду) через Париж.

А у меня, кажется, та же болезнь, что и у покойной твоей О. А. и у мужа Кандрейи была. Я писала тебе про это? Слушаю чудесные вальсы... Ночь... Спокойной ночи!

412

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.I.46 10 ч. 30 вечера

Дорогой ты мой сыровар, дале-окий!.. моя Олюшка — тормохушка!.. Сегодня послал тебе — по воздуху — письмецо... ну, любишь такие, а?.. Сегодня день сумасшедший,

навалились посетители... — звонок за звонком! Не дали мне писать. Утром получил твое упрёчное, кислота... швырнул работу, взмыло меня. На-пи-сал... на, ешь меня с потрохами, нещасного! Какая уж тут работа... — рад, что хоть главу про «петуха»[126] выдрал-таки из души... XXV глав переписал, а было... 14! Теперь и не знаю, ско-лько будет их? Легкая у тебя ручка: по-шло, один за одним... — пересыпай из пустого в порожнее! Да так и не мог вернуться, а «дите» орет, просит: «да спеленай же, ду-рак!» Так и не подошел, — ори! Ох, эти посетители..! Но лучше всего — утром: забежал за хлебом, а тикеток нет, не дают... а мне надо — обещали Карташевы быть. А тут неведомая дама, слыша французскую мою беседу с хлебницей, выкладывает с в о и тикетки... з а меня? К э с к э с э ?! ...[i] — Лицо сурьезное у дамы: Tenez, s[‘il] v[ous] p[lait]!..[ii] Ну, тэну. Говорю: «отмечу в сердце, как француженка “подала” русскому на хлеб» (по-французски, понятно). Дама: «Говорите (по-рус.) по-русски, г. Шмелев». Оказывается — это часто так — читательница! Сказал ей — «а это еще приятней, к р у п н е й отмечу!» И был хлеб для угощения (я хлеба не ем). Все же удосужился писнуть тебе, бегал на почту. Оказывается, в Голландию можно теперь и самолетом слать. Весь твой сыр доел. Чудесный, Карташиха прошлый раз даже корки стравила, — дочего хорош! А на сегодня ей не осталось. Так чего же ты ворчишь — не понравился сыр! Я такого сыра давно не ел. Малость — для меня — солоноват. Но с чайком — ça va (са-ва)[i]. Милая, ты колдунья: весь день ты у меня в голове сердца, весенняя, будто и я весенний. А на дворе морозит. Размечтался... Только (к 5 ч.) завтракать принялся (два яйца всмятку) [1 сл. нрзб.] — Анна Васильевна явилась, — а тут и не дали ни есть, ни мечтать, ни лежать, ноги задравши, — почитать. А я весь ушел-было в К. Леонтьева[127] и Феофана-Затворника...[128] Н а д о. Ты стала что-то сливаться во мне с Даринькой: пишу — вижу ее, а чувствую тебя, и хочу поцеловать под ушко... Нет, я не спутаю: все-таки — разного калибра. Изволь, сыровар, отписать мне все подробно: как зародилась мысль, как работала (содержание истории), как ездила... и проч. — в с е. А то я... очерствею. И так: твоего п о л к У прибыло: теперь — х и р у р г. Крутишь-крутишь, крутилка, смотри: как бы не скрутили, станешь

---

[i] Что происходит? (*фр.*).

[ii] Возьмите, пожалуйста (*фр.*).

[iii] Идет (*фр.*).

«кручонка», — выкурят, дымом развеешься... Помни: «служенье муз не терпит с у е т ы»![129] Ты должна увидеть меня хотя бы для того, чтобы... написать обо мне... некролог. А то, ведь, — с т о - л ь к о мучишь меня и себя (пи-сьма!) и — все — призрачно, как восхитительно-дурной сон. А то — (у Чехова, помнишь?) «буду являться и... к и в а т ь (замечательно!) пальцем!»[130] Гусыне жму лапку, если снесет 2-ое. Хоть и глупа она, а поумней нас с тобой. Назови ее «Панфёровна»[131]. Курочкам-несушкам почет-уважение. О б щ е й корове-сыротворке — поднеси... ну, чего-нибудь поднеси, медали не отчеканено. Да пришли же мне 8 копий акварелей, (оранж!) — хоть тень увижу...

Милая, миленькая, милюсенькая, олюсенькая... покойной ночи. Давно надо быть «в горизонтальном положении», как говорила «Dracena Grandiosa»[132] (дурында она уездная), а я... все как полуперпендикуляр! Был у нас в гимназии один вумный, (сын богача-сапожника[133]) — и что же у него выходило!.. — у доски!! — пер-пер... пер...дикуляр! Доска треснула от смеха! Твой, 100-поцелуйный В.

А солнце все выше, а солнце все дольше... да, весна грезится.

413

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.I.46

Дорогая-предорогая, — раз-драгая, — пре-раз-драгая Олюшенька, Ольгунка, Олльгунок, ОлЮночек, Олёк, Ольга, Олька и — О-л-я!.. — и еще бы собрал ворох «олёньчиков», если бы не спешил думать и выразить сущность мою к тебе, и если бы не крик все еще не дородившегося дитеночка... по-ни-ма-ешь?!!!!!! — ну, я пишу-пишу-пишу... и все не пропишу! — ждут и кричат «Пути»... Они же и сковывают мое сердце, мои объятия — тебе, всю мою нежность-любовь... — до — порой — изне-мо-жения! — к тебе, милка. Все чепуха, что пишешь. Ты, просто, дуреха, если не чувствуешь все мою п о д о п л е к у!.. Будь ты сейчас здесь, припал бы к твоим коленочкам и смотрел бы — с н и з у! — в твои глаза!.. которых так до сего и не видал воочию. И обнял бы тебя до... л ю б...л ю!

А посему — внимай: 1 — Твое яичко... ну не т в о е , понятно, не курочка же ты, хоть и «курочка», — ну — ди-вное!.. Я отправил письма тебе и спохватился — писал ли про яичко!

Чу-десное, и покоится в раковинке, у «триптиха» на божественной полке, над книгами, под иконами. 2. — Сыр... — да откуда ты взяла — не ем?! Ел-ел-ел... до изнеможения. И ел, и кормил, и дарил... но «дозочками». Все потрясались! Сыр... сверх-жирный... но для меня «трэ пикан»[i], могу лишь 1 бутерброд — в рот, на день, за кофе! 3. — Всеми дарами доволен, обласкан, и досадую, что вещи посылок — похожи, стандартны, — разберись! 4. — самое главное!!!!! — нет, ты д о л ж н а посетить меня! б ы т ь у м е н я, — я должен хоть раз в жизни увидеть тебя и... сказать тебе — хоть глазами, чтобы ты вняла, что никто в мире не будет так тебя любить, как я — заочно з н а л тебя, воображал, мечтал, лю-бил! и — л ю б л ю! 5. — поезжай в Швейцарию, и через Париж. Я тебя не выпущу из Парижа, пока не увижу... — да, так как-то и выйдет, что ты не сможешь двинуться из Парижа, пока не поглядишь в усталые глаза писателя, которого ты н а ш л а с а м а! И он не обманул твоих «читательских» — хотя бы! — ожиданий... не сорвался, пока еще г о р и т, пока еще п о е т... пока еще страстно хочет создавать... чтобы — с о з д а т ь. Придет пора... ты увидишь то, что я — если и увижу, то... иными глазами... — У ж е с д е л а н о. «Богомолья» н и к т о не повторит, как и иное что-то... — а что — это решат после, и не «тютьки» от литературы, а... а Ж и з н ь! Вижу, слышу, з н а ю: м о е — о, не все, конечно! — жи-вет. И будет жить, пока не утратится последний Ценитель родного Слова! Уже время з н а т ь, что сделал. Что-то сделал... Каждый день вижу, слышу... о б о н я ю. Тебе только говорю это, ты — Муза моя, земная, ты должна знать. Нет, сердце твое тебя не обмануло... Ну, довольно «похвальбы». Да ты же понимаешь, что никакая это не похвальба, а... с и л а душевная, итог, подводимый совестью: слава Богу, Его помощью не зарывал дара в навоз, не продавался, не продавал... Читатель — всякий, — и малый, и большой, сие чувствует. И мне же — с у е т под нос. Благодарю Тебя, Господи!

Ольга, не мучай себя и не выдумывай чуши: я тебя крепко люблю — и все эти почти 7 лет! — 7!!!!!! — любил, влюблялся, по-любил... хоть и никну годами... Не о маленькой «любви» говорю... Да что ты... не узнаешь твоего «Тоньку»?! Он все одинаков.

Не сужу и не корю... за твое «оранжевое»! Чушь! Я х о ч у знать все. А ты затаилась, утаилась... Мне в с е надо. Идею... в и д е т ь надо, знать и с т о р и ю. Дай мне! этим — дашь себя.

---

[i] Очень острый (*от фр. tres piquant*).

Нет, гулёночек, ты не минешь Парижа, не посетив «затворника». Это непостижимо. Какой бы ни был я... — я — весь связан чувствами и мыслями с тобой... А если я «вывихиваюсь», если сорвется вскипевшее почему-то... то это от лукавого. Так и знай. Ты — умница, — кошка дура! — и у меня в мыслях не было чуть даже поцарапать тебя. Ах, если бы лет пятнадцать скинуть!.. о, ты бы увидала, ты бы почувствовала... Ну, Господь с тобой. Обнимаю, и сердцем, и этими, еще «стучащими» руками... Я ем довольно, укрепился с помощью Божией... главное — могу и хочу — страстно! — писать! завершать. Олюша, спаси же себя от сырости... это гибель! Уезжай. Сердце..? — кто и что знает?! Ни-кто. Ничего подобного! У меня в 1914 г. нашли т о - ж е! Искривление аорты!.. Будешь жить еще лет 37. Ты будешь жить долго, если будешь — в искусстве! Пи-ши! пи——ши!!!! ... Милое деревцо!.. — оно заменило «ферму»! — ты должна была давать великое «полотно»... в полной свободе чувств и образов... Ольга, я тебя люблю, да, и никогда не погасало это дивное чувство во мне... Люблю и жду... обнимаю и нежно целую твои пальчонки... — девчонка ты моя оголтелая! Ну, дайся — поцелую... вот как!.. Ваня

16.I.46 10-30 утра

Вскрыл письмо — дополнить: Олёк, сделай все возможное, чтобы свиделись! Не упускай дней, пока я н е валяюсь, а сравнительно бодр (ибо и п и ш у!), даже весел, — сама слышишь. Какой бы я там н и был, (какой я «герой романа»?!), каким бы тебе н и показался, — я все так же сердцем, как бы страшно-юный, жаждущий з н а т ь и воплощать. Мы найдем — о чем говорить... — испытав первые запинки в с т р е ч и. Как знать?.. — может и н е повториться случай. Боюсь за тебя: ты так часто болела, моя птичка. Выбрось же из твоей чутко-умной головки все сомненья: как бы я, порой, ни «вывихивался» в письмах... (это же, часто, схватывавшие меня боли, как вот-вот готовую разрешиться мать, только боли эти — из duodenal'ного «узла»... и бьют стрелами во всю окружность), — я всегда твой, — больше: я весь в тебе и с тобой, моя нежная, (о, какой ты можешь быть нежной!) — а когда ты н е ж и ш ь, — ты чаруешь... Я тебя жаждаю, я тебя жду, я л ю б л ю тебя, моя светлая дружка! Ну, Господь да будет милостив к нам!

Ми-лая... как я хочу милой твоей ручки, — я так изодиночился!.. Целую, обнимаю, — обнимаю, целую, — и весь в тебе —

Твой Тонька-Ваня

И.Ш.

414

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.I.46

Дорогой Ваня,

Не знала уж, что и лучше, отвечать тебе на все «царапки» или просто дать «травой порасти» и молчать. Все же пишу, чтобы ты знал правду о той, которую, якобы, «чутко» понимал.

Из твоих замечаний последнего письма[134] я увидала, к полному ужасу своему, почему ты за деревцо меня «распечь» собирался. Нет, мой милый, подхалимством никогда *не* страдала. Все твое письмо от гусиной лапки и до упреков «о. Денису» (между прочим, неосновательных именно в этом пункте, ибо не сам он себе выбирал «хозяев») за «валютную» страну и т. п. дышит упреком только мне. Но я, глупая, еще не сразу все раскусила, а вот сегодня ночью осенило, что это такое. Твое открытие мне истины, что я «грешневая» для меня исконная моя сущность, а не открытие и не новость. Я, друг мой, именно вся грешневая, более, чем многие, считающие себя таковыми. И до того, что не оставлю ничего в этом деле темным. Все хочу сама узнать. И все эти грешневые же Ваньки и Маньки помоложе 20—25 лет мне так же дороги, как и 100 лет тому назад. Кто и как эти грешневые каши обделывает — конечно, не совсем безразлично, но их-то, Ванько-Манькиных, сущностей не меняет. И вот я живу (писала уже тебе) только этой мечтой (нет, «мечта» — слащаво, салонно), только одной тягой — узнать их. Узнать самой, — пусть стоит это мне и целой жизни.

И это ничего не имеет общего с каким-либо отношением моим к их хозяевам. Ты — особо. А Ваньки тоже особо. А что среди Ванек баронов-фанфаронов нет, так тем и лучше, более грешнево выходит. Сумеют и своих баронов воспитать. Наше назначение помочь и показать то, чего они не знают. И, прежде всего, развенчать апельсины и колбасы. Будет преклонения. Понятно об апельсинах? Но апельсины ем охотнее колбасных изделий. С них рвет.

Не ждала и не думала, что вся твоя чуткость ко мне сведется к подозрению в подхалимстве. Нет, очень прошу «разнести» меня, как собирался. Тогда хоть я все буду знать.

Это вот у тебя не «занозишка» даже, а «занозища» на меня. Только не знаю какая. Но только занозой мучимый может так, как ты ко мне. У меня нет никаких заноз, и не знаю, что бы ты мог в этом направлении еще придумать. «Вскипеть» я не вскипела, — то, что ты затронул слишком серьезно для

кипения. Да кипят ведь тогда, когда не совсем уж правы, а я воистину чиста.

Никогда не писала тебе, что это «мое дело» и тебя «не касается». Выдумываешь себе сам обиды.

Скажу тебе еще для сведения, что «хомут» мой был надет без всякого подозрения, что за «хомутом» капиталы (пусть и под запором), т. к. Ар был для меня бедным студентом. Он был более чем скромен, да еще и не имел ничего тогда, а жил на очень малое. Я ничего о них не знала. Когда-то писала тебе о всем, — почему я его взяла[135]. Довольно. Да, гусыня делает свое дело, а я нет. Ты м. б. и прав — но кто же может судить? Ты? И что ты обо мне после этого знаешь?! Но это все так... маловажно. Так лично. Оставим. Господь с тобой. Оля

Ваня, зла на тебя у меня нет, но сам ты не так обо мне думаешь, как писал, то зачем обижаешь?

Не вяжется как-то все это. Не хочу зла, т. к. люблю тебя. К чему у тебя все какие-то зацепки?

415

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.II.46[i]

Мой милый Ванюша,

спасибо, спасибо, спасибо за твои фотографии![136] Но зачем же такое письмо?[137] Ты все недоволен мной, и мне это больно. Не брани, что у меня тогда 2—3 дня задержалось письмо к тебе — я тогда тотчас же ответила на твое воздушное, не рассчитав, что все равно не смогу снести на почту прежде чем оправлюсь. Я всегда сама ношу тебе письма, если не крайняя нужда. Из-за премерзкой погоды я не рисковала еще чуточку с гриппом выходить. Твой «ликер» с Пушкиным я не раскрыла, т. к. хочу и наяву сперва портрет Пушкина вдавить в воск. Ваня, какое святотатство: ты, конечно, слышал в радио, что немцы взорвали могилу Пушкина...[138] Я очень волнуюсь всем, что происходит. Будет еще немало слез и крови. Гадкий мир! В котором нет никакого мира! «Лорды» еще себя покажут[139]. Я их не меньше «Фрицов» ненавижу. Ты м. б. прав в твоем раздражении на меня за апельсиновое деревцо. Мне досадно, что я тогда поддалась этой идее. Они не стоят. Не думаю, чтобы она поняла

---

[i] На письме помета И. С. Шмелева: Получено в «трубке» с рисунками — 6.III.46. Отвечено 7-го.

и оценила, как бы надо. «Оценила» не в смысле — благодарности мне (это очень маловажно), но сути не оценила, для себя же самой. Потому я решила оставить обязательно *себе* точную копию того, чтобы помнить. Шлю тебе заказным для ознакомления с просьбой, дружок, тотчас же мне послать обратно и тоже заказным. Я купила альбом и напишу и текст. Хочу очень себе оставить. Будь так мил и не задержи слишком долго, а то я урываю время для писанья текста, когда смогу, а без картинок нельзя. Сегодня отнесла на почту 1 ф[унт] (больше нельзя) тебе того, что ты хотел. Не успела дойти до дому, как звонил почтарь: «что у Вас в посылке?» — «Коробочка». — «А что в коробочке?» — «Для чего это Вам, разве нельзя посылки посылать?» — «А я не знаю... Что у Вас там?» Меня взбесило, — этот почтарь во всем всегда был нахал и «с.с.». Я говорю: «там письма и рисунки». Он, конечно, щупал и чувствует, что я не то посылаю. Свернул тогда на почтовые тарифы: с письмом или без оного. Любопытство и наглость. Он у меня с писем иностранные марки без спроса склеивает и такие ободранные конверты доставляет. И всегда безумно интересуется Парижем... кто там у меня... Даже однажды в 1942—43 г. предложил: «у Вас такая корреспонденция с Парижем, что я Вам отказываюсь всякий раз выписывать квитанции, вот Вам книга для заказных». А когда мужу надо посылать бывало заказные для себя, то говорил: «у M-me есть... книга,.. впишите и Вы в нее для удобства...» Я очень часто потому слала из Утрехта с главной почты. Этот гад — так называемый «директор почты» держал нос очень по-ветру в свое время, так что еще и не копни его... Вони не обраться бы было.

Теперь он, думаю, тоже просто гадит. Потому хочу завтра посылку взять и отвезти ее в Утрехт. Все это такая мразь, мелкота. Его хулиганы-дети звонят: я выхожу — Что такое? «Нам надо г-на Бредиуса». — «Зачем?» — «Это мы ему скажем». Пришли просить у мужа иностранных марок. Он сказал, что это они у меня должны просить. Несколько раз ободранные письма. Затем явилась девчонка и спрашивает марок якобы для католической миссии в Индии. Не дала, т. к. лучше сама схожу в монастырь, от имени которого она якобы сбирает и спрошу там. Эта же девчонка у прислуги моей просила марок, чтобы та у меня склеила с писем.

[На полях:]. Наскучила тебе о почтаре. А вот все из-за так называемых «соседских» отношений терпи хамство. Его распаляло любопытство, кто в Париже, который мне пишет ежедневно. Здесь же только сплетней и живут. Тошно, тошно. Ваня, как твой глаз? Я это так понимаю. Берегись! Целую тебя. Оля. Швейцарка не может мне помочь поехать в Цюрих.

Возьму врачей за рога. Я сверх меры устала. Нас ведь снова затопляло было водой, природной. Дома надо ходить с зонтом, т. к. и сверху льет. Штурмы[i] ужасные. Сегодня же зима со снегом.

Заглавный лист посылаю тебе в негативе.

416

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.II.46

Ванюша, родной, милый, сейчас я посылаю заказным мои картинки (так себе, не очень хорошо, даже стыдно) и потому сообщаю на случай, если бы все-таки что случилось в пути, чтобы можно было требовать. У меня они единственные, очень буду огорчена, если пропадут. На почте задержали другую посылочку с «фунтиком». Я попробую ее послать из города, не знаю, можно ли в таможенном смысле. Меня очень тронуло и гордостью за своих порадовало твое сообщение о Гребенщиковых[140]. Да, вся наша жизнь здесь должна быть направлена на то, чтобы держать свое знамя высоко. Я много об этом думаю. Я хочу верить, что и туда, к себе, удастся лучшим из нас перебросить свой «посев», и что там «добрая почва». Ты и И. А. рождены пророками своего отечества (не за его околицей), и если не из собственных Ваших уст, то пусть «апостолами» вашими будет проповедано святое ваше! Ах, если бы я могла этому посодействовать. Нет, не бисер пред тутошними ваше Слово! Оно для своих! Очень жду твоего отзыва о рисунках.

Молюсь о тебе. О.

417

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.III 46 г.

Мой дорогой, сердечный друг, Ванюша, спасибо за книжечку твою чудесную «На морском берегу». Я очень тронута, что послал мне ее. Благодарю и за быстрый «retour»[ii] моих акварелей. Обнимаю тебя, заглазно хоть. Сегодня не спала,

---

[i] Здесь: буря (*от нем. Sturm*).

[ii] Возвращение (*фр.*).

тревожилась твоим... Прочла вчера «Am Meer», — ах, Ваня, больно мне. Нет, не могла спать. Она же не на немецкий язык перевела, а м. б. на швейцарский диалект? Если ты так хотел, то не критикую, ибо незнакома с диалектом, но я не думаю, чтобы это было так. Надо было перевести на так называемый «Hochdeutsch»[i], — т. е. на обычный, т. е. незасоренный диалектами язык. На таком читают все, знающие немецкий язык, а на том, что дала Кандрейя, многое будет совсем чуждо. Надо было «Umgangssprache»[ii], т. е. разговорный язык, а тут я не знаю, что такое. Она дала гипсовую маску с лица, от которого ушел дух. Не говоря уже о некоторых неудачных оборотах, исказивших тонкую структуру этой вещи, она делает и просто грубые ошибки. Я хорошо знаю немецкий язык (ведь и теперь еще это мой разговорный язык дома с мужем), я учила его при Берлинском университете на курсах для иностранцев, имеющих целью сдать экзамен на диплом. Профессора немецкой словесности объясняли нам все тонкости и нюансы. Одним словом, во мне все кипит... Начать хотя бы с н а ч а л а.

«Прошу»... — сказал капитан. «Bitte» — переводит Кандрейя. «Bitte» говорится всяким и всякому. Это — затертое словечко, означает невнимательное, мимолетное, для каждого и от каждого предназначенное «пожалуйста». Я, не взяв еще в руки оригинал, не поверила, что у тебя стоит нечто соответствующее этому «bitte», «бите-дритте». «Прошу» переводится так: «ich bitte». Это Ich[iii] тут много дает. И масса, масса. Мы скромны, все скромны: и мама, и Сережа, и я. А вот напрасно — конечно, я перевела бы лучше. Я переведу этот рассказ, а ты пошлешь оба перевода И. А. Ах, если бы только время и здоровье. Я очень плохо чувствую себя. Писать трудно. Прошлым воскресеньем почти упала от боли острой в сердце. Теперь принимаю nitroglycerin. Не говори мне, чтобы я береглась, брала отдых. Это мое острое желание и отчаяние, что никак не выйдет. Я измучена. До отказа.

Сейчас у меня на руках опять больной тесть. У него ишиас, и вот он без всякого движения с большим весом. По утрам уже сестра приходит делать шприцы[v], — надо еще до нее все припасти — выкипятить иголку и шприц, больного убрать,

---

[i] Литературный немецкий язык (*нем.*).

[ii] Разговорная речь (*нем.*).

[iii] Я (*нем.*).

[iv] Здесь: уколы (*от нем. Spritze*).

его комнату истопить. А дрова — сырь. Я с 6 утра до 12 ночи мечусь. Я устала. Сегодня скандалила с мужем — не совладала. Выкричала, что его сестрице не грех бы об отце подумать, а нечего на мне ехать. Они же все ко мне на курорт. Это грех м. б., но я не могу. У меня собственная мама с ног сбилась и тоже, конечно, свалится. А та бабенка своими «психами» занимается. Мужа своего к нам тоже свалила на масленице. А все это ходячие трупы. Не старика имею в виду, а вот этого соотечественника нашего хотя бы, и братца Арнольда, и многих других. Вчера было 8 человек в моем «пансионе». А ежедневно 6. Часто 3 разных диеты. Ну и взорвало меня. Я сказала мужу (он ездил к сестре), чтобы [хожалку] для отца, и она искала. Я найду с величайшим трудом, а они высокоумно оставят. Когда ей изображено было положение у нас, она ничего лучшего не нашла, как предложить приехать ко мне. Это седьмой!.. Ну, я и сказала: «да ведь и за ней тогда еще нужен уход»! Вчера година папочки была — лба не пришлось перекрестить. Я не могу больше. Мы все устали. Я ведь с воды еще не отдышалась. Все «гости»... гости... Все лето жила с маленькими интервалами девица из Парижа[141]. И той некуда было деваться. Ее жениха-мужа только на днях выпустили — сидел. Он из тех, у кого я до 37-го года жила. Но что же было делать? Ведь люди. Она у меня была как дочка. Ванюша, как хочу поговорить с тобой, долго, покойно. И как устала, как вся вздернута, вся на нервах. Дела масса и моего собственного... Я должна писать. Хочу для тебя рисунки ягод сделать. Напиши, как ты хочешь? Отдельно ли или в композиции? В этом я отдыхаю. Твоим я живу. Безумно хочу перевести хоть кусочки из Жоржика, на пробу. Нельзя же делать подстрочный перевод в художественном произведении, да еще твоем, где всё душа! Ведь получиться может «am Zwiebelmeer, am Zwiebelmeer»[i], т. е. «у лукоморья». Лук(о) — Zwiebel, буквально-то перевести! Переведен ли твой «Последний выстрел»? Если будут, то, ради Бога, будь осторожен. «Под горами» (хоть я и ворчала) куда лучше «Am Meer». Там тебя чувствует читатель. А тут ты пропал. Получилась простенькая фабула для детей. И только. Вот еще пример (не выдержу): «откуда-то, м. б. из-за спины...»[142]. Это о палочке Димитраки — этой чудной кружевной палочке, которую «грубый» нищий, как по волшебному мановению, сюрпризом поднес Жоржику. А у Кандрейи так: «он вынул из-за спины...» То, да не то. Аромата нет. «Мелочь» — но у тебя из таких-то «мелочей» вот составлено великое. А отними эти

[i] У лукового моря (*нем.*).

«мелочи», и будет грубо, банально и, пожалуй, даже неважно... как подарить. У И. А. хорошо есть об искусстве дарить. Есть ведь даже оскорбляющие подарки. Ну а Кандрейя... так... ну, подарил... и все. Это вроде Фаси Толен... она не помнит даже сцены Раскольникова с Соней, когда та ему отвечает: «это человек-то вошь?»[143] Фася Толен, между прочим, считает себя знатоком Достоевского и, как таковая, ораторствует о России среди тутошних. Ах, как много боли.

Как много надо всего.

Но я боюсь за себя. Меня уже не хватает. Я уже не та.

Я заряжена до отказа, и нет места, нет разбега для фейерверка, который уже давно в душе. Как хочется, чтобы он вырвался и блеснул в наших скользких потьмах. Напиши мне. Поддержи меня. Что ты скажешь об акварелишках? Я поникла, не найдя письма от тебя.

Меня тревожит мама. Она больна тоже. Устала и простужена.

Сережа тоже на все затычки.

Холодище. Ты спрашивал о житье. Оно неописуемо. Когда дождь — льет в доме и наливает за ночь полное корыто. Когда снег, — надувает снегу. Сережа сгреб с подушки своей с тарелку снегу, при запертых ставнях. Столовая нежилая. Все делается 6-ью человеками в одной комнате, самой, так сказать, парадной. Топлива очень мало. Еда хорошая. Для отца Ара топим бывшую мамину комнату из последних запасов. А что дальше? Мама болеет за меня душой. Ничего не выходит с поездкой за границу. Даже кольца и пр. регистрирует [1 сл. нрзб.]. Слышала, что уехал Толен в Париж. Не знала вовремя. Сыр послать тебе не удалось по почте, т. к. нельзя продукты в таможне. Что придумать? Сережа кончил учебник русского языка. Это время он этим был занят. Частенько получаю посылки от золовки из Америки. Даже лак для ногтей прислала, хотя и было, и не просила сей ерунды.

Ах, Ваня, Ваня... Как хороша могла бы быть жизнь! Если бы ее продлить и иметь покой! О, не кутежей и выходов, и роскоши бы я желала... а другого... Мне нет времени на смотрение вглубь, на созерцанье, на все то, что жизнь делает достойной. Сейчас моя мечта пожить в тишине кельи. Одной. Со своей только совестью и мыслью. Ты поймешь. И это надо, надо. Чувствую, что иначе и жить не смогу. Взорвусь...

Кончаю, Ваня. Пиши. Не сетуй, если неточно приходят вести от меня... это значит, что не хватило сил, и я брякнулась в кровать вечером.

Обнимаю тебя. О.

P. S. Как хочу в церковь, только не Денисову. Афонского послушать[144]. Помнишь, мы встретились с тобой пред всенощной... Цветущие хлеба...

Господь с тобой.

Пиши. Я жду.

418

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.III.46 Четверг, вечер

Очень меня встревожило, Олюшечка, твое письмо, 10.III. Об акварелях послал тебе 7-го, — трубку — 6-го. Ты теперь получила, в понедельник, вторник. Сегодня же и отвечаю на — от 10-го. Да, заездили тебя. Ясно. Доламывают. И, будто, никто не виноват... ?! Винить — не изменить... — надо все взвесить и — из-ме-нить. Как, чем... — тебе решать, твоею чуткой совестью и умом сердца. Приносить жертвы — подвиг, но отдавать себя в жертву без пользы, впустую, без малейшего «во-имя»... позволять добивать себя... — это некий вид самоубийства. Я уже давно сквозь твои письма вижу, в какой запряжке мечешься ты, вытягивая из себя последние силы... и, говоря тебе это, стараюсь говорить беспристрастно. Твой покой, здоровье, радостность делом жизни по своей склонности, «по сердцу», своею волей... — и для меня светлая радость, за тебя. Я не ошибался в тебе, и не ошибусь, — сколько я говорил тебе! И как я бессильно все эти месяцы возобновившейся переписки умолял об одном: отдохни. Прежде, чем решительно все обдумать и изменить эти бесчеловечные условия жития твоего, необходимо вздохнуть и опамятоваться, ибо ты совершенно раздавлена. Мне тяжело касаться причин, и потому я избегаю искать... виновных... Но — так продолжать... — самоубийство. Заездили тебя, Олюшечка... бедная моя... — и жизнь, и... Но, ведь, люди-то и складывают, хоть на-половину, условия своей жизни, и — не своей... Что пользы — «выкричаться»! Надрыв — и еще больший упадок сил и духа. Меня очень встревожили и твои боли... ты принимаешь «нитроглицерин»? Но, ведь, его назначают для «экстренного расширения сосудов»!.. разве это то-чно установлено, что необходимо это? Но тогда единственное условие — покой, полнейший покой... и серьезное леченье, и все может прийти в относительный порядок, с болями-то. Ты говоришь о сердце... м. б. это — острый

невроз? м. б. органического повреждения коронной артерии — или — как? — нет? Не ангина же у тебя грудная?! ... Но тогда чего же смотрят те, кто обязаны смотреть?! ... Иначе это — или равнодушие, или — ребячье непонимание... или... не найду и слова. С мамы чего же спрашивать, с той же жертвы!.. Но при тебе же брат... он-то видит? или — бессилен изменить, хотя бы заступиться, хотя бы сказать: «ясно же, что убивают человека,.. дальше так нельзя!..» Он не мальчик. А у тебя, чувствую, и сил нет. Оставь о... девизах этих, я тебе написал от 7-го[145]. Я приказал продать, что у меня было в одном швейцарском банке, где жила Кандрейя, что я оставил еще в 38 г., чтобы не везти через Германию, когда уезжал в Прагу и в обитель преп. Иова[146]. Письмом от 1-го марта банк меня уведомил, что часть продана, по такому-то курсу... было около 2 тыс. швцр. фр., а дня три тому Кандрейя мне переслала новое письмо банка — с аннулированием продажи... !! Никогда подобного не видал!.. Ведь за эти 8 дней я уже мог распорядиться реализованной суммой. И вот, банк, придираясь к каким-то мне неясным «формальностям», пишет — у Кандрейи полная доверенность на управление, — что может продать только по курсу более низкому, — ну, разница около 125 швцр. фр. Что-то «с декларяцией» или «без декларации», — оттогоде и курс иной. Словом, увертки. Я не подлежу обязанности делать «декларации», ибо не француз, и мой вклад не достигает суммы, при которой надо делать «дэкларацию». Это такое финансовое распоряжение было французам для обложения утекавших капиталов. Сегодня я написал банку — продать, все равно. Мне нужны деньги, мои сбережения, мой труд. О, я, милочка, много потерял еще в 29—30 г. Не потеряй, был бы теперь чуть ли не миллионер. Тогда мои книги давали, в иностранных переводах, при всех ограблениях меня издателями. Ну, это моя ошибка, послушался одного совета... и потерял по тогдашнему счету тыс. 120 фр., почти полноценных. О прошлом что говорить. Словом, думаю, что будет в моем распоряжении тыс. 2 швцр. фр. с лишком. Я тебе писал... будешь в Швейцарии — располагай. Вряд ли я попаду туда, я так устал что-либо предпринимать, раскачиваться... хоть тут мне тошно. А где не тошно?! Уезжай, вздохни, приведи себя в порядок, сперва. И не кричи, а здраво обсуди с твоим А. — должен же он видеть и по-нимать! Мне — больно было читать твое письмо, вчитаться в него. Но я ведь все это чувствовал и раньше. И умолял, бессильно. Тебя и не виню, и... досадую... Ах ты... «Мери» моя... не хочу сказать — «Вакса»...[147] — мне так больно! Без вины виноватая... ложно-покорливая...

Отдохнуть и — отдаться любимому делу, творческому, — ведь в тебе же дар Господень! Что я, слепой? Но этот дар требует великого труда — развития и укрепления. Для сего — к черту всех «гостей», людоедов! И прежде всего — надо употребить все возможности! — о т д ы х, большой и полный.

О переводе «Ам Меер» — что говорить! И. А. давно мне говорил — она никуда[148]. Но всё незадачи с этими переводчиками. Перемерли отличные, п р о п а л и — моя Кэт Розенберг[149], — теперь Артура Лютера отыскиваю... — он ведь уже перевел «Пути Небесные», но все рухнуло с войной, а теперь не знаю, уцелела ли и рукопись-то его, перевод. След Лютера нашел Иван Александрович[150]. Сегодня я отнес письмо моей французской переводчице, у ней нашелся случай направить письмо Лютеру в английскую зону — живет у сына в Геттингене. Он профессор, доктор, из Лейпцига и его должны знать в небольшом университетском городке — «у сына». Запрашиваю его, как и что. Прихожу в ужас — между нами! — если бы Кандрейя переводила! Ей уже предлагало издательство, но она убоялась, что я связан — пока — с Лютером, и тот может вчинить к ней иск-процесс. Но я не знаю, еще приемлем мы Лютера, в Швейцарии! Ты знаешь, как теперь все накалено — все еще! — и как иные, пользуясь этим, устраивают свои дела и ставят барьеры... — Как бы много сказал тебе!.. Сколько я видел зла и — добра! Вот эти последние дни... какие трогательные приветы... с далей даже. Да, ты, конечно, права... я языка не знаю совсем, — никогда его не любил! — теперь жалею. Воображаю, что же сделала Кандрейя с моей «Няней из Москвы»! И — с «Историей любовной»! «Последний выстрел» давно перевела, печатался в детском журнале. И — «Мери». Зато, в отличных переводах вышли — «Человек из ресторана», «Солнце мертвых», «Чаша», «На пеньках» — а о всех переводах Кандрейи Иван Александрович всегда отзывался яростно. Не утруждай себя, не переводи. Мало у тебя своего дела? Не пиши и акварелей мне — «ягодных»... после, когда вздохнешь. Ах, родная моя, голубонька Оля... ско-лько бы сказал тебе!.. сколько бы принял в душу от тебя!.. Эти последние дни у меня резко испортилось душевное состояние... тоска... скука, смута... — всегда, когда я не в работе, а так, почитываю... Когда у тебя будет более свободный час — пришли мне последнюю редакцию очерков «Лета Господня» — главное — «Михайлов день», «Вербное воскресенье» — что еще у тебя?*

* Нет, не посылай: я снова переписываю, буду выправлять – менять кое-где.

Я тебе верну, лишь перепишу. Ибо хочу снова все переписать, окончательно составить для печати[151]. А печатать будут, очевидно, после... И все откладываю приступ к III книге «Путей». Нет надежды, что здесь издастся... — пустыня. Скоро* должно выйти французское издание «Путей»[152], I кн. Как уж эта Эмерик перевела... — не мне судить... думаю — плоско. Да все равно... — не для них писано. И никакого успеха не жду. Ну, получил аванс... давно, с год. А сколько пройдет... ведь теперь цены-то!.. не менее 160 фр. книжка! Договор у меня подписан — до пяти тыс. экз. — 8 процентов с продажной цены, свыше до 10 т. — 10, свыше, — 12 процентов. Жизнь такова, что я, с малыми потребностями, «без выходов и приемов», должен тратить 6—7 тыс. в месяц! Ну и... «самоедствую». И согласился на издание «Ам Меер» — она давно перевела, — а, все равно... что-то заработал. Не жду и от французской «Истории любовной»[153] — не верю. «Чехов» дал кое-что, скоро выйдет в Швейцарии. А что тебе пустяки посылал... — голубчик мой Олюша, это же... не от скудости тогда было, и пустяки стоило. Теперь, с продажей бум[аг], хватит до-вертеться. Да мне и шлют... с избытком, раздаю, кому нужно, а сам я чуть ем... да много неподходящего. Недавно, в одной посылке из Лос-Анджелеса, от Общества русских женщин — пакет гречневой крупы прислали!.. между прочим одарением. И — халат!.. и... был согрет. — О сыре оставь думать. Боюсь, как бы опять «язва» моя... что-то «намекает»... — м. б. это от плохого душевного состояния, а м. б. плохое душевное состояние от «язвы». Обнимаю тебя, дружочек, и плачу над твоей милой головкой... светлая моя, горевая. Но — не надо плакать, не смей!.. Воздохни, и — сознавая себя, — силы в себе, бодрись. Но нельзя так продолжать... это и — грех! Ибо бесплодное, слепое «самоуничтожение».

Продолжаю, воскресенье, 17-го марта. Вечер. Только что ушла Эмерик с 3-й корректурой «Путей», была за объяснениями. 15-го пришло новое письмо, от банка. Одумались, продали-таки, с легким понижением, всего утеря 35 фр. Так что ты вполне, если попадешь в Швейцарию, располагай, как писал, — не будет теперь для тебя вопроса. В таком случае, по пути завернешь повидаться (по-мни же!), — свидеться! Сегодня переводчица сказала, что лектриса[i] издательства, француженка, читая в корректуре «Пути», «была оглушена», сказала: «совершенно особенное, свежее, мощное!..» Лект-

---

* недели через 2.

[i] Чтица (*от фр. lectrice*).

рисе и книга в руки, должна знать «читателя». Да только этот «читатель» (ужасное перо, цепляет, не твое, твое — с чего-то — мажет, а это царапает!) — возьмет от моих «Путей» разве только одно «беспутство»!.. Не верю в успех, не верю. А хотелось бы его, во всех отношениях...

Ты пишешь — «посоветуй, поддержи меня». Голубка, родная моя детка... ты видишь мое сердце... И всегда я пытался тебя ободрить. Но что я отсюда могу сделать?! ... И видишь — какая дикая жизнь!.. Обезумело все... Я не могу думать, уйти в работу... Казни — каждый день, смертные приговоры — по несколько в день. Привыкли. И в этом ужас. Живешь на бойне, в мертвецкой... в удушье. Твори вот!.. Убежал бы... Ну, что толку — мне-то — поехать на месяц-другой хоть в Швейцарию?! Чтобы снова — сюда!.. И так все непрочно, шатко... — да и по всей Европе. Швейцария — пока (?) оазис... А у нас люди пропадают — бесследно, бесшумно. И кто был «в славе и чести» — и «в лаврах» — совсем недавно... уже отстранены или устранились.

Что же ты предпримешь? радикального? Так продолжать — тебя и на год не хватит. Ясно: первое — надо передохнуть. Понимаю я: боязнь за маму. Что делает брат? Продолжает работу? Он деловой человек, способный и умеет обходиться с людьми, и, кажется, никаких «крайностей» не любит. Теперь, в возрождающейся стране вашей, много должно быть дела... а он и специалист, инженер. Ехать туда...[154] — нечего и мечтать. Надо забыть. Наши «дыхательные пути» для сего не годятся.

Много-много сказал бы тебе!.. — душой в душу. Я не живу (не пишу) — я — изживаю себя...

Твое дарование, такое многостороннее, требует совсем других условий. Ты показала семье, в которую вошла, как ты широка сердцем, не хотела быть «госпожой»... за все бралась, и вот, тебя не поняли и... привыкли, что ты — «за все»... — и считают это естественным. С такими надо было совсем иначе: быть госпожой! А ты как будто считала себя как бы чем-то обязанной. Да и самолюбива ты (и по праву!), всемога... — даже и по окрУге нагружала себя. Нет, эти не оценят. Как напрасен был и твой (чуткий для редких только) дар. Еще и вывернут. Не понимаю, почему же ты не возьмешь служанок, кухарки?! Скажешь, деньги блокированы. Но ведь помимо денег есть вещи... часто бесполезные, или «без пользы», теперь-то! в экстренности-то! Какие небось ценности в иных редких книгах только! Требует жизнь — жить, чего же хранить втуне?! — если живое и дорогое гибнет!

Ведь все это тысячу раз могло быть испепелено!.. о т н я т о!.. А сейчас э т о — очень в цене! А мне уже н и ч е г о не нужно... Я у с т а л. И одного хотел бы — видеть тебя, в беседе с тобой найти для тебя п у т и и укрепить дух твой.

Не радуюсь дням: они проходят пустыми, нудными. Многое зависит от душевного равновесия. Его нет. Я не могу жить в мертвецкой, в «узилище» всяческом, на... бойне. Всюду доканывают человеческое. Злоба, мщенье, озверенье. По целому свету разлилась морем кровь... — и э т о называть — «война кончилась»! Нет, убой (без бомб) продолжается, и все эти «Бухенвальды» и «Аушвицы» — существуют... — и ничуть не боятся никаких трибуналов. В целом свете! Творится, — без радио-передач. А порой и с ними, ибо «ничего не страшно».

Родная моя Олюшечка, скорей напиши, не томи: о здоровье, о том, что, наконец, в н я л и, и твоя каторга кончилась, что ты «берешь долговременный о т п у с к — отдых». Господь с тобой! Целую твои глазки, исплакавшиеся... Твой В.

За всякими делишками «дня сего», задержалось отправкой, не дописал. Вечер, 17-го марта.

419

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.III.46 6 вечера

Спешу написать тебе, дружка моя Олюша, чтобы ты не томила себя всякими надумками: ягодки превосходны! пусть, чуть поблекли, но они ж и в у т, все разные, и я не могу поверить, что это «по памяти»! Для меня это недоступно. Очень, очень благодарю, голубка... Прервали, 10 ч. вечера. Пришлось откинуть творог — ! — скисло забытое с утра молоко, полтора литра. Пришлось жарить рыбу, взятую утром же, а то до-спеет к утру... А, какая тут работа... — все «приходится»... Сейчас усталый, разбитый... Наколол твои ягодки на стенку. Зернышки — ноготком, будто, отколупнуть можно... — нет, отчаянно ты даровита! Господи, ч е м, к е м могла бы ты стать, на радость многим!.. Но что-нибудь одно, — один какой-нибудь вид искусства, и, конечно, не в этом ужасном, размалывающем душу х о м у т е хозяйственных «сверх силы»! Можно... очень понимаю! — иногда побаловаться и на кухне, создать какое-нибудь приятное, л и ч н о е «блюдо» там... развлечься... приятно возиться с «маленькими» на птичнике или немыми и неподвижными маленькими — в саду, — они споют

тебе свою ароматную симфонию... Но — надо жить в возможной свободе! Повиноваться «веленью Божию»[155] в себе, а не хомуту. Другие тащат этот хомут, но они же и требуют за него — свое.

Не говори глупостей: я тебе ясно писал, и не возражай! Надо будет... — мало ли что случается! — всегда в твоем распоряжении в чужой стране могут быть «пустяки», хотя бы и мои... — я не могу понять такого твоего — «ни за что не смей предлагать»...[156] Это почему же?! ... Даром же лежат, глу-пая... — Я писал тебе, чтобы у тебя никаких отговорок не было, ссылок на затруднения... раз надо «дух перевести»! А тебе надо. Почему так к швейцарцам!? Да плевать тебе на их качества... — там — комфорт, по-кой. И за твои франки тебе будут почтительно и охотно служить, а ты будешь читать, думать, дышать, писать, рисовать... — пойми, это же леченье! И я не понимаю, почему тебя давно не отправили, а домалывали и доламывали, пусть бездумно и невинно. Ты мне ничего не пишешь, что у тебя с сердцем. Напиши. Маме спасибо за поклон, кланяйся ей. К черту о твоей «колотовке»[157] — ну, пустое же она, м. б. даже и гадящее место. Плюнь на дуру и дураков, не мечи «бисера». И как ты можешь так раздражаться на идиотские выводы! Да черт с ними, пусть мелят свое др-мо, квакают в своей тине... ты-то выступай гордо и подобающе, — этим только, этим одним даже, — заставишь разинуть пасти и замолчать. Их ло-мать надо, а не потакать им. Не поняли твоего великодушия, — поймут презренье. Ты — сама, и ничего не бойся, не смущайся. Но теперь тебе этой борьбы не выдержать, их много, а ты одна с братом и мамой, и ты — надорвана! Надо передохнуть. Главное — это. Ты, именно, «опрометь-стремига», вот ты кто. Ну, теперь ногу отшибла..! когда же ты возьмешь себя в руки?.. найдешь — ритм? Ты — побегушка, безоглядка. Я-то — ох, как понимаю тебя... все вижу. Все тебе скажу про тебя, когда свидимся, если Бог даст. Виши... Знаю одно: здесь все в неустройстве... а если и есть еще «Виши», то облупят там тебя, как Сидорову козу, — это тебе не «честная» — да, «умеренная» и «честная» страна лакеев. Здесь же сплошной черный рынок. Кто во что горазд. Знаю отлично. Меркулов еще не дознал о курсе, как ты просила, — не в ходу, что ли? Знаю, что здесь зл. фнт. — 7500. Масло «черняки» взвинтили до 700—750 фр. — 1 кг. Яйцо — теперь-то! — 22 фр. Сегодня достал около фунта «судака» — колэн[i], — сто! На две порции. Но это не Виши... А там тебя

---

[i] Судак (*от фр. colin*).

морить будут и обдирать... В Швейцарии — вряд ли сильно подорожала жизнь. Думаю, что на 12 фр. в сутки — можно скромно и тихо найти пансион. Запрошу завтра И. А. — «для одного друга». Теперь там отменены карточки, и шоколаду — вольно, «с молоком». И, конечно, зелень, салаты... А тут... — едва алжирской моркови найдешь — 35 фр. кило. Картофель, скверный, с болячками — 40. Родная, если будешь в Париже, не будешь кормиться в ресторанишках, а у меня. На-йдется! До-будем. Сам тебе изготовлю рыбку... и — бефштекс. И хорошего вина достану. Сам-то не пью. А для тебя достану. Сил-то у меня мало бегать по Парижу, но кой-где побываем... — отвык я от этого «кверх-ногами». Я часами лежу и думаю... и — отвергаю... и порой не постигаю, з а ч е м длить..? Дотого все отвратно. Напиши о ноге, прошу. Постараюсь узнать о гульдене. Думаю, что «кругленький»? Суди по курсу фунта. Газеты у тебя есть, сравни... Но я добьюсь точного. Помни: понадобится что — не будешь на мели. Ты на меня смотри хоть как на старшего брата, если не на отца. Я тебя ценю вы-соко, и — нежно. На днях выходит французская книга «Пути». Никогда так не желал мало удачи, как ныне. Ну, увидим... Да куда же все ваши куфарки подевались?! Немцы, что ли, съели? Помни: если тебе жить на ферме — то только г о с п о ж о й. Иначе — самоубийство. Поверь: нет во мне и тени л и ч н о - г о тут, а только самая скромная оценка, — что из тебя делают! и — з а ч т о?! во имя — ч е г о?! Д-р Клинкенберг — чудак! — «само придет... решится...» Что за квиэтизм! Это от и х кальвинизма... Ты умна, — ну, как может «само решиться»?! Это бессильный ответ-отписка профессора из «Скучной истории»[158] — его Кате, любимице, на ее отчаянный крик — «но что же делать?!» — «Не знаю, Катя...» Но это же, вообще, — «незнайка»... всю жизнь про... «не-знал». Хоть и «умный». Ты Господа спроси, Пречистую... — ведь ты н е для себя ищешь, а — «во-имя»! Ты же та-ешь... отмираешь... — пощади себя, для с в е т л о г о в тебе. Ты же не видала ж и з н и!.. Не о плотском говорю... — ты души не можешь напитать хоть чуть-чуть... ты лишь бросочками суешь ей крошечки... и все твое сгорает бесплодно. Ты выдержала подвижничество — эти годы бойни... — ско-лько вынесла. Да, гости — людоеды... так всю жизнь в них и живи, а они утрутся и...

Да, о твоем намерении перевести что-нибудь мое... Да это моя мечта! Я не смел еще нагружать тебя, этим... Уверен, что ты дашь дОбре. Ты с л ы ш и ш ь напевность моей речи... Я уже написал И. А. о твоем проекте. Конечно, он не откажется от оценки. А если они там с американца-

ми — Барейс — я писал тебе! — найдут издателя, — Барейс взяла слово с И. А. найти совершенного переводчика для «Богомолья»...[159] — конечно, ты должна взять гонорар. Мы все это устроим. Попробуй... «Богомолье...», а? Это моя мечта... Это мой свет — «Богомолье»... Свяжи себя со мной! Пусть для Европы... «Пути» — писал тебе — уже были переведены Артуром Лютером, я нашел его след и запросил с оказией письмом, в английскую зону, в Геттингене, — он профессор, доктор из Лейпцига, живет у сына, точного адреса И. А. не мог узнать. Спрашиваю, цела ли рукопись. Ведь весной 38 г. я уже подписал контракт с издательством в Мюнхене «Кöзелл унд Пустэт»*. И еще спрашиваю, может ли он рассчитывать устроить в швейцарском издательстве**, моем, во Фрауэнфельде[160], — «Губер и К°» — старое издательство, издавало «Няню из Москвы»[161]. Воображаю, как ее-то перевела Кандрейя! Что ответит Лютер..? А пока ты попробуй несколько страничек хоть из «Богомолья», по твоему выбору..? Но... при условии, что это не отягчит тебя... я не смею и помыслить. Родная, детка моя... как я тебя жалею, как мне горько за тебя... бедная ты моя... Олюша. Но... не унывать! смелей, выпрями же душу! Но, прежде всего, надо физически окрепнуть, вздохнуть. Ехать, ехать, куда угодно, сюда, в Швейцарию... только сейчас же вон из болота!.. Что касается до «сов в Афины везти»... ты, пожалуй и неправа: именно — «в Тулу со своим самоваром», но... сделать сноску: «Г. Тула славится выделкой самоваров». Надо оставить колорит свой. Ведь «сов в Афинах» поймут лишь культурные люди, зная, что много в Афинах руин (Акрополь)... Да и богиня Афина была, кажется, «с совой», — ей посвященной. Ты, знаю, чудесно справишься. Да, И. А. если и не написал — «приглашаю», он — «независимость» любит — помни: «гости-людоеды»! но он всегда ответит и даст все справки. И поможет устроиться. Хочешь, я ему напишу? Словом, решай. Я — счастлив тебя увидеть и отдать тебе все время, все силы, всего себя, возможного. Да ты же меня знаешь, Оля... я простой, не-сложный... и все понимаю. И... люблю тебя, и болею тобой. Но не хотел бы, чтобы ты жила в Виши... Все равно, что... в Голландии. У меня нет воли куда-то ехать... отвык, не тянет. Но... поехал бы в Ментону..? Хочешь, напишу туда, попробую запросить князей

---

* конечно, его и следа не осталось!

** в Швейцарии никак не поместят, если на Лютере хоть пятнышко от национал-социалистской краски!..

Волконских[162], в 38 г. мы с Серовым жили у них... где они только теперь, вот вопрос. Узнаю от парижских Волконских[163]. Но только с продовольствием там... ох, не знаю. Ну, наведу все справки. Тогда бы мы с тобой вдосталь наговорились... побывали бы в Монте-Карло. Деньжонок я достану, покутим с тобой, по-честному. А и Париж потом повидаем и послушаешь Афонского в соборе и в Opera, и — в Лувре. Я объязычился, давно не был в церкви... и у Креста не был. Читаю... очень это хозяйство душит... старушка только два раза в неделю, и за 8 приходов плачу ей не менее 1000—1200 фр.! Час — 25. Квартира теперь в солнце. Очень сухо. Но так все неверно здесь... — тошно видеть. Вот почему я настаивал на Швейцарии. Для тебя, голубка. Напиши, когда ты, куда-то, соберешься? Хоть приблизительно, чтобы я знал. И — твердо решай — куда. М. б. мне тогда надо будет выбрать нансеновский паспорт и визу в Швейцарию — хотя сильной решимости, обсидевшись, у меня нет — ехать далеко. Везде-то путы, заставы. Мне разрешение достанут, визу-то... Ну, подумай. И скорей напиши. О, сколько же нужно обо всем переговорить с тобой... вчувствовать тебя, и высказаться!..

Вот еще, по-думай! М. б. ты согласишься остановиться не в гостинице, а у меня?.. Никаких неудобств для тебя, как и для меня, это не составило бы. Говорю в полной чистоте сердца. Консьержке я заявил бы, что ко мне приедет погостить моя родственница, — скажем, племянница, — не все ли ей равно! Что скажут иные из моих знакомых..? Мне это безразлично. Да з н а ю щ и е меня, просто, сочтут это естественным (жила же ты на-юру!), особенно в дикие наши дни. Таскание по Парижу... — ведь ты, уверен, каждый бы день бывала у меня, — только трата дорогого времени и сил. И не надо было бы торчать — пусть хоть ночи только, в дыре отеля, — дрянной, конечно, — и платить чуть ли не больше сотни фр. в сутки! Для меня никаких неудобств не составит, напротив, — радость светлая! У меня, под моим кровом, ты будешь как бы в храме, — да, верь, в живой душевной б л а г о г о в е й н о с т и, в чутко-целомудренной благоговейности. Ведь ты же з н а е ш ь меня, невзирая на мои «взрывы» в письмах. Ты для меня — с а м а ч и с т о т а! — по-мни. И подумай. «Тоничка» — при всей его порывистости, при всей горячке воображения, — думаю, останется тем самым, каким вошел в твое сердце... Скажи Сереже также: м. б. ему понадобится поехать в Париж, — здесь он, думаю, мог бы найти по своим способностям и праву, соответствующую работу, и его приятели, Квартиров и Нарсесян, с которыми я что-то дав-

но не вижусь, могли бы ему в этом посодействовать, оба служат в каком-то механическом деле, помнится... — так вот, он всегда может остановиться у меня, никак меня это не стеснит, ни-как. Я не научился «священнодействовать», работая... я не ставлю стенки между собой и другими, особенно, между собой и теми, кого я з н а ю . Совершенно открыто говорю тебе, без обиняков. Чего ему сидеть у болота, лягушек слушать, дышать гнилью? А тебе я отдал бы свою «нишу»: она закрывается драпри, имеет выход в умывальную-ванну, — не дают пока горячей воды! — и в «служебный отдел». А я мог бы прекрасно валяться на оттоманке, — мое «ателье», укутанное, — разделенное на-двое на зиму, — раскутаю, будет бо-ольшая комната, в воздухе и солнце. По-думай, Оля. От чистого и светлого в себе говорю тебе, — видит Бог. Даже и «взгляда на женщину» не увидишь во мне... — чиста душа моя, — sans derrières pensées[i].

О, родная моя... для меня было бы светлым счастьем, если бы ты взялась одолеть, — попробовав, как заладится, и подкрепившись несомненным для меня «благословением» чуткого знатока в немецкой речи (И. А.)... — одолеть перевод «Богомолья» или — что хочешь... из моего. М. б. выберешь какой-нибудь, по душе, очерк из «Лета Господня»... любой части... — ч т о х о ч е ш ь. У меня ты могла бы вполне покойно, — как у себя, в к е л ь е, — работать красками... — свету вдоволь. А для меня... — милая птичка п о е т у меня, душу свою, м. б. отогреет. Это не фантазия моя, н е домысел какой... — а непосредственное и благостное чувство, веленье — и какое радующее! — сердца.

«Стыдно да будет тому, кто дурно думает»... — знаешь английскую поговорку? Так вот. И пусть эта дурность отягощает их совесть, — меня это никак не в о з ь м е т. Да ты, ведь, з н а е ш ь меня... — чего мне-то т е б е растолковывать!.. В с е продумай.

Ну, Господь да охранит, и укрепит тебя, и н а в е д е т на путь!

Обнимаю нежно-весенне-светло. Скоро, через 3 месяца, исполнится с е м и л е т и е нашей в с т р е ч и... в письмах (июнь 1939—46). Да будет дарована нам встреча рука-в-руку, лицом к лицу, глаза-в-глаза, — сердцем к сердцу! Мы с тобой одной лепки, я с н о. Часто — безоглядны. Всегда — н а и т и е м, без явного п л а н а. Это не всегда удачно, удобно, выгодно, но... с о в е с т л и в о.

---

[i] Без задней мысли (*фр.*).

Как я нежно думаю о тебе! — гоня искушающее, порой меня. Вот сейчас: как же я... в о с х о т е л тебя!.. Прости. Стыдись, глупец! Не к лицу...

Твой Ваня — Тонька

Приложил «жЁлтик» — и... капнул духами... — в нем поцелуй тебе, весенний... ж д у щ и й. И. Ш.

420

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[2—4.IV.1946]

Дорогой мой Ванёчек, сердечко золотое, милый! Плакала, читая твое письмо (с жёлтиком). Да, я измучена[i] вконец и не вижу выхода. Сейчас вот написала было тебе, да изорвала. Разве выразишь все письмом? Не представляю, как могу уехать. Мне убежать бы хотелось без оглядки иной раз. Только покоя хочу. Не для творчества даже, а для души, для того хотя бы, чтобы помолиться[i]. Не могу больше. Оставь о «госпоже». Я малейшая из всех. Продумай-ка хорошенько нашу «ситуацию», и ты увидишь, что я не могу так. Мне приходится от многого отступаться, чтобы не отягчить и без того горькое положение «бездомья» близких мне людей. И не всегда это удается.

Самое же отчаянное для меня это полный сумбур в распределении времени. Бредиусы не знают, что такое — порядок во времени.

Обеды могут быть и в 11 ч. ночи (как вчера, например), а сегодня вот уже 5 ч. вечера, а хозяина тоже нет. Спать является, когда хочет, а утром сегодня будильник трещал уже в 6 ч. утра.

И нет угла у меня. И нет часа в дне, когда бы я была только для себя. М. б., если бы нас было двое, — было бы еще проще, — а с шестью, часто 7—8 за столом, трудно.

Села писать тебе и, конечно, меня 100 раз позовут. За всякой ерундой. Ну, хоть бы 1 день в неделю! У каждого тут есть свой угол. У меня нигде[i]. Старик обитает, собственно, в 2-х комнатах. Мне нудно писать обо всем этом. Сию секунду (конечно, оторвали) зовут, сообщают, что прилетает из Америки золовка с мужем и дочкой[164] 22 мая надолго. (Пишу в спальне — заперлась).

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

Должна была сидеть и слушать длинное письмо. Не могла, сказала, что устала и ушла. Пишу дальше. Ну, вот куда уедешь? Конечно, надо быть 22-го мая. Визу долго не получишь. Я писала о Виши только как о предлоге поездки, для девиз и визы. Хотела просить Dr. Klinkenbergh*, но он не показывается, м. б. даже и дуется. Не знаю на что. Не хочу просить. Но ехать в Амстердам к Van Cappellen не соберу сил. Надо докторское свидетельство о почках. Спасибо тебе, дружок, за приглашение и за всякую твою готовность. Я тронута. Долго плакала. Сегодня опять дергали и дергают. Камера в тюрьме кажется порой обетованием. Еще возня с приисканием экономки старику. «Куфарок» нет. Засели девки за машинки и воображают, что барышни. Много хорошей прислуги было из Германии до войны. Эти были лучшие.

А моя дура на все один ответ: «не знаю». Да и звучит же: «ik weet het niet». Ик веет ет нит. Как-то до того пресно и глупо. Язык отвратный. Не умеет даже за печкой посмотреть. Дурища в 20 лет, а на вид и 15 не дашь.

Ванёчек, как хочу вырваться из суеты. Я не могу дальше. Нога пустое. Лучше стало. Klinkenbergh хотел резать. М. б. и надо, т. к. наросло какое-то постороннее под ногтем, и он боится воспаления. А мне некогда. Не могу сейчас выбыть из дома.

А потом Пасха. С Дионисием останусь без говенья[165]. Хотела бы к вам в собор. Изголодалась без церкви. На кого дом оставлю? Доездят маму. У нее сердечный специалист нашел непорядок в сердце. Полный покой и т. п. Если бы даже я кого и нашла для хозяйства, то она н и з а ч т о не захочет остаться с голландкой в кухне, т. к. не говорит по-голландски. Только и просит ее одну оставить. Ну, какая же я госпожа? Поеду и не буду покойна. Не могу хозяйство оставить так, как бы надо. Надорвется, конечно. Да и не найти никого. Меня просто убивает это, что мама сама не хочет на отдых. Тогда бы мне было легче. Но нельзя отдыхать одному за счет другого, да еще больного. И все-таки, кажется, стану хлопотать, т. к. иначе свалюсь. Но на Швейцарии поставлю крест. Не тянет туда. Там м. б. и больше всего, чем у вас, но подобное изобилие меня не прельщает. Я не за едой. Да и привезу я с собой всего, что смогу дотащить. А людей в Швейцарии я презираю за их жадность. Показали себя. И русских они все тоже презирают. И вообще весь их дух мне гадок. Сытый разжившийся. Ивану Александровичу не пиши, т. к. его это только в неловкое

---

* Он, между прочим, не кальвинист, а очень широкий католик, совершенно исключительный, свободный в религиозных взглядах.

положение поставит. Он своим покоем не поступится ни для кого (м. б. и прав), ожидая и даже требуя, однако, от всякого полного содействия себе. Он большой человек и на это имеет право. Но просить я его не буду. Он знает, что без приглашения с места в Швейцарию не пускают. Знает, что мы туда очень собирались. И... молчит. М. б. я устроюсь очень хорошо: недавно умер один Bredius в Monaco, известный знаток картин, эксперт Рембрандта[166]. Завещал многое отцу Арнольда. Я просила мне дать там в Monaco денег из наследства или за счет его. Не знаю, не долго ли протянется, т. к. это только что случилось все. Но я могла бы, конечно, жить там в его замке у моря и, наверное, питаться у заведующего. Но на что мне это, коли тянет меня только 91 на Boileau! Конечно, я бы была у тебя все время, но остановиться бы было лучше где-нибудь[i]. Тебе надо покой дать. Нельзя тебя выбивать из колеи. Надоем тебе иначе! Это шутки. Не сомневаюсь в тебе никогда. Знаю, конечно, какой ты, Ванюша. Хотела бы очень попробовать перевод «Богомолья» — задушена пока душа моя. Отдохну. Как мне обидно, что забыла французский язык. Будет мне трудно без него в Париже.

Я думаю, что достаточно бы было несколько месяцев для «освежения». Но где взять время?

Нет, никуда бы я тебя не потащила. Какие мне нужны парижские редкости и т. п.? Поехала бы только для тебя. Так много надо бы сказать, спросить. Вот в церковь бы хотела. Хотела бы твоих друзей узнать. Карташевых, Меркулова, Серова. Юля где? Пиши, Ванёк, мне. Я только этим и живу. Мне очень тяжко. Твои письма держат еще и зовут к бодрости. Как ты здоров? Ванёчек, пиши мне, ради Бога, не оставляй.

Целую. Оля

Я так устала, что писать трудно. А все думаю о тебе.

[Поперек текста:] ПИШИ!

421

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.IV.46 10 вечера

Твое письмо, дорогая моя Ольгуша, от..? — ты так разбита, что, — в первый раз за все годы! — и числа не проставила! — твое письмо, полученное сегодня к вечеру, при-да-вило меня... до острой боли, за тебя, горькую мою. Но... по-мни! —

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

не поддавайся отчаянию, — только затемнишь себе исканье выхода. Первое: да, несмотря ни на что, заяви, что — бессильна, выпита, больна! Да где же, черт возьми, у твоих докторов глаза?! Чего ждут?.. — чтобы ты погибла? Я не говорю уже — где глаза (или... кусочек сердца, рассудка, наконец, смысла) у твоего, с позволения сказать... му-жа?! ... Не изверг же он? Значит — «блаженный», что ли?.. «идиот»? юрод?! ... Или ты, «из гордости», все еще прямо ходишь и бегаешь?.. Так ляпнись же перед этими невидящими глазами! Ведь все твои болезни — и ско-лько! — явны! Так что же... ?! Я не верю в возможность твоей поездки... теперь, после такого письма, — не верю. Да еще — летят новые “людоеды”, правда, мало повинные, пока... Но Dr. Klinkenbergh...* которого ты так отличала (до — что меня удивило — высказывания ему о своем отчаянном положении в семье! этого уж не надо было делать, ты растерялась, доверчивая: это только могло понизить в его глазах достоинства твои!) — что же он-то, как доктор, не заявит, что тебе — решительно! — необходим отдых, и большой отдых?! ... Это же живая правда, и если бы мне сказали (при страшном желании тебя видеть), что тебе необходим отдых — где-то, куда я не мог бы получить доступа, я ни на секунду не поколебался бы молить тебя: да, поезжай... Да, если бы мне предложили такое условие: да, только бы ты обрела покой. Это же кошмар, — и я многого тут не понимаю. Говоришь о себе — «малейшая». Боже мой... да это — рабыня! Но и больной рабыне, из хозяйственного расчета, — дают передохнуть. Кто же тогда твой муж?! Прости, ты понимаешь же, — я говорю здесь без личного, без «корыстного» раздражения. Я, просто, хочу понять, чтобы что-нибудь придумать... Но что? На «разрыв и ломку» ты не пойдешь. Да и я не вижу в этом, сейчас, в твоем подавленном состоянии, безболезненного исхода: это только доканает тебя, раздавит... у тебя недостанет душевных сил, духа, — просто даже — здоровья, т. е. сил телесных: ты у-па-дешь, раздавишься. Надо набраться сил, прийти в себя, а для сего — надо вздохнуть и — без надрыва — обдумать все. Ты ничего не пишешь о брате. Он в каком положении? Без определенных занятий, да? Если в Голландии трудно, надо ему устроиться во Франции. Я писал в последнем письме, которое ты уже получила. Там, кажется? — где писал, почему, по моему мнению, И. А. не «приглашает». Да? Нарсесян и Квартиров, м. б., смогут тут? У меня в этом отношении — ни-че-

---

* на что он может... «дуться»? разве он глупый человек?

го, я не имею никаких отношений с французами. Думаю, по квалификации Сережи, такой труд стране нужен, он инженер. Здесь, правда, пока все — шала-валя, — но тогда надо думать о Канаде, Америке. Молодой, сноровистый, — Америка таких т р е б у е т! — знаю, слыхал. Спроси его. Я, узнав, постараюсь навести точные справки, напишу дельным людям. Гребенщиков хорош с Сикорским[167], кажется. М. б. можно что-нибудь, а? Узнай. Что он может. У Сикорского — м. б. он и читатель мой, — наверное, — если только читает, а не весь в своих заводах, — *должны* быть огромные возможности. Пишу, конечно, с-пылу, сам не зная, что тут можно... но из письма Гребенщикова знаю, что он хорошо знаком с Сикорским, езжал к нему — и недавно. Вот. Это очень важно, если Сережа неустроен. Ответь немедленно. Не знаю, имеет ли Гребенщиков значение в глазах Сикорского, но он — я буду его просить — может сказать Сикорскому (если заблагорассудим), что это моя просьба, что я аттестую инженера. С[икорский] тогда может разгрузить «опеку», — ты же пишешь — «бездомье близких людей». Если бы удалось — сделалось бы скоро, «по-американски». Или я лишь теоретизирую, фантази-рую, как непрактический?.. — Не поговеешь — не смущайся, все пополнишь, но, конечно, н е л ь з я раскрыться душе перед «духовником», которого не уважаешь. Молиться? Молись — Господь всегда с тобой, Он — все видит, все знает. И — смотри! — дАрует тебе облегчение! Д А р у е т!.. Верь, и — проси: и даровано будет. И не думай, в таком состоянье, о переводе хотя бы 2—3 страниц: н е л ь з я. Обиходными фразами, д л я ж и з н и, — французским языком — овладеешь в 2 недели, ты к языкам способна (к чему ты н е способна!) Возьми какой-нибудь «разговорник». — Наследственные дела, как, вообще, всякие судебные дела в Франции — думаю — затянутся, тут черт знает что!

Нет у меня малейшей уверенности, чтобы ты могла приехать. Я как раз о Монте-Карло и писал тебе в последнем письме! Да, отлично могла бы отдохнуть там, но мне все твои планы кажутся — «вилами на воде писано». Ты так же восприимчива-легковерна, как я частенько... Это — свойство натур художественных, м е ч т а т е л е й. Если бы случилось поехать, — не смею верить, — за-чем «тащить с собой все» — еду? И ч т о можно теперь т а щ и т ь? — в теплую пору?! У меня на тебя нашлось бы все, д о - с т а л и бы!.. За деньги тут в с е можно достать, — я только, для работы, чтобы не заболеть, ограничиваю себя, берегусь... больше самое легкое, а для тебя — все, что захотела бы.

Какие у меня... «друзья»?! Нет у меня друзей, кому поверял бы свое... — ты — одна. А так, добрые знакомые. Многие — скончались. С писателями, как это обычно между писателями, — дружбы не может быть, и не по моей вине: я-то отзывчив. А так, прилично-порядочные отношения — с Зайцевым, больше — с Ремизовым, которого я чаще навещаю (он все хиреет[168]), а с Борисом Зайцевым видимся 2—3 раза в год. Недавно был у меня. С Буниным... — давно не вижусь, — поздравил его письмом с 75 летием, — он поспешил ответить, — все. Не тянет меня. Более теплые отношения (как это ни странно!) были с Бальмонтом[169], отчасти с Куприным[170], — нет их. С Мережковским и Гиппиус (после 10 летнего расхождения) возобновились отношения, когда они прислали мне письмо о «Богомолье»[171], — но... жизнь их кончилась, — оба — там. Никогда общего с ними не было, ничего. Я люблю открытость, и ни у кого (разве только у Бальмонта) не слышал отклика. А «знакомые» — малоинтересны. Чудак-доктор С[еров], средний, добрый человек, — хоть и очень обидчивый! — Меркулов, много облегчающий мне обиходное, москвич, неглупый, но... совсем не того теста, с кем хотелось бы говорить, — так: «из обывателей». Карташев — с ним интересно, иногда вскипает (и тогда говорит, закрыв глаза!), но навещают они меня раза 4—5 в году, а я совсем не езжу, давно не был (месяцев 8) — да-ле-ко!.. Теперь еще автобусы пошли по многим радиусам Парижа, а в «metro» — терпеть не могу, — и вонь, и давка, — не выношу стада... Юля навещает почти каждую неделю. Она живет на своей дачке, за Парижем (верст 30). Она — чуткая, меня (дядю-Ваничку) любит, трогательно заботится обо мне. Тебе она, знаю, понравится. Она последние года 2—3 — очень духовна, «Путями» очарована, кажется, молит — продолжай! А я медлю... еще не чувствую горенья — г-о-т-о-в-л-ю-сь. Озлюсь когда... — вступлю. Французская книга выходит во 2-ой половине апреля, потребовалась 2-ая корректура в сверстке, приказал литературный директор издательства, (по словам переводчицы, считая, будто бы — «Пути» — их точный текст — очень ответственным делом). А м. б. переводчицу сильно правили... черт их знает! Я не держал корректуры, я же не знаю духа французского языка. Могу читать, ну... почти прилично говорить, порой, когда увлекусь, — мало я якшался с туземцами, не пО-сердцу мне... — и потому не вжился в язык. Да, м. б. и неспособен к языкам, хотя... латинский и греческий любил — и отлично знал. Кое-что помню наизусть из Гомера, из Овидия

(«Метаморфозы»). В той же местности живет и Ивик с семьей, но отдельно, в дачке... Навещает меня почти каждую неделю (между уроками в его колледже), на 1/2 часа. Да... Меркулов на другой день после первой справки сообщил, что, будто бы (ему «деловик» сказал) банки (?!) платят за гульден — 44 французских франка! Не могу ручаться. Конечно — бумажный. Вот пишу все эти «кусочки», отвечая на письмо, и все время — ты в сердце, твое, боль за тебя и твою безысходность. Но... не склоняйся, не теряй сердца — уповай. Но нельзя отдаваться этому — «само устроится». Надо как-то — (но — ка-ак?!) действовать. Взять себя в руки, что-то переломить... — *не* переломать! Ты — больна: так стань же — для глаз — больной, а не перемогайся, не истощайся. Пощади себя, своих — и... меня, родная! Олюшенька, не плакать, а — помолясь Господу, призывая Ее, Светлую Приснодеву и Заступу, — найти исход: первое — возможность отдыха: не звери же, не идиоты тупые — все эти Бредиусы. Я не смею укорять тебя, отягощать... — многого, видно, не понимаю, и потому все говорю вслепую, должно быть. Но призови и мое сердце себе на помощь, веру в меня, готового всем помочь тебе. Ты это знаешь. Я открыт тебе. Да, никогда я так не желал, чтобы иностранная моя книга получила хороший прием, — как теперь, — т. е. — успех. Это дало бы мне больше независимости, силы! Если бы хоть 15—20 тыс. экземпляров! Это дало бы — тыс. 400. И, конечно, потекло бы... и фильмы, и издания на все языки. А я никогда *сам* не шевелю и пальцем для сего.

Голубонька моя, далекая... Бессильно слово сказать все, что в душе — к тебе, о тебе. О Монако... — кажется тоже призраком. А если бы... — тогда я поехал бы в Ментону. Это — 1/2 часа, 20 мин. — кАром[i], чудесным побережьем. Бывало, езжал в казино[172] — бросить на № — лю-бил.

В Париже мечтают о блестящем сезоне. Готовятся... огребать. Ждут заморских (!) туристов. По воздуху (главное) и по воде. Потирают лапы, вострят когти. Кокотки, понятно, приуготовляются. И потому опять, говорят, все злачные места (дома свиданий и прочее), что запретил-было префект, — да-да! — «все прикрыть!» — все будет — во-всю-у!.. Это же главное (из приманок) для «туристов». За этим-то и налетят... ведь это-то — «наживка» на крупную рыбу, — злато притечет! Миллиарды!.. Все оголится... все обольется шампанским и — утонет в нем. Да здравствует...

[i] Автомобиль (*от англ. car*).

б..дь! (французская и международная) Для свиней — в этом и Париж. Свиньи и не посмотрят, что в нем Прекрасного... — давай приманку! С 1-го мая, — ждут — открывается «conference de la Paix»[i] [173]. И потому — ва-ляй! подавай мяса!

Ну, оставим это: «кто к чему приставлен» — говорит кто-то у Чехова — кажется Епиходов, — или где-то в рассказе[174].

Вот ты о плохом переводе Candreia. А ей вон поручено «Идиота» перевирать! Как же она мою «Няню»-чай?! ... Воображаю. А ведь как критики-то... меня! — хвалили! немецкие и швейцарские! — Из-за сего-то Геббельс и арестовал «Няню» — в январе 38 г.[175] Сильно пошла-было... — м. б. чтобы не утекло золото в Швейцарию (издано было старинным большим издательством в Фрауэнфельде, Губер и К°). Обнимаю тебя, ласкаю, нежно целую заплаканные твои глаза... жалею. Оля, будь по-возможности выдержанно-тверда и — требуй отдыха. Спроси: «что же, гибели моей хотите?! ... у меня нет сил больше». Понимаю — мама, все на нее... — а то бы крикнул: «ляг — и не вставай». Господи, только бы тяжелый недуг не одолел тебя! Оля, помни: первое — ты и твои... да, конечно: но твоя беда — и для меня слишком *что* — то! Я не смею о себе просить, но ты знаешь... — как я принимаю сердцем, как все твое связано со мной, с моим душевным міром (и миром), с моим творческим деланием... Это не себялюбие. Я не только для себя пишу... (хотя, пиша, ни о каких читателях не думаю, а — живу...). Мне очень больно. Мне очень тяжело. И вся эта «смута» во мне, о чем я писал тебе... — очевидно, отклик на то, что с тобой творится.

А так, пока, я физически не чувствую ни болей, ни слабости, и уже хочется начать «Пути» — 3-ю книгу. Все чего-то жду...

Ого, уже 12 ч. Пора ложиться. Эти вечера я засиживался до 2-х, — читал. Много «провалов» нашел в «Войне и мире», — к концу Толстой явно сдал. (Соню совсем смял, убрал!* Вообще, у него «концы» (это самое трудное) всегда слабоваты, вялы, притянуты. Возьми «Анну Каренину», «Смерть

---

[i] «Мирная конференция» (*фр.*).

* не знал, что с ней делать, и ни слова о последнем объяснении ее с Николаем Ростовым, которое должно бы было быть!) Запутался в 41 год! Странно...

Ивана Ильича», «Хозяин и работник»[176]. «Война и мир»... И слишком много рассудочного. «Война и мир» с огромными недостатками и «условностями». Какая свежесть 1-й том — и 2-ой даже... И подумать: писал в 1864—69 — 5 лет[177], было ему (он родился в 28 г.) 36 лет, недавно женился[178], — ка-кой подъем! — какие благодатные условия жизни, в Ясной Поляне, в богатстве, любви, уходе... Посравнишь с собой... «Неупиваемая» — в Крыму (!!) в 1918 г. ... в холоде, без света (8 фитилей масляных на жестяной крышечке, вся рукопись была в масле...[)] А дальше?! «Солнце мертвых»... — в какой боли! — и на-юру, в чужой стране. А дальше?! ... Ну, что уж. — Знаешь. Так, значит, назначено: писать в страДе. Целую, родная. Не плачь. Твой всегда, Ваня

[На полях:] Утро 5-го. Сейчас письмо И. А. И.[179] Прислал свою последнюю фото. Он написал тебе — о твоем намерении — о «Богомолье». Но ты не берись, пока не обдумаешь себя, не вздохнешь. В.

М. б. мне помогли американские витаминные лепешечки (в одной посылке был пакетик с 20 штучками).

422

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.IV.46 Вербная Суббота — Воскрешение Лазаря.

Дорогая Олюшка,

Пишу срочно и посему кратко. Все еще не верю, что вырвешься. Разве вот когда вырастет пальма. (Дней 10, как посадил косточки, — прошлогоднюю, отличную, сжег, подогревая на электрическом радиаторе!) и выпустит цветки... Когда ты кончишь со мной чиниться? вихляться и манерничать?! Я к тебе — впрямь, а ты — «ах, оставьте..!» — как суздальская какая-нибудь девица! «Го-сти — людоеды!» — Твое же словечко! Да, гости могут быть людоедами, да ты-то не гостья, а своя. Ко мне придешь-приедешь (в любой час дня и даже ночи) — к себе приедешь. Довольно.

Ждал день — получал справки о специалистах по почкам (послал pneumatique[i] Krymm). Серов — безалаберный; я у моей Крым дознал, сейчас от нее pneumatique. Почерк у ней..! М. б. и неверно разобрал: prof. C. Levorsu или..? — Clevorsu? — 1, avenue de Tourville, teleph. Seg. 32-62; 2) prof. Micton (?) (адрес она узнАет). Но, думаю, тебе не надо точ-

[i] Письмо по пневматической почте (*фр.*).

но (пока), раз теперь, с 15-го, можно без визы. Пишет, когда приедешь, она все присоветует (надежно!). Спрашивает: хирургическая ли болезнь почек или — медицинская? — тогда и надо, дознав, направить, к кому следует. Да они, черти, сейчас, опять с «адама» начнут... — ис-сле-довать! Тогда остановимся на отличном русском специалисте по почкам (он же и еврей, чудом укрывавшийся в Париже 4 1/2 года и всего хлебнувший), о нем очень хорошие отзывы — насколько я (от серьезных людей) знаю. Это д-р Вербов[180], лечивший и мою почитательницу и даже незадачливую сценаристку[181].

Сейчас отличное письмо от И. А. Ильина по поводу моих 2 последних писем[182] — «буйно-вдохновенных». Умнейшее письмо. Я ему одну концепцию религии (очень кратко) намечал: Вера — Искусство Богопознания. Говорит — «великолепно!» Я и сам это знаю: это должно быть в III книге «Путей Небесных».

Мне с тобой говорить... — не переговорить! Недель не хватит! Последнее время меня обжигают мысли... вулканят.

Такси есть, достаточно. Не знаю твоего вокзала. Примерь: «подача» (посадка) — 15 фр. и — по 7, что ли, франков за 1 километр. Ну, 10% (обычно) чаевых. Полагаю — проезд ко мне — фр. 75—80. Суди: от Лионского вокзала (у тебя, м. б., есть план Парижа) до вокзала Gare Montparnasse[i] — 75 фр. (по газете). Но ты, должно быть — или на Gare de l'Est[ii], или — Gare du Nord?[iii] — это ближе, чем с Gare de Lyon[iv]. Ничего не понимаю о Квартирове и Нарсесяне[183]. Почему? Или... по-нимаю?.. Тогда все это грустно. Но надо уповать. Квартиров как-то был у меня в декабре с мужем Марины... — я был в постели. Никто из семьи Квартировых меня не навещал. Тоже не понимаю. Да и не жалею: ску-ч-н-ы! Нарсесян — больше года не был. М. б. чувствует себя не совсем «в тарелке»? Он о-чень резистанил[v], м. б. даже и переризистанил, т. е. поизранил, (если не помогал убить) кой-кого из соотечественников. Об этом поговорим лично. Для меня он был некий плюс, — по его словам. Он же из «взрывчатых», а таковые — или дымят, или...

---

[i] Монпарнасский вокзал (*фр.*).

[ii] Восточный вокзал (*фр.*).

[iii] Северный вокзал (*фр.*).

[iv] Лионский вокзал (*фр.*).

[v] Здесь: участвовал во Французском сопротивлении (*от. фр. résistance*).

Голубка, я уповаю, что все же вырвешься. Не отменяй. Не лишай света. Пора, да-вно пора. И — брось мнить. Это же, наконец, скучно и некрасиво!

Целую (пока — заочно). С деньгами не смущайся: на-йдем! На вокзале — просто: «porteur!» — носильщик. Ему — taxi! Шоферу: rue Boileau. В вестибюле ascenceur[i] — 2-й et. — из машины — дверь направо, если по лестнице — налево. Лучше стучать, потому что внутренние двери могут быть закрыты — не услышу звонка. Висит записка — frappez![ii] Жду, уповаю и... ругаю «м. б. неприятно»!? Д...ра! Твой В. — Тоничка

[На полях:] Поеду ли встречать на вокзал — не знаю, не люблю таких переживаний, как и проводов: нервят.

Извести же, хоть приблизительно — когда приедешь. Могу быть вне Парижа, но ночую всегда у себя.

Конверты — прямо — пох-бные! все прогрессирует!

423

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[17.IV.1946]

Христос Воскресе!

Дорогая Ольгуночка, ликуюсь с тобой трижды. Пасхальное «Христос Воскресе» — маме и брату. Жду и сомневаюсь. И все же — жду! Да укрепит Господь волю твою. Ты обсиделась. Тебе надо перемены. Ты должна показаться моей докторше Крым. Она тебя обследует всесторонне и направит, как надо, по-человечески. А французы — о! Ты узнаешь, когда свидимся. Паук и — мухи: вот. Бедные мухи. У каждого «почечника» — приятель-хирург. Делятся. И — плевать на муху. Им ты, конечно, можешь показаться, но не поддашься ни на какие просвечивания! Довольно с тебя голландцев. Светик мой, как я тоскую по тебе, как мечтаю! как нежно и светло (и свято) думаю... И как «жалею». Люблю тебя, родная — за сердце твое, за умик, за душу, за дарования! Узнал тебя. Давно. Ты сама нашла меня. Ты — отозвалась на мой крик. Светлая Оля, приезжай, родная. Кто знает, м. б. и не выпадет такой возможности в другой раз. Целую — все твое, душу твою. Твой Ваня

---

[i] Лифт (*фр.*).

[ii] Стучите! (*фр.*).

424

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IV.46 Пятница 3 часа дня

Христос Воскресе, родная Оля, залетная-отлетная! Открытка [из] Утрехта[184] вчера получена. Слава Богу. Даны испытания — нести надо. Был мне с в е т ...[185] — и вот — лишь отсвет. Но... и за это — благодарю. Твое здоровье? Я... — другой день мне легче. Понедельник я едва перемогался, а после — t°... заплыли глаза и правая сторона покраснела — вздулась. Со вторника-среды Krymm. Сразу же — вакцинация подряд 3 дня. И — сюльфамиды... Определяет: вид рожистого воспаления — в легкой степени (м. б. благодаря вакцинам противострептококковым. Не спал ночи. 3-й день t° нормальная. Сегодня утром 36,7. Первый день сегодня чуть могу без отвращения что-нибудь есть. Только легкое. Надо много пить. Мажусь черной мазью. Ну, довольно. Как чувствую [отброшенность], одинокость, хоть и люди все время, но меня это утомляет.

Вспомни «Тучку», Лермонтова:[186] «...И тихонько п л а - а - ч е т он в пустыне...» Да. Но — В о л я Господня. Мне еще трудно писать. Так разбит, — и как будто оглушен. У п а л свет — у ш е л. От тебя с в е т. И во всех осталась частица этого света, — кто тебя видел, слышал... О, свет мой!.. Сколько выпало тебе испытаний! И к а к (!) с л о ж и л о с ь!! ... Я вдумываюсь... — и будто з н а к и... Промышления. Черкни о здоровье... Я покоен, что томившее тебя миновало... н е в ы п а л о — и м. б. не выпадет новых испытаний... Уповай, голубка. Я светел, что довелось (пусть хоть и в полусознании) быть с тобой у Светлого Дня.

Нет сил, кончаю, благословляю тебя за в с е твое — с е р д ц а твоего. Напиши о себе, что ждет тебя нового.

Была переводчица: «Пути» — выходят со дня — на день. В Швейцарии издается французский перевод «Чаши»[187] — только что узнал.

Спасибо Вигену. Ско-лько ты вы-несла! Голубочка, помни: тебе надо мно-го отдыхать! — иначе — упадешь.

Прости меня: н е т а к как хотел бы — свиделся; не мог осветить тебе дни краткие... — был, как бы «устранен». Так, в блеске, в н е з а п е!

Была Первушина — отдал ей, — не мог показаться — вчера была.

Похристосуйся с мамой — братом. Христос с тобой. Прости неуют мой.

Твой Ваня

425

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.IV.46[i]

Мой родной Ванёчек, живу беспокойством за тебя. Как ты? Здоров ли? Конечно — нет? Да? У меня сердце мрет при думах о твоей оставленности. Сегодня письмо от Shlusser, а от тебя все нет ничего. Я мучаюсь за тебя... Мучаюсь и здесь. Вчера был очень тягостный день — день после похоронного дня.

25-го хоронили. Арнольд убит очень и проявляет свое горе сильнее и отчаяннее, чем я еще могла ожидать. Он иногда по-детски прямо плачет, не находя места. Остальные совершенно нетронуты. Сестра его (которая за русским) до удивления спокойна, абсолютно не задета как бы. Я боюсь за состояние Ара, — у него шаткая психика и нервы. Старичок несколько раз спрашивал обо мне, — когда вернусь, сморщившись страдальчески после ответа: «недели через 3». Видимо, чувствовал.

Я не могу всего описывать, — слишком тяжело. Но, вот теперь другое — я хочу ехать к тебе, но когда? Мне думается, что неправильно было бы уехать до открытия завещания. Брат Ара по многим наблюдениям постарается Ара оттереть и «объегорить». Имею в виду родовое имение. Он уже и отца-то затирал, втираясь туда сперва якобы как заведующий. Несомненно, что он еще проще и легче это же попробует и с братом, тем более, что сам-то он совершенно во всеоружии — ибо не забит горем, а обмозговывает уже сейчас, конечно, как и что. Ару же все — «все равно». Я «бужу» его и открываю глаза на жизнь, которая не считается и не ждет. Не хочу и откладывать свой отъезд, но как-то надо нам сразу одними ногами войти в свои права[ii]. И это сразу же должно выявиться в отношении к приезду американских гостей.

Т. к. дом и усадьба уже не отца (и если по завещанию только наше), то я обязана там показать себя хозяйкой с первых же шагов. Но т. к. прилет гостей только 21-го мая, то все откладывается так надолго. Да и летом-то мне неудобно уезжать из дому. Я уже прошу маму заместить меня в усадьбе, взяв и прислугу мою с собой, вручить Сусанне письмо от меня, что

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: Перерыв. (Оля приехала в Великую Пятницу, 19 апр., а уехала на похороны свекра 22). 2.V.46.

[ii] Буквально переведено немецкое идиоматическое выражение.

я жалею очень, что не принимаю ее сама в этом доме, но прошу в лице мамы видеть мое гостеприимство. Я думаю, что для всех было бы «выгодней», если бы я уже до ее приезда начала свой отдых, ибо если уеду по ее прилете, то необходимо выбуду из ее 2-х месячного пребывания.

Как удобнее тебе? Были ли у тебя Первушины? М. б. заметил, как они к моему приезду. Когда им удобнее? Тебе-то как, лучше? М. б. я уже 6-го мая с первым прямым поездом поеду.

Мама с Сережей тоже начинают хлопотать о визах во Францию. Мама очень хочет у тебя побыть для того, чтобы поухаживать за тобой и дать тебе уют. Вместо меня. Я мечтаю привезти тебе разной утвари, чтобы тебе было удобно. Ищу всюду электрическую грелку. Скажи немедленно, какой у вас ток? У нас переменный 220 V. А у вас? Во всяком случае я очень стремлюсь к тебе. Мама тоже с Сережей. Напиши мне тотчас, как ты думаешь. Удобнее тебе, чтобы я скорее приехала, или же в августе? Или в июне?

Мне страшно откладывать, да и Париж очень бывает жаркий летом, кажется?

От И. А. получила манускрипт[i] «Путей Небесных». Еще не раскрыла даже. Дела, конечно, много. Но мама меня очень бережет. Я уже отоспалась теперь. Сегодня делала сыр, — коров согнали — молоко прибыло. Накануне похорон пришлось еще ночь дежурить — жеребилась породистая лошадь. Благополучно — жеребчиком разрешилась. Обычно это событие — выпивали, ну а тут Ар даже не рассматривал к а к о й ? Понятно. Он горюет как-то по-нашему. Я поручила его пастору, венчавшему нас, очень чуткому, с которым Ар сам условился встретиться. Я просила отнестись осторожно, указав на все «рифы».

Ар очень страдал в одиночестве, но умолял и маму и Сережу мне ничего не сообщать до 2-го дня Пасхи, чтобы не вспугнуть. По обычаю здесь закрывают ставни в домах где траур до после-похорон. Ар не закрыл до приезда мамы и С. из Гааги из церкви, чтобы не отравить им Пасхи и потом попросил, можно ли? Несмотря на свое горе, купил маме чудесных цветов — розовых диких «prunus»ов[ii], знаешь, огромные грозди? Поставил к образу. Меня даже и не ждали так скоро. Похороны отложили до четверга в ожидании меня. Получил ли ты мою открытку из Utrecht'а сразу по прибытии? Умоляю, напиши о себе. Я вся

---

[i] Рукопись (*нем.*).

[ii] Слива (*лат.*).

изорвалась. Теперь, после личного знакомства нашего, мне особенно тяжело ничего о тебе не знать, теперь у меня чувство, будто кусок живого сердца оторвала, уехав от тебя.

Я говорила перед твоими знакомыми, что «м. б. я мужа пришлю за вещами», И. С. и т. п. Но это только для них, чужих. Как я хотела бы с тобой помолиться на прощанье и многое еще сказать, — но был Вигеша. Ну, ничего. Господь Бог м. б. даст, скоро свидимся снова.

М.б. уже 7-го мая. Кто знает?

Будь радостен, светел, здоров! Сходи в церковь! Привет твоим искренним друзьям Меркуловым и Серовым. М[ария] М[ихайловна][188] — прекрасная женщина. Крещу и обнимаю. Люблю. Оля

[На полях:] Посылаю грушевый цвет. И «prunus».

Как мне Париж стал мил. Ты в нем!!

426

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.V.46

Милый Ванёчек,

как ты? Ради Бога, телеграфируй, если нельзя мне приехать. Хотя теперь уж поздно, пожалуй. Я заказала билет на 7-ое. Утром выезжаю, а вечером в 8 ч. уже в Париже. Надеюсь найти опять носильщика и добраться до тебя.

Будь дома, а то куда же я денусь. Если ничего не случится, то увидимся. Теперь я пуганая ворона, — всего боюсь.

Дома уныло и тревожно — сие уже по иным причинам. Приеду, расскажу. Но меня все же провожают. Я себя сглазила, — выгляжу теперь смертью. И чувствую себя не очень важно. Я писала M-me Первушиной, чтобы она на твой адрес мне сообщила, когда я могу наведаться к ним. Таким образом, если получишь от нее на мое имя, — не пересылай в Shalkwijk.

Читаю «Пути Небесные». Вышлю их заказным. Сама хотела везти, но у меня такая тяжесть, что некуда и сунуть.

Все время думаю о тебе.

Будь же осторожен. Dr. Klinkenbergh дал мне дивное указание для лечения рожистого воспаления. Ваксины[i] бледнеют перед ним. В 2 дня все проходит. Это «Sibarol» и pronthosyl. Но надо консультацию пользующего тебя врача и проверку.

---

[i] Вакцины (*от нем. Vakzine*).

Что делали с тобой?
Кланяйся всем, кто меня знают.
Обнимаю тебя и крещу.
Любящая О.
Мама и Сережа горячо тебе кланяются.
Спешу очень, прости.

427

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[11.VI.1946][i]

Пусть я уеду[189], но кусочек сердца моего да живет в милой комнатке в этом цветочке.

Оля

428

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Вечер субботы, 15.VI.1946 10 ч. 15 мин.

Ольгунка, радость моя, свет мой, моя жизнь, моя сила, сладостное мое томленье!.. Я сейчас снова и снова вчитывался в твое письмо, от 12 — вечером? и придаток к нему — от 13 утром?..[190] Ольга, как я слышу всю неизбывную боль твою — ее надо сорвать, убить, эту боль, — не изживать! Иначе тебя не хватит. И меня не хватит. Да, я все понимаю... и все, что было с тобой у меня, все черточки твои и все платьица твои, и все, что коснулось тебя, — все во мне, все наше, и как же дорого мне все, все, до запылившегося носочка туфельки, до срезанного ноготка, который я искал... и не нашел... — помнишь, взяла мои ноженки и подстригала заломившийся ноготок..? Детка, все твое мне бесценно, дорого и неотделимо от моего сердца! Не думай о «срывах», брось... важней есть, о чем думать. И не могу писать... изныло по тебе сердце, тебя ищет, тебя зовет. Ночью, я зову тебя, и днем шепчу, зная, что далека ты... — О-ля!.. да когда же приедешь?! Если бы услыхать эти нетерпеливые звоночки и стуки в дверь, увидать милую шляпку твою... упасть к твоим ножкам и целовать все, все в тебе! Не страсть это, Олюша моя, а бо-

---

[i] Датировано И. С. Шмелевым, на конверте его помета: с цветами.

готворение Тебя, прекрасная! Не могу без тебя, нет у меня сил без тебя... я опустел, окаменел... камень на сердце. — Сейчас менял воду в ведре, где твои нежно-телесные гладиоли... они снизу увядают, но еще выдержат дня три—4. Я заменю их такими же, обману себя. Как же я, весь в тебе и о тебе, не нашелся, не вспомнил... не подарил тебе в путь клубники... всего-всего... огромную бы купил корзину!.. И кляну себя, что хоть украдкой не сунул в чемодан сахар для мамы! Олюнка... твои цветы — свет мне, но ты... в тебе для меня все цветы в мире, ты для меня прекрасней всех цветов,.. твое дыханье слаже и пьяней всех их дыханий... — и ничего мне не надо в мире, — тебя, только тебя, сейчас тебя, навсегда тебя, сколько Господь судил! Пойми же, девочка... так любить, как люблю я тебя, так постигать в себе это божественное чувство-чудо... — можно только страшно-богатым сердцем, все познавшим. Думаешь ли ты, что если бы я познал тебя вполне, глубинно-телесно, как женщину-жену... я стал бы меньше тебя любить и нести в сердце?! О, ни-когда!.. — нет, я нашел бы новые чудные чувства в сердце, тончайше нежные... и эти чувства нашли бы для своего выражения новые образы, новые ласки-слова, новые глаза — видеть-видеть тебя, моя прекрасная, новое в тебе провидеть и о том сказать-шепнуть тебе!.. я нашел бы новый огонь-мысль — определить тебя, вознести тебя, моя непостижимая!.. Оля, подойди ко мне... обойми меня... дай прильнуть к тебе, крепко обнять тебя и молчаньем мига чудесного передать тебе биеньем сердца... кто ты для меня... как я тебя храню в себе и томлюсь тобою! Оля, губки твои дай... пить хочу... тебя пить... дыханье твое вдыхать... всю тебя перелить в себя... И тебя нет, не подойдешь... ушли те часы... и как же мало их было... как я не дал расцвести чудесному во мне цветку — Оле моей... моей беглянке, моей порой, ветрянке... и всегда — безумно любимой, до истерзания!.. Такой любви... Ольга, верь мне, я не переживал... я лишь томился по ней... — теперь я это понимаю. На тебе, тобой познал... нет, лишь начал познавать. Разве я не слышу, сколько во мне еще не сказанного тебе? какие образы в тебе и через тебя еще не раскрыты мною... для меня и тебя! Зорями и ночами... тихими вечерами я находил бы их тем огнем, огнем восторга-воображения, который ты зажгла, который ты всегда разжигала бы во мне... не страстью, а нежностью... позволяя мне тебя искать в тебе!.. Это же творчество, чудесное творчество, через Тебя, Божественная моя!. Ах, я знаю твои черты, линии... все я знаю... но ими я нашел бы другие, скрытые... — это неизъяснимо, но я-то чувствую... сколько бы пе-

сен услышал я из тебя, сколько бы спел-рассказал тебе своим восторгом, своим н о в ы м голосом, непонятно рождавшимся во мне, от тебя!.. Оль, дай губки... дай эту милую, неясную точку-ямочку в уголку губ... — ах, я в и ж у во тьме, ч е м - т о... я вливаю тебя в себя, я б е р у тебя, всю тебя!.. Я в безумье от тебя, рыбка, бабочка моя, молодка... я вижу тебя в каких светах, под какими солнцами, звездами,.. ночнушка-любка... дремлюшка... вижу головку твою в локончиках... и какой же свет во мне, и сколько силы я слышу в себе... силы — любить и творить — я чувствую себя бодрым, свежим... мне хочется жить и мыслить и в и д е т ь... (9 июня, Троицын день утро!)

Нет, тебя нет в комнате... пуста твоя постелька... Почему же один я и ты одна?! ... Так все просто, так возможно... Оля, надо решать. Не мгновенно; но надо т е п е р ь же определить основное в решенье. Слушай.

Когда я, при перечитывании письма твоего днем еще, вдумался в случай с «бегством от тебя», — конечно, это «приемчик» такой... — я разорвал запечатанное письмо и вложил листок о сем... — это было мое пятое письмо[191], со вторника. Это (6-ое), что пишу и опущу завтра, возьмут завтра в 1 ч. дня и получишь, должно быть, во вторник вечером или среду... Слушай. Днем, запечатав снова, в другой конверт — у меня дрожали руки, и все во мне, и я порвал прежний конверт, — я тотчас же написал Ксении Львовне, прося посетить меня, чтобы переговорить... Не удивляйся и не страшись. Я лишь позволю себе выпукло рассказать ей, что ты мне написала. Спрошу ее, — не выдавая себя никак, Боже сохрани! — а как друг, которому ты доверялась... как она смотрит: правильно ли ты выбрала позицию... побежав «провожать»... Не обижайся... ты все сделала, чтобы было приятно «хозяину» твоему...[192] Ты должна была, уставшая с дороги, отдыхать, а не бегать по свисту, даже и без свиста... на стук башмаков владельца. Ты должна явно в с е сказать ему: да, не хочу и не стану продолжать совместную жизнь, жизнь рабыни, которую иногда отпускают на цепочке... Ты, свободная такая в Париже, к а к ты можешь блюсти-хранить пошлые условности б о л о т а, когда н е любишь?! Ты можешь обсудить в с е, и дать срок все обдумать, е м у. И — посмотришь. Поверь, — примирится. И никакого греха тут нет. Грех — влачиться в подневольном-фальшивом со-житии... Ты не можешь больше быть для него женой. Ясно. Как я, свободный, н е м о г у отныне смотреть ни на какую женщину «с вожделением». Это просто физически для меня невозможно, — мне теперь

всякая — чужая и ненужная, будь она сверх-Царь-Девица. Для меня — Ты, одна Ты. Любить перестанешь, — все равно, — Ты. Нет, не перестанешь... хоть что-то во мне, хоть душу мою любить будешь... нежность мою приветишь, хоть по лбу моему проведешь ручкой и напомнишь... хоть песни мои вспомнишь... — сколько их — недопетых! сколько «картинок» недорисовано. Оля, помни: тянуть нельзя. Во всяком случае надо не в молчанку играть, а сказать открыто и гордо, прямо: брака нет. И я не сознаю и не понимаю себя и не принимаю себя — женою. Как вам угодно. Решайте сами. Выбирай, Оля. Только два решения. Или... — надо, чтобы ты мне сказала, прямо: нет, я твоей никогда не могу быть. Тогда уж я буду вынужден решить свое. Я не пугаю тебя, клянусь тебе. Я думаю... — не лишу себя жизни: у меня есть моя обязанность, незавершенная. Я замру, для любви, но не уйду от тебя. Я, м. б. не вынесу... не знаю. Надо решить вопрос о маме. Оля, помни: мама твоя не испытает нужды. Ты мне дашь много силы. Мы не отступим перед трудностями, преодолеем. Сколько дано будет нам дней, лет..? а кто знает?.. Но ждать, все еще ждать, как эти 7 лет... — ложь и дряблость. Скажу больше: бесчестье. Или — принимай его мужем, или — рви, твердо, не второпях, а все обдумав. Я когда еще говорил тебе!.. в 42. Я чутьем все внял, но тогда было много сложностей... война. Теперь — легче. Или ты снова станешь закручиваться в мелочах и текучем жизни... и забудешь? а время идет... так и доплетемся? да это же не жизнь, а гнилая, ползучая рогожка. Или тебе нужно — «положение»? А какое теперь твое положение? Мадам Бредиус? — и то — в придаток? В будущем..? а кто знает будущее? Да мы с тобой, скромно, очень скромно живя, будем жить свободными, светлей, полней в мильон раз! В Париже... а м. б. и там? Все может измениться внезапно. Мои средства? В потенциале они очень велики. В реальности — да, немного, каких-то 220 тыс. фр. — года два. Но ведь много за эти два года и набежать может. Нужды со мной ты не испытаешь. Но я не смею так решительно убеждать тебя. Годы мои... да. Но и молодые свертываются. А я, пока, благодарение Богу, не инвалид, я — могу творить. С тобой... о, с тобой..! А ты, Оля... разве ты не творец? ты будешь работать и учиться, ты будешь брать лучшее, что может давать «центр мира». Ты будешь давать расцветку твоей душевной жизни и не измалывать себя на... «унос ветром». Что ты видела за эти 9 лет? вдумайся, подведи итог. Кипуч я? Я с тобой буду тих, я верю тебе. И ты будешь всегда и во всем твоем — хозяйка. Состоит-

ся развод. И мы — или повенчаемся, или... — повенчаемся тайно, да.

В понедельник я просил Первушину, — 11 часов. Я зову тебя — О-ля!.. я жду тебя, моя женочка, моя чистая, моя дарованная жизнью. Не откажешься от Вани, а? не забудешь?

Сегодня в 7 вечера — авион от Ивана Александровича[193] с горным цветочком. Я тотчас же отписал ему. Что ты отбыла во вторник, что ты, я в н а я, показалась мне еще богаче душевно, чем в переписке, что ты обо мне заботилась, что... квартира моя стала «проходным двором», ради тебя, что твое явление в Париже было — освежающим. Я ни словом не выдал ему чувств своих. Сказал: опять началась голландская страда для О. А. — во-имя ч е г о? — не постигаю. Сказал, что на мой взгляд — этот брак был горькой ошибкой, жизнь обманула... но ни слова о твоем отношении к сему... — не смею. Обещал ему французские «Пути». Получу их во вторник, и немедленно вышлю тебе, 2 экз.? Фавсте Николаевне[194] написал.

Посетителей не убывает, но я все равно не могу даже и переписывать. Пишу тебе. Завтра попробую дальнейшую переписку «Лета Господня». Если «Пути» французские будут иметь небольшой успех, ну, пройдет тыс. 15—20 — вот и 300 тыс. А м. б. и фильмом займутся. У меня — хватит сего добра. При-дет время... — лишь бы не поздно было, — для меня.

Ольга, Оля, Олюна, Ольгуна... Ольгушка, Олька, жгучка, яд ты сладкий, чаруша моя, — вижу тебя всю в вишнях, в вишенье... о, солнечная какая!.. какая зрелочка... спелочка, ах, какая... дивулька-вишня!.. К а а а а к... вижу!.. голова кружится сладко, взмывает сердце... и так хочу поласкать нежно-нежко, — «как ты умеешь...» — дремотный шепот твой... слышу... вздохи твои... и все во мне — стремленье и полет к тебе, царевна, к тебе, прекрасная... Ах, увидеть, в шляпке твоей... из-под полей ее твои глаза... необъяснимые, всегда будто смущенные... и так бы и упал и крикнул — ну, ну... сделай со мной в с е, в с е... — только люби, Оля... только святого моего не рушь!.. — внутреннего мира моего. Нет, ты чуткая, ты любящая, глубокая... ты дашь мне жить и работать. Ты прильешь свои силы в мои... дружка-подружка моя духовная... — ах... как я люблю наблюдать, когда ты с красочками... тихая... — это — моя святыня. Священный труд, творчество!.. какая сила и сладость!.. О, вдохновенье!.. как оно возносит и уводит!.. Мы постарались бы наполнять жизнь, а не истощать ее. Очищать, а не замазывать... и р а с т и, р а с т и... и — о, если бы! — ростить!.. Оля, не могу без тебя.

Теперь говорю крепко, с верой: не могу. Не хочу без тебя. Только с тобой, с одной тобой, моя избранная Жизнью. О, хоть немного бы радости дать тебе, так измученной, так обойденной!.. Нет, ты — Золушка, ты должна алмазные туфельки надеть... ты — чудо — и чудо должно породниться с тобой. Я в тебе не мог ошибиться, издалека. Теперь — но так все ясно, так все оправдано! Ты — вся золотинка — девочка!.. Ночь. Я позову тебя... ты позовешь меня... и мы не придем друг к другу. Но мы — всегда вместе, неразрывно, слитны сердцами, — одна душа. Целую маленькую мою, болезную. Все в тебе — свято для меня, все пою, всему шепчу — родимое, святое, чудесное. Девочка Оля... Ольга... о, как трудно тебя не видеть... как я люблю твое дыханье и это — о, милое мое! — кур-лы-ка-нье... моя журавочка, журочка... Олюна!

Оль, как я хочу всей тебя! Не безумство это; это — полная, крепкая, скрепляющая, чистая любовь. Я — твой Ваня. Какое счастье — хоть лечь под розовое твое тепло! Ваня, всегда. Плачет и замирает сердце.

[На полях:] О, как люблю! Как вижу всю тебя! Малютку целую.

Прилагаю бумажку-депешу[195] Olga Chmeleff.

16.VI.46 12—45 дня

Олёк, каким же огромным сердцем держу тебя!.. Спал так-себе... но лучше, чем вчера. Только что с рынка. Сколько ягод, всего! И все — дешевое. Теперь сам о себе: Ивонин[196] поступил на завод Рено. Купил я лесной земляники, вишен, ананасной [1 сл. нрзб.] — для компота. Достал 2 бёф-штекса, сыт буду.

Оля, я говорил о выдержке, — не о гляденье в глаза! Хозяин мог подняться и в 5 ч.! — а ты побежала бы... Он никак не считается с вами. Смел будить маму — готовить ему запасы! А сам не умеет?! ... Зачем ты ложишься в одной комнате?! Ты же говорила, что спала с мамой!

Ты должна ему решительно сказать: брака нет, мы должны расстаться. Иначе — эта муть на го-ды! Помни: твоей жизни, как женщины, — 7—8 л. Я тебе сегодня буду писать, или завтра, после встречи с Ксенией Львовной. Ольга! Я бодр. Будь и ты. Мы должны все сделать для нашей жизни. Надо торопиться. Или — скажи мне твердо: «Я не могу, я боюсь...» Тогда — ? Не знаю.

† — ?

Твой Ванёк. О, как целую!..

429

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.VI.46 Воскресенье, 10 ч. вечера

В тяжком томлении пишу тебе, голубка Оля. Многое поднялось — и душит. Какая горечь, но... и какой был, все же, Свет!.. Не укором пишу тебе, — я так огромно люблю тебя и так, в нестерпимой боли, тебя жалею, последний мой с в е т Жизни, последний, чудесный, ц в е т о к, встреченный мною на каменистой и тяжкой моей дороге, взглядом лишь исцелованный... — пишу, чтобы помочь тебе найти выход из тупиков, выправить душу и понять, что есть ценное, стоющее в жизни, и что — забавка и пустота...

Частностей лишь коснусь... О г л а в н о м надо долго судить и думать с глазу на глаз, но... у нас недостало на это часов и дней, на ветер кинутых, размётанных на «бубенчики» и погремушки. Я почти в этом не виноват. Выходило так, как будто вся твоя жизнь в порядке, и лучшего не надо. А потому — можно тратить-швырять отмеренные скупо судьбой часы и дни. Вспомни, сколько р а с ш в ы р я н о их, этих часов и дней... — и н а ч т о! Возьми итоги. Перечислять не стану, ты все знаешь, а теперь, м. б., и с о з н а ё ш ь. Чего ты лишила себя и — меня... Не было сказано ни-че-го о... главном. Или — и не было, и нет этого — г л а в н о г о — вопроса о Твоей Жизни, а о... моей — участи? Как-будто так. Все только взрывчики, порывчики и — с р ы в ы... до с л е з и жалоб недостойным с е г о с в и д е т е л я м, п о с т о р о н н и м тому, что я считал своей святыней, — моему — или н а ш е м у (?) чувству, великому, м. б. еще и не рождавшемуся в людях (по силе и постижению!, по красоте и сложности... по чуду обретения и Милости, ко мне, — к н а м?..) Ты знаешь, к а к мелькали и уносились д ы м о м эти пять недель. Знаешь малюсенькие + + и бесконечные — — — — — — .... П о ч е м у в с е э т о? Как э т о м о г л о статься?! ... Большей частью я был пассивен, ты — выполняла какую-то с в о ю программу. Я глядел и ждал. Иногда лишь, в отчаянии, утратив душевное равновесие, хранимое мною с таким трудом отчаяния (да еще все время в болях, скрываемых от людей) я взрывался укором — и отступал, молил об успокоении твоего «взрыва»... пытался вывести тебя на достойную тебя и меня «позицию» в эти скупые дни, отмеренные судьбой. Кончалось... — ты знаешь, ч е м... — у г а р о м. Да, мне иногда удавалось увести тебя в мой мир,

читать кое-что (только)... и всегда мне мнилось, что я навязываюсь тебе.

Не коснулись мы — главного: твоей дальнейшей Жизни и моей участи. В письме (12.VI) ты жалеешь, сознав, как неверно распорядилась драгоценным даром... — временем так долго (5—6 лет, и ка-ких!) жданным, так страстно желанным... Ты отдавала эти желанные часы на болтовню у С., у М., у X. Y. Z. Сосчитай — и поразишься. Что приняла в душу? чем обогатилась, на чем отдохнуло сердце? На проклятии Пушкина?[197] На проклятии моих томлений в творчестве? (я помню...) на швырянье своими томленьями в твоих письмах (ка-ак они летели под диван!), на швырянье моих цветочков тебе, с такой священной нежностью тебе приносимых!.. на проклятие моей светлой и чистой кельи, где создавались любимые тобой — твои! — «Куликово поле», «Лето Господне»... «Пути Небесные», «Свет вечный» и много-много... где столько чистых восторгов испытал я и столько боли! На отвержении и искажении всего, что дорого мне (близких и чистых), на молчаливом возврате священного для меня, (мои бедные колечки) что я, не имея еще более священного, — отдавал тебе, как знаменование святости моего чувства к тебе, голубка. Я не смею, не хочу углубляться в самое жуткое (не ночи, нет... в них было много искренности, любви, ну... и ошибок, но это неважные грешки...). Пишу все это, чтобы помочь тебе уяснить, как надо лелеять цветок-чудо... Ты его топтала, бессознательно. И — страдала, оплакивая его. Бедная моя... Олюша. Поверь, я так сильно люблю тебя, так дорога ты мне, что не смею пройти равнодушным мимо твоих срывов и ошибок. Иначе я был бы твоим духовным убийцей, потатчиком и соучастником издевательства (невольного и больного) над великим из человеческих чувств — любви земной, бесценнейшего нам, смертным, Дара. Оставлю. Сказано довольно. Ты умна, все тебе теперь понятно.

Я знаю причины всего этого... следствие замотанности и порчи твоей жизни. Ты не вполне ответственна за это.

11 час. и я — весь к Тебе и зову — Оля!.. О, какая скорбь во мне, какая тьма в душе!.. О-ля!.. ... И порой — какой бунт.

В сент. 41 г. я просил тебя быть моей женой. Ты испугалась. Но ты уже любила меня. Из твоих разговоров со мной (в Париже) ты сказала, что уже с 43 года не жена голландцу. (Только теперь, после всего, я позволяю себе говорить

о «голландце» так: до всего — проверь — я никогда не касался твоих супружеских отношений и не высказывался о Бредиусе.) Отсюда вывод: с признания твоего в авг. 41 г., с твоего «ты» и «Ваня», с твоего завета — вернуть мне Сережечку!.. я мог ждать и верить, что ты принадлежишь мне... И ты изменяла мне, ты — прелюбодействовала — с другим, тебе уже не мужем, не любимым... ты, «неразрезанная книга»! Ты сквернила наше чувство. Вынужденно? Насилием?.. Возможно. Но мне это — очень больно и... непостижимо. А если бы это сделал я, свободный? Ты плюнула бы в меня. Я не смею презирать и осуждать тебя. Я нахожу для тебя извинения и — Господь тебе Судия! Прелюбодейство и Грех — когда творят плотскую любовь, не любя — соучастника, любя другого, который далеко и не знает... Ну, обман. Я не осуждаю.

Но я знаю, что ты любишь меня. И ты знаешь, как я люблю тебя. И потому надо решать главное. А не творить грех — обман, не обманывать и себя, и не укрываться. Надо решиться. Или — честно сказать: «нет сил» — и расстаться. С мечтой и — надеждами. Не надо разводить в своей жизни грязь и гниль: они заражают Душу, грязнят сердце, — сквернят высокое, чистое чувство Любви.

Ты снова, от самого 1-го дня возвращения делаешь неверные, старые, шаги. Хотя бы: ложишься с мужем, пусть только в общей спальне (мне говорила: сплю с мамой), значит — оголяешься, значит — невольно зовешь... томишь... [Господин] голландец знает, что ты истомлена, легла в 3 ч. ночи, — и в 7 встает... будит рабыню свою, (да, конечно, ты проснулась!) будит уставшую пожилую почтенную женщину, — твою достойную маму (я в слезах целую ее руки, носившие Тебя!) просит (= велит!) приготовить ему и т. д. ... И ты, вместо протеста (да, ты должна была крикнуть: как Вы смеете лишать по своему капризу мою мать ночного покоя?! ... Почему раньше не озаботились?! ... значит, все это — или безумство или издевательство, или — выходка неврастеника, вдруг схватившегося за первую вынырнувшую в каше его нутра мысль!.. Вы не можете отвечать за свои действия! Вы — предмет невропатологической клиники, а не субъект Жизни, тем более — семейной![)] Ты ничего подобного, конечно, не сказала, ибо ты выдрессирована и ходишь перед больным на задних лапках. Вы с мамой его пестуете, как мама с мамкой перед бэбэ пляшут: «ах, скушай кашки!.. собачка скушала, киска скушала... цац[а]чка наша скушает!..»

Мама готовит рабовладельцу затребованное. А уставшая от Парижа и пути полубольная женщина бежит, спешит перехватить, до отъезда, полусумасшедшего властелина и владельца... твоего телесного естества и предлагает «то-то и то-то...» — что же именно? А ведь он мог подняться (приди шалая такая же похоть) и в 5 час. И — тоже — «перехватила» бы. Да, ты, действительно, п е р е х в а т и л а. Такое всегда куражит психиков и деспотов.

Так вот как... «Ксения Львовна мне укрепила-выпрямила хребет!». М. б. Но он, сейчас же с о г н у л с я , как ты вступила под кров властелина и была очарована цветами и... чем еще? милостивой встречей?..

Вот, Оля, по поводу сего «выпрямления»-то я и хочу завтра побеседовать с Ксенией Львовной. Я уверен, что ты не возразила бы. Ибо: 1) Ты очень многое (в отношении голландца) доверила ей, как и мне. 2) Ты просила К[сению] Л[ьвовну] светить мне в моем одиночестве темном. 3) К[сения] Л[ьвовна] — умна, чутка, и отлично знает, что я люблю тебя, а ты — меня..? Значит, я могу быть с ней, в известной мере, откровенным.

Родная, любимая моя, О л ю ш а... я так страдаю!.. В с е у меня напоминает о тебе и томит. Я тебя в и ж у. Зову. Ты не приходишь, ты, я в н а я. Ты — в черном плену и в зависимости от с л у ч а й н о с т е й. Это меня терзает. Психик может — в с е. Помни! «Толчки» в его болезни могут быть нежданны и беспричинны. Он — безответственен. Оля, молю: пересиль себя, у й д и! Вижу, что ты должна была бы пробыть во Франции месяца 3—4. Выжидая. Отдыхая. Дыша. Мы у е х а л и бы с тобой на Юг. Затерялись бы ото всех. Выговорили друг другу в с е. Решили бы — в с е. Чтобы творить — надо иметь в о л ю и покой. Так в творчестве. Так и в Жизни: она — наше творимое. А получилась скачка и безумство. В этом — я меньше всего повинен. Ты знаешь. Я пытался сдерживать и направлять. Но меня ударило болезнью и парализовало наполовину мою волю. Я мог лишь метаться и срываться. Но, согласись: я делал сверхусилия. Я изнемогал, при всей напряженности моей воли, (очень большой). Ибо ты не отдохнула, ты была разбита в с е м, в с е м... — и жизнью, непосильной, т а м, и болезнями... и — новым, таким сильным для твоего «дыхания» (если бы оно было здоровое!) «воздухом», хлынувшим в тебя и закружившим. Я пытался останавливать это круженье. И — не корю! — встречал твой неистовый подчас протест и «с р ы в». Что же мне было делать?! Умолять глазами, только. Я уже был запуган и загнан т в о и м болезненным состоянием. Я рыдал в себя, только, — видит Бог!

Я хотел быть только нежным и тихим, — светло любящим и любимым. Я взывал об этом, провожая тебя... помнишь, мой взгляд в тебя, в твою глубокую душу? И мой крик — «крэпка, Зорзик!»[198] — тебе вдогон, на перроне... — последний мой привет и почти беспомощная попытка укрепить тебя: ты уже не имела сил стать крепкой.

Для этого необходим — долгий отдых. А ты опять — в круженьи и в гипнозе психика — голландца. Добром не кончится, если ты не уедешь из этого дома прокаженного... (все они, Бредиусы — прокаженные!) Хоть в Голландии — в тихом месте — отдохни месяца два. Приедет к тебе Ксения Львовна — с ней. Об этом я с ней буду говорить: об этом, главное. Олюша, прими все это сказанное — как порыв помочь тебе, а не сделать больно. Клянусь моею любовью к тебе. Пусть никогда не увижу тебя... — только бы была ты свободна и здорова, — жила и работала в радости. А я... мне удел — скорбь, страданье. Ты знаешь, какие удары нанесла мне судьба. И не скосила: я делал. И пожалей меня, за это хоть, и не вини. И прости, голубка. Я хотел видеть тебя вровень с собой: вместе думать, искать, пытать в себе лучшее, расти душевно и духовно, я тебя хотел бы видеть полноправным товарищем в последнем отрезке мой жизни. Да, я больно, порой, тебя касался, я пытался найти в тебе отзвук, хотя бы делая больно. Но все это от великой любви к тебе, — ты для меня безмерно драгоценна: я узнал тебя, я нашел тебя в хаосе и бесчувствии жизни нашей, — и твоя искра горит в моей душе. Наши души — одно, от одного Истока, — в них Божий Свет. Но кто из нас повинен, что есть и Тьма, злая, удушливая, — она свое делает, тщится погасить наш Свет. Я не сдамся. Я зову тебя — не сдаваться. Я протягиваю тебе мои руки, мою душевную силу хочу перелить в тебя. Верь же мне, не отторгайся. Без тебя мне — рана смертельная, знаю это. Верь мне. Это — крик мой, не слова. Оля, вот пишу и плачу, тобой болею. Ох, как тяжко мне без тебя. Пусто, холодно, одиноко. С тобой буду сильней.

Сейчас не могу о дне сем, о мелочах и — не пишу и о любви, как выношу ее, несу ее в себе, томясь. И как болею тобой, за тебя. Это сплошная мука. Часами лежу на твоей кушетке, все думая, вижу, призываю, молюсь.

Голубонька, одна в целом мире одна — ты у меня, для меня, для нас обоих. Найди силы — быть со мной, быть женой, другом, дружкой, — равной мне подругой в стремленьях наших! Молись. Я плачу, не могу больше. Я истомился. Всем. Я не могу работать. Я все бросил. Господи, помоги!

Оля, помоги же себе и мне. У нас — одна дорога, единая, чистая. Твой всегда Ваня. Целую тебя, голубка, и крещу именем Господа и Пречистой.

[На полях:] Дождь. Черное одиночество. У меня в с е запущено, и корреспонденция, и работа, и — дом. Я едва ем.

Это — 7-ое письмо мое с 11-го, вторника. Ответь спокойно на в с е. До твоего ответа писать не буду. Я истомлен. Болезнь не лучше.

430

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.VI.46

Мой дорогой, родной, любимый, незабываемый Ваня, Иванушка, радость и боль моя!

Только сейчас твое письмо от 12.VI! Это горькое письмо. Как больно мне, как тягостно чувствовать вину свою перед тобой. Так[i], как я была к тебе — нельзя было! Ты изранен, измучен... Ты слишком привык ко мне. Но, верь мне... если бы огонь тот (про который пишешь) зажегся, — было бы еще тягостней расстаться. Но не стану о том, что «было бы» да «кабы». Твои от 11-го и 13-го[199] пришли раньше. И какое счастье мне, что это от 12-го опоздало. Иначе измучилась бы им еще больше. Как горько, как неутолимо горько мне, что я не увидала «Путей Небесных»! Не могу! Хотела так сама, своими глазами увидеть! Ах, это Париж! Все мне дорого в нем, потому что ты там! И у меня было такое же: проснулась ночью и, знаешь, как бывает спросонья, — не поняла, где я. Ищу рукой стол твой, чтобы нащупать часы... и вдруг остро пронзает, что я в [Schalkwijk'e]. Я слышу твое тихое, короткое, какое-то страстное, но притушенное: «Оля!» И бегущие твои шаги... Но, нет, не надо, не надо будить себя. А то еще невыносимей.

Я оставляю на бумаге и цветки, помаду с губ[ii]. Ты увидишь их очертанье. Я все помню. Ваня, но надо быть нам обоим крепкими. Помни, как ты меня «правил»: «крэпко»! Я буду работать. Я должна быть самостоятельной. Только работая, я смогу добиться своего пути[iii] и быть снова в Париже. Я начну перевод «Богомолья», для сего буду ездить в библиотеку,

---

[i] Подчеркнуто карандашом.

[ii] На письме отпечаток губ О. А. Бредиус-Субботиной.

[iii] Далее текст письма передан карандашом.

где должны же быть все нужные мне словари и т. д. Как только Ксения Львовна привезет машинку — сяду за наши письма, с радостью, пусть и с болью! Я буду писать и мое. Я полна тобой. Почему я не приеду? Я уверена, что приеду. Надо молиться. Молись и веруй! Веруй!!!!

Веруй в Бога, в будущую жизнь и вечность! Все то, жгучее, что томило и мучило, — оно не главное. Я совсем тиха. Знаешь, бывает так: рыбки — стоят под водой... «не дрогнет». Вот так застыла я... вслушиваюсь в то, что поет во мне и плачет. Нельзя убивать себя, расточать горе. Горя, Ваня, *нет*! Не накликай его! Береги себя! Не растрачивай себя. Это самое главное. И посмотрим, что нам Бог даст!?

Ах, а мои дни?! Сразу же засуетилась. Была в Вурден'е, только ночью вчера вернулась. (Мне больно было уезжать от лилий. Они чудесны). Там я заделала в банки, предварительно все сперва пережарив, целого 2-х месячного теленка! Одна, совсем одна. Вчера стерилизовала около 30 большущих банок. Все делала: и студень, и паштеты, и рубленые котлеты. Кур и цыплят наших не забыла — для них сварила легкое и вычистила желудок и кишки, привезла их домой и сварила. Было 160 фунтов мяса и 30 фунтов костей. В субботу в 7 утра встала, а в 11 вечера только окончательно вымыла руки. Жида самого[200] не было дома — в Англии, а золовка все такая же, как была. Материальна и «оригинальна». Девочка чудесна. Как большинство детей. Под Арнольда подкапываются с наследством, гнусно и гадко, но об этом не стоит. Тебе не интересно, да и меня тоже никак не захватывает. Сейчас сижу на вокзале, ожидая поезда в Амстердам, где буду хлопотать о Сереже. У него унылое настроение. Ни с места. Скоро нагрянут американцы ко мне. Как все это закручивает, мешает. Мама сказала, что я «где-то витаю». Да, я с тобой... Золовка хочет еще рисовать меня. Чего-то тоже во мне находит «особенное». Пусть находят. Мне хочется молиться и быть в тиши. Я наполнена тобой, твоим, (пусть и горько в разлуке) и хочу этим жить и из этого творить. Мне очень больно от тоски, от всего того, что ты и понимаешь и знаешь, — но и много силы от любви к тебе и от твоей любви.

И так должно быть. Жду твоей книги! Хочу знать, как перевела Эмерик! Что скажет Зеелер? Привет всем и милым Меркуловым. Обнимаю тебя, крещу. Успокойся в моем тихом свете. Я теперь такая. Тихая. Нежная твоя Оля

Не томи себя представлениями обо мне Schalkwijk'овской. Я — без огней и никого не зажигаю.

431

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[17.VI.1946]

Шлем вам сердечный привет из Амстердама, дорогой Иван Сергеевич, — где мы с Сережей провели целый день. Пьем чай в уютном тихом кафе и вот думаем о Вас.

О.[i]

Я писала с дороги и это уже 4-ое писанье[201].

Написала одновременно Ирине Серовой, ее имя Мамонтова??

432

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.VI.46

Дорогой Ваня.

Ночь не могла спать, складывалось в душе письмо тебе, в промежутках кошмаров, чередуясь с болью в сердце. Все время сегодня боль в груди, как однажды у меня у тебя было. Я совершенно разбита и выбита из всякой колеи твоим письмом от 14-го[202]. Так нельзя. Никто и никакие нервы этого выдержать не могут. Скажу тебе, как перед Богом, правду: таких душевных потрясений я ни от кого не переносила, как от тебя. Мне нечего прощать или не прощать тебе. Ты просто иначе не можешь. Это твоя натура. Не убеждай меня в ином — ты же это уже в 3-ий раз. Достаточно запоздать письму, и ты надумываешь всякие подлости у меня. Надо же немного больше верить человеку. Не могу, т. к. совершенно разбита, касаться всех мелочей, но скажу, что ты во всех решительно обвинениях мне не прав. Это не я, а ты выносишь любовь на люди. Мне же Серов (да и ты сам) говорил, что многим ты с ним делился, или во всяком случае, так себя держал, что и без слов было понятно. Мне это было очень неприятно, но я не упрекнула тебя за это, сдержалась. Никогда я не позволяла себе такими эпитетами наделять тебя, как ты меня забросал. Единственный раз, когда ты доконал меня, а вскоре начал хвалебный гимн, я ска-

---

[i] На открытке приписка С. А. Субботина: Многоуважаемый, родной Иван Сергеевич! Шлю Вам самый сердечный привет и мечтаю попасть в Париж и лично выразить Вам свое почтение и восхищение. Искренне Вам преданный и почитающий Вас С. Субботин.

зала (убитая вся): «не верю, комедия это все, ты актер». О, как ты оскорбился, но это было так понятно. Ты же накручиваешь безответственно всякое, что приходит в голову.

Я однажды тебе уже сказала, а теперь повторю: при таком твоем отношении ко мне я боюсь тебя, и если бы я ушла от А., то не для того, чтобы уйти к тебе. Такому, какой ты в шквалах. Знаю, что и меня и себя бы ты измучил вконец. Я слабее тебя, я это знаю, и твоего напора, как любовного, так и гневного, я бы не вынесла. Я знаю, что сломилась бы под этим напором. Это не моя стихия. Я, в общем, для тишины и нежности. Я ищу, и искала тихой ласки. Эта моя жажда ласки разбудила в тебе твои огни, которые меня увели куда-то от себя самой и сожгли. Я себя не узнаю и ничего не понимаю. Твои гневные бури меня как-то уничтожают. После каждого такого шквала много цветов сорвано и унесено. Кому это надо? Будь я сейчас свободна, — я бы не решилась пойти к тебе. Да, я слаба. Я знаю, что не смогу вынести твоей силы. Моя душа поет и цветет в тиши, в ласке, вне насилия над ней. Я не могу жить в конфликте. Ты очень чуткий и должен понять, что я сейчас переживаю.

«Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет». Мне не надо было к тебе ехать. Но виновата не я одна. Ты уверял меня в том, что не зажгутся мятежные огни, а я поверила. Ты сам писал мне в последнем письме до моего приезда, что «конечно — развод сейчас немыслим». Ты там подробно писал о моих внутренних трудностях в связи с этим.

Делаю паузу, — мне плохо. Сердце.

Сейчас письмо твое с сообщением, что позвал Ксению Львовну. Ты с ума сошел?? Что и кто мне Ксения Львовна? Как мог ты призывать в свидетели, в советники (!) чужих людей, не спросив меня даже, в таком интимном, не твоем вопросе!? (Да и в чем (?) вопрос?) Я ничего не понимаю, что с тобой? Это как-то невыдержанно, недостойно. Да и что она подумает? Это не похоже на тебя. Какая неделикатность, бесцеремонность. Пусть ты считаешь А. своим противником, но ведь и у него душа, требующая к себе, как всякая душа, уважения. Не понимаю, *что* тебя так задело в моем сообщении о том, что он уезжал, что ему завтрак сделает мама? Это вполне естественно. Потому что я приехала, должен был дома сидеть? Да ты бы тогда еще больше с ума сошел. А. уехал, т. к. был назначен, и отложить нельзя было. У меня есть моя совесть, которая говорит, как надо жить. Она же меня и мучает, говорит, как и не надо.

Ты можешь сказать, что я сама во всем виной. Да. *Я виновата.* Я слишком тебе открылась. Я не смела этого делать, не решив все заранее. Ну, казни, бей. Я сама себя бью и казню,

и у меня нет сил почти что так жить. А ты, вместо того, чтобы поддержать — пилишь деревянной пилой. Ты исходишь из положения (созданного, придуманного тобой самим), что только ты любишь и страдаешь. Вообрази хоть на мгновение, что я-то точно так же мучаюсь. Подумай! И то, что я должна оставаться, несмотря на муку, в голландском мире — имеет, следовательно, какое-то основание. Ты бесцеремонно разбрасываешь чувства всех иных людей, рассортировываешь, не считаясь с тем, что есть масса всевозможных трудностей и мучений. Неужели ты не поймешь никак, что мне просто невыносимо. Ты считаешь меня «рабой». Господь с тобой! Но поверь, что есть и нечто (и даже очень большое) кроме рабства. Я никакого рабства не вижу. Никогда я рабой не была ни у кого. Не оскорбляй меня! Ты всем меня попрекнул, — и даже тем, что приехала к тебе и тебе открылась. Ты в одном прав — я непоследовательна, я увлеклась, я забылась. Да. Но неужели у тебя поднимется рука казнить меня за это? И как же я уже бита. И как я наказана. У каждого есть свой крест. Мой крест — любя тебя, быть в ином. Или вернее — живя в другом и будучи прикованной к иному — полюбить тебя. Я говорила тебе и раньше, что в силу видимо каких-то врожденных убеждений, я слишком человек долга. Я говорила тебе, что мне тяжело. Как ты этого не поймешь никак. Я виновата и перед тобой, и перед Аром. У него я, правда, ничего не краду, т. к. он мне и не давал ничего из того, чем дарил ты меня. Для тебя я живу отшельницей. Не будучи твоей я и ничья. Ты как-то бесчувственно это принимаешь, будто не осмысливая всего значенья. Нам неведомы пути Божьи, — мы слишком мало думаем о Боге. Беснуясь, негодуя и рвясь на части, мы грешим, — это недостойно. Я прошу тебя, во имя светлого и Святого — успокойся. И исходи из того, что мне-то не легче. Я, при всей смятенности, постаралась найти себя, собраться и начала свое дело. То, что мной тут не интересуются — для дела очень хорошо. Мама готовит за меня, — эти дни была в разгоне для Сережи, а сегодня работала акварелью (лилии твои — хорошо удалось). Хочется молиться. Хочется тишины. Так гореть, как мы горели — недостойно нашего чувства. Оно все светлое. Если бы не было таких у тебя срывов, если бы ты смог и впрямь сделать так, как писал перед Пасхой («квартира моя — храмик»), то очень может быть, что я бы скоро приехала, и наполнились бы дни наши тихой лаской и радостью, творчеством. Я так хочу писать. И буду. Но так, как это у тебя теперь, — нельзя. Ты бунтуешь. Мне бунт — страшен. До твоих писем я серьезно стала думать о том, как поехать еще раз — а теперь боюсь. Я знаю, не думаю, а знаю нутром, что если бы

стала твоей вполне, то все бы у тебя обострилось еще больше. Это так. И я бы очень скоро сломилась. Сегодня совсем больна. Пыталась акварелью увести себя от горечи. Пощади и себя и меня. Обратись к Богу. Так бунтовать недостойно. *Ничего* не говори никому о своих и моих чувствах. Очень прошу. Мне оскорбительно, что ты так бесцеремонно советуешься с Ксенией Львовной. Не понимаю, как так можно. Нельзя делать таких поступков. Ты отдаляешь себя этим от меня. Как ты не понимаешь. Посмотри глазами 3-его лица, и ты увидишь. Целую. Оля

[На полях:] Прошу тебя, будь тих! Прочти спокойно. Молись! Мне страшна такая твоя любовь. Надо себя собрать. Ты старше меня и опытней, тебе это должно быть легче.

Пощади и меня. Знай, что я не выношу давления, я заболеваю и физически. Дай же показаться нам «Путям Господним». И надо учиться и смиряться. Я моложе тебя, но поняла это, и так надо!

Я знаю, что для моей работы, для творчества, невозможно мне выносить такие твои бури. Если бы ушла от Ара, то никогда не так срывно, и любя тебя, и именно оттого, что любя, не должна была бы жить с тобой. М. б. в Париже, но отдельно. Иначе нельзя работать. Ты меня сломил бы. Да, да...

Вечер: у меня, кажется, жар. Завтра напишу еще.

В конверте не оказалось депеши — с Olga [Chmeleff], ты, верно, ошибся, не послал.

Видела странный и страшный кошмар — сон о тебе.

У меня так все внутри растерзано, разбито, что я бы только в монастырь хотела, в тишину и молитву[i].

Если любишь меня, то пойми. Сделай усилие и собери себя!

Вместо того, чтобы дать мне найти себя, найти силы, возможности, прислушаться к Высшему веленью, ты будоражишь меня, [1 сл. нрзб.], замучиваешь. Ты должен найти себя. Ты [нужен] жизни и всем!

Никогда я не разлюблю тебя, верь мне. Мучаюсь, обижена тобой, разбита, но люблю. Ох, как болит грудь! Не мучай себя, а молись. Я молодая, а вот могу же собраться во имя любви к тебе.

Бог даст, приеду еще.

Ты пишешь: «или выбирай его мужем...» Этого же нет. Ар должен идти к невропатологу, он болен. Я это узнала сейчас от сердечного специалиста.

[Крупно, поперек текста:] Пощади же меня! Пощади! У меня нет сил!

---

[i] Здесь и далее в письме подчеркивания сделаны красными чернилами.

433

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.VI.46

Как горько мне, Ваня, твое письмо от 14-го. Да, что там... ты опять повторился. Разве можно мне хоть что-нибудь сказать на этот поток твоих обвинений.

О цветах? — как жесток и жёсток ты ко мне. Откуда такое понимание. Юле я сказала о них при ее уходе, будучи взволнованной и растроганной до слез. Я ее просила (зная, что это самое маленькое, но все же утешение и в моей скорби) навестить тебя как можно скорее, чтобы как можно меньше было скорбных минут. У меня вырвалось само (верь мне без «самолюбования»), что «хоть бы не опоздали принести цветы», т. к. я боялась, что мой французский язык не поняли достаточно. Мне хотелось, чтобы ты сразу же после вокзала получил мой привет. И потому же самому я сказала Александру Николаевичу: «посмотрите, А. Н., будут ли вовремя цветы и если до вечера не будут, то м. б. сходите в такой-то магазин?» Я совершенно не была уверена, что меня поняли. Я клянусь тебе именем папы в этом. Спроси Александра Николаевича, в каком тоне это я ему сказала. Первушины и никто больше этого не знали. «Кусочек» сердца? Да, цветы это так ничтожно, это, конечно, только кусочек. Но, Бог с тобой! Ой, ой, как мне нестерпимо больно! Ничего не пойму, отчего нет писем. Я сама видела, как железнодорожный служащий понес его к ящику в Rozendaal'е на границе. Я сама не смела заходить за барьер, т. к. мы должны были идти на осмотр таможни. Я писала тебе с пути, конечно, плача писала. Вся изранилась, изорвалась... Я знаю, что ты меня презираешь. М. б. ты прав. Я не заслужила лучшего. Как часто молила я тебя не петь мне псалмов при чужих. Меня смущало это. А слова Анны Васильевны?

Ну, Господь с ней! Она вправе иметь обо мне свое суждение. Странно только: ни ей, ни при ней я о тебе ничего не говорила. Она была в кухне, а я одному Серову, сдуру, с нервов, с полного срыва сказала в ванной комнате это мое, изранившее меня потом, слово. А[нна] В[асильевна] меня спрашивала «О. А., милая, обидели Вас, что ли?» Она спрашивала. Я отмалчивалась. Конечно, люди любят сплетни. М. б. ей сказали.

Не знаю. Мне это для *меня*— все равно.

Я не могу больше выносить страданий за тебя. Господи, ты так мучаешься. — Я не могу, не могу, не могу. «Гордо о себе понимает...» Так думает старушка. Нет, я не гордая, Ваня. Но,

конечно, меня слишком баловали, — это вредно, я сама этого боялась. Значит, возгордилась, залюбовалась?? Прости. Не сознаю этого в себе. Но в этом (если это есть) не чувствую обиды тебе. Твоими словами ты делаешь мне жизнь невыносимой. О, никто, никто не знает моих мук! Да, ты, безусловно, в едином прав: нельзя было сходить с рельс в чувствах. Откуда у меня все это взялось в Париже? Ты зажег меня, Ваня, опьянил и увел куда-то. Я утратила себя. Не виню, нет, нет. Ни в чем, ни даже в брани, в упреках. Милая старушка, она, даже если ей кто-то сказал в моих сорвавшихся словах «обиды», — она же не знает, что я за несколько часов до гостей пережила. Но ты-то знаешь! Не укорю, но только напомню, поймешь быть может, что срыв мог быть. Ах, Ваня, как ты можешь так, вот и о театре, — я спросила тебя, и ты отказался идти. И я не ходила без тебя «пройтись», но лишь с Вигеном бегала в кафе звонить по телефону относительно денег. Спроси Вигена. Как все ты подло во мне увидел! Все подло! Поверь для тебя, что это *не* так. Не в оправдание, обеление себя говорю, но для Правды. Я убита твоим письмом и не могу больше. Сегодня это 3-е письмо тебе за один день. Сию секунду приехала из Амстердама. Сережа по моей просьбе ездил в Velp к моему гомеопату, которому я подробно описала твое состояние, начиная с Пасхи. Он дал лекарство и сказал, что оно должно очень скоро оказать радикальное действие. 3 раза в день по 2 капли за 1/2 часа (minimum) до или после еды. Просил меня сообщить ему о результатах. Я пошлю с M-lle Peltenburg[203], т. к. боюсь, пропадет почтой или выльется. Где же мои письма тебе? Я страдаю. С дороги писала тебе на страничках блокнота, случайно вырвалась как раз 11-ое июня. Ваня, Ванечка, я вся сжалась от твоих слов. Я прибита, уничтожена. Ну, пусть я скверная, пусть А[нна] В[асильевна] права, но ты не прав, не прав, не прав, бросая мне то, что ты себе вообразил. Неужели ты не веришь, что я тебя светло и глубоко люблю? Что же тогда мир?

Крещу тебя. Оля

Господь да утешит тебя. Я без сил, я убита.

434

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.VI.46 Середа. Солнце, с облаками. 3 ч. дня

Дорогушка моя Ольгуна, сегодня открытка из Амстердама и письмо, от 17. Это мое письмо — 8-ое. Не могу без тебя,

обмираю, утратил волю, едва заставляю даже письмо тебе писать. А должен ходить за собой. Все запущено, нужные письма. Не хочу есть, не вижу света божьего. Два выхода мне: или вынуть тебя из сердца, а это невозможно, — тогда мне конец, — или хоть бы силой добыть тебя. И это — без твоих усилий, невозможно, — безвыходность. Ночами я зову тебя, шепчу тебя. Твои вещи, до грелочки, и эта салфетка с оранжевой каймой... и твои духи, и все-все... — томят сладко и мучают. Оля!.. приди... Ольга, дай себя мне, я буду всегда нежен и кроток для тебя. Как я мечтаю, с тобой, снова увидеть весь Париж... по-новому... чувствуя тебя, слыша твое дыханье. О, девочка, как я измучен... Ты совершаешь преступление, против Св. Духа в тебе, снова отдаваясь этому неблагодарному хозяйству, для чужих, — мама сама о себе заботится. Ты несешь в с е, ломая себя. Труд убьет тебя, убивает. Неужели такая скудость, что ты не могла позвать заготовщика-раздельщика-мясника — делать консервы? С 7 утра до 11 ночи..! Безумство, ужас. Все, проклятые, ездят на слабой, чудесной, единственной моей! О, проклятые нечуткие, слепые себялюбцы! Оля, так, в горе по Сережечке, убивала и убила себя усопшая моя. Так и сказали врачи. Я был бессилен удержать. Я говорил с Ксенией Львовной, была в понедельник — что «укрепления хребта» нет, напротив. Просил ее ехать к тебе, скорей... но у них свадьба лишь 28, а Николай Всеволодович еще не уехал. Ты не можешь хотеть гибели моей, а она близится, я отмираю. Ольга, каждый день уводит меня, бросает в отчаяние. Оля, голубочка, детка... я все время слышу твое дыханье, на всех, во всем — дыхание твое, я слышу его от розового одеяльца, тщательно обернутого, чтобы не касалось меня, оно для меня священное. Ночью сегодня я так ярко тебя увидел, будто ты на диване, дышишь. Все во мне тобой пронизано, напитано, и я не могу коснуться тебя. О, оставлю... я изнемог.

С этим письмом посылаю тебе, первой, французские «Пути», с французским прикрытым посвящением — могут прочесть чужие! Разве т а к надписал бы для т е б я?! Мне больно, что не мог, — ты не напомнила, а я не смел навязывать, — прочитать д л я т е б я — лучшую главку из 2 части «Путей»! «Благословенное утро» или — «Аллилуиа». Ни «Куликова поля», тебе отданного. Как бы прочел его для тебя, слезами. Я же плакал, когда ночами писал его. Ты многого моего не знаешь. Не знаешь и «Каменного века»[204]. Не знаешь «Солдат»[205], там есть, ох, какие места. Что творится! Какой ливень и град!.. ----- Сейчас заставил себя проглотить картошку и ломтик ветчины, ел манную, сваренную вчера Юлей. Она привезла мне

первой малины, с ухоженных мною кустиков, и черешен. Был дурак-доктор. Ему сказал: когда приду в равновесие — задам несколько вопросов. Он покраснел, чуя. Да, зачем чернил меня в глазах любимой моей Оли! Он говорил явную ложь тебе. Родионов[206] оказался подлецом и дураком, и ушел от меня сам, а вовсе я его не отшвыривал! Притязать уличному безголоску на вровень с Шаляпиным, что ли, и проявить непостижимую корысть — половину сбора с чтения — моего! — ему! Да еще проценты за проданные билеты. Что за хамы! Я «уничижал память О. А.!» Я — мои слова к «друзьям» — медь звенящая и кимвал бряцающий![207] Зеелер его привел к порядку. Но все это — мелочи и тленное. Я томлюсь, выстрадываю тебя. Если бы ты была со мной! Мы нежно-чутко в з я л и бы в с е, что стоит смотреть в Париже. Я дополнял бы — только! — твою чуткость восприятий. О, бесценная моя подруга-дружечка!.. Я мысленно целую «клюковки», кончики пальчиков на твоих ножках... Оля, я нежно трогаю губами «мышки» твои... все родинки перецеловываю, мысленно... дышу тобой, цветок мой неувядаемый, сказочный, мне упавший с неба... Оля... О---ля--! — как я сегодня ночью нежно шептал... просился к тебе... — можно?.. пил бы твое тепло, причащался бы тобой, Ольга, моя священная! Что мне делать... не знаю.

Вчера Эмерик принесла охапку книг — надписывать, мне, для прессы и корифеев. Это здесь идиотский обычай, чего не было у нас, — «иначе обидятся»! Я сбавил «тон», давая безразличную формулу, — как я могу писать «омаж»![i] — когда я их не знаю и не чту!.. Лишь старцу Поль Клоделю[208] оставил ихнюю формулу: из него взята цитата на бандероль книжки. Осложнение с «Летом Господним». Должна явиться г-жа Ражо[209], желающая издать с иллюстрациями — ! — а тут Эмерик говорит — мое издательство хочет издать «Лето», ждут директора из Стокгольма, уехавшего на конгресс пэн-клуба... «Погодите решать с Ражо!» Говорю — пусть «Мери» берут, ее легче «взять» французам. Если бы «Пути» получили хотя бы средний успех! Никогда так не желал, французы для меня — пустота. Они не могут почувствовать моего внутреннего образа. Если бы к Шопену пришла любимая и... не попросила его сыграть для нее мазурку!.. Две разные вещи: самой читать или слушать любимого... а я нашел бы в себе для тебя — всю мощь, всю нежность!.. Не упрекаю, ты была так истомлена. Ты не знаешь продолжения «Иностранца»...[210] там е с т ь места! Ты бы поцеловала меня еще, еще...

---

[i] «Дань уважения» (*от фр. hommage*).

Оля, не могу... что-нибудь: или совсем забыть, или слить наши жизни. Глаз вчера был совсем белый, сегодня всю ночь невыносимо чесался, и лоб, и веки, и — сегодня залился глаз. А ты воду качаешь для американских жидов и прочих угрей. Ты, русская девочка-чудеска! На колени перед тобой, а не на твоем горбу! Скоты! У нас я не дал бы тебе стоять по кухням. Твоя золотая с горошком чашечка у божницы. Голубая — на столе, не трогаю ее, смотрю и... слезы у меня, слезы. Ночью сегодня вспыхнула сильная боль дуодени. Положил твою грелочку, целуя. Все свято мне от тебя, в тебе. Столько сил дала ты мне, п о д н я в душу. Теперь я опадаю... Гортензия, шапочки ее, начала вянуть! листья крепки. Я обрезал шапочки. Не понимаю, почему это. Почему-то ночью пришли на ум стихи, чьи — не помню: «Придет пора, прольешь ты слезы... Тогда, неся свой крест тяжелый, Не раз, под бременем его, Ты вспомнишь о весне веселой... — И не воротишь ничего»[211]. И сжало сердце. Уходят дни... минуют ночи... минует лето, — и ничто не меняется. Ждать, ждать... чего ждать?.. Мне — нечего. Лучше не жить, Оля... прости, родинка моя... уродинка... дуинька моя... О, какой дождь. Больной я и одинокий... ушли надежды. Как мало видел тебя, как мало нашептывал тебе... как страшился истомлять тебя, навязывать себя... смущать тебя... Голубка, сердце ты мое трепетное!.. как назову тебя?! где истинные для тебя по тебе слова-чувства..? томятся, бьются в крови сердца моего... о, какая боль сладкая!.. Любить... т а к любить!.. не знал я т а к. Хотел дать зимнюю тебя!.. — или — в ванне... или — встретить в лесу... молодку! сидеть на опушке березовой рощи... и слушать зяблика, кукушку... Дневная! ты всех ночных перекуковала во мне. Олюнка... как я ножки твои лобзаю... тепло их, атлас их, и милочку твою... святую, клянусь — святую для меня!.. Кувшинками бы обвил тебя в бассейне, солнечном и теплом... и положил бы алые розы на груди твои... жасмином украсил твою головку, и шейку... незабудками... алые маки обвили бы чело [и чрево] твое... о, дивная девушка, вечная девушка моя, мне. Как хотел, и ни разу не подал тебе чаю в постель... не любовался, как зубки твои жемчужные... дождь!!!! ... — кусают теплый хлеб... сочные твои зубки, миндалики!.. Если бы очутиться с тобой на Юге!.. в Ментоне, сидеть в Монтекарло на синем берегу... в прибое!.. сколько ты взяла бы «пятен» там!.. всюду! Есть мороженое на террасе, пить шоколат с пирожными на бойком месте Ниццы... чуть поазартничать в рулетку... и — дома, в отеле... л ю б и т ь тебя, пахнущую морем, солью, водорослями, шампанским!.. молиться на тебя!.. в зеркалах

видеть умноженную, Тебя, моя звезда вечерняя!.. голубовато-жемчужная!.. Речнушка моя жемчужная! Знаешь — наши раковинки-речнушки?.. О них рассказано в очерке «Петровками», 2 части «Лета Господня». И как же простой парень говорит о них![212] Оля, помни: у нас две святыни, нет три: Господь-Пречистая, Родина, Искусство. Для сего живем, этим только живем с тобой, единые. А вот, розняли нашу дорогу, одиноко бредем, томясь. Ты мало-мало чувствовала меня в Париже. Ты развеивалась кусочками... — скучно было тебе со мной..? Обоскомилась мною... Почти ничего я не дал тебе, а ты не просила ничего... чувство, мое, огромное, мы разменивали на ощущения... какая же ошибка!.. Я оплакивал каждую потерянную минутку — вскипал и бунтовал. Ольга, пощади себя, себя ради, уж не для меня. Оставь хозяйство, будь Марией, хоть... кем-хочешь, только не прачкой, не колбасницей, не скотницей, не «за все»! Сохрани себя. С какою дрожью любовался бы, как рисуешь, как морщится твой лобик, когда пишешь, ища образ. Как бы увидеть тебя? где бы?! ... Я поцеловал «губки» в письме... они чу-уть-чуть напомнили... Оля, когда же?! ... Оля... Всю целую. Твой, от тебя неотделимый, Ваня

[На полях:] Я тебя люблю превыше всего — тихую, нежную, кроткую, ласковую, а не вакхическую, не мятущуюся... — м о ю Олю ч и с т у ю.

Поверь: я, подлинный, — тихий, нежный, ласкающий, «как умею». М. б. я еще больше и лучше у м е ю. Да.

Поцелуй за меня маму и Сережу: родные они мне, тобою. Оля, я хочу тебя — жены, [святой] для меня, а не просто — женщины. Женщин для меня н е т.

Оля, как нежно целую, язычком «карасика». По...мнишь?.. Всю.

Жид будет виться около тебя, — дай же ему знать, пошли к чертям!

435

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.VI.46

Дорогой Ванюша,

Пишу тебе кратко, чтобы ты только не волновался. Я нездорова — плохо с сердцем, все ночи не сплю, или сплю кошмарами, что еще хуже изматывает. Постоянно болит грудь, до ушей ломит и всю шею. Отдает в руку. Одним словом, —

знаю, это сердце. 5 недель Парижа меня надорвали, ведь и для меня они не были легки. А бунт в твоих письмах доконал меня. Не могу подробно всего касаться. Я не сержусь на тебя. Но скажу, что так нельзя. Ты сам себе и тем самым и мне устраиваешь ад, надумывая всяческое, чего не было. Мне очень неприятно, что ты позвал Ксению Львовну. Для чего? Это так на тебя непохоже. Вот пишу, думаю снова обо всем, и мне делается плохо. Пощади и себя и меня.

Мне так ясно, что ты грешишь, недостойно стоишь перед Господом, так бунтуя. Собери себя и утихни, мирно утихни. Иначе нельзя жить. Не надумывай и не воображай никаких сумбуров. Это грех. А будь счастлив тем хорошим, что, несомненно, есть. Если кто и бит, так это я. А ты еще меня добиваешь. Мне трудно писать. Не буду подробно, но скажу главное.

Если я не с тобой сейчас, так я и ни с кем, ничья. Пойми это. Ты как-то никак это не принял. Много есть вещей, о которых ни я издали, ни ты теперь не можешь слету судить. Жизнь куда трудней, чем кто-либо ее представляет. Не форсируй ничего. Пощади и себя и меня. Мне хочется, у меня потребность молиться и быть в тишине. Ваня, ты подумай: ты сейчас придумываешь страданья, а ведь этим ты можешь создать истинное несчастье. У меня нет сил на эти бунты. Твой напор, как любовный, так и тем более гневный, меня совершенно ломает. Я слабее тебя. Я не устаиваю под этим напором. Я утомилась от пребывания в Париже так, как сама не ожидала того. Теперь мне нужна только тишина. Письмо твое от 14-го убило меня совершенно, и я ничего не могла иного, как только лечь в постель. Ты помни: я люблю тебя, я ищу себя, чтобы начать, наконец, творить. Я только с тобой душевно. А в остальном — ни с кем. Ты не считаешься как будто с моими чувствами, говоря о своих страданиях. Бури же твои могут убить меня. И душевно, и в прямом смысле. Делай выводы сам. Молись Богу и этим вырвешься из атмосферы бунта. Есть много светлого, того, чем живу и я. Его надо видеть, а не проходить мимо. Будет поздно, когда и оно отнимется. У меня, к счастью, много забот быта, они меня еще как-то сдерживают от того, чтобы просто совсем растечься и потерять все силы. Но и то не могу, т. к. нет физических сил. Хочу спать и спать, лежать, а лягу — не спится. В груди «кол», болит и ноет. Помни твою 1-ую О. А.! у меня, видимо, ее болезнь, и щади!

20.VI.46 Только что была M-lle Peltenburg, и я послала с ней тебе лекарство (капли по 2 капли 3 раза в день — или до или после еды на расстоянии получаса). Обещает скорую помощь.

А также послала для Наты свадебный подарок: серебряную коробочку с брошью-камеей и 2 серьги такие же, скатерть белую и ручной работы салфеточку. Peltenburg оставит все тебе. Будь добр, черкни Ксении Львовне об этом, чтобы взяла. Екатерина Алексеевна Бернацкая[213] хочет получать в неделю 5000 фр. с Peltenburg, у той нет столько девиз, но она все же едет.

[На полях:] Ты сколько раз уверял, что только моего мира хочешь. Но что же ты делаешь? Такой твой бунт-напор только мучает меня, терзает, отпугивает от тебя. Я — *не* огненная в моей сути, я для тихой ласки, нежности. Сама себя не пойму, что было со мной. Милый, будь тих! Крещу и целую нежно. О.

Депешу с «Olga [Chmeleff]» я не нашла в конверте.

Мне думается, что я бы не смогла никакого творчества начать с тобой таким, какой ты в бунтах. Я буквально убита и нравственно и физически.

Я не сержусь, но мне очень больно. И зачем Ксения Львовна? Это очень нехорошо.

436

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.VI.46[i]

«Экспресс»[214] получен. Выводы: «Богомолье» бросьте, оно не имеет ничего общего ни с телячьей требушиной, — 16 часов!! ... — ни с беганьем по камертону. Русские «Пути Небесные» верните мне, у Вас останутся — и этого вполне довольно с Вас! — французские. Ясно, было недоразумение. Моя Даринька, по Вашему признанью... — для сего Вы и явились в Париж: узнать писателя любимого и выкинуть из его сердца все! — по Вашему признанью, — «Ваша Даринька, просто глупа, она д у - у - р а... пустышка, нежизненная, а выдуманная... как и все Ваше!.. и Ваше “Солнце”, Пушкин — идиот, бездарность»!.. Все отпечаталось в сердце, не стереть. Продолжайте «выпрямление и укрепление хребта». Желаю дальнейших успехов.

Ив. Ш.

Я изнемог, но надеюсь, все это скоро кончится.

---

[i] Фрагмент письма И. С. Шмелева, переписанный О. А. Бредиус-Субботиной.

437

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.VI.46

Дорогой Иван Сергеевич, не знаю, здоровы ли Вы, и м. б. кто-нибудь подаст все же Вам эту карту, как Ваш глаз? Пишу эту открытку только пока, до письма, чтобы сказать главное: я была для проверки сердца у специалиста, т. к. мне становилось все хуже и хуже. Просвечивание рентгеном дало пока только предварительные результаты — окончательно узнаю позже. Но и из этих данных он мне сказал, что состояние сердца по сравнению с последними исследованиями очень заметно ухудшилось. Врач не понимает причины такой резкой перемены и спросил меня даже, не занималась ли я каким-нибудь безумным спортом вроде гонок и т. п.? Он утешал меня, просил не волноваться, но по его тактике не скрывать чрезмерно от больного, дабы не повредить слишком большой беспечностью, — сказал, что он теперь требует абсолютного моего покоя как физического, так и душевного. У меня покоя душевного, конечно, нет. А о физическом позаботимся. Судите сами: была как-то у парикмахера, сидела только, и сделалось дурно, — пришлось прервать прическу, вся покрылась холодным потом, и сердце зашлось. О, если бы я могла о Вас не волноваться!

Господь с Вами!

Напишу скоро письмо. Мне нельзя никаких возбуждений, должна быть «пациентом».

Не волнуйтесь, я в хороших руках у этого доктора.

Крещу Вас. О.

438

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VI.46

Дорогой мой, любимый мой Ванечка,

Сегодня твоя французская книжка «Путей Небесных». Как больно мне, что не могу ее так прочесть, как бы хотела. Непременно буду брать уроки французского языка (уже поговорила с кем надо), только для того, чтобы суметь ее прочесть. О, как бы я хотела поговорить с Зеелером, который тоже горел узнать, как ее перевела Эмерик. Ни одна книга в мире не дает мне то, что твои «Пути». Поймут ли ее? Ах, и как же мне больно в душе... Сегодня же пришло от тебя письмо по воздушной

почте мне, которое мама вырвала у меня из рук[215]. Что это такое? Мне так обидно, больно стало, будто кусок меня самой от меня оторвали. Мама уверяет, что это — твое желание, умоляла отдать ей это письмо. У нее был такой вид, что я поверила, что этого хочешь ты. Но от этого не стало легче. Напротив: я, видимо, должна была получить что-то [1 сл. нрзб.] очень неприятное, чего ты сам испугался. Или напротив — слишком много хорошего, чего бы ты теперь не хотел? Во всяком случае — нечто неровное, м. б. больное... И я невыразимо страдаю. Я страдаю от того, что ясно вижу: ты не любишь меня и главное: ты не веришь в мою любовь к тебе. На этом все! Я боюсь перечитывать твои письма мне. Уверена, что ты бы сам разорвал их — такую боль несут они все... любимой.

О, нет, Ваня, любимой так не пишут. Я следую в памяти за всеми знакомыми героями в нашей литературе и... ни у кого не нахожу того, что сказал мне ты. И никогда не уйдет боль из сердца при мысли-воспоминании о том жесте поднятого кулака надо мной и сожаления, что нет револьвера. Любовь и Свет не уничтожают, не стремятся уничтожиться и сами. Твое возвращенное письмо заставляет думать меня всякое и уж, конечно, все в одном направлении. И я не скажу даже моего обычного в теперешних письмах: «зачем ты так? так нельзя». Я вижу — ты не можешь иначе. И ты даже не понимаешь, почему так нельзя. Ты не можешь, потому что не любишь и не веришь той, которую бьешь. Если бы ты любил и верил, ты бы учуял всю муку, терзавшую и терзающую меня, и точно также ты понял бы, какую бездну раскрывают твои бунты. Еще в Париже те 2 раза — я после них едва собрала силы. Я ведь 2 дня душой была больна, когда мы ходили по Булонскому лесу. Мне невыносимо было тогда, все у меня было тобой растоптано в душе... Вспомни только, что выплевывали из себя мои потемки. Такое не бывает у здоровой души. Я потом вечером, когда утихло все снова, и я смогла душой тебя снова принять — благодарила Господа за Милость Его, просветившего мою тьму. Знала, что без Его помощи не справилась бы. И вот ты вновь и вновь бросаешь отсветы того грозного, тусклого огня мне в душу. Я не спрошу: «Зачем». — Я знаю: ты не можешь иначе. Я взялась вчера за твои книги — но отвернулась в слезах... Мне стало невыразимо больно от встречи с тобой ласковым, милым... Мне показалось, что ты хороший, любящий — не мне. Мама писала, запершись у себя, тебе письмо[216], и я видела, как его взял Сережа с собой в город. Что за игра вокруг меня? Добивайте. Стоя у книжек вчера, я вытащила Чехова: «Трагедию на охоте»[217]. Перелистала... Там «Оленька»... и убийство. Вот

тут убивают. Мне стало еще тяжелее. Ты не веришь мне, хоть и говорил: «да знаю, что любишь». Если бы верил, то и без слов моих понял бы все, что в душе моей. Понял бы и не упрекнул, почему я именно так поступаю, а не иначе. Душой своей ты увидал бы в моей душе все и не стал бы корить и писать глупых (прости!) слов, что я «танцую перед хозяином». И не знаешь ты ничего, и не хочешь ничего видеть. А надумываешь так же, как и в свое время с твоей невестой. Вспомни! Не по скудости не взяли мясника (только к примеру), а потому, что никому же нельзя довериться (доносы) — прими в расчет время! Мясники и сделали свое, а я только кухонную часть вела. Да довольно! Мне *противно* оправдываться. Ведь если ты и в самом деле уверен в своих обвинениях мне, так что же ты во мне любишь-то? Да и не любишь. Но оставлю это. Мне нестерпимо больно за твои страдания... Я извелась за тебя, видя как недоступен ты ничему светлому от меня. Я не достаю до твоей души. Пойми и поверь хоть немного, что я глубоко страдаю. И пожалей меня! Для себя пожалей! Ты страдаешь тем, что не веришь в светлое. Моя любовь к тебе очень велика, и не смей ее умалять твоими домыслами! Это грех! *Не* смей! Ты ничего не знаешь из того, чем и как я перемучилась эти недели и как еще мучаюсь. Ты знай, что за каждую слезу чужую Богу дашь ответ. За мою тоже! А я уже не только слезами плачу. Я ведь совсем больна. К какой жизни я годна? Тепличной? В обузу всем? Снова я под футляром должна жить. По предписанию врача — никаких волнений, возбуждений. Понимаешь сам — чего толковать о какой-то «женской жизни». Надо сесть под футляр и тихонько дышать без волнений. М. б., не смогу и писать? Неужели? Я надорвалась в Париже. Безумная, вроде жены Рембрандта[218]. Этот специалист и по сосудам — все у меня в одном плане: и сердце, и сосуды (почки не при чем). Я почти не сплю. Вижу каждую ночь (уже с неделю) один и тот же сон о тебе (по смыслу). Ты — художник, рисуешь мне картину... Я смотрю ее... она выходит из рамки, и я стою перед полем с горой сгнивших человеческих черепов. Или ты заставляешь меня самою писать портрет, — я пишу и не могу получить желаемого до мучений... И вот вижу, что вместо того, чтобы накладывать краску, я, оказывается, сняла все кистью и вижу, что у головы, которую я рисую, оголился череп. Или: ты гладишь одними руками мне голову, а я чувствую, как под твоими руками мой голый череп. Я изнемогаю от этих снов. Но все это ни к чему... Ты не любишь меня! Господь с тобой. Оля

[На полях:] Как мне хочется молитвы тихой. Как бы хотела к тебе снова, тихо, ласково, совсем без взрывов, ни ярких,

ни тусклых. Но боюсь тебя, ты так делаешь больно. Не мне больно, а великое в душе ты ломаешь, и этого нельзя. Пусть я плохая, пусть А[нна] В[асильевна] права, но — в душе моей столько к тебе света было всегда. Теперь все болит там. А ты и не знаешь, и представить себе не можешь, как идет жизнь моя внутри. Ты же так мало знаешь. Будь я не я, и ты бы все понял и оценил бы верно всю тяжесть *моего* креста. А меня — казнишь.

Вот что: напиши мне содержание возвращенного воздушного письма, — иначе не успокоюсь и не буду писать. Не смогу, т. к. заноза.

439

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.VI.46

Мой родной, дорогой, необъятный Ваня!

Сегодня твое заказное письмо[219]. Спасибо тебе за ласку. Она меня подняла и воскресила душу. Как бы хотела, чтобы твоя воля работать осталась и укрепилась! Боже, Господи, устрой так, чтобы мир Твой сошел на нас и остался с нами! Ванечка, я мучаюсь невероятно, когда ты страдаешь и главное, все по-пустому. Какое ты написал мне письмо? Почему нельзя его мне читать было? Пойми, что в жизни есть положения, где «поспешишь — людей насмешишь». Так и у меня: я в данный момент просто физически не смогла бы перенести никакого пути. Мне недавно снился кошмар, что я должна была часами ехать в Pulman'е и прямо изнемогала даже во сне. Надо както прийти в норму. Я, очевидно, это инстинктом чувствовала, т. к. твои стремительные и почти всегда бунтующие письма меня буквально пришибали именно оттого, что я не имела сил. И я в ужасе все сжималась. Мне очень больно, что я такая калека в жизни, — все с собой должна возиться и следить за здоровьем. Но за эти сутки я так ясно почувствовала перемену. Вчера, после истории с авионом твоим и т. д. (вся канитель и беганье с телеграммами) — я была до того слаба, что у меня дрожали руки, а сегодня, после твоего другого письма — я вся успокоилась, ожила и, кажется, смогу заснуть.

Давай условимся: не будем донимать друг друга. Будем спокойны, тихи, уверенны. Ты знаешь, когда я твой бунт выдерживаю, меня что-то отталкивает от тебя, я ни за что не могу себе представить личных повторений таких сцен, личных свиданий и т. п. Не забудь: только благодаря таким же вот (только

более слабым) бунтам, я в 1927 году разорвала свою помолвку, т. к. не вынесла душой такого напряжения. Я вся теряюсь тогда, не найду себя. А душа моя, терпеливая на многое в жизни, никак не выносит нажима. Я в углу сидела как бы, боясь пошевелиться, и только боялась, что вот еще один удар и все порвется и тогда ничем, ничем нельзя поправить. И глупо как: любовь наша такая высокая, тихая... отчего же эти бури? Ты должен раз навсегда себе вообразить и держать крепко, что я люблю тебя и только тебя, и вдалеке от тебя такая же, что и вблизи тебя, что так же, как ты, стремлюсь к тебе, и если этого не выходит, то страдаю больше тебя. Неужели это неясно. Если бы не было бунтов у тебя, то я обязательно хотела приезжать к тебе. Но не так глупо, как это было. Мы должны развивать душу нашу, работать, творить, а не расточать. Я ничего не оплевываю, но все же многое было лишнее. И оно-то и мучает тьмой. При всей моей живости, молодости (сравнительной) и страстности, как находишь это ты — я нахожу и найду окончательно силы для аскетизма, для высшей только любви. И это вовсе не оттого, что я не хочу полноты или боюсь, как ты бранился, а потому, что иначе, думается, нельзя. И странно, теперь вот, как бы помимо меня решается само: доктор предписывает мне «монастырское» житие. Я вижу в этом (м. б. на время), но какое-то указание.

И еще прошу тебя: не усматривай у меня мягкотелости, сентиментов и т. п.: когда я пишу, что с А. нельзя, так, как ты пишешь, то знай, что это верно — нельзя. Все можно испортить и непоправимо. Не хочешь же ты моей гибели, — пусть не буквальной, но все же хотя бы кабалы.

Ты слишком в другой сфере и даже при твоем пылком воображении не можешь вообразить истинной картины. Можно испортить все так, что и на коротенький срок не выберешься при голландском домострое. Законы все здесь на стороне мужчины, во всех смыслах. Я не хочу останавливаться на всем этом, т. к. — коротко не объяснишь, а длинно — не хватит томов. Верю, что ты примешь от меня все и так, как факты. Не волнуйся о моем физическом покое — для него все сделано. Мясо я разделывала только по своей охоте, и ты очень бы неостроумно сделал, написав А. об этом. Этим ты бы окончательно все испортил. Мама меня ведь тоже бережет. Но не мясо было мне утомлением... Я душой извелась, Ваня. Пощади меня! Сереже тоже надо помочь. Ему 65000 надо вносить уже 30 июня и другие 65000 30 июля. Было очень спешно все надо устроить. А. много хлопотал, массу людей поставил на ноги, — ничего нельзя сказать иного. Я не хочу сказать, что

нормально было бы поступать иначе, но согласись, что одной рукой брать от него, а другой бить — очень трудно, вообрази, какая бы у него была охота всюду рыскать, после получения твоего письма? Нет, прошу тебя: никогда не играй мыслью писать ему — ты достигнешь обратных результатов. А я — я не терплю распоряжений над моей волей, от кого бы это ни исходило. Ну, довольно.

Мне всегда теперь страшно тебе писать о подобных вещах, — ты всегда что-нибудь выищешь, усмотришь чего нету, и выходит мука и страдание. Условимся же щадить святое в нас!

Я, когда окрепну, обязательно хочу поехать в Париж. Но ты обещай мне быть «пай». И я обещаю.

Хочу работать. Очень хочу уехать жить в имение в тишину и там писать. Моя любовь к тебе связана с творчеством твоим и совершенно неразделимо с твоей душой, независимо от того, писатель ты или нет. Поэтому — нельзя запускать это главное, нельзя им пренебрегать. Все остальное — дополнение лишь, — могущее быть, но могущее и не быть...

Как досадно, что ты втянул так много свидетелей... К чему говорил с Серовым? О. А. оказалась каким-то яблоком раздора, какой-то «сплетницей». Ведь и не показаться мне будет в Париже. Первушину не хочу видеть после твоих разговоров. И без радости и удовольствия ее ждать буду. Не надо так, Ваня.

Сегодня, наверно, уехала [Peltenburg]. Обещала доставить тебе лекарство.

Доктор в Velp'е, у которого я тебя записала пациентом постоянным по 1-му классу, очень интересуется результатом, ожидая скорую помощь.

И вот еще: мне необходимы 2—3—4 книги «Путей Небесных» на французском. Как купить? Я вышлю через [Shlusser] деньги для покупки, уплатив здесь Беатрис[220]. У меня есть основание думать, что «Пути» найдут здесь хороший прием. Есть кое-какие планы.

Обо мне не волнуйся. Сегодня мне уже лучше. Грудь болит куда меньше. Спать буду. О, если бы знать, что ты — умник! Я очень хорошо, светло держу тебя в сердце. Верь мне, Ванёчек!

Спасибо тебе за фотографию[221]. Ну,.. и за гимн-стих[222]. Я поражена!! Но все же... надо ли это? Ты удивителен, ярок, до того талантлив во всем! Будь осторожен с «Летом Господним», не искалечили бы! Для меня твои книги не только гениальная литература, но Священное Писание. Я так боюсь за их ломку.

Ох, как хочу переводить «Богомолье». Узнавала — здесь нет никаких пособий. Надо просить И. А.

Целую и крещу тебя, мой милый бунтарь и песнопевец! Оля

Но не пой меня — и впрямь не возгордиться бы. М. б. А[нн] В[асильевна] и права, хоть я не чувствую себя гордой, но в том-то и опасность. М. б.?

[На полях:] Не волнуйся обо мне. Мама заботится обо мне. Я ничем больше не нагружена. Меня Париж надорвал. Помню, как еле-еле я добралась из Булонского лесу, как сидела в балете.

Ну и бумага.

440

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VI.46

Ольга... клятву дал: не напишу тебе до 21 июля, — так ото всего (и обо все) ушибся... И вот, не могу. Болею тобой. Живу тобой. Страдаю тобой. Ликую тобой. Дышу тобой. Люблю тебя, знаю. Огромно. Нежно и — крэпко. Ах, Ольга... Чего нам чиниться друг с другом?! Ведь, любим... Ну, ты, может, как-то по-своему, вспыхами... (а то и плевать тебе на меня... ведь... было так!) а я, Оля, по-своему люблю, хватко, безоглядно, порой — безумно. Что поделать... да, и как женщину люблю, и как дружку, как девочку мою — больнушечку, нежно-нежно, и бережно. И как же кляну себя за невыдержку, за бунт. Да, — но... есть причины, есть правда моя. Эх, показать бы тебе мои лихорадочные записи...[223] как ты появлялась у меня и как — исчезала... Хватило у меня на сии записи воли... на 6—7 дней. Потом — оставил, занеся: «а дальше, что же записывать? Все то же...» Нет, дальше — пошло еще безнадежней... Оставим. Нет у меня никаких надежд. Никогда не будешь моей женой... да. Так. Но нет силы, которая могла бы оторвать меня от тебя, а, м. б. и обратно. О, какая это страшная сила, — любовь моя! Ольга, люблю.

Не цапай меня, все пустяки до... Ксении Львовны. Что я ей сказал? «Вы, вот “выпрямили О. А. хребет”, — она мне сказала... (да, ведь сказала?), а вот, доканывает себя, по 16 ч. в сутки... телячьей требушиной!»... Я мог же сделать вывод, что ты многим делилась с ней, если объявила мне: «К[сения] Л[ьвовна] мне укрепила и выпрямила хребет?» Не лгала же ты мне? Не в безумии же говорила — ? а?.. — как говорила-кри-

чала в безумии — «Пушкин твой — бЕздарь! Даринька твоя ду-у-ра... пустышка,.. выдуманная... как и все твое!» Ну, кричала... Сама не верила. Как и 5-го в «лесу». Я так все и принял. Да, я хотел все кончить... — и пришел в ужас. Отюда — депеша, и мои бессонные ночи...

Была M-lle R[oebroek-Peltenburg] — получил капли и коробочку. Написал К[сении] Л[ьвовне] [жду]. После R[oebroek-Peltenburg] донесет остальное. Спасибо. Вряд ли капли помогут. Глаз — терпим. Чище. Но — не свой. Ты не учла, что я о-чень болел за все твое пребывание. Я терпел. И — ка-ак! Я молчал. Я — покорялся, — да, потому что я верно люблю тебя, до пытки. Оля, ах, как я страдаю, не видя тебя!.. Это только я знаю. Не домогаюсь, чтобы слить жизни наши, — я отчаялся. Вряд ли были бы мы счастливы, судя по 7.V—7.VI.1946 (опыт!) Но... что же делать, если я всякую тебя — люблю!? Ах, как изнемогающе и сладко, и могуче!.. Оля, всю, всю целую... о, чудесная моя! Вот тебе, мое:

Безмерной силою полна,
Чиста, раздольна и — мятежна,
Ты, как девятая волна,
Исходишь пеной безнадежно...[224]

Ах, Оля, Оля... Как больно тебя люблю!.. Как безоглядно, безнадежно!..

О, ка-а-ак целую, всю, всю... Твой Ваня

Перевод «Voies Célestes»[i] — о-тличный! Признают все. А мне теперь — все равно.

Сегодня — мудрое письмо мамы. Она — дивная, умнейшая из русских женщин. Спасибо ей, она все поняла. Напишу ей.

441

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VI.46

Спешу вдогон письму, 1/4 ч. тому брошенному в ящик:
Изменяю 1-й стих «стишка тебе»

Раздольной волею *вольна*,
Чиста, могуча и мятежна.....

Ольга! О, как... ... ...
Ты все сама наполнишь.

---

[i] «Пути небесные» (*фр.*).

Олюночка, как жалею тебя, как тревожен твоей болезнью, твоим золотым сердечком, сердцем!.. Скажи мне о нем, ничего не тая, я буду молиться за него! Я не потревожу его, мое сердце. Я в нем, и оно — во мне. Вся ты во мне, мой свет, мое дыханье, жизнь... Оля, люблю... о, как люблю!.. Так никогда не постигал страшной силы любви к Тебе, только к Тебе!.. О, мое незаменимое счастье, моя сила, Оля моя. Петь тебя хочу — ты все заполнила, о, как неотрывно дышу Тобой, Тобой только!.. Ольга необъяснимая, — не могу без тебя... Эти часы, дни... я безумен, я без тебя все миги умираю... зову тебя, бессильно, безнадежно... Нет, не отвыкну... Лишь работа на срок закроет, и в ней чувствую тебя.

Знаешь, я с новой силой и радостью читал французские «Пути»... Меня... захватило! Эмерик (эта птичка, в которой я никак, ничем не почувствую женщины, — хоть оголись и надень ажурные черные чулки шелковые — до ляшек!) Эмерик удержала всю мою песню в «Путях», одев во французский облик!..

О, если бы успех! Объективно, верю: он должен быть. Но... кто что поймет! — да и запоздали с забастовкой брошюровщиков, и сезон на склоне... Ни-чего не знаю... Но... должен быть! «Пути» будут читать по монастырям... (!) да, чую. Дой-дет. Я в [раже] — от Тебя, и от этой французской книжки. Никогда такого не было во мне. Оля, я льну к твоему сердцу... Я чисто люблю тебя, до молитвы, до слез! Губ-ки-и!.. о, Оля.. Я все вижу... рыбку 9-го.

Чехов выходит в сентябре. Тебе — первой, как «Пути». Твой гениально-безумный Тоник — Ваня. Оля, я, да, я — Тоник — до сих пор — весь, живой Ва.

[На полях:] Не брани меня, я кроткий, нежный. Я весь Тоник, Оля... Я — чистый, Оля.

Не могу оторваться от твоего образа во мне. Я зачарован Тобой. Я... ... ... очень!.. ...

442

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.VI.46 1 ч дня. Тепло, душно, к дождю. Если бы душу оросило!.. Она горит.

Ольга, девчонка сладкая и горькая... у, какая!.. Утром твое большое письмо, — какой чудесный завтрак — Олька с мас-

лом!.. Ну да, ел тебя, т е б я... поймешь ли?.. Но сперва — маленькое исправление вчерашнего стишка: Так читай:

Оле или Е й..?

«Раздольной волею вольна, Светла, могуча и мятежна, Ужель, девятая волна, Прольешься пеной безнадежно?..»

Нет, не попустим сего. «Пену» оставим — для домашнего употребления, она необходима. А для в н е ш н е г о — пылкая красота души твоей, голубка, твоя п е с н я, которую ты споешь. Д о л ж н а.

Сначала маленькое очистим, тронутое в письме. Сегодня был Первушин. Отдал ему твой прекрасный парюрчик[i] в ларчике. М-ль Р[оброк-Пельтенбург] еще не донесла — ! — остального. Послал поздравительное письмо. Свадьба, полагаю, не из радостных. Этот «доктор»[225] — и Натке, и ее родителям жесткий хомут. (Это они, Первушины, поставлены перед фактом, стараются приукрасить.) И никакой он — между нами — не «доктор», по словам милой Клары: «м. б. б ы л студент-медик!..» Клара сказала: «он — без всякого определенного положения». и собирается — шарлатан! — лечить «своим горячим дыханием»!.. И фантазии-то нет... ды-ха-ни-ем! г о р я ч и м!.. Лекарство не из приятных, особенно если нажрется своей паприки, венгер!.. Просто — по-моему, он из «макро», по-нашему — к о т... не был ли на... подержании у «русской дамы»? Бывает... Вон, слыхал вчера, один советский замотавшийся, парень в соку, ухитрился познакомиться в метро с... с французской монашкой... — видала, чай, этих «голубых ангелов»?.. с корабликом на башке?.. — и теперь ночует в монастыре... ему спускают лестницу... и он козлом в огород... Воображаю..! Дойдет, что и сама матушка-сюперьерша[ii]... «молитвами св. отец...» — п р и г у б и т... русского «горячего дыхания...» — скажет: «соблюдая иерархический чин наш... а подать сюда и на мою сиротскую долю!..» Ах, какие же е м у пышки пекутся! какие сотэ!.. ка-кие денованы! как... А о н, умащенный дО-пьяна... будет себе котовать под ладанные куренья... И простится ему, ибо «возлюбил много»...[226] многое претерпев. А вот, как напитаются моими «Путями»... уж и разведут же «пути-распутья» по всему католическому бр-ку! И тут мы пролагаем пути. Они-то, может, во-имя католицизма стараются, «обращают язычника», на к о с т е р карабкаются, а наш Мишка сливочничает покуда... и кажную ночку «по парочке» обсевает, пока... не истощат его непосильною м о л и т в о ю. —

---

[i] Украшение из драгоценных камней (*от фр. parure*).

[ii] Начальница (*от фр. superieur*).

Девочка сладкая, не выдумывай... — никаких я тебе «связей с Парижем» не отрезаю, с «чудачком» объяснился мирно, он утерся и продолжает учащенно навещать. Ксении Львовне ничего не открывал, понятно, а лишь сказал — «выпрямили», а вот О. А. по-своему ломит, не может без хозяйства. Ну, понимаю, все. Бог с тобой. И никак бунтовать не буду. Не даешь любиться — приходится... молиться!.. — Эмерик говорила, что издательство имеет «складчика» — посредника и для Голландии, так что издания «Дю Павуа» в Голландии имеются. Разузнай. Что же мне книжки гонять! Могу, конечно, но это не для ч[итателей]. Для тебя — могу послать 2—3 шт. Для Тебя! Чего я не сделаю для тебя?! Сама знаешь, по опыту. По мне — как по ковру ходила!.. (зажимаю поцелуями (по-мнишь — как?) твой рот, готовый возражать).

Олька моя, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, всякую, даже и осу-кусачку. Дай мне твое сердце... я его оживлю любовью, я его уцелую нежно... — о! Ты одного не понимаешь, какую пытку я вынес с тобой, веретенницей! Ты не учитываешь, что я был больно-болен... все время!.. (и сейчас еще, хоть и чуть полегче) и не владел собой. И — видела ты! — я не изнемог, ради тебя. И сам не понимаю, как я мог так, ночи без сна... и не утратить ни воображения, ни, просто, сил... конечно, они были в убыли великой... а не будь этой убыли, — были бы с тобой с... прибылью! И успокоились бы, нашли бы верную колею. Но ты не захотела. Если бы не недуг, я не выпустил бы тебя так из рук: мы все бы обсудили и все дни-часы расписали бы разумно и богато. А ты выскользнула... Ты, как собачка, которую долго держали в конурке, вырвалась на волю и пошла кругами по лужайке, высуня язык, и ничего не видя... избочась, кругами, задыхаясь... И ни-чего не получила, лишь измотала сердечко... мое же оно — твое сердечко!.. И я плачу. Я, Оля, истинно и огромно тебя люблю... как никого никогда. Не читала о такой любви и таких бунтах..? Да, ибо ни у кого такого и не было. Или не чувствуешь ты, что мы и наше — особливость, и только наша. И потому надо быть очень чутким. А страстность — наша же!, ибо и ты мне не удаешь! — мешает. Надо обращаться с таким сложным все-чувством очень бережно, как с... ядом, как с атомической бомбой, да. Поднял руку?! (Жест!) на тебя?! Оля... Не на тебя, а на искажение тебя... которое мог бы разбить, — и сам разбил бы себя, знаю. Эти дни я был близок... †. Когда, потемненный и потерявший волю, начеркал слов безумных и пустил... — писал тебе. О, мама твоя! Как ее благодарить мне?! Тебя убило бы... — и меня, да. Что писал? Я сжег письмо, воз-

вращенное, точных слов не помню. Помню: я послал тебе полный разрыв. Не Я, — дьявол во мне, готовый погубить нас и все чистое наше! Оля моя, ведь главное-то в нас, в нашем срощеньи, — чистое, о, какое же чистое, Олюночка, светик ты мой, меня спасавший все эти годы, так ярко ныне во мне блистающий!.. Ах, Оля... люблю, люблю, люблю... всю тебя! Так любУ!.. о, так несу тебя в душе моей, ставшей такой огромной! Тобой жив, дышу тобой... на всем, во всем ты, Ты, моя люба чистая... о, чистая..! Ольга, мысля о тебе — женщине — все почитаю чистейшим, освященным великим во мне чувством не любви только, — для него это означение так слабо! — а береженья, как мать хранит дитя; святой ласки, как мать ласкает дитя... — и при всем этом — самое страстное, самое пылкое к тебе во мне, до боли, до страстной боли отдания всего себя — Тебе!.. до крика муки сладкой, до истомного крика, каким не выразить всего во мне, но каким можно передать, как огромно это все во мне, высокое духовно, душевно, и высокое-земное, — само тело взывает-изнемогает любовью, исходит ею... Это, последнее, так и не нашло исхода... и потому-то я так был неистово-смутен, темен, бессилен от отчаяния... И потому мы оба были так несливаемы... очень часто. И находили вины один в другом. Это же от неполноты достижения... — это — самое разъедающее зло, рождающее самое гадкое в человеке. Оля, ты должна приехать, не бойся меня... я унял себя... я найду себя. Подумай, сколько у нас дорогого, святого, в нас обоих, — наши думы, упованья, ожиданья, наши дела, наше творческое в нас, ищущее исхода и леленья... — взаимного. Мы же поем!.. И потому все наше так непохоже на сказанное во всех романах. Такое сочетание... — редчайшее... это, как бы, встреча, двух светил небесных, комет... — знают это астрономы! — которые встречаются, скрещивают пути свои, м. б., единожды в миллионы лет... сталкиваются, дают огромный космический пожар, свет... и гибнут, гаснут... чтобы родить новое тело, неведомую никому комету, звезду... что еще?.. Не было еще такой любви на земле — и не будет. 7 лет испытаний... — и каких же лет, и каких же испытаний! И обережено, пламя живо, пылает, светит... и — требует своего горенья, общего, единого. Оля... как я мечтаю... что ты приедешь! Уехали бы в Альпы, в Савойю... Ах, какие утра, какое шампанское в воздухе, сколько красок, сколько — для тебя, — всего! Там я написал м. б. одну из сильнейших глав «Путей» — три главы «Бегов»... — искушения. Я был пьян этим воздухом, и этими снегами на вершинах! Хотя бы один месяц, этого меду с тобой,

этого сердца, этого его биенья — в одном! двух сердец, их биенья слитного в едином сердце, н а ш е м!.. Ты бы окрепла, но, конечно, на средней высоте... 600—1000 м. Ах, Ольга, чудесна любовь в горах. Сколько там русской природы, какие уголки! Осиновые лесочки с подосиновиками, черничник, белые грибы!

Сейчас была Эмерик. Читала письмо одного нантского издательства: — «оглушило» романом. В разных местах Парижа — она устроила в книжных магазинах «витрины Шмелева» с его портретом и его французскими книгами. Портрет — профиль, достала где-то в Лиге Обера![227] Я не видал, да и не хочу видеть. Она очень деловая, кипит, снует, напориста. И чертовски талантливо перевела! В Голландии есть агент «Дю Павуа» — не то в Гааге, не то в Амстердаме. Она скажет, напишу. Теперь она ведет ходы в католическом мире, в монастырях, аббатствах до... архиепископа. Ряд влиятельных персон католического духовенства получили книги... — на соблазн?.. О книге, кажется, уже г о в о р я т, — «совершенно исключительная», «небывалая»... М. б. и врет?.. Ничего точно не знаю и не уповаю*. Да я сам, читая, по-французски, почувствовал — что-то... — т а к о г о еще не было... Говорят: «небывалый вопрос в литературе поставлен... “искупление”... через грех?! ...» — Думаю, что многих смутит, многие, из элиты даже и не поймут «анархизма в православии». Пусть, это горячит книгу... и — «книжников». А мне... — кипите, и покупайте. Шумите. А там посмотрим. Мне надо тебя радовать... баловать... пеленать, детку мою, ты мне всего дороже, всех книг и всех удач. О д н у тебя, моя павочка, моя лодочка бурная, моя вся в трепетаньи... Оля, не надо так метаться... надо умело брать в с е, а любовь брать — труднейшее искусство. Надо учить (телесно) смаковать любовь, — это чудесное искусство! а не как мухи. Ее надо пи-и-ить... не проливая, не глотая сразу, а — ох, как нежно-тонко, как томно-сладко, как изящно! — и как н е з а м е т н о для любящих! Чтобы сама любовь л ю б и л а с ь... в нас, ж и л а -светилась, млела, трепетала... у н о с и л а!.. — Прильнуть... близко-близко и замереть, с л у ш а я ее шепот... это вливанье одного в другого, это срастание... Ольга, в с ю вижу тебя, всю чувствую... до изнеможенья!.. — Нет, я тихий, я только лелею тебя в думах... но я и слышу тебя, ход

---

* Для иностранных читателей мне — все равно. Желаю одного — прошло бы тыс. 50, заработал бы миллион... ну, побаловал бы тебя... ах, в цирк хочу! Люблю гимнасток, сильные ноги их!..

твоей крови слышу, — и в ней — л ю б о в ь. О, этот рот твой, губы твои... их влажность, их охват, их влив... их всего меня вбиранье... — я переливаюсь весь, весь в тебя, Олюна, Ольгуночка... цветок-Ольга, нигде еще не расцветавший... — впервые я его увидел, п о н я л... Оль, приедь!.. зову тебя... В августе можно еще в горы, к сентябрю — на Юг. Южные ночи... ах, как хорошо в Монте-Карло! какие светляки в полете... какие глаза ночные у тебя, при звездах!..

Целую дорогие ручки твоей мамы, которая вырвала у тебя «яд дьявола»! Мудрая, чудесная!.. боготворю ее. Ты видишь, Ольга... какой я еще — неслежавшийся, неукатанный, неуемный... — весь — ты? Да как же тут не быть пожару? оба — порох, оба — жгучи, оба... метельные! Это надо перебороть. Права ты: мы должны хранить святое миро любви... бережно обонять его. Н е с т и свято. Если я выздоровлю совсем — ты не узнаешь меня, какой я буду с тобой. Да, к разуму! к лучшему в нас!.. Нам дано великое счастье, чую. Сохраним же его. Ни капли не пролить! Особоруем им друг друга, светлые дети Любви! Оля... как я тобою светел, как тобой кротко счастлив, тихий — тихой. Оля, будь светла, будь нежна со мной... утратим друг друга — не заменить. Не найти. Это не повторяется, это — однажды в миллионы лет. Вспомни: к а к ты меня н а ш л а... я — з в а л тебя, искал в пустоте... — нашли друг друга. Проще, проще друг к другу, нежней, тише... чутче... влейся в мои глаза, в мое сердце, в душу мою — навеки!.. Оль, Ольга, Олюша, Олька моя — дивулинька... о, как же сладка ты сердцу! по нем, вся по нем... как радостно-сладостна, как емлешься душой, как льешься в меня... неизъяснимая, чуемая... — Ольга!.. я хочу кричать, я зову тебя... жду тебя... мне нет дыханья без тебя... нет жизни... — ты моя сила, моя жизнь... мысль, все чувства — Ты! Олюлечка, люлечка моя... покачай меня, твоего Ваню, я так одинок, покинут... не хочу жить без тебя, вдали... изнемогаю... Оль, гуль, золоточка яркая, пылинка в солнце... о, как я тебя... ... ... л ю б л ю!.. Да где же слова — выразить тебя, мою безмерность в любви к тебе-единой!.. Оля, я сижу, в мыслях, на твоей постельке, я глажу твои ножки... твою грудку, твое сердечко слушает кровь моя... — о, как прекрасна ты... обжигающая и греющая меня, льнущая... как ты полна чувством, как богата в молчаньи его, в немом прильнутии!.. «Поласкай, как ты умеешь...» Оля, не грех это! это песнь наша, это земное выражение чудного в нас!.. Я так нежен к тебе, так тих, так близок... так опустошен без тебя. Оль, я разбил твою маленькую, голубую, тарелочку, а вчера разбил крышечку от милой масленки!.. мне больно... я так ее

любил, полюбил... — звал «Олечка моя». Каждое утро я брал ее... ласкал... — вечером вчера понес, как-то скользнула крышечка, упала... я так и обмер. Где я найду такую?! ... Мне же все твое незаменимо. Но чашечки..! — одна, золотенькая, у святых, другая — на столе, неприкосновенна. Принимаю в ней твои капли. Клара говорит — должно быть это — от печени капли... — от этой лишней «уре»[1] — и длится. Анализ показал: против нормы — 0,40, 0,45 г на литр — у меня — 0,56 мочевины в крови. Десять дней ни яиц, ни мяса. А когда дойдет до нормы — впрыскивания мышьяка. Я его хорошо принимаю. Ты не представляешь, как я сдерживался все пять недель с тобой, при моих тягучих болях... когда стягивало и жгло лоб, и глаз кровавил и тяжелел в боли! А раздраженье все это усиливало, как и без сна ночи мои... особенно — одинокие ночи!.. И я все вынес; правда, с изъянами... Но ты учти все. И как же я мог держаться! быть веселым, при других, мысли мои могли играть... — и каждую секунду я был взят болями, как если бы во лбу и глазу жгло занозой!.. Подумай, и многое ты простишь мне. Я, ведь, едва не убежал от тебя тогда, в «лесу»! Но мысль, что с тобой станется — сдержала. Я внутри плакал, кричал, и — держался. Я слышал не твои хуленья... — и держался. Я чувствовал себя загнанным, оскорбленным в лучшем, что есть во мне — и держался. Но я не смею тебя винить. Это не ты, а зло, проникшее как-то, чем-то в тебя. Оно кричало и кляло. Оля, никогда да не повторится то! Виноват я. Я должен был строго велеть тебе — умолкнуть. Должен был бросить тебя в стыд, — м. б. должен был уйти. Тут необходимы сильные средства, в этой раздавленности твоей, в этом «припадке». И, думаю, ты все же следила за собой, и тебе доставляло болезненную приятность — так выходить из себя, и так за собой следить. Мне иногда казалось, что я тебе невыносим, противен. Я должен был уйти тогда, идя на все. Сердце мое было все исполосовано. Я не стану приводить выпись из набросков полудневника, где занесено, как ты проводила время с 12 по 18: тебе стало бы ясно, как ты моталась, и как я был оставлен. 18 мая я занес: «зачем продолжать записи? все то же». И бросил. Нет, дальше было не то же: дальше было еще хуже. И хорошо, что я не имел сил вписывать. Но, поверь, я все забыл... не укорю... я неизменно сильно люблю тебя. Я знаю свои вины. Знаю и твои: и я простил все. Нашел всему оправданье. Теперь я получил

[1] Мочевина (*от фр. urée*).

опыт. И теперь ничего не должно повториться. Иначе — наша гибель. Для меня — да, гибель. Гибель любви. Мама твоя спасла ее, для нас. Могло быть иначе... Ее чуткость вела ее. Я спохватился, обезумел. Не было другого средства пытаться исправить все, как телеграмма. Я не спал ночь. 22 июня, тяжкий день. Я не получил от тебя словечка укрепления — давили воспоминания... и сознание своих грехов... против нее, дорогой усопшей. Да. Я изменил ей. За полчаса до того, как идти на панихиду, когда пришли Юля и Ив, — телеграмма. Она меня придавила еще больней. Так я ее принял... — неверно принял. Конечно, иначе, «для людей» и нельзя было составить. И вот, эта панихида... и вся моя боль, сомкнувшаяся... ах, не передам. И ты ни словечка... — все думал — «Оля всегда мне писала, а тут...» И еще, злая мысль: «А[лександру] Н[иколаевичу] послала поздравление, а я забыт...» И тот «чудачок», кто 1-го июня, на встрече «друзей» будто бы был оскорблен моим — хульным?! — словом памяти покойной... — «для знавших покойную было оскорбительно (!) слушать слово И. С!» — этот «обиженный» и на панихиде-то не был! — «забы-ыл»!» А при нем накануне говорилось с Юлей о часе панихиды. Был Зеелер, прямо с поездки в провинцию, за продуктами, весь изнемогший, — даже не имел сил зайти ко мне напиться чаю! — был А[лександр] Н[иколаевич]. А бесстыдник забыл. Поймешь ли всю горечь, испитую мною в день тот?! Я пережил то 22 июня... И томился, не зная, что у тебя... — и мне хотелось все «кончить разом», для меня, т. е. все счеты с жизнью. Думал с томящим наслаждением... так же легко... только захлопнуть кухню, закрыть вытяжку и открыть... — через четверть часа — забвенье. Никакого страха. И мысль — «а она?! ... а — все?! зачем же было все?!»... Моя работа... — я о ней не думал, клянусь! О тебе — думал, только о тебе. У меня это очень бы просто: окна плотные, дверь тоже. Кухня — маленькая. Была мысль: надо все, касающееся нас, убрать... сжечь. — Твои письма с июня 45. Остальное... ничто. И... — как знаменательно — 22 июня! Юля долго сидела, чувствовала что-то? стерегла? Уходя, перекрестила. Заставила поесть чего-то, — я уже дня два не ел. Сказала: «Дядя-Ваничка, помни, для чего ты живешь!..» Я не мог скрыть телеграмму, она приняла ее, а я побелел. — «Что это?..» — Я не сказал ей. — «Так, деловое, издательское...» Нет, она чувствовала что-то. Но не томила допросом. Эта панихида... повторила те дни июня... Я так ощутил свою одинокость в мире!.. Юля ушла. Я, гоня мысли, ткнулся в твою кушетку. Лежал, как каменный. Когда очнулся, было три часа

ночи. О, о, как было тяжко!.. Только я знаю... Дьявол ждал гибели моей, нашей... Знаю. Я подошел к святой полке и склонил голову... не думал... Поднял глаза, и мысль — «писать больше не буду... ни так... ни... е й». Когда лег, как — не помню... Потом — легче. И — п о н я л: без тебя — жить не буду, не могу. Легче, легче... Дни шли... — и такая нежность, такая жалость к тебе, Оля, такая светлая кротость к тебе, Оля... — о, ты, мое спасение, моя жизнь вся — в тебе, тобою. Это я понял крепко. И вот, Оля, смотри: я не переступлю предела... (самовольно не умру) — только с тобой мню жизнь, себя, работу... я жду тебя, я верю в тебя, тебе... я Л Ю Б Л Ю тебя и не могу не любить. И чувствуя тебя, зовя тебя, вызывая тебя в себе, я чувствовал, как ж и в у, мыслю, хочу работать, во имя твое, нашей любви... — я — если это только возможно! — еще крепче связал себя с тобой. Ты знаешь... мои последние письма к тебе... — как все они полны тобой! нежностью до слез, сладкой болью о тебе, тихостью к тебе, родная... Оля, как ты мне бесценно дорога, нужна!.. необходима. Мы — кровные, самые кровные... больше, чем брат и любимая сестра, больше, чем любящие муж и жена, больше, чем мать и дитя... не знаю — тогда к т о же? и как э т о назвать? любовью? Нет, больше... но — к а к?!!! Раздельной жизнью единого, разделенного на-двое?.. — без воссоединения долго прожить нельзя. И как-то надо, что-то... — не знаю. И я рвусь к тебе, и жду, жду. Как это все глубоко, как н у ж н о... и как же надо п о н я т ь и — что? Что угодно, только н е л ь з я без тебя мне... нельзя, быть может, и без меня — тебе. Не знаю.

[На полях:] Не могу без тебя! Оля, приди!.. Мои боли — не меньше, вчера глаз весь в крови. 3-й месяц! И — никого нет, все сам. Эта дура — старуха только пыль перегоняет, ничего путем не изготовит, а я забываю приказывать, хвать — уходит. Плачу — и за что?! ... за... время.

Эмерик — востра, она и до самого Папы достучится. А Папа... пожалуй, что и прочтет! И вдруг... Да-риньки з а х о ч е т!? а?! ... Представь: на соблазн всяким доминиканцам... Даринька, голенькая, проникнет в... кельи! Тут-то уж дьявол постарается... еще получше чем «наш» с монашками.

Досада: забастовка брошюровщиков задержала выход книги почти на месяц! Но издательство «принимает меры», а с 15 июля Париж — двинется, сезон кончится.

Но я верю: если н а д о, пойдет книга, до-йдет! Раньше 1 — 1 1/2 мес. сказать ничего нельзя. Поживем — увидим. Мне не книга — мне — Ты — все. Была бы здоровка, любила В.

Ластынька, я книжками своими н е т о р г у ю. Твое дело, конечно, — и я целую твои губки! — п о м о г а т ь оглашению французской книги, тут я тебе запретов не могу класть, — дело представителя издательства следить, чтобы была прочтена [моллюсками] в магазине книга, — где этот агент — узнаю.

Да в Голландии мало, чай, читателей по-французски: больше немецкое знали.

Опять старуха размазню учинила из твоей крупки! Говорил дуре меньше воды! Сам буду варить, умею. Вот и завтрак — в 6 часов вечера! — ложку каши да чашку молока.

Оля, скажи, как перед Господом: любишь меня? да? Так, порой, это мучает меня...

Оль, под ручку твою хочу, обнять за спинку! Ах, Оль...

Оля, почему ты так дорожишь знакомством с Серовым? Это же — б у д н и, пыльный чердак! Там — ни искры живой! Надо уметь разбираться в людях.

Оля, изволь всю правду мне писать о здоровье. Что сердце? Что сказал доктор после более тщательного анализа снимка? как аорта? как коронарная артерия. Покой, покой, — никакой работы! Боже, ужас — стирать! Не смей!.. Меня дрожь... бьет. Проклятая телячья требушина!.. Эти 16 ч. — безустанной работы — довершили в с е. Н е шути. При-ка-зываю тебе, я, старый, именем твоего папы! Слушай, ради Бога. Дай же мне кончить работу, — тогда — вместе уйдем, по Воле Господа. О, как же весь твой Ваня, Олюна моя!

443

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.VII.46

Дорогой мой, пылкий, неуемный Тоник! пишу из Утрехта, где растопилась от жары. Жду своего автобуса и сижу к кафе. Пью... пиво. Не люблю его, но лимонад на сахарине не выношу окончательно. И вот... пиво. И курю, т. к. не умею сидеть одна, а за куреньем будто идет время. Рыскала всюду по городу, ища [фирниса] для акварели. Его у меня нет. Фабрика «[фирниса]» в Голландии его вырабатывает, но мы ничего не имеем, т. к. все идет за границу. От тебя нет писем несколько дней. М. б. работаешь? Я с грехом пополам и со словарем пытаюсь читать оболочку французскую моего кумира. Честь и слава Эмерик, коли хорошо перевела. Читал ли ты сам и как находишь? Жду, жду от тебя услышать!!! Посылаю тебе 2 наброска-хватка ягод. Смородина. Для чего тебе они? Мне это

любопытно. И почему секрет? Хотела бы, однако, послать не только их. У меня готово другое. Я в середине июня «увидала» нашу с тобой поездку и О. А. — она была светлая, несмотря на ливень и у меня в памяти много осталось света. И вот как увидала, так и написалось. Хотела тебе послать тотчас же, чтобы получил м. б. к сроку (године), но не хотела портить без лакировки-фиксировки. Лаку-фирнису нигде нет. Не знаю, что и делать. Чуточку вымазала на смородинки, а для могилки попрошу хоть кого-нибудь. М. б. есть у золовки. Мне самой нравится только береза, но и то не совсем, розы «умучены». Надо бы мелом. Сегодня чуть-чуть не купила картину (на окне) одного магазина искусства, ди-в-н-а-я !! Море в мареве дымки и в небе сквозь туман пронзенные солнцем облака-барашки (группа), а на воде как во сне корабли... Это божественно. И такое какое-то м о е! Ах, если бы все мочь и сметь!

[На полях:] Достала только этот клок воздушной бумаги. Потому писать могу так мало.

Решила отправить заказным из Schalkwijk'a.

Кончаю, ибо не могу на этой тонкой бумажке, на обороте.

Я не развила мысли подробно о твоих гениальных любовных гимнах[228] («лодочка»). Они именно гениальные... Но я стыдливо закрываю лицо локтями, когда это обо мне. И — не говорю.

Целую. Обнимаю. Крещу. Оля

P. S. — Был ли ты в St-Geneviève. 22-го июня?

Привет и поцелуй Юле! Была ли Пельтенбург? Принесла ли капли? И как?

444

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.VII.46

Мой родной Ванюша, какая тоска все эти дни у меня! Сердце болит и ноет, все время хочется вздохнуть, и нет облегчения.

10.VII.46 Продолжаю.

От тебя нет уже несколько дней писем. Ты «выдерживаешь характер» как хотел, не писать до именин. Мне все это очень больно. Я не могу начать никакую работу, т. к. в постоянной тревоге. Ты не можешь и не хочешь понять, насколько у меня нет никакой личной жизни. Все мои радости — это радости

будущей работы (для тебя) и еще неизвестно, как пойдет эта работа. У тебя много было света и счастья в жизни и редкое сознание выполненной задачи и *как*(!) выполненной. У меня — ничего, а в работе — вилами по воде писано. И вот, собрала силы, «забыла» о своей горемычной судьбе для работы и хотела, наконец(!!)-то попробовать силы. Я и не могу больше иначе, слишком мучительно это долгое вынашивание в себе. И вот не могу начать, т. к. вся я разбита твоей казнью мне. Как было чудесно то время, когда ты был мне именно другом. Я обо всем могла и смела тебе писать. Теперь я боюсь тебя. Это верно, Ваня! Ты ведь на все решительно откликаешься упреками. У меня нет никого, с кем бы я могла облегчить душу. Ты загнал меня. Я страшусь не брани себя, но в ужас прихожу от твоих состояний. У тебя какой-то (прости!) садизм будто. Иначе не пойму, отчего ты, сознательно ли или бессознательно, мучая и себя и меня, укорачиваешь жизнь нас обоих. Я мечтала начать хорошо, крепко засесть за работу и, сделав кое-что, дать тебе на суд. У меня не хватит жизни на все то, что просится жить, а я теряю драгоценное время на тоску и боль. И не могу иначе, зная тебя в тоске. Нельзя так. Если бы ты был «пай», то я бы обязательно приехала для работы же, к тебе. Надо действительно быть разумной и не мотать своих сил на ветер. Ты все же меня не знаешь. Никакой Париж мне не нужен, и я могу жить, совершенно не замечая этого, абсолютно не имея никаких выходов. И вся эта чепуха вроде туалетов, и выходов, и бряцанья курортного для меня пустое. Я все это могу взять и даже насладиться (ибо иной раз даже и у Вертинского кое-что нравилось) всем этим жизненным придатком, но смотрю именно как на придаток. Если бы поехала, то никогда не для Ривьеры*. Это значило бы повторить ту же ошибку, за которую я себя не могу простить: т. е. бесшабашное отношение к редкому дару — пребыванию в твоей близости. Сам ты недоволен остался. Винишь меня, а ведь разве в том я виной, что не было секунды для серьезного, для главного, для того, чем каждый из нас живет? И часы уходили на... все-таки «придаток». Ибо главное в моем чувстве к тебе и вообще к любви, моя главная сущность в любви — *не* то и *не* «придаток». И оттого, что главное осталось в тени (т. к. «придаток» всегда «шумливый» и всегда «перекукует» *на первый* момент) — мне больно.

Ты меня в основе не узнал, а наоборот — получил искаженное представление. Оттого так все и больно и тяжко.

---

* удивляюсь, как тебя-то туда тянет.

И я очень страдала. И не смела тебе сказать. Ведь я-то тоже *сама* тебе навязывала рассказать о своих планах и, вспомни, всегда спрашивала: «тебе интересно, хочешь?» Вспомни, вспомни. А мне-то важнее все это, т. к. я ведь с трепетом ждала этих рассказов и твоего суда. А ты мне ровно *ничего* не сказал. Вспомни. И не брани только меня. Помимо нас так шло. Вон даже А[нна] В[асильевна] меня перед тобой рискнула опорочить, та самая А[нна] В[асильевна], которая в глаза мне рассыпалась в обратном. Ну, Бог с ней. Не люблю, когда прислуга судачит с господами.

А ты всем доступен. И очень это напрасно. Теперь о деле: я написала Первушиной, не могла ли бы она взять с собой детей Ивонина к нам. Но хочу их иметь только в том случае, если у них еще нет Твс[i]. Узнай это, не говоря Ивонину, почему спрашиваешь. Буду хлопотать о покупке им билета — Retour[ii], хотя это, наверное, отсюда невозможно, будут смотреть, как на вывоз девиз. Надо придумать тогда что-нибудь. Здесь они отопьются сливками, отъедятся яйцами и сыром, творогом. Будут фрукты. Много. Я их отправлю в Вурден, где буду и сама и туда же хочу Ксению Львовну. Там очень хорошо. Кстати, Ксения Львовна говорит по-французски. Мне необходимо тотчас узнать о детях, я должна начать немедленно хлопотать. Получили вчера сведения о тетке из Берлина — она в ужасном положении. Ломаю голову, как помочь и не вижу путей. Ее племянник[229] сидит пленным во Франции и тоже в отчаянном состоянии. Молит меня помочь. А как?

[На полях:] Получил ли ты мои наброски? Ягоды и могилку О. А.? Как находишь?

Ну, Ванюша, целую и крещу. Будь милый, ласковый, чуткий, какой ты в своей сути и есть. Твоя Оля

Для труда моего мне не состояние вроде «Бредиусов» нужно, но покой и своего рода отшельничество, а это состояние именно я и буду целиком иметь в Вурдене. А в Париже бы ничего не вышло. Знаю. На свою личную жизнь я и смотрю как на жертву моему будущему творчеству. Прими и ты так. С тобой — я едино. И ты знаешь, как тебя люблю. И — могли бы очень много быть вместе, но я боюсь тебя — твоих срывов.

---

[i] Туберкулез (*нем.*).

[ii] Обратного (*фр.*).

445
И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VII.46

Голубка моя, моя незаменимая, несравненная, — моя Жизнь и вдохновенье! Л ю б л ю тебя — ох, как люблю Тебя, лодочку. Ты правильно решала: «прощальный» — это вдогон тебе, мой Завет, на отъезд! С тобой, мне (!) п р о с т и т ь с я! Ни-когда! Ты так срощена со в с е м во мне, что оторвать себя от тебя... равносильно гибели моей! Ольга... в эти 7 дней (5 дней не ел и не спал) написал тебе до 6 писем, [и] бесновался, слыша столько горечи и боли в себе, ты меня т а к обижала! — я вел борьбу с дьяволом... з а Тебя, за мой свет! — ты была ставкой в этой борьбе... и, с Божией помощью, я победил дьявола! Я просветлел. Я в ы з в а л твой образ, пал на колени, прижался к твоим дивным ножкам, лицом к этому «угольничку»... к л о д о ч к е... Я дышал всею Тобою, и искал твоего с е р д ц а... твоего с в я т о г о... — и я нашел его! Ольга... ты мне д а н а ... и О н а, отшедшая вручила мне Тебя, благословила... — и н а з е м н о е, — з н а ю!.. Она знает — д л я ч е г о ты мне. Оля, да, моя страстная песнь тебе — н е п о в т о р и м а. Н и - к е м, такой никогда не было пропето, н и - к е м! Здесь предел нежности и с т р а с т и! И, чуя это, я списал из письма к Тебе... Храню. Это — u n i c u m[i]. Ты высекла искру из меня! — но сколько еще огня во мне, для Тебя, — о, как бы пропел, н а ш е п т а л!..

Спешу: напишу большое письмо, о многом, и отвечу на твои ??? Случилась со мной и с т о р и я ... странная и удивительная — вот уж где дьявол я в н о показался!.. И я его разгадал — и в прекрасной женщине (!)[230], и в советском посреднике (инженере)[231]. Своего рода — «искушение в пустыне»[232]. О «прелестной» можно было бы написать острый рассказ!.. И какое имя — С л а в и ц а З л а т к а (получешка-полуполька)... Ты бы в нее влюбилась. Я... р а н ь ш е — м. б. Но теперь... — никакие «златки» мне не сладки! Ты — для меня — превыше всего. Целую в «лодочку»... и в губки, твой жадный рот. Твой, вечный, Ванёк. Буду писать тебе сегодня, а пока... о, как сильно сжимаю тебя! до... с о - к а!.. Пью тебя, в и ш н я моя, о... сочная моя!..

[На полях:] Ольга, п р и л а с к а й! Твои письма сухи, как... и все одно — [3 сл. нрзб.]!

---

[i] Необыкновенное (*лат.*).

Ольга, просят французы рассказ, для Revue и, кажется,.. но это потом скажу!..

Перевод Эмерик — сверхвеликолепен, все, самые строгие, признают, а посему издательство хочет... но об этом — в следующем письме.

Оля, целую твою «пуговку» — пью ее.

Оль, я зову тебя. Я, как безумный бросаюсь на кушетку и сжимаю... пустоту!

Оль, я... х . . ч у тебя!..

Дай же мне ласки, от которой голова сладко кружится.

Капли бросил дней 5 — и теперь — лучше!

446

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VII.46

Последнее письмо было, утром сегодня, опущено в 12 ч. дня. Впредь буду упоминать о предыдущем последнем письме, для учета, тобой.

Какой беспредельной нежностью к тебе истекает сердце, вспархивает во мне и сладко замирает, моя бесценная, моя неизбежная... неизреченная девочка, Ольгунка, Оль, Олюна, Ольга, О-льга!.. Свет засиял во мне, какой свет — сияние от тебя во мне, голубка лучезарная... больно даже сердцу, от тебя сладостно и больно... — это когда уж не выдерживает чувства сердце, ему невмочь. Какая сила-страстность!.. но какие же чистые и светлые эти сила-страстность. Это уже — блаженное состояние любящей души. Такое, м. б. только там..? Слов нет говорить тебе, — только нести можно, таить, и от этого сердце вспархивает и бьется «подстреленной птицей»[233] — Тютчев.

Оля... это — после ужасающих 4 дней адских мук, когда я раскалял себя обидами — от тебя!! — думами о них, углублял, отравлял... порвал 6 писем, идиот! — и до того дошел, что не ел, не спал, и даже... миг! — думал о кранах в кухне... окно плотно, дверь тоже, вытяжку закрыть, и через 5 минут — забытье, через четверть часа — всему конец! Было это. Это темная сила, дьявол... знаю! Проклятый — он ввел в меня недуг, под Св. День! сковал меня, а тебя расковал, надо было разбить и обрушить дивное, что мы так мучительно, с уклонами, строили, любя, влюбляя друг в друга, ища, страдая, томясь сладко и горестно, уповая, молясь... — и в какую эпоху! Так выправить наше огромное чувство,

так сберечь, при всех взрывах и изломах... при всех его попытках разбить!.. Мы посланы друг другу! так же ясно! бесспорно, Ее волею, усопшей нашей, ее судом. Себя она заменила, сама... тобою. Вду-майся! Да чего тут... — знаю. А он путал план, вплетался... вплелся и... почти-что выигрывал игру! Что-то, в самый последний миг, спасало. Не попущу себя отдаться тьме его, молиться буду святой, она сохранит, оградит... Ах, как я раскалялся!.. Я все вспомнил, и это все меня жгло, пронзало, расплавляло... — все — в его освещении, в его сгущеньи... хотя можно ряду твоих и моих поступков и уклонов, и проступков, — можно дать целый десяток иных совсем объяснений! Но это прошло. Мне — гораздо лучше и в недуге, уходит он, тает... есть временами сжатие у правого виска и над глазом, но уже полупаралич нервов под кожей правой части лба и у глаза, их онемение... — парэзис?[1] — выдыхается, еще зуд есть — век, брови и правого бока носа... а глаз почти чистый и нет боли. Но что было все эти 80 дней! Как мог я вытерпеть и почти не подавать вида, быть в форме, владеть остротой мысли, — и ка-кой! — я-то знаю!! — петь тебя, тебе, о тебе... выносить подчас невыносимое... терпеть и держать себя!.. Редко прорывы, но ты знаешь, ты извинишь меня... Ты простила мне. И я все простил тебе. И не заикнусь, упаси Бог.

Я в свете, я в тебе, ты во мне, Олюша... Я так сладко сознаю, хочу..! — как надо беречь тебя, девочку мою больную... ты больное дитя мое, моя раненая ласточка... моя усталая пчелка... труженица... и моя искра, мой зажигающий огонь... огненность ты моя, жаркая ты моя, яркая вся,.. о, вижу его, твой ротик... полусонный, утомленный, ис-то-мленный... мною, тобою, вырванным у судьбы горькой счастьем... никому непонятным, ни с кем ни-когда не бывшим! Ольга моя... Я знаю себя, кто я и что могу. Я, Божьим даром награжденный, я — великим трудом, великой жертвой, — и не моею только! знай это!! — приумножил дар этот, и я дал плоды, дал миллионам людей сладкие часы, дни... м. б. души очищал, заливал светом и восторгом... — можно ли учесть это?! — силу власти Писателя?! Тысячи и тысячи девушек[,] женщин... плакали над Анастасией... — знаю. Тысячи чаровались моей Дари. Тысячи и тысячи выстрадывали со мною страшное мое... и десятки миллионов будут — придет время! — очищать душу «богомольем» и согревать летним Господним солнцем. Русская «Няня», — единственное установление наше, стольких

[1] Ослабление двигательной функции (*от греч. paresis*).

великих охранившее, давшее России, — давшее и очень большое — м. б. самое русское в нем, Пушкине, — чудесных матерей и девушек, столько чистоты, красоты душевной! — эта Н Я Н Я — увековечена мною, закреплена, как вечно-живая, в культуре русской. Нет, это не самовосхваленье, это — наличность моя. Ольга, и ты н а ш л а меня, в горе моем нашла, в у г л у моем нашла... и — потянулась ко мне, моя былиночка, мой цветок... моя р о з а неувядаемая! И я потянулся к тебе, моему солнцу, моей певунье, моей ласке, моей душевной усладе, моей нежке, моей... дружке, сестренке, м а м о ч к е, детке, дочурке, и — прелестной дивно-прелестной все-женщине!.. Оля... как же я полюбил тебя!.. влюблял себя, создавал тебя в себе, — и — не ошибся. Един Господь без греха, все мы зачумлены грешным и «от лукавого»... — что тут скажешь. Но что, какая важность жаждущему в степи безводной, что в бьющемся, найденном, наконец, гремячем ключе вскипают песчинки и соринки, вертятся мошки... — он пьет это степное счастье, он — в блаженстве, и сердце его играет, и грудь дышит всей глубиной и полнотой своей. Мы с «трещинками», как и глиняные сосуды старые, хранящие вековое вино, но трещинки эти лишь снаружи... их легко выправить, а с е р д е ч к о наше нетронуто, оно хранит драгоценное наше — вино-миро! О, какое душистое, какое с и л ь н о е!.. Мой внутренний слух... — сердца и души — чует, слышит т е б я и твое вино, как оно творится в тебе... набирает силу и будет радовать!.. — срок придет!.. И вот, он, змей ползучий, он тщился разбить наши с о с у д ы и наше вино-миро смешать с прахом! — «да будет грязь, одна грязь!» Нет. «Да будет крепнуть наша Любовь, наша сила, наше в и н о — миро, наша дружба, наша срощЁнность... и душевная, и — да, я не колеблюсь сказать, — и телесная! Сердце к сердцу, уста в уста, душа в душу! грудь к груди, в с е — ко в с е м у... — едины да будем, в о д н о м оба, как неразлучники! Оля, Олюньчик мой, как я весь таю нежною негой к тебе, как я хочу губами снять твою слезинку... как я хочу дышать твоим дыханьем, моя светлейшая... творИца моя, горячая, пылкая головка... всегда-спешка! Не надо, не торопись в творческом, ни-когда! оно пугается и кривится от спешки. «Служенье Муз не терпит суеты»... — и спешки. Суетности и торопленья, кой-как.

Олюшечка... люди, по грешной природе своей, не выносят вида большого чужого счастья. Особенно, пораженные в с в о е м счастьице... — и инстинктивно, а часто и сознательно хотят испортить это чужое счастье, хоть чуть его извратить, запятнать, омрачить, отдалить, уменьшить и... от него

хоть лучик урвать себе. И, сковав меня, расковав тебя, о н очень помог людишкам урывать крохи для себя. Отсюда — оттягиванье тебя от меня, прилипанье, зазыванье, — «ну, хоть часок-другой урвать, развлечь себя...» — и отсюда «бунт» мой, и отсюда твое метанье, утомленье, истомленье... и — почти пропали 5 недель, д а р о в а н н ы х нам в награду за веру и верность. Отсюда и нестерпимые мои муки (физические — пустяк!) — взрывы, з л о... и твои «броски», твои «безумства»... твое предельное недовольство мною и собой, и мое крайнее, до безумия, ожесточение — «за что? за что о н а т а к с о м н о й?!!» — Нет, дьявол игры не выиграл еще, игра продлится... и надо быть очень чуткими, очень нежными, светлыми, верными, жалеющими, хранящими, молящимися, славящими ЕГО за ЕГО Милость к нам. Пречистая! Ты в с е видишь... к у д а, з а ч е м мы идем, ч т о в наших душах и сердце... ка-кая же любовь неповторимая, — где такая? что-нибудь подобное б ы л о? — по напряжению, по — ч у д у?! 7 лет!.. на отдалении, почти загробным! в такую эпоху жути космической... ?! Не было, никогда, ни у кого. К т о т а к п е л, как я пел Тебя, моя божественная? Немая Беатриче — п у с т о т а! Ты — в с я — ответ, порыв, полет, вихрь порой, огнь небесный... золотая моя, в золоте ячменей родившая во мне ка-кой же свет. О, ласточка, схваченная рукой в полете... о, отразившая для меня в глазах всех ласточек мира, весь свет солнца, в с е, чего коснется мысль и чувство, что доступно человеческому сердцу. О, чарующая одной улыбкой в предрассвете дня... о, таящая в недрах сердца и духа — с в о и образы, мне близкие такие!.. о, песня моя, недослушанная, невыпетая... которая споется, — верит сердце. Нет, скованность моя проходит, уходит, — пройдет совсем. Раскованность твоя — облечется в форму, мы окрепнем в наших высоких и сильных чувствах! мы не отдадимся злому изволенью, вспышке ложно воспринятого, нашептанного, — никогда, мы не затеряем, не расточим такою безмерной мукой и радостью собранное! Оля, дай, обниму тебя, дай скажу — ни-ко-гда, да? всегда вместе? всегда самые близкие дружки, самые любящие, самые бережно-чуткие друг к другу, да?.. О, дай мне эти лучики губок твоих, эти... нет имени... эти улыбки (родительный падеж) отраженья, эти намеки на прелесть несказанную!.. — нет слова. Я люблю тебя — душу твою, сердце твое, твой голос, твои движенья, изгибы стана, ноги твои... тепло твое, у ю т от тебя, в с е й... О, чудесно-дневная и дивно-ночная, Ольга моя!.. Могу ли тебя забыть? Ни-когда. И вот, я счастлив тобою, кроткой, тихой, усталой деткой моей... о, как я страшусь, что ты

ослабнешь... что я, я, я... мог быть — невольно, истомленный всем — пособником его злодейства, как и ты — и пособницей, — невольно, — и жертвой. —

Оля, как мало ласки мне в твоих письмах этого июня! как повторяются уже поистершиеся слова, — нет горенья в душе твоей ко мне? Я горю тобой, и слова-образы сами творятся сердцем. Ты — хладна... — что это? Кто, что закрыли меня в тебе? Или ты... отвлечена... чем-то? кем-то?.. Это меня смущает. Начало всегда — «Мой милый» и т. д. Конец — всегда — «крещу...» Не укоряю, чувство твое вольно, что ж я могу..? Но мне тревожно. Ни словечка о «завете»[234]. Не нравится? А стихи чеканны, их не постыдился бы ни Пушкин, ни Тютчев. Они — вески. Правда, это другое, чем — «гимн восторга и страстности» — «Оленька-ясочка...»[235] — но они сами пропелись, без дум, без правки, а я писал как письмо, смотри, нигде правки! Это — истинное вдохновение, и ты права, назвав их «гениальными». Слово это многими не понимается. Гений — дух, латинское... соответствует греческому — у Сократа — «даймон, дэмон» (Дух)... — значит — по вдохновению от Духа, внушено кем-то, вне, вне пишущего, как например — творения Иоанна Богослова... — Ангел нашептывает! Я сам — после уже! был поражен, как получилось такое... пропелось само! Оно, — эти песни — уже жили вне меня, вошли в меня и воплотились в слове. Их никто, кроме меня, — так назначено! — не создал бы! Это было мне дано — для любимой. Оля... я слышу — во мне много еще непропетого, для тебя[i].

К затронутому в твоих письмах: — «Богомолье», твой возможный перевод... — это мечта моя. Я не говорил о контроле Иваном Александровичем. Это он сам, хотел дать на-пробу... Я верил и верю — ты, только ты сможешь дать в совершенстве. Я вчера написал И. А.: «О, помогите мне, внушите ей. Никто... — Вас нет в "никто"! — не перевел бы "Богомолье", как она»[236]. Слушай: написал ему вроде стихотвореньица:

«Заветная мечта... исполнится ль она? — О, Боже, не отринь моленья! — Да, светлой волею полна, — Создаст живое воплощенье! — Исполнена Родным, Родное передаст, — На языке чужом споет про "Богомолье", — Хваление и дар нетленному воздаст — Восторгами души и сладостною болью!..»[237] Видишь, как я... ?!

Дети Ивонина устроены, — отпадает. Ты ошиблась в нем жестоко: не «лодырь», а достойный русский человек, отдал кровь за Россию, работал 25 лет, как каторжный, теперь... на

---

[i] Продолжение письма отчеркнуто И. С. Шмелевым.

Рено, и — должно быть долго не протянет. Отдыхать не может. Всегда отказывался брать от меня деньги... получать «шомажные»[i] для него было оскорблением и мукой. Ну, вопрос исчерпан.

Перевод «Путей Небесных» — от-личный, признаЮт все! Положение меняется, сезон в Париже не прервется, или — на две недели: на 29 июля — мирная конференция![238] Съезд, Сезон. Это дает надежды и книгоиздательствам. На книгу требования — из заграницы, Швейцарии, Голландии, Север... Письма читателей — «когда продолжение?» Вчера Эмерик говорила. Сегодня будет у меня директор издательства, подписать новые контракты — «Богомолье», «Лето Господне», «Неупиваемая чаша», помимо уже заключенных. Значит, потребую авансы. Переводится для Англии — «Про одну старуху» с «Каменным веком»[239]. Переводчица — сестра Расловлева[240], — прочтя както недавно, «две недели бредила...» Просила право на перевод, отлично владеет английским языком литературным — сама найдет издателя. Осенью выходит «История любовная» — в другом издательстве, перехватили год тому у Павуа. В сентябре — «Чехов» в Швейцарии. «Пути» все еще там в ?, т. к. не добьюсь, цел ли перевод проф. Артура Лютера... — и приемлем ли его перевод — имя, немец! — для Швейцарии. Все это мешает мне сосредоточиться. А тут еще... — слушай:

Был у меня советский ученый[241], химик, невозвращенец, возвращающийся... Любопытный разговор, выведывал «настроения», и я с него «снял маску». Они добиваются «соблазнить» Шмелева. «Все издательства открыты для вас!» — Ну, я сумел ответить.

Через неделю, в позапрошлое воскресенье явилась... Славица Златка, чешко-полька, 28 лет, муж убит на войне, элегантная, очень красива, — с молитвенником, от мессы. Ее прислали «одни русские» — «вам нужна фам дэ менаж»[ii]. Я сказал — вы слишком изящны для сего. Она — «я вас читала», по-чешски. Неожиданно схватила мою руку и хотела к губам, я не дал. Не накрашена! и пальцы чуть розоваты. Золотистая, не крашена, в голубом, шляпка «бойко», пианистка, кончила коллеж пражский. Странно. Я уклонился. Сидела, вытянув ножки... они — нежно-золотисты, — шелк. «М. б. я могла бы переписывать?» — Сам. — Корреспонденция? — Сам. — «Но... читать вам..?» — Сам. Но.. м. б. вы скуча-

---

[i] Пособие по безработице (*от фр. chômage*).

[ii] Приходящая домработница (*от фр. femme de ménage*).

ете..? я могла бы приходить для... разговора?.. Я вас очень чту... — перечисление моих чешских книг. Если бы не было тебя, возможно, я взял бы Славицу... — она очень «детская»... с огнем... «Для разговору» и пур юн эр дэ репо[i] — очень хороша, в к у с н а... и очень выдержанна, не наглая Елена — немка[242], которая ставила ногу на стул, задирала юбку и натягивала ажурный черный чулок до... слияния ляшек, показывая мясо. — Помнишь, писал? Эта... «рафинэ»[ii]. Я сказал — «отвечу вам дней через 10». А[нна] В[асильевна] хиреет, побелела, похудела. Ответил: — «благодарю, извините». Бросилось в башку — да не имеет ли связи с посещением Пантелеева, химика? Элегантность, «читательница», «любит», вдовушка, пианистка... — и — «уборщица»! И... — могу и «для разговора... вам же бывает с к у ч н о..?» Впрочем, это не впервые... в 30-х годах бывало... не говоря о письмах загадочных с приложением «фото» и приглашением... посетить в Швейцарии... — где «своя вилла»! — «ах, какими бы биски[iii] я вас угощала!..» Знаю, к а к и м и. Ну, мимо.

Олюша, ты не отдохнула — а предписано лежать и «монастырское житие»... а ты по Утрехту пьешь пиво, куришь — и одна! — в кафе!.. — в Париже так бы нельзя было!.. Явно — дамочка, ищет авантюр[iv]. «Не могу одна... ждать, курю». А... разве нельзя с книжкой..? И ты опять за сотней зайцами: писать «полотна», портреты, роман... А «Богомолье» — оставлена мысль? Ну, твое дело. Помни: спешить так в творчестве — н е л ь з я. Надо в ы б р а т ь о д н о. Или, закончив одно, — к дальнейшему. Конечно, мечта моя — неосуществимая! — если бы т ы — перевела «Пути». Скрепила навечно себя с м о и м, уже не говорю — «со мною»!

Раньше, бывало, в каждом письме, до Парижа, — поминала д-ра Клинкенберга... теперь — н и звука! будто и нет его. А я з н а ю, что ты уже не раз навестила его... и конечно, говорила о французских «Путях»... показывала мое «посвящение». Почему ни слова? Я помню, как ты... раз, ночью мне: «ах, единственно кого я хочу видеть... — К.!» Почему такой «тихий омут»? молчание? амурничаешь..? Твое дело, ты «у с е б я»... и «не терпишь насилия над твоей волей»! Оля... будь со мной п р я м а! Меня мучают мысли... в с я к и е...

---

[i] Здесь: на время отдыха (*от фр. pour une heure de repos*).

[ii] Утонченная (*от фр. raffine*).

[iii] Бисквит (*от фр. biscuit*).

[iv] Приключение (*от фр. aventure*).

Ты не прислала мне к 22 — 10 лет! — ни слова участия. Меркулову — к 23 — числа рядом — за три дня успела послать поздравление — мне — ни слова. Зато — теле-грамма, которая пришибла, за полчаса до панихиды. Ты скользишь по моим письмам. Забываешь. Я давно на многое отвечал, а ты переспрашиваешь. Раньше этого не бывало.

Как я страдал... О. з а б ы л а меня в моей печальной годовщине! Когда любят — такого не забывают. Прости. Я простил. 3 июля я написал шестистишие и сбросил б р е м я, вздохнул: Вот оно:

22 июня 1936 — 22 июня 1946

Крест, голубцом, и у Креста береза.
И Другом присланная роза.
Могилка — мягкая, как и Душа Ея...
Вся — светлая любовь. По Ней печаль моя...
Самоотверженно Она́ меня хранила —
И мой нелегкий труд России подарила.

Пишу тебе, объединяя нас обоих в памяти о Той, которая нас соединила. Только — поэтому. Так я крепко держу в сердце. «Клеветавший» тебе на меня на панихиде не был, — забыл! — хоть при нем накануне говорили с Юлей о часе. И ты забыла... А он «возмущался», будто я оскорбил перед «друзьями» память усопшей!.. — 1 июня, суббота! А я даже имени не смел упомянуть, сказав лишь о тяжкой для меня утрате, когда друзья делили мое горе. Ч е м оскорбил? Что назвал тебя — «окрыленной душой русской»?! Так ему это «стрела», — воздания тебе от м е н я?.. Хорош же «Яго»-пигмей! Я ему в с е потом отпел. Съел. И продолжал, как выгнанная собачонка, приходить, царапал ногтями на полу, как это собачата делают... «закрыть символически».

Была Ксения Львовна. Просила позволения приходить помочь... — я смутился и отклонил. Буду настаивать, чтобы довезла тебе машинку. Я бы охотно взял ту машинку, а ей дал бы везти мою «портабль»[1], но моя с такими недостатками, которые я один знаю... — у тебя она будет ломаться дважды в день, и измотает тебя. Ее надо в ремонт, который займет — знаю — 2 месяца, у «Ремингтона», в центре, и потребует 4—5 тыс. А я буду без инструмента. Буду умолять Ксению Львовну взять большой Ремингтон.

Оля, ты пробудила меня... я часто падаю на диван и... горю в пепел, безнадежно. Ты, ты, одна ты... н е о б х о д и м а

[1] Портативная (*от фр. portable*).

мне! И — безнадежно. Ты права: «была не у себя». Эмерик же нашла, по моему указанию в отеле, в 3 мин. По 150 в день, — но это не твоя забота. Я уже не рискнул менять тогда твой план — жить у Первушиных. А как удобно! Полный комфорт, спи сколько хочешь, приказ портье — не принимать никого, «м-м э парти»[i]. Никаких «собачат» не было бы, и мой «проходной двор» кончился бы... и ты не затратила бы сто-лько дней — дней! — подсчитай! — на лазанье в Бельвю почти ежедневное!.. Все для тебя хотел сделать, и все предусмотрел, да... этот недуг дьявольский, и ты — «своя воля»! Как там, в отеле на Моруа — ти-хо! везде толстые ковры. У тебя был бы телефон, ванная, уборная... салон. Приходила бы и ко мне — поесть — и никому бы не открыл дверь! Если бы я не болел — все было бы по-другому. Театр... лучшая пьеса, лучшее место. Два раза, только, довольно. Никакого синема. Раз съездили бы в «Фоли Бержэр» — посмотреть «ню» — для «кулер лок»[ii]. Цирк, раз, а больше — загородное. Но тебе со мной, очевидно, скучно... тебе нужна ярмарка? суета, шумиха?.. Ну, если бы еще была здорова. А вот... что получилось. Как же не «дьявольское напущение»?!

С колотовкой сошлась? Теперь она — очень одухотворенная, тонко чувствующая? М. б. мир — лучше. М. б. она и не плохая. Рад, что ты получила ценные указания. Но тебе нужна школа. Школа — мы нашли бы в Париже.., конечно без болтовни неведомого никому «скульптора». — Фигаро[243]. Спрашивал у специалистов... — пожимают плечами! Не на денежки ли своей мадам скульптурничает... обезьян? Очевидно. Какую-то дуру обработал, с капитальцем... внушил!.. Дур таких в мире — полны «рынки». Ксения Львовна очень мила, но она совсем не говорит! Не привыкла ко мне?..

Кажется, на все ответил. Или — пересмотри мои письма, не скользя. Ты все спешишь. Запоем — все. Оля, молю: выдерживай себя! Оздоровись!! Иначе — все прахом пойдет. Пожалеешь. От великой любви — тебе скучно слу-шать — от великой боли говорю...

О, как бы хотел видеть твое сердце! его золотую точку!.. Ты все меньше открываешься, прячешься, сжала губки. Нет того, как... когда шла в ячменях, когда — «девушка в ветре»! Сколько я дал тебе сердцем!.. моя «Всеенощная»... И как жалею, — не попросила, а я не смел навязывать...

---

[i] «Мадам вышла» (*от фр. «M-me est parti»*).

[ii] «Местный колорит» (*от фр. couleur locale*).

я прочитал бы тебе — «Благословенное утро»... И «Аллилуиа» — только. Ты заменила их... ч е м ?! ... А, главное, — не было досуга говорить ни о н а ш е м, — подразумевается! — ни о приемах и способах строить произведение. Не воротишь... Не уповаю.

Неужели отчаяние снова овладевает моей душой?! Нет, не допущу.. страшно, во что может вылиться...

Почему ты все мечешься, не отдыхаешь? все снуешь, сновалка?.. Больно. Что же, мама не может влиять? Н е в и д и т — ч е м все может завершиться?.. Оля, ты должна приехать... должна, мы должны исправить дьявольское разрушение. Оно оставило с л е д ы...

Больше не стану докучать, говорить о любви, п е т ь. Боюсь быть навязчивым, не с л ы ш а о т в е т н о г о. Буду о мелочах, как ты в письмах, последних. Устала? А я — н е устал?! ... Ну, Господь с тобой. Прости. Ты знаешь В. — с в о е г о? или — уже н е с в о й? не т в о й?.. Скажи прямо — я не стану докучать. Я до-делаю хвостик своего бытия. Только бы закончить хотя «Лето Господне». Как мне стало томительно... что-то рвется во мне... плывет... Только бы не эти 4 дня с 7 по 10.VII. Я не выдержу, больше не хватит сил.

Оля... почему-то не рвется из души — дай губки! Мне стыдно... будто я милостыню прошу... затаю в себе. Так и кончу.

Спасибо: красная смородина очень хороша, черная — незакончена? Вишни — с у х и... клубника — лучше. Почему просил «ягодки»? Пошло от черно-смородинной наливки (послал-то тебе, а ты и не..?) Записал на лоскутке, сидя у печурки... (Как ты скользишь по моим письмам! а я тогда же, в феврале — писал тебе[244], — как я в с е помню! — «Вдуматься в изумительные созданья — ягоды, плоды»... Просьба к Олюше: «Н а п и ш и мне их»! «Когда буду у х о д и т ь, — буду смотреть: О, Красота Господня!»[i] [245] Вот — почему просил.) А ты — т а к о е-то! — и забыла!? Как ты не берешь душой, не укладываешь вглубь! Тебе э т о уже не близко? Что же тогда ближе? Мне больно, опять... мысли. Я в с е простил. Живи в мире. Господи!.. Твой Ваня... а дальше...

---

[i] К письму приложена записка (на обороте письма неустановленного лица к И. С. Шмелеву): «Пошло от черно-смородинной наливки. Вдуматься в гениальное создание ягод, плодов.... Просьба к Оле: н а п и ш и мне их! Когда буду у х о д и т ь, буду смотреть. О, красота Господня!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 57). На записке помета И. С. Шмелева: у печурки, февраль? а м. б. в конце ноября?

[На полях:] Письмо Юле[246] передал. Она трогательна и так тревожна, что со мной. Вчера она чуть успокоилась. Нашла мне сухарей. Плакала... «Как ты исхудал!»... Много... писал, Юля.

[Приписка на конверте:] Снова написал на ее письмо, Славице Златке, приходить 1 раз в неделю на 2 часа, читать по-французски и говорить о музыке. Справился у кюре ее прихода: она подлинная христианка!

447

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VII.46

Светлый Олюночек мой, не могу не думать о тебе, расстаться с ласковыми думушками о тебе, — все закрылось, кроме тебя, девочка-девуля, Олечка-ОлЮля!

Вот почему пишу. Не знаю, отправило ли тебе издательство 5 книг, а тебе нужно, — так я завтра шлю свои! Никаких денег не посылать мне, глупыш. А чтобы — боюсь! — не беспокоила тебя таможня, если пошлю не авторские экземпляры, — может, ведь, признать голландский «чичиков»[247] за товар и обложить, а, главное, мучить тебя разными бумажонками и тянуть неде-ли, — то вот как я придумал.

На самих книжках надписывать не буду, (как ты просила, моя беспокойка — очевидно, подарить хочешь?) а для прилику, надпишу вклейки и осторожно по уголкам чуть приклею, а ты ножичком острым, — ты, ведь, тонкая на все! — эти наклейки срежь, а «следки» соскобли-сними резинкой или острым ножичком. Боюсь больше двух послать. Если скажешь — надо, я тебе еще хо̀ть парочку! — как я могу такого пустяка не сделать для такой девочки-творицы! Друг мой, собратик, сестреночка-ласточка, ласкунчик милый... как я весь твой! Я все то переживаю вновь, (от тебя толчок, от твоего «лазанья», от 4-листика, моя чаровница!) О, Wickenburgh!.. Я поюнел, я впервые (и вновь) влюблен в невиданную... Я жду и жду ее писем, ее открываний-признаний мне, я читаю между видимых строк, я ловлю «музыку волненья», я хочу по самому почерку уяснить себе, что она, та... («я да птичка!») — что она что-то чувствует ко мне... я трепетно ищу, ищу... что? неужели?!.. Господи... неужели она, она... ... л......?! Не верю, не смею... и верю, и страшусь обмануться... О, да... любит!.. О, счастье! как я ослеплен!.. Свет какой!.. какая звенит в моем сердце сладостная пес-

н я... л ю б в и? е е... л ю б в и?.. Мне стыдно и... я з н а ю, что я уже д а в н о — д а в н о полюбил е е!.. Я шепчу... О-ля... нетвердо, робко, как начинающий лепетать ребенок... Все, все воскресила ты. Какая гениальная мысль вспыхнула в тебе — послать мне этот 4-листник, это «счастье», вдруг, по думке, — какой? — так сразу давшееся?.. О, милый Wickenburgh!.. О, свежесть загорающегося, разгорающегося чувства чувств — т а к о й неосязаемой, такой и д е а л ь н о й (в мире *идей* — Платон!) любви, божественной любви (как духовных существ!). Как страстно хочу перечитать те, Wickenburgh'ские твои, трепетные письма. Но они взяты тобой[248], и я о с и р о т е л. О, эти звонки почтальона утром, разочарования, надежды, ожидания... — вот придет, от н е е. Какое чудесное — «о т н е е»! Как дивно звучит, поет и звенит голубым звоночком (и розоватым, и ландышным!) в сердце — это, получившее уносящий в восторги смысл — о н а! О-л-я... О л ь г а... — какое льдистое, какое звучно-хрустальное, кристальное имя-песня. О л ь г а. Какая нежность в этом «льг» и какой глубоко-тихий вздох к высям — это — «О»!.. это Оль..! Это слово-имя как-то облегает меня, обволакивает в прохладно-сребристо-льдистую тончайшую ткань из света и звона, — о, люба моя! Оля моя... Ольга!.. О, мой цветок чудесный, расцветающий на моих глазах... теперь такой мне близкий, осязаемый, им дышу, его дыханье пью, его солнечность-тепло с л ы ш у, его атласность-негу ласкаю!.. Ольга... м о я?.. Я в и д е л тебя? Я целовал тебя, Ольга?.. Я узнал тебя, Ольга?.. О, милый Wickenburgh... Моя дружка, мой возрастающий собрат... моя Ольга — в ы з в а л о тебя из туманной дали! Оль, вот к а к творится образ. Ты знаешь. И я знаю, что ты з н а е ш ь, м о ж е ш ь... Ты передала в малых строках, мне, — минувшее, воскресила и вызвала п е с н ю во мне, и блеск освеженных, звучащих чувств. Нет для меня милей (всех цветов) — этого скромного зеленого малыша — 4-листника — трэфль![i] Он уже для меня — священный! В нем — обетование радости, надежды, — дочего он к р а с и в — малышка! И ты не пожалела послать мне его, отдать этот залог, в котором и г р а е т твое сердце?! ... Я слышу, как оно бьется. Оль, я хочу слушать его, хочу — с л ы ш а т ь. Я хочу, чтобы оно билось рядом с моим, я хочу целовать его через непроницаемые ткани... — твое — мое дитя — сердце! Я молю Господа, да сохранит Он Милостью Своею его биенье на многие-многие дни, месяцы, годы, годы... это светлое, это нежное, это взмывающее,

[i] Клевер (*от фр. trèfle*).

это трепетное любовью сердце, эту сказочную птичку, которая в постуке, как часы, как далекая сельская русская тревожка-дозорщица... (помнишь — «колотушки» наши?) так явственно выстукивает два звука — лю...блю... лю...блю... и, дает радостное успокоение проснувшемуся средь глубокой ночи... Люблю... лю-блю... о, если бы слышать, быть близко-близко... шептать неслышимо своим сердцем, вопрошающим постуком — лю...бишь? лю...бишь... ?.. — и слышать, ну, дотого же понятно, так светло отзывающееся ответным постуком — лю...блю... лю...блю... О, если бы чутко слушать, слышать эту птичку в клетке, так мерно стучащую, так мягко трепещущую крылышком... рвущуюся к... люблю... люблю... Да, Оля... да, любишь?.. Скажи, сердце... ту-тум? да? Ты звучишь в согласьи с моим ту-тум..? Они, оба, — вот, так близки... их теплота смешалась, слилась в единое — согласное — да, люблю. О, творящая сила!.. О, сердце мое желанное!.. Ровно и бодро стучи время дней твоих, долгих-долгих, полных восторгом светлого волненья, в полете смелом вдохновенья!..

Оля, Ольга, Олюша... Ты чувствуешь, ты уже слово мое осязаешь, ты берешь в руки свои мое «люблю», ты его поднесешь к губам, — и они ответят ему — люблю? да, Оля?..

Вот, что вызвал во мне твой бросок в письме, твой милый, единственно во всем том, чуждом, желанный. Wickenburgh... Ты и не думала. А вот, я вдумчиво перечитав, нашел эту поднявшую меня силу слова-образа, твоего вздоха... о, если бы обо мне!.. да?.. Оля... ?! ...

И земляника пахла, как тогда,
И скромный трэфль quatre-feuille'м обернулся,
И дался в руки: любишь ты, да, да!..
Тот дивный светлый день вернулся.
Я слышу: сердце — все стучит — да-да...
Все тот же Wickenburgh сердечный,
И те же все — и небо, и вода,
И тот же вздох — люблю: он вечный.

О, как я тебя люблю, Оля моя. Как нежно тебя ласкаю, как целую светло, светик!.. А ты — да?

Твой Ваня

[На полях:] Как же я тебя целую, всю, как прижимаю к груди! — от счастья, от света в тебе.

Как я пою тебя! Так ни-когда не пел! И как хочу пи-сать! И пить твой рот, Тебя, всю! Дай мне твоего «Уюта»! твоей теплоты! твоего дыханья, тельца... Не могу без тебя, умру!

Ольга, ты страшно мОщна душевно, страшно художественно у м н а, не зная... Так и надо. О, всем, всем хотел бы тебя осыпать!.. Оля, помни: надо, для творчества дышать воздухом т в о р ч е с к и м, жить в искусствах и об них тереться. Читала ли ты переписку Чехова?..[249] Необходимо тебе прочесть!

Хочешь, пошлю тебе письма Чехова, если найду? О машинке переговорю с Ксенией Львовной. Если в Голландии могут мой Remington portatif[i] привести в порядок, я пошлю тебе его с радостью. Сам готов писать от руки, если Ксения Львовна не ссудит мне большой Remington. Ты должна работать, но не спеша, не утомляя себя. Оля, береги себя! Оля, не смею тебя звать, отдохни!

Если бы ты мне д а л а с ь... — ты вся запылала бы творческим! и была спокойна.

Одних твоих писем достаточно, чтобы тебя причислить к лику «избранных». Я никогда не ошибался: ты поразительна.

Предыдущее письмо отправлено в 9 часов вечера, сейчас 11 часов вечера опущу завтра, получишь, должно быть во вторник.

Вот, как одно творчество в л е ч е т другое, будит, освежает, осветляет дух!

И насовал же я тут лоскутков![250] Ну, я тебя наполнил, да? Этим лоскутным слоеным пирогом? Хотел бы н а п о л н и т ь всею своею с и л о й!

[Приписка:] К письму от 12.VII.46

Ольга, *что* ты сможешь создать... если сбережешь с е б я!!! Это преступление будет, если размечешь д а р свой: он — чистый и великий.

Как же надо его лелеять. И как же надо р а б о т а т ь!.. Но — не спешить. Помни: ты будешь творить долго, — мы с тобой одного прочного и дёржкого теста! Твоя душа — живая, от Господа — для творчества Словом (и краской). Не бойся труда, он — сладок, такой труд. Но, Оля, помни: да, ты — «девятый вал», мощная. И надо жить «восторгом с в е т л о г о (не бурного!) волненья». Ах, Оля, как бы мы наполняли дни наши! Ты чувствуешь? Как бы насыщали друг-друга! и получали — новые силы. Ты — главное. Я уже з а к а н ч и в а ю: я свое главное — сделал. Но, от Тебя, во мне родятся новые силы и новая воля. Равно и у тебя — от меня. И — пройти мимо сего?! Тебе? Это — смертный грех, перед Богом и людьми, русскими людьми. Ваня

---

[i] Портативная пишущая машинка (*фр.*).

На 13-ое VII Ночь. 2,30.

Ольга, я весь взбит восторгом Тобой. Ты меня восхитила, опьянила светло горящим во мне сознаньем и песнью моего сердца — о Тебе. Спать не могу, но все же сейчас лягу. А пока, вот тебе пустячок певучий (ты, ты, вся поешь во мне!) Но пусто в комнате, и не позову вздохом — О-ля...

Вот — Олюнке, Ольге:

Ольга — золото литое,
Ольга — яркий самоцвет,
Ольга — все мое земное,
Ольга — счастье, Ольга — Свет.

И. Ш.

Что со мной?! ... Это ты творишь, поешь во мне, Оля... Вливаешь силы... Что делает любовь! Кажется, я мог бы зажечь все, столько во мне огня, но не бунтующего, а вдохновляющего! Ты поешь. Ах, как бы я был счастлив, если бы это мое горенье перелилось в тебя светом, творящим, возносящим над земной [низиной] светом! Согрело тебя, влило веру и силу! И — здоровье. Покой и волю! Благословляю тебя, моя светлая. Трудись в свете.

[На полях:] Оль! Хоть в снах приди! Я изнемогаю от тоски по тебе.

О, как чУдно тебя люблю, ценю, ласкаю — каю вижу тебя, художник драгоценный, незаменимая.

Светлую Ду-шу твою люблю! Не устану петь люблю, люблю!

[Приписка:] К письму от 12 на 13-ое VII.46

Вызвано твоим чудесным письмом, моя дивная творИца, моя дружка! (письмо от 30.VI.46[251], с приложенным 4 листиком-trèfle — «счастье».) — Выдержка из письма:

«...Как я тоскую, как я полна тобой! Вчера особенно думала о тебе: так светло, радостно, возносяще, хотела все время писать тебе и вот, как тогда, в 1939-м (не ошиблась ли ты, Олюша, — не в 1941 ли году?..), оттягивала радость эту. Вся собиралась в струнку. (Ольга, уди-вительно!) Не могла удержаться и в пятницу пошла в Wickenburgh. Туда, где тобой так ярко, еще в полу-неведении, (удивительно!) билось сердце. Так потянуло туда, где переживала дивные моменты любви твоей, где в ячменях, сиявших золотом, думала о тебе. Все переменилось там: сама дорога заперта, — я перелезла (удивительно, мое в скобках все!) через забор (!!) — вот и канал, такой синий, темнее неба, (!!!) и эти дали... серебряные дали. Какие краски!.. В парке запустенье...» (Какая простота и — яркость! Это же великое мастерство... Я это говорю хладно,

крепко, как понимающий, что такое — «мастерство». Вот, Оля, что значит творить сердцем, писать, как видишь, и как выбивает сердце... Целую тебя, мастера, браво, Ольга моя! Ты всего достигнешь, все преодолеешь. Да тут, в этом отрывке — и дальше... такое поражающее мастерство, что, чувствую, Пушкин тебя расцеловал бы в обе щеки (и в губы, да!) и — благословил бы. Я в восхищении от тебя, как же ты растешь!.. Молодец, девка! Как я тобой, такой, горжусь, как безумно счастлив!

Wickenburgh

Моей Ольге — дружке

И земляника пахла, как тогда,
И скромный трэфль quatre-feuill‘ем обернулся,
И в руки дался: любишь ты, да, да!
Тот светлый, дивный день вернулся.

Я слышу сердце: все стучит — да, да...
Все тот же Wickenburgh сердечный,
И те же все — и небо, и вода...
И тот же вздох — «люблю!» Он — вечный.

12 ч. 40 мин. ночи на 13-ое июля 1946 Ив. Ш.

Ты чувствуешь, понимаешь, Оля, как дивно твое письмо?.. Как бы мы изучали твое, — хотя бы по твоим письмам, и ты ясно увидала бы в чем, где и почему — прелестно, чётко, образно, — высокое мастерство!.. О, как ты мне во 100 раз еще дороже стала!.. (да возможно разве? ты мне беспредельно была дорога!) Твой Ваня

[На полях:] Оля, ты редкостно певуча, сердечна, «лирична»... Ты — Левитан в слове. У тебя — чеховского много в характере. Если бы говорить нам!

Оля, письма надо читать ох как чутко.

В 1-м чтении я изумился а теперь — в исступлении.

Но это оттого, что ты страшно одарена!..

О, если бы говорить об одном этом письме! А мы как мало говорили — и ни о чем!

[Приписка:] 13.VII.46 1 ч. дня

Ольгинька, сейчас (в 10 часов утра) твое письмо, от 9—10.VII. О, роднулька, родинка моя!.. В те же дни оба мы страждали, и ка-ак!.. Муки души моей, как волны, бились в тебя, и твои — в меня. Наши волны — одни и те же, мы — расколотое на половинки целое. Как ясно!.. как неопровержимо!.. Теперь я весь в свете, от Тебя! Будь же такой же — мною! Я весь живу тобой, жив тобой, гроздь моя виноградная, пью тебя... О, вернись, Оля!.. Нет без тебя

дыханья... истомлен... но, во-имя такой все-охватной любви нашей, не бывшей ни у кого в мире, я буду силен. Ты видела эту душевную, эту внутреннюю — силу — воли, нервов ли, — не знаю. Я должен тебя увидеть! Но — по-другому, в нашем покое, «у себя». Живу этим. Я все отдам тебе, что знаю о слове. Как глубоко и чудесно-чутко — снова! — это твое письмо! Сейчас, одновременно, шлю 2 книги «Путей Небесных» тебе, с «посвящениями», которые ты устранишь, как писал тебе. Пою сердцем Wickenburgh. Правда, эти стихи что-то дадут тебе, как и мне. Как легко они спелись!.. — вчера ночью, в моем сладком томленьи Тобой! Оля, есть Святое у нас с тобой, одно. Им живы. Оно вяжет нас и обязывает. Но я всего хочу, — и «придатков»: они питают это Святое в нас, как тело кормит Дух, временно плененный, замкнутый тленным.

Целую и ласкаю — безумно, страстно девочку мою! В.

[На полях:] Через 10—12 дней ты страстно начнешь хотеть! И я — с тобой, весь в зове, весь — отдача — весь ласка безоглядная.

Сегодня постараюсь найти малюсенькую рамочку для нашего quatre-feuille[i]. Для меня он — знаменье.

Какая дивная красная смородинка! Она — живая. И — черная!.. да...

448

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.VII

Дорогая девочка моя Оля, бесценненькая, вся моя радость, все мое счастье! Скорей ответь на это, спешное. Я с радостью пошлю тебе «portable Remington», т. к. чую, Ксения Львовна устрашается тащить большой Remington, а я хочу страстно, чтобы ты на моей машинке зачала! — тут не игра слов, а игра... сердца, которое все у тебя! Я могу для тебя и рукой писать, если Ксения Львовна не дала бы машинку, но она мне уже предлагала. Но важно мне знать, есть ли в Голландии мастерские, где имеются запасные части для Remington portable. Здесь же хоть можно отдать в «Remington» магазин (мастерскую), для полного монтажа, и дело не в тратах, разумеется, черт с ними, франк пьяный теперь...[252] а в том, что

---

[i] Четырехлистник (*фр.*).

затянут починку на 2—3 месяца — т. к. новых машинок не шлют, а все чинят старье. В таком случае моя радость — послать тебе мою portable — не удастся, т. к. Ксения Львовна не к октябрю же — ноябрю — к тебе дотянется. Узнай, спешкаты-бешенка, по телефону, не смей гонять по Амстердамам-Гаагам, — могут ли все привести в порядок, главное — язычок, что скачет и несет ленту был сломан, и мастер — француз, дурак как все они французы, поставил скакуна своего изделия, и так, что подлец срывается с пружинки, если переводить регулятор, и приходится его держать все в нижнем положении, лента не вся разрабатывается, а буквенные молоточки бьют все в середку, в одну линию и через 1—2 недели насквозь пробивают ленту. Я измучился, а слать тебе калеку — тебя мучить не могу. Если могут — будешь с машинкой (!) и замашинишься, мне и другим на радость. А я буду гордиться, что Ольгушка стучит на моей машинке и что-то с р о д и т! Это еще больше свяжет нас. Да уж нельзя больше — связались навеки! Твой Ва

«Пускать» книгу (lancer![i]) «шуметь» — для Франции — Парижа будут все же в сентябре, начало сезона, а сейчас литературная часть Парижа — в расползании... Предварительно заедут ко мне энтервьюэры... и будут докладывать читателю, что им в башку влезет. Эмерик будет бдить при авторе... наврет с гору... а те с в о е прибавят. Для меня это — тошнотворно. Но н а д о — издательству. Сейчас книгу гонят заграницу, главным образом Candreia пошумит в Швейцарии, где меня знают хорошо. Я во всем сомневаюсь, — з а ч е м и м-т о «Пути... Н е б е с н ы е»?! ... Но теперь я уйду в завершение 2 книги «Лета Господня»[253]. Оль, я очень поработал над твоим «Михайловым днем»! «Крестный ход» — отчеканил. Сегодня — за «Крестопоклонную». И. А. получил рукопись 1—10 очерки — 120 страниц. В с е г о будет больше 300 страниц, следовательно, до 350 печатных в книге. Самое мое большое д е л о... — впрок на десятки, а может и более — лет, для русского народа! Спел, дал Бог. Оля, поцелуй за это... право, я, кажется, стОю твоих губ! Сафо моя дивная!

4-го VII был у Юли (адрес ее 332, avenue Coubertin, St. Remy-les-Chevreuse (S. et O.) France).

Катюшка[254] была дотого ласкова, — кажется, хотела влезть ко мне за-пазуху и сама все тянулась целоваться... Пузиком карабкалась на локотник лонг-шэза, где я лежал, и поила меня молоком, в и д я в карандаше «бутылочку». А я р в а л со

---

[i] Вводить в обращение (*фр.*).

стекла веранды сладкие вишни, и мы с ней (дети так только и художники искусства м о г у т, воображением!) кормили друг друга! Ах, сладко. И видели их, и е л и и чувствовали, дочего сла-дки!.. Ка-кое же воображение у детей! Подумай, ей 2 года 8 месяцев только!

Русско-французит. Как я люблю детей!.. Т е б я: ты — светлое дитя. Т в о р И ц а. Истец — истИца, острец — рица.

Как Ваня х.... тебя!.. срастись!..

Сейчас бегу на почту. Поняла, глупка, что надо? Могут ли привести Remington portatif — в полную исправность, чтобы поставили ленто-держалку фирмы Remington'а, чтобы вся лента планомерно была использована. И в с е, в с е — comme il faut[1]. Есть ли ремингтоновские запасные части?.. И — сейчас же мне срочно, до отъезда Ксении Львовны. Если да — я в машинке тебе миллион поцелуев пошлю, а машинке прикажу слушаться новую хозяйку и вдохновиться — для светлых рождений. Оль, как я тобой ж и в у... как я нежу тебя в себе. Как я хотел бы в и д е т ь весь Wickenburgh! Когда будешь сильна, возьми экипаж и — одна — поезжай т у д а . Можешь и с Сережей. Поваляйся на земляничке, поцелуй трэфли и помечтай. И я услышу... и буду с тобой...

Оль, не могу оторваться от тебя, ты меня взяла и я стал — p o r t a b l e. Я весь складной! Оля, пойми меня... Я нежный, я так хочу лелеять тебя, только... только не мучиться тобой. Пречистая! Охрани Олюшу, пошли ей сил, здоровья! Пречистая — воспою Тебя! Оль, целую. Твой Ванёк

Вот-так ре-бус тебе! Так дети любят смаковать, чуть-почуть! — д л я (длить!) наслажденье. И — страстно и сладко любящиеся. Но такие — только мы, мы... Оля и Ваня. И оба — творящие, да, да! Впиваюсь в твой рот, жа-а-дный, пьющий...

Оль, приди... приснись мне «рыбкой»... прохладно-влажная, утренняя, троицкая моя березка! ли-лИ королевская... о, как ты — какое сладкое дыханье... как ты томно дремлешь, к а к я вижу тебя, Оль моя! сладость и боль моя!..

[На полях:] Сейчас же телефонируй по мастерам! Получи гарантию! — да!

Целую тебя вовсю и даже в м...ш...ку!

Ольга, ты вся наполнена вином, шампанская ты пьянка! Как мы «теплоту»-то пили!.. в Троицын день... Ах, Оль!.. ...

Если бы ты сейчас была здесь, я не спустил бы тебя с коленок, и... ... выпил в с ю! Гулька, как я... лю-бл-у!.. о, до боли!

---

[1] Как должно (*фр.*).

Именно не могу с тобой р а с с т а т ь с я..!
Весь излоскутился! Не смейся, киплю: суп будет!

13.VII.46 (Последний лоскуток)

Энный (какой по счету?!) N-ый лоскуток! Не могу, ты меня д е р ж и ш ь, Ольгуник... ты не отпускаешь, — и я не вырываюсь, нет... держи, крепче... прильни меня к себе... (этимологический абсурд, но почему бы и нет?! ...) Так, к а к я тебя люблю, — все точно, и к черту сушь этимологии! Мы творим с в о и слова, свой т о н! Язык идет от чувства. Поймет, кто любит. А твоя головка, твое сердце в с е поймет, ты чудесней и cinq-feuille'ев[i], если такие встречаются. Мы и их создадим. Наша любовь неизмерима, она ушла в 4-ое измерение, сверх-Лобачевского и Софьи Ковалевской. Если бы они з н а л и э т о..! Ольга, я тебе еще про-п о ю! Я не уйду из н а ш е г о с е р д е ч н о г о Wickenburgh'a... Я хочу видеть тебя ночной, у окна... — «и звезды глубоко тонут...» Я д о л ж е н пропеть об этом. Но к а к я вижу тебя!.. К а к слышу!.. — в с е, как звенит полусонный комарик, запутавшийся в локончике... он сосет тебя, подлец! Он... сме-ет!.. Он же опьянится, идиот!.. и... бедная его комарка!

Олюлька, как бы я тебе прочитал — «И земляника пахла, как т о г д а...» Какую музыку я слышу в моей п е с н е!.. Мы оба будем шептать ее, трепетные...

Все тот же Wickenburgh с е р д е ч н ы й,
И те же все — и небо, и вода,
И тот же вздох — лю-блю...: он — вечный.

О, как я могу, как з н а ю — прочесть! И как легко сродилось! — Но ты же з а ч а л а — во мне! Ты, чаровница, ударила своею нежной (!) сталью, своим кресалом по кремню во мне, — он брызнул искры... — собирай, т в о и! Сердце мое обсеменила, оно растет.

Пой, пой, светлая моя девочка... пой, упьюсь я песней... до-пьяна, до сладкого до-пьяна упьюсь... — и в этом — Ж и з н ь! сколько у нас д е т е й!.. Оль, какой пир — голодным, придет пора... какое насыщенье... какие же огни зажгутся!.. какие же зарницы заиграют в беспредельи... где мы, ж и в ы е... н о в ы е!.. Разве не космично это — в нас?.. Мы — из Великого Творила, Великого Затёра, — от Творца! Верь, Оля. Так было, решено: «да будет!»

Б у д е м — Е с м ы!.. Дай, чуть трону губки только вздохом... сердцем в тебя вольюсь. Весь пьян тобой, о, крепкое вино!..

---

[i] Пятилистник (*фр.*).

[Приписка на конверте:] Прошу адрес F. Tholen, пошлю ей книжку французскую — (пусть для Mr.) — за ее теплый дар.

449

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Glorifie votre Ange, beaucoup de Santé
J. Chmeleff[i]
16.VII.46 Paris

450

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5/18.VII.46

День св. Сергия Радонежского

Родной мой, светлый Ваня!

Спасибо за книжки — сегодня получила. И опять поражалась твоему живому остроумию: это для M-me de Bellevue!? Удивительный ты. Ведь надо такую увертку придумать! И такие слова посвящения. Вчера я была у одного издателя здешнего. Меня он очень благодарил за то, что принесла ему «Пути Небесные». Хотел их прочесть, но его не удовлетворяет только выписывание из Парижа французского экземпляра... Он — если убедится в том, что в Голландии будет «ход» «Путям», — хотел бы перевести и издать. Спрашивал о тебе и о том, какого типа эта книга и с радостью принял весть, что II часть уже написана, а III-ью ты пишешь. Поднял многозначительно палец к небу, прочитав твой автограф мне (самый официальный, конечно) и спросил: «так Вы знакомы с автором?» — «О, да, после чтения этой книги я сочла большим счастьем поехать в Париж и добиться аудиенции у этого писателя-современника. Мой интерес “протолкнуть” эту книгу у нас в Голландии диктуется исключительно желанием показать нашей современной молодежи Путь к небу в этой серой будничной жизни, подобные книги имеют огромное воспитательное значение для души каждого». Он был в восторге.

---

[i] Прославляю Вашего ангела, [желаю] крепкого здоровья. И. Шмелев (*фр.*).

«Madame — я бы очень был рад, если бы Вы взялись переводить эту книгу... конечно я еще ничего не знаю, масса всяких трудностей, но... если бы... то — могу я на Вас рассчитывать?» Я отказалась, сказав, что мой голландский язык недостаточен для этого, но что я знаю, кого ему рекомендовать. Записал мой адрес, — обещал писать. Теперь, получив твои книги, я, повыждав недельку-другую (время для его чтения), зайду и мило и очаровательно скажу: «Вы понимаете как мне дорог экземпляр с автографом — могу я Вам взамен его дать вот этот, который я выписала сама из Парижа?» Ну и узнаю, что у него наклевывается. Я сказала, что книга имеет большой успех, что в настоящее время запрашивают ряд стран твои книги для переводов, что мне самой предложили из Швейцарии переводить тебя на немецкий язык и т. д. Я сказала, что у тебя масса чудесных творений и т. д. Издатель — старенький, старинный, не только делец, но любитель сего дела, любитель книги. Прежде много читал русских писателей в переводах. Русское ценит. Человек положительный, порядочной и романтической закваски. Думаю — хорошая почва для «Путей».

Прочел вдумчиво заглавие и помолчал... Понял. Была в библиотеке и нашла крохи из тех пособий, что необходимы для перевода «Богомолья». Ваня, а «Въезд в Париж» переведен?[255] Это было бы чудесно. Если нет, если я хорошо переведу «Богомолье», — то в награду дай мне переводить и «Въезд в Париж». Я очень окрылена. Сегодня состояние души смятенное: болит душа за корову, — прежде времени (загнанная молодой лошадкой в канаву) отелилась мертвой телочкой, а сама лежит камнем.

Сейчас был ветеринар — велит колоть, т. к. сломан хребет и парализован зад. Это ужас! Первым теленком — чудная корова. Страдает. Не могу ходить двором. Сережа именинник, но мы так полны этим, что все отравлено. Сегодня письмо от Ксении Львовны. Она была готова взять с собой детей Ивонина и машинку. Я думаю узнать, нельзя ли ее просто сдать в багаж. Здесь я возьму автомобиль, а Ксения Львовна может в таможне пользоваться носильщиком. У нас «Continental». Собирается к 1 авг., если получит визы. Я уже думаю, как бы ей помочь получить голландские.

Завтра еду в Гаагу на дележ наследства монакского дядюшки. Какие-то крохи и мы должны получить. Серебро — фарфор и кажется ювелирное нечто! Посмотрю. Я в восторге от твоих писем последних! И так заряжаюсь работой. Только бы быть здоровой и вот бы мама была здорова! У нее болит все время голова, справа. Неужели какая-нибудь опухоль?

Была вчера у сердечного специалиста, — результаты сообщит письмом. Ваня, меня все же удивляет, что тебе не помогли мои капли. Этот доктор из Velp'а — чудодей. Мама только ему и верит. И мою-то почку только он ведь и понял. А тебе он радостно дал, сказав: «о, это я скоро поправлю!» Сообщи мне подробно, как они на тебя действовали. Ты у него занесен в каталог, у меня и карта твоя есть, — всегда можно к нему обратиться.

Здешнее правительство недовольно вывозом валюты из страны, и прошел слух, что закроют границы с Францией, Бельгией и Швейцарией, якобы с 15 июля думали. Вчера в газетах опровергли срок, но держат такой тон, что, мол, если не исправится публика, то придется «наказать», строгий обыск на границах. Нарисовала тебе малинку. Неважно очень. Извини уж. У меня трагедия с красками — нет того, чего надо и как раз почти все ягоды — красные. Срез сделан оттого, что слева был начат первоначально другой набросок ягод, но мне не понравился, и я под запал начала тут же новый, но не рассчитала места и вышло косо. Прости. Все тут мне не нравится. Только лист прилично вышел. Целую, Ванёк, тебя и крещу. Будь здоров. О.

451

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VII.46 Воскресенье, сумрачно и свежевато.

Голубка Оля, твои «ягодки» — пре-восходны! Всем нравятся!.. Влюблен. Е м. Прикнопил их. Почему никогда не пишешь — кому, от кого? Даже на «воздушной могилке» не означила! Объясни — почему. Могилка... — Лучше дать нельзя! «Хватка» тут идеальная, не чувствуется земли. Она — надземная!.. вне всего земного, — могилка даже. Ты — подлинная чудеска. Но вот что... — я провел ночь в мученьи, я горел... дьявол меня раскалял, язвил... — сколько я перестрадал думами, едкими..! Но тут есть и от правды. Представь, что я живописец, написал лик твоего папы... послал тебе. Ни — кому, ни — от кого. Но не это главное. Как ты легко, скользя, — чтобы не сказать жестче, — обращаешься с «предметом творчества»! Я бы так — на лике — или за ликом, — твоего отца... — ну, взял бы его за лоскут бумаги и стал бы крутить там о мелочишках дня сего... до «реверанса» в игривом «сердце»! «Реверанс» — дался тебе легко —

«в одну минутку»... на то он и «реверанс». Если бы — хоть две минутки, было бы лучше... — не было бы этого дурно звучащего, вязкого — «как пусть...» — я бы дал последние две строки — «Так пусть, девятая волна, — (про себя говоришь = *«я»*, = ты!!) — это было бы «поясняющее приложение»! — «Так пусть, девятая волна, — Взмыв, разольюсь у ног Поэта!» Лучше, да? Буренин в «Новом времени»[256] или Владимир Соловьев со Щедриным — д а л и бы тебе за это «разольюсь»! На то они и «зубоскалы». Но это «реверанс» — и потому — можно и так. А то бы они сейчас... «ч е м это г-жа поэтесса разольется? слезами? — гипЕрбола, понятно... или — ч е м еще?..» Ну, и пощекотали бы. Но реверанс, в исправленном виде, отличный. И я расшаркиваюсь. Не в том дело. А... в «легкости» и даже в неуважительном отношении к самой вещи, твоей. Какое содержание? И вот на обороте этого «содержания», так сказать, на гробовой доске... как на клочке, о... пустяках! Я бы так на обороте лика твоего папы! У меня бы рука отсохла... Т а к негодится «поплясывать». Тебе О. А. — ч у ж а я... что бы ты там ни писала о «туманце»... но надо немножко больше... чуткости. Ночью, воспламененный дьявольскими думками, отравленный, я хотел вложить в трубку и вернуть тебе... Утром я охладился, проверив себя... и остыл: «“скользнула” так, бездумно...» Не хотела же ты, т а к делая, швырнуться э т и м! Но теперь я не могу давать никому в руки... Или я бы, посылая тебе свою книгу, на обложках навертел черт знает чего! Ты оскорбилась бы. Нет, Оля... надо бо-льше уважения даже к матерьялу, на котором творится... — священнослужение это! И, конечно, мой «Завет» заслуживает не «реверанса», а углубленного приятия: я тебе дал о с н о в у, завет... — п р и у г о т о в л е н и е к служению, «благословение». Не нуждаешься — другое дело. Не «пел» тебя звучно и «стихией» не называл. Ты не поняла. Ты, просто, вышутила... «реверансом». Выходит — не по адресу. Во мне боль и молитва о тебе, а у тебя... — прыг-прыг?.. В храме не прыгают. Сего не трону больше. Видел за 5 недель, к а к хотят у ч и т ь с я... Неужели в с е — только «игра»?! Будь ты бездарь, плюнул бы... но ты же — «Божией Ми-лостью»! ты — для меня — з а л о г! я тебя ч т у, Ольга! И говорю с тобой с в о и м языком, н а ш и м. Одаренных б ь ю т!.. — м а с т е р а, — читай историю Искусства! Не шутки это.

Боюсь, как бы торгаши не обманули, — я все сделал, требуя достойных для тебя цветов ко Дню ангела! чайных роз, светлых, нежных... и за внесенное должны подать тебе — достойное! Но эти скоты... черт с ними! Напиши, чего они тебе навертели. Я требовал «идеального» для тебя, сказал:

«M-me — bien estimée, artiste[i], понимает толк в цветах, — художница!» Мне хотелось воскресить т е, первые цветы...

Твоя колотовка, кажется, чутье имеет... Помни, Оля: творчество словом — труднейшее из искусств. Большие поэты начинали рифмой... и, зрея, чувствовали, что мало свободы, переходили к р и т м у... прозой! Да, свободы больше, но... с л о в о — тончайший из предателей. С ним — осмотрительно! В с в о б о д е можно разнуздаться. Не всегда «слово-ритм» удавалось Пушкину. Гоголю — удалось, почти. Лермонтову тоже, лучший образец его — «Тамань», это еще Чехов отмечал[257]. Шмелеву стало удаваться во второй половине творчества. Он познал т а й н у, многие ее оттенки, маловедомые предшественникам и совсем неведомые современникам, включая и г. Бунина, у которого всегда на все — один тон, — он тугоухий. З н а ю . См. — «Богомолье», отчасти — «Чашу». «Солнце мертвых» и многое позднейшее. Ты владеешь «словарем», — удивительно! — девчонкой попала в чужой воздух. Но тебя спасли: одаренность, русская великая литература и — наследие предков — в тебе. У тебя великое чутье к с л о в у. Потому и в з я л а Шмелева, — п е с н ю его учуяла. Вот почему говорю тебе: будь осторожна со с л о в о м ! Лишнее, о д н о , словечко, — и все может исказить! Твое «ДОма»[258] — превосходно. Ты его отделай. Нет черновика — верну! Этот алмаз надо огранить в бриллиант. Я дрожал от счастья, за тебя. Я целовал твои строчки, «бисерные»...

О моем недуге. Мне *не* лучше. Правда, лоб меньше горит, но то же «стягиванье», будто на правом виске лежит гипсовая нашлепка и тя-нет. И страшно чешется бровь, кругом глаза... и даже за глазом! Крым очищает печень... я уже три недели на молочно-растительной диете. Я верю твоему гомеопату. Объясни ему точно:

Рожистое воспаление было остановлено (тройной) антистрептококковой вакцинацией. Потом мази. Потом — 4 раза — невероятные приступы «невралгия», в болевых точках будто в меня ввинчивали раскаленный стержень, и боль усиливалась прогрессивно до... «не выдержу»! — продолжалось каждый раз по 2 минуты. Кончилось, и началось стягивание, опускание века, глаз кровавил. Принимал дней восемь сюльфамиды. Глаз — по окулистам — в порядке, а все — следствие заразы, которая полупарализовала подкожные нервы, кожа потеряла чувствительность, — называют — «парэ-эзис» — полупаралич. Теперь чувствительность лучше, натянувшаяся

---

[i] Мадам – многоуважаемая художница (*фр.*).

кожа на правой части лба — мягче, проступили былые морщинки. Анализ крови дал незначительное повышение мочевины, «urée» до 0,56 гр. на литр, при норме — в 0,45—0,50. Глаз почти очистился, но чуть связан и пожигает. М. б. теперь гомеопат лучше поймет. Ведь — 4-й месяц! Не бойся послать лекарство почтой.

В четверг была Ксения Львовна. Она скучна. Читал ей из «Путей» — ахала. Она из «ахающих», скучно. Пресна. Я люблю «с горчичкой». Вот — ты!.. Ты вся по мне, из одного мы куска, разбитые. Главное, ты — д а р! в тебе — святой огонь. Но много и «пепла». Обласкивал Ксению, чтобы доставила тебе машинку.

«Цвейга»... — не у них учиться! — «из книг сличают». И не у Томаса Манна, конечно — серый ситный. Как наши Потапенки, Баранцевичи, Тимковские...[259] — скучное недоразумение, «сделавшийся». Вот уж без горЕнья-то! Сер. И таким — премию Нобеля[260]. А «нАси» выхлопотали, жена у него[261] — из них, писала мне ее кузина, моя Каточка[262], переводчица, — в Англии теперь она. Не знаю немецкого, но Цвейги — «легкие», и на язык бойкие, как ярмарочные болтуны и подобные им. Один писал романизированные биографии, другой — почти порнографию[263]. Не у них брать язык! Колотовка тебя мутит, через своего «насево». Я хорошо знаю о Цвейге по знающим язык. Спроси совета у И. А. Он тебя расцвейгит. Пари!? Читай-ка — попробуй — Эрнста Вихерта? Сужу по его статьям обо мне, переведены по-русски. Лексикон есть. Еще раз: *читала «Письма»* Чехова, *пять томов*? Ответь, спешилка, выпиши!! Постараюсь тебе выслать, если найду. Обогатишься, всячески. Мы его издавали, Книгоиздательство писателей. Умница! Много там раскидано замечаний о... как писать тебе. Тебе необходимо. Да и зачитаешься. Ч[ехов] — умен.

Детей я люблю... и понимаю твое увлечение девчушкой. Поцелуй ее за ушком. Пахнет хорошо? «О---йга!» Эх... Да, если приедешь, — на что не уповаю, — и если есть у тебя микроскоп, захвати: я хочу посмотреть, цела ли моя жизненная сила. Думаю — да. Ты мне рассказывала, как исследовали в клинике. Мне надо. Не ты, так я все равно... я тогда Славицу завлеку... Златку... я хочу оставить с л е д... Как люблю девчушек!.. Хоть одну бы... «О---йгу»!

Провалила пять недель (не забуду!), *ничего* не приобрела от моего творческого опыта!.. Если тебе *колотовка что-то* дала, так от меня бы... — гО-ры узнала!.. на образцах. Эх, Оля... У тебя самое ценное — сердце, его воображение! и — словарь. Ты умеешь в и д е т ь внутри себя! Все есть у тебя. Нет —

сдержки, ты торопишься. Помни: никогда не пиши «в горячке», охладись! Сколько бы я тебе всего сказал!..

Еще повторю: «Могилка» — превыше ожиданий! Надземное дала ты... воздушное. Ты — чудесна «хваткой», и не идиоту испанскому[264] петь тебе! Я его всю жизнь знаю, интуицией. Обыкновенный «любитель» при жене—сундуке. И ломает дурака. В художественных кругах Парижа его совсем не знают. Дознаю, чего он стоит, не шарлатан ли... наглец! С хвалений — интимных! — на-чал! Не «своднничали» ли тут Первушины. Подстроили «встречу» (белые нитки!). И тебя поволокли позировать! Оля, цени себя. Пусть в Латинском квартале ищет натурщиц! За это деньги платят. Ты не для натуры. Ты — творец! Идиот со слов Ксении Львовны[i] раскрывал тебя, говоря об одаренности: ему сказали раньше. Ты мне уши прожужжала, что сказал идиот, про твой рот, нос, лоб... Я тебе когда еще писал о твоем богатстве, забыла? Или я в твоих глазах не весок? Ты все еще каких-то подтверждений ищешь о твоих дарах... — колотовки, идиота, который горилл лепит... — твоего портрета так и не мог... — слава Богу. И что он носится с «розовым мрамором»! Увлечь... как же, весь Париж заговорит! Не заговорит. Он всего повидал. Идиот ищет шума... — славы он не завоевал, — я тебе дам данные.

Доктора К[линкенберга] я не считаю пустым, мне неприятным. Хотя бы по одному тому, что спас тебя. Хочешь, я пошлю ему книгу, сумею написать? Конечно, это не сомнительный лепильщик шимпанзе. Но ты сама... помнишь? — как сказала?.. «одного его хочу видеть...» «вот теперь хочу...» Потом — «это я нарочно». Эта «пылинка» пристала ко мне... «подорожнику»... мне известны подобные признанья, по собственному опыту. Как-нибудь рассказал бы...

Сон с О. А. — знаменателен. Знай: *она* указала тебе меня! *для важного* тебе и мне.

Никаких денег за книги не шли, не возьму. Не торгую. Издательство пришлет — с ним считайся. Я тебе выслал своих две книги.

Что делать с твоими франками — 600 и двумя беленькими? Напиши. Хотел бы маме что-нибудь послать... что? напиши. Сахару?

На нумерованных экземплярах написал проще — не хотел повторяться. На первом — для возможных читателей — чтобы больше чтили тебя! Я не преувеличиваю — у тебя «высокие

---

[i] В оригинале описка: Кс. В.

добродетели», но это не значит, что нет не-добродетелей: есть! и довольно. Не писать же о них, глупенькая.

NB!!! Цветную фото непременно пришли! так хочу — «молодку», в красном платье![265] Оль, пришли. От тебя пахнет лучше, чем от девчушки!.. ах, Олька...

Отлично, если бы колотовка выслала машинку, портабль — !!! — и побольше лент. Тогда уступишь мне, лиловую, в 13 мм — здешние — никуда. Не верю, чтобы Ксения уехала в Голладнию. [Разве] к октябрю попадет?..

Книгу мою начинают раскусывать... — одна культурная француженка написала Юле — «теперь не могу без нее, она — настольная у меня, каждая страница — столько дает пищи! столько — душе!..» На днях будет интервьё с каким-то от парижской газеты — очень распространенной «Франс-Суар», вчера просил «рандэ-ву».

Пришли мне лесную земляничку, как в «Богомолье», чтобы «звенела». Оля, каж-дая твоя картинка — счастье! А ты так... скупа... — и напиши — кому! и от кого. Я так их ценю!.. я целую их... молюсь на них!.. И еще малину!.. прошу! И бруснику... и — все, все!.. и цветы, и фрукты... плоды!.. Оль, это частица твоей души — мне, ты — не любишь посылать мне... а я дрожу от радости... — Оля, ты — хоть чуть мне радости дай, я так обойден, теперь... — я так одинок. Если бы тебя не встретил — я у ш е л бы.

Что творят с эмигрантами... — не читаю. Слышал, что уже заготовлены концентрационные лагери трех систем, для разных грешников. Бунин пишет похабные рассказишки, рвотное. Он кончен. Осталось недержание, похоть. Он всегда был склонен к ней и смакованью. Сила его — язык, лепит — видит отлично, и словарь хороший, но... душевной (и общей!!) культуры нет, нет сердца... — и от его писаний останется на срок немногое. В последнем рассказишке[266] — в американской «Летописи» — полторы странички: — «Гость», войдя в квартиру, где не было хозяев, повалил молодую кухарочку на... сундук и, заголив ей, ----- Все. — ??? Остается ему теперь «пробовать» на... гробу, могиле... — на всем — вже угу! даже под... вагоном!.. Впрочем, еще не дал на... крыше и в церкви. Но в церкви уже р а з д е в а л... поучительно. И это — н а ш а великая литература! в... «могиле»-то нашей!.. Это уже старческое слабоумие. В 76 л. Толстой в 76 лет писал шедевры... Бьернстернэ-Бьернсон — «Когда цветет молодое вино»...[267] Фет — ка-кие стихи давал! Тютчев рано сдал, но... измотал себя бабочками... и паралич его угладил. От него, правда, стихотворений 50 — осталось, но ка-ких!..

Юля мне по руке что-то нагадала... закрыла глаза даже... и не сказала! Вскрикнула — «что у тебя!.. не могу понять... вообразить...» Не сказала. Плевать. Очевидно, женюсь... на козе?.. Или — убью кого..? Она отличная хиромантка, еще курсисткой училась у знаменитой хиромантки. Сказала только — «какой пожар... блеск...» — ну, сгорю, плевать.

Не смею верить, что ты возьмешься за «Богомолье» — грёза?! ты так разбросалась, а «Богомолье» потребует... мно-го! Хоть ты... можешь скоро... но надо сделать пробу. Я верю, что кроме тебя — ни-кого! Ты — чудеска. Попробуй хоть 2—3 страницы без академических словарей! Про-сто... Ты столько нежности вложишь!

Да, «корова» не могла тебя вкусить... корова, жря лапухи и крапиву, жрет и фиалки... — не чуя.

Какую картинку видел, ездил заказать цветы тебе, на бульваре Монпарнас. Зачаровался! Сена..! утренняя, в синем все... туман, заря... ах..! Я так люблю стоять перед витринами художников. А музеи... мы с тобой все бы, кусочками... как бы вместе пили!.. Должно быть — что-то похожее, что видела в Утрехте. Будь богат, все купил бы, для Оли!.. Буду б... Фамилию — помню, Матье. Прэном[1] не помню.

Как счастлив, что ты и живописица, и ка-ка-я!.. Юлина фамилия... M-me Gentilhomme 332 Avenue Coubertin, St-Remy-les-Cheuvreuse (S.O.) — для Сен-Реми. Так надо. Для «Куликова поля» ты дала отлично... Но ты сама найдешь. «Марево» хочу отдать тебе... — наше это. Почему написалось... когда еще?! Как бы я тебе прочитал — одной! Как бы прочитал — последние стихи, и о подорожнике, и, главное, — о Викенбурге!.. Долго над ними поработал, дня три — 4. Стоило. Вчитайся... — там есть, знаю. Как бы прочитал!.. как нежно, тонко, грустно. Там — важное есть, Оля. Счастлив — тебе, мог. «Могилка» очень захватила Зеелера, он очень понимает. И ягоды. Просил — очень кланяться. Черная смородина — дивно! слышу лист, остро пахнет. И солнечный — красной. Все. (3-й раз поворачиваю, так взяло!)

Храни, Олюша, себя, не переутомляй сердечка. Ты так мечешься, за все хватаешься, треплешь сердце. С ритмом неизмеримо больше во всем успеешь, не в хаосе. Надо уметь ценить время и с ним обращаться, тогда оно отдает все. Пишу вот, а сердце мое томится, так я несчастен, без тебя. Зачем, зачем видел тебя, вобрал в себя твой образ?! Он не дает мне думать, сосредоточиться... так я тоскую, так истомлен!..

---

[1] Имя (*от фр. prénom*).

Оля!.. Все теперь мне постыло, одиночество так оголилось для меня, так я его выстрадываю... жду ночи, забыться... и не забываюсь. Я привык к ласке, меня теперь никто не приласкает... Всегда мне девушки, женщины были нужней мужской компании... — я вжился в мягкость, ласковость... сестры были, потом невеста, жена... и в срыв, крутой, и я чуть выжил. Потом — ты... семь лет томлений, сладких... в с т р е ч а, пугавшая меня... я понимал, что с этой встречи мне станет не по силам жить без тебя... так и вышло. Ты покинула меня... ты даже не предупредила, когда покинешь... ты — б р о с и л а! с а м а, не захотела даже, хотя бы из тени чувства, спросить... сказать — так, вдруг — еду! Это было так жестко! как нож в сердце... я похолодел. Нет, з н а ю... ты меня не любишь, к а к л ю б я т... — а... так, забавка это для тебя... у тебя — пристань, где ты стала на якоре... до конца дней. А — со мной... так, «мечтанье»... игра воображения, — н а р о ш н о. И это объясняет многое в наших отношениях. И я теперь не знаю, — я думаю об этом, да... — не лучше ли... сразу, совсем, отвесно, оборвать?! ... — чем т а к «играть в любовь», в самообман... как играют дети «в мужа и жену». Нет, хуже... — дети чистые... А жечься на с в о е м огне... Ах, как мечтал я!.. как бы мы наполняли жизнь!.. как полно, глубоко, и то-нко!.. В образах, мыслях, делах... и в отдыхе, красивом, зрелом, полновесном!.. жили бы в воздухе искусств, высоких, нас достойных!.. как бы душа горела!.. каждый час — н е пустой, не одинокий, не тусклый...

Оля, я люблю... я знаю, к а к я люблю... как н а д о л ю б и т ь. Трудное искусство — любить и ж и т ь. Теперь я его знаю... — и поздно. Меня уже ничто не завлекает. [Я]... к а ч у с ь... по толчку качусь... — и безразлично. Трагическое случилось в моей жизни, знаю, эта в с т р е ч а... еще до я в н о й. Обманула, обещая... Вот, как пели музыканты[268] в моем рассказе — («Въезд в Париж») — есть там рассказик... уличные музыканты... «Ты обещала... Ты обеща-а-ла! жи-и-изнь»... «Тю м’аве проми... м’аве проми... Ма ви... ма ви-и-и...»[i] да, кажется, «Песня». «Илюзион пердю... промес... па-з’акомпли-и..!»[ii] Рассказ, помнится, довольно крепкий... Т а к я теперь его с о б о ю замещаю, ч т о в нем и почему написано... — и т о г!

---

[i] «Ты мне обещала... мне обещала... Моя жизнь... моя жизнь...» (*от фр. Tu m’avais promis, m’avais promis... Ma vie... ma vie...*).

[ii] «Мечты погибли... обещания... не исполнены!..» (*от фр. illusions perdues... promesses... pas accomplies..!*).

Ну, оставлю. О, солнечная моя... зачем, зачем узнал тебя?! ... девочка моя... несбывшаяся мечта моя... Сто-лько дать людям... — зна-ю же! — и так измучиться, и получить пять су... как уличные музыканты... Если бы я мог пить!.. но я не могу... сейчас же заболею... страшными болями. Я и теперь болею... валюсь... легчает... и все один, один... и это жженье лба... это напоминанье... о 5 неделях!.. как кошмар... Прости меня... невольно это. Было мученье... но и счастье было! Как я, порой, — ты этого не примечала... — любовался Олей, запоминал движенья... шажки, дыханье... наклон головки милой, такой умной! И это дорогое мне лицо, чуть исподлобья, из-под шляпки, — дверь открою на твои звоночки-стуки! — О-ля!.. — милое лицо! чуть легкое смущенье... м. б. тревога — «вот, жестко скажет...» — как это пронзало сердце! — а во мне кричала смута, и жалость, и радость билась... счастье... — «*еще* со мной...» — и сомненье, — «нет, она не любит...» — все вместе, не передать в с е г о... и самолюбие... — «так стремилась... и так не дорожит часами!..» Ах, Оля... Разве э т о н а ш е?! Наше — любовь, доверие... и дружба, о, сильная какая!.. я ее чувствую. Как мы чудесно одинаки! и пыл, и страстность, и нежность чуткая души, и одаренность, «Чудо дано! пойми!!..» — вот, кричу, сейчас, как мой несчастный в «Мареве»[269]. — «Не повторится!..» Ах, это «Марево»! Напел себе, сгадал. Одной тебе прочесть бы!.. О-ля... растерялись мы... Рыбинск, Белозерск... — так близки... Ты была восьмилетка, был я в Рыбинске. Утро на Волге помню... Чувствуешь, с л ы ш и ш ь, к а к а я в «Мареве» — Россия?! Можно бы из «Марева» фильм сделать!.. ка-кой!.. — с у т ь -то дать... — две разошедшихся дороги — в с т р е ч а!.. и... Вальпарайсо... это «трио»!.. — «разбитое трио!.. Н а ш л и!.. да, наконец, н а ш л и! Апофеоз России. А Белозерск!.. Теперь мне не до этого... — м ы н е н а ш л и с ь... Обнимаю, всю. Ваня

[На полях:] Нет (пишу уже д р у г о й — 22-го), это так, не подумав, ты, ты — ч и с т а я, в с я! (все устраняю — все последующее, я — я ошибся, конечно. Ты — нежная, ты — святая моя, и мое — т в о е, да?.. О н а нас благословила, Оля... я знаю. Она знает, как ты нужна для всего, и для твоего искусства, и для — моего!..

Олюша, верни мне машинописное именинное письмо! Я послал тожественные[270], боясь пропажи, т. к. «заказным» боялся тебя «спугнуть». А этим письмом я дорожу. (У меня нет сил править, — я это писал вчера (21) а сегодня, после твоей малинки и письма — я весь в трепете от тебя, от томящей, нежнейшей любви к тебе, девочка света!)

Оля, как хочу твоего у ю т а! теплоты... Ой, сердце...

Ты ароматней всех девчушек.

Оля, дай денег золовке (я сосчитаюсь с тобой) и попроси ее послать мне в посылке исключительно гречневой крупы — «Kascha». Денег в Америку пока не переводят, а просить никого из знакомых не хочу, одолжаться. А мне, при болях, помогает.

Черная смородина и красная — дивно. Листочки... — да я за-пах слышу! Или ты сомневаешься в моем «понимании». Мне знаменитые художники — Поленов, Коровин, Крымов[271], Васнецов... — говорили: «дочего вы тон-ко оцениваете!» И *все* меня любили — писателя «У вас — па-литра-а!..» — правду говорю.

Иван Иванович дал прекрасные космические стихи![272] Молодец.

Обнимаю, всю. Ваня

452

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VII.46 Понедельник, дождливо. 6 часов вечера

Светлая моя, бесценная, радость-Ольгуночка.

Утром твое письмо. Как утешила! Малинка... — не налюбуюсь, целую. А только вчера — в другом письме просил — «малинку дай», дар ты чудесный! Оля, как с в е т л а , как говорит сердцу твоя березка-Крест! Сейчас вот только что был один, очень художественно-чуткий... — захвачен! Он составляет книгу «Русский некрополь» (Сент-Женевьев Русская усыпальница). Зеелер, друг Репина, тонко понимающий живопись, — сказал — «ка-ак дано!..» О, я вижу, я та-ак в и ж у!.. Я так счастлив твоими дарами, твоим Д а р о м! Чудесно в с е. Как ты могла на «клубничке» написать — «простите бездарь» — ??! Она — чу-де-сна. Я прикнопил на стену — любуюсь. Все — ж и в е т. Ах, сердце мое, только бы ты была здорова! Оль, — чувствую: здесь, в Париже, надо творить тебе, в воздухе искусства. Правда, Париж требует от творящего сильной сдержки, крепких обручей для воли, раздольности ее. Ско-лько всего тут! какой же разжиг!.. Лучше, конечно, п о д Парижем, в природе.

Целую твои ручки, преклоняюсь, обнимаю твои ножки, в е с ь в тебе!

Сейчас у Эмерик говорили (уславливались об интервьё с литературным хроникером «France Soir» (тираж 450 000 №№)):

какой-то — очень художественно-культурный французский доктор[273], купивший книгу «Пути Небесные», сказал: «весь захвачен... затоплен н о в ы м!..» Пой-дет, — и самотеком!

Как дорога мне, светик-Оля, твоя забота о книге! Сердце твое целую, родная, друженька моя, подруженька. Только о тебе, весь — в тебе. Т а к, кажется, до такой степени не было еще, хотя я в с е г д а с тобой, о тебе... Сейчас — ж и в у, — т о л ь к о тобой, т в о е й силой, которую... вот... ч у в с т в у ю, как никогда!.. Ты растешь — растешь, моя богатырша-творица... ты — уже е с т ь... но какая же ты бу-дешь!.. Только — держи себя в мере, — «в мерном круге»! Не горячись, не разгоняйся... — в с е придет, — в избраннейшей форме отольется. Все, все, что хочешь... не нагружай себя только. Из «Въезд в Париж» (томик) переведено на немецкий язык — «Птицы» (Кэт Розенберг), «На пеньках»[274] (Артур Лютер). Но самый рассказ «Въезд в Париж» — н е переведен. Если воли твоей есть — бери, бери, переводи! Ты же — л у ч ш а я из л у ч ш и х! верю, з н а ю.

Болею с тобой за коровку. Не мучай себя, Олюна. Буду просить Ксению Львовну н е пременно взять машинку «Континенталь»! Напиши скорей, каких тебе красок, лака... (недавно и тут трудно было с лаком!) — я все избегаю, добуду для дорогой моей «малинки»! Наведу все справки, побываю и у художников, по совету Зеелера. Он знает из них многих, лучших. Мне, м. б. уступят они, — читатели же! Сегодня получил «аттестацию» от одной в ' у м н о й женщины (случайная встреча у Эмерик) — «Самый любимый!..» Слыхала-видала меня в Salle Ga[нрзб.]t — читал я... лет 15 тому. «Но как Вы похудели!... и — не постарели». А когда мы разговорились... — «Вы в с е т о т ж е... ка-ак Вы ч и т а л и!..» И в с е помнит, ч т о читал. Представь: «Человек из ресторана» (ему 36 лет) — до сих пор читается и б е р е т. Это она же мне и сказала. Я все это з н а ю. Но мне радостно написать тебе. Но, Ольгуна... я в с е помню из твоего «ДОма». Чудесная, как мне тебя назвать!? ... Ты — в с е можешь... в с е, Ольга! Ты — г л у б и н н а я в о л н а, ты перлы выплеснешь... Почему надумываешь себе худшее, в нездоровье мамы?.. Головные боли — от разных причин. Вот, у Ивонина — 5 лет! ка-кие!.. Он плох, сказал доктор. Мальчик уехал с французскими детьми, в летний кам[i]. А он должен доламывать себя на Рено, вместо санатории. Ох, тяжко все... болею этим.

---

[i] Лагерь (*от фр. camp*).

Милка, верю гомеопату твоему. М. б. легче-то стало от его лекарства. Но стЯженье в виске и у глаза продолжается. И — чешется. Мяса совсем не ем. М. б. что другое назначит? Шли почтой.

Непременно отпиши, что с твоими деньгами. Ксения Львовна купит тебе, что надо, — изволь уведомить! Ох, как тебя целую!.. как ценю!.. Как лелею... как молю простить мне «бунты»!.. в с е... Я тебя свято люблю, бо-льшой любовью... если бы ты могла ее почувствовать!.. Напиши, какие краски и лак. Твои ягоды и святая, воздушная береза под крестом (!)... — изумительны, — теперь я отдыхаю... — тебя вижу в них... Тебя — драгоценность. Ты — ох, какая ты! И «реверанс» — крепко дала, молодец! Игривая ты, с огнем. Такую... — жизнь отдать можно за тебя. Без тебя — тьма. Олюня, Ольгуня... как лю-бу-у!.. «О---йга!..» Твой Ванёк

Сердце горит тобой, так л ь е т с я там любовью... вдруг захолонет-захолонет... ах, Олю хочу видеть!.. Не могу, му-ка без тебя!.. тьма... Я разбился, не присяду за работу, все о тебе, все с тобой... — так з а п о л о н е н!

Ах, эта прогулка в Wickenburgh! Это — «ДОма...» — я в и ж у с и л у — я в восторге!.. Я вижу твои возможности, — о, давно вижу. Но работать надо, над с л о в о м — формой, когда будешь писать сложное. И в с е преодолеешь! Оля — надо как-нибудь 10—15 дней побыть вместе — разработать вместе 2—3 рассказа... — все усвоишь. То, что искалось десятками лет — ты в 2 недели найдешь. Не могу без тебя!.. О-ля! Как тоскую... места не найду.

Ты — н е о б х о д и м а... мне... Прости, это не эгоизм, это мое великое счастье-горе!.. Я о д е р ж и м тобой, — ну, представь: я помешался на чудном творении великого искусства — твоей Душе! Твоем Даре от Бога. Ты — драгоценно-и к р я н а я... — таких не найти... Ты в веках... т а к а я... Я тебе да-вно писал о «сундуках», о твоих кладовых — и о ключах к ним... — по-мнишь? Я в с е помню. Как нежно-страстно целую, всю... льну в твой уют... в тепло, к тебе... рядом... только обнять тебя... можно? Чуть, нежно ласкать?.. Твой Тонька

[На полях:] (Нет, я знаю, ты на обороте «березы» написала вовсе не думая... ты — как художник... — они часто не ценят «тыла»...)

Думаю [все]: послезавтра Ольгуночка — Св. Ольга... и — свечусь тобой.

453

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.VII.46

Ванечка, голубочек мой милый, все нет и нет от тебя весточки. Здоров ли ты? Думаю о тебе все время, живу твоим, вдумываюсь в твое, так хочу достойно переложить твое дитя в немецкую «люльку» и ничем его не исказить. И спрашиваю себя, достойны ли читатели-то его?? И нужно ли такое давать чужим? Ванечка, 24-го буду думать о твоих датах душевных в это число. Помолюсь об О. А. Когда-то это был для тебя светлый день. М. б. у тебя будет Юля, — вспомните тогда м. б. и меня. У нас будет вероятно суматошно 24-го — уезжают американцы 25-го, и 24-го прощальный обед в Woerden'е. Все эти дни шли дележи имущества покойного старичка, при коих кое-кто показал себя с довольно-таки мерзкой стороны. Я высказала свое мнение недвусмысленно по сему поводу (т. к. некоторые вопросы касались меня, а я не терплю, чтобы меня в дурах водили, хотя бы сами по себе объекты меня и не интересовали, и я бы на все сама по себе плюнуть могла). Заявила вчера при всех: «какие бы отношения у братьев между собой не были, меня не касается, флюнтик[275] должен самому себе дать отчет в своих выпадах против брата, но ко мне лично я требую, не прошу, а именно требую такого отношения, какое я в своей жизни заслужила». Для меня Kees — мальчишка, — которому я не позволю ничего в отношении себя, что бы не соответствовало моим требованиям в отношении себя. В противном случае, как бы это остро и неприятно не было — они меня в своей среде не увидят в присутствии сего «мальца». Съели и облизнулись. А завтра я еще продолжу по деловой стороне и докажу без повышения тона черным по белому, что они и жулики. Заявлю при том, что все это барахло меня не интересует, но хочу принципиально утереть им нос. Американец разглядеть то же успел и уже мне тоже жаловался на флюнта. Такая с.....ь. Ну, довольно, довольно через меру! Хотела тебе только мое повседневье изобразить. В воскресение крестили девочку. Было хорошо, но до тошноты томительно в церкви. А наш поп Дионисий укатил на вокат[i], и в Ольгин день службы не будет. На преп. Сергия, Сережа собрался в церковь и уже в 6-30 утра выехал из дома, чтобы заранее добраться к началу службы. Дверь оказалась на замке — в 7 ч. утра откатал обедню с одной из мироносиц, т. к.

---

[i] Здесь: на отдых (*от нем. Vakanz*).

той надо было идти на работу. К 10 ч. явился псаломщик, который тоже не знал, что батюшка уже изволит почивать с трудов праведных. Так без молебна даже Сережа и явился домой, ощутя такую поездочку — с 6-30 — 13-30. Ни на дверях храма, ни где-нибудь еще не было сообщения о такой ранней службе. Псаломщик даже не знал. Но к таким фокусам настолько привыкли, что никто даже не удивился. M-me Лукина выкатилась из дома, живет отдельно, а у сына не бывает, и громко заявляет, что «Ане (голландская мироносица, так называемая “игуменша”) его содержанка». Мило? Очень жалко, что поздно встретила о. Евграфа[276], надо было несколько раз наседать на него и требовать перемены нашего безобразия. А теперь вот сидим так... без ничего. Я не могу быть без церкви. Ты видимо сильнее духом, что так подолгу можешь не бывать. А я опустошаюсь, не могу. А теперь до того дошло, что и не тянет. Не могу Дионисия видеть. Ну, будет! Но знаешь, — перед именинами особенно хочется всю эту гадость не видеть и хорошо помолиться.

Мне очень грустно. Ах, больше, чем «грустно» — но ты как-то меня не понимаешь. После твоего дивного письма «лоскуточками» больше ничего нет. Ты еще не получал березку? А малинку? Я, урывая минутки, ее рисовала. У меня ведь застряла больная девочка тогда. А потом еще 2 дня родители ее были. Ты не бранись! — я очень люблю ребятишек — не могла себе в этом отказать. Она премилая. Ведь я тебе все наоборот тогда в лесу говорила. Я до боли люблю детей. И тогда... ах, как мучительно это было — я, глядя на них, особенно мучилась моей несчастной жизнью именно оттого, что их нет. И не хотела их видеть. Ты не понял. Тебе это было дико, как каприз. Ну, забудь и сейчас, что теперь сказала. Все равно ничего не воротишь. Никто, никто не знает, как я страдаю. Ты — меньше всех, т. к. теперь ты лично-своим закрываешь глаза на мое. Но не корю. Я понимаю. Я очень нежно, ласково, светло тебя ласкаю. Ми-лый — дорогой мой Ваня. Ландышек ты мой, звездочка моя, зорька ясная! Ванёчек ласковый, добрый, светлый, кроткий, хороший мой. Ванечка, Ванёк, дурашечка моя преумненькая. Душенька моя родная! Ах, Ванечка! Ванёчек, голубочек, мотылечек, василечек. Обнимаю тебя и нежно трусь щекой о глазки твои. Целую тебя и благословляю, и много-много думаю о тебе.

[На полях:] Ольга, твоя именинница

Поздравляю с собой — именинницей!

Запросила 2-ой раз разрешение на посылку тебе — одну вернули. Жду ответа на 2-ой запрос. Скоты позволяют только количество на 1 неделю. Мало.

454

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.VII.1946 Вторник, 10-20. Солнечно с утра, туманится...

Крылатая Ольгуна, радость..! Встал — и долго вбирал ягодки твои, твою воздушную «березку» — радость. Сейчас перечитывал твои тонкие «сосульки»...[277] — это лучше, чем — «ДОма»... Крылатая бессознанница...

...И все на крылышки глядит,
И перышки перебирает...
Перебирает — и не знает,
Что уж давным-давно летит...

Милая бессознайка!.. Это-то и дивно, это-то и утвержденье! «Ягодки» меня заполоняют, все больше, глубже... «Березка»... — да ты тут вся! Это отдаленье!.. Если бы ты — здесь! Рухнул бы к твоим ножкам и целовал божественные руки твои! твое сердце!.. Ты — такая своя, что я немею. Хвала? Нет: радостное изумленье. Счастье. Безнадежные сети (не для тебя у меня — безнадежность — а вообще, в жизни!) — вдруг! — вытянули из глубины перл дивный! Да нет же... нет: они давно выловили... — и знал я, чутьем ловца, что в раковине этой... И вот, раскрывается она, в ворохе ила, водорослей... — блеснуло перламутром, — вот она!.. Какая теплая, живая!.. блещет в своей улыбке солнцу, — дрожат руки... Ольга... О---йга!.. В лицо смотреть не смею, так ты ярка!.. Как нежно тебя я видел у... издателя!.. Девочка моя... заботка! Вся — доверие, вся — чистота, ребенок... Ми-лая... как я ценю твое движенье! Будь покойна: «Пути» найдут свои пути к чужому сердцу... сами. Но этот лепет (да, милый, светлый, детский лепет и радость-гордость Ваней...) — О-льга!.. Силу в меня вливаешь, трепет светлый.

«Пути» пойдут своим путем,
Покорны высшему веленью...
И мы свои пути найдем —
Прибудем в срок по назначенью!..

Пишу вот — «кусок» лапками перетряхиваю, как кошка печенку: «не повалявши — куска не съест». И что у тебя за словарь! «Ягода малина — к саду приманила!» Одно из многого: «Сладка малина, да только... поманила...» Много я про малину знал, но твоего не знал. «Красна калина, а все не малина!..» А малиновый звон?.. — Томный, — «не трожь — помнёшь!» Что за чуткость души — слова русского! Глубина.

Звон — боится касанья, дотого предельно-полон! коснись — и лопнет, и потечет, — до чуткой полноты набрякло! — в немто!!.. Бархатный, как щечки у малины... в пушку. На твоей малинке — что за пушок! Ты видела, чуяла, дивная?! ... Живет малина... — вот засочнеет... какая брякл ая. Благодари Господа! ягодка-то какова, малинка — О---йга!.. До чего сочна — переплеснешься. Как тебя звать-пропеть?! ... Не знаю. Одно я знаю: — вся, созрела... Текись!..

О, как целую!.. как благоговейно-сладко! Вань

[На полях:] Оль, ты меня распела!.. Мне некуда девать себя: ну, в стих — тебе?..

Как живу Тобой! Как горю, не сгорая, парижская Купина Неопалимая!

Взглянув на стенку:
Как ягодки — она созрела,
Малинка сочная моя!
Она малиновкой запела,
Полней, нежнее соловья.
Она смородинкой алеет,
Она вся солнечно сквозит,
И, в бликах, матово чернеет,
И, в щечках, вишнею горит.
Она — пониклая береза,
Обнявши Крест, вся — грусть, стоит...
О, чуткая, святая греза!..
Вся в небе, над земным парит.

Черная смородина — сверх-браво! Я ликую! Вся комната — в свете!

Ты промазала: клубника — предел, семечки ноготком зацепишь. О---йга!

Нет у те бумаги — вот, на!..

[Приписка на конверте:] Коровку жалко мне... нет, нет...
Мне больно... — больно... нету слова!..
О, если б та оранж-корова
Сломала жирный свой хребет!

455

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.VII.46 10 ч. вечера

Не откладывая, села у твоего дивного букета, необъятный мой Ваня, и отдаюсь этому прекрасному чувству — рас-

троганности, благодарности, восторга, умиления и удивления. Так похоже мое состояние на то, которое я переживала в Wickenburgh'е при получении первых твоих цветов! Тогда я никак не ждала, потому что еще ничего о твоем ко мне не знала, не смела думать. Теперь тоже никак на ждала. Разве можно уже слать? Я так ошеломилась, когда, выйдя на целый залп звоночный, я увидала мальчика с длинной коробкой от цветочника. Я даже испугалась, — так много... мне всегда бывает как-то стыдно получать так много. Даже подумалось: «Господи, неужели Ваня...» и хотелось, чтобы ты, и отчаянно стыдно... ну я бы за память только и одному цветочку была также рада... Именно испугалась, что ты так много... Разве так можно. И как же разочаровалось... по-французски так холодно, так не по сердцу. Свое только говорит сердцу. Почему ты по-французски? М. б. нельзя иначе было... Не знаю. Чудесные розы... Желтые. Я не очень люблю такой желтый цвет — они слишком холодновато-мертвенно-желты. Я люблю чуть-чуть с «румянцем». Как однажды от тебя мне купил Сережа. Я их тогда нарисовала. Так рада, что сегодня как раз устроила мою комнатку уютно. И вот цветы... в двух вазах, самых лучших. Сижу и на столе они, а чуть поодаль на шкафчике перед твоим портретом другой букет. Тонко благоухают. Ванюшечка, дай ушечко, шепнет тебе моя душечка, как обогрел ты свою Ольгушечку, дорогой мой милушечка.

Жду, жду завтра... наверное будет письмо. Ах, как жду! Но почему ты мало пишешь? Как ты живешь? Я очень заряжена желанием работать. Буду ездить в библиотеку, — там есть кое-какие словари.

Надеюсь на И. А., — писала ему.

Запросила разрешение на присылку пишущей машинки, если из Франции выпустят французы, то Голландия наверное впустит. Ксения Львовна по-моему совсем «растеклась» от усталости. Не думаю, чтобы она превозмогла себя и собралась. Но м. б. можно прислать как «fracht»[i], т. е. грузом. Здесь это можно. Ванюрочка, Тонечка, ах какой родной мой мальчик-Тоник, какой ласковый, нежный... Так хочу тебя мыслить нежным, кротким... О, как хочу писать! Я думаю, что устрою хорошую обстановку для работы. Только бы здоровья мне и маме. Она очень устает и последние дни чувствует себя слабой.

Я тебе мою комнатку-светелочку нарисую. Она уютна и светла. В ней легко дышать. И на стене часы-кукушка. Много цветов.

---

[i] «Груз» (*нем.*).

Ванечка, вызываю тебя в мыслях, и так нежно-нежно милую.

Дорогой мой дружочек, миленький, особенный, гений мой, гений — общий и мой, особенный еще мой гений. Тебе буду писать, для тебя и в твое имя. Хочу дать хорошую обложку для «Богомолья», но конечно сперва спросив твоего согласия. Будешь ли ты на могилке у О. А. 24-го/11-го? Наверное, это еще очень сложно. Кто бывает у тебя? Александр Николаевич не забывает? Он — светлая душа. Кланяйся ему от меня душевно и его Марии Михайловне, Юле, Ирина тоже славная. И старушке, пусть я не по душе ей пришлась. Но она труженица. Мне вдруг все как-то вспомнились и так все дорого, что вокруг тебя! Как это было все доступно — ежедневно всех их и все видела в твоей близи. И все так и осталось... И Bellevue все так же красиво манит из душного города в свою синь. И Сена такая красивая... Все это такое тогда постоянное: Pont de Sevre... Pont de St. Cloud![i] И каждый-то раз билось сердце, когда читала это название в Metro. И бежала, всегда бежала, никогда не шла, мчалась. А ты-то не знал этого. Ну, и в душонку-то мою бедную не мог глянуть. Как трепыхалась. Я всегда бьюсь, вроде птички, попавшей с воли в комнату или клетку. Не прыгаю чижом привычно с жердочки на жердочку, а вся мечусь и бьюсь о стенки. И ничего с собой не могу сделать.

Ах, как прекрасны стали розы, — они стали больше открываться и стали нежнее, мертвенность пройдет, они будут нежно-желты, очень тонки. Вижу. Чудесны, Ваня, твои розы... Целую их и в них тебя! Ах, комнатка-то: против двери окно, во всю длину стены широкий подоконник, под ним книжная полка. В правом углу икона, а на стене висячая вазочка с цветами. Углом стол. Стена правая: полочка очень элегантная с фотографиями: мама, папа с Сережей и ты. Твои такие сердечные яички (4!) пасхальные. Дальше зеркало и рядом с ним полочка чуть побольше, там — ты в красном переплете и Пушкин, и Тютчев. Стена против окна: дверь, «кукушка», китайская вышивка по стене, маленький шкафчик с заветным моим самым. Над ним твой портрет и перед ним стоит букет. Левая стена: на стене ковер (по стене кровать-шезлонг), дальше к окну пестрый, вроде русского, платок и на его фоне фотография девочки Наденьки, моей питомицы[278], теперь барышня-невеста. Вот и все. Как-нибудь нарисую. А пока: закрой глазки и вообрази. Ты это умеешь. Лампа висит защищенная снизу абажуром, так что свет очень мягкий, а у стола горит для работы маленькая.

---

[i] Севрский мост, мост Сен-Клу (*фр.*).

Я сижу и думаю о тебе.
Спокойной, доброй ночи!
Спи хорошо, мое солнышко.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Обнимаю тебя и целую.
О.

456

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11/24.VII.1946 Ольгин день

Читал — одобрил[279].

Сейчас с панихиды, 6 ч. вечера. День изнеможения, и жара — 32 в тени. Присутствовала и Эмерик. Провинциальные отзывы о «Путях» — прекрасные, пока. В понедельник — энтервьюэр... сейчас смотрели твою «березку с Крестом»... Юля и Вера Алексеевна Зайцева, жена писателя[280]. В восхищении. Обе. «Молиться хочется!»... — вот как твоя Душа, твой особливый дар — взяли. Оль, я весь с тобой. Тобой жив, дышу и... хочу работать. Недуг лучше! М. б. это след лекарства гомеопата. Не проси другого средства, стяженье очень слабеет. Только сон плох... вот для сна — спроси!

Оль, все твои «ягодки» вызывают восторг. Я все поместил на-виду! Как чудесен канал! А яблоня..! ... Оль, чу-де-сно! Ты все можешь. Олюна, работай, дружок. Как летит к тебе сердце!.. Весь заполонен тобой, бесценной, единственной... О, как жду тебя!.. как зову — О---йга..!

Всю целую. Вань

[На полях:] Сейчас прочту Юле твои «Сосульки».

Пиши. Письма и творческое.

Какая невесомая нежность к тебе, весь в свете — от тебя!

457

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11/24 июля 1946 Ольгин день

Дорогая моя голубка Оля... Сейчас к 11 часам вечера. Я один. Думаю о тебе. Весь день ты со мной, ни на минутку не расставались... — только за панихидой делал усилие — молиться. Сейчас наш час, моего зова к тебе...

С утра развешивал твою красоту, — все девять, чем одарила меня. Чудесно! Считал минуты до полудня. Вот, ты получила одно из моих — дубликатных — писем (машинное и рукописное, (копия), чтобы в случае пропажи, получила, вернешь мне машинное: заказным, как писал, не хотел тебя тревожить). Вот, около полудня: тебе должны были подать розы. Не знал, где ты: м. б. уехала в церковь... Вот ты все прочла, всю мою ласку приняла в сердце... Сам не свой... Все — ты, ты, ты... «Береза»... как хороша! Какой от нее свет! Мне легко с ней... 4, 5 ч. ... Юля. Привезла цветов. В церковь. По дороге примкнул А. Н. Меркулов. В церкви — Эмерик, нарядная, легкая, в розовом... — почтила память ее. Меня это очень тронуло. Хорошо служили. Эмерик сообщила — писал в Юлином письме! — об отличных отзывах провинциальной печати о книге, полученных издательством. Сияет. Отлично отзываются и о переводе. Она скоро выходит замуж. Вернулись, без Эмерик, — ее ждали по делу. Пришла Ксения Львовна, цветы, белые. Растроган. И Юля, и Ксения Львовна, и В. Зайцева — восхищались, как чудесно дала ты — «вечное упокоение земное». Живой восторг! Как я светел! Все, все твое — говорит! Вечером Мария Михайловна с А[лександром] Н[иколаевичем] — все о тебе. Мария Михайловна восхитилась — «ах, какой дар!» Я светел-светел. Ты светишь во мне. Читал твои «Сосульки». Как почувствовала Юля!.. и все. Я себе мог позволить это, зная, как это чутко пережито-дано! А. Н. (он был пансионером) сказал: «как верно!» О, моя творица... да, все верно, чутко. Сердце!.. — а это 80% всего в творчестве. И — все чувства, в полноте у тебя. Вбираешь. До 1/2 11 сидели Меркуловы. Ушли. Сейчас 11. Я зову тебя: О-ля! Ольга моя!.. Слышишь?.. как я весь — к тебе. Ночью — проснусь — тихо зову — «О-ля... можно к тебе?..» О, целую, голублю, ка-ак ласкаю!

Ксения Львовна надеется скоро отбыть, хотя еще не получила паспорта. Я не уверен... разве к половине августа?.. Послали ей визу? Просил ее взять, во что бы то ни стало, Континенталь. Ответь же, есть ли в Голландии запасные части (всякие) для Remington Portable? Тогда свою отдам. Краски, лаки... — скорей дай знать. Ольгуночка, как ты прекрасна — вижу — сегодня. Как мы с Меркуловой любовались твоими портретами. Она в тебя влюблена. Я пел тебя (скромно, умело!). Признала, что в увеличенном портрете сходство с покойной Императрицей А. Ф.[281] Да. Особенно если чуть срезать «скульце» — о, какое милое! в нем такое для меня... о, ми-лое!.. Я по-новому влюблен в тебя! Я снова

переживаю те дни июля—сентября 1941 г.! Но теперь — ты мне — все, ты почти моя... я тебя всю знаю, и ты меня. Вера Зайцева нашла, — «как вы помолодели!..» Я... я похудел, но, должно быть, в глазах жизнь... тобой?.. Я хочу, крепко хочу писать. Мне лучше, стягивание почти опало. Оль, узнай у гомеопата — от плохого сна: ну, скучно же каждый вечер — гарденал: я не люблю наркотики. Оль, я очень хочу... тебя. Ни-кого. Не женщины, нет... тебя — любимую, друга, самую родную, самую лучшую в мире — тебя. Оля, я буду владеть собой, я буду всегда тих, нежен... только бы ты была покойна. О, только бы была здорова!.. Она, усопшая именинница, — послала мне тебя. И я молился за нее, ей молился, о тебе думая. Нет, сегодня мне не было тяжело: это твоя «березка» над Крестом сняла с меня печаль... Тут — покой. Ты, своим чутким даром, могла так... — дать сердцу утишение, покой, примирение... — вот она, сила искусства! — твоего. Ты — бесспорность. Помни: тратить силы на чуждое твоему назначению, — великий грех! Ты творить должна, призвана, — вот твой удел. Трудный... но и какой же дивный! Да вот: все, все, кто видел твое... — все светлели! Анна Васильевна — и та — перекрестилась! Пойми!

Чехова надеюсь тебе выслать, встретился вчера у Карташева (я чуть ли не год не был у них!) с сыном Струве[282], книжником: есть три тома, обещал найти остальные 2. Чи-тай! Полезно и — приятно читать умное! А он мастер был писать письма. Это большая редкость. Большинство писателей не умеют писать письма, да и, вообще, писать. Они сделаны, — редкие имеют свое лицо. Я слава Богу, писать и письма умею, — это не раз свидетельствовал мне И. А. Ильин:[283] «вы не знаете, что вы — мыслитель!» Правда, не знаю, не знал. Я на это не притязаю. Чехов удивительно легко и умно писал письма! Когда это было ему приятно. Ты, милая, обогатишься. Вчитывайся. Чудесны Пушкина письма: о, как же метки, кратки! Сколько затеряно их!.. Любовные (исключая интимные!) очень ярки. И — много сдержанности! — так, шутливо... Я слишком страстен, знаю. Но ты можешь видеть, как это вызывалось, постепенно... Ты подавала «реплики»... Ты, моя «звезда Любви на небосклоне»[284] — сама того же творила, знаю. Мой пожар от твоего «поджега», — да, часто. Ты можешь меня... взорвать, такую лаву вызвать... — сгорит бумага, сгорит почта... Я себя часто сковываю... или — укладываю в песню, как тот «гимн любви». Он — единственный. И не повторится, никем. Оль, знаешь, судя по рассказам Эмерик, провинциальные литера-

турные обозреватели понимают основу «Путей»..! Не верю. Вот, в понедельник будет в 2-15 — литературный обозреватель — писал тебе — «France-Soir» — (очень большой тираж, до 1/2 милл.! сколько же... чита-та-лей... 1 миллион?). Любопытно, что этот журнал основал в «resistance»[i] (тогда называлось «Défence de la France»[ii], что сохранилось и теперь в подзаголовке) слепой студентик Jaques Lusseyran[285], которого немцы хотели расстрелять в Париже, сослали в Бухенвальд, где он спасся чудом. Я его знал с мальчишек, он приятель Yves. Юля сосватала его родителей. Скажу о сем интервьюэру, пусть проникается, — J. L. и теперь один из основателей, (входит в состав правления?) «France-Soir». Очень идейный, о-чень чистый. Ну, пусть сим займется Юля, друг его матери. Конечно, положительный отзыв такого кита — значение имеет, но... книга должна сама пробить себе дорогу в том д-р-ме, которым завален книжный рынок. На той неделе собираюсь с Меркуловым к ней. Юля тебя любит, ка-ак она сияла, смотря на «березу», на Крест... — на все твое. Она — от искусства, оба они — и чудаки, и — чистые. Не наговорится об утятах и гусятах... Они — поэты. Но она еще и нравственно высока (как и физически), — и вся нежна ко мне. Как заботится о дяде-Ване!.. Она чтит — мое. Она чтит тетю-Олю... — она трогательно-признательна. Добрая душа. Я их люблю обоих: он, И[ван] И[ванович], совсем дите. Вот поди ты — при такой фигуре! И — когда-то — при таких «припадках»: когда-то сапожищем бил в ворота Советского посольства! И его отвезли в сумасшедший дом, где пытали. Выжил. Два раза его чуть не расстреляли немцы: выкинул Красный флаг! Бог спас. Другой раз на его глазах бросили бомбу в немецкий гараж (2 убило) — и его схватили немцы. Спасла Юля, спас случайно проходивший полицейский комиссар участка, француз, знавший, что это «сумасшедший». Как раз поймали-таки бросившего, а то русские в гараже уверяли: он бросил, И. И.

Ольгуночка-красочка, как за-пели твои 3 картинки (прежние!) когда я их наколол на стенку! Особенно — яблоня и канал с заворотом! Как дАли проявились, воздух!.. Ты — дивная. Я воспитался на картинах, с детства: наша гимназия (6-ая)[286] помещалась почти рядом с Третьяковской галереей, и если отсутствовал учитель, нас «гоняли» в Треть-

---

[i] «Сопротивление» (*фр.*).

[ii] «Оборона Франции» (*фр.*).

яковку! Я там знал все картины, все уголки... — замирал, обмирал... Но рисунок не давался мне, — тут я... бездарь! Раз, помню, — писал тебе, кажется, — старательно срисовал «амбар», на дворе... — похоже вышло, но было скучно. Но из воска слепил «охотника»... — говорили — «ловко»! Нет, моя стихия — лепить и мазать словом, — с детства это, с пылкого воображенья: я вижу. Что угодно, захочу — увижу, до дрожи. Но пока не увижу — не могу писать. И — пока не уловлю «ключа», музыки, тончайшей, ритма. Писать для меня — это как-то звучать — беззвучно. Видишь ли... Желает сердце... и начинает выпевать... но, Боже сохрани, не явно, не для слуха, а для... сердца же... Иначе сказать: я пою себе, сам себе сказываю, себе, не думая ни о ком, но живя уже кем-то. Когда писал «Всенощную», — жил тобой. Любил, уже тогда любил и видел... тебя! Тебе и пел, — себе, тебе в себе... — и так ласкался, признавался... Ты поняла, да. Отвечала. Полюбила. Я тебя влюбил в себя песней, воркованьем. Как голубь. Ты помнишь... ночи... я пел тебе... руки мои пели... и сердце. И — все во мне. И это все — передавалось тебе — лаской, нежностью... То — ты знаешь — мешало даже. Жгло. Мучило. И требовало... своего. Что было бы, если бы..? Спайка, наикрепчайшая... и чудесный свет в нас, любовь... от этого не только не понесли бы урона, а — утончились... как ни странно это! Эта нежность возросла бы до ощущенья болезненности, когда истекает сердце, когда оно уже не в силах дать больше... — оно уже не стучит — оно взмывает и замирает в сладости, до боли...

Вот, сейчас, пишу тебе — и во мне такая к тебе нежность, такая теплота, такая ласка до исступленья, что во мне все дрожит... Я вижу тебя... ночь, 12 1/2, должно быть ты в постели, свернулась котишкой, поджала коленочки... — ка-ак я тебя вижу!.. «Вчера, в мечтах обвороженных...» — о, я вижу. Я слушаю твое дыханье. Розы... мои розы тебе... доставили? Где они? Они сказали тебе, как нежно я люблю тебя, как почти-безуханно, и как... прелестно?.. Как ты чиста для меня, свята... Я мог бы сейчас стать на колени возле тебя — и так всю ночь, слушать дыханье, биенье сердца, — смотреть на твои губки... — и ни одного движения чувственности не поднялось бы во мне..! Оля... маленькая Оля... девчурка Оля... девулька Олюша... О--йга... о, как я переживаю все это!... Свет в тебе, свет твоей любви (и мой свет — моей любви). Какая высота и светлость! Я люблю тебя потому, что я люблю тебя... Это — бесконечность и невнятность... но это верно... Я тебя люблю, потому что я не могу не любить

тебя... — ты — так дана для меня... так по-земному непонятно. Что это?! ...Редкостное совместное, созвучное звучание двоих... Сочувственное вчувствованье двоих... душевная и духовная слитность... постижение через слова, взгляд, прикосновенье... — внутреннего в нас, единого, общего... одно-другое дополняющего, — но это невыражаемо в земном слове. Смотрю на твой портрет... — я тебя давно знал! ты была — мною?.. я — тобой? Не знаю. Но без тебя — теперь — уже нельзя мне... Я — это странно! — кажется, с каждым днем люблю тебя все больше... Но это же нельзя — бо-льше! Все и всем люблю, пер[елю]бимо! Как же — больше? Не «больше», а... уже нельзя — без! Конец, срыв всего, жизни, сердца, мысли. Все тобой перевито во мне, и эта перевивка врезана в меня, срощена ею ты с моим, со всем во мне!.. Я не могу определить. Я знаю: больше нельзя любить, но я знаю, что я люблю все больше и больше. Абсурд для рассудка. Правда — для себячувствия. В таком состоянии можно простить все — и от пустяка убить себя, вдруг, молниеносно почувствовав, что — все погибло. В таком состоянии Отелло душит Дездемону и закалывается. Древние называли такое: «Боги послали казнь — любовью». Это неопределимо, как у Шекспира так и не определилось, что такое — ревность... — безумие? Ревность — всецело устремиться всем существом — в одно. Всецело. Места ничему не остается. И тогда — ничто — гибель — замещает все. Абсурд. Когда-то я хотел писать о ревности... в «Солдатах»...[287] — почему бросил?.. Испугала сложность задания. Я тебе пошлю «Солдаты» — два оттиска, что было напечатано. Пошлю и «Иностранца». Прочти и верни, у меня это единственные оттиски, для тома неоконченных произведений, — при моей неряшливости в моем «архиве»: я все пораздал и забыл — кому. Трудно отыскивать... где найти журналы?..

Олюночка, ты спишь... 1 час ночи. Ты со мной. Я теперь всегда могу видеть твое — тебя — на стене, слева от стола. Ах, твой «покой», «надземное»... — Крест под березой... — о, свет твой — моя радость! И все твое: ягоды... и вода... и яблоня... Как я все люблю, ценю, как счастлив тобой!.. Нежная, светик... Как мне назвать тебя?!.. Какая боль светлая мне от тебя, от далекой — недоступной! Я смиряюсь. Считаю дни. Сегодня — 44-й день, как мы расстались... Когда же?.. ко-гда?.. Оля... Я научусь молиться — Господи, дай видеть Олю!.. Пречистая, дай видеть... Я буду работать, дни потекут... — но ты... придешь ли?.. Никто не скажет. Сердце... оно не знает, ничего не шепчет...

Один... почему один? Почему тебя нет со мной?.. Когда так ясно, когда такая правда, что мы должны быть вместе... всегда, навсегда?.. Отрываюсь, с силой. Спи покойно, детка, котишкой. Я тебя благословляю. Спи, Ольгуна... будь здоровой, светлой. Твори. Твой Ваня

Оля, прислать тебе почтовой бумаги?

458

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VII.46 Четверг, солнце. 11 часов утра

Зорька — Ольгунка! Утро — ты, тобой утреннюю, тобой живу. Встал — твои броски-краски! Теперь у меня — есть от тебя! Наполняюсь, поверх всей наполненности Ольгункой. Переплескивает, — купаюсь. О, береза! Яблоня — дивное твое... и канал с коленом, и облако ка-кое! И — все. Молодец, Ольга! Восхищен твоим выступлением в «вороньей стае»! Напрямоту, показывай себя госпожою! Да целуют ноги твоя!.. Ты — сверх-права, госпожа.

Прав и я: чтО писал тебе о Денисе-попе?![288] как определил его?.. Дрянь надутая, гроб повапленный. Карьерист-авантюрист, в папашу. Ему амвон — трамплин для скачки в «реноме»[i] и гульдены и в дыру голландки — бл-ди! — прости. Ничтожество, как и Евграф — дурак и болтун, — так его Карташев определил. Это ничтожество не мог осилить элементарной программы «Богословского института»[289] с курсом ниже семинарии! Так и не окончил. Никакого значения не имеет. Митрополит Евлогий выжил из ума, — и никакого лучшего попа вы не получите. Евграф — самый глупый из сынков покойного Евграфия Петровича[290]. Пробует, карьерит, и присосался к «православию западного обряда» (пойми вот!) и поэтому щеголяет под ксендза. Надо же при отсутствии собственного лица что-то напялить на плоское рыло. Карташев только поулыбался, когда я сказал, что голландцы ждут от Евграфа... Как ты возмущалась моим заключением о Денисе! У меня своя логика о людях. Бл-дун в епитрахили и — Бескровная Жертва! Он, гад, ночным бдением у св. Плащаницы, вкушал от твоей чистоты, мысленно грязня ее. Особый вид блуда... — но и — гадкий. Евграфка — болтун, брякун, и — при сем — круглый дурак. Написал статью[291], в которой никто — и он сам, конеч-

---

[i] «Известность» (*от фр. renommée*).

но, ровно ничего не поняли. Вот — вывод глубокомысленного Карташева, его же профессора. «Самая отчаянная бездарность, натренировавшаяся языкотрепаньем. Ничего не ждите!»

Я жив тобой, моя крылатая! Я мучился сам, что не писал тебе... — я хотел озарить ярче День Твоего Ангела. Теперь ты завалена моими письмами. Это все — перед провалом в работу, но я не весь уйду: ты — мой спасительный круг, тобой держусь. 24-го весь день — звучало только о тебе, переплетаясь с отшедшей. Но О н а — вне земного. Она сама заместила — для меня земного, себя тобой. И ты светила и светилась. Ты покоряла — и покорила д у х о м.

Девчушка та... — разве я не понимаю? Все, все... — и в том окаянном загоне Булонского леса. В тебе кричала твоя боль!.. — о, знаю!.. Кричало последнее отчаяние... последние возможности. А я... я страдал за тебя. За себя. Я... дети для меня... за тобой — г л а в н о е. Дитя — от тебя!.. Оля, это такая «необычность», от этого чуда... — умереть — сладость!.. Оля... О-ля!.. О - - - - йга!.. Я полюбил ту девчушку, душистую... — она как бы уже и — твоя. Для меня. Я — вижу ее. Но ты душистей — писал! — всех девчушек мира! Как тебе будет горько без нее!.. О, этот 36-й год! Теперь — знаю — у тебя, у нас была бы девчушка 6-летка!.. 8-летка!.. — наверное. Пела бы песенки твои — мои. Я сочинил бы ей много сказок и песенок, — и ка-ких!.. Ты и не воображаешь. Они сыпались бы из меня — потоками. И все стены нашего дома были бы покрыты твоими живыми красками, — Яркая моя красилка! Творилка!! ... Как бы распелась ты, расцвела!.. А я... — я их вижу, — моих детей, огненным воображением созданных... Сколько их выплакано, ушло — как эти жалкие нерожденные!

Ольга... я сейчас слышу ход крови в тебе, ее пение... Вчера, задрав ноги на диване, думал о твоей бедной коровенке, и напел злое про оскорбивших тебя — меня... — «Сальный диагноз» (можно и сольный (от «соль»)) — баритон — са(о)листа: Е В... (Евт?) Ко-Ви-Ни...(раскрой-ка!) (очевидно, итальянка?)

В заду... pardon! — завалы сала...
И все ей мало, все ей ма-а-ло!..
А с рыла, с брюха коль натопят, —
Так всю Г-дию* затопят.
Повержено к пятипудовым стопам
Со(а)листом Е.В. КоВиНи —
Джиованни Чмелини

---

* читай: Гренландию, конечно!

Ты думаешь — я забыл, как мою, вдохновенную, — приняли? Ни-когда. Твоя оранжевая корова — глядит на меня сонным рылом-мордой... Играющая в державность мелюзга!.. Нашим — что за благородство!.. И подумать — как их трепали и ка-ак же пре-дали... осыпанные Их милостями!..

Вся эта придворная мразь — рептилии!.. Оля, чудесная книга получится «Русский некрополь» (лучше бы — Усыпальница!) о погребенных в Сен-Женевьев. Выйдет к Рождеству. Я дал редакции мысль: начать со слов (из слова) Архиепископа Владимира Ниццкого[292] на Пасху: «Мертвые?.. Нет мертвых!.. (Он почти кричал на кафедре — служил общую панихиду) — Все живые... слышите... живые!.. Я слышу их — "Воистину Воскресе!"... Когда-то (из Киевского патерика) преп. Дионисий[293] — в Пещерах возгласил на Святой День — "Христос Воскресе!.." И все (гробы!) (сущие во гробах) откликнулись небесным хором — "Воистину Воскресе!"... (предание). Будет помещено. Эта книга — потрясающая. Она покажет высокую качественность русской эмигрантской элиты... (историческое явление — единое в столетиях!) — и не только элиты. Няня... — о ней — только: «прожила в одной семье 56 лет». Я счастлив: Господь дал силу закрепить в моей эпопее — «Няня из Москвы» это единственное в мире установление — няня. Что сделала русская няня для России — неисчислимо: Няня — это русская душа... Это русский дар сердца и всей сущности... Няня... — без нее немыслима вся наша образованность (начиная еще до Пушкина!), как немыслимо доброе в государстве без воспитания. Няня воспитала неписано, ненаучно, неуловимо — поколения. Великое России — живая душа Русская. Твоему Ванечке судил Бог пропеть ее ([болтушку]!), совесть и правду нашу, — ему — первому и последнему, т. к. няня теперь, после «Няни из Москвы», неповторима, как «Человек из ресторана» — тоже — совесть. Вот почему они живут и будут жить. «Человека» и посейчас все читают (давность его: 36 лет!). Живет. Ибо — он — наша чуткая правда — совесть, сердце наше и наша боль, и наше уничижение — «слуги человеческого — ресторана-Жизни!» Вот — в чем — горжусь, гордись и ты, моя любовь-подруга! — удел русского писателя, национального: величавое наше петь, закрепить в бессмертном Слове. Я исполнил долг. И благодарю — Пославшего. Я — весь дрянь грешная, я могу быть — и бываю — неспокойным и мелким... — но мне, м. б. это и нужно (как и Тебе!), чтобы воспрянуть из праха моего к... Жизни Нетленной. И я — тобою — нахожу силы — воскреснуть, прямииться, сознавать себя... О, звезда, ведущая

меня ныне!.. Ско-лько я через Тебя — создал! за эти 7 лет, начав, — в предчувствовании Тебя (февраль—март 39 года!) — «Куликовым полем». Большую часть II книги «Лета Господня» и близкое к лучшему в ней — «Именины»! — и страшно горькое в ней — 9 последних глав. 2-я книга «Путей». «Покров» — Свет. «Свет вечный» (посвященный И. А. Ильину) — больше 50 рассказов. Пропел языческий гимн Страсти вечной... — крик плоти! Нужно так. Каялся — «Почему так случилось» — который большинство и не поймет, всего-то! Дал *лучший* рассказ «Лета Господня» — «Крестный ход»... — все в предчувствии Тебя... — звал, звал... уже! Декабрь 38 г. И предельно лучшее, мучительное — 9 последних глав «Лета Господня» — завершив жутким «Похороны». А — «Аллилуйа» — в II части «Путей», навеянное «Всенощной» твоей, тебе пропета!.. О, си-ла моя, Ольгуна! Жизнь моя, кровь моя оживляющая мой хлад! Тобой — молодею весь, юнею. От Тебя — творю. Твори и Ты — от меня. Мы — неразрывки. Мы — сростки! Я — твоя тень, моя — Ты, Оля. Как прильнул к тебе, как Спел тобой!.. Все во мне начинается с «О»... О, моя... Ольга моя!.. Ох, как тоскую!..

Довольно стона, зова. Выпрямься, стонущий! Жизнь велит. Каких красок, лаку?.. — бумаги? — чего?.!. — все скажи, Ольгушка, душонок мой, задушная! задушница, сердечница!.. Письма Чехова уже будут!.. Наполняй себя. Напиши И. А. — что с Натальей Николаевной? Давно не пишет. Бог дал поймать — для тебя — иные строфы — «Над Wick... ночь и сон... Главное — с — "Про звезды говорила ты...". Прозрев любовью тайну эту... нашла глубокую замету... и т. д. — И Млечный Путь, и тропка в поле...» Слава Тебе, показавшему нам Свет! Ты, любовь Твоя, к тебе... Высшего — не знаю в Жизни. Ты — мне — Жизнь и Свет.

О, как люблю!.. О - - - йга!.. Приди, дай себя!.. Ваня

Как обнимаю тебя, всю, всю... весь в тебе, прильнул, в твоем уюте... О, как нежно ласкаюсь к милочке! Оля... что со мной?.. Я безумствую, я зову... я горю... Тобой, умница, Госпожа моя!.. Оля, будь Госпожой, сильной, горделиво-властной... ты имеешь право! Я любовался тобой, видел, как ты говорила: внушай уважение к одаренности и воле русской! Мы с тобой живем лучшим в нашем! Я всю жизнь, особенно здесь — только этим и томился. И ты — узнала меня, отозвалась на мое. Ты разобралась. Не обманулась. Я всегда был неистовым. Всегда горел... чем только не горел! Мне все — захват. Яркое, светлое... — живое, от пчелок, от... жёлтиков!.. Как я слышу весеннее поле, луг..! запах первых грибов... запах

первой травы... и сочный дух июньской затини... сладкий дух крапивки (мелкой, знаешь? пчелка любит, я любил сосать белые цветочки — мед) и — предел — в июне — в логу, по вечеру — дыханье — твое! — любки!.. Обмирал. И — рождалась из нее — страсть. Она несет в себе дыханье ждущей женщины — тебя, Оля. Острая черемуха — чумичка перед этой, тончайшей соблазки!.. Светляки пьянеют от нее... Васильки — грезят ею... слышат с окраины поля — ночью... и текут... липко, шершавки... текут... росой и медом полевым... А восковка томит дыханьем тлена-слизости, женщиной, ее телом, ждущим... Я угорал от нее...

Оля... как она дивно-прелестна! вся — в звездочках, наша орхидейка!.. сестра «кукушкиных слезок»!..

Оля — ты ею пахнешь... Почему нет ее духов?.. гвоздичных?.. пряно-пьянящих... и томящих?! ...

Ольгунок, не могу, нет воли — оторваться от тебя, пьян я тобой... кружусь тобой... томлюсь... могу вообразить, как отдаюсь тебе! — как ты меня вбираешь... не пускаешь... в глубине твоей... будто колечком держишь... требуешь отдачи... всего, всего... безумно, безоглядно... вся обвивка... вся — льнушка... вся горишь... и вся — берешь... вся — пьешь... всю мою силу... вся истомная, парнАя... в стонах-вздохах... вся опьяненная, смиренница..! Оля... хочу от тебя — ту... ее... душистую... лучшее творенье... слитность сил... любви... желаний... страсти, надежд... Жизни! Я весь горю, я обезумлен желанием Тебя. Сладкое безумье... и — горькое!..

Оля, что в тебе за сила, какая ты живая, жгучая, томящая... о, ночнушка-любка!.. дурманная... восковка, отблесная... потому изливающая в ночь... манящая истомой. Вокруг нее — все пьяно: бабочки, жучки... все — в свадьбах, все гуляют... льнут... желают... а она — в ночи — восковка, в звездочках... по ком томится? кто владеет ею?.. Видела семена? Я — нет. Пчелы — ее — не навещают... не замечал. Я часами лежал средь них... — и — студентом, гимназистом — ждал... кого-то... шелеста в траве, ночь девки-босоножки, бабы... Однажды... чуть было не... Она уже лежала рядом... кузовок земляники (июнь, начало!), ее грудь высоко так круглилась... помню брови... — совладал с собой... — была невеста... — она потянула мою руку, приложила туда, где ноги сходятся... вся нетерпеливая* [294], горячая... — я вскочил, кинулся в поле... а она... — «Я — чис-

---

* Вспомни, из посмертных рассказов Л. Толстого — «Дьявол» — ско-ль страстного! Как бабенка трясла в овраге молодой клен, вся —

тая, что вы... я — солдатка, не бойтесь!.. красавчик!..» — Помню это — «чистая... красавчик...» После думал.

Ванёк

[На полях:] Снова, гляжу: чаруют твои картинки! Как ты влекуща и в портрете в болтушках — сережках! О, затомил бы тебя любовью!.. Будто мыслью беру тебя!.. О, какая шея!.. Какая ты сильная!

Прости за это страстное письмо. Но... не могу... Зову...

Теперь 1 1/2 — и не двинулся по лавкам, у-спею. Пою Тебя.

[На конверте приписка:] Снова очень чешется правый глаз — терпенья нет!

Хоть бы гомеопат пособил.

459

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VII.46 4-30

Ольгуна, странно: я по-новому влюблен в тебя! Непостижимо это, но это так. Я люблю, — любил — глубоко, огромно. Сердце мое достаточно богато, сложно... Я тебя полюбил и люблю, несказанно-огромно. И вот... я обновленно люблю-влюблен! Что это?! ... Введен в любовь. Вновь. По-другому, да? Нет: с новой силой введен в твой мир. Обложка — твоя — прелестна, да. Но она — преходяща. А я, бессрочно (чую) взят тобой. Значит, чем-то иным в тебе. Чем?! ... Сознанием нового, ярко-обновленного открывшегося мне. Я всегда признавал в тебе большие силы духовные, душевные... Теперь чувствую их биение ярче, властней, — оно, это биение сил, — владеет мною всецело, я счастлив, я ликую, как мальчишка... я...

ждущая и терла его горячей рукой, как будто молодая кобыленка!.. Удивительно дано!

Этот рассказ ненавидела Софья Андреевна. Этот — «семейный» уже романчик мужа! Толстой был неистово жаден до женщин! Почти 80-летний — он спал с женой!! Какая бешеная сила!.. Она (С. А.) никогда не ходила пустая... всегда носила. До 53—54 лет! Последний — Ванечка у них был — самый любимый, скоро умер. И все — не вышли. Самые умные — старшие Сергей (умер) и Александра, в Америке. Илья — был поразительно похож на Льва Т. — я с ним купался. Был довольно даровит, но... никак не проявился. Лев Львович — звался, был бледной копией... Весь [1 сл. нрзб.] сжег в творчестве.

в л ю б л е н! Я трепетно жду письма, жду — встречи с любимой... я робок, я смущен... одно слово — Ольга бросает меня в трепет нежный и сладостный. О-ля! Как чудесно звучит — О-ля! О----йга!.. Я вижу тебя деткой, девчушкой, девушкой, женщиной... прелестнейшей из всех женщин. Я пишу признание... я — влюблен! Я весь в волнении, я счастлив! Оля! Я не могу не смотреть на твои «листики»... я смотрю — влюбленно. Я хочу петь тебя. Я не могу о тебе не думать... как влюбленный... как полубезумец...

Оля... позвал... я целую твои глаза, губки... твои следки...

Ольгуна... — какое дивное все это!

Ольгуна — почувствуй хоть тень моего счастья, найди в себе.

Твой Ваня

460

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25/12.VII.46

3-ий день именин!

Да, именно 3-ий, т. к. уже 23-го началось торжество твоими цветами, мой [непостижимый] Ваня! Я не могу сразу ответить на твои письма[295], — они так богаты, так изумительны, что каждую строку надо бы отдельно взять и на нее ответить. Я вся полна ими. Сейчас же спешу лишь сказать: успокою тебя — я никогда не пишу тебе надписей на рисунках просто потому, что не считаю их произведениями, для меня это так себе — чепуха. Мне скромность примитивная не позволила бы дойти до такого самохвалебства «посвящать» да еще к о м у?! Пойми! Но ты прав, ты прав, прав, прав: на березке я не смела писать. И я это почувствовала сама, отправив же. Но не потому, что это — рисунок мой, а потому, что там память об О. А. И вся атмосфера именно надземна, а я о таком текущем и земно. Заклей «тыл», — пожалуйста. Или вытрави, — есть такая жидкость. Мне грустно, что «реверанс» тебя обидел... «Разольюсь» — это образное изображение хода волны. Она вздымается сперва, достигая наибольшей высоты, и потом именно разливается... знаешь, такими гладкими и (с рябью иногда) плесками, пузырьки по верху. Гребень крутой и напористый вдруг падает и разливается. Вот это я и хотела сказать. Я — волна взмываюсь круто вверх, ввысь, к прекрасному, возношусь твоим, тобой и достигнув высот предельных, ниспадаю в преклонении перед тобой-поэтом, разливаюсь,

пропадаю сама, как таковая, перед тобой. Вот и все. А если «зубоскалы» свое подсунут, — пусть. Да никому ведь это и не придется прочесть. Мне трудно расстаться с письмом, пусть даже и двойником... Но если хочешь — шлю.

[На полях:] Не считай меня глупой — меня не так легко «одурачить». Это касательно твоего замечания о «сводничестве», и брось так писать о Светлице-Златице, коли хочешь, — твое дело.

О письмах — не могу кратко. Я вся полна. Wickenburgh — пречудесно. Сверх-прекрасно. Но я должна всем насладиться и просмаковать. Я в упоении.

Грешневую кашу уже заказали до твоего письма. Закажу и ленту. [Приму благодарно] обнимаю и нет слов как горда тобой. О.

Писем Чехова не знаю.

461

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.VII.46[i] 10 ч. вечера

Тянет к письму тебе, мой родной Ваня, хоть и знаю, что не могу на все и так, как хотела бы, ответить. Я долго еще буду питаться твоими. Рада, что по душе тебе ягодки и березка. Сегодня проводили американцев. Я сказала ей и о ленте, дала твой адрес. О каше она давно уже записала. Сегодня же получила я разрешение на посылку тебе отсюда, но до смешного мало: только недельный паек на 1-го человека. Ну и то хорошо, буду стараться слать каждую неделю. Главное я могу тебе хороших сухарей послать. Я тоскую о «Пушиньке», так мы зовем детку-американочку. «Путэ» — это кошечка по-голландски. Милая еще под конец все звала меня: «О-йга». Иногда у нее получается «О ---- га» или даже «А -- га». Душенька моя. Сейчас должно быть летит уже. Я не поехала на аэродром, — они просили меня поберечь себя, — ни к чему это, а для меня большое напряжение. Я была только в Woerden'е. Простились. Сам папаша, хоть и «из наших», но очень сердечен и добродушен, был очень внимателен к маме и кажется всех вообще раскусил по достоинствам. Плакал, не скрывая слез,

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: между прочим о «Мареве». «Неужели ты посвятишь мне “Марево”? Я в буйном от него восторге!»

при прощании со мной, и благодарил за уход за его дочуркой. Золовка не могла сказать ни единого слова, заглотнулась слезой. Она очень сильно изменилась к лучшему. Материнство ей оказало безусловно много пользы. Летит моя Пушиночка за океан. Ее зовут Рене. Милая, фарфоровая куколка с синими глазками. Черные локончики намечаются. Ручонки такие миленькие. Как я полюбила ее. Мне горько без детей. Как ты царапаешь сердце! Не знаю, м. б. с годами и может укрепиться сердце (??), но так, как сейчас — мне невозможно было бы рискнуть на это, да и сама я чувствую, что надолго у меня даже для ухода только за деткой не хватило бы сил. Я всегда усталая.

Мне странно и непонятно твое о «Златке». Об этаком не сообщают. Это только твое дело, если уж такое на ум приходит. Ты О. А. берег, а меня цапаешь даже еще и не случившимся. В свое время Dr. Capellen находил рискованным из-за почки, Dr. Klinkenbergh «взял» часть возможности операцией (какую-то роль и это играет ведь), а теперь Dr. Noest[296] еще и сердце велит беречь. А ты все царапаешь и царапаешь по самому больному месту. Ты никогда не вдумывался в меня, а мучаешься только своим, надумывая обо мне. Ну, довольно. Я не ворчу, а только к слову. Сегодня [в] ночь была гроза — дивная. Как хотелось рисовать.

«Видела» вчера чудесное: все синее, ночное небо и таких же цветов земное... вода в канале, трав силуэты, деревья. Туман поднялся, заволок собой ясность очертаний и как-бы перехватил поясом, разделив ближайшее земное от неба... Укрыл дали... получилось: самое ближайшее: колосья, травы, вода со звездами... провал белеющий туманом и наверху чудесное ночное небо в звездах. И кажется, что будто это слитно, как бы на небе... эти колосья уже золотого, спелого ячменя. Два дерева еще меня с ума сводят... стоят вблизи дороги, вижу их всякий раз по пути в город. Удивительные два дерева... они определенно любят друг друга. Чувствую в них душу. Как-то ехала с Dr. Klinkenbergh'ом в его автомобиле мимо и спросила: «нравятся Вам эти деревья?» — «да, удивительно... я всякий раз на них обращал внимание, когда ездил в Schalkwijk — на меня деревья вообще как-то особенно действуют, я чувствую в них свою скрытую жизнь, а у этих прямо разговор какой-то будто». На одном гнездо, а другое склонилось нежно, будто мать заглядывает в люльку. И вот мне подумалось-увиделось — на фоне такого-то неба эти две фигуры. Это единственное выражение земных чувств и как же «профильтрованных», каких чистых.

Краски вижу... мои любимые. Особые. Кстати: мне американцы выписали из Англии самые лучшие акварельные краски и уже передали их вчера. Я тронута. Только бы быть здоровой... а работы так много. Сегодня момент (минут 20—25) лежала под яблоней на скошенном сене, смотрела в небо. Пришла мысль нарисовать так, как снизу видала: всякое-то яблочко горело в вечернем солнце, а как раскинулись черные корявые сучки-руки... и все это на фоне чудеснейшего неба. Картина получилась бы сумасшедшая, но почему же нет? Меня очень ободрило замечание Зеелера, которого я очень ценю. Что он *точно* сказал? Напиши без прикрас. Ты часто так хвалишь меня людям, что у них м. б. духа не хватает противоречить. Почему же однако у меня «детский лепет» у издателя? Я очень резонно и спокойно говорила, а не лепетала. И он, старый человек, ко мне очень почтительно и даже как-то ласково отнессе. У меня уже есть и помощник, если бы надо было переводить. Енакиев, муж Елизаветы — кое-что перевел из Пушкина, очень, очень недурно, сохранил даже ритмичность. Конечно в прозе. Монолог Пимена и «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»* [297]. Очень недурно. Я спросила его: «Юрий, если мне дадут переводить “Пути Небесные” на голландский, согласен помогать мне, править?» — «Хоть на край света, если надо для этого!»

А «Въезд в Париж» считаю очень полезным перевести для Европы. До «Богомолья»-то они, пожалуй, еще не доросли, такая там русская стихия. А «Марево» тоже не переведено? Чудесное «Марево». Когда ты был в Рыбинске, мне было 8 лет? Это был последний год нашей там жизни, точно так же, как и 1936 г. в Берлине.

Розы твои раскрылись все, посветлели цветом и стали нежней, но все же иззелена желтоватость в них осталась. Они не палевые, без намека на румянец. Я люблю в чайных розах этот скрытый намек на румянец. Здесь — лимонность. Но они очень красивы, хоть и холодноваты. Но я знаю, что в них твое сердце горячее и мне тепло. Спасибо родной, — они чудесно пышны и красивы. Ночью стоят в подвале в большом ведре и набирают силу к дню. Вчера меня баловали многие, но конечно никто не сравнился с тобой. Много писем. [Между прочим] от Меркуловых. Я тронута. Поблагодарила уже. Скажи при случае, что я их письмом особенно дорожу, т. к. их очень уважаю. Ваня, я не могу вскользь коснуться «Wickenburgh'а»[298]. Ты необычайно его

---

* Ты знаешь: — у меня был прадедушкой Аполлос – чуть не Аполлон.

дал. Все, все встало живым. Ты письмо-то мое даже перечитать не мог. Так верно, точно все пережил, будто был у меня в душе. Какая у тебя там нежность, тонкость, какая преданность Богу, такая милая, простая, «домашняя» преданность. И Бог у тебя там такой благостный и добрый, что сразу становится легче и не так страшно жить. Если все у Него в Лоне, то что же страшно? и это уравнение: Млечный путь и тропка в поле... Как превосходно. У меня нету слов на определения всего этого. «Подорожник» мой милый тоже прелестно, но «Wickenburgh» — такая глубина! И эти «ягодки». Дуся — Ваня!

Неужели ты посвятишь мне «Марево»? Я в буйном от сего восторге! Обожаю этот рассказ. О, как бы я его перевела! Уверяю тебя, что всего добьюсь. Не даром я — Ольга. «Крылами богоразумия вперивши твой взор, возлетела еси превыше видимая твари...» поет тропарь Св. кн. Ольги. Какая крылатость... какая мудрость у моей Святой чувствуется. И батюшка меня крестивший сказал: «хорошее имя Ольга, мудрые они все бывают; у меня матушка — Ольга, знаю...» У меня тоже нет удержу, коли разлечусь. Для меня и океан — ничто. Коли захочу и в Америке издателей своему и если позволишь твоему найду и еще каких! С таким американцем как «зятек», кого хочешь найду... коли захочу. Шучу, шучу — я не там хочу искать, а у себя. И тоже верю, что найду! У меня тьма всего... не знаю, с чего начать. Я быстро работаю. Ты прав — надо остынуть. Но и другое — у меня в живописи хорошо только то, что быстро, случайно, мимоходом. Я жаловалась на это Сусанне, — она оказывается тем же страдает. «М. б. это у всех так», — сказала она. Схватить надо быстро. Потом можно работать. Но в красках нельзя так. Та картина у тебя с каналом и дорогой... это обработана, а «бросок» того же самого, пусть с массой дефектов, — выхватил у меня Dr. K[linkenbergh], т. к. это день погребения его невесты был, и он хотел запечатленным оставить тот день у себя, ту дивную тишину природы. Тот «бросок» в 5 минут — куда лучше. Дома я перерисовывала и «трудилась», и ничего не вышло. Но все же краски — не главное мое. Сусанна то же нашла. Оно — для досуга, хоть и мучает порой, просится наружу. Вчера меня раз 5—6 снимали американцы цветным фильмом[i], очень понравился мой наряд. Если вышло, то пошлю тебе и постараюсь нарисовать по фото. Благодарю тебя, солнышко, за 4 фото твои[299]. Очень хороши. Особенно в Ужгороде. Что же тебе Юля нагадала? Спроси ее точно, пусть скажет. Как она живет? Как Серовы?

---

[i] Пленка (*от нем. Film*).

Ты с ними ничего обо мне не говори — так лучше. А Ксения Львовна — почему же так скучна? Мне хочется иметь адрес ее мужа. Он хороший — лучше их всех. Труженик. Вол для всех их. А Ната что? От нее еще не было ни звука. Ксения Львовна тебя очень-очень высоко ставит. Писала: «И. С. чудный человек, к нему не подходят никакие мерки, так блестящ он и гениален». Конечно, хоть еще и ничего не сказано и вся поэма невысказанного восторга т о б о й. Гений мой. Но уже и пора бай-бай. Целую и очень нежно ласкаю. Благодарю на коленях. Оля

462

И.С. Шмелев — О.А. Бредиус-Субботиной

25.VII.46. Скоро одиннадцать, наш час... но для меня, Олюнка, в с е часы — наши!

Оля, сейчас перечитал твое письмо, 22-го — так о детях... Нет, Олюшка, я и тогда не принимал твоих слов за правду: знал, что кричит тобой. И как же мучительно болел. Я счастлив, что девчушка что-то дала тебе... — верь, Оля, я все понимаю... И — тогда. Если я вскипал после в письмах, так то была не моя правда, а зло кричало, и я, пиша, мучился, зная, что это злая ложь. Я все, все в тебе знаю, и как же люблю тебя, моя голубочка-бездетка! Я плАчу, — видит Господь, — как мне горько за тебя!.. Я отдал бы — правда!!! — годы, остатки, только бы ты имела девчушку... м о ю!.. Ох, как больно мне!.. Я видел тебя, как ты держала КатЮшку... — и сердце плакало. Я так — дико пусть, но хоть дробь надежды-то есть! — так мечтал, дать тебе дитя, наше дитя... безоглядно, отчаянно мечтал пусть все руша. Для меня все — что вне тебя, нашего счастья... — рушенье, рухло, — и все мне безразлично. Нет, Оля, я все знаю, и всю тебя понимаю, и ничего собой не закрываю. Смотри сердце мое: чтобы я когда-нибудь мог пожелать дитя от какой бы то ни было..! — никогда!.. Я тебе — в шутку, в больную мне шутку пожелал вчера, что ли, — от этой бы... чужой совсем, которой я отказал! — иметь дитя!.. — никогда!.. Для меня дитя — только через любовь, от любимой, единственной!.. Знаешь, на все бы пошел, на «лабораторное оплодотворение»... — но только моей силой, если бы почему-либо был не в силах!.. Этот — механически-лабораторный — акт — дикий акт, да... но бывают положения... — единственный выход! Разве он или она знают, когда будет зачатие?! И для меня, и для моей невесты было изумление... Мы же были так молоды, юны... — мне же не было 18 лет!! ... — на-

чало апреля 1895 г.! — 17 1/2 лет[300]. Но во мне была любовь непобедимая — и она победила... девочку!.. И я дал ей сына!.. Мне доктора говорили: «вы до-лго сохраните “force virile”[i], вы несете нервный потенциал, вас хранящий»... Я его растрачивал лишь — в творческую работу. Ты могла видеть эту мою — и для меня удивительную! — выдержку, — при моей болезни, когда я за 5 недель спал не более 4—5 часов в ночь, почти не прикладываясь за день. Зачем пишу все это?! ... У отца — знаю — были незаконные дети... — где они?! ... — тайна. Судя по его сердцу, доброте к людям... — думаю, что он позаботился. Детям взрослые — кто, Горкин?.. — разве скажут?.. Он был женолюб, да... Я — я... меня работа топила — и единолюбие, детская любовь. Но что мы знаем, почему так вышло, а не иначе!.. И что выйдет... ?! ... Я чувствую, что оборвусь «сразу», и поверь — я всегда дивился, когда ты вдруг спросишь — «плохо тебе?» Ни разу, никогда мне не было с тобой плохо. Знаю твою боль, муку, тоску, скорбь. И сколько я думал за те 5 недель, один оставшись. Оля так, в метанье... потому, что ей надо дитя, что у нее нет детки. Правду говорю, Оля. И за тебя, и за себя — лишенный! — я болел. Не ставь мне в вину мои «срывы» — они того же, м. б., корня... Когда присутствие, касанье молодой, прекрасной — о, ка-кой! — любимой всей любовью женщины разворачивало во мне мою скорбь, мою муку... Разве я мог — когда-нибудь! — забыть твои чУдные признания — твое целомудренное желание — «вернуть Сережечку»!.. Возместить... ты как-то по-другому написала... — и ко-гда еще! До... нашего откровения друг-другу. В радости, в песне... Твоя светлая, переполненная, парящая душа шепнула... И меня сладко и скорбно пронизало это. Забыть не могу. Я всегда знал, что — и почему — тебе надо. Такой-то... не иметь детки!.. Это — трагедия. Я не смею писать дальше. Я — страшусь. И ты знаешь, почему страшусь. Но я... я, Оля, не смею и уповать... не смею и казнить тебя... Как мне больно писать все это. Прости. Во всем нашем я хочу видеть какое-то указание, смысл. Как его раскрыть?.. Не знаю. Одно знаю: я полон таким великим чувством любви к тебе, какое и не представлял в воображении — чувством, которое для меня ново?.. Что это?.. Полное созревание душевных сил? сознание их в себе?.. Душа не стареет, — правду ты сказала когда-то! — но она растет, полнится, становится богаче, мощней... (при других условиях она может усыхать, беднеть, окоротиться...) У тебя, явно, о, как же растет! У меня... да, это-то я уж знаю. А в тебе — вижу.

---

[i] «Мужская сила» (*фр.*).

Оля, ты пишешь: «вот, м. б. Юля пришла (на День св. Ольги), м. б. и обо мне думаете...» Голубка... все было тобой полно, только о тебе! Я дважды читал твой чудесный рассказ из детства «сосульки»... — и я был не в одержимости, не думай, я был сдержан, я умел говорить об Олюше... наводить беседу на Олюшу — жизнь мою. Твой большой портрет окружен твоим: над головкой — чудесная малина, справа от зрителя — вровень с твоим лобиком — домик красный с пучками ветел, что ли... — сарай? Тоже справа, вровень с губками (есть расстояние!) — красная смородина. Слева — чудесный канал, с загибом, туманные дали (как, Оля, выиграла эта картинка! чудо!!..[)] пониже — черная смородина. Влево от канала — яблоня! о, ка-кая она — и дол... этот розовый закат, должно быть... дымка... (Оля, дай губки, глазки, как нежно, чисто тебя целую — художник чудный!) Под каналом с загибом (ка-кая вода!) она, дивная — свет — крестовая береза. Под яблоней — клубничка. Внизу совсем, между увеличенными фото — «вишни». Девять вещей. Твои дары — которые мне дороги безумно! Их за миллионы (клянусь, Оля!) не отдам. Думаешь — «для словца так»? Нет: не отдам. Это — часть любви (ее выражение)... любовь неделима у меня... Суди по этому, как мне бывает тяжело — без тебя. Я знаю: любишь. Но я... — я в более сильной яркости, в томлении сладком вновь переживаю те непостижимые чувства, когда, в сентябре 41 я написал тебе — все. Теперь это все — созрело, до-зрело. Крепко! «Крэ-пка-а!» О, эта сладко-мучительная трель метро, 11-го утром, 11 июня!.. Как я хотел взглядом всю душу мою отдать тебе!.. полубезумный. И видом уловил и твой... растерянный, туманный взгляд... расставанья, «росстаней» наших!

Кто, что ты для меня? Не отвечу... Все. В этом сокрыта правда, и эту правду не раскроешь словом. Можно ли словом раскрыть — чувства длящегося поцелуя, когда все — забыто!? ... Или — отдание себя, всего... Невозможно. Все повторять — о, как люблю!.. Этим не скажешь... Вздохом — скажешь больше.

Должно быть ты кипела, отдавала «делившим» силу сердца... за-чем?! ... Орлюнчик... — утрется, сплюнет... Правда, надо... когда-нибудь да надо ставить на точку. Ставить точку. Не позволять свинье топтать перлы... Надо. Но надо — сдержанно, веско, покойно-хладно, как в творчестве. Тогда — сильней. Надо дать знать: Я — госпожа, пока! Знайте. И требую — должного почитания. По-читания. Необходимо. И я рад, что ты нашла, себя. Но страшусь — чего это стоило! О, вижу мою

горячую, мою взбитую... Но — *не* до пены! Хлад, презренье... — вот. Это — урок. И тем важнее, что — м. б. нежданный. Это — рост. Помни: ты — ты! Ольга, сила, ценность достойная жертвенно! Даже свекор тебя почти понял. По-нял. Знал, все. Как ты дала себя (не стану разбираться!) на заклание. Это — правда. И чем ты виновата, что душа твоя, сердце, все в тебе искало наполнения?! ... И ты — да, нашла его, это наполнение, этот воздух... в моем творческом, близком так твоему духу, сердцу.. — потом ты полюбила... — так это верно, так законно для жизни Духа! Тоже и со мной... Чем мы виноваты? в чем?! ... Так само случилось. Так можно было бы сказать, не всматриваясь прикровенно. Да. Но нет, Олюша: это не само случилось. Для чего-то надо было, чтобы так случилось. Мы все, ведь, знаем! — как это началось, и почему так продолжалось. Наше чувство — незаурядное. Наш роман в далях — исключительный. Наши «мерки» — во всем! — оказались тождественны, до чуда! Мы — оба — «по мерке»! Я порой дивлюсь, — зная себя, узнав тебя, — до чего же одинаки!.. восприятием мира, чертами внутренней жизни... пылом, воображением, устремлением... характером! Богатством душевных сил, отношением к людям... нашими «взрывами», нашей детскостью, наконец! Мы можем становиться детьми, глупыми, чудесными детьми... мы излишне доверчивы к людям (я — стал осторожней, спустя время) мы излишне «благостны»... — и над нами иные могут и посмеяться... Мы — оба — порох. И оба — мы знаем недостатки, и часто безвольны им противостоять...

Ну, много можно сказать «о нас». Случилось все — потому что суждено было случиться. Вне нашей воли. Как случилось, что я крикнул в пространство, к ней, — и отозвалась... Ты! И — ко-гда же! и в какой день! И в какой тоске... Все было нужно. Это же так явно. Это вышло — гениально. Тут ни черточки ошибки, недомыслия, бездарного «движения». Все даже — высоко, величаво-художественно! Как по Господним Нотам — сыгралось. Хранить надо, лелеять... — и учиться на этом. Распознавать... Вот, мое сердце: ни-когда у меня, ни малейшего укора совести, ни перед кем! Я выполнял — и выполняю. Я раны наносил, да... я их оплакивал. Я ломал себя, укрощал, направлял. Но я — всегда — полюбив — любил и люблю. И не смогу — знаю — перестать любить, — это уже моя жизнь, это мой — воздух. Без этого — конец мой, здешний... Ольгуна, дай — поцелую, о, как нежно!.. сердце мое, все мое — Ты.

Завтра начну работать. Господь да сохранит тебя, моя чудесная, нежная моя голубица!

Твой Ванёк

26.VII.46 12-20

Только что напился кофе и поел достаточно веско. Спал прилично, но... дорогая душа — Олюшенька... с самой секунды пробуждения — о тебе! Зная, как тебя мучает церковная — местная в данном случае — неурядица. Я возмущен, что творится. Прошу: немедля сядь и опиши мне, как ты успеешь, — взволнованно (можно и покойно, лучше!) и ясно, доводы для замещения — в лучшем случае — бесполезного попа Д[ионисия]. Главные доводы, а я дополню. Я немедленно, получив от тебя, пойду к арх. Владимиру. И все ему изложу, красноречиво: буду его просить заместить этого попа-монаха (!) достойнейшим. Укажи, когда и кем посылались просьбы в Париж. Приведу безобразия служения. Сошлюсь на случай 5/18 июля. Голубочка, сейчас же отпиши. Буду счастлив помочь всем голландским православным (тебе, светлая, — первой!), — главным образом русским. Архиепископ, думаю, мне поверит, не откажет. «Евграфы» — суррогат — и скверный. Досадую, что раньше не спохватился я. Не смущайся: не только ради тебя (но ты — главное для меня, как во всем), но ради нашего благочестия. Голубка, — сделай! Все доводы и — все справки!

Весь с тобой. Клара Абрамовна была растрогана твоими «красками», — и, караимка, поняла «Крестовую березу». Нашла, что у меня несомненное улучшение. Была — in passant[i]. Глаз красноват, но это... — тру его, паршивца, очень чешется — «остатки раздражения от недуга». Ольгуночка, продолжу сравнение нас с тобой.

Оба мы — чистокровные, что — редкость. Оба — идеалисты, по существу! Оба — Россией спаяны, — и ка-ак! Оба Ей служим. Оба — творящие. Оба гордимся, что мы — русские. Оба — коренной России. Оба — чУтки — и как! — сердцем и мечтами — воображением. Оба — порывисты в своем, близком сердцу. Оба — часто глупенькие — по Пушкину: «поэзия, прости Господи, должна быть немножко глуповата...»[301] — т. е. не от рассудочности идем — и в творческом, и в жизни. Словом — конца нет тождеству. Оба и легковерны... детишки все еще!.. А за сим:

О, как же я тебя люблю, чудеска! Как томлюсь тобой!.. как з о в у тебя!.. Как неимоверно счастлив, что тебя встретил в жизни, что ты меня любишь! Как нежны твои письма. Оба мы так льнем к ласке, и как ты меня ласкаешь!.. «Трусь щечкой о твои глаза»... — о, как я почувствовал это!

---

[i] По пути (*фр.*).

Ольгушечка, м. б. ты приложишь еще новое ходатайство прихожан. Напиши, какого «бельгийца» присылали, когда Дениска болел... — самое главное приведи против Д. и *за* нового, но — каких качеств должен быть новый, по мнению прихожан. Я буду добиваться, я сумею, мне арх. Владимир поверит. Сделаю все возможное.

Всю целую, ласкаюсь котишкой, вьюсь-жмусь к ножкам твоим, киска!.. Дышу тобой... Ванёк твой.

[На полях:] Какого вам — старшего или молодого? Молодые — замашисты и непросты! С заносом — кто во что!

Хочу писать. Пора, пора...

Оля, все, все сделаю, все брошу — и полечу к архиепископу! Ты — главное — для меня! Это твое главное лечение — церковь.

Весь полон тобой, ты, *только ты*!

Напиши, как мамочкино здоровье, боли в голове! Как твое сердце? Прошу — все напиши.

[Приписка на конверте:] Нет, не надо терять дней, я сегодня же еду к архиепископу: с меня достаточно! Но ты — подкрепи! Только бы архиепископ был в Париже!..

463

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[21—27.VII.1946][i]

Хочу — и не могу отдать...
Да будет песнь моя дуплетом!
Да станет это лето — летом,
Когда, оживший, стал дышать;
Когда душа твоя внимала —
Чего земному внять невмочь:
Когда ты звезды п о н и м а л а,
И слышала, чем грезит ночь;
Когда любовь тебе открыла,
Что для нее предела нет...
Когда любовью ночь закрыло
И засиял несрочный свет...
И посему: прими дуплет!

---

[i] За исключением стихотворения «Хочу — и не могу отдать...» и примечаний О. А. Бредиус-Субботиной данное письмо полностью повторяет письмо И. С. Шмелева от 21.VII.1946 г. (Т. 2. № 136).

Ванька-Дурень. Что — вер-нул! Да, ведь, О-льке!

8/21 июля 1946 Если вскроешь до ангела, очень прошу — отложи чтение письма до полудня «Дня св. Ольги». Ив. Шмелев

Светлая моя Ольгуна, всю обвиваю лаской. Весь с тобой, милый Ангел, празднично озарен. Сегодня и я тобою именинник, — Иван-да-Ольга! Вижу цветок наш — Любка-Василек. Нет такого?.. Но я-то вижу, с л ы ш у...

Поле, луговинка на опушке березняка. Сросшиеся, родные цветы, — дурманность томная — и полевое, чуть хлебное, — Любка-Василек. Как всю тебя вбираю, милая ночнушка-любка!

Только будь здорова, сильна, — так это важно для работы, зрелой, светлой.

Прелестная, дай — тихо поцеловать тебя, святая именинница, мой Ангел!

Тобой весь полон, тобой томлюсь... Как чудесно-тонко написала ты — «ДОма»! Дочего же богата твоя душа! Как хорошо — с о с у л ь к и... это нечувствие для губок — снега... дочего же в с е — глубоко..! душа какая, как сумела, умница, чудеска!.. как переживаешь твою тревогу, твое горе, дитя чудесное!.. Это не «бросок», не проба: это очень глубокО-психологический рассказ, б о л ь ш о й, хотя и малый по размеру. Я — в восторге, целую твою руку, твое сердце.

О, как ты мне дорога... бесценная!.. Хочу гореть тобой, — в работе, в высшем. Слышать тебя хочу, твое дыханье...

Для тебя, моя Богиня,
Я хотел бы стать Зевесом...
Если б ты была пичужкой, —
Был бы я зеленым лесом.

Станет Олечка голубкой, —
Буду сизым голубочком...
Но сегодня ты — Святая, -
Буду светлым Ангелочком.

Всем с тобою стану, Оля...
Все по силам, я — художник,
Нет предела, весь я воля,
Я — что травка-подорожник.

Подорожник... — он художник:
Все следочки слышит, знает,
Все пылинки с о б и р а е т.
Только — горе-подорожник!

По дорогам много пыли...
Подорожник — чтО острожник:
Ско-лько пыли... — горькой были!..

....

Но — мимо, мимо...

Работай смело, твори... — створится, живым хлебом! Господь с тобою. Мо-жешь, ты сильная, ты — дар. Ты — вся своя, — Ты. Ты — дана, задана, для Жизни.

Посылаю тебе, мой Ангел-Ольга, светлые стихи, — в День Твой. Я распелся. Ты меня распела. Это — Wickenburgh'ская страничка, наша. Буду счастлив, если она ответит на твою чудесную страничку — «Прогулка в Wickenburgh».

Кланяюсь тебе, волшебная... Нашептало сердце, — светлая моя Ольгуна. Вот, прими:

Оле — в День ангела, 24.VII.1946

Июль 1941 — Июль 1946[i]

Над Wickenburgh'ом ночь и сон,
Но в сердце — свет и ликованье.
Ты помнишь, Оля, трепетанье,
И робкий шепот — «любит он...»*

Ты помнишь влажное дыханье
Прудов и парка. Звездный ход.
И сердца радостный полет,
Его восторг и замиранье[ii].

Ты помнишь... — башенка белела,
Ночного часа сонный бой,
И воздыханье — «ди-вный... мой...»
О, как душа твоя горела!**

-

Я помню... — весь в томленьи, ждал
ПисьмА, где бисерные строчки...
С каким восторгом я внимал —
«...глубОко тонут и в прудочке».

---

[i] Здесь и далее в письме примечания О. А. Бредиус-Субботиной: О, какое Спасибо! Не за меня только, — это для всех Дар! Ваня, я в предельном восторге от Wickenburgh'а. Не могу быстро ответить. Должна долго в себе вынашивать. Я вся полна.

* я бы сказала «сердца шепот», если бы не повторение «сердце».

[i] Строфа выделена О. А. Бредиус-Субботиной. Ее помета: Чудесно-верно! Да, да!

** Как верно. Ты был в сердце и слушал его.

Про звезды говорила ты,
Прозрев любовью тайну эту:[i]
Нашла глубокую замету
Небесной, Высшей, Красоты.

Предела нет Господней Воле,
Число и мера в Нем — о д н о:
И Млечный путь, и тропка в поле,
Звезда ли, искра...* — в с е - р а в н о[ii],

Все у Него в безмерном Л о н е:
Твоя любовь, и ты сама —
Звезда Любви на небосклоне,
Светляк — и Солнце, Свет — и тьма[iii].

—

«ГлубОко тонут...» Так любовь,
Угаснув здесь, — сияет в Небе:
Так з е р н а, брошенные в н о в ь,
Истлевши — возродятся в хлебе**.

Любовь, застывшую в крови,
Мы вознесем живой на Небо, —
И зарожденное в Любви
Створится для ж и в о г о х л е б а.

Ив. Шмелев

20.VII.1946
Париж

Тебе, мой Ангел... сердце спело, ты в нем пела, девочка моя, моя творица! Помни: не в воспылании пиши, — остынув, в полной воле, «в восторге светлого волненья». Как тобою полон, светел, в е с ь! Сейчас не могу текущее. Пишу особо, не мешая с непреходящим.

Дай же руку, — поцелую светло. Как счастлив я, что ты — т а к а я! что н а ш л а себя. Работай. Вместе, дружки, — ты, я.

---

[i] Строка выделена О. А. Бредиус-Субботиной. Ее помета: замечательно! Так и было.

* искра-ль?

[ii] Выделено со слов «И Млечный путь...» до конца строфы. Помета О. А. Бредиус-Субботиной: я в восторге!

[iii] Выделено со слов «Звезда Любви...» до конца строфы. Помета О. А. Бредиус-Субботиной: Ваня, это так нежно, чисто, велико!

** Прекрасно!

Светись, голубка. Всегда с тобой, в тебе.
Ангел мой, Ольгуна!..
Твой всегда —

Ваня

Сейчас посылка от тебя, — «память Сен-Женевьев»[302]. Ди-вно, Ольга! Какое светлое! какая чистота, какая нежность, все благоговейно, и как же просто!.. Совершенство. Нет больше слов. Благодарю, преклоняюсь, весь.

Ольгунка! Как чудесно твое четверостишие, — раздолье!.. как просто, сильно. Вижу... О, это — «разольюсь»!..[i]

Ольга! величие, и свет, и — счастье: ты — такая!..
Твой, беспредельная... Твой Ваня

Ив. Шмелев

21.VII.1946

Париж

464

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VII.46

Суббота, солнечно, чуть посвежело. В 9 1/2 — два твоих письма. Какое счастье! Я пил их, полуодетый... я — счастлив тобой, Ольгунка.

Олюша, до чего же ты хваткая! вот такую-то давно предчувствовал — обрел! Твой — «реверанс» — прекрасен, силен, — бОек, меток. Я его расчухал. Мои замечания — не в счет! За исключением — «пусть как...» — лучше — «Так пусть, девятая волна» (т. е. ты, это — приложение, пояснение). Ты же сверх чутко-грамотна, — редкость у женщин! Потому что ты — предельно одаренная. Ты, именно, — хваткая. О, моя искра! Искрометка!..

Письма твои — чудесны. Твое словечко о гребешке волны — («гребень крутой и *напористый*...») — находка твоя: напористый — крепко волевой, собранный в себя... предельно... — вот, сейчас, — разряд, излом... разлив в раскате... Какой глаз, — и, какая меткость выражения!

---

[i] Помета О. А. Бредиус-Субботиной: ? Но какой же критерий верный? 25.VII.46.

Помета И. С. Шмелева: Вот этот! И только этот. Это — самое точное — первое — впечатление. Другие — не в счет: Ив. Ш. Да. да, Оля, да!! Свидетельствую, целуя лобик.

Брось о [Светлике]...[303] — нельзя пошутить? Кто может притенить Тебя?! ... Глупышечка.

Ольгунка, ты слишком скромна, — считать «чепухой» твои работы, чем одариваешь меня?! Это же все твои песенки... — песни! Ты ничего в своем не отличаешь. Это, конечно, плюс — скромность, «неверие в свои силы», но не до такой же крайности! — излишняя боязнь своего — может вести к сомнению, к онемению... — нельзя так.

Счастлив твоей радостью цветами. Я настаивал у Baumann'a: светлые, бледноватые, не крикливые... ну, чуть «лимонные»... но не говорил о желтых. Золотистые — да, ты — золото, м о е золото! Я наказывал: 24-ое июля, до полудня (предполагал поездку в церковь), — вот почему просьба не открывать письма до полудня... Я хотел, чтобы цветы уже были у тебя, — первый привет — поцелуй моей Святой. О, как я нежен к тебе, как влюблен! Это дико: влюбленность утонула в любви. И вот, она — снова, но другая, выше, глубже, чудесней, — обновленность любви, такое душевное вникание в тебя!.. до — сладко томящей боли. Ни в каком случае я не замажу на «тылу» березки! Это ты смаху, безотчетно. Оно будет жить, его не видно: «картина» — на стене, прикноплена. Мне драгоценна каждая твоя мысль (даже бунтарка!). Мы же очень похожи. Все эти дни — тобой дышу, только о Тебе.

Как написал — так и сделал. Моя лю-ба... без церкви!.. Я вчера же ринулся на Daru — жарынь — был у арх. Владимира. Он был мне очень рад. Он же меня читает. Говорил вчера: «все ваше писание — служение, вы как бы с амвона — для верных Господу служите». Я — глаза долу... — искренно. Я ему изложил трагичность русских православных людей в Голландии, привел все данные. Он записывал. Сказал, что не раз (?) посылались прошения о замещении. Недопустимо произвольно запирать храм, лишить литургии в День св. Ольги, основоположницы русского православия, бабки св. князя Владимира... (столько «Олег» — среди православных!) несрочная обедня в день преподобного Сергия (случай с Сергеем, отдавшим за «замок на церкви» 7 часов пути!) Крещенье (чуть ли не с оркестром) в [1 сл. нрзб.], где плещутся грязью, трутся... — и все для рекламы. Православию русскому чужда реклама, крик-шум. Указал, как могут тыкать в глаза верующим — кальвинисты: поп — любовниц менял! Привел в пример еще случай с одной молодой женщиной... «[1 сл. нрзб.] у плащаницы»... Архиепископ был взволнован. Я сказал — «это же уже некое "радение", раздражение... тайный блуд...» Ну, ты меня знаешь, когда я раскален!.. — слова клеймят.

Я не позволил себе спрашивать о возможном решении: нельзя ставить в затруднение архиепископа: а если у блудника — подпора?! Хотя бы через ловкача-отца! М. б. жалоба попала в корзину?.. — если в епархии есть сторонник?! Блудник недавно приезжал в Париж за... митрой!.. Каково?! ... Арх. Владимир мне кое-что сказал. Поп Денис — жил у некоего о. Сергиенко[304], в Медоне. Этот «отец» играет в «старца», духовник блудника. Сергиенко сынок пресловутого прохвоста Сергиенко, кормившегося от Толстого[305]. Общее посмешище, ибо ду-рак! Сынок, бездарь, жарит-бьет на оригинальничанье: «старец»! И даже с притязанием на... провидца! Отец наскребывал со Льва (и все — [1 сл. нрзб.]!), а сынок с... православия, от старца Амвросия, Варнавы... Что за с. с-ны!.. Чехов называл в письмах Сергиенко, за его «протяженность» (долговязил) — «похоронные дроги»[306]. Метко. И видом — похоронный. Но хитрюга и лицемер. Вот, каков по-мет! Так и все «евграфы». Олька, у меня, при всей моей размазанности и рассеянности, есть некоторое чутье людишек. Как я тебе писал о Денисе?! ... Убедилась. Помни: чистых — один на миллионы. Отсюда: сугубая сдержанность, при-гляд. Это мы с тобой столкнулись так магнитно, в наших поисках... и то — с соизволения сил нездешних. И не ошиблись. Мы оба — с изъянами, да... но эти изъяны — от нашей пылкости, от наших требований высшего, предельности — в отношениях друг к другу. И если я — ты нашли почти идеал... как же можно его утрачивать?! Только — себя потеряв. Укнопил, сердце так тобой бьется!..

Вот мой совет: немедленно шлите требование — и на имя арх. Владимира (или — м. б. епархиального управления, на конверте на имя архиепископа). Пакет с надписанием титула вложите в другой, в адрес А. Н. Меркулова: будет вручено лично архиепископу! Припиши два слова А[лександру] Н[иколаевичу]. Он дознает — обещал — проверить, давался ли — и какой — ход прежнему-им ходатайству-ам. В требовании, — соберите подписи, — и голландцев, если есть, — приведите мотивы. Внушение и «разгон» — не удовлетворение! Надо — замещение. Один из мотивов: соблазн для верующих, оружие для кальвинистов! Смута церковная. Помяните — возможность раскола... отхода к Анастасиевой Церкви... Это будет «гвоздем» в гроб блуднику. Немедля варите дело! Пусть Сережа старается, не ты: твое сердце да не стучит чрезмерно, ты должна — покоить себя. Ради тебя, моя бесцерковница, моя нежная, светлая, моя девочка бесценная... все употреблю! Молюсь, молись и ты.

Сейчас (хотя вчера лично поздравил) шлю привет архиепископу — имениннику завтрашнему А[лександр] Н[иколаевич] вручит. Это еще подкрепит мое ходатайство. Я воз-

мущен. Эта дрянь — блудник показался препротивным Александру Николаевичу. Так и есть. Он — гадкий.

Не могу забыть, как этот истерик-похотливец (да! да!! ...) предстоял (!) в страшную ночь у плащаницы... и ты была жертвой, вся чистая!.. Он касался тебя! Гад!!! Я знаю — все его извивы похотливой чувственности, — пусть даже он сам себя обманывал! Считал, что — предстоит!.. Ведь дал же твой Ванёк метельность души Дариньки... смятенность Димы!.. — ночью, в поле, «Яре»[307].

Как нестерпимо чешется в глазу!.. — выдрал бы. Молите архиепископа — дать пастыря! Пойте хотя бы в бедной церковке!.. Пойте Господу, бедные... — Ваша убогость расцветет в Богость, в благодать! Вымолите светлого пастыря — у Пастыря всех! Конечно, вы не уклонитесь в расщепление, но намекнуть на сие нужно, дабы растолкать тинность-сон (и жадность ко благам!), чем так воняет (прости) Daru. Молитесь, — да осияет мозги и душонки спящие, — скверно на Daru, — я это вчера чувствовал. Митрополит Евлогий — в полной расслабленности. Его сладковатую двойственность и его бездарность в слове я всегда болезненно ощущал. Арх. Владимир не блещет, но он — чист душой, он — молитвенник, дитя.

Гулька! Как счастлив твоими письмами (два: 23 и 25). Ты выбила искры, и вот — твой Wickenburgh — пропет мною. Бог помог мне найти — для нас! Я влюблен, снова, свежо... весь унесен Тобой!.. Я перевлюблен — для всеполноты в Любви. Незаменимая моя! Непостижимая!.. Твои работы — свет мне. Ты все еще не постигаешь, до чего прекрасна в них! Я-блоня!.. Какая даль — топкая розоватость гаснущего дня! Во-да какая... дымка... облако!.. отражения!.. Да это же — победы твои!.. Уверен: выставь в витрине — завтра же не будет!

Твори — любя. Царица дивная!.. — сказка несказАнная... — Ольга!.. Мое согласие на предполагаемую обложку для «Богомолья»?.. Ты еще спрашиваешь!!! ...

Ольга, я счастлив, я весь награжден твоим сердцем, его дарами! Ты для меня — всему мерило! Ты — Ты! Оля, я нежно трогая губами твои губки, я ищу Олю... ее чутошную — в ней — точечку, где — свет любви телесной, ласки, дрожи сладкой... — «поласкай, как ты умеешь...» Я ласкаю, я весь — прильнувший, весь — твой, весь взятый... Оля, это не похоть, не страсть... поверь... это земное выражение всей моей льнутости к твоему, неопределимо-прелестному в тебе... — ох, О-ля!.. Как дорога ты мне!.. Бедны слова для моих чувств, таких сильных, таких жгучих и опаляющих... Но они нужны, слова, чтобы приглушить пламя, сжигающее... Как хотел я быть в Wickenburgh'e!.. —

лежать в землянке... слушать ночь, дышать... — но я все вижу... через тебя... Тобой ведь нашел то лучшее, что есть в стихах — «над Wickenburgh'ом ночь и сон...» Ты так вняла, о, чуткая — дивная Ольга!.. о, женщина непостижимая, все-женщина!.. Меня... такая... любит!.. Это награда Неба — Ты. Оля, я неисчислимо вижу и чувствую тебя... — слова бледнеют, бледнят все во мне... Ты невыражаема... мой огонь, восторг, вдохновенная!.. — мой трепет... — мне трудно в груди, так много там, необлекающегося словом!.. Слов мало: надо проникание — всем существом! безмолвие, томление... утоление... Я не смел — ты знаешь в письме ко Дню св. Ольги — даже страстно поцеловать, мысленно. Ты знаешь, как все в нас чисто, целомудренно... — облечено в неуловимо-тонкое чистое дыхание полубезуханных роз... Я просил — claires, pâles...[1] самых нежных, с длинными стеблями. Все ли исполнили? Почему нет бледно-розовых? Я так просил!.. Я хотел вызвать в тебе свет занимающей зари-любви... то — 1941 — ты видишь, как мне дорога, как я все знаю, помню... — «подорожник», задыхающийся от пыли!.. Ты — роса мне, освежение... моя ночнушка-любка, моя сладостная... Сколько силы и прелести слышу, думая о тебе, в звучании — Женщина! Ольга... Ольгуна... мое Небо, мой Свет Зари!.. Как тебя слышу... любка, как ты дышишь, как ты смотришь... как ты в уютке... котишкой... какая теплая-теплая... талая... истомная... влекущая... томящая... топящая всего, — о, сильная моя!.. Наливная малина, малиновка... зарянка-красногрудка... о, не могу... весь в неге... но какой же чистой, Оля!.. До криков чувствую тебя, до болей тебя люблю — какое маленькое слово! — не люблю, а возлюбил, внял всю... слил с собой душу твою... как ласкаю лелейно, благостно... как бурно — и как нежно-нежно, чуть касаясь!.. Оля, Олюночка... Я все зову тебя... вчера, в 11, все шептал, молил... — мыслью отдайся, дай тебя ощутить... — м. б. ты почувствовала...

Крещу, родная. Будь только сильна, здорова. Не перегружайся.

Твой Ваня. Весь твой, только твой, какой же счастливый!

[На полях:] Жизнь без тебя — томленье, будни... Оля — дай же тебя видеть!..

Что — мама? Сережа? Теленочек умер? А ты — где, что делаешь?

Ах, ты напишешь комнатку??! Да, Оля... спасибо, детка! Все, все твое — такая радость! Оля — мне! да подпиши. Я, как ребенок, радуюсь!

---

[1] Светлые, бледные (*фр.*).

Благодарю за «Kascha», но как же я расквитаюсь?! ...

Знаешь, в одной провинциальной хвалебной рецензии, критик хвалил (сознательно?) «этот роман пользуется большим успехом — в USSR: блеск императорской России так привлекателен для советского народа, а этот блеск в романе ослепителен!» (!!!?). Очевидно — Вагаев, Большой Театр и — «Яр»... «Метель»... — поймут ли эту метель... метельность?! У французов и слова этого нет. Tourbillon de neige, tempête de neige[i] — куда слабей. Даже жители гор не изобрели!

Как красив Париж тобой! Как я тебя знаю! Все в тебе!..

Оля, как светло с тобой, а [1 сл. нрзб.], я ищу тебя. Оля, я зову тебя... как одинок, бессилен без тебя.

Оля, ты меня... хоть немножко... любишь? О, да, любишь, любишь... Хоть за мои песни тебе... Но что песни — какая малость!

Все, что пишу, творю — Тобой, во имя Твое, моя Недоступная... далекая!.. Оля, как ты умна!!! Я в восторге от тебя — всей.

Какой свет письма твои! Ты — новая!

Как же я награжден, если ты хоть немножко светилась!.. — эти дни. Это ничего, что цветы пришли 23 — я просил — 24 до 12 часов утра. Но это хорошо, как предпасхальная Суббота.

Если бы я мог пропеть тебя!.. Я лишь касаюсь... Но я пропою тебя. Как? Не ведаю, пока.

Оля, «Марево» — отдаю тебе? Нет: нам. Но как это означить?! ... Оля, мы оба — как двояшки-ровники. Правда? Мы, ведь, оба, умные?! мы оба одержимые! И — трепещу! — как мы нашли друг друга. А могли бы и не найти! Нет, мы не могли не найти друг друга, потому и нашли! *Дано* было. Так надо было! Указано было. Это же так я в н о!..

Ах, как ты вся прекрасна! Оля, плечико твое ласкаю, шейку. Какая красивая шея у тебя!

[Приписка на конверте:] Sentiment tres tendress à Mama et à Serge[ii].

465

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VII.46 3 ч. 30 мин. Солнце.

Олюночка, возвращаю — для твоего архива[308]. Все — в сердце у меня, жаль вот только твоих пометок... но все же в сердце!..

---

[i] Снежный вихрь, снежная буря (*фр.*).

[ii] Чувствую сильную нежность к маме и Сереже (*фр.*).

Я светло радостен, что мое пение тебе — в тебе. Ты чувствуешь, как все пропето сердцем, наполненным нежной любовью, вросшей в сердце, всего его пронизавшей.

Я ищу слов более полных, для точного выражения моих чувств к тебе. Тут не одно чувство, называемое «любовью»: тут все предельно высшие чувства, какие может найти в себе человеческая созревшая Душа. Все они во мне, но слово еще не в силах их облечь в звучную ясность, в звучащую точность-красоту. Что поделать..? Но ты-то чувствуешь это богатство сердца-души, — это проявление еще более высшего — Духа. Оно недосягаемо для мятущейся бурной страсти, рожденной кровью — плотью, тленным нашим. Но Оно очищает страсть, малую любовь, — оно укрывает ее от бурного сгорания... длит, покоит совестное в нас — и освящает... не так ли, дорогая?.. Как и тебе, мне ценней проявление Духа, его вместилища (земного?) и земного выражения — Души... Да, правда. Но я, слишком земной, слишком насыщен чувством, — и я очень дорожу земным счастьем, песнью тела... — прекрасного, — любимой. Прости, что ж делать... — я правдив, только. Чем я виноват, что так устроены мои глаза, что вижу тебя? — вижу чудесно-чувственно?.. Но я и другую «тебя» вижу, и — как! Чем я виноват, что слышу песню твоей земной прелести, песню, какую не могу спеть, так она неосязаемо звучит!.. — так недоступно слуху?.. О, как ты вся поешь! И я невольно слушаю биение крови... ее шумы. Вот — правда.

Ты так, земная, прекрасна, — так мои чувства ощущают.

Я тебя люблю страстно... да. Но я, кажется, не меньше ценю-люблю тебя бесстрастно, как мою идею, — идею Женщины, — глубоко одаренной, неповторимой... единственной. Вот — другая Правда.

Слитность этих двух правд во мне — дает полноту, от которой я не властен отказаться. И потому — прости мои слишком накаленные проявления, мои — «эвоэ», — вскрики!

Да, земной, слишком земной и неукротимый, — а пора бы... Но что поделаешь... «заслуживаю снисхождения»: это — Ты! — сильней меня: одним прикосновением льды растопишь, заставишь расцвести «жезл Ааронов».

Ми-лая, гу-бки... дай!.. О, какие... как слышу, как пою тебя... Светлая, — и — радуюсь — земная! Все-таки земная!.. все таки... хоть чуть — моя!..

Ольгуна, не могу оторваться... в безделье, но каком же восхитительном безделье..! — это отдых.

Твой Ванёнок, который хочет быть Иваном Шмелевым

Скоро начну. Смысл «времени» для меня потерял свой смысл. Я, помимо тебя, не живу, ничем. Тебе — понятно?

[Приписка на конверте:] Пока писалось, сгорели персики. Аминь.

466

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.VII.46 Воскресенье. Св. равноап. князя Владимира. Солнце.

Дорогая Ольга, — что со мной?! Только тобой живу. Сейчас, 10 часов утра, сидел-курил, после чая, — все смотрел на твои картинки. Дивная моя! Да, ни за какие богатства мира не отдал бы их! Отдать — душу свою отдать, тебя отдать... Звал тебя — О-ля!.. Ольга!.. Ни одна женщина — знаю! — не получала таких признаний, такой нежности... — ни одна не вызвала в сердце любящего таких — пусть и неспетых полностью — песен! Весь я пою тебя... все во мне.

A propos...[i]

Я вернул тебе двойник письма ко Дню св. Ольги. Там было (есть!) твое примечание под *. Я понимаю, да. Ты могла сделать сноску — «ль»?.. И я ставил это «ль», но после — вычеркнул. Грамматически — точно это «ль» нужно бы, — во всяком случае — можно. Но видишь ли... это «ль», при чтении сливается с «искра», и непременно звучит, отягчая слух, — «искроль»... Прислушайся. И тем — туманит — искра. Многоточие в стихотворении дает ясное впечатление сравнения, не нуждаясь в «ль». Выше: «И Млечный путь, и тропка в поле, — Звезда ли, искра... все — р а в н о» (знак равенства!). Звучащее искра без «ль», получив полное звучание с этим тяжелым «а», тем самым дает ясное понятие образа — «искра», и сравнение этих предельностей (как бы максимальной и минимальной — звезда... (вообще, с о л н ц е) и искра — чутошная точка света) выигрывает в силе: «ль» помешала бы впечатлению. Видишь, у меня все учтено, я же — «подорожник»... все «пылинки» собираю.

Олюна, ты почувствовала, как мои стишки — (дошло с ними письмо?) «И земляника пахла, как т о г д а, И скромный трэфль катр-фэйем обернулся — И в руки дался “любит он... да, да”!» — вызваны были твоим чудесным описанием

---

[i] Кстати (*фр.*).

прогулки в «Wickenburgh»? Эта прогулка, это описание ее тобой — писал ли тебе? — наполнила-вызвала во мне чувство-грусти, как место у Пушкина в «Евгении Онегине», где Таня посещает поместье Евгения...

Вот еще что: в деле этого па... пластыря (и очень сомнительного!) Дениса — действуй без шума, помня, что у сего пластыря могут быть сторонники (разве учтешь мотивы всяких — особенно гадких — людских действий). Могут предупредить пластыря, и он примет меры. Соберите подписи в е р н ы х. У вас достаточно причин — требовать замещения! Главный мотив — давление на епархиальное управление — грозящее отщепенство, уход к Анастасию и принятие его ставленника. Соблазн (сожительство пластыря с «матерью игуменной»). Ну, благослови Бог. Такие «пластыри» хуже еретиков: у еретиков — сомнение и мучительное — хотенье правды — искание, а тут — самомнение, лукавство и похоти ласкание: отъедается поп лукавый, его и бацилла не берет, черт лечит! Молитва архиепископа Владимира должна указать путь правильный, уповать надо и «стучаться».

Милая, весь с тобой: наш путь — правильный, мы, воистину, ищем...

Твой Ванёк, о, Светлая моя Ольга!

Тревожит отсутствие сведений — от Ивана Аександровича. М. б. болезнь Н[атальи] Н[иколаевны] осложнилась? А я ему послал большое письмо!..[309] зернистое... от него было от 10-го[310]. Напиши ему, голубка. Как нежно тебя лелею сердцем! Как трудно мне без тебя!.. Как томлюсь... Но, возьмусь за работу... силой.

467

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.VII.46

Бесценное сокровище, Ванечка мой, сегодня твои 3 письма вечером и 1 утром. Я вся заполнена тобой. И горю работой. Чувствую и знаю, что скоро войду и встану на путь, куда ты меня уже столько лет толкаешь. Даст ли Бог сил и умения идти по нем — не знаю, но хочу уповать.

Портрет мой[311] пока что не испорчен, но не кончен, и потому есть всегда еще «шанс» его испортить. Но я не смущаюсь и мажу дальше. Сережа говорит: «по-моему, ты напрасно все мажешь и мажешь, не стало бы хуже, вчера по-моему глаз луч-

ше был». Но нет, я глаза не трогала, а дала тени вокруг и еще не отделала, — отсюда впечатление лишних пятен. Так, как он сейчас, — мне бы не стыдно было его повесить. Вчера послала тебе «любку» — «фиалку» и ее «сестренку». Мне сдается, что тебе понравятся. Заходится сердце при мысли о том, что ты ее скоро получишь. Почему? Предчувствую, что понравится? И все хочу и хочу еще и еще тебе слать рисунки. Я в опьянении работы. Хочу писать. Как чудесно: «запой» и такая ясная трезвость. Я четко и твердо стою. Ванёк, мои акварели очень «светлы», могут скоро выгореть. Dr. Klinkenbergh уже жалел об этом, что благодаря их нежности, они недолговечны. Ты их поставил на свет, и я думаю, что от них скоро ничего не останется. Если хочешь их сохранить — убери.

Ваня, спасибо за твои стихи на возвращенном письме! «Дуплет»!

Чудесно! У тебя новая фаза творчества. Биографы скажут: «с 1946 г. И. С. Шмелев отдается поэзии... и обнаруживает и в этой области свою гениальность». Ваня, Ваня, как я хочу писать и быть тебя хоть чуточку достойной! Сейчас сижу перед зеркалом (т. к. пишу на туалетном столике), и вижу в удивительном освещении свое лицо... Светлые ресницы (от света) и очень интересный изгиб рта. Попробую так написать. Сегодня же «у в и д е л а» «Неупиваемую чашу» — обложку. Сделаю и пошлю тебе. Это единственное, что подходит. О, сколько всего. Приезд Ксении Львовны меня положительно выбьет. Но ничего, я не буду считаться с ней. Сегодня и вчера от нее письма. От Наты сегодня тоже. Ванёк, о машинке: она привезет свою, т. к. ей хотелось ее мне продать, вернее ему (Николаю Всеволодовичу) этого хотелось. Особым бы образом сосчитаться. Но официально этого нельзя. Она поедет для меня как «одолжение на время». М. б. ты мог бы написать ей удостоверение, что тебе известно, что я работаю с Ксенией Львовной над корректурой твоего большого труда, и потому нам эта машинка нужна. Ты же известен как писатель. Это облегчило бы ввоз. Относительно арх. Владимира... Ванёк, Ванёк, какой ты торопыга! Зачем ты ему об исповеди моей сказал? Ну, все равно.

Ванечка, никто ничего писать о нем не хочет. Весь приход-то состоит из самое большее 15—20 человек, т. е. регулярно ходящих в храм, — остальные числятся только. Все тепло-хладны. Портить отношения боятся, т. к. тут все «свои да наши». Енакиев уже написал большое письмо о. Евграфу, сказав, что русские тут без окормления духовного... Сережа писать не будет, т. к. не числится в приходе, хотя регулярно

платит. Вообще же из тех, кто в церковь ходят — 80% его «мироносиц».

Вот, как плачевно. Пусть они нам в Амстердам дадут вместо голландца — русского священника. Это же дико. А мы отчислены к Амстердаму. Коли о. Дионисия сместят, так мне-то все равно не легче, т. к. нас отчислили к Амстердаму. Твоя бумага промаслилась от моего мазанья, все у меня в масле и красках.

О красках кстати: мне ничего не надо, т. к. получила от американцев. О, какой портрет вижу. Попробую. Все хочу! Сегодня был одна русская у меня. Славная, простая. Религиозно — малограмотна, но думается, с доброй к сему почвой. Дала ей один из экземпляров «Путей Небесных» с заклинаниями не потерять. Думаю, что она захлебнется ими. Была бы рада. А потом буду ее кормить «Богомольем» и «Летом Господним». Мне не переделать дела. Что такое с Натальей Николаевной? Она была больна? Я не знала. Некстати сугубо, т. к. жду книг для перевода... Ты знаешь, та корова-то, должна была быть убита. Теленочек конечно мертвый, — он же утонул... Какая трагедия. Я до сих пор не могу забыть. Но сегодня все 3 молодые лошади: мать, дочь (двухлетка) и сынок-сосунок — получили премию на «смотринах». Это особенно важно для «сынка» — значит в жеребцы может выйти. «Дочь» — Илона, очень красива. Обворожительна. Получила первую премию во второй части. Это редкость. А в прошлом году шла 3-ей. Значит, «выходит» в «звезды». Илона — доморощенная. Я ее и «крестила». Здесь на каждый год определенная буква. В тот год была «И». И мне почему-то послышалось: «И л о - н а». Но в общем я все хозяйственные дела забросила на бедную маму. Даже неопоросившуюся свинью только сегодня удосужилась поглядеть. Стирку отдала вчера, нашла таки прачку, хоть на один раз. Ваня, не могу от тебя оторваться, пишу тебе, думаю еще больше, хотя уже одной ногой в работе. Но скоро уйду совсем. М. б. тогда не так буду часто писать. Если так будет, то не волнуйся, — значит Ольгуна «запела». Как ты нашел «Любку»? Что сказали Меркуловы на березку? Ксения Львовна пишет: «замечательно, — она передает характер и облик его (И. С.) жены...» Разве она О. А. знала? Или с твоих слов? А Юля что нашла? Скажи Юле, что я ее очень благодарю за поздравление и песенки, но когда сама напишу — не знаю. Я не могу много времени тратить на письма. Поэтому же не пишу и И. А. ... Пока никому не буду. Кроме тебя. Что ты слышишь о Елизавете Семеновне? Что это был с ее стороны за фортель не прийти к тебе?

Смотрю в зеркало... удивительно освещение хорошо... Чудесны краски... Я в темном бордо (шерстяное платье), — очень идет к пепельным волосам и как-то «входит» в краски лица. Это то платье, которое вызвало крик у Виктора Викторовича (помнишь, писала об одном знакомом из Берлина с язвой желудка, что гащивал у нас в годы войны в Shalkwijk'e?): «Боже мой, как можно быть такой красивой!» И когда я ему сказала: «В. В., не издевайтесь!» — ответил: «О. А., ей-Богу, эти волшебные краски... вот в данный момент Вы действительно красивы». Теперь это платье старенькое — только для тасканья дома, а то бы я тебе в нем показалась. Теперь только в тряпки. Вань, я не могу допустить, чтобы я скверно перевела «Богомолье». Оно должно быть совершенным!

«Марево» переведено? Неужели ты его посвящаешь мне? Не верю: ты уже и раньше мне так писал. Ты даже вторую часть «Путей Небесных» хотел связать со мной... Помнишь? Но этого нельзя. Я понимаю. Как забилось сердце, когда я прочитала: Express: Darenka Korolewa...[312]

Это дивно... Мне — от Дариньки. Скоро иду к издателю, под предлогом принести ему, взамен моей, «безымянную» книжку. Услышу, что и как. Интересно, какое впечатление произвели «Пути Небесные» на Клинкенберга. У него тонкий вкус. Он их трепетно ждал, желая главным образом познакомиться с тобой в них. Не знаю, приехал ли он. Нет времени ему звонить, я живу вне всяких часов. Сегодня даже из-за обеда убежала, т. к. вдруг «осенило» — «увидала» ошибку и загорелось скорее ее исправить, не могла есть. Оказалось, что действительно нашла. Уловила нужное. И сразу же для будущего ценный урок. Мне интересно его показать знатокам. Это первый в моей жизни. И вообще первая работа маслом. Ты прости, что все о своем. Но я так полна. Это же первые шаги ребенка. А ты помнишь, какое это событие, когда крошка сделает первый шаг. Ночью-то даже как-то дергается. Я помню мою Надюшу. Ты поймешь, как это мне важно, и простишь мою болтовню. Ванечка, не шли бумагу! Голубочек мой родной, ласкаю тебя очень нежно и голублю. Оля тихая, нежная, вся ласка и забота о тебе. Спасибо тебе, солнышко, за все, что мне даешь! Обнимаю тебя. Оля

1.VIII.46 Письмо залежалось, я его подсунула под книгу и думала, что ушло. Вся в работе — мыслями с тобой. О, Ваня, слов нет, какой ты! Конечно же люблю, глупышка! Ванёчек, солнце!!!! Я вся в работе. Горю.

[Приписка на конверте:] Вчера послала посылку по воздушной почте. Напиши, когда придет и что, и была ли вскрыта.

468

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1 августа 46[i]

Мой дорогой дружок Ванюша, солнышко мое ясное, гениальное. Ласкунчик, нежный мой, как ты хорош ко мне, как мил, как ясен. Мне хорошо от этих писем — я вся в радостном вихре, — хочу работать. Ты даешь мне тон к песне, заряжаешь меня. Я вся в работе. Пишу кистью, но в процессе этой работы я мысленно и сердцем уже пишу мое другое. У меня бьется сердце и захлопывает, когда подумаю, что все то, что меня волнует, м. б. когда-нибудь напишется. У меня голова кружится, когда думаю о всем, теснящимся к стенкам моего сердца, просящем выхода... Где же время?

Все силы моей души, сердца, воли, все силы моей любви к тебе, неизжитой, но такой сильной и необычайной — все эти силы суммируются в единое, большое. Что-то, что должно спеться.

Как мучилась я в 42—43 гг. — не видя выхода, мне физически тогда не справиться было, и я заболела... Я так ясно это чувствовала тогда.

Теперь — я иду тяжелым путем. Я так же несу большую любовь к тебе в одиночестве... как и тогда...

Зачем писать тебе обо всем этом? Ты сам знаешь, как это — быть одному. (Но поверь мне, что тебе легче и проще). Не имея тебя, я ушла все равно из жизни без тебя.

Я живу душой в твоем мире. И, Ваня, я победила «оболочки» — ни времени, ни пространства нет. Мне несут твои письма столько ласки, что естественно томиться ею. Но я собрала в себе все это и крепко держу тебя в сердце на самой высшей ноте. Теперь я знаю, что весь этот неизжитый запас любви и всего колорита чувств моих к тебе не заглухает и не выветривается, но наоборот — достигает какой-то небывалой высоты, дает мне силы, создает мне чудесный мир для работы. Не знаю. Не затерлось ли бы буднями что-либо из этого, если бы мы были брошены повседневью. О, это не значит, что я хотела бы с тобой быть... Нет, это только замечание трезвого ума, «из опыта» жизни. Не моего опыта, но так мне кажется.

Как бы лелеяла я тебя... заботилась, служила бы тебе. Как мне хотелось все, все тебе устроить. И как ничего не вышло...

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: с картинкой «лимонная чайная роза».

Ты же еще за мной ходил.

Всю любовь, тоску мою я собрала в душе как драгоценность, и в свете этого чудесного слитка должно мое твориться. О, я гораздо счастливей многих... с виду счастливых. Я — такая с виду незадачливая овечка. Но все же, я до всякой другой работы — начну «Богомолье». Когда приедет машинка — начну писать то, что уже складывается. Ванечка, когда тебе очень тяжело одному — живи счастьем твоей любви... Это можно... Я вся ушла от «оболочек» — мне ничего не надо... т. е. я сделала так, что ничего не надо для того, чтобы быть счастливой, кроме сознания этого моего душевного мира. Каких чудесных вершин достигнуть может человеческое естество... У меня божественный мир в душе — о, если бы ты это понял! Я могла бы быть около тебя совсем иной... только хорошей, тихой, светлой, чистой... Во мне не умерло ничто из прежней Оли, т. е. что значит «прежней» — я и теперь все та же, — но как-то через страдания я нашла большую мощь себя иной. Каким-то уроком жизни. Вот когда ты меня затопил своей тоской, горем, вылившимся в бунте. Я тогда невыразимо страдала. До того, что не могла даже этого касаться. Молитвой... какими-то невидимыми «приемниками» души я нащупала путь к источнику, делающему немеркнущий свет. Молись и ты, Ванёк, — ты увидишь, как прекрасна жизнь. Ты никогда не дойдешь до мысли о «покончить счеты»... Я уверена, что ты меня поймешь. Из большой любви только может родиться такое утишение. Как больно мне, что далеко от тебя... Как близки, любимы мне те, кто хорош к тебе. А. Н. Меркулов — искренне чту за его заботу о тебе. Думаю, чем бы мне его побаловать? Такие микроскопические посылки разрешили, что смехотворно. Но м. б. я что-нибудь соображу. М[арии] М[ихайловне] хотелось шерсти на кофту. Я м. б. пошлю с Ксенией Львовной ей... — Ванёчек, какое счастье, что ты «открыл» меня. Я никогда бы не начала работать. Из скромности бы не начала. Теперь мне необходимы силы только. О, если бы быть здоровой! Покой, покой! Как горю я нетерпением послать тебе мой первый «блин». Если бы не «комом»! Я пошлю первую же главу. Скоро, хоть первую страницу только. Чтобы ты знал. Ванечка, я начну все-таки с «Заветного образа». Так хочется. Хотя м. б. надо поупражняться. Жаль, если «Заветный образ» будет «первым комом». У меня начат целый ряд рассказов. М. б. с них начать. Есть начатые уже. Завтра хочу в библиотеку для «Богомолья». Что с Натальей Николаевной? Я ничего не слыхала. Как некстати. Впрочем, когда же болезни кстати?! Ванюша, я при первой же возможности поеду к гомеопату.

Но скажи: ты принимаешь еще что-то? Обычно нельзя мешать аллопатические и гомеопатические средства. Главным образом у тебя чес? Или и стянутость? Ванюша, я не могу не писать тебе, несмотря и на работу. А между делом, я рисую тебе. Вот розочка твоя — лимонная. Но такие были красивые! А вот еще сегодня подцепила веточку дикой вишни. Стоит у меня в вазе у твоего портрета. Дала в 5 минут, буквально. — Для тебя. Сейчас ночь, глаза колет (от длинной работы глаза устали очень), спать пора, а спать не хочется... все бы с тобой говорила...

Ну, мое солнышко, однако мне надо быть разумной, чтобы не свалиться... Ванечка, голубочек, родненький, как хочется, чтобы ты остался таким нежным и милым. Не бунтуй, Тоник, мне так хочется быть в свете. Для работы тоже. Целую крепко. О.

[На полях:] Перечитала письмо — как все неясно выражено из того, что так ясно в душе, и от чего так ясно. Но м. б. ты все же разберешься. Одно: хорошо, верно и светло тебя люблю. И оттого светло.

Портрет почти закончен — сниму его и пошлю тебе. На суд... Выражение рта не то: я всего чуточку надуваю губы когда работаю. Вот это выражение и уловлено из зеркала. Но есть удачные красочные эффекты. Он недурен. Работа без предварительного рисунка. Прямо кистью.

469

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[02.VIII.1946][i]

470

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VIII.46 9 вечера

Свет мне письма твои. Они чудесны. Как ты растешь, крапивка! Не жгись только. А, главное, Олюночка, не сжигай себя, а то и меня сожжешь. Нельзя так кипеть! По 14 часов! Береги

[i] Конверт с пометой И. С. Шмелева: 5.VIII.46 (без письма, только картинка — веточка дикой елки, на обороте ее — несколько строчек Оли).

В архиве О. А. Бредиус-Субботиной рисунок не сохранился.

глаза. Слушайся. Ольгуна, очень нежны последние твои письма. Я пью их. Ах, какая ты мо-жешь быть!.. О, нежная... Но, запустив отвечать — и болью, этот ужасный чес! — метко твое словечко! — и посетители, и сам ездил — к Ю[ле] и к К[сении] Л[ьвовне] (среда и четверг). Ну, и узнал я твою дорожку! Я — ничего, я привык ровным ритмом ходить по Крымским горам, а ты! с сердцем!.. Не знал я... я умолил бы т[ебя] — или ездить по железной дороге, или — у меня, или — отель рядом. Сколько ты раскидала силушки сердца по этой дикой и ску-учной дороге! Я шел от metro ровно 35 минут. И пришел свежий. Отличный вид! Будь богат я — купил бы и выстроил уютный домик в 2 этажа — с верандой на высоте. И сидели бы с тобой ночами — звезды, Париж... воздух! Провел 2 часа без особой скуки, так... побалтывал, какая-то Анна Михайловна[313] была, за 50 лет — ну, молчать... я и балакал. А у Ю[ли], накануне, с Меркуловым не люблю связывать себя: один — захотел и поехал домой, а эти [1 сл. нрзб.] все использовать, раз вырвались. Вернулись в 10 вечера (с 9-ти утра! Да я еще встал в 6 часов и мылся в кухне!) Но у Юли я все часы, с 11 до 8 провалялся в лонгшезе[i] и — не болтал: Иван Иванович тихим говорком ворковал про разное... — а я подремывал и о тебе мечтал. От Ивана Александровича с 10 числа июля — ни звука. Но сегодня от него «colis suisse»[ii] (но эти «colis» м. б. больше месяца заказываются!). Накануне твоего пакета — посылка из Сан-Франциско — от Русских женщин. Половину и есть не могу, нельзя, — раздам. Твой «воздушный» посыл — в субботу 3-го августа. Грожу пальцем! Больше не посылай! Ку-да мне?! Я твои сухари 2 месяца есть буду. За картофельную муку — дай лапку. Еще были — пачка спичек, жестянка с маслом и уголок сыра (сыр я теперь не ем, от него бо-ли!). Про-шу, девочка-сероглазочка, не посылай! Когда надо — сам скажу, поклонюсь. У меня вот уже дней 12 — ни малейшей охоты есть, исхудал... жара, что ли? Одни кости. Хо-рош! А глаз чешется, и кругом, и за глазом, и правая часть лба, и у носа... порой сорвал бы кожу и глаз вырвал! И ничего Krymm не может (да ее недели 3 нет). Ее лекарства, экстракт из печенки (в пилюлях) по 6 штук 6 дней, а каждая — 8 grm. чистой печенки! — мне яд. Когда съел за 8 дней пузырек — спохватился: при ulcere это же верный приступ! И верно, дней 10 боли, и диета меня извела, должно быть — только молоко, но и его с трудом пью — ничего не хочу.

---

[i] Шезлонг (*от фр. longue chaise*).

[ii] «Швейцарская посылка» (*фр.*).

Прекрасны твои «восковки» — очень живые, но... это не «восковки», не любки душистые, не «ночные фиалки». Это ты со-творила, это твои — и чудесные — ! — цветочки. И мастерски дала! Сегодня — замечательный «мышиный горошек» или «вика»? Свободно дала, лихо, легко! Молодец — Олец. Целую, детка. Желтая роза схематична, суховата, согласен. Но рисунок — контура — хорошо отчеркнуто, — это как твоя техника! Зеелер был, видел вчера (до получения «вики»). Сказал: «несомненная художница. Может быть большой, если, не учась, так!»... Понравилась ему березка (как взято) и яблоня — особенно. Чувство краски — несомненно. В картинках в о з д у х, знание перспективы, — манера своя, — все данные. Но совет его: не школа, а взять поучиться у хорошего — не ломаки, Бо-же упаси! — а у серьезного «мастера» или, м. б. лучше — у художницы! (так и сказал) — «художницы... она ближе к делу и искренней». Ужаснулся 14-часовой работе! «Безумие» — глаза можно убить. Он и сам писал. Про Пикассо... — «жив он, но подлец, с. с.! приноровился к американским снобам, весь изломался». Его выставку недавно в Лондоне чуть не разнесли! Дует с американцев миллионы. Был лучше раньше (лучшее у него — портрет жены — «в серых тонах»)[314]. Есть еще Utrillo[315], запойный, тоже миллионы загибает. А, в общем, — из до 6—8 тыс. картин, что показывают выставки за год — едва насчитаешь 5—6 штук — хорошего искусства! Про Hernando[316] не слыхивал. — Оля, целую глазки за посылку, но прошу — не посылай. И Меркуловым — брось, они состоятельны достаточно. Ну, что ты начнешь мучить себя посылками! Не думай, что это какие-то особенные благодетели мои. Я всегда сквитывался, до гроша. А что А[лександр] Н[иколаевич] заглянет раз—два в неделю на 5 минут — ну, скажет, у Vita — то-то... а мне ничего не надо. Что ты выдумала раздаривать! Шерсть еще! Поверь, у них отлично в их «кубышке». Народ аккуратный, во время озолотились (в Литве торговали, в К°) для Англии, до 32 года. Ты вот беднякам помогать помогай. Ну, как хочешь. — «Вика» превосходна! Ах, творилка! Насчет попа — так и думал! Евграф ни-ка-ко-го значения не имеет. Нужно для Амстердама — пишите арх. Владимиру или епископу Никону[317] (под ним Бельгия—Голландия). Тут похлопочут. Ну и православные! д е р ж а т такого с. с.! тьфу! Знал бы — не ездил бы. Ничего о твоей исповеди архиепископу не говорил, откуда ты взяла? Я говорил — «был такой случай от одной прихожанки...» — Ольгунок, как ты меня согрела твоими ласковыми письмами! Как я счастлив! И как счастлив, что ты в творческом подъеме! Благодари Его за Милость, за

такое счастье. Но..! молю, не перегорай! — сгоришь. Дер-жи себя. Не изматывай сердца. Ешь, спи, накопляй здоровья, лелей сердце. — Оля, я тебе посвятил «Марево». Прилагаю полоску вклей в книгу. А я помечу у себя, на случай будущего. Мало сего: я вчера написал — для тебя, моя прекрасная лада! — стихи в 5 строф по 4 стиха — «Марево», — тебе понравятся. И их я посвятил Оле. Прилагаю. Вчера кис, подремал до 10 1/2 вч. вскочил — выпил молока... и пО-чал, и пО-чал! К 2 часам ночи написал и «Признание»[318] — тебе (о «Куликовом поле», которое я тебе подарил со всеми последствиями. Об этом и в стихах прилагаю). Эти стихи, в 7 строфах (7!!!) подлинные стихи в 12—13 тактов, — ох, очень трудные!.. Сегодня выправлял, — ла-дно. Труднейший размер я выбрал, но так надо, казалось мне: содержание важное, глубоко-внутреннее... и напевность должна соответствовать важности и благоговению... — и страданию. Зато «Марево» — ох, легко далось, пропелось. Но я же хотел — для тебя, моя голубка, сопроводить и «Куликово поле» — его отдачу (дарение) тебе — спеть ласково-благоговейной песней сердца. Сохрани. — Ах, «Пушинка»... — (см. 89 стр. русских «Путей Небесных» — там «Пушинка»![319]) — Оля, я все понимаю... И раньше, да-вно, понимал... И за тебя томился. И ты понимаешь Ваню, все потерявшего... но Тебя обретшего. Я счастлив, что ты нашла для себя (пока) смысл жизни в творчестве... ты — творческого духа, вся. Ах, если бы мы п о г о в о р и л и в Париже! Сколько я мог сказать тебе!.. В письмах это... — десятки их надо на все наше. А — учеба творчеству в слове?! ... Мы и не коснулись... а ско-лько надо!.. А свидимся ли — Бог весть.

Твои картинки — свет мне! Спасибо, родная моя девочка, как я чту тебя, зная, что Оля выходит на путь! Зеелер так и сказал: «Смотри, О. А. не проходила школы, а как уже дает. Она сможет быть бо-льшой». Но надо взять уроки у мастера или мастерихи. Как для слова — у... твоего Вани. Мно-го я труда положил. Я ведь и не рассказывал тебе, как я сам все нашел, и стал собой. Да. Шмелева не смешать ни с кем. Бунин... ну, оставим. Он мастер, но... тоже свой. Только вот теперь это свое — погано. Кстати, вот вчера акростих мой на Бунина. Внезапно над его квартирой умер какой-то адвокат, некий еврей Каннегисер (дядя убившего Урицкого[320]). Умер в гостях. Привезли на квартиру. Бунин, ныне порнограф, перепугался насмерть! Похабствует, а смертушки дОсмерти боится. С ним к вечеру нервный припадок сердца. Звонит к доктору — «немедленно, могу умереть». Спустя 2—3 часа является доктор. Ничего... «нервочки». Дал валерьянки. Вот акростих:

Уж с утра погода злится,
Жмется Бунин в уголок,
А покойник все стучится...
Сапогами в потолок.

А наутро опять за «бл...ченок»! Так и печатает. И — пе-ча-та-ют. В Америке[321]. Да и здесь.

Ольгулечка, моя гулечка... моя ду-личка!

Ах, как лю-бу!.. И как все без тебя постыло, пусто! Это мне казнь послана... но з а ч т о?! Послана ты мне — и — в далях! А когда была близко... о, как я му-чился!.. взирая, к а к т ы раскидываешь бездумно так скупо отпущенные нам Жизнью, Судьбой... крохи..! По чужим людям, неинтересным, ненужным тебе и мне, в нашем, высоком, творческом... и в нашей любви!.. А мы — я с к о в а н, а ты — раскована. Это была злая шутка дьявола: не дать выхода творческому Духу в тебе, моя светлая!.. А ско-лько ждала. Но... оставлю: не буду подымать пыльные ковры... — глаз пыль выест. И ты не касайся. С[еров] — гад, тебя оскорбивший, — не знал сего раньше! Помни: ни на кого не полагайся, ни перед кем не раскрывайся. Елизавета Семеновна по вечерам не выходила, из-за утомления и сердца. Могла бы хоть записку приписать. Да Господь с ней! Мне она и он — не нужны, я оберегаю себя в моем. Тебе лишь открываюсь. Конечно, я не могу читать Wickenburgh... — что тебе в голову?! ... Я лишь могу отдать кусочек — от: «Предела нет Господней Воле» и кончая — «Все у Него в безмерном Лоне». «Марево» всем могу, но не хочу. Я лишь Ивану Ивановичу с Юлей — и только «нейтральное» еще имею охоту прочесть. Я берегу наше, как святыню. Я слишком знаю людишек-моллюсков. Да ты из моих книг могла бы знать, как я к людям, и — каким!.. Ведь на 100 тысяч их — 10 разве — нашего теста, да и то с гнильцой. Ну, есть, конечно, чистые, почти святые... этих я чту. И я всегда предпочту дружить с простягами, они по крайней мере мне гадкого не расскажут, — терпеть не могу. А когда ехали от Юли — А[лександр] Н[иколаевич] меня посвящал в «тайны Парижа»... — он везде трется — и набирается. А сказать — оставьте при себе — обидится, губы распустит и головой затрясет пуще. Ну, и слушал. А ему муж Е[лизаветы] С[еменовны] предлагал (м. б. в шутку) «посмотреть» такое злачное, что меня смутило, хотел плюнуть, но в metro «defense de cracher»![i] Тьфу!.. Ах, Оля-Оля... до чего поганы могут быть люди!.. Не поверишь! Что это, как дворовый Гришка «карточки» показывал мне... — он — мла-де-нец

---

[i] «Запрещено плевать» (*фр.*).

перед всеми этими с. с. И представь: мужья жен во-дят!.. Довольно. — Я не хотел обидеть, сказав — «лепетала девочка» (у издателя). Я был растроган, как ты «проводишь» меня, но ты в этих делах практики не знаешь. Уверен, что издатель — почтенный человек. И, конечно, ты не девчушка, а grande-dame, «tres estimee»[i]. И говорила с достоинством. Целую твой умный лобик, о-чень умный. И этот... неуловимый рот... о, ка-кой!..

Был интервьюер, сидел час. Болтала больше (пела, за себя и за меня) Эмерик. Что напишет — увидим. Но в вечерней газете любят «с анекдотцем». Она ему и «анекдотец» составила. А пока с книжкой определенного ждать надо к половине октября... Говорят — ндравится. А я не верю. — Мя-со им нравится? про «тетю Паню»?..[322]

Оля, ты чудесно облекаешь в слово — уловленное глазком! Я видел и звезды, и воду, и колосья, и перерезающую все полосу тумана. И «два дерева»... Напиши, сру-бят! Не мечись. Помни: у тебя большие дары. Но один больше м. б., другой — меньше. Умей их использовать. Знай: у пекарей есть саечники, калашники, плюшечники, сухарники... ... а не один все выпекает. Тем более — в искусствах. Самое важное: уметь б е р е ч ь время, им распоряжаться, а не ему тобой. Тогда в малый час сделаешь большое. О, счастье мое, радость... последняя... но какое яркое счастье! Правда, сколь же ущербленное!.. Оля, мы должны беречь друг друга. Я — вот, светлой любовью к тебе клянусь! — я не отемню твоего сердца, света, не расшумлю покоя... никогда. Я знаю: я все больше люблю тебя. Я тебя, с ценным твоим, ценю, а не безразлично, что м. б. в тебе. Может быть и не твое, а «подспудное», поднятое грехом в человеке, поднятое воплощенным злом. Это я отмечаю. Я лелею тебя, Олю... мне желанную. Прочти (оно трудно для чтения!) «Признание» — поймешь. — Н а п и ш и «два дерева». Буду на Boul-d Monparnasse, зайду к Baumann'y, попеняю за розы: им все было сказано ясно-точно: разнообразной светлой колеровки — между прочим и citronêtr (лимонного тона, un peu en citron...[ii]). А цветочник (голландец, очевидно) взял да и спустил колер малоходкий! — все в букет! Я зайду. На днях поищу для тебя атлас цветов. Какие издавались в Германии! Есть у тебя?! Должен быть!!! Там и «любку» должна найти. Вот, какая она... прости «сапожника»:[iii] на самой земле, над луко-

---

[i] Важная дама (*фр.*).

[ii] Бледно-лимонный (*фр.*).

[iii] В письме рисунок.

вицей 2 листа, из середки восковидный, высокий, до — иного 30 см цветочный стебель, *без* охватывания, как у тюльпана или глайёлей (гладиолусов) без пазушных узких листиков, голый и ребристый. Он зеленей, чем цветочки-звездочки: эти совсем белые или светло-сливочные. Когда «любка» вся распустилась (она долго и в комнате распускается!) цветочки редки, далеко сравнительно друг от дружки и вся 1/3 часть цветочной ножки в звездочках. Так кругом всего стебля на последней 1/3 его вышины. Строение — орхидейное: «губки» — языки, по 2 каждого. Но у меня нет атласа. Последний раз видел «любку» ночную фиалку, на Карпатах, в 37—38 гг. Дрожал от счастья! Моя «схема» — ни-ку-да, конечно! Но, запомнилось, что стебель с гранями, как бы русский штычок, но грани чутошные (4, кажется). Ее безуханная сестренка — лиловая, и темно-зеленые (у «любки» светло-зеленые) два наземных листа, довольно большие, в черных крапинках, потому и зовется еще «кукушкин цвет, кукушкины слезки...» Ты же создала твой цветок. Он чудный! Молодечка ты, Олькунка! Гу-бки!..

Ах, Олюшенька, ско-лько у меня есть сказать тебе, глубочайшего! Во мне всегда мысли, всегда творится... только затепли меня! Буду долго гореть тихим светом, — негасимая лампадка, сколько Господь масла отпустил. Вот, Ольгуна — тебе:

Марево

Оле (Ольге Александровне Бредиус-Субботиной)

В дополнение к посвященному
ей рассказу «Бродяги» — «Марево»
из книги «Про одну старуху»
Ив. Шмелев

Вся снеговая-голубая,
В ином краю приснишься Ты,
Иль яркий день чужого мая
Напомнит мне Твои черты... —

Я, весь в плену воображенья,
Воздвигну светлый образ Твой —
И, верный раб отображенья,
Весь день живу я, сам не свой.

Так знойный день в степях Востока
Покажет марево-обман —

Зеркальный блеск и синь потока -
И вмиг развеет* как туман.

Была Ты...** да?.. теперь — какая?.. —
Все та же ширь, все та же даль?
Вся снеговая-голубая,
Вся — свет и светлая печаль?..***
Пусть** Ты совсем другая стала,
Чужая вся, и вся — туман...
Но лишь бы маревом**** предстала -
Испить чарующий обман*****.

4 авг. 1946
Париж
Ив. Шмелев

Годится и для романса, и для более солидного opus'а композитора. Обычно великие поэты от стихов — к прозе. Все начинают стишками, я с мальчишек крутил стишки (Тоник). Но когда сестренка Катюша дала в пансионе подругам мою тетрадь, — ее сразу и зачитали (было мне тогда лет 14—15), и я бросил стишки: 3—4 написал Оле и позабыл, а м. б. и вспомню. Я сразу начал с труднейшего, с про-зы, и мой первый рассказ[323] появился сразу в толстом журнале «Русское обозрение», был я на 1 курсе. Уже ни-когда стихов больше не писал, разве сочинял для рассказов. (Вот — для рассказа «Голуби»[324] — поет старушка[325]. Вот — в «Неупиваемой чаше» — девки в лесу[326]). Специалисты-фольклористы не верили, что это мое. А — все мое. Ныне ты, моя дива, меня р а с п е л а... Но в стихах мне, правда, тесновато.

Счастлив положить и рассказ и стихи у сердца моей Оли, моей дружки, моей любви.

На многие вопросы еще не ответил. Скажи — что тебе знать надо. Уговорю Ксению Львовну машину взять, да когда-то она подвигнется? Моя portable от скверной ленты вся запуталась в ни-тках! — и я только чертыхаюсь, пиша. Пером

* здесь не надо запятой, т. к. «как туман» здесь почти не сравнение, а — прямое дополнение или предмет, над чем действие.

** пауза-заминка.

*** (падение голоса).

**** усиление

***** Последняя строфа — особенно последняя строчка — полная разбитость.

уж, способней. Но если Ксения Львовна раздумает, пусть берет мою, только бы всю проверили и пустяковые частички заменили. В общем — машинка еще послужит.

Целую тебя, ласточка, в бровки твои... как я люблю их!.. и все черточки, все, все... о, моя горячая-пылкая творица!.. Не перекипай. Стихотворение «Признание» — уж не знаю... оно давалось очень туго, размер, как сказал, — наитруднейший... Чтением умелым, если какие [2 сл. нрзб.] есть (есть, знаю!) все выровняется, — тоже знаю.

Ого, уже половина 2-го ночи. Трудно пером, но я решил тебе стихи — и все к ним — собственноручно, сердцем, а не стукотней. И тебе приятней.

Оленька-ясочка, нежная красочка... вижу всю гибкую, с... А, право, недурно — «вся — неизбежная!..» И еще — [«]Ольга цветочная, Ольга неточная...», а — «пьяная розочка»?..

Нет уж, ни-кому такого не написать!.. Тут — через душу — сердце как-то... тело пело. И как же мне дико-легко далось! вот уж, именно, задалось!

Все-таки я оставил копию, спохватился. Писал тебе, буквально, смаху, без правок-помарок, уже вложил в конверт... вытащил и переписал, для себя.

Ах, идти в свою «нишу» — но я в себе уношу тебя, смотрю на зашитую тобой цепочку крестильную... и говорю всегда — спасибо, дружок Оля. Твоя чашечка все у образов. Другая — синь — на столе, только капли принимаю, редко чай пью. Ни-кому не даю! И твоя «лохань» сизая — тоже на столе, из нее иногда пью, никому не даю. Унес из кухни, а то старуха хлопнет.

Целую, Оля. Как я счастлив — как ласково ты пишешь! Господь с тобой. Крещу мою голубку.

Ваня

471

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.VIII.46 1 час дня

Вот это тебя в о з ь м е т, послушай, ясочка-красочка.

На сих днях зашла ко мне почтенная старушка-газетчица. Она хорошей московской родословной, из семьи Перловых — чайники! — Садовниковых, Бахрушиных. Ее дядя устроил «театральный музей», брат — профессор[327] или доцент Московского университета, был в дружественных отношениях с тогдашним Иваном Александровичем Ильиным — и в Бер-

лине они встречались. Старушка всегда была сдержанная, о себе не говорила, а, знал я, жестоко нуждалась. Не знал ничего о ее детях, о родных: знал, что в любую погоду ковыляет по русским квартирам, продает русские газеты, таскает пачками, шмыжит по лестницам... Знаю ее года 4—5. И вот, на сих днях, зашла она ко мне, дал ей вперед чуток... Разговорились... И узнаю, что у нее дочь — художница окончила «Эколь де-Бо-з Ар»[328], по специальности — портретистка, главным образом — работает миниатюры, «под любой стиль». Работает на пар художников-антикваров, и ее жестоко высасывают. Например, заказали ей миньятюру 18 века, копию. За три тысячи. А через неделю художница узнает, что ее миньятюра продана за 30 тыс., подпись ее вычистили, — провели за оригинал, миниатюру! Такие судиться не смеют, — гибель. Ну, выдаивали... и выдоили. Эта дочь старушки была замужем за русским французом, т. е. французом, родившимся в России. Оказался дурак и пьяница. Где он, жив ли, — не знаю. Сын, 18 лет — у кого-то, по слабости легких, на юге. Ей 41 год. Сезон давно кончился, «дома» работы не требуют, до глубокой осени. Заболела. Потеряла 14 кг нормального веса. Ослабела. Дрожат руки, не могут и «волоска»-кисточки твердо держать... ходит пить кровь на бойню. Лучше, но страшно оголодала... просит «у мамы» — у старушки-то! — «мама, дай мне поесть...» с плачем! А у той ни-чего! Это впервые за годы, что старуха пожаловалась на судьбу, заплакала... Ярко представил я: «вот так бы... с О-лей!..» Ну, пожалел, что не знал... Вот с такими было бы полезно тебе знакомиться... во многих отношениях. Ну... сунул я ей еще чуть авансу под газеты... — люди тут были! — что под руку попало — дал... кажется, банку какао, банку казенного варенья... — мясного ничего не было, ни сала, ни колбасы...

А ту мне, на следующий день, — из Сан-Франциско! а там — от тебя, а вчера от И. А. И. Напишу старушке. Просил старушку — принесите мне посмотреть какие-нибудь работы дочери. Вот, Оля... страшно, когда с голоду плачет взрослый человек, и отличный работник... — очевидно есть талант, если «дОят» французы! — и так оплачивают египетскую работу! — 3 тысячи! — 8 килограмм сахара, или 6 — масла!.. И это — «ма-ма... дай мне есть... умираю от голода!» Кровь теплая, с бойни, очень вызывает страшный голод, тело требует своего... — и не-чего дать! Тут только малое, — мушиное! — воображение требуется, чтобы представить все!.. А по уходе старушки, слышавший все, тот же А[лександр] Н[иколаевич], мне говорит: «как вы расшвыриваетесь!.. вы, кажется, апельсиновое варенье дали!..»

Передернуло меня... — «Нет, говорю... м. б. апельсиновое бы и не дал... люблю его, а дал абрикосовое...». Ну, когда он прочухался, понял все... — они туго понимают, когда брюхо отвисает! — и так как он все же — по-своему — человек неплохой, а скорей добрый... — говорит: «а пусть она подаст просьбу нашему Церковному комитету помощи, на Дарю, я постараюсь ей 500 франков выхлопотать». И знаю, что тут еще и «тщеславность» роль играет: могу, дескать! Правда, через него я Ивонину в критические дни достал раз — 500, другой — 1000. Но эти деньги — чужие, жертвованные, на бедных, «тарелочные». Я не хочу этим сказать, что жесткий человек: нет: А[лександр] Н[иколаевич] изо всех их — лучший! Но досадно мне — моего варенья пожалел! М. б. — лучше бы с ним поделился? (М[ария] М[ихайловна] очень апельсиновое варенье любит!) Я делился часто, и всегда отказывался «продавать» из посылок, не могу я... Раз, впрочем, отдал ему швейцарскую посылку из 4 — на мои же швейцарские франки присланных. А то — всегда отказываю, — есть — кому нужней, дать-то.

Вот, Олюша... такова жись. И еще повторю: не посылай Меркуловым. Пошлешь — разблаговестят: «мне О. А. посылку прислала!» Сейчас все моллюски задвижут рожками: «а мне почему не прислала!? ...» «а мне..?» У тебя этих «мне» — ворох тут. Всем давай!.. Из тщеславия будут звонить — «прислала О. А.» Так и занимайся укупоркой. Эти отлично проживут без твоей заботы: у них много притоков, и все богачи. Они умеют завязывать «связи». И со мною-то... думаешь — из любви ко мне? Не-эт... — из тщеславия... Помню, А[лександр] Н[иколаевич] на улице подошел: «представиться». Но он-то — лучший! На «шерсть» у М[арии] М[ихайловны] всегда найдется. У бедняка не найдется... По-мни. Ты вон, с пылу, Ивонина «интеллигентом-тунеядцем» окрестила — прости! — не ты... а — в тебе, поднявшееся снизу... — а он всех их на сто голов чище, скромней, жертвенней. И вот, теперь, эту художницу представляю... Вот, с кем во всех отношениях нужней было бы тебе знакомиться, а не с хамами-клеветниками, гадами! которые все измажут... и тебя, и меня, и усопшую... Серов, конечно, не был на панихиде 22 июня, а знал накануне, был у меня, и с Юлей мы назначили 5 часов вечера! И этот *гад*, защитник светлой памяти усопшей... — от кого?! ... — этот клеветник, от кого жена сбежала, — прравильно! — отсутствовал! (Я никогда ему не говорил, что оправдываю поступок Марго!) «Забыл!.. совсем забыл!..» ну, не с.с.?! ... а?! ... И ты, после того, как он тебя же оскорбил, — не

зна-ал я, а то бы бы-ло!.. — повторила 5-часовой визит! Что, что доброго дали тебе эти брошенные в помойный ватер[1] 10 часов, отпущенных нам суровой судьбой «крох» встречи?! Нуль. (Хуже, взяли у тебя!) Ну, шли же им жратвО! Они вон — все трое, — нажив на тряпках для американцев, — «служители искусства»! — отдыхают, раздатчики!.. Мо-гут по 350—400 с рыла платить в день по пансионам. Прохвост-клеветник собирается отдыхать — 2—3 месяца. А все канючил — ни гроша нет... — и все вставлял в разговоре, как он бессребренничает. М. б. он из всех сосунов-врачей (французской марки) даже «бессребренников» лучший. Правда, он имеет иногда сердце, знаю. Да черт с ним! Тяжко видеть-слышать, когда на 5-м десятке, хорошая работница — плачет и молит у нищей «мамы»: «хочу есть... дай же, мама»! Вот, Оля... Мне даже жутко, приметил я, не раз было: дашь пустяк... и, буквально, на следующий день отдастся с лихвой. Так я теперь, давая, думаю в тоске: «нет, Господи... чтобы не было отдачи!..» Я знаю, не за что мне получать Его Милость.

Вот, вырвалась у меня, для тебя, такая резкая страничка в серости дней наших. Осуждаю?.. Нет: возмущаюсь. И собой возмущен, что не расту сердцем, что часто бывал глух, рассеян, в жизни... Эгоистом не был... м. б. (и наверное!) был эгоистом — для работы, так легко принимал (не находя сил долго [протестовать]!) заботы обо мне Оли. Сожрала все моя работа! Оля, я — клянусь — никогда — как и Оля, — не искал славы для славы, для себя. Никогда никого для сего не покупал, не искал. Знаю, как делали другие, — и с именем! Просто, это как-то шло мимо меня... не тянуло меня, не трогало... Не кичусь этим. Мне всегда было одно дорого: дать лучше! — кому? — и не думал. Моему Искусству. А не зевакам, не снобикам. Их прах всегда вонял, и я отворачивался. Я жил — в моем, но не в том, что кругом меня. Этим и ты живи: нет лучше этого! Будь и эгоисткой, но во имя, а не для отмирающего в нас, не для развлечения болтающихся.

Целую твои ручки, всю тебя! всю!! ... и во всем твоем, видимом, — целую жемчужное зерно в тебе, самоцветы немеркнущие!.. что с собой делать, если я так, порой, страстно, влекусь к тебе — всей, вбираю тебя, как вот аромат и сирени, и «любки»... слиться хочу с тобой?! ... Я тебе напишу все же, — это трудно, — почему во мне это, это влечение и к оболочке... к губкам, к милой атласной спинке... Я скажу тебе, как понимаю любовь. Ваня

---

[1] Здесь: ватерклозет (*от фр. water-closet*).

472

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.VIII.46

Мой драгоценный Ваня, неповторяющийся творец, гениальный мой Иван Сергеевич! Милый, нежный, хороший, ласковый, горячий... Тоник! Все бросила, всякие дела и пишу тебе. Наконец-то твое заказное письмо. Чудесное «Марево» и «Признание». Я их прочла маме и Сереже — они в восторге. Все эти дни мы трое все время в думах и разговорах о тебе. Сережа читает вслух «Лето Господне» маме. Она — плачет порой, умиляется, восторгается. Хочет тебе писать. Сережа — тоже. Ты действительно единственный, и после тебя никто не сможет коснуться ни няни, ни человека из ресторана, ни богомолья, ни праздников. Все уже исчерпано тобой. Скороходов зачеркнул всяческие иные возможные потуги изображения его коллег. Няня твоя тоже стоит совершенным изображением нашей исконной русской няни. По «Богомолью» и «Лету Господню» (как не раз уже говорила) — дОлжно строить наш быт, воссоздавать, реконструировать. Ты — пророк (не злись!) и по твоим словам надо с Божьей помощью строить народно-православную жизнь. Я глубоко уверена, что народ наш вырвал у власти свое[329]. Теперь надо обживаться, обстраиваться в этом завоевании. И я не менее уверена в том, что совсем не в далеком будущем тебя целиком издадут т а м . Ну, за исключением некоторых вещей. Но ведь ты так неполитичен. У тебя же и в «Солнце мертвых» тихой песнью дрозда вся вакханалия кроваво-голодная кончается. Ты — в сущности своей благостен и ясен. Такое только и нужно миру, а нашей Родине в особенности. Я узнала, что наш бывший батюшка[330] из Берлина (очень хороший) улетел в Москву к патриарху и вернется снова. Скажи пожалуйста, кто бы мешал тебе дать в подобном случае книжку «Лета Господня» для патриарха?! Если бы они даже только в семинариях и академиях давали читать, так и то — какой воздух! — Я верю и уверена, что тебя еще с почетом пригласят туда. Ничего не известно. Но ты так необходим там! Да, да, да, да, да, да, да, да!!!!

Здесь чинились корабли советские. Переводчиком в течение 1/2 года был наш друг — инженер[331]. Тот, который тебе больше всех на фотографии понравился (Wickenburgh'ской). Буду писать на другом листе. Трудно читать[i].

---

[i] Письмо продолжается с новой страницы.

Этот инженер — рыбинец (между прочим) — был у них на борту вполне своим человеком. Он все видал. Никакого политрука не было. На всю огромную команду 1 коммунист. Сперва тот его дичился, но узнав, что Ал. Ал. рыбинец, — коммунист вдруг просиял — оказался земляком. Интересно, что когда в Голландии бастовали рабочие и капитан с Ал. Ал. ездили в бюро этих рабочих для переговоров, там ходила такая отборная «шпана», что капитан сказал, делая мину: «Ну, это знаете, что-то вроде нашего военного коммунизма в 1917 г. будет, такое же безобразие». У всех этих русских людей бросается в глаза радушие, братское отношение, масса такту, природного очевидно, т. к. и матросня поражала этим. Все они жадно ищут общения с культурной нашей стороной в газетах, книгах. Молодежь, выросшая под опекой власти, никак не озверела и не обезбожела, они не развиты религиозно, но отнюдь — не плохая почва. Дела — масса. Ты не для эмигрантских детей, разучившихся или не научившихся русскому языку. Твое главное на родине. И. А. И. не пробьется туда. Но ты... ты целиком для России. Для тебя тесен мир Запада. Ваня, открой глаза. Я не подбиваю тебя к возвращенчеству. Я не знаю, как это будет. Но знаю, что будет. Должно быть.

Ты не для эмиграции жил. И не для ни французов, ни для немцев, ни для Швейцарии, ни для тем более с.с. «лордов». Ты наш. Наш народ оголодался. Он жаждет. Его душевно-духовный желудок *не* атрофировался за эти годы душевной засухи. Он просит пищи! *Только ты*! Грех не дать детям и бросать, хотя бы крохи, псам. Среди эмиграции есть много честных, святых тружеников. Но сколько их и сколько там?! Юля думает так же. За это я и приняла ее в сердце, не глядя на иное, что не по душе. Ты не понимаешь своего назначения и значения. Именно: (не отмахивайся!) ты как пророк должен выйти. Глупый! Тебя народ на руках пронесет по просторам родины. В сердце возьмут. Что же власть неприемлема. Ради такого великого признания... обходи ее. Тебе был бы и со стороны официальной, уверена, почет. Не стали бы срамиться. Ты слишком известен. Но и помимо «похода» туда, ты, оставаясь в Париже, можешь быть там. Ну, довольно. Я не знаю, как и когда, но знаю, что Ваню будут там «глотать».

Я взволнована тем, что ты плохо ешь. Ну что это такое? Я огорчена, Вань. Будь пай. Кушай! Обязательно соберусь к гомеопату. Берегись, кушай, спи. Ну, для меня! Как тебе не стыдно. Я послала тебе сухарей из самой белой муки, какую можно достать, а также получил ли ты домашнего изделия бисквит, он был положен в жестяную коробочку с сухарями.

Кушай его скорее, а то потеряет вкус. Я из-за него-то и послала воздушной почтой. Спички были пробой, выбрасывают ли то, что сверх разрешения. Нам можно посылать только то и столько, что получает один человек на неделю. Была ли вскрыта посылка и очень ли переломались сухари? Отчего мне нельзя посылать тебе? Ты же сухарей вечно ищешь и радовался, когда Зеелер прислал хлеб. Ты всегда со мной в оппозиции. Право — это забавно. Ты хвалил и превозносил А. Н. М[еркулова] — но стоило мне отозваться хорошо, как ты начинаешь его развенчивать. Если я похвалила о. Евграфа, то ты его оплевываешь (Карташев *не может* иначе отзываться, Евграф — ему нож вострый!). Спроси Юлю об о. Евграфе. Она его знает. Скульптора ты совершенно не знаешь. Но что его никто из твоих знакомых не знает, еще не доказательство, что он — бездарь. Я ведь хоть что-то нибудь да вижу в картинах?! Как ты думаешь. Я им самим *никак* не увлечена. Как и он никогда не волочился за мной (как думаешь ты). Он без сомнения один из талантливейших современных скульпторов. Не выхватывай его обезьяну. У него масса чудесных работ, очень нежных. Прелестны его «дети»-животные — их слабая беспомощность, их безобидность. Хорошо передает материнство животных. Львица, кормящая с лаской в «лице». Он известен тем, что никак не реагирует на женщин, весь в работе. И кончено. Мне его никак не надо! Как и меня ему. Сходи на его выставку (когда будет — она только что была) сам, и тогда увидишь, что я не отношусь к тем «дурам», которыми ты меня крестил. Ну, довольно. Я разбита, устала от работ, не завершившихся целиком. Портрет мне <u>не</u> нравится, картина тоже, некоторые безделушки тоже. Я не могу ничего.

Сердце за последние 3 дня нехорошо. В груди ком, иногда болит. Нет воздуха и усталость. Плохо сплю. Глаза режет. Переработала? Перевод «Богомолья» идет сверх-медленно. Поездки ежедневные в библиотеку невозможны, а дома без пособий трудно. Писала И. А. От него ничего. Что с Н[атальей] Н[иколаевной]? Я ничего не знаю. Почему Эмерик переводит «Соловей», а «Огарок» <u>не</u> переводит?[332] А ведь дальше-то купец играет словами[333] как раз про «Огарка». По-моему либо все имена собственные приводить в оригинале со сноской внизу, либо все переводить, а то неряшливость какая-то. Мне трудно читать по-французски, но все-таки «выискиваю» вот. Эмерик — tüchtig[i], но не из больших и не из крупных. Жду приезда

---

[i] Способная (*нем.*).

Klinkenbergh'а, который обещал мне специально обратить внимание на французский язык в переводе. Он им в совершенстве владеет. Что находит Зеелер. Он очень интересовался, как переведено. Я не сомневаюсь, что «Пути Небесные» нравятся. Это же чистейший кислород в вонючем Западе! Кто не утратил инстинкта жизнесохранения — тот тянется к воздуху. Я просила тебя указать мне, как работать: браться ли за большое, или попробовать с рассказов? Если я возьму «Заветный образ», — то боюсь, что он выйдет тоже большим. Не получилось бы как у тебя с «Путями Небесными», с той разницей, что «Пути» — гениальны, а я посяду — как подумаю... материалу тьма. И какого! Повесть хотела, а боюсь не вышло бы слишком длинно. Я не знаю, с чего мне начать? — мучаюсь в выборе пути... Я боюсь писать. У меня ничего не выйдет. А вот в живописи вижу уже, что ничего не выходит, что бы хотела. Я мучаюсь. И плохо себя чувствую. Страшно счастлива только тобой. Очень тебя люблю. Хорошо люблю. Веришь? Ах, ты такой... такой необычайный! Но только холь себя! Ну, для Оли. Я постоянно думаю о тебе. Ты сумел меня по новому в себя влюбить. Если бы мне быть тебя достойной! И нету времени! Ну, когда же еще начинать учиться живописи? Где же время! И что я дам? Все уже сказано до меня. Словом — нет. Я знаю, что скажу нечто, чего никто не сказал. Пока не сказал. И не у всех был такой папа, как у Ольгуны, и не у всякого такая сумасшедшая фантазия и сверхчувствительная душа, как у девчушки-Оли. М. б. она что-нибудь и скажет. Благослови меня! Я просила тебя об этом. Пришли мне особо твое Благословение. Я верю в это.

Проклятая почтовая забастовка у вас задержала видимо письма. Я так ждала от тебя. Жду Первушину, — какая-то будет на ней «пыль Москвы» — пыль Парижа, какие-то твои атомы. Сейчас хочу так: послать 3—4 страницы «Богомолья» И. А., тихонько до приезда Ксении Львовны переводить дальше и рисовать по мере вдохновения. Главным образом виды около дома, т. к. скоро его продадим, и значит я лишусь многого, что было под рукой ежедневно. С машинкой начну переписку писем. Долго?.. Думаю. Хотя я горячая. Я — «Мери». А потом свое... Но иногда все бы оставила, и занялась бы своим, так хочется. Недавно письмо маме от ее приятельницы: «Попросите Олечку мне написать обо всем — она так мастерски рассказывает — одно наслаждение... и встанут передо мной былые годы, когда она живая мне рассказывала...» Это она же уверяла, что я всех покоряю, что кокетство у меня особенное, даже с собой самой, с женщинами... «кокетством-то нельзя назвать, а не знаю, что такое».

Ну, разболталась, не могу оторваться. Ваня, Иванушка — спасибо тебе. Я очень, очень во власти твоего «Марева» и «Признания». Превосходны оба! Целую. Оля

Как твоя работа? Когда III часть «Путей Небесных»?

Милый, родной, хороший, самый, самый близкий душе — Ваня. Как чудесно... — и горько «Марево». Мне хочется плакать. Но я тобой ласковым счастлива. Только тревожусь о здоровье. На днях же обращусь к гомеопату.

Ванечка, хороший мой, да ты живописец! Чудесно ты изобразил «любку». Я вспомнила. Я ее забыла. Она смутно была в воображении. Именно, именно: 2 листа на земле. Помню. И «звездочки» на расстоянии. Браво, Ваня!

Ужасен твой рассказ о молодой женщине и ее матери.

Прошу очень: не посылай мне ничего с Ксенией Львовной. Краски есть. Лаку не надо! Почему ты был у ней 2 раза? Но там красиво? Я бы хотела там жить. Но теперь все чаще думаю о России. Как бы хотела туда! Я же ничего не видела там. Поехала бы в Крым... Кто знает.

«Билет до Вальпарайсо!»[334]

Обнимаю нежно, ласково, тепло,
очень, очень нежно.

Оля

473

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VIII.46

Милая Олюша, в «метаморфозу» «Петухи»[335] внеси поправки: В 1-й стих 5-ой строфы — вместо «напряглось» — надо — «занялось» (в смысле как занимается пожар) и после «что другое» — многоточие. В строфе «Миг — и все иное стало...» во 2-м стихе — вместо «вздохи» — лучше охи (верней правде, какие уж тут вздо-хи!.. — ведь дело-то с ве-сталками! понятно и «охи»). И еще: «А девчонки к ним навстречу...» — Ахи, не охи. О-хи — по-том. Строфу «давки винограда» — так надо (м. б. я исправил, не помню): «Грозди сочные давили, — Жали кипрское вино... — Бурно лили, жадно пили, — Доставали в чашах дно».

В строфе с Меркурием: «Встань, отец богов!.. потух!.. — Веста..! вечная невеста..! — У нее огонь..! петух!! ...» (понятно, на-скОрях, потрясенный, путает слова...) И тогда делается совсем понятным эпитет: «Ни черта не понимаю!»

В строфе — «Возвратись в свой Храм, о, Веста!..» последний стих так: «Вновь, с тобою, разожгу». (Явственней, — как разожжет). Да, еще: в строфе о подходе когорты так: «В тот веселый час разгула», (лучше: безумия еще нет, это после, когда «охи»).

Понравились — «Петухи»? Мне — да. И — Юле (ей читал... целомудрясь, с малым пропуском «и что другое» (эту строфу) и о... как жали виноград. Ей — рано такие слышать или — уже поздно. Да и Д[яде]-В[ане] смутительно). А больше ни-кому не прочту: не доросли. И, вообще, я теперь ушел в себя.

Привет. Шлю закрытым письмом.

И.Ш.

[На полях:] Видишь, какой я точный!

Меня тревожит: от И. А. — ни звука, больше месяца. Пишу Mrs. Bareiss.

474

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[17.VIII.1946]

Дорогой мой друг!

Пишу из Утрехта, — жду автобуса. Эти дни неважно себя чувствовала. Прислуга в отпуску, дела больше. Потому не писала. Сейчас видела Dr. K[linkenbergh'a] — говорила 3—5 минут. Он в восторге от «Путей Небесных» и от автора. Сказал: «Чутьем угадываю прелесть его вполне в оригинале. В глубоких местах романа я вижу, как перевод «мелко» берет мысль автора. Потому и писал Вам о переводчике. Средний читатель м. б. не заметит, также и тот, кто не вполне владеет французским языком, языком для тонких восприятий, но "элита" из читателей это сразу чует. Большой калибр этого романа переведен мелко, по-женски». И тут же оговорился: «В обычном понимании "женский" — Вы, например, являетесь жертвой тех женщин, благодаря которым возникло такое понятие». Он выписывает в тетрадь из «Путей Небесных», несмотря на то, что я ему подарила книжку. Счастлив узнать автора. Из новостей: продана ферма. Жду писем! Обнимаю. О.

[На полях:] Увлечена рисованьем тушью.

Начала работать. Портрет отдала сейчас фотографировать. Фотограф тотчас узнал сходство.

Все время идет дождь. Когда же приедет Ксения Львовна? За «петушков» грожу Тонику пальцем.

«Петушков» («перевод с латинского») — не принимаю всерьез.

475

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.VIII.46

Прошу, дружок, вышли скорей последнюю редакцию «Куликова поля», чтобы мне точней выверить текст, установить окончательный вид (лик) рассказа. Вряд ли я его снова буду переписывать: этого не потребуется, — внесу лишь, если надо, кое-какую правку. Он, помнится, был выверен, для тебя. Надо посмотреть. Я тебе его тотчас же вышлю, через день—два, заказным, конечно.

Сегодня Преображение, и я рад, что хоть заочно (душой!) могу послать тебе «Яблочки». Кушай (как дети) воображением! Глаз теперь не «плавает», не воспален, но ему «неловко», несколько связан. Уже принял первые три крупинки. С верой, мысленно прося тебя дать мне больше веры. Я чувствую, что ты сейчас думаешь о В[ане], — играет сердце. Я... — о, я неотрывно, даже когда стряпаю себе. Вот сейчас варится арико-стручки... будет вариться баранина и, м. б., если не лень, — крем твой. Слава Богу, — никого сегодня, даже и «стены», хотя у «стены» — праздник и день свой — должно быть кушает пирог. У них всегда пирог в праздник — для них, только. Любил я пироги — отвык. От «чудачка» и клеветника сегодня письмецо, слава Богу краткое и... пустое. Но изъясняется в любви. Не отвечу. Довольно ответов. Был Ив, но не застал: сидел я на почте. Как играет сердце! Сегодня понедельник — твое письмо, добрый знак, с понедельника да еще в Преображение, но оно не т а к о е, как люблю. Но я счастлив. На Тоньку не серчай, он — Тонька. На днях письмо от Земмеринг[336] (чтО испытали!) «без содрогания не можем теперь слышать родной речи»! Мои письма и рукопись (для издания) зарыли в той зоне, и драгоценности. Еще письмо от балерины Горной[337], и о Швейцарии: вырвалась.

Ваня

476

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VIII.46

Светлый Ванюша,

Благоговейно и преклоненно приняла я сердцем твое мне благословение[338]. Буду стремиться быть достойной, творить

честно, чисто, во славу Господа и твоему имени. На пользу нашего народа. Вчера я получила и твои сласти. Спасибо, родной! Как это меня тронуло! Эти дни я плохо как-то себя чувствую, тревожна, нервна, плохо сплю и замирает-тоскует сердце, воздуха нет, а в груди «кол».

М. б. ты тоскуешь? Вчера на утре видела сон, очень яркий: я на rue Boileau, вбегаю в лестницу, и не знаю, на котором я этаже, бегу снова вниз, отсчитываю площадки и так задохнулась, устала, что ноги подламываются. Звоню тебе, а звонок только 1 раз звякнул и больше нет звука. Я стучу... никакого ответа. Я в страшной тревоге, что с тобой, т. к. знаю, что ты дома. Наконец: «Олюша, я сейчас». Сердце так колотилось, что я не могла стоять. Ты открываешь, но у тебя какой-то человек... неприятный, и я соображаю, что это врач. Вся голова у него в бородавках, бритая, с паршами голова. И меня начинает мутить. Он меряет тебе давление (в руке), а потом перетягивает шею и меряет давление там. Мне страшно, что он тебя удушит. Спрашиваю: «сколько?» — «2!» — Я в ужасе, что так низко, и мне снова делается плохо. Смотрю на тебя, но ты такой свежий, молодой, чудесные большие глаза. Я говорю: «Ванечка, а глаза-то у тебя ведь больше не болят! Совершенно здоровый вид!» И проснулась. Засыпаю снова и вижу: ты показываешь мне фарфор с изображением Вакха, жмущего вино (действительно, буквально!). И изо рта у него течет вино. Видна только его голова, и я в ужасе вижу, как она превращается в главу Иоанна Крестителя. А рисунок на блюде. И казалось, будто это глава на блюде. Видимо это от Леонардо да Винчи...[339] И тут же какой-то дележ фарфора, и моя золовка... и всякая канитель. Между прочим, золовка — страшная дрянь, равно как и ее близнец. С наследством обжулили уже, и будет еще хуже. Отвратная атмосфера в имении. Чистка ее будет похожа на чистку выгребной ямы. Но я не испугаюсь отчеканить правду и выставить кого полагается за двери. Ну, шут с ними! Сегодня после дождей чудесный день. Хлеб в поле весь сгнил. Мы без урожая. Катастрофально! Сегодня Сережа снимал груши, что перед домом. Мне грустно. Всегда грустно это снятие плодов. Только как-то и чего-то жаль. Наверное будет гроза. Мне так тяжело и сильная мигрень. Была в городе — взяла портрет от фотографа — не скоро еще будут готовы фото. Портретом восторгалась жена фотографа. Но я думаю, что из финансовых интересов — чтобы заказ дала. Здесь многие находят тоже у меня удачными работы. Арнольд предлагал далее учиться и бросить хозяйство, когда устроимся в имении. Меня же больше влечет слово. Только

и жду тишины, чтобы взяться за дело. От Ксении Львовны открытка из гор, — она собиралась 21-го в Bellevue, а оттуда напишет, как ее дела с визой. Я плохо верю в ее приезд. Он меня интересует только из-за машинки. Но когда воображу, что она прямо от тебя приедет — то и иначе еще она мне дорога. Сережа и мама очень хотели бы тоже поехать в Париж, но все у них так сложно. Ванёчек, если тебе не трудно, то м. б. пришлешь коробку из-под сухарей жестяную — она для этого удобна, а их тут не достать. В ней не бьются сухари в пути. Сегодня получила отказ из министерства на посылку в Германию. Я взяла ее послать на имя одного француза оккупационной армии там. Бедная моя тетя[340]. Буду просить американцев послать что-нибудь. От них было письмо — треплются по Hôtel'ям, т. к. нет квартир. Дерут с них безбожно, а она измаялась с девчушкой, т. к. нет ни прислуги, ни детской коляски, ни удобств. Всюду по городу таскает ее на руках с собой. Пишет, что из-за этого и посылки нам оттягиваются, т. к. она пришита к ребенку. И гречневой крупы значит наверное не послала? Все это меня огорчает. Ванёк, и самое большое огорчение — то, что ты недоволен моими письмами. Мне это так всегда больно. Почему? Ты знаешь, как хорошо я к тебе. Ах, какой сейчас дивный свет... Похоже на лунный камень. Розово-молочный воздух. А я так бессильна передать. И оттого грустно?

Милый мой Ванёчек, радость, голубчик, ангелочек. Как хочется, чтобы тебе хорошо было. Почему А[нна] В[асильевна] тебя забросила? Я Юле написала по твоей просьбе... А Меркуловы... конечно мелки. Я их так и понимаю. Но из обывателей еще лучшее. Ах, как болит голова. О, если бы крепкое здоровье! Сердце мое очень чувствительно — чуть что — воздуха не хватает. В понедельник поеду с зубами, давно пора. Будет больно — знаю, спереди всегда больно. Ну, ничего, надо. Как сейчас тихо-тихо. Марево. А мне... будто давит этот молочный свет... Сегодня говорила с одним молодым человеком, бывшим только что в Париже — очарован этим городом. И когда он называл места... так мучительно было слушать. Как бы я хотела оказаться у тебя снова. Нет, я бы не моталась больше. Я бы не расплескивала минуты. Мне многое надо из вечного узнать. Но сперва я должна заслужить себе это. Я должна работать. И буду. Не с пустыми руками чтобы приехать. У меня живой уже рассказ есть, — только записать. Все вижу! Все слышу. Буду писать тебе. А какую я оригинальную обложку для «Лета Господня» знаю!! Знаешь, на подобие камеры фотографической: круг с находящими

пластинками[1], и вот в этих-то пластинках символы твоих праздников! Тонко конечно. Понимаешь: замкнутый круг — Л Е Т О. Хочу пробовать. А ты, если нравится для «Чаши», должен в завещании сказать об издании «Чаши» в этой «рубашечке». А то не сделают. М. б. лет через 25—50, когда и нас не будет, в России тогда издадут. Потому напиши. Если хочешь. Ванюшечка, родименький, ласковый, светик. Как я вся душой моей с твоим, в твоем! Обнимаю тебя очень светло и нежно. Крещу, молюсь за тебя, будь здоров. Кончаю, голова трещит. Еще раз целую тебя ласково. Олёк

Я так безупречно чисто и светло к тебе! Так легко летит душа моя к тебе. Будь светел!

477

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Woerden, 26.VIII.46

Дорогой мой Ванюша, все эти дни у меня тоска-тоска... и без писем твоих даже знаю, что ты ко мне изменился. То ли ты в упадке, то ли бунтуешь, то ли сердишься на меня... или (сохрани Бог!) болен. Но я тоскую... Ты не должен быть ко мне плохо... ты знаешь, как я светло к тебе... как нежно, как ласково и как глубоко... А что я такая «трудная» (помню, ты так определил меня в Париже) — так разве я в том виновата? И... Ванечка, будь я не трудная, — ты не любил бы меня так, т. к. сам же говоришь, что именно такую и любишь, со всеми плюсами и минусами. Ну, если бы ты мне поверил, как я вся искренна, перед тобой открыта, как я сама своей натурой и... несчастна. Мне всегда было (да и будет) трудно жить... И ты не считай меня эгоисткой, Ванёчек, — всегда, во всех жизненных положениях и решениях я, если с кем не считаюсь, так это с собой. Иногда мне кажется, что единое, что мне осталось — уйти в монастырь. От себя отказаться совершенно. Правда, Ваня!

Ты м. б. не поверишь. Мне мучительно знать, что я как-то причиняю другим страдание. Я очень от того несчастна. Сама я все могу снести. Только утрату любимых... страшно помыслить... до жути, до «невмоготу». Когда я буду писать «Заветный образ» — все там это будет. Все это было у Оли маленькой, все это осталось у Ольги большой и даже... стареющей. Но довольно о себе. Почему-то болит в груди. Чувствую и физичес-

---

[1] В оригинале письма рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

ки себя неважно. Сегодня от тебя нет писем, хотя и понедельник, — думала, что за воскресенье прикопится. Но Ксения Львовна пишет, что уже в Париже, визы еще нет, но обещают каждый день возможность ее прихода. Ксения Львовна кажется простудилась. Сегодня же я звонила одному сановнику, — тот обещал узнать, куда мне обратиться за ускорением ей визы. Лето пройдет, пока она собирается. Сегодня я была у зубного врача (оказалось еще не так плохо, чуточку только дырка), еще только в пятницу схожу и все будет в порядке. Все зубы пересмотрел — очень прилично все. После приема, его жена затащила меня к себе на обед и не отпускала до 4 ч. Она уютная толстушка, из каких-нибудь индийских отпрысков, судя по темпераменту и наружности. А потому совершенно не похожа на здешних дам. Во время голода они у нас регулярно бывали за провизией, и мы сдружились, поскольку можно дружить с иностранцами... т. е. внешне очень милы, на ты и по имени, — больше ничего. Она очень ко мне привязалась, он очень интересуется нашим народом и всем вообще нашим, не считая нас «бандой», что тоже редко у западных гадов. Ненавидит Англию, что еще реже. Сын — как-то с обожанием относится ко мне... средне между обожанием ребенка и восторгом юноши. Все приметит: и какая шляпа красивая, и как я одета, и всегда: «нет лучшей музыки для меня, чем когда Вы по-русски с Вашей мамой...» Он играет мне на пианино все, что бы я ни захотела, радуясь чем-нибудь вызвать улыбку. И вот они-то все сегодня мне и открылись: «я всегда говорил, что нам не коммунизма надо бояться (против него мы вооружены предубеждением), нам надо устрашиться России и ее духа». Это отец. И все подтвердили. «Сталин понял, в чем сила России — это ее национализм, он свернул со своего пути интернационала и катит по иным рельсам... катастрофально для мира. Он понял, что патриотизм заставит русский народ русифицировать все и вся». Я его разубеждала, конечно, указывая, что русский народ никогда не страдал немецким шовинизмом, но все напрасно. Они цитировали Достоевского, ссылались то на одно, то на другое. Одним словом в панике от новой политики Советского Союза... И тут-то они высказались так ясно, как никто и никогда еще передо мной, откровенно и обнаженно. До того, что я сказала: «а я-то ведь тоже русская!..» Не смутились даже. «Вы возьмете весь мир, вы сделаете его русским, и начало уже есть — возьмите славянские страны... нет, нет, для нас все это страшнее коммунизма, и я всегда это знал, говорил: не коммунизм страшен, а русская мысль — идея». Этой формулой закончился разговор. Я ее привожу дословно. Вот так-

то к нам относится Запад. И при этих условиях можно только пожать руку Молотову[341], как защищающему наш интерес. Здешние воют прямо открыто от этого, не привыкнув к тому, чтобы Россия отстаивала себя. Церковь и все прочее, по мнению этих здешних «пущены на свободу для той же цели, — конечно не для вида, а для того же духа русского, ибо тут-то самая большая сила». Я, затаившись, слушала, я — горячка, следила без единого слова после его окончательной формулы. Так это откровение меня сразило. Вот тебе! И что же нам? Все еще продолжать с волками — по-волчьи выть? Меня не заставит никто и ничто. И эти замечания: «нет, Россия и не должна иметь выхода в море, представить только что тогда она будет делать! На что смотрит Англия-Америка!?» «Коммунизм хоть разъедал страну внутри, а теперь на русской национальной установке они все соединятся... Это бесовски-гениально сделал Сталин...» Они захлебывались в своем паническом ужасе. «Все вы русифицируете, все и всех...» Вникни, Ваня! Ну, будет. Я молчала, сдержалась, иначе... что бы было иначе? Задевали не Сталина, а человека, отстаивающего русский, им ненавистный, дух. По их же формулировке. От них зашла в переплетную, чтобы дать «Пути Небесные» (французские) переплести, — те, которые прочел Dr. Klinkenbergh. Книжка довольно потрепалась от чтения, и я у него ее взяла для переплета. Теперь можно корешок кожаный получить. В коричневых тонах с золотыми буквами и на корешке, и спереди. Klinkenbergh в уносящем от тебя восторге. Но об этом уже писала, — с тех пор его не видала. Эмерик определенно не хвалит. Он говорит на изысканном французском языке. Говорит, что и предисловие как-то неуклюже написала, — могла бы изящней. Он тебя так трогательно охраняет, будто ты его друг. Несколько раз выкрикнул: «он для избранных, для избранных, но как его должны ценить!» Этот — Клинкенберг не испугается «русской идеи» — этот — чистый сердцем. Сейчас сижу в имении одна. Стол перед стеклянной дверью в сад, к пруду. Вид сказочный. Сейчас сумерки. Люблю этот час. Последние дни, несмотря на тоску и усталость, рисовала много. Удалось выразить немного чарованность далей здешних. Эта скучная и нудная страна бывает совершенно обворожительна для живописца... До боли в сердце. Сегодня опять стояла перед картиной... до того дивно выражена эта типичная для этих мест зачарованная тишина... марево... дымка... сон... Я чуть не кричала, чуть не стонала. Так взяло. Не отошла бы от окна. Бесподобно. И каак я это вот именно чувствую и обожаю! И только чуточку касаюсь. А тут так полно! Не прода-

ется картина, только на выставку дана. Разве не ужасно! Я бы способна была ее стащить. Изображается вода с зарослями, на мысу, вдающемся с левой стороны, снуло стоят две коровы, розоватые в косом солнце, и ветки дерева над ними рыжеют солнцем, и такие же блики в воде, но все это розоватое проходит сквозь дымку, молочность, опал. В зарослях так же сонно рыбачит кто-то... Все — во сне. Марево. Какой воздух. Какие далекие-далекие дали, несмотря на туманность. И как все скрыто вуалью, и как все, все чуется. Я опять унесена живописью. И так щемит-ноет сердце... Так неохватна эта красота. Отчего-то мне всегда грустно при виде истинной красоты. До боли, до боли была пронзена картиной! Какой-то малоизвестный художник, а дает больше Рембрандта ван Рейна. Ну, надо кончать, а так еще хочется говорить с тобой. Надо спать.

Обнимаю тебя нежно. Мне так тепло на сердце, когда думаю о твоем благословении меня. Как ты хорошо это сделал!

Спасибо еще раз!

Но теперь какой ты ко мне? Почему мне тоскливо? Или это от физического сердца?

Покойной ночи! Оля

478

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.VIII.46

Дорогой Иван Сергеевич! Не имея от Вас никаких вестей с Преображения Господня, начинаю думать, что Вы больны, и очень волнуюсь. Сохрани Бог, если Вы так расхворались, что даже письма черкнуть не можете. На этот случай пишу эту открытку, чтобы тот или та, кто приходит проведать Вас, написал и мне хоть два слова о Вас. Адрес уже написан, следовательно, не составит никому большого труда эту мою просьбу исполнить. Заранее благодарю за это. Я все это время себя тоже неважно чувствую. Плохо сплю и с сердцем не в порядке. Все время усталость. Волнения о Вас не способствуют улучшению. И так досадно — хотела как раз работать. Вчера все же целый день рисовала, но к вечеру так устала, что еле отошла. Я писала картину — видение мое. Ночь, туман, путающийся в цветах, и из него, из тумана, таким же туманным призраком — дитя. Ребенок лет полутора-года. Он весь прозрачно-призрачный, только глаза смотрят-горят, спрашивают с укором: «за что?» Это имени всех деток, без вины умученных. Не готова, но уже кое-что получилось. Послала Вам заказное —

акварельку «Груши». Пошлите трубку обратно, если Вам не трудно. Она удобна для посылок. Эти груши посвящены были еще до рисования Сереже, т. к. он мне этот «заказ» сделал. Принес и сказал: «вот — рисуй!» Но я их Вам послала. Как я возмущена церковным новым расколом[342]. Какое безобразие! Из-за личных честолюбий так не считаться ни с кем. Не ожидала от еп. Владимира! Если он в принципе не согласен, так надо было раньше об этом думать, и нечего было встречи прилетевшим устраивать, а то и получилось: «не дали мне власти, так я и за принципы прячусь!» Гадость! Я скоро перестану ходить к таким пастырям вообще в храм.

[На полях:] Крещу Вас. Будьте здоровы. О. Б.

До прихода ответа не буду писать.

479

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.IX.46

Милая Олюша, 31 августа послал письмо[343]. Все то же со мной — стяженье у глаза и лба (правый висок) и нестерпимый почёс, — гомеопатические лекарства — сегодня 15-й день — без последствий. Жду Krymm, м. б. буду впрыскивать комбинацию мышьяка со стрихниполлом, как поднимающее жизнедеятельность общую. Очевидно, все — на почве поражения местных нервов, подкожных после работы стрептококков. Это мучительное состояние — при всем прочем, — отшибает волю к работе. «Прочее» же — твое отношение ко мне. Сейчас я перед важным шагом... — все к о н ч и т ь, н а ш е. Конечно, я извещу тебя (на днях), сжато и сдержанно в с е объяснив. Я все сделал, чтобы ты нашла себя. Я не должен, не смею так расходовать себя и свои дни — на самоудовлетворение (однообразное) перепиской с тобой. Да еще по программе и содержанию, предписанных твоей волей. Постоянное «переменно» — мне наскучило. Да и... все наскучило. Довольно самому забавляться и развлекать тебя. Я — не для сего. И твои последние письма и «хула» (о делах церковных) мне претят (т о н! т о н!!). Ты многолика, да... но последний «лик» — нестерпим. Пожалуйста, никого не запрашивай, ни Юлю: чтобы не было домеков. Господь с тобой. Мои чувства неизменны, верны, но длить все так — не могу.

Ив. Ш.

[На полях:] Словом, я разбился, и виной всего — и моя безоглядность, и твоя нечуткость. — Увы, но так.

Конечно, болен, хотя хожу и мыслю. И почти не ем, — нет никакой охоты, противно.

Позор: не могу даже продолжить переписку II ч. «Лета Господня»!

480

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.IX.46

Дорогой Иван Сергеевич, пишу только для того, чтобы сказать, что сейчас отослала две книжки с «Иностранцем» и в одну из них вложила 5 писем с «Куликовым полем». Заказной посылочкой. «Куликово поле» послала крайне неохотно. Из пометки сделанной Вами на «Куликовом поле» следует непреложно и настоятельно, что это последняя редакция автора. Вы хотите еще править? Воля конечно автора, и она мне священна. Но я с горечью отпускала эти письма. Прошу Вас очень — пошлите мне его по возможности скорее и заказом. Я болезненно расстаюсь с Вашими письмами. Чувствую себя гадко. Нервы совсем сдали. Реву безудержу. О Вас, за Вас, и из-за Вас. Но это на последнем месте. Главное я мучаюсь тем, что Вы себе накрутили страданий и мечетесь в очерченном Вами же самим кругу. Прошу Вас очень: послушайте Вашего доброго и чистого сердца, а не бунтовщицу фантазию! Ничего не могу делать. Приучилась курить — дурманит и глушит, а знаю, что это — яд мне. Но теперь уже тянет*. Запоем вяжу Вам летнюю фуфаечку-безрукавку, скоро будет готова. Но надо будет красить, т. к. смогла добыть только белую шерсть. Несколько раз перечитываю письмо Ваше, полученное 28.VIII, но отпущенное 31.VIII. Нет, не шлите мне Вашего «злого» письма, я и с этого заболела. Берегите себя. Вы нужны для большего, чем я. Я — ничтожество. Довольно об этом. Я знаю. Завтра должна была ехать за сливами в имение с доктором. Хочу отказаться. Нет сил внутренних. Не могу говорить ни с кем. Не хочу писать рассказа, который начала было. Не к чему. Человек всегда одинок. А я забыла это и ждала, что могу быть понята. Господь да хранит Вас! Я одного только и хочу, чтобы Вы были спокойны и не страдали. «Форма» моя для открытки. Крещу Вас нежно. Закрылась в своей комнате и плачу. О.

---

* все же надо бросить – брошу.

481

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IX.46 10 часов вечера

Родненький Ванёночек,

Ночь на сегодня промучилась в болях — этот припадок уже не повторялся довольно давно, от масленицы. Всю грудную клетку разносило, раздирало, до крика. Потом перевалами-волнами. Ничто не помогает. К утру острота прошла, но блаженного состояния «после-болия» так и не наступило, и целый день щемит, как больной зуб. Я осторожна, берегусь, но душа так тоскует по тебе, что не пойму: не из нее ли боль? Я тоскую о том, что мечешься ты. Ваня, я никак не могу доказать тебе, что ты все, все *надумал*, сам строишь свои муки и этим грешишь. Да, дружок, ты грешишь перед Богом даже, ибо свет обращаешь в тьму. Но вот мне маленькое утешение в моей боли и душевной, и телесной. Получила сегодня фотографии с написанного мной автопортрета. Отчаянно дорого, но все же стоило, т. к. кое-что передает. В красках конечно неувязка, т. к. они по обычной фотографии мазали краской и получилась с ы р ь. Оригинал очень чист в тонах. Я рада, что могу тебе послать, м. б. развеет твою... злость(?), досаду... на меня. Еще я написала один натюрморт (лилии розовые), его одобрили знатоки: «превосходно». Докончить надо и вделаю в рамку. В натуральную величину. Получил ли ты грушки? Они тоже довольно удачны. «Чувствуется фактура» — по определению одного понимающего в этом здесь, только немного грубы листья — испортила тушью. Я еще нарисовала ветку груши тушью — очень недурно. Но теперь должна отдыхать. Не смею тебе писать дальше, т. к. должна идти в кровать — снова начинает ныть в груди и вокруг. С ужасом жду припадка — это пытка. Неужели это сердце? Болит даже до ушей. Но главное — ничто не помогает. Ванечка, ты поверь мне, что лучше, чем я к тебе — я не могу быть. Если неугодна я такая, то значит, я и не годна ни на что. Мне иногда кажется, что напрасно я живу. Я бы не боялась никаких себе лишений, только бы не причинять боль собой. Мне ничего не надо. Я очень убита и иногда хочу уйти от всего мира... Ну хоть в монастырь. Писать не суждено мне. Я не могу выражать себя. Я поняла это из твоей реакции на мою «исповедь»[344] перед тобой. Но сейчас так заболело опять. А слезы подступают к горлу. Я так несчастна и непонята тобой. Получил ли «Куликово поле» и «Иностранца»?? Обнимаю ласково и целую. Оля

Сегодня «письмо» твое с обложкой для «Чаши». О, если бы письмо, но в нем ни строчки. Утешь меня. Будь снова милый.

Какая жалость, что «Богомолье» не могу переводить — нет сил. Как посижу подольше — кол в груди, замечала.

Я не могу и обложку отделывать. Нет энергии, вся я расплываюсь... в слезах? И совсем без слез. Да и нехороша она.

Выброси всю мразь мою из ягодок, все это чепуха. Разве это искусство. И «портрет» этот — дрянь. Поэтому его не посвящаю.

Все посредственно в лучшем случае. Смотрю на розовые лилии, и они стали нехороши. Все мне немило и болит грудь. Приступ уже начался, Господи, Господи!

Но за что ты-то меня казнишь? Подумай. А если меня не будет — пожалеешь, совесть твоя тебе скажет, что был неправ. Оля

Даже не могу фуфаечку вязать — и это утомляет.

5.IX.46

Ужаснейшая ночь была. Приступ не прошел еще совершенно и сейчас. Останусь в постели, — только вот дождусь почты — должна быть от тебя хотя бы ответная открытка на мою от... 30-го. Если бы ласковая, — я бы успокоилась и м. б. заснула бы. Сейчас же вся взбита. Целую. О.

Всю спину тоже ломило, руки, шею.

А как ты? Я так о тебе страдаю!

482

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.IX.46 Пятница

Дорогая моя Олюночка, наскоро пишу тебе, получив сегодня твою открытку и письмо. Получил и пакет с «Иностранцем» и «Куликовым полем». Верну без задержки, лишь просмотрю, не правя. М. б. есть пропуски и ошибки. Пишу, измученный. Корю себя. Кляну себя. Но ты забываешь многое, для меня мучительное. Оставлю. Нельзя жить на угольях, как я. Нельзя разматывать остатки жизни, как я — впустую. Я измучен и непрекращающимся раздражением век, глаза. Я весь измучен. Я силюсь собрать себя — для работы. Я все понимаю в тебе, но... столько острого для меня во всем т в о е м. И это переменное: то допустимо так, то — укоры и сдержки. Если я давал себе передышку в шутливом, — за это мне грозиться! За мои «песенки». Я знаю и вижу, что эти мои шутливые «Петухи» — ярко-образно и к р е п к о. А ты — ми-мо! Не возражай: посвящение рассказа «Марево» (при всем твоем восхищении самим рассказом) — прошло мимо, ни-как. Я читаю твои письма всегда весь. Там нигде ни малейшего отзвука.

Чего это далась Эмерик (ее перевод) доктору К[линкенбергу]? О чем тут разглагольствовать? Перевод признается литераторами-французами — отличным. К[линкенберг] русского текста не знает. И, критикуя перевод, тем самым (косвенно, с какой целью?!) критикует мой труд. Хочет что-то, осторожно, рушить в твоем представлении? И что за мелкая навязчивость с «Огарком»? Тут и ты не поняла... По *моему* настоянию оставлен — «Ogaroc». Дело в том, что тут понятие не о не догоревшей до конца свечке, а своего рода метонимия или метафора. «Огарок» — в переносном смысле — плут, ловкач, хитрюга (в ласковом значении) и не поддается переводу. Помнишь — «огарки» — в 90-х годах, у нас? Отчаянный сорт мальчишек — на в с е!

И довольно о переводе. О нем пишут з н а ю щ и е и русский текст. И никаких похвал и анализов от неведомых мне знатоков — мне не надо.

Ты — другое дело, можешь купаться в этом, тебе необходимо это, м. б. ... — но мне, по крайней мере, не пиши. Меня с м о и м оставь в себе, если что-нибудь тебе в этом ценно, но не навязывай 3-м лицам. Я не хочу этого. Я достаточно с а м. А ты мне чуть ли не в 5 раз стараешься внушить мнение 3-го, что перевод никуда. Им-то какое дело?! Мне опекунов не надо. Ты меня оскорбила твоим необъяснимым (не ждал от тебя!) оскорбительным отношением к достойным людям, говоря — «Анастаске давно бы пора болтаться на осине»[345]. Хуже даже. Мне было противно читать. Если ты — про-советчица, у нас с тобой не может быть никаких общностей. Я жалею тебя. Да, я люблю тебя, глубоко и неизменяемо, зная, что я в тебе люблю, я болею, что ты мучаешься от моих несдержек... но, прошу, не пиши мне невыносимого. Я — ты знаешь — не могу ни забыть тебя, ни перестать любить. Я напоен тобой. У-по-ен. Ты знаешь. И знаешь, до каких безумств это во мне доходит. Ты — для меня — часть от меня, и я, разорванный, истекаю болью. Твоя боль — моя, Ольга... Оля... Олюшка моя... Я же не могу без тебя, и я — без тебя! И я хотел бы (хочу!) разбить себя, чтобы не томиться так.

Ксения Львовна очевидно не приедет: в октябре возвращается ее муж. Вчера я читал «Петухов» (с дополнениями!) Карташевым, были у меня: горели восторгом! По-няли, что это — как бы — пародия-шутка, но поняли, что это и мастерство. Ты «не приняла всерьез», т. е. иначе — и не почувствовала, в чем искусство. Ты как-то себя пришпилила к сему! А сего и в помине-то не было: я отдыхал. Сегодня шлю «Петухов» — Ильину. Он мне прислал книгу (машинопись пока) о 3-х писателях:

«О тьме и просветлении»[346]. Там дано Шмелеву подобающее ему. И с каким поражающим анализом! Одной «Истории любовной» отведено чуть ли не 5 страниц. Ка-кой разбор, по его тонкому (и новому в эстетике!) методу. Он всех поставил на их полочку. Он увидал (вскрыл) весь мой внутренний опыт, во всем. Пусть посмеется «Петухам», на отдыхе. Для сего и писано. Их я не посвящал тебе. Откуда ты взяла? Зато не заметила, что тебе посвящено, и с каким сердцем.

Ну, будет... не страдай, улыбнись Ване-мученику. Не мучителю (а м. б. и — да!), а му-че-ни-ку. Я таким всегда был. Я мог одолевать в себе беса. Я тебе все сказал. Моя любовь к тебе лишь на 1/10 — земная. Я тебя люблю чисто, глубинно, до какой же сладостной муки! Ну, забудь горечко... это же горечко. Ну, протяни мне руку, я приложу ее к сердцу, добивающему последние удары... безнадежно.

По-мни: все вынесенное (за 28 лет) проклинают, зовут предателями (и это сознательные, и малосознательные люди) тех, кто видит национальное в этих насильниках над народной душой и волей. Там — сплошной ад, неизбывное страдание. Там все — ложь. Не отходи от меня так... — или, уж лучше, — сразу все оборвем! У меня нет сил так влачиться. Я хочу, чтобы мы были во всем созвучны, и не из каприза, а все разобрав. Я всегда приму твое, если в него уверую. Не покидай работы. Молю тебя. Ты для меня ценна особенно, когда я увидал в тебе — дружку. Пойми. Ты — удивительная, полная для меня несказанного очарования, вся ты. Я чту тебя. Мучаю... — невольно. Прорываясь, да. Сам не удержу себя, после — страдаю. Но я люблю Олю мою, — мною собранную во мне кусочками. Не разбивай ее, мою Ольгуну. Сколько [1 сл. нрзб.] духа моего отдал я тебе, Ольга!.. Как... люблю... — не думал, что можно так. Не слышал, не читал. Сам постиг. О, если бы ты была со мною! Ну, хоть на день, два... тебя видеть!.. Я до сей поры переписал только одну страничку!.. ты видишь? говорит тебе что-то — это? Когда была в Париже, я, при всей муке-радости моей (какие были часы ужасные!) я мог свыше 70 страниц проработать. Ныне... я весь — где-то. А чую, как мне хочется работать. Отсюда — мой вынужденный «отдых» и мои стишки... не стоящие мне никаких усилий. Одно «Марево» все покроет. Знаю, вижу.

Оля, мне больно было читать твои письма. Но ты найдешь себе отвлечение — прогулки с доктором за фруктами... У меня — ни-чего. Я не способен ни на какие прогулки, когда я — такой. Я не заставлю себя даже на 1 день поехать к Ю[ле] — подышать. Мне — ничего не надо. Когда я чем живу — живу

глубоко и весь. Ты — иначе. Ты можешь «закруживать себя». Так было не раз. Я — иное.

После смерти жены я — и не моим усилием — вышел из могилы. Я умирал. И теперь сознательно говорю: лучше сразу, чем так томиться. Подумай, и — кончим. А какой будет исход, об этом я не думаю. В таком, в чем я, — худшего быть не может. Не переживу — да плевать мне на переживание! Я не могу балушками завешивать свой живущий во мне Лик. Его не закрыть ничем. В любви ты не пошла прямой дорогой. М. б. ты и права. Но ты, конечно, и несчастна. Я это понимаю. Но «быть допускаемым» до любви — с этим никогда не примирюсь. Тогда — лучше — ничего. С «ничего» я по крайней мере сумею справиться, или — уйду в ничто. Т. е. не буду, по крайней мере, чувствовать по-земному так, как теперь. Я исстрадался. Я должен забыться.

Не посылай мне ничего, я откажусь принять. Забот твоих мне не надо, зачем я буду к ним приучать себя? Я ценю их, да... но — не надо. Найдешь, о ком заботиться, более нуждающихся. Мне ничего не надо. Я довел себя до полного аскетизма.

Господь с тобой, Оля. Не пиши мне, и я не буду.

Так лучше.

Ваня

Но перед тем, как все кончить, я пошлю тебе давно (дней 10) написанное письмо, где, посильно, главное сказано. Я — простился с тобой. Я уже был готов проститься навсегда. Клянусь тебе!

В.

2-й месяц при мне никого. Я себе не готовлю, я — так, молоко, чай, хлеб... все. «Стена», ограждающая, бывает раз в неделю.

483

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботина

6.IX.1946 (После нынешнего к тебе письма)

Драгоценная моя, — найденная вновь и вновь — Ольга! Я, через 1/2 ч. после получения твоей открытки и письма, получил 5 писем моих с «Куликовым полем». Я сегодня же их прочел. Ничего не нашел нужным изменить: да, эта редакция окончательная, для издания отдельной (без всяких дополнений другими рассказами) книжкой, но особой, с рамкой на каждой странице. Ко-гда это сбудется?! ... После меня.

Это должно быть изящное, как бы «духовное» издание. На хорошей бумаге, с отборным шрифтом. Как издания заветных книг, полу-священных...

Рассказ меня взял, — да, он силен, видимо: читал, я был взволнован — ! Я предугадал тебя. Я вывел девушку, чистоту — тебя когда-то! Я как бы перевел тебя из ушедшего — в сегодня (когда писал).

Я в 42 назвал рассказ — твоим. И он стал и формально твоим.

Оля, все перед этим, — ма-ленькое! Большое — это мое чувство. Наше чувство? — могу ли сказать это?..

Я как бы очищался чтением. И сегодня же, сейчас посылаю все. И написанное до сего письмо, и этот заказной, с этим письмом, пакет. Прими его светлым сердцем, а то, все закрой. Это — не от сего земного: это творчество по Св. Воле. Но помни: оно уже тогда было связано — как-то! — с тобой, с провидением тебя, бессознательным. Я чуть ли не в 1-й раз — называю действующее лицо — «Оля». Так и было в печати. Этим именем я никогда не швырялся, не швыряюсь.

Надо все маленькое оставить. Что же, надо мне страдать... буду страдать, — так выпало. Я плачу... Какой вижу теперь! — чистый этот рассказ-сказ!.. Помню, писал мне Иван Александрович — они плакали, читая[347]. Пусть плачут люди такими слезами. Плачь, Оля, так, только так.

Обнимаю тебя, светлая моя, детка моя, Ольгуночка... целую твои глаза-слезки... Господь да укрепит нас. Его Волею связаны мы... — верую.

Люблю тебя, моя далекая... — и в тебе люблю все чудесное, разлитое в людях, чистое, ищущее света... — ах, какая вышла у меня эта Оля!..

Редакция... — лучше бы я не мог дать. И потому не коснулся... почти нет вставок, разве союз или партия... как ты усмотришь.

Это да будет священной спайкой нашей, это — твое отныне, законно закрепленное за тобой — «Куликово поле».

Оля, как я томлюсь без тебя!

Твой Ваня

Сейчас 5 ч., а у меня с утра ничего во рту. И все надо самому, и столько дела, с издевательствами еще!..

Сейчас должен идти на почту. Сколько писем, всего, по лавкам. А у меня кружится голова, я ослаб...

Ваня

Нежно целую тебя, Господь с тобой.

484

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.IX.46

Не тревожься, милый Ваня, не мучь себя, — знаю как нестерпимо это состояние и потому пишу тебе скорей, чтобы хоть это только сказать. Я не сержусь. Но чтобы все переварить или изгладить видимо требуется время и силы. Я только сегодня встала с постели. Твой «exprès» мне подали в кровать — я очень страдала и была по-настоящему больна. Был даже по ощущению жар и всю било. После твоего письма я очень долго и судорожно плакала и впала в сон. Он-то — сон — меня и исцелил должно быть. Не хочу касаться твоих стихов последних[348]. Они были мне больше того, что ты даже можешь себе представить. Не дает Бог никому сего испытать. Я не могу их касаться сейчас. И никогда не коснусь. Так лучше. О прочем же писать — нет слов, нет сил.

К тебе я вся как прежде. Ты не волнуйся. Бог даст все, все пройдет. Берегись от злого, и лечись, тебе необходим покой. Сон. Получил ли мою фотографию с портрета? Теперь мне ничто не интересно, ни то как она понравится тебе. Я не могу, бессильна как-то, работать. Ксения Львовна, видимо, скоро должна получить визу — вчера меня о ней запрашивала местная мэрия. Хочу с мамой уехать отдохнуть за грибами. Уйти от всего и всех. Написала — жду ответа о том, есть ли комната.

Ванечка, ты прости меня, что так нескладно пишу. Я скоро с собой совладаю. А сейчас и перо-то трудно было взять. Я заставила себя, т. к. мне мучительно тебя заставить ждать ответа.

У меня непрерывная боль в груди. Все нервы, сердечные. После «шока», который я пережила в четверг, — я вся разбита, как в тумане. Все во мне дрожало, било меня, я охолодала, а потом [разгасило]. Вечером в четверг был exprès. Если бы его не было, то не знаю, что бы было. Но я оправляюсь теперь. Уеду вот. И ты успокойся. Прошу очень. Ради хоть памяти твоего сына. Он то — великий, и свет его непреходящий. Обнимаю тебя как всегда нежно и молюсь, чтобы ты был светел и счастлив.

Любящая Оля

Я напишу гомеопату о том, что тебе не лучше. Я ему верю. Если не нашел, то найдет. Он меня избавил (?) от почки. Крещу тебя, Ванечка.

Твоя Люша

485

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.IX.46 утро

Вчера, дорогой Ваня, в своем письме от 6-го ты просил меня: «не пиши мне, Оля». Оно — письмо — злое, несмотря на его хорошее начало. Я не хочу его брать в счет и потому еще пишу. Ты там зло цапаешь людей абсолютно непричастных, чистых, потому и вижу, что ты раздражен. Я ничего не хочу касаться, скажу только одно: «Петухов» ты читаешь всем, отдавал на суд и критику как их, так и моей «шокированности» ими (буквальное определение Ксении Львовны в ее сегодняшнем письме мне). Замечу, что для подобного «суда» нужно неоднобокое представление обстоятельств. «Петухи» — были посвящены мне — «первой и главной моей весталочке» и дальше: «самой спелой и сочной грозди» и следует мое имя. Вспомни! Вот если бы твои слушатели знали, что «Петухи» (по существу тоже в раздражении на меня писанные) имели целью насмеяться над Олиной судьбой (Это так!), — то поняли бы кое-что. Если ты ненамеренно даже «продернул» меня — «весталку», то после этой болезненной переписки мог бы давно понять, как эти «Петухи» меня хлещут, не говоря уже о прочем. Но довольно, довольно. Я вероятно и не смогу тебе писать, даже если бы и хотела, т. к. больна. Вчера снова лежала. Сегодня плохо. Недавно был почти обморок. Никто про это не знает, т. к. случилось когда собралась идти в постель. Оставь Эмерик и не играй роли ее рыцаря. Ее чести никто не задевает. Ведь когда-то и за Елизавету Семеновну мне глаза царапал, а она, вот о н а-то тебе именно «пинки» дает. Даже обывательская Мария Михайловна нашла невозможным такое ее поведение — не прислала даже записку, что по болезни не могла явиться. Допустим, что по болезни — она, конечно, меня козыряла[i]. Но когда меня козыряют — ты глух и слеп!

Чутко относящиеся к тебе, редкие в жизни люди, делают ценные замечания, а ты оскорбительно их хлещешь, ограждая... кого? Пустышку-Эмерик, которая по ее замечанию о «Неупиваемой чаше» — ни черта не понимает. В своей болезненной раздраженности остерегись наносить оскорбления незаслуженно. Dr. K[linkenbergh] — чистейший из смертных. Спроси Ильина[349]. Он выписывает из твоей книги, а не «развенчивает» ее. Знай: ему я — ничто и никак. Он выше всего

---

[i] Грозить, корить свысока (*русс., устар.*).

этого, он отошел от всего. Кстати, он болен. Я боюсь, серьезно. Ничего не ест, кроме сливок. Его отец умер от рака желудка. Не боится уходить и он, как его невеста покойная. Завтра я с мамой уезжаю к доктору в Velp. И вероятно останусь где-нибудь там поблизости отдыхать. Я не могу больше. Работать конечно нечего и думать. Ксения Львовна вероятно не приедет, — думаю, что ее пугает поездка и возня с машинкой. Эти дамы не привыкли ломить как мы с мамой всю жизнь. Для них другие мерки. Очень прошу тебя не слать мне твоего кончающего все письма. Если ты мне просто заявляешь, чтобы я не писала больше — то я и так исполню твою просьбу. Тебе же [1 сл. нрзб.] дослать и последнюю каплю яда. Но этого ты не должен делать. Добивать-то уже нечего. Вся я издрессирована тобой так, что не знаю как повернуться. Все таки есть мера мучительствам и никто невправе истязать другого.

В истинно-светлое ты вливаешь злую тьму, окружая себя ореолом мнимо-чутких. За них ты коришь меня, доводя до «конца», — ну что же — значит я не заслужила, а м. б. у тебя глаза и уши иначе устроены? Я не смей «по существу» (полезному тебе же) сказать о твоих «королевах», а Эмерик лягает меня походя, а ты ее же оправдал! Но все это мелко. И у меня на это нет сил. Пришли «Куликово поле» — оно было мне обещано. Не буду тебе докучать, пока не скажешь, что хочешь моих писем.

Оля

P. S. О «про-советской»! — Я не «про-советская» — я про-р у с с к а я. И не «разгульная коммунистка»[350], а глубоко раненая в самое верующее сердце православная. Сан не остерегал тебя в выражениях, когда ты злился на о. Дионисия. Он был у тебя «поп-Дениска» — забыл? А об архипастырях (достойный во всем ином) И. А. И. выражался гораздо ядовитее меня и зловреднее. Целую «поэму» написал[351]. Я не буду касаться ни политики, ни Церкви в письмах, но прошу и тебя этого не делать, ибо ты даешь мне ярлыки незаслуженные. Дай-ка бы я тебе их наклеила! Не понимаю, отчего ты мучаешься, когда в твоем письме от 6-го оскорбляешь за-ново! Я несколько раз писала и касалась всего по существу. Тебе нравится меня терзать. Господь с тобой.

Мне очень тяжело, что содержание письма так горько, но не коснуться всего так, — значило бы принять твои обвинения, которые все ложны.

У меня очень серьезное положение.

[Приписка на конверте:] Почему такое обидное отстранение моей посылки? Во всем раздражение.

486

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.IX.46 вечер 10 ч.

Только что послала тебе, родной мой Ваня, письмо, как получила твое второе с «Куликовым полем», тоже от 6.IX. В нем ты иной, милый, и мне жаль, что послала днем свое. Но ты пойми, дружок, что я измучена предельно, а ты выдумываешь еще поводы к ссоре и несуществующие. Я страдаю за тебя, что ты один и без ухода, и больной глаз твой. И чего ты все меня пилишь Меркуловым — ну, с твоих же и похвал старалась угодить твоим друзьям. Ты же сам просил меня: «Эти, Олюша, по-мещански любят лесть, ты будь с ними повнимательней». Это как только я приехала. Ведь мне-то они никак не приболели. Т. е. совершенно никак! И знаешь, оставим эти мельчайшие мелочи.

Не надо и меня бранить за каждый шаг. Ведь битой не хочет быть и собака. Я чувствую себя задрессированной: то побои, то ласки и не знаю, боюсь то или иное сказать. Неужели я такая тебе приятна?

Мое здоровье — никуда. И это серьезно. Нельзя шутить с сердцем. А я не могу часа за каким-нибудь делом провести без болей. Мы с мамой завтра решили урваться. Одна моя надежда на целительный сухой воздух, там, где я отдыхала во время инвазии[1] и запасла себе сил на невыносимый год. М. б. и не оправдаются мои ожидания, но я хочу все же не оставить неиспользованным и это. Вот давно ли села писать, а уже дрожу вся. Сообщение к счастью хорошее, м. б. и не устанем. Маму тоже очень надо беречь.

Ты понимаешь все во мне как больной [чирей], не могу ничего касаться. Умоляю тебя, ради света именем твоего Сережи: пощади и себя, и меня. Не шли этого пугающего меня письма. Оно убьет меня душевно и искалечит физически. Я и без него знаю все, все, как тебе тяжело. И если бы не знала, то не мучилась бы так, как страдаю теперь. Грешно так впустую тратить силы. Тебе особенно. Но даже и мне жаль моих начатых пробных шагов. Ты пойми: значит ведь это что-нибудь, что мы — обе хозяйки решаемся уехать. «Просто так» — это не делается. Не знаю, что будет дома. Оставляем Tilly и Сережу. Первая варить будет для людей, а второй присматривать за молочным хозяйством и мелким скотом. На первые дни я все приготовила

---

[1] Вторжение (*от нем. Invasion*).

им. Есть и законсервированные мною продукты — справятся как-нибудь. У меня беспрерывная одышка, боль и «кол» в груди. Dr. K[linkenbergh], с которым мельком говорила по телефону, — озабочен был этими явлениями и посылает меня на контроль. Сам он болен, питается только несколькими глотками сливок (поэтому и звонил, прося не можем ли ему их дать, — а он никогда обычно ничего себе не просит) и при том все еще оперирует, т. к. нет заместителя. Между прочим: за фруктами должна была быть не «прогулка», а большая любезность с его стороны, т. к. я не могла иначе добыть сливы — пересылка их запрещена, т. к. фрукты по тикеткам и очень строго. Имение он не мог бы один найти, потому и должна была ехать.

Не люблю таких твоих нападок. Он тебя искренно чтит. Твою формулировку религии записал себе с моих слов и сказал: «Сегодня я очень обогатился, — как я рад, что “узнал” такого большого человека». Очень ждет II части «Путей Небесных» — «рост героев, который должен конечно быть!» Так и сказал. А я ему никак не интересна. Успокойся! Ну, обнимаю тебя, голубчик. Будь здоров и Богом храним. Ванёчек, будь светел: Господь поможет!

О.

Ты просишь, чтобы я протянула тебе руку — я тебе обе и сердце мое протягиваю!!

P. S. Ко всему прочему еще 3 дня мигрень. Я еле выношу это. Тошнит — голова иногда совсем как пустая, и я теряю чувство равновесия даже и ориентации. А м. б. это и не мигрень. Так еще никогда не бывало. Я, одним словом, — предельно измучилась.

Сейчас страшусь подняться со стула — все идет кругом перед глазами. Будто я пьяная.

487

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.IX.46 (12 ч. 15 мин. ночи на 11-ое).

Вот, милая Олюша, (откуда у тебя взялась — «Люша»?) — о твоем автопортрете.

Не притязаю на техническое знание в живописи, но я могу чувствовать искусство и разбираться в нем. С такой оговоркой и прими мое суждение.

1. Несомненно, это твое большое достижение. Без законченного обучения, — первая работа маслом, — ты выбрала труднейшее — автопортрет. Мы не можем знать нашего лица. Можем

лишь припоминать иные мгновения его ж и з н и; но дать жизнь его, исключительно ему присущую, особливый его характер... — бессильны. Схватить один какой-то — часто, просто, случайный миг — да, можем. Потому-то почти все автопортреты, — гениальных даже мастеров, — только попытки. Ты выбрала труднейшее — и дала портрет к а к о й-то женщины. Дала живописно. Такое мое впечатление, хотя это не подлинник, а крашеная фотография. Кроме того: она не обрамлена, не ограждена, окружающее лишает оценку сосредоточенности. Повторяю: это большое достижение. Ясно, — у тебя незаурядное дарование, еще не получившее формы и свободы. Надо еще учесть молниеносность работы. Художники отдают на такое годы. Иванову нужна была целая жизнь, чтобы найти своего Христа[352], которого он так и не нашел. История живописи свидетельствует не раз о сем.

2.Что до авто-портрета, думаю, что это — неудача. Это н е ты. От тебя есть, конечно... но очень мало. Я тебя почти не вижу. Это — жесткое, почти безжизненное лицо. Моя душа тебя не чувствует — в этом. Верней: это не неудача, а лишь непостижение, недостижение. Мне трудно сказать, в чем ошибки, в живописной технике я неуч. Но я знаю твое лицо и пытаюсь уяснить себе, в чем дело.

Что похоже? Нижняя треть лица: многое в ней, особенно рот; левый — для зрителя — глаз; правый почему-то — м. б. второпланностью? — сужен. Никак не дано ресниц. Это, вообще, трудно, тем более, что у тебя ресницы выражены слабо. Шея слишком пряма, столбом. М. б. надо чуть окоротить, прикрыть — платьем? Глаза слишком — и необъяснимо отсветами — сини. У тебя — светлые. Они могли бы отдавать в синь, надень ты синюю и более высокую кофточку. Тогда отсветы от нее сказались бы на лице, дали бы где фиолет, где синь. И не выпирал бы тайный мускул. А он резок и портит шею.

Что совсем неудачно? Нос... — ты его слишком выдвинула. Отсюда неживописно удлинена ноздря: он никак не дышит. Резко чувствуется раздвоенность кончика носа — надо бы смягчить. Правое — от смотрящего — подбровье. Слишком поднята бровь, и потому режет это пятно — под нею, смотрит припухло, отвлекает — и меняет лицо. Лоб твой — и не твой. Ты его слишком оголила, он слишком отвлекает на себя глаз смотрящего: надо было смягчить прической. Прическа... где твои локончики, очень твои? в о л о с не вижу. Как бы смягчилось тогда лицо! (чуть окоротить лоб и дать волосы!) Это не лишило бы лицо — тебе присущего. В автопортретах всегда убегает жизнь лица: выходит не живущее лицо, а один из застывших мигов его. Отсюда — напряженность. Она

у тебя резко подчеркнута «счёсом». Гляди левое — от смотрящего — подщечье, очерченность скулы, подчелюстности и подбородка. Надо было — по-моему, смягчить контуры их. «Посаженность» и недвижИмость лица бросается в глаза от «столба» удлиненной шеи. Ухо — не твое. Оно некрасиво выписано. Мочка размята — не твоя (?). Даже анатомически я не чувствую уха. Для большей живописности лица, для отвлечения глаз от уха лучше было бы навесить серьгу. Явились бы легкие отсветы на щеку и лучше дали бы шею. Немного резка складочка к уголку рта. Она трудна (ты дала предельно удачно!), но смягчить могла бы. Платье... Светлую рубашечку лучше было бы заменить синей, во всяком случае — более закрывающим основание шеи. Рубашечка, как матерьял, живет. Для твоего лица она удачна. Но, т а к а я, она должна бы давать шее больше осиянности. А у тебя — по крашеному фото! — откуда чуть-фиолетовости? Почему мало разницы в освещении лица и шеи? Шея, при такой рубашечке должна бы быть светлей. Прическа сболтана, уплотнена: надо больше присущей тебе «легкости», воздушности, а не парадной приглаженности.

Сделай поправки на мою неученость в технике живописи. Я и не притязаю на бесспорность суждения. Я лишь сличаю — твое и не твое.

Бесспорно — большое достижение. Труднейший род живописи, без законченной учебной подготовки, в предельно короткий срок! — 2—3 недели?! Такое возможно лишь при преизбыточном даровании, при вдохновении. Помни свою ответственность. Учти: говорю лишь о снимке! — многое исказившем, сделанным плоским, смазавшим дурацкой раскраской. Да еще и без обрамления. Без раскраски, думаю, было бы ближе к подлиннику. К чему награждать «сапожников»?! Небось 200—300 гульденов? С ума сойти!.. Лучше заплатила бы за уроки. Ну, это твое дело. По-моему, тебе необходимо крепче стать на ноги (если остановишься на живописи), уверенней располагать уже выработанным в живописи (теоретические и технические законы ее!), чтобы не отвлекаться в работе — усилиями искать и постичь, что страшно связывает творчество (это — обще для всех видов искусства: техническое мастерство!): надо найти с в о б о д у творчества. Для этого необходимо взять, м. б., хотя бы несколько (?) уроков у мастеров, — м. б. хотя бы — приглядеться. Вот все, что, по совести, мог сказать.

О «грушах». Мне не понравились. Листва, как, например, зыбкость черенков, по материалу — очень хороша, но мешает чернота-тушь: листва груши — довольно светла, светлей яблони. Груши неживописны, тяжки-невкусны. Редко удаются они

в натюрмортах. Ягодки, особенно смородины и клубника — очень хороши.

К другому. Ты мне несколько раз писала о суждениях доктора К[линкенберга] по поводу первода «Путей». Какое дело так настойчиво возвращаться к чуждому ему — незнаемого автора? Ты опять приводишь об «Огарке»... Он мог бы еще и о... «Birjouk»е. Так дано по обсуждении со мной издательства (литературного директора) и Эмерик. «Ogarok» и «Birjouk» хороши — для французского слуха. Раз. 2: отвлекающе пояснять сноской, что такое «Ogarok» — не переводить же: «un bout de chandelle»[i]. Чушь это, дико, — для французского уха. Тем более, что здесь метафора: не un bout de chan... а «пройдоха», бестия, плутяга и проч., что уже ясно из нескольких впечатлений Дариньки от «Огарка». Тоже и Бирюк. Это, вообще, непереводимо. Мне совершенно непонятна самоуверенность незнающего русского языка=оригинала. Что тут приболело?! Почувствовалась твоя антипатия к переводчице, и хотелось соответственно пойти навстречу? Или — попытка шатать мое в твоих глазах? Ты вон погнала книжку мою даже в Швецию...[353] — как забежала! Не знал я, почему ты так торопила меня прислать. Я полагал, что ты это делала или в своих интересах или — в моих. А обернулось вон как... до неоднократного мне донесения, что «по мнению знатока» — перевод плохой. И опять все одно: «Ogarok»! Что за назойливость! Это тебе доставляет удовлетворение? Что мое — так гадко показано? Не ожидал. А выходит так: в последнем письме ты, в запале, как бы со злорадством (?!) пишешь: «он (доктор) все время говорит о тебе...» (что я ему так приболел?!) — и «раскатал Эмерик!». Вот это — раскатал. Если бы, даже действительно, перевод был плох, читательница «любимого писателя» никогда бы не выразилась так удовлетворенно — запальчиво — страстно! Она выразила бы горечь, сокрушение, что «любимый» так дурно дан. Так, так... Приболел... Или это покушение шатать и притенять — мое?.. Напрасно: как ни тряси березу — ни единого желудя не стрясешь для ожидающих внизу... Можешь, если сочтешь нужным, сообщить покушающемуся «трясти» — следующее. 1) — это мое мнение да и других — французов: нельзя категорично и безответственно-самоуверенно судить о переводе (тем более «раскатывать») лицу, не знающему языка оригинала. 2) Перевод признан очень хорошим (иными даже — «выдающимся») целым рядом французских литературных людей, из коих есть отлично знающие

---

[i] Основание свечи (*фр.*).

русский язык — и читавшие оригинал. Они посмеялись бы на «un bout de chandelle». 3) На днях известный во Франции писатель Henri Troya[354] (лауреат Prix de Goncourt[i]) наш соотечественник, читавший и подлинник, и оригинал (он, между прочим, ведает литературным выпуском журнала еженедельного «Cavalcade») заявил: «перевод очень хороший! от-лич-ный!..» Ему и книги в руки. М. б. даст и сам статью: «Voies Celestes» теперь только начинают лансировать, с 6 сентября! 4) «Раскатанной» переводчице поручен французским издательством новый перевод «Чаши»[355]. 5) Ни от единой души не слыхал я о недостатках перевода, тем более — раскатывания. Такого страстного задора (а не сожаления к «любимому автору») никто, кроме одной, еще не проявил. Что это все значит?! ... Попытка — в случае если перевод хорош — сказать прикровенно: значит, оригинал... плох?.. (это относится к «авторитету»). Из песни слова не выкинешь: ты написала, и сколько раз совала мне в нос «авторитетность» доктора! Сама не зная французского языка. Я его достаточно знаю (не дух его!), чтобы посильно судить, и я почувствовал, раньше всех, — что перевод хорош. Есть культурнейшие французы — которые уже *3-ий* раз перечитывают «Voies Celestes». Таков ученый pere abbe[ii], собирающийся принять православие. Есть люди, уже принявшие в сердце «Voies Celestes» — называют их своей «настольной» книгой. Тебе это не может быть приятно, т. к. это произошло, благодаря удачной работе переводчицы. Ибо ты так запальчиво катнула, кинула мне в нос: «он раскатал!» Согласись: когда так пишут — выражают полнейшее, скорейшее удовлетворение, и потирают как бы руки. (Психология имеет свои внешние проявления — они об-щи.) Любящие так не напишут «любимому». А... выразят сожаление, горечь... В «раскатал» этого никто не уловит. Итак — что за гармония — твоя, с «авторитетом» во французском языке! Почему? Не постигаю. Дурно это пахнет, очень дурно. Во всяком случае — как же это некрасиво, неприлично! Даже — небезразлично. Не пиши мне больше, что еще мог сказать «авторитет». По меньшей мере, это бесполезно. Так вот для чего просила поскорей прислать книжку, — чтобы скорей гнать в Швецию?! А не отзовутся ли созвучно?.. Умная женщина (даже не «любящая», а просто хоть немного уважающая автора) так бы не поступила — не сообщила бы в запале: «раскатал»!.. Мне грустно и смешно. И я — невольно — это присоединил

---

[i] Премия им. Гонкуров (*фр.*).

[ii] Отец аббат (*фр.*).

ко многому другому. А я-то верил: моими заботами и удачами живет, жалеет... утешит в неудаче, в горечи... Ошибся: с увлечением извещают (и в ка-кой раз!): плохой перевод! «раскатал»! Так вот все и раскатывал? («все о тебе говорил».) Больше и предмета для визитного разговора не нашлось?.. И после раскатки ты, конечно, поехала (уве-рен! По совести, а? пари?) 4-го... «за сливами», как ты писала — предполагала? (во всяком случае согласилась ехать! Чтобы и там «раскатывать»?!) Почти уверен, — да — за сливами, про-кати-лась..? (И от этого-то, пожалуй, и усиление болей было?..) Катайся, про-ка-ты-вай, раз это дает к а к о е-то удовлетворение. Только прошу решительно: больше сего не затрагивай — дурно пахнет.

Мне тяжело писать это... Но это ты, ты вынудила меня! Слишком определенной настойчивостью меня уверить, что мое — скверно подано. Что же мне ответить? Сказать, искренно, — спасибо, что открыла глаза мне? что попыталась чем-то поотравлять мне жизнь — и, вообще-то затравленную судьбой?..

Про-шло, больше не возвращусь к сему. Я — выходя (и не раз) из себя, переходя пределы чувства, любви, чуткости, — да, срывался, причинял тебе горе, но я бывал на это тобою же вызван... я как-то «отмахивался»: резко, недолжно, жестко порой. Но я всегда каялся. И не злорадствовал над твоей незадачей.

Бог с тобой. И теперь прости. Не буду, не стану больше так.

Ваня, которого ты раскатала в таком трогательном согласии — с чужим.

[На полях:] Единственный «положительный» итог для «раскатывающих» и приветствующих «раскатку» перевода: что, наслышавшись о дрянном переводе (и, очевидно, плохом duvre[1] некоего Chmelov'a), — не купят какого-нибудь десятка экземпляров в Голландии. Рукоплещи!

Если долго не будет от Шмелева писем, прошу настойчиво: никого (даже Юлю) не запрашивать, что со мною. Когда найду покой — ответить — сам извещу, что со мною. Сейчас со мною — скука, ни-че-го. Но я буду работать, уеду в конце сентября «в неизвестном направлении».

(В конце сентября я уеду на месяц на юг, квартира будет замкнута. Так что, если надумаешься ответить ко Дню ангела — «цветами», — поостерегись, чтобы они не вернулись, и не навело бы сие на «домеки»).

[Приписка на конверте:] Месяца 1 1/2 я послал F. Tholen «Voies Celestes» за ее «тепло». Я до сих пор не осведомлен, получила ли она (заказная бандероль!).

---

[1] Вещь (*фр., искаж.*).

488

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IX.46 1 час дня

Сейчас твое письмо, Олюша-голубка, — и мне не по себе стало. Прости мне, Господи! Ну, зло-грешок... но я так измучен этой неотвязной, раздражающей (5-й месяц!) болезнью. Когда я не могу уйти в работу, я — несчастен, все мне постыло, все цепляет, при моем полном одиночестве, заброшенности. 2 месяца я без ухода, я раздерган. И единственного дорогого мне сердца — тебя — нет со мной. Я как бешеная собака — мечусь, с мутью в глазах, с тьмой — во всем. Верь-не верь, но заверяю тебя: ни на один миг не были ни мысли, ни злой воли — смеяться над твоей незадачливой, горькой твоей жизнью!.. Поверь мне, дорогулечка! Когда писал шутливую метаморфозу, я забыл, что написал — «тебе,.. грозди!» — по-верь! Я получил лишь «толчок» от твоих слов: «я могла бы стать весталкой»[356]. И, вспомнив, сколько было в римской бытовой жизни — историч[еских] скандалов, — просто, унесся мыслью и, чтобы забыться, писнул... попал в нужный, забавлявший меня «воздух» напевности... — по-шел! Но, — поверь же, голубка моя чистая, — да, голубка, чистая... беззаветно любимая, мне посланная... в мое сиротство, — мысли не было связывать эту мою словесную «игру» — с тобой и твоею жизнью! Мальчиком моим, его страданием заверяю тебя! И потому с легким сердцем, стараясь длить облегчающее меня забвение, — читаю и другим. Ольгуна, поверь и не обвиняй. Я часто бываю не прав, злой (не по существу, а минутно), — но тут я и не думал смеяться! — Мне не по себе, что послал тебе вчера еще полное раздражения — и, должно быть, неправоты, — письмо. Считайся в нем лишь с моим, посильным мне, искренним суждением о твоем автопортрете! Ты несомненно одержала победу! показала — мне! — исключительно богатое дарование! клянусь — говорю правду. Я пытался объяснить себе, какие ошибки, почему ты лишь напоминаешь мне себя... А, вообще, как портрет, — огромное достижение! Вот моя правда. В остальном — постарайся взять за скобки это письмо, оно вызвано непонятной раздраженностью и... обидой, что тебе была как-то приятна... — якобы неудача переводчицы! Должно быть я извратил, не так поняв тебя, и «доктор К[линкенберг] говорил только о тебе» и — «раскатал...» Вот в этом, запальчиво — как бы наполняющем душу удовлетворением, словечке — «раскатал» я и усмотрел з л о ко мне! Отсюда и по-

ш-лО мое выматывание из себя души... Все к черту выбрось! Все!! Я не могу забыть тебя, я знаю, как я люблю тебя, Олёчек, моя Ольгуночка... Пиши мне, и я буду тебе писать. Пожалей же — пойми *и* мое одиночество, полное!!! Когда я не захвачен работой — я совсем несчастен, неприкаян. Отсюда — все. Я и щ у, как бы сорвать на тебе — м о е уныние злое... Я не поеду в Ниццу, где думал прожить, ухоженный, месяца полтора... Нет, Ольгушечка, — мы — перед Господом; перед его Милостью к нам, ну — пусть ко мне! — не смеем так надругаться над даром такой исключительно милостиво сужденной нам (пусть — мне только!) встречи и так безрассудно ее пятнать! Ты же видишь, как я, — особенно последние месяцы! — стремился выразить тебе глубочайшее, нежнейшее чувство к тебе! Но меня раздражала, обижала эта переменность твоя ко мне: то можно [1 сл. нрзб.]... — то нельзя! То уносили тебя мои письма, то — «не пиши "жарких" писем»: они уже не разжигают меня, а как-то нехорошо цепляют...» Принимаешь «голенькую "лодочку"» — и грозишься за «метаморфозу». Намекаешь на «разврат» во мне, предупреждаешь о возможной «трещине»... — дескать — «не забудь, что я порвала помолвку»... Меня э т о язвило, в ы з ы в а л о... а я все еще страстно отзываюсь, когда хотят меня взнуздать, накинуть на меня оброт (от слова об-ротить, стянуть рот!), обротать, как это делали мужики в лугах с лошадьми. Я не даюсь... меня никто не взнуздывал (не взнуздал), меня могли оглаживать, тогда я давался. Я, во всем, страстен. Я не давался в школе, дома (матери, очень властной), я настоял на своем и не дался — женился, и гимназию отлично, рекордно кончил, и университет... — я, часто идя всюду на последнем месте, набирал, как мой «Соловей» в «Путях»[357], и выигрывал нА-голову. Этого не выбросишь из моей сумбурной жизни. И всегда шел на «оглаживание», на ласку. Тут я весь отдавался. В подготовке к писательству и в работе — я проявлял огромную волю, отдавался весь, т. к. сама работа, ее удача — были ласка, «оглаживание». Я одержал верную победу. При моей-то страстности, сумбурности! Во мне сказались и властная страстность и самолюбивое упорство матери, и нежная сердечность и широта души отца (и его художественная несознаваемая (при слабом учебном образовании[358])), склонности (побить рекорды!! — отсюда страсть к экстренным и рискованным работам — в три дня иллюминовать Москву, при случайном приезде государя — не раз!) и его детскость — увлечение еще не бывавшим (самоучкой вывести «ледяной дом»!). Вот мое наследие: от отца — бОльшее, от матери — не малое: она была у м н а (внутренне

и в делах, в отношении к людям). Отец был чуток — умен сердцем. Порывы, вспышки, сумбур — от отца. Упорство в раздражении — обиде — от матери: отец был «отходчив» молниеносно. Видишь, Оля. И когда я сейчас говорю: забудем, прости... — я говорю от крика — «забудь!» — сердца.

Забудь мои «обиды». Я хочу твоего тепла и твоей ласки... — мне тяжко остаться в пустоте. Но я чувствую, что дальше так — я не могу: я сорвусь (Тут сливаются похожести и отца, и матери. Отец срывался. Мать шла к этому — рассудочно. По-свОему, она меня любила, а к концу — и гордилась мною. Отец носил бы своего Ванятку на руках. Не привел Бог). Оля, забудем все зацепки, они — призрачные, надуманные. Я знаю, как — глубОко тебя люблю. Мне без тебя жить-доживать кончик жизни — горько, почти невозможно. Не мыслю, как э т о будет.

О цветах... Тут не было отказа: я хотел избежать «домёков» в голландском цветоводстве: у вас — провинциальный быт, все делают предметом пересудов. Квартира была бы заперта, цветы не приняла бы консьержка, всегда внимательная ко мне (за твой «на чай» она, конечно, расположена к тебе, как за мои дачки — ко мне). Олюша, будем славить Господа (а я буду молиться избавить меня от злых обстояний). Оля, что я сделаю с собой, когда я, так чисто и тонко любя тебя, как духовный сосуд с чудесным духовным вином, люблю тебя и как женщину, люблю твое терпкое и пьянящее вино! х о ч у его — тебя, всю?! О, как этим опьяняем!!. как мечусь, порой! Как хочу по-земному связать себя с тобой!.. если бы хоть на 10—15 лет моложе! Но каждый день меня убавляет и отемняет отчаянием. Единственное спасение — уйти в работу. Вот почему писал — не буду писать тебе часто... нет, тогда что же... я и в работе буду вянуть. Мне необходимо раздражение. Отсюда — жар моих — иных — писем... Прости, Олюник. Не пиши — «Люша» — это от Лукерьи-Гликерии. Ты — Ольга. Ты всегда от «О.». Дай обнять тебя, девочка моя. Прости же! Прильни к Ване, я так одинок. Забудь всю мою неправду злую. И о докторе, Бог с ним.

Смотри, Оля: там взяли в оборот все чистое искусство, читала в «Русских новостях»?[359] («Раиса Наумовна»). Постановление «ЦК партии большевиков»:[360] кончить!

Не может быть никакого художественного или ученого журнала — аполитичного! Зощенко и Ахматова (вдова расстрелянного поэта Гумилева) лишены «огня и воды» — обречены на голодную гибель и будут конечно, сосланы, не говоря о десятках средних писателей. А ты мне — дать патриарху «Лето Господне»! «Богомолье» — принять позор?! ... Знай: такое важнейшее земное Установление, как Церковь, — останется апо-

литичным?! Никогда сего не дозволят. А при Синоде создали, конечно, бюро, где нанятые якобы попы будут заготовлять — проповеди — напетое и начинять их — «от Писания». Вот что там сделали из Церкви! Сделают. Сатана там правит бал! И потому И. А. лезет из кожи... — он дает то, что, действительно, сказали бы оскорбленные в своем святом люди Веры.

Сейчас опять наседают на меня насчет издания «Чаши». Не решено, но ведут переговоры, помимо общего издания — о издании de lux[i], 500 экз. по 3500 фр. и подписке (одно другому не помешает) — с иллюстрациями русского художника. Я замедлил ответом. Кому поручить, если вырешится, — иллюстрировать?! Было в голове ты — и еще — переводчица в Италии, хорошая художница, но слишком мистическая, — Григорович[361]. Ей не пишу. Ты взялась бы? Издательство намечает Анненкова[362]. Не знаю. Не знаю, сколько иллюстраций, каких. На издание de lux ассигнуют до 1 1/2 млн. фр. Подумай. Это только выражение принципиальное: хотят, рассчитывают. Недовольны остались «итальянизированой» иллюстрировкой гоголевской повести «Портрет».

Я уверен, что ты одолела бы! Это так соблазняет меня, что если бы сделка состоялась, я отказался бы от нового перевода и от нового издательства — у du Pavois. А вышло бы обычное издание — в Швейцарии. 3000 экз. по 5—6 шв. фр. — мой заработок 10% т. е. около 1200 шв. фр. (120 000 фр.) и гонорар от de lux... — сколько — еще не получил справки, как велик % с издания de lux. Думаю, что не меньше 80—100 тыс. Главное — хорошая марка и — отличие. Но пока все «на бумаге» не будет закреплено — только тебе говорю. Подумай, извести. А обо всем (ма-леньком, цепляющем репьем гадким (моим да и твоим!)) забудем. Будем ценить лучшее и «от Господа», что нам уделено! Молю тебя — оставим праху! Мы — выше (наши сущности!) этого гонимого — злым ветром мелочишек (мелкой в нас) жизнишки! Ну, крепко обнимемся, Ольгунка! Ну, прильнем, душа к душе! Ведь лю-бим же! Да, ведь, ка-ак! Если бы заглянула мне в сердце, где ты, духовность твоя, слилась с обаянием земной прелести-очарования! Ведь ты — вся — любима, ка-ак любима! От того и мучаюсь, и мучаю тебя! и себя. Ибо — не наполнен, всею тобою. О, как люблю мою неуловимую Олюнку!.. Как терзаюсь, ища ее!.. Все, все забудь! Поверь, родная: клянусь моею душою — ни на миг не думал связывать тебя (да чем?) с метаморфозой: я увлекся певучим, шутливым сказом в подражание Овидию. Как на днях написал пародию на... самоэпитафию куп-

[i] Роскошное (*фр.*).

ца 2-ой гильдии Прошкина Зосимы — запойного. Его покаянное. И его отдельные стихи[363] другу Никеше о «ликоре» — (рекорде), в связи с... поклонением Пушкину. Это мой — отдых. Вчера, чтобы уйти от себя и своей горечи... — ночью, в кресле пел — пьяный купец! — я, я... и до слез. Но выразил русскую сущность! Не записал главного, но оно — есть. Исходил из воспоминаний: один купец — самоучка, — поэт! — издал роскошно свои стихи в Москве, в хорошем переплете, «драгое» издание, с портретом «факсимиле» — для друзей, — преподнес и мне... У-мо-ра!.. Вот я и пошел... увидал его «мавзолей» на Даниловском кладбище и весь культ его. И эпитафию. И — меня взяло. И не насмеялся, а нашел русскую сущность. Если одолею все — ты поймешь. Надо же как-то — забыться.

Ольгуночка, все злое прости. И прильни нежно: я неизменно и страстно, и нежно, и истинно люблю тебя. Как я мог быть так несправедлив. М. б. все исказил, в запале. Как ты необдуманно кинула мне, — «раскатал»! Это меня царапнуло. А Эмерик старалась, конечно, для себя. Ей удалось. А мне она, как все и все, помимо родных, тебя и моей работы — чуждо, ни-как. Целую тебя, моя девочка, и... так... хочу всю тебя, мое святое — возносящее, земное — зажигающее — вино!

Твой Ванька — Тонька

[На полях:] Ка-ак И. А. И. разобрал «Историю любовную»! Написал переводчику — прийти и прочитать 9 страниц об «Истории любовной». Книга выйдет около ноября. Переводчик, говорят, отлично переводил — Зощенко! — Это по-французски... Зощенко!

[Приписка на конверте:] Замучил меня непрестанный чес, сбывающий, словно, к правому краю лба-виска, брови и глаза. Продолжаю бром и гомеопатические зернышки — смех!

«Петухи» — никакой связи с тобой, клянусь же! Потому и читаю смело.

489

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IX.46 8 часов вечера

Голубочка моя Олюночка, я весь смущенно взболтан и кляну себя. Найдешь в себе силу душевную — забудь все злое и несправедливое, что писал тебе, мучая. Нельзя, непростительно-преступно делать тебе такие «души», — отдери меня за Уши.

Сейчас ушла от меня Юля. Портрет твой... — произвел сильное впечатление. Первое: «очень похожа!»... Она — чутка

художественно. Нашла, что особенно удалось наитруднейшее — передать характер. Это — художественная работа, которую смело можно дать на выставку, как большое мастерство. Это — ты. Особенно удачно — нос! твой, совершенно оригинально-красивый! Рот, нос, вся нижняя часть лица — все дает твой характер, твои особенности: тонкость — нос! пытливость, чувствительность... «ноздря», ну, как — ее слова, бывают «чувствительные» ноздри у породистых лошадей... — я поправлю — чистокровок-кобылок! и — рот и нос — капризность характера. Ей очень нравится и лоб. Но согласилась со мной относительно правого, — для смотрящего! — глаза, он отдален и сужен... и м. б. это и от подбровной пятна-припухлости. Ее мнение — ни-ни, не поправлять ничего, — можно легко испортить и уже не найти. Портрет совершенно оригинального лица, как, например — «Джоконды»; есть, именно, «загадочность», есть для созерцающего... — вопрос — ? — «кто, что в этом?». Могут быть захвачены. Понравилась твоя свобода: твоя манера дать вовсе не «точность», а как бы стилизование, — эта манера стесывания, — тут искание и свое нахождение! некоторая резкость контуров челюсти, шеи — удлиненность — резкость «стеса», а не выписывание. Она, кажется, влюблена в «портрет». И — в твою силу, — «мне не важно знать, сколько дней работала О. А. — это ее дело... она, значит, так хочет, так может». Нельзя и сравнивать это (по ее словам) с имеющимися у меня «картинками» — «это ее — твое! — огромное достижение». Это уже — и стоимость, для ценителей, материальная. Словом, она строго-высоко приняла. Я это почувствовал. Менее удачны волосы, они не видны, не живы... «но волосы всегда трудны». Наряд очень хорош. Но не в нем все дело: а — особливость выполнения, это — большое искусство. Ты вовсе не хотела датьточно твое.

Ты дала характер в лице, что — огромно. И потому это — большое искусство. Это — Ты!!! Вот что она нашла, не зная, что я писал о портрете. Из моего только кое с чем согласилась. О мускуле выпирающем — не согласилась. Намеки ключиц очень хороши. Словом, я счастлив написать тебе все это, и бегу сейчас бросить письмо, чтобы утром взяли в путь. Юля никак не может быть при-страстна. Побранила меня за мою «вспышку», — я повинился, что «обидел» тебя, не сказав ничего, как. Сказал, что спохватился и постарался загладить. Она мне сказала — «я бы чувствовала себя очень в депрессии от таких “душей”», — она знает мои неровности, видала, — мой характер. «Нельзя так». Да, но она

всего не подозревает, не знает, чем я мучаюсь, как тебя люблю, и потому, — как страдаю... и от чего. А что ты «капризна»... — это — в смысле «неровностей», «взвивов», а не «каприза просто», — она увидела в портрете. Ты передала, ты вы-дала себя! И потому я тебя люблю еще безумней, безоглядней! Я-то никогда не ошибался, кто и что ты. Я тебе писал и говорил, но ты мне не далась — все тебе сказать о тебе — все!

Олюночка, — вывод из Юлиной оценки, — она умна и понятлива — схватить искусство, — ты — сама, своя в живописи, ты — большая, ты — мастер. Уже мастер! И — все дано с чутьем непосредственным, никак не вымазано, нет никакого пота... — и — не трогать, ни за что! Оля, дай лапоньку... я нашлепаю себя по больному глазу... — я потом ее расцелую, и тебя, всю, всю... Оля, — как умно и вдохновенно говорила Юля и как спокойно, вдумчиво! Я... — она так и сказала: — «ты критикуешь умело, как разбираются в подробностях художники, и это, м. б. верно, но тут надо брать “все создание”, как целое...» — оно удивительно передает тебя, внутреннюю. Если подойти к «Джоконде» можно найти и то, и то, а она берет ансамбль... так и тут. Другого портрета О. А. — тем более автопортрета — дать нельзя. Он — закончен. Ты — «поймала» себя! Очевидно, ты мастер портрета. Сказала про иллюстрацию к «Чаше»: «Ее — самую “Неупиваемую” никто не даст, Ее нельзя дать». «Но О. А. — почему бы ей не поупражняться в этюдах к “Чаше”?.. Это только “полеты”, очень полезные». Олёчек, я не смею нагружать тебя, ты перегружена, и я, — скотина! — тебя затерзал... клянусь, я совладаю с собой-поганцем... — моя болезнь всего вымотала! — м. б. попробуешь? Если бы... попыталась сделать несколько пробных, — показать издательству, если оно договорится со мною... оно предлагало Анненкова... он, конечно, заломит огромную сумму! И ты не сдашь в этом. Почему бы тебе не быть выше всяких анненковых? Нестеров мог бы — по-своему, дать «Чашу». Его нет. М. б. и Васнецов... но не Коровин. Ты — да, и только Ты. Ну, поупражняйся... в масле ли... акварелью..? Я вижу Св. Георгия на стене... я вижу толпу, валящуюся... а Она — где-то... в свете..? Я вижу Зойку-цыганку и «львиную пасть»... и Ее, у огня, с закрытыми очами... ножками, косами... туфельки... и Илью... огонь, свет огня... о, сколько там для художника!.. А островок... в черемухах... а аллея... в листьях, и она, с борзой... плотина... ее отражение... А Италия?.. А девочка с цветами..? А «последнее посещение...»?

Е е приход к Илье..? ... Да ты разроешь своим видящим сердцем большого художника, большим во всем, как и в любви... — все, что никому не придет на мысли... ты м. б. найдешь в этом настоящего Ваню... — родного, твоего писателя и... безнадежно полюбившего тебя, до му-ки..!

На этом кончу. Иду бросить письмо. Я казню себя страшным мучением духа, я страдаю из-за себя, от буйства во мне... от кривых зеркал воображения... Не смею сказать — «прости». Одно: отпусти согрешения... и не томи меня своими болями... — поганого! Олюночка, радость и счастье, которые (радость и счастье) я так сжигаю. Я себя сжигаю, Оля... и тебя. Не буду. Перед силой твоей, перед чистотой твоей говорю — я стихну, я стихнул, я дал святой зарок. Только не ставь мне пределов в моей ласке к тебе... не отталкивай холодом... о, этот рот капризный..! — я брежу им...

Припавши к твоим коленям, смотрю снизу в твои глаза... — Оля! не отринь, приласкай... я так одинок!

Твой Ванёк

О, скорей ответь, я истерзаюсь. Ско-рей, ради Господа!

[На полях:] Я согласен с Юлей в главном: это — Ты, ты — большой мастер. Не кто-то, а — *Ты*!

490

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.IX.46

Милый и дорогой мой друг,

Вдруг стало тепло и солнечно по-летнему, как только мы с мамой приехали сюда. Тут чудесно, а нам скоро уезжать. Но в этой «дыре» нет ничего, даже открыток и вот поэтому пишу на этой малюсенькой. Я много перемучилась, очень устала, и все думаю и думаю. Очень плохо сплю. Не пишу адреса, т. к. к сожалению должны скоро уже домой. Все здесь занято и все еще едут новые гости. Очень тепло и любезно нас встретили старички-хозяева. Масса грибов. Вереск цветет. И солнце, солнце.

Не могу сосредоточенно писать, — все ходят мимо, спрашивают. Как только вернусь домой (м. б. завтра или послезавтра уже) так и напишу большое. Я так устала. С сердцем надо очень беречься, сказал доктор. Ну, благословляю Вас. О.

Garderen

491

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.IX.46

Твое письмо от 11.IX, Ваня, совершенно недвусмысленно дает мне понять, что ненавистна я тебе. При всяком ином чувстве т а к не пишут никому. Далее все оно дышит крайнеличной оценкой всего и всех, о чем и о ком там речь.

И вот поэтому-то, несмотря на твой запрет мне писать, а также на «отбытие в неизвестном направлении» и «замкнутую квартиру», — я все же еще пишу это письмо.

Ни по «неизвестному направлению», ни в «запертые квартиры», я никогда бы не писала, а тем паче не бегу собачкой за уходящим, но оставить тебя в мысли, что все твои оскорбления проглочены, я тоже не могу. Тебе не надо было убегать от меня, прибегая к «неизвестному направлению» — я и так достаточно горда, чтобы навязывать себя насильно. Итак:

Совершенно верно: мне отвратительна M-me Эмерик и именно тем (не тем, на что намекаешь ты), что эта особа использует книги Шмелева для подмостишек своего честолюбия. За время ее пятичасового самовосхвалительного славословия я убедилась в этом совершенно точно, приняв ее вначале было всерьез. Она (не будучи достаточно умной) очень откровенно дает понять, впрочем будучи сама в том уверенной, что «Пути Небесные» как бы уже ее — Эмерик произведение. Ну, а... автор — необходимое зло, для *ее* славы (!!!!)? Автор же, обвороженный видимо ее «напором», сам поверил ее суждению, т. к. иначе нечем объяснить его фразы: «...есть люди, уже принявшие в сердце “Voies Celestes”, называя их своей настольной книгой. И это произошло, благодаря удачной работе переводчицы». Внушила тебе даже сию чушь: «пожинайте-де через меня, M-me Эмерик, Ваши лавры». Чтобы увидеть тебе самому этот вздор, — поверни эти слова от себя к 3-му лицу, хотя бы вложив их в уста какого-либо твоего литературного соперника: «“Voies Celestes” имеют успех, благодаря удачной работе переводчицы», — Бунин. И посмотрела бы я тогда, как бы писатель Шмелев на это стал реагировать.

Более личного, болезненно-щепетильного отношения как у тебя к Эмерик, трудно себе представить. Но я знаю, что «когда-нибудь и скоро м. б.» — ты увидишь ее настоящий облик. Да м. б. стоило бы мне только начать ее хвалить, и этого было бы уже достаточно к ее развенчанию. Итак: она была мне отвратительна, именно из-за отношения к тебе —

как к пешке для «ее величества» славы. (Ты-то млел все те 5 часов!). И все же при моей яркой к ней антипатии мне было бы *горько*, если бы я ей этим чувством нанесла несправедливость. Потому, когда шло дело о переводе, мне хотелось знать мнение знатока. Зеелер был первый, кому бы я поверила. Он тоже *очень* осторожно верил в «хороший» перевод и ждал, когда появится книга. Ждал суждения своей дочери[364].

После того, как ты в бешеном припадке, жалея, что нет под рукой на меня револьвера, выкрикивал мне обиды за мою холодность к этой сороке — Эмерик, — я все же переломила себя и даже хотела делать ей визит. Но забыть этих обид я никогда, до смерти *не* забуду.

Когда Dr. K[linkenbergh] (ничего не знавший о моих чувствах к переводчице) дал свое суждение, — я — естественно (только ангел бы отнесся безучастно) была удовлетворена тем, что я права в моей оценке этой дамы и не клеветала в душе на нее. Я с детства славилась всюду «борцом за правду» (и даже в школе была в «товарищеском суде» — не думай, что от слова «товарищ» — с советами тут ничего общего. В институте меня всегда звали для разбора ссор, дома все кузены и кузины для раздела сластей и подарков). В этой моей сути я и была удовлетворена. И еще: «ты, мол, мне грозил, ругал, а вот ошибся, — та по заслугам своим оценена, а не я неправа».

Нигде и никогда я не слыхала, чтобы скверная олеография Сикстинской Мадонны (а они все гадки) унижала Рафаэля! Или изгаженная симфония бездарным толкователем, роняла талант Бетховена! В какую необычайную (и никем бы не понятую) связь ставишь ты автора и переводчика! Но и у тебя это не ко всякому переводу. Ты сам мне написал:[365] «Да ведь И. А. давно уже раскатал Кандрейю».

Здесь не было конечно и тени тех объяснений, которые выслушать должна была я. Самое слово «раскатал» я «украла» у тебя же, — оно не из моего лексикона. Далее так много всего у тебя ко мне, что просто не хочу касаться, дабы не впасть в область чувств и не сделать ошибок. Ты как большой русский писатель не должен получать от меня обиды.

Благодарю за все: за «ожидающих желудей под березой», за «если бы ты была просто умной женщиной...» и дальше понимай — «то не тронула бы моей чудесной Эмерик». Да кто она такая, за которую плюют и сорят в преданную и верную душу. Ведь должен быть некий эквивалент, значит! Какие же делать выводы. Но я не делаю никаких выводов. Я сотни раз тебя уверяла в моем к тебе и к твоему творчеству отношении и ты, оскорбляя меня теперь, *знаешь* как я к тебе была. Впро-

чем м. б. не верил моим уверениям? На это я скажу, что для лжи и финтенья я слишком горда и честна.

Этим вот и заканчиваю.

Ольга

P. S. Это письмо твое от 11.IX было первым приветствием мне в Shalkwijk, Сережа только что перед моим приездом отослал твой exprès в Garderen, думал, что надо спешить. Что это? От 11-го надо было заказным, чтобы иметь убежденность, что подадут обязательно, а exprès для того, чтобы иметь еще и убеждение, что скоро подадут?

Я заполнена уже вся до отказу твоими оскорблениями. Нового ничего больше нет в них. Через несколько дней приплывет exprès'ом новая обида? Да что же это такое наконец?

Так люди сами бросаются в смрад, называют на себя сами тьму. Я никак тут не при чем.

Мои «работки»: груши и автопортрет — верни, они не для надругательств. Кстати: ни трудных, ни легких заданий я не выбирала, рисуя себя, — я пользовалась только своим лицом как моделью, не смея утруждать других.

Твое суждение о моем портрете — противоречиво.

492

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.IX.46 1 час дня. Солнце, тепло.

Дорогая моя Олюшка, утром твоя кукольная открытка, резануло по сердцу, что ты истомлена, что я не сдержал себя... у меня силы нет и на думки мои, ничего не могу... — бесцельность, подавленность. И сознание вины, хоть и не я один виновен... — я лишь несдержанно отзывался на твои одергивания и «перемены погоды». К а к мне писать тебе, ч т о писать?! Что ни напишу — тебя коробит. Пошутил чуть, ну... не остерегся... — тебя терзает. Так нельзя, всяко лыко в строку. Виноват я, что невесомой любви не знаю? Ну, ты знаешь... — и я, непостигающий, представляю себе, что это, непонятное для меня, надумывается тобой..? — и не осуществляется в жизни, потому что... оно т а к, не может быть действительностью. Конечно, разумней было для меня — и спокойней — н и - к а к не открываться тебе, а нести в себе. Спокойней потому, что я не терзался бы з а тебя, а теперь сознаю твои — пусть нервами преувеличенные твои терзания — и томлюсь и болею тобой. И что же это за отдых?! Ты писала — «если бы мое состояние было не так предельно тяжело и угрожающе, разве

я с мамой поехала бы от дома, теперь?..» — пишу приблизительно. И что же выходит? Едва приехали — 3—4 дня! — домой! Для чего было ехать?! Одна поездка туда-назад изломает больше, чем дали эти 3 дня! Ничего не понимаю. Или это была хозяйственная — опять и опять! — поездка за грибами?! — для дома?.. Какая-то бессмыслица. При твоих спазмах — так ломаться! Безумие. Ясно выраженная острая неврастения. Я тоже страдаю ею. Я ничего не могу — ни писать, ни думать, ни заставить себя сходить за молоком. 2 месяца при мне никого. Старуха не будет ходить — оказалась круглой невежей, не простилась, не предупредила, не объяснила, куда она засовала вещи, какие... Она оказалась неблагодарной, злобной — на что?! — объяснила чужим письмом на мой запрос, что теперь мало работает, болит бок, что она тратит 2 — ! — часа на проезды ко мне... А дело в том, что она жадна, — я платил ей больше, чем другие! — и так устраивалась, что другие ее кормили... а у меня хаос, я и сам-то почти ничего не ем, а она никогда не спросит, что мне сготовить, приходила в 2 часа, когда все закрыто... и выматывала 4—5 часов, гоняя пыль, чтобы получить 100—125 фр. Она даже платков носовых мне не стирала... а стоила в месяц больше тысячи франков. Пока она была в нетях, я пропустил приходившую сговориться прислугу, не получая от старухи письма, — я не мог себе позволить, не зная, почему она не является, нанять другую... — и вот, я в пыли и грязи, и на все махнул рукой. Что мне толку, что Юля раз в неделю забежит и что-то вымоет — молочные кастрюли! Я не рассчитал с бельем, не взятым от прачки, и должен был, чтобы сменить белье, сам стирать! Ну, что я тебе эту дребедень пишу! У тебя своей довольно. Я хочу тебе дать понять мое душевное состояние, мою подавленность... — и этот зуд глаза и лба! — не посылай мне эти идиотские крупки! — начал принимать какую-то дрянь Крым, артишочные капли. Все подавляет, раздражает. Какая тут возносящая работа творческая! И надо что-то решать с издателями, с переводчиками... с «Чашей» запутано, прежний перевод, говорят, плоский, серый... набиваются... надо ругаться со вдовой прежнего переводчика[366], — договора у меня не было, и я свободен! — она крутит, лжет, не хочет выпускать, соблазняет изданием дэ люкс... — будто и без нее не обойдется! а у меня нет воли, на все плевать. Издательство, где должна была выйти «История любовная» — вчера был переводчик — кажется, вот прогорит, попавшись на какой-то дорогой книге, которая не пошла — «военная», от которых тошнит теперь читателей... переводчик просит устроить с другим, богатым из-

дательством... а я ничего не понимаю. И еще 3-е, где «Пути», хочет «Чашу»... — на все махнул рукой. Со всеми порву, к черту. Пускай ко мне прямо адресует издательство люкс. Это совсем не имеет связи с обычным изданием, раз книга — 500 экз. и по 3 с половиной тысячи. Должно быть отдам дю Павуа. Пусть сговариваются с люксом. Как идет книга «Пути» — не знаю, Эмерик не вижу больше недели. Но все это — пыль: мне больно, что я тебя измотал, что ты так остро приняла, что ты больна. Единственное э т о сидит во мне, терзает. Жить я не имею охоты, воли... я так и проторчал в городе, не дышал. И никуда не тянет. Подумалось — на юг уехать, — да ч т о, что я там буду?! ... Тоска. В таком состоянии — только лежать недвижно, без дум. А я все время думаю о тебе, о бедной моей Оле... которую люблю по-своему, безнадежно. За-чем ты не отдыхаешь?! Жила бы одна с месяц, пока тепло и солнце, рисовала бы, лежала в вереске... душу очистила бы... Я тебя не взволную отныне ни-чем... — ты увидишь. Не упрекну, не вышучу... не затрону ни-как. Оставайся такой, как тебе хочется... Для твоего покоя я себя свяжу, замкну. Что делать мне с порывами душонки моей, с моими «бросками»?! Но я и их скручу, — была бы ты покойна. Совесть меня томит, поверь. Олюна. Я люблю тебя, — и я же мучаю тебя!.. Нет, я замкнусь в себе... ох, эта неуемность!.. этот вечный «задор»!.. Когда я в работе — напряжение исчерпывается ею... когда не в работе — я хочу жить, б ы т ь... и все выливается в пустое, злое порой... Ну, пойми — и прости. Ты и сама во многом причиной. Но я не укоряю. Понимаешь ты состояние, когда н и ч е г о не надо, всякое движение воли тягостно... мне стоит великого труда заставить себя пойти на почту или в лавку. Почему я не умер т о г д а? — а так был близок!.. Мотался, метался... вдруг загорелся твоим в и д е н ь е м... — и — так бесплодно горел, чтобы сгореть?! ... Впрочем, небесплодно: я переживал много светлого... я многим тебя наполнил. Мы с тобой, не думая вовсе о том, создали небывалую поэму в письмах! Показали огромный душевный о п ы т — для кого... ?! Н а д о было т а к? — не знаю...

Но надо доживать, дотрепываться, мне. Тебе — еще долго жить и пытаться творить. Как я этого хотел бы! Оля!!! ... хотел бы... Найди в себе силы. Замажь усилием воли и остатком чувства все, меня недостойное, из этих «пустяков», что тебя так подавляет. Вдумайся, ч т о я сказал тебе?.. Ничего нового, чего не говорилось бы — в иной форме раньше! Я не хотел таких последствий. Что это за мотание на 3 дня с отдыхом? Безумие? А что же мама думает? Ты скажи прямо: если мои

письма тебе в тягость, я не буду писать. Буду так вот, кратко — как твоя куцая. О чем нам *еще* писать друг другу? Ну, ограничимся *текущим*... да оно все то же. Никогда больше не напишу «жаркого» письма. Чему это служит? Меня дразнит, тебя оскорбляет. Лучше молчать. Я был несправедлив и мелочен, да... особенно, в отношении доктора Клинкенберга. Думаю, что он достойнейший человек. Тут недоразумение, и ты меня сбивала с толку. Невольно как-то. А я *занесся*. Конечно, у всякого свои недочеты. Есть они и у доктора Клинкенберга. Я свои знаю — мно-го их. И твои — тоже мно-го! Но у нас есть же и достоинства! Их надо хранить, беречь. Ими и живы.

Были у меня Нарсесяны. Женка его[367] по нем, миленькая, юная, — 22 г.! — живая, очень они похожи! кругленькая, маленькая, будет легко рожать. Милы они... понравились мне. Чего Сережа коптится? Ему надо делать дело, опять стать на ноги. В вашем болоте — ему теперь нечего ждать. Самые рабочие года. Груши и без него снимут. Виген хочет его вытянуть. Не препятствуйте. Может у меня пристать. Ксении Львовны давно не вижу, вряд ли ей впору ехать, муж скоро воротится. И выкинь ты из души всякую «церковность». Веря в «национализм» *их*, вы, живя среди чужих, делаете плохое дело, укрепляя извечную неправду-злобу иностранцев против России: выходит по вас, что Россия всегда угрожала миру?! это Россия-то!.. да, вы, конечно, сколь можете, внушаете и тем оправдываете ложь иностранцев, что большевики ведут национальную политику... говоря сим: такова была политика России, *они* ее продолжают! Ни-как. Они хотят все покорить их марксизму, их обездушию! Я не ребенок, знаю, что питают *все*... как страшатся и ненавидят Россию! Но у меня язык не повернется укреплять в этих *всех* их злобу и страх, говоря, что политика большевиков — национальная! Не бери сего греха на душу. А ваша семья — пусть в дыре — единственная, соприкасающаяся с интеллигенцией голландской — хотя бы тот зубной врач: от одного к другому... ложь крепнет. И — против России! Ваша *вера* довела вас — троих! — советовать мне... подлость! измену Чистой! — для моего же позора. Писал тебе: послать-поднести? — патриарху мои книги! Случай с Ахматовой и Зощенко — *не* ясен?! Приказ тут: *все* скупить, сжечь! На этом наживутся издатели, издавая Зощенко — по-французски!.. с соответствующей бандеролькой: «запрещено там!» Из амвона сделают трибуну... *заставят* читать заготовленные проповеди.

Мы знаем больше здесь... — что — *там*! Так долго не продлится...

Ольгуночка, ты одна для меня в всем свете. М. б. и я — один, такой для тебя. Не будем же так мучить друг друга, чтобы оторваться совсем. Ни тебе, ни мне — не даст это ни покоя, ни наполнения. Любимая... истинно ценимая, — удержи меня, мне очень б е с п у т н о, безнадежно. И страшно: я не могу уйти в работу.

Целую тебя, голубка!

Твой Ваня

493

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.IX.46

Мой дорогой Ванюша,

Только что вчера поздно вечером отослала тебе письмо (ответ на твое от 11.IX), а сегодня твой «exprès», гулявший до сегодня в пути, ища меня на дачке.

Ну, поставим точку на всем темном. Спешу послать эти слова скорее и для сего еду даже в город, — наши выемки только 1—2 раза в день, а в понедельник все у них обычно еще особенно хромает. Спешу к автобусу, — м. б. тогда уйдет с брюссельским экспрессом.

Ванёчек, если подоспеет мое письмо к 20-му* — то крепко и от сердца обнимаю тебя и поздравляю с Днем рождения. Буду сегодня настаивать в магазине послать спешный заказ цветов тебе.

Ах, как я тебе желаю всего всего светлого: будь здоров, радостен (в этом много благословения), светел, творчески окрылен! Т. к. через 5—10 минут уходит мой автобус, а я еще не одета, — только успела прочесть твое, только что поданное, письмо, — то пока больше ничего не пишу.

Скоро на все отвечу.

Будь здоров, — меня гнетет, что ничего тебе не устроят с помощью в доме.

Я чувствую себя очень неважно. Эти дни (вчера особенно) лежала. Еще разболелась нога, не знаю как поеду в туфлях. Глаз болит. Плакала и много читала, а до ссоры с тобой слишком утомляла рисованием.

О «Неупиваемой чаше» хочу тебя спросить: ты серьезно мне предлагаешь или только из боязни обидеть обхо̀дом?

---

* Почему ты писал, что рождение 21-го, а в «Путях Небесных» не поправил и оставил 20-ое? Шлю к 20-му, лучше раньше, чем позже.

Если серьезно, то дальше: сколько и какие рисунки? И еще: в красках или тушью?

Я думаю, что взялась бы и выполнила хорошо. Душой конечно очень хочу, но думаю, что и уменья достанет.

Я вижу очень уже многое. Кроме того, у меня уже есть кое-что для «Чаши», — например, ярмарка у монастырской стены и видение Ильи (с радугой в пол-неба). Давно уже. Этот весь жанр — так по мне.

Я считаю, что ярмарку, например, необходимо дать в красках. Но издательство конечно скажет свое. Но обо всем этом в следующем письме.

Чудесно-нежно, ласково, сердцем и душой, только светло и беззаветно-дружески обнимаю тебя, мой родной Ваня.

Любящая Оля

494

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.IX.46 10 утра

Ольгушечка милая моя, в 9 часов пришел твой «экспресс», а через полчаса подали письмо от 15, где ты меня оттрепала. Слава Богу, целую тебя и ни капельки не серчаю: так мне и надо! Умница ты моя, — киска дура! — я оттаял, а Эмерик мне так же приятна, как моя «почесуха». Ну, ее к черту! Была бы ты здорова и светла, вот что мне дорого, что нужно. Об иллюстрациях к «Чаше» писал ото всего сердца, — или ты, или никто будет иллюстрировать «Чашу». Это вопрос далекий, но ты теперь же продумай, чтобы было что показать. Разумею — хоть ничего толком не знаю, — что конечно, красочно, а не тушью, — полагаю, что акварелью, иначе как же? Ты все одолеешь. Ты — несешь в сердце «Чашу». Так и чувствуй: надо, пусть хоть для практики. Какое издательство будет издавать «люкс» — м. б. и Дю Павуа. Вдова переводчика Монго хочет меня не выпускать, соблазняет, чтобы я не подписывал договора в другом переводе... я ей не доверяю. «Чаша» — несомненно, будет издана «дэ люкс», вопрос времени. На нее зарятся, считая ее «шё-д'эвро'м»[i]. Прошу: пробуй, рисуй, напрягая головочку и душу... — слей себя с Ваней хоть в «Чаше». Убытка тебе не будет, знай: я никогда не подпишу договора, не обусловив иллюстрирование моим одобрением. Никакие ломаки, самые модные, меня не соблазнят.

---

[i] Шедевр (*от фр. chef-d'oeuvre*).

Довольно царапаться в пустяках. Я тебя люблю зрело-крепко, всякую даже злую... а ты меня хоть ласкового пожалей, пожалей...

Рождение мое — по новому стилю — 4 октября, так уж привык. А родился я, кажется — в ночь с 20 сентября ст. ст. на 21-е. А важно это? И причем тут «Пути» — не понял. Ты будоражная и дерганая: ездить на отдых... на 3 дня! Чушь.

Твой доктор Клинкенберг — конечно, достойный человек. Он же спас тебя! тебя!.. И я его чту за это, низко кланяюсь его искусству и сердцу. А если он очарован тобой... как же иначе-то?... Само собой разумеется. В тебе некий «яд очаровательный». И вся ты — чудесный яд, сладкий... обманный. Я сладостно им отравлен. И безнадежно. Да, хотел, с отчаяния уехать, «куда глаза глядят», все опостылело... да силы воли не соберу. Не уеду... холода наступают. Ольга, глупая девочка... посылаю тебе вчера полученную мною книжку американскую «За свободу» — не моя! — изволь вернуть заказной бандеролью — через 4—5 дней! Изволь, киска, прочесть — особенно! — чтобы поумнеть — Як. Пата, как 150 тысяч евреев бежали из Союза! Непременно прочти в назидание всей вашей «ячейке» просоветской для вытрезвления. В Америке, во всем еврейском кагалище мировом полный поворот на 180 градусов — в отношении к Советам. Там — удушье, полное. Нельзя надумывать «рая», его желая, руководясь понятными чувствами любви и тоски. Что же говорить о нас с тобой, кому свобода души — все?! А там все задавили, и Церковь — в дьявольской кабале. Непременно скорей верни.

Оля, я люблю тебя, девочка... та-ак люблю!.. И ты знаешь это, и как же иногда мучаешь!.. Как идут «Пути», не знаю еще. Идут... а сколько продано — не ведаю. Газетные отзывы больше «штамп», как обычно во французской печати, где за статьи пла-тят... издательства? Хвалят, и еще больше пишут чепухи. Я — со слов, не видел еще «досье» заметок издательства, не просил. А издательство только с каникул. Теперь «лансируют» книгу. Скоро должна появиться большая статья в двухмесячнике «Оризон», в Нанте. Это сам редактор заявил, что должен дать статью. В больших газетах, парижских, в их литературных выпусках, появляются, сказывал, лишь отписки: «интересно, большой талант», «это типично — ? — русский роман, ставится проблема христианства», «искупление — ?! грехом — ?! — и все это на блистательном фоне царской Москвы», «под цыган, балалайки...» — французы не могут без этой «экзотики» — «баляляйки»... Но и это недурно, т. к. газеты им тираж сотни тысяч. На

«экзотику» и «беглую — к любовнику — монашку» потянет..? Издательства ревнивы, покупают и проч. Да, платят за статьи... и о-чень! Этой дряни я наслушался довольно. «История любовная» — вероятно, пойдет в другом издательстве, т. к. по словам переводчика издательство «прогорает». Я доволен: пойдет в богатом издательстве! Все будет в свое время. За «Чашу» спорятся, и вдова Монго путается, чтобы удержать. Но я знаю, что перевод Монго серый и плоский. Доктор Клинкенберг раскатал бы — и был бы прав. Нет, мы «Чашу» подадим достойно, с отличной редакцией над перводчицей, будь уверена.

Перестань мне писать глупости об этой стрекозе — «млею»! — дура ты, вот что! Мне ее даром не надо. Хорошего же ты суждения о моем вкусе! Таких пучки — на все крючки. Тьфу!.. Узнав таких, каких знал, — ми-лая... от вина воды не запросишь. Ты — чудесное вино... вся — вино. О, какое сладостное-дурманное! Не по тебе, а? Ну, прости.

Жизнь моя хуже цыганской, по беспорядку... но я возьму себя в руки. Глаз бы отпустил, он меня истомил. М. б. и полегчает, 4 день пью капли артишочные, ем все же лучше... от селюкрина. Сплю вот мало. Вчера заснул в 4-м, а вскочил в 7. И твой «экспресс». Он меня отеплил чуть. Пил чай и тебя бранил. Ждал разгона. И вот — он... Закинула головку — выпалила. Бог с тобой. Знаешь — пора! — каков бывает безумец Ванька. А не знаешь, во что это ему обходится. Я весь выкурился... — окурок. Но надо работать, а не играть в любовь с «не хочу»-хой. Ну, не хочешь — как хочешь. Растекаться не буду больше, умру!

Прошу — вчитайся в эту страшную статью, почему «150 тыс. ...» М. б. и что еще найдешь в журнальчике. Я еще не читал, вчера только перед сном эту статью прочел и решил — Олюшке пошлю! — дряннушке-сердюшке, — о, если бы тебя увидеть! Я был бы такой кроткий... Твое одеяльце целовал сегодня. Вывесил за окно. Прыскал одеколоном. Оно — чи-стенькое... укутанное! Твоя подушечка — девственно неприкосновенна, в шкапу. Я даже ее не трогаю руками. На ней лежала твоя головочка, мордочка твоя дышала в нее... Как ты прелестна, дитя... О-ля!..

Твой Ванёк

Только на днях увидел: ты дала над могилкой католический(!) крест, 4-х конечный. А там — о 8. Почему ты так?

Нет, фотографию твоего автопортрета не верну. Что за злость?! И груш — тоже. Они мне не нравятся, да, но листва хороша, только черна.

Оля, будь благоразумна и не серди меня. Не шпыняй. Мы не дети. Но помни: я у тебя милостыньки не прошу, и не попрошу. Окрики меня бесят, не терплю узды. А «жарких» больше писать не буду. После них холодно.

Прости, озорнику и «ответь белебердянову».

Повумнеешь.

Впрочем, ты дотого упряма, что тебя ничто не проймет. Но ведь ты честна?! ...

Вду-майся!

Ни ты, ни я — не могли бы п р и н я т ь такое?! ... Помни: там — все — ложь! От их отца дьявола, отца Лжи.

В.

495

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.IX.46 (11 ч. ночи)

Прости меня, Ванюша милый,

Что до сейчас не написала тебе подробно. Я захвачена работой. Не могу оторваться, валюсь от усталости, глаза режет, но могу и ночью вскочить в любой момент, чтобы «ухватить», и все влечет и влечет. Я пишу для «Чаши». Прежде, нежели тебе ответить на вопрос возьмусь ли, я хотела себя испробовать. Я вся в разгоне. Все вижу, все хочу взять. Мне не хватает только сил. Я вижу, как много сил надо для творчества. И физических сил... Я плохо себя чувствую, но не одергивай меня «беречься» — я должна сейчас писать. Иначе не знаю, что будет. Я рухну творчески, если не осилю, я на верхушке напряжения. Пойми. И один образ торопит другой у меня. О портрете: Юля слишком добрый критик. Мне самой он не нравится, т. к. недостаточно «неуловимо-жизненен», не «переменчив», не «в отсветах», а как бы застыл. Взгляд зеркала — вот в чем секрет — на себя самою возвращающийся взгляд. Я вижу его достоинства, но хочу больше, о, много больше.

Начала уже 2-ой — но сейчас все, всякую минуту для «Чаши». Узнала на днях случайно, стороной, что Klinkenbergh лучший друг одного самого известного голландского современного художника — Nicolas[368] (*очень* тонкий!), оттуда, конечно, и его (доктора) понимание искусства. Ему мой портрет не понравился. «Не знаю, что надо бы “не так”, и м. б. он даже многим понравится, но тот, кто знает многие Ваши “лица” — его не оценит, — он не передает Вас, внутренней». Я огор-

чилась, смутилась и стала «защищать» свою работу, называя ее достоинства: «О, да — техника рисунка, *внешнее* сходство, краски — превосходны, это все хорошо бы прошло на конкурсе, но я не нахожу глубины». Мне эта критика была все же похвалой, т. к. «глубины» нельзя спрашивать с самоучки. Ты пишешь: «Ты не закончила твоего образования живописца». Я его вообще, Ванёк, не имела. У меня не было никогда не поправлено ничего из работ. Футуризма я не приняла и ушла. Сегодня еще критика: пишет художник обо мне другому лицу. Я привожу, изменяя местоимение: «Такой замечательный портрет — работа мастера, учиться в школе — никогда. Всякая школа Вас испортит. Вы тонко понимаете, у Вас столько художественного чутья, ума, выразительности, главное оригинальности. С точки зрения рисунка безукоризненно (прими во внимание — рисунка предварительного не было — писала все кистью), психологически безукоризненно. Никогда нельзя поверить, что это Ваш первый портрет. Для Вас самое важное уединение, Вы созревший художник; только в самоуглублении Вы получите все для Вашего искусства, сами должны искать. Конечно, можно было бы быть в контакте с каким-нибудь художником, но надо выбрать такого, который бы на Вас не влиял. Только работать и самой искать». Это дословно выписано из его письма обо мне. Случайно узнали об этом Жуковичи[369]. Он, оказалось, не только певец, но и хороший художник. Между прочим, погибают — затравлен. М. б. очень скоро устрою серьезные занятия.

Жукович массу сказал полезного, ценного для живописи. Советует только русского учителя. Верно! Есть тут один! Каким-то ветром меня вдруг понесло на живопись. А как болезненно хочу писать пером. И думаю: «Вот только это еще кончу, и тогда за перо...» И все новое и новое берет мою душу. Мой «этюд» (оказалось не этюд, а больше) розовых лилий заставил одного художника сказать, что я «больших вершин» могу достигнуть. «Лилии дышат»! Он сказал: «Иному годы понадобились бы для того, чтобы только так увидеть, а Вы в день их и дали». А я-то...я бросить их хотела! В Берлине сколько я работ спалила. Мой «призрак» — моя «Рахиль» (не еврейка: — это символ к Иеремии[370]) мне нравится. Мама сказала: «Она хороша, эта картина, но возьми ее, мне жутко от нее, не оставляй здесь на ночь». Я торжествовала: зритель понял!!!! Она должна быть жуткой! В ночи... в цветах (о, моих любимых, тревожащих как-то...) из тумана вырисовывается фигурка... ребенка. Он весь прозрачный. И эти отсветы ранней зари на всем. И у ног его сказочные цветы; вне тумана. Ясностью

своей подчеркивают туман. Картина большая, сдуру на бумаге маслом. (Все я так: на обрывках, в бросках). [1 сл. нрзб.] настаивает вделать в рамку. Арнольду очень нравится — советует выставить в одном из салонов. Он образован в этом и знает «вкус» голландцев. Но я не для «вкуса», — я только себе. И еще для иного! Но об этом после, если картина признается достойной. К «Чаше» я бы все дала. Сейчас я горю. Сочти — сколько я нарисовала за этот срок «после Парижа» — массу. Очень недурной пейзаж, о котором не писала. «Пожар в небе». Еще один — большой, начала и бросила, но кончу (если Богу угодно). Ферму, сад, мои цветы, лилии твои в натуральную величину 2 раза (очень оригинально), наброски, мою «Рахиль» в 2 дня. Основное, главное в один! Я могу только быстро, пока не остыла. (И розовые лилии и много еще.) Я курю и в дурмане, уходя, уплывая в туман, вижу... чудесное. Ах, да, оригинальную еще картинку... рука с папиросой (моя) и в дыму виденья... Красиво, но не кончено. Ну, не помню всего. Над автопортретом я работала над лицом 4 сеанса, остальное на мелочи. Выжидая подсыханья и т. п. Я была им занята меньше 2-х недель, работы чистой было дней 5—6, maximum. Мой 2-ой портрет я схватила (не закончила) уже за 3—4 часа. Он совершенно без рисунка тоже. Сразу кистью. Он — я в страдании, в муке. Его я схватила накануне отъезда в Garderen, тоскуя от твоих страданий предельно. Ты увидишь, когда кончу. Мы были там недолго, т. к. дом был занят, приехал хозяин дома, не много было места. *Все* там занято. Эти люди не держат пансион.

Мама бережет меня в ущерб себе. Мы никогда не поддерживаем подлого мнения иностранцев о России. Но все это только к сведению твоему, чтобы ты не навертывал. Я живу другим, пока. Я «пьяна» моим зарядом. Хочу все скорей урвать для «Чаши». И если помешает что, не выйдет... сорвусь надолго. Я из последних сил, но пылаю ярко.

Мне мало дней, я даже при свете лампы иногда делаю все, что можно без солнечного света. Не могу оторваться. Сегодня твое письмо меня огорчило. Ты не хочешь издавать lux? Если отдаешь издавать, где «Пути», то уж не без эмерикиного тут тщеславия! Твое дело. Я все равно все сделаю... Для себя.

Но ты не пиши мне ничего, если не хочешь. Не холоди. Я оставлю себе, это не жаль, но когда работаешь, то надо знать цель, кому-то рассказать. Я кистью тоже все рассказываю. Буду искать себе «русского» руководителя в живописи. Есть один, но не очень нравится его жанр. Кончаю. Я очень устала. Утром встаю со светом, чтобы пользоваться больше коротким днем. Сейчас очень поздно. Я так устала.

Дружок, я так хороша к тебе. Вся душа моя с тобой. А 20-го буду очень о тебе думать. Неужели у тебя никакой прислуги!? Какая это мне мука, терзанье. Обнимаю тебя, ангел мой, дурашка. Встряхнись. Господи, если бы ты был здоров!

Целую. О.

19.IX.46 Падая от усталости, измотанная работой, все же закончила первый этюд к «Чаше». Вчерашнее письмо не удосужилась послать, ибо сегодня до упаду работала. Кончила. Горю послать тебе. Если кто может тебя толковать в рисунках, то только я, если и я не могу, то — никто. Этот этюд — только этюд, его должно выправить. Даю яркий фольклор. Я чувствую, что недурно. Прости, что письмо пойдет только завтра. Я очень утомлена, не могу 1/2—1 км на почту. Оля

19.IX.46 2 слова приписка — Сейчас 8 часов вечера, а я хочу лечь, устала. Все нервы вдруг сдали, как только закончила работу. Прости, что все о себе. Но я так полна этим. Поешь в беге... все свистит в уши, ветер, ветер, ветер и не слышишь больше жаворонка, хоть и любишь его. Так и я... все обыденное и даже очень важное отошло. Я только с «Чашей». Но *ты* — не отошел никак. О том думаю в работе и так пишу. Если не писала письма, то только потому, что физической возможности не было. О.

Не сердишься на это? Ты понимаешь такой захват?

496

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.IX.46 11 — 20 минут утра Светлый день.

Пасха у меня, дорогая-душевная моя Ольгуна! Она началась вчера. Я уже надевал пальто, — 7 ч. 40 мин. вечера — как позвонили... — твои розы! «Воздушные», крылатые. Я их не тронул, связанный минутами, — ездил за... хлебом к Зеелеру, он ждал меня, связанный тоже минутами, — куда-то отправлялся. Я их не тронул, чтобы еще продлить с ч а с т ь е, прилетевшее ко мне от тебя. Я обернул в 40 минут, и, не раздеваясь, развернул мое — от тебя — счастье! Какая... Пасха! Они дремали в длинной коробке, девственные, чуть-чуть утомленные дорогой. Я подрезал ветки, вставил в молочный бидон и поставил в ванну. Я их чуть спрыснул, я чуть поцеловал их... рожденных твоим сердцем, Оля! И они просыпались на глазах. Каждые минутки я входил к ним, — они дышали, они чудесно-радостно отдыхали, набираясь силы... Да, сердце твое — лучезарная, воскрешающая, сказало верно: светел был мне

этот вечер... и как же пасхально светел родившийся новый день! Я рано поднялся, и побежал поцеловать их, — твои чудесно возрождающие душу розы! Как прекрасны они сегодня, как наполнились и — живут! Я снова подрезал кончики, переставил в кувшинчик, — и вот, смотрю на эту чудесную «двадцатку». Сегодня утром я должен был их оставить, одних: надо было ехать через весь Париж за американской посылкой. Я обернул удачно, за 1 ч. 20 мин., вернулся, на автобусе, совсем не уставший, думая непрестанно о тебе, об оставленных девственных красавицах... Ах, какие!.. Какое счастье знать, что это твоя душа, твоя чуткость, нежность, — твоя любовь! Свет в моей комнате, чистый, воскресный Свет. Пусть это не день рождения моего, — это, истинно, день возрождения. Еще вчера я чувствовал себя чуть приподнятым, и, переломив унылое безволие, я взялся за прерванную работу. До 4 ч. дня я уже переработал-переписал целый очерк, «Крестопоклонную», 9 страниц, рекорд, несмотря на отрывы посетителями. А вечером — эти розовые малютки принесли в себе сердце твое, родная.

Голубка Оля, я так благоговейно счастлив твоей лаской, твоей чуткостью! Какие розовые красавицы смотрят на меня с большого стола, что шепчут своими лепестками, крылатки милые!.. Оля, дай мне твои ручки, я перецелую на них все пальчики твои... о, несравненная, несравнимая ни с кем!.. Господи, благодарю тебя за посланное мне — в тебе, Олюша! — счастье и свет в моем предзакатном миге!.. Какая чудесная «Масленица», эти веселенькие розы!.. Я вспоминал «масленицы», с бумажными розами, небывающими... — си-ние бывали, лиловые!.. — я, ребенком, упивался этой бумажной цветастой красотой — праздником. Вот, склоняюсь перед тобой, целую твое платье, твои ножки... — ты на дни... — пусть хоть на дни! — сделала меня счастливым. Но я не утрачу ни единого из лепестков, все — выпью. Вчера, когда я раскрыл коробку, только один лепесток упал, я его положил на письменный стол, и он теперь, «чашечкой», говорит со мной любовно-нежно... (Посылаю его тебе!) Я никогда еще не был так рад несрочным твоим цветам. И — твоей нежности... — я целовал розы, целовал твои строчки, бисерные твои... о, красота моя, моя девочка светлая, — тобою светел. Благодарю, благодарю, благодарю, далекая-близкая, всегда во мне. Ты — звезда утренняя, звезда вечерняя... — вся наполненная чудными дарами, вся — невиданное даров богатство!.. Ты, — всякая, даже жгучка!.. — мой идеал, моя чистота, небо мое лазурное, девочка светлая... О-ля...

Сейчас узнал... В самом большом книжном магазине на рю Риволи, где будет «выставка» моих «Вуа Селест», — книга «идет во всю»! По словам главной продавщицы, читавшей книгу, «мы уже даем четвертый заказ о новом присыле издательству Дю Павуа...» Ну, дай Бог, увидим дальше... И еще, вот что интересно: в этом магазине торгуют, главным образом, — иностранными книгами, английскими, американскими, покупатели, главным образом, иностранцы... и это «неожиданно»! — по словам продавщицы, — что так требуют... французскую книгу!.. Им и книги в руки. А я все же не уповаю... — но... погодим судить. Просят... «продолжения», «дальше...»

Тебе приятно? Мне — ради тебя, веселей стало... Это — твои розы мне приносят приятное. О, как нежно тебя целую... и как чисто, Олёнок мой, моя детка светленькая... Будь крепка, бодра, здорова, трудись, Оля!.. У тебя все данные радостно работать, как душа тебе говорит. Пиши словом, краской... Я чую, что если «Чаша» выйдет дэ люкс, с иллюстрациями — выйдет только с тобой. Никого не пущу к «Чаше»! Она для тебя, ты — для Нее.

Твой возрожденный Ваня. Ка-ак целую!..

497

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.IX.46 Солнце, очень тепло. 3 часа дня.

Родная Олюночка, сегодня утром твое письмо, от 19—20. Ах, голубка, не перекипай! Я радуюсь на тебя, ты вся горишь творчеством, но — не переплескивайся! Все придет, будь уверена. Все — в тебе. Мне знаком этот огонь, но я опытом дошел: нельзя так гореть. Ты страшно полна чувством-воображением, образами, волей. Так возьми же от последней частичку и чуть свяжи себя. Иначе — рухнешь, опустошишься. Слушай и не очень вслушивайся во мнения даже мастеров. Знай, что ты дар, в тебе — дар! Для меня это никогда не было под знаком — ? Но всмотреться у сильного мастера надо. Только не следуй приказу-совету, ухватывай приемы. Почему, непременно, надо русского художника? Поймет глубже, чего ты хочешь, что тебе надо? Да тебе не его учеба нужна, а... что-то в мастерстве, что ты сама и почувствуешь. Прости, я, ведь, неуч, но я приравниваю кисть перу. Техника... да... — нужна. М. б. «законы» свето-теней... а глубине тебя не научат. Ты — вся глубина. Значит, приглядка! Необходимо глядеть живопись — выставки, галереи-музеи... как

пишущему необходимо — читать! вчи-тываться. Вот почему тебе надо бы приехать в Париж и — смотреть, всматриваться. Масса дряни, конечно, на выставках, много хлама и в музеях-галереях... но ты сердцем и кристаллом глазка-художника найдешь, что надо. Не рвись, молю, не трепыхайся. А «Чаша» от тебя не уйдет! Я сказал: ты — или никто! Так и будет. «Чаша» будет иллюминована! — когда — ? Анна Михайловна Монго, вдова переводчика ее, думаю, сказала что-то близкое правде, но... у меня мысль, что она этим хочет — наивная! — удержать меня, чтобы не отдал «Чаши» другим издательствам, в новом переводе. Я уже написал ей, что отдал, т. к. до сего дня не получил условий договора от женевского издательства. Не ждать же мне бесконечно. Перевод Монго, многие говорили мне, — не Эмерик только! — плоск, сер, совершенно не соответствует нежности и внешнего, словесного, и внутреннего — нежно-душевного, — рисунка поэмы. «Чаша» дэ люкс будет же издана! Надо выждать серьезных предложений. Появится «Чаша» в издательстве «Дю Павуа», в переводе Эмерик — но непременно, поставлю условием суровейшую редакцию ее перевода мастером, добьюсь, — тот же Анри Труайя[1] выверит! — будет иметь хотя бы малый успех, — будет и дэ люкс! Увидишь. Такова судьба «Чаши». И оденешь ее ты, ты, только, даю тебе слово твоего Вани! И потому — не кипи так, а твори все, что душа хочет. «Чаша»... тебя держит, томит? Не покидай ее, но не отдавайся ей — вся. Мне страшно за тебя, за твое здоровье, голубка моя Оля! Я счастлив, что ты — живешь. Меня подмывает увидеть твою «Рахиль». Ты должна быть удовлетворена: автопортрет занимает. Конечно, это большое одоление! достижение!! Но помни: учись, учись! Всегда. Не отмахивайся от уроков: то не уроки, а постигание навыков, приемов: вдохновению никто не научит, как и «глубине». По опыту знаю, словесному: я ни у кого не учился: я вчитывался, настраивал, так сказать, себя... и никогда не подражал, а черпал из себя, из сердца, ума, духа... чувств... У тебя все это в избытке. И стой на своем. Да, я счастлив и горд тобой. Ты достигаешь, постигаешь, ты — в пути. И не беспутничай, не балуйся. Не перекипай. Не пьяней! А ты сейчас во хмелю... творческом. Надо быть чуть под хмельком, и всегда владеть собой. Целую мою детку, мою найденную уже да-вно. Давно тебя вкусил какая ты сладкая, какая ты вся вкусная. Говорю не об облике... — о потайной Оле, которую знаю,

[1] В оригинале: Тройя.

учуял. Ты — богатство чувств... и как же не показать такого богатства!? В с е придет. Самолюбие — не помешает, ты сумеешь в с е принять, и все понять, что надо. А кто не терпел и неудач? Настоящий мастер... — сам постигает их, чувствуя разладец в себе... недовольство собой. Но никто никогда — из подлинных! — не был самоудовлетворен или сбит с толку. Только бездарные. А ты д а н а, Господом дана. Так и принимай. И все придет. Меня манят твои розовые лилии... — но ты не посылай мне, до-ждусь, сама привезешь. Ах, как тоскую по тебе, все дни считаю: сегодня 105 дней, как уехала. На днях я вымыл мою «Олюшку» — и как же мыл, получив мыла! Она до того затрапезилась, что я ее зашпарил, и как умел — вымыл. Только какое-то «кольцо» — пятно не берет мыло. Зато она вся белехонька, вся в розанах — 8 — ! — на столе, углом перед твоими чудесными «румянками»! Ты поняла... это твоя салфетка, с оранжевой каймой. И полотенчики твои вымыл... — Со вторника будет ходить новая менажка[371], которую я зову «ПлАксина», — очень она скучно-плаксива! Но я замучился за эти 2 месяца без досмотра. Пока еще хорошая погода, ничего. Но меня извели пыль и хаос. Твои розы — диво дивное! Сегодня 5-й день. Они все распустились, все румяны и свежепышны! Редкость, первые цветы такие! Знаешь, они сбросили лишь три лепестка! только. Как дышат! Миро. Измерил сегодня: диаметр — 11—12 сантиметров. И еще есть из них — распускаются все еще. Кто ни видал — восхищение! До чего же пасхальны, радостны! Они — свет твой мне. Ласка. Нежность. Смотрю на них — как свежи! райские розы... Додержатся до 4 октября, дня рождения. Я их так и оставлю. Каждый вечер уношу в ванну и открываю окно на ночь. Каждое утро — срезаю кончики, меняю воду. И только сегодня сронили два лепестка! Крепкие они. Розово-чуть-виолет, скрытый... на кончиках лепестков. О, восторг! как я тебя целую за них, как ты мне послала в них — с е б я, свежую, сильную, душистую, нежную, ж и в у ю!.. Вечером, убрав в ванну, я не раз заглядываю к ним: «дрЕмлете, малютки, мои Оли?»... И целую нежно. Они дышат. Глаз мой мучает ужасно, чесоткой. Капли Крым, артишочные, — ни черта! Крупинки глотаю — ни черта! Когда работаю, забываюсь, — легче, почти не слышу почеса. Иногда лоб, правая крайняя часть, жжет. Не нервное ли это?.. Принимал бром — ни черта! Но я все же, — благодаря тебе, твоим оживляющим розам! — взялся за переписку — переработку II части «Лета Господня» и за три дня переписал в копиях 3 очерка! 32 страницы. Остается еще — 12. Готово 13. Через две недели кончу, Бог даст. Н а д о. Нет-нет — в желудке —

язва! — начнет крутить. Принимаю меры. Диету. Но пропала охота есть. Насильно вливаю молоко в себя. Не ем почти — мяса, недели две. Одно яичко. Но слабости не чую, хоть и похудал. Явно. 99 дней до западного Рождества. Солнца в квартире меньше. До роз не добирается. Сейчас солнечно у меня, 4-й час. Окна настежь. Тепло. Ни разу еще не топил. Начинают устраивать «эталаж»[i] в больших магазинах, начиная с магазина на Риволи. Эмерик болтала, что «Дю Павуа», будто, договорилось с английским и итальянским издательствами — ?! а я не знаю. Ну, на днях узнаю. У меня в договоре выговорен издателю известный процент, если устроит издание на других языках. Но мне должны сообщить условия! Если на итальянском — будет переводить Григорович, что влюблена в «Чашу» и отлично перевела, добившись редактирования перевода ученым ватиканским каноником[372], который «живет в башне». Он-то и нашел ей определение «неупиваемая» — «инконсумабиле» — «непотребимая», чисто литургическое. «Чаша» будет ж и т ь. И т ы ее облачишь. Только — ты. Клянусь! Но не торопись, не сгорай. Тебе вверяю Ее. По-мни, Ольгуна. Ты Ее — нашла, через Нее — меня приняла в сердце. Я это несу в себе.

Издательства понемногу прогорают. Их натворилось — 1500, вместо бывших — 500. Наиздавали хлама, «резистанщины», «военщины»... а это все претит ныне. И вот, думая с пустяка нажить, лопаются, как пузыри. Отвращение у всех — к «советчине», — «а, большевицкое! до-вольно!» — кричит читатель, не разбираясь, что о т т у д а. И смешивает в с е русское — с советским. Русская книга уже не привлекает! даже классики. Большинство торговцев книгами — невежды, не разбираются: «русское? тошнит!..» — но в конце концов — отвеется лузга, останется стоящее. Мало его, стоящего. Бунина никак не признают. Книги его никак не идут. Понятно: внутреннего у него не ищи, а внешнее, отлично им изображаемое, не доходит... надо з н а т ь свое, природу, в о з д у х. Не знаю окончательной судьбы моих «Вуа Селест». Конечно, успех на Риволи — показателен. Как в других местах?.. Не уповаю... но — увидим. Мне — если не считать материальную удачу! — наплевать: писано для своих. Ч т о может дать западным — «Богомолье» — ? А его хотят издавать. Почему бы тебе не попробовать побывать у Николя?.. Поговорив, — многое можешь почерпнуть, чтобы он до-понял тебя. Русские... к т о?! ... Ты, м. б., всех выше, глубже?.. Но... попробуй. А главное — н е гори так, бешеная девочка... хоть и любуюсь то-

---

[i] Выставка товара (*от фр. étalage*).

бой... твоею страстностью в творчестве: ты — настоящая, да! Так и включи в себя, живи сим: задано тебе — и выполняй. Перо... не уйдет. Лишь дополнит. Нередко сочетание двух искусств: чудесный мастер слова — Ценский[373] — и художник, недурной, — кисти. И многих тянуло к перу. Не торопись, все придет. Нежно тебя ласкаю, целую. Оля, как я скучаю по тебе!.. томлюсь! Дай, обниму... Твой весь Ваня

[На полях:] Еще раз: прости меня за дурацкое о Клинкенберге. Конечно, он хороший и чистый.

Никогда не падай духом, — грех! Тебе — грех. Всего достигнешь.

Как рад, что ты «в огне», но и боюсь за тебя! Ах, дружка!

Не забудь — «За свободу». Трубку завтра пошлю, белого хлеба — много, Юля и Зеелер принесли.

498

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.IX.46 6 ч. 30 вечера. Спешу тебе дать знать.

Ольга моя! Очарован, взят твоей картиной. Да, только ты можешь осветить «Чашу». Ди-вно, радость моя, чудесная! Я — чувствую: ты, только.

Спешу писать, бросить сейчас. Сегодня не дали поесть, все звонки. Вот о «Чаше». «Чашу» я — для обычного издания уже отдал «Дю Павуа», будет переводить Эмерик. Женевское издательство не прислало в срок проект договора, потому и отдал. А вдове переводчика Монго послал заказное письмо о сем. И вот, часа два тому, была она. Примирилась и... уповает на «дэ люкс»! — у другого издательства, в переводе, конечно, ее покойного мужа. Ладно. Эти издания самостоятельны, одно от другого не зависит. И вот что я ей сказал, дословно:

«Заявите вашему издателю — “дэ люкс”: я дам согласие на издание только в одном случае, при одном — неотменяемом — условии: «Чашу» соглашусь издать в иллюстрациях только — !!! — госпожи О. А. Бредиус-Субботиной. Или она совсем не будет издана с иллюстрациями, я не соглашусь, ни-когда».

А. Монго должна была принять это категорическое мое требование. Теперь дело пойдет, как Господь судит. Ты будешь покойна, мое счастье, моя художница! моя — непостижимая! О, как светел тобой! Сейчас был А. Н. Меркулов — стена! — и ахнул! когда я показал ему! — буквально, ахнул. И не только он. Та же Монго залюбовалась, — воздохнула. Согласи-

лась со мной, что ни один иностранный художник — будь он разгений! — не сможет так дать наше. Россия вся — красочная, вся поет, когда Ее не терзают.

Ольга, Ольгуна, Ольгунка, Ольгуночка, Ольгушоночек!.. О, как держу тебя в сердце, как лелею тебя, единственную!.. Позволь — подержу денька два, — не могу расстаться. Знаю, как дашь «Чашу»! Оль, — а заглохший парк — пруд, в черемухах! Можно, а? О, ты все можешь. В этой «ярмарке» — все живет. Рябины надо бы погрузней... и — помноголюдней..? а? Но ты слушай только одну себя. Какой пир красок, и каких нежных! Плевать мне, — нам! — если издательство найдет, что такие краски... — дорого обойдется. Не надо, погодим... Нет, девочка... это — работа, и она должна быть оплачена достойно. Иначе — я не соглашусь! Ты — творица, царица, райская птица... — тебе нужны золотые перышки. Тебе я заказал бы золотую коронку. О, как целую нежно тебя, моя радость, моя сила!..

Молю: не перегорай! помни, Олюнок — ты должна много сделать.

Я счастлив, что разделался, размежевался с «Чашей», — так, как хотел. Ты будешь иллюстрировать «Чашу» в переводе Монго. Только ты, или — не будет никто. Решаю все — я, только. Никакими гонорарами меня не соблазнят. Для «Чаши» — для меня — есть только — ТЫ — мое божество, моя девочка светлая, моя невеста безнадежность. О, как лелею тебя!..

Сегодня, наконец, — фам-дэ-менаж — «Плаксина». Ну, скука глядит из ее жалкого лица, но она бедна. Будет 4 раза в неделю, вторник четверг пятница суббота. Работает быстро, все делает, я свободен. 9 часов в неделю по 30 фр. Но я ей буду давать из припасов, у нее сын 14 лет, а муж ни сантима не дает! Слава Богу, что пришла, Юля два раза ездила. Оказывается, заменяла какую-то даму, уезжавшую на вакат[1].

Я взбудоражен тобой, я весь в тебе, тобой, о тебе... — ты — все мое счастье последнее, прозрачное... — акварелька!.. Ми-лая, я рвусь к тебе, я зову тебя... Ольгуна, А. Монго пыталась просить твое — показать... Я отказал. «Когда будет все»! — только. Через два дня шлю тебе заказом в твердой паковке.

Олюшечка-душонок, не слушай ты «мнений», а... — поучиться-приглядеться — никогда не мешает. Я уповаю... ты приедешь ко мне... — теперь у тебя серьезный повод, — «дэ

---

[1] Здесь: на отдых (*от фр. vacant*).

люкс». О, ты, мой сверх-люкс!.. ненаходимая, единственная в мире! о, хоть в снах приходи... хоть дыханье твое услышать...

Розы... — диво-чудо! Уронили — 5 дней! — с десяток лепестков! Свежи, дышат миром... — о, счастье какое!.. ты мне дала тебя в них. Как ласкаю нежно и чисто, поверь! девочка-голубка!.. ты — все переполнила для меня, во мне. Я пишу уже 50-ю страницу, во всю. «Чаша» родится в красках, — твое, наше дитя... нетленное. О, как живу тобой! Приедь, Оля! Пригрей Ваню, мне без тебя... тяжко. Целую и благословляю мою необычайную, дивную детку-гениалку!.. Нет, я не мог ошибиться в тебе, ты — ДАР Божий.

Не правлено, спешу. Твой неупиваемо — Ваня

499

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.IX.46 2 часа 40 минут дня

Солнце, лето. Вчера вечером прошел дождь. Глаз все то же, — чешется, порой краснеет, порой правая часть лба жжет-горит. Ночью не слышу. Нервное?.. Нет мне помощи. А пишу-нагоняю потерянное: пишу уже XXI главу, остается работы дней на 6, к Ангелу должен закончить: за эти две недели переработал-переписал — 120 страниц! Доволен.

Родная Ольгуночка! Давно нет писем, и сегодня, понедельник, пусто! За что ты так меня казнишь? Да... что это ваш «Шпекин», дерет с тебя? ты за «картину» заплатила почте — 1 гульден и 65 центов, что, по официальному курсу — гульден—франк — составляет, исходя из 1 гульдена, равного — 43 франка = 71 франк! С меня за то же взяли на почте — *14* франков! Я подивился и велел проверить: верно. Что сие значит? Или «Шпекин» гонит выручку для казны, дабы поднять ранг своей конторы, или... высек тебя за... — не вкладывай в посылку пи-сем! Нельзя! за сие штрафуют отправителя. И это не впервой, «вкладка»-то. Мне, конечно, приятно твое письмо, но ты могла бы его послать одновременно, как письмо. Прими к сведению.

Еще, в дополнение к последнему письму, от 27 сентября[374]. Запертый монастырь. Вду-майся: когда ярмарка, монастырь торгует! Всегда открыт, снуют люди, служат панихиды, молебны, покупают крестики, книжечки, иконки, пояски, памятки. В воротахснованье. Нет у тебя обычного — слепцов с поводырем. Все должно быть усеяно перед монастырем,

а у тебя... наставлено, местами. Будто ты расставляла, надумывая. Я понимаю, как это нелегко. Но помни: искусство — огромный труд — при вдохновении! — все труд. Оно требует «долгого дыхания».

Ты в трудном положении, понимаю все: в России — другое дело. Взяла «кодак» — и жарь на пленки массовые сцены! Так всегда делают художники, несомненно. Потом уж сами творят, но главное схвачено! — положения, движение, соотношения. Юон, несомненно, так делал, давая «Москву», «Троицу», «Гулянье»...[375] И Репин, и все... Главное — никакой «глаз» не угонится за объективом. Твое дело создавать, — красить! переставлять, но иное «движение», «постанов» никогда не «увидишь»! своим глазом и памятью.

Ты с фото будешь творить картину, а не фотографию: фото — подсоба, только. Оно дает — жизненное соотношение, застывшее движение. Искусство этим не принижается. Для писателя даже фото полезно. Но ему легче, чем художнику, — в данном случае, во внешнем. Тебе и в Голландии фото может служить. Хватай массовые сцены, базар, процессии, людей в разных характерных положениях, — вспомнишь и наше. Отбирай только. Лиц — портретов не надо же! Даст тебе фото «композицию».

Но надо нам с тобой лично обо всем говорить, мерекать. Я тебе сказал: «Чаша» может появиться, как дэ-люкс, с иллюстрациями — *только* с тобой! Иначе — *не будет*. Давай мне хоть миллионы! да!!

Вот почему тебе необходимо приехать, хоть на недельку! Говорю сознательно и прямо. Надо. Для многого надо. Не для — поцелуев, клянусь! Само собой, я тебя буду целовать, если дозволишь, но — как моего друга-дружку, любимицу, — не любовницу. Я буду крепок. Ксения Львовна утопла? Ни звука. Очевидно, не приедет. А тебе нужна и машинка. Возьмешь мою. Я тебе ее секреты поясню. А сам займу у Первушиных, если выйдет так. Без машинки я — без рук.

Олька, приезжай, погода хорошая, покатаемся... но ей же ей, тебе необходимо, мы все картины обсудим, подробнейше, поспорим, поцапаемся, но своего добьемся. Ах, приедь! Я тогда выздоровлю. Сейчас хочу попробовать того средства, что помогло Ивану Александровичу. Мы поездим, посмотрим картины, — фруктов масса, мясОв — тоже. Квартира моя чистая, полы натерты. Ем котлетки. Жду милочку Олечку... мою славу, мой свет, мою жизнь... Оль, ну, на коленки встал, целую ножки... приезжай!.. Убеди всех, как это важно. Приезжай, и тебе будет подарок, да. Клянусь! Ты поцелуешь *сама* Ваню.

Больше не могу писать. Спешу бросить. Оля, я тебя заласкаю чистой лаской, мою девочку, обещаю тебе. Буду хранить тебя, как святыньку... ах, как жду!.. Ах, ка-ак!..

Не могу больше, а надо сто-лько сказать!

Твой — вечно — Ванёк

Душевно я в форме. Да и вообще — я светел. И ем недурно. Оля, бери на Etoile du Nord[i], и — лети! Ни-ко-му не открою, что ты в Париже. *Спрячемся.*

Ваня

Ответь!!!

500

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.IX.46

Дорогой новорожденный Ванюша,

К этому настоящему дню твоему шлю тебе мои горячие пожелания всего того, что дает тебе силу, бодрость, радость жизни. И главное — будь здоров! Молюсь за тебя, да сохранит Бог тебя на долгие творческие годы в радость родному народу и вообще людям.

Ты знаешь, как я к тебе. Самой душой говорю с тобой я.

Хотела послать тебе к рождению посылку с фуфайкой — она мной уже давно связана — работала вечерами, когда уставала от другой работы. Но она сейчас в красильне и вероятно не скоро ее вернут. У меня была только белая шерсть в распоряжении. Здесь тоже все еще трудно достать. Толстой шерсти еще можно, но не легкой. Не знаю, дойдет ли она и к именинам. Я очень просила. Я заказала луковиц тоже для могилки О. А. — чудесные шелковистые махровые бело-розовые тюльпаны. Они пахнут медом и похожи и на розы и на пионы. У меня этот сорт был, я его обожаю. Теперь они опять появились в продаже. У меня всегда сразу несколько каталогов, каждую осень и весну, т. к. я нескольким фирмам известна как цветочный любитель. Только выбирай! Теперь много новинок. Займусь этим. Официально Франция не принимает луковиц из Голландии, но я попытаюсь всунуть их среди другого в посылку.

Затем есть новый сорт тюльпанов «сибиряков», — совершенно низких 10—15 см в форме водяных лилий, цветут уже в апреле. Масса крокусов, цветут уже в феврале—марте.

---

[i] «Северная звезда», экспресс (*фр.*).

Есть «Дарвина» тюльпаны новые, не долговязые (по-моему, не очень подходят, высоки на могилу), а тоже короче и тоже махровые. Они цветут в июне-июле. Таким образом можно на длинный период иметь цветы непрерывно. Сажать в октябре—ноябре. Я попытаюсь послать. Мама шьет тебе еще курточку для дома (вместо твоей бархатной или «в помощь» к ней), ее тоже постараюсь послать к именинам. Она одного цвета (коричневого) с фуфайкой. Тебе идет этот цвет. Гомеопатическую «крупку» ни в каком случае нельзя было «убивать» тяжелыми аллопатическими средствами вроде брома. Оттуда неудача. Это первое условие — ничем не глушить.

Ванечка, о себе не пишу. Ты не расстраивайся. Я очень плохо себя чувствую — душевно. Какой-то видимо кризис. Не пиши о моих искусствах[376] — это живая рана. Не сыпь туда соли. Я похерила свои потуги. И на-прочно. Больше не вернусь. Литературой заниматься тоже поздно. Я много и *тяжело* передумала все. Я многое поняла и учуяла. О «Неупиваемой чаше» не ломай голову. Ты очевидно ее полу-обещал Эмерик, поддаваясь ее упрашиваниям еще весной (она требовала прав на нее при мне). Не мучай себя. Я не упрекну. Нельзя же на рожон лезть. Это факт, что ты в ее влиянии до... предела. Ты уже тогда полу-обещал, не поняв даже, чего она хочет.

Вчера одна художница[377], известная своими иллюстрациями и всевозможными работами этого рода, измучила мою душу зовами обратно. Она массу переиллюстрировала книг, всякого содержания, прошедшая через конкурсы и для разных государственных набросков и проектов, заявила, что откопала «перл» — т. е. меня. Чтобы я... ах, все то же, то же. Я была разбита после нее и не спала сегодня всю ночь. Снились жуткие видения... какое в небе! Сказала эта художница: «Вы с ума сошли, поддаваться кризису!» А я рыдала без сил. И еще сказала, что «безумие было бы идти в школу или еще неосмотрительнее в частную учебу». И порассказала... как из зависти нарочно друг друга топят. У-жас! Ее слова: «Это из-за блефа-то, — она еще хлеще словечко голландское употребила, — из-за законов перспективы-то себя подвергать ломке в Академии, да я Вам, милая моя, книжку на 5 вечеров дам о перспективе и достаточно. Это из-за [фуфы]-то, из-за перспективной точки-то?.. Никаких законов нету. Школа нужна нам — в молодости как режим и дисциплина, как путь к зрелости. А Вы и сами, без палки работать будете. Ни в коем случае не берите частных уроков. Я тут никого не могу дать. Честных — мало. Зачем Вам сидеть на гипсовом Зевсе, когда Вам нужна голова живая?» И мно-

гое. А я молила: «Перестаньте, это уже все отошло, я не хочу, не буду!»

Она дает почти всегда в акварелях свои иллюстрации, и мне советовала никого не слушать. Издательству это немного дороже, а эффект на 100% больше. Тут есть законы: как дешевле в красках. Стала было давать указания. Но я заревела и заткнула ей рот. Она поняла меня в конце концов — почему я ухожу из работы. Поняла и замолчала. Я неожиданно столкнулась с ней, хлопоча (в кругу служителей искусства) для Жуковича. Она слыхала обо мне... откуда? М. б. через доктора. Не знаю. Разрыла все у меня и была очень нежна. Хочет еще приехать ко мне. Я не хочу, убегу, не приму. Думаю на доктора, т. к. он уже в некоторых кругах сказал обо мне, а сам предлагал дать некоторые мои рассказики (которые ему давала) для католического листка (он очень влиятелен там). Это было давно, а теперь спросил, не могу ли и иллюстрировать. Я подумать, попробовать обещалась. Но не лежала к тому душа. Теперь же все кончено. Но Klinkenbergh не знает, когда он уезжал, я была в горячке работы. Вчера после художницы я и остатки дожгла. Все сожгла! Теперь чисто!

[На полях:] Со сладострастьем жгла свое кровное. Я очень разбита, вся сорвалась. Ничего не могу и не хочу. Но это пройдет, как прошло и в Берлине. А вернется — ? — будет уже поздно. Ну, довольно. Я вся изорвалась. Не могу. Ты не поймешь меня в этом. Не надо больше. Я просто обывательница — Оля.

Иначе не понимаю твоих «мучений» о «Неупиваемой чаше», обо мне, о моих переживаниях не думай. И говорить о них все — завело бы очень далеко. *У меня же нет сил*!! Я просто ставлю на всем этом больном и мучительном крест и ничего не хочу, не могу знать.

Ты же можешь меня пощадить? Забудь о моих «талантах». Не пиши о них. Мне больно.

Я невыразимо страдаю. Плачу и терзаюсь и все же забиваю в «таланты» кол! Осиновый кол. Так надо! Забудь.

Почему Ксения Львовна у тебя в немилости? Оттого, что я ее люблю?

Что с доктором? Если бы я это знала! Боюсь, что самое безнадежное. Он уже 3 недели как уехал. Но он готов уйти. Не для здешней грязи он.

Очень плохо Жуковичам. Позорно для нас допускать гибель такого гения. Этим я мучаюсь тоже.

Обнимаю тебя, Ванюша, и молюсь о тебе.

Твоя Оля

501

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.X.46

Чудесный день, солнце, лето! А ты... дуреха!.. ты сумасшедшая девчонка, я весь ощетинился, все бросил, чтобы писать тебе тотчас, — 3 часа тому, — сейчас 1-30 дня, — получив твое безумное письмо[378]. Что мне с тобой, дуреха-рева, делать?! ... Палкой лупить, — далеко, не дотянусь... Я, просто, взбешен, но я упрям и не оставлю тебя в покое: Го-голя разыгрываешь, преисступленная?! Да Гоголь-то дал себя, а ты еще обязана — пойми, недотепа! — себя раскрыть и ткнуть в нос всем, а, м. б. — и «всем-всем-всем...»

Ну, будь ты здесь, я бы тебя изъязвил, потряс руганью и сжатыми кулаками. Поверь, что ты мне жизнь теперь отравляешь! мне «синяя птица» руку уже клевала ласково... а ты ее спугнула?! ... Идиотка несчастная, гениальная безумица и сверх капризная! Погляди на Пречистую, несчастная! ведь ты Господа хулишь, давшего дар святой!.. Беги в церковь, пади перед Ним, Распятым за — и твои, дура! — грехи! моли помиловать тебя, выпей святой воды и... да, да, да! — с мыслью о Нем — не кипя, не брунча, муха злая-осенняя, гуляй в работе! Что я, за идиот, тютькаюсь с такой слюнтяйкой?! Да ты ткнись в историю Искусства! каак люди — достойные Божия Ока! — трудились в Его славу!.. Да, и жгли, — непременно жгли, когда доводили себя до такой истерики и неистовства бесстыдного! но... помни, дура! Я тебе теперь ни слова не напишу, я плюну на тебя, черт с тобой!.. мне надоело няньчиться с сумасшедшим детенком, гадким утенком (а лебедью-то вот-вот..!), которого надо и драть, и лечить, и ублажать, и снова — драть и лечить и ублажать. Идиотка Олька, любимая моя, золото мое чистое, камушек мой ненаходимый, ненайденный никем, — мною только! — самоцвет... что мне с тобой делать?.. Я матери, наконец, напишу, чтобы выпорола тебя по самым чувствительным местам! Олюша, в последний раз тебе пишу:::... — изнемогаю, несчастная! Изволь сейчас же очиститься, выкупаться, «банею водною-воглагольною»! Я тебе всурьез говорю. Изволь уехать на две недели, хоть в самый глухой вереск! и там — жрать, пить, дышать, лежать мордой в небо, слушать, пока солнце, как мушки-шмели гудят... — и молить Бога, каяться!.. Чего ты ждешь? чтобы к тебе делегация от Искусства явилась и просила: «О. А., смилуйтесь, пожалуйте в уготованное кресло!» Тьфу!.. Ты

трусиха и чертовски при сем... горда! честолюбива!.. А ты, милая, смирись перед Господом. По-мни, — правду говорю, сердце говорит: черт, — он самое разреальное в универсе, как Господь! — черт мешает, знает, подлец, что ты его уязвишь... не допускай ему хвастать — «нашего полку прибыло». Отдохнув, принимайся за работу. Планомерно, или — Бог с тобой — в легком запое... но не сгорай, не перекипай! Мне не веришь, чутью моему?.. Тебе профессионалка... — что ей, взятка с тебя нужна? — заявила — «сумасшедшая!» В точку попала. Ломается, как... слова не подберу, все ты слова переплюнула. Что мне твое поздравление?! поздравила, спасибо! помню. Подарила к Ангелу! Что мне твои тюльпаны, курточки, фуфайки, платочки, одеяльце, — оно прелестно, но я теперь ни-когда не накроюсь им! Ты — да, временно сдала, нервочки упали, да... — сама виновата. Не гори! После пожара всегда гарь. Слушай, девочка-безумица — и ох, умница, люба!.. Возьми себя в ежовы рукавицы! Что ты нагораживаешь? Эмерик чертова! — «дуб»!? Ты шулерничать стала? Я, дурак, — да! — сослепу глупость написал, «тряси березу — не дуб! — все равно ни единого желудя не стрясешь для ожидающих внизу». Почему? что хотел выразить? Влетело в башку, что доктор, — Господи, прости мне! — шатает мое дело. М. б. хочет принизить меня в твоих глупых глазах, расхуливая перевод, — а т. к. — по-французски — перевод хороший... ну, стало быть «оригинал» плох! — такое дескать впечатление остается... Так вот: «тряси березу...» и т. д. Про меня, а не про дуб — Эмерик. А ты — «Эмерик — тьфу! — “дуб”»? Уж не знаешь, как бы мне в глаз попасть, так... хоть в нос?.. Причем тут Эмерик? — она вон дней десять глаз не кажет, а мне надо знать про книгу. Она бьется за франчок, ей перепадает гонорар за перевод по 3 фр. с экземпляра. И старается. Что ты меня в дурака-то хочешь обернуть? Я тебе русским языком говорю — иллюстрироваться будет перевод не Эмерик — если бу-дет! — от тебя зависит, а Монго! ну? ясно?.. И только в твоем декоративном обрамлении! Ясно? Ну, что мне, облаять тебя по-... .?! Я весь на острие и все же я гну свое, я работаю, хоть ты мне — черт тебе шепчет! — все палки суешь и за руку рвешь! Не молю, а велю тебе, — с такими нельзя иначе, я все коленки протер, ползая перед Вашей Милостью! — велю работать! Бетховен бил своих дураков линейкой по пальцам! Что, Пу-шкина из могилы поднять, Винчи..? чтобы они тебя излаяли и... плюнули: вот, сокровище-то откопали, ломается, как...

В последний раз кри-чу! — во-зьмись, помолись, ну... попарься, что ли... чтобы дурной пар изшел из тебя. Пойди-по-

молись, родная! ведь святое делаешь!.. А ты е м у — стелешь, во славу и радость всем бЕздарям и завистникам!..

Что это за новости — «как... 10 лет тому»?.. Сожгла корабли! ну, и безумица! Что ты сожгла, все это в твоей глупой голове сидит, не сожжешь! в сердце! Вы-пусти на бумагу, злое дитя! испорченное!! Ну, Бог с тобой... не могу.

И все же целую, твой скоро — именинник Ванька, излаянный и отравленный. Ольга, по-мни: хулишь — почти! Духа Святого!

Девочка моя, утихни. Господи, помоги.

Приписка: Я отправил тебе «Ярмарку» 27-го сентября. Вчера (!) получил от почтальона контрольное объявление о дополнительной оплате (affranchissement[i]) пакета заказного. Захожу — и что же! Они, черти (вот он, черт-то!) не отправляли! По вине ихнего новичка-болвана взяли 14 фр. (Я еще его, дурака, переспросил — «да верно ли рассчитал?» — Верно.) Оказывается на *10* фр. ошибся! Я объяснялся с chef de bureau[ii] и — выразил недовольство: из-за 10 фр. и по вине чиновника задержали на 4 дня! — пакет — спешный!

Извинялся, дурак... Вчера пустили. М. б. к 6—7 получишь. С о х р а н и, во имя Вани!

Ни в какой «немилости» Ксения Львовна. С чего взяла ты? Она не была у меня с месяц. Мне важно знать, поедет ли она — и ко-гда. Если приедешь, на что я, конечно, не надеюсь... уведоми, чтобы я попробовал в нашем, на rue Marois Hôtel Royal Versailles — оставить за тобой отличную комнату. К черту таскаться в гору в Bellevue. Ты должна жить в полном покое, у себя, по-царски, в полном покое от всей надоедной мошкары!

Твой Ваня

Подумай и пощади: мне, может, и жить-то остается — месяцы! а то и дни...

[На полях:] Теперь знай: не напишу, пока не услышу: я, Ванёк, вернулась к Богу и Волю Его творю. Крещу тебя. Оля, по-мни. Пришли депешу: (из Утрехта) «Я отдыхаю, здорова». Значит — я образумилась и обратилась к Богу. Должна получить это письмо 5, самое позднее 5—6 — депешу! Иначе я изнемогу. В последний раз прошу. Ванёк

---

i Оплата маркой письма (*фр.*).

ii Директор почты (*фр.*).

502

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.X.46[i]

Дорогой Ванюша, что же говорить об утраченном, зачем плакать по волосам, снявши голову? А? Ты дразнишь меня могшим быть и самим тобой же зачеркнутым, вернее, отстраненным. Ты, отдав Эмерик (что это только ей нужно, она конечно упросила, [ухапнула], благодаря знакомству с издательством) перевод «Неупиваемой чаши», — устранил de lux.

Я не глупенькая детка, которую можно убаюкать утешениями и всем тем, что вилами писано по воде. Факты говорят мне, что de lux *ушло*. И с ним возможность мне быть связанной с тобой в «Неупиваемой чаше».

Если эта комбинация с издательством (Павуа) тебе несла материальную выгоду, то я молчу, как бы горько ни было расстаться с мечтой. Но я предполагаю простой напор Эмерик, ибо знаю и ее и тебя. В моем большом письме я все тебе сказала, но не послала его, не желая тебе боли, да и сама не вынесу полемики. Я разбита и больна. Мне и писать трудно. И ты, пиша все об иллюстрациях, очевидно, никак меня не понял, равно как и того, что иллюстрирование «Чаши» ушло в туман проблематичности.

Я, под-запал, в разбитости своей уничтожила все свое. Ты не поймешь видимо моего этого состояния. Мне пока что ничего не жаль. Я просто как бы заткнула уши на зовы творчества и поэтому уничтожила «свидетелей» этих зовов. Сожгла.

Ты показывал мою работу всем, кому я не стремилась показывать. И не показал, о ком просила. Ксении Львовне я писала в день отправления «Ярмарки», что посылаю ее тебе и хочу, чтобы она (Ксения Львовна) ее посмотрела и сказала свое суждение*. Ты отослал, не показав. Твое это было решение и вразнобой с моим. А ведь картинка-то моя. И я вовсе не хотела давать ее на разбор Юли. Юля не любит меня. Не внушай себе и мне иного. Я это чувствую. Юля — чуткая и она почувствовала мою не открытость к ней. Я же знаю это! Ну, все равно. «Ярмарка» полетит тоже в печку по приезде.

У меня все даже блокноты мои сожжены, как в Берлине. Тогда я не могла даже на выставки чужих картин ходить. Как

---

[i] В оригинале описка: 2.IX.46.

* Я ей ни намека не дала, что это иллюстрация к «Чаше», а простой мой рисунок

молил меня Макс (друг детства — музыкант, художник и врач) этого не делать. Но понял меня в конце. Вчера еще был надрыв: мой поставщик прислал утаенное для меня самое первосортное из материалов, сверх нормы распределения. А я ведь и не записана в камере художников. Я заплатила, но к чему? Знакомое издательство доктора Klinkenbergh'а (католическое) сделало ему предложение переговорить со мной, не согласна ли я дать им некоторые мои этюды о России для перевода и помещения в их ежемесячнике (он показывал своему приятелю мою «книжку»). А он от себя предложил иллюстрировать (не видя еще «Ярмарки», а только этюды к ней). Теперь все пойдет побоку. Dr. Klinkenbergh болен и его еще нет. Авось забудется.

Теперь мне все это не интересно, но принципиально хочу сказать, что ты заблуждаешься, думая, что издательство слишком обогатится такими именами как Анненков и тем более Григорович. Я спрашивала у иностранных художников о них. Никто о них и не слыхивал. Для большинства читателей и Анненков, и Григорович, и Субботина — пустой звук. Далее: я сознательно не заполняла предмонастырской площадки, ибо писала для иностранного глаза. Заполнив и забив план, я им не показала бы сути. Русские поймут, а чужие еще приняли бы толпу, валящую в ворота и всю гульбу за сорт радений религиозных. Голландцы, видевшие этюды первоначальные, так и спросили: «А разве можно во время службы такой толпе шляться в храм, или у вас так молятся?» Под слепцом и поводырем надо бы подписать, что-де слепых так у нас водят. Эту картинку издательство конечно ведь уменьшило бы раза в 2—3. Что получилось бы со всей этой крохотной мелюзгой? Мы русские — все узнали бы с лету, а иностранец остановился бы так же, как перед чтением текста обо всем этом. Потому предполагаемый торг с каруселями и т. п. у меня в ложке. На переднем же плане даны только типы. А гульба-то у всех одинакова и не играет роли показать, что у нас качаются на бочке. Важно дать наш стиль и дух. Ворота монастырские закрыты и потому, что я очень хорошо помню, как в громадном селе Парском (Юрьевецком уезде, Костромской губернии, около Иваново-Вознесенска, на границе Владимирской губернии) шла ярмарка по случаю 500-летия. Там очень заботилось духовенство, чтобы около храма не было «бесчинства» и гнали всю разгулявшуюся шпану. Лошадям не давали стоять и гадить около ограды. Их выпрягали и привязывали по частным палисадникам, и у нас стояли. Около стены храма был именно вот такой люд: забредшие ребятишки, девки — полузгать семечек, слепые певцы, нищие, да кое-кто без сил свалившиеся, пья-

ные, торговали пристойным товаром: яблоками и т. д. Даже «пышки» пекли на «горушке» в леску, т. к. шутили и дурили там. Если я тебе дала бы заполненную полянку — никто бы ничего отдельного, дающего рассказ — не увидал за многолюдством.

Считайся с психологией зрителя — смотря на иллюстрацию с таким колоссальным многолюдством на первом плане, он конечно увидит, почувствует торжище, гульбу, толпу, но не увидит характерного, нашего*. Представь себе хотя бы массовые сцены театра. Никогда не останавливаешься на отдельных группах, берешь ансамбль. Русский, привычный глаз разобрался бы, отметил бы все, но чужой — перелистнет. Ну скажет: «Это торг». Надо, чтобы фигурки сами остановили взгляд. И мои всякому показывают себя: «Глядите: в России вот такой, а не иной вид нас». Их немного, они только и есть, что на картинке и поневоле на них посмотрит читатель. Сотня ли их или 2, — не важно. О том, что черно от народа, они прочтут, да и увидят в луговине. Это только частица, составившая толпу. Толпа же (из кого бы она ни состояла) никогда не живописна, не самобытна. Она всегда стадна, и лично мне, — жутка и отвратительна. Вообрази размер в 2—3 раза меньший и толпу из крохотных куколок. При нашем знании, можем мы представить, что происходит, а иностранец — просто пройдет мимо. Я и цыганку было дала и медведя даже, но все это — не нужно. Все это во всех странах одинаково и читающий, прочтя у тебя о цыганах, не погрешит, вообразив их такими, какие они всюду. Нашего же монастыря, ландшафта, воздуха, наших типов, нашего колорита они не знают и вообразить не могут. Это-то я и давала. Давать толпу — против всех моих чувств эстетики и меры, и рассудка. Я этого не сделала бы никогда. Это значило бы загубить картинку, ее назначение заграницей. Для России — другое дело. Но и тогда бы не согласилась со многим. Некоторые вещи ты судил верно: тропки, нищих больше, птицы, м. б. еще 2—3 фигурки на дальнем плане. Не больше.

[На полях:] Моя картинка — только один момент ярмарки, я сознательно так скомбинировала, решив задачу об изгнании толпы.

Я сознательно изменила. Такие ярмарки я с детства переживала, знаю как дедушка (благочинный) следил за пристойностью[379]. И в Парском, и на Баране, и в Судиславле все храмы бывали закрыты во время торгов. Это знаю и я, и ма-

---

* и сможет представить себе свою толпу. Толпа дает именно «черноту от народа». Неинтересно останавливаться на толпе.

ма. Мы же выросли в этом. Именно в селе ярмарки бывали на «Ивановку», на Покров.

Формулировка такова: «русская ярмарка» для иностранцев и делано ударение на русская. Ты — на ярмарке. Ибо толпой убьется русская суть.

Выписанность ярмарки тоже умышленна: в случае одноцветного издания она бы могла быть тоже использована благодаря четкости. Я все продумала.

Но оставим это. Оставь мои «таланты». Пусть Григорович дает свое. Ты уловишь тогда. Фотографией художники не пользуются. Это плагиат.

Целую. Оля

503

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.X.46 Солнце, лето, а ты... кукса!

«Чем — свет — уж на ногах,
И я у ваших ног...»[380]

«Горе от ума»

9 ч. 15 мин. утра, а я вже за работой. Писать тебе — та же работа, ка-торжная, — в настоящих условиях.

Олюнка моя, по-мни, глупка: не оставлю тебя в покое! И — ни-когда не оставлю, пока не влезешь на свои рельсы. Буду донимать. Трусиха несчастная!.. Внуши себе: Бог даровал тебе дары великие, а ты — что?! плюешь в них?! ... Внушай себе: «Я, милостию Его призвана к деланию на ниве Его». Молись ежеденъ — так: «Господи, да будет воля Твоя! Ты в с е мне дал, а я не уповаю на Тебя! Прости мое безволие. Дай мне служить Тебе твоим высоким Даром! Дай мне силу — поверить в себя, в путь, назначенный мне Тобою! Пречистая, помоги мне, слабой! Да послужу Тебе. Господи, дыхание Твое слышу, Тобой, во имя Твое, живу. Укрепи, и воспою Тебя — Твоя от Твоих!..»

Оля, я говорю твердо. Отдохни, ты себя — и я помог! — замотала. Вздохни. И тогда — работай. В тебе — в с е есть — исполнить Его Волю. Не покладай рук, не трать себя на уныние и воздыхания, — это путь раба ленивого и лукавого, зарывающего талант, врученный Господином. Ты — верующая. Ты — избранная. Оля, я не могу ошибаться в э т о м. Дрянь я, человёнок, пусть... но в этом я не дрянь, я — в и ж у и з н а ю . Прошу тебя, Ольга, — выпрями себя, ты ломаешь душу свою, ты творишь хулу на Благодетеля! О, поверь мне. Не

оставляю тебя на полпути, непрестанно думаю о тебе и страдаю... и пожимаю плечами, негодуя. Творить, что значит? Преодолевать косное, упрямое, не вминающееся в форму, живящую его, претворяющее это косное — в цветок Господень. Подумай, что (Кого!) попираешь ты!.. Перекрестись!

Сегодня ночью я спал не больше 4 часов — весь в тревоге за тебя, такую Большую и такую — маленькую!.. Ольга, не терзай меня, терзая себя. Ты мне дорога, да, но ты дорога мне своею сущностью, искрой Господней в тебе. Ты ее раздуешь в огонь святой. Ты не обстреляна, тебя всякая соринка клонит, всякий пустяк лишает силы. Ты — конечно, измотана... — отдохни. И фонтану надо отдыхать. А ты... живой фонтан, искрометный!

Сколько людей дивились тебе!.. Меня... — ни во что не ставишь?.. Когда еще писал я тебе: «одарена, черпай из своих сокровищ!»

Эта твоя новая знакомая, перед которой ты девочкой-плаксой себя оказываешь, за что так говорила? Льстила, что ли?.. Я ее не знаю, какая у нее сила дарований. Но она разумно говорит... Влюбилась в тебя? В дуру такую... трусиху-плаксу! Девочка моя робкая, подни-мись же!.. Вздохни. Оля, — найдешь нужным, — приезжай. Клянусь, я хочу с тобой серьезно говорить, о важнейшем. Не можешь, — смой свою неуверенность. И помни: все творившие переживали и будут переживать временный упадок духа. Но подлинные, «зараженные» (опаленные!) огнем Господним, не оставляют плуга на ниве, а возвращаются к нему, если покинули. Возьмись же! не сейчас, а передохнув. В тебе — все. Я дурак, пусть, невежда в красках... но я не идиот же круглый, чтобы не увидеть свет Господень в тебе! Я его вижу, слышу, я греюсь в нем. Пожалей и меня, тобою всячески покоренного. По-ми-луй меня, Ольгуна моя, девочка... — да таких и нет больше, — и умных, и безмерно растерянных. Иметь все — и реветь! Бесы тешатся, Ангелы плачут. Вду-майся! Не слушай, что я по твоему искусству болтаю, я могу неверно советовать... да... но я — нашел, я слышу — дружка я твоя, Ваня!.. Будь же ею. Прошу: успокой меня, пошли депешу, условную: «отдыхаю, здорова». «Ме рэпоз бонн сантэ!»[i] Все. Жду, иначе спать не могу.

Хорошие отзывы о «Путях». В бельгийской газете — кажется, «Нувель Газет дэ Брюсель» статейка — говорят, самого известного критика, «маститого» (Prist)[381] — август или сентябрь. Пишет — «Шмелев романист большого размера —

[i] «Мое здоровье в порядке» (*фр.*).

класса... Считаю, что этот роман достоин занять место рядом с Пушкиным и Тургеневым — дурак! — и около Достоевского» — около! — дурак (Слишком разны по всему!) Роман — великой чистоты, мистической. Здесь начертан лик души русской — христианский лик, и этим творчество славянина так близко латинскому духу — гению! Здесь видится высокого мастерства фреска, яркая по колоритности... и т. д. И кончает: «не знать искусства Шмелева — во Франции, где он живет сейчас, он мало известен! — дура Эмерик, с ее это слов из предисловия! нет, Шмелев и во Франции слишком известен своим “Гарсон”! — не знать его — недопустимо! непростительно».

Мно-го отзывов, большинство — «казенные», «штамп», критики признают, — со слов предисловия? — что «Даринька вошла в галерею женских художественных образов, наравне с Лизой Калитиной, Татьяной Лариной, Соней Мармеладовой». Дудят в дудочку... Книга, говорят, идет. А сколько — не знаю пока. Большинство отзывов полны: «баляляйки», «тцыганы», «тройка», и проч. аксессуары! — клюкво-ядов. Плевать мне на них. Доступно ли коротышке яблочко на верхушке?! — пробавляются «общими» местами. Но... все дудят: «чтение — необычно увлекательное». «Нельзя не прочесть», «должна быть в каждой библиотеке». Это вот важней, заплатят!

Из разных мест торгуют «Богомолье» и... «Мери»! Эх, обойти бы «Соловью»... — на финише! Что Бог даст. Ищут итальянскую переводчицу (для «Путей»). Не найду никак адрес Григорович, переводившей «Чашу».

Ольга, помни: ты несешь свою Чашу Света — в себе! Неси бережно, не расплескивай и не покидай. Из нее пить будут жаждущие. Ка-кое великое назначение! Я так бы хотел, чтобы ты была здесь, наполнилась силой, насытилась искусством. Мы многое бы посмотрели. Ты жила бы покойно. О деньгах не тревожься — бу-дут, и — есть. Только бы ты, дружок, была здорова и радостно светла. Но твой приезд — боюсь — несбыточен. Вот это — горько. Но ты... — ты послушай, что велит сердце твое, Волею Божией. Ваня тебя будет кротко и нежно, и чисто беречь. Родная моя, девочка... как я весь с тобой. Так и помни, и внушай себе: «Ваня всегда со мной».

Да, твой всегда Ванёк

[На полях:] Как рад, что завтра кончу переработку-переписку «Лета Господня»! А потом — в «Пути». Дал бы Бог!

Целую мою прелестную трусиху! Сты-дно!

Будь *смела*! И не думай, что творишь, — для кого-то.

Дай твои глазки. Дай мне твое сердце!

Скажи маме: «меня надо розгой!» Да. О, заулыбайся! И — будь смелая. Искусство любит дерзание. Черт же издыхает, — крести его! Осталось две главы «Лета Господня». Завтра кончу.

504

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[04.X.1946]

Дорогой Иван Сергеевич!

Вы в заблуждении: пересмотрите даты Ваших писем и моей открытки и Вы убедитесь, что она отправлена *до* Вашей критики, — наоборот в Вашем 1-ом письме[382] Вы очень меня хвалили. Ваше суждение обо мне абсолютно неверно и обличает полное Ваше незнание меня. Я в сути своей самой главной ничто так не ценю, как объективность, и если чем страдаю, то только не самообольщением и гордостью. Мои работы мне никогда *не* нравятся, и я этим часто мучаюсь. Вы неправы. Я просто увидела бесцельность моей работы, т. к. на Вас я положиться не могу никогда. Сколько чего Вы ни обещали мне, ничто из этого не исполнили. Я увидала, что Вы с «Чашей», как и со многим в руках у Э[мерик]. Я принуждена выслать Вам большое письмо — там все сказано. Заново писать — нет сил. Состязаться с «госпожой» Э[мерик] мне не к лицу. Вот и все. Уничтожив все к «Чаше», я впала в какую-то пустоту и под запал уничтожила и остальное. Вы напрасно возмущены мной. Я очень, очень страдаю. Обнимаю. О.

Пишу с вокзала. Чтобы не раздражать Вас (Вы всем от меня раздражаетесь) шлю такую открытку, ибо обычные только «лилипутки», которые Вас злят. У меня много дела с бедным Жуковичем, который совершенно погибает. Буду стараться дойти до министра нужного. Чувствую себя плохо. Я оставила даже мысли об искусстве. М. б. это болезненное.

505

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.X.1946

Дорогая моя голубка Оля! Бесценная моя! Чту и люблю тебя. Верю, как в самого себя, в призвание твое работать в искусстве, — пером ли, кистью ли. Верю в подлинное даро-

вание твое. И вот — этот акт дарения, — свидетельство этой моей веры в тебя, моя дорогая девочка!

Твоя картина «Ярмарка» — чудесна. Она — полна света и тепла, и вся она — н а ш а , русская! Молю тебя, успокойся, поверь в себя! Мои замечания никак тебя связывать не могут. Я верил, что ты их примешь, как советы верного твоего друга — Вани. Я плачу, зачем ты, поддавшись минутному порыву, сожгла неизвестные мне твои работы. Молю — успокойся и отдохни, будем же доверчивыми друг к другу друзьями, крепко любящими! Пусть наша «Чаша» сольет нас воедино!..

Ольгуна, свет мой, — дай же мне право беззаветно любить тебя, дай надежду, что наша «Чаша», наша «Неупиваемая»... — в память нашей великой любви, будет досоздана тобою, — явится родному народу в художественном, красочном, т в о е м — и только в твоем! — изображении! Олюша, бОльшего ничего из созданного мною, я не могу подарить тебе. ТО, что даю тебе, — любимое твое, узнанное первым из всего моего.

О, как люблю тебя, как жду тебя увидеть!.. Больше нет сил писать.

Твой вечно Ваня

Как целую чудесные пальчики твои! — они расцветят «Неупиваемую». Крепко верю в это, как в самою Тебя. Перестань глупить, будь кроткой и светлой. Отдохни — и начнешь — не спеша, не сгорая — работать. Молю!..

Ваня

Завтра мой День ангела. Сегодня — грустный день: День моего светлого Ангела — Сережечки.

[Приписка на конверте:] Сегодня — твоя чудесная посылка. Как благодарю! «Лето Господне» завершил в срок, 4-го, X — ура! как сказал себе. Вся эпопея 15+25 глав. И. Ш.

506

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.X.46

Дорогой Ванюшечка, ты не заботься обо мне: все придет в норму. Я не послала тебе телеграмму, т. к. считаю не по-совести вводить тебя в заблуждение, что я опять в работе. Я все-таки еще ничего не могу. Ну, хорошо — скажем «пока». И м. б. все «образуется». Я отдохну.

Ксения Львовна приедет! Я очень рада ей. Ты, наверное, получил и мою посылчонку и цветы и успокоился, поняв,

как душевно я к тебе. Сегодня, дружок, пришла посылка мне (очевидно через тебя было поручение) от «Павуа» с книгами французских «Путей». Я, конечно, всегда рада как-нибудь содействовать распространению твоего, но тут ты сделал ошибку. Вернее, издательство. Оно включило *в посылку* счет и этим меня ввалило перед голландскими инстанциями по девизам. Мне сделано замечание за предполагаемую передачу во Францию голландской валюты, что очень строго запрещено. Взяли штраф, но это-то не беда, конечно, — хуже то, что я на замечании. Меня запросили, как я намерена расплачиваться? Неприятно то, что это совпало с замечанием цветочнику (сославшемуся на «частный заказ г-жи Бредиус-Субботиной») за пересылку цветов, т. к. они были рассмотрены тоже как «девизная контрабанда». Я не знаю, писала ли тебе об этом. У нас последние 2 недели даже письма надо предъявлять на почте на проверку, т. к. много было посылок денег заграницу. Я не могу сослаться на какое-нибудь издательство в Голландии, т. к. не успела с ними войти в контакт. Не знаю, что сказать мне властям.

Лучше бы было издательству «Павуа» послать мне счет отдельно от посылки, т. к. письма не контролируют. Мой долг «Павуа» я теперь никак не смогу переслать. Буду как-нибудь через Ксению Львовну пытаться, м. б. она согласится взять. Но это сложно. То, что у тебя, должно быть на сие нетронутым. Это твое. Почему ты меня не предупредил, я бы хоть с издательством здесь уговорилась. А ведь частным лицам под страхом тюрьмы это запрещено. Теперь у них налицо счет, — значит я как-то буду пытаться его погашать. Ну, как-нибудь вывернусь, авось. Мне это досадно, т. к. у меня же иные могут быть с Францией еще дела, а я буду под наблюдением. Понимаешь. Как ты это упустил из вида? Ну ничего. Интересно, как это все произошло? У тебя кто-нибудь был за моим адресом? Он был странно написан, будто его кто спешно списал, глупо и без смысла расставив буквы. Ну, да ничего.

Вчера по делу (о Жуковиче) была у Dr. K[linkenbergh'a] и видела, как он изменился. Он, такой живой, во время моего такого сверх животрепещущего разговора... спал. От слабости, от утомления. Уверяет, что страшного ничего нет, а все нервы. Не знаю. Читал в «отпуске» «Человека из ресторана» по-голландски. Сказал: «Этот автор берет читателя за шиворот, и хочет он или не хочет, перебрасывает его в тот мир, где он сам. И читатель с ним и живет, и чувствует, и становится частью того, что читает. («Пути Небесные» я мог бы читать 5—6 раз и не насытился бы). Вот этим-то и познается истин-

ный мастер». Он бранил меня, что я бросила и сожгла все. Закажет фотографию с моего портрета. И очень жалел, что его друг Nicolas стал американцем и работает в USA, а то бы он его на меня науськал. Не хотел идти по моей линии (я сводила все время разговор с себя на Жуковича) и заявил: «Ну хорошо, Вы говорите, что погибает талант знаменитого певца, а меня интересует и другой погибающий талант — Ваш дар». Для Жуковича я еще ничего почти не добилась. Завтра еду в Гаагу хлопотать на несколько дней. Так предполагаю. Вчера узнала, что золовка в Америке ушла от мужа, — этим объясняется ее молчок в смысле посылок. Огромная драма. Бедная «Пушинка». Дико все так и непонятно.

Завтра Иоанна Богослова — помолюсь о тебе.

Ванюша, я никак не во власти тьмы. Я не во зле. Я только очень как-то «разочаровалась», что ли? Да нет, не то. Я просто ничего не могу. Но м. б. это пройдет. Klinkenbergh говорит, что, бросив все, я все же не успокоюсь и, по голландской пословице, мои зовы к художеству будут все же «ползти по крови» и отравят мне жизнь, если не будут выявлены жизнью. Он очень меня просил и даже слегка бранил, даже оживился. Не хотел слушать о Жуковиче, а все долбил свое. Его старушка-мать (87 лет) прислала сказать с ним, чтобы я работала. Она ко мне чудно относится еще с войны. Ну, будет о себе.

Они-то настаивали на моей работе у них в журнале католическом. Восторгались четкостью иллюстраций, не видя еще законченными, а только по этюдам. Ванюша, уже поздно, а завтра надо в 1/2 8 уже быть в автобусе. Иду спать. Крепко обнимаю тебя и очень нежно и свято. Оля

P. S. В своем письме Ксения Львовна сообщает, что ее дочь в восторге от моего портрета — я ей послала на погляденье. Не хочет с ним расстаться. Все это меня даже не радует, а как-то мучает и пытает. Ну, постараюсь отдохнуть. Для меня, без моего на то согласия, ищут знакомые преподавателя. Называли большие имена и, когда я возразила: «де господа, ведь не сказано, что эти будут снижаться до преподавания!...», они сказали: «А Вы думаете, мастеру (и чем он больше, тем это сильнее) не хочется иметь такого ученика?» Не знаю, что и делать с ними. Я палец о палец не ударила. Один сказал: «Ваш поезд идет мимо Вас, поезд Вашего будущего, а Вам только одно движение: встаньте на его платформу, нельзя же так ничего не делать». Сегодня еще двое (из семьи Бредиусов) — читали «раппорт» о моем автопортрете и столбенели. И вот понимаешь? — мне самой — все равно. Будто не про меня это. А так... Dr. K[linkenbergh] шлет в Париж.

Но у меня нет сил на это. Я так хочу покоя и побыть одной с мыслями, без нажима окружающей обстановки. Не смогла бы дороги даже перенести. Но это должно пройти.

У Жуковичей я попаду в художественную атмосферу тоже, но они деликатны и меня больше не понукают. Не хочу сказать, что все, кто понукает, — неделикатны. Ты это делаешь из любви, я знаю. Я постараюсь быть твоих забот достойной, но не виновата же я, что так опустошена?! Пока.

О.

507

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.X.46
26.IX.46 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 10 ч. 40 мин. утра

Светлая моя, бесценная Олюша!

Хотя кратко, но хочу написать тебе. Только что твое письмо, ко Дню ангела моего. Целую твою лапочку, писавшую. Вчера получил твою посылку, чудесную, и сейчас, за кофе, ел твое вкусное масло. Только бы ты окрепла, сознала себя, какая ты вся чудесная! Ты — вся моя радость (кроме моей работы, но и в работе — ты для меня — дающая мне волю и силу!). Олюночка, вернись к ценнейшему в тебе, к тому, что связывает нас нАкрепко! — к чистейшему, что есть у нас с тобой, — к творческому труду! Никаких колебаний, никаких сомнений: все будет тебе покорно!

Верь Ване![i] В этом — и твоя и моя жизнь, и наша связанность навсегда.

Вчера я послал тебе письмо[383], и в нем моя просьба — прими часть, — самую светлую, — моего писательского труда, мою «Неупиваемую чашу», как дар верного твоего друга. Я забыл поставить в заголовке «дарственной» — твою фамилию. Исправляю этот пропуск надписанием на твоем ответе о согласии принять дар этот. Оговорю (хотя это и без оговорки ясно), что все права отныне принадлежат тебе на «Неупиваемую чашу», включая и права на офильмование, для экрана. Если хочешь, верни бумагу, я включу и в нее — кому, с упоминанием твоего титула. Я давно лелеял эту мысль — отдать тебе мою светлую поэму. Теперь — исполнил мое намерение.

Олюночка, верни волю себе, поверь в себя! Придет день, — и, (если я и не увижу — увидят все живые,) — «Не-

упиваемая» будет до-создана тобой, моя радость, моя гениальная девочка, — получит от тебя красочное — художественное оформление. Ты, только ты, можешь это сделать, — так я крепко верю, уже по первому твоему этюду «Ярмарка». Ты дала такой свет, такую теплоту картине..! — н а ш е, так я это сразу и воспринял.

Спасибо тебе за твою дружбу, за твою нежность, (не за твой гневный надрыв, капризная моя, истомленная!) за твою заботу обо мне.

Если бы ты знала, увидала мою простую, всю искреннюю, всю наполненную тобою душу! В ней никакой кривизны, а все — самая детская искренность, все — связано с тобой.

Узнал 3-го дня: одна молодая русская женщина[384] сошла с ума (на любовной почве, драма). И к этому приплетена как-то моя книга — «Пути Небесные». В припадке безумия, при свидетелях, эта женщина — русская, грузинка, совала всем мою книгу (французскую, но она читала ее и в оригинале) и кричала: «вот, “revelation”[i]! (“откровение”, так названа глава, где книга была раскрыта) теперь я все поняла! Шмелев все мне открыл! Нет тайн!.. Я все знаю теперь..!» Ее увезли в лечебницу психиатра Агаджаняна[385]. Она помешалась на чистой любви! Но ей изменил (не amant[ii]) — француз, женившийся на датчанке. Француз — женатый, и она, русская, замужняя. Доктор сказал: «причина — насилие над собой (много абортов (от мужа), и — “[1 сл. нрзб.]” любовь к французу). Шмелев дал верный путь... то же могло бы быть и с его Даринькой».

Но дело сложней. Муж, очень любящий жену, — для ее счастья шел на все — дать ей полную свободу. Француз — диабетик (3 раза инсулин в день!), что понижает физиологические возможности, — для нее не хотел разводиться с женой, и... — ему 48 л. — теперь, вдруг, преподнес грузинке — «я женюсь, ты мне дала свободу... и я ее осуществляю». Грузинка неожиданно узнала, увидала эту датчанку (22 л.) — и острое помешательство. «Мудрый Эдип, разреши!..» Надеются вылечить. Ей — 43 года, очень религиозна. Но теперь неожиданно в ней пробудилась плотская страсть — безумие! Доктор: «искусственное подавление инстинкта (полового)». При чем тут мои «Пути»?! ... Силой должны были вырвать из ее рук книгу. Я тут невиноват. «Пути» указывают и н о й путь — и с к у п л е н и е. Это, впрочем, не 1-й случай. У меня есть одно безумное письмо, в котором меня возносит и... клянет одна неурав-

---

[i] «Откровение» (*фр.*).

[ii] Любовник (*фр.*).

новешенная, с юга Франции. Называет: «Вы... что Вы со мной сделали!» — А что я сделал, — если она, просто, дура!?

Олюнка, как я много поработал над «Летом Господним», 2 частью! Кончил, все. Очень очистил. Теперь буду искать всех путей — издать ее. Надежды мало... увидеть при жизни. Теперь, очухавшись, пойду к 3 книге «Путей». Кончу — все кончу. Помолись. Трудно будет, знаю. Одолею ли?.. С Божьей помощью — одолею. Уже — вижу. — Но как хотел бы тебя увидеть! Этим живу...

Господь с тобой. Стало холодно, [1 сл. нрзб.], но еще не топлю, лень. Менажка очень исполнительна. Я ухожен. Только потому и смог — за 16—18 дней нагнать упущенное: одолел 15 глав! 170 страниц! И — не утомился чрезмерно. Глаз... чешется. Но — терплю. Порой — меньше. Хорошо, что хоть во сне не слышу, стихает: думаю — нервы.

Родная, уйди в светлый мир, в наш мир: я 5 месяцев не читаю газет.

За Жуковича болею вместе с тобой. Восхищаюсь тобой — молодец — Олька! — преклоняюсь перед твоим сердцем! О, бесценная моя, подружка моя, светлая Ольгуна! Как люблю и чту тебя! Ты — чудесная. Помни (и не гордись только!) ты всего достигнешь. Ты — исключительная. Но помни: труд и — спокойствие, ритм!.. Не гори, — владей собой, моя гениальная девчурка! Ты все одолеешь.

Твой Ваня — именинник, весь — только о тебе!

Ванёк

Вечером буду пробовать твой бисквит и лепешечку. Сегодня ясно, ярко, но северный ветер. Зи-ма... Все думаю, как ты мерзнешь. Что с доктором? Я и им болею. Поверь. Я не злой, ни-когда. Избави Бог. Я вот, часто, такой, как ты. Ну, и пойми. Мы оба слишком страстны к явлениям нашей внутренней жизни. Творчество умиряет. Если бы я не был писателем... да — всего бы сжег себя — страстями. Творчество взяло огромную долю их. Ты для меня — раздвоение: и женщина (прекраснейшая), и моя дружка. Вот и де-лись!.. Трудно.

Целую мою Олюнку! Ка-ак целую!! ... Ва

508

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.X.46

Дорогушка моя, Ольгушоночка... сейчас твое письмо, 5-20 вечера. Досадно, что вышло с книгами! Ты проси-

ла — помнишь — прислать тебе 3—4 экземпляра, я, еще не получив авторских экземпляров, распорядился — в половине июня! — чтобы тебе послали 5, что ли, экземпляров — не подумав о «счете», — неужели забыл сказать, чтобы, конечно, з а мой счет! Да это я, я-то так разумел, а о н и — торгаши — по рутине! Не получая от издательства ответа, и получив авторские экземпляры, я сам послал тебе три экземпляра, и ты знаешь, — с посвящениями, чтобы не было придирок в таможне. Я сделал все как надо. Но из головы вон, что уже был мой приказ издательству. И вот они, — летний перерыв на месяц, и заваленность работой в издательстве дотянули это дело до сего времени! А я уже обо всем забыл. Прости без вины виноватого! Ни-как не плати! я все урегулирую, и тоже ни копья не заплачу. Властям объясни по совести. Если надо я напишу все с а м, по-французски и объясню им, с а м, автор! Скажи — все будет сделано. Только я не знаю, куда надо адресовать! Тут же ни соринки — «торговых махинаций!» — п о в е р я т же!.. Немедленно сообщи, я встревожен з а тебя, моя голубка. С цветами... ах, как все досадно. Цветов мне не высылали. Но твои — усохшие — и чудесные! — розы мне заменили все. Они стоят, нетронутые, неопаляемые. Родная моя детулька, как я чувствую тебя!.. как болею тобой. О, дивная... все, все для тебя, чтобы только успокоить, привести тебя к нашему Святому, Творческому! Молю — поверь же в себя, — мне поверь, — я не могу ошибаться т у т -то: ты художник большого размаха, во в с е м. Ты — с в е р х о д а р е н а!.. Ольга, устыдись... это же ро-бость твоя! и... что-то еще. Не разберусь... Смирись, Ольга, откинь, в отношениях с Ваней всякие «чиненья». Помни: Ваня в с е это пережил сам и выдублен. Одного хочу — видеть тебя бок-о-бок со мной. В творческом, в служении, в с л а в е от Господа, в служении Ему! Оль, отдохни, ты переутомлена. При таком состоянии даже пойти в лавочку — переход через Гималаи.

Я рад, что люди тебя понуждают. Молодец доктор Клинкенберг! Я очень рад его отзыву о моих книгах... но скажи ему, что «Человек» непереводим, а «наси», которые переводили на голландский, конечно сделали это, как они обычно делают многое, скверно. Мне стыдно, что Клинкенберг читал это в та-ком переводе. Лучше бы по-французски. Да у меня лишь один экземпляр! Помни: ни гроша не плати, я все урегулирую. Денег твоих не трону, у меня достаточно. О, как жду, что ты приедешь! Тебе, пойми, н а д о приехать!.. надо подышать и с к у с с т в о м. Нам надо кротко и ласково и глубоко серьезно о многом переговорить. Оля, не шути с Даром.

Я мучаюсь все эти недели тобой. Вчера был спокоен. Люда было, слава Богу, мало, — Меркулов, Зеелер, Юля. Днем заходили разные, на 5 минут. Была Елизавета Семеновна и еще 4—5. Цветов было достаточно, не во что ткнуть. И пироги. Твой кекс чудесен, и пряники и масло. Чем я «всегда недоволен»? чем? ..! Несправедлива ты ко мне. От всего сердца отдал тебе «Чашу», твори с ней, что хочешь. Пей, рисуй ее, разбей... твоя воля... «Разбей» — значит для меня — твой отказ работать. Это «ленивая болезнь». Пиши, что мне делать, чтобы облегчить неприятность с книгами. Я завтра дам знать издательству, чтобы сосчитались со мной. Идиоты тянули три — ! месяца, я и думать забыл. И я же сказал, чтобы не посылали никаких счетов, «а за мой счет». Я им не заплачу, они еще мне должны часть авторских экземпляров. Не правлю описки, спешу послать. Молю — приежай! Извести, чтобы я оставил за тобой комнату в отеле. Деньги у меня есть, достаточно, и всегда могу получить.

Господи, об одном прошу, об Олюше!.. Оля, мне трудно без тебя... так долго тебя не видеть, единственная моя, радость небесная! — и — чудесно-земная. Отдыхай, выкинь — пока — все из головы! — только набирайся сил. Я сегодня весь в письмах — больше 6 написал, так запущено...

Целую, милую, нежно льну к тебе и страстно люблю! о, как люблю, мою небесную девочку!.. мою Олюнку!..

Обнимаю. Если приедешь — приедешь прямо ко мне, а потом передвинешься. Верь, твой покой будет свят для меня.

Твой верный Ваня

509

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.X.46 10-30 вечера

Роднушка-ОлЮшка, как ты можешь отвечать за заказ цветов, посланных к «рождению»? ты же заплатила в Голландии! Что за чушь?! ... О книжках — объясни: это «авторские» экземпляры, для тебя и твоих друзей, о т автора! Счет же издательства — ошибка издательства, не понявшего точно, что надо на самом деле послать из авторских экземпляров! Надо если — издательство пришлет удостоверение, что по недоразумению послан счет, платежа н е б ы л о! да и не будет, эти — 5? экземпляров зачтутся, как авторские. Напиши, в какое учреждение надо послать от издательства? пошлют с засвидетельствованной подписью издательства. Ты можешь представить

в доказательство свой экземпляр с моим тебе «дедикас»ом[i], официальным, что сама получила от автора, а эти — дополнительные, для работы с переводом, для издателей, друзей... Так ясно и просто! Будь я голландский адвокат — с блеском выиграл бы процесс и посадил всех «крючков» в лужу! — да еще добился бы возмещения убытков и гонорара.

Тоскую по тебе, тревожен твоим душевным состоянием... ведь все же чу-ушь!.. ты себе наворачиваешь из н и ч е г о! убиваешь свою живую душу! грешишь, Оля! Что сожгла — маловажно... что в тебе — несгораемо, р о д и т с я! Как хочет сердце беседы с тобой, такой глубокой, такой тихой... такой светлой..! Сжигать «детей»! да они же в с е — прелестны! А если и — думаешь — с недочетцем каким... так такие-то еще дороже! Я ни-когда не поднимал руки на «неудачников». Думаешь, мало их было у меня? о-о!.. они — у в с е х, Великих. Храни — для смотра своих шагов семиверстных. Неужели и... мою милую, ласковую... «Ярмарку»?! О, Господи... безумица-девочка... куропаточка необстрелянная... Надо вы-держку!.. Репин 29 лет м а з а л «Пушкин на Неве». Засушил. Для «Крестного хода», для «Запорожцев»...[386] — со-тни этюдов!.. вся «потайная» его мастерская в «Пенатах»[387] была увешана ими. А что он перемучился над «Иоанн убивающий сына...»![388] Надо з н а т ь! И ни-когда не сжигал. А учился по своим неудачкам. Как надо мне говорить с тобой, как бы на духу!..

А вот, к балагурству моему, пояснение:

Жил в Москве в конце 90 гг. сероватый купец, но с лачком. Был он канительщик — фабрика золото-серебряной «канители». Собственный дом. Писал стихи. Издал книжку, «в роскошном переплете», с собственным портретом и факсимилье. Поднес мне, в почете. Писал обо всем: кухарка именинница — ей стихи. Кошка окотилась — про кошку. Собаку автомобиль раздавил — жарит. На рождение дочки — «28 февраля, — 1800... — 82 года — выразить нет слов — чудесна как была погода. — В ту чудно лунную ночь — в 11 ч. и 20 мин. — даровал Господь мне дочь...» и т. д. (я тебе, помнишь, рассказывал?) Чтил Пушкина! Во всех комнатах — Пушкин, даже в сенях, а в ватер-клозете — лубочные картинки на сказки Пушкина, «для хорошего настроения». На письменном столе возле монументальной чернильницы с «Медным всадником» — памятник Пушкину, в позолоте — бронза. Пил. 26 мая и 29 января ходил к Памятнику и возлагал веночек —

[i] «Посвящение» (*от фр. dédicace*).

тернии и лавр, в память священных дат. И вот, как-то 26 мая, день рождения Поэта, стоял он, «дум великих полн»[389], у памятника... «Пушкин» стал привычным для москвичей, как храм Христа Спасителя, Иван-Великий, Сухаревская башня. Но для канительщика он был живым, — «знамением русского Гения». Некое, так сказать, — «служение». И вот, видит... — а кругом детишки играют в прыгалку-мячик-обручик, — сидит на тумбочке у Пушкина некий потертый человек, тощий и долгий, и взирает трогательно на монумент... и... вынимает из кармана полбутылку, из другого — «как солнце сияющий стаканчик, будто из серебра», — собственной работы!, — наливает и ручкой эдак, к Поэту... «как бы за здоровье», — и выпивает духом. Купец был потрясен кощунством. Произошел обмен «мнений» — «Почтить-с!» — «Не нашел другого места?..» — «Не найти-с, потому... Па-мятник-с!» — Объяснились. Представились. «Кастрюльных дел мастер», «хозяин», «Никифор Мушкин». Высоко чтит, ибо... «по-знал всего, до точки-с». — «По-знал... всего?! ...» Екзамент. Канительщик подает стих — знал тоже всего Пушкина! — тот отвечает. «Стрекотунья-белобока... под калиткою моей...» — «Скачет пестрая сорока...»[390] и проч. Раз двадцать, изо всего, даже «Из Пиндемонте» и... «Прозерпину»! Зна-ет Мушкин! Как так?! ... Пустил из послания к кн. Юсупову...[391] — и тут Мушкин отзывается, без прошибу. Но на «Евгении Онегине» сорвался. На кинутое уже ошарашенным канительщиком — ... «Где деревенский старожил лет сорок... бранился...» — «а ну?..» Мушкин — «В окно смотрел и травник пил». — «Врешь!» — «Никак нет-с, извольте читать издание Морозова, в факсимИле! — ...“и травник пил”-с!» Озадачил купца, — не знал! Мушкин: «в факсимИле зачеркнуто священной рукой Поэта и надписано: “и мух давил»-с!” — «что однозначуще-с...» — «Как так? это почему однозначит, а?!» — «Да как же-с, хе-хе... и мальчонка знает, что такое мушку раздавить-с!.. И вот... “мой дядя самых честных правил”-с и хвачивал, ежеминутно! травничку-с, из шкапчика-с, от скуки. Тут Поэт запустил, сталоть, мета-фО-ру!» Так они встретились. Тут же и — «в память рождения Великого Пушкина!» — выпили. И вот — дружба, на всю жизнь. Почти каждый вечер Мушкин у канительщика. Пьют — и «из Пушкина», закусывают. Так и коротали дни. Изредка купец — к Мушкину. Но у того неуютно, и жена — «бестия, не признает!» Мушкин влачился, много пропивал, раздавал нищим. А не было копейки подать — давал кастрюльку! Помер канительщик. О судьбе Мушкина следы теряются. Теперь, понятно, и он где-нибудь на Даниловском.

Да-а... Они еще ставили «лекоры»[1], — «лекорились». «По специальности». Побитие «лекора» произошло в трактире Егорова, в Охотном ряду, в день смерти Поэта, по уговору: «ежели помрешь, Мушкин, от перетуги... — в самую пору, священную, помрешь...» — с чем Мушкин радостно согласился, — «ка-кая честь!». Кстати и помянет. Был вызван для контроля доктор, по требованию Егорова. 10 «свидетелей — знатоков дела». 5 часов длилось «побитие». Мушкин побил рекорд канительщика, поставленный раньше — 4 бутылки! Без закуски, не вставая с места. Для «нужды» — была соответствующая посуда. Не понадобилась. Доктор съехал под стол, от одного «духу». Мушкин побил лекор: чет-верть! 5 бутылок, без сухой закуски, — только щепотки моченой брусники, для просвежения. Мушкина обернули в «выигранную» шубу и в бани, на полок! Лежал 3 часа, выдыхался. Дух шел от него — боялись спичку зажечь — взорвет! Главное: на своих ногах вышел от Егорова — «весь свежий!» На глыбе, на Даниловском, выбита «епитафия — самоепитафия». Не помню ее, дал лишь ее тон, характер. «Елегия» — вольность Тоника.

Ваня

САМОЕПИТАФИЯ

Под музолеем сим, не столь внушительным,
Отпетый певчих хором, скорбным, не оглушительным, —
Пропели ему, понятно, и «память вечную»,
Пропели и про «жизнь бесконечную...» —
Лежит-тлится прах купца 2-й гильдии Прошина Зосимы,
Канительщика по ремеслу и житию, супруга Симы,
Безупречной в супружестве, неутешной вдовы при детях,
При шестерых, к делу приставленных, не малолетях.
Скончал мутные дни свои сей Зосима, понятно, от водянки,
След того, что, по Захарьину, злей яри-медянки.
Учился на медные, но был все же поэт, хоть и не Пушкин,
И выбрал себе псеЛдоним — «шутник Хлопушкин».
Последним словом сего шутника Зосимы было:
«Прими, Господи... все обиды душа моя забыла...
Прими дух мой в селениях Праведных, Владыко!
Не поставь мне в строку всякое мое гнилое лыко!..
Очисти мя, пьяницу смрадного и гада,
Хоть издалЯ зрети удостой кущи Святого Града!»
Особорован был по чину, прощен-причащен, отпет.

---

[1] Здесь: рекорды.

Жития его было — ох, немного! — пятьдесят восемь лет.
Помянули его друзья и близкие тризной за блинным пиром.
Прими, Господи, пропойную его душу с миром.

КО ДРУГУ — ЕЛЕГИЯ

Нике-ша! друг!!... Присядь и вспомяни,
Как вечера с тобой, бывало, коротали
И рюмочек, понятно, не считали...
Как Пушкина, в слезах, мы трепетно читали
И о Поэзии возвышенной мечтали!..
Присядь, мой верный друг... размысли, покряхти!..
Что было — то прошло... увы, увы... ахти!..
Любил ты покряхтеть и воздохнуть с укором...
Как мы с тобой Москву потешили л е к о р о м!..
Ах, добрая душа!.. кастрюльки делал ты,
Всегда был без гроша, всегда — одни мечты...
Кастрюльки-зеркала да Пушкин, — весь тут ты.
Поэзию любил, на нищих разорялся:
Пропьешься начисто — кастрюльками швырялся, —
«Бери, нагой-босой, не жалко меди мне!..
Что золото — что медь: все плавится в огне!»
Все повара кастрюлькам тем дивились,
Как образам святым на них они молились.
Зеркальный блеск, всем зеркалам укор!
И Лондон, и Париж признали твой л е к о р!..*
Смиренник, — при такой-то смётке!..
Про Пу-шкина-то... как, бывало, говорил?!..
«Ах, ежели б Господь почет мне присудил —
Хоть гвоздиком торчать в святой его подметке!..»
По-бил ты мой л е к о р... — и тут я не забыл,
Как че-тверть осадил!.. и что же?.. — све-жий был!..
Да, перешиб меня... все доктора дивились.
Сапожники потом и повара ловчились, —
Нет, жив л е к о р! неколебим, как Пушкин.
Да-а... Мушкин одолел, — во прах разбит Хлопушкин.
Что нудило нас, друг, поставить наш л е к о р?..
Беспутье?.. дух в груди?.. безмерных сил напор?..
Здесь, на досуге, я доселе размышляю...
И многое познал, а этого не знаю.
Чай, прихватил с собой..? — налей и покряхти,

* Общество кустарей представляло Мушкина. Была золотая медаль.

Подумай обо мне — и за мое хвати.
Налей и мне фи-ал... прочкнусь и потянуся,
Да руки коротки, — увы, не дотянуся.
Ну, за меня удвой... одну, другую, третью...
За упокой, дружок, не то, что к малолетью:
Как пьешь за упокой — в груди дыханье вянет,
Рука дрожит, так к горечи и тянет...
Да в горести чреда всегда у нас одна:
Хоть четверть принеси, — всю вытянешь, до дна.
Всю вытянешь... и слова, брат, не скажешь, -
Живой ли, неживой... — сырой колодой ляжешь.
Я не взыщу. Шепни мне: — «Зо-ся, дру-уг!..»
— «Нике-ша..!» — отзовусь, — «что, ежель, милый, вдруг,
Отшедшие, мы все воскреснем?!.
Да с радости такой с тобой мы так-то тре-снем...
Что, не опомнившись, мы оба враз умрем?!.
Вот, ахнуть-то, как мы ту штуку отдерем!..
И, по Трубе, опять воскреснем?!..
И снова, в радости, та-ак треснем..!...
Что в третий раз с тобой помрем?!..
Помрем — воскреснем... снова треснем...?..
Пирпетум-мобилю на о-пыте решим!
Вопрос бессмертия на деле разрешим...
Безмерность русскую покажем:
Мы — Пу-шкина сыны! — докажем.
Архангела с Трубой, пожалуй, насмешим... —
И — в пекло... — так и порешим.
— «Не-эт», — скажет, — «прыгуны... пряменько в рай грядите,
Жизнь п р о л е к о р и л и... — смиренько зде побдите!
Отныне вам в почет сие уделено:
С утра до вечера пить райское вино».
И скажем мы с тобой — «уж нет ли тут ошибки?..»
— «Нет, скажет, молодцы... у нас уж без прошибки!
Вот написание... по-били вы ле...кор!..
Чего не бЫвано у нас до этих пор!..
С а м руку приложил... сам наш Великий Пу-шкин!..
"Никешка Мушкин да Хлопушкин —
Достойны... Закрепил: А. Пушкин".
Ну, мо-ло-дцы-ы... — побили все л е к о р ы!
Дивятся всех на вас Архангелов Соборы!»
Ка-кой очи-стки здесь!.. — все ценят знатоки...
Протодиаконы, к примеру, — ух, каки!..
Аз Третий, сам, что в Бозе... восторгался.
Уж он ли не л е к о р..?!.. — и то, брат, поражался!

— «Вдовы Попова т а м..? аль "белая" Смирновка..?!»
Нет, говорит: «л е к о р — "Небесная Перцовка"!..»
Слыхал я, — пьет ее сам чи-стый Алкоголь!..
Приятели мы с ним, хоть перед ним я ноль.
Ну, а пока, гло-тай... и слезы, и... го-ре-нье...
А я... — и духом сыт. И полон вдохновенья.

Тонька сбаловал, ища себя для работы...
(15—17 сент. 46)

Очевидно, перед проработкой последних 9 глав «Лета Господня» — трудных душевно.

Ва

[На полях:] Гоню тебе, детка, для улыбки (ну, чу-уть!) эту мерехлюндию, — когда приступал к переработке тяжкой части «Лета Господня»! Вспо-мнилась Москва, «пушкинисты»... и... «за упокой». Навалилось тоской — и вылилось... чем-то горьким.

И. Ш.

510

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.X

Пересмотрел твои письма конца июня:

Письмо 25.VI: «Мне необходимо 2—3—4- книги "Путей Небесных" на французском. Как купить? Я вышлю через Shlusser для покупки, уплатив здесь Беатрисе».

Письмо 30.VI: Мне необходимо иметь 2 книги «Путей Небесных» без посвящения. Думаю, что возможен большой заказ в Голландии и не исключена возможность издания на голландском языке. В последнем твоем письме — 8.X — ты пишешь: «Я, конечно, всегда рада — как-нибудь содействовать распространению твоего, но тут ты сделал ошибку»...

По смыслу выходит, что я добивался от тебя распространения моего!.. — но... вот, сделал ошибку...

Ко-гда я «добивался»?! ...

Я ни-когда ни у кого (тем более — у тебя!) не добивался распространения моего!

Ты просила... — я предполагал, что тебе нужно для знакомых, что ты сама хочешь меня «проводить»... Я не возражал, — твоя воля. И я сказал дуракам в издательстве послать тебе 3—4 экземпляра — из «авторских». Сказал им адрес, — они со-слуха, напутали. Издательство было закрыто на летний месяц, и вот, оказывается, только теперь раскачались..! Я же

сам тебе послал («с посвящением»!) — три экземпляра, помимо моих первых двух, с особым посвящением.

Ты можешь все объяснить, а издательство может прислать подтверждение. Ты не высылала девиз! И потому — не можешь быть на замечании.

За цветы платила голландская дама — в Голландии. Других цветов мне не посылали!

И. Ш.

[На полях:] Меня ожгло твое сообщение и предположение, что я, по своему почину, нагрузил тебя: про-дай, пожалуйста! Тьфу!..

Я никогда ничего не добивался, — шло все само: я слишком ленив и — слишком верю, что если заслуживает — само и рано ли — поздно ли, пойдет! Не «пришивай» мне — недолжного! Или так плохо меня знаешь?! ...

Зачем ты так оборачиваешь, что выходит смысл, будто *я* добивался через тебя — распространения?!

511

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.X.46

Дорогой мой Ванюша, спешу тебе сообщить, чтобы ты не волновался, что я все улажу, кажется, с книгами от «Павуа». Я была в среду в городе в издательстве и узнала, что: 1. «Пути Небесные» еще все читают и книгу увезли в [Groningen]. 2. Сказали на мой вопрос, не могу ли я как-нибудь перевести деньги за книги, что они у меня с удовольствием возьмут их для своей витрины и научат меня, как сделаться с банком для перевода денег. Это как-то можно видимо с их помощью. 3. Что хотят очень расширить свой выбор иностранной литературы и, особенно, русских книг, даже в оригинале. Очень большой в Голландии, будто бы, спрос. Я рада, что твои книги будут выставлены и, кто знает, м. б. здешнее дубье воспримет как надо, и будет большой заказ «Павуа». Когда я выходила из магазина, то издатель живо догнал и перегнал меня и, открывая дверь, сказал: «значит Вы скоро будете у нас и не забудете о книгах?!» Конечно, буду! Еще бы! У меня есть еще одно издательство на примете, которое недавно выставило Чехова в очень хорошем издании. На русское большой спрос. Кто знает, м. б. мы тебя тут еще «lux» издадим! Ничего не известно. С устройством концерта первые шаги увенчались полным успехом: моя приятельница[392] по духу совершенно не здешняя,

с русским энтузиазмом откликнулась на мою просьбу. Ее сын не может, кажется, даже терпеть этот срок до концерта и все (чудак) спрашивал меня: «но это будет? Будет?» И «Вы непременно все приложите к тому, чтобы он пел»! Так что его мать даже сказала: «да ты с ума сошел, Ольга же сама старается сверх меры»! Но это хорошо, он будет мне живой помощью. Закажет в локале[1] стулья, найдет аккомпаниатора, распространит «билеты». Я хочу, для удобства слушателей и для сокращения времени Жуковичу (он один будет вести весь вечер) давать краткий смысл арий и песен, их сущность на голландском языке. Можно, думаю набрать 50—60 человек. Сама я и мои будем где-нибудь, оставив каждое лишнее место в зале для чужих. Семья приятельницы сами предложили тоже встать по другой комнате и коридору, чтобы не занимать мест. Русских, живущих тут, я просто обяжу взять maximum билетов и за хорошую плату.

Dr. Klinkenbergh'a тоже предпишу дать 10 гульденов minimum. И только профессора с женой, что хлопочет за Жуковичей почетным гостем уже успела пригласить в тот же вечер в среду (заехала). Это очень полезно. Убедятся сами, какой это д а р . Сын приятельницы (Kiki) будет набирать людей с художественным вкусом (сам он и поет и играет), — это тоже полезно для Ж[уковича]. Уже сейчас мои знакомые горят устроить большой концерт Жуковичу. И это не невозможно, если его услышат люди с толком. Жду Ксению Львовну очень и до нее скорее еще устроила стирку — сегодня больше 200 шт. выстирала и выполоскала с Тилли. Вчера все подготовляла и писала деловые письма, потому тебе не успела. Сейчас уже отдышалась и еще до сна хочу написать тебе, а завтра сяду за программы. Надо скорее варганить, чтобы профессор успел его послушать до разбора дела. Да и жить им не на что. От золовки из Америки письмо — да, они разошлись. Такое безумие. У нее какие-то денежные трудности и т. п. Ну, в общем, западно-европейско-американские «штучки» все. Я начала работать — восстановила «Ношение иконы» (видение Ильи) и дала новую «Ярмарку». Пока без красок. Сидела вчера и в среду до 2 ч. ночи. Но бодра. Ты видишь — я больна, когда не работаю. Но сердце как-то не очень в порядке. Я буду работать. М. б. устрою здесь издание — посмотрю. Открылась выставка Nicolas в Амстердаме, — сам-то он в USA. Пойду с Ксенией Львовной, Бог даст. Кончаю, т. к. пора спать.

[На полях:] Обнимаю тебя, родной. Обо мне не волнуйся. Жуковичи меня выбили из спячки, все толкали работать,

---

[1] Ресторан, кафе (*от нем. Lokal*).

а главное, идейки программочек толкнули опять к кисти. Я рада. Мне весело стало на душе. «Ношение иконы», пожалуй, будет хорошо. Целую. Оля

512

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.X.46[i]

Ванюша мой родимый,

Давно нет от тебя писем. Я думаю: «может быть за "Путями"? Как много всегда тебе хочется сказать, и не знаешь, с чего начать. Чудесно ты про купца — «поэта».

Я с удовольствием прочла. Ты открываешься все еще вновь и вновь. О «Чаше» я тебе писала, что не считаю себя достойной ее принять. Но если ты продумал и не пожалеешь потом, то она была бы драгоценностью моей, святыней. Я не писала тебе несколько дней, т. к. с головой и сердцем ушла в работу. Ты меня «Чашей» заставил о ней много думать, Жуковичи оба силком прямо заставляли работать (она из хорошей русской семьи, очень положительная, спокойная, вроде Расловлевой милой, люблю таких. Ему она опора незаменимая), все в одну дудку. А я все как колода была. Но вдруг прорвало плотину, и я опять вся в блеске этой кипящей и возносящей работы. И, конечно, опять без меры. Вчера сидела до 1 ч. ночи, а когда легла, то было очень плохо. Я ± через минутную паузу слышала, как что-то очень шумит (ну вроде как в животе, когда нехорошо), когда прислушалась, то оказалось в сердце и отдавало в подушку. Потом стало реже, потом перестало. И ломило грудь. Я думаю, это было шум от изливания крови, которая не в достаточной мере передавалась уставшим сердцем, скоплялась, а потом с шумом изливалась. Этому шуму предшествовала сильная боль в груди (та, которая бывает часто). Хочу идти к другому доктору. И очень жаль, что не могу усидчиво работать (устаю). Рада, что концерт Жукович «отложил», — ему не хочется петь перед малым количеством народу и надеется получить разрешение на больший (говорит, что набитый зал — «пробка» для голоса). Я рада, — буду для себя работать*. Но меня очень тянет к пе-

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: Письма разминулись: мое, 22-го, с разрывом, и это.

* не позволяет совесть проходить мимо несчастья людей, а то бы надо было ото всего отойти для своего, и сил не хватает. Горя, горя в мире — непочатый угол, а я не могу его не видеть и мучаюсь.

ру. Как только закончу иллюстрации, так и примусь за то, что требует исхода. Буду очень просить тебя в то время, когда своим не занят, просмотреть. И пробрать, где надо. «Ярмарку» я переделала. Кончаю. Так, как ты писал. Я тебя очень благодарю за суждение о ней. Это очень полезно, когда объективно. Но что-то ушло из нее, мое, какая-то она другая. Хотя лучше проработана. Начерно готова и с ношением иконы. Кончу и пока сделаю перерыв в рисовании. Все-таки я вижу свое назначение в слове. Если, конечно, чего добьюсь от себя, но я, веря тебе и мучаясь невысказанным, думаю, что там мой путь. К «Заветному образу» я могла бы сделать иллюстрации, — очень колоритны могли бы быть. Ах, как мне нравятся акварели Лукомского![393] И обожаю Левитана (масло). К нему у меня чувство, похожее на то, как я к Чехову. Что-то у них есть общее. Должна я много работать и должна много сделать. Когда кончу «урок», — постараюсь приехать к тебе на суд. Не на потерю времени, а именно для святого искусства. А сейчас, только бы здоровье, — надо много работать (а жизнь коротка). Ксения Львовна не приедет, хотя я уже и комнату ей приготовила по ее обещанию быть после 20-го октября. Я.., ну, одним словом, — очень неприятно удивлена и огорчена. В ее письме было еще письмо от проф. Чахотина[394], я его пересылаю тебе, — прочти, что он там о портрете. Но пришли мне опять обратно. Хорошо? Начинается осень, настоящая... Так грустно. Не люблю я теперь осень, оттого, что за ней неуютная зима. Я прежде больше всего любила осень. Теперь, при представлении о печках с сырыми дровами, золе, грязи т. п. становится погано. И эта вынужденность сидения скученного, из-за печки. Ну, как тут работать?

Как ты, Ванёк? Как рада я, что ты «ухожен». С удовольствием бы я что-нибудь для «Плаксиной» сделала. Писала я тебе, что моя американская золовка разошлась с мужем? Полная драма из-за... ничего. Но нам убыток — не присылает больше ничего. Я просила ее и о крупе, и о ленте, и еще кое-что для моей тетки в Берлине. Я досадую на К[сению] Л[ьвовну] — хотела с ней тебе послать кой-что.

На днях еду в город — там в красильне фуфайка тебе, а дома уже готова курточка (вроде того, что у тебя из бархата), — прости, если не так, как бы ты хотел, но она сделана из моего пальто и потому были связаны в кройке. Это пальто я очень любила, оно легкое и теплое, было зеленое, и т. к. чуть выгорело на плечах, я его дала выкрасить, а оно ужасно «село», а так оно хорошее было. Эта курточка просто для трепанья дома у стола или в кухне. Ты не сердись, что из моего

пальто — не могу нигде достать материалов. Сама сижу без пальто, ждала из Америки, а теперь уж до весны.

В Голландии ничего нет. И жизнь совершенно не налаживается. У Сережи ни с места долой. Он извелся прямо.

[На полях:] Кончаю, родной мой, т.к. хочу раньше лечь. М. б. тогда сердце будет лучше. Обнимаю тебя и крещу. Покрести и ты меня, чтобы быть здоровой для хорошего труда.

Твоя О.

Как меня убивает церковный раскол. И какая гадость во французских газетах!

513

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.X.46 5-30 вечера

Только что — письмо. Прилагаю — «маниакальное».

Ольга, все горько, несказанно больно и — непоправимо. Ну, сжег... сгораю. Верней — с о ж ж е н. Суди меня Бог. Сам буду судить себя, до Его Суда.

Как и предчувствовал (да и писал): Аксинья... Львовна — не соизволили пожаловать: помешало «мировое»! Читал письмо маньяка, вернее — сумасшедшего. О чем говорить..! Ты умна — и поймешь. Парочка: грошовая сентименталька, — чуть не описался — «симменталька», — и... в е л и ч и е. Или вовсе дурак, или — на-готове, но что идиот — нет сомнения. Эти «чахоткины» давно известны... — проф. Серебряков у Чехова — «Дядя Ваня», Степан Трофимович Верховенский («Бесы»), мой Аршин или Паршин — брат Гаршина[395] — в моем рассказе «Панорама», ты, конечно, не знаешь... — рассказ «страшный», «такого удара сим господам еще не наносил никто в русской литературе» — из письма покойного Амфитеатрова[396], — так вот, эти «чахоткины» восседают, — хоть в уме! — на тронах и требуют поклонения... хотя бы у дам «с куриными мозгами». Самый противный вид двуногих. «Король» делает гадость и оправдывается «подвигом мирового масштаба». Черт с ними... за тебя мне — все-таки! — досадно и оскорбительно. Хотя я и — черт бешеный... туда мне и дорога.

Письма скрестились... — знать бы! Что же думали раньше иные господчики, принимая и, видимо, поощряя работающих для них, на них?!. Отбой? что поздно?.. Гаснущий и удушающийся от переполненного помещения звук... — разве это неведомо было до... расшибания в лепешку благодетельницы?! Вот, она, чу-ткость-то сердца!.. а, чуткость..! Два разительных при-

мера в письме, как сговорились — плевать в ч е л о в е к а..! Погано. Я себя не выгораживаю я — я... весь слабый, весь грешный, но я... в е с ь изодран, в клочья изодран!.. не могу больше, нет сил... Пришли, мешают мне... кончил.

Господь над тобой! я хочу молиться и не могу. Я хочу плакать — слез нет. Хоть бы прихлопнуло, что ли...

И. Ш.

И страдаю за... тебя. И — за себя. Жизнь кончена.

514

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.X.46

Всезабудка-Ольга,

Оборвали мое письмо, часа три тому... и взяли опустить. Думалось, — на этом и покончу. Но меня распалила-точит обида горькая, за... тебя, хоть мы теперь и ч у ж и е друг-дружке. Да, обида и оскорбление. Ты скажешь, да, «“оскорбление”, только не с той стороны». Ну, ты дружбы не понимаешь... а в дружбе, если она истинная и жаркая... порой и глаза бы выцарапал. Но оставим.

Не прав ли был некий, почти ясновидец душ человеческих? а? не писал ли он — «вряд ли приедет Аксинья... Львовна, разве что к ноябрю!..» А я-то почти з н а л, ч е м — то во мне, что вся она вцепилась в маниакальные штаны г-на Чахоткина из тех, что тщатся найти рычаг и перевернуть мир — только бы «маленькие средства»![397] Такие содержатся — т. е. «маниакальные штаны» в убежище Сант-Анны, у нас — «на Канатчиковой». Как же не в з и р а т ь на такого Галилея!.. Этот перевернет. И как не полопался со смеху бельвю-медонский водопровод, слыша такие речи своего собрата-водопровода маниакального!.. Ло-пнул, говорят. Но «курячьи мозги», а м. б. и телячьи... в е р я т и потому остаются при штанах, для поддержания «сил на исходе» Да, «силы падают», и увы... не будет мир избавлен от чумы! А то бы... Только вот, не хватает «совсем небольших средств»? Не поверишь ли в Геркулеса, в Атланта...? — и не ссудишь ли «небольшие средства» на спасение человечества — «телячьи-курячьи» плюс гуляющий на свободе «спаситель мира» [illegible], кстати, и тебе памятны «непу[illegible] [illegible]. Пока еще будут [illegible]. — уже [illegible]

[illegible]

[illegible] Ты скажешь — «последнее [illegible]» [illegible]

шеного не тронь. Отбесится. И как евангельский, тот, страшный, из кого Христос изгнал легион бесов[398], — припадет кротко и скажет — «про...пу...сти...» — вместо — «прости», как Иван Ильич[399], толстовский. Дело не в том несчастном, кого взбесили, беся систематически и хладно, «гололедно». Дело в гнуснецах, кои никогда не сознаются, что они подгадили... они — Великие.

Но есть другие еще, кои, просто, на-гадили. И не я ли писал, что «кончится скандалом»?! Так и вышло. Как же не скандал?! Разжевывать не стану. Довели до цели... яростно заработала машина, все утрехтские языки зазвонили... мерекали, предвкушали... ну, и скандальчик предвкушали... — и вдруг — отбой! Да ка-кой!.. да — с к е м!.. с такой доверчивой, пылкой, — «вся вспыхнула и, буквально, дрожа...» — да еще и истомленной! — должны же были видеть!.. — которая, из чувства... ну, скажем, боленья о горе человеческом... так принялась... — и т а к у ю-то, почти-детку... так о с м е я т ь перед ско-лькими! Они-то, гагчане-то, в кусты... «мы, скажут, и не просили, а нам навя-зывали...» А-а-а... Вот кто скоты-то!.. Что за позор — выступать в малом зале?! Пой «ка-мерное...» Не позор первоклассным писателям, с мировыми именами, читать «камерно», по салонам?! Сам Пушкин не стеснялся. А тут, «просился рабо-тником...» — а, театральщиний «фасон-дэ-парлэ»[1]!.. в шу-тку-с!.. с на-ме-ком-с!.. да-с! один из истертых жестов: «отращу себе бороду, буду есть черствый хлеб — !..» — изрекал, якобы, тоже «театральщик» Александр I. Или театральщичьи историки изрекли. Ну, вот. Мое вещание исполнилось. И я... клянусь! — не доволен! верней: я уязвлен за мою бывшую дружку, мою любимую... б ы в ш у ю. Все предадут, все изменят... один глупенький То-ник не изменит. Он скандалист, он порой безумец... но он-то в е р н ы й... был. Ольга... мне о-чень больно в с е. Ольга разменяла е г о на гроши, прошла мимо... Прошла... — в с е проходит. Молю Бога, чтобы и у тебя в с е прошло, чтобы не слишком болезненно ранило... не ду-шу а... чувствилища... а чувствилища наши все содержат: и благое, и злое... Вот, чтобы благого не ранило, о сем молюсь. Спаси, Господи! Это — сердце кричит — «спаси, Господи!..» Ее — спаси! А я... я сделаю последнюю попытку н а й т и утерянного себя, для работы...?. Не знаю... Мне смертельно больно и жалко. И тебя, и себя жалко... и того с в е т а, нам одним ведомого, который светился же в нас"!.. Я всегда искренен. [illegible]

[1] Оборот речи (*от фр. façon de parler*).

бенок, пока из него не сделали бешеного... И то, что пишу — правда. Я не возьму назад слов, что писал и говорил о Божьих Дарах в Ольге. Я верил и верю в них. Я не могу ошибаться в этом. Но я и не подлец, чтобы шутить с таким. Всякое служение требует жертвы. Только тогда — служение. А то — базар и побрякушки. Я хотел душа в душу говорить тебе... — не пришлось. Ты — безнадежна, да... если будет продолжаться «игра в священный труд». Мо-литься надо в своем труде, до слез, до кровавого, порой, пота!.. Как я болел Ольгой!.. ее чудесным!.. как лелеял в сердце это диво!.. да, перекипал... вскипал... что же я с собой сделать могу, когда во мне... лава плавится!.. Да, несмотря на склон... но я отступаю перед святым и поклоняюсь искре божественного огня. Ольга, бывшая... теперь уже не дерзну сказать — моя... — может очень большое, ско-лько несет в себе!.. Но об этом ско-лько я высказал!.. не буду повторяться.

Теперь — единственная щелка света... общение с духом И. А. Я только что прочел его «О Пушкине»[400] — его «Речь»... и сколько я там нашел! И — утвердился, осязая: да, верную избрал дорогу, дав «эпопею русскую» — «Лето Господне»! Там, именно, тот русский воздух, та русская «свобода» души русской, какую воплотил собою Пушкин. Сегодня я писал о сем Ильину[401]. На его глубокие-шутливые стихи — в-обменку на «пушкинистов». И ему послал новое... Ко-му же мне теперь посылать?..

Господь с тобой, Ольга.

<u>Ш</u>.

Я болен, бо-ли... вернулись. Едва сижу за столом. Боли, надо лежать, терпеть...

О, пустота какая!

Жалеть меня не надо: все идет своим путем.

Полагаю, что — выступать не позволили. Кто?.. Угадай.

Загадка — для маленьких детей. А я и отсюда вижу. Ясновидец.

Но... бо-ли!.. бросил.

26.X.46 Утро, после бессонной ночи, были боли. Сейчас, пока, нет.

Знать, что мадам Бредиус-Субботина вся отдалась налаживанию концерта-помощи, и отмахнуться так... — «надеется получить разрешение на бОльший»... — это оскорбление, которое нанесено тебе! Сверх неприличие, как если бы высморкались перед тобой в два пальца. Это ломанье, «привычное» этим господам: «столько этих поклонниц... пусть бегают!» Швырок. Вот и сопоставь искренность заявления — «возьмите меня в работники на ферму!» Ни-куда не пойдут та-

к и е — в ра-бо-тники! Это издевка, а не «горе», не нужда! Нужда — тут не кочевряжатся, не пинают! В постыдное положение поставили тебя перед всеми. И я возмущен. Сколько ты нервов истрепала, мотаясь!.. и в Париже, и там. Я чувствую по запалу твоему в письмах: Ж, Ж, Ж... Теперь выгораживай гнуснеца Ж, чтобы как-то «прикрыть» оскорбление, тебе нанесенное. «С именем» певец-то... и такая безвыходность! А где же «поклонницы»-то? У певцов с таким титулом — «лучше Шаляпина» — всегда найдутся жидки-антрепнеры, которые вьются всегда, — как вокруг Шаляпина, — «заработать»! Поверь, эти господа не оставят втуне источник дохода... — и ссудят, и помогут выкрутиться, чтобы потом снять сливки. Тебя разыграли... по сговору ч е т ы. А ты перед ними раскрывала «душевное состояние», ребенок! Достаточно Жуковичу наболтать безответственное, «взять слово», и ты отдалась работе, ки-пишь... а я, столько моливший, убеждавший, я... бережно, ц е н я тебя, указывавший на промахи в работе, — должен был, совестью! — я — в грош не поставлен. Не обидно э т о?!. И прав я, что и тон писем изменился, и самый словарь. И уже да-вно. Не вижу, что ли... ?! Не называй меня «Великим», — это определяется не нами, — временем. Я — да, первоклассный писатель... и такой писатель умеет воображать «картины», в и д и т. Искусство Слова — самое трудное. В живописи изображается красками и рисунком, в музыке звуком, мелодией... — это действует на внешние чувства зрителя-слушателя, доходит легче. А в слове — что?! ... — мертвые знаки типографские! От читателя требуется огромное напряжение в с е х чувств, и особого еще: чувства внутреннего вИдения, большой душевной работы-напряженности. И вот, писатель, в и д я внутри себя, переливает образы в с л о в о. Он должен до необычайной яркости и силы напрячь воображение... у в и д е т ь «композицию», идею вещи, д у ш у ее. И — облечь словом. Как это умеет Шмелев... показал в последней своей работе — «О тьме и просветлении» — Ильин. Он посвятил мне около сотни страниц, и на 20 показывает, к а к слово-Шмелева воплощается. Слово — самое трудное искусство! И если писатель достигает того, что слово уже перестает быть словом, а становится ж и в ы м, как бы срывается со страниц книги и впивается в сердце и ум читателя, — такой писатель в с е может, и, оценивая картину, всегда схватит, что не верно, чего нет, что лишне. Недаром большие наши живописцы так считались с мнениями зри-телей-писателей! — даже с таким, в сущности маленьким, как Григорович![402] или — не писатель! — болтун Стасов[403]. Но ты н е

верила моему суждению. Ты веришь Чахоткину и посылаешь его «мнение». А я, я — что я тебе писал — об «автопортрете»?! Большое достижение!.. вот что. И если я тебя пытался ободрить — я исходил из своего восприятия плюс осторожное бережение тебя! — от великого чувства любви к тебе! Ты, Ольга-художница, для меня не безразлична. А для других — ты — «одна из многих», они не чувствуют никакой ответственности, болтая, что на язык попало. Таков же и Ж. Пустомеля и пустосердый. Иначе он не позволил бы себе сморкнуться перед тобой в два пальца, ни во что не счесть твои метанья, твое «расшибанье в лепешку» — для него. Как же все это гнусно! какое издевательство! Да им — плевать, найдутся другие д..ы! только свистни!.. И ты нашлась. И не пиши «я рада — отказу-то! — я отдамся работе, своей». Неправда. Ты оскорблена и маскируешься. Проглотила пилюлю, и улыбаешься... По-гано! Я взбешен, за тебя, для меня все это — не безразлично. Тебя отшвырнули, а ты... меня раньше пнула, разменяла на гроши и потащила «на базар».

Сейчас узнал о Ж.[404] Это — еврей, и евреи делали ему большой бумм. Расшибаясь в лепешку для него, ты скромпрометировала себя. И этим самым подорвала «для себя» другие возможности. «Коллаборатор» ли Ж.[405], нет ли, — официально он да, коллаборатор. Голландцы нетерпимы к «коллабораторам» они накалены. И все, кто прикосновенен к коллаборизму, пусть лишь предполагаемому таковым, получают особую отметинку у этой группы нетерпимо относящихся, «рвущих» на себе одежды. М. б. — лишь мое предположение! — Ж. дознал, что ему устроят скандал... на закрытии концерта — и уберегся, принеся тебя в жертву. Ты уже — у-же! — скомпрометирована, а он уйдет в кусты: «я тут не при чем, это было страстное желание м-м Бредиус!» Вот где гвоздь. Ты себя режешь, всячески.

Я еще, до моего письма от 21—22 октября[406] говорил с директором «Павуа», о посылке книг и высказал предположение, что «Вуа Селест» могут появиться в одном утрехтском издательстве, в витрине. Что книга «читается», может быть издана. Кайэ сказал — это приятно, мы охотно связались бы с этим издательством. И было бы чудесно — ! — если бы Ваша голландская читательница взялась сама за перевод, т. к. нечего страшиться незнания — полного — языка... но никто так не переведет эту замечательную книгу, как... «русская женщина» — это — книга для женского сердца. «Моя жена — француженка, конечно, — была захвачена!.. она не могла оторваться от книги». Директор спросил, какое издательство

в Утрехте. *Хочу знать*, какое это книжное дело, где выставляется моя книга — адрес и фирма.

Теперь я вижу, что все эти возможности... растаяли... — зло сделало свое дело. И тут замешался... жид! А ты перед ним распластываешься. Твое дело. Разменивай и себя в базаре, как разменяла Шмелева!

Мне больно за тебя. Ж. (жид) выплывет без тебя, поверь. И, обратясь вспять, тебя же и попрет лапами, — «растерзает»! Доверчивая, не умеющая ценить родного сердца! Че-го я хотел от тебя?! Только — света, свет зажечь в тебе, да светишься и светишься. И — получил — за все.

Ты поверила... жиду, а мне не дала веры. Ну, жидовствуй. А я знаю — что знаю. И ты... узнаешь. Будь уверена. Ты и сейчас уже многое знаешь, многое предполагаешь. И — мятешься. Не я тебя убиваю, — другие. Ты родного и чистого не жалеешь... Ты обозвала чистого человека, честного борца за родное (Ивонина — сверхгоревого! так ты людей жалеешь!)... как?! «лодырь-интеллигент, который привык ездить на чужой шее, “попрошайничать”!» И повернулся сказать такое язык твой!.. Вот уж, именно — «взять хлеб у детей и бросить псам»![407] Ты это делаешь, делала. Мне больно, о, как больно!.. за тебя больно! Все швырнула, что чисто светит, чтобы лизать руки у жида! дозволять ему «хватать» себя за руку, требовать «слова»! Как же разменялась и разменяла!.. Но я все простил... я с тобой не свижусь больше. Молю Бога — сколько последних сил во мне, — спасти тебя, укрепить, воздвигнуть. Я не в силах выбросить из души тебя, какую в себе создал... я несу тебя в сердце, я отсветом тебя, бывшей, еще живу... Господь с тобой. Я страстно высказываюсь, я в пылу, я в болях, всяческих... я не могу уйти в работу... так меня взвихрило, так истерзало, до праха. Думал ли я, что так равнодушно, так льдяно пройдешь мимо моего страдания и моих восторгов, моих песен тебе! Прошла... да, прошла, безоглядно, завлеченная своею пылкостью... — не знаю — чем! м. б. своим тщеславием: «мне все по силам!»... Что же звонят утрехтские языки?! да не только утрехтские! и как не нашлось никого близких, вокруг тебя, чтобы удержать тебя... Конечно, и «флюнтик» тут приложит свою грязную душонку. Постарается... старается, уже старается, — знаю провИдением моим. Горько, непостижимо... не могли оградить!.. что же мама-то смотрела, брат... наконец, твой А.?! А я, издалека, чувствовал, почувствовал, предвидел... и умолял: отдайся своему, не шуми, не мечись, трудись покорно, покойно... знай меру, ме-ру!.. храни святой огонь. Напрасно.

Ты меня сочла чужими — лишним. Ты все — сама. И доктор Клинкенберг — он тебе не сказал... стеснялся... но он, конечно, видел, слышал... у него связи, знакомства. Надо было ему найти в себе мужества... но он болен.

Не в силах больше писать. Боли снова... ты знаешь, в моей болезни разбитость нервов — главное, возжигает боли. Как я страдаю... за тебя, за себя телом, духом... Вдумайся, почему доктор Клинкенберг отводил «сверхтрепещущий» разговор о... жиде! Он уже что-то знал или предполагал. Но он смущался тебе сказать.

И. Ш.

[На полях:] Больше не могу писать, все — бесцельно.

Иссякли силы, докАнан.

Дерзнула подарить жиду... от моей чистой, святой «Неупиваемой»!? — какое кощунство!.. Задыхаюсь от возмущения... от тошноты! Тьфу!..

515

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.XI.46

Все у меня отнято, — я не знаю ни формы обращения, ни местоимений, которые я теперь употребила бы. Не оставлено ни одного уголка во мне, не подвергнутого уничтожению, и все же я должна сказать: пусть я представлюсь извергом, ничтожной мразью, пусть мое имя не вызывает ничего, кроме гадливости (по письмам это так), — но нельзя не сказать мне, что все, все в этих письмах от A до Z — обманно, ложно.

Можно разойтись, но не должно быть зла.

Это все, что я могу сказать, не нарушая запрета, положенного на мою душу, не навязываясь собой. Но если бы даже эти строки и вызвали новую бурю отвращения ко мне, как вся моя «рухлядь», попадавшаяся на глаза, то все же я обязана это сказать.

Жизнь так коротка. Может случиться всякое. Не надо вражды. А в остальном я не буду собой и переживаниями навязываться. А рухлядь можно выбросить, чтобы не сердила воспоминанием о мне.

«Письмо» писалось трудно и потому долго[i].

---

[i] Далее приведен текст письма И. С. Шмелева от 21 октября 1946 г. (Т. 2. Письмо № 157) с комментариями О. А. Бредиус-Субботиной. Все выделения О. А. Бредиус-Субботиной выполнены красной краской.

«21.X.46 — 8.X День кончины отца моего[408]. И другой... день — кончины обманутого счастья. Как странно...

Твое последнее письмо, Ольга, оскорбило меня. И не только последнее, от 15—16, а и все за этот месяц, да и раньше. Изменился твой тон, даже и твой словарь. Я это очень чувствую, и нахожу причину... О сем — после. На мои пять писем, с 8—11, —10-го послал два! — ты ответила одним, и в этом письме на 3/4 о... Жуковиче! Все письма, вот уже больше 2 мес., — Ж., Ж., Ж. ... — прожжужало уши. “Голодной куме все хлеб на уме”. Ты “развлекаешься или — у...-ся” а? Тогда надо о сем сказать ясно, а не крутить. Но и об этом ниже. Твое “поздравительное”! Ко Дню ангела!.. — швырнула огрызок — на! “От избытка сердца уста глаголют”. Чу-вство — вот, точно, списываю: “Дорогой мой именинник, с Днем ангела тебя! Да будет он, как и последующие дни — ! — радостен и светел!” Все?! Все. С прописи? С “письмовника”? Ты меня не поздравляла: ты меня еще и еще — оскорбляла! Оскорбила. Дальше в этом письме — о цветочниках — “усталость-разбитость” — “дело о выселении жильцов” — в поздравительном, ко Дню ангела! — “боль в сердце, всю грудь разломило, и воздуха не хватает”. Это повторяющийся во всех письмах мотив. И расшибаешься в лепешку — для Ж. И опять, в поздравительном же — о Ж., о хлопотах, о предполагаемой поездке в Гаагу — для Ж. — “больше Шаляпина, лучше!”, о концерте, о министре, профессоре... — Для Ж. Больная, швырнувшая мою “Неупиваемую”, швырнувшая[i] «Богомолье»... Все — “к черту”![i] Теперь — Ж.! Полписьма о Ж.! — “поздравительного”, где “имениннику”, “дорогому” — полторы строчки. Вот анализ именинного письма. Суди сама хотя бы о... неприличии так писать и — кому?! отношения наши еще не были порваны. Не оскорбленье это?! Если нет, тогда... что же это?! ... Заключение письма — “прости почерк — трудно писать”. Еще бы не трудно! Теперь поройся и найди мое поздравительное письмо. И сличи. Все. Какой же вывод? Об этом — ниже.

Итак: на мои пять — последовало, от 15—16 окт. — новое оскорбление, письмо... “богатого содержания”, “с подъемом”. Побывала в Гааге, обивала пороги у Ж., давала “сеанс рисования”, — это вбив-то “осиновый кол”, как писала мне, снова и снова оскорбляя меня, после всех моих усилий, увериваний, моих жертв силами сердца! Да, так легко отказалась от “зарока”, перед чужими людьми! Не стыдно? Где твоя гордость?.. Поехала “плакаться”, — рассказала “о своем душевном состо-

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

янии". Так. Повторение Парижа. "Обидели меня!" К Рафаэлю приехала, просить одобрения? благословения?.. к Леонардо?! Как будто Ж. одобрил и укрепил. Я был бессилен, за 5—6 лет, ничего не мог с тобой, — швыряла мне! — а тут, в 10 минут — все! "Чуть меня не разорвал" и т. д. — "он очень выразителен"... - ?! "Взял мою руку..." — посмел? и ты позволила?! И — "дайте мне — ! — слово..." Кто это говорит — Леонардо?.. Репин?.. И "робкая", "ученица"... вспыхнула — ?! — и, буквально дрожа, в 10 мин. ... и т. д.[i] Свершилось чудо. Ну, я не стану цитировать о "суждении", восторге, "творчестве" — "Да это же... творчество!"... Как глубоко! "Воздух!"... — как проникновенно!.. Театральные, конечно, избитые жесты, словечки пусто-звонкие, какими, бывало, пятиклассники "судили" в "Третьяковке"!

Сожгла, плюнула в "Неупиваемую", в меня плюнула...[ii] — моя же Она!.. — И... "выпросил"! Вот как?! ... Пишешь так — значит: согласилась отдать "Ярмарку", потребованную у меня для... сожжения. Взяла[ii] у меня и отдала...[ii] — кому? ..!

По праву, да? Твое... но и мое. От моего. Там и моя доля. Там мое — тобой насилуемое мое авторское право![iii] Я, я тебе предложил попробовать... иллюстрировать. Ведомо тебе, что у художников и писателей — тайна их новый труд? а? А тут, рассказав, что сожгла, ознакомив[iv] с "душевным состоянием"... — утешили! — сразу и *предала*[v] меня, мое, наше! — отдав выпросившему. Плюнула на "Чашу" и стала рисовать "программки", для... — Ж. Не оскорбленье, а? Тогда — что же? шутка?.. Так, смеясь. И мне пишешь, что... "он все разобрал, умело, как сам художник. Потому... я «Ярмарку» не сожгла". А почему ты знаешь, что "умело"? а, м. б. — неумело?! Раз ты говоришь "умело" — и "потому не сожгла", — как же ты раньше не знала, есть хорошее в твоем этюде или нет? Открыл глаза тебе... — и потому не сожгла. Или потому не сожгла, что обещалась отдать?! А почему же мне-то не предложила, вместо того, чтобы жечь-то?.. ведь тут и мое! все — от

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: неоконченность этой фразы исказила смысл. Это злостно-сознательно. И еще и еще вижу, что всякие слова мои бессмысленны.

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: ?

[iii] Подчеркнуто и выделено вертикальными линиями О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: ?

[iv] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[v] Подчеркнуто И. С. Шмелевым и О. А. Бредиус-Субботиной.

меня. Я дал картину... — Я знаю: мое слово может давать картины, и какие!.. Читай об этом у моих — глубоких и тонких критиков! Ты взяла из моего и отдала...[i] чужому. Это не оскорбление?!. "Чуть не разорвал..." он очень выразителен, нахален, театральщиков обычный прием... хватал[i] за руку, требовал дать слово, насказал столько глубочайшего, тебя потрясшего... — о "композиции"..! — а тут как раз ровно ни-ка-кой композиции!.. Ты понимаешь ли, что такое "композиция" в живописи, как и в художественном произведении слова?! Нет, вижу, что ты совсем этого не понимаешь. У меня сохранилась выписка, как писал И. Н. Крамской Суворину о... "композиции". Вот: Слово композиция — слово бессмысленное, которым любят швыряться малограмотные. Композиции нельзя научиться, пока художник не научится наблюдать и сам замечать интересное и важное. С этого момента только начинается для него возможность выражения подмеченного — по существу; и когда он поймет, где узел идеи, тогда ему остается формулировать, и композиция является сама собою, фатально и неизбежно, именно такою, а не другою"[ii]. Ты — я знаю — считаешь, что я "суконное рыло" в живописи[i]. Тебе и в голову не пришло, что большой писатель, который видит свою идею и умеет ее, этот "художественный предмет" облечь в соотетствующую словесную и образную ткань, всегда тонкий аналитик жи-во-пи-си![iii] И ты ни-когда мне не верила. Ну, верь "знатокам", швыряющим затрепанные словечки "всезнаек" и гимназистов. Я тебе сказал о "Ярмарке", но не все. Я указал, что в ней есть... для моего глаза, зоркого глаза, ведь я же знаю свое-то! Тут нет "Ярмарки". Нет. Ты не дала "Ярмарку"! И не дала никакой идеи, никакого "художественного предмета". Ты дала лишь чуть "жанра" — бытовые сценки, и — без жизни! Ты расставила фигурки. И ни-чем не соединила их, не объединила! Ты дала отлично... — писал тебе (баб, березу). Но ты не дала "картины". Это — эскиз. И бабы у тебя — превосходны... да я же писал. И о "закрытых воротах". Бабы идут в монастырь, а ворота закрыты! Ворота закрыты, а по обеим сторонам —

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: ?

[ii] Выделено О. А. Бредиус-Субботиной черными чернилами со слов «У меня...», ее помета: не на тему. Крамской говорит о том, что «композиции» нельзя научиться. Кто же это отрицает?

[iii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: не сомневалась в этом, но в отношении меня критика была крайне пристрастной, судя по настроению, как в ту, так и в другую сторону.

ни-щие и никого, в сущности, народу нет! Чего же им сидеть тут?.. А-а... не стану говорить, "знатоков" слушай. Учиться, работать ты не хочешь. Ты довольствуешься ахами прохожих при искусстве. Довольствуйся. Но не оскорбляй меня! Ты не смела тащить на базар наше!.. Мешать с пылью мою[i] "Неупиваемую", тебе мною доверенную!.. Ты должна была работать над ее воплощением в красках линиях, общем колорите... и в красочности, — это же разные понятия. Ты могла советоваться со знатоками. Но не швыряться тем, что тебе вполне не принадлежит. Ты могла сжечь, но сперва ты должна была и об этом меня запросить[ii]. Ведь я же поверил, доверил! — как же не запросить-то? А ты у меня взяла и отдала... — кому? прохожему. Помни: "взять у... и бросить псам!" Ты это сделала. И теперь ушла в творчество программок. Твое дело. Все немощи кончились, вдруг! В лепешку расшибаешься... — и расшибешься. Подняла на себя великий труд для Ж. А сколько перевела из "Богомолья"? Ведь это не показное, не питает тщеславия. Это только после оценивается, это не мишура, не вспышка. Как настоящее творчество, а не попрыгушка около него. Ну, твое дело, ка-тись!..[iii]

Ты изменила тон писем, нашла иной словарь. Уже нет о чувствах... нет «люблю», нет всего, что было... Теперь — "я так хорошо к тебе!" С какого языка?[iv] Что это за мимикрия?.. И это — сознательно. Я знаю. Я немножко хоть, и про-видец. У меня большой душевный опыт. Потому я большой и писатель. Художники всякие есть... в Париже — 40 тыс. художников и до 60—80 тыс. «писателей». Но есть Художники и есть Писатели. Единицами они считаются, только. И вот, на одного из последних-то ты и плюнула[v]. Осыпала оскорблениями. И на его творчество. Не шуми о себе[vi]. Не кори "парижских". Да, немного делали для меня. Но делали. А ты в свой приезд... тоже, делала, когда я болел. Да и теперь болен. Ты *облегчала*[vi] мне жизнь... я помню. Вот тут у меня, в сердце[vi]. И — знаю! — в твоей совести м. б.

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: ?!

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: ????

[iii] Выделено О. А. Бредиус-Субботиной со слов «Ведь это...» до конца абзаца.

[iv] Помета О. А. Бредиус-Субботиной: буквально с языка И. С. Ш.

[v] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета красным: ВЫМЫСЕЛ!

[vi] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

Теперь — в лепешку для "прохожего". Ибо он же для тебя — кто? Едва знакомый, — и такой уход! Все. Во всех письмах! Только одно ж ж ж ж ... Прав был д-р Klinkenbergh — отводивший твой "сверхтрепещущий" разговор. Он видел то, что вижу и я. Он — чуткий. А ты о-чень прозрачная. Ты пороги обивала в Гааге. Не намозолила глаз "жене-то", "старухе-то"?.. Смотри... Даром это не проходит[i]. И твое расшибанье — видят. Или увидят. Твое дело. Но надо прежде покончить с нашими отношениями. Выяснить — и отрезать. Свободней будет тебе и мне. И — честней. Чище[ii]. Подашь "роскошные" цветы... на подиум, как на больших концертах? Вся горишь, предвкушая славу. Будешь "пояснять" Ж. М-м конферансье. Ты[ii] и мне[ii] то-же... "роскошные"[ii] цветы... Ну, правда, "не как на больших концертах"... помню[ii]. Без программок обошлось. Писатель с голоду не умер, — поддержали читатели. И не кори их. Не кори тех, кто спасал меня, когда все было блокировано. Езди, проси, навязывай, спасай... Дело доброе помочь известному певцу, не спорю. Но... мера, ме-ра! И не «очертя голову», и не напоказ[ii]. А главное, нельзя во всех письмах ко мне склонять на все лады... ж. ж. ж. ж. Стыдно[ii], Ольга. Гадко[ii]. Ты ездила помолиться за меня... Между прочим. Но поехала-то ты не для сего. Ты знаешь. И ты даже не написала мне, что помолилась: не до этого. Ты даже в поздравительном письме и не спросила: «а как ты, здоров ли?..» Не до сего. Теперь новая "забавка" — Ж. Калейдоскоп продолжается. Сколько тратится сил! Подумать... — в каждом письме... — сердце болит, грудь ломит, я раздавлена... не могу больше писать, должна лечь...[ii] — и — перпетуум-мобиле. И это начало только. Какое же тут занятие важным делом, трудом!

"Богомолье" — оставь. *Не по тебе оно*[ii], в таких бросках. Оно требует благоговения и покоя. Как и "Чаша". Займись несчастным Ж. Вглядись в совесть-то!.. Она тебе скажет все.

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее приписка: ??! Dr. Klinkenbergh знает видимо лучше меня, и на такие мысли никак не напал. Он истинный друг, и в самом светлом смысле слова этого. «Старуха» просила маму со слезами поддержать ее мужа и обратиться ко мне. Она именно очень привязалась ко мне. Говорила: «я знаю, это милостыня, этот концерт, как больно это Косте». И потому не только я, но и его голландские почитатели решили все сделать, чтобы снять впечатление «милостыни». А впрочем: к чему мои слова? —

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

Или уже флирт, — пусть невинненький, пока... или “лавры дешевые”... фимиам летучий. Ты падка на фимиамы[i]. Я тебе 5—6 лет писал, искру Божию хотел выбить... все был готов отдать, лишь бы ты нашла настоящую свою дорогу... — все напрасно. Как обманулся я!.. и как же ты меня поносишь, проносишь!.. на базар потащила!..[i] “душу открываешь” — ко-му? Теперь — к “Чаше”... о, какой горькой для меня! Ты права, заглянув в себя, в совесть твою. Да, ты неспокойна, смущена[i], и потому ты не можешь принять мой дар[i]. Я поступил — каюсь, — нечутко к тебе[ii]. Я не должен был так испытывать тебя, налагать тяжесть на тебя. Я хотел все отдать, только бы оживить тебя, для светлого труда твоего. Прости. Я как бы навязывал себя тебе. Связывал... и поставил тебя в душевное затруднение. Ты — да, — не можешь принять такого дара. Понимаю. Теперь понимаю, понял. Нельзя. Прости меня. Верни мне мое “заявление” тебе. Оно, впрочем, не оформлено, т. к. я случайно — видит Бог! — пропустил — кому! Это не правовой документ. Верни. Теперь я встревожен и за свои письма к тебе. Верни. Твои — у тебя, ты их *забрала*[iii]. Остаток, около 80, я верну тебе, когда получу мои. И нам надо рассечь нашу спайку. На-до. Да, бесповоротно. Это теперь так ясно. Все расползается... и виной этому ты[i]. Да для тебя это, думаю, теперь уже и нетрудно: ты стала давно отходить от меня. Пойдем своими путями. Мне уже недолго, видно... И не молись за меня. Тяжелы будут мне твои молитвы[i]. Найди другое такое вот сердце. Я неровен, я горяч, я страстен, я вскипаю... но я и умел прощать, я шел всем своим — к тебе.

Я возносил тебя, пре-возносил... и я ошибся[iv]. Во многом. Ты — хладная душой. Все — миг, вспышка... самообман. Да, вот оно, марево-то — обман![i]

Горько мне, тяжко мне. Я тебе про “могилку” писал.. крест-то католический — не ответила... Не написала даже, что “Ярмарку” получила... думал — сожгла. А она — вон ку-да!.. попала-то!.. как раз по адресу. Стала уже раздавать меня, от меня, так, в миг...[v] — «выпросил»! Как награждаешь-то!.. Едва

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Помета карандашом О. А. Бредиус-Субботиной: какая вдруг деликатность – после «обухом по башке».

[iii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета

[iv] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: [illegible] словах, как оказалось по собственному признанью.

[v] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: откуда этот вымысел? Чистейший абсурд.

знакомого. А “родного-то писателя”... душу всю которого познала!.. который так пел тебя, тебе... — смертельно оскорбила, оскорбляла.

Спроси чутко, вопроси совесть свою... Я умолял тебя приехать, хоть на несколько дней. Я хотел много объяснить тебе, обсудить все, и о “Чаше”... — “у меня сил нет доехать...”

Сейчас твое письмо, от 18. Оно не меняет дела. Все то же. Расшибаешься в лепешку. Какая энергия кипучая! На сотню “картинок” хватило бы. Снованье, упрашиванье, программки, закуски, шпеки... комплименты... умасливания... истолкования программы... сборы денег, — Господи!.. — на это, на такое сил хватает. На стирку даже 200 шт.! На приемы, на визиты... трата сил, средств... все — дым коромыслом! Зато: слава, восторги... и... за стеной-то... ползет в вашей дыре другая “слава”... Ну, катись![i] Отказалась приехать. А труд-то какой? Сесть в поезд и сидеть до Парижа. Нет, теперь очередная “новинка”. Не даст это тебе ни счастья, ни покою. Даст — угар, *зло*. Я вижу. Поздно будет — и ты увидишь.

Я примирился с мыслью о разрыве. Я буду долго страдать...[ii] знаю.

М. б. и не выдержу. Буду пытаться найти себя в работе.

Теперь, прощаясь с тобой, скажу от всего сердца: Господь с тобой, Ольга. Не судил Бог нам понять и ни признать, у-знать друг друга, хотя я и мучительно старался добиться этого. Это не в моей власти. Перед тобой я чист. Я не хочу теперь всмотреться в душу, что там осталось... — больно. Что же смотреть на пепел, на осадок горечи и боли — через тебя. И через мою величайшую ошибку в жизни![i] Но я благодарю тебя за светлые дни, которые выпадали мне, часы, минуты... — за все благодарю, Оля, — тебя и Бога... — и видит Он, — нет у меня злого на тебя. Будь здорова, найди себя... если можешь. А у меня уже ничего нет, одно одиночество, полное теперь... как тогда. Я возвращаю тебе и твои “картинки”, мне больно смотреть на них. Ты их тоже... раздаришь... А “могилку” сожги... я не могу. Она — чужая. Ты не запомнила, что Крест — православный на ней, на настоящей-то могилке. Хотя у тебя, помнится, есть снимок, когда-то посылал. Да и на обороте ты допустила неуважение... Сожги, мне легче будет. Не отдавай никому. Да кому она нужна, чужая?.. Пришли счет. Я сделаюсь с издательством. Мне за эти книги ничего не надо. Ос-

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: !

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

тавь их себе, отдай бедным, что ли... Пусть, хоть это будет... "поминками".

А твои деньги? Что мне с ними делать? М. б. передать Ксении Львовне. Мне не надо. Пишешь — для тебя! Нет, *не для меня*. У тебя есть опека, найдутся желающие. Прости меня: я уже не отвечу больше ни-когда[i]. Ты меня всего *не* знаешь. Всю жизнь был у меня упор в работе, для работы, но есть он и для важнейшего в жизни, кровного. Мое сердце уже не будет биться тобой[i], замрет. Всю волю напрягу — и не отвечу[i]. Вспомнил — октябрь! Самый тяжелый месяц, в жизни, — умер отец. И вот — сердце умрет! Больше не свидимся. И обман кончится[ii].

Ив. Шмелев

22.X.46 Утро.

Ночью я чуть забылся, на 2—3 ч. Много я передумал, переощутил... Нет, я не нашел покоя, не мог найти возражений против написанного вчера. Напротив, мне еще ясней стало все. Да, ты вся переменилась в чувствах[i] ко мне, если только называть чувством — правдой, любовью истинной то, что ты высказывала мне в письмах лучших и ярчайших дней нашей "встречи". Лучше бы совсем не было *ничего*![i]

Ты, укрываясь болезнью, отказалась приехать[iii], чтобы совместно обдумать священное для меня, — я думал, увы! — что и для тебя, — дело облачения "Неупиваемой" в колоритность и красочность! — это разные понятия — колоритность и красочность. Я надеялся тебе дать указания, вместе с тобой найти самое важное — идею, "художественный предмет" "Чаши", и это дало бы тебе путь к выражению в линиях и красках — композиции. Ты могла приехать — и не захотела. А мотив для поездки был повелительный и — правдивый. Если бы ты любила меня, ничто не могло бы тебя остановить. Смотри, какую "космическую" энергию проявляешь ты ныне, расшибаясь в лепешку, для... призрака. Ты отмахнулась от подлинного, чтобы служить надуманному тобой. Ты меня оскорбляла, унижала, оплевывала — открыто и с глазу-на-глаз, лично и в наигранных письмах[i]. Но не одержала «победы», не сорвала с меня «скальп» на память, в удовлетворение твоего ме-

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, выделено со слов «я уже не отвечу...» до конца абзаца.

[iii] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной.

лочного тщеславия[i]. Слава Богу, я еще почти цел. Но сколько огня моего ушло на тебя, сколько ты отняла у миллионов моих читателей! Я, не отдай я столько сил на томы писем к тебе, — создал бы несколько новых трудов, меня достойных. Ты их сожгла нерожденные. Этот твой грех ты не изгладишь ничем![ii]

У меня нет уверенности, веры в тебя, что ты не станешь открывать кому-то моих высказываний в письмах к тебе. Отныне тебе не верю. Ты склонна, очень склонна к "мишурной славе"[iii], хотя бы твоею ложью купленной[iv]. Жестокое говорю? Да, жестокое, но верное. Ты меня до того оскорбила, что я потерял власть над собой и не могу сдержаться, хотя мне и стыдно и постыдно писать т а к тебе. Я вчитался в "поздравительное" письмо твое. Какая бесчувственность, какое опустошение сердца и ума даже, и какое безвкусие![v] из "письмовника"! И к этим полутора строчкам "поздравления" — наворочено столько трухи!..[v] а ведь и трех месяцев не прошло с моего насыщенного восторгом и сильным чувством к тебе письма к твоему Дню! Да ведь из омертвелого сердца разве вытянешь каплю жизни и правды?![v] И я все понял. И стыд опалил меня. Стыд за тебя и за меня самого: как же я смел был и как рассыпал бисер — в пустоту![vi]

Едва знакомый мог вернуть тебе и волю, и радость, и — надежды! Ты — "взялась за кисточку" — рисовать "программки". Ри-суй, мечись... — это будет недолго длиться. Ты не можешь ничего создать: для созданий в искусстве нужна большая воля, вера, выдержка, — глубокое и длительное дыхание[v]. У тебя есть дары от Господа, но ты пренебрегла ими, ты поиграла ими, спеша и мечась, тщась тщетно все одолеть в минутку! Ты безнадежна, это так ясно мне, теперь — ясно. Всмотрись в себя, в совесть, оставшуюся в тебе — и ты поймешь[ii]. Я послал тебе обрывок из "воспоминаний", на-

---

[i] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной со слов «Ты меня оскорбляла...», ее помета красным: НЕ НАОБОРОТ ЛИ: М. Б. КТО ДРУГОЙ ОСКОРБЛЯЕМ БЫЛ?!

[ii] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной.

[iii] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: Что это тоже подсказано подшепнуто «осведомителями»?

[iv] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета красным: ФАКТЫ?

[v] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[vi] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: еще вариант с «дубом».

бросок "русской души" простецов, по-своему чтивших-чуявших — ! — великое родной жизни. Я дал тебе "пустячок", дал "горечь" и "горький юмор" над бедностью незадачливой жизни люда русского... — воспетую простецом-шутником. Ты ни словом не обмолвилась, даже хоть из приличия не нашлась упомянуть... Ильин — тот, конечно, понял, оценил, что показал я этим "пустячком", почему-то последние дни меня томившим. Не заикнулась даже, на миг не остановила на нем души. Ты же совсем в другом... и во лжи... во лжи даже самой себе[i]. Да, права твоя мама... — помнишь, писала мне ты? — "меня считают лгуньей"?! Да, это болезненная ложь, от... — ее психиатры называют "неврастеническая". Ты полна ею. Ты очень склонна выдумывать, обманывать, веря, что говоришь правду, — обманываться. Ты всю жизнь обманывала... себя[ii]. Я вижу многое, чего ты и не подозреваешь... — что ты чувствовала, и что ты делала за эти 3—4 мес.! И как началось это... Ты знаешь — что. Ты все время хочешь обжечься — и боишься[iii]. Да, тут применимо положение чтимого твоего Фрейда... — "комплекс", половой комплекс: ты в этом не удовлетворена, и изобретаешь суррогаты[iv]. Ты кружишься вкруг огня. Но это твое дело. Скажешь — что за ревнивец, чего надумал! Нет, тут не ревность, а — оскорбление всего святого во мне. Ты не ответила и на указание твоей ошибки с Крестом. Так, мимо. Ты не нашла в душе крупицу великодушия, благородства...[v] — отозваться и на шестистишие мое — моей святой Усопшей. Там я сказал всю правду. Да, Она всю жизнь хранила меня и подарила родному народу меня, принося себя в жертву. А ты... Все эти 7 лет расточала меня и мое[i]. Так ценила, любила. Бездушная, пустодушная. Вся полная собою. Только собою[vi]. Теперь пожнешь "лавры", дешевенькие... но и это для тебя — победа. Но она же мгновенно обратится в позор и поражение для тебя. Над тобой насмеются, — и чувствую — уже смеются[i]

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: следовало назвать конкретный случай!

[iii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета красным: ?

[iv] Помета красным О. А. Бредиус-Субботиной: !!

[v] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: а тот, кто и прежде оскорблял меня немногим меньше чем теперь, - нашел великодушие?

[vi] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной.

(как и в броске твоем с "апельсинами"). И д-р Клинкенберг — видит и знает это[i]. А если не знает — у-знает. Но он не посмеется, он пожалеет, как я жалею. Но я бессилен. Ты не замечаешь, как во всех последних письмах твоих — да и не только в них — одно только извивается красной нитью — я, я, я, я....... ж, ж, ж, ж, ж. Слепец только не увидит... Позор! Ты осмеяла и опозорила *мое* творчество. Ты издевалась над святым во мне[ii], над моим идеалом русской женщины! Ты обозвала Дариньку, созданную мною, — ее же нет еще, и она где-то... — крича мне — "она же ду-ра! пустышка... выдуманная!" Ну, насмейся — уже насмеялась! — и над "Чашей"! Ты способна. Как же не наплевала, когда отшвырнула ее, ударила по ней, как неразумный ребенок бьет кулачком ушибшую его игрушку. Но ты же не ребенок... Не ты ли кричала — "твой Пушкин, твое "Солнце"... просто бездарь!.." Ну, да... ты была в мгновенном потемнении...[iii]

Но с "Чашей"-то?.. Ну да, тоже "потемнение"... только от ослепившего тебя света "величайшего таланта", погибающего гения? Тешь себя. Мое решение бесповоротно: я сознательно порываю с тобой всякое общение, я отныне *тебя не знаю. Я хочу охранить себя,* для должного. Для многих[iv]. Этот разрыв ты переживешь легко, как прежние. Только теперь уже не сотворится для мира "необычайный, никогда так не написанный роман-трагедия". Его погубила — ты! его пожрет огонь. Я сожгу мои письма, ты их обязана мне вернуть. Ты сожги свои. Заклинаю тебя — сожги[v]. Не вынуждай меня на непростительные меры, я за себя не поручусь... я хочу все стереть, без остатка. Сегодня же я посылаю тебе все твои рисунки. И твой автопортрет. Мне — боль это и злое напоминание о моем преступлении: так гадко обмануться! Ты — да, да, да! — ты — именно злая гололедь! Темная сила владеет тобой — тобой творит зло в мире. Ты много его посеяла. И еще

---

[i] Помета О. А. Бредиус-Субботиной: Нельзя еще и за доктора говорить и на него наворачивать небылицу.

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета красным: !

[iii] Помета О. А. Бредиус-Субботиной: грешно передергивать. Следовало бы вспомнить все хорошенько! О героине «Путей Небесных» писалось массу и самого высокого. Пушкин же мой светоч.

[iv] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной.

[v] Выделено О. А. Бредиус-Субботиной черным, ее помета: «осведомителям» куда как этого хотелось. Пусть торжествует, добилась своего сия «светлая» личность.

посеешь. Но это уже — последний посев... он скоро прервется. Я так отравлен тобою, что если бы было там... — я бы и там не узнал тебя. Я вытравлю все из души, что связано с тобой. Вот, как ты меня разожгла, как отравила *злом*[i]. А я никогда не бывал таким. Ни-когда! Клянусь! Теперь — пока я не охладился — я готов на самое ужасное. Без сожаленья, без оглядки[ii]. Я не могу уже обратиться к Господу, молиться... ты меня так изранила и истравила, что я должно быть уже не оправлюсь. Ты убила меня, скверня святое мое, во мне...

Избавь меня от твоих денег. Телеграфируй К[сении] Л[ьвовне] распоряжение. Эти твои — понадобятся для авторитета — "забавки". Он лишний раз войдет в наигранный и бездарный оперный раж и схватит твою руку, а ты вспыхнешь и задрожишь от счастья. Избавь. Эта К[сения] Л[ьвовна] до сих пор не зашла, а уже акт кончается. Я хотел с ней послать нужное для тебя, но теперь бесцельно. Не посылай мне ничего, кроме моих писем, — верну. С Pavois сам сделаюсь. А вырученные деньги за книги — если продадут — отдай кому захочешь; я не приму. Теперь меня давят, попадающееся на глаза из твоей р у х л я д и[iii] и вещей... каак от них избавиться?.. Все твое причиняет мне боль и стыд: Ксению Львовну я не хочу мешать в это, а то бы послал твои фотографии.

И. Ш.»[ii]

Письма от 26 окт. подкрепляют еще более все уже высказанное в от 21 окт. Подчеркнутое мною красным повелевает мне замкнуть в себе все, решительно все, касающееся моей личности, области чувств, состояний физических и душевных, всего того, что относится к невесомому* в жизни и что берется на веру, сердцем другого. Но, замыкаясь о себе, я считаю должным осветить простые факты, которые можно всегда проверить и увидать несостоятельность *всего* по ним построения. В письме от 26-го: «сейчас узнал, Жукович — жид». И вот справка о сем: Константин Тарасович Жукович — сын исконно-русской, православной семьи, воспитанник кадетского корпуса. Офицер первой Великой войны и затем Белого движения. Инвалид военный на 75%. Его супруга, Вера Ипполитовна, дочь городского головы киевского. Говорить о величине таланта не буду. Те, кто его слыхали, знают размер этого Божия дара, а те, кому хочется

---

[i] Подчеркнуто и выделено О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[iii] Подчеркивание и разрядка О. А. Бредиус-Субботиной.

* не поддающемуся учету.

замарать, всегда это постараются сделать тем или иным путем. К еврейству он имеет только одно очень сильное касательство — его жидоненавистничество, на мой взгляд, сильно преувеличенное. В мою бытность в Париже я именно и добывала справку о том, что донос, сделанный на него евреем — суть гнусная клевета*. «Осведомители» же парижские давали сознательно ложную справку. Следовало бы им сказать, чтобы они, упоенные своим желанием нагадить мне, не опускались бы до самого грязного в человеке, — до клеветы на другого. Им, этим «осведомителям» не следует опасаться никак моего никакого влияния, ибо я ни на что и ни на кого не посягала, несмотря на уверения «насиловании мною авторских прав». Теперь мне не страшна критика и моих прочих знакомых, исходящая из той же вероятно «художественной среды» — как об талантливом скульпторе, якобы «обезьяньем», так и даже о первушинском зяте докторе. Все становится теперь понятным. (Это, возможно, все тот же осведомитель, так страстно желавший моего исчезновения с поля зрения.) Пусть эта личность успокоится. Всему же должна быть и мера. Прошу передать это ей.

О. Б.-С.

516

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.XI.46 9 вечера

Оля, родная...

Да, потому что ты мне родная, несмотря ни на что, — так чувствую. Нельзя насильно вернуть что поблекло, угасло... —

---

* К. Т. Ж[укович], доведенный ложными доносами до крайней нужды, начал работать на фабрике и получил бронхит. Вопрос о концерте подняла мама, от себя прося меня взяться за его устройство, ибо «позор нам русским давать навету губить таких людей». А то, как отнесется голландское «белоризное» общество к моему старанию разоблачить доносчиков, — мне совершенно безразлично. К счастью, профессор все это понял. Что же из боязни слова «коллаборация» давать человека растерзать?

О Ивонине не мое суждение, ибо для сего я слишком мало его знала. Высказала же это мнение со слов когда-то превозносимого, а теперь развенчанного А. Н. Меркулова и со слов когда-то разносимого и теперь превозносимого Вигена. Они, а не я сказали, чтобы я не слишком все к сердцу принимала, т. к. «он просто лодырничает», «теперь надо ухитриться быть безработным» — буквальные слова Нарсесяна.

говорю о тебе — ко мне, — что, может быть и было, как л ю б о в ь, но что, может быть и казалось только тебе любовью... — с этим ничего не поделаешь. И все же непосильно забыть все, сделать бывшее небывшим. Да, и во мне шатнулось... и я все же называю тебя родной.

Я не стану много писать, нет сил. Я хочу сказать только — болея тобой, — найди в себе силу извинить мне то недостойное, что я невольно допустил в письмах к тебе. Меня это давит, терзает. Сказалось наследие предков, пылких, страстных, необработанных культурностью, ее выработкой — «обращаться с людьми». Я остался во многом «первобытным» и непосредственным, как они были, и моя культура оказалась тут бессильной, когда поднялось поддонное. Я же, ведь, первый только в роду, получивший воспитательную полировку. Конечно, и самые простые люди бывают чутки с людьми, что называется «умеют держать себя». Но бывают жизненные положения, бывают характеры, когда отступает воля, когда страстность проявляется безоглядно, дико, до преступления. Очевидно, я из таких, еще не «объезженных». Быстро отвечаю «действием», а потом... горько сокрушаюсь. Теперь я сокрушаюсь, н а й д я себя и в с е сознав. Я не должен был так о т в е ч а т ь, хотя бы и был оскорблен, измотан, убит. Я не совладал с заполыхавшим во мне. И потому говорю: п р о с т и.

Ты видишь, я к т е б е обращаюсь, я не забываю л и ц а, и не забываю также, что пишу... я, я, я. Подписываюсь. Не так, как сделала ты, прислав мне листы, измаранные краской, без обращения, без подписи. И все же я отвечаю.

Теперь я собой почти владею. Я болен, разбит, не нахожу сил писать много. Это же может тянуться без конца — «тяжба». Я ее сокращу.

Я писал непристойно, недостойно. Но я написал много правды. Надо было иначе облечь в слова. Но у меня, в пожаре, не было силы следить за словом.

Беру назад, стираю: о «суконном рыле» — твое суждение обо мне в отношении живописи; о том, что ты «плюнула» на меня — писателя; «обивала пороги»; гадкие слова о твоих цветах, мне посланных на чтение — ! —; сомнения в действительности твоей болезни; о «Богомолье»... — неправильно, что «не по тебе оно», правильно: ты о нем забыла, оно уже не трогает тебя. А я надеялся... Беру назад и — «жида». Мне сболтнули, предположительно... но, верь мне! — тут, как и во всем, не при чем Юля, как ты намекаешь, она н и ч е г о не знает, и на ее вопрос, где акварели, я сказал: убраны, они выцветают так.

Ни-когда, ни единым намеком — !!! — Юля не касалась наших отношений и никогда ни намека, что ей тут что-то неприятно, — всем уцелевшим во мне чистым заверяю. А переводчицу не вижу уже с месяц, у ней болен жених.

Меня раздражило, что ты не удержала в себе, что работаешь над иллюстрированием «Чаши». Беру назад, что «плюнула» в Нее. Это — безумие: она чистая. И — больная моя. Но удержу твое «невеликодушие». Твоя «ложь»... — да, мне иногда казалось иное в тебе «аффектацией», как например написать на обороте «могилки» «сквозь туманец слез». Это — не так. Отку-да это?.. Да, ты не должна была поведывать чужим о «душевном состоянии». После сожжения-то! Ведь тут-то я связан с этим «сожжением». Отсюда — грубое «потащила на базар». Считаю преувеличением «тревогу мою о письмах». Нет, ты на это, безусловно, не способна! Винюсь. Виной во многом не ты только, но и я. «Не молись за меня»... — дико. Это моя невольная неправда. «Хладная душой» — отказалась от этих слов. Ты — бываешь неглубока душевно, скользишь. «Злая гололедь» — всплыла в пылу, «воспоминание». Что ты отдала «Ярмарку» — не мой вымысел. Ты написала: «выпросил». Раз «выпросил» — да, согласилась, значит. Отдала ли... не знаю. Не изменю вывода, что ты изменилась ко мне. Да. Твое «поздравительное» письмо... повторю: смотри мое. Твои полторы строчки... — сухие буквы. Чувства следа нет. Отписка. Остальное — да, «труха», т. е. это серое содержание письма. Да, я много отдал душевного огня... на письма... — не измерить, ско-лько ушло! — в ветер?.. М. б. и не без некоторой пользы, для меня и тебя. Да, у тебя нет выдержки для творчества: ее надо вырабатывать волей. Ты спешишь. Нечего тут обижаться. О «Дариньке» я не выдумал, — но ты выкрикивала это и многое — в одержимости, — помнишь «лес»? — 5 июня. Я мог тоже многое написать в такой же одержимости.

«Рухлядь»..? Тут недоразумение, явное. Это прекрасное старинное русское слово значит: добро, пожитки, скраб, накопленное имущество... — это слово впоследствии заменено — «имущество», «движимость». Владимир Даль, составитель «Словаря» сожалеет о замене[409]. И я — даю тебе слово! — и упомянул это слово в таком смысле. Твое же слово — «утварь», — писала ты! — значит: «драгоценные сосуды», м. б. применено и к мебели: «мебель черного дерева», например — Даль. Нет, твои вещи мне дороги, я в жару обратное крикнул! И твой «плат» в оранжевой кайме — вон он лежит, всегда я на нем пью-ем. Хоть мне и больно.

Ты знаешь мою дикую неистовость... — ты должна все понять. Ты — умна. Талантливо-умна. Я никогда не отнимал от тебя твоих даров.

Ты должна была бы внести много поправок в мои письма. Перебери письма мои за эти 5 месяцев! Чем переполнены они?! ...

Я не могу больше писать. Я изнемог от недуга, от этого месяца... — поверь мне. Нет у меня сил.

Я не питаю к тебе ни вражды, ни зла. Живи, как хочешь, как можешь. Никаких иллюзий я не питаю. Я уже у порога. Одно в заботе — книги... куда и кому они?! ... Я живу думой о «Лете Господнем» — издании и переиздании. И о «Богомолье». Только. Остальное... — гори.

Вот и все. От сердца, все — правда. Я в страдании. Я устал. Господь с тобой.

Ив. Шмелев

517

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.XI.46

Дорогой мой друг!

Письмо твое от 15-го (16-го) утешенье мне, большое утешенье. И ты поймешь это сам. Прилагаю мое[410] от нескольких дней тому назад, которое не решалась отослать, несмотря на его для любого допустимую форму, без притязаний. Из него ты увидишь, как думала я и до твоего письма. Не надо цитат из того, что мне было страшней орудий пытки. Скажу только одно: «туманец слез» — не аффектация. В 1941 году я плакала горько над воспоминанием твоим о «девочке в белой вуали, где запутался листочек ивы», и целый день мне было тогда и сладостно и грустно. Отчего? Бог весть. М. б. оттого, что смерть всегда имеет для меня какой-то необычный, до ужаса пугающий... «шарм». Глупое слово, но иного не подберу. Чем-то фасцинирует[i] смерть меня, оттого-то я до болезни страдала всякий раз при смерти любого из незнакомых мне пациентов клиники. Там все это знали. Моя особенность, — о которой так много в «Заветном лике». О кресте еще: 4 конца, а не 8 — я давала бездумно, не «срисовывая» действительность, а видя только предельно просто, в большом, в целом. Там же

---

[i] Очаровывает (*от нем. faszinieren*).

все просто, там нет земли даже, там нет ничего, кроме березы и этого символа нашего обетования — креста. Так видела душа моя. Вот и все. Бездумно, сердцем. Ты не сердись на меня, что пишу немного, мне очень тяжело и трудно, но никакой обиды нет. М. б. я больна серьезней, чем думала, — никому неясна, загадочна моя болезнь, как и почки. После припадка на другой день после того страшного письма, я не могу оправиться. Нервы сказались на сердце и м. б. куренье, т. к. я до головокружения курила, чтобы свалясь, забыться сном. Теперь бросила. Прошу тебя: успокойся и обратись светло к Богу. Ему неприятно, когда люди так себя убивают. Стараниями доктора вытащить меня из моего состояния (он ничего не знал, увидал как я изменилась, постарела, заболела), удалось ему меня силой — не правдой уговорить поехать к отцу Blanche Peltenburg[411] по поручению, к сожалению отживающему свой век, прекрасному человеку. Там было все, чтобы чуточку отогреть сердце в родной стихии. На это видимо Dr. K[linkenbergh] и рассчитывал. Я убитая, Ваня, чуточку только согрела кончики пальцев закоченевших рук, как путник у костра. И там, и с другими, случайно встретившимися мне людьми искусства, я говорила о «Путях Небесных». Но я не смела действовать, я чувствовала себя нежелательной тебе, противной, не смеющей касаться твоего. В одном магазине уже выставлены «Пути Небесные», в другом хотели выписать от «Павуа». Не хочу наперед загадывать, что м. б. один план относительно их. Dr. K[linkenbergh] сделал все, чтобы вырвать меня из моего угла и поставить в среду «нужных» моему «пути» людей. Конечно, там много мне полезного. И я хочу работать, но надо много сил, здоровья. В Вурдене я предполагаю иметь отдельный домик себе для работы. Это само собой вышло. Мне не кажется, что мой земной путь будет длинный, и потому я тороплюсь. И никого не хочу видеть. В одном издательстве я получила согласие изучить у них в мастерской всю технику печатания иллюстраций. Это очень важно. И я воспользуюсь этим, если смогу. Я старалась по мере сил уходить из дома, быть в деловом кругу, чтобы как-то мочь жить. Я устала и от этого. Потому что все это через силу было. Dr. K[linkenbergh] ничего не знает, он только испугался состояния моего здоровья и раза 2—3 звонил домой, чтобы узнать, что я. Сереже он сказал: «я встревожен за нее, и эта тревога не оставляет меня все это время». Но я постараюсь себя одолеть. Мне только очень, очень трудно. Какой ты вздор выдумал о Ж[уковичах]. Они очень несчастные люди. Вчера от В[еры] И[пполитовны] письмо: «если бы не наш ангел-хранитель — О. А., то мы бы давно по-

гибли». Я не из тщеславия это говорю, а только, чтобы ты видел, что Вера Ипполитовна меня никак не ревнует. Я именно с ней в контакте. Она героически его поддерживает, а то бы он давно кончил с собой. Во Франции никто из вас не может даже себе представить этого кошмара, что сейчас в Голландии. Более несчастных, чем эта чета, я не знаю здесь. Им буквально есть нечего, нет денег на почтовую марку. Ну, довольно. Обнимаю тебя дружески нежно, мой милый Ванечка. Оля

[На полях:] Не тревожься обо мне — ты видишь, я хочу работать. Только бы силы.

Страданье мне думать, что ты болен, душой ли, телом ли. Прошу — побереги себя! Очень прошу!

Господь с тобой.

518

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.XI.46 Воскресенье. У нас хорошо топят, с 1.XI. До +21°. Безумная мечта: тебя увидеть! И — страх, стыд.

Снова пишу тебе, Олюша, — хочу сказать, как я раскаиваюсь в содеянном — безумном моем. И как мне невыносимо стыдно! и как больно. Оля, я в сердце, — поверь же! — никогда не выделял, не отделял себя от тебя. Смотрел на тебя радостно и благоговейно, — поверь мне. Нет для меня людей 2-го сорта, а лишь одно есть различие: «избранность, и потому ответственность редкого меньшинства, и — не получившие признания». Я всегда сознавал и сколько писал тебе: ты — «призвана», и потому ты несешь ответственность. Не пустое это слово, Оля, и нечем тут кичиться и выделять себя. Не сами мы себя избрали: мы лишь по мере сил и воли нашей выполняем назначенное нам. И, естественно, должны хранить себя и дарованное нам в удел и службу, и вот этим-то и ограждать себя от остальных, безответственных в деле служения, чтобы не терять себя, не заматывать в путах жизни, не забывать долга. Только этим, и только из-за этого и можно считать себя — как бы выделенными в особый ряд: по-мни, кто ты, и — для чего. Всегда будь готов на жертву, на отдачу какой-то части твоего существа, во-имя должного. Так именно я и смотрел на тебя с тех пор, как понял, кто ты. И потому мне было всегда больно, когда мне казалось, что ты забываешь — кто ты. Отсюда многие мои «вывихи» и «срывы» в отношении к тебе. Но, понятно, в этом было и личное, «от человека», потому что ты стала

для меня дорога и как женщина, полная прелести душевной и — красоты внешней. Я тут бессилен. И эти две «любви» спутались во мне... — и я запутывался и срывался, до утраты воли и чуткости. Я слишком непосредственно-восприимчив, страстен, еще не выработалось во мне умения подавлять в себе вспышки, легко носить «маску пристойности», прикрывать себя. Я часто обнажаюсь, весь — наружу. Это можно считать «невоспитанностью». Слишком я еще близок к «простоте» моих предков, не знавших, не носивших в своей крови вырабатываемой «полировки» в отношениях с людьми. Это мне много вредило в жизни. Об этом писал тебе.

Ты, повторю, умна, очень умна, и ты чутко понимаешь все. И потому — простишь мне. Я делал тебе больно, как это часто делают от любви. Слишком я сжился с тобой, срастился... — винить ли себя за это?! Делал больно, и сам себе причинял страдание. Если бы могла ты все увидеть, что творилось в моей душе эти месяцы... и как я старался унять себя, — а мысли и чувства горели и жгли меня. Жалел тебя, тайно — от себя даже! — тебя лелея. Ты это понимаешь, Олюночка. Ну, что мне с собой делать?.. когда я так — именно безоглядно... люблю тебя!.. И несмотря на все я не хочу не любить тебя так. Но я совладаю с собой и своей безоглядностью, во-имя тебя.

Прошу тебя — не дурмань же себя куреньем! меня пугает это. Да, и в этом виновен я. Напиши мне, что у тебя с сердцем. А у меня все то же, — вчера было полегче, а сегодня с утра опять этот ужасный зуд. Терплю... м. б. и минует, от нового лечения. Как наперсток исколот я всякими уколами, а завтра начнутся новые, — мышьяк и стрихнин с гормонами. Лишь завершив предписанное Крым, покажусь гомеопату-радиостезисту, по настоятельному совету моей читательницы кн. Трубецкой[412]. Она же тщится найти издателя для всего «Лета Господня». И, кажется, нашла... — что-то выйдет? Русское издательское дело в хаосе и, кажется, под контролем советчиков. Я — вне их ожиданий.

Теперь — о стихах. Прочитав трижды новую — в машинописи — книгу И. А. — «О тьме и просветлении», я написал ему...[413] Он очень меня выделил. Я не мог, конечно, не отозваться, как бы ни была беспристрастна оценка моего дела да еще при таком новом и точнейшем методе эстетической критики, который применил к писателям И. А. Он мне шутливо писал: «за что же, не боясь греха, Ванюшка хвалит Ванюха?.. за то, что хвалит он Ванюшку?! ...»[414] Я ответил ему стихами[415] —

КУДА?.. ЗАЧЕМ?..

Вы не петух, я не кукушка,
Я не «хвалю», а — видит Бог —
По совести скажу на ушко:
И н о г о б я сказать не мог.
Мои я знаю недостатки,
Надеюсь, знаете и вы:
Они видны в моей ухватке,
Они родня моей м о л в ы.
«Молвы» — сказал я н е нароком:
Я говорил за стольких лиц!..
Не назову ж сего пороком
И не склонюсь смущенно ниц.
Я пылок, скор, кипуч, мятежен,
Порой уныл, порой речист,
Но сердцем радостен и нежен,
Но в чувствах искренен и чист.
Задорен, буен, своенравен, —
От дедов принял этот склад,
Я простотой всегда им равен,
Я весь от них, их строй и лад.
Я не склонялся пред неправдой,
Как и они, вредя себе:
Я жил, сколь мог, простой их правдой
И буду верен их судьбе.
Богатств текучих не оставлю,
Как и они: я — капитал.
Их имя доброе восславлю,
Оставлю — что от них впитал.
Как и они, — нелицемерен,
Как и они, — не очень глуп,
Привязчив, ласков, легковерен,
К соблазнам жизни, право, туп.
Мои пороки — их пороки,
Большие ль, малые... — Бог весть,
Но жизнь дала-таки уроки, —
И можно смело все зачесть.
Вы не петух, я не кукушка,
Мы с вами в дышле, тянем воз.
Куда?.. зачем сия и г р у ш к а,
Пред настоящим..? — вот вопрос.
Куда?.. зачем?.. — а кто [ж]е знает!..
Должно быть, е с т ь — з а т е м, т у д а...
Зачем снежок на солнце тает,
Летит падучая звезда?

Зачем румяная порфира
Сияет в небе в час зари,
Объемлет целые полмира
И зажигает янтари?
Зачем безгнездая кукушка
Птенцам не собирает пух?
Зачем в луче играет мушка,
И мерит криком ночь петух?..
Зачем, куда... — никто не знает.
Ответ на все, конечно, есть,
Но разум наш не постигает,
Не в силах Божью Сеть расплесть.
И мы не властны — наша доля —
Покинуть жгучее ярмо.
Такая, видно, Божья Воля:
Тяни... хоть все кругом — д...мо*.
Ну, что ж... и по д...му потянем,
Таков уж, видно, выпал путь...
Авось с д...ма кого и стянем, -
И доплетемся как-нибудь.
Ударит час — и Бог уставит:
Велит архангелам отпрячь,
И те по стойлам нас поставят,
Ярмо свалившим с пары кляч.
Те стойла — не земные стены,
Там все отверсто, все — ответ;
Там ни измены, ни подмены,
Там верный лад и Вечный Свет,
Высокий Смысл, «покой и воля»...
И там поймем — куда... зачем...
Увидим пройденное поле,
Зачем мы сеяли и — чем.
Познаем Мысль и Цель Творенья,
Постигнем: не напрасно мы
Прошли круженья и крушенья,
И воскресение из тьмы.
Вольемся в Свет Преображенья,
Познаем радость вечно быть,
С Творцом в блаженном вдохновенье,
Творить, и славить, и любить.

Ив. Шмелев

Октябрь, 1946, Париж

---

* (от слова «драть»). Подлинное значение: то, что ободрано и брошено на свалку.

Вот, дорогая Оля, поделился с тобой душой. Как же с тобой не поделиться, дружок-дружка?! Я счастлив, что снова нашел тебя, понял глубже, и теперь уж не потеряю. Темное мое сгорело, меня сжигая. Светом в обоих нас связаны мы — для Света. По мере сил. Жить горящим воображением, видеть им сокровенные образы и взывать их к Жизни, ими наполнять Жизнь — вот общий наш Свет. Пребудем же в нем, ласковые и чуткие. Оля, чем мне тебя уверить, что я знаю тебя и узнаЮ тебя, что мы назначены?! ... Неужели ты можешь чувствовать, что я праздно играю тобой — забавкой?! Я верю в тебя, как в себя. Я тебя тонко чувствую. А мой бред-безумство, за что я так плачусь, выстрадывая тебя, — от дикаря-мужика, мой жалкий пережиток, мое «через край», доселе дивящее меня. Эта дикая страстность, этот ужас — тебя утратить... все это бунтовало во мне, мне же наперекор. Не моя выдумка, — это вписано в исторических актах, — как прапрадед мой[416], — я писал тебе! — забыв все, в пылу и власти безумного рвения за веру, схватил за бороду протопопа Успенского собора, в присутствии царевны Софьи, и по ее приказу смутьяны были разогнаны батогами. Та же страстность заставила прадеда моего выслеживать и убивать французов, бросить жену с двумя малолетками[417] — прабабушку Устинью — и стать разбойником, с кистенем и топором, таиться по оврагам на Воробьевых горах. Восхищаюсь ли? Нет: принимаю, как естество. Я, конечно, во многом, совсем другой; но порой вспыхивает это, при всей моей мягкости сердечной. Ты поймешь — и простишь меня. Да, я безмерно тебя люблю... душу твою люблю, страстность твою люблю. Родовое твое люблю, оно — мое. Много мы выстрадали — и предками нашими, и — нашей жизнью. Богат наш душевный опыт, часто несознаваемый. Мы — полны им, и потому мы одарены. И потому нам назначено — делиться с другими нашим.

Только бы ты была здорова, моя голубка: только бы окрепла, нежная. Как я тобой любуюсь сейчас! Вдруг разыскалась, в ворохе бумаг, забытая в моих болях, твоя маленькая карточка, данная мне тобой в твой приезд. «Головка» — вся картоночка, чуть побольше вершка. Головка чуть склонилась направо. Ты непередаваемо прелестна, прекрасна, дивная, светишься лаской и ясностью. Я отдам увеличить. Посоветуй раму: темно-оливковую, глубокую, да?.. Ты удивительно похожа! живая Ольга. О, как прелестна ты, светик!.. не нагляжусь. И ты, и новая-ты... — вдруг увидел!

Что у тебя с сердцем, напиши, прошу. Оля... как я чувствовал тебя во сне..! это было под 21 ноября ночью. Ты вдох-

нула себя в меня... и сама назвала себя — «твоя Ольгуна». Писал тебе. А вечером, около 9, в пятницу, 22, я вдруг поверил, что ты сейчас должна приехать... уже пришел поезд «Этуаль дю Нор». Так сладостно — и в страхе — забилось сердце... Оля, найди силу понять меня и простить безумие. Все, все — беру назад, все снимаю с тебя, чем оскорбил так пьяно! Так обезумевшие кощунники надрывно падают в бездну греха, как одержимые. Этот бунт сдерживался во мне с июня... с той моей депеши... и все же — вырвался!.. Ты проследишь по письмам, что это правда. Я страшно ранил тебя. Но я и себя изранил. ПлачУсь. Чем еще смягчу непотребство мое? Болезнью разве, так меня измочалившей. Непостижимое что-то... ни-что не помогает. Нервы? Вчера, как уже писал, с 4 ч. — совсем не было зуда... утром сегодня — опять... Уповаю, что укрепляющее лечение поможет. 3-й окулист, — еврейка Бронштейн[418] — сказала, что «нет, у вас был не рожистый воспал, а зона: сужу по тому, что процесс точно локализовался... ровно половина лба и носа». Надо терпеть.

Мы, Олюночка, сами должны отредактировать нашу переписку. Создастся небывалый роман, огромной художественности, опыта, за-хвата. Должны решить, что оставить, что закрыть, и определить сроки будущего опубликования. Это должно остаться. И определить — цель. Этот роман будет переведен на все языки и даст миллионы... Мы назначим — цель, достойнейшую.

Мы обсудим и вопрос о «Чаше», твоей «Чаше». Я не смею мечтать, что мы свидимся... мне страшно будет взглянуть в глаза тебе. И мечтаю, мечтаю.

Господи, как я мог (!?) оскорблять тебя?! ... Не постигаю.

Целую так нежно, так благоговейно твой ясный лобик, прекрасная Ольга. Целую тебя, охолодавшая моя птичка. Как я чуток теперь к тебе, как чист, думая о тебе, истомленная голубка...

Твой — прости же! — Ваня

Жить, без тебя... — непостижимо, гибель. Как замирает сердце... как все льется...

Как тоскую, безумец, без твоих картинок... Ножки твои целую, недостойный... о, как боготворю тебя, Ольгуличка... — как вызываю тебя!.. —

Оля, не хлопочи ни о чем моем, — молю Господа вернуть тебе ясность, радостность... осветить тебя светом, обвеять покоем душевным, укрепить здоровье. Не кури, — я хочу и не могу отстать, а это яд мне.

Как я одинок... был!.. все толкало — уйти. Ночи без сна, мысли... самосжигание.

Крещу тебя, Оля. Благослови меня, помолись, — и я почувствую тебя.

Еще месяц — и солнце пойдет на лето. Эти долгие ночи... октябрь страшный!.. — ад был.

Ва

519

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.XI.46[i]

Олюша, родная моя девочка, прости окаянного безумца и не поминай больше. Не было ни-чего! Мой «сон» небывшее. Я не отвечал за себя, как бредовой. Навертел себя. А ты все держишь... Хочу приласкать тебя, тихий. Мне надо собрать себя для работы. Ну, хоть чуть приласкай... я же не могу без твоего шепота-тепла, мне холодно и одиноко.

Что с мамой?.. ничего не знаю. Напиши. Меня очень ударило твое хладное, будничное — ко Дню ангела. Я вывел отсюда страшное... Лучше бы ты ни слова не писала.

Буду краток, спешу послать. Оставим Кандрейю, что я поделаю. Конечно, исковеркала и Чехова, и меня. Верю тебе, ты чутка. Господи, когда пошлешь мастера чуткого, переводчика?! ... «Чаша» твоя, я все оформлю. Никто прав на нее не имеет, а тебе — даю. Верю, люблю тебя, ты все поняла. В ней. Если бы дать ее в лучшем переводе! Все ломают ее, ломали. Меня несравненно трудней переводить чем Ч[ехова]. Увидишь из Ильина. Послал сегодня часть его книги — только о Шмелеве. Прочтешь — верни сохранно. Метод его ты знаешь по «Основам художества»[419], есть у тебя.

«Евгения Онегина» — вышлю в понедельник. Была у меня верная читательница — ско-лько их! — княжна Трубецкая, которая, кажется нашла издателя — большого — для русского «Лета Господня» — кажется на обе части в одном томе. Нашла и доктора, но я пока закончил уколы. Говорила, что А. Н. Бенуа[420] — ему 76 лет, — сказал ей: «хочу познакомиться со Ш[мелевым], сведите меня к нему». Я сказал — сам побываю, он старше меня. У него, говорят, удивительные акварели Петербурга! Мне нужно, для тебя. Если тебя добрым ветром примчит в Париж, мы вместе сходим, и ты зорко все увидишь.

---

[i] В оригинале описка: 37.XI.46.

Княжна в восхищении от его работ. Я — неуч, ничего не знаю. Вопрос об издании решится недели через две, м. б. и не выйдет ничего, зависит от Комитета, а там могут быть «враги». Хочет издавать и Гукасов[421]. Я выжидаю. Не решаюсь. Если первое издательство — у него аппарат огромный, поведет и в Америку и в «зоны». Везде доступ. И как раз издательство получило отличную бумагу из Швеции.

Пишут мне из Мюнхена. Земмеринги — там тоже издательства, русские, хотят... но — я спрашиваю — чьи деньги. А там новый массовый читатель, и меня знают, очень. Разыскались чудом две моих книжки, одна с моей подписью, датировано 37 г., Ужгород. Кому-то надписал, и книга оказалась — рэфюжье[i]. «Свет Разума». Другая — «Про одну старуху». Но там, очевидно, на американские деньги, и — «политика». Просят для «сборника». Я отказал. Я — вне политики.

Эмерик чертова много врет, до сих пор нет контракта о «Чаше»! Плетет что-то. Я отказал Женеве из-за нее. Уверяет — бу-дет!

Ходят слухи о свободной, не «подваиванья» от советчины! — газете[422]. Ждем. Меня запрашивали... — увидим. Уверен, что Ильин заплюется на Кандрейю. Вчера только послал ему «Чехова». До-садно... а критика отличная!.. Ну, наси стараются. Они все так, гниль сбывают, возносят. Ах, если бы эта талантливая переводчица смогла — «Чашу», или «Пути»! не уповаю. Хотя если Ольгуна... — она все может. Так верю.

Оль, я тебя прошу — забудь, знай же твоего сумасшедшего В.! Ну, что я выкидываю, себе противен. Будь всегда свободна, я не посягаю на твою мысль, но договаривай ее. Хотя лучше совсем к черту все о политике, Церкви... У нас — наше, вечное. Ты все можешь. Ты все преодолеешь. Только бы была сильна, здорова. Молюсь о тебе, сколь есть веры и воли. Как скучаю без тебя!.. Как ты нужна мне!.. я так ограблен жизнью, так мне тепла хочется... я все в работе, мыслях... все забываю... но хочется ласкового слова... я одинок. До удушья.

Голубка моя... не посылай мне ничего, не разбивайся для других на куски, у тебя — свое, большое. Только бы мне приняться за «Пути»! Новое есть, о Женщине в Мире... это — надо. Теперь действие должно пойти стремительно. Я хочу кончить. Оля, я люблю тебя очень чисто, нежно, — не найду слов... до немоты люблю... только видеть! Отдал увеличить твою чудесную «головку». Ты не знаешь, кто ты для меня. Не могу, не хочу без тебя жить... не буду. Да

---

[i] Беженка (*от фр. réfugié*).

и жить-то... осталось..! Тянут читать для молодежи... — нет, не буду. Это — толчок для «язвы». Она затихла больше недели. Я с глазом все томлюсь, но кокаиновая мазь утишает. Это — з о н А у меня, она — здесь теперь очень распространена. Никакого «рожистого воспаления» не было! Крым ошиблась. А «зонА»! И нет на нее у медиков управы. Старая болезнь, есть в витраже Шартрского собора изображение ее. Она всегда точно локализуется. У меня ро-вно правая верхняя часть лба, носа, висок, все вокруг глаза — он разбальчивается и кипит в этой поганке-зуде! веки иной раз — вырвал бы!.. Вот тут и владей собой! 8-ой месяц! Какая пытка!.. Ну, я пересиливаю, занимаюсь делами. Масса писем, рвут. Все новые читатели... — тьма их у меня. Особенно приятно, что «весь петербуржец» и визионист Бенуа почувствовал потребность в «москвиче». Что ему во мне пришлось по душе — не знаю, мы слишком разны. Но ведь и Бальмонт — другой, а... и Милюков-сушка[423] оказывается был по-читателем Шмелева... Значит, есть во мне — обще-русское..? о б щ е — нужное..? ... Но — ты прочтешь Ильина — увидишь... — меня т р у д н о иному взять в душу. Но язык мой — с л ы ш а т... м у з ы к у его. Вот, Метнер...[424] услыхал «песню» няньки... 3-й раз читал ее. Чувствуют и художники...

Ах, Оля, да это все — малое: большое: работа и... ты. Только. Поверь. Я взял всю тебя в сердце, не оторву. Только бы ты тиха была, чуть приласкала твоего — да?.. — Ванятку...

Оля, лечись, исследуйся... лежи больше, забудь в с е . Перед Богом говорю — болею тобой. Люблю нежно и светло, ценю тебя, — в е р ю в тебя. Ты — чудесная женщина, из чудесных! Для меня ты — необходима... прости, так пишу... но и я тебе ну-жен!.. ты еще далеко не исчерпала меня. Ты можешь мно-го узнать — для тебя же, для п у т и... прости мое буйство, оно от ж а р а во мне... все не угасающего. Ты для меня — чудесно-сложна. Я пью тебя, доброе вино, порой так... пьянящее!.. но — больше — освещающее многое... ты даешь и с к р у. Ты зажигаешь... ты к р у ж и ш ь сладко. Но ты, душа твоя, мне твой душевный аромат дорог... т е п л о и нежность, тихая твоя п е с н я... Не правлю... спешу. Целую нежно и братски, и любовно чисто. Ну, сознайся... разве Тонька не дает намека на будущее твоего мучителя и молящегося на тебя?.. Ты — светлая сила. Оля, ты с д е л а е ш ь твое дело жизни... верю! Ты чаруешь и очаруешь... Но надо работать. Так хочу, чтобы ты говорила с Бенуа, видела его. Только для этого и пойду сам к нему. Это чудесная пара, он и его старушка — по словам кн. Трубецкой. И Трубецкая очень тебе понравится, так она заботлива о твоем В. Да она ли только!..

Ну, душу нежно, целую... о, какой дивный рот у тебя!.. вся ты... — ночью вызову тебя и весь немею...

Твой Ванятка

Пиши мне, но не о бывшем — не бывшем. Я весь живу тобой — только тобой — И. Ш. — Ваня

520

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.XII.46

Дорогой мой Ванюша!

Как твой глаз? Как сказываются новые шприцы?[i] Мне очень досадно, что ты не провел как полагается лечение гомеопатией Dr. Wonters'a. Нельзя было путать другие средства во время этого курса. Ты же глотал всякую всячину. Теперь ты собираешься к гомеопату кн. Трубецкой, — почему-то к этому больше доверия. А Dr. Wonters поистине чудеса делает. Не говорю уже о себе (только он ведь и помог мне) и о маме, которая годы страдала болями во лбу над глазом, а он исцелил, — но масса людей только ему и верит. Правда, надо точно принимать, как он велит. Теперь в Arnhem'e в газетах появились объявления о том, что он прекратил пока прием новых пациентов. Его буквально каждая собака там знает. Ну, дело твое. О том, что у тебя было не рожистое воспаление я тебе сразу же писала, передавая мнение Dr. Klinkenbergh'a. Тот сразу мне сказал: «какой вздор, это никогда не [1 сл. нрзб.]». Ты никакого внимания на это не обратил. А я поверила твоему безапелляционному утверждению. Я не вполне доверяю M-lle Krymm. У меня самое мое первое впечатление от нее было не очень приятное, но поддаваясь твоим словам, я как-то забыла это первое впечатление. А оно-то у меня всегда бывает самое верное. Каким-то чутьем я с первого взгляда в душе определяю человека, даже не сознательно. И это никогда меня не обманывало. Часто последующие впечатления затушевывали первое, и я начинала верить, что люди не такие, как я сперва подумала, а потом приходил непременно момент, когда я уверялась, что именно вначале я была права. Ну, будет о себе. Как у тебя с «Путями Небесными»? Мне интересно, выписал ли их наш магазин один? У меня есть большой план. Боюсь заранее говорить, но я все уже подготовила. Кажется, я вхожу в очень серьезные художественные круги. И я жду от этого

---

[i] Здесь: уколы (*от нем. Spritze*).

многого. Dr Klinkenbergh давно все хотел меня вытолкнуть из Schalwijk'ского угла к таким людям. Я жду теперь ответа на мое письмо одной замечательной дамы. На днях меня спрашивала иллюстраторша о моих этюдах, просила принести или прислать их ей. В типографии согласились меня посвятить во все тонкости технической стороны дела. Это очень интересно, т. к. тогда я буду знать, как можно, как и дешевле. У меня все переделалось в голове, все должно быть иначе. Вижу совсем иное. Но я знаю, что долго м. б. не буду готова к иллюстрированию твоего. Я знаю, как это трудно. Я буду учиться на своем. Если и испорчу, так свое. Писать мне надо скоро. Каждый день дорог. Не хочу приезда Ксении Львовны. Она машинку все равно не привезет — она неженка, ей тяжести таскать страшно. Это я таскаю, сколько бы ни весило, а такие не будут. Буду писать рукой. Все равно. Некоторые вещи на латинской машинке можно, т. к. буду по-немецки тоже, но после.

Мне хочется всем с тобой поделиться, т. к. я ничего не скрываю от тебя, — и очень трудно молчать о всех моих планах в работе. Но я пока молчу, повыжду, как все пойдет. Я поделюсь пока иным. Не сердись, тут все совершенно чисто, чище нельзя. Ты знаешь, после того, как ты приглушил меня, я как бы без чувств, без памяти жила. Концерт, слава Богу, тогда отпал — писала, а потом заголодавшийся Жукович работал на фабрике, простудился и получил кашель. Я рада была, что все это отпадало. Но однажды, когда мама была в Гааге в церкви и зашла к ним, то выяснилось, что они совершенно погибают, что он безумно раскаивается, зачем не пел в частной квартире, понадеясь на хлопоты каких-то выскочек. Маму они даже не рисковали просить похлопотать у меня о выступлении, да она им и сказала, что я очень устала. Через несколько дней вдруг телефон из Гааги (очень дорогое соединение теперь из этих городов) — сам Ж[укович] умоляет, нельзя ли хоть что-нибудь придумать. Не может ли он приехать поговорить. На другой день явился (как череп стало лицо), а у меня никакой-то охоты, так и приготовилась сказать, что не могу пока. Письмо от его жены, всегда такой сдержанной, без всяких прошений, а тут пишет, что он совсем пришиблен, что боится за его возможность вообще потом выступать. Я как на крест шла на эти переговоры, ты убил меня ведь тогда, и мне никого не хотелось видеть, да еще как раз из-за этих людей все вышло, пусть и ложно, но ты так прокалил все письмо этим именем. Мама меня тоже просила помочь им устроить, а он сам-то, когда приехал, просил еще попытаться хоть что-нибудь узнать о разрешении на жительство им в Голландии... Ну, я обещала

съездить к одному «родственнику» голландскому[425], очень симпатичному, тому самому, что выписал маму и С. «не в пример прочим», он старый, заслуженный член правительства. На другое утро я была там (т. к. в этом не могла, не поднялся язык отказать), а этот родственник меня спрашивает: «а ты не думала ему закрытый концерт устроить?» Ну, пошли разговоры. Я сказала, что расходов много, а приход? Он мне тут же дает для начала 100 гульденов и ставит условием: хороший зал и первокласный пианист. Он и его дочь, оказывается, его раньше уже по турне слыхали и были в восторге. Тогда я собралась, наконец, побывать у моей приятельницы, что хотела зал свой дать, впервые после разговоров о зале. Та невероятно живо ухватилась за это и послала сына тотчас же узнать, сколько стоит зал в городском театре. Оказалось 75 гульденов, и зал свободен только один вечер, 30 ноября, а там до февраля расписан. Остается недели 2. «Брать!» — говорят мои знакомые и сама хозяйка выкладывает на стол 25 — гульденов, а остальные, говорит, заплотит, наверное, Фася и ты. Так и было. Зал был оплочен. Мне показалось, что каким-то ветром несет этот концерт, что мне преступно тормозить. Я молилась вечером, как и всегда, о тебе и сказала: «Ваня, ты так неправ, ты узнаешь это, душой узнаешь. Я помогу тонущим, и ты, Ваня, улыбнешься мне, потому что ты добрый!» И все еще я ничего не делала.

Мне было невероятно тяжело от тебя, я никого не хотела видеть. А тут, хлопочи! Долго я страдала, Ваня, до невероятных мук. Ничего я не чувствовала за собой, никакой вины, обида была слабым чувством, по сравнению с горечью утраты всего светлого. Ты понимаешь, как мучительно было мне это испытание взяться именно за Жуковичей. «Дядюшка» (как я его мысленно зову) ездил сам к министру хлопотать о разрешении им на жительство и вечером же сообщил, по телефону, что наотрез отказано. И тут же сказал: «я сделаю все от меня зависящее, чтобы хоть материально его поддержать, моя дочь будет продавать билеты на концерт». И вот пошло. Концерт м. б. только закрытый. Значит все по приглашениям. Когда я по поручению Klinkenbergh'а была у его друга (старика, прожившего свою жизнь в России), то сразу увидала в нем большого друга русских. Обратилась к нему. И так пошло. Одна я напродавала билетов на 312 гульденов, да другие дамы, да «дядюшка» и вот за 2 недели все сделали. Когда ты написал мне, — с меня свалился камень, и я могла видеть людей, а когда ты приласкал меня, — я стала снова человеком. У меня появилась энергия, и стала соображать, что надо. Составила приглашения, программы, отдала напечатать. Добыла все разрешения на

концерт (хоть и закрытый, а надо), обойдя все рифы, сумела даже не назвать имя певца, а сказала только, что это мое личное дело снять зал для друзей любителей музыки. Была в консерватории, пригласила и профессора с женой, пригласили из разных музыкальных школ. А голландский «дядюшка» назвал аристократию и нужных лиц. Готовили как бы экзамен певцу, чтобы его ради художественных качеств могли оставить, чтобы заинтересовать им музыкальные круги. После отказа в жительстве (они остаются в стране на положении подсудимых) ни у кого не хватило сил нанести им этот удар просто по почте. Сережа поехал лично сказать. Реакция была самая ужасная. Бедная Вера Ипполитовна была в отчаянии, что он не сможет петь, а он и не мог. Рыдал, как ребенок у Сережи. И вот после этого-то мы все приложили старания созвать лучших людей, чтобы были у него ходатаи. Хотя не верю в толк — министр, личный знакомый «дядюшки» отказал совершенно наотрез, т. к. они никаких новых иностранцев не оставляют. Еще с Сережей что будет? С концертом шло все очень удачно. Всем очень понравились билеты в форме приглашений, они были сделаны с большим вкусом. Никаких рисований! Мама писала им бодрящие письма, слали еду, т. к. они форменно голодают, умоляла мама его отойти душой и развернуться, дать всю мощь свою, указывая, что слушать его будут первоклассные знатоки, что м. б. это его вытащит. Его, убитого, это не бодрило, а пугало, ставило как бы перед задачей «показать себя», а на это видимо не было сил. Стали бояться, что все сорвется из-за его состояния. (А он из Белой войны (от пыток) инвалид на 75% — сердце не годится). Я уже этого не касалась, а только устраивала концерт. Поразительно отозвались голландцы — до того даже, что писали мне бодрящие слова: «нам радостно помогать тебе в твоем прекрасном начинании» и т. п.). Собрали за 600 гульденов. За вычетом расходов он с пианистом получил 485,59 центов. Надо было обо всем подумать и всем дать должное место. Зал (малый зал театра) был на 275 человек. На грех пошел дождик, но все равно пришли почти все, и зал казался полным. Меня заставили объяснять русские тексты. Нет, я не «дрожала», как ты бранился. Я была совершенно спокойна и оба они — и пианист и певец — не могли на меня надивиться. Я и людей проводила, т. к. почти все «важные»-то были мои приглашенные, следила за светом в зале, выпускала артистов (пианист был современный композитор тоже, русский из Бельгии)[426], следила за точным началом, за подношением цветов (они не от меня были, — несколько было букетов), за продажей программ (продавали 2 девочки), получала

еще кассу других дам и давала отчет контролеру-шпиону от полиции. И Жукович и пианист перед выходом истово молились у себя в комнатке (я сидела в углу, в кабинке для световых эффектов, не с ними), — я видела это мельком, и видела образ потом. В первом отделении мне почти не надо было говорить. Ж[укович] пел прекрасно, несмотря на отчаянную акустику зала и его, начавшееся в тот вечер, воспаление уха. Но волновался он ужасно. Перед моим выходом с объяснениями пианист (очень спокойный, тихий человек) спросил: «О. А., а как Вы... не сробеете?» А я, признаться, и забыла сробеть-то. Жукович насторожился и тоже: «м. б. Вы толпы не вынесете?» «Какие глупости, успокойтесь, я выступала раньше в любительском театре». Я сама перевела наши русские песни, сохраняя размер и стиль, порой даже рифму. «Христос Воскресе» Рахманинова[427] и сказала так «Christus is opgeshaan» — in't russisch (по-русски) — Христос Воскресе! И так это у меня как-то само вышло, что я сама вздрогнула и почувствовала, как с залом связала себя. Кончив, я тотчас отступила к конурке и слышала порыв всплесков, но сорвавшихся аплодисментов, т. к. пианист дал аккорд. Каждый раз я чувствовала эти всплески, а когда вышла с последней вещью «Ария Кончака» из «Игоря», то меня покрыл гром рукоплесканий. После концерта на лестнице какие-то дамы на ломаном русском языке вопили (не по-голландски страстно) «карашо, префасходно!»

Некоторые дамы, сидящие за мамой, спрашивали: «кто эта дама, кто она?» (про меня), и кто-то объяснял: «а вот перед Вами дама, так это дочь ее, она, мы слышали, говорила ей "мама"». Мама слышала, как одна старушка говорила: «нет, как можно быть так классически одетой». На мне было строгое черное бархатное платье с огромных тончайших кружев (белых) воротником, как на старинных портретах Рембрандта. С только одним украшением — бриллиантовая брошь. Волосы не от парикмахера, а вольно расчесанные, длинные, почти до плеч. Это было правда очень стильно. В артистическую ломились люди, сановники, директора, дирижеры, и много других. Меня уловили тоже, и я вырвалась только когда уже подали автомобиль. Но не ревнуй — ни одного мужчины! Успех был полный. Вчера приехали они к нам, а также (прямо с концерта) Беатрис, и ей тоже хотела помочь устроиться. И вчера дома еще играл свои композиции (чудесные) пианист, а потом Беатрис танцевала по-настоящему, в костюме. Она прелестна. Очаровательна. И... «Божию милостью» талант редчайший. Голод и нужда крайняя заткнули ее на кухню. Что-нибудь надо выдумать для нее. М. б. удастся. С этим концертом я сдела-

ла много полезных знакомств и для себя. Моя (невольная) декламация обратила на меня внимание некоторых. Сегодня уже телефоны были. Кто-то хочет иметь адрес Жуковичей, чтобы им помочь, чем можно. Другой спрашивает, когда будет следующий концерт, Dr. Noert, мой сердечный специалист, нарочно, чтобы только поблагодарить за такой вечер и сказать, что оправа этому концерту была дама с величайшим вкусом «и вот общее мнение всего зала — отличный перевод-декламация!» Вера Ипполитовна со слезами мне сказала: «ни один агент-импрессарио так бы не сделал, как бы хорошо было напечатать Ваш текст для Костиных выступлений». Она довольно хорошо знает голландский язык. Мамочка моя поцеловала мне руку в благодарность, что ради нее начала и так кончила. «Я тобой горжусь», — шепнула. Я не могу тебе этого не написать. И я верю, что теперь ты увидишь все так, как есть. Мне не фимиамы нужны. Я о них «честное слово!» забыла даже. Я убитая была первые дни хлопот, а потом — некогда было о себе-то подумать. Вот говорю тебе — у парикмахера даже не была. После последней вещи я ушла в зал и слушала его «bis» уже оттуда. Не была при триумфе в артистической, при том, как его поздравляла жена. Увидались мы только после, когда оба они стояли в толпе одетые. Оба они были со слезами на глазах, хотели, чтобы я взяла цветы себе, но я ни за что этого не сделала. Отвезли их в отель, а сами поехали потом домой. Перед тем мне еще делали овации в доме зубного врача, где у меня были вещи оставлены и я еще заехала туда. Там тоже аплодисменты всей семьи. А «дядюшка» сказал: «этот зал полный почти — ты довольна?» — «Конечно». — «Так вот — это ты сколдовала его, без афиш и с запретом на певце!» Ко мне были подведены им какие-то еще именитые господа и дамы, представлены и под конец была приглашена в очень аристократичный дом. Пусть, пусть, мне это очень надо. Мой план с твоим это как раз должен иметь. Начинать надо сразу и с высокой ноты. Эти люди могут мне сразу же и легко во многом помочь, дать ходы, возможности. Я уже у многих сейчас желанная гостья. Иллюстраторша тоже как-то заинтересована, просила прийти с рисунками к ней. Мне совершенно невозможно тратить время. Две недели ровно я выбросила на Жуковичей, но это последнее, что я растратила. Ты не сердись, что я так много об этом, но ты должен знать все, как это было, иначе начнешь еще опять бранить. Я тебе совсем честно говорю: «мне было как-то забавно, что нежданно и я получила одобрение зала, но я нисколько не возгордилась». Я была рада вообще, что все так чудесно удалось, но никаких тщеславных

чувств. Вот, ей-богу! И знаешь, я ни чуточки не боялась публики. Знаю, как хорошо прочла бы свое. И так хочу скорее это свое воплотить. Только бы здоровье! Целую тебя, Ванёк, обнимаю. О.

3.XII.46

Пишу тебе так все подробно о концерте, тогда как можно бы все сказать в 2-х словах, оттого, что хочу, чтобы ты видел и понял, как все произошло. Как помимо моей воли, — не могла же я кочевряжиться перед людьми, так заинтересовавшимися. Скажу, как перед Богом, что делала через силу внутренне, а физически — это не было так уж утомительно, т. к. еще как-то отвлекало от своих личных мук душевных. Я страшно извелась нервами и просто бешусь от того, что хочу работать и не могу. Единственно отопляемое помещение в доме, — это так называемая столовая — проходная комната. В ней нас 4-ро и 5-ая девка, изведшая меня своей ленью и дурью. Все это у одного стола; я гоню кого могу, но нельзя же им сидеть в холоду. А я вся издергалась. Хотела снять комнату тут в монастыре, но не вышло: первое мое обязательное требование — комната в полном моем распоряжении, а тут какой-то монах должен на ночь оставаться. Конечно, днем он мне не мешает, но сознание, что за ночь кто-то роется в моем — меня злит. Да и цену заломили. За несколько часов в день, за комнату, загроможденную их мебелью (стоеросовой кроватью) — почти 50 гульденов в месяц. Я не могу этого. До переезда в Wourden я не могу ждать. Каждый день меня томит утратой. Понимаешь? И что придумать, не знаю. А девка, хоть ей кол на башке тесать — все ломит по-своему, и я целый день только и знаю, что ищу свои, ею засунутые вещи! В столовой ужас — каждый раз все складывать и убирать, не считая уж того, что все время на людях, разговоры кругом, толчки иногда невольные, и сование девки, безмозглое, глупое снование по комнате. Сегодня утром твое письмо. Буду на него писать особо. Ванечка, Ольгуна ласковая и все такая же, только никогда не надо так больше!

[На полях:] Как бы я хотела устроить твое чтение сама!

Когда хотят твое чтение? Если бы я могла его организовать! Но я не говорю по-французски! Береги здоровье. 3.XII.46

Мне будет больно, если ты не поймешь меня и будешь опять как-нибудь бранить.

Ванечка, завтра высылаю тебе посылочку, луковицы надо посадить скорее у О. А. Я самые лучшие купила сорта. Очень красивые, радостные.

Сегодня было 4 телефона и все похвалы за концерт.

521

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.XII.46 к письму от 2.XII, посылаемому одновременно с открыткой

Только что хотел послать «Онегина», как явился с почты рассыльный и принес пакет, посланный мной 30.XI (суббота): по его словам, он «случайно нашел этот пакет (с manusckript[i] prof. Ильина о Шмелеве), — в почтовом авто, на котором он развозит почту»! Ничего не понимаю, что за черт!.. Сейчас справлюсь на почте. Пакет почтовый рассыльный взял, сказал, что какая-то ошибка... Я обеспокоен. Прошу немедленно получив пакет с «Ильиным» — извести меня, Оля. Эта канитель другой раз повторяется. То было с твоей акварелью, которую я возвращал («Ярмарку») и почтарь ошибся с % оплаты, — была задержка на 3—4 дня. Теперь — о-пять! Только бы не пропало! А то меня Ильин «убьет». Бог даст, будет благополучно. Пишу т а к, понесет на почту femme de ménage. Одновременно — будет письмо. «Онегина» посылаю, но ты не откладывай чтение Ильина!

И. Ш.

522

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.XII.46

Ванёчек мой родной, сегодня большое твое письмо. На него неисчерпаемые ответы, но начну с того, что меня серьезно задело: я, конечно, может быть очень воспламеняющаяся, но никогда не из-за бездарной посредственности. Говорю об Алейде Схот (так читается ее имя). Если ты утверждаешь, что я имею художественную одаренность, то основывайся на этом же и в моем восприятии художественного. У меня мое собственное, и никогда меня не обманывающее мерило художественного в истинном смысле. Как давно еще, девочкой почти, я писала Ивану Семеновичу Мореву[428] о том, что при восприятии истинного искусства у меня как-то «вздрагивает душа». Он это нашел очень верным. И вот, при чтении перевода Алейды Схот это и было. Она же мне чужая, я даже не слыхала никогда до этого о ней. Я обливалась слезами при чтении

---

[i] Рукопись (*лат.*).

ее перевода. То же чувство испытала от танца Беатрисы. Именно вздрогнуло что-то в душе. Она — талант бесспорный. От «дрыганья» ногами и телами душе не вздрогнуть... Никогда. На кабаре можно смотреть с приятностью даже м. б. (хотя я не люблю этого), но на Беатрис нельзя смотреть с приятностью, — ты захвачен целиком, до даже некоего «страданья», вроде чувства от созерцания красот непередаваемых природы. Какая-то будто тоска по вечно-прекрасному, тяга к нему. Я это очень знаю. При ведь несомненной красоте бывает тоже похожее. Беатрис — Божьею милостью талант. Алейда Схот — тоже. Ее выбор не есть выбор «избранных» сочинений Антона Павловича. В ее предисловии она доказывает, как несостоятельно установившееся в голландских кругах мнение о том, будто бы Чехов — комик, юморист, для забавы читателя. Она доказывает (необычайно проникновенно) обратное и ставит его на подобающее ему место. Выбор вещей мне очень понятен, — она исходит из нутра голландского читателя. «Архиерей», «Студент» и «Святая ночь» — им — недоступны в полноте. Только отчасти бы взяли. «Душечка» — землетрясение для голландской души — ты пойми: тут *каждый* живет только *для себя*, своим, личным, а других людей видят постольку, поскольку это им самим необходимо. Такая «вживчивость» Оленьки — целое откровение здешним. Особая прелесть. Мы — русские, имея богатство наших женских качеств, уже швыряемся такой Оленькой — «Душечкой». Она никогда не моя любовь, смешновата мне. Она — посредственна. А здесь — посредственные женщины в непостижимом эгоизме утопают. Это нужно им прочесть. «Верочка» — о том, как один молодой человек, покидая гостеприимный ему дом, не знает, как и благодарить хозяев — отца и дочь-Верочку. Верочка любит его, и набираясь с духом, признается... ему в этом при проводах его через темный сад. Тот, несомненно, любя ее, отклоняет это... Почти тоже, что с Разгуляевой Пашей[429] у тебя. Так обычно в жизни, так что повторяющееся: сам оттолкнул свое счастье. И... не пугайся, не плюйся: она взяла и «Попрыгунью». Жутко и жестоко для женщин, но беспощадно верно. Я перечла его и поняла, как этот рассказ нужен женщинам. О, это в тысячу раз ценнее флоберовской «потаскухи» Бовари. До мельчайших черт все — правда. Как опасно, как бездумно скользят часто женщины по жизни, гоняясь за призраком, топча перлы. Я не нахожу этот рассказ нежеланным. Он удивителен! «Попрыгуньи» эти на каждом шагу. Этого ли стесняться? Только здешние попрыгуньи даже никогда и перед смертью не подумают, что они «попрыгуньи», не больше. Нет, очень полез-

но. Аксинья из «Оврага» — жуткая и она ведь тоже живет, наряду с Липой. Давая иностранцу русскую Липу, мы даем и Аксинью. Таких Аксиний — не так много, как «Попрыгуний». «Дама с собачкой» почему-то иностранцами очень любима. М. б. оттого, что их поражает, что и в простой летней интрижке есть то, чего у них при их «большой любви» — *нет*! Если бы ты знал этих иностранцев так, как я их узнала. И голландцев и еще больше немцев! Но, чтобы не тратить слов попусту, я решила сделать иначе: ты должен хоть на фактах узнать, что мнение мое можно и всерьез брать — ты никогда мне не веришь в оценках. Я это знаю. Тут, в таком главном, я должна себя утвердить!! И это я сделаю. Я дам прочесть и перевод, и оригинал маститому, чуткому и очень образованному в искусстве человеку (говорю о том старике Пельтенбурге). Пусть он сам напишет свое суждение. И ты увидишь, что я *не* ошиблась. Aleide Schot — чистейшая голландка. Конечно, была в России. Теперь та ведет цикл лекций о России, о культуре России. Я не знаю, где она, разыскиваю ее. Она то в Амстердаме, то в Лейдене, то в Гааге. Не сама стала читать, а ее просили. С ней очень считаются. И если у меня и есть какие сомнения о ее переводе тебя, так только в том смысле, что она слишком задергана, и есть ли у нее еще время. Это не выскочка, а серьезная женщина. Издательство Boucher — тоже не дало бы кой-кому. Мне пришлось послать ей письмо на это издательство. Когда-то получит? У Кандрейи какой-то странный немецкий язык. Возможно, что это жаргон какого-либо кантона? Но я считаю, что перевод должен быть только на Hochdeutsch[i]. Что значит «перековеркала»? Разумно, что не дала она аромата, ни тебя, ни Чехова. Ну, вот маленький пример: «сокол ты мой ясный!» переводит: «heller Falk»[ii]. И больше ничего. У немцев нет такого ласкательного. И вот ты видишь: между двух точек только эти два слова «heller Falk». Даже я, знающая это, оторопела: «что такое?» Ну, хоть бы сказала: «heller Falk, — du!»[iii] или еще как. Она не немка и не знает, как это передать. У тебя в «На морском берегу» стоит: «смерть сказала: и один хорош Димитраки!» А Кандрейя перевела: «nur Dimitraki ist gut», т. е. буквально: «только Димитраки хорош». Т. е. даже смысл исказила, ибо его не поняла сама. Чехова я не могла читать в ее переводе, утомилась скоро, потому не

[i] Литературный немецкий язык (*нем.*).

[ii] Светлый сокол (*нем.*).

[iii] Ты светлый сокол (*нем.*).

могу тебе сразу привести места. Да у меня нет подлинника. Ее излюбленные выражения «es tagte»[i] — что это такое? На Hochdeutsch не говорят так. Это можно понять, что день начался, но я ни у одного немца не слыхала такого определения утру. Это не обиходный, современный язык немцев. Также и ее «es schaut drein»[ii]. Что это? Всюду и все говорят так «es schaut so aus»[iii]. Бессмысленно даже определять слово *«выглядит»* приставкой drein, drein, drin — указывает наоборот не «исход», а «вход». Ich schaue drin — «я *за*глядываю *во* что-то», а «ich schaue aus» — я выгляжу. Иначе — чушь. Твои переводы должны быть на отличных языках, все равно как памятник из хорошего гранита, а не из дерьма. Прости это, но я кипячусь. Я все, за что берусь, делаю хорошо, или не делаю. Не хочу ковырять твои переводы. Пусть по-немецки переводит Лютер. Ты вот ругаешь меня за «расшибанье в лепешку», но я не могу иначе. Или все — или ничего, если за что взялась. Сейчас я завалена телефонами, письмами, денежными переводами (за эти 2 дня — 3! на 47,50 гульденов) от разных известных лиц, все в связи с концертом. Можно бы и наполовину стараться, но и вышло бы кое-как. Я и Беатрису «выпустила» как следует, пусть у нас в зале. Но ее видели кто надо и Бог знает, м. б. спасется человек от нужды, не говоря уже о ее таланте. Даже в кухне я готовлю, чтобы все было красиво. Иначе не могу. Поверь мне, что Жуковичи мне — *никак* лично не интересны. То, что ты наплел — никак не верно. Он очень милый, но совсем не трогает меня. Она — тоже мила очень, но тоже не приросла никак. Его пение — и нужда крайняя — заставили меня устроить концерт. Голос у него необычайной красоты, не знаю, как его сравнивать с Шаляпиным? В вечер концерта у него началось уже воспаление уха (он болен) и акустика была убийственная, так что «грохота» вокального не было; игры шаляпинской тоже не было, т. к. пел Жукович — убитый человек и репертуар взял такой же. Но тембр совершенно удивительный. И владеет он им превосходно, — блестяще пел. С дополученными деньгами и после уплаты мной вчера еще комитету по охране авторских прав, — получил за 500 гульденов. Что [уже] очень хорошо. Один оперный артист узнавал через свою жену адрес Жуковичей у меня. И эта дама очень мило меня звала к ним завтра на обед. (Они знакомы с Фасей.

---

[i] Светало (*нем.*).

[ii] «Это выглядит снаружи» (*искаж. нем.*).

[iii] «Это так выглядит» (*нем.*).

Очень хороший дом.) Не знаю, что такое. Я еду завтра к зубному врачу, — зайду на 1/2 часа и к этим, не останусь обедать. Времени у меня нет. Еще жена одного известного композитора и дирижера звала (она с ним не живет, но имеет связи в кругу музыкальном). Не могу. Пусть сами Ж[уковичи] делают. Я всякую минуту берегу. Должна сесть за работу. Но, Боже мой, как я издергана, ты пойми — нет ни комнаты, ни стола, ничего. Дом так устроен, что ни единой возможности нет. Все проходные и верхний этаж без печей. Не знаю, что буду делать. На людях я не могу. Ты спрашиваешь, что с мамой? У нее вышла грыжа и не могла войти, страшные боли. Врач не мог тоже вправить. Решили оперировать, а ночью она и вошла. Ужасно все это было. Мама очень страдала. О Сереже ты, видимо, никакого представления не имеешь, как и вообще о делах здешних. Никуда он выехать не имеет права! Пойми! и не суди о нем с Вигеном. Сережа извелся окончательно. У нас дела творятся такие, что хоть беги! Имею в виду страну всю. Черт знает что! Он только и знает, что ездит по инстанциям и торопит их, а им торопиться невыгодно, ибо живут современные выскочки на это. Само правительство уже стонет от этой диктатуры чиновников-выскочек. Суждения Вигена показывают, что он либо не читает Сережиных писем, либо не вникает в них. Так же глупо пишут и родные Ж[уковичей] из Парижа. Вы все там не можете понять, что тут. Не говори об этих делах с Вигеном, — он никак не реагирует на то, как бы следовало. Как-нибудь устроится все, Бог даст!

В последний раз коснусь твоего мне, по твоей же просьбе: «1/2 строчки» — Ванёк, не помню, не знаю, что писала к именинам. Знаю, что писала и иначе. Если это было в тот момент, когда меня изорвали заботы о самом насущном, то, что ты трухой назвал, то м. б. это сказалось некоторой сжатостью в письме. Именины ли, другой ли день, ты мне всегда одинаково дорог, одинаково я к тебе всегда. И могла бы на другой день вылить поток нежности. В самый твой день чувствовала бы иначе, а ведь пишется все равно заранее. Я всегда все из самой души. Если я в упадке, в тревоге — не выходит. Я не могу навертывать ласковость, она всегда у меня сама идет. В те дни, да и теперь, мы в очень неприятном состоянии — нам надо уезжать из Schalkwijk'а, а некуда въехать. Такие дрязги, гадость, грязь. И со стороны золовки и ее брата. Я не писала тебе, но на мне-то ведь это сказывается. Замызгивает душу. Никогда это не значило, что я тебя меньше люблю или еще что, но просто, в тот день, когда надо было посылать тебе именинное письмо, вымотали душу. И если я тебе пишу

1 1/2 ласковые строки, то верь, это чувство мое, в 1 1/2 ли строках, или в 150 строках — одно и то же. Как ты этого все не поймешь?

Ну, извини, дорогой мой. Я не понимаю, как это могло тебя задеть? Милушечка, кошечка, душечка. Глупышечка. От И. А. нет писем с самой весны. Нет и ответа на мои вопросы касательно книг для перевода «Богомолья». Они гневаются на что-то, видимо. Недавно получила письмо от вдовы бывшего курского губернатора — M-me Катениной[430] — очень милой, умной дамы, из Берлина. Она пишет между прочим: «Ваше письмо прошло через цензуру, и я очень этому рада, рада тому, что не одна я смогла прочесть его, а и другие смогли увидеть и узнать то ценное, о чем так хорошо говорите Вы, милая Оля». А я и не помню, чего я ей такое писала. И дальше: «когда Вы были в Париже, не видали ли там Шмелева? Жив ли он после войны? Когда мне невыносимо тяжело, я беру его "Богомолье" или "Лето Господне" и ухожу в иной мир».

Мне было так радостно это читать. Она очень чтит тебя. Не знает, что мы знакомы даже. Ильина же она не переносит. Почему, не знаю. Я даже [споривала] с ней по этому поводу раньше. Страшно им всем тяжело там. Но у них чудесный священник есть[431], которого в свое время очень любил И. А. И., называл его «Божья слезка».

Как хорошо ты про «Ознобишина». Да, таких много, Ваня. Сколько стоит издать «Лето Господне»? Напиши. Уж не в укор будь сказано, а жаль, что послушал ты лепетанье Эмерикши. Только нейтральные страны могут издать, на хорошей бумаге, о «lux» нечего и помышлять во Франции. Эмерикше важно было тебя удержать от другого издательства, для себя. Я тебе все это писала (не послала, лежит у меня). В Женеве, где не нужно было иметь расходов по переводу, могли скорее издать lux.

И бумага там есть, и читатель богаче. Ну, твое дело. Ты вот в моих суждениях всегда сомневаешься, а ей — всему веришь. Она же сама себе рекламу делает. Как ты этого не видишь. Если тебе еще раз предложат из Женевы, то отдавай, пусть они сами выберут иллюстратора. Я еще не готова. Это верно! Ах, как хочу своего угла для работы! В Woerden'e, бабенка, сидящая в доме, заявила мне: «Вы можете взять беседку чайную для работы, а я ни за что, ничего не уступлю!» Я с ней с 1 1/2 ч. говорила, очень дельно и упорно, «ласково» прижимала ее в тупики. Я бы, на свой характер, не мытьем, так катаньем высадила ее на улицу! Стерва стервой. Сидит с любовником докторишкой в 10! комнатах + еще 3 на чердаке и чудесный зимний сад. Я возмутилась ее предложением беседки, но потом, осмотрев,

увидала, что это домик, прочной стройки, бывший охотничий. Туда надо провести электричество. Летом идеально. Масса света. Для работы идеально. Устрою по своему вкусу, свое жилье. Можно будет жечь и радиатор для тепла и заведу конфорку для быстрой готовки — чайку себе, как захочу. Жить придется (и оттуда еще придется людей выселять) на ферме, а не в барском доме, из-за стервозы. Там тесно и вообще — опять «мужицкая» жизнь. Ну, ничего. Ваня, я, при моем большом плане работы, при малой жизни человеческой, не могу разбрасываться на пустые знакомства, как предостерег ты. Да мне это и скучно. Мне никого, собственно, не надо. Но я довольна кой-какими новыми знакомствами, для дела. Для искусства. Увидим, что будет. Никогда не ревнуй — меня никто не интересует. И, вообще, мне это (обычное, пустое) не надо (всегда так было), неважно. М. б. ты не веришь, но это так. Я так захвачена сейчас тем, что должна выполнить, что вся в этом только. Я молю тебя, не порти глупыми вымыслами моего чудесного чувства к тебе. Ты не стоишь ни с кем в ряду. Я тебе столько раз об этом писала. И я тебя люблю тоже совсем особенно. И ты это тоже знаешь. Я не умею выразить словами, ты пойми душой. Мое чувство к тебе очень высоко, очень глубоко, иначе не вернулась бы. Правда. Голубчик, Ваня, будь светел!

[На полях:] Ванёк, в символ только пришли 1 миндалинку, — больше ни-ни! Вчера послала тебе посылку. Луковицы надо скорей сажать. Пусть Ю[лия] А[лександровна] позаботится м. б.

Ванюшечка, душечка, не в «похвальбу» себе пишу, а от горечи, что бессильна *тебе* быть полезной, и оттого, что ты все еще никак не веришь в серьезность того, что я могу устраивать, что хочу. И тогда, когда ты рассердился, писала, что докажу, как надо устраивать чтение. О, если бы с такой-то толщей русской, как в Париже! И если бы я говорила по-французски, там жила бы! Ты не заболел бы, т. к. я бы тебя в «ватке» держала-холила. А как горько: чужому устроила, а Ванечке так бы радостно было устроить!

Подумай: на концерт Жуковичи собирались выехать из Гааги поездом в 5-11, но т. к. я в последний миг накануне решила им дать телеграмму, что им сняты комнаты, с поездом в 5-11, то они выехали уже раньше, в 3 ч., т. к. хотели в отеле отдохнуть. И представь: было страшное крушение. И на другой день поезда плохо шли по тому пути.

Напиши, сколько стоит издание «Лета Господня»? Голландия мала, голландский язык на немногих. Но при моих теперь знакомствах я бы м. б. могла что-нибудь сделать.

Ах, я бы сама хотела издать, если бы могла. А м. б. и смогу когда-нибудь!

Ванюрочка, я должна начать работу. Хоть в коридоре, сидя. Должна! М. б. буду тогда не так много писать. Увидим.

Мне масса похвал за «конферанс». Но это был не «конферанс», а чистейшая декламация. Ее называют «блестящей».

Начинай с Богом (!) «Пути Небесные» 3 ч. А я тоже засяду!

Целую тебя. Ольгуна

523

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.XII.46

Дорогой Иван Сергеевич, этой формой в открытке пишу для того, чтобы как можно скорее выразить Вам мой восторг от статьи И. А. о Вас. (У нас теперь закрытые письма надо незакрытыми сдавать на почте, а она открыта очень короткие часы, а открытку можно прямо бросить в ящик). Прекрасно и верно пишет И. А. А я горжусь тем, что совершенно так и восприняла Вас, как он говорит о «настоящем читателе». За один присест прочла все, но разрешите задержать на 1—2 дня, чтобы сделать выписки? Можно? Так же и «Евгения Онегина» хотелось бы хоть дня 3—4 подержать. Напишите, могу ли? Художник наверняка неплохой, у него есть чудесные зарисовки, но Вы правы — он души произведения не дал. Порой даже удивляешься, чего только он не набрал и не напутал, а главного-то и нет. Письмо Тани? И отповедь Онегина. Татьяна отвратительна, какая-то «подстёга». Ольга — тетка, вечно с котом на руках. Почему нет Татьяны в имении Онегина, с его книгами? И бал, где она «дама в малиновом берете»? Ее не видно на балу, где масса каких-то рож. Но есть дивные места. Техника акварели у него особая, она при мне уже входила в «моду» — очень мокрая. Это красиво. Я так не пробовала. И все же на его лучшем я кой-чему учусь. Если бы можно, то я подержала [бы] дней 5 книгу? Напиши. А то пошлю в понедельник же. Вы ничего не написали, когда ее послать. Я в раздражении на то, что из-за неустроенности помещения не могу сесть за работу. Зимой хорошо только писать, т. к. коротки очень дни для живописи — темно. Наступают холода. Завтра у нас затемнение полное луны. А в Париже? Я Вам очень, очень благодарна за присылку и статьи и книги! Преогромное спасибо. Ильин все, все так вот и взял будто у меня из

сердца и с языка. Как все верно и прекрасно! И страшно самой начинать писать! Как много надо! Господь с Вами. Крещу Вас и обнимаю. О.

524

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.XII.46

Мой неоцененный, родной мой, неизъяснимый Ванёк, Тоник милый... Твое читаю «и начитаться не могу». Выбирала книги для ознакомления с ними А. Схот... Думала (по твоему оброненному: «если бы “Неупиваемая чаша” или “Пути Небесные”») — взять «Неупиваемую чашу», «Пути Небесные», «Историю любовную» и м. б. рассказы. Взяла, неотрывно читала, ...плакала, Ванёк. Как горит душа, друг мой... Как прекрасно, как не похоже ни на кого. И как там все мне понятно, какое все — мое! «История любовная» — до того хороша, что нет слов! Какая весна! Кому она так давалась!? Кем была переведена «Чаша» на голландский? Помечено, что она переведена. Не помнишь, кем? Ваня, Ванечка, голубочек мой, радость светлая! Дружок мой, будем всегда светлы. Все дурное произошло от тьмы, ее надо изгнать из нас, отогнать от нас. Если бы я попала в Париж, то я бы была совсем другая. Я и сейчас уже совсем «новой» (конечно, не чужой себе самой, а возрожденной) вышла из этих последних страданий. Многое я поняла. Я ничуть не утратила тебя из своего сердца. Все то же. И никогда не изменится. Но Ольга должна быть достойной, сильной духом, крепкой. И будет! — Милый Ванечка, как хочу я добиться издания тебя в отличном переводе! Нет! A. Schot меня не обманет. Если бы только она взялась! Сегодня еще до 9 ч. утра был телефон, — она. Письмо мое ей переслало издательство, и она сразу же позвонила, не теряя времени, чтобы условиться, когда нам встретиться. В четверг я еду к ней в Амстердам. Твои книги, безусловно, она не все знает, т. к. их почти что ведь невозможно было достать за последнее время. Она, если не знает тебя в полноте, то, — предвижу — оглушена будет! «История любовная» имела бы тут, думаю, колоссальный успех, — такая сочность, яркость, такая бьющая всюду и отовсюду Жизнь! Вчера вечером я взяла себя в руки и одолела половину «Палата № 6» в устах Кандрейки[432]. Ваня, это сплошной кошмар! Мерзко, гнусно, гадко. Хуже того, что мне показалось с первого взгляда. Куда смотрит издатель? Я отчеркнула все места, которые не только неудачны, неловки, а просто не-до-пустимы. С точки зрения

языка. Их просто нет в немецком языке. Грубые ошибки. Какие-то глаголы, спряжение которых — неправильно грамматически. А иных просто нет. Я подозреваю только одно: она употребляет, видимо, швейцарский жаргон, позабыв немецкий язык. Как это возможно! Куда хуже, чем твое «Am Meer» и «Под горами». Она разучилась говорить на хорошем немецком языке. Я отчеркнула все. Если соберусь, то укажу прямо страницы и строки Ивану Александровичу. Ради Бога-Господа, Ваня, не давай ей ничего из *своего* переводить. Умоляю тебя! Спроси Ивана Александровича. Как ее только приняли в издательстве? Читала я, читал Сережа, читал Арнольд — никто из нас, не сговариваясь, нашли одно и то же. Арнольд отлично знает немецкий язык, т. к. учился в Берлинском университете. Порой она делает дословный русский перевод и составляет такие фразы, что с трудом можно понять, чего она хочет. Никакого аромата Чехова нет. Тебя она меньше исказила. Не понимаю издательство!!!! И Сережа и Арнольд хохотали над ее переводом, а я кипела злобой. Но, отбросив злость, именно можно животик надорвать над ее жалкими потугами. Не бери ее никогда для себя! Я уже подобрала рассказы Чехова по-русски и соответствующие им по-голландски в переводе Схот — и написала письмо Пельтенбургу с просьбой их прочесть и сказать тебе свое мнение. Он очень образованный (и общекультурно, и художественно) голландец, с 18 лет живший в России до самой революции. Он нежно и страстно любит Россию и наш народ. В последний раз был в 1938 году там. Там были у него огромные лесные усадьбы. Он «никогда бы не вернулся в Голландию, если бы не революция», — сам говорил мне. Пусть он прочтет и скажет. Ты увидишь, что Ольгуна не ошибается. Я могу воспламениться, но никогда не от мусора. Я всегда очень разборчива. Спроси Ивана Александровича — мне редко кто нравится. Я почти все, критикуя, отрицаю. Если Alleida Schot понравилась, то, значит, есть за что. В четверг ее увижу. О, если бы издать! Недавно объявление в газетах об одной молодой голландской писательнице, издавшей свой первый труд в собственной иллюстрации. Первый оттиск распродан, на второй по подписке. Цена 7,50. Покупают хорошее. Видишь, бывает, что и пишет, и себя иллюстрирует! Сегодня же, — не зачитайся я твоим, — села бы за свое. Ванёк, я горячо жду этого мгновенья. Так хочу. И как бы хотела в следующий приезд в Париж не быть с пустыми руками. Я очень хотела бы увидеть работы Бенуа. Все беру в сердце, что ты пишешь. Сейчас письмо от Жуковича — он очень просит послать мои рисунки одному русскому художнику здесь, только что делавшему свою выставку. Ж[укович] сам — живописью за-

нимался. И должно быть успешно. До сих пор публика еще все волнуется концертом, — вчера еще звонили. Все в восторге от моей «декламации». Ж[укович] просит дать ему текст для напечатания, т. к. ему сказали, что лучше их, ничего нельзя составить. А я даже в рифму некоторые вещи дала, сохраняя русский размер. Была и у тех, что писала. Это русский певец — тенор-оперный. [Kammersänger][ii], бывший очень популярен у немцев до войны. В войну сидел тихо (не пел) в Голландии и потому без осложнений. Жена его (говорит по-русски) голландка. Очень была радушна. Он заявил: «мне выступление Жуковича было шприцом[i], толкающим и меня устроить концерт перед отплытием в Америку». Фася слыхала его, говорит, что чудесный тенор. Она их знает. Он заявил: «несчастному Ж[уковичу] все же в одном очень везет». — ? — «Да вот такой импресарио... Знаете, мы с женой наговориться не можем об этом концерте, — до того блестяще все было устроено». Хвалили меня оба за мое выступление. Послали Ж[уковичу] американскую посылку и хотели хлопотать о его «очищении». Вчера звонок одного члена правительства. Восторг и желание знать все подробно и не будет ли еще концерта. Я не могу. Пусть делают сами! Я, — Ванечка, — окунусь в работу.

[На полях:] Родное мое солнышко, обнимаю тебя, мою радость. Твоя светлая Олюша. Пишу об отзывах относительно декламации не из хвастовства, а улыбку твою хочу «заработать». Тебе приятно, что Ольгуна хорошо сумела?

[Приписка:] Ванюрочка, напиши, получил ли посылку? И дошли ли луковицы цветов? Их официально нельзя посылать, но я рискнула. Для О. А. должно дойти! Пусть Ю[лия] А[лександровна] устроит так, чтобы они возможно скорее были посажены. Надо бы в ноябре, но и в декабре еще можно, особенно во Франции. Я подобрала так, что всю весну одни будут сменять другие. «Murillo» — очень красивые, нежно-розовые, бело-розовые, махровые тюльпаны, прямо как розы. Дивно пахнут медом. Значит, у О. А. будут над ними (самые ранние) кружиться и пчелки и жучки, и мушки. Другие, чуть позднее, тонов персикового цветка, тоже нежно-розовые. Лилия высокая, в метр — 1 1/2, усыпанная большими цветами. «Лилия Мадонны». Цветет долго. Другие тюльпаны, самые новинки, фантастических разрезовых форм и красок. Все в розовых и чуть лиловато-розовых тонах. Очень красиво. Их я знаю.

---

[i] Здесь: толчок.

[ii] Камерный певец (*нем.*).

Крокусы надо беспорядочно разбросать по дерну могилки. По бокам тоже. Они уже в марте цвести будут. Нарциссы я выбрала самые мои любимые. Они махровые тоже — как розочки с волшебным запахом-ароматом. Прошу очень, не отнеситесь небрежно и посадите скорее! Растолкуй все, как я пишу. Себе я купила те же сорта и буду их всегда видеть. Все эти луковицы останутся на годы и будут каждую весну цвести. Только пусть хоть ельником, соломой или листьями сухими покроют могилку от морозов. Иначе они вымерзнут.

Ванюша, прости дружок, что пуговицы на «венгерке» нехороши. У меня ничего не нашлось, и у нас еще ничего подходящего нет в продаже. М. б. в Париже найдется? Тогда пусть «Плаксина» перешьет. Напиши, в пору ли она тебе? Обнимаю. О.

Все силы приложу к тому, чтобы тебя издали в лучшем переводе! Ты должен же, наконец, поверить, что Ольгуна может! Что она не только болтать может.

Ах, Ванёчек, Ванёчек, ангел мой светлый, солнышко, звездочка! Как нежно поет мое сердце! Милый Ваня!

Как хочу устроить прекрасно «Чашу» и «Пути»!

525

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.XII.46

Пишу кратко, дорогая моя Ольгуночка, — болен я: и глаз язвит (хуже!), и язва вспыхнула (как будто стихает) и с 3-го декабря — грипп, — всю эту неделю, с t°, теперь нормальная температура, но я не выхожу, очень слаб, никакой охоты есть. Измучила меня zona — (или что там..?) — подавлен. Я счастлив тобой, за тебя, — ты поступила чисто, руководясь сердцем. Молодец! Рад, очень, и твоему успеху. Тебя нельзя не заметить, не отметить. Рукоплещу! Обнимаю нежно, чудесна ты. Ах, как бы хотел видеть тебя в блеске, нарядной! Жил бы светом радости о тебе. К старому не возвращаюсь, — и ты, прошу!

Нет, Оля, я з н а л, что у тебя и художественный вкус, и твоя оценка верная. Внутренно, я редко расхожусь с тобой. [Уверен], что переводчица Схот — действительно, первоклассная. Что делать, не даются мне переводчики...

С изданием «Лета Господня»[433] пока неопределенно, жду ответа [издательского комитета]. М. б. и устроится. А нет — другое издательство готово издать. Только мне хочется обе части — в одной книге.

Не понимаю: ведь после свекра имение — ваше... причем тут право какие-то женщины? Как, почему она может говорить: «ни за что не уступлю!» Что за причина?.. Эти дни болезни я снова взялся за 2 часть «Путей». У меня часто так: считал кончено, но внутри-то знал, что снова буду ломать. Черкал эти дни, лежа на диване, и... пройдя 1/3 романа, вижу: выкинул до 40 страниц! И кое-что выправил — иным заменил. Должно быть вместо 300 страниц будет — 200. Я никогда не бываю доволен «завершением», меня тревожит, если есть спорное, для меня.

Я так устал, до отчаяния.

Все, думаю, (и ухудшение с зудом), следствие этих больных для меня переживаний... — особенно, вспышка ulcere[i]. Я же держал самый строгий режим, а теперь свел курение до 2 папирос в день.

Кто поможет мне?! ... Я же месяца 2 принимал крупки голландские — ни-чего! Теперь уколы с мышьяком и гормонами. Силой заставляю себя — что-нибудь съесть. Страшно ослаб.

Целую тебя. Прости краткость, но едва перо держу. Так мне все опостылело! Только не ты, родная. Я весь в тоске. Все — черно.

Твой Ваня

[На полях:] Вигена не вижу с сентября. Что плохого сказал я о Сереже?! Не знаю всех условий ваших.

Господь с тобой, отдыхай, не работай пока, — нагонишь. Все боли, боли, ложусь... Скорей бы один конец.

Сейчас твое письмо от 5-го XII. Благодарю.

526

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.XII.46

Д[орогая] О[ля,]

Рукопись И. А. можно подержать, если необходимо с неделю. «Онегин» послан как подарочек, зачем же его возвращать?! Я же приложил (чтобы не портить бумаги, не зная, какого она качества) надписание на синем листочке... Удручен, что ты не сказала прямо, что из гостинцев послать... что это «символическая миндалинка»?! Я все равно пошлю, но мне знать надо, что приятней. Я болен (грипп прошел), почес не-

[i] Язва (*фр.*).

стерпим. А тут еще канитель с «Летом Господним». Сдано в комиссию! Как я не хотел в это издательство «Имка»?! Меня уверили, что там все другое теперь... — толкнули, «из любви к писателю»! Уве-рен, что Шмелева «умоют» такой приятный случай! «Лето Господне» — рассматривают какой-то темной комиссией! Там, конечно, масоны, просоветчики, «левые» и — неправославные! Сегодня напишу кн. Трубецкой — к черту! Меня разыграли, не желая сего. А что пишешь об отзыве Катениной, это мне не новость: у Меркулова со-тни точно таких отзывов. Но это не мешает б[ывшим] врагам и пакостникам. Нет, я уж лучше «купчишке» — Гукасову отдам, пусть жрет. Для чего тебе надо знать, сколько стоит издание «Лета Господня»? Много. 300 тыс. У тебя нет. Да если и были, я не пошел бы на это. Так все отвратительно, а главное — я болезнью скован. И вот, кромсаю «Пути». О рисунках к «Онегину» я писал довольно подробно, вспомни: там нет ни Санкт-Петербурга, ни Москвы, ни Татьяны, ни-чего. Хороший рисовальщик и совершенно глухой к творчеству.

Господь с тобой.

И. Ш.

527

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.XII.46 6-30 вечера

Дорогой мой, пишу, как позволяет открытка. Но хочу тотчас же сказать, что сейчас была у Схот, и по пути к дому пью кофе, т. к. еще 1 1/2 часа ждать автобуса. Она, как я и думала, не знает нашего самого большого современного писателя Шмелева, в той полноте, как это надо. Ее завалило издательство мелочью — книжками малых форм... Теперь сидит над Гаршиным. Я ей читала некоторые страницы из Шмелева, цитировала И. А., и сама вся зажглась и внутренне и внешне, т. к. щеки мои пылали. Она (больная) и сперва сдержанная, как-то видимо зацепилась мной. Сидела вытянувшись, улыбаясь мне навстречу. Взяла «Неупиваемую чашу» и «Историю любовную», «Пути Небесные», — ей велики. Она возмущена, между прочим, тем, кому выдана Nobel[434]. Верно о нем судит, не отнимая и достоинств, храбро ставя точки над его «и». Обещала написать мне. Занята до весны. На прощанье была очаровательна ко мне, дала свою книжку со стихами Пушкина в ее переводе. Хорошо! Сообщаю лишь в общих чертах, а сказать надо массу. Она жаждет прочесть книгу И. А. «О тьме

и просветлении». Просится ко мне недели на 3 летом (как «платный гость»), с тем, чтобы слышать русскую речь и добавила: «а я бы переводила И. С. Ш.». Вчера получила интереснейшее письмо. Меня хотят представить одной из дочек Пельтенбурга[435] — замужем за «правой рукой министра». Вся знать у них бывает. Она, эта дочь, в восторге от И. С. Ш. и от А. Схот. Умоляю: бросьте мышьяк — он яд для «ulcus». Знаю. Господь с Вами. О.

528

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.XII.46

Ванюшечка, родной голубчик,

Очень волнует твое здоровье. Очень прошу — прекратить мышьяк. У отчима, его, 30 лет спавшая язва открылась только благодаря мышьяку. Это очень влияет на «ulcus». Неужели Krymm этого не учла. Я положительно в нее не верю. Тотчас же прекрати! А доктору в Velp я напишу, что у тебя зона. Он ведь тебя не видел, а только со слов моих, что у тебя была [erisipel]. Ну, и давал от этого зернышки. Конечно, он положился на диагноз Крым. Брось эти зернышки, если тебя всего искалывают разными разностями. Нельзя параллельно с гомеопатией ничего другого. Впустую. Тотчас же дай знать, как с тобой? Я очень обеспокоена. Брось мышьяк! Это яд тебе! Я возмущена оплошностью Krymm. Паршивка! Что караимы, что жиды — один черт! Плюнь ты на нее и возьми хорошего врача. Съезди к Antoine, хотя бы. 18-го мы с мамой идем к нашему сердечному специалисту. У меня как будто лучше стало за последнее время, т. е. реже боли. Вчера была у Схот — писала вчера в открытке. Она ничуть не молодая и не «парижанка», как мне описала ее одна старушка. У нее воспаление во лбу над носом, не знаю как по-русски — синезит? Сперва я ее не застала, т. к. пришла без 3 минут 2 часа, а она сказала от 2—3. Пошла к знакомым рядом. Перед тем сидела часа 2 в кафе, т. к. из дому выехать должна была утром, иначе ничего не выходило с автобусом и поездами. Около 2 1/2 ч. была снова у нее. Она — на вид, по крайней мере, гораздо старше меня. Комната у нее устроена из чердака. Удивительно со вкусом. Первое, что ты видишь — портрет Пушкина. И масса русских книг. Удивительно со вкусом живет, какой-то особый стиль. Очень уютно. Какой-то свой шик. Центральное отопление. Сделала чай. Я сразу же о твоих книгах заговорила, предварительно

спросив, знает ли она тебя. Она созналась, что мало из твоего читала. Неудивительно — тут твоих книг вообще нет. Принесла ей «Чашу», «Историю любовную» и «Пути». В «Чаше» же переплетено и «Степное чудо». Я охарактеризовала твое творчество словами И. А. — прочитав выдержки из его манускрипта. И для ясного представления наглядно, — прочла несколько страниц из твоих книг. Как только могла хорошо. И чувствовала, что «в ударе». А Алейда, — сидела вытянувшись стрункой, подавшись вперед, улыбаясь мне навстречу, не спуская глаз. Иногда я замечала, что в ее лице отражается мое выражение.

Она завалена издательством. Чехов пойдет вторым изданием, кажется. На него спрос. Она очень тобой заинтересовалась. Оставила у себя «Неупиваемую чашу» и «Историю любовную», «Пути» хочет прочесть после. Они для перевода кажутся ей большими. Сейчас она задерживает, затягивает отпущенный ей срок с Гаршиным. Переводит она добросовестно. У ней много вкуса. Только что вышла «Первая любовь» Тургенева. Aleida «болеет» всем, что касается книги. Все учитывает, вплоть до корешка обложки. Она, несомненно, эстет. Перевела в стихах Пушкина. Очень недурно. Некоторые места хорошо. И сама издала, и тоже с большим вкусом. Очень благодарила меня за визит. Просилась ко мне в Woerden. И добавила, что там она мечтает И. С. Ш. переводить. Особенно хорошо в русской среде — имеет в виду маму, Сережу и меня. Было бы, конечно, недурно, — м. б. я ей могла бы подсказывать суть твоей субстанции, твоего произведения. Увидим. О возможности издания еще не говорили. Она не бывала в России. Училась у Van Wijk'a[436]. Говорит с акцентом, но не неприятно. На мое письмо Пельтенбургу о Схот, пришел позавчера ответ на него. Он ездил к дочери своей Леоноре, жене одного очень крупного в Голландии государственного деятеля, — правой руки министра земледелия и хозяйства. В доме у них запросто министры, а самою Леонору до ее замужества прочили к Рузвельту в секретарши, как девушку необыкновенно талантливую и развитую. Она тоже ученица и друг была проф. Van Wijk'a, родилась в России, обожает ее и все наше. Вот выдержки из письма ее отца, — перевожу с голландского. «Леонора уже мне рассказывала, что Иван Сергеевич Шмелев[i] (это по-русски у него было) некто совершенно особенный и большой художник своей области! Далее она назвала мне имя Алейды Схот, как очень хорошей переводчицы, — но сможет ли она воспринять психику этого русского языка, ко-

---

[i] Слова «Иван Сергеевич Шмелев» выделены О. А. Бредиус-Субботиной в рамку.

торый у Ивана Сергеевича, во всей полноте, как никогда (?) не жившая в России? И. С. Ш. должен бы был сам понимать по-голландски, чтобы самому смочь судить о том, как передан его прекрасный язык.

Оба эти вышеназванные имени (И. С. Ш. и Алейда Схот) назвала Леонора мне без того, чтобы я ей их открыл из Вашего письма*. Как бы там ни было — я предполагаю, что разговор между Вами и Leonore R[oebroek]-P[eltenburg]... будет иметь несомненную пользу». Я с ним, конечно, согласна: аромат твоего творчества можно понять и передать только вполне его усвоив, а может это иностранец, не знавший России? A. Schot очень тонко чувствует все нюансы нашей речи. Но речь Тургенева, Чехова, Гаршина, Гоголя — другая, чем твоя. Она только что перевела Гоголя рассказы. Живет только литературой. Умная. Массу читает и за всем следит. Издательства поручают ей сейчас небольшие книжки (спрос больше). Лучше рассказы. Серьезная, вдумчивая, она не возьмется, если не почувствует, что может хорошо. Переводит она долго, не гонясь за выгодой. Да и вся-то работа (в Голландии) ее не приносит ей существенного дохода — сама говорит: «больше во имя идеала...» Мне понравилось и то, что она, в совершенстве владеющая английским языком, не берется ничего переводить на английский язык, хотя могла бы гораздо лучше заработать. И только потому, что, как и я, считает, что переводить хорошо можно только на свой, родной язык. Она совершенно права. Очень заинтересовалась твоим разъяснением Чехова. Помнишь то, что ты мне читал, когда Серов явился. Очень хочет прочесть. И просила меня сказать ей тотчас же, как только выйдет. Хочет читать по-русски это. Равно как и ильинскую «О тьме и просветлении». Очень горячо интересуется все целиком прочесть о И. С. Ш., а также о Бунине. Заинтересовалась страшно, как смотрит на него Ильин. Я кое-что сказала, что знала лично от И. А. из его лекций о Б[унине] в Берлине. Она еще больше заинтересовалась: «т. к., говорит, я никогда бы не дала ему Prix Nobel, — и никогда не понимала, почему ему ее дали». Я ей сказала: «И. А. пишет, что после Шмелева, другие писатели кажутся холодными». Сказала, что мир, заполненный дребеденью, надо будить, надо вот такими, как Ш. — будить. Сказала: один русский поэт — Бальмонт (она, конечно, знала) сказал о Шмелеве[437], что он любит цветы, любит животных, солнце, природу. Глупо сказано, хоть

---

* Он ей просто сказал, что речь идет об одном самом лучшем современном писателе (русском) в Париже и о возможной переводчице ему.

и поэтом — любить цветы, любить кошек, собак, детей, — может всякий, — я тоже их люблю, и жулик на улице тоже любит м. б., — Шмелев несет в себе всю красоту живого мира, он — сам этот мир, он растворен в нем, а мир в нем. Своим живым талантом, он рассказывает — показывает нам свое сердце — т. е. весь прекрасный Божий мир.

Она поняла. Вполне поняла. Я сказала о твоей всегда горящей Искре Божией, во всем, в каждом твоем слове. О твоем отношении к Женщине. О искании (всегда) высокого, достойного и святого и о вечно-юношеском твоем преклонении перед ним. Прямо сказала: «Гаршин — что же Гаршин неплохо, но нельзя его ставить вровень с Шмелевым, заставлять Шмелева ждать!» И это поняла, и сокрушенно сказала: «но не могу я теперь отвертеться от него, кончать надо!» Просила меня дать твой адрес, если бы случилось ей быть в Париже. Жаловалась на иллюстраторов, между прочим, и скудость их. Они издали Гоголя с иллюстрациями. Не успела все просмотреть. Мне такое знакомство очень ценно. И с Леонорой. Никогда неизвестно, что к чему. Эти дни, несмотря на отъезд, — писала, и почти закончила «Заветный образ» — начерно. Сегодня переделывала. Трудно без машинки и я браню Ксению Львовну. Как хочу переписать наши письма. Ну, где мне достать машинку?? «Заветный образ» — рассказ. Мое горе — пишу слишком конспектно. Натянуто. Надо учиться раскинуть крылья. Горю нетерпением послать тебе. На суд. И очень боюсь. Робею. Но я не отстану, Ванёк. Я буду работать. Много надо. Я очень тебе подражаю в стиле. Не знаю, как мне избежать этой погрешности. Или это не грех? Очень хочу говорить с тобой лично обо всем этом. Но прежде должна закончить работу. И очень хочу к Бенуа. Господи, это же было бы целое откровение — никто ведь до сих пор из наших родных не поучил меня в кисти. Ванёк, родной, береги здоровье. Я до отчаяния о тебе волнуюсь. Получил ли ты посылку? Не сердишься? Скажешь, опять рухлядь? Скоро Рождество — я как-то и оглянуться не успела... Да, с Вурденом большая склока: там есть большой (господский) дом и ферма, домик для садовника и 2—3 домика рабочих. В господском доме живет вдова врача с любовником — тоже врачом, которого она взяла сама, помимо контракта. Когда старый, больной свекор эвакуировался, ее просили дать ему 1—2 комнаты в доме, *без* услуг. Она отказалась. Наотрез и очень гадко. Отец ушел жить на ферму. Там живет рабочий с семьей. Для нас этих 2-х комнат мало. Надо выселить рабочего. В одной из рабочих (служебных) квартир живет только 1 парень. Ему можно было бы легко выселиться

в комнату, а на его место устроилась бы семья того, кто сейчас на ферме. Но парень уперся. Каждый в Голландии находится под охраной жилищных комитетов и никого нельзя выселить. Этим же пользуется и вдова. Но какое хамство — сидит в 10 комнатах! Плюс еще зимний сад и 3 комнатки на чердаке! Две кухни! Почему такую не уплотнят?! На ферме не было ни водопровода, ни электричества. Арнольд провел. Дико дорого стоит. Годами будет это чувствовать. Если бы вдова уступила 1/2 дома, то все бы это было ненужно. С марта, а м. б. с февраля надо уже начинать переезд, во всяком случае частичный. И окончательно перебраться после Пасхи, т. к. свяжет, очевидно, скот. Его надо уж прямо на пастбище ставить, а не по хлевам таскать. С ужасом думаю об этой переборке. Как хотела бы побывать еще в Париже. Ничего не могу задумать. Дела тьма. Сейчас я в большом напряжении и от своей работы, и от захватившего меня желания издать твое здесь в должном виде. Как только будут дни длиннее, так я снова займусь живописью, все для «Чаши». Хотя бы добьюсь красивой обложки. Ты ведь против этого ничего иметь не будешь?

На днях собирался к нам Dr. K[linkenbergh] со своим братом[438] — тоже Dr-ом, чтобы послушать наши пластинки русские. Задело их всех после концерта-то! Вчера звоню ему из Утрехта (когда сидела и ждала автобуса), чтобы сказать, что граммофон у Фаси, чтобы его он захватил, когда поедет. А он мне сразу же в телефон: «как странно, что Вы звоните, — я только что подошел к аппарату, чтобы Вам звонить и сказать, что брат мой вместо Утрехта уехал на грузовике спешно к маме, т. к. она, видимо, кончается. И я сию секунду должен ехать». Старушка гаснет, без особой болезни, как свечка. Он считает, что только-только сможет ее застать в сознании. Сам он все еще нездоров. Не знаю, что с ним. Он очень верующий и совершенно спокойно заметил: «мы должны Господа хвалить за то, что Он нам маму так долго оставил, а теперь... Ну, что же это путь для всех...» Мне очень жаль ее. Она прекрасная, чистая душа. Грустно и за него. Она была ближе всего к нему, как к одинокому. Такое Рождество! Обещал мне позвонить, когда вернется из дому. Он уже и раньше мне писал, когда посылал письмо в связи с концертом Ж[уковича], что его маме не очень хорошо. Хотелось, видимо, поделиться. О концерте все еще пишут и пишут. Старик Пельтенбург тоже: «Концерт мне очень сильно понравился, прелесть, что за голос»... «И, наконец, я надеюсь, что редкостный певец и его аккомпаниатор довольны будут также и тем, что касается материального в этом деле». Я рада, что ты таким обра-

зом можешь мне поверить, что я не выдумываю себе «фимиамов», как ты писал. И что Ж[укович] не хлыщ какой-то, и что я спасала только этот голос, как таковой, как дар Божий, а не интересовалась человеком, носителем его. И еще, чтобы ты поверил, что Ольгуна может и хорошо устроить, что у нее есть вкус. Ах, если бы нам устроить здесь твой вечер! И знаешь, это не так невозможно. В моем кружке (проф. Verzijl[439], председатель его был тоже на концерте и удивлялся моей администрации) я могла бы устроить чтение о тебе и твоего. Я буду думать об этом. Я заставлю узнать их тебя и преклониться перед тобой! Тут жаждут прямо слышать о нас. Я давно мечтала дать им подлинную красоту увидеть. И говорила уже в этом направлении с Verzijl'ем. Я бы устроила чудесный русский вечер. Это необходимо, когда Aleide переведет «Чашу». Скажи ты мне, что я могла бы прочесть? Скажи, подумай! Что взяло бы иностранца? «Неупиваемую чашу» не прочтешь, пожалуй? Умоляю тебя дать совет. Я не откажусь от этой мысли*. Сделаю доклад об единственном, нашем современнике — Шмелеве. Теперь меня многие знают. Если я объявлю, то многие придут. Уверяю тебя. И все самые лучшие. Светильник не ставят под спудом. Ты должен светить!!!! И будешь! Я бы целый цикл лекций дала о Шмелеве. И никогда бы не иссякла. Ваня, как ты об этом думаешь? Я буду думать. Как я люблю Россию. До какой-то болезни прямо. Как люблю тебя! Как стремлюсь показать наши алмазы, чтобы видели их блеск и свет! Эти — алмазы — Вера и искусство! Как бы я счастлива была открыть слепым глаза на свет! Ванечка, обнимаю тебя и крещу. Умоляю беречься. Целую нежно. Оля

[На полях:] Посылаю тебе программу, на которой и меня найдешь.

Завтра посылаю манускрипт обратно тебе. Но он мне, в сущности, необходим. Нельзя ли получить еще?

529

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.XII.46

Родная моя Ольгуночка, вчера принесли твою посылку. Она — сверхроскошь. Заботушка милая, целую ручки твои

---

* Ты, из прилагаемых концертных атрибутов увидишь, что я правда же достойно могу этот твой вечер устроить! Поверь же! Я не из [хвастни]! Я могу.

и сердце твое. Ку-да мне такая сила всего! Даю тебе слово — нет у меня нужды, я так мало ем. А теперь — строгая диета, все будет лежать, — говорю о коробках с пудингами и проч. И не знаю, как делать из этих порошков, и что. Никакого желания есть. Вот если ты будешь в Париже, ты сама уж сделаешь. Чудесна венгерка, залюбовался. Ручки твои целую и благодарю маму. И как хороша безрукавка! Я так расстроган, нет слов. И луковицы — все в целости. Завтра пошлю в Сен-Женевьев, с указаниями, как-что посадить. Ах сердце твое какое!.. Ты осветила меня в моих полу-потемках. Благодарю за в с е.

Со мной все то же. ЗонА — и что там еще... — упорствует. Заметил, хуже она, когда дождь или туман. И «язва» не успокоилась. Грипп прошел и не было бронхита. Но я и не выхожу. Курево свел к 2 папиросам, частями. Исхудал, как Ганди[440]. Едва пишу, так зудит глаз!.. Казнь мне это. Как сетка на глазу, и голова — правая сторона — зудит... — калека стал.

В восторге от твоих успехов! Как же можно н е у в и д е т ь тебя! Оценили, по очаровательности твоей, по тончайшей одаренности. Конечно, ты декламировала, и — артистически. Помогала родному, крепила его, чудесная. Слава тебе. Я счастлив, я горд тобой. Какое сердце!.. И как я принизил себя в твоих глазах своим безумием!..

Конечно, лучшего и желать нельзя, если переводчица Схот не откажется что-нибудь перевести. «Чаша» была издана издательством «Дэ Спигель», Амстердам, в 27 г., как и «Про одну старуху», в переводе Анны Козловой, — «Козлихи». Она вряд ли уступит Кандрейе! Я не знаю, можно ли издавать ее в другом переводе, если издание не разошлось. Если же разошлось, надо знать, на каких условиях издавал «Шпигель». Я тогда был совсем несведущ в правах переводчиков и настолько безразличен ко всему, в своем горе, что не интересовался, почему мне не присылали договора, — я ничего, кажется, не подписывал, и получил за издание какие-то пустяки... возможно, что «Козлиха» тут схватила большую часть гонорара. Возможно, что «Шпигель» не посчитался с автором: книга была по-русски издана в Москве, в 21 г., и «Шпигель» наверное счел, что права автора не защищены, т. к. Россия тогда не участвовала в литературной — женевской? конвенции. На этом основании издали и «Человека из ресторана», не заплатив мне ни копейки. Только письмо в редакцию газеты одной голландской писательницы, с протестом, как же грабят автора, вынудило издательство — другое, не помню... нет, справился — издательство Ж. М. Мёуленхоф, в Амстердаме — прислать мне... 1000 фр.!

И все. На голландском у меня 3 книги или 4[441]. Часто меня в разных странах издавали без сношения со мною, ссылаясь на отсутствие конвенции, — книги-де написаны в России, до революции.

Полагаю, что и «Чаша», и «Пути» — свободны. Та писательница, которая протестовала, кажется г-жа Браун..? — училась русскому языку у жены священника, писала она мне... м. б. у Розановой? Ты можешь узнать. А «Козлиху» многие знали, и покойный ван Вейк, славист, говорил мне, что перевод плохой. Сам он перевел моего «Орла», было напечатано в голландской газете[442]. Была переведена и напечатана в старой, большой газете «Мери», в переводе двух старых девиц[443], — их фамилию забыл, но она означает по-русски «заяц». Я через них когда-то послал тебе цветы, чуть ли не в 41 г. им вручил в Париже деньги, а они написали брату... и тот, кажется, заказал.

Олюшечка, не работай через силу! Напиши о себе. Целую, благодарю, моя голубка. Менажка уходит, спешу ей отдать письмо. Завтра напишу. Восхищаюсь тобой, верю в тебя крепко! Ты в с е г о д о б ь е ш ь с я, ты — Божией Милостью.

Твой всегда — навечно.

Ваня

[На полях:] В понедельник-вторник надеюсь послать тебе пакет. Не брыкайся. «Онегин» — мой привет тебе, единственная, свет мне.

530

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.46

Мой милый, родной Ванюша,

Непреодолимо хочется писать тебе. Все время думаю о тебе. Сегодня твое светлое письмо. Но как мне тяжко знать, что ты маешься с чесом и язвой. Как пишется по-французски эта несчастная «зона»? Я хочу спросить моего гомеопата. Он же только со слов знал, что у тебя якобы последствия «erisipel'я». Теперь вся картина меняется. Неужели у вас такой же дикий холод, как и у нас. Самое мерзкое это — ветер, ледяной и пронзительный, он дует в самые окна, и нет возможности согреть дом. Наверху всюду мороз, в спальнях замерзает вода. Внизу, несмотря на то, что гостиная между двух отопляемых комнат — тоже все мерзнет в зале. Жарим и палим и антрацит и дрова, а толку нет. Мама простужена и сейчас легла. Надеюсь, что нет жара

(смеряли — t-ra 38,4°), но не знаю. А завтра должны были ехать к сердечному специалисту. Неужели еще долго так холодно будет? У тебя квартира на юг — думаю, что такого кошмара быть не может. Сегодня получила письмо от золовки из Америки. Она сообщает, что тебе послала ленту для машинки и «как можно больше еды». Я просила ее из еды только гречневую «кашу» тебе слать, а она видимо перепутала. У нее вообще полный сумбур. С мужем должно быть не сойдутся. Напиши мне, в пору ли тебе вещи, которые я послала? «Венгерку» можешь носить? Она тебе для работы. «Пудинги», что я послала, готовить очень просто. На коробке написано: «Griezena»? Это очень вкусная, препарированная манная крупа со вкусом пудинга. Просто засыпь в молоко и кипяти, пока не загустеет, немного сахару прибавь. Это очень легко переваримо, и для твоего «ulcus» — хорошо. Скажи твоей «менажке» — она сделает в 2 минутки. Кушай на здоровье. Как теперь жизнь в Париже?

Ванюрочка, я с растроганностью и благодарностью принимаю от тебя «Онегина», но я не поняла сперва, думая, что ты мне только для примера (касательно рисунков) прислал, и что я должна послать обратно. Спасибо, дружок! Я получила этот пакет как раз на Св. Николая, когда здесь все друг-другу дарят что-нибудь. В Голландии прямо сумасшествие идет в St. Nicolas. А в этом году банда террористическая под видом таких вот «синтеркласных» пакетиков подносила бомбы, посылая их тем, кто им не нравится. Трое убитых, а остальным еще не успели — попались. Целая организация и большой склад оружия: адских машин, бомб (английских), пулеметов. Не знаю точно, но кажется из бывших «резистантов». В Утрехте недавно швырнули гранатой в главную почту. Вот так-то и забавляется человечество. Рукопись И. А. я тебе отослала заказным. Надеюсь, что благополучно прибудет. Очень хочу работать, но теперь тревога за маму, да и в такой холод невозможно — все сбиты в кучу, больше, чем когда-либо. Могла бы зато переписывать «наш роман», и ругаюсь денно и нощно на Ксению Львовну. Ну, где мне взять машинку?! Бывает ли она у тебя? Или совсем очахотилась? Нам она не пишет. У меня очень большой подъем, могла бы работать да работать. И так досадно, что обстоятельства мешают. Скоро Рождество, значит опять отвлекаться! У меня совершенно новые идеи иллюстраций. В Голландию приехал художник Nicolas, — друг доктора К[линкенберга], — жаль, что последний у своей умирающей матери. Его мне очень жаль, и того, что уедет Nicolas опять в Америку, а я его и не повидаю. Но ему я должна была бы хорошие вещи показать. Журналисты поместили в газеты статьи о нем, называя

его неуловимым — такой он живой и быстрый. Видимо, как и д-р К[линкенберг]. Что делает Ирина Серова? И ее папаша? И вообще, что и как все, кого я знаю? Будешь ли у Бенуа? Почему ты думаешь, что тебя в издательство заманили? Ведь разве не кн. Трубецкая тебя туда «сосватала»? Меня бесит, что «Неупиваемую чашу» переводила Козлиха. «Человек из ресторана», со слов Схот, совершенно не разошелся, благодаря скверному переводу. Она в этом издательстве (Meulenhof) тоже работает. Но я все приложу, чтобы это дело устроить. И потом — теперь время другое: здесь все хватают, что о России, а тогда было вяло. Эх, если бы «Чашу» издать! Со вкусом!

Посылаю тебе розочку — последнюю, она цвела еще до самых морозов. Целую нежно. Оля

[На полях:] Эта розочка лежала в моей работе, — пусть она тебе о ней шепнет...

Напиши, не мала ли «венгерка»? Я не при чем, — это мама умеет колдовать и из ничего шить. Но тут она была связана покроем.

18.XII Маме несколько лучше. Хочу работать и связана. И холодом, и заботой.

531

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.XII.46 Мороз — 15°

Спешу, несравненная! О, как ты чудесна!

Сейчас посылаю посылку, деля большую. На днях еще. Чудесна мысль твоя — вечер Шмелева! Но... надо повод для сего. Вот, когда выйдет голландская книжка, (если выйдет!), — тогда и споешь, и чудесно выйдет у тебя, волшебница! Не раньше.

Напишу скоро. Из недугов — прижилась зонА (?!)

Сегодня изводит, но я ее ма-зью! Когда-нибудь да надоест же ей!.. — ?

Приступаю к перенесению выправленных — и ка-ак! — «Путей».

Жду твоего рассказа. Не смущайся, вместе с тобой будем на нем учиться! Все одолеешь, Ольгуна. Ты — д а н а! Господь тебе поможет, за твое Сердце. Будь же сильна, крепка. Как я тебя чту, как люблю!

Твой весь Ваня

Оля, «Чаша» — твоя, прими ее. Вышлю подтверждение. Ты сверхдостойна, и я — счастлив тобой.

Спешу, femme de ménage должна уходить, дела у нее свои. Хоть и «Плаксина», а меня очень выручает. Что бы я стал делать в такие морозы! Время так дорого... — а сколько у меня дела, писать-то!

Целую. Твой верный друг и дружка Ванёк

532

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.XII.46 До-ождь!..

Дорогая Ольгуночка, только вчера получил — наконец-то! — Ильина о Шмелеве. Где-то завалилось. У меня все то же, — то «юльсер» напоминает о себе, томит жестоко, то — это неразлучно — последствия апрельского — неясного для врачей — недуга, нестерпимо терзает, замучил этот «зуд»!

Едва осиливаю его, чтобы хоть кратко написать тебе. Все же, продолжаю работать, но чего стоит такое напряжение! И если бы не живой отклик неведомых читателей, руки бы опустились. Вновь в с е переломал в «Путях» и уже — в который раз! — переписываю. И что же выходит! из 75 стр. прежнего текста — 44 стр. нового! — и, смею думать — лучшего. Это скрадывает сумеречные дни. «Солнце на лето»! Нет часа, чтобы я не думал о тебе. Все связано для меня с тобой, с твоим здоровьем и работой. Получил начало твоего рассказа[444], прочитал, прочту еще и еще. Милая, не будь нетерпелива, я тебе все выскажу, искренно и крепительно. Сейчас, по этому началу, что могу сказать? Пока нет г л а в н о г о, пока только вступление. Жду. Никаких погрешностей не вижу. И ничего еще не могу сказать: дай в с е. Хочу быть прямым с тобой, чутким и уповающим. Н е спеши. Одно пока скажу: надо показать читателю, где, в каких условиях происходит действие. Нам с тобой, конечно, почти все ясно, — в начале большевизма. Но ты поставь себя на место читателя... всякого читателя. Значит, надо как-то показать. Что-то важное случилось, что такая п е р е с т а н о в к а, — отъезд профессора... какая-то «АРА»... — нужно всего две-три строчки... необходимо. Когда ты все пришлешь, я что-то помечу, и ты сама разберешься. А пока — скажу — у тебя удачно дано о девушке: ее нерешительность, смущение-оторопь, и — ее вера в себя, в свое... — это уже чувствуется. Помни, как можно короче, ни-чего лишнего, загромождающего. Не старайся «писать лучше», отыскивать н о в ы е слова, н о в у ю манеру, чтобы не чувствовалась читателем нарочитость. Довольно четко дается

тобой неуют погоды, предвесенний ветер, его порывы. Этот «неуют» погоды соответствует душевной тревоге, душевному н е у ю т у. Девушка тревожно-ж и в а я, «на острие». Итак, жду главного, дальше. Если бы стал править тебя, то только вместе с тобой, поясняя, почему лучше было бы вот так, вот так... Будь крепка, ни-как не отступай, пока не добьешься лучшего. Никак не смущайся. Продолжай. Милая, помни: Флобер почти де-сять лет «гонял» Мопассана[445], пока тот не написал, наконец, свою «По-буйи», — «Пышку». Ты слишком одарена, чтобы отступить, — перед трудностями, которые сама постигнешь. С сожалением, но отсылаю твою рукопись. Тер-пе-ние!..

Вот что еще... Я как-то осведомил литературного директора «Дю Павуа», что какое-то голландское издательство заинтересовалось романом «Пути» — французский текст. И вот, «Дю Павуа» у меня уже другой раз спрашивает адрес издательства, голландского. Что я скажу? Ты писала, что книжку услали в другой город. Есть ли надежда, что роман покажется интересным для перевода? Опять скажу: напрасно ты уклонилась от перевода... могла бы сказать — «да». Очевидно, почему-то издательству хотелось, чтобы ты взялась. Это не страшно: ты бы нашла, кто выправил бы твой текст. Так часто делается. «Пути» будут переводиться на итальянский[446].

Сегодня чудесное письмо из Холливуда, пишет русская, художница-карикатуристка[447] — и как тожественно с тобой, со многими, с Ильиным, — говорит о радости и незаменимости для нее «Лета Господня» и «Богомолья». «Эти чудесные книги Ваши для меня — “настольные”, не могу без них». Это третий случай за эти две недели. Читала мне княгиня Трубецкая выдержки из берлинского письма какого-то из князей Щербатовых[448], москвича. Я не знаю его. Прямо, благоговейное отношение... Это, конечно, не новость для меня, и все же это укрепляет. А эта художница трогательно пишет, что посылает мне посылочку, — свитер и проч. Да... что-то гомерическое... с гречневой крупой!.. Словом, она едет, и ее, кажется, сто-лько... — это заказ цюрихской американки, — что ты будешь с гречневой кашей. Я даже затрудняюсь написать количество... какое-то сумасшествие! Если бы мне сказали лет 30 тому, что придет пора, когда я получу из Америки «гречневую кашу»... — я бы засмеялся. А вот... «Чаша» будет издана в новом переводе, у «Дю Павуа».

Я тебе послал с 21 декабря ш е с т ь посылочек по 1 кило. Сколько ты получила? Непременно сообщи. Иван Александрович разнес меня, что без его разрешения послал тебе о Шме-

леве. И тут же благостно порешил, с благоволением: «так как “акушер” не имеет права дробить ребенка на части... гоните Оле в с е!»[449] Очевидно, его очень тронул твой отзыв. Ласково так пишет, с готовностью. И вот, завтра погоню в с е. С русским изданием «Лета» вырешится к 15 января. Будем уповать. Прочел бунинскую «Лику»[450], 2 часть «Жизни Арсеньева». Согласен с Ильиным — для чего сие писано? Ка-кой провал! Я выкинул бы четыре пятых сего — с позволения сказать — «романа» и свел бы к рассказику, и то — неновому. Вот ты поймешь, почему я сократил «Пути» на более, чем треть: ч т о получилось! Так, как я раньше дал, — 2 ч. — много подробностей очень, может быть, интересных, — могло бы быть оправдано, если бы роман был рассчитан на 10 томов. Подробности заваливали главное. И я проявил безжалостность. Увидишь — и поцелуешь Ванины г л а з а и «слух». Если приедешь когда в Париж, сама убедишься, мы с тобой вдвоем пересмотрим, п о ч е м у я так поступил... — это был бы очень плодотворный опыт анализа, очень полезный... — вот т а к-то и научаются. Ты сразу все схватишь, и скажешь: «как это важно».

В Париже все то же. Серова не вижу больше полугода, ни Ирины... — зачем мне они? летящая в ветерке пыль... засаривает глаза и душу. Ксения Львовна была с месяц тому, писал тебе. Ни-че-го. Я почти не выхожу. Отказался от публичного чтения д л я измайловцев — исторический полк[451] — н е м о г у разбивать себя, рисковать, — язва все еще нет-нет — и отзывается, мучительно. Диета моя — жестокая. «Венгерка» вызывает восторги. Поцелуй руку маме, от благодарного писателя. Чудесно. И — безрукавка. Вчера ездил к Зеелеру, обновил. Получил аванс от «Дю Павуа», в счет еще не сделанного подсчета продажи, будет сделан в январе. Значит, все же книга идет... — я уже покрыл, стало быть контрактный аванс, в 25 тысяч, то есть около 3 тыс. проданных экземпляров. Сейчас, по словам Эмерик, на складе ни одной книжки сброшюрованной, ждут из типографии еще, сразу не все брошюруют. Стало быть, прошли!

Голубка, пишу с трудом, язва... ложиться надо. Переломилась зима... Луковицы все еще не отосланы... сил нет. Трогателен Иван Александрович! Как он работает! И как заботлив ко мне!.. Юля... все та же. Завели курочек, и они дарят мне самые свежие яички. Как хочу скорей переписать «Пути»! Это радость — перерабатывать. Дивлюсь, как очищается! Поцелуешь терпеливца.

«Послесловие» к Чехову — все отзывы отмечают «незаурядность нового подхода». Все, без исключения, несмотря

на — верю тебе! — бездарный перевод К[андрейи]. Для милого д-ра Клинкенберга послал я лучшие переводы: «Солнце мертвых» (перевод К. Розенберг) и «На пеньках», перевод Артура Лютера. Лютер мечтает о «Богомолье». А «Чашу» голландскую Козловой послал — для смеха, очевидно. Как долго ты не пишешь мне. Почему? Тревожит твое здоровье, и мамино. Пожалуйста, напиши, не скрывай. Осмотр Ивана Александровича докторами — он жаловался на сердце — дал самый благоприятный вывод: переутомление, невроз. Последнее его письмо[452] — бодрейшее. Он — чувствую — ни-как к тебе не переменился. Это благоволение — «гоните Оле все». Я ему хорошо писал о тебе[453], моя радость, мой свет. У-мница! Береги себя, не спеши, будь упорна и радостна, веруй же в себя! Ты чудесна. И я так был растроган твоим желанием — показать Шмелева голландцам. Но еще не время, нужен повод. Конечно, я был бы счастлив, если бы ты художественно оформила голландскую «Чашу». При-дет пора... Твой кекс-бисквит... восхитил и Карташевых. Она очень просит рецепт. Пожалуйста, напиши. Сделай это для меня. Не взыщи за посланные мелочишки, — что в голову пришло. Жду фиников, пока нет. Про-шу: скажи, нужно ли послать лимонов, апельсинов, скоро должны появиться. У вас ничего же не ввозится, экзотического. А тебе полезно. Ради Бога, не отвертывайся, а прямо: Ваня, пришли. Это мне — радость. Эта зима трудно мне дается, все болею. Сейчас — на почту.

Целую тебя, Ангел. Благодарю маму. Напиши о здоровье — все, и о своем.

Как нежно люблю тебя! Ваня

533

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.I.47

С Рождеством Христовым, светлый мой, родной мой Ванечка! Как хочу, всей моей душой, чтобы ты был здоров, радостен, светел и творчески-горящим. Перед Рождеством Христовым (здешним) я была несколько раз в издательстве. К сожалению, «директор» или «содиректор» болен, и его дочь мне не могла ничего сказать о том, как дело с 5-ью книгами «Путей Небесных» — они их должны были продать. А я была для того, чтобы взять их, т. к. мои новые (и очень ценные в художественном смысле) знакомые в связи с концертом Жуковича заинтересовались «Путями Небесными». Я хотела их

подарить им и, во всяком случае, так или иначе распространить. Когда в последний раз я попросила поискать книги, — она сказала, что от отца слышала за это время, что они все проданы, «а если 2—1 остались, так мы их себе оставим». И не дала. Но меня интересовал разговор с ее отцом — будут ли издавать? Если да, то надо мне Алейду за бока взять. «Неупиваемая чаша» «Козлихой» — с болью скажу — и з г а ж е н а! Эту Козлиху я бы... Вздула веником по голому месту.

Она никак не овеяна искусством — эта Козлиха. Переводчик должен быть сам художник. Иначе нельзя. Как бы хотела тебе дать ее перевод Пушкина!

Ванёчек, очень тебя благодарю за дивные посылки. Я получила уже 6 шт.! Ради Бога, не шли дальше. К Рождеству нам выдали даже апельсин и лимонов. Я вся в оцепенении оттого, что ты не пишешь. Утешаю себя лишь тем, что ты в работе, машинка занята. Но томит сознание, что не черкнул словечка о получении моего (конечно, глупого) вступления к рассказу. Иначе — ты бы сообщил. По началу можно сразу судить — стоит читать или нет. За это время я послала тебе еще дальше[454] и вообще много писала, вся в тревоге от твоего молчания. Было письмо от И. А.[455], а до того я послала ему рождественское. Он возмущен, и в претензии и на меня, за то, что его «кусочками» читала о тебе[456]. Давно не получая от него вестей и не пребывая в его сфере, я прямо шарахнулась от его непомерной, нечеловеческой гордыни. Он — по меньшей мере Зевс с Олимпа. Он, пишущий о братстве людей, о любви[i], о храбрости и доблести, о вере и молитве, — он сам и не брат, и не любит никого, кроме себя и Н[атальи] Н[иколаевны], и не считает ни одно собрание верующих достойным его молитвы с ними, и страшный... трус! Он пишет верные и прекрасные вещи, но сам — как раз обратное тому, о чем пишет. Дышит он только курениями фимиамов. Попробуй, рассерди его... и тогда даже ты, куда более крупный философ!, не говорю уже о твоем искусстве, впадешь в Их немилость. Я чту его за его заслуги, и никогда ни перед кем развенчивать не стану, наоборот — я часто ссылаюсь на него, но душа моя содрогается от его гордыни. Не сердись на меня, но это так! Подумайте: какой грех, что писатель огромный, поделился его, Ивана Александровича писанием об этом гениальном русском творце с... другом... Ведь он знает, что я для тебя не первая встречная! Все письмо наполнено упреками. А я-то, «сдуру» — до его излияний написала ему, что не только сама прочла, но еще выпис-

---

[i] Подчеркнуто волнистой линией.

ки сделала да А. Схот дала. Воображаю, как он взбесится. А по правде сказать: нормальному человеку и в голову-то прийти не может, что на такое можно злиться. Не люблю гордецов! И его, И. А. — не любит моя душа. Его я читаю только мозгом, но не душой, и не сердцем. Не сердись на меня за это... Вчера, первый день 1947 г. я провела скверно. Мой дух снова упал. Мне очень тяжело. Я лежала весь день и плакала. Я ничего не могу. Я все испепелила. Зачем ты мне прислал акварельки?! В душе моей очень темно... бездорожно и тяжко. Не могу всего объяснить. Невозможно это. Знаешь, как надо по-русски прочесть Козлихино заглавие «Чаши»?[457] — «Никогда не опорожненный бокал!» Даже смысл другой, хоть бы сказала «не опоражниваемая». Я бы сказала: «Onuitputtelijk kelk» — т. к. «Неисчерпаемая; неистощимая Чаша». Kelk — сосуд, употребляемый в церкви для Таинства Причащения Св. Тайн, а ее «Beker» — сосуд для питья молока, пунша и т. п., нечто, что в форме стакана, но не из стекла, а либо из металла, либо из фарфора или глины. Из таких «bekertje'в» дают ребятам суслить и слюни с соплями туда пускать. Kinderbeker...

Kelk — только в церкви, никто кроме священнослужителей не касается. Еще говорят о тюльпанах, что у них цветок в форме «Kelk». «Bloemkelk»[i]. Как и у нас: «чашечка цветка». Она не расчухала дура, что твоя Чаша — Святая Святых, а слова ведь на службе у предметов. Сколько их... чтобы выразить, хоть приблизительно сущность. Прочтет читатель заголовок и подумает: ...«что такое? Проделка фокусника что ли?» Какой-то (самый обычный предмет обихода) и никогда не опорожнится...» А прочитавший о «Ч а ш е» почувствует тотчас всю глубину, и святость, и мистичность. Я бы запретила Козлихину работу. Она, например, пишет: «кто-нибудь под влиянием обстановки запоет арию из “Русалки”, и делает сноску: «Roesalka — Opera Даргомыжского». Все правда, конечно, но где твое? Где аромат и настроение? Хоть бы сказала, что там о берегах поется... И именно... тенорок-то... неважненький, а вот... пронимает каждого... Ничего нет. У меня, к сожалению нет русской «Неупиваемой чаши» — она у Схот, но то, что я наизусть знаю, сличаю. То же и о зарослях черемуховых на островке. Только и сказано: «перильца сгнили... пройти невозможно». Да таким еще языком, что надумаешься... О чем это она? Для меня такие переводы — повод к желчи. Кстати о желчи: у Сережиной хозяйки квартирной г о - д ы муки с печенкой, до отчаяния. Последнее время

---

[i] Тюльпан (*голл.*).

каждую неделю, и доктора советовали операцию, как *единственное* средство. Она панически боится. С отчаяния-то этого и пошла к моему Velp'скому избавителю. Тоже крупинки и капельки, через месяц велел явиться. Баба... просто говоря... дохла, — ну попринимала, пришла. Осмотрел и сказал, что думает, что поможет и еще открыл камни в почках тоже. Вот уже месяцы идут, а припадков нет. Посмотрим. Она пошла без веры к нему, с отчаяния, дескать, все надо попробовать. Сама говорит, что если ее, такую «hyperchronisch»[i] вылечит, так будет чудо. Я уверена, что так и будет. Позволь ты мне, Христа ради, тебе выписать у него что-нибудь от З о н А, ведь ему-то сказано, что рожа была. Я верю, что поможет. Ты ничему моему не веришь и ко всему с опаской. Кекс, который я тебе посылаю, сделан из лучшей, американской муки, яиц, масла, сахару. Самое легкое и тебе не вредное, но ты упорно не ешь. Почему? Между прочим, Ильин пишет в «P. S.» (а подпись *не* ставит): «хорошо сделали, что помогли Ж[уковичу] — это друг моего друга». Ты ему писал об этом?[458] Откуда он знает? Видишь, опять: если мое, то уж по одному этому стоит. А если нет? Подыхать? Или только Их благословения не будет? Мне противно это, Ванёк. Нет, лучше как ты — в другую сторону, пусть и с перетяжкой... Ты — всем ласка, сердце. Однако я благодарна ему за любовь его к тебе, и за заботы. Доклад о тебе я бы сделала в обществе у нас. Там много «веских» людей. Знаешь, Голландия маленькая: один узнает, а от него и все. У нас всяческие доклады читают. Например, «Вторая поездка Петра I-го в Нидерланды». Это интересно, но... для чего? И прочесть можно, кто хочет. Я бы сказала о русском сердце, о русской душе. Кто их отобразитель, изобразитель? Воплотитель??? Знаете? — Нет? Так слушайте: «это Ваш современник, великий русский писатель, вне истории времен и пространства, это... вечный русский гений... Иван Сергеевич Шмелев. Больше: И[ван] С[ергеевич] вмещает в свое исконно русское сердце целый мир — он всемирен, ибо никто так не раскрывает искру Божию в сердце человеческом, как он. Будь то русское, французское, или... китайское сердце. Вы все его поймете, несмотря на то, что быть более русским писателем, нежели он — нельзя. Как в зеркале пройдет перед Вами все то, что тщетно ловите Вы кусочками из русской литературы, искусства, фильмов. Россия вековая, бытовая, вся сущность ее... от Владимира-Красно-Солнышко, до... сколько ей Бог еще положит веку — Россия в ее радости, и скорби, и молитве пройдет перед Вами

---

[i] «Гиперхронический» (*нем.*).

и войдет в душу, хочет того читатель или нет... Вот в этом смысле сказала бы жаждущим слепцам, тыкающимся в угол. И избрала бы из твоего. Потому и писала: «назови, укажи!»[459] До перевода и издания книги, чтобы когда появится, ее расхватили долгождавшие твои друзья. Понял? Вечер я бы устроила художественно. М. б. циклом. М. б. с отделениями песни и танца. Беатриса меня не подведет. Она как к матери ко мне, в глаза так и смотрит, не сморгнет... Мечтаю, Ваня!

2.I.47 вечер

Собиралась слать было телеграмму тебе с запросом о здоровье, но пришло, наконец-то (!), письмо[460]. Спасибо, Ванёчек! Я огорчена твоим нездоровьем. Ну, могу я писать доктору Wonters'у? Как пишется ЗонА? И что это такое? От чего она? Я и от «язвы» попрошу дать что-нибудь. Ваньчик, ты можешь кушать кекс. Он очень легкий, чистый бисквит. Рецепта нечего давать — обычный русский бисквит, пусть прочтет в любой поваренной книге, хотя бы Молоховец[461]. Я никогда, никому никаких рецептов не даю, по совету одной старой, хорошей хозяйки, которая даже одной из ее дочек не дает, т. к. та коверкает рецепты, а потом идет «уродец», под флагом ее рецепта. А тут — чего проще: прочти в книге, и все тут! Мой рассказ не по душе тебе... Вижу. Конечно, тут не много, лишь начало, но и по нему ведь можно же судить. Я думала дать к «A.R.A.» в сноске пояснение: «American Relief Administration»[i] — помощь американская в голодный 1921 год всюду на пострадавшей территории России. А засорять текст справками политического характера не хотелось. И еще: сноска к «ВХУТЕМАС»[462], которая бы пояснила, что это — Высшие, художественно-технические мастерские, — переименование дореволюционной художественной школы. Эти сноски все бы и исчерпали. Как ты думаешь? А как тебе — сравнение профессора себя с антикварным стулом среди обстановки модной парвеню?[ii] Такой он ведь и есть. По существу очень ценный, а вот... этими новыми несомый в будущем скором м. б. под плесень. Это так и было. И сам он, уезжая, так и говорил. Это ведь все — быль. Девушка «на острие» — конечно. Это же я. А я не только на острие была, а еще на раскаленном даже острие. Увидишь. Мне трудно иногда писать от воспоминаний. И знаешь, я до того увлеклась, что в рассказе, ну, совершенно как в письме тебе, забылась и стала мою девочку называть от

[i] «Американское управление помощи» (*англ.*).

[ii] Выскочка (*от фр. parvenu*).

лица мамы «Олей», хотя она ведь у меня Нина. Мне мешают другие «лики»... Недавно стояла на канале и вдруг увидела всю лживость одной моей картины, предполагающегося «романа», тоже на канале. И все переделала внутри себя. Хочется записать, а то вдруг ускользнет. У меня часто ускользает мысль и тогда очень мучительно. А то вот эти дни томит, вдруг «родившийся» рассказ о няне... Помнишь, я о ней тебе писала?[463] Вот вижу ее и вижу, и все, чего и не было... А надо сперва одно кончить. Я мучаюсь... И вообще у меня смутно в душе. Я много плакала. Ты не мучь меня молчанием!

Читала 2 книжки русских современных писателей т а м. Ты знаешь, интересно... вижу то, что раньше старались стирать и заглушать. Помнишь «без черемухи»?[464] А вот теперь... так много, и такой хорошей, свежей «черемухи» у любви. Ты помнишь? Молодежь все та же, ищет свою «голубую птицу»! Вне политики все хорошо. Душа-то — она все та же! И это чудесно. Но иначе и не могло быть. Не может быть!

Целую, Ванёк. Пиши! Оля

[На полях:] Я браню голландцев, но для художественной литературы, для восприятия ее — это благодатная почва. Они серьезны, и особенно те, что в этом кружке. Я пригласила бы туда своих знакомых. А те... в больших кружках «России-видения» при университете расскажут... Целую тебя. Пиши, не томи! Оля

Dr. Klinkenbergh при всем своем мужественном спокойствии, крайне страдает. Его матушка все еще мучается, но жива. Он написал письмо, в котором сознается, как ему тяжело ее утратить. Она воспитала 11 человек детей, вдовой 40 лет оставшись.

Тороплюсь устроить перевод денег издательству за 5 книг, но банк тянет.

[Поверх текста:] Я вошла в раж! До того хочу тебя им показать!

Напиши же — впору ли тебе венгерка? Носи ее! Прошу. Очень! Зажги ёлочку, верю, что подоспеет к Рождеству Христову.

534

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27 дек. / 9.I.47

Ольгуночка-голубка, вчера, к 5 дня принесли твою посылку. Чудесная «елочка»!.. Любуюсь. Поставил к образам. Зажгу 19-го, — Крещение, — в память Сережечки моего. Родился на исход Крещенья, в 11 ч. 30 мин. О, как холодно было в квар-

тирке нашей! — жгли с утра «молнию». Оля была в опасном положении, большая потеря крови, я ночью побежал за известным акушером, — принимала моя сестра Соня. Какая была радость, и — какая же тревога!... Вот, зажгу твою «елочку»... пусть хоть один буду. Да я и так один. Ты — вдалёке... Но ты у меня в сердце. Ты — в «елочке». Она светит мне. Целую твои ручки, художник! А масло и кекс вчера почал. И масло очень вкусное, куда лучше парижского. А о кексе и говорить нечего — та-ет. Слава Богу, юльсер затих, и вернулся аппетит. Но «зона» (Zona) зонит... и будто уж освоился — ну, зони! Благодарю, родная моя, за ласку твою, за твои заботы. Праздника не видел, — писал ежедень. «Пути» — много выиграли. Переписал — выправив — половину. По-новому сцена на Зуше, у «Касьяныча»[465]. Схватил, что надо. Роман получит легкость, быстрое движенье. Каждый день — переписываю 7—9 стр. Кончить должен через 15 дней. На это у меня терпенья с избытком. И теперь легко влечу в 3 книгу. Многое перестроилось. Ты поймешь — и скажешь: молодец, В.!

Ты затронула острый вопрос — о «цельности» писателя и человека, говоря об И. А. Старый, больной вопрос. Ты излишне строга. Помнишь Пушкина? «Молчит его святая лира; — Душа вкушает хладный сон, — И меж детей ничтожных мира, — Быть может, всех ничтожней он. — Но лишь божественный глагол — До слуха чуткого коснется, — Душа поэта встрепенется, — Как пробудившийся орел...» — «Поэт». И еще, он же говорил: «Читатели... — приблизительно, не точные его слова... — любят, когда узнают, что писатель слаб и порочен, как и они... “Врете, подлецы!... да.... но не как вы, а по-другому!”»[466] Некрасов разительный пример: картежник, лицемер, жесткий копеечник с сотрудниками... да. Но его стихи о Матери[467] — останутся. Я не большой его почитатель, но все мы получили от него... За одну строчку из «Крестьянских детей»[468] — «Но мальчик был мальчик, — Живой, настоящий, — И хворост, и дровни, и пегонький конь, — И снег, до окошек деревни лежащий, — И зимнего солнца холодный огонь... — Все, все настоящее, русское было...» — за эту последнюю строчку многое ему простится. Ты видишь этот «холодный огонь». Худшее в И. А. — от его — «персти». А другой он, национальный мыслитель и уставщик, — он скольких выковал! — национальное достояние. Разве я не знаю в себе «маленького»! дурного? Я вон и в церковь-то не хожу... а — зову к ней! Господь да простит ему! Он хорошо к тебе относится. И, конечно, считается с твоей оценкой. Иначе не написал бы: «гоните к Оле все, вот вам, разоряйтесь».

На этих днях пошлю тебе посылочку. Мне подарили нечто бретонское, — я это люблю хрупать, но не коснулся: жаль раздирать целофан, надо держать сухо. Схрупай поскорей, это как воздух. Не знаю, что ты особенно любишь, напиши. Миндаль? Финики еще в дороге из колоний. Но бананов пошлю. Каждый день ем, они отличны, должно быть, для помощи пищеварению. Чего-нибудь наберу. Апельсины пока редки, будут недели через 2—3. Пошлю, а пока парочку и лимон.

Не смущайся, а пиши рассказ, и присылай целый. На днях, перечтя, пошлю два отрывка. Ррработай!.. А надо — выправишь, после, — а пока — текись. И не горюй, родинка, не плачь... как бы я приласкал тебя, моя птичка! так нежно, как сердце плачется. И как чисто! Вчера, получив твою посылку, в рассеянии запер себя, и ключ остался по ту сторону. А двойник в других брюках, тоже «по ту сторону». Слава Богу, через 5 минут знакомый слесарь открыл, и я обнял твою «елочку». Ты виновата... «голову потерял». Оля, как хотел бы все свое знание искусства перелить в тебя! Но это можно лишь приблизительно, и — лично, по-верь! А письма... нет, тут «заочное обучение» не годится.

Не знаю, получила ли цветок. Я заказывал или красную азалию, или ландыши. Заказал 2 или 3-го января. Лично. Меня очень тормошили перед Рождеством и надо было еще лежать, от болей. Еще раз: не посылай деньги издательству Павуа, я с ними сочтусь, они мне зачтут в авторские экземпляры. Не одолевай А. Схот. Пусть сама пожелает, если получит толчок душе. Как нашла перевод А. Лютера? и Кэт Розенберг? Напиши. Тебе не потрафишь. «На пеньках» как?.. Трудно для перевода. Как в «Солнце мертвых» диалог сходящего на-нет старого доктора[469], — полубред.

Мне стыдно, но я перемогаю стыд и прошу: возврати мне твои акварели, все! И — если не отдала — «Ярмарку». Я ее вижу до сего дня. Целую и говорю: прямись, не поддавайся, — достигай! Верю в тебя крепко. Твой Ваня

Маму благодарю за венгерку, она — шик! Хоть в гости. Я боюсь ее затереть, не работаю в ней, а — в чем попало.

535

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.I.47

Мой дорогой, родной Ванюшенька!

Спасибо тебе за письмо, за трогательное твое тепло ко мне, за желание послать цветок (не разрешено их посылать,

и я не получила, — имей это для магазина в Париже в виду), — я приняла это желание в сердце. Мне больно только, что ты в болезни все. Что же наконец это за история с глазом? Что говорит Крым? Как пишется зонА? Чтобы мне спросить совета гомеопата? Получила рукопись И. А., — буду читать. Ему я тут часто писала, сегодня 3-ье письмо. Была по его поручению у одного голландца в связи с изданием его книги. Удивительно приятная семья, совершенно без гонора здешнего. Мне было странно таких людей, да еще гаагских уроженцев, — тут встретить. Они очень меня звали к себе и собирались ко мне. Ну, посуди: издатель и чудесная переводчица — мои хорошие знакомые! Дивно. Я для тебя их уж залучу. От Схот пока ничего не слышу, но она и не могла, т. к. сиднем сидит над Гаршиным. Degelder[470] (издатель, или подиздатель Ивана Александровича) читал «Неупиваемую чашу» и в восторге от нее. Чутко-пытливо старается узнать все наше. Бывает в церкви. Оказалось, что мы рядом с ним стояли на всенощной в сочельник, только я его не узнала, а он так и ахнул, когда мне открыл двери. Я его аккуратно так наводила... Говоря, что мол, так все интересуются русским, а стреляют мимо цели... ищут у Гаршина чего-то, а проходят мимо подлинной России, такой яркой, как ни у кого... «Как так?» А я с невинным видом, будто меня и не касается: «да вот у современника Шмелева...» «Шмелев? Я знаю... “Неупиваемая чаша”... ?? Постойте “Kellner”[i]? Чудесные вещи... Но почему его не переводят? И Ильина вот тоже...» Я говорю: «так ведь и можно бы перевести-то... куда уж лучше Схот...» И тут все разом и он, и жена, и дочка: «скажите, как русская, как она передает русское? Мы читаем ее страшно охотно, ну а как она русское понимает? Это же так трудно...» Я сказала, как я нахожу ее.

И добавила, что в переводе Схот они бы весь твой аромат «Чаши» поняли. Я им и о «Богомолье», и о «Лете Господнем» рассказала.

И спросила: «по-французски читаете? Хотите в французском переводе шмелевский роман, из последних, над которым еще писатель трудится, подготовляя II часть к изданию?» Тот только передохнул и, засияв, ответил: «Ну, Господи, и Вы спрашиваете? Конечно. Безумно рад буду!» Пошлю ему «Пути» эмерикового [облачения]. Я им думаю вообще дать особый ход, пуская книги по рукам лучшей публики, моих знакомых. Уже имею несколько адресов. Приглашена к иллюстратор-

---

[i] Здесь: «Человек из ресторана» (*букв. официант, нем.*).

ше, о которой когда-то писала. Она хочет показать какую-то ее работу, прежде чем ее отошлет, хочет слышать мое мнение и просто повидаться, и поговорить о ее новой работе. Я это очень ценю. Думаю двинуться 15-го и взять все, что еще у меня цело, чтобы все разобрать по орешкам. Золовка из Америки писала, что от этой иллюстраторши слышала, что она от меня в... «восхищении», по устройству концерта Ж[уковича] — ей, очень понравилась декламация. Вчера был концерт русского тенора. Дивно! Это тот, который меня приглашал говорить о Ж[уковиче], и его жена оставила обедать. Помнишь, писала? Бешусь, что нет машинки и ежечасно ругаю Ксению Львовну. Дела масса. И как это люди скучают или убивают время в карты?! Из новостей: скончалась матушка д-ра Клинкенберга. Он убит предельно. Я была у него. Он не мог говорить от рыданий, стыдился их, сдерживался, и весь содрогался в плаче. Его экономка мне сказала, что он убит больше, нежели кто мог ждать. Сидел в халате у печки, — когда вошла, — чуть поднялся, осунувшийся, бледный. Н и - к о г - д а бы раньше не принял так, — всегда в форме крайней. «Я не знаю, что бы я делал, если бы вот ее не было...» — кивнул в сторону собачушки, которая его всего излизала и изласкалась. И потом так горестно: «ах, все они — мои сестры, братья... не одни несут это горе... Я всегда одинок...» Так тоже никогда бы не сказал прежде, не показал бы слабость, он — вечно бодрый. Потом каким-то потоком лилась вся история его матери, с детства ее, с рождения даже. Он вспоминал всякую мелочь, всему вдруг придавая значение, и открывая мне совершенно не по-голландски. Здесь считается дурным тоном так себя вести. Пока что не дала ему книги. Он весь измотан. Он остался после отца тоже 9—10 лет и все спрашивал меня: «а как Вы перенесли это горе?» Жаль его.

[На полях:] Пока не пишу рассказ. Очень суетно, но он очищается в душе, и я его скоро пришлю. Если бы машинка! Целую, роднуся, будь здоров! Оля

Здоровье — ничего. Бросила йод. Хочу поехать к гомеопату, не верю в йод.

536

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.I.47

Олюночка, светик, — твоя колотовка — мудрая. Вчера получил посылку, — лучше не придумать: две ленты (! — есть

на работу), 2 пакета гречневой крупы дробленой (уже варил кашицу, — bien![i]) И еще — масло сливочное в банке, сыр, молоко... — tres bien![ii] Напишу. Но... на каком языке? По-французски поймет? Если нет, дай мне немецкий текст, краткий, но выразительный. Чем возмерю?! М. б. немецкую книгу какую послать? если найду. Я смущен, какое право мое — получать т а к о е от не-читателя? Знаю — ради тебя это. Целую твое сердце. Лучшей — удачнейшей — американской посылки не получал еще: все мясо, патэ[iii], чего нельзя. А тут еще и две коробочки чаю!

Давно нет писем от тебя. Жду — волнуюсь.

Какой цветок подали тебе, если подали? Я сам заказал — а з а л и ю, алую. Уплатил достаточно + taxe de luxe[iv], сверх лавочного % — 20.

Или — нет азалии — л а н д ы ш и!

Черти, должны были доставить 7 до midi[v]. Извести.

Я переписываю «Пути» — на новой ленте — колотовкиной.

Напиши ей, скажи: м у д р а я. И желаю ей и Пушинке — с ч а с т ь я. И бу-дет оно.

Целую тебя, спешу.

Сегодня, за час, 4-ое письмо пишу. Спешу на завтрак с архиепископом.

Круг читателей — ох, как ширится!

Плывут посылки. А чем возмещу? Нет у меня книг.

Слава Богу, язва спит (притворилась?), но стерва-Zona — жалит. Пошли крупинки от твоего гомеопата. Все выполню.

Так бы и п о ч и т а л тебе новые «Пути»! И ты, сравнивая оба варианта, многое поняла бы. Вот такая должна быть у ч е б а. Ли-чная. П и ш и, верь, до-би-вайся.

Все будет отлично, верю.

О, как язвит Zona! Исскребся.

Чудесен твой кекс!

Твой всегда Ванёк

---

[i] Хорошо (*фр.*).

[ii] Очень хорошо (*фр.*).

[iii] Паштет (*от фр. pâté*).

[iv] Налог на предметы роскоши (*фр.*).

[v] Полдень (*фр.*).

537

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

11.I.47

Светлый, родной Иван Сергеевич!

Сию минутку привезли мне Ваш душевный живой привет к Рождеству Христову и Новолетью. Я так тронута, что не нахожу слов. Спасибо Вам! Но и больно мне, что все-то Вы о других думаете, урывая у себя и время, и силы, и прочее. Зачем Вы так? Одна веточка елочная в письме дала бы мне ту же радость, а тут такие хлопоты... Спасибо Вам. Мне больно, что Вы мучаетесь с недугом. Как бы хотела Вам облегчить его... Но как!? Чудесную азалию, розовую, ласковую я приняла в душу и сердце. Она стоит у елочки, которую я хочу еще в последний раз зажечь 13-го янв. Она в воде и потому свежая совершенно. Получили ли Вы мою «елочку» Вам? Неужели же она так запоздала? Как Ваш желудок? Дорогой мой, несравненный, И. С., — да пошлет Вам Господь Бог светлый, радостный год и хорошее здоровье.

Я прямо болею тягой к работе и очень страдаю от технических невозможностей: нет угла, нет покоя. Потому и рассказ застрял. На днях, когда Dr. K[linkenbergh] плакал о матери и все спрашивал, как я переживала смерть папы, — я до того ясно увидела свой рассказ, что чуть-чуть ему не рассказала за сущую быль. Там зерно — быль, но «построено» и на «художественной правде». В жизни не было так все точно, но я так вижу, а теперь и сама верю, что именно так все и было. Благословляю Вас и обнимаю. Ваша О. Б.

P. S. Послали ли Вы мои фрагменты? Я их не получила.

538

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.I.47

Дорогой Ванюша, от тебя нет писем...

Верю, что работаешь. Сегодня — чудесный день. Весна! Получили с мамой твои письма... ах, уже так давно. Спасибо тебе за чудесное в мамином письме[471]. Не шли мне ничего. У нас все есть, а экзотику береги себе. Цветок твой ласковый — густо-розовая азалия. Как благодарю! Вань, ты *должен* носить ежедневно, работать в венгерке. Для этого ее и сделали. Износится — будет другая. Очень прошу! Если любишь —

сделай. А то буду думать, что не нравится. Ах, Ваня, я в таком каком-то... душевном вихре. Долго ли будет метаться мое сердце и рваться на части?! И как мучительно... Я, с тех писем к тебе, вправду бросила рисование и хотела уйти от этого искуса, забыть его... Недавно еще писала (к Рождеству Христову) письмо Нате[472] в ответ на ее восторги моими работами, что это вздор, что я не хочу больше и думать, что я кажусь быть может смешной людям моим псевдо-искусством. Я чувствую так. Не могу иначе. А вчера... была у художницы — той, что иллюстрирует. Помнишь? До того, как показать ей крохи мои, я просила: «я обращаюсь за твоим судом, разборкой, бранью... С чего показывать? С начальных или последних?» — «С начала». Молча все отдала ей. Тут была ее племянница (очень от искусства) и детки. Она с восхищением вскрикивала и потом отдавала племяннице, которая многозначительно ей кивала головой. Когда дошли до твоих ягодок, то Люси показала детке — девочке своей и спросила «что это?». А та сказала: «snoerig» — т. е. прелестно, повторяя слова матери, которые она то и дело употребляла. А потом сказала сама по себе: «какие вкусные смородинки...» Я так разволновалась, что чуть не забыла мой портрет... Когда его Люси взяла, то сказала: «ого, ты тут здорово уже плывешь...» Мне хотелось слышать ее разбор, и я все просила, а она сказала: «знаешь ли что? Ты относишься к тем, кому необходимее показать достоинства, а не недостатки. Ты, — для меня это очевидно, — не понимаешь своего лучшего». Она мне давала указания для того или иного «отделочного» усовершенствования и завершения моих брошенных вещей. В восторге от лилий, тех, которые Dr. K[linkenbergh'y] нравились. Будто бы — завершенная картина. Она только все спрашивала: «да как ты ко всему этому пришла? И никто не знал об этом!» Эскизы к «Неупиваемой чаше» ей *очень* нравятся. Не советует переделку, как думала я. Мы дико торопились с мамой, т. к. опаздывали на автобус. Жаль. Она выбежала на крыльцо и вслед еще кричала: «Ольга, ты не оставишь! Не смеешь забрасывать!» Я сказала ей, что эскизы к «Неупиваемой чаше» были забракованы. И лубочностью их и «полотнами» — не понравились. Она этого не поняла и сказала только, что это видимо дело вкуса и стилей. Смотрела ее работу... Восторг. Ах, какие чудные мотивы на миф «Амур и Психея». Люси — вся женственность, ласка, чувство... Как бы хотела с ней работать! Она моего возраста, м. б. юнее, мать 3-х детей. Какие детки! Муж — композитор — бросил ее для какой-то шлюхи амстердамской. Он тоже очень талантлив.

Не спала и все переживала каждую из своих вещей. Как? Как надо работать? И снова это рвенье сердца. Но разве нельзя и писать, и живописать? Читаю И. А. — он прав, нельзя его детище рвать на части. Но я могла, т. к. знаю его «Основы художества», а на них-то все и основано. Мне его вступление массу дало и дает. Хотела бы всегда у себя иметь. *Куда* мне послать его рукопись, тебе или прямо ему? Напиши. Я кончаю читать. Вчера дома взволновалась одним письмом — одна чудесная русская душа пишет Сереже нечто вроде дневника, из Берлина. Некая Дуся[473], его очень давняя, почти детская любовь. Как жаль, что это ушло. Теперь она мамаша 2-х ребят и жена полу-немца. Дивное письмо. До слез. Сережа смахивал тоже с глаз. А он у нас — кремень. Получила письмо от той дамы, которая должна была дать указания о переводчице, дабы ты поверил моей оценке об А. Схот. Прилагаю[474], но постараюсь к ней все же поехать. Я очень тороплюсь, — вся в рабочем зове. Хочу скорей писать, а день так короток. Читай рассказ целиком. Отошлешь, когда все прочтешь. Целую. Оля

[На полях:] Золовке можешь писать: по-французски, английски, немецки. Лучше по-французски. Если уж так хочешь, то можешь послать ей французские «Пути Небесные». Но это совсем не необходимо. Она — не Даринька, но м. б. Д. ей укажет Пути. Она вся материя, хоть и художник.

Прости краткость — в работе.

Я очень тебя люблю.

539

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.I.47

Дорогой Иван Сергеевич!

Не знаю, что и думать — от Вас совсем нет вестей. Утешаюсь мыслью, что работаете м. б.? Но как Ваше здоровье? На Крещенье я была в Гааге, чтобы попасть ко всенощной и за обедню. Исповедовалась и причащалась. Мой ночлег был совсем у моря, и слышно было как ночью шумело оно прибоем, а я лежала и думала о том, как много лет тому назад... в Москве родился один мальчик...[475] Прекрасная была обедня, — церковь еще в елках... молилась об этом мальчике, о его вечном покое... и о его маме. Много думала о Вас. Напишите же, хоть кратко, как Вы живете? И сообщите, кому отослать манускрипт И. А.? Ему или Вам? Я почти кончила. У нас снова похолодало, но не хочется думать, что мороз расшалится

опять так, как было одно время. На днях, в телефон сказала мне г-жа Roebroek-Peltenburg, что очень бы хотела меня видеть, когда буду в Гааге, но что книги везти не стоит, т. к. она массу читала переводов Схот и знает ее как самую лучшую из всех переводчиц. Я никак о себе не напоминаю Алейде Схот, — почему Вы это думали? Она очень занята Гаршиным «по контракту».

Несомненно, она меня известит о своих намерениях касательно Вас. У меня какое-то смешанное настроение: и хочется работать, и — нет, т. к. нервирует бездомье, вернее безкомнатье. Хоть бы угол свой! Только сядешь — непременно кто-нибудь придет и займется делами. Я издергалась этим. Кляну халатность К[сении] Л[ьвовны]. По ее милости сижу без машинки. Печатать я именно теперь бы хорошо могла. Всюду пробую достать машинку, — жду ответов. Милый И. С., напишите, как Вы. А пока благословляю Вас и очень много о Вас думаю. О.

P. S. Цветок — прелесть. И много еще будет цветков. Весь в бутонах.

С переездом в «Woerden» — масса хлопот и пренеприятных.

540

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.I.47

Дорогая Олюшенька, давно не писал тебе, — были сему причины: болезнь моя, — все продолжается этот ужасный «зуд»! — и — неотвязная работа над романом. Закончив его, я з н а л, что вернусь: было недовольство, сознание, что м о ж н о сделать лучше... И вот, полтора месяца я ломал текст, отсеивал. Суди сама: вместо 308 стр. — осталось, с изменениями и вставками, — 190. Вместо 48 глав — 54! Теперь главы, в среднем, по 3—4 страницы, роман получил больше живости, ускорения... и — убедительности художественной п р а в д о й. Последнюю главу — «Пути в небе» — я изменял раз 15! Вот на таком примере, сличая и постигая, почему изменено, и можно у ч и т ь с я, как надо писать. Но т о л ь к о — в и д я и сравнивая тексты, а не в письме. Письмом ничего не скажешь. Работал по 10—12 часов в день, б о л е я, растирая по забывчивости раздраженный глаз, — я бросил и успокаивающие мази! и чрезмерно устал. У меня уже не хватало сил на письма. Я, буквально, валился... Теперь поставлена последняя точка. Больше, л у ч ш е — я не могу. Совесть спокойна.

С изданием «Лета Господня» — как будто вырешилось положительно: редакционная комиссия — это дикое правило этого издательства (YMKA-Press), издающего, главным образом, книги духовно-философского содержания, применено и к Шмелеву! — русско-американское издательство «Имка», — относится к «христианскому движению», — признало желательным издание и переиздание. И. А. писал мне:[476] «смех... войдут в историю русской литературы! как Жданов, запретивший “маленьких” — А. Ахматову и Зощенку... Таков удел нас, людей публичных... мы, как фонари: сверху свети, а внизу каждая шавка “останавливается” и... но та хоть понюхает “до” и “после”, а то пьяный остановится и пробурчит “не те” слова...» Ну, ладно... за чем же дело теперь? А — «за окончательной резолюцией некого американца[477], говорящего по-русски, “главы”... всего дела». Мне сказали, это проформа... подпись его необходима, чтобы сдать в набор. Но тут снова «но»: типография забита работой, работают лишь 4 машины линотипных из 6, ввиду нехватки линотипистов... так что начнут набирать не раньше второй половины года...

Вот и все мои новости и докуки жизни. Впрочем, есть основания уповать, что, наконец-то — может быть! — появится свободная от советского духа русская газета... у меня были и просили. Я дал согласие. Может быть, в ней-то и начнет печататься регулярно 2 ч. «Путей»... — главками. Как раз я эти главки свел к 3—4 страничкам каждую. Но пока — верного еще нет.

Я тебе заказал красную, пунцовую, азалию, а вот доставили — розовую! Я не люблю розовые цветы... не выношу, особенно, например, гортензию!.. Люблю голубое, алое и особенно — белоснежное. Ну, — синее. А розовое... — и вот, черт их побери! — ро-зовую азалию! Это меня раздражило.

Я растерялся: что же я пошлю тебе, маме?.. почему такая уклончивость — сказать просто, как близкому, раз он спрашивает — что послать?! «Нам дорого, что хотите послать...» — пишет А[лександра] А[лександровна]. Ты — «символический миндалик»! Это прежде всего — психологическая неправда: подарки приятны всем! не «желание», а именно осуществление его. Мне приятно, когда я знаю, что посланное принято с удовлетворением, — и я теряюсь в догадках, и пропадает воля... я мнусь, не решаюсь... — нет воли. Так и не пошлю... а ждет давно. Требую: скажи точно, что маме и тебе приятней. Теперь можно доставать апельсины, лимоны, винные ягоды, как в России, в вязочках, финики... я купил 2 кило.

Шоколад — есть плитка. Бретонские крэпы... орехи, миндаль, изюм... кончится тем, что я... рассержусь.

Про зонУ уже писал: пишется, как говорится: — ты невнимательно читаешь мои письма. Зэт, Он, Наш, Аз! З О Н А. Z O N A. Довольно?.. Эти запросы длятся уже 3 месяца. Ты написала: есть чудодейственное средство от язвы, а не написала — какое. Я время от времени страдаю... но я привык, что нет помощи. И все же не покладаю рук и головы — воли... и — работаю. На днях меня ах-нули: пришлось за «тэрм»[i] — 3 мес. за квартиру — внести... до 5 тыс. это — за отопление! Не могут по квартирному закону набавлять за помещение, так жарят «шаржами»[ii]. Но я обошелся, выпиской из Швейцарии. Отчета за «Пути» французские — все еще нет. Нет и договора на «Чашу», в новом переводе, хоть Эмерик и божится, что ждет подписи, директор «застрял» в Марокко. Вижу ясно, что 2 часть «Путей» н и ч е г о не скажет иностранцу: это н а ш е, только, по духу: это первый опыт русского «духовного» романа... — теперь ясно вижу в с е. Роман недоступен — за отсутствием «внешнего», маленького, интереса-интриги, — чужим. Если бы и настаивал издатель — н е дам. Мне скучны их глупости — «тройки, цыгане, баляляйкис...» — к черту «баляляйкис»! Им давай «альковное», ню и проч. Наша «стихия» н е влезает в мышьи мозги и мышьи души... Достоевский еще влечет «трагическим». Да много и от «снобизма»... — п о н и м а ю т-де... в с е! от печки скачут.

К а к я могу дать — «Богомолье»? ч т о — воспримут?! Ни-чего. И — «Лето Господне»! Очень им нужен Горкин? Умрут от скуки.

Не хлопочи о моем: предоставь свободной воле переводчицы. Придется по душе — ладно. Нет известий о движении немецкого издания «Путей», — I-ой части. Жду.

И. А. Ильину не писал 3 недели, вчера написал[478]. Очень я устал... но зато я не видел — почти — зимы! Дни длиннеют, но зато мороз усилился. Я почти мерзну, но не хочется возиться с печкой. Жмусь к радиатору... страдая от зуда. Попробую впрыскивать ноакаин в области «зуда», — говорят — раздражение поверхностных нервов...

Твои письма кратки, отрывочны... но я отношу это и к твоей разбитости... и к заряду работой... Писал тебе — верни акварельки! дай мне «Ярмарку» — нет ответа... ты опять г д е -то... Ну, Господь с тобой.

---

[i] «Квартирная плата за три месяца» (*от фр. terme*).

[ii] Здесь: оплата коммунальных услуг (*от фр. charge*).

Да, очень важно. Скажи мне прямо: чему я обязан, что твоя золовка прислала посылку? как я возмещу, деньги нет возможности пересылать. Это — на твои средства?.. Но ты-то как сосчитываешься с ней? она, ведь, разошлась с мужем и, вероятно, жмет ее жизнь? Я все еще не отписал ей, затерял ярлык с ее адресом, прошу: *NB* напиши точно адрес и фамилию! Я напишу и пошлю французские «Пути», которые она не воспримет. Хоть она и не глупа. Все эти две недели, каждый день я варю кашу из ее гречки — замечательной! — и этим существую. И хорошо. Охотно ем. А то велю кашицу сварить и ем с молоком — ложку-другую. Питаюсь достаточно, все есть, с избытком. «Плаксина» отлично служит, не пропустит ничего из «пайка»: у нас все еще продолжается эта «казенная кухня»! А раньше я половину забывал, терял. Я много раздаю, и из посылок, но не твоих. Твое я все потребляю. И сейчас еще остается «кекс».

Был милый Виген. Он работает с увлечением в «христианском движении»[479], живет душой. Был одновременно у меня инженер князь Михаил Петрович Долгоруков[480], приехавший с великим трудом из Праги, с матерью-княгиней. Их отец Петр Долгоруков был арестован и... — ни слуху. Ему вот-вот — 81 г. Его брат князь Павел[481] был расстрелян б[ольшевикам]и. Михаил тоже был арестован и после мытарств выпущен. Чудесный человек, я его знал по Крыму, мальчиком. Теперь ему 40 лет. Христианин. Вся семья — светлая, подвижническая. Я рад: м. б. они подружат с Вигеном. По его словам, ч-ехи «раскусили», что такое «б[ольшевиз]м», все поняли, но... увы — пока на-поводу. Все крестьянство дрожит. Все поникли... «привел в ад г. Б-ш!» Столько страданий, всюду! И каким светом светится немного чистое — из нашего! Этот Михаил — мой верный читатель. Он сказал, растроганный: «я не помню, когда я проводил такой вечер..!» — мы душевно поговорили. А тут Виген с женкой и ее сестрицей, — обе — кубастенькие. Князь красивый, сильный — и мягкий... инженер-лесовод. Может быть уедут в Канаду... Лучшее наше распыляется... Я читал гостям из «Путей», — и видел, как захватило. Уже в новой редакции, главки 3. — О Миколе...[482]

Денег издательству не высылай. Увижу ли тебя? когда? Не верится... Думаю о конце... и спешу... Скучно жить... в пустоте мира... и все чаще думается — кчему я пишу?.. впустую... А получишь письмо или свидетельство, как творят свое книги... мои писанья... — потеплеет в сердце... — не напрасно! Ну, Господь ведает...

Целую тебя, голубка. Господь с тобой. Работай, не разрывайся — не отступай — пиши «Заветный образ». Я прочту целиком — и поговорим. Не страшись, пиши, что слышишь сердцем. Обрабо-таешь внешне, приобретешь свободу.

Твой Ваня

Поклон маме.

541

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.I.47

Дорогой Ванечка,

Наконец-то, наконец-то твое письмо! Я совершенно была выбита из колеи твоим молчаньем, — ходила опустив руки, не знала, что и думать и почему-то казалось даже, что никогда не получу больше от тебя вести. Знаешь, как это бывает, когда чего-нибудь очень ждешь?! Еще до письма твоего, получила из аптеки и тотчас же переправила тебе заказным пакетиком — лекарство. Надо принимать по одному порошку один раз за 10 дней! Не удивляйся. Так он и меня лечил.

Сережа сразу после Крещенья ездил к нему в Velp с письмом от меня, но такая была тьма пациентов, что доктор не смог всех принять, а т. к. С. назначено было на другой день явиться в одно учреждение, то он поручил своей хозяйке передать мое письмо. Ей и самой как раз надо было ехать. У нее до сих пор (уже несколько месяцев) ни единого припадка печени!.. Ну, что ты ворчишь? — Каким же образом выходит, что я невнимательна к твоим письмам? Я беспрерывно спрашивала о правописании zonà, т. к. именно ты «невнимательно» относился к моим вопросам и только в самом последнем письме дал то, что я просила. И еще: сколько прошу сказать, кому мне переслать рукопись И. А.? Тебе или прямо ему? Ты на многочисленные мои запросы тоже не ответил.

Мне очень грустно, что ты так «не выносишь» розовые цветы... и особенно гортензию... Я именно такую тебе и оставила, уезжая... и розы были того же цвета... и многое от меня было розовое. Я думала как раз наоборот, что ты любишь, т. к. часто писал: о «розовом и золотом». Ну, прости! Азалию не поноси, — она очень мила. Я ее таскаю из комнаты в комнату: от мороза и от дыма. У нас собачий холод. Сегодня вышли последние угли, — жгу дрова... сырые... Дымище. Ваня, мне право же ничего, ничего не надо! Ты не понимаешь меня: мне больно, когда ты бегаешь, утомляешь себя для этих посылок.

Я до конца искренне говорю, что *не люблю* подарков. Всегда так было. И если что и радует в подарке, так именно «душа» его, т. е. желание дать. Понял? И еще: я нигде не отсутствую, как ты меня укорил. Я просто устала от холода, от дыма, от толкучки, от урывочной работы, от суеты сверхмеры и больше всего от недовольства собой. Иногда мне перед сном показываются картины... у-ди-вительные лица... такие характерные... одно за другим, и без малейшей мысли, или желания с моей стороны. Почему я их не беру? Холодище, высунуть нос страшно из-под одеяла... И они уходят. Так же и с другими образами. И потому я недовольна, раздражена... тормошлива.

Злясь и ругаясь на Ксению Львовну, я начала отчаянно искать машинку здесь. Пустошкин мне указал адрес одного господина[483], которому он продал в свое время машинку свою вторую, но тут же добавил: «ему она не нужна, но он маньяк и не дает ее никому. Попробуйте...» Ну и зафиглярничал комплиментами.

Я знала по церкви этого русского и после долгих размышлений: стоит ли? — написала. Кратко... Ярко и четко старалась убедить, что она нужна для одной работы И. С. Ш., взятой мной для переписки, чтобы потом дать выправить И. С. Ш. Я ему сказала, что, если каждый бы уклонялся от одолжения (за плату, конечно) машинки, то русским людям не придется прочесть одно ценное произведение. И обратилась к нему, как доброму русскому. Это было из типа «удавшихся» писем. На 3-й день (значит тотчас же!) пришел ответ... Согласен. Конечно, с «большим трудом» расстается, но согласен, и тут же просит никому не говорить об этом, т. к. до сей поры никому не давал — обидятся. M-me Жукович его хорошо знает и прямо сказала мне: «О[льга] А[лександровна], лучше и не обращайтесь, он очень милый, но книги свои показывает из рук, не дает никому».

Мама сказала: «вот видишь, искусство твое писать что сделало?» Ну, может быть. Теперь Толен повезет ее на автомобиле на той неделе. И засяду. Этот машинкин хозяин — некто Криволай, работавший в «Возрождении» в 1925 году. Отлично тебя знает и «ради Ивана Сергеевича и даю», — написал. Я, конечно, ни ползвука не проронила о том, какая это работа, сказала лишь, что хочу переписать твою рукопись, т. к. ты спешно занят другой работой, а эту рукопись (очень трудно разборчивую — т. к. Пустошкин, например, предложил свои услуги перепечатать — он тебя тоже «обожает», т. к. его машинка постоянно, де ему нужна самому) я могу хорошо разобрать, т. к. мы летом ее просматривали и ты мне сделал нужные указания.

Пустошкину я сказала на его предложение перепечатать, что ему не разобраться во всех фрагментах и приписках, да кроме того, я и не имела бы права складывать эту работу с себя на других и разглашать незаконченное произведение, ибо пока оно не напечатается, я не смею злоупотреблять доверием автора и показать хотя бы строчку.

К сожалению моему, я должна была сказать, что это работа твоя (а я лишь добровольная переписчица), ибо я не хочу разглашать, что сама пишу (засмеют) и тем наипаче не могу выдать истинный «сорт» этого «романа». У нас тут осиное гнездо... Немыслимо. Я верю, что ты не рассердишься. Криволай сообщил мне между прочим о том, что собирает книги (2400 томов) и спрашивает, нет ли у меня чего из русского или о России. Я написала ему, что подарю с удовольствием твои «Пути Небесные» на французском языке и дам читать другие книги из твоих и И. А. Если он будет «покладистый», т. е. оставит мне машинку на приличный срок, то буду ему искать еще книг. Нельзя ли где-нибудь достать твою на русском языке? Все равно какую! Криволай — инвалид той войны, без правой руки, большой патриот. Кажется, инженер теперь. Тебя безумно чтит. Из-за тебя и дал, а не за «писанье письма».

Была в издательстве относительно «Путей Небесных». Там продали 4 книги, а 5-ую я взяла в подарок «для просвещения душ». Книгу мою, данную еще летом на прочтение, так еще и не смогла получить, — читают якобы. Не знаю. На той неделе обещали отдать. Пока что ничего не высказывают о планах печатания.

От Схот я и не жду пока ничего, т. к. она над Гаршиным сидит.

Нет, я, конечно, вышлю деньги издательству. Почему же нет? Мне магазин заплатил за книги. Rotterdam'ский банк м. б. скоро все устроит. Как хорошо, если бы появилась возможность тебе печататься. Какая это газета, Ванёк? Когда будет у тебя Виген, напомни ему о том, что один несчастный русский (Шитов[484]) погибает в Австрии, но французское посольство ему сказало, что если ему дадут работу во Франции, то визу он получит. И Сережа, и сам Шитов писали о всем этом Вигену. Теперь дело только за Вигеном. Скажи, что люди прямо гибнут там. Он с матерью. Шитов послал все свои документы Вигену. Получил ли он их?!

Ванечка, очень прошу тебя тратить оставленные мной «билетики» — мне же все равно они не нужны. А я рада была бы тебе ими послужить. Это же пустяк! И совершенно не думай о золовке. Я просила ее не посылать нам, т. к. у нас все есть,

но дала твой адрес. Как мы с ней сосчитаемся, не знаю, — тут есть кое-что за нее заплатить, на складе вещи. Сделаю. Это сущий-то пустяк. Они же в Америке рады помогать Европе. Если ты ей пошлешь «Пути Небесные», — так это слишком даже. Адрес ее: Mrs R. S. Hitschmann-Bredius, 226 Ward Ave Staten Island 41, N.Y., U.S.A.

Какое счастье, что «Плаксина» угождает. Как все твои знакомые? Пусть Плаксина топит тебе печурку, — не мерзни. Меня изводит дым — сейчас все синё от него. Глаза дерет. Не сердись, но ничего не посылай — у нас каждую неделю почти выдают по карточкам апельсины. А миндаль и орехи — роскошь. Шоколад есть и очень вкусный. Я еще все хрупаю твой миндалик. Не отнимай себя для посылок от работы и отдыха. Лучше пиши Ольгуне, а то она волнуется. Целую. Оля

[На полях:] «Чудодейственное» средство от ulcus duodeni потому не сообщила, что сама еще жду, когда мне скажут.

30.I Письмо пролежало из-за морозища: страшно нос высунуть.

542

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.II.47 2 ч. 30 мин. Рукопись И. А. — *мне*!

После снегопада — грязь, кислая погода, не вижу солнца. А дня прибывает, и мой лимончик пустился в рост. Твои сентябрьские розы, сухие, живут со мною... и в них — Ты! Всегда смотрю — весь в тебе.

Дорогулька-Олюля, Ольгуночка... Сегодня встал рано, спал 2 ч., разволновался вчера, был в горенье от «идеи» вигеновской работы. Надо было ехать по делу, хотел бросить в почтовый ящик это письмо, — от руки, но получил твои открытое и закрытое. Спасибо, ласточка! Сердце сжалось, — страдаешь ты от холода и дыма!.. Ми-лая... Сейчас иду на почту — 2 ч. 30 мин. — шлю посылки, три. Грызи миндаль, заедай финиками и винными ягодами. И шоколатствуй. А еще пошлю, как будет готово, свою стряпню... Я, ведь, когда закончу работу, частенько ухожу на отдых... и — изобретаю. Добиваюсь сделать «нугу», и еще... — и, делая, в и ж у свой роман, его теченье... Смеешься?.. С газетой, кажется, вырешится в среду: назначен, наконец, министр для печати — ? и ему подадут при первом же докладе, к подписи-утверждению. Есть надежда — на «да». Тогда... ну, не буду загадывать.

Вот что — главное. Отнесись разумно, твердо, с верой тому, о чем ниже...

Беги от напрасных страданий, побереги себя, для дела твоей жизни. Не для прихоти. Эти ужасные месяцы — февраль—март... — измотают тебя! Во-имя чего?! ... Тебе необходим Париж, тепло, сухость, уют, — для работы и выучки. По-мни: другого случая для сего может и не повториться. А мотивы для поездки — вески. Надо непременно вырешить с «Куликовым полем». Это моя душевная потребность. Не успокоюсь... не смогу продолжать роман. А он мне теперь совсем ясен! К июлю — хотел бы все свершить. И так будет, если ты будешь близко. Второе: вот тебе мое слово, Слово!.. Ты будешь мне сестрой, самой дорогой девулькой-дочуркой... — вот мое слово! Ты будешь в тепле и сухости. У меня хорошо топят, и есть уголь и дрова — тебя согревать, к ночи и ночью. Захочешь — поместишься в хорошем отеле, рядом. Сами решим, посмотрим, возьмем. Твои «знаки» — пригодятся тебе. У меня есть, и бу-дет. Третье. Необходимо поучиться: и вот, на двух рукописях романа — будет все наглядно. Уви-дишь. Четвертое: надо поехать к Бенуа. По двум причинам: для тебя, для «Кремля», для Санкт-Петербурга. 5-ое: Хочу театра, музыки... очень хочу «Севильского цирюльника» — обмираю от увертюры. Подумать!.. — писал Россини в... тюрьме!.. и в узкий срок!..[485] Или — «Фауст», «Кармен», что не раз слыхал, что вошло в душу... 6-ое: картины... легкие прогулки... будет солнце! весна!.. 7 — Будешь в цветах, их будет много. Будем хорошо есть, все разыщем, и пить доброе вино... десертное я могу, немного, без вреда. 8 — Будешь печатать на моей машинке. Возьмусь за перо. Тебе отдам. 9 — Поедем во многие места. Будем гу-лять. Я главное завершил. И 10 — я так соскучился... я хочу смотреть на последнее дорогое, что еще уделила жизнь. Но самое главное, повторю: спаси себя от ненужных мучений. От этой сы-рости, которая придет после морозов, зимы... — она отравит тебя, воспламенит-разбудит почку... мо-жет! Сырость — яд страшный. Как у меня сухо! На радиаторах — тарелки с водой, испаряются за сутки! И будет много фиников и миндалю... буду тебе жарить бифштексы... и сам буду есть! А то я оголодался, больше вегетарианствую. Идут ко мне посылки, двигаясь со скоростью сползающего ледника... но при-дут! Нико-го не буду принимать! К черту базар. Установлю определенный час, иначе дверь будет на запоре и — молчание. Звонок онемеет. Один стук оставлю. Стучи... А если будешь жить в отеле — еще спокойней, для тебя. Умоляю: закажи «Звезду

Севера»![i] И срочно дай мне знать. Расходов у тебя не будет: ты моя гостья, моя заветная. Неужели не ответишь — да — ?.. Не хочу думать. Ты мне спечешь блины... мы пойдем к мефимонам. Будем говеть... в Сергиевом подворье у о. Касьяна[486]. Послушаем службу — «Похвалы Пресвятой Богородицы»[487] — о, чудесно там!.. И на Дарю будем. Оля, не упускай случая... кто знает... ?! ...Я чего-то все с п е ш у... и взмывает сердце.

Ну вот... не поглядел, написал на копии письма!..[488] Не переписывать — же!

Ольгуна, приезжай, голубка... ты для меня будешь — сакра рэи[ii] — то есть: «священная вещь», — предмет, дело, то, ч е м у поклоняются. Сакра фемина!..[iii] (женщина!) «сакра вирго»![iv] — девица!

Я буду тихий, весь, всегда. Увидишь. Ничем докучать не буду, не решусь. Вида не подам. Будем, как чистые детёнки. Радостные, только что родившиеся для чистого счастья... Олюша, подумай, вглядись, взвесь... Никогда не вспыхну, не возвышу голоса... будем вместе дело делать. Даю слово.

Если приедешь, захвати мой портрет Калиниченки, что З[еелеру] отдал я... мы сделаем отличную копию... есть, кому отдать. Тебе не позволю копировать. Ты должна с а м а, с в о е. У Бенуа ты мно-го увидишь, познаешь. Я еще не собрался к нему, но как только узнаю твое «да», сейчас же поеду с княжной Трубецкой. И он ласково примет тебя, ручаюсь.

Оля, я истосковался, — да и наработался. Хочу — ды-шать.

Знакомые... — мало вижу. Юродик[489] бывал раза два, но я не питаю прежнего — сердце мое для него замкнуто, и он, кажется, чует это, не растекается. Да, если приедешь, захвати «м о и акварельки» и что сочтешь нужным показать мне. На днях будет готов твой портрет — «головка». Мно-го надо тебе сказать... О многом спросить. О, Ольгунка... как я жду тебя!.. ну, прошу... ну, приезжай... и тогда у нас будет самая светлая Пасха. Раньше Фоминой не отпущу[490], буду на коленях молить... — ах, какие дни начала весны... Мы съездим туда, сюда... и ты загоришься «Кремлем»!.. ах, какая мысль, какой размах! Какое наполнение жизни! Целую, всю тебя, девочка. Твой рот... Ка-ак же целую!.. Весь твой Ванечка. Скажешь «нет» — очень больно будет. Пойми: н у ж н о! уви-дишь.

---

[i] Название поезда.

[ii] Святая вещь (*от лат. sacra rei*).

[iii] Святая женщина (*от лат. sacra femina*).

[iv] «Святая девица» (*от лат. sacra virgo*).

[На полях:] Начнется печатание «Куликово поля» при тебе: я так хочу этого!

Непременно: привези последнее выправленное «Куликово поле» по письмам! Если не приедешь — не издастся при мне.

Об этом столько надо вырешить!

Оль, сделай же для меня! Ва

Я в тебе весь, ты — во мне — вся? Ножки твои целую, прекрасная! Ва. Оля, вместе разберем, если что вызывает в тебе ??? в работе И. А. Ольга, я жду тебя!.. Как самое родное мое. Я все один, один..! Пожалей Ваню.

543

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.II.47 6 ч. вечера

Родная, приезжай, — я с ума сойду! Что твой «Заветный образ»?.. Мы его вместе разобрали бы. Отдам тебе, голубка, всю силу знания, весь мой опыт. «Куликово поле» снова проработаю. Сегодня от И. А. письмо без единого слова: перебросил из моего гонорара. Завтра, Бог даст, напишу ему[491], как Олюша приняла его «книгу». Все думаю о «Кремле» и проч., связываю его со сценарием Михаила Сергеевича Расловлева. Давно собираюсь к ним. Клюю носом, — не спал-то ночью. Лягу часов в 9. Завтра должен получить «colis suisse», — застрял. Плаксина пойдет за ним. Готовлю «нугу», — для тебя. И еще... И — так хочу — в «Пути Небесные»! Оля, как они похорошели!.. — похудев. Еще бы: из 308 страниц — 190! Милочка Sömmering прислала фото: «звезда экрана». Ее брат-инженер[492] принимает (намерен!) монашество. Эх, и я бы принял, если бы..! (не О.) и будь я в России. Еду на днях к Карташеву, взять фото с картины Нестерова:[493] идут по дороге в ночи о. Флоренский и С. Булгаков. Как целую! Ва

Оль, идет Весна! Как ее слышу!..

Р[ади] Б[ога] п[риезжай]!!! С у[ма] с-ду!..

544

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.II.47 9-30 утра

Морозы дня три как кончились, снег, стаяло, теперь — в небе и под небом — мразь, слюнявая погодишка. И все же

идет к весне, и уже поют «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...»[494]

Глупенькая Ольгунка! — да разве могу забыть тебя?! ... Это все вздор, что пишешь. Вот, сейчас твое письмо, от 2[495]. Тебе зябко, всячески, отсюда и в с е. Вырвись к гомеопату, и он, Бог д[аст], поможет. Ра-дуйся, милка моя! Тебе е с т ь, чем радоваться. Вся наполнена-переполнена, — и скулит! Часа на дню нет, чтобы не держал тебя в сердце, а ты... Третьего дня написал тебе, умоляю плюнуть на такие собачьи — хуже! — условия жизни и — на «Звезде Севера» к — т е п л у, всяческому. Я жду тебя — для д е л а, для с в е т а, для высшей радости нам обоим, — радости н а ш и м, чем живы с тобой, а не для... чмоканья, — о себе говорю! Вот те Крест!.. Я что-то г о р ю... вчера не удержался и полетел к Карташеву, кни-ги нужны... многое нужно. Живу. И прокипел там до пол-десятого, с 7, дома был около одиннадцати. Достал у него редкий снимок с редкостнейшей работы Нестерова — «О. Флоренский и С. Булгаков», написанной в начале 18-го, за недели до принятия Булгаковым священства[496]. Мне н у ж н о... — в монахи собираюсь! — сме-юсь... Держать в сердце тебя и — в монахи!.. Меня сверлит вопрос — для романа — к а к люди «обращаются». Это н а д о, о-чень. Я весь в «путях». Я их — плохо ли, хорошо ли до-лжен дать — хоть с е б е. Мне пропасть надо знать, вот и тянул у него то-се... Мне надо редкостную книгу «Свет невечерний» Булгакова[497], где чу-уть просвет к его «обращению» из марксиста-язычника — к Свету. Еще надо Джемса «Разнообразие религиозного опыта»[498]. Когда-то нашумела книга. Надо Иоанна Златоуста... — его жизнь. Надо... мне в с е надо.

Ну, любимая-бесценка, к а к же ты дорога мне!.. — ты и не вообразишь. Всякая ты... многоличка. У-у, как хочу обнять тебя!.. приласкать, согреть. И — это чисто, без единой соринки, а как сестреночку-любимку... птичка моя...

Ну, слушай... К Карташевым поехал запоздно, потому что были срочные письма. Первое: Артур Лютер запрашивает... одно новое немецкое издательство очень интересуется и «Путями», и — особенно — !!!!! — «Богомольем». Сейчас же издаст. Как будет перевод. Лютер спрашивает: «переводить эту книгу для меня было бы наслаждением... я не раз читал — а ливр увер[i], тут же перелагая на немецкий язык группам образованных друзей, и эти «кусочки» вызывали «умиление»

[i] С листа (*от фр. a livre ouvert*).

и душевные движения... ласковостью и детским приятием священного...» Что я ему отвечу?.. Суди сама. Книжка может появиться к осени, уже. Одно. Другое: «Лето Господне» — начнут набирать через 2—3 месяца, бумага уже куплена, но типография забита... печатание возьмет месяца 3, к августу—сентябрю выйдут обе части — очевидно, вместе, одной книгой. Это — радость мне. Наконец-то!.. и пойдет в зо-ны!.. в Америку, всюду. 3. — «Богомолье» сейчас же будет издано в... Германии. Мне пишут: владыка митр. А.[499] — «все силы двинет». Нужно «Богомолье» — тем. Пой-ми: обе эти священные книги мои — уже национальное достояние! Они — ведут. Я-то знаю. И как предначертанно они явились — жить! Расскажу тебе, когда ты приедешь, влезешь ко мне в провальное кресло, будешь тихая детка... и я все расскажу тебе. О-ля... не пропускай возможностей: для света зову тебя, — не для тьмы, не для тьмы. Клянусь Тобой, любимка, всего меня победившая-взявшая... Чем? Сердцем и дарами. А ты ноешь... — ты вся опеленута искусством. И ты — чертовски-ангельски ум-на — умом и сердцем, а посему — ты — разумна, в высшем значении: Разум — поверх всего, всякого ума (и еще важное: мы будем разбирать оба варианта 2 книги «Путей», и ты многому поучишься). Вот то, о чем поется на Рождестве: «Возсия мирови свет ра-зу-ма!..»[500] Это в тебе, а твоя уносящая — и отравляющая, да, — улыбка, этот склад рта... о, как он весь — соблазн! — это уже — твои чудесные «задворки». В них только бесноваться... и то-нуть... и отравляться... Вот то, чем женщина — ре-дкая — ! все «перековывает». Наградило тебя... смешение божественного и от «соблазна». Вот он, яд-то сладкий... мед отравляющий..! А я все — Тонька, порой и говорю так... по-тонькину... Но чувствую... О, на тыщу Тонек.

Отдам увеличить Нестерова, уди-ви-тельно!.. ахнешь!.. Готовься ахать и на другое многое... Ты не представляешь еще, как плодотворно мы использовали бы парижский приезд! уви-дишь. Как бы литургии Свету служили бы. Поверь. И твои «беленькие» тебе пригодятся, во всяком случае. Добавь еще пару, будет хорошо, да и у меня без твоего «пару» есть пару. И будет. Чудесная посылка вчера, от американцев из Швейцарии называется — «Киндерпакет»[i] — до-жил! А все режим, а не то, что «в детство уже впадаю». Нет, я еще горю творческим. Не сглазить, будто и почес легче, забываю, а то...

---

[i] «Детская посылка» (*от нем. Kinderpacket*).

привык?.. Третьего дня — первый порошок, но это, конечно, еще не его действие. Верю, что поможет.

Сегодня решится вопрос о газете... — подпишет ли министр? Это будет событие. Очень хорошие отзывы о «Вуа Селест», новые. А как идет книга — и не почешутся — не мой лоб-нос-глаз! — сообщить, завалены-де работой, по болтовне Эмерик. «Чаша» все еще — лежит «для подписи». Тьфу! Но... бу-дет. Жду рукописи перевода «Истории любовной», кажется, кончен перевод. Жду ответа от швейцарского большого издательства о I книге «Вуа Селест» — перевод Лютера готов давно и есть немецкие издательства — давай! Радуйся, девочка: и «Богомолье», и «Лето Господне» — попадут в родные души!.. Это ли не торжество?! ... Бунина хают за «темные аллеи»[501]. Он, говорят, болен, «стал прозрачный», — не как «аллеи»? Хлещет из него кровь... убийственный геморрой, давний. И... почки..? пухнут ноги... А не пей, а он все пьянствовал и... молчание. Скандально-грязно кончает жизнь. Выдохся. Да и никогда не дышал глу-бо-ко... «писатель внешнего опыта»[502]. Не мог — органически! — дать ни одного романа, все изроманил сам, на себя. Женщина для него была то-лько «сосудом похотей». Для меня — почти никогда. Да вот, прочтешь 2 книгу «Путей»... переработанную.

Разговор с Вигеном, его работа... меня освежила, — живое дело, наше. Забудь «болото», приезжай... тебе, тебе, тебе, не столько мне — нужно это, поездка. Париж вонзился в тебя. Надо, чтобы он живил... будил и формировал. Забудь и несуразное моих писем... это как клякса с перышка. Там есть другое, ве-рное. Пойми: я тебя люблю большой любовью, — не любвишкой. Ясно, кажется. Для меня — слишком ясно. Вот — тут. Ну?.. Болею тобой, твоими ненужными терзаньями от холода, всяческого... от сырости и дыма... — всяких. Послал тебе — вам — три посылки. Будешь чавкать «нугу», моего изделия: сегодня буду стряпать. Но... ско-лько же мне надо прочитать! Не могу никак получить твою — большую — «головку». Уже ви-жу ее. Я весь в тебе, ты — вся во мне. Оттого и живой я стал, опять... А средство от «язвы» узнай. Слава Богу, я нашел хороший — появившийся снова препарат «висмут Дело». Изредка принимаю. Режим держу... боли меня напужали.

Мне работать надо, для сего и берегусь... и тебя видеть.

Оля, приезжай, ради Бога! нужно. На днях увижусь с Бенуа. Поеду в Клямар к княжне Трубецкой. Она измолилась за «Лето Господне». Помог преподобный Серафим. Ве-рю. Оля, как мечтаю издать «Куликово поле» — ты, хозяйка, ре-

шай. Деньги найдутся. Ты его о с в е т и. Не надо «картин», ограничься «заставками», рамочкой, обложкой. Ты все найдешь, вместе обсудим... оты-щем!.. Посеченый Крест, Куликово поле. Лавра. Нечто апокалипсическое. «И времени уже не будет»[503]. Ну-ка, ч е м э т о выразить?! М. б., лампадку, м. б., заборную книжку с пшеном и подсолнечным маслом? в с е как-то уж связано... Пойдем в музей Клюни...[504] поглядим французские молитвенники... Фому Кемпийского...[505] будем насыщаться. Оля, для тебя все это нужно, я-то... мне бы 3 книгу одолеть, и — «ныне отпущаеши»...

Не сможешь в Париж, все равно, убеги куда-нибудь в тепло. Умоляю. Мечтаю в Швейцарию летом, с группой молодежи... пройти «суворовский путь»[506] до Чертова моста. Хочу юных глаз, чистых сердец, рождающего и крепнущего н а ш е г о. Буду читать на вечере для аньерской церкви...[507] им надо 2 миллиона! Соберут. Деньги — последнее дело: как старцы строили без «копья» женские обители на тысячи обиженных женщин-девушек — жизнью обиженных! И Бог помогал. И поможет. Надо жечь сердца. Они е с т ь, суть. Оля, с тобой рука-об-руку хочу в с е делать, жить одним сердцем, — в этом смысл здешней жизни. Мы призваны, Оля. И, несмотря ни на какое «дерьмо» — тя-нуть... по-тянем! давай же руку, родная, хочу с тобой, дружка моя... довершить малый остаток мне сужденного пути. М. б., скоро оборвется..? Спешу, все спешу... — н а д о, значит, спешить...

Дай «Ярмарку»! Дай все отосланное идиотом. Дай смородину, яблоню... все. Дай с е б я, твой напряженный лик. Ты на нем мне особенно «открылась», увидел твои возможности кисти. А «Заветный образ» продолжай, приготовь. И чего Сережа не выдерется сюда?! ... когда же процесс?.. Это ад — так вариться.

Крупа американская все движется, к Пасхе, может? Кашей тебя буду кормить, с маслом, с ветчиной. Будем запивать вином красным, французским «квасом». И ни единой минутки не пустишь в пыль... — все, спокойненько, распределим, — да, представь, даже я-порыв хочу — спокойненько! н а д о. Будем молиться, да обрадует нас Господь р а д о в а н и е м! Подумать: какой вздор нас т о г д а раздавливал, — дьяволова работёнка! Не поддадимся. А — благословясь, чистым сердцем... памятуя, что не только т л е н мы, но и Дух жив. Не только мыслящий тростник[508], по Паскалю, а и... образ-подобие Его. Оля, открой же сердце и загляни в него! Там — чудеса твои. И надо их воплотить.

Стосковался по солнцу. Оно, когда ясно, все дольше остается у меня. И я подставляю лимончик с апельсином его теплу.

Ах, как нужное читать хочу!.. жду книг. Ограбили нас, украв Тургеневскую библиотеку[509]. Мне сто-лько надо!..

Ну, не кори, не вспоминай, а верь Ване: он, право же, не всем плох. Он не весь — тлен. Ты знаешь. И я был счастлив почувствовать из нынешнего письма, что ты не забыла меня. Тебе нужно тепла, сухости, ласковости, солнца, — уюта! Трудно, пусто мне без тебя, хоть и всегда занят, теперь. Похерь дурацкую, с чего-то сорвавшуюся «открытку» от 1 февраля[510]. Она уже закрыта. Мне все чудилось, что ты отошла от меня... нет, ты не отошла. И я буду беречь тебя. Буду и себя беречь, для работы, во-имя... То ты рвалась в Париж... то я зову тебя, а ты... упрешься? Не надо сего. А, благословясь, прими даруемое. Не для дурного жду тебя, поверь. Совсем не бываю в церкви, исправлюсь. Буду ездить на подворье Преподобного. Все больше захватывает личность Булгакова... жду его «Свет невечерний», редкость... достану ли?.. там намек на его «обращение». Ах, как мне это нужно!.. — для работы, и — для себя.

Целую, родная Ольгуна, твои пальчики, хочу прижаться к тебе, я так одинок. Я живой, светлой, любящей ласки хочу, тепла... говорить с самым верным другом, чутким самым... без единой теневой мысли о... женщине. Поверь. Огня твоего хочу, очистительного. Оля, как жду..!

Да... финики я сам трижды промывал теплой кипяченой водой, хотя вода у нас «вердинизирована» — от слова «Верден», где вода была заражена трупами и очищалась хлором, кажется — и потом сушил на радиаторах. Они нисколько не потеряли сахара, уверен. Винные ягоды не мыл, обмой. Кушай всласть. Пришлю еще. На одном пакете ошибкой пометил 2 плитки шоколада: одна! другую положил в другой пакет. Оля, у меня много всего, и еще, кажется, четыре посылки в пути... — по-мнят читатели своего писателя! и лю-бят, знаю! а о скольких сотнях тысяч — не знаю!.. Все больше врастаю в родное сердце. И все больше страшусь, сознавая ответственность перед Господом и родным. И еще знаю: не весь распробован, а может быть лишь на четвертушку. В одном «На пеньках» — ско-лько!.. Как ты нашла перевод А. Лютера? и — Розенберг — «Солнце мертвых»?.. Изволь отписать, а не держать в зубах. Как я тебя люблю... Ольга!.. безумно-умная!.. как нужна ты мне! — для всего, а главное — для силы, для работы!.. и как я х[очу] т[ебя]!.. — прости. Но это не темное, а — крайнее земное сближение... соединение с милой!.. так естественно это... и так му-дро! Так свято, так чисто, так многообразно. Оля, как я х[очу] т[ебя]! как х[очу]! Какое дивное это х...чу!.. — душу влить хочу! И твою взять, влить в себя.

Оль, до Пасхи — 66 дней! Скоро — «По-мни... помни!..»[511] Помню. Оль, как хочу у ног твоих сидеть и думать песнею... мечтать, искать образы. А твои «о'бразы», лица... я часто могу вызвать и какие уродины, и какие красивые... и не отделаться от них... Это бывает еще ярче, когда чуть выше t°. Одолеют. Вот э т о-то и зарисовывал Гойя![512] Конечно. Я такое вижу — ни один художник не даст. И — когда — угодно в ы з о в у. Пробуй — узнаешь. Надо лечь и закрыть глаза — и пожелай увидеть. Это стихийно-подсознательное творчество. Ри-суй. И (у меня) ни-когда не в краске, а — серое или тушь. Оля, е с т ь у нас, о чем говорить без конца: мы с тобой так богаты!

Господи, благодарю за несказанную Милость Твою!

Оля, вот целую тебя, мою, сужденную мне... нежно, светло.

Твой Ванёк

До масленицы 11 дней, до Чистого понедельника — 18!

Деньки считаю, жду Весны. Оля, от нас зависит видеть ч у д о в жизни. Будем же в и д е т ь его! Ва

[Приписка:] Да, на днях приходила хныкая иконописица, что бездарный мне триптих сделала, просит написать в Голландию — тебе — не найдешь ли ты довольно большую (!) репродукцию в красках Fra Angelico — «La vierge et l'Enfant»[i] (Мадонна держит лилию в руках[513]). Подлинник (там, может и продадут репродукцию!) в Париже н и г д е не могла найти — Амстердамском музее Ryksmus. Amsterdam (или Buksmus). Если есть — купи и пошли. Она расплатится както... как?.. Это, должно быть, недешево. Сперва напиши цену. Ты можешь справиться по телефону или письмом, — не ездить же! Одолела меня — все но-е т. А отказать я не могу, сил нет. Как вот переслать деньги, и сколько. Пока не покупай, а *справься.* Мне досадно писать тебе о сем, у тебя и так — печки одни чего ст[оят]!

Оля: единственные цветы, розовые, которые люблю: 1) шиповник (с детства, как «жёлтики») и розы еще... не люблю розовые гиацинты, гортензию... ну, гляйоли еще ничего...

Не видно апельсинов! Бу-дут. Лимоны пошлю пока. А [1 сл. нрзб.] любишь? Крупные такие, как их — [1 сл. нрзб.], дрянь порядочная, горчит. Хорошего меда пчелиного прислали из Швейцарии. Много какао, я его почти не пью. Тебе не надо, а? Ну, скажи. Девать некуда, раздариваю, а вот вчера еще фунт, «голландского». У меня кажется, 4 банки. Да штук 5 отдал.

---

[i] «Дева и младенец» (*фр.*).

545

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.II.47

Голубка-Ольгунка, у меня большая к тебе просьба: соединись со мной! Свяжись «Богомольем». Дело вот в чем. «Богомолье», наверное, будет издано в Германии[514], по-русски, и по старому правописанию. Я думаю выбрать размер книжки «карманный», как «Чехов», немецкий: 10×16 cm, если найдется бумага для такого размера, или, в крайнем случае, 14×20. Прежнее «Богомолье» было 15 на 22. Таким образом, книга будет страниц 200, т. е. 12 1/2 печатного листа по 16 страниц. А если «чеховский» размер, то будет 250 страниц. Хороший томик. Вот таким попрошу сделать, если ты согласна, немецкое издание.

Милочка-Ольгуна, расцвети «Богомолье»! Дай, — все в твоей воле! как найдешь нужным — так и будет, не поперечу, — дай обложку. И — если найдешь это подходящим верхнюю «кайму» (арабески?) для главок. Можно, конечно, — заставку начальную и что-нибудь — что? — для концовки.

Ты лучше меня надумаешь — в соответствии с «Троицей» — это игрушечный центр кустарей (мужик с медведем, кузнецы или лошадку), найдешь — что сердце увидит в тексте.

Надо несложное и немногое, чтобы не удорожить издание. Техника печати в Германии высокая — одолеют все, красочно. Как решишь: краски или тушь там — я не понимаю ни-ни в сем.

Гуля, как думал (лежал) о тебе! И вот — вскочило, я — скок с кушетки (твоей) и — писать тебе. Материалу для рисунка заставки (начальной и концовки) сколько хочешь: медведик Преподобного.

Да увидишь. Значит: 1) обложка 2) «кайма» (одна для всех 12 глав), 3) концовка и если хочешь 4) начальная заставка, вызывающая интерес (м. б. тут «медведик Преподобного»? а на концовку — «кузнецов»). Ах — тележка-то![515] Оля, да у меня — ви-жу! — огромное богатство! Чего может дать художнику один трактир, эта «мытищенская вода»!...[516]

Вот, ласточка, красавица моя... — докука моя до тебя.

Оль, очень хочу видеть тебя... С ума схожу... весь в озарении тобой... Надо этим кальвинистам-голландцам дать «Богомолье»! Возьмись без страху, переводи!.. умоляю. Потом поправят, главное, ты тон — ритм дашь — и разовьешь охоту писать. Уверяю тебя!..

Оля, недаром писательница Бауэр, — справься у матушки Розановой[517] — училась она у матушки по-русски, — очень хотела перевести «Богомолье», война помешала, и ее болезнь. Теперь она где-то в Австрии, в монастыре, (католическом) — давно не имею вести от нее, а она недурно (старательно) очень правильно, как первая ученица первого класса, лет 10, старалась не сделать ошибки. И... я смеялся: словно на цыпочках ходит, в фартучке...

Сто-лько надо говорить с тобой! Но — очень дельно, покойно, как взрослые. А не трепыхаться-нервить. Ты от нервничанья-то и Вертинского мне целый час пела... а я любовался тобой. Не знаешь? У меня в груди спирало — вот, обойму, замру!.. И — я же болел!.. — я испытывал боли... — не сказывал, держался.

Ах, как я «рыбку» помню, в Троицу, 9-го июня, твой День рождения! Ты, вся свеженькая, вымывшись, «прохладненькая» — прильнула... о, как помню, как сейчас с л ы ш у... вот, холодное твое тельце... вся ты душистая, т р о и ц к а я... миндальная!..

Целую. Не могу больше... Ванёк

Слышишь, как дышу тобой?..

А сейчас пойду «химию» творить — нугу. Надо белки взбивать... как они собьются... надо как-то вилкой по тарелке плескать, скоро-скоро...

Да, эти пустяки... — все готово. Это мне отдых от «мыслей». Обнимаю твои коленки, любуюсь, вижу красивые ноги... ка-кая ты... Ва

[Приписка на конверте:] *Просьба*: побывать-показаться гомеопату: он поможет от болей в груди, это – ясно – н е р в н о е, след операции и всего.

546

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6—7.II.47

Дорогая Олечка,

Расстроенный твоим страданием, схватил из пачки отброшенного (с обрывком рукописи), — прости (нет, тот лист изъял, не посылаю).

Мне стыдно жить в тепле. В небогатом моем комфорте, обслуженному в обиходе лишь на-половину... и, в сущности, счастливцу, в сравнении с предельной безвыходностью твоего существования! Жить в 3—4 градусах мороза!.. хуже самоедов!

Хуже, ибо у самоеда приспособлено минимальное, оленью кровь пьет, рыбий жир жрет, но закутан в шкуру, зашит в мешок... — и приспособлен за тысячелетия его «самоедской» жизни... А ты, нежная, хрупкая, обнаженный нерв, исстрадавшаяся, таящая в себе миллионы пудов угля... да, чудесного горенья-сердца, пылкая духом, живущая об-разами... созданная для радования многих-многих... ты, точнейший и тончайший инструмент чувств и дум... за что обрекаешься на пытки «льдом»!? ... — на неизбежную злую простуду и болезни?! ... Не понимаю, негодую на дряблость, на безразличие, на непростительное невникание того, кто по голландским даже законам несет ответственность. Это хуже злостного жестокосердия, — это — пустосердие, душевная слепота..? Но тогда — что же..? о каких правах можно говорить, когда не выполняются самые первичные обязанности, понятные и обязующие даже тупого мещанина!.. Ничего не понимаю... Ты в каком-то квиетизме... фатализме..! — это ты-то!.. Такая умная, такая пылкая!.. Господь с тобой. Ты, м. б., думаешь, что говорю при-страстно, даю доводы-толчки — ехать в Париж, о себе мечтаю? Хорошо... оставим Париж... ну, хоть ку-да-нибудь, в [отель в Утрехт] уезжай, в тепло и минимально человеческие условия. Спасай себя, ты, ведь, самоубийство совершаешь. Я страшно подавлен, я растерян... я всех вас жалею. Всех, Оля... как Александра Александровна переносит?! ... Сужу по себе: холод меня леденит, цепенит... все во мне замирает... но это бывало несколько дней в самом страшном, 41—2 г. зимой, но тогда Париж всего был лишен, а зима была каинова. И даже тогда я пускал в ход все ограниченные ресурсы, платил зверские цены, и согревался. Я рискнул — глупость отчаяния! — закалиться, и проснувшись с примерзшими к металлическим палкам постели волосами, побежал в ледяную ванную и окатился ледяной водой! Две недели я отвалялся, после... Но то были дни зверские. Я ныне плачу за топливо по воле хозяина, мно-го плачу, как все — довольно зажиточные жильцы нашего дома, — и я уже не перегораживаюсь, и даже не топлю железной печки и ставлю электрических радиаторов, — достаточно, тепла градусов 14—16. Иначе — я все бы сжег, по 10—12 франков за кило дров платил бы!.. Вы могли бы жить по-человечески... не может быть оправдания растерянности и скудодушия у ответственных. Ты скажешь — «я сама виновата», — нет: ты была все эти месяцы в горенье-томленье, в творчестве, в страданьях... — у тебя все есть оправдание. Ну, оставлю, бесплодно продолжать. Я излился, устал. Ложась в согретую постель — твоя грелочка, и я злюсь на себя, что

позволил оставить ее... — я думаю с ноющим сердцем о тебе... Не могу теперь работать, голова утомлена, и сердце... Сегодня (6-го), прибирая один уголок со старыми письмами, неожиданно нашел среди ненужных бумаг... — как оно попало?! — в с е письма И. А. Ильина у меня особо хранятся — его давнее письмо, 20 лет ему!.. от 18 марта 27 года[518]. И поразился, к а к же я т а к о е письмо... засунул..? !.. Вспомнил, как я его лет 15 тому искал!.. На случай, сообщу тебе копию, — письмо значительное. Одно из первых — 1-го года нашей заочной «встречи», открывшейся письмом Ивана Александровича[519], — толчком к сему послужил рассказ — «Свет Разума», — этот рассказ был написан в декабре 26 г. Значит приводимое ниже письмо одно из первых... Тебе тогда было... н е было и 23 лет!.. — старина!.. Письмо из Берлина.

«Милый и дорогой Иван Сергеевич! Давно уже собирался написать Вам, да задержала ангина! которая тянулась две недели и меня душевно утомила и измочалила.

Я не могу писать Вам о “Солнце мертвых”. Потому что у меня нет такого чувства, чтобы это было “произведение”, или “произведение искусства”, или Ваше “сочинение”. А есть чувство, что это о н о с а м о[i], сама бездна первозданная, сама БЕДА БОЖИЯ! — подчеркнуто везде автором письма. — Ибо все это так есть, так было; и если хотя бы только один раз было — то уже есть навсегда. И как бы ни было это человечно — человечьих рук и человечьих слабостей дело ——— все-таки самое ужасное здесь не то, что “мертвых”, а то, что “СОЛНЦЕ”!! я думаю, что никто еще и не знает, чтО Вы создали — потому что, выйдя и отойдя, все-таки понимаешь и соображаешь, что это Вы — СОЗДАЛИ... (продолжаю пером, 11-30 вечер, дабы не шуметь).

Я читал “Солнце мертвых” — долго; растягивал-откладывал; не то боялся, что кончится; не то боялся дальше читать; не то боялся, что я упущу что-то мимо своего духовного черпала. Это один из самых страшных документов человеческих. Мне: то казалось, что человеку от стыда нельзя больше жить на свете; то казалось, что Бог ужасается, что создал человека. Солнцу нельзя быть солнцем — мертвых! ЧтО книга Иова? — рефлектирующее благочестие обедневшего и захворавшего жида!.. ЧтО книга ходульных аллегорий и сонных страхов — Апокалипсис!? ... Первое — эпизод; второе — сон. А это — система бытия. В средние века верили, что есть такие в небесах скон-

---

[i] В тексте сохранены особенности передачи письма И. А. Ильина И. С. Шмелевым.

центрированные квинтэссенции бытия — spaecula mundi — образы мира, сгустки прототипические. Вот — "Солнце мертвых". Богу — меморандум; людям — обвинительный акт. И этот пророческий, гениальный бред доктора!.. А возвращение Иваном Карамазовым "входного билета" — кажется после этого пустой, аффектированной фразой...

Я знаю, что Вы не возвращаете этого билета. И Вы еще покажете — почему не возвращаете. Жду этого. А пока — верьте, "не притомлюсь в борьбе со злом", хотя и один Господь знает, как я бездонно устал. Но опять позовет духовная труба — и весь я как камень, как меч, а зубы зажимают рыдание. Но об этом никто не знает — и пусть не знают.

В пасхальный номер "Перезвонов" послал статью маленькую "О путях России"[520]; надписал под заголовком "Ивану Сергеевичу Шмелеву". Идея: нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью (мое примечание: И. А. не ошибся, — я показал, — кто разумеет. И. Ш.) духовного, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; за то мы выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании — да славится в нас Воскресение Христово!

Не браните за то, что без разрешения (мое примечание: не нахожу «Перезвоны», напишу Ивику).

Мне доставили номер рижского «Сегодня» с Вашим суждением[521]. Аттестат Ваш сохраню на память; если кто будет пfive[i] — предъявлю (мое примечание: не помню, не сохранил; я, вообще, мало что храню, так — куда-то пропадает... И. Ш.).

Спасибо Вам за чудесное письмо[522]. Я его много раз перечитывал. И конечно тоже сохраню. И во всем согласен (примечание мое: ну, ни-чего не помню, о чем я...).

Буду ждать еще книг Ваших. Как хорошо бы нам лично повидаться! А то у меня даже возникла потребность — и настоятельная — портретами поменяться... Как Вы думаете?

Плохо и мало меня печатают в "Возрождении". Чувствую себя как лошадь стреноженная. Если увидите Петра Бернгардовича (моя вставка: Струве)[523] — спросите его мимоходом и от себя — почему де мало "Ильина"?

Наталия Николаевна шлет Вам привет. Мы с ней постоянно говорим о "Солнце мертвых"; и восприняли его однородно.

Горячо Вас обнимаю и братски люблю.

Ваш И. Ильин

1927.III.18» (почтовый штемпель Берлин — 18.III.27 — Friedenau 1.

---

[i] Злиться *(рус., устар.)*.

Почтовая марка 2,5 пфенига с портретом I.Wolfg.v.Goethe).

Адресовано: Mr. I. S. Chmelef. 2 Chemin des Coutures, Sèvres r. g. (S.-O.).

А, ведь, чуть не затерял это интересное историко-литературное письмо! А ско-лько выброшено «признаний читателей»! Со-тни!.. Только последние годы (12—15) еще сохранял (Ильина — все сохранял, кажется вообще — от больших или малых видных лиц — есть, а большинство вырезок обо мне (и отличных!) — рвал). Есть терпеливцы (знаю, например, Алданов или Бунин с Мережковским, Зайцев, Ремизов... — они имеют большие переплетные «книги»-альбомы и наклеивают «для потомства» все, до — «книжных объявлений» — у них были или «секретари»-доброхоты или домашние, жены... Оле не было времени, у меня — ц е л и, воли, самовлюбленности, да и горе наше — Крест! — был слишком жгуч, чтобы заниматься «самоутверждением». Само-утвердилось. Знаешь, Оля: я так, ведь, написал «Солнце мертвых» и прокорректировав при печатании книгой, так и не читал его... Чего читать, когда т о, что суждено было в и д е т ь, чем жить и страдать, страшнее и гаже, и смертоубийственней мною воссозданного. Я многое миновал, сознательно: я отсекал, создавая ху-до-жество. Я никогда не беру, как механический фотоаппарат. Я хотел уловить и закрепить Дух Ужаса. Может быть мне это частью удалось. Я му-чился... — Подумать! В марте—мае 23-го написана 1-ая треть, в Париже напечатана в 1 сб. «Окно». Вторые 2/3 — написаны в Грассе (в июне—сентябре 1923 г.!) напечатано во II сб. «Окно»[524]. Книгой вышло, кажется, в 1926 г.[525] Не постигал, какой силой мог я написать... В Грассе, бывало, катался по кушетке от болей «duodenal...» и ел ослиную колбасу и пил «мар» — злей коньяка! — откатаюсь полчасика — за машинку. Впервые книгой появилось по-немецки, в 1925 г. у S. Fischer’a, Berlin. Книгу теперь не найти. У меня 1 экз. На днях Зеелер принес мне от одного библиофила-читателя подарок — переплетенное «Солнце мертвых» с надписью: а в т о р у от (по)-читателя. 23.I.1947. Paris. И. Гусев. Я не делал шагов чтобы переиздать, — страшная книга, пусть остается р е д к о с т ь ю. Ныне — на нее не найдется читателей, — разве только — о т - т у д а: устало а то и остыло-опустело с е р д ц е.

7-го. Солнце, наконец! Подумай, что писал тебе: не мне необходим твой приезд, — тебе! во многих отношениях. Это будет для тебя — оздоровление и ободрение, увидишь. Многое надо решить, и о «Куликовом поле» и об иллюстрировании «Богомолья» (русское издание). Очень многое. И — главное — наглядный урок искусс-тва — нашего! «Spermin» пришли или

вези. Письма с последним вариантом «Куликова поля» непременно пришли скорей: оно должно быть издано. Это — нужно т е м. Да и здешним дуракам тупо-темно-душным. Я еще почеркаю — пополню. Так бы вот сейчас и схватился за него!

Целую, крещу; бедная моя ледышка.

Твой Ванёк

547

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.II.47 Опять туман! И ты еще набавила...

Очень придавило меня твое письмо[526], Олюша глупенькая, опять сказочка про белого бычка! опять вопли и самоедство. Брось! чушь и чушь. Это упадочность в тебе, неврастения. Выпрямись, вспомни, как Ванёк, характером слабый, в с в о е м упрямый, лепил себя. И вылепил, с помощью Господа. Так будет, д о л ж н о быть и с тобой. Глу-пости... Ты возьмешься за святое дело и н а ч н е ш ь «Куликовым полем», во-имя Господа. Молись преподобному Сергию! Н и ч т о не дается сразу, сразу только кошки рожают. У тебя выйдет отлично, благоговейно, свято. Най-дем издательство, в Германии, и ни тебе, ни мне ни копья не будет стоить. Сделают. Твой «Ан[астас]ка» — уверен, во-имя Преподобного сделает. Я вчера до 2 ночи работал... над «Куликовым полем». Горю. Ты мне все же пришли письма с ним, там может найтись ускользающее что-нибудь. Я связываю «Куликовым полем» — тебя, себя и И. А., т. к. вставлю из его письма ко мне, 20 лет тому, строки о русском народе и его бремени, в приписке о статье «Пути России». Пишу ему[527], прося разрешения. «Куликово поле» — твое, сердцем тебе посвятил и подарил в вечное владение, — даже и на том свете будет твоим. Вы-пустим, с твоими взлетами души. Рамочку хотя бы для первой страницы каждой из 6 глав (теперь, кажется, будет I—VI главы). Уви-дишь: е с т ь, чем жить, наполнить душу. Прошу: н и - к о г д а не пиши мне — «не нужна»! а то я и впрямь с[ойду] с у[ма]. От тебя, че-рез тебя. Только о тебе и думаю. Да о работе. Горю. Разделаюсь с «Куликовым полем» и — в «Пути». Но ты должна плюнуть на все и приехать. Клянусь, н е для с е б я — зову! Для тебя. Уви-дишь. Так возликуешь, так окрепнешь, так ухватишься за труд святой!.. Оля, не отнимай жизни у себя и у меня. Будем вместе трудиться, как Бог соизволит. Вздохни. Ты видишь — писал тебе, — и «Лето Господне», и «Богомолье» издадутся, и по-немецки — «Богомолье». И н а д о пустить в жизнь

«Куликово поле». Умоляю, ты дивно дала обложку! И орнамент готов, колосья, звезды и васильки... — вот те и «рамочка»! Я поволоку тебя к Бенуа и у него отчитаю, при нем. Уви-дишь, шельма!.. Ты в с е мо-жешь, мне ли ошибаться!.. Забила, дурашка, в чудесную головенку — не нужна, не могу... девчонка, которую силой в купальню тащат, а она ревет! Дура, пла-вать будешь! Помоги же моему святому деланию! с тобой и свяжемся через это, еще крепчей. Еще бы петь, в таких ледяных условиях! Глупая птичка в холоду хохлится, не поет, а человек и подавно: все понятно. Изволь спасти себя и свое, приезжай. Раз говорю — а раньше отмахивался! — значит — надо. Тебе надо. Взять другого воздуху. Помни: ни взглядом, ни жестом, ни намеком не омрачу: будем учиться, всячески. Оля, не упускай мчащегося времени, потом клясть себя будешь. Отмахнись от «самоедства», всяческого. Ты должна приехать в форме, с целью, не для «пустяков» и шмыганья. По-мни. «Во-имя»! И увидишь, какое бывает Божье Солнце. Я болею тобой. Я не сплю. Сегодня лег — вчера-сегодня — в 4-м часу вертелся в думах, захотел уснуть — надо поесть, ел кашу с молоком в 4 утра! И потом с трудом заснул — на 3—4 часа, валялся до 12, день-то и пропал. Все изменю, буду ложиться в одиннадцать, приняв гарденал, за 2 часа — три сентиграмма. Почес — тот же, я привык будто. Но буду выполнять — глотать эти десятидневные порошки — ха-ха! Вот что, не был у Елизаветы Семеновны Виты[527а] полгода, зашел вчера. Она теперь периодически страдает припадками печени... — след злоупотребления сульфамидами во время воспаления легких. Ей тысячу уколов всяких делали, и пенициллин, и — сульфамиды жрала. Прошу, — и она просит — мы сочтемся[*], скажи только, сколько истратишь, сколько берет гомеопат за визит-совет и за лекарство. Скажи ему: печень здорова, находят — от желчного пузыря раздраженного сульфамидами. Камней в нем — н е т, смотрели. Припадки... — будто ломящей сильной боли, как «поясом» схватывает. Яйца абсолютно запрещены: съест — забудет — приступ, рвот не бывает. Гомеопат излечит. Сделай это, она меня возила два раза к доктору и в лабораторию, когда я в 42 г. издыхал. Сделай. О «Вуа Селест» утешительные данные — отличные отзывы, — раз — сколько прошло — еще не знаю. Один профессор «агрэжэ»[i], литератор и читающий по словесности, прочитав «Вуа Селест» «изумился» и его ученики-студенты, будущие литераторы —

---

[i] Ученое звание преподавателя лицея (*от фр. agrégé*).

[*] она отдает мне, я тебе. Вот те и заработаешь, для Парижа, 10—20 гульденов.

раз-би-ра-ют роман, увлечены. Это уже суд «элиты». А вот суд «мидинеток»: в лаборатории, большой, Роша, где работает свояченица идиотика С[ерова], Любочка, сестра Марги[528], купила книгу — она увлечена романом, и теперь в с е рвут роман из рук, говорят: «никогда ничего подобного не читали!»... — с ума сошли, (не в самохвальство, а удивление, как короткодушные французики — б е р у т!?) Это мне С[еро]в на днях доложил. Ну, ладно. 2-ой части я им не дам. На это у них не хватит уменья и души, р а з у м а, не ума, куриного, а — ра-зу-ма!..

А «Куликово поле» — для сотен тыщ, своих! И надо общими усилиями постараться. Постараемся, голубка! Ты видишь, как Ванёк тебя в рай тянет, а ты брыкаешься. Это-то и победа, когда «себя победишь», а даже не себя, а «над-себя», ибо неврастения сидит на твоей душе и шее. К черту ее! — поганку!! Выпрямись, улыбнись, помолись, — на святое дело подвигнешься. Памятуй о Святом. И Он поможет нам. Верую, Господи.

Я тебя отогреть хочу, рыбку милую, бойкую, умную... робкую и — дерзкую! Ты все-таки дрябло порядочное... сты-дно! Не бойся жизни, это враг тебе заборы ставит, не пущает, а ты его, окаянного, — Крестом! Как хочу с тобой к мефимонам!.. Я весь в стремлении — работать!.. мечусь... надо сколько зарядов, читать... выстрадывать! Ах, как хочу в «Пути»!.. Все ясно. Но надо прочесть Джемса*, еще, еще... «Свет невечерний»... надо мно-го... Дай же и ты мне сил! И — себе. Разве не видишь, что н е с л у ч а й н а наша «встреча»?! Обоим нужно было это. Ты порох, я — искра, ты искра, я порох... Сделаем же взрыв! но не губящий, а создающий, разря-да-ми. Идет весна. Погляди, как она идет. В Париже. Я в и ж у — воображением, как ты звонишься и одновременно — стучишься. Оля! Я вижу твою лихую шляпку — паризенн[i]. Парижаночка, очень эффектная, «с сольцой». Я тебя и Оле в «Куликовом поле» придам[529]. Увидишь. Ты и не представляешь, о скольком надо говорить! Огражу тебя ото всего, и от липучих «моллюсков», которым до н а ш е г о дела нет. Мы пребудем в н а ш е м. Н е в моем, не в твоем... — в святом, священном. И будем — д ы ш а т ь, а не замирать льдышкой. Умирать раньше времени. Все придет в свой час. Надо покаяться, отговеться. Бу-дем. Без тебя не буду и говеть. А мне надо — для чистоты, писать «Пути». Сейчас пишу Ильину. Прошу разрешения взять

---

[i] Парижская (*от фр. parisien*).

* «Многообразие религиозного опыта» (когда-то нашумела книга, а я не читал).

его строки. Пошлю потом ему. Шли немедленно или если решишься — сама вези «Куликово поле» последней редакции, которая окажется предпоследней. Я уже начал переписывать. Лу-чше! Не страшись себя. К живописи вернись: «Куликову полю» суждено вернуть тебя. Возьми послушанье. Уви-дишь, как пойдет. Чудная твоя обложка, Лавра в туманце. Ограничься минимумом. Издадут в Германии, «для тех», и пойдет всюду. Сделаем склад у «Эдитер Реюни»[i]. Это — твое. Останется для гонорара — твое, а ты распорядишься, как скажет сердце. Может быть и капнет — кому на-до. Ну, потрудимся же, родная Ольгуна! Ваня так просит тебя, ждет... не души меня воплями. Мне тяжко. Это же пытка мне, стоны твои. Глу-пые. Я тебе сказал: тебе, какая ты, еще лет 30—35 — жить вдохновениями. Но для сего надо — жить. И — любить. Всячески. Знаю. Светло гореть любовью, это высвобождает и поднимает дух.

Олюнка, я-годка, твои последние строки ласки так меня согрели — какие-нибудь 2 строчки. Дай доктору, если он сможет теперь, прочесть «Солнце мертвых» и «На пеньках». Мне важно его сужденье. С письмом И. А. — найденным — чудо! я его искал лет 15, — и вдруг оно оказалось — не пойму! — в пачке на... столе! Должно быть я его отыскал, сунул, как важное, и забыл. И оно как раз само попало, в руки, — далось! — когда я задумал переработать «Куликово поле». И вот, включу важнейшие его строки — о «Путях России». И свяжу в священный «триптих» — «триптих русской духовной мощи»: слова Достоевского о народе, слова Ключевского о свойстве единственно русского народа быстро справляться (подниматься) после государственных потрясений и военных разгромов и слова Ильина — о «бремени»... И как это подошло к «Куликову полю»! Увидишь. Слова эти буду исходить от рассказчика — следователя «по... особо важным делам». Оля, давай вместе изготовим окончательный лик «Куликова поля»! Руку, дружка. Вместе, плечо к плечу, сердце к сердцу, грудь к груди... и т. д. — но не больше. Ни-как. Клянусь. Мы — братик и сестренка — вся-то глупая, нюня. Дай, обойму тебя! Приезжай. Видишь — не страшусь, зову: надо. Зарядим друг друга, «да единомыслием исповемы»[530]. Каждый миг выше солнце. Весна, может быть последняя моя весна... я все чего-то спешу... И смотри: главное — почти кончено, остается «Куликово поле» и 3-я последняя книга «Путей». Заряди меня! себя!! Надо. Зову, молю, взываю... О-ля! Ой-га-а!..

---

[i] «Объединение издателей» *(от фр. Editers Réuni)*. Имеется в виду издательство «YMKA-Press».

Обнимаю, целую, душу — душу. Крещу. Томлюсь. Твой Ванёчек

Пришли (посылка) чудесные сардины, крупные, португальские, тебя жду — не е м! Это все Ив. Великий!

Ты глупая: при чем тут художница из Холливуда, которой я и слова не [тукнул] об иллюстрациях? А письмо ты прочтешь. Сама: твое — конечно! — выше глубже, — первая красота — мне — твоя от тебя — в Слове! и — ласка. Ва

Целую мою чудную девочку, леонардочку... твой рот! Не ротик, о, нет! Это слишком серьезно. Это — и [именно] рот женушки прекрасной.

Тебя ждут сардины огромные (не ем) — 3 больших коробищи! Ты облопаешься. Только не дам есть с кожей. Сам буду тебя кормить: ты будешь лежать, а я тебе кофе подам и сардины!

548

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.II.47

Мой светик-Ванюша, сокровище мое неоцененное, душа моя родная! Никогда не тянулась так душа моя к твоей, как все эти дни. Ласково, светло, чисто. И никогда так не было мучительно осознать, что я при всем заманном (независимо от твоих доказательств) поехать в Париж, — не могу этого сделать теперь. Эти дни я не была дома — уезжала. Нашла вчера еще 3 твоих чудесных письма. Я онемела от отчаяния, что не могу отозваться так, как бы хотела сама, как этого хочешь и ты. У нас сейчас идет тяжба за дом. Мы рискуем остаться без крова, т. к. из Schalkwijk'a должны уехать, да и хочется уехать, а в дом, т. е. не в «барский» дом, а даже на ферму имения не можем. Там страшные интриги. Мое присутствие здесь совершенно необходимо. Кроме того, это я, которая хоть капельку подталкивает раздел имущества, чтобы наконец окончить всю омерзительную канитель и очистить дом и от скарба «прекрасных» золовок и деверя. Масса грязи во всем. Я борюсь за жилье себе тоже — иначе и там не буду на годы иметь угла. Не хочу всего касаться, но ты поверишь мне. Постоянные «комиссии», адвокат и т. п. Меня все это злит. Кроме этого я непременно хочу закончить свой «Образ», иначе я не успокоюсь. Меня изводит именно моя разбросанность, невозможность работы. Я приеду в Париж с чем-то, а не так, как было. Я должна его закончить. У меня бывают очень ценные мысли для пополнения, изменения, но за недостат-

ком возможностей, я забываю, упускаю и очень «нервлю». О «Куликовом поле» я много думаю. М. б. в Leiden'ской одной типографии согласились бы издать его, т. к. есть только там русский шрифт. Надо узнать. Я нашла бы м. б. деньги на это, продав что-либо. У меня есть от свекра своих 2 тыс. гульденов, но они «заблокированы», и я их не могу взять из банка, но я бы достала. Только бы найти печатню. Здесь нет русского шрифта. Ни в какую другую страну я не смогу перевести деньги. Как только потеплеет, так поеду. Сейчас дикий холод. Иллюстрировать его возьми холливудскую художницу. Мне не осилить. Я не хочу кочевряжиться и доказывать, что не способна. Я не знаю. Но знаю одно, что не чувствую в себе (субъективно) никакой силы. Подробно писала тебе о переживаемом кризисе. Не нудь меня к кисти, в таком состоянии все равно ничего не выйдет. Я ненавижу все, что с живописью. Что я могу с собой поделать?! И в Париже, я знаю, я совсем разобьюсь. У меня нет никакой искры сейчас и в таком состоянии лучше не трогать себя. Я бы хотела себя пересилить, но не могу. Твои слова (обо мне) не так были сильны даже в первое время, как теперь. И я снова и снова перечитываю их: «ты ничего никогда не достигнешь»[531]. Не виню тебя, говорю только потому, что не могу этого обойти. Ведь из всех ты мне самый большой авторитет. Мне не забыть их. Тебе я не угодила бы никогда и ничем. Мой «жанр» — не по тебе. Я это на многом уже заметила. Да и вне этого — я просто не могу. Отдай холливудской новой твоей звезде. Это без иронии. Но она ведь новая. А в Холливуде — «звезды». И Григорович. К чему же искать писательницу Бауэр, ходившую «на цыпочках» в переводах? Ты опять не поверил моему суждению, несмотря на тщательную мою проверку А. Схот. Лучше ее переводов — нет с русского на голландский. К чему искать Бауэр? У матушки она не училась. Да матушка наша кроме пирогов и кухни ничего и не знает. М. б. это была другая «матушка»[532], одна полковничиха-интриганка, впоследствии некоторое время игравшая роль на клиросе своего бездарного супруга-попа. Они сошли со сцены, к счастью. Не знаю, где она, м. б. и не жива. У Розановых Бауэр *не* училась.

Для иллюстрирования, как и для всякого искусства нужно, если не вдохновение, то соответствующее настроение. У меня же «злоба». Да, какая-то злоба на живопись. И я страстно хочу найти в себе силу поставить на ней жирную точку. У нас с тобой много, все — сродни и общее. И если «Куликово поле» будет дано холливудской карикатуристкой — то это нашего ничуть не изменит. Я не знаю, где даже у меня обложка «Куликова поля» — я *все* от тебя полученное тогда, бросила

в каком-то полу-обмороке на чердак пристройки-службы. Думаю, что от сырости и плесени ничего от нее не осталось. Мне больно рыться там. Я не могу. Даже то, что носила к Люси, закинула и не хочу видеть. Уволь... Переводить «Богомолье» на голландский язык считаю святотатством. И именно для кальвинистов. Почему я должна их ломать, эти дивные образы? Ты все же не веришь мне, что Схот гениально переводит? Я никогда на это не соглашусь. Это грех. Схот несомненно бы прекрасно сделала. А я в голландском языке совсем не «дома»! Ты можешь делать что хочешь с «Куликовым полем» — оно твое, а не мое. Дар твоего сердца я приняла и не возвращаю, но это не значит, что я им распоряжаюсь. Все рада тебе сделать, но не могу найти в себе ничего, что необходимо для живописного творчества. Одна из моих начатых маслом картинок, валяется на чердаке. Вчера я увидала, как Тилли на нее муку подметает. А мне радостно. Так и надо. И кошки еще пусть нагадят. Все валяется... Из-за снега Толен не едет в Гаагу. Машинки нет. Ксению Львовну ругаю ежесекундно. Черт знает, что такое. Из-за ее лени только я не переписала заданного себе урока. Если бы он был готов, я приехала бы гораздо скорее к тебе. Ты спрашиваешь мнение Dr. Klinkenbergh о «Солнце мертвых». Я не была у него. Не хочется. Он в горе. Я не чувствую удобным его навещать теперь. И нет никакой «диспозиции»[i] на такие разговоры, как обычно с ним. Я внутренне устала. Он тоже толкает меня на живопись (больше, чем на слово), и я избегала его советов. Я устала от них. Но обо мне довольно!

Я с радостью исполню просьбу иконописицы. Сама м. б. и не соберусь в музей — (мне все это противно), но напишу туда и пошлю деньги. Какой хочет она размер? Я очень рада сделать это, т. к. этим путем м. б. скорее выйдет расчет с Павуа. О Гелелович напишу доктору в Velp, если у него открылся прием новых пациентов. Первый «визит» или консультация стоит у него 10 гульденов, следующие по 5. Лекарство не дорогое, гульденов 1—2. Но я сообщу все после того, как с ним спишусь. Этой даме я обязана лично, а потому тоже очень довольна сию обязанность изжить (не денежно, ибо расплатилась тогда же). И рада случаю.

Меня очень захватила книга И. А., и жаль ее отсылать, но сегодня же высылаю на твое имя. «Куликово поле» — тоже. Оба заказным. Спасибо тебе за переписку письма И. А. о «Солнце мертвых». А что ты еще хотел послать да раздумал?

---

[i] «Расположение» (*от нем. Disposition*).

Опять брань мне? Лучше посылай, чем копить, чтобы потом разразиться и убить меня громом!.. Серьезно!

Я страшно тронута твоими посылочками. Ну, зачем ты! Обнимаю тебя, моего добренького и баловника! Спасибо тебе. Не трать только на это ни сил, ни времени! Мне больно от этого! Спасибо, Ванёк! В твоем письме я не поняла фразу из-за сокращения: «Твой “Ан-ка” (?) во имя Преподобного, уверен, сделает». Кто «Ан-ка»? Ты? Но почему «Ан-ка»? Напиши. Чудесно, что ты хочешь связать «Куликово поле» с И. А. И., но я тут могу не быть действующим началом. Ты и И. А. — одно дело. Возьми мое сердце — оно твое. Но руки мои — они бессильны. Бездарь же не впутывай. И. А. пишет о совершенном в искусстве. Помни это. И твоя совершенная вещь не должна, не смеет быть изгажена прикосновеньем бездарных. Так я чувствую, так и делаю. Иначе — не могу. Да и не смею. Не подумай, Бога ради, что во мне «задетость», «личная обида», «честолюбие» — нет, Ваня. Я не могу. Ты мне сам писал о Григорович, о холливудской «чудесной художнице». Их и бери для сего. Если бы случилось так даже, что разожглось бы старое во мне,.. это дерзание на живопись, то и тогда отклонил бы меня И. А. Знаю.

Сотрудничать с Вигеном? — заманная идея, но ее уже слишком многие выполнят. К чему тут я? Да ты подумай: я измучилась до бессилья от того, что не соберу себя для своего, для того, чего никто кроме меня самой не сделает. Чего же я остатки сил буду вбивать опять на чужое? Оно, конечно, не чужое, оно русское и потому — мое тоже, но его выполнят и без меня. Если бы я могла дать средств на это, то с радостью бы исполнила. Подумать надо.

Не брани Арнольда за холод. В Голландии нет ни одного дома, где бы не мерзли. Он запас много топлива и мы калим печку, но дома так построены, что все выдувает. У всех так. Около печки сидеть можно, но чуть дальше — мерзнут. Выше 11° нельзя комнату нагреть. В остальных комнатах — 4° С. Угля нельзя достать ни за какие деньги. Его везут из копей на автомобилях только очень мало, т. к. каналы замерзли и баржи стоят. Ни один дом не устроен в расчете на холодную зиму, т. к. климат никогда раньше не был так суров. У нас еще есть дрова, а у многих их тоже уже нету. У меня на носу сидит переезд, надо всё бы подготовлять, а невозможно из-за холода. Как только устроюсь на новом месте, так и поеду в Париж. А теперь должна работать и закончить как «Заветный образ», так и переписку. Это мой «урок». Мне больно думать, что ты огорчишься. Как редко — думаю все о тебе и твоем. Я глубоко и жгуче страдаю от того, что твоих надежд не оправдала. Ты

заблуждаешься, думаешь, что могла бы я выполнить твои задачи. Я испортила бы твое «Куликово поле» — знаю это. И было бы снова то же, что и тогда в октябре—ноябре. Я не хочу этого, боюсь. И не имею даже сил на еще такой раз. Ты как-то, видно не думая, говоришь: «отходишь от меня». — Не может этого быть. Пойми. И попытайся еще понять мою скорбь. Скорбь от разбитых обетований... Я сама-то кА-ак хотела, верила в участие свое с тобой, в твоем*. И вот: разбито все. Пойми: разбито! Не спаять и не склеить. Разбита всякая вера в себя. Она, эта вера в себя, самое важное. Без нее нельзя. У меня нет гордости. Ты никогда не поймешь меня, утверждая мою гордость. Я не горда, а очень несчастлива. А ты еще бьешь. Ты пугаешь меня «больше не писать». Меня удивляет это и очень больно бьет. Неужели так и не увидишь души моей? Ванечка, мне очень больно. Люблю тебя, обнимаю, целую и крещу. Твоя Оля

[На полях:] Вот увидишь: никогда Павуа не издаст обещанную Э[мерик] «Неупиваемую чашу» de lux. А в Швейцарии уже м. б. работали бы! Многое испортила та переписка, многое убила во мне. Эмерикша тщеславна, а у меня на кровное посягнули! И... убили ею. Тогда это началось.

Такова твоя Эмерик! Противна она мне!

549

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.II.47

Светлый, родной, дорогой мой друг!

Уже поздно, но я не могу идти спать, прежде, чем не скажу Вам, как мучаюсь своим, посланным последним письмом, представляя себе, как оно Вас огорчит. Я все, все старания и силы приложу к одолению упадка и буду нудить себя к работе. Мне очень тяжело это состояние души. Я для Вас переломлю себя! Знайте это. Нежданно Толен решил ехать в Гаагу, и мы привезли машинку. Я запоем переписываю письма. И вот могу сказать, что Ваше усердное печатание не может не сказываться на Вашем желудке. Не утомляйтесь! Чувствую, как это вредно — долго и напряженно сидеть за машинкой. Сию минуту посылаю на ваше имя для г-жи Гелелович лекарство. Порошок, который она должна принимать 4 в день по столь-

---

* Вспомни, как горевала, когда ты отклонил швейцарское издательство «Неупиваемой чаши», поверив твоей Эмерикше в болтовне о «Неупиваемой чаше»?

ку, сколько умещается на кончике перочинного, или другого какого ножа. То, что по-немецки говорят: «eine Messerspitze»[i]. Он надеется на «облегчение». Если она пожелает с Вами сосчитаться, то «визит-совет» стоил 10 гульденов и лекарство — 90 центов. Значит, почти что 11 гульденов. Пусть она Вам отдаст, т. к. я надеюсь, что смогу с издательством по почте расплатиться. Сегодня выясню этот вопрос. У нас дикий холод. Но я сижу с машинкой у печки. Все постараюсь сделать, чтобы сразу по переезде в Wourden поехать в Париж. И не с пустыми руками, а с рукописями. Прошу света для своей души у Господа для светлого труда. Крещу вас и молюсь за Вас.

Л[юбящая] В[ас]

Б. О.

550

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.II.47

Кажется — солнце нос кажет!.. эти туманы язвили меня «зоной» до — «на стену лезь»! Зуд такой, что... — 2-ой порошок принял, через 10 дней — пока ни-чего! Продолжу до 5-го, а там — к гомеопату княжны Трубецкой.

Ольга, ты меня в гроб вколачиваешь твоим письмом!.. ты с ума сошла! — все извратила!.. Я тебе писал «никогда не достигнешь», да... но ты опускаешь — сознательно! — что я добавлял: «если вот так будешь продолжать», т. е. раскидываться!.. Говорю: ты в с е г о достигнешь!.. Нет, живопись — твое призвание, чувствую по «горячке» твоей. Хочешь — н е верь, твое дело! Ты все извращаешь. Холливудская «художница» — карри-ка-ту-ристка!.. ч т о она в моем мо-жет! И написала мне единственное письмо. Я ей — благодарно — ответил, н е касаясь ни сло-вом об иллюстрациях! Ты сошла с ума. К черту это!.. Я тебя заклинаю, в последний раз: клянусь — !!! — вот, клянусь, что отныне я не напишу тебе ни строчки, до тех пор, пока не получу ответа: «я начала работать в живописи!..» Так и знай. Никакие силы не заставят меня нарушить этой клятвы!.. Знай.

Ты бесишься, ты вся отдаешься своей неврастении. Тебе предстоит в с е п о л у ч и т ь — это редчайший случай! — от знакомства с чудесным Бенуа! Я в четверг был у него и очарован его искусством, и его чудной нежностью. Мы —

---

[i] «Острие ножа» (*нем.*).

стали — уверен — друзьями. И он — он — я ему рассказал о тебе, дуре! — он весь готов — все показать тебе! все свое великое богатство!.. У меня голова закружилась от его альбомов и «листов». Ты схватишь из беседы с ним многое. И его старушка[533] — чудесные они!.. Что за красота! Потрясен его «Медным всадником»! и — «Петергофом», и «Пиковой дамой»... но не мог всего увидеть, хоть и провел 3 с лишком часа. Эмерик — черт ее побери — подвела!.. Но никакой возможности не упущено. Ни-когда не писал тебе, что «Дю Павуа» издаст дэ люкс. Так издаст. Да плевать: мне важно, чтобы ты нашла себя. Вот что важно. Верь. Жду тебя, жду, жду... Жду от тебя. Не для «ласки» ты мне нужна. Клянусь святым во мне. Для тебя. Для твоей «радости». «Ан-ка...» это по твоему именованию «Анастаска». Митрополит. Он все сделает. «Куликово поле» будешь иллюстрировать — ты, или — никто. Не ставь мне заборов. Оно должно быть издано. И — бу-дет. Без иллюстраций. Нужно. Для — тех. Я его переработал, оно стало в полтора раза шире. Оно — твое, нечего швыряться. Смотри, я рассерчаю. Не кощунствуй, Ольга! Не покрывай все — собой. Что бы ты там не писала мне, из всех строк твоих так и прет оби-да!.. Это ты себе навертела. Ты не видишь моего сердца! Оно — порой — «вскрикнет» — и тогда я себя не помню, могу написать «ложь», от раненья! — но оно всегда живет тобой и неизменно ве-рит в тебя. Почему же я так за тебя хватаюсь?! ... Оля — Оля. Перекрестись, возьми с поганого чердака — все твое, — оно чистое... и вернись к выполнению святого долга, иначе хулишь Духа Святаго! Поплачь, попроси Господа простить тебя. Чего ты и Григорович припутала?! Тьфу!.. Делали — кто делал — не для меня, а — для себя, потому что были захвачены тем, что сами видели в моих книгах... — я тут не при чем, я, во плоти... Ну, я тебе сказал все. Я отныне — вот ты увидишь... — ни слова тебе не пошлю, пока не получу от тебя успокоения, уверения. Тебе открываются все возможности — и ты все пинаешь. Я не ковер же, чтобы меня топтали. Ты топчешь. Пишешь «Ванечка», а тут же — ему плюешь в душу!.. — укоряешь выдумками твоими же. Тьфу!

Я измучился и от болезни, и устал от чрезмерной работы. К Вигеновой работе тебя не принуждаю, я писал, чтобы показать, как люди горят делом, а ты только изводишь себя... И речи не подымаю о твоем издании «Куликова поля». Издадут в Германии, и люди будут читать. Больно мне, что ты даже отказываешься обложку дать!.. Пришли твои рисунки — мо-и! — чтобы отнес Бенуа!.. Не хочешь? твое дело. Издевайся надо мной. Никто никогда так не поступал со мной. То — «ты

мой светик», а на самом деле — пинок, пинок!.. Никогда я не отрицал А. Схот: был бы счастлив, если бы она стала переводить, но у меня нет уверенности, что она будет переводить. Надо, чтобы ей пришлось по душе. Немецкие книги верни мне. Я вижу, что наша переписка уперлась в тупик. Ты ее режешь! Ты все наше режешь... Ты видишь, как я рвусь к тебе, и всегда — к черту! Ну, так я же найду силы — кончить. И — кончаю. Сожму зубы, удержу сердце и руку, — ни строчки не напишу, пока не услышу: «я работаю»! Последний раз клянусь тебе: я верю в тебя, и никогда не терял этой веры. Стыдно, Оля... ты знаешь — кто ты для меня. Я Господня дара, Милости — не отвергаю. Это ты отвергаешь. Ну, тащи бремя — разбивайся... — разменивайся. Я не понуждаю тебя приезжать. Не можешь — что поделать... — для тебя же звал. Хотел, чтобы ты зажглась «воздухом творчества». Хотел передать тебе, что могу из своего опыта. Отвернись. Когда увидишь, что сделал Бенуа, и он до сей поры — ему 77 работает... — поймешь, что такое — творить. На твоих глазах я все еще «учусь», стараюсь «сделать лучше» — работая над «готовым». Вдохновение — да, но труд — тоже — «да», и никакое «вдохновение» без труда ничего не может создать.

Смейся над святым, — а ты смеешься! — пиша, что радовалась, как девчонка — по непониманию — принимает твои листы с работами за «подгребало»! Сты-дно. Ты — кощунница.

У меня иссякли силы и я кончаю. Я сказал все. Надо же, наконец, когда-нибудь и очнуться. Иначе — летаргия.

Итак, повторю. Я тебе не нужен. Ты это сказала. Да, сказала — отношением твоим к святому в нас. Ни сотрудничества со мной тебе не нужно, ни нашей спайки через святое для нас. Мне больно, но я тебе в последний раз говорю: я не напишу отныне ни одного слова тебе, пока не услышу — «я работаю». «Я переломила себя». А как я мечтал — говеть вместе с тобой! Из этого ты должна понять, как я чисто отношусь к тебе. Мог ли бы я с тобой идти к Чаше, если бы я думал и чувствовал — темное! Я хотел освятить мое чудесное чувство к тебе! Ты мне дорога — творящая. Не-творящая — ты можешь быть только «интересна». В мои годы я не могу жить похотью, я не Бунин, который страдает старческой похотливостью, до скандала! Он походя словесно — даже в разговорах, говорят, похабничает гнусно. Это уже болезнь. И. А. в отвращении от его «Темных аллей»: «через это — провал в художестве, Б[унин] тут провалился, как художник»[534].

Значит, ты в Париж не приедешь... И я — «отложил попечение»[535]. И — заковал себя в труд, без высказывания тебе.

Теперь ты ни-чего не услышишь от меня. Можешь писать — я отвечать не буду, не могу. Я не тряпка, которой отирают ноги. Не половик, не голик.

Господь с тобой. Помни: мы на «перевале». От тебя зависит: обрушить все в прорву. Да хранит тебя Господь, ты останешься мне дорогой — прошлым, пусть меня так жестоко обманувшим. Да... если я хотел что-то написать и не написал, то не помню, о чем речь: только вовсе — клянусь — не «брань», а что-то «деловое»... не помню... м. б. о переписке с И. А. — ?

Оля, умоляю тебя, — я же люблю тебя, я верю в тебя!.. неужели ты не знаешь моего сердца?! ... Оля, не теряй случая зарядиться светом, — пусть не от моего искусства, так от А. Н. Бенуа!.. Это — пир!.. это редчайший случай — какой обаятельный, добрый человек!.. Он сразу поймет тебя и — верю! — укрепит!.. Ну, будет солнце, будет тепло... приезжай.

Я боюсь серьезно заболеть... я устал. Я учитываю реальность вашу: да, надо устроить кров... — да поможет тебе Господь! Но не толкай же меня на крайность. Ты мне — дорога. Мы дружески, в любви, в чистой любви, возьмемся за дело! Мне ни-кого не надо, ничьих услуг. «Куликово поле» никто не может обрамить, кроме тебя: никому не доверю. Пусть тогда издают без обложки даже. Но я не впустую же перерабатываю его. Я — ищу... и лучше я не могу. Я его поуглубил, а главное — я исправил слова Преподобного, — поднял их до... «над обыденным». И, м. б. лучше показал «рассказчика» и его «процесс». Ибо «рассказчик» — ищет, как и я. Оля, Олюша, — умягчись, «посокрушись», как учил меня Горкин в первое говенье. И — сделаем нашу спайку еще крепче. Одолей себя, одолей мертвящую инертность твоего «тленного»: не помоги в торжестве — тем. Целую тебя, родная моя девочка.
Твой Ваня

551

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.II.47

Дорогая Ольга Александровна,
благодарю за быстрое исполнение моей медицинской просьбы! Сегодня отнесли Е[лизавете] С[еменовне], которая в гриппе. Все дни под обаянием творчества А. Н. Бенуа! Если бы ты все видела! — пир!!! О, если бы ты взялась!.. Благослови Господь!.. — молюсь за тебя.

Оля, собери силы: помни: ты назначена петь Господа! «Куликово поле» раздвинулось, сегодня кончу. Рукопись И. А. вчера пришла. Спасибо. Молю: не хорони подлинные дары Господни! — все будет, знаю. Мне шепчет сердце. Бенуа — скажет тебе — да, талант! Что он дал в «Медном всаднике».

Не будем цапать друг друга! Весь сердцем
Иван Шмелев

552

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.II.47

Родной мой Ванюша, не могу откладывать письма. Ты должен скорее узнать мои мысли. Но прежде всего: оставь все то, что пишешь обо мне — ни ломанья у меня нет, ни тем более (какую глупость ты выдумал!!!!), что, благодаря моей воле (или безволью) наша переписка «уткнулась в тупик». Неужели ты это допускаешь?! Она не может уйти в тупик и уж только потому, хотя бы, что является выявлением жизни нашей друг в друге со всем нашим внутренним богатством. Итак — это оставим... Я поняла, КТО издатель «Куликова поля»[536]. Больше ничего не хочу говорить. Ты поймешь мои чувства, когда вспомнишь СВОЕ осторожное отношение к этому вопросу в мою бытность в Париже... Ты должен это понять. Мы не будем препираться, — такого сорта вещи требуют взаимного уважения мнений.

И вот ТО, чего ты от меня не знаешь, что я тебе не писала «без нужды к тому», не желая касаться больного, и что теперь обязана тебе сказать...

И объясню все с самого начала, дабы ты не впал снова в ложные представления, как то было в октябре с Ж[уковичем]:

И. А. И. поручил мне разного рода дела касательно Жуковича, желая его вызволить из беды. В порядке, возникших в связи с этим, разузнаваний и переписки, — я наткнулась на одного человека (услыхала о существовании его и узнала адрес), должна была косвенно затронуть и его, сносясь с Бельгией в вопросе визы (постоянной) туда для четы Ж[уковичей].

Имею в виду архиепископа Александра[537], человека, окруженного ореолом геройства, неподкупности, бесстрашия, известного даже и в Голландии. Он был арестован гестапо в самом начале войны за свою прямоту и просидел в герман-

ском пленении до самого освобождения, порой даже в кандалах (!!!!), под издевательским надзором (в то время, когда не был в настоящем лагере — он сидел, кажется, в Дахау) епископа Серафима Лядэ[538] (немецкого шпиона), по прозванию Иваном Александровичем — «Серафим Злодейский». Этот-то архиепископ Александр, оказалось, живет в Бельгии. Он был одним из первых[539] и в Москве, и в Киеве, и в Троице-Сергиевой лавре (летом 1946 г.).

Зная мою непосредственность, мою болезненную требовательность справедливости и знания истины, ты м. б. не удивишься, если сейчас узнаешь, что я решила к вопросу подойти вплотную.

В своем последнем письме И. А. сделал приписку для мамы и Сережи, о том, что они в своих суждениях о церковном вопросе «трагически заблуждаются». Я, переболев этим вопросом, этим новым и страшным расколом, не могла пребывать в спокойном неведении.

Никогда я не была в сем теплохладной, и прежний раскол меня доводил до отчаяния, до мыслей об уходе в иную Церковь.

Теперь — все еще важнее и острее.

Я, никому ничего не говоря, просто поехала в Брюссель к владыке.

Была там в воскресенье, а в понедельник уже была дома, точно также, как это бывает, когда я езжу в гаагскую церковь. Перед Крестом и Евангелием «как на духу» — я заклинала архиепископа сказать мне, для меня, для мира души моей *всю* правду о том, что творится на родине с Церковью. Своим архипастырским словом он мне сказал: «Воистину, поднялся и поднимается наш великий народ в вере. Встает, встает СВЯТАЯ наша РУСЬ!» Он, как и я тогда на фильме, — всматривался в самый н а р о д, в нем ища ответа. Самые отрадные, светлые впечатления унес он с собой оттуда. «Дерзновенною рукою я — недостойный поднимал покров Честных Мощей Преподобного Сергия, Российского Чудотворца, чтобы не смущаясь сомнениями, непреложно знать о подлинности этой Святыни. Ничто не пострадало, ничто не изменено; — это я могу заверить!» По его словам, Вера Русского народа так горяча, свежа, — глубока, что нам и не вообразить этого. Нескончаемым потоком идут молящиеся к Преподобному. Я могу тебе еще больше всего рассказать. Если захочешь.

Для меня непоколебимо ясно одно: по тем или иным причинам (я лично верую в подлинный сдвиг) русскому народу дается великое утешение. Пастыри держат в руках возможность воспитания поколений. Все силы надо приложить

к тому, чтобы Церковь имела П О К О Й для своего развития и работы! Нельзя же чтобы этот многомиллионный народ оставался без духовного кормления!

Расколы в Церкви на политической подкладке губительнейшим образом могут отразиться на истинно русском возрождении.

Мы не смеем забывать, что на Россию смотрят о-чень многие о щ е р я с ь, выжидая удобный момент для схватки. Никто и не думает позаботиться о восстановлении России могучей для себя и «На страх врагам!»[540] Пора же понять это! Американские деньги, Ваня, стыдно бы было брать нашим пастырям, ибо «двигатели»... совести-то ихней... какие??

Епископа Владимира я только видала, — он показался мне молитвенником. Не понимаю, как он мог, признав патриарха сначала, — отказаться потом?[541]

Митрополита Анастасия знаю. Хорошо, я не буду непочтительна к сану, — но не смею и замалчивать того, что з н а ю.

Мы имели с ним дело, и всегда он показывал себя как «дипломат», без прямоты и гражданского мужества, оберегая себя, только себя. Не смею ни на кого делать н а ж и м а.

Это дело каждого, дело духовного вИдения и оценки творящегося.

Мне больно, что «Куликово поле» пройдет в Мир с помощью... для меня сомнительных средств.

Мне еще больнее, что в этом важном вопросе мы не «единомыслим» с тобой. Я не постигаю, отчего это. Мы так с тобой СО-гласны. И так предельно честны в любви и принадлежности своему!

Арх. Александр — без сомнений, без единых сомнений — честнейший Пастырь! Е Г О нельзя *ничем* купить: ни запугиваниями, ни дарами — духовными ли, материальными ли! Я видела, как и кто его травят. И знаю почему. Недостойно передергивали многое, что я, я, я — сама случайно *достоверно* знала!!

Я в тех случаях, когда могла, указывала на «неточности» их передач (имевших, однако, часто роковые последствия), — и, Ваня, они смущались!!! Да, да, уличенные мной! Но не стоит обо всем этом. Их, этих (часто совсем н е плохих людей) м. б. и понять можно: они видят свою жизнь в прошлом, не находя себе места в том, что (несмотря ни на что) осталось нашей Родиной*. И мне там м. б. не нашлось бы места, но надо иметь

* и увлеченные этим, переносят и церковный вопрос в политическую плоскость.

в себе силы для блага общего забыть себя. Не прими за соглашательство или еще что в этом роде. Нет, все мое вне всякой политики, Я — до кончиков волос русская, и живу только национальным нашим, видя, что оно, это национальное надо не губить, а всеми силами поддержать. А коли бессильны это сделать, так, по крайней мере, не губить. Говорю о Церкви.

Вот и все, что хотела тебе сказать! Точки же над «i» сам поставишь, ибо, вспомня и свое мнение на сей предмет, поймешь, как тяжело мне знать издателя «Куликова поля».

Это, однако, твое дело. Мое же — не могу, чтобы я в этом связывалась с издателем. Пойми, родной мой! Неужели никто другой не найдется издать? Если можно бы устроить перевод девиз и снять со счета (блокированного) мое последнее, то я бы не задумываясь отдала на издательство.

Я понимаю, — снова гонка у раскольников за твоим именем. А И. А. тебя увлек. Но он, при всех его качествах, только лишь — человек. Очень большой, но — человек! И такой, которому Анастасий и иже с ним — некоторый выход. Ты, Ваня — другое. Я тебя, как себя, знаю. И при, м. б., иной обстановке, ты понял бы все точно так же, как и я!!

Атмосфера Парижа та же, что и в Брюсселе. А ведь и «капля камень точит». А тут еще... Цюрих... Тебя я не виню. Я могу все у тебя объяснить. Но и ты не сетуй на меня, если ПОКА не видишь моей правды.

Я, если ты этого хочешь, приложу еще раз все старание к одолению кризиса в себе. И это только во имя твое!!

Я буду работать над обрамлением «Куликова поля». Для тебя.

Но не связывай меня с теми, кого я никак не приемлю. Нельзя же насиловать совесть!

О текущем... Что же, — все пишу и пишу на машинке. Ответь же, могу ли оставлять некоторые письма не перепечатывая, — писала тебе про это.

Вчера в Голландии все пошло вверх ногами — родилась принцесса, 3-я по счету!![542] Ну, их дело! Благодаря ей все встало, не попал А. и к адвокату. А надо бы торопить. Все ждут взятки. Но благодаря принцессе же, 10 операций, ждавших доктора К[линкенберга] (несрочных) тоже были отложены ввиду «национального праздника», и он приехал тотчас же к нам.

Он сильно постарел, но снова «в форме». Привез в память матери, полагающиеся у католиков, листочки с молитвой и с некоторыми данными об усопшей. Скульптура Микеланджело дивно и со вкусом выбрана для украшения этих «памяток». Я,

если позволишь, дам ему «Солнце мертвых». Ты просил их выслать. Почему?

Розенберг и Лютер — не Кандрейя тебе!!

Лютер, пожалуй, лучше, впрочем, не везде!

Никогда не давай в плохие руки переводов! А твоя Эмерик — ...ну, что сказать о стрекозе? Никакой ревности, а просто всегда я видела ее любование самой собой. Ты же, твои книги брались ею за подмостки к «славе»... Так ведь в глупости своей мне и брякнула: «для моей славы»... ... Д У Б!!!!!!!

С такого-то «дуба», Ваня, труха разве что посыпалась бы, да только ее бы и «трясти»-то доктор не подумал. А ты вот выдумал и, не смутясь, оскорбил верное тебе сердце. Сколько бы ты в мире ни искал, — ты не найдешь такой к тебе второй Оли! Перечти-ка письма, а то и просто повнимательней посмотри в меня! Мне многое больно...

Я кончаю. Надо работать.

Всегда я с тобой, как была и прежде, никогда не меняясь.

Не надумывай поэтому «тупиков».

Ты-то ведь тоже знаешь, что их быть не может. Милый Ванюша, очень прошу тебя: собери силы души твоей и постарайся меня понять.

Обнимаю тебя и очень трепетно о тебе думаю. Знаю, — будь я в Париже, — мы бы все разобрали и договорились бы во всем!

Будь здоров, мой Ангел! Целую.

Оля

Очень прошу: пришли мне поскорее мой рассказ, — я его перепишу. У меня *ничего* от него не осталось. Не могу дальше. Пришли — не задержи!

P. S. Если не веришь, — я покажу тебе в паспорте штемпель бельгийско-голландской границы. Ты увидишь, насколько затрагивает меня вопрос церковный. Ведь «так-себе» не поедешь в Бельгию. Да еще при занятости моей и холодище.

Я не огульно хочу судить. И потому *все* проверила.

Если бы ты арх. Александра увидал, поговорил, то все бы душой своей понял. Люди мне прямо говорили: «зачем арх. Александр говорит, что Церковь свободна!» И продолжают сами: «она никогда не может быть свободной». Люди не правду ищут, а то, что *им надо.* В этом — ужас. Карташев такой же. А их авторитеты действуют и на прочих. Ты же в начале иначе судил!

553

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.II.47

Снег, тает, туман. Где солнце?! ... И его сожрала земная нечисть. Масленица, без блина! До Пасхи — 50 дней. Как в детстве, считаю.

Ольгунка, сейчас твое чудесно-нежное письмо[543]. И — на такой розовой дряни! сложи в уборную, только для... ж-ки, и то — не для твоей. Для твоей — шелковистую, японскую. Ах, прелесть моя, Олькушка! Как люблю тебя!.. вся ты по В[ань]ке! И — не судил Господь. Тобой силен: для тебя и «Куликово поле» переработал, — нежная Оля! Как я сейчас по-лон тобой, как нежен, как лелею! И все это смешалось с волей к работе. Как люблю тебя — такую!.. — светлую. Оль, брось переписку, она измучает тебя. То-мы, да!.. Успеется, а сейчас — гори внутренним огнем, — пиши, рисуй. Трудно в холоду, ну — в себе строй, до тепла. Машинка истомит, ты перенапрягаешься. Надо привыкнуть, и тогда — легче. Я не замечаю стука, устаю лишь от внутреннего напряжения. Смотри, что я сделал за эти 2—3 месяца! И — все время во мне шла другая работа... «Пути». Но для 3 тома надо много «зарядов», надо много прочесть, но не могу отыскать нужного. Все в глазах «Медный всадник». Чу-до! Бенуа примет тебя ласково, и ты — увидишь — ско-лько найдешь! Оля, как хочу руки твои держать, тепла твоего хочу... и света в твоих глазах. — Чудесное письмо на днях от И. А.[544] Гениальное заключение!.. Он блестящ и в письмах!.. сколько юмора, подчас едчайшего! Тут о Булгакове-Бердяеве и о — Шмелеве... — «сравнение». Навязывает мне, что я нашел давно... Бога... Нет, я — ищу. И переработка «Куликова поля» — тебе это покажет.

Да, ты права: я писал со слов этой болтушки Эмерик, что — «м. б., Павуа издаст “дэ люкс”. Я не верил. Но тебе сообщил — перечти — там — «м. б.» есть. Черт с ней. Подвела, стараясь вырвать право на перевод. И до сего дня твердит: лежит договор к подписи! Вроде голландских «издателей». Плевать, никак меня не тронет это. «Пути» пойдут своим путем. Теперь мне — только бы скверную трусиху-девчонку — ! — впрячь в светлую работу! Для сего и — «встреча». Пишу на «холливудской» бумаге, прислана карикатуристкой. Пришлось бумагу обрезать, велика.

Ты уже получила «Куликово поле». Послано и Ивану Великому. Ему я обязан важным замечанием, сделанным лет

8 тому!.. — не забыл. «Как будто Вы сам... не верите, а в неверии, как эти два "рационалиста"». Прошло 8 лет. Я — несколько другой. И потому смог дать иначе, как ты увидишь. Я ловлю трудное... как делаются верующими..? М. б. и тогда верил, но... был очень осторожен с другими... — теперь — свободней стал. И то мне тогда «левые» швыряли:[545] «как Шмелев осмелился утверждать... чудо!.. это... — кощунство»!!! — каково, из уст — поганцев?! ... — «ко-щун-ство»? Перед... поганцами?.. Теперь бы скорчило их!..

Олюшка, оставь переписку. Про-шу. Переговорим. Непосильная работа. На 10—12 томов. Ты не верила..? — теперь видишь. Ско-лько «огня» мы — и не даром! — дали друг другу!.. А «переписка» даст — ско-льким!.. Придет срок. Есть, за что благодарить нас. Такого не бывало. Жизнь написала роман... — гениям не под силу. А мы — создали. Только — любовью, вместе. Сего не вы-думать. Это — сердца наши — себя отдали. Благодари Бога. И не стыдись. Мы — дети, мы стали детьми. Наши души — созвучны на диво. Нашли друг друга — оброненные «золотинки», в океан упавшие... — и — нашли.

Каши прислать? У меня — завалы крупы. 5 посылок. Ивану Великому послал кило. Жду «важного» письма — и — страшусь. Все исполню. Я ни на миг за эти годы не переставал ценить тебя, верить в тебя, любить... Ольгуну. Кандрюшка пишет: «Чехов очень хорошо продается. Прекрасные отзывы и всегда Вас выделяют, обращают внимание на глубокое, ценное, субстанциальное Ваше предисловие. И для многих этот Чехов — по Вашему выбору — открытие: этого Чехова многие, особенно молодое поколение, еще не знало. Большой успех, можно сказать. И Вам простят многие новоиздания. От души радуюсь за Вас». Странная вещь, но объяснимая — «успех» такого перевода. Я тебе безусловно верю, что перевод ни-куда! Но... внеси вот какую поправку: Кандрейя пишет «по-швейцарски»! Это — особый, там принятый «язык», как в Америке — дикий английский, как наш и украинский. Тогда все понятно. И то, что ей дают переводить Достоевского. Что Томас Манн хвалил «Форфрюлинг», конечно, зная, на каком языке перевод. Мне Трубецкая говорила, что И. А. любит — с юмором, «шикнуть» этим швейцарским «арго»! И когда говорит о скверном переводе К[андрейи] — исходит из чисто-немецкого языка. Рад успеху Ч[ехова] — не для себя, а для блеска нашей словесности, нашей души. Пусть постигают, недоросли. Им и не снилось такого «всматриванья» в данную Богом человеку — жизнь! Им не приснится ни-

когда — сила духовной мощи народа нашего! Я это отметил в «Куликовом поле» — и счастлив, — тобой! — что отметил. Ты, моя звезда, подвигла, как и для конца 2 части «Путей», где я ввел в дневник В. А. — стихи[546] — тебе!.. Ви-дишь, Ольга, моя дряннушка-птичка, как ты дана Ва[нь]ке! И как этот подлец хо-чет — всю тебя! — и не — получить!.. Милая моя лошадка... чудеска... бешенка!.. тебя надо оглаживать, направлять безоглядный твой «бег» — «в мерный круг»! Гениальный, святой Пушкин!.. непостижимый... «врете, подлецы!..» да, да, — вольно пишу, не точно... «и они грешили... только — по-другому!» Гении — да, грешны, — но так у них и грехи — «по-другому»! Так и у нас с тобой. — По-другому. Не смущайся, дива... про-стит Господь. ОН — не — обыватели. ОН — все знает.

Безумно хочу, чтобы ты красками работала!.. Пусть тебе Бенуа все скажет. Он не обманется. Да, он — гениален. Эти передние две ноги его «Коня» — не выходят из духа моего. Что можно сделать... крас-кой!.. И это — рационалист?! Какой там — рационалист! Ми-стик, до печенки. Что за «Пиковая дама»! а «Азбука»! — говорят... — предел! А Петергоф... я с ума сошел. И — знаю: Ольга все может. На то она и... Ольгу-на!.. — золотинка ты моя бесценная. Ты каждой жилкой — творица. Ты — такая пара Ваньке, которого я порой чувствую в себе!.. Оль, прочти душой «Куликово поле». Я знаю: не достиг предела.. но это — неуловимо... «возрождение»! Я мог лишь коснуться... — но я верю... Оля, я верю... — все ведется... Бог — всегда в творчестве!.. и без Его Помощи я не смог бы дать и то несовершенное, что давал. Я верю в назначение народа нашего. Ге-нии не могут ошибаться: их глаголом — Господь вещает людям Волю Свою. Оль, я пытался дать «радость Жизни»... какую почувствовал «следователь»-рассказчик. По-дъем! Не смею уповать, что мне удалось это... надо бы еще расширять, но — это должно быть дано в 3-ей части «Путей». 2-ая — ты увидишь... многое подготовила... ты ее не знаешь... как я перетряхнул! В. А. входит — самое главное! — в духовно-душевный мир Д[ариньки]! Это — первые шаги... к перерождению. Видишь, как издалека... «Куликово поле» не могло бы быть, если бы я не написал 1 части «Путей». Как все связано. И ты пришла ко мне, чтобы дать мне помощь твою, тобой. Как же отказываться от «креста»!? ... Это твой сладостный Крест! Верь, Оля. Верь незыблемо. Чем хочешь делай словом, краской... но не покидай себя, твоего чудного Креста. Вместе пойдем, я хоть отрезок пути иду с тобой, моя девочка. Го-споди! бла-

годарю Тебя за дар Твой. Двойной: за слово, Тобою вложенное, за Олю — мне врученную!.. — на смену той. Твое — телесное... оно — прекрасно. И оно — для меня — чи-стое. И если я тебя люблю — всю... — эта полнота любви — так созвучна. Я ан-гела в тебе люблю... пусть даже во плоти... но я Ангела люблю. Ты можешь быть — русалкой... соблазном... — ты не виновата. И я не виноват. Но мне не к лицу, конечно, это... — смешно. И я боюсь этого «смеха». Стыжусь его. Опьянение Духа... нужно... но что делать, если оно приходит... в телесном, как сладкий дурман вина с грезами — в вине, в соку виноградном, перебродившем?! Ты своею прелестью отмыкаешь во мне — запертое — «от духа». Отмыкаешь — тленные запоры... Думаю, что и в «Куликовом поле» — это сокровенно! — сам «следователь» постиг веру через созерцание чистоты Оли... ее порывов... — нигде это не сказано прямо, но... есть намеки... в его словах. Что тянуло его в голубой домик?! Все. И — она. И он, седой уже, сам отец... — он коснулся рая — через эту девушку... И сам — прости Господи, Угодник... — к этой чистоте снизошел... ангельской, к этому девственному чувству святого огня в ней... и остался. Это — кощунственно... знаю... но «чувства» — сколько же ступеней имеют! Угодник склонился к «пенью» божественной души. Это сверх-святое. Постижение Красоты самим Господом... — неотрицаемо: Он создал всю эту Красоту! — для высокой Радости — в Нем. Я с ума сойду... Написать бы — такое!.. — сгореть, сжечь себя. Видишь, как ты меня коснулась. О как люблю тебя!.. как жду!.. — подняться! быть чистым в греховных помыслах. Ты и жжешь меня, и очищаешь. Это — несказуемо. Люблю... Ольгуну. Люблю до... муки, до безумья. Или — весна это? как у... всего сущего?! Кто виноват? Боже, Ты?.. Ты таких создал... Тебя петь. Пою.

Вижу! это письмо — безусловно. Но сколько в нем — славы! Грехом — помыслом — славлю! Через Красоту и тайну прекрасной женщины, Ольгуна. Прости меня, ты, — прости, Господи — Ты. Ты ее создал. Такую сложную, такую насыщенную всем. Небо — и — земля. Неразрывны, — и все — в тебе! Оля, светлая моя...

Всему покорюсь, лишь бы ты была покойна, овладела собой.

Твой безумец. Твой Ванёк

554

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.II.47[i]

Милый мой Ванечка,

Получила твое письмо и очень встревожена за твое здоровье. Для чего ты так легкомысленно собой распоряжаешься? Мне больно, что ты как-то и меня вовлек в причину твоей простуды. Ну, не я же этого хотела, чтобы ты уголь для меня берег! А теперь расхвораешься в эти холода! Я очень, очень встревожена. Я тоже чуточку простудилась. Но надо всюду рыскать из-за квартиры. Нам о т к а з а н о комиссией в освобождении и маленького домика. Сегодня едем искать в городке самом. Ужас, какая канитель. Если бы только сам переезд! Надо еще кров себе найти! А я так до отказа утомилась уже и здесь сидеть кучей. Хочется хоть на несколько часов в день иметь уверенность, что через тебя никто не пройдет. Я не могу работать на юру. Сейчас, все время занята перепиской. Часов до 12—1 ч. ночи стукаю. Но плохо подвигается, — дошла только до «Свете тихий»[547]. Пишу, и вижу, как ты все же мало понял Олю. Да, мало. Какое нараспах сердце я тебе давала, как всю самую глубинную правду тебе доверяла. И как предельно чисто... Из твоих писем мне видится ясно (и теперь лучше, чем тогда), как ты «чесал меня под общую — бабью гребенку». Оттуда у тебя смогли вырастать и нарастать все твои цепляния меня. Ибо ты их начал. Я была для тебя очень похожей на любую из твоих парижских знакомых.

Была взята обще-женская мерка. Это не выдумка моя. Это — увидит и читатель. Увидит обязательно. Это же тебе позволило в свои письма включить такие эпизоды, как «болтающиеся серьги» уборщицы и ее «подвязки поддергиванье»[548]. В ответ на мои, из сердца писанные, в полной чистоте письма, ты не мог так писать, не имея шаблонного подхода и ко мне. И, как любила я твоих: и Ивика, и Ю[лию] А[лександровну]... А что я получила?..

Я нелюбима в Париже. Это я знаю. И многое темное у тебя ко мне всплывает, конечно, под хитрым и якобы «любовным» разговором «Юли» обо мне. Я ее сразу душой увидала. Она не любит меня. И это *ее* критика моей живописи, а не твоя, когда ты разбил меня в пух и прах. Я не хочу тебя цапать. Но мне очень больны все твои упреки. Письмо твое о Ж[уковиче] не угасло во мне и порой дает себя знать.

---

[i] Письмо не было отправлено О. А. Бредиус-Субботиной..

И твои слова о «Куликовом поле»... Всю мою *редкую* (да, да!) любовь к тебе ты сравниваешь со... всякой. И это очень больно. И именно в этом смысле же я тебе говорила, что для меня Даринька не слишком сложна. Потому, что я, сама я чувствую куда ее глубже. Могу же судить-то! И мне — сравнение моего душевного мира с Даринькиным — не полно. Я глубже Дари. И если ты ее выше и чище ставишь, то мне это только больно, ибо знаю, что ты не понял меня. Никто, никогда тебя так не любил. Будь уверен.

А ты-то: и Ириной Серовой, и Елизаветой Семеновной, и Дашей (!) в России меня дразнил.

Переписка эта — мне крестный путь.

Вижу все, и вновь переживаю и болею душой, т. к. вижу, как мало ты понял меня и оценил. Все твое чудовищное письмо о Жуковиче... его нельзя объяснить, принимая во внимание твое, якобы, «знание» меня.

Поистине ужасно... И все это... о свинье под дубом... Тут, знаешь 2-х мнений быть не может ведь. Басню-то эту всяк знает. Итак... и Эмерик выплыла... И вот знаю, что ничто из моего душевно-духовного мира тебе не внятно и не дорого. И боюсь, что мой взгляд на церковный вопрос ты тоже возьмешь со злостью. Ты же не уважал до сих пор ничего из моих убеждений, ругал меня за все, что не по тебе. Я молчу, когда мы не согласны, я никогда не позволю себе делать какой-либо нажим.

А ты?

Я уверена, что ты опять меня «бить» будешь за мои взгляды. А я не могу иначе. Это моя совесть. Ты можешь думать по-своему. Но я уверена, что придешь к моему же потом. Если свары и гадости раскола не изгадят всего положения.

Все, что тут стоит — звучит горько и м. б. для тебя больно. Мне жаль этого. Но я не могу молчать. А в душе у меня нет ни крупицы зла. Я люблю тебя по-прежнему и именно потому мне так все больно. А ты... никогда, видимо, не перестанешь на меня смотреть через очки обычного парижского бабьего мира. Мне очень это больно. Читая наши старые письма, я сказала (почти вслух, себе): «никогда не надо пытаться себя открывать... И никому». Пойми! Очень больно. Ведь ты как меня хлестал за Жуковича. А спроси И. А. — и увидишь, какой он «жид». Есть ли он, или нет — мне все равно, мне лично. А ты чего накрутил!! И безбоязненно разбить меня этим! Много я тогда перестрадала. И много этим испорчено. Уж, хотя бы, моего здоровья. Я не постигаю тех твоих обвинений. Некоторые из них (касательно «рухляди» и т. п.) не без (м. б. незаметного тебе) влияния Юлии Александровны. Я ее — во! — как вижу...

555

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.II.47

Дорогой мой, милый Ванюшечка.

Я очень взволнована твоим сообщением о простуде. Как ты неосторожен. И к чему ты берег уголь... Мне все это так больно. Ставишь, как бы, в зависимость от меня же! Все это время мы изматываемся квартирным вопросом. Положение гораздо хуже, чем сперва казалось. Обив пороги всяческих комиссий, мы только и узнали, что, т. к. мы переселяемся из другой общины (не вурденовской), то не имеем права на выселение кого-либо в пользу нас. Принимая во внимание, однако, старожилость покойного старичка, — они как бы «закрывают глаза» на то, если бы мы, помимо комиссий, подняли суд с кем-либо. И в случае благоприятного решения суда, — могли бы требовать квартиру для тех, кого мы выселили бы. Ибо они вурденцы. Таким образом все «вилами на воде писано». Абсурдно, т. к. Арнольд — наследник имения, стоящего тут столетия... я в субботу целую речь по этому поводу держала в комиссии, но результаты... пока никаких. Сейчас сижу на станции, по дороге в Вурден — начала переговоры снова с типом тем. М. б. за деньги большие согласится. В субботу я уже была и у него, и у его брата. Сегодня иду к его сестре еще. Бог знает, что выйдет. Само по себе переселение, — всегда неприятное, — кажется мне просто за удовольствие. Все свободное от хлопот время сижу за машинкой и стучу до 12 часов ночи. Переписка эта, Ваня — крестный путь мне, полный и радости и слез.

Там, вижу теперь как бы со стороны — бьется мое сердце. О, Ваня, и как же ты бывал несправедлив! Не хочу всего касаться, дабы ты не принял за упреки. Я далека от упреков, — я слишком хорошо, светло — к тебе... Но ты как бы «стриг меня под общую бабью гребенку». Иначе не было бы обидного твоего мне на т а к у ю предельную мою открытость. Ты (это я знаю!) ни у кого, нигде и никогда не найдешь такого, как мое. И читатель, если этот «роман» выйдет, — это тоже поймет сразу.

Мое письмо от 8.VII.41[549] — потрясло меня вчера своим «пророческим» — там о Воскресении России. Мой сон. Я приведу тебе — если захочешь, — точно. По-ра-зи-тельно.

Я твердо знаю, что Россия духовная — встает. Буду рада, когда и ты это увидишь. Иначе и не могло быть. Наш народ, в том своем исключительном *духе, не мог*, не смел не взять своих духовных прав. Без этой веры нельзя бы и жить было.

И этот народ (лучше, нежели мы все эмигранты), показал себя и взял у власти наперекор «конституции» самое драгоценное. Я умру за это мое убеждение, если надо будет. Не то важно — как правительство — а то, *как народ*! Это надо понять. Ибо только в народе сила. И нельзя мешать.

Сегодня мне письмо от княжны Трубецкой (урожденной), разведшейся с князем Оболенским и замужем за неким Купфером[550]. У них я ночевала, когда была у владыки Александра в Брюсселе*. Они — вся семья: ультра анти-советские. Против патриарха, хотя почему-то поют в храме владыки. Были (по ненависти к большевикам) даже за немцев. Я не скрывала своих мыслей. Это и был ее сын — которого я «уличала» в «неточностях»-то. Более сердечного, дружественного письма я не могла бы получить ни от кого. Я поражена, что это такое? Почему она так удивительно тянется ко мне? Небывало, Ваня.

Да потому что души-то общие — русские. А она подсознательно чует правду за моими словами.

Я перешлю тебе ее письмо. Она жаждет твоих книг. Я ей пошлю французские «Пути». Она — неутешная. Много горя видела. Милая женщина. Она не знает княжны Трубецкой в Париже. Я спрашивала.

Кончаю, т. к. должна на перрон к поезду.

Помолись, чтобы хоть как-нибудь все устроилось...

3 часа дня — была уже у мужика и у сестры его, — ничего не выходит. Я в ужасе.

Кроме того — просила работника взять у «ведьмы» ключ от домика, где мечтала устроить свой угол. Три раза все «не могли его найти». А сейчас работник передает слова ведьмы: «а для чего нужен M-me этот ключ?» Гадина! Какое дело моему наймиту задавать этот вопрос! Нахалка. Сейчас я была у нее — «M-me отдыхает!» — сказала какая-то обшмыга в фартуке, открывшая мне дверь. Я, возмущенная уже всем ее поведением, спросила очень сухо: «когда M-me встанет?» — «Около 4-х часов». «И будет в 4 часа дома?» — «...Не знаю». Тут я сказала: «я приезжаю в 3-й раз из Schalkwijk'а специально за ключом и очень бы хотела на этот раз говорить с M-me». — «Хорошо, я скажу моей свекрови об этом!» Значит, то была жена ее сына! Конечно, раздулась на меня, что я ее за прислугу сочла. Мне плевать. У меня тоже нервов больше нету. А та с-чь не пускает в дом, не пошла

---

* приехала я прямо в церковь, не зная ни души в Брюсселе. И там, во время службы, меня владыка и подвел к M-me Купфер (урожденной княжне Трубецкой).

на уступку 2 (!) комнат, предложила как «выкуп» этот «чайный домик», а теперь, конечно, решила его не давать.

Иначе не предложила бы дурацкого вопроса о том, «зачем» мне ключ. И кроме того, она сама вставила рамы, — значит, посягает на домик сама! Все это просто ужасно. Я в панике прямо!

Я начинаю ненавидеть людей. За что они меня мучают. Я никому никогда не делала зла. Вечно уступала всякому, часто в ущерб себе.

Ну, целую тебя. Твоя О.

25.II.47 Твое письмо — ну, прямо сверх чудесно! Обо всем напишу. Потрясена тождественностью наших верований в русский народ (в «Куликовом поле»). Захвачена. Буду писать особо.

[На полях:] Пришли, дорогой мой, рассказ мой — мне это необходимо.

Вань, а ты все-таки перед И. А. «отвергся» от меня[551]. Посвящения не стоит на «Куликовом поле». Или ты раздумал? Мне это больно.

556

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.II.47

Ну и отличаешься же ты, ОлЮшка, диву даюсь. Принял было трагически, а потом только отплевывался. Эти дни не пропали бесплодно: прочтешь, если только прочтешь! — мои два километрических письма, которые не пошлю, — а-хнешь! Когда будешь здесь, на что я никак не надеюсь, я сам тебе прочту. Итак — ты была у черта. Ни больше, ни меньше. Верней — у нераздельной парочки чертей-«супругов», разбери их, кто-что. И если бы тот, за кого хлопочешь, знал, у какого черта ты была — он не принял бы от этого черта, а плюнул бы ему в рыло. А-хаешь? Нет, вот когда все узнаешь... — на колени станешь, Господа молить будешь — «прости меня, окаянную, Господи!..» Оставим: сему не в письме место. Нет, ты отцу посажёному скажи... — не ска-жешь. Живой ты персонаж из Достоевского. Совет: если еще раз случится то же, — а возможно, — бери провожатого, да посильней, — в такой лупанарий даме, одной, ходить негоже: если и выкатишься, то все-таки — другой: опоганить могут. Чему имеются документы. Будь такое с моей дочерью или сестрой... (т. е. она бы вот так!) я бы ее плетью. А тебя не достать. Да потом велел бы в баню сходить — и отговеть... Говорю не с ветру. Ну, и помалкивай: сие не подвиг, а почти — п а д е н и е. Впрочем, отложим оценки до...

о ч е в и д н о с т и. Вот когда выслушаешь в с е, попробуй-ка опровергнуть!.. Эх, Оля... Воистину — «трагическое заблуждение». Как бы в... блуд... попала. Окропись свя-той водою.

А пока — больше ничего не скажу.

На-пра-сно ко мне не заглянула: не для меня, — для себя. Пушкин сказал: «только дурак не меняется». Да, когда я все узнал, а узнавал объективно, я многое в своем перестроил. Но и о сем можно лишь — лично. Почему не посоветовалась со мной? Как — с «оранжами»? Да «апельсин» — пустяк, а тут... бездна.

Больше мне не пиши об этом: не люблю о помойной яме. Ты не поняла моего «Куликова поля»: под-кре-пляю... т в о е? Да у тебя где логика-то? Что я подкрепляю?! ...

И о сем довольно.

Заранее не пишу — «посвящается» — еще не издается. Я и разговора-то не начинал (лишь м о е предположение), а ты вон разрази-лась! Так я, по-твоему, иду к таким, для кого деньги «не пахнут». Да ты как, серьезно?.. Впрочем, ты ровно ничего не знаешь. И о сем надо — лично. Теперь письма будут коротенькие. И — без излияний. Побаловался мальчик и — побаловал. Пора поумнеть.

1. Переписку оставь. Ни кчему, только измучаешь душу. И даром потратишь с и л ы и время. Займись д е л о м.

2. Денег издательству не посылай: сто раз писал.

3. «Больной вопрос» или оставь до «встречи», в которую не верю, или — сама в нем варись. У меня он решен, а ты — именно — в сверхтрагическом «за-блу-ждении». Но не ходи за решением его к чертям: он — вопрос с в я т о й. Что за пропорция! 99% — дураки, подлецы, дети?, «себе на уме»... — и среди них ты знаешь очень выдающихся, лучших, 1-й сорт... а ты... в 1% — вместе с... — бумага покраснеет, щажу и твой слух. Хоть бы над этим задумалась. Пари? Хочешь? Когда свидимся (если свидимся!) ты, через 2 часа в с е поймешь и — поцелуешь В. — сестренкой. И поплачешь. И мы станем еще дружней, еще душевно ближе. Или твой В. дурачок, а? Всем пере-мучился. Сядем рядком — да потолкуем ладком, сироты... Только потому с тобой вожусь, душу себе рву, — что душа-то твоя дорога мне. А то бы да-авно кончил. Ах, Олюша... не будь такой самонадеянной. Будь посмиренней. Право, милая. Господь любит смирение. И — дает свою Помощь. Или — думаешь — не мыслю я? и ничего не знаю? Нет, я очень обогащен теперь. И открою тебе, что в моей душе — увидишь. И — дружны будем. Единомысленны. Верю. Иначе — не можешь быть. Не исходи из предвзятости, что «все только ради своего антере-су!» Ка-кое заблуждение! Тут — одним темпераментом и желаньем — истины не

найти, в с е м -то вопросе! Тут надо, верой, страстность-то и замкнуть, — и подойти бесстрастно, мудро, считаясь с фактами. Пошли мне мой список «Куликова поля».

С болью (чес) все то же, 3-й порошок принял. Сегодня начну сам себя лечить. И Расловлевым помогла ясеневая вытяжка. Да, Расловлевы мне дали очень много матерьялу. И — один «следователь по особо важным делам»[552], как в «Куликовом поле». Я — а-хнул!.. Подумай, Ольга: очень важно, чтобы ты приехала. Или — к «отцу» Ивану поезжай. Я ему — ни слова.

Господь с тобой. Сокрушаюсь о тебе и твоей неустроенности. Томлюсь. И — бессилен... Крещу тебя. Не делай необдуманных шагов. Последний раз это говорю. Иван

557

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.III.47[i]

Мой дорогой, бесценный Ванёк!

Ты не отвечаешь мне, — не согласен и раздражен?? Мне больно это и непонятно. «Куликово поле» доказало, до чего же мы с тобой одинаково верим. И. А. не так чувствует. Он любит и народ наш, как и многое, — из «прекрасного далека» и не припустил бы к своему очагу мужичка в смазных сапогах. Для него — все, что т а м — и грубое, и неотесанное, и т. п. В какой же тогда н а р о д остается верить?? В тот, что проживает в Китеже? Я не посягаю на И. А. Я констатирую только то, что он сам мне высказывал.

Ваня, я получила листок, где статьи Карташева, — он передергивает сведения из журнала «Московской патриархии»[553]. Я их все читаю, — никакого сюсюканья и подхалимства в отношении власти нет там. Для того, чтобы изучить какой-либо вопрос, надо подходить о б ъ е к т и в н о, а не из того, «чего бы мне хотелось». По человечеству — я могу это понять, но это неправильно и надо сего остерегаться. Да еще в таком важном вопросе. Я сегодня же отказалась бы от своих утверждений, если бы удостоверилась, что они были необоснованны. Но никогда я не поверю всем этим «страстям-мордастям», рассказываемым новыми эмигрантами. Надо знать и то, к а к они-то сюда попали? И всегда ли они тебе говорят правду. Пастырь такого неподкупного душевного облика, как архиепископ Александр — м о н а р х и с т!! — для меня куда

---

[i] Письмо не было отправлено О. А. Бредиус-Субботиной.

больше имеет значения. И не соглашателям с врагом России, пытающимся на страницах того же листка убедить читателя, — затемнить то, что я почерпнула как бы из «исповедной откровенности» владыки! Нам нужно из всех сил поддержать нелегкую деятельность нашего светителя, делающего историческое дело Церкви, или, если не можем, — то хоть не быть помехой. Ты стоял на этой же точке зрения летом. Я стою на ней и сейчас и еще гораздо сознательней и с большим энтузиазмом. Ты увидишь, как воссияет моя правда!!

Я бы дала тебе почитать только что вышедшую книгу одного протестантского пастора, искавшего истину о нашей родине. Он ни на что не закрывает глаз. Прочтя все, читатель ясно понимает те великие сдвиги, которых большинство из эмигрантов не знает и знать не хочет. Происходит такое, для чего должны бы пройти столетия, как говорит автор. Знающие этого автора ни секунды не сомневаются в его искренности и недавно была большая статья в (самой большой газете), что можно пожелать, чтобы эту книгу прочел каждый, как «на редкость честно написанный труд». Привожу дословно. Между прочим в разговоре с владыкой, я узнала как там молятся за правительство, специально поинтересовалась этим, т. к. многие об этом сокрушаются, — молятся так: «О православной стране нашей российской, воинстве и правителях ее, да еже немятежное и Богоугодное житие поживем». По словам владыки это точно те слова, которыми молилась Церковь во времена Нерона. М. б. я согрешила в знании славянского языка, передавая текст, но это точный смысл. Прошу тебя не обсуждать с Карташевым этого письма, ибо не считаю себя вправе разбрасывать слов владыки перед К[арташевым] — он — неубедим ничем и надо таких не трогать.

Россия стоит перед труднейшей задачей — укрепиться против ощерившегося на нее мира. Народ должен быть во всеоружии души и духа! И в этом трудном делании пастырей надо же их поддержать!

Слушая призыв строгого к обрядам и постановлениям Церкви, нашего Святейшего Патриарха, я в этом году радостно и в чувстве слитности с Его Святейшеством, — пощусь. Если бы какая-нибудь возможность открылась мне поехать в Россию, — то я решила бы это так же скоро, как и мою поездку в Бельгию к владыке, ибо ЭТО-то и есть то, для чего стоило бы жить...

Пусть мне там нету места... не мной ведь меряется судьба моей России!! Я хочу знать, что Она великая и вечная живет душой! А что и как мне там будет — разве это важно?

От Великого Петра бежали тоже за границу, и кто не находил «варварством» его бритье бород?! Да разве же в бородах дело!! И тогда все те бежавшие, кроме ужасов не рассказали бы ничего другого. Я не для параллели вспомнила Петра... рассказы беглецов и даже собственного сына!! Не могу не написать тебе выдержку из письма моего к тебе от 24.VIII.41[554]

...«Я видела такой удивительный сон и так много думала о Вас. Я пережила такую веру в Бога и, особенно, в — Воскресение, что во сне сказала: "жить стоит хотя бы вот только во имя этих переживаний, и я счастлива, что я русская и православная". Я не могу описать его, но вся обстановка сна была — такое напряжение всех духовных сил, что мне казалось, будто это — Воскресение нам (было масса народа русского) будет явлено воочию. Воскресение, — не праздник Пасхи, как воспоминание Воскресения, а САМО ВОСКРЕСЕНИЕ.

Было очень странно.

Я проснулась от напряжения Духа и ожидания, что вся эта масса людей должны что-то проявить...»

Меня этот сон поражает своей яркой точностью. Несомненно, что живая народная душа берет свои права.

Письмо от г-жи Гелелович[555] с благодарностью, запросом стоимости этой «аферы» и кое-какие замечания о напрасном сокращении твоих «Путей Небесных» II части! Ты ей что, читал эту еще не изданную?? Меня это несколько удивило, а впрочем — дело это твое и... вкуса. Я не могу ей ничего по сему поводу сказать, ибо новая редакция была мне еще не поверена тобой и, очевидно, делается сие только в отношении особо доверенных (!!)... твое, опять же, дело. Будь добр — при случае скажи ей, чтобы не сетовала за отсутствие с моей стороны формального подтверждения получения ее благодарности. Я перезанята и задергана, да и не знала бы, как и что ей писать, — она дама «причинная», — как говорит наша прислуга о мудреных людях. С чего-то она меня «ткнула в Париже мордой об стол»... помнишь? Я к этому привыкать не хотела бы! В вопросе переезда ни шагу вперед, — не исключено, что нам ничто не удастся! Прислугу тоже не могу найти, — моя не соглашается в отъезд из-за жениха. Ну, посмотрим!!

4.III вечер

Продолжаю после твоего письма, Ваня... Я поражена им. Как мог ты, ругавший меня безбожной комсомолкой за непочтительность к Анастасию, как мог ты ТАК писать о достойнейшем архиепископе?! Я знаю, на что ты намекаешь!! Выступите же открыто с обличением ему!!. Тот, кто тебе делал о нем

информации, — знает, что это гнусная К Л Е В Е Т А!! Я знаю эти гнусности. Владыка именно по очень большой своей порядочности и своему О Ч Е Н Ь К Р У П Н О М У масштабу проглядел м. б. недостоинство некоей личности, с которой пакостники пытаются связать и имя владыки. А ты веришь!! Ты о Жуковичах говоришь, что они бы «в рыло плюнули»? Я не для Ж[уковичей] его разыскивала. Я вообще благодарю тебя за твои выражения мне!! Мне хочется знать: — из какого Ц Е Л О Г О ты исходишь, когда называешь «1%, (от наименования коего бумага бы покраснела)», к которому принадлежу я?? Я принадлежу к православному Р У С С К О М У народу и твои замечания принимаю оскорблением не себе, а ему! И в негодовании отвергаю их!!!!! Я принадлежу к нему по духовной моей связи с ним, В Н Е и не касаясь политики. А 99% стараются все это чисто духовное стащить в политику, не отвечая за то, что из этого выходит. А выходит то, что люди единомыслящие с вами политически в силу раздуваемых церковных свар, — записываются в «безбожных комсомолок»...

Почему у всех вашего толка такая з л а я нетерпимость к мыслящим иначе?? Где же свобода и уважение чужого мнения??

«Плеть» — в вопросах принципиальных — очень слабое воздействие. И напрасно ты все относишь на счет моего «темперамента», — он тут не при чем. Из всего многомиллионного православного народа нашего оказывается одним из истинных пастырей... «Серафим-Злодейский»! И ему я должна верить больше, чем Патриарху?!

Хорошо, — я допускаю, очень допускаю, что Церковь Н Е свободна так, как бы самым строгим того хотелось... и тогда... тем труднее, тем ответственнее труд наших пастырей Т А М!

Ч Е Г О хотите В Ы?? Все вы. Того, чтобы началось гонение на Церковь и храмы бы закрыли, лишили молодежь возможности пополнять кадры священнослужителей, отучили бы вконец народ от церковного быта?

Неудивительно будет это после статеек Карташева!! Он в свое время стоял у руля[556], чего же не усмотрели?!

То, что у тебя материалы от Расловлева, — никак меня не удивляет и ничего не опровергает... почему не может хороший человек заблуждаться? Для меня это всегда остается разграничено, — не как у тебя: «не по моему, — так и такая, и сякая»! Это ты веришь всем существом по темпераменту и страстности, — возьмем одни оскорбления мне за Ж[уковича], где он даже жидом вышел. Ты ведь даже не в форме предположения (что у ж е было бы обидно), а прямо обвинением мне бросал...

В бытность мою в Париже я наслушалась гадостей от Меркуловых о митрополите Серафиме[557]. Теперь уверена, что они все по той же причине, как и гнусности о архиепископе Александре... Если это достоверная истина, — то, знающие сие, — обязаны выступить, открыто обвиняя. Такую гадость нельзя хоронить в уголку!! Знаешь, на моего светлого папочку клевета посягала в таких размерах, так абсурдно, так изощренно, что он преждевременно «сгорел». Он говорил: «понимаю как никогда слова... “избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя!”[558] Допусти на момент, что архиепископ А[лександр] — оклеветан... Да, наконец — в чем дело? Не на архиепископе Александре стоит Церковь, почему от него ставить в зависимость нашу верность обще-русской Церкви??!!

Я оставляю это и не дебатирую, не буду больше по твоему желанию сего касаться, но на твою брань мне и оскорбления я считала своим правом и долгом ответить. Напрасно ты меня укоряешь малодушием, — будто я не отважусь написать И. А. о своих взглядах. Почему? Разве я что позорное делаю?

КТО вообще этому — абсолютный судья??

И для чего такая озлобленность? Почему, «карташевцы» так огрызаются на прочих, — не все ли им равно, кто, где молится? Это же дело совести каждого. Я не позволила себе никого упрекать в хождении (на мой взгляд) раскольничью церковь, возглавляемую недостойными попами (за это утверждение отвечаю, т. к. сама испытала), — позволила себе, и совершенно сознательно, высказать свое мнение об Анастасии и только потому, что он активно портит дело православного возрождения и является врагом его. Я ни разу тебя не упрекнула, а очень любовно касалась этого вопроса. Но оставлю!

Будь добр, — вышли мне, пожалуйста, мой (пусть для тебя и ничтожный) рассказ. Ты прислал кусок из середины, без начала, без конца. Конечно, мелким сошкам может и так сойти, я и сама не считаю его «произведением», но, тем не менее, хочу иметь!

Меня очень интересует узнать, ЧТО было тобой написано на моем рассказе и, еще больше, — почему зачеркнуто???? Критика??

У меня «смуты» и «неустроенности» — нет, — мне только очень больно за твое неуважительное, не терпящее возражений, отношение к моему внутреннему миру. И при всяком случае это выходит наружу и больно хлещет. Почему нельзя любовно отнестись к мнению другого? Но это твое дело. Я не сержусь, но очень обижена тобой, и Бог да будет тебе судьей!

Ольга

558

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.III.47 8 вечера

Я ждал, Олюша, обещанного — «все напишу» — о «Куликовом поле» — или о вызванных им чувствах-мыслях. Ты молчишь, а писала от 24—25.II. Это не столь уж необходимо. Но вот ты, в «странном» письме от 19, через три дня после твоего «броска за кружевами», написала об И. А., — да и обо мне, рикошетом?.. — такие слова: «А И. А. тебя увлек... Но он, при всех его качествах, только лишь — человек. Очень большой, но — человек! И такой, которому Анастасий и иже с ним, — некоторый выход». (??!!!)

Ты подумала, что написала?! «Большой» человек, и... Анастасий — ему — «некоторый вы-ход»!.. куда — «выход»? для чего?! ... это ему-то, «очень большому»?! ... Да ты «вся спутана», с мыслями и чувствами. Один, пи-саный прохвост и гад, документально — гад! вор, развратник, растратчик священного имущества, пьяница, — да, да, да!!! ... — «все качества»!.. «окружен, по-твоему, ореолом геройства»..! Которого «нельзя ничем — дважды подчеркнуто!! — купить — ни запугиваниями, ни дарами (!!) — духовными ли, материальными ли...» — другой — не нашла «качеств» — так — «только дипломат»!.. И вот этот Анастасий: — какой-то «выход» для... «очень большого человека!»... Ты отвечаешь за себя, да?.. что ты написала?! Ты ему напиши это. С такой оценкой лучших и с таким восхвалением гада и прохвоста-беса... — как же можно делать хотя бы приблизительно верные выводы из сложнейшего, исторически и нравственно труднейшего положения, в каком находится самое дорогое нам?.. Или ты растерялась, или ты... живешь только «ощущениями», слепая для «исканья правды»? Так нельзя. Так, по своему вкусу, расценивать бо-льших людей нельзя. И клеймить их. И. А. — мыслитель и крепитель духа — ты же так высоко ставила его труд, его слово, его мысли!.. Признавала, стало быть, его самобытность, его ум и волю!.. — его цели, высокие, — все это создавало его школу, и я восхищаюсь его бывшими слушателями. И ты знала это... — забыла? Теперь это тебе — не по вкусу, и можно так принижать, так обращать в «ничтожество»!.. — Анастасий ему — выход! Ку-да?! ... Ско-лько создал и создает И. А.! Его знает, его читает Европа, мир... — его труды на иностранных языках. И вот, Анастасий — фигура, конечно, не великая... — выход?! ... В уме ли ты? Ты и мне приду-

маешь «выход»... — почти придумала... — безоглядно! — «Мне больно, что "Куликово поле" пройдет в мир с помощью... для меня — сомнительных средств». (??!)

О-т-ку-да ты взяла все это?! «Чертенят», которые как-то в тебя пролезли, ты норовишь и в меня втиснуть! Навязываешь мне твои «навязчивые мысли»! И — рикошетно — судишь меня! и сейчас же — «я, я, я, я...» — «не могу, чтобы я в этом связывалась с издателем». Сама надумает положение, и тут же «ориентируется»! Да, прав ироник и желчевик Кирсанов в «Отцах и детях»: о логике женской: «дважды два — стеариновая свечка!»[559] Нередко у тебя это. Раньше ты была в выводах осторожней. И доскакнула до... «кружев»! И так уве-ренно свидетельствуешь о... «героизме и неподкупности»!.. пожалуйте сюда, поглядите на... это!.. ну, что.?! ... чувствуете, как пахнет?! а? Прав И. А. — «про маму и С.» — «в трагическом заблуждении»! А про тебя как он..? ты не пишешь. Ну, так я за него: «ты — в трагикомическом тупике». И больно, и дико-смешно!.. И с такими-то «оценками» — И. А. и «кружевника» — считать себя вправе разбираться в сложнейшем и еще пытаться и меня направлять..! Нет. Если я и «слепой осел, сбившийся с дороги»[560], — у Крылова — то, во всяком случае, днем поводырем не возьму себе «филина»! чтобы не получилось финала: «и бух осел, и с филином, в овраг!..» Довольно о сем: ни сил, ни времени нет на это. Тебе-неверу предлагают «ощупать», а ты слишком норовиста... — избегаешь. Не хочешь вглядеться, вдуматься. Впрочем, не так уж важно, что ты таких превратных — «извращенных»! — взглядов... — как-нибудь сла-дится, правда и тебя ослепит... — часок придет. А пока бреди в белом дне с... «филинами».

Только бы не «бух»!..

Прошу вернуть мне «Куликово поле» и посланную А[лександре] А[лександровне] книжечку. Она не моя, мою замотали...

Уже не прошу тебя — приезжать: без-на-дежно. Отныне буду избегать «вопросов», не коснусь. Предлагал тебе — выслушать... — все без ответа. Шествуй, доскакивай, ка - - - - тись...

Пускается в набор «Лето Господне». О «Куликовом поле» ни с кем у меня и словечка не было сказано, а ты — выводы!.. Уже — ограждаешь себя от... «сомнительных средств»! Как ты меня су-дишь-то! А я еще и в «предварительное следствие» не введен. Поспешила... как и с И. А. разделалась. С собой-то вот не разделаешься... впрочем — ты же Па-па... и облекла себя в непогрешимость, да-вно. А теперь — сугубо. Да еще тщишься — самоуверенно — прикрыть собой, — ты же чистая, хоть и заблудившаяся овечка! — «отбросы»,

которые заражают чистых сердцем. Дипломы «героев» раздаешь. Самодельные, правда. Но... помогаешь таким путем окривлять людей и — вбивать осиновый кол в спину... святым. Мне горько, больно... но я бессилен лечить, когда больная душа плюет на мое лечение... и не на мое только... — на всю истязаемую жизнь.

Довольно.

24 — память достойнейшего, чистого, твоего отца.

24 февраля — 9 марта вы — будете молиться. Я сердцем — с вами. Я знаю — о. Александр — в заботе и молитве — за вас. Знаю, с кем был бы он — будь земным. Проси у него — пути. Он — укажет. И ты в этом удостоверишься.

Будь здорова. Обо всем хлопочешь, отбиваешь жилище, выступаешь перед кв[артирными] [1 сл. нрзб.]... бьешся с нахалами... а что же глава — год дома — де-лает?.. любуется?.. Э-эх!.. Довольно. Ни о чем остром больше не буду — устал. И.

Добавка:

Что это — «ты отвергся от меня перед И. А.?» И тут же: «посвящения нет на "Куликовом поле". Ты раздумал?» Объясни: я туп, очевидно. И брось экивоки. И причем тут И. А.? Я тебе написал, — сколько раз писал, что «Куликово поле» — твое. Я тебе его отдал! Что за «отцеживание комара»?![561] почему такие подозрения?.. И почему ты «зашвырнула» — твой этюд Лавры?! Это мою чистую «свечу пасхальную»?! ... Ты ее так чисто поняла и — выразила. Разве ей место в грязи, где-же? Опомнись, перекрестись. Тебе надо не выражение моего приятия сердцем — священного: ты его сейчас же отбрасываешь, если что показалось тебе — «обидой»! Как это мелочно, как не соответственно с подлинной честностью! Так и во многом у тебя. Ты не подумала о «жертвах», об «узниках»... Ты что же думаешь: нет Святых? И подумай: где они и — почему. И — где, и — как поганят, землю терзающие и «крылатые»?.. Об икре подумала? Почему — икра? и кто — вкушает ее. И — за что.

И ты в мечтах лелеяла, чтобы и Ваня кушал икру у ....? — принеся свое чистейшее «Богомолье»? а? Ты вдумайся, как и что писала. Ты понимаешь ли, кому светло и кому — отравно и губительно «Богомолье»? И кто пляшет на крови святых исповедников? С кем ты? Ты не хочешь правды, ты свою, надуманную, хранишь и под нее подгоняешь все. Ты сочла возможным и нужным поскакать в... лупанарий... но ты отвергла возможность «ощупать» язвы. Твое дело. Я лишен возможности — пока — написать ясно. О сем можно лишь говорить — сердцем к сердцу. Ты ничего не знаешь, и никогда не узнаешь, идя кривым путем. Правда ищется

у свободных, — не у грамофонной пластинки. Да еще у — как-кой?!! ... По тебе все инакомыслящие — «устраивают делишки». Ввалила туда и И. А., и меня. Вот так апофеоз! И возвела в «адамант веры и духа»... ко-го?! Ты в обморок бы упала, если бы «ощупала». Это — потемнение-наваждение бесовское. Вот почему писал тебе о «заклятии» и [εξορχισμος][i] — греческое слово — «экзоргэс». Было сие «одержание бесами» — всегда, ныне — особенно. А ты можешь смеяться. Ты — легко-думка при всем твоем рвении — [быть] верной. Вспомни «Muette»[ii] — 8 или 6—5 июня 46. Я не могу забыть ужаса: он — во мне. И ты не забывай никогда. Проявление «одержимости», бывшей в разных степенях силы. Ныне — пока — «тихий бес», притворившийся. Страшно будет, когда он взбесится... Не допусти. Внутренний голос велит мне — остеречь тебя. Можешь заткнуть уши — тебе хуже и страшней для тебя. Да и для соприкасающихся с тобой. Все.

5.III 5 вечера И сегодня нет от тебя письма. Что же... совсем не пиши, прервись.

Прошу вернуть (у меня ничего не осталось) «Куликово поле», в какой уже раз — прошу! Ты обезумела, и я вижу, что бессилен вернуть тебя к здоровью. Только Господь, молитвами твоего отца, выправит путь твой.

Иван

[На полях:] Жаль: не услышишь (или не прочтешь) моих неотправленных писем!

Я близок к тому, чтобы больше не видеть тебя и не писать тебе. Бесцельно, да.

559

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.III.47[iii]

Дорогой Ваня,

написала тебе письмо 2-го, получив вчера твое — приписала еще больше, — а сегодня решаю не посылать, ибо — не к чему: одно словопрение и боль. Отвечу только на «кардинальные» пункты.

---

[i] Заклятие (*греч.*).

[ii] Охотничий домик (*фр.*).

[iii] Подчеркивание и пометa карандашом И. С. Шмелева: а почтовый штемпель: 4.III (!).

Ты, обозвавший меня «безбожной комсомолкой» за неучтивость к Анастасию, — не мог бы разражаться такой недопустимой бранью по адресу достойнейшего пастыря. Намеки твои на гнусное вокруг него, — я отлично расшифровываю, т. к. знаю всю ту гнусную клевету, которую на него возводят. Великий грех берет на себя тот, кто сознательно это делает. И я бы ответила на подобные осведомления только настойчивым требованием открытого обвинения. Подобные мерзости нельзя — ни «копить при себе», ни оставлять тяготеть на другом безвинно. Коли — все улики налицо, — так те, кто имеют их ОБЯЗАНЫ выступить, а не плеваться из-за угла!!

Я знаю, что это клевета. Точка.

Я никак не малодушничаю перед И. А., — по какой это причине бы? Что, разве я дурное что делаю, имея свои взгляды на вещи и слушаясь своей совести!? Я никого не боюсь, и отсутствием гражданского мужества не страдала.

Ты причисляешь меня к какому-то «1-му %», состоящему из таких, от определения коих «бумага покраснеет».

Мне бы хотелось знать: из какого ЦЕЛОГО ты исходишь? Тот «1%», к которому я себя причисляю, — есть общерусская православная Церковь. И было бы как-то странно думать, что в этой многомиллионной Церкви верующих не нашлось никого более достойного, нежели Анастасий с его Серафимом-Злодейским!

Твоего замечания, что «хоть бы над тем задумалась», что в 99% «первый сорт», — я не понимаю, т. к. только в силу этого никогда бы не примкнула к большинству. У меня есть своя голова, которая и отвечает за верность и неверность суждения, а стад-ность сама по себе мне никогда не импонировала. Мне грустно, что мы* (по недоразумению) в разных лагерях, но эта разделенность на лагеря и острота вопроса вносится «карташевцами» и это очень жаль, т. к. этим вносится какое-то дикое понятие: «раз ты за Патриаршую Церковь, — значит ты — безбожный комсомолец», и я уже слыхала, как этим скорбели люди, причисленными в эти группы. Чисто церковную, духовную жизнь верующих раздуватели смуты сводят на грязную политическую платформу. И почему у «99%» такая нетерпимость к прочему «жалкому 1%»? Предоставьте каждому молиться, как и где он хочет!

Я много бы могла тебе (и в первый момент хотела) ответить на твои хлесткие и жесткие оскорбления мне лично, но не хочу разжигать еще больше. Я совершенно уверена в правоте

---

* с тобой

своей и потому спокойна и не раздражаюсь. Но вспомни, что самое главное, на что «99%» указывают, — это отсутствие, якобы, свободы т а м, свободы внутренней прежде всего, — ну а как сами-то 99% к прочим относятся? Вы все как личное оскорбление рассматриваете принадлежность «другого лагеря» к Русской Матери-Церкви! И Карташев даже «скатертью дорожку» расстилает, дабы раздражающий его элемент поскорее убрался, и тут же запугивает их, предостерегая «ужасами». Пусть он успокоится: не Карташев будет судией всем нам, а есть Высший, кто все видит!! Если Карташев уверен в правильности своих убеждений, то это для него ведь и главное, — и будь рад, что н а ш е л. И оставь других тоже найти и быть счастливыми.

У меня нет ни малейшего неустройства, и вопрос, крепко и давно решен, а потому я совершенно не понимаю полемику вокруг него.

Я не из тех, кто по упрямству стоят на своем, и, безусловно, оставила бы свою точку зрения, признав ее несостоятельность. Ты, — уверена, — впоследствии со мной согласишься! А пока я не хочу сего касаться!

Еще несколько слов о клевете: «избави мя от клеветы человеческие, — и сохраню заповеди Твоя!» Это Т Ы — сверхстрастный можешь поверить даже плоду фантазии твоей (твои оскорбления мне за «Жида — Ж[уковича]»), — а я остаюсь совершенно в сем вопросе трезвой! Ты слишком горяч!! То, что Рaсловлевы тебе дали много материалов, — для меня ничего не меняет: почему хороший человек не может заблуждаться?? Но я убеждена, что Р[асловлев] не станет огулом распространять гнусности и согласится со мной, что п о д о б н о е подлежит р а з ъ я с н е н и ю, а в случае подтверждения д о л ж н о быть объявлено во в с е у с л ы ш а н и е.

Впрочем, дело и не в архиепископе Александре. Не им держится Церковь.

Гнусно только пакостить человека. Ты спроси-ка, почему его открыто не обвиняют? Мы-то знаем все точно. И как тяжко от этой гнуси!

Тон твоего письма в обращениях ко мне — в высшей степени оскорбителен. Твое дело!!

Прошу очень: вышли мне сразу все части моего «рассказа», — ты прислал середину, без начала, без конца. Мне он нужен!

Будь добр, сказать при случае г. Гелелович, чтобы не сетовала на отсутствие с моей стороны формально-учтивого подтверждения получения ее благодарности (на днях). Я сверхзанята и задергана заботами, да и писать не знаю о чем, — она

сокрушается о сокращении тобой «Путей Небесных» 2 части и спрашивает моего мнения по сему вопросу, а я не могу ей ничего сказать, ибо понятия не имею об исправленном содержании романа...

«Куликово поле» вышлю, как только еще раз перечитаю. Я написала о своем впечатлении по первом прочтении, но волею судеб сегодня мне вернули это мое писание (по недосмотру наклеила другую марку), а я за указание это приняла и оставила у себя.

У меня давным-давно подано прошение в банк о переводе на Павуа, это идет помимо меня теперь. Да и не желаю я оставаться в долгу.

Мое замечание об отсутствии посвящения на манускрипте было совершенно справедливо, т. к. на прежнем (тоже еще н е издающемся) оно стояло. Я ни на что не напрашиваюсь этим, а просто отмечаю этот очередной факт, как уже и раньше бывавшие в этом же роде. Не чувствуй себя связанным теми обещаниями, которые когда-то от полноты души у тебя сорвались с уст... скажи лучше прямо, что все берешь назад.

Господь с тобой! Я не хочу зла!

Но подумай все же, что душа всякого человека куплена дорогою ценой! Когда-нибудь ты оценишь мое чистое и целостное отношение к тебе и м. б. тебе станет жаль многого!!

Будь здоров!

Ольга

P. S. Что было тобой написано на моем рассказе и зачеркнуто? Критика? Скажи!

[На полях:] Я просмотрела (пока мельком) брошюру — в ней ничего нового! Все это я учитывала и учитываю и... все же стою на своей точке! «Врата адовы не одолеют ю»[562].

560

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.III.47

Сейчас твое письмо от 5.III — «повторение пройденного». Документацию можешь узнать только лично. Скажу одно: обвинение было сделано публично изданной в Гамбурге брошюрой, Сенько-Поповским[563], в начале 30-х гг. И — «оклеветанный» — ни гу-гу! К стыду церковных управлений оно (митр. Евлогий) не понудили пакостника — начать процесс, а усиленно скупало (и «оклеветанный» это делал!) брошюру. Теперь это библиографическая редкость, но она — е с т ь.

Но все дело не в пакостнике, он — гадкая частность, и если я писал о нем, то потому только, что мне было страшно за тебя, — «куда, к кому пошла искать правды!» Если бы ты знала все и все решено «давно» (о больном вопросе), — как ты пишешь, — ты не понеслась бы «умолять» — сказать тебе (и кого умолять!) — «всю правду». Нет, ты не была уверена, что знаешь все... — только получив от пакостника заверение — уверовала! Вот, что меня заставило так писать. Отныне я не коснусь сего. Ты явно не уразумела что главное — в «Куликовом поле». Там — вечное. И там — великое страдание народа, которое еще больше обострилось ныне. Народ ныне молит: «спасите, братья!» Да, от «волков в овечьей шкуре», от [таких] предателей, как «перелеты». Он чувствует грозящую удавку! Нет, ты не «мельком» просматривай бел. брошюрку, а — вчитайся! Даже «вынужденные» там ужасаются на податливость здешних — «перелетов». Это — трагично. А для тебя — другое трагично! Кончено с сим, ты неисправимо самоуверенна. — 1-й и 2-й отрывок я тебе давно вернул, по первому твоему требованию, — заказным. 3-ий отрывок вернул на днях, ты его — получила. Больше я не получал от тебя, уверяю тебя, я точен. Ты куда-то зашвырнула 1-й и 2-ой отрывки! Как и твои ягодки кистью. Прошу немедля — и заказным — прислать мне «Куликово поле». Домекай, что хочешь: я написал тебе. Зачеркнутое на 3-ем отрывке — даю слово! — касается «больного», и зачеркнул потому, чтобы не делать тебя больной (как не послал и 2-х огромных писем). Поверь! Довольно: устал носить воду решетом. Больше не напишу. Исписал сердце.

Иван

Я не хотел тебя оскорбить. Извини мою горячность: это от боли за тебя. Это — от моего чувства к тебе.

561

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.III.47

Оля, клятвенно заверяю тебя: 1 и 2 отрывки твоего «Заветного образа» я тебе вернул заказным письмом, на твое первое требование — присласть, «у меня не осталось копии». Послал недавно и 3-й — последний! больше ты мне не посылала, прося пока не читать, а прочесть и высказаться, «когда прочтешь целиком». Так я и поступил. Ты «зашвырнула», очевидно, как и твои этюды акварелью. Ты была в смятении, в душевном хаосе. Заказное пропасть не могло. У меня в пач-

ке твоих писем лишь пустые твои конверты — «заказные». Я не могу ошибиться, с рукописями я сугубо точен. Пошарь у себя — найдешь.

Теперь, в последний раз, спрашиваю тебя: хочешь ли дать художественное оформление «Куликову полю»? Ответь мне — безоговорочно! Это мне срочно необходимо. Твой этюд обложки — мне нравится, тут было вдохновение. Ты дала «Лавру» — как я видел ее. Мне нужна обложка, «рамочка» постраничная и — если не очень удорожит издание, — «заставка-арабеска» вверху страницы каждой главы, одна и та же. Можно еще и концовку найти. Для «концовки» я предполагаю «Крест», — «найденный»! Или — «Куликово поле» — в дожде-мути, — и на нем — во всю его раздольность — Крест. Проблескивает в мути, — символ Страдания и Спасения. Видишь, какая «тематика»!.. «О, поле, поле... кто тебя усеял..? ...»[564] Да, ты дала, — больная! — обложку — вдохновенно. Так вот, освободи душу мою, скажи определенно: хо-чешь..? нет..? ... Где издастся — еще не решил. Я найду (постараюсь!) средства. А у кого — это уж мое дело, моя ответственность. Если ты мне не доверяешь, если думаешь, что я приму «сомнительные деньги», — откажись, но не тяни: мне срочно нужно. Последний раз говорю тебе. Веришь мне — или не веришь?.. И тогда я решу бесповоротно — все. Не желаешь вместе, пойду один.

Я тебя не оскорблял: я тебе сказал мою правду и мою уверенность в ней, в правде. Ты — в трагикомическом тупике и во власти твоего упорствования. Ты же «все лучше всех» знаешь! А я тебе говорю, что ты далеко не все знаешь! Обвинение было публичное, и пакостник его проглотил, страшась, что будет раздавлен. Этого уже нельзя смыть: сам признал — своей немотой! На такие обвинения — возражают из последних сил! Да нельзя ему возражать, т. к. существует приговор американского суда!.. — любой адвокат может представить — копию. Помни это. Но это лишь — частичка. Все ты можешь услышать только лично. Но, повторю, это все-таки частность, пакостник-то: дело не в его личности. А если я его коснулся, то только из-за твоего «порыва», объясняемого твоею страстностью и твоим неведением. И это мне очень больно.

Прошу: не задержи отсылку мне «Куликова поля»! Пойми, что мне необходимо: о том же прошу и И. А. У меня не осталось копии. Три недели, как я послал тебе, было время прочесть. Ты так мне и не написала... а в письме от 24.II точнее: в приписке к этому письму, помеченной 25.II, так

писала: «Твое письмо — ну прямо сверхчудесно! Обо всем напишу. Потрясена тожеством наших верований в русском народе — в “Куликовом поле”! — захвачена. Буду писать особо». Зачем же ты т а к написала?! ... Совсем ты н е «захвачена», и н е «потрясена», а все — с л о в а, слова... Ты живешь минутным захватом, у тебя так все не-дли-тельно, все — «короткое дыхание». Ты быстро остываешь. Разве не прав я?! Вот тебе лишнее доказательство. С 25 февраля — а сегодня — 7 марта! — ты так и не чукнула, ч е м же «потрясена», чем и почему «захвачена». Все — о т о ш л о, как это часто с тобой. Так — к а к же я могу тебе ве-рить?! ... «Свечу пасхальную» — швырнула, «Богомолье» переводить — бросила... — ну, как же я могу верить, что ты, действительно, понимаешь и ценишь м о е?! ... На 5 минут-то?.. Мне таких «ценителей» не надо, — «минутных». Я пишу не для «минут». Ты вон в возврате почты — нехватка марок — провидишь какое-то «знамение», и хочешь вновь перечитать «Куликово поле»! Ошиблась в оценке, в «захвате»?.. ну, поправься. Может быть и никакого «захвата» не окажется?.. Про-верь себя... И не укоряй меня — бездумно! — за о т к а з (?!) в посвящении. Надумала..? Ну, утверди себя в п р а в д е своей. Перечитай, — может быть, чего и вы-читаешь, «совсем другое». Эх, «чи-та-тельница»!.. Так-то ты веришь «любимому писателю»!.. Обманул он тебя... ну, теперь лучше раскуси, — может быть, и «дер...м» окажется?! ... Тогда можешь рукоплескать... с е б е: «отлично, что швырнула в мусор “свечу пасхальную”... ка-кая же э т о... с в е ч а?!» — «д....о»! Примкни же к хулителям и распинателям! Отплати же за в с е, что я так доверчиво и нежно давал тебе... Если в самом заветном между нами нет спайки, я не хочу больше и слова тебе сказать... — и не скажу, отныне. Я не понуждаю тебя, не посягаю на твою свободу суждений... — но... в таком я с н о м... т а к разойтись?! ... — этого я не вынесу. Да, ты, в таком случае, совсем душевно чужда мне. Я это говорю твердо. Решай, но решай немедленно. Под «немедленно» я не разумею — опрометчиво: по-ду-май. Или, поправлюсь: я р е ш у окончательно только тогда, когда ты пожелаешь убедиться, выслушать в с е. Для этого надо вылезть из «болота», из темной дыры, где — скверно пахнет. Если бы ты давно «все решила», не поскакала бы за... «кружевами»... К кому!.. Ты еще в колебании. Слава Богу, еще есть надежда на «выздоровление». Подумав, ты поймешь, на чем, в чем мы — пока, разны: не в оценке н а р о д а, его чувства... нет..! — а в... куда большем, куда страшней. Вопрос так стоит: «к о м у веру дать?».

Пока — твой Иван

Мне сейчас очень трудно, душевно и телесно. Не могу работать... Нет — допинга. И ты еще. Что ты мучаешь меня.

8.III.47

Много думал, думаю... Хочу быть очень осторожен к тебе, ни к чему не понуждаю, прошу только: вду-майся! Даю слово: не коснусь больше этого больного, — какая польза?! Это сердцем решается, и умом, хладным, также. Надо погодить: когда в с е узнаешь, если захочешь узнать, — уверен, мы и в этом будем единомысленны. Если я тебе горячо писал, — не обидеть хотел тебя, а болею твоим заблуждением. Н е л ь з я ни в чем быть — на т о й стороне: там в с е г д а ложь. Народ не виноват: он хватается и за крохи и в этом «хватаньи» может забыть, ч т о творится. Но инстинкт говорит ему — порой! — и тогда он кричит — «спасите нас, братья!» А «братья»... — или, большинство, бессильны пока, или — меньшинство — примыкают к «удавке». Н а д о з н а т ь в с е. Ты пишешь: «мельком проглядела бел. брошюру». Н е л ь з я — «мельком» и «про-глядывать». Брошюра составлена очень объективно. Вчитайся!

Я хочу во всем быть единомысленным с тобой, Олюша. Ты же — ч и с т а я! Страстное желание ты принимаешь за — д а н н о е. И я раньше ошибался. Оля, мучительно необходимо — в с е з н а т ь. З д е с ь ты это можешь. Писать все остерегаюсь. Ты всех подозреваешь в каких-то «личных» притязаниях! Решительно всех. В ч е м обвинила — что за хула! — даже И. А.! Ему, по твоим словам, — «только один выход» — хвататься за... Анастасия..! По-думай!.. Какое ничтожество — И. А. выходит!.. — е м у — о д и н выход!.. Все его ценнейшее — насмарку! Карьеры добивался? в чем, к а к о й карьеры?! ... ка-кой «славы»?! Пусть он не признается инакомыслящими, — они и меня не признают, зато нынешнего порнографа Бунина поглаживают-ласкают... вы-верта! — умевшего устраивать себе приятную дорожку в жизни. Всегда — «в н е критики». Почему? Это я тебе л и ч н о скажу. Убедишься.

Чтобы показать тебе, что я к тебе все тот же, — прежний, любящий и дорожащий тобой, тот же Ваня, — я посылаю тебе одновременно новый список романа[565]. Н и к т о его не знает, не посылал еще и И. А. Елизавета Семеновна лишь с моих слов «вместо 308 страниц стало — 190!» — знает, только, — и почему-то «сокрушается»?* Прочти — и увидишь, л у ч ш е ли стало. Роман, по-моему, теперь живей, быстрей, из-за

---

* Она ни строки не слыхала и из 1-го списка.

деревьев, мной убранных, стал виден «лес». Эта часть — наитруднейшая: в ней основание — вхождение В. А. в Даринькин мир. Даринька вырастает, наливается. Все лишнее, мешавшее, убрано беспощадно. И мне не жаль. Были хорошие подробности, достало бы их для «бедных писателей» — на ряд рассказов и даже на два романа. Мне они не нужны.

Прочти, не спеша. Я не тороплю. Только — не «мельком». Олюша, друг мой... не будем швыряться ценнейшим в нас, у нас. Для меня ты остаешься — дарованной мне в тяжкую полосу моей кончающейся жизни. Думаю, что и для тебя встреча со мною — не прошла, не пройдет бесплодно... Наше расхождение радостно лишь для «темных сил», в бытие которых крепко верю. Так они, эти темные силы, ощутимы в жизни!.. И потому-то мне так горько, что в святом нашем — мы разномысленны... — трагическое недоразумение!.. Устраним же его. И не будем клеветать на «избранных». Я допускаю, что и лучшие могут заблуждаться, только не в отношении той силы, которая враждебна святому нашему. По-мни: все — обман! все — тактика. И ничего народ не «вырвал»!.. — по тактике, ему дают — по-стольку — по-скольку понуждает «тактическое временное отступление». Благодарить Бога надо, что не все ринулись на «приманку». А народ... — о, бедный наш народ! Он вы-держит... но может случиться, что и все утратит: не раз случалось в истории, что совершенно исчезали «церкви», поместные. Христова Церковь — ЕЕ врата адовы не одолеют, да... но русскую православную церковь — могут стереть, воспитывая сплошь безбожную молодежь. Ах, об этом надо лично говорить.

Ну, Господь с тобой. Да умирится душа твоя. У тебя — сердце. Оно тебе поможет. Дай, Господи!.. Олюша, помни: мне дорого, чтобы ты дала художественное оформление «Куликову полю». Оно тебе посвящено и отдано. Это неизменно. Так и будет означено — «посвящается...» — когда будет издано — на чистые, конечно, средства! Мне горьки твои сомнения. Твой Ваня

562

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.III.47

Дорогая Олюша, очень я смущен, что ты не получила 1—2 отрывки «Заветного образа»[566]. Я был уверен, что они давно тобой получены. Нарочно просмотрел твои письма и в открытке от 15 января ты меня спрашивала, отослал ли я тебе

«фрагменты». С тех пор ты ни разу не повторяла просьбы, и я был уверен, что отрывки ты получила. 3-й отрывок — знаю, получила, потому что спрашивала, что такое я зачеркнул, 4-го отрывка ты мне н е посылала, уверяю тебя. Только последнее знаю — о кончине папы, и сделано это хорошо. К сожалению, я последнее время, месяца 3—4, с тяжелых дней «размолвки», не отмечал в тетрадке, когда и что послано тебе. Послал, очевидно, в конце января. Квитанции есть, но я на них не помечал, что посылал, и я не знаю, на какой квитанции остановиться: их несколько, посылались рукописи Ильина, «Куликово поле», еще что-то... Веришь ли ты мне, что я, действительно, послал?! Зачем бы я стал тебя обманывать? Клянусь тебе, — послал! Поищи, милая, не засунула ли куда... в хаосе и холоде вашем. Но отчаиваться незачем, если и пропало: восстановишь, конечно! А я так был уверен, что давно получила. Ведь до сей поры ни-чего и из простой корреспонденции не пропадало! Ума не приложу. У тебя, конечно, есть черновики?.. Не горюй, — то, что в душе живет — не пропадет! Перекрестясь, пиши. Не падай духом. А меня прости, если я тебе причинял боль душевную — своим горячим вмешательством в твой мир. Если бы он мне не был дорог, стал ли бы я так болеть им? тревожиться за тебя?.. Поверь же, и не упрекай, что я «много позволяю» в отношении тебя. Я твой верный друг, и я, ты знаешь, вспыхиваю, и отсюда мои «уклоны», мои прорывы... Ты дорога мне, Ольгуночка... — конечно, такой я не встречал, не встречу... такой — другой — и нет. Я тебя люблю.

Твое замечание о «7 ноября»[567] — меня несколько удивило. Да, я не думал, что тогда — 7.XI — был «праздник революции». Но это нисколько не меняет ничего. Напротив: теперь, внеся поправку о «7.XI» — в рассказ, я еще сильней оттеню — чудо — ты увидишь, после. А пока скажу. Возможно, что этим формальным замечанием мог бы воспользоваться какой-то из неверов, в попытке отрицать этим — «явления», т. е. — чудо. Но эта попытка явилась бы такой же «натяжкой», как и попытки Среднева, принятые следователем в расчет. Они шатки, эти попытки, но они, конечно, допустимы. Что же касается «7.XI», это легко может быть парировано. Надо считаться с тем, 1 — что дело происходило не в центре, 2 — что в уездах или посадах куда все проще, «посвойски», между «своими»; 3 — дело идет о... выдаче пайка, как бы о «гостинце», — и как естественно, что «уездные»-то могли хотеть особенно засвидетельствовать свою приверженность власти, и вот, «ради Праздника», и выдали, — может быть! — «гостинец»... не посягая на «праздник», на «покой

и отдых» трудящихся... 4 — психологически, очень понятно: дело идет о питании, да еще и при лишениях! Могли — что я отмечу в рассказе — выдавать, вырвав час как-нибудь между «уличным шествием» и «торжественным собранием в помещении Горхоза», — где лица рассказа и позадержались до 7 часов вечера. Могло быть и так: на том же «собрании» — в условиях уездного быта это обычно, видал такое не раз в Крыму, в Алуште, — знакомый Среднева — ведающий выдачей, мог и очень даже мог! — сказать: «айда, награжу вас, ради пра-здничка... прислали пшена и подсолнечного масла!» В уездном быту такое очень обыкновенно. Такое есть, т. е. некоторое отклонение от «формализма» — в окраинных местах центра — Москвы, в чем я убедился за мое пребывание в Москве, с апреля по ноябрь 22 г.[568] Так что формальное замечание о «невозможности» выдачи — очень оспоримо. Да, вы-дали, и даже штемпелем закрепили! — смотри вот, как рабоче-крестьянская власть печется о благе трудящихся: распорядилась выдать «гостинец». В уездах ши-куют этим, дабы вы-служиться. Иногда и просчитываются. Впрочем, каких только «нарушений» не бывало в советском союзе, как и царской России: бывало, и могло быть — все, до... выдачи 7.XI — «гостинца». А твоим формальным замечанием я воспользуюсь для бОльшего эффекта! — уви-дишь.

Теперь — о «нэп». Не имеет никакого значения, был ли или уже кончился. При нэпе кооперативы работали и выдавали сов-служащим — все, что могли, по несколько пониженным сравнительно с вольным рынком — ценам. Я прожил в марте 22 г. — «нэп» тогда был самый свежий![569] — у писателя Тренева[570] в Симферополе недели 2, Тренев был учителем в бывшей гимназии... и — получал продукт из городского кооператива, вместе с ним ходили, — го-лод был! — и получали. Вересаев[571], в Москве, при мне получал «академический паек», как, помню, и попавшийся мне на улице Аполлинарий Михайлович Васнецов, брат того Васнецова. Вольный рынок не исключал возможности получки продуктов, которых тогда и на вольном рынке было мало, и не все бывало. Это я хорошо знаю — даже по Москве. А в условиях «уезда» — посада — что и говорить! там не то еще бывало!.. — обходы и обманы «формальных» правил. Ты это должна знать, живала в уездной обстановке, где люди сближаются, «сплачиваются», особенно в трудные дни. Знаю, поездил я по уездам, округ Москвы, прощаясь с Россией. Всего повидал. Но, повторяю, такие замечания возможны, и против сего я приму свои меры, вставкой нескольких строк в рассказ: «Куликово

поле» — несомненно — хоть в числе десятка экземпляров — больше! — попадет и т у д а... и какой-нибудь «безбожник» потщится — опрокинуть чудо. Да, вот таким «формальным» замечанием. Я отниму у него и эту возможность. И потому: скажу тебе за найденное тобой так чутко «формальное» замечание — благодарю. Оно мне поможет еще больше о т т е н и т ь — «явления»! Т а м — на Куликовом поле — одно явление — в п о м и н к и, з д е с ь — в «праздник революции»! Из с е г о «следователь по особо важным делам» делает вывод... — для вящего в р а з у м л е н и я.

Не перекоряйся с Ваней... поверь, любя тебя и ценя, — так вспыхиваю порой. Не ставь в укор.

Верни мне «Куликово поле» — н у ж н о. Еще: подумай и скажи: — хочешь ли связать себя со мной еще больше этим рассказом? Тогда — примись за его художественное оформление. Во - И М Я! Сделай это, Олюша. Поверь, не пойду за «сомнительными деньгами» и не повлеку тебя. Еще ничего не решено, — г д е. Не просил о «Куликовом поле» — ни-ко-го. Повторяю искренно, мне очень нравится твоя обложка: лучше и нельзя дать.

Не стану больше касаться б о л ь н о г о. Принимай, как велит душа.

Самое горячее желание мое, — чтобы ты н а ш л а себя, покой, радость в творчестве. В ч е м, в каком — твое дело. Не для «быта» — как бы он и ни был важен в жизни, — пришла ты в жизнь. Подумай о папе, о чистом о. Александре... — с к е м и к а к и м был бы он, живи он ныне. Думаю: был бы и с п о в е д н и к о м, и не был бы с семьей. Уве-рен. Но и те, кто с н и м и, — не все, конечно, с н и м и, а и — ради народа. Лучшие. Таков, например, — уверен! — епископ Сергий[572] — бывший пражский, ныне, кажется, в Вене. Но его... о̆ т н и м у т. Он слишком — хорош. Хотя, может быть и — по слабости — обыски и допросы! — вынудили. Не осужу, зная его. И не мажу всех — грязью. А ч т о выйдет из сего «опыта»... — кто скажет?.. Говори мы с тобой дружески, мы, конечно, нашли бы — на чем примириться. Веришь Ване? Верь, милая.

Олюша, мне больно было читать: «бросил мне в лицо мои акварельки». Го-споди! — верь, Ольгуночка, не бросал, а — с горя в порыве послал — и потом горевал, просил — верни. Ты не захотела вернуть. Ты не простила и не прощаешь. Мне больно.

Я увеличил твою чудесную «головку», — вон она! Дочего ты похожа, хороша — веселенькая Олюша! Всегда смотрю. Оля, будем верными друзьями. Сегодня видел — кажется,

тебя, — да, да... — и как же мучительно ревновать! Мне казалось, что ты ждешь кого-то... Так, — весь сон, мучился. Проснулся, — так билось сердце!..

Почес эти дни — ужасный. Полная связь с погодой: дождит, и я по почесу знаю, еще не подняв жалюзи, что — дождь, ветер: должно быть это — ревматическое явление. 15-й день принимаю extrait[i] — ясеневых листьев. Но сразу не проходит, уповаю. Целую тебя, мою голубку. Будь ласкова. Ведь мог же я написать тебе «сверх-чудесное» письмо! Обещала — написать все — еще 25.II — и не написала.

Ну, Господь с тобой. Томлюсь, за тебя, твоим бытовым неустройством. Помоги тебе, детка, Господь! Твой Ваня

563

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[14.III.1947]

Дорогой Иван Сергеевич, Ваше письмо меня очень удручило — итак, нет надежды на отыскание моего рассказа. Я не получала отрывки 1 и 2. — Можете уверять меня в моем «сумасшествии» как хотите, но я-то знаю, что не получала их. Если можете, запросите почту. Я убита этим.

«Куликово поле» «обрамлять» я согласна в принципе, но если Вам очень спешно это надо, то у меня нет сейчас ни минуты передышки. Но обещаю: первую же возможность отдать «Куликову полю». Не укоряйте, что ничего не писала по поводу «Куликова поля», — я очень много писала, но... Вы знаете сами, почему мне больно. Я все же собираюсь после переезда в Вурден быть в Париже, — тогда все обсудим. «Куликово поле» я переписываю по вечерам. Если не хотите — то перестану и вышлю. «Пути Небесные» получила. Где же мой «Заветный образ»? Мне больно и обидно, что он пропал. О.

564

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.III.47

В дополнение к дневному письму того же числа[573]. Поздно, пишу пером, хоть и нервит до дрожи.

---

[i] Экстракт (*фр.*).

Еще, по поводу твоего «победного» истолкования — «...жевала корочку»[574]. Так самоуверенно: «не могла “жевать корочку”! НЭП был»![575] И дальше: «мы ка-кие булочки ели...» и проч. Так-таки и «не могла»?.. Вот так-то и в с е у тебя, — решительно, до дерзости, но мягче сказать — непродуманно. Своего рода — «в раже» и в услаждении — «а ну, ку-сну!» А неужели тебе никогда не приходилось «ж е в а т ь корочку», даже почти упитанной, хоть в Голландии, или *до* «окаянства»?! ... Ну, перед обедом, как уже аппетит раздражен, или — «в мыслях», или — за чтением?.. Никогда не отламывала горбушечку и не жевала — с наслаждением? Я, бывало, очень любил. Так ты — сознательно? — и не поняла... — и — б у х?! «Не могла!» А потому, что ты была в с я в устремлении — «разнести». Такого я с н о г о (простого!) — не понять! а принять — «предумышленно», навертеть... от «застрявшего», надуманного исходя, — выплясывая.

Поплясала на... «Куликовом поле». Поплевала. Ни-чего, «Бог не выдаст — свинья не съест». Хо-рошая пословица народа-мученика, палачам коего поверила кроткая овечка.

Я возбужден, я должен все это наваждение разрядить... Я его разрядил очень жестоким письмом, но — справедливым. И — пожалел тебя, не послал, — другое, более спокойное, послал. Но если ты пожелаешь, я пошлю... — оно ждет. Там — в с е. П о с л е д н я я точка. Послать?..

В «путевой» открытке ты позволила себе назвать меня... п а к о с т н и к о м. Больше: сверх-пакостником. Ты дала волю необузданности и написала, что я буду еще взвинчивать «всякую пакость, услышанную про меня от кого попало». Ч т о это значит?! ... Или я м о г у (предстоит мне?) услышать какую-то «пакость» от «кого-попало»?.. Вот почему лучше не писать «с дороги». Но оставлю и это. К другому:

Дошла до игривости... В задоре, (с чего бы?!) называешь б о л т у н о м — и следователя, и профессора... (и автора, конечно). Итак — мы — болтаем. Ты даже н е подумала, почему подзаголовок: «рассказ с л е д о в а т е л я». Да еще и «по особо важным делам». О самом трепетном, о самом с т р а ш н о м, о «самом г л а в н о м», о самом дорогом и с в я т о м для русского сердца говорят, мучительно говорят... — «б о л т а ю т», все ненужно, лишне... Как самоуверенно! о т к у д а такое?! ... С усмешечкой — и «заботливая жена»... Я только головой покачиваю. Самое нежное, чуткое, что часто встречается и в нашем народе (не только у «четы») л а с к о в о с т ь к ценимому человеку-другу... — и т а к! Это мне напомнило «хуленье» — в одном «лесу»... 5 июня[576]. «Бесовское» и там кричало... Тут — прикровенно... — зажатое, с обидочкой. Но... за ч т о ?! ... Так

ничего не понять — и так самоуверенно-оголенно... хаять! до... оскорбления: «болтуны»... «публицистика». Пу-бли-ци-сти-ка!.. О самом последнем (эсхатологически!) говорят, томясь, в страдании... (времячко-то какое!), когда все осквернено... говорят о душе народа, о его силе духовной *или* полной растрате — ?! ... спрашивают, выслушивают друг друга... — там, недалеко — священнейшие останки — выволочены «для позорища», там люд ловит у потерявшего рассудок, убитого человека, русского Иова, ведущего тяжбу о всех и за вся... ловит тень упования, ловит дыханье... — даст дышать, или нет?.. *сойдет* на него? *Услышит* ли?.. Я САМ ЭТО ВИДЕЛ!.. о, ч... !) Я все видел, и по Крыму, и вкруг Москвы, и — в пути... я кровью купил ВСЕ, весь свой *опыт*!.. — и отдавал, — и отдаю — честному читателю... (не родному лишь, а всякому!) (сколько плотин ставили и сколько угроз было!) — а мне — легкодушно, безоглядно и безответственно... о святом-то нашем, о *сердце*-то нашем...— «болтовня»!, «публицистика»! — это ты *так* — **меня**?! ... — (так, бывало, в своей «свободной» печати — там меня *они*!) Так мог бы сказать носящий «печать антихристика». Только. Падший. Или — непомнящий ни-чего. Или — все забывший. И это сказала — ты. Мне *стыдно*. Мне больно. И тем стыдней, и тем больней, что эту заветность — (стихи! Сти-хи!! ... — вспомни!!!) я отдал в дар, я посвятил, веря... «болтовне»! Это о чистейшей-то и трогательной сценке на лавочке[577], так сказать?! ... Зачем — Ключевского?.. Что *это*?! ... За-чем?.. Зачем — Достоевского?.. Да растерявшиеся русские бедные люди... — на кого же им опираться-то?.. Вот вы — «булочки кушали»... (в Москве, в Казани), а народ давился — в 21—22 — миллионами! — от иных «булочек» (я в Крыму то-же «булочки всякие» кушал!), а в годы 17—20 — от иных, той же марки... Проливал кровь. Все забыть, все предано?! ... *За что*? для чего? *для* кого?! ... Мне стыдно и омерзительно. Так похули же и «Солнце мертвых» — там много «болтовни», того же доктора Михаила Васильевича...[578] — вот, вижу его, слышу... О, биения сердца, томления, истекания!.. Вам, «с булочками», они или неведомы, или — забыты вами. Вы — на той стороне. С губителями и — против народа! Клянусь — совесть не может обмануть — против, с палачами. Народ молчит. Но он вытерпливает — и — разрядится. Вспомнишь! И сгоришь, от мук совести сгоришь, назвавшая «болтовней» — муки наши, вопросы наши, пытанья наши, исканья опоры и упора — наши... и публицистикой. Что за скверный запах!.. Как же ты обнажилась! Ты, пожалуй, припи-

шешь мое возмущение тому, что похулила *мой* рассказ?.. Ложь. От сего написанное сердцем и опытом — не умалится, не пострадает. Нет, я возмущен тем, как я обманулся в тебе!.. *Какая* ты..! Какой мо-жешь быть!.. Ты, ведь, самой себе изолгалась, лучшему в тебе, что было. И это — мой верный читатель?! ... Я — недоумеваю, я немею... Такой, — он *что* же мог понимать? Да вот же, насмеялся над русской болью, над «крестом» родного народа! Ведь «следователь»-то тоже от народа, ведь болтливый профессор и его «заботливая» — тоже от народа, Иов — тоже, все — народ..! И все — декорация, нагромождения. Чуда скорей! Чу-да!.. А — для чего? почему? *ради* чего-кого — чудо?.. Это — мимо?.. Ведь «следователь по особо важным делам»... (один из миллионов русских интеллигентов) «ведет следствие о... *преступлении*» своем и своих! ду-шу омывает, ищет... — себя судит! — еще до слез кровавых не дострадался... но он-то дострадается, это же начало только — и мое «Куликово поле» — можно назвать лишь этюдом к... страшному роману-Суду! Ты этого не почувствовала. Но... горе! — у меня уже не остается времени влить это в давно (с 21—22 гг.) зародившийся роман... или — эпос? — «Спас Черный»[579]... Это лишь «вступление...», частность. Намек. Но он ценен по — именно! — *сжатости*, по *аккумуляторности...** по а-бри-су — намек!.. По твоему вкусу — довольно лишь «случая-чуда». Какая узость! — какое непостижение! Ты же отлично знаешь, *кто* рассказчик-«следователь». И — оказывается — «публицист», «слишком много говорит». Нет, слишком *мало* (!) еще говорит!.. Но рамки-план таковы, что я дал лишь необходимую и взвешенную дозу. Голый факт чуда не мог бы ничего сказать — без следствия и «декораций». Но ты покушалась “взорвать” (м.б. не ты, а *бес* в тебе?) и самый случай чуда, его подтверждение, придумав подковырку — «не могли выдавать»! Там — *все* могли. И надо было (и в этом чудо!), чтобы, именно, и — выдали. Да. Я *уверен*, что ты *высчитывала*, а не наврал ли «болтун», что Дмитриевская суббота была в 25 г. — 25 октября — 7 ноября. Была, а перед ней такое совпадение было в 1914 г., а после: в 1931, 1936, 1942, будет: 1953, 1959, 1964, 1970, 1981: циклы: 11 л. — 6 л. — 5 л. — 6 л. — 11 л. — 6 л. — 5 л. — 6 л. — 11... ... — по формуле теории чисел. И надо было, (да, чудо!), чтобы *впервые* при большевиках такое столкновение Суббот произошло в 1925, впервые при антихристе.

* он рассчитан на средне-вдумчивого читателя!

Все. Я устал. Много сил у меня отнято. То письмо ждет. Оно — сожжет. Прислать?.. Я готов.

Все. Следователь по особо важным делам — 6 ч.

И еще — поддополнение

Уже — 23.III. Вечер

Я берусь дать ответ за каждую сцену, за каждое лицо, за каждую страницу, за каждое положение в моем рассказе. Да, беру на себя полную ответственность. Иначе я не поставил бы под повествование своей подписи. Исчерпывающий и сокрушающий ответ! За в с е. Но у меня нет на это времени: надо бы написать 3—4 больших письма! То, что в разговоре взяло бы 1/2 часа (в личном объяснении — построчно!): почему, для чего дано то и то. Надо уметь читать, а то, если не уметь (или — н е хотеть), то получится всегда, как про «корочку». Да, из этого (эти постройки!) нельзя вытащить ни одного бревнышка (так все связано!), а то п о п о л з е т, о с я д е т.

Ты вряд ли думала:

1) Зачем это иеремиада «следователя» о незнании родного[580] (того-то, того-то, того-то...) (а э т о очень важно для «сердечка» — *в с е г о*).

2) Зачем Вася С[ухов] — именно — нашел (дано было ему обрести) крест, а не какой-то д р у г о й русский человек, не интеллигент, не поп, не — кто-угодно!

3) За-чем в этот миг я в и л с я преп. Сергий, а не Алексей Митрополит, не Серафим Саровский, не Димитрий Ростовский, не Митрофаний Воронежский[581], не другой всенародно-чтимый святой.

4) Почему т у т — в о т ч и н а — Л а в р а?

5) Почему святой *избрал* (предызбрал, тут я чуть расшифровываю, для облегчения «мелкочитателя») Среднева, (а не выбрал другого, а *мог* это сделать, а вот мог бы дать тогда не Сухова!), н е в е р а (полувера). Не *ради* же его дочери избрал!

6) Зачем мужики с кнутьями?

7) Зачем — кчему?! — «Иов» на навозе[582], да еще сумасшедший (и уче-ный!)?

8) Зачем мещане тут, сопливый парнишка? Зачем так говорят (Кому, для кого и через посредство к о г о д а н Крест? — п о ч е м у?)

9) Зачем — Крест дано обрести Средневу, а не что другое, хоть и священное?

10) Зачем на Куликовом поле?

11) Зачем галиматья больного? Именно — галиматья, и — именно — больного? Не лучше ли не больного?

12) Зачем, вообще, в с я сцена? Нельзя ли без нее?..

13) Зачем красноармейцы «у врат»? и — г-да с портфелями?

14) Зачем — бой часов? — а он — дважды?

15) Зачем дело происходит в домике такого-то профессора?

16) За-чем разговор на лавочке? Нельзя ли без него? Зачем — *опять-таки*, — тут интеллигент-ученый? Зачем говорят о том-то и о том-то? Нельзя ли короче, без экскурса?

17) Зачем — о Ключевском, о Достоевском, о Ильине?

18) Зачем — стихи?

19) Зачем «заботливая» жена-старушка?

20) Зачем все (главное) о... народе и его нравственном запасе? Нельзя ли без Ключевского и его “Слова”?

21)[i]Зачем об «Иове» — опять?

22) Зачем (ни к селу, ни к городу — ?) о Розанове, Флоренском, Булгакове, Александрове, ученике Леонтьева?

23) Зачем о «заводи», о «там потише» (не со страху ли? а?)

24) Зачем — так удачно — о 7 ноября, подходит?

25) Зачем святой говорит *так*?

26) Зачем он о с т а л с я?

27) Зачем, наконец, ч у д о? для *кого* — чудо (усмешка «следователя» над Средневым), ради кого, чего — чудо?

28) Ни в связи ли ч у д о с уцелевшим «нравственным запасом»?

29) Почему д а н о чудо — и для *ч е г о*?

30) Почему н у ж н о чудо? Не впустую ли?

31) Почему — «вдруг уехали»?

32) И еще м. б. 100 вопросов. И на в с е *дам ответ*. Исчерпывающий. И т о г д а слепой увидит (слепая и легкомысленная) как предельно-*скупо* дано, в таком малом — огромное. И, м. б., только тогда поймет удельный духовный вес «Куликова поля» (болтовни и публицистики). И еще поймет: сколько труда и сердца отдано (за то получил — «болтуна»!). И почему автор — вознегодовал. Только тогда. Писать обо всем этом нахожу обременительным и неисчерпывающим. Но — действительно умно-чуткое сердце и без пояснений м о ж е т в с е понять и понести.

Больше о сем ни з в у к а. И. Ш.

Вот это так — ударчик! «Критик» в с е проглядел — ему з а м с т и л о с ь («Бесы» — запорошили глаза и усушили душу).

NB: Дессерт:

В том же самом, «розовеньком», в котором похулила ч и с т о е «Куликово поле» столь оцененного л ю б и м о г о русского писателя, предумышленно (?) или случайно (!) всунут самопа-

---

[i] В оригинале нумерация нарушена.

нигирик п с у из само-трубы жмп'а о жарком приеме, с молением — «о навестите нас, глубокоуважаемый и дорогой Г. Г.»[583] И как п а с т ы р я славят (б е з ангелов, но с аггелами), чуть передохнУв (чуть-чуть не передОхнув) от «бесконечных-дневных допросов и обысков», как например С. — т о ч н о! — увы.

Вопрос? Для ч е г о сообщено м н е — о сем? Ткнуто в нос, тут же, после охуления? Оцарапать? приоткрыть себя! Зачем, — я же з н а ю... ... И какой добрый гений снабжает — «окормляет» русскую православную женщину — т а к о й — ретирадурой? Причем тут «радость» и умиление перед... «оком антихристовым» и чекистом? Не стыдно? и не зазорно — так себя оголять?.. И совать — мне? Можно было бы — и нужно бы — во всяком случае — воздержаться. Другое: по поводу адреса Ремизова[584], скрытно запрашиваемого в чужой стране. Почему такая осторожность? Ясно: какая-то гарь, дым... — «нет дыма б е з о г н я».

Так что же это за «огонь»?! ...

Предположения, конечно, но они лезут в голову, — их вдвигают в голову!

1) Выразить сочувствие и поприветствовать со сменкой к о ж и?[585] (рептилии, обыкновенно, сие совершают (змеи и пр.))?

2) Дать нравственную поддержку?

3) Выразить «восторги» — после прочтения «О тьме и скорби» — ? (для сего-то посылалось, д о в е р я л о с ь?! ...) Нельзя ссылаться. Так, от себя выразить восторг — это всякий вправе, конечно.

4) Низкий поклон (браво!) по случаю новоподданичества?

Верный путь узнавать адреса т а к и х — ныне — «succursale de l'abattoir russe»[i]. Адрес известен, — прямо-наименование. Там охотно сообщат.

А не честней ли... в ы б р а т ь? а?.. всем, en trois?..[ii]

Но... почему вдруг «поверишь всякой пакости про меня, слышанной от кого-попало»? «и будешь взвинчивать». Намек, а? о возможности п а к о с т и?..

Нет? Тогда зачем о сем писать? Оскорбить?..

Кати-ись!..

Разрешите мне послать копию критики — И. А.? Очень хочу!

[На полях:] Сатанинского прошу не слать. Как же все осквернится! какое было ослепление!..

---

[i] «Филиал русской бойни» (*фр.*).

[ii] Втроем (*фр.*).

Л-б-к и с-к-р «брюсселя» здесь эти дни — по соседству — в русском ресторане (и «осведомляется» — чекист!) все время пьянствуют — [наконьячиваются] (от [«Престола»] — «поцелуй меня»).

565

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.III.47

Превосходны «Пути Небесные» после правки... Я вся в их власти и снова не живу повседневьем. Все оставив, бросив, — безотрывно ими живу. Непостижимое что-то, как и от первой части, носит мою душу, и я читаю их в слезах, мой дорогой и большой Иван!

Они совершенно изумительны!! Да... а в них — Ты!!

Я взволнована... сейчас кончила читать, в понедельник же постараюсь послать обратно. Но непреодолимо хочется тотчас же написать тебе...

Ясно чувствует читатель восхождение... без скачков и натяжек. М. б. — для свободы — лучше было бы убрать заголовки глав?? Мне «полетней» читалось, упуская их, не останавливая души на них, не ставя для читающей души никаких предугадываний и определений. Я пропускала их, и впечатление цельнее, без отвлечения... Но это, м. б. моя глупость. Во всяком случае: — такого нигде, и никем не было написано. Такое волнение, которое владеет мной, — я испытываю только, — и то очень мгновенно, — при насыщении души истинным искусством. И я никогда не ошибаюсь... когда подлинное, То, «узор чего, стоял начертанным в раю»[586].

Миг один... и прожигается душа... до замиранья, до содроганья. Редко, — два раза всего в жизни испытала такое же в молитве... И — знала по тому знаку, что услышана Господом. Так и было.

Как-то танцевала у меня Беатрис (я хотела ее показать, надеясь пристроить ее в ее безработице). Красиво... гибко, точно, изящно, ритмично и очень женственно... все это отмечалось в глазах меня — профана в балете. И вот... миг, один, единый, блаженный миг познанья... это касание неземного, прикосновение серафимого крыла. И тогда не значит ничего: знаток ты или профан... Ты озарен, и — помимо тебя самого... И в этом вся сила.

Беатрис — талант Божиею милостью. Это несомненно.

Сейчас я залита вся этим чувством от касанья крыльев серафима при чтении «Путей Небесных» моей грешной души... Я знаю, — ты невысоко ценишь меня, ты меня и не знаешь. Из всех твоих признаний последнего года я же вижу. Всякой пакости и клевете (будь она на меня) ты бы страстно, до проклятия меня, — поверил... У тебя нет того знания меня, той веры, которая и вопреки «уликам» самым ярким, — не шатается. Мне очень больно все это. И вот пишу и думаю: очень-то ему надо мои переживания знать, посмеется, «истеричкой» назовет. Так небережлив ты с моими движениями души. Всегда... Давно. Кем и чем я у тебя не была в воображении?!?!

А душа-то у каждого жива. И редко у кого «погибшая». Но, довольно. Если не смеешься, то продолжу:

Все это время житейской неустроенности, тревоги и всего уводящего от главного, — я вся как бы (несмотря ни на что), — в каком-то «хмелю искусства». Если можно так определить, — то я как бы влюблена в... художество. Только влюбленные могут так каждый миг думать о «предмете». Случайно на аукционе я открыла, впервые узнала одного мастера. Слыхал — Росетти?[i] Данте Росетти? Жил в 19 веке. Почти что наш современник... Самый значительный из школы прерафаэлитов. Они жили п о с л е Рафаэля, конечно, но ставили себе идеалом эпоху «ПРЕ-РАФАЭЛЯ».

Целомудренность в сочетании большой романтики, жизни чувства, увлечений, т. к. был он очень ж и в о й, г о р я ч и й, человек с е р д ц а. Конечно, несчастный... Потому, м. б и много давший. Моими обычными глазами я вижу иные его ошибки (!!) не смейся! Я профан, но иногда ошибки все же вижу. Не в них дело. Кошмарно, что почти все его труды в частном владении. Даже репродукции не получишь! Я форменно помешана на его «Жанне д'Арк». А Беатриче!!! Беатриче в гробу! И Беатриче, «смотрящая в себя»[587], когда ей жаворонок несет в колени... мак... а над головкой птички венчик, как у святых... Вдали... фигура Данте и ее... это как бы то, что она в себе видит. Лицо э т о й Беатриче он взял с своей собственной жены в первые миги после ее трагически ранней кончины[588]. Лицо божественно. Глаза закрыты, но ты чувствуешь, как они смотрят внутрь... Он безумно любил свою (тоже художницу) жену, не забывал ее, и мучаясь всю жизнь в одиночестве и безденежье, — умер в душевном расстройстве... Есть картина его друга[589], изображающая Офелию утонувшую, — взятую с жены Росетти... дивно... до страдания! Женился Росетти за 2 года до смер-

---

[i] В оригинале: Розетти. Далее исправление не оговаривается.

ти ее, — за бедностью и по предрассудкам его семьи, они 10 лет жили вне брака. Она таяла на его глазах и умерла нежданно в то время, как он был в гимназии на уроке рисования, — это и был его заработок. Нашел мертвой ее, — свою «Регина Кордиум»[i]. В нее были все влюблены из друзей Р[осетти].

Я способна была бы украсть «Жанну д'Арк»!! Но не припиши мне воровских наклонностей[*]. И как же больно мне... Как все упущено у меня самой! Нет, я никогда не смогу ничего создать! Это я знаю теперь. После твоих «Путей» вижу ясно, что не смею касаться пера... И после Росетти не коснусь кисти. Какое лицо у Жанны![**]

И теперь, разве могу я писать после «Путей»!?

И знаешь, Ваня, мне больно, что ты так небрежно куда-то девал мой рассказ. Помимо твоей воли и вышло: мало-мальски приличным найденный этюд не был бы оставлен без внимания... Для меня это тоже — твой ответ.

Но не хочу упрекать. Ты — автор Путей — бесспорный и великий победитель!!!!!!!!!!!!!!!

Посмотри все же — этюд, несомненно у тебя, дружок!! Я в восхищении от тебя, Ванюша мой милый, несравненный!

Обнимаю тебя очень нежно.

И не отталкивай меня, — к чему это? Ты же, — так иногда умеешь делать больно. Папочкин День ангела сегодня. Я всю жизнь живу, — стараюсь жить его правдой. Я — грешная... но не такая, какой порочишь меня ты.

Ах, да, вчера была специально в Амстердаме и достала репродукцию для твоей приятельницы. Я взяла ее сразу, решив, что два с половиной гульдена она ассигнует для желанного. Вчера же и послала заказом.

Для «иллюстраций» твоего «Куликова поля» много роится в голове, но это чувство своей незрелости и... неодаренности так тормозит меня...

Я ничего с собой не могу поделать. Долго ходила по музею... искала у мастеров себе ответа, и вернулась домой потрясенная их мощью и своим бессильем! Постараюсь преодолеть

---

[i] «Королева Сердца» (*лат.*).

[*] бывало уже, что то или иное мое замечание из «откровений», — ты употреблял оружием против меня.

[**] Вся женская прелесть, вера, горение, спокойствие, твердость и.... отважная храбрость воина. Она коленопреклоненная у ног Христа распятого, испрашивает благословения на свой меч... Это уголком губ касание меча, как бы поцелуй присяги ее. А руки!! Девичьи руки, в которых воля воина! Чудесно! Чуточку толста шея (его постоянный недостаток) — но этого не видишь.

это, веря твоим подбодреньям, но недоумение от пропавшего этюда меня смущает... Что делать мне?

О, как мучительно это: видеть, понимать, как надо творить и... не чувствовать в себе силы! Легче было бы быть тупицей!!

Ванечка, ты понимаешь меня? Или будешь снова браниться?

Я боюсь тебе высказывать себя, потому что все, что я высказывала из сокровенных недр своих, — за все это ты меня бранил. А я, — так ни за что не хочу разладов. Пойми!!

Ну, Господь с тобой! Будь здоров, мой родной! Оля ласкова и тиха...

Обнимаю. Оля

Ничего нового с квартирой... Что это только и будет!

566

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.III.47

После письма от 23-го[590], дорогой Иван, мне собственно нечего сказать. Так это и почувствовала, но все же: человеческое достоинство, независимо от того, — чье, — требует еще несколько слов.

Все сказанное мной в письме относительно «Куликова поля» было сказано с лучшими чувствами благожелательного друга, с оговорками: «прости, если не так, — это по глупости моей».

Писала то, что почувствовала. И сочла долгом друга обратить на некоторые места внимание.

Оказалось, что; — «сапожник», — скажи тоже «дружески»: «суди не выше сапога»[591]. Твоя «корочка» Оли Средневой понята мной как «выражение» голода. Мне не чувствуется, что это простое времяпровождение. По ходу рассказа — не так. «Корочка» получает значение и право на существование в рассказе только в этом значении. Иначе, Оля могла с таким же успехом маникюром заниматься, — столь же это важно. И ты корочку и дал для картин голода.

Если тебе страстно хочется чувствовать себя обиженным, то избирай себе любой объект для обидчика, а не меня.

Кто и когда тебя назвали «пакостником»??

Как ты смеешь на меня возводить все это — фантазией твоей вымышленное?!?!

Мне нечего бояться «пакостей», — и ты — разочаруйся! — ни от кого их не услышишь, — разве только от фантазии твоей.

Имела в виду именно то, что сам всегда пишешь. Все твои выдумки на Жуковича... ведь за непреложность шли!

Так вот я и говорю: где та вера у тебя в меня и знание меня, которые запрещают все это???

Если мою прислугу кто-либо заподозрит в краже, то я, зная девочку эту, — несмотря ни на какие улики, буду утверждать, что это ложь. У тебя такой веры в меня никогда не было.

Ивану Александровичу я посылаю по вопросу о Ремизове. А тебе тоже скажу! Ни того, что он переменил подданство, ни того, что ему нужна по этому делу поддержка — я никогда не знала. Для меня он просто — запуганный, доживающий свои дни в нищете писатель, труды которого я даже и не читала.

По первому движению сердца — читала ильинское о нем — пожалела его, представив себе крайнее, — когда «тополь больше понимает его горе, чем человек», — и тут же Ильина и спросила, т. к. знала, что он по другим делам в скорости писать бы должен, — спросила адрес этого несчастного. Хотела послать этому жалкому, брошенному всеми человеку пару шерстяных чулок!! И только!

Неужели доброе, человеческое движение менее вероятно всех хитрых построений двух больших людей???

Среди же всех твоих предположений всякого рода бестактностей с моей стороны (!!!) не было только этой, такой простой истины! Что где-то в углу мерзнет (пусть малоценный) русский писатель, что простой русский человек устыдился своего прохождения мимо и хочет это исправить, — непонятно это? И вызывает у показав-шего на это «мимо» — возмущение!?

Ремизов для меня не политический деятель (впрочем судя по ильинской статье он не для сего), и даже не писатель, ибо я ни единой его вещи не читала. Для меня он просто — нуждающийся человек, русский человек.

Какие вершины нетерпимости и злобы!!!

Я не смею и не имею права молчать и тем принимать как бы от тебя обвинения в «плясании» и «плевании» «Куликова поля».

Ты, ТЫ хочешь выдумать себе страдания. И это грех! Ты можешь возводить на меня все, что хочешь, но не убедишь меня в том, чего я не думала и не делала.

Мелочь-пример: откуда у тебя возмущение по поводу, якобы моих указаний, что в 17-ом году были «булочки»? Нет, в 17 г. не было их. В 20—21-м ели в Казани траву и землю. Я ничего не забыла и ничего и никого не предала! Опомнись, что выкрикиваешь!!

Указала же тебе на те места, где чужой смог бы выуживать.

Указала тебе предельно нежно, оговариваясь даже глупостью своей.

Скажем, что я читатель «ниже среднего» — и таких найдется еще множество для того, чтобы вот так же воспринять.

Но я кончаю на эту тему.

Подумай только, не слишком ли ты смел и дерзновенен в расправе с людьми...

Господь Бог каждого видит Сам.

А Божий Суд у тебя ведь был тоже и тогда, когда Преподобный «в вотчину входил»... Помнишь?? Зачем так искушать Божий Промысел. Коли суд, — так суд, невзирая приятен его исход или нет. Коли по твоему суд был, — так значит это Господня Воля на то, что сейчас творится.

Прелестью духовной грозят и гадания на Библии. Знаю случай с достойным пастырем... Не мучайся в догадках: истинно-достойный, и было все в 20-м году там.

Шпынять душу человеческую, лишать ее всякого мира, да еще Бога призывать в свидетели... Остерегись!!!!

Прошу немедленно послать мне заказным рассказ, — в чем же задержка, коли он найден?! Мне нужен он! Сколько раз прошу! А вот ведь тоже, клялся и меня упрекал в истеричной запутанности до того, что не знала, получила ли, нет ли.

Уж коли про опрометчивость-то, — так не обождать ли заплевывать другого?

На такое швырянье истинно-дружеских отношений, на оскорбления из желания самому себе показаться несчастным (т. к. ты совсем не несчастный), — смотри, отольются тебе слезки!!

Еще раз прошу настоятельно выслать мне мой отрывок!

Ольга

[На полях:] Я до отказа наполнена твоими оскорблениями разного рода.

В каждом своем поступке человек держит ответ перед совестью — чего же меня вопрошать, послать ли новое оскорбление. Коли совесть позволяет — шли! А мое дело — сделать выводы. Спрашивай себя!

567

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.III.47 12 ч. 30 ночи на 27-ое Ответ на

29.III «Пути Небесные» получены.

Я слышу, Олюша, большую искренность в твоем письме. Есть в нем правда, но многое ты — в отношении моем к тебе — сгущаешь и обостряешь. Не так это. Я характером и всею сутью своей — тихий и ласковый, очень доверчи-

вый, и не виноват я, что ты своей неровностью и «бросками» (твои письма, как быстра смена «настроения»! То нежность, то сухота, глухота, — «не хочу таких писем», «меня оскорбляет» и проч. То «тепло», то — лед и пр.). Теперь — это заблуждение, это упорное нежелание понять, в чем, где правда (говорю о «советском», о «свободной» Церкви), до рискованных исканий подтверждения «правды» (лжи!) у агентов власти... Меня это отталкивает. Я вижу опасный уклон. И вот это — обходцем, минуя меня, (чего-то опасаешься!). Узнавание адреса Ремизова. И твоя развязность... в суждении о «Куликовом поле». Эта «булавка» — о чепухе! Ты «Куликово поле» совсем не поняла. Довольно, я уже все написал, а разжевывать не стану. И теперь — восхваление «Путей»... — на миг. Скоро пройдет. Вот эта твоя «непрочность», твое непостоянство — да, меня уводит. Я не могу быть прежним, если на моих глазах лики твои сменяются калейдоскопно. Я не верю, не могу верить — никакому лику! они разны и противоречивы. И хвалы твои принимаю — как преходящее. Так и в твоих устремлениях к художеству (словом, краской). Прилив (бурный) — отлив — не менее стремительный. Я не выношу «мелькания»: больно духовным глазам. И потому — вера моя в тебя колеблется. А тут еще — политико-духовный вопрос, с ложными «дикими бросками» — да еще до возведения в «подвиг»: «могу показать пограничную отметку!». Чем славишься! в яму попала, веря, что тут-то и правда. Помни: не остановятся даже перед тем, чтобы дать Церкви своих (из назначенных от [партии] (секретно конечно!) в семинарии и академии) бесов в митрах и камилавках! Войти внутрь Церкви — всю взять! Мо-гут! Оставлю, не до сего уж. Ты — сама — уходишь. Ты уже сыплешь хулой на меня и оскорбляешь: «поверишь всякой пакости!» Хорош я в твоих глазах. Вот это так — оценила. Сама же доводишь до разлома души. Я верил в тебя и сейчас еще не все утратил из этой веры. Мне уж скучно присутствовать при таких «волшебных изменениях» твоего лика. «Хочу работать!» «Не хочу работать!..» Сожгла! Не могу как увидала «мастеров»... Мастера всегда были, и если бы все боялись работать после них, — умерло бы искусство. Тут-то — проба: на образцах учатся и учились, давая уже свое. Теория искусства и всякие методы эстетики — как и точнейший и новый метод Ильина... — все это вышло из анализа образцовых произведений искусства. Творцы создают, по их творениям (вдохновенью) находят особые специалисты (изучая) законы их мастерства. Так всегда было. Сперва — творчество, потом теория творчества. Это,

конечно, не исключает вдохновения и творчества гг. теоретиков искусства. Нельзя страшиться «образцов». Надо самому, зная достижения, искать в себе, — могу ли дать, слышу ли в душе что-то — свое, — оно придет, как приходит просимое молитвенно. А если сегодня — ах, да! — а через час — ах, нет!.. — это вечная сказка про белого бычка. Путного и в 100 лет не получится, — одно скаканье. Искусство требует жертвенности и большого труда. И — прежде всего — делового отношения, а не — вдруг, сразу! Вот я тебя и поймал: посылавшиеся мне «отрывки» были написаны сразу... — иначе остались бы следы. Поймал и на неправде: то писала об этюде к «Куликову полю» — «не помню где, я его швырнула на чердак и он, конечно, сгнил от плесени». Но — поздней: «я хорошо знаю, где он». *Что* **это**?! ... зачем — это? — и мне ведь!

Эта кривизна — претит! Как и случай с адресом Ремизова. И. А. очень естественно удивился: почему обратилась к нему — о парижском! Мог подумать, что у нас нет сношений, раз его просишь. И — о ком?! ... Или ты не знаешь, как такие, как И. А., относятся к такому? Тут не может быть оправданий: на два табло честные не играют. Не обладаешь же ты столь короткой памятью, чтобы забыть, чему служил И[льин] вот эти четверть века, больше?! И как я должен был отнестись, после всего, что дала мне жизнь, после всего, что я писал всю жизнь! чем дышит мое творчество, — как должен был отнестись к легкодумному (в лучшем случае) совету адресоваться к N. N. относительно издания «Лета Господня», «Богомолья» — моих чистейших книг, одна из которых посвящена памяти короля-Мученика! Меня шатнуло. А ты ничего в сем не нашла невозможного! Мы, как будто, — с разных берегов. И это разнобережье ты все время — увеличиваешь. То ты называешь себя — бездарной, никакой, то доходишь до резвости, так легко подбрасывая иголочки. Меня это никак не шатнет. О именовании глав в «Путях» я уже — давно! — писал, — почему. Из удовольствия только делаю? Или не постигаешь, какая затрата труда-мысли и чувств нужна для сего: ведь над заглавием книги авторы иногда головы ломают годами. А [тут] — 54 главы!.. Ну, прихоть вот. Глуп был Достоевский, когда («Братья Карамазовы») давал именования глав романа?.. Или Л. Толстой — «Детство», «Отрочество», «Юность». А Гоголь?.. А Пушкин?.. («Капитанская дочка»). Я даю — для помощи читателю. Собраться, сосредоточиться, духовно сгуститься, вчитаться, т. к. любой роман не только эстетика, а и — учительство. Тем же, думаю, руководствовался и Достоевский, зрелый.

Так мне надо! Вот ответ. Образцы мне — или «принято» — не указка. Тут не гордыня, а сознание, что так, им, и надо.

Я хочу, чтобы ты успокоилась и бросила горенье «церковным». Не твое это дело. Я — только из-за тебя — обострил в себе этот вопрос: у меня давно взвешено. Теперь моя задача — дать «Куликово поле» — туда, к ограбленным. Знай: судебный следователь не только ведет следствие о чуде, а главным образом о страшном преступлении, и судит сам себя. Это будет дано ясней, ради близоруких, — легким штрихом, между прочим. Я не рву с тобой. Я жду. И молю Бога — плохой я молельщик — чтобы Светом Его осветился неверный путь твой. Господь с тобой. Нет зла на тебя у меня. Но нет и горенья. Зависит от тебя. Ваня

Весь день в работе и — чес продолжается. Я — измучился. Чуть порой легче, должно быть от "ясени" (28 дней).

31.III.47 Да что же это, наконец, такое, милая Олюша?! ... «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам?! ...»[592] Я поражен: 22 марта, квитанция почты, № 017, штемпель «22.III.1947» — я отправил тебе заказное письмо с твоими отрывками «Заветного образа»!.. — ты же получила это письмо, отвечаешь на него, и ты не нашла «отрывков»?!!! ... Это непостижимо! объясни немедленно. У меня голова кружится от этой «тайны»! будто из меня последние жилы тянут!.. Что это значит?! ... Квитанция у меня вклеена в мою тетрадь с деловыми заметками! Объясни.

Хорошо, я беру назад мои обвинения, я во многом мог заблуждаться — от раздражения, от пе-ре-у-томления! Я не виню тебя, что ты — предала родное. Но ты так же можешь ошибаться. Писал о «корочке» — и, клянусь! — м-ы---сли не было, что этим хочу подчеркнуть «голод», «оголодание»! Просто — что «Оля» делала в ту минуту: «жевала корочку», как часто, перед едой, когда еще не готово, а уже чувствуется аппетит. Поверь же, наконец!.. Возможно, — каюсь, — что об адресе Р[емизова] я не так понял... — окрасил в болезненные — (за все это время) тона — в душевном моем! Вот и прости, любя... — хоть от последней крупицы в тебе этой любви — к твоему ис-креннему, хоть часто и будоражному, безоглядному «Ване»! Мне так все тягостно! Поверь же. Тя-гостно!.. Но где же эти «отрывки»? Да, это, именно, бес, ликующий, что достиг своего, «вот, разобью все!..» Я испуган, я потрясен: где «отрывки»?! Замучила ты меня этим!.. Не откладывая, объясни, и я сделаю — теперь-то могу, имея квитанцию, заявление на почте, «для проверки»! Не могли же где-то вскрыть и вынуть «отрывки»! Тол-стым

показался пакет?! ... проверяли и — оставили?.. — кто и — где?! ... Это должны выяснить. Очевидно, пакет был весу большего, чем обычный вес, тогда должна быть оплата — выше, пакет же принят почтой, у меня квитанция. Одновременно послано было тебе дополненное «Куликово поле», заказной бандеролью, квитанция № 018, от 22 же марта, и одновременно — и простое письмо! — тебе же!! Ты что-то получила, отвечаешь мне!.. Или почему-то — для контроля? — задержали оба заказных отправления, и простое письмо раньше пришло? Но твое письмо мне, как ответ, помечено 27.III!?! Ни-чего не понимаю. И встревожен. Какая-то дьявольщина. Ты так и не написала, что получила дополненное «Куликово поле». Не получила? Не понимаю. 5 суток прошло, до 27 числа!..

О Р[емизове] прости, — горел.

Оля, найдем же себя, настоящих, добрых, ласковых, чистых! Я страшусь, что ты можешь потеряться... ты учитываешься подлыми газетчонками, внушающими, все извращающими, лгущими!.. — и это оставляет в тебе, впечатлительной, свой поганый след! Оля, живи Духом Правды, болей родным!.. Вот что страшусь увидеть утратившимся в тебе, поверь!.. Оля, сто-лько лжи сеется!.. Внемли же!.. Я посылаю тебе страшную статью, полученную мною из Америки: вчитайся! Я прочел ее... и переписывая, и проверяя — 9 раз!.. Не ограничься одноразным проглядыванием!.. Молю!.. Мне дорога твоя чистая душа, я не могу утратить ее: я хочу всегда и во всем большом и больном — с тобой! Смотри сердце мое!.. — смотри, как оно болеет!.. оно все истерзано, за-терзано... Я всем внутренним, всей чуткостью слышу, что там все ложь, все — грязь, все — кровь! И не могу, не хочу, чтобы тебя это заполонило!.. Дорога мне душа твоя, дорогая моя Олюша!!! Олюша, голубка, забудем, все забудем, все то что, помимо нашей истинной сущности, вколачивает клинья в наши совместные «рука-об-руку»! Останемся же друзьями верными, чистыми, — ведь мы оба любим родное! ведь оно все залито кровью, ложью!.. Оля, пересмотри свое отношение ко всему! Оля, поставь себя на место миллионов — из которых то-чат кровь, во имя чего? Для победы над Правдой, над извечно назначенным России — ее уделом в мире! Молю тебя, останься с Ваней, отринь «кривые пути», кои, знаю, для тебя омерзительны, но на кои темная сила хочет толкнуть тебя!.. Я готов принести тебе, я приношу тебе все — «прости» — моей горячности. Я знаю, что даю своим «Куликовым полем» — ты, знаю, — теперь, искренно хотела меня поправить, но в этом я не ошибаюсь, я все промерил. Я уже в 3-й раз процедил

текст, углубил его... — и как ты не права, указывая мне, что... болтают!.. Сцена на лавочке — без нее в рассказе бы осталась зияющая дыра. И так все. Рассказ будет издан в Париже[593], я найду деньги, — дадут. Кусочками — да найду.

Оля, милый мой дружок... — не отторгайся от нашего пути. Больше у меня нет сил писать... Вчера, вернувшись с чтения в пользу аньерской церкви — покупают владение, где храм, собрали свыше 2 миллионов!!! — чудо Божье! — чтение прошло с блеском. Читал «Говенье» и «Москва», из «Лета Господня». Плакали. И вот, вернулся, а через 5 минут — Зеелер! Разрешена министром наша свободная русская газета! пока — еженедельная, «Русская мысль», в каждом № 8 страниц. 1 № выйдет перед Св. Заутреней. Я даю «В Кремле на Пасхе»[594]. Тираж — 7 тыс. Нужны абоненты, этим укрепляется материальная основа. Деньги — русские! клянусь!!! Русский человек, жена которого, южно-американка[595], уже 8 лет в браке, двое детей, — решил часть недавно полученного женой наследства отдать на русское дело. Участники, пока: аз, Зайцев, Зеелер, Маклаков, барон Нольде[596] — иностранный отдел, — профессор Зеньковский, профессор Карташев, проф. И. А. Ильин, многие русские из Америки, специалисты, — основа: охрана русского духовного наследия, русского «богатства», отстаивание правды, без лишней страстности и обострений, но всегда с отпарированием навета и лжи, если такое будет! Русская Мысль, русское чувство! — русская культура, русская Церковь-Православие! — во-Имя и Славу Господа! Твой Ваня не пошел бы, если бы дело [было][i] хоть чуть неясное. И вот, просьба к тебе: с твоей стороны помогай! что можешь. А вот, что ты можешь: если скажешь — «да»! — я тебе вышлю книжечку в 10 абонементов, собирай подписчиков, сколько сможешь. Подпишись сама, внуши другим... твоей русской Толен, кто еще у вас?.. — пусть подпишутся. Деньги как-нибудь после переведешь. Или я отдам, сколько соберешь, из твоих здешних. Но нам важно, чтобы были абоненты, чтобы не отдавать 40 процентов посредникам. Этим материально укрепляется газета. Тоже будет послано — просьба! — и в Швейцарию, Бельгию, — все равно, враги — и враги особенно! — будут читать, покупать. Надо. Мы все идем на жертвы, пока и речи нет об оплате. Может быть начнется печататься роман «Пути»... — не знаю. Если да, тогда — из № в №. Как раз я сделал — !!! — коротенькие главки! Будто так и надо было. Буду давать и другое[597] — о родном нашем,

[i] В оригинале: быть.

о культуре, о «смысле России» для мира. Все силы отдам. И — думаю — так и все.

Ну, Олюша... еще раз — забудем, все разномыслия, будем в одном едины: служить России! правдой, во-Имя Господа. И да умирится сердце твое. Я не хочу тебя забыть, все забыть: я хочу видеть тебя рука-об-руку со мной, в самом важном. Найди в себе силы. Оставь «шерстяные чулки» Р[емизову]! И без них обойдется. Есть у него, кто поможет. И Бог да судит его. Он — уродец, и не без хитринки, знаю. И — часто — злой. Но и несчастный. Я сам его старался оправдать перед И. А. Теперь понимаю И. А. Пусть невольно, Р[емизов] повел воду на чертову мельницу и внес хоть на грош — соблазну, в иные души. Как Титовы, Маклаков, — ныне круто повернувший! — «не ходи в чертову “каноссу”»! они толкнули несмысленных[598]. А сами живут припеваючи. А ско-лько из отправившихся — уже в лагерях!.. Лагери эти — как сыпь покрыла Россию... — и там точат кровь... во славу «всех заразить». Оля, останься с Ваней: пойдем родной дорогой, помня умученных.

Виген — был вчера же! — загорелся газетой. Весь Париж, говорит ждет: «свет будет» — не только «загонщики».

Твой — всей душой — Ваня

568

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.III/1.IV.47 Солнце. А у меня все же... то-пят!..

Ольгуночка, милая, бесценная, кипу-чая, искровая!..

Сейчас твое письмо, 28.III![599] Благодарю и целую твою верную руку, — се-рдце твое целую!.. Я вчера отправил тебе экстренное письмо, и с какой нежностью к тебе!.. — все забыв, моля и тебя — все «кружащее» нас — забыть! Это же безумие — так опустошаться взаимно! и — в такое страшное время!.. Не смеем так. Это — хула на Духа!.. Или ты не принимаешь, что наша «встреча» — для взаимного укрепления духовного, для светлого служения — правде, нас обоих?! Нет, ты знаешь это. Эта встреча — чтобы мы еще полней нашли себя. Пойми: ты — чудесно одарена! и ты должна, откинув все сомнения, найти себя. Да, все разъедающее тебя — отшвырни и — работай. И не страшись, что были — и будут мастера: ты будешь из них. И верь в это. И работай. Ты помогала мне находить «себя», а я помогал тебе — в том же. Будем нежны, чутки, крепко друж-

ны. Ты чудесно показала себя, как ты чутка. Твои строки о Беатрис, о Росетти... — превосходны. И об озаряющей искре, об опалении души искусством. Я пил твои слова-мысли.

Ольга, иди вперед, не запинайся и не охлаждай себя. Да, мы несем в себе ту же правду! Никогда у меня не было тени мысли, что ты могла бы быть с... исчадиями! ни-когда. Ты болеешь родным, как и я. И от страстности любви и боли этой — ослепляешься. Будем молиться — да Свет Его просветит страстность нашу! Когда я «хулил» тебя, — я болел тобою. Да, я порой — неистовый... но что я могу... ?! Или ты предпочла бы, чтобы был я ровный?.. — теплопрохладный?.. Страдая, горю и — часто сгораю, обжигаю... и себя жгу. Потом каюсь. Так и теперь. Я бледнею, думая сгоряча, что ты можешь заблудиться и отемнить светлое в тебе... и я от сего — в спазмах... я рву, сердце себе рву... и твое сердце, — о, какое же дорогое мне!.. Детка милая, прости Ваню... я неизменен внутренно к тебе! О-люночка, я неизменно, неуменьшенно люблю тебя и дорожу тобою и горжусь тобою: ты — подлинная. О, моя дружка незаменимая! Мне Богом данная!.. как и я — тебе. Будем же крепить друг друга.

Это ужас... так разрывать, ломать, осквернять... — вот это — хула на Милость Света. Никогда не вернусь к этому огню зла.

Верю, что ты хотела осветить мне мои ошибки... ве-рю. Но ты и преувеличивала. Я все же воспользовался твоими замечаниями, представив себе, что так могут иные — кому это полезно, — кинуть мне «победный» упрек. И рассказ через это — углубился... Там все возможно. И, стараясь «переполнить задание» — выслужиться, в маленьком городке-посаде могли — да и сделали! — все объявить. И объявили именно то, что им было внушено!.. — для торжества правды. В данном случае — для «документации» чуда. И так было. Когда надо «славить» и укрепить престиж власти, ничем не стеснялись и не станут стесняться! Это не только 101 случай, это — психологически верно. За это никогда к ответу не потянут: это — «перевыполнение задания»!

Да к черту это! Мне, нам важно — не отрываться, не посягать на душу друг друга — а — рука-об-руку! Родное тебе дороже не менее, чем мне. Этим и связаны, этим и живы.

Я счастлив, что «Пути» после правки — тебе дороги. Да, так и надо было, и я не пощадил 120 страниц. Видишь работу? И если бы мне показалось, что в «Куликовом поле» — твоем светлом рассказе, — нужно было бы вырезать хоть

половину... — и не дрогнул бы. Нет, его надо бы было еще дополнить... но я уже не могу тянуть... Его издадим здесь. На чистые деньги! — соберу, найду!

Новая газета... — она идет под титулом — «конфедерасьон женераль де травайер кретьен»[i], могущественной организации[600], франко-русской, антикоммунистической! Не, не противо-русской, нет... а за общее, во-Имя Христово! И средства — главным образом — оттуда. Пойми: в этом деле — интересы и католиков, и православных — едины! Прочти же, перечитай «Три разговора» Владимира Соловьева, там есть сцена, когда и престарелый представитель Православия, старец Иоанн — Иоанн Богослов! — *и* папа Петр II — заместитель ап. Петра — папы I — едины: обличают Антихриста и оба поражены «его» огнем[601]. Оля, время страшное. «Троянский конь» может быть впущен, введен в бедную «Трою», и тайна исповеди — в руках тьмы. Все может быть! Перечти 3—4 раза! — я перечитал 10 раз!.. — статью Старого Политика «О советской церкви»[602]. Оля, помолись Святому Духу-Богу, прочти. Это — боль и крик окрововляемой Правды Божией! И в «Куликовом поле» — свет светил мне. Движим Им был, пиша. И отдал... ко-му же? — тебе, лучшей, верной!.. сугубо православной, в кого поверил. Книжечка так и выйдет — твоей. Сомнений не было во мне, нет. Ольга моя не может быть в таком священном — не со мною! Ах, Оля... если бы я мог говорить с тобой, всю душу тебе открыть!.. Боль кричала во мне, когда я кричал... бо-оль и ужас. По-верь, родимая.

Если тебя потерять — для меня — огромное утратить. Ты мой верный оруженосец, мой свет... и моя дружка, и мой удвояемый лик. И ты — все сама, у тебя есть то, чего, может быть, недостает мне... — нежность и чуткость, любовь, удвояющая мою. Не женщина в тебе нужна мне, — это лишь — дополнение красоты! — а душа твоя, ум твой, сердце твое, и — ободрение твое — вот что нужно мне. Ты должна взяться и творить. Да, жить искрами св. Огня. Ты его можешь ловить, слышать... прожигаться благостно им. Слушай сердце! И не покидай ни кисти, ни пера.

Не страшись, что мастера были. Они всегда будут. Теория искусства растет на — их мастерстве. Законы новые создаются, находятся. Будь из основоположников этих законов — и, без страха, во-Имя, ищи, твори. Без страха и подав-

---

[i] «Генеральная конфедерация рабочих-христиан» (от фр. *Confédération Générale de Travailleur Chrétien*).

ленности. Это все — вражеское. Верь же, что в жизни людей и всего мира Божьего разлита и темная мощь... Сама наличность — бесспорная — Блага и Света — предполагает существование — Зла и тьмы. Почему? Тайну сию не в силах постичь. Это в Высшей Воле. Есть много гипотез, и все — рушатся, зыбки. Инстинкт в нас признает победу за Светом. Это — есть. На наших глазах — столкновение начал, въяве! И надо выбирать. Или все за тысячелетия... — пыль? Это — извечное, чуянье Зла, Антихриста. «Он» ныне воплощается. Это тоже — мистерийно, но это — так явно! Сердце не обманет. Ум тупится от сего, а сердце — знает. Его слушайся. Ну, прости, ну, обнимемся, моя прекрасная, мой друг, моя любовь, мое сердце! моя Ольгуна.

Я мучаюсь, а ты не написала, получила ли заказное с отрывками — ? И — «Куликово поле»? Я послал тебе мою рукопись, заменив дополнительными страницами. Напиши скорей. Оля, помогай газете, сколько в силах. По всей вероятности там пойдут «Пути». В Париже, в «Русских новостях» пани-ка! У-дар!.. Весь Париж говорит, ждет. И как вы-шло! и не случайно: появится в самую Св. Заутреню. Я дам «На Святой в Кремле» — переработку. Специально — «На Святой», со вставкой о «забитом Кремле» — для народа, для Христа.

Это — наше «Христос Воскресе». Помни, Оля, — «уже при дверех»! И это нам — Милость Господа — помощь «рабочих-христиан»: это до слез трогает. Это новое «СЖТХ» — ныне — могучий оплот, с ним правительство очень считается. Это новая формация «рабочих». Выбора нет: за Христа, за Антихриста. Где же нам быть-то, с тобой? Только — за Христа! Мы Свету славу поем. Будем петь, славить. Твой голос будет слышен. Оля, очистим души наши. Не могу тебя потерять. И ты — не можешь уйти от Света: ты Его порождение. Славлю Его в твоем свете. Как благодарю за письмо! твое сердце услышало мой призыв, мою мольбу: я вчера написал тебе. И получил страшное — о, ледяное письмо! Теперь оно закрыто. Целую твое сердце, твою руку, писавшую. Всегда вспоминай русские пословицы: 1. «С собакой ляжешь — с блохами встанешь», 2. — «За пчелкой пойдешь — до медку дойдешь», 3 — «За жучком пойдешь — до наво́за дойдешь». Это мне И. А. напоминал[603]. Прав. Я лелею мысль, что твое что-то пойдет в «Русскую мысль». Поудумаем с тобой. В газете будут и «клише»... Ты скажешь — ! — о «русской женщине»! Будет и «детская страничка». Мечтаю — твое «Яичко» — чудесно! О! ты найдешь, чем поделиться. Сейчас — надо, очень надо — боль-ше подписчиков! чтобы не отдавать 40 процентов

«посредникам». Надеемся предварительно оповестить русских читателей через «Фигаро» — о газете. В Заутреню газету будут — расхватывать, 7 тыс. экземпляров мало. Обсудим. Сегодня еду к Зеелеру. Послал авионом И. А.[604] — дайте! Надо — ударить! Намолчались, ныне — «немой возгласит»[605]. И — в Св. День Христов! Вышло так, т[олько] ч[то] министр подписал. Газета имеет за себя си-лу! «Собрашася книжники и фарисеи..!»[606] — како быти?! Будет сказана вся правда. И Б[унин], надеюсь, будет тронут за порнографию. Будем править правду. Нет, уходить — так с боем! за Правду! И — не уйдем. Оставим последователей. Знамя будет передано в руки. Не упадет. Так послужить родному — помянуть всех мучеников. И ЕЕ, Россию, вбиваемую в яму! Нет, за Нее — отдадим себя. Зеелер прекрасен. Пла-кал у меня — «хоть след оставить... отдать последние силы». Как он хорош, чист! Оля, я взбудоражен, я живу. Я с новой силой буду писать «Пути». Я не расщеплюсь. Не разменяюсь. Это я только на миги горю так, я сохраню равновесие — для работы. Помоги мне, подкрепи меня — и себя. Не погаснем, сиротливые головни в поле! Родная, как я рад, как счастлив тобой, твоим письмом! нежностью, светом в тебе!..

Благодарю, родименькая Ольгуна... ласка моя, светик мой негасимый...

Твой неизменно Ваня. Как я страдал все это время! — тебя теряя...

Крещу тебя. Прости меня грешного, как я всем сердцем — тебя. 7-го, Благовещение, — каюсь на общей исповеди, за вечерней, с соборованием, а во вторник (Страстной) Бог даст — приму Святые Дары. Помолись обо мне.

Твой Ванёк

Иконописица о-чень благодарит тебя, через меня, за репродукцию Фра Анджелико. Уплатила 120 фр., они у меня, для тебя. Мне эта репродукция не понравилась: ну, чистая девочка. А мла-денец!.. но не это ужасно. Очень интересно у Булгакова в последней книге, только что вышедшей — «Автобиографические заметки»[607] — «Две встречи»[608] — два разных впечатления от Сикстинской Мадонны! Замечательно! И там дан вернейший (очень грубый) отзыв Толстого.

Надо тебе прочесть эту книгу. Я достану и пошлю. Мне кое-что [пригодилось].

В.

569

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.IV.47

Дорогой[i] Иван Сергеевич!

Я в совершенном смятении — Вы, *очевидно, окончательно потеряли*[ii] мой рассказ?! Чего же мне остается «объяснять»? — Я не получала его. Конверты с Вашими заказными № 70 и № 018, а «Куликово поле» под № 017. В конверте № 018 письмо Ваше ко мне и сообщение того, что рассказ нашелся, и что Вы хотите выслать «Куликово поле». Никакого рассказа не приложено и не упомянуто, что Вы его пересылаете. Судя по внешнему виду пакета, там ничего больше не лежало, — конверт не «раздут», а обычной толщины. Никаких следов вскрытия почтой *нет*. Я точно обследовала. И с того самого письма я напряженнейше[ii] жду рассказа, не постигая и не понимая, почему его нет. Вы безразлично[ii] и очень поверхностно отнеслись к моей работе[ii] и *оттуда*[iii] исходит только эта *канитель*[ii]. Я — получая Ваше (да и вообще все, не мне принадлежащее) тщательно откладываю в верное место и точно пересылаю по требованию. С почты ничто и никогда еще не пропадало... Вам не понятна моя тревога за рассказ, и потому он перебрасывается с одного места на другое...[ii] получили ли Вы Мадонну, которую я послала уже давно? Fra Angelico? Я о ч е н ь плохо себя чувствую физически. Сегодня бьет всю от сердца. Плачу, что пропал[iv] «Заветный образ». Мне горько, что это Вы сделали. Всего доброго! О.

У меня не хватает сил больше ждать рассказа[ii]. Поищите же!! Что Вы со мной делаете![ii]

570

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.IV.47

Перо не пишет.

Олюша, ночь не спал, заработался. Мальчишка с почты поднял в 7-30, а заснул я в 7-15. Как чумовой я, валюсь.

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, его помета: ?!

[iii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым, его помета: ?

[iv] Помета И. С. Шмелева: ?!

Ты как злая оса, до-жалила! Я был покоен, что 22.III. послал. Черррт!.. — опять 25! В те дни (22.III) ты язвила меня «Куликовым полем». Знаешь все. Я запечатал твой рассказ с диким письмом, но... одумался — бросил в стол. Написал другое и — думал, посылая, что рукопись вложил, вынув из 1-го письма! Отметил №№ квитанций и был покоен. Оказалось — старая история! Сейчас — нашел то письмо. И — именно, черт это! — там... твой рассказ! Я закачался... Можешь не верить, твое дело. Уве-рен, что тебе в голову приходило — все. Совесть моя спокойна: я снова был уверен, что отправил! Суди сама: зачем бы я стал посылать тебе заказное с обычным письмом только, без рукописи?! Хоть этим убедись, что злостности-то у меня не было, а... в жестокой работе, (5-й список «Куликова поля»!), расстроенный тобой, болен уже год! — измотанный... — вот причины — видимые! Невидимые: темная сила, — иначе не пойму! — которой надо-таки гадить, — не в силах все раздавить. Да, я верю! Я в каком-то мистическом ужасе увидал... в запечатанном конверте, в столе, рассказ!.. Не верь, твое дело. А судя по тону твоего exprès'а ты кляла меня, подозревая — не Бог, а черт знает — что! Ну, конечно. Депеша[608a] послана через час. Я в бронхите, t°, жду Плаксину — она отправит все. Господь с тобой. А ночью закончил все с «Куликовым полем» и надписал тебе. И вот — вдруг [сорван] со сна и — с exprès'ом — окончательно разбит. В.

Несмотря на ваш ужас, шлю депешу. Чтобы успокоить.

571

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[05.IV.1947]

Merci mon coeur. Olga[i]

572

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.IV.47[ii]

Бесценный мой, родной, дорогой Ванюша, не могу выразить тебе, до чего осветило твое ласковое письмо и обогрело

---

[i] Спасибо, сердце мое. Ольга (*фр.*).

[ii] На конверте помета И. С. Шмелева: 10.IV.47. Необходимо ответить по ряду вопросов письма.

мою душу... Тотчас же я рвалась писать тебе, — лаской и нежностью переполнена душа моя к тебе... Неустроенность с переездом и заботы, и каждодневные разъезды (впустую) тисками держали меня в своей власти, — вчера я все же тебе на кусочках писала, но все же не успела сдать на почту, — пришлось неожиданно еще кошку больную к доктору везти. Мы обязаны теперь каждое заграничное письмо сдавать на почте для просмотра — валюту ищут. И вот, теперь это письмо будет лежать до после Пасхи, пока не откроют снова почту... А ты будешь ждать и не узнаешь еще т-а-к долго о том, как нежно думаю я о тебе...

Твою телеграмму получила от мамы, возвратясь поздно домой и в страхе не решалась ее вскрыть, — молясь, открыла... «Ученый» наш почтарь переврал что-то в тексте, я догадываюсь: ...«en route»?[i] Ванюша, мне больно было, что доставила тебе хлопоты с отрывками... И как же жалела, что послала тебе открытку «express», после ласкового твоего хотела сказать тебе: «не волнуйся, Ванюша, ну, пропали отрывки, попробую написать без них!»

Я послала тебе ответную телеграмму, благодарную. Кажется, нечего было ему перевирать, и, наверное, ты ее получил.

Буду очень думать о тебе в грядущую неделю и вспоминать, как в прошлом году я подъявилась к тебе утром. Помнишь??

К этому дню я хочу, чтобы были у тебя мои «вестники», очень просила исполнить к сроку. Все теперь так ограничено: цветы не могут быть на сумму, превышающую 16 гульденов (с пересылкой) — это для Парижа: — гадость только можно послать, или, если авионом, то не больше 1-го кило с упаковкой. Хотела бы послать Amarillus — они теперь здесь превосходны, — у меня с ними связано воспоминанье: когда я малюткой встала от почти смертного воспаления легких, — была Пасха, и цвели во всех комнатах эти «лилии», как я их называла, — всех цветов. Их не взялись переслать, указывая на их «сырость» — тяжесть, на хрупкость стебельков у их «головок». Пришлют махровые темно-красные гвоздики, — они по времени считаются здесь «шиком» и очень хороши. И... лёгки! «Сухи». В них шлю тебе мое сердце!!

А с переездом у нас все так из рук вон плохо! Приходится въезжать в 2 комнаты с общей кухней и прочими «угодьями».

Но ничего не поделать. Слава Богу, я нашла прислугу, а то и с этой стороны все было неустроено. Много и боли с нашим въездом: приходится выселять старушку-приживалку из ее комнаты, т. к. иначе вообще бы не въехать было. Выпало на мою долю говорить с ней. У нее есть куда выселиться, но она

---

[i] «В пути» (*фр.*).

уже около 50 лет тут жила и, знаешь, как это трудно, особенно одинокой, простой женщине. Не знаю, как это мне пришло в голову, — сам Господь внушил сказать: «Вы не огорчайтесь и не думайте, что Вам не к кому и обратиться, — если Вы почувствуете, что у Вашей родни Вам не по себе, то скажите мне, как своей (а не соблюдая пустую вежливость — что, мол, хорошо живется), — и если Вам плохо будет там, то мы что-нибудь придумаем, а на время переезда нашего побудьте там "в гостях", так и смотрите!»

Я никогда не знаю нутра здешнего простого люда, сказалось как-то само, бездумно, и оказалось тем самым, чего старушке, видимо, недоставало в ее одинокой жизни. Она перестала плакать и, взяв мою руку, все повторяла: «понимаю, понимаю, барыня, и вот хочу, чтобы Вы не тревожились за меня: мне неплохо там будет, а Ваше доброе я сохраню, сохраню на сердце... Д-а, вот так-то: по-настоящему значит жить, как Вы делаете. А мне такое еще никто не говорил. Нет, нет, я и не смею больше плакать, коли мне душевность такую предлагают. Будто и не одна я на свете...» Я поцеловала ее, не могла удержаться. Когда уезжала, то зашла еще раз проведать. Она светилась мне навстречу и шепнула на мое: «не унывайте, я устрою что-нибудь!» — «Какое там унывать, — Вы мне столько бодрости дали!»

Как мало надо человеку. Я ломала голову над тем, что бы придумать и ночью же написала ей express: «я уже что-то нашла, мы устроим Вас в течение лета в доме». Ночью же Сережа снес на почту. А я не могла больше спать, — раздумалась, разволновалась. Я обяжу прислугу взять ее в свою комнату*, но сперва надо приручить и девчушку. Она сирота, от мачехи сбегает в «люди». Пригреть тоже надо.

Должна была прервать, — страшная суматоха дома: корова, роды которой должны были быть (впервые) 4-го апреля, стала телиться сегодня, и хотя ее уже давно ждали, не было никаких признаков. Работник празднует Пасху, корову не поставил во двор на солому, а оставил стоять в ряду. Она упала в канаву для нечистот, что проходит сзади ряда стойл, и так и родила. Ее еле вытащили из ямы, — тянули все мы вместе. Только сейчас все пришло в норму. Пришлось бежать и за народом. Бычок!

Ах, я и не скажу тебе —: я ведь купила себе собственную машинку с двумя шрифтами. И очень рада! Правда, эта покупка (они дико дороги) меня довольно-таки подорвала с «свободными» деньгами. У нас только по «каплям», по особому разрешению можно из заблокированных счетов получать на

* собственно, 1/2 комнаты.

руки. Теперь придется копить снова на поездку в Париж. Но я не могла отказаться от редкой возможности приобрести машинку. В Париж же мне ехать очень необходимо: для дела, и для разговоров о важном с тобой. Я хочу эту поездку устроить как следует, чтобы не носиться, разыскивая «рынки». Как было.

Надеюсь все устроить. Хотела бы жить все-таки у К[сении] Л[ьвовны] (только на началах самостоятельного хозяйства), от которой с Рождества ни звука. Жить по Hôtel'ям не для меня. А в Bellevue я влюблена. Комната Наты свободна, и если бы я имела свои средства, а не была гостьей, то чувствовала бы себя свободней. Постараюсь как-нибудь все устроить. Вчера пришло извещение, что в переводе валюты на Pavoi мне отказано «пока»... с деньгами здесь вообще полный кошмар. Особенно мерзко положение замужних женщин. Для взимания большого налога (он прогрессивен, в зависимости от «класса», в какой попадает та или иная сумма), правительство причислило собственность жен к капиталу мужей, чтобы о д н а «кучка» была больше и попадала в высший разряд. Теперь я ни цента не могу снять со счета без волокиты! Но т. к. я д о переселения в Woerden все равно не смогу поехать, то за это время успею еще что-нибудь по мелочам снять и собрать нужное.

С валютой тут с ума сходят. Это сдавание писем на почте!! Вчера от И. А. пришло требование его писем к одной девушке, хранившихся у меня в сейфе все эти годы. Я послала их, но для волокиты потребовался целый уповод[1] до обеда. Почтарь перерыл все письма, сломав сургуч, наложенный мной для сейфа и порвав заклейки И. А., — кончилось тем, что не решился послать без моего ведома как «письмо», подсчитав во сколько раз оно тяжелее обычного. Я думала, что Тилли утонула. Конечно, я погнала ее тотчас же обратно на почту. У почтаря за его практику это первый случай, и он даже звонил в Utrecht. Кончится, конечно, тем, что подозрительный И. А. заподозрит м е н я в срыве сургучей. Этим и увенчается вся моя готовность к его услугам. Все его письмо последнее и поведение убеждают меня в этой возможности. Ну, Господь с ним!!

После его построений относительно адреса Ремизова, — я жду всего.

Ванечка, у меня к тебе большая просьба: позволь, хоть малым, пылинкой помочь мне выходу «Куликова поля» и непременно распорядись оставленным мной у тебя! Я не считаю это м о и м, т. к. не для себя везла. Очень тебя прошу не считать это моим!! Делай что хочешь! Это же пустяк, о котором

---

[1] Здесь: время от завтрака до обеда (*рус., устар.*).

и говорить-то не стоит. Если бы я могла, то «Куликово поле» вышло бы и без «исканий средств»! Ну, хоть эти крохи-то употреби! Очень тебя прошу не упоминать мне о том, как о моем!! Я постараюсь для себя все равно иначе все устроить. Т. к. так как было — неудобно. Я здесь это улажу. Понял?

Статью «старого политика» я внимательно прочла. Там такое сказано кардинальное, что я не могу согласиться на полуаноним автора. Такое обязаны говорить за подписью, дабы все было точно. Утверждения «старого политика» для меня и не только для меня, а вообще не могут быть «само собой разумеющимся», вытекающим из поведения советской власти. Надо подразумевать, — его желание хотя бы намекнуть на какие-то факты, *действия* духовенства, которые позволяли бы такие *кощунственные выводы*. Слуга «Антихриста» — и это о патриархе!! Как он — житель Италии — может судить их?? Они же исповедники. Мы ничего не можем знать! Чтобы назвать патриарха Антихристовым слугой — надо *все* очень хорошо выверить, а не на свои выводы опираться! В противном случае все «утверждения» — суть только построения, теоретические выводы из доктрин автора. Вода, гонимая «политиком» (именно политиком, а не верующим) на свою мельницу. Никогда не дерзну наше духовенство так вот, по построениям только валить в сорную кучу. Я слишком верую в свой народ, в его вечную душу. А по политику выходит, что все категории людей там — никуда не годны! Он дьявольски горд! А ведь даже и по И. А. выходило, что этот же самый народ «вопреки советской власти победил и разбил своего врага». Это «роботы»-то? «Подхалимы»? Я сама видела верующие лица в фильме, *толпы*, идущие, лавой текущие, за покойным патриархом Сергием. *Это* не «сгонишь» как «статистов». И в таком я бы не ошиблась. И не могу допустить, чтобы маломальски честный и верующий человек пустился в такое хуление без (пусть даже слухового характера) фактов. Если же факты есть — назови и их, и себя.

NB: кто называет современную русскую Церковь «советская церковь»? Только не патриарх. Не за «успехи Советской власти» молились, а за успехи на войне против немцев. Как же могло быть иначе?!

Скажи, где, у кого можно узнать о случаях нарушения тайны исповеди? Я должна это обязательно знать! Мне претит это: «политик», как и все, что от политики, но я закрыть могу на это глаза, лишь бы знать точно, что говорящий имел факты! Он не из опасности для своей жизни скрывается под анонимом, — он житель Италии. От кого он узнал это?? Пишет,

что документы патриарха Сергия «фабриковались в известных учреждениях», а... подумай, — если и эта статья сфабрикована, конечно, только в иных учреждениях? Ведь католикам, например, очень не по душе наш патриархат. Это тоже фактор, с которым необходимо считаться! Ваня, милый Ваня, такое надо безбоязненно говорить, если знаешь и даже рисковать собой, а аноним не дает веры в сказанное и невольно себя спрашиваешь: да почему же надо прятаться?

И вот, посуди: я, вся захваченная этим вопросом, ответила на вопрос доктора К[линкенберга] (в четверг я заносила ему яйца к Пасхе), — «скажите, что происходит в России с Церковью на Ваш взгляд?», — что: вот появились утверждения относительно нарушения тайны исповеди, что я сама не знаю, как к этому отнестись. Я нарочно не сказала ему своего недоверия к анонимному утверждению, выжидая его реакцию. Он — честный, никогда не политик, — сразу же спросил: «откуда Вам это стало известно?» — «Да вот статья из Америки». «Это не важно, из Америки или еще откуда, — кто писал?» — «Старый политик». Ты знаешь, что он сказал? «Ну, это довольно “криво”». И добавил: «я не верю!»

А уж не католикам ли приятно именно верить!

Статья написана кощунственно. Чтобы иметь право так кощунствовать, надо обосновать свои слова и ответить за них своей подписью. Доктор был потрясен прямо, когда я ему сказала о содержании статьи. Тайна исповеди, Ваня, нарушена, — да ведь тогда все нарушено! И об этом так, вскользь мог писать разве только именно политиканствующий политик! Мы все обязаны раскрыть его лицо и обо всем узнать. Надо знать факты: какой пастырь и кого, и когда выдал!! Без этих данных нельзя пользоваться этой статьей.

Кроме этих сведений об исповеди в ней нет ничего нового. О гонениях все известно. Преподобный Сергий был отдан на поругание, — чего еще?

И потому: тем непостижимей великая милость Божия многострадальному народу. И понятно: там было больше трех праведников!

Оставим о политике. Я подхожу только к великой православной душе моего народа. И верю в Нее. Люблю ее и хочу быть с ней слитной. Все это вне политики, и я не могу понять, чем я в твоих глазах грешу? Не могу кощунствовать, не имея к тому фактов. То, что писалось во всех статейках, — не факты, а выводы из собственных доктрин авторов, гипотезы и построения. Для того, чтобы иметь право так заплевывать нашу Церковь-Мученицу в лице Ее служителей, надо все очень

проверенно знать. Отсюда, из прекрасного далека легко швырять Карташеву в них грязью. А вот много ли потребовалось мужества? А на то, чтобы подписать свое имя под статьей и то не хватило у заграничного «верующего»! Ванечка, все они таковы, эти именно «старые политики». Прочь политику от Церкви! Не горит этот господин Церковным, а то бы не спрятался, а со знанием-то такого, о чем уверяет ведь и на костер в е р у ю щ е - м у-то можно!! Не верю я, сердце говорит, что что-то тут не то!

И мне отвратительно это, кощунственное о пастырях! Какая же у него гордыня должна быть! Так и валить в с е х в навозную кучу! Я не могу так!

Газету вашу я хочу выписать для с е б я. Я все должна знать. И главное — твое там будет, Ваня. Но под редакцией Карташева и Зеньковского уже бывало такое, чего нельзя принять. Если эти начнут х у л и т ь и кощунствовать на патриарха, то я не считаю для себя возможным распространять это дальше.

Я не хочу входить с тобой в больные споры. Когда увидимся, — ты меня поймешь. Отнесись пока терпимо к моему убеждению и не строй несуществующих р а с х о ж д е - н и й. Перед Богом, в извечном начале — мы с тобой совершенно согласны. И это самое важное. Выслушав меня л и ч н о, ты поймешь мою точку стояния и никогда не отвернешься от меня.

Я о ч е н ь ч е с т н о отношусь к этому вопросу. Пока оставим это, чтобы не впасть в ненужный спор, ибо с у т ь, и с у щ е с т в о-то у нас совершенно одно!!

1-го апреля я «обманула» себя и снова взялась за краски (смеюсь об обмане, — так вышло). Было очень трудно, — я отстала, но я так «любила» свой «предмет», что он мне о-ч е н ь удался.

В четверг показывала доктору. Сказал: «превосходно»! Вчера видела это Люси и совершенно меня окрылила. Сказала: «Ольга, редко кто с такой любовью видит, ах как редко!» Я сказала, что художники-то, конечно, всегда так. — «О, нет, я о художниках и говорю, что редко!» И... Ваня, я получила «заказ» — сделать «точно так же!» Это от дамы, у которой восторженный сынишка, помогавший мне с концертом. Они все очень от искусства, сама она готовилась в оперу. Не пропускают ни одной выставки, ни единого стоящего концерта. Она не хотела отдавать мне мой лист обратно.

Да, удалось, я знаю! Это была на фоне весеннего неба ветка ожившей ольхи с сережками. Она вся живет, вся налилась соком, раскрылась в «любви». Klinkenbergh только одно выразил неудовольствие, почему я на таком «преходящем» материале, как бумага, сделала.

Ах, это был чудный день, — они все меня поддержали. Thea даже сказала на прощанье: «работай, Бога ради, и если чем тебе могу помочь, — позвони только, — все для тебя сделаю». Это у голландцев так много!

Но ценнее всего мне мнение Люси, которая сама напомнила мне: «непременно берись за иллюстрации, не смей выпускать из рук, техническое я тебе выправлю, это не грех, приходи, я это сделаю и постою для тебя в нужной позе моделью». Она думала о «Ярмарке».

Моя ветка — живая, и совсем не фотография, — она уже... — «искусство» — почувствовала это тем же мигом в сердце, что и Беатрису. Это **впервые** *в своем*! Но в ней есть недочеты. Я вижу их! И все же счастлива и люблю эту вещицу. Ты понимаешь меня?

Кончаю, обнимаю тебя и очень, очень нежно думаю о тебе и так хорошо и светло тебя люблю!

Какой хороший ты, совсем не такой, как все!

Как только устроимся, и приучу девушку к порядку, — приеду!

А. Схот сообщила, что за недостатком бумаги издания беллетристики сокращены на 30%, и что ее уже переведенные вещи должны лежать пока без движения, но что она твои вещи будет держать в уме и сердце. На мое приглашение гостить у нас летом отозвалась очень охотно, а ведь она как раз во время этого гощения и собиралась со мной вместе переводить тебя. Сейчас она в Прагу уехала.

Обнимаю. Оля

P. S. Отстраивают мне в парке беседку для работы. Будет как домик, если разрешат газ и электричество провести. Тогда буду там все время. Хочу и телефон. О.

[На полях:] Прошу тебя, мой дорогой, мой сердечный друг, — оставим перемалывать политику. У меня моя Вера в Бога ВНЕ ее. Приеду — поговорим обо всем. Скажу еще, что свои собственные «построения» и выводы могут завести туда же, куда завели домысли мнительного И. А. касательно моего спроса о Р[емизове]. У него часто так бывает. В былое время — Серафим Lade (теперешний епископ у Анастасия) был по мнению И. А. агентом Г.П.У., и И. А. не разговаривал с теми, кто хоть чуточку сомневался в этом. А данные? Свои доводы. И только.

Я не хочу «задирающего тона», но говорю, Ванюша, потому, что душа моя не может согласиться с поголовной хулой священнослужителям. Политику нельзя впутывать.

573

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9 апреля 1947 г.

Христос Воскресе, милая Олюша! Господь да будет с тобой. Болен, лежу, один. Сил нет. Т я ж к и й бронхит, t°... Уже 8-й день. Больше не в силах держать перо.

В.

Вот — моя жертва — ч т е н и е м 30 марта[609].

Расплата, как всегда.

574

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[09.IV.1947]

Христос Воскресе!

Неизъяснимая, родная моя душа — Иван Сергеевич! Трикратно христосуюсь с Вами и обнимаю Вас душой и сердцем! Столько Света и тепла у меня к Вам, а в этот День Христова Света, — особенно прошу Господа пролить на нас Свой спасительный и благодатный Свет! Послала большое письмо, — но мне так хочется только душевного, тихого, ласкового в общении с Вами, а не рассуждений. Милый, бесценный друг, как вспоминаю прошлую Пасху! Господи, — Ваш глаз уже 1 год болит! Будьте здоровы, — солнышко. Я в постоянной за Вас тревоге. Напишите — хотите ли, чтобы я приехала (в июне — думаю) или для Вас это «беспокойно»? Скажите прямо! Я — в тишине. Мне хочется много работать вместе с Вами. Я все-таки уже много перепечатала писем. Мы их просмотрим... Думаю в субботу приобщаться. Простите мне все прегрешения. Обнимаю Вас нежно и очень любя. О. Мама и Сережа христосуются сердечно.

С переездом все очень скверно, но я не хочу отемнять себе душу таким преходящим. Не знаю, как хватит только сил на все. Времени так мало, дела масса, места — нету: сельди в бочке. Ну, Господь милостив!

575

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.IV.47 4 ч. дня
Святой и Великий Четверг. Солнце

Нет сил говеть и очистить душу. Не спал опять. Все — мысли.

Дорогая Олюша, едва пишу. Не говею. Нет для меня Светлого наступающего Дня. Один, большей частью. Все во мне, — [1 сл. нрзб.] давит, томит, пы-тка! С этим все же посчитайся. Я всеми силами держусь, чтобы не омрачить тебя. Сердечно благодарю за письмо (большое и ласковое, «покойное») от 6.IV. Но я уже раздавлен exprès'ом. Он был бешеный. Ты грозила. Ты требовала. Ты надумывала... *что* (?!) я сделал с твоим рассказом. Ничего не сделал: все было так (действительно!), как писал тебе. Странно? Да. Но так именно, и было. Вини меня, а я... без вины виноват. Я был в хаосе, в дерганьи, в работе изнурительной, в твоих темных взвивах, в «трагическом заблуждении». Ну, оставим. Про-шло. Я больше не затрону. В письмах нельзя — все! Лично можно было бы в 2—3 часа объясниться. И все привести в строй. Напрасно я пытался «отвечать»... в этом моя ошибка. Казнен за это. Я счастлив, что ты покойна (сравнительно). Все твое наладится. Мое — нет. Нечему — и уже нет времени — налаживаться для меня. Смиряюсь.

Счастлив, что ты нашла свет в душе дать одинокой, жизнью и людьми забытой старшуке, — радость и правду. Целую твое сердце. Я с тобой радуюсь, за тебя.

Но ты напряги воображение: там — миллионы (10—12—15 млн.) в у-зи-лищах — и отдают последнюю каплю крови... И это — беспросветно и безнадежно! Что для этих Церковь?! ... Все взято, все для них смолкло, из них, выточено. И сравнительно с этими — старушка — свободна, она — страшно сказать — счастлива: нашлась вот ты, единственная душа — и она просветлела!

Слава Богу — и тебе. Но тех никто не может, не смеет взгля-дом пригреть!.. — Они — годы обречены и каждый час сотни, тысячи их — уходят... хуже, чем подыхающая одинокая собака. Хуже!.. Этим последнее время мучаюсь. Не хочу и не смею жить. Да, Оля!.. Да, жду лишь дня — все сказать, попытаться душу открыть тебе и укрепить тебя.

Оставим «старого политика»... — **уже** не время.

Все оставим (между нами), не будем отравлять (о себе скажу) последние дни-недели жизни... Будь — что будет...

У меня нет сил последовательно ответить на твое доброе письмо. Я уже подсечен окончательно прежними и последним жутким exprès'ом. Он — страшен. Он меня доконал.

Сейчас получил твои цветы. М. б. отойдут. Они должно быть прекрасны. Но зачем они мне теперь, когда я думаю о... тех... и бессилен (а я все эти 30 лет — как бился, как душу рвал!) — на все — для них. Ты вон и в газету... глядишь

с подозрением... Гляди... Все исказила, все на своей лад, «от своего, через с в о е». На письме — н е л ь з я... вижу. Оставлю. Доведется увидеться — все скажу. Та же гордыня, как у И. А., который (по своим соображениям — ?!) к а т е г о р и ч е с к и отказался от сотрудничества[610]. Очень уж п р и к р ы в а е т с е б я... ?! ... Его дело, твое дело. А русские люди, жив[ущие] инстинктом, — текут!!! Бог весть, что, какая будет газета... Но это будет — с в о б о д н а я газета. Напрасно предрешаешь, что это будет помазания К[арташева] или Зеньковского... Никакого отношения к редакционной работе и ведению, как и (всегда!) Ш. По плодам у з н а е т с я... Ничего на письме! Надо 20 страниц писать. Я рад, что ты посветишься на Св. День... Будь с в е т л а, во Свете! Я не выхожу, и не мог послать тебе цветы. Да и ты — столько — потратила, теперь по-шлина! — de lux еще — могу разорить. И думать, что на э т о идет столько... — когда кругом... (а в зонах, а т а м!..) — люди корки не видят! что — ко-рки?! ... — дышать не могут вольно... и это — го-да-ми!.. Ужас. Я не хочу Праздника, нет его у меня!.. Я не кляну: все в Руце Его. Но для с е р д ц а... — тьма и боль неутолимая. Прости, не омрачайся... Я радуюсь тобой, когда ты с в е т л а, — я плачу над твоим движением сердца: хоть единую душу утешила!.. ...

Христос Воскресе, Оля! Господь с тобой пребудет. Светись!.. — родная. Я живу из последних сил. В о и с т и н у Воскресе! Твой Ваня

[На полях:] И все же я буду ласкать твои пасхальные цветы! — в них сердце твое, Олю-ша!

С 3-го IV не выхожу, лежу, очень слаб, глубокий бронхит и этот ужасный чёс, горит кругом глаза, сам глаз зудит, лоб, бровь — все... Ужас! И это — год! Все учти!

576

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[15.IV.1947]

Дорогой, неоцененный, родной Иван Сергеевич! Как больно мне, что Вы больны. Я очень волнуюсь. Напишите, — умоляю, — как теперь? Неужели и с теплом не лучше стал бронхит? Все письмо Ваше — боль мне. Почему Вы так... разбиты? Я понимаю, все понимаю. Но Вам грешно так себя духовно убивать унынием. Мои цветы не подбодрили Вас — мне больно это. Вы пишете, что — если т а м так тяжко, то и Вам эти цветы не нужны. Вспомните Христа и миро драгоценное,

пролитое на Его ноги! Не дерзаю проводить параллель, но из слов Спасителя явствует: «нищих всегда при себе имеете...»[611] А есть что-то, что больше нужды человеческой... То вечное, Божье в Вас, И. С., чего нет почти в нашем мире, — пусть оно спокойно примет это слабое выражение поклонения перед ним. Не утолить горя земли.

А такие, как Вы, — своим чудесным это могут! Я пишу Вам наскоро: мы задерганы переездом. Из последних сил. Простите меня, что пишу на такой малютке — наша почта «скиляжничает», а я не могу отложить ни на час ответа Вам, пусть хоть очень краткого. Вы всюду и всегда у меня в душе и сердце. Напишу м. б. вечером-ночью большое письмо. А пока только весточку эту примите сердцем от любящей Оли.

577

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.IV.47 1 ч. ночи

Только что приехала домой, и получила (нашла) твое письмо от 12.IV. Ваня мой, Ванюшка, родной мой светик, любимый мой Ванёк, у меня нет больше сил-возможностей тебя уверить в себе, в своем к тебе. Ты не хочешь, а м. б. не можешь (в силу твоей разбитости, что ли?!) видеть и слышать, и — главное — чуять мое к тебе сердце! Я убита этим и плачу, горько, от самого, из самого сердца. Не могу больше. Ты не хочешь видеть меня[612]. Я много думаю... и... понимаю. Это горько. Ах, как горько мне. Но что мне делать? Все силы мои измотаны, исчерпаны. Я ведь тоже разбита. Р-а-з-б-и-та! Пойми же и меня! Хоть разок в жизни пойми! Но я — не важно. Я не хочу носиться с собой. Ты, ты — самое главное! Пишу тебе о своей боли только потому, чтобы ты знал, что не бесчувственная я, какой ты меня рисуешь. Да пойми же ты, как больно мне твое письмо от Великой Субботы! Никого я так глубоко не ценила, как тебя. «Ценила»!* Глупое слово тут. И неуместное. Ты — неоценим, ты выше всяких оценок! Господи, ты знаешь мою душу. Не говорю об отношении как к сердечному другу моему, — ты этого отношения не хочешь видеть! Да, да!! Никаких подозрений не было у меня в отношении к тебе. Никогда я не «кляла» тебя! Как ты мог ска-

* Это только касательно твоего утверждения как о писателе и «корреспонденте», а уж как о любимом... что же и говорить! Всю душу отдала и отдаю тебе, а ты и не видишь!

зать и подумать такое!? Я просила так настойчиво о рассказе только потому, что ты уверял меня в «зашвыривании» мной самой отрывков. Я была в отчаянии, что не могу тебя убедить, что их нет у меня. Разве я не знаю тебя, чтобы могла допустить какую-либо злостность в твоем непосылании. И раскаивалась, что такое тебе доставила беспокойство.

Говорю тебе честно, как перед Богом, что ни тени не было во мне из того, что ты на меня возводишь. И не «ветром» диктуются мои к тебе проявления. Слишком большая «встревоженность чувств», их напряжение вызывают неровности. Но больше 90%-ов твои вымыслы. Знаю, — невольные.

Ангел мой, Ванюша, оставь эти думы. Молю тебя! Для твоего же покоя оставь!

Все думы о тебе. Я же и машинку доставала только для переписки твоего и для тебя! Каждую минутку урывала, чтобы переписать письма, с тем, чтобы их вместе проработать, чтобы не приехать с пустыми руками.

Теперь... ты не хочешь этой встречи.

Сейчас ночь, я вымотана, руки еле слушаются от усталости. Передо мной твое страшное письмо... Ванёчек, я убита им! Убита твоим состоянием. Не для того, чтобы ты обо мне думал лучше, хочу протестовать, — нет, я сама — совсем неважное в этом. Я хочу только для тебя сказать, что ты не прав. Увидь же меня просветленно! Ах, Ваня, Ванечка! Я не могу ничего больше сказать...

Ванюша, радость моя, светик, соколик мой... Солнышко — Ванечка... *Всегда* я ласкова к тебе. Но, радость моя, — часто сил не доставало потопить в нежности все твои обвинения мне, твои неправые укоры. И я, — любя тебя — бунтовала против неправды. Только. Но никогда не от «ветра». Не могу больше. Я в горечи плачу. И бессильна. Обнимаю тебя и молю понять. Твоя Оля

[На полях:] А я-то: спешу с устройством, чтобы вырваться к тебе... Не хочешь; — не приеду...

Всю исцеловала эту мимозу[1], — пусть она перенесет тебе мой привет!

Не хочу касаться моего отношения к своей работе, к «Заветному образу» — не это сейчас меня тревожит. Но скажу — это тоже не так, как пишешь ты. Потом объясню. Главное: — будь ты ясен, тих, покоен. Уничижи меня, уничтожь, если тебе от этого легче. Мне больно, но снесу это. Не снесу же неправды на сердце мое к тебе!!!!

[1] К письму приложен цветок.

16.IV — Не спала, всю ночь проплакала, руки дрожат, я вся измучена. И надо еще собираться.

578

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.IV.47 1 ч. дня

Оля, милая... едва нахожу волю и силы писать тебе. Сегодня твое письмо от 17—20.IV[613]. Эти 3 недели — небывалая подавленность, раз-давленность... и болезнь, тяжелый бронхит с t°, — и я один с ним. Krymm я не зову, стесненный ее нежеланием брать гонорар (хоть, порой, и вынуждал ее принять то-другое из посылки, б[ольше] ценное...). Сам себе помогал, наслепо... Слабость, лежанье... — бессилие воли написать на срочное письмо даже. Все это — итог... в с е г о. Не хочу вспоминать это — в с е. Знаю одно: слишком много не по силам раскидал (часто — впустую) огня-силы, р а с т р а т и л с я. И работа, и прах жизни и повседневья. И — во-имя... ч е г о! Во-имя того, что и не в нашей воле! Излишне страстно принял твои «уклоны», — ты меня вынудила — заряжала твоею чрезмерною (и, теперь, необъяснимою для меня) страстностью в вопросе церковном — дотого, что я уже видел все из м[оих] «Путей Небесных». Завету нашему, всем жертвам России. Уклон к «т у д а», при такой скользкости-шаткости всеобщей, уклон, даже лишенный сознательно политической основы, — уже измена, хула на Св. Святых всего нашего. И вот отсюда-то — и мой страстный отпор. Надо знать... знать то, чему в письмах не место... надо о б о н я т ь!.. — брать безошибочной интуицией. Представь: я последнее все время очень часто не смею с легким сердцем думать о еде, когда т а м, каждую минуту... у х о д я т сотни мучеников! из которых дьяволовой машиной, во-имя зла, вытягивают последнюю кровь!.. Мы потеряли силу воображать, мы слишком заняты собой, мелкой шумихой подлого времени, и все страшное, что и д е т — длится уже 30 лет, лишь безОбразно мелькает поверх сердца нашего, уже не трогая даже его грубой оболочки... То, что мучило л у ч ш и х все эти годы (м у ч и л о, а не волновало только, вызывая на словесный протест!), что жгло меня, что отлилось м о е ю (и многих) болью и тоской во всем написанном мной за эти 25 лет, что ныне особенно остро (?!) жжет меня, — в с е это стало для многих — линяющим, теоретическим, неким поворотом «колеса Истории». Это и в тебе затмилось, и как-то замазалось «патриотизмом»... — вот злой след питанья подлой

советской печатью! Твои «вспышки» дошли до того, что ты почему-то (?!) нашла нужным для меня привести гадкую выдержку из рабьего журнала[614] о приеме чекиста, агента бесовской власти... якобы православными! Какое безумное преломление! Ведь это же — хуже, чем пляска дикаря над трупом жертвы... ху-же! Вглядись же: над чем, над кем (!) канканят, под рукоплесканья!.. — или идиотов, или подлецов.

Как же я могу (не упоминая уже о другом твоем!) спокойно и с прежней волей ответствовать тебе!? ... Но я и не хочу оставить тебя в растерянности и смуте. Я хотел бы сказать тебе, высказаться... — и потому я совсем не уклоняюсь от встречи с тобой.

Ты мне уже не веришь: я у тебя под знак — ? Да, так это. И в вопросе об издании в зонах... — а я оттуда после февральского предложения до сего момента не получил ответа на мое письмо! Письма, явно, теряются. Многие жалуются. Я не получил и ответа от А. Лютера на мое ответное письмо на предложение его (и немецкого издательства) о «Богомолье», а письмо было важное. Пропадают. А ты — уже не пошла за мной, боясь каких-то темных средств! Горько. Опрометчиво-легкодушно. Мои чистые намерения (дать нужное пребывающим в тоске и муке смертным) ты уже заподозрила! То же и с газетой... — какое высокомерие! Ну, читай «заготовку» оттуда. Пи-тай душу ложью, извечной ложью! И — перестраивайся. Тут наймиты рвут и мечут, что газета все же появилась (!), газета, с ясным ликом — антикоммунизма, русская газета, служащая свободе, своя, во-Имя Христово, во-Имя Правды... — а ты и мне не поверила... — «воздержусь». Воздержись. Подкрепляй сатанинское. Так — как же я могу идти об руку с тобой?! ... во-имя... чего?! Нет, этого я не могу.

Прости, но я не могу не сказать. Ты меня до-дергала, требуя твоей рукописи... Я дважды уверялся (?! — непонятная аберрация!), что отправил... — ошибался, в смуте духа моего, в растрате внимания... На твою открытку-exprès, поданную мне в непостижимо заляпанном виде, с 8 штемпелями на тексте, (не нашлось конверта?!) — я чтобы сократить дни твоего мучительно-нетерпеливого ожидания, после бессонных ночей, послал депешу — «рукопись в дороге» и извинение, и... до сего дня я еще не знаю, *получила* ли ты рукопись!! Так ты те-ря-ешь твоим сердцем и твоею «чуткостью» мое душевное состояние! Получила — и успокоилась, а там — плевать! Ты не замечаешь, как всегда, почти во всем, твое «я» и, вообще, «твое»... — замещает все. Ты пишешь ласково, когда это — для тебя так нужно, «по настроению», и тре-

буешь ровности и неизменности от меня, совсем не считаясь, что же со мною-то творится, во мне! Покоен ли я душой, здоров ли я, а... — вынь да положь. Котлы лопаются, а я не котел, а киплю го-ды!.. И я далеко не тот по силам, как был 7 лет тому. Ско-лько всего бы-ло!.. Сколько выношено, выстрадано!.. — со-зда-валось в тоске и муках. Все — мимо.

Я очень считаюсь с тем, что тебе было очень нелегко, не по силам... И я все принимаю в учет. И многого-многого не ставлю в вину тебе. Я писал вполне искренно, что не чувствую «непреоборимого» желания встречи с тобой: да, я учитываю свои силы, у меня нет их на бесплодное растрачивание. Но, повторяю, я и не ставлю преград твоей воле, напротив: во многих отношениях — для тебя! — важно объясниться... — и я иду этому навстречу. Но я уже не т о т. Год, как я мучаюсь этой... зонОй-не-зонОй... экземой-не-экземой... — и последние нервы сдали. А помимо этого — ско-лько было!.. — и неисходная тоска о... т е х... о — вообрази же! — м и л л и о н а х, у кого отнято все!.. в с е!!! — вообрази же!.. — и тогда н а ш е, личное, — пыль. И мы ею (пылью) мучаемся и забавляемся!.. Позор, подлость.

Да, ты слишком — л и ч н а я, «из себя», «чрез себя» — главное в тебе. Кругом, непростительно виноватая, (говорю о доверенных тебе важных, конечно, письмах И. А.) в ы д а в ш а я их, (пусть, против доброй воли!) на риск, послав такое важное с девочкой (!), ты и тут ставишь себя в центре: за все-де «услуги» — ты получишь «подозренье, что прочитала тайну». За-чем т а к? не стыдно тебе?! Ведь одна ты во всем виновата?! ... Ты оправдаешься как-нибудь перед доверителем. Мало ли?.. Немцы м о г л и вскрыть, уничтожить даже... — наше время «force majeur»[i] в ходу. Но перед с о б о й не оправдаешься. А наружно еще обижаемой себя считаешь: за «услуги» — п о д о з р е н и е! Итак — ты уже ж е р т в а. Т а к — во многом у тебя. Что говоришь о монастыре?! ... Сама же чувствуешь, слышишь, что это лишь — с л о в а... так, мысль забеглая и чуть облегчающая. Несбыточное это — з н а е ш ь! Да, я болею, вот, уже 3 недели я не выхожу. Большую часть дня лежу. И почти не ем: никакой охоты. Т а м н е е д я т... во всей России — гложут что-то. А за проволоками — миллионы... «себя едят», отдавая последние силы... на... ч т о?! ... Сами же «плантаторы» вывели коэффициент средней продолжительности т а к о г о режима «кровогонного»: в о с е м ь месяцев. Так вот и прикинь: если ограничиться лишь 10 мил-

---

[i] «Непреодолимые обстоятельства» (*фр.*).

лионами заточников, из которых точат кровь, (а называют 12 и 15 миллионов — но кто может знать? Россия покрыта вся, как сыпью этими «abattoires humaines»[i]) то каждый день выкидываются на «утилизацию» — 42 000 душ (трупов) обоего пола, с детьми, каждый час — 1750, каждую минуту — 29 человеческих жизней!.. И вот, за время моего письма к тебе (час-полтора) — 2625. За время твоего обеда 1/2 — почти 1000. Помни это. Я — помню. И, м. б. потому я не хочу есть. Ты прочти не умом, а сердцем: как, в каких условиях это *происходит*! И вот, когда твое воображение даст тебе пусть тусклый отпечаток, ты ужаснешься... и, взяв это меркой, увидишь, пристойно ли (?!) посылать выписки, в которых описывается как облеченный полным доверием бесовской все-убивающей машины, коммунист-К. (а ты — имя и отчество выводишь!), «защищающий» Церковь от неправды [местной] власти, встречается православными!.. И мне — выстукиваешь... для чего?! ... не ужас это?! ... Свое горе я не включаю, поверь: я его принял, и похоронил — в себе, в глубине духа. Я живу всем. И могу — воображать, исходя из познанного лично, из доходящего. И не дивись, не ужасайся, что тайна исповеди — предана. То ли еще предано и осквернено?! ...

Я болен. Я сверх-сил устал, истомлен. Чтение... да, допластало. Последнее мое чтение. Я — переработал — и переработался. И потому недуг одолел меня, до кровоплевания в течение 4—5 дней. Ночью, сам себя леча, я ставил себе горчичники на спину, как попало. Грудь была как под кирпичом, я дышал верхушками, как заваленный глыбой. Я не мог молиться. Я не был в церкви. Я не видал Св. Дня. Меня навещали — и истомляли. У меня не было и красного яичка... до 11 часов ночи на Пасху, когда неожиданно приехала Юля с мужем и привезла, по малости, на всех. Не остался один... А. Н. Меркулов заболел гриппом с тяжелым бронхитом, со 2-го дня Пасхи не выходит. t° я не измерял, раз утром увидал 38-5... и бросил. Было — все равно. Писем никому не писал — не было сил, да и не кчему, все равно. Так все мало перед — Там, перед тайной, и перед там, нашим больным. О себе довольно.

Теперь — о твоем текущем. О «старушке» ровно ничего не понял. И причем она в соединении с твоими родными?! ... Пиши, рисуй. Живи как-то, все же... Не опускайся до... уносимой пыли... Живи сердцем, в тебе много доброго, светлого, в дивных порывах, но ты эти порывы дли, в жизнь включай линией, не точкой. Искусство — подлинно живит, как

[i] «Человеческие бойни» (*фр.*).

Вера: оно — сестра ее, от единого Истока. И благо тебе, что ты, бесспорно, имеешь свою (и, м. б. немалую!) часть в нем. Им и сердцем освящай жизнь неуютную твою. Да, она неуютная. И я болею тобой, верь. Не слова это. Ты знаешь, что я ценю в тебе, за что я полюбил тебя, Оля. Я, — думаю — все в твоем понимаю — и не смею винить тебя за твои неровности. В тебе много — от сердца. И если я вскипал и бурно кричал, — от боли это, от незалады всего, и личного нашего, и — вне нас.

Да, я устал, чрезмерно. И не нахожу нежности и полета чувств. Не ты потускнела, а... во мне — стемнело. И это так понятно. К[сении] Л[ьвовны], м. б. и нет в Париже. Она меня не приветствовала. Я ее не вижу с Рождества. Не в Америке ли?.. Странно: не ответила тебе. Юля пеняла (между прочим, вскользь), что так и не получила от тебя ответа на какое-то письмо...

Да, напиши Елизавете Семеновне — о стоимости доктора и лекарства. Зачем же пропадать твоей трате?! Она достаточно богата, если может вторично пребывать (на протяжении года) на Côte d'Azure![i] по 1 кл., с сыном (один конец на одно лицо 3 тыс. франков!). Ответь ей на ее благодарственное письмо и сообщи, между прочим, (ты сумеешь), что визит стоит 10 гульденов, лекарство — 1—1,5-2 = 12 гульденов по курсу (43 фр.?) — 500 с чем-то. Пусть передаст, для тебя, мне. Я сохраню, как твои 120 франков за картинку Мадонны, как 600 франков оставленные тобой мне, как твои две белые бумажки. Тогда составится, помимо двух бумажек, — 1200—1300 франков. Нельзя, чтобы пропало. Торговец[615] «vita»[ii] отлично получает с меня за масло, по 750 кило. А ее заботы обо мне я в свое время посильно и тактично искренно возмещал, в преизбытке. Правда, она очень была заботлива. Но ко всему привыкают, «приглядываются»... и, очевидно, я для этих «приглядевшихся» — уже не Иван Шмелев, не писатель, а рядовой обыватель, которого можно и забывать. Это так «по-людски», почти естественно. Но я не пеняю: я много видел — и еще вижу — внимания. Только я чуть повыше сего, в духе. Я — писатель — не для NN, а для родного. И теперь иногда очень чувствую, как оно слышит мое (данное от Господа и Родины, от крови и духа) — и порой — осветит и пригреет. Господь с тобой, родная, ты не изменишься к Ване, ты его держишь в сердце, лучшее от него. Когда устроишься —

---

[i] Лазурный берег (*фр.*).

[ii] «Жизнь» (*лат.*).

приедешь и мы найдем в себе сердце и глаза — почувствовать и увидеть лучшее в нас. Целую нежно и крещу. Твой В.

NB: Получена ли тобой твоя рукопись «Заветного образа»? Я не знаю до сих пор.

579

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IV.47

Мой дорогой Ванечка,

на твое последнее письмо скажу только, что я свыше меры огорчена. Да тебе и говорить не нужно было, что ласки ты не находишь в своем сердце для меня теперь. Я и сама это слишком ясно чувствую. И моя ласка к тебе разбивается о каменную стену. Но не ропот и не укоры во мне, а одна неутолимая тревога. Тревога сверх меры за тебя, только о тебе. Ты болен, и ни одной строкой не обмолвился, что хоть малое улучшение болезни предвидишь. Я измотана, издергана, не жалею физических сил, да и душевные, меня чуть-чуть не покинули уже. Но это все неважно в сравнении с беспокойством о тебе. И сознание, что я не могу поехать, — убивает меня еще больше.

Не из обиды, а в силу правды скажу, что твои утверждения моей вины перед И. А. — несостоятельны: на почте, — *кто* бы ни сдавал пакет, — **обязаны** искать девизы, для этого *все* посылки и письма закрытые вскрываются. Для сдачи писем есть только очень ограниченное время. Этим и объясняется то, что при спешке отсылки, я посылаю тебе открытки, — а вовсе не тем, что «конверта не нашлось».

Для ходьбы на почту мне понадобилось бы 40 минут, а девочке на велосипеде — 10. Да кроме этого, мне доктор не велел много ходить, а на велосипеде давно запрещено. Я и то, — иной раз под дождем, — бегала. Но теперь, когда я перегружена, я просто не имею физической возможности идти эту даль, мокнуть (почти всегда), да еще от 2—3 часов, когда надо обед готовить и подавать. Тилли — надежнейшая девица, которой я все поручаю. Она сверх-честна. Ты можешь ее голодную посадить около вкусных вещей, и она не тронет пальцем без спроса. Почтарь у меня тоже все пересматривает. И. А. сам просил меня отправить «как старые письма». *Все* письма просматриваются. А посылки должны быть описаны подробно в 5-ти формулярах и снабжены специальным разрешением министерства.

Мне нечего «выкручиваться» перед И. А. — никакие немцы его писем не вскрывали, а сделала это почта по обязательному предписанию. Что я тут могла сделать. Мое сомнение я высказала на основании его подозрительности, коей подтверждения суть очень многи. Но Бог с ним. Я не хочу и не могу пререкаться. Кстати, он до сих пор не сообщил ничего о получении этих писем.

Ванюша, я же тебе телеграммой послала благодарность за высылку рассказа, а ты пишешь, что я не обмолвилась. Что тут опять произошло? Бросим все эти мелочи. У меня на них нет ни сил, ни охоты. Если ты так не хочешь, чтобы я приехала, то этого и не будет. Но я страшно волнуюсь о тебе. Не нахожу покоя.

С переездом гибель всяких хлопот, — не хочу все описывать. Интриг еще больше, а в будущем, наверное, будет еще больше.

Я держусь нервами и завинчиваю их на все винты и винтики, чтобы не рухнуть. Если бы хоть одно твое доброе словечко! Насколько больше было бы у меня тогда силы душевной.

Вся я усталая и истомленная тычусь в стену со всеми моими слезами сердца...

Я знаю, что ты устал. Тебе как будто и не нужна моя ласка. М. б. и мешает даже.

То в Вурдене, то в Схалквейке — я не имею уже «дома». Все собрано, частью увезено, частью паковать еще надо. Измотавшись в Вурдене, я еду (часы еще) в Shalkwijk, чтобы паковать там. Все заняты до отказа. А мама не совсем здорова. В Woerden'е — дом забит, и его надо было разгружать, но главное — «выбрасывать» нахала — Kees'а. Он, по-моему, нарочно тянет и все еще* сидит там, занимая барахлом дом. До сих пор еще дележ не кончен, чем страшно осложняется устройство. Всего не описать. Старушку используют для «теплого местечка», чтобы было куда приезжать, минуя меня — хозяйку, т. е. демонстрировать. Но я это пресеку в корне. Курицу уже посадила, — сидит! Новую прислугу нарочно не беру, пока не осядем сами, чтобы ее не окрутили сплетни, да и не гоже ей видеть, что я сама «ломлю» работу. С ней я начну, как истая барыня. Тилли трогательна очень. И вообще старый персонал. Для меня они все делают беспрекословно и с охотой. Кончаю, родной мой. Я очень страдаю о тебе.

---

* Остается до завтра и м. б. и больше! Что это будет!? Всюду его барахло и собачонка, а порой и — «шлюха» его, отвратная девка приезжает, не спрашивая нас и ночует!! А мне рассказывает кухарка.

[На полях:] Сбилось все во мне, не знаю, как дойти до твоего сердца. Молюсь о тебе. Целую. Оля

Ах, если бы ты снова стал тих и нежен! Ванечка!

580

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.IV.47

Дорогой мой, сердечный друг, спасибо за доброе письмо[616]. Я получила его, и сразу стало легче! Слава Богу, что Вам лучше, — надо только очень беречься. Погода все еще слишком неустойчива и обманчива. У нас страшнейший неуют и разгром, — а я завертелась, но на душе стало легче после В. дорогого письмеца, и все стало делаться тоже легче. Сегодня почти не спала: приснилось, что Сережа попал под автомобиль, и ему оторвало ногу. Так все ясно и до отчаяния страшно, что проснулась, дрожа, и не могла заснуть. Не выходит сон из головы, и я молю С. быть осторожней. М. б. и глупо, но уж очень ярко все видела. Эти дни не смогу, вероятно, писать. Переезд в пятницу окончательный. Адрес уже: Woerden. «Batenstein».

Крещу В. дорогого. Помолитесь обо мне. О.

Это место было затоплено совершенно[i]. Это Veere на Walcheren знаменитом. Очень типично для Голландии.

Пишу открытку, чтобы скорее сообщить, что получила письмо.

581

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.V.47

Woerden, (Вурден)

Дорогой мой, солнышко мое ясное. Ванюшечка родной!

Вот и в Вурдене я. Мы переехали в пятницу вечером в дожде, холоде и ветре. Вчера и сегодня... чудесно. И несмотря на разгром, я в таком состоянии, что не могу удержаться, бросила все и пишу тебе. Вся я полна мыслью о тебе! Чудесно тут! Рай, Ванечка, Господня благодать. Все в цвету, море белых цветочков. Туманец какой-то, до томления душевного красиво. И... будто все праздник, праздник... Разгром и не-

---

[i] Письмо написано на открытке с видом голландской бухты.

уют, и вещи куда-то все запропастились, и «дева» моя (дЕвчища — «ступа») новая, которой все толковать еще нужно, устали до отказа, а Арнольд в злейшем бронхите с жаром, но все равно — на душе радостно и празднично. Мамочка довольна, все говорит: «Господи, благодарю Тебя, что дал такой красотой насладиться!»

Я никогда не бывала в имении этом в эту пору, — только при погребении старика, — и тогда ничего не видали мои глаза.

Wickenburgh пасует, хоть тоже очень красив. Тут все шире, больше, просторней. Жилье, правда, тесно, но я этого не ощущаю. Я все устрою. Будет хорошо. Мой «домик» — «хатка» — почти отремонтирован, — я только что была там. Я устрою его по-своему. Дам свою, нашу родную сферу. Мечтаю. И все время мечтаю: «ах, если бы тут был Ваня!» Как отдохнул бы ты на такой природе! Никого, ни души кругом. А птиц сколько! И рыб в пруду! Пруд роскошный! Прямо перед домом. Ивы, будто большие кокетки, так и изогнулись, чуть не в лежку над водой смотрятся в зеркальную гладь и не наглядятся... А сами-то они... сквозят нежнейшим зеленым пухом! В газоне, перед прудом группы моих уже (мной с Сережей посаженных тюльпанов). Клумба цветов моих же. Розы завьют стену дома. А грачи... ну, совершенно как у нас в слободке, в России, около Судиславля, — гомозятся в бесчисленных гнездах и орут-орут. Люблю их! В воскресенье журавли тянулись с юга на север, — плавно, мерно, треугольничком за своим вожаком, — курлыкая...

Сегодня совсем лето. Цветут и рододендроны. И я вспоминаю Версаль, как я под дождем намокшая, мчалась к тебе с лиловыми рододендронами... Я так хочу тебя увидеть! Неужели же когда-нибудь я все, наконец, устроив, вырвусь! Очень жду! Первушина не ответила и на мое (4ое) заказное письмо, где я ее спрашивала, что с ней и что если она не хочет писать мне, то пусть лучше прямо скажет. Писала от сердца, очень ласково и дружески. Не понимаю. Я не остановлюсь у нее при таких условиях. Фася с мужем и сестрой, с зятем были в Каннах и только что вернулись, прожив там все ресурсы. Мне это очень не на руку, т. к. я надеялась на парижскую фирму Толена. Теперь он ее сам «исчерпал». Но я постараюсь найти иные пути. И тогда, имея что-нибудь в руках, хочу просить M-me Бернацкую взять меня платной жилицей. Она совсем рядом с тобой и очень милая. Hôtel, по словам Толенов, — сожрет все за 1—2 недели.

Ну, увидим. Здесь полное безобразие: из банка (например, маме) отказались вообще что-либо выдавать из блокированных денег, и предлагают: «продать что-либо из бумаг на

жизненные нужды». Сережа опротестовывает (это его деньги, на маму переведенные), но не знаю, что выйдет. Это со всеми так проделывают, принуждая тем людей продавать правительству бумаги. Полный грабеж. Вообще много безобразий. Правительство не имеет никакой популярности, ни у левых, ни у правых, ни у средних. Королевский дом сильно упал в глазах народа и отчаянно подлизывается к расхамевшему плебсу, а последний забирает все постепенно в свои лапы. То и дело «раскрытия» делишек вплоть до министров. Коррупция сильнейшая, и всюду. А дух-то страны совсем выветрили, никакой души, — одни «центы». Чем только и кончится этот жуткий материализм!? Ну, да Бог с ними!

У меня руки чешутся и писать (уже больно смешные сценки вижу!) и малевать. А вот... извольте-ка, О. А., в рухляди разбираться.

Ты знаешь, я за этот срок массу «нутра» всякого видала. Прощанье с Shalkwijk'ом и... тыканье «мордой об стол» моих свойственников. Последнее имело хорошие результаты, кажется, хама поставила на подобающее место. А первое — очень было ценно и трогательно.

Никогда не ожидала таких проводов. Работник наш, — молодой, веселый, открытый и радостный всегда малый, — плакал как ребенок, прощаясь. Его жена, случайно ехавшая в автобусе с нами, — не могла ни слова вымолвить от слез. Но Тилли, моя маленькая девчушка — «мышка» Тилли рыдала совершенно неутешно у меня на груди, и также потом у мамы, и целуя меня куда попало. Арнольд ехал с ней еще в Shalkwijk (она поехала с нами в Woerden, чтобы помочь; а Арнольд возвращался докончить дела в Shalkwijk'e) и говорил, что и в поезде, и в автобусе, всю дорогу она не могла унять слез-«градом». Плакала и мать ее при прощании. Тилли, желая угодить мне, раздобыла где-то вина французского (у нас его нет, никакого), трогательно, как эта девочка, незнающая ровно никакого толка в винах, ходила и спрашивала: «только, пожалуйста, не кислого». Т. к. слышала, как я обмолвилась: «Ну и Вурден, кроме кислого вина, ничего и достать в магазинах винных нельзя». Заплатила за бутылку первоклассного вина все свое жалованье недельное и сияла, когда сказали ей, что «в к у с н о». Конечно, я отплатила ей материально с избытком, но неоплатное во всем этом никогда не забуду. Была она у меня почти 5 лет. Жаль мне ее. Новая совсем другая. Тилли, беднейшая из всей деревни, была очень богата сердцем, честностью и чистотой. Так и вижу ее фигурку с огромным букетом нарциссов (в обеих лапках, т. к. одной ручонкой ей не охватить

бывает — маленькая лапка) бегущей через мосточек, умывающейся слезами... Но, довольно. Она будет счастлива. Знаю, чую.

Ванечка, солнышко родное, как тоскливо без весточки от тебя, но на сердце светло, будто ты близко, как тогда в Wickenburgh'е. И потом... я верю, что скоро тебя увижу! Ах, как много света, ласки, тепла у меня к тебе. Я все время о тебе думаю. Много думаю. Хорошо думаю. Нежно-нежно.

Ты здоров, Ванюша? Хочется думать, что ты бодр и радостен! Милый, хороший, дорогой мой Ванюша!

Обнимаю тебя сквозь белый душистый туманец цветущий дали... Оля

Напиши же мне, и поскорее!

582

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.V.47 8 вечера

Здравствуй, дорогая Олюша, с новосельем. Хорошо, что по душе. Только не нагружай себя «дачниками», — чу-ма! Опять попадьи и проч. Почему не взяла обученную Тилли?.. Очевидно, — никак нельзя? Надо было как-то через «нельзя». Огради свою свободу, помимо отказа от «гостящих»: не по силам тебе, подумай. Всегда можно найти причины для отказа. Иначе — сказка про бычка.

Отлично изобразила «Батенштейн»... э-эх, по-жил бы в таком привольи!.. В полной тиши, ду-мать... сидеть на бережку, с удочкой... д ы ш а т ь!.. Ско-лько бы написалось!.. надумалось-набежало!.. Да что уж... «буались»... Какая же рыбка в пруду? караси, лини, карпы?.. лещики?.. Как люблю карасий клев!.. Хорошо в мае ловятся! И хороши — в сметане!.. Бывало, зори встречал, т р е п е т а л... и сейчас слышу, как в с е пахнет: воздух, вода, черемуха... черный хлеб, смятый с толченой поджаренной коноплей... — и вот, чуть тронуло, и... пове--ло-о-о-о... — и серебрится или золотится «лапоток»... — и — так отдачливо идет, так «покорно-кротко»! Полетел бы, кажется... Серебристый карась лучше идет на «мотыля», красные червяки-мелочь, находят их в иле, промывая на решете. И — на навозного червя. А золотой любит — «на-хлеб». Поплавок — легкий, «перо». У меня есть рассказ — «Как я встречался с Чеховым»[617]. Так там — три очерка в рассказе — есть — 1-й «За карасями». С Чеховым ловили! — мальчишки — Тоник и Женька! В пруду Мещанского училища.

Где брат молодого А[нтона] П[авловича] — только начинал писать! — был надзирателем, И[ван] П[авлович]. Там-то и свели знакомство. Не читала? Нежный рассказ... Из этой «встречи» у Чехова — потом! — родился прелестный рассказик — «Монтигомо, Ястребиный коготь»[618]. Это — о т нас.

Надо покоряться... или — говорил татарин в Крыму: «тяни твои ножки, пока твой одеял длинен будет». Тяну...

Со мной все то же. Зу-дит... — терпенья нет. Все — 10 порошков принял. Зеро. На днях иду к гомеопату княжны. Лечусь и сам... — зеро. Бронхит прошел. Пишу... Газета нравится, начинает и д т и и — ре-зать п р о д а ю щ и х с я. Но... мало «объявлений», боятся. Тон — ч и с т ы й, верный. Без «крика» и вызова. О Церкви — ровно. П р а в о с л а в н о. Ну, да тебе это — чуждое. Отвернулась.

Наконец, получил отчет издательства: за 6 месяцев, по 31 декабря — продано около 5 тысяч — полтиража. Покрыт аванс — 30 тысяч и следует еще около 20 тысяч. Это меня подвеселило. С Испании получу 80 ф. ст. С Италии — около. С какой-то еще — то же. А может быть несколько больше. Переговоры с американцами и англичанами. В октябре — выйдет «История любовная» — даст толчок больший.

На очереди забота — издание «Куликова поля», русское. Думаю, что сладится. Пока — молчу. И с «Чашей», — пока молчу.

Хорошо, если сможешь дать хотя бы обложку на «Куликово поле». Нет — ответь, скорей. «Куликово поле» подвергнуто было 9-ой выправке и переписке. Я терпелив сугубо. Л у ч ш е дать — уже н е могу. Дано — в с е. З н а ю: пой-дет! Это мое — заветное, — дать утешение душам... Помоги, Господи!

Ксения Львовна — ду-маю! — в Америке..? Иначе — необъяснимо. Запрашивать не хочу, не к лицу. Если хочешь — справлюсь в отеле. Не думаю, чтобы было чрезмерно. Только комната... На это у тебя должно хватить. Есть же у меня — твое. Смущаться... т а к и м..! Ну, тебе видней. Я рад тебя видеть. Верь.

Были дни, когда... не хотелось д л и т ь дни... Спасала работа, и — болезнь. Которую давил работой. Я весь — и всегда! — р а б о т н и к. И, может быть потому след и останется... Жду выхода «Лета Господня» — в октябре — в с е г о. В Мюнхен написал — нет, так как в а ж н е й, чтобы здесь издалось «Богомолье», ш и р е. А теперь, если газета удержится, покупатель будет широко оповещен. И — для Америки. Может быть «Солнце мертвых» — будет издано в Испании и Италии. Другие времена... Когда-то купили и — н е издали. Ну, снова купят... — другие — и — издадут.

Очень я устал. О-чень. Ото в с е г о. Узнал очень особливый «случай» — живую правду: и из нее дал рассказик — «Ясновидец»[619]. Это — даст силы терпеть. Будущее наше — в о т оно, «уже при дверех». Поразительно... И еще — о преп. Серафиме...[620] — о потрясающем ч у д е — русской души! Случай, поразивший коммунистку-безбожницу. Старик, му-жик... потряс выхолощенную душу!.. О, красота какая! Напишу... И еще — «На высоте и в низинке»[621] — по поводу картины Нестерова, почти неведомой... И — мно-го есть... это мой хлеб ж и з н и. Но как устал я. Господь с тобой, родная. Я тебя люблю, я в тебя верю. Я хочу, чтобы ты нашла себя. Чтобы ты провидела п р а в д у и смысл Жизни. Не в «круженьи» это... Не в суете. И не — в... исступлениях. Я рад, что может быть теперь ты лучше будешь себя в и д е т ь: всегда Божья Красота!.. не «буалё». Я не могу ездить... в Сен Реми... — утомляет. Не был с осени. И на могилке не был...

Целую.

Твой Ваня

583

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.V.47

Мой дорогой молчальник-Ванечка,

что же забыл ты меня?! Грустно мне от этого и обидно. Забыл? Переезд измотал меня чрезмерно, а также и все связанное с ним и всяческие интриги. Местечко это — истинное осиное гнездо, городишка каплюсенный с такими же и душонками. Я попытаюсь взять быка за рога. Хамства и хулиганства не оберешься. Я ввожу свои меры. Запретила шлянье по парку каких-то типов, поставлю запрещания у входов, и надо завести цепных собак. Шлянье тут, как на гуляньи, а во время фруктов пойдет и воровство. Меня раздражает и нервит это гульбище само по себе. Но главное — моя «хатка». Она еще не устроена. Вчера были с визитом семья моего зубного врача (те, что для Жуковича старались), увидали мой автопортрет и пришли в дикий восторг, требовали показать и больше. От иллюстраций пришли тоже в восхищение и спросили, когда эта книга и какая это книга — выйдет, чтобы ее приобрести. Я сказала, что благодаря этим неудавшимся иллюстрациям, я бросила все мое малеванье, и тут поднялся страшный шум. Thea, моя приятельница (очень экспансивная, живая толстуха, совсем не голландка) хлопнула по листам руками

и заявила: «вот что, моя милая, коли так, так отдай их мне, или продай, — я их в рамках повешу». Она же требует и мою последнюю работу с веткой орешника (ольхи ли). Среди них была одна дамочка, которую я часто у них встречала, — она массу спрашивала меня, говорила всего, как не профан в живописи. Хвалила мои акварели и тона их.

Оказалось в конце разговора — знакомая Люси, и тоже художница. Так закружили меня, затормошили (их 5-ро было), что я не знала, как отбояриться от похвал. Особенно понравились им мой 2-ой эскиз к ярмарке и ношение иконы. Послезавтра приглашена в театр ими, чтобы «еще больше зарядиться». Я тронута. Сегодня утром письмо от Жуковичей — у него потрясающий успех. Пел в концертном масштабе «Бориса Годунова». Статья в газете на полстраницы о «той чести, которую оказал Гронинговскому оркестру и хору такой великий артист, как Жукович, согласясь выступать с ними». Интервью и т. п. гонятся и ловят его повсюду. Газеты звонят... Но никто не знает, что этот знаменитый артист не имел гроша на проезд в тот же Гронинген, и только благодаря одной милой русской (сестра Фаси) смог прожить там 5 дней, иначе бы ему пришлось голодать, т. к. ни на Hôtel'и, ни на рестораны нет у него. Ему дали разрешение на жительство, и он сможет уехать петь в любую страну. Они хотели тотчас же к нам заехать в Woerden, чтобы поделиться радостью (наконец!), но поезд не остановился в Woerden'е, и они проехали домой в Гаагу. Интересно то, как теперь вдруг все стали перед ним пресмыкаться, все те, кто недавно буквально на него плевал. Вера Ипполитовна удивительная жена, вся жертва для него. Как они счастливы — сказать трудно. Он — на редкость верующий человек, как он проникновенно говорил: «доколе, Господи? — но Ты веси...»

Слава Богу, что удалось им. Теперь и хлопоты И. А. могут иметь успех, т. к. он может получить визу. Но все это, само по себе радостное, — не обрадовало меня сегодня, — я искала другого письма... Твоего. А его все нет и нет. Я не стала любить Woerden, — почему тут ни одного привета от Вани?! Мне очень грустно... А я так много думаю о тебе. Я собственно все время с тобой. Разве ты этого не чувствуешь? Природа тут дивная. Птиц тьма, все в цвету, в аромате. Я вспоминаю Wickenburgh и нашу «первую любовь». Помнишь? Я и теперь еще не постарела. Только как-то иначе я живу. Мне все больше хочется уйти и затвориться. И искать главного, не от сего мира. Это не «под настроение». Глубже. Но это невозможно, а потому я постараюсь отойти иначе от всего мутящего и трудного. Постараюсь уйти в искусство. И все же меня больше томит желание писать.

Хоть в живописи я больше «дома». Ах, да, дня 2 тому письмо от Ксении Львовны[622] — она, как я и думала, запуталась в проблеме выбора между Америкой и Парижем, выражаясь не совсем точно. Так могу понять из всего. Мила, хороша, сердечна ко мне. Но к ней я не поеду. У нее дочь с мужем и еще одна дама.

И Бог знает, когда я соберусь. Надо еще делать маленькую операцию мне, отложенную с прошлого года. Придется все же полежать, наверное. Не хочу дольше откладывать. Хотя мой доктор о сем не напоминает, — он на несколько дней в отдыхе. Совершенно невероятные делает операции с легкими. Я не видала его вечность, кажется.

Ах, как много у меня идей для иллюстраций! Только бы покой и время. Какой бы покой и время. Какой я ЛИК видела (с закрытыми глазами!). И знаю, как надо сказать о Нем в «Заветном образе». Все переиначу. И будет лучше. Я непременно постараюсь иллюстрировать свое. Почему же нет? Ты недоволен моим, но это не мешает мне иллюстрировать свое. Я просто переложу на бумагу то, что вижу. То же самое о чем и писать буду. С интересом прочла статью Зеелера о Бенуа. Так меня потянуло повидать его работы. Твою газету я достала. Ты ничего о ней мне не написал. В пасхальном N-ре (я слышала от других) была твоя статья...[623] Почему у меня ее не было?! Ванюша, не серчай. Оля, право же, тебя не «посрамила». Мне больно писать тебе в пустоту как будто, — ты не отвечаешь мне ни на что... Голубочек Ванечка, солнышко ясное, радость моя, откликнись мне.

Милый Ваня, зачем сердиться, огорчать друг друга, зачем портить такую прекрасную и такую короткую жизнь? Жизнь жутка, но и прекрасна. Уже одним только созданием Божьим. И разве не чудо каждая былинка, каждая сережечка на травке-тимофеевке и все, что Премудростью сотворил еси Ты Господи! Надо что-то еще понять и усвоить... как-то по-детски принять в себя... И потому ищу покоя, уединения... Хочу собраться и понять г л а в н о е. И как нас отвлекает суета!

Обнимаю тебя, Ванюшечка. Оля

584

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.V.47

Дорогой Ванюша,

Ты не хочешь писать мне. Я теперь это знаю. Вся моя устремленность к тебе разбивается о каменную стену, стену

твоей холодности. И, — кто знает, — быть может тебе и мои письма уже не нужны, лишни и неприятны. В таком случае мне лучше тоже прекратить о себе напоминать. Я не сделала никакого преступления, чтобы так казнить меня...

Буду ждать от тебя ответа на это и не напишу до получения его.

При данных условиях мне трудно писать о себе — я не знаю, интересно ли тебе это. Все мое время уходит на устройство и улаживание всяческих дел. Кажется, удастся получить для «хатки» и электричество, и газ для отопления. Удачно попала на того, кто это может сделать. Жаль, что все мои бумаги и книги в ящиках и не могут быть извлечены до устройства «хатки», т. к. еще нет той мебели, куда бы можно было все убрать. До страдания хочу рисовать — тем и «моделей» — сколько хочешь. И — все уходит. Уже многое отцвело, ушло. Дивная пора предвесенья уже давно минула, а сколько было бы этюдов. Парижский скульптор (которого ты обезьяной звал) спрашивает Ксению Львовну всякий раз при встрече обо мне (по ее письму) и «охает, находя, что надо такому “таланту” развитие и работа». Я знаю, что, если не уйду от всякого искусства, — то никогда не [с]могу забыть живопись. И даже, если брошу, как это было почти уже в ноябре, — то тем более буду мучиться всю жизнь. Это мое иго в жизни. Неужели нельзя совместить и слово, и живопись. Для меня было бы мукой оставить живопись, пребывая в сфере искусства. Вчера была на изумительном французском фильме, шедшем 3 1/2 часа. Околдована и заряжена. Как могуче искусство... пусть даже экрана. Писала ли я тебе о «каменном цветке»? Несколько недель тому назад я видела этот необычайный фильм. Недаром ему дана 1-ая премия[624]. Какая красота, художественность, фантазия и поэзия. Никакой тенденции или пропаганды. Герой — это второй Илья Шаронов, только без его драмы. Но такой же самородок-художник. Чудесно. Все в красках, но каких! И как целомудренно! Ничего от «плоти». Я была в восторге. Целый ряд снимков — художественные картины.

Какой талантливый наш народ! Есть сцены бытовые: сговор, благословение жениха и невесты, хороводы и т. д. Чего стоили сват и сваха!!

Сват с полотенцем через плечо... А образа... И молятся широким размашистым крестом, в пояс кланяясь, доставая пальцами пола. Я плакала, видя все это.

Вчерашний фильм — другое... Но какое же тоже совершенство. Какая жизнь! Меня утащила Thea с собой, смотря во 2-ой раз.

Сегодня посвежело... а то была летняя жара. Вчера до удушья, нестерпимо знойно было. К счастью, смогла, наконец, перевести деньги для «Павуа», — как раз вчера утром пришло разрешение. Имей это в виду и не считай, что я должница «Павуа». Меня это очень тяготило, особенно после того, как мне недавно отказано было в этом переводе.

Елизавете Семеновне я тоже написала, сообщив ей, что дело идет о 11 гульденах, и прося ее к Троице «сосчитаться» при посредничестве тебя, так, как мне всего приятней. Ты увидишь.

Я искала путей к источникам моего пребывания в Париже. М. б. и нашла бы, но, думая, что тебе меня и моего присутствия не надо, — склоняюсь думать, что ничего больше предпринимать не стоит. Напиши, пожалуйста, что мне делать? Если тебе мой приезд кажется ненужным, раздражающим и лишним, то я, конечно, не поеду.

Ксения Львовна могла бы быть у меня в августе. Посмотрим.

Я очень волнуюсь за твое здоровье. У меня почти что не хватает на все это нервов. Не могу спокойно отдаться всем «нужным» мыслям и переживаниям для моей работы. Разумею искусство.

Сию секунду был визит... отложилось письмо. Все в одной комнате. Тут работать немыслимо. Надо скорей убирать мою «хатку». Вчера хлопотала о проводке туда же телефона. Но сие почти безнадежно, — нет материалов. Ваня, если ты видишь Вигена, то спроси его, пожалуйста, (и попроси) как дело с Шитовым? Если он ничего не может сделать, то пусть хоть вышлет обратно его документы. Этот молодой человек с матерью, находятся в крайне тяжелом состоянии. Они просто гибнут. Шитов выслал для Вигена оригиналы своих документов, надеясь на его помощь, но вот месяцы идут, а от Вигена ни слуху, ни духу. Хоть бы Ш[итов] где в другом месте пробовал свою судьбу, а без документов все остановилось. Если В[иген] и в хмелю своего счастья, то все же нехорошо пренебрегать человеческой душой в беде. Попроси его, когда он у тебя будет. У нас сердце кровью обливается при чтении его отчаянных писем.

На днях удалось мне купить нужное для живописи, — мечтаю скорее начать.

Но все же, сразу же после устройства придется заняться еще сперва собой... надо маленькую операцию сделать и полежать придется.

Моя «дева», надеюсь, привыкнет и «обломается», чтобы заменить меня в кухне. Но еще не знаю, когда Dr. K[linkenbergh]

будет свободен, — он несколько дней в отпуску. Безумно переутомлен своими неслыханными операциями в области легких. Мне даже его стыдно беспокоить, но так не хочется иметь дело с другим хирургом, зная этого. Он обещал заехать ко мне и посмотреть «хатку», очень радуясь, что, наконец, я смогу иметь для работы свой угол, свою сферу.

Сегодня высиживаются цыплята, — 2 уже есть. А завтра хотели прислать 25 из инкубатора, а я мечтаю их «подсыпать» к клушке. А то много с ними забот без матки.

Кончаю... И с горьким чувством кончаю. Как бы хотелось с тобой поговорить по душе. А ты молчишь.

Ну, твое дело. Итак, я жду твоего ответа...

Обнимаю. Оля

Очень важное: для разного рода разрешений (отопление газом, телефон, электричество и т. д.) очень важно мне доказать, что мне необходимо иметь помещение для занятий. Я сказала, что работаю по переводу книг и иллюстраций их, что получила поручение от автора. На это мне было сказано, что очень помогло бы, если бы на это было заверение от лиц, давших мне это поручение. М. б. ты сможешь мне в этом помочь? Если я и моя работа тебе не безразличны, то напиши, пожалуйста (по-французски), что я занята переводом и иллюстрацией твоих книг. Буду очень благодарна тебе за это. Это будет значить, что я смогу работать в тепле и зимой. Прости за беспокойство!

585

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.V.47

Дорогой мой Ванечка,

Сегодня твое краткое, вне сердца письмо. Спасибо и за него, т. к. хоть прекратил им мое чувство какого-то неосязания тебя. Но все же мне больно.

Т. к. ты написал, то я решаюсь сделать вывод, что не совсем еще тебе безразлично, наладится ли моя творческая жизнь или нет.

И потому надоедаю тебе просьбой: не напишешь ли ты (по-французски), что я должна некоторые из твоих произведений переводить, а иные иллюстрировать. Больше ничего. Остальное я сама сделаю.

Это мне важно для получения электричества, газа, м. б. телефона в «хатку». Без всего этого, — особенно двух первых

удобств, мне невозможно там пребывать. А без «хатки» я не смогу работать.

«Шефа» городского управления мне удалось «скрутить» и взять за рога. На другой же день после его визита и разговора со мной были присланы мастера и обещано «содействие». Но это касается проводки, а не окончательного включения меня в сеть. Буду тебе очень благодарна за эту бумажку. Ей ты мне существенно помог бы. Конечно, еще лучше было бы заверение от издателя, но его у меня нет. М. б. смогу склонить De Gelder'a, — того, что с И. А. в переписке. Но он слишком мало меня знает. Прошу тебя и «технически» помочь мне «встать на ноги»! Извини за беспокойство, но только глупые трудности заставляют меня тебя тревожить.

Я писала уже, что Ксения Львовна откликнулась. И Ната, сегодня. Гостей к себе называть не собираюсь. Откуда ты это взял? Тилли не могла взять, т. к. ей жених «запретил» ехать так далеко, без ночевок дома. Но м. б. теперь она бы думала иначе, попробовав у других служить. А упрашивать мальчишку мне «не к лицу». Не свет же клином сошелся. Ну, эта — ступа и нагловата, да ведь наплевать! Мне более жаль нашего работника. Тутошний — дрянь. Зато его жена — удивительная женщина и вызывает мой восторг.

Снился сон: чудесный тенистый сад... в цветах «путался» туманец вечера... смотрю, туман сформировался и принял формы маленького человечка... Вглядываюсь... и узнаю... с е б я! Странно и жутко было узнать все свое, в этом прозрачном малюсеньком существе. И я, «намотала» этот «туманец» на руку, как паутинку, и он покорно дался мне, этот мой двойник... И затем легко бросила его в воздух... Т е б е. Сказала: «это для Вани». Чудно?! Давно хотела написать об этом, да все позабывала.

Снов много, но забываются.

Недавно снилось, что ты сказал мне: «печатается “Лето Господне” — все 9 частей!»

Для «Куликова поля» я хочу работать. Дай точные мерки обложки и размер заставок для страниц. У меня много идей и мыслей.

Хорошо бы для каждой главы свою заставку. Это можно. Просила и прошу тебя использовать для «Куликова поля» мои крохи. Они мне все равно *не* помогут. Я должна иначе все устроить. Но сомневаюсь, поеду ли... М. б. вернее работать на месте. Боюсь прошлогодних мук. Главным образом — твоих. И еще, наверное, провожусь с собой: пока что устраиваюсь, потом неизвестно когда Dr. K[linkenbergh] свободен... и сколь-

ко все продлится. А главное: чувствую — не хочешь ты «гостьи». Обнимаю. Оля

[На полях:] P. S. В прудах карпы, и, кажется, угри. Будто бы и щуки. Не знаю, как и [о] многом тут.

Если тебе интересно, — нарисую тюльпаны, которые цвести должны у Ольги Александровны на могилке. Они чудесны.

Должны быть пчелы, но я еще их домиков не видала. Успела только распорядиться привести в порядок цветник. Садовник хорошо сделал.

Наконец-то ты сам «увидал» M-me Эмерик в настоящем свете. А сколько было мне за сию особу неприкосновенную обид!

Ты, вызывая искусственно размолвки, — крадешь драгоценное из краткой жизни. Мне очень горько.

586

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.V.47

Дорогая моя Олюша, родная, ответь об иллюстрациях к «Куликову полю», хоть обложку! — но если приедешь, мы все решим.

Пишу тебе кратко, т. к. лежу, и сейчас с трудом поднялся, чтобы отстукать. Снова начались боли «юльсэр», что-то неподходящее съел. Возможно — сварил кашу на американском «спрай»[i]. Сразу в желудке — кирпичи и боли. Отлежусь...

В воскресенье советское радио выкрикнуло хулу на «антикоммунистическую газету»[625] и, в частности, между другими, на меня. «Фашист, работавший во время оккупации с немцами». Зацепила газета... Она развивается и принимает более ясный лик. Я напечатал там: «В Кремле на Святой», в № 1—2, и — «Врешь, есть Бог!»[626] в № 5. В № 7 — пойдет «Ясновидец», дальше — «Бескрестный Лазарь»...[627] — и ряд очерков, все — о родном. Сейчас посылаю Зеелеру «письмо в газету», — «Необходимый ответ»[628], на злой навет по радио. Я доказываю, что моя «работа» была как раз наоборот — «против немцев», против их цели — исказить Лик России и натянуть на нее гнусную маску — «ДикАрия». Все это нервит, конечно, и мне не до спокойного изложения чувств и мыслей. О Бунине сейчас принесли слух — я ему

---

[i] Здесь: «эмульсия» (*от англ. spray*).

не верю! — но тебе все же сообщаю, — что он куплен, что он — «советский», и его служба — разлагать писателей. За сие ему платят?! ... Не верю. Хотя меня уверяли, что «слух» из важных французских источников и — разведки. Не верю, слишком чудовищно. Но его жена и живущий у него писатель Зуров[629] — той ориентации. Б[унин] сейчас на юге. Его беспринципность — «жрать, жрать, жить!» — его цинизм... все это лишь способствует укреплению чудовищного известия, но никак не доказывают.

Посылаю тебе нужную бумагу[630], может быть, будет полезна.

Газета имеет уже 800 подписчиков, что очень важно. Значит эти 800 не будут покупать у посредников, которым остается процентов 35. Надо еще около 1000. Тогда — на прочных ногах. Но могут и прихлопнуть. Москва начала кампанию — травлю. А то парижская сов-пресса молчала... Совсюду слышно — слава Богу, есть свободная газета, и, правда, газета лучшает с каждым №. Я послал твоей золовке благодарственное письмо, за ее посылку, а затем, в начале марта, французскую книгу. Не подумала поблагодарить за авторский привет! — и черт с ней. Значит — воспитанная.

Желаю тебе от всей души творческой воли. Зуд мой не убывает. Принимаю 3-й день новое гомеопатическое средство — любителя-гомеопата, многим помогшего. Он инженер французский и ничего не берет за совет. Меня он не смотрел, а сказал, что «знает», что со мной, и уверен, что поможет. Подождем.

Опиши мне свое имение, пришли снимков, разных, с собой... Очень прошу. Пиши о себе, что делаешь. Ловит ли С. карпов? Я большой охотник до сего. Никуда из Парижа. Исхудал. Ослабел, но дух бодр, работаю по малости, жду часа, когда начну 3-ю книгу «Путей». Очень помогла газете моя читательница из Холливуда. Прислала подписных 10 долларов и указала важные адреса. В Бельгии газета идет до 400 №№. Всюду. В Швеции до 20 тысяч эстонцев, из них старшее поколение читает газету и требует много №№.

Нарсесяну накрепко сказал, чтобы вернул бумаги Шитова[i] и отписал. Была его жена, я устыдил Вигена. Черт ззнает..! Люди умирают, а этот «сумбур-паша» с кошкой играет... часами... — слова его женки. У него, несомненно, — «неврастения», «он все забывает», по ее словам, — «ему необходим отдых».

Я переписал для себя в 2 экземплярах «О тьме и просветлении», только без Б[унина] и Р[емизова]. А взял — «о чтении и критике», себя и — послесловие.

---

[i] В оригинале описка: Шилова.

Пиши больше о Вурдене! хочу видеть.

Неверно, что я не хочу видеть тебя! Хочу... — но, тихую, умную, глубокую... — помни, что это, может быть, последний наш год. Мне жить не хочется... я устал. Только неоконченная работа держит. Как во-здуху хочу! Не могу собраться поехать в Сен-Реми... подышать, на Господа в природе посмотреть. Цветенье французское кончилось. Теперь — ягодное. А я все на Буало. Очень одинок... — что ж, удел мой такой.

Целую тебя, дружка, нежно. Твой всегда Ваня

587

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1.VI.47

День Св. Троицы

Дорогой мой Ванюша,

С Праздником тебя, солнышко!

Прежде всего, спасибо тебе большое за письмо ласковое и «документ». Очень даже, думаю, пригодится и выручит меня. Прости, что долго не писала — я совсем замоталась в эти дни, да даже и недели: гадости нам чинят со всех сторон. Да такие, что и фантазии не достанет. Арнольд совершенно болен, можно сказать, измотан до отказа, гоняет такие концы и по жарище, а толку мало. Вопиющий какой-то «гнойник» в здешней комиссии. Ясно одно: всем решительно мы поперек дороги со въездом в имение, — красть им мешать будем. А крадут, видимо, все. Дошло до того, что «комиссия по распределению жилищной площади» вызывала нашего работника и провоцировала его на жалобы против нашего въезда, обязав его доносить им о малейших неудобствах, связанных с нашим житием в доме! (!!!!) Подумай! А этот хам распустил павлиньи перья. Куда же идти. Это уж и не коммунизм даже, а полная анархия. Квартиру в доме он даже и не нанимает, а живет в ней на тех же правах, что и всякая прислуга, т. е.: пока имеет должность слуги, — живет. Но в комиссии ему, вероятно, обещали уже и службу, в случае, если бы мы его рассчитали. И тогда его не выселить.

Но кроме этого масса и других гадостей.

Например, наследники хотели отнять у меня, подаренный мне отцом Ара «плевок» — малую крупицу денег. По закону могут, придравшись к тому, что старичок упустил из вида составление нотариального акта. Была у нотариуса и все узнала. Арнольд постеснялся протестовать, будучи ими заклеванным

из зависти о Вурдене. Ездила к представителю старшего поколения и, узнав «общественное мнение», «вставила перо» Кесу. Он шелковый стал и зазаикался, что «они были не так поняты». Будто бы не отнимут. Я пред ними по закону бессильна, т. к. все в их власти. Но не думаю, что теперь осмелятся.

Но, к шуту все это! Я устала.

Сегодня была в церкви. В поезде ко мне подошла одна барышня поздороваться. Ехала тоже в нашу церковь, голландка из Утрехта[631]. Знает меня по концерту Жуковича. Сказала, что вся ее семья (отец — утрехтовский психиатр, — особенно) были в «восторге и очаровании» от моего выступления с объяснением русских текстов. Слово за слово — оказалось — художница, едет послезавтра во Францию, будет и в Париже. Прочла «Пути Небесные» на французском языке и в диком восторге и восхищении. Заказала «Неупиваемую чашу», но она раскуплена, а плохого перевода на голландский читать не хочет. Обожает тебя. Я дала ей твой адрес. Зайдет. Не знаю ее имени. Узнаю и сообщу. Она учит русский язык у сестры Фаси. Жукович пошел большими шагами в гору. Пел концертно в «Борисе Годунове» с потрясающим успехом. Посыпались предложения. Получил разрешение на жительство и совершенно «обелен». Уверяет, что доброе началось с моего концерта. Дай Бог. Мне даже стыдно, как он меня возносит. Без прочих чувств каких-либо, кроме благодарности. Уверял, что в ноябре, будучи и физически истощенным просто голоданием, — спел только благодаря моему подъему в этом моем соучастии. Называет «чудом», что вообще смог петь тогда. К сожалению, еще масса трудностей «технических» для выполнения всех предложений. Ну, уже во всех голландских газетах прошли дивные рецензии. Бедняга не может никак напеть пробных дисков для очень важного дела, т. к.: 1) волокита, 2) денег нет. Живет все еще в долг. Но м. б. все устроится. В Голландии не вперед идет жизнь, а назад. Газеты, например, сокращаются до выхода только 5 раз в неделю из-за недостатка бумаги. Текстиля не будет вовсе. Ну и мясо сократили, и так во всем. И в граммофонных пластинках. Но все же Жуковичи ободрились. Вера Ипполитовна (жена его) помолодела, одели ее из Швейцарии друзья, повеселела, шарм ее снова явился. Он — сдал, постарел и, думаю, сердце пошаливает. Измаяли человека ни за что. Жукович хочет дать открытый концерт и только в Утрехте — этот город у него вроде талисмана стал. Меня тянет к работе, но ни покоя, ни времени. Ни места. «Хатку» все еще не устроила — невозможно. Конечно, хочу и буду работать над «Куликовым полем». У меня масса моти-

вов. Кое-что все же писала: ничего как будто. Видела на днях у одного художника[632] иллюстрации к Золушке. Мои — пойдут. Знаю. Совсем неплохо. Пришла мысль: свою сказку издать в картинках с минимумом текста. Будто бы очень большой интерес. Но, бумага?! Вот так век!

Знаешь, Вера Ипполитовна рассказывала, что они по их делу перебирали мои деловые письма с каким-то «крупным лицом», а тот будто их спросил: «кто автор этих писем, — не писатель?» И они привязались ко мне, не пишу ли я? Но покой, покой нужен мне! А людишки травят! На днях видела дивную книгу одного швейцарского хирурга: «радикальная терапия» — мысль: дух и тело: одно, неразрывное целое, все, все болезни от «уязвления души». Очень интересно. Все глубоко религиозно. Теория и Клинкенберга. Его не вижу. Но собираюсь. Была еще на днях у моего гомеопата — извелась разными недугами. Между прочим нашел воспаление артерии правой руки. Страшно она болит. И так мне нужна. Меня совершенно угнетает твое состояние. Прости, что не посылала тебе ничего для диеты. У вас в Париже масла нет? Пошлю, дружок, как только выкарабкаюсь из злободневных гадостей. Надо к адвокату, и еще в разные места. И надо все-таки к Клинкенбергу.

О Вурдене писать? Родной мой, надо покой, я вся взбита. Фото не могу сделать — нет пленок. Попытаюсь нарисовать тебе. Сейчас я увлечена не пейзажем, а «мелким», «простушками». Не могу пройти мимо травок в цветении, былинок, «жёлтиков» и прочих малышей. В душе у меня красивый, тонкий и символический орнамент для «Куликова поля». Я дам тебе на большом листе, не связывая себя форматом. М. б. издать на больших страницах? Но как хочешь ты. Я на пробу. Я, как пчелка, — собираю с каждого цветочка меду и несу эту лепту в улей. Все хочу вобрать и потом отдать «Куликову полю».

Ах, Ваня, не будет ли возможно, чтобы эта твоя голландская почитательница нашла доступ к Бенуа? Или это трудно?

В моих живописных работах какая-то новая наступила фаза. Не могу точно выразить. Но во всяком случае — нечто положительное.

Моя золовка — свинуха. И не только это. Она гадко, мерзко относится к душе, к человеку, к каждому «другому». Бросила мужа и хочет скинуть с плеч заботу о ребенке, отдав его в ясли. Эгоистка и материалистка. До жути. Вообразила, что ради искусства можно и ребенка сбыть с рук... Но при таком бессердечии не может быть искусства.

Читала письма Чайковского и Н. Ф. фон Мекк[633]. Они хороши. Так прозрачно-понятны!! Но далеко не на той высоте, что наши с тобой. Наши так всесторонне интересны, и сколько они всего охватывают, помимо чувства! А чувство... Кто так его выражал?!

Не знаю, что получится из моего намерения приехать в Париж. Но очень бы надо было. Но когда? Осенью? И так бы хотела сейчас, чтобы походить за тобой в болезни. Я буду тихая и очень «пай». Я много старше стала за эту зиму. И много огней мешающих я погасила и погашу. Их не надо.

Для работы над вечным, над ценнейшим это необходимо!

Переезд «разлучил» меня с Росетти, но я часто о нем мечтаю. Ах, какая это красота! У меня недурно вышли «метелочки», всякие, всех сортов — в цветении. Писала и думала о твоих хлебах в «Свете тихий». Недурно и «жёлтики» с фонариком-одуванчиком. А это не легко было дать. Ах, — все вижу! И, знаю, — дала бы, как бы время! Ой, если удастся, — дивные будут страницы в «Куликовом поле»!

Время идет, это правда, но не даром. Я все вычерчиваю в сердце. А это и есть главное. Ну, пошел концерт лягушек! Изнывают, надрываются, заходятся в восторгах. Пруд в прохладе заснул под пленочкой цветенья. Не дрогнет, — будто заколдован. И мутная луна в туманце (после дневной жары), кладет слабым отсветом дорожку по поверхности, — чуть-чуть заметно ее по зеленоватому «покрывалу». Смотришь и не знаешь: сон ли, явь ли? Белеют перильца мостика, беззвучно, тенью носятся летучие мыши над головой и над прудом. Слышно, как жуют полегшие коровы и которая-то из них похрапывает... кой-где видны их неподвижные очертанья. И не шелохнет. Прохлада ночи не может остудить дневного жара, — от стен полыхает теплом и прямо пахнут цветы с клумбы... угадываешь их пятна. Вот подошла тяжелым шагом лошадь к загородке, — хрупает... вкусно, сочно так, и... сонно. Вдалеке проходит поезд, — тонкий, «дачный» гудок... Куда-то едут люди... в город, в пыль и громыханье... И я сижу одна в этом чудесном тихом рае.

Покойной ночи, Ванюша мой. Будь здоров, Ангелок мой. Ты знаешь: я всегда душой с тобой, о тебе и за тебя!

Сегодня подала о тебе просфорку. Господь с тобой, мой милый друг.

Целую. Оля

Получил ли ты статью «старого политика»? Я давно послала.

588

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VI.47

Ко дню твоего рождения счастливо получил «любки». Спешно шлю — на счастье, на здоровье, на радостное творческое делание. Напишу о с о б о — ко Дню. А это [вестник] «любок», сегодня же посланных во влажной укупорке. Да порадуют твои глаза, да светят тебе моим з а в е т н ы м!

Я — два дня (цветы не оттуда) был в St-Remy. Все время — лежал под яблоней. Удушающая жарынь. Я — все тот же: зуд, боли и все-таки поутихают. Очень томит одиночество...

Твой В.

Срисуй — пришли, — полюбуюсь. Тоскую по твоим картинкам.

589

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.VI.47

Поздравляю тебя со Днем ангела твоего, дорогая Ольгуна. Самое горячее пожелание мое тебе — чтобы ты нашла, наконец, волю и силу отдаться заветному труду, — работать, творить в любимом Искусстве! чтобы открылись тебе лучшие возможности всецело отдаться этому. Это — и здоровье. Лучшего не могу пожелать тебе от всего сердца.

Вот уже 8 лет, как ты написала мне первое письмо. Сколько всего было, и радостного-неповторимого, и — горестного. Но так все в жизни...

Будем же хранить дарованное нам, любовно, бережно-чутко.

Мне очень тяжело, — помимо моего недуга. Клеветнически-подлая травля, в советской и при-советской черно-красной печати. Платят за то, что я еще жив и вот — все еще в стане борцов с бесовщиной, овладевшей Россией-Мученицей. Газета «Русская мысль» разбудила, растравила и х, и вот, п л а т я т. Если читаешь «Русскую мысль», ты знаешь, к а к я ответил. Завтра или в следующем, 9 №, мое окончательное письмо[634] — ответ на гнусности, на шантаж, на передергиванья, на заведомую ложь... — «Рус-новости» — которые ты читаешь — по указу о т т у д а... действуют. Московское радио дважды оповестило ложь, которую я опроверг в первом ответе, через «Русскую мысль». Московская газета «Правда» печатает

статьи, казнит и поливает грязью и клеветой... поливает и газету «Русская мысль» — как она и м вонзилась! — и меня, и вообще, «врагов России» — !! Людишки здешние, безыменные, пыль... разошлись и, выдав себе патент на «патриотов», страстно любящих Россию, вся тьма подонков, после которых для жизни и России ничего, кроме запаха пролитой крови и грязи, и угара — ничего не останется, — получили права порочить и поносить того, кто всю жизнь положил на дело во-имя Родины. Вот в каких условиях протекают склоняющиеся дни мои.

Ну, забудем...

Елизавете Семеновне не до мелочей: ее мужу 28 мая вырезали почку, было кризисно, теперь, кажется, опасность миновала. Он в госпитале. Я послал тебе «любки». Был рад найти их — для тебя. Будь здорова. Прости, я не выхожу, лежу, слабость, разбитость, а менажка уходит, и я тороплюсь отправить с ней письмо.

Целую тебя, родная моя Олюночка, Господь с тобой. Помолись обо мне. Мне очень тяжело. Целую.

Твой Ваня

Скоро напишу. Господь да хранит тебя. В.

590

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VI.47

Голубка моя Ольгуночка, чудесен твой этюд к «Куликову полю». Я сказал бы про шеи райских птиц, что они у тебя даны *«девственными»*, очень, предельно — ч и с т ы м и! Это — твоя п о б е д а. Ты — удивительно! — тут — как же в ы с о к а! Твое истолкование этюда отлично, тонко. Конечно, для «массы» это будет «ребус». Тона нежны. Райские птицы — удивительны! Мастер ты!.. И шиповник, — из терновника родившийся, — дивно и глубоко! «Чаша» великолепна. Только я не вижу «живой воды», ниспадающей... — но ты пишешь, что это не закончено. Крест... — видишь ли, он как будто тяжеловат... и еще: н у ж н о ли его?.. Помимо того, что этот священный символ не должно бы помещать на обложках з е м н о й книжки, — он уместен на Евангелии или молитвенниках... — он как-то не связывается с «чашей»...

Без него — для чутких — ясно в с е. Меня, лично, режет «змея», символ греха-зла. Терновник — тоже символ «плевел», удушья... А змея, бурая-жирная, мне противна. Но в с е —

чудесно. Боюсь, технически воспроизведется ли? И будет дорого, много полутонов... — не знаю. Спасибо тебе за радость. Фиалочка-любка очень понравилась мне, она почти пахнет... Спасибо дружочек. Ты — мой *гений*! Ты мно-го *создашь*!

Не знаю, предвидится ли иллюстрированное издание де-люкс — «Куликова поля». Но на обложке я буду настаивать. Кое-что перестраивается в планах изданий. Я «Имке» относительно «Лета Господня» поставлю требование — «по старой орфографии»! Они настаивают — по новой. Нет, для «Лета Господня» и не соглашусь ни за что. Тогда выход: «Возрождение» охотно издаст, обе части в одной, — я говорил с Гукасовым. И уплатят Имке аванс с 10 тыс. — тотчас же. Хоть сейчас же печатать начнут. И — с радостью берут «Куликово поле». И, еще... — я закинул-было, наудачу, — «переиздать “Солнце мертвых”[635] с двумя дополнительными главами». Гукасов ухватился, это скупец нефтяник-то! — «я очень люблю “Солнце мертвых”». Книг моих нигде нет, давно. Других писателей — старые издания — Бунина! — сколько угодно, л е ж а т... А мои расцениваются, как «рентабельные». Ладно... Так вот, буду ставить условия — об обложке, твоей голубка. Издание «Куликова поля» будет — ч и с т о е, с заглавными буквами начала главок... — может быть, заставки-концовки? Подумай... — что надо? А как же — мне дорогое — Л а в р а?..

Французское издательство не платит остальные одиннадцать тысяч! Тянут, скоты... и это меня режет. На письмо не отвечают уже месяц!.. Остается поехать и к р и к н у т ь. Книга дает им барыш. И-дет и по сей день, ровно, по 100—150 в месяц.

Я болел жестоко язвой этот месяц. Теперь, со дня панихиды, — боли кончились. Режим строгий. Жара, ем мало, ослабел. Зуд — все то же. Теперь пробуют впрыскивание какого-то гормона... — один раз, еще нельзя сказать — даст ли улучшение.

Кажется, собираются печатать в «Русской мысли» — «Пути»... Газета растет, но пока ни гроша не платят мне... — на днях решится этот вопрос, устраивают «чай» — имени газеты с благотворителями! Я, один я, дал газете подписки и «помощи» тыс. на 20 франков! На мое имя шлют из Америки авионом — доллары — пока слабо, тысяч на 5. Но бывшая леди Детерд[636], узнав, что я буду писать в газете, дала 10 тысяч. И еще, есть. И вот, не могут платить. Тираж — 6 тысяч, газета окрепнет совсем, если будет тираж 10 тысяч. С каждой неделей растет на 200 №№. Идет подписка из медвежьих углов, с целого света, даже из Либерии!.. Ерусалима... Я получил письма сочувствия... Отвечать бесам-псам больше не буду — к черту!.. И это и х бесит, спокойный тон газеты. Читатели хвалят

этот незадирающий тон. Тираж «советских» резко падает, на 2—3 тысячи уже. №№ кипят злостью. Наши-то дурачье, «редакция», — я вне, никогда себя не закабаляю в это «креслице»! — боится, что не выдержит платить мне, если я чаще буду давать... — ?!! — идиоты! — читатель меня ждет!.. — знаю. Я, наконец, сказал, — бро-шу писать!.. платите хоть символически. Зеелер сконфужен... мучается, говорит — «будет счастливейший день жизни, когда я приеду к вам и выложу гонорар». Жду вторника. А гонорар... — гро-ши! Какие-то — за ними — тыс. 8! Да я пойду и на пятак за строку... — крепите же «Русскую мысль». А «тем» у меня... — хоть на каждый день! Идиоты...

Если бы И. А. решил уехать в Америку — я поехал бы... — здесь душно.

О твоем приезде и не помышляю, — ты не хочешь... Господь с тобой. Завтра пошлю твой этюд, заказным, конечно. Хочу воздуху, но жара пугает отважиться на путешествие хотя бы в Сен-Реми...

Дивная ты... дар Божий! Что ты сомневаешься, приводишь слова Катениной?[637] Тебе Ваня все сказал, да-вно!.. Ольга, не покидай веры в себя. Ты многогранна, дурочка. И живопись — тоже твое призвание. Не знаю, где тебе легче найти себя. Не знаю... Но ничто не уйдет, ты же — девчонка еще! Ах, как захотелось — сейчас! — крепко-крепко обнять тебя, и так нежно и бурно целовать... — но я старею, Оля... слышу... Это мое воображение еще кипит... Олюша, будь стойка, не изменяй святому! твоему, — и не меняй себя — ты права, говоря тоже обо мне! — на политическое-страстное. Это — не наше. Мы не можем иногда молчать. Но... всего нашего отдать — не смеем. Ты — ровня моя, по мне, и мы, вместе, целостное и большое! Знаю. И ты мне дана, как я — тебе. Мне хочется отделать — «оплодотворение хлебов», помнишь, «Всенощная, июнь»?..[638] Как я горел тобой!.. Но я и теперь горю... — и приезжай ты — я вспорхну. О, я нежно молился бы твоему «внутреннему образу». Олюша, храни свою нежность, тихость и ласку ко мне, мне так нужно это... Оля, мне надо закончить «Пути». Только, горя тобой, я мог бы это сделать, хорошо горя... любя свет в тебе!.. Ты меня забываешь... я чувствую... а если я редко пишу тебе, так это от «злобы дня сего», ото всего... Мне было всячески нелегко.

Я радуюсь, что у девочки будет — есть! — уют, до-мик... Пиши, твори, томись чудесно, видь вокруг чудеса... даже — !!! — в этом сквозящем шарике «желтика»!.. о, чудесно!.. Ско-лько дано глазам, но надо иметь глаза!.. Ты их имеешь,

тебе помогает сердце и дар Святого Духа. Тво-ри, рука об руку с Сотворшим нас. Мы его — дети, и мы же его маленькие «творцы-боги». И какая же Ему радость!.. Оля, сто-лько во мне мыслей и чувствований!.. О, скорей за «Пути»... Но надо, чтобы ты меня зажгла, обо-жгла... но как-то творчески, нежно-творчески... дав мне пить т е б я, творческое твое дыхание.

Целую нежно. На много не ответил, вижу... Брось об этой Елизавете Семеновне — конечно, мелко, серо, глупо... скупо... но она дрожала, — вот пропадет поддержка!

Операция была благополучна. Дело тут иное, не как у тебя. Та почка была полна гноя, уже разлагалась... надо было спасать. В другой тоже — камень... А из оперированной вынули камень — «страшный». Но я еще не видал — месяца 2—3 — ни его, ни Е[лизаветы] С[еменовны].

Надо навестить. Болезнь мешала мне. А теперь — жара.

Целую нежно ротик твой, и твою губочку... — ох, как я неизменно т в о й.

Ваня

591

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.VI.47

Бесценное золотко, Ванюша мой дорогой!

Все время думы о тебе. 22-го июня была душой с тобой, но не могла написать, т. к. лежала. Ночью был, — давно уже не бывавший, — «припадок», — чего? Сама не знаю. Всю грудь ломило и разрывало, не хватало дыханья, а воздуха под накаленной крышей и так не было. Новорожденная девочка у жены работника и старший в запуски ревели и ночь, и день. Не могла глаз сомкнуть. И так все дни и ночи. Ночами, впрочем, нельзя заснуть и из-за духоты под крышей. Жилищный вопрос у нас в трагическом положении. Творится нечто несусветимое в наших «законах».

Ну, да это все второстепенно.

Я тревожусь о тебе. Плюнь на всех лаек и шавок, — это все отребье, травящее тебя и подслуживающееся к сильным.

Я знаю, что ты треплешь нервы и мучаюсь о тебе и за тебя. И ничего не могу поделать.

Получил ли ты мои рисунки? Вот уже днями опять ничего не делаю в этом направлении. Жара парализующая. И нездоровье мешало. Несколько дней ничего не могла ни есть, ни пить после того припадка, — от всего отворачивало. Теперь

расслабла от жарищи. Девку собралась гнать, но она, учуяв, стала подмазываться и стараться. Отложила, — а теперь опять хамеет. Наплевать на все это!

Напиши, Бога ради, что с тобой? Как здоровье? Ты меня совсем забыл, или хочешь забыть? А между тем, я-то и есть твой друг. Но, Господь с тобой. Ты мне никогда еще не верил... И мне трудно тебе говорить от сердца. Ты так его отталкиваешь, надумывая и накручивая небылицы.

Не вижу смысла и в Париж ехать. Без твоей дружбы он мне не интересен. На днях едет Енакиев[639] к вам и будет жить совсем с тобой рядом, где-то у Exelmann (Это муж Елизаветы — золовки). Ничего ему не поручаю: везти он и для себя ничего не везет, ограничиваясь самым малым, а «поклон»? — разве мало я тебе говорила в письмах? И сказала бы, но не хочешь ты слушать.

Не говори: «твои газеты» — я ни одну из них не выписываю, а читаю также, как их, — и т в о ю. Как мог ты вмесить меня в общее месиво? Разве все еще не знаешь?[i]

На днях слышала разговор: одна дама другим: «ах, какой я чудесный роман на днях читала — "Пути Небесные"... что-то совершенно особенное». Думаешь ли ты о 3-ей части? Ты ничего больше мне не говоришь.

Воспаление артерии моей руки прошло бесследно, после приема 2-х раз лекарства моего гомеопата. И многое прочее пришло в норму. Почему тебе он не помог — не понимаю. Был ли ты у гомеопата княжны Трубецкой? Сережина хозяйка совершенно поправилась от печени, а уже была собрана на операцию. И так мне горестно, что тебе не помог!

Ванечка, будь мой ласковый и милый, — откликнись! Обнимаю. Оля

592

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.VI.47 вечер

Ты снова осветил меня, солнышко мое Ванёчек! Спасибо! Спасибо! Рада, что по душе тебе мой рисунок. Могу исправить недостатки, тобой названные, но без креста не вижу смысла. К такой книге, к такому тексту спокойно, по-моему, можно дать и Крест. В нем же все дело. Это Он покоряет и стирает змею. Да, она гадка и противна, и я довольна, что она дает это

---

[i] Окончание письмо отчеркнуто.

впечатление. И вот, и гадов Крест стер. Но об этом — после. А самое подавляющее меня чувство — другое: я до слез страдаю за тебя. Это кошмар, ужас, что ничего не могу для тебя сделать. Поверь, что я готова бы все дать тебе, чтобы снять с тебя заботы дня. Будь у меня ценная шкура, я бы ее содрала для тебя с себя. Что сделать мне!? Я мучаюсь до слез и сегодня все время у меня комок слез в горле. Непозволительно и преступно то, что у тебя нет полной свободы от повседневья. Кошмар. Все эти «друзья» и други... Ах, Бог с ними!

Я в ложном свете, с ложной этикеткой, — я закрепощенная раба и ничего не могу сделать. И ко всему этому проклятая мировая разруха, накладывающая свои еще узы. Не будь этого, то все же могла бы я что-нибудь сделать.

Нет, ты не прав, — я хочу к тебе приехать. Но я и боюсь. Такого приезда, как тогда — не смеет быть, и не будет. Это — самоубийство. И для тебя, и для меня.

Получила в подарок от Жуковича к 9-му книгу «Вокруг 4-ой симфонии Чайковского». Его переписка с фон Мекк. Ты прав, — наша куда и ярче, и полней, и глубже.

Мне кажется, — он не был ею захвачен. Она им — да. В этом и все. И она робко говорит о своем чувстве. Она сдержана его сдержкой. Правда, читаю в голландском переводе. И не пойму, — как, как мог Ч[айковский], любя (?) фон Мекк, обручиться и жениться[640]. Оба были свободны. Что мешало? Страх утратить нарисованный самими идеал? Не пойму. Я думаю, что такой «роман», как наш, — способен н а у ч и т ь людей чувствовать и любить. Он до того ярко изображен, что я смело заверяю, — второго такого н е т в письмах. Таких писем надо поискать.

Сижу в своей хатке, она все еще в разгроме: то этого нет, то того. Но все же могу уже там тебе писать. Следующей «работой» — писать образ для хатки. «Тябло» уже есть. Вот хатка:[i] Ах, если бы тебя сюда!

Нежно, нежно тебя обнимаю и люблю. Оля

Продолжаю... Вечер. Дивный вечер, — нет жары. Вид из окна — не наглядишься и никогда не прискучит. И так мне грустно, что ты не видишь эту красоту! Почему так устроено на свете?! Как бы хотела тебя привезти сюда. Ты отдохнул бы как в раю. Нет духоты даже в самый-то зной. От прудов тянет все же. Перед самым окном этот пруд (один из многих), на берегу клумба огромная. Грядка роз у самой воды, полукругом, заходит за фасад дома с обеих сторон, так что когда смотришь

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

из окна, — не видишь конца этой грядки. Буйно цветут, разноцветные. В самой середине этой грядки я посадила лилию — она как раз в цвету. Дивно. Как у О. А. на могилке? Ты не видел, принялись цветы? Огромный куст белой ромашки, сильный и сочный, гигантом цветет в клумбе и так красиво выделяется на фоне темного уже сейчас пруда...

Не знаю, почему, но нет воли все это зарисовать. Так все широко и мощно, что в одном пролете масса тем, тьма разных уголков и картинок. Я все еще оглушена этой красой, не могу собрать покоя. Я вообще все время взволнована. Что это такое?! И так жажду покоя, — ничего другого.

На минутку заезжал как-то Dr. Klinkenbergh, — завез меня домой по своей дороге в Гаагу. Нашел, что я устроила все с массой вкуса и почувствовал какую-то мою «сферу». Не знаю. Уезжая, сказал: «и знаете, должен сознаться — я завидую Вам». Ах, ах! Как все кажется [приметней] в чужих руках. Мне завидовать. Показала последние рисунки ему. Он очень хвалил. Будто «рад, что я снова взялась за искусство». Как хочется мне чего-то очень прекрасного — музыки,.. оперы м. б. После книги о Чайковском потянуло к музыке. Но... вижу, — кончится все — кухней, т. к. свою хамку погоню. И с наслаждением. Не выношу хамства.

Между прочим, вспомнила из разговора с доктором, — «Вам нелегко, конечно, встать на полагающийся Вам пост, — помните, что и самые близкие иногда не любят видеть превосходство над собой другого, про-видение себя (художник как Вы провидит всегда!), а Вы намного превосходите и провидите и своего мужа, и его родню. Вы их насквозь видите...» Я поразилась, т. к. никогда этих тем не касалась с ним. Впрочем, он давно мне приписывает какое-то «особое видение», которое будто бы видит в моих рисунках (эскизы к «Куликову полю» он не видал). Не знаю, и не знаю. Сейчас мне все трудно. Я полна дум и тревог о тебе. Тебе неуютно, и болен ты, и всякое. Никогда еще мне так тяжело все это не переживалось, как сейчас! И так бы хотела тебя успокоить и утешить. Напиши обязательно скорее, как у тебя с новыми впрыскиваниями? Мне это все так важно. Всякое слово твое в письме мне болью впивается в сердце, когда ты о болезни и годах... Ванечка, заботься в первую очередь о самом себе.

Как Ю[лия] А[лександровна]? Бывает у тебя?

Ваня, не оправдывай Елизавету Семеновну. Слава Богу, что у меня еще не сгнила почка, как у ее мужа, но идти на раковую ампутацию груди еще сравнительно нестарой женщине... Ты думаешь, это легче? А когда почку-то вынимать хотели,

так ведь тоже предполагали злокачественную опухоль, — потому такая и экстренность была. Т. ч. в смысле «эмоций» мне ничуть не было легче. А в этом-то ведь и дело! Елизавета Семеновна не слишком, кажется, к тому же привязана душой к супругу, чтобы забыть все на свете из-за него...

Ну, оставим... Не защищай!! У меня верный «нюх». Обнимаю. Оля

Отсылаю 4-го! — Почему? Задергалась. Из имения надо идти в город на почту. Не выбралась, а девке не доверяю. Я вся издергана, и не знаю, как смогу работать. Ваня, прошу тебя именем Сережечки твоего: используй же мной тебе привезенные билетики. Это глупость — малость. Я не возьму их!

593

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.VII.47

Мой дорогой Ванюша,

Вчера собрался все-таки к нам мой «свойственник» — Юрий Федорович Енакиев (муж Елизаветы — сестры Арнольда) перед отъездом своим в Париж. Мне очень хотелось с ним хоть малость тебе послать. Он и себе почти ничего не берет, но для тебя согласился взять бисквит. Он (кекс) очень хорошего качества — все удобопереваримое для твоего желудка. Кушай, пожалуйста, сам. Масло, сахар, яйца и белая мука. Он может перенести несколько дней и чуть подсохший все же сохранит свой вкус. Кушай, Ванёк, на здоровье, — это легко для тебя. Ю[рий] Ф[едорович] тебе передаст живой привет от меня, — самый свежий, т. к. уже завтра он едет в Париж. Водила его нарочно в свою «хатку», (которую никому не показываю), чтобы тебе смог рассказать.

Он не человек искусства, но славный. Чуточку с фанаберией и очень, чрезмерно уязвимым самолюбием. Гордящийся своим конно-гвардейством. Но в общем — хороший. Несколько дней он проведет совсем в твоем соседстве — где-то у Exelmann.

Ванёчек, как часто я читаю и перечитываю твое последнее письмо. Мне хорошо и нежно, и ласково на душе после него. Я очень тебя люблю и, как и прежде, ежеминутно душой с тобой. Не проходит часа, чтобы я не потянулась сердцем к тебе...Веришь? Ванюша, не может быть никаких внешних причин, могущих внести рознь между нами, отъединить нас, охладить. Я люблю тебя глубоко и верно, свято. Я все во мне

очистила, и не хочу никакой тьмы. Как завидую я M-me von Meck, располагавшей всем для любимого ею Чайковского. Какое это было ей счастье! И не понимаю, почему не хотела личного знакомства с ним. А он, — как мог он жениться, будучи уже «знаком» с Надеждой Филаретовной фон Мекк?! И совершенно не зная, и не любя невесту. Какой ужас для такого таланта тащить всю жизнь ненужные путы!

Ваня, я похожа на бьющуюся плотичку, попавшую на удочку жизни. Я «плаваю» только в окружности этого крючка и не могу пуститься по вольным вОдам. —

Жизнь меня нервит до чрезвычайности. Так нельзя ничего творить. Тут кругом развал, «кое-какничанье», лодырничанье, а я не могу видеть хамов. Рабочие (а их тут прорва) на глазах хулиганят. Что я сделаю с собой, что не могу видеть, как они гноят сено, валяются на сене вместо работы, пускают толпы гуляющих в парк и пр., и пр.? Мы, привыкшие сами к труду, не можем этого видеть. В такое-то лето и ухитриться сгноить сено! Бредиусы не привыкли зарабатывать сами, — они только скаредничают над доставшимся в наследство. И весь народ тут такой. Таким — нельзя иметь капиталы. Но, довольно! —

Мне все равно ничего не изменить. Порча нервов только. Лучше закрыть глаза, да и уши. Вот 3 дня подряд у работника гости по 10—15 человек в день. Все это и в кухне, и в коридоре, и... в уборной. Последним местом мне противно уже стало пользоваться. Крик, гам, рев двух сопляков-рахитиков. Кошмар. Но, довольно... Довольно. Пробовала уходить в «хатку». Там хорошо, но через выбитые окна (хулиганами) дует, и стало холодно. Прислуга — гадина. В мое отсутствие дерзит маме и заявляет, что ее, маму она не желает слушаться. Жду срока выгонки и пошлю ее ко всем ч-ям. Отовсюду набиваются «приятели» в гости, — всех пошлю туда же. Хамы все. Моя жизнь не для них. Не Hôtel я им. Ванёчек, прости, что это пишу — кишка лопнула уже. Невмоготу.

[На полях:] О, если бы ты закончил «Пути»! Это — так во мне живет. Так я люблю их! Пиши, дружок! Мне хочется докончить некоторые рассказы, отделать (все-таки; — не сердись) ту сказку о ландышах — она мне нравится по идее, — и начать роман. Чую, что нельзя откладывать надолго, — улетит «голубая птица». Сделала в воскресенье 2 рисунка-наброска для сказки. Прилично.

Читала эту сказку, не говоря чья, — Жуковичу. Он в большом был восторге. Сказал, что в ней «и ритм, и мелодия». Я знаю, что ты прав, — она не лучшее, но для обывателя,

видимо, — сойдет. Мне она чем-то дорога. Это из моего нутра. Не серчай. Я ее отделаю и пришлю тебе на суд.

Напиши мне размеры страниц «Куликова поля». Я сделаю тебе обложку. Хочется лучше, нежели была давняя. Сделать и буковки? Что такое «концовка»? Разъясни глупой! Я все не верю, что смогу сделать что-либо путное?! Здоровье мое лучше. Помог гомеопат.

Пишу мало — устала и поздно уже.

Обнимаю тебя, Ванёк, так нежно, ласково, — сердцем. Оля. Не забывай и ты меня!

594

Le 18 juillet 47
Paris

Поздравляю Светлого Ангела! Да будет в с е светло! В.
Письмо будет!

595

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[28.VII.1947]

Солнышко мое, неоцененный Ванечка мой, светик мой радостный, дружок мой, — какой радостный ты дал мне День св. Ольги, сказать не могу. Как отблагодарю тебя, и как, какими словами скажу тебе С П А С И Б О?! Сердцем почувствуй, родной мой, как благодарна я, как светла тобою!

Розы твои — дивны!! Таких никогда и ни от кого не получала. И это в вурденовской-то дыре такие отыскались!

Диво-дивное, чудо-чудное!..

И больно мне стало... ну, зачем? Я же и от десятка этих красавиц пришла бы в тот же восторг, а эти 70 (!!!) меня даже как-то «придавили». К чему такая трата! Это меня огорчило. Весь день тот и все эти дни жила тобой и так была взбита, что не могла собраться для письма. Напиши же о себе! Как ты? Я много, очень много о тебе думаю, сердцем думаю.

У меня трудная жизнь. Очень трудная. Не хочу все ворошить. Только вкратце: без прислуги сижу и на все рвусь сама. Мама, конечно, тоже перегружена. Но у нас большое хозяйство: — на всех хватает. Сережа уже в Arnhem'е.

Были страшные неприятности — меня затрепали они. Хлопочем о выселении семьи работника, а гнать-то необходимо бы всю шпану. Воровство сверх меры, на глазах, дерзость,

хамство. Сказать ничего нельзя, т. к. за этих воров стоят вурденовские инстанции, — все они питаются от имения и это жулье им на руку. Думаем взять сыщика, чтобы поймать на кражах и тогда иметь право их выгнать. Но и то боимся, что они не выедут из занимаемых квартир и останутся торчать и портить других. Были у аграрного комиссара и все ему изложили. И тот (сам по себе облеченный большой властью) ничего не может сделать с жилищной комиссией. Все пойдет, кажется, до министра. Завела собак, и тут же работник выпустил одну, — столько стоило нервов и терпенья ее отыскать и вернуть. Опишу тебе один случай, т. к. он мне кажется каким-то непростым. Уже давно я стремилась иметь верного пса-друга сторожевого. И вдруг, что-то будто меня кольнуло, в жарищу поехала в Утрехт, искать собаку. И подумалось: поищу в приюте для забеглых животных. Там только что накануне привели чудную собаку сами хозяева, уезжавшие якобы в Америку. Она мне сразу прилегла к сердцу: всем, и видом (60 сантиметров высоты, гладкая черная сучка, одного года) и нравом: ворчала на всех, кто приближался к клетке, но скромна и как-то «девственна». Не будучи любительницей собак, я эту сразу полюбила и тут же и купила. Веду домой и думаю: «как я рискнула, а разве не может она вырваться, искусать меня, и вообще — почему хозяева не нашли никого из знакомых для такой чудной собаки? Зарок? Дома не припасла ей ничего... Мама диву далась на такую мою храбрость, т. к. собак я вообще-то боюсь. В [Asul]'е мне ее крепко навязали на веревку (ошейника даже не успела купить). А т. к. мне надо было в Вурдене кой-что купить для именинника Сережи, то я ее посадила на крепкую привязь в дровенике. Еду из Вурдена и думаю: «а ну как ее выпустят?» И что же — гонится моя «Флоп» мне навстречу галопом, мимо, мимо и в город. По ассоциации меня с приютом она связала и как бешеная от меня шарахнулась и умчалась, не будучи и 1 1/2 часов в моей собственности. Работник (хам) вместо того, чтобы ее схватить или посмотреть, куда она побежала (я не могла поспеть, а он сидел на велосипеде), повернулся и поехал домой. Придя домой, я услыхала, как мама мне с горем сообщила: «Оленька, это только назло так было можно — Флоп выскочил, а работник, упустивший его из дровеника, вместо того, чтобы помочь поймать, ушел со двора и только через 1/2 часа сел на велосипед». А до того, как выпустить ее, зло спросил свою свояченицу: «а это что за собака?» Мама слышала. Я говорю мужу, стоя на нашей половине квартиры: «Ар, это же недопустимая халатность, если не сам работник отвязал собаку, так неужели он не мог осторожней открыть

двери, коли знал, что там только купленная собака?!» И в этот миг бесом ворвалась его жена и истерически меня изругала, употребляя ругательные слова. До того все было хамски, что не хочу касаться. Она уверяла, что собака стояла крепко привязана, и что поэтому ее мужу нечего было «остерегаться». Спрашивается, если она была крепко привязана, то как он не заметил, что она высвобождалась? Я и без нее знала, что она накрепко была привязана! Одним словом, орала фразы, противореча себе же. Они злились на то, что Арнольд отчетность у них стал спрашивать в краже молока. Крик и шум были невообразимые. Собака ушла. Я сделала объявление — в газете. На другой подъехал автомобиль и вышел бенедиктинский патер. Еще в дверях спрашивает, тут ли хозяйка «Флоп»'а. Я кидаюсь в радости, что он нашел собаку, а он заявляет: «нет, я за ней приехал...» Предлагает мне любые деньги, до 100 гульденов за ее возвращение, т. к. якобы с Флопом связана «страшная история»: будто бы 4-м человекам грозит гибель. Возвращение собаки это спасло бы... Конечно, мне не нужны его 100 гульденов, я страшно разволновалась и обещала ему собаку вернуть, если бы она вернулась. Оказалось, что за день до покупки Флопа, он, ее хозяин, сам распорядился отвести ее в приют, где по истечении 1—2 недельного срока их убивают. Я взяла ее в тот момент, когда она была «ничья», — день позже за ней уже явился патер. Я не жалела ничего, гоняла садовника по городу. Мы видели почти ежедневно несчастную горестную собаку, но взять себя она никому не позволяла. Я написала патеру, предлагая кому-нибудь из них приехать, т. к. Флоп бегает все в области вокзала. Они не явились. Но зато в субботу 19-го июля ее мне привел один бедный человек. Мама взяла собаку кормить, а я побежала за «наградой» для этого нищего. И не успела вернуться к нему, как собака снова умчалась, — развязалась плохо завязанная веревка. Она даже усилий не делала, не рвалась. Я была в отчаянии... Но маме был странный сон, еще до покупки собаки: она видела папу ([всегда] знаменательно!), меня и что-то еще, папа преобразился на ее глазах в какое-то другое духовное лицо, и когда приехал патер, то мама сказала: «вот точно так выглядел папа во сне!» Я была уверена, что собака придет, и что папа этого хочет. Для чего? Не знаю. 22-го нам надо было ехать в Гаагу, и идя по саду я ясно вижу Флопа, идущего к нам и кричу к дому: «мама, собачка идет!» Дохожу до того места, — никакой собаки... И тут же знала, что ее найду сейчас же! Подхожу к вокзалу: она спит на крыльце вокзала. Т. к. я этого «ждала», то подготовилась, что делать. Тут же в багажном от-

делении отрядила молодца с веревкой, дав адрес и обещав награду. Мне оставалось до поезда 2 минуты, я сама не могла задерживаться.

Флоп за эти дни привязался ко мне до трогательности и не отходит ни на шаг. Рвет каждого, кто подходит. И, думаю, съест прямо того, кто вздумал бы обидеть ее хозяйку. Патеру я написала, хоть и сквозь борьбу, — но вот 3 дня, а он не едет. И я не хочу уступать Флопа. Она скоро должна щениться. Подумай: они же явно ее хотели сбыть. В приюте ее убили бы очень скоро — велика для современных условий питания. Какая загадка! И как угадала я ее взять: ни днем раньше, ни днем позже ее бы я не нашла. Ее убегание спасло ее от приезда патера. Мы с ней неразлучны. Она идеальна во всех смыслах. Прекрасно дрессирована. Для моей хатки верный сторож! Я много работала. Несмотря ни на что. Обязательно, и скоро пришлю обложку к «Куликову полю». Это моя мечта. А теперь о деле: Жукович, обещал дать мне адрес одного крупного издателя в Швеции, который очень хочет издавать твое, *все*, что должно быть издано. Жуковичам я давала твои книги, они живут ими. Много говорила с ними о тебе и они знали мои некоторые стремления относительно приискания издателей. На Константина Тарасовича прямо «навело» такого человека в Гааге. Он — издатель — от тебя в восторге. Безумно хочет издать II часть «Путей». Только одно: печатать по новой орфографии. Я поникла. Знаю, как ты к этому отнесешься. Издатель не с советской стороны, но говорит, что по старой орфографии почти невозможно, страшно затрудняет. Напиши, как твое мнение, и я тотчас же снесусь. Этому же издателю, не называя имени, К[онстантин] Т[арасович] закинул и про меня. Тот очень заинтересовался. У меня готовится к машинке один рассказ, первый из серии на одну и ту же тему. Недурно, как будто. Пришлю тебе, как перепишу[641]. Его, кроме мамы, никто не знает. Грустный, конечно. Горестный. Пришлю, как будет переписан. Когда приеду (очень хочу!), — не знаю. В сентябре будет свадьба брата Арнольда (решился на безумие!), — неловко будет не быть, — вернее неразумно, т. к. за ними тоже надо «следить» и не выпустить своих карт. Они на многое посягают и могут невыгодно вывернуть мое отсутствие. А так, по чувству, с наслаждением бы не пошла.

У нас все еще неустройство — все еще перетасовка с вещами — требухой и старьевщиной. Устала я очень. Вот и твори в такой обстановке.

Дорогой мой, любимый друг, ты мне светишь и поддерживаешь дух! Не забывай же и письмами. Я не писала долго

от невероятной трепки. Поверь, голубчик! Ответь не медля об издании и обязательно о размере обложки и страниц. Я же жду!

Обнимаю тебя, мое сердце.

Всегда твоя Оля

P. S. Вторую сучку (3-х месяцев) привела мне моя Tilly позавчера. Дивный, породистый «волк» бельгийский. Но Флоп ревнует. Я передала «Дружка» Сереже и маме на воспитание, а то Флоп ее кусает. Я не смею его тронуть ласково.

Ты не мог бы спросить M-me Бернацкую, в принципе, не возьмет ли она меня квартиранткой за плату осенью?

596

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VIII.47

Жарища. Тот же «зуд», 16-й месяц!.. Превозмогаю... (Нет помощи, а я знаю: это раздражение поверхностного [нерва] округ правого глаза, на лбу и у носа, следующим может быть рожистое воспаление!)

Дорогая моя Ольгуночка... Много надо сказать тебе, — досадно, что письмом только! Но, по порядку... Счастлив, что розы сердцем приняла, — просил комиссионный магазин — «лучших, красных!..» А ты — и радостная — «огорчилась»? На потраченные гро-ши-то!.. Ах, ты..! Да, получила мое письмо ко Дню Ольги?.. дошло? А бедная посылочка? Дошла? Отпиши. Спешил, собрал, что под рукой было — «случайное». Теперь надо и посылки открывать на почте. Оказалось на несколько грамм свыше кило, пришлось отломить от плитки шоколада. Дошло ли? Очень спешил, послал 18-го, как и заказ на цветы.

Любопытна «история с собачкой»... — что-то из Эдгара По, — «собака Баскервилей»[642]. [Нет], конечно. Кажется, — будет «продолжение»... — Шведское издательство? Со-мнительно это... но могу быть лишь признателен К. Т. Жуковичу. Читатели мои? Хорошо. Сколько их! и сколько вновь открывается! Не обольщаюсь, а благодарю Бога. З л о г о и соблазнительного не вливаю в души. О русском издательстве — да еще в Голландии! — и не думаю, — у меня здесь все может быть издано, только ничего не решаю. Пошла корректура «Лета Господня». На 2 часть «Путей» много охотников — не решил, хочу провести через газету... «Куликово поле» хоть сейчас в набор, решено. Как и «Богомолье», и переиздание «Солнца мерт-

вых». Почтила (читатели!) Америка, получил на днях свыше 20 тысяч — так — gratis[i].

Страшился писать рассказик «Еловые лапы»... — в память преподобного Серафима. Это увеличивало душевную подавленность. 21-го июля — послав тебе письмо, встряхнулся: пора! — 1 августа — па-мять! Преодолел... — о, как казалось трудным! Дать главное, — в 300 строках. Дать свет Преподобного и свет православной русской души. Не сорваться, не возмутиться духом... — дать поклонение Святому... и где же?! — в их «музее»! Я взял — исторический случай, данный мне в десятке слов. Только — верю! — помощию Его мог одолеть. Так и почувствовал, в сладко согретом сердце. Суди сама, как трудно было, и технически! Я-то знаю... Я сделал в 2—3 вариантах. Напечатано в № 16 «Русской мысли», от 2 августа, но газета была готова вечером 1 августа — 19 июля, — в день памяти... Авионом пошло в монастырь под Нью-Йорк, в «Православную Русь»[643]. Может быть, ты не прочтешь..? Постарайся достать. Я не посылаю «Русской мысли»: ты ее отвергла, — кчему же мне посылать, навязывать?! ... Я не серчаю, ты — свободна.

Но есть вопрос поважней... и я должен его решить... Но, предварительно, вот о чем... — много думается, часто думается об этом.

Хочу сказать тебе: благодарю Бога, что даровал мне радость — встретить тебя в жизни, на краю — пусть! — жизни... Я часто бывал недоволен, пенял на горькую участь, одиночество и пустоту... «остатка пути». Как это возмутительно-слепо — думать так и пенять! И я исправил в себе это «недовольство-горечь»: это — злой обман самого себя! Мне выпало редчайшее счастье, незаслуженное счастье — свет закатный! — встретить тебя! такую — чудесную! такую — необычайную!! Такую — любящую!!! ... такую сложную, богатую сердцем!.. — такую... мою девочку Ольгуну!.. Столько подарила мне ты, светлая моя!.. сколько было чудесных чувств и движений в моем сердце, в моей душе!.. Неблагодарный..! ... слепец!.. Я не стану раскрывать... ты знаешь, ты найдешь эти «искренние признанья» — во многих моих письмах. Ты много счастья дала мне... твоему Ванёку!.. много света и тепла — неизреченных. Благодарю, Господи! — за милость Твою... Ты так мне, порой, освещала мое во мне... — это неисследимо. Сто-лько я узнал жизни через тебя, через твое сердце, через твой разум!.. через твою ласку!.. Даже

[i] Даром (*фр.*).

во многом смятенном, безумном самом, в приезд твой... — сто-лько ты мне дала и душевного опыта, и — одарила... даже в самом тленном — о, именно — даже в... касании тебя... в этом странном — ! — сближении с тобой... Поверь, Ольгуночка... я пишу сейчас и — трепет, сладостный и светлый трепет меня берет... О, это утро 9 июня! утро твоего Дня рождения!.. утро Святой Троицы!.. — эти цветы — !.. — нет, до сего... прохладная, и «хладная» (и — жгучая!) моя рыбка... — сча-стье какое, свежесть, — да, и в сердце свежесть!.. — и я так — чувствовал! — так любил тебя, светлый ангел!.. — это был — для меня — чистый миг! — как и для тебя. Я держал тебя, всю, открывшуюся мне... так мне доверившуюся, так — отдавшуюся!.. Ты же вот в тот миг... как-то не-по-земному... стала моей... да, моей женой, Оля!.. — пусть — душевно только... — и после, когда мы как бы — по-брачному — отпили теплого вина..! — ты помнишь?.. Как я все вижу!.. Ну, — одно слово: ты мне дала все, что только могла мне дать. Могла... И я благодарю за твой Дар, за — все, что было от тебя — мне. Так открыто, так щедро-безоглядно мне подаренное! Ты меня обогащала, Оля! И я... я всей душой отдавал тебе — все, что мог. В моих письмах — была вся моя душа, прямая и — больная часто. Высокая и — влачащаяся. И знаю: ты мне отпустила мои ошибки, мою тьму... Ты меня узнала всего, без закраски... — я был открыт тебе, как ты мне.

Дай же твои глаза, твои губы... твое лицо, чудесное... — столько в тебе светлого порыва и — чудесной огненности!.. Ты сверх-одарена. Так многогранна. Как ты богата, — сама не знаешь. Если бы говорить... — многое сказал бы. Довольно. Теперь мне легче, что высказался...

Вот, очень сложное... подумай, обдумай... выскажись... Я ничего еще не предрешил, но как-то все ведет к решению: не знаю пока — какому. Написал И. А.[644] — советуюсь. Разве мог не написать тебе?! Последние недели меня дергает — «не уехать ли в Америку»? Зачем..? Чтобы быть свободным — говорить полным голосом. Мне тесно, душно, тут. Но, — не менее главное: я почему-то жду, что тут может быть катаклизм... — ты понимаешь. Тучи сгустились... и в случае войны — здесь... перевернется! — очень возможно, и — может быть — нежданно. Тогда мы все — по [крайней мере мало-]мальски[i] активные эмигранты — будут испепелены. Ясно. Может быть — му-чи-тельно. И — в надругательствах.

[i] В оригинале: к. м. мальски .

Да, конечно, — после будет — через месяц-другой — обратный катаклизм... — но мы его уже не увидим. Странно: в эти дни «вопроса» — получаю приглашение из Америки — от одного духовного лица[645], — «скажите — да, и — все устроится», — «через “мецената”, вашего читателя, который почтет за счастье, без каких-либо обязательств с Вашей стороны... обеспечить Вам удобства для Вашей важной работы»... — «Пути Небесные». Я еще не решил, не отвечал. Говорить «полным голосом», — быть спокойным, быть в ограждении от злых «случайностей»... — большое искушение! Если бы свалить десяток годов с плеч!.. Но здесь... не найду сил — без «дерганий» — завершать незавершенное. Еще мне надо — высказаться — статьями — о «важнейшем»... и есть — где... — о жизни, о путях ее... — все, что дал мне мой нелегкий путь опыта... — как бы дать синтез... все мое — ныне — мироотношение! Как бы мой — завет. К чему я пришел. Много и других причин — искать «заводи». Хаос здесь... в материальном отношении — скоро станет мне не под силу: ты знаешь условия литературного заработка: они — случайны. Франк — смутен, все дико взвинчивается... — литературная работа в газете — почти бесплатная: за 4 месяца получить — ны-не! — три тысячи франков! Смешно. Но газета не может. Наш гонорар — лишь символика. Квартира уже теперь обходится в 26—30 тыс. Не хватит моих крох... Но всего не опишешь. Это, конечно, — второстепенное. Мно-го ли мне надо?! ... Главное — душевное равновесие. Вот, не решая — да или нет? — написал И. А. Пишу тебе. Неожиданно приходит, во время работы над «Еловыми лапами», — один священник: «И. С., едемте в Америку!» И через день — письмо — из монастыря, под Нью-Йорком: «Подумайте... скажите только — и немедленно начнется «“реализация” проекта». Пока не отвечаю. Предлагают и приличный гонорар... — «перспективы»... — издательские... Да, «Православная Русь» — растет. Просят главы «романа» (2 ч. «Путей»), по 5 тысяч за главку. Вспоминал «оцепенение» в Крыму, во время «последних дней», часов... — нерешительность наша тогда... онеменье... — как же за это заплачено!.. Страшусь — ну, повторится?! ... Не хочу думать... Скажешь — «страх»? Нет, тут больше страха... тут — мистический ужас, сверх-омерзение... — все равно, придется тогда уйти, своей волей. Ты понимаешь. Ждать этого?.. Нет. А все может вдруг случиться. И будет поздно. Не хватит сил — поехать? Предпочту обессилеть... — но *не* сдаться.

Бернацкая давно передала свою квартиру, и живет где-то при женском монастыре.

Итак, у тебя — «воспитанницы», собачки. Ми-лая моя... как я тебя чувствую!.. и как весь с тобой. Твоя Флой — ? Что это значит? — стала, конечно, вся за тебя! — будет беречь тебя. Как — странно — знаменательно! и — непонятно. Что это за «аббэ»?[i] Не пойму. Не отдавай «Флою» — ни за что. Сучки очень привязчивы. Очень верны. Очень чутки. С ними — будут хлопоты в период «течки» — июль и январь — кажется — и под твоей хаткой будет «ассамблея»... до уморы... — но ты все знаешь.

Что еще?.. Да, обложка («Куликово поле»)... Не хочу указывать, — но вдумайся, что я хотел дать этим ответственным рассказом. Одно помни: смысл обложки должен быть ясен, прост, скромен, — и — в духе — светлого «явления»...

Почему и не спешу... — не подписываю договор об издании с «Возрождением». «Лето Господне» — настоял — печатается по полной старой орфографии (идет корректура) — с «ъ» даже! Хоть «Имка-Пресс» и выговорила «по новой». Я перерешил, настоял. Иначе — просил нарушить договор.

Ольгуночка, дружок... как хотел бы увидеть тебя! Но вижу — так это — неисполнимо! А если случится уехать... — впрочем, какая же разница?! ... — «по воздуху» письма идут 2—3 дня. А моя душа — всегда с тобой. Вот — 70! Исполнилось 8 лет нашей «встречи»... Как ты заслонила от меня горы тревог, — томления, тоски, мук душевных! С тобой... — мелькали дни, и сколько их было — светло-светлых, уносило! Эта звериная полоса бойни..! — прошла сном... Правда, и часть жизни прошла — и незаметно будто, и так насыщенно!.. — Ты как бы по-слана была мне. Может быть — и я — тебе? Да, конечно. Я кажется, отдал тебе всю душу... временами... отдавал. Ты знаешь это. Как я пел тебя! тебе!.. Так не спою больше... Это был наш «медовый месяц», до-лгий месяц, странный и чудесный. У нас все неповторимо. И — благодарю, Господи, за Милость Твою!.. Оля, мы очень богаты... при всей этой «фантастике»! Мы воплотили в жизнь — сон! чудесый сон. Как же не благодарить?! ...

И. А. экстренно затребовал новый список — «Путей», часть 2 — «очень важно». Он не знает его, тебе только посылал. Но как обернулось «Куликово поле»! — ты и не представляешь. Оно очень — думаю — углубилось... — впрочем, не смею оценку делать... лишь — чувствую... Достань

---

[i] Аббат (*от фр. abbè*).

№ 9 — и 10 «Свободная мысль»[646], — знаешь, чай? — редактируется Мельгуновым. Надо все прочесть. Меня все это измучило. Спать не мог... — бедная Россия!.. И сколько еще ей..! ... Один Бог знает ее судьбы... Но я верю: ей суждено освятить человечество... и она готовится к этому своей «голгофоЙ». Как бы хотел сказать о сем — полным голосом!.. — и — обосновать. И все мое «кредо» — высказать. О — «самом важном». Оно лишь *чуть-чуть* затронуто в последней моей статье в «Русской мысли», в 14 № — «“Мисюсь” и “рыбий глаз”»[647], — о «путях жизни». Чуть, намек лишь... а я столько хочу сказать! и — так полно, и так... про-сто. Есть лишь — один путь, одна система жизни... — давно данный. Но это — почти необозримо... а ныне — так же ясно!.. Давно хотел о сем... — мой завет — русского писателя, — на склоне дней. Собрать в 8—10 статей[648] все, что образно разлито в художестве моем. Как бы — «катехизис», как бы «Верую»... — если бы!..

Ты веришь, ты знаешь крепко, что я люблю тебя, Оля. Чисто и — свято. Да, я — порой — и горячо, зе-мно, тебя люблю... — но это — другой я... я-«вообразивший», я — перекинувшийся за 11 лет, я — омолодившийся, и с силой моего вдохновенного воображения, до изменения физического состава... Нет, я чудесно-полно тебя люблю... душой, всем, лучшим в себе... Да, и верю в тебя, в твои возможности, и томлюсь, что часто недостает тебе воли — и уклада в бытии! — чтобы найти себя, но ты... все же — преодолеешь, хочу верить. И — благословляю тебя на проявление творческое — всего твоего дара. Это — трудная задача, но — исполнимая. Главное — найти «покой и волю». Не размениваться. И... не допускать — «хомутиков» и «упряжек», — «гости» — из этих «хомутиков», они — крадут человека, они его «меняют» на гроши. Творчество требует — затвора. Это — как Молитва... — если сознавать ответственность: иначе — так... забавка-игра... — да ты знаешь, как «приносили жертвы»: искусство, подлинное... — всегда — служение. Ах, какие глаза у тебя, и какое воображение!.. Ты — вся — ху-дожник. Такой — дана. И как ты богата... У Достоевского есть чудесный, незавершенный образец такой женщины-ребенка, — да, тебя! — это его Аглая в «Идиоте». И — ка-кой конец! Чехов — ясно! — дал чудесный набросочек очаровательного образа женщины-ребенка — «Мисюсь»... в «Доме с мезонином», — ну, как бы (ясно!) исходя из образа Аглаи... — у тебя много общего... — и как же у того и другого — «не задалось»! В нашей огромной литературе — нет

совершенного (завершенного!) образа — с е г о. Моя Дари — совсем (пока) не то... это лишь один из «образов»... — заметь, у Достоевского его Аглая[649] — в н е важнейшего! в н е — в е р ы, вне Бога! Но Бог — в ее душе, — уже! — в ее с е р д ц е... Как досадно, что Достоевский не дал — и дальше — «чистейшей прелести чистейший образец»!.. Может быть, в развитии «Путей»... — о т к р о е т с я в Дари..? — не знаю. Лишь ч т о -то мне намекает — может быть «встреча» с тобой — да и наверное! — меня уже наполнила, и э т о как-то «разрядится»?.. Даринька, ведь, то-лько р а с т е т... — Она должна в с я раскрыться... Я трепещу от предвкушений... — ну-ка — раскроется?! ... ну-ка — совладаю, получу п о м о щ ь — вдохновенье?! ... Какое бы счастье!.. и как бы... з а в е р ш и л с я путь мой!.. Но сейчас я не в силах... взяться за «дальше»... а че-го жду? уходят дни...

Как люблю тебя, Олюночка моя! — Сильной, полной, я с н о й душой. Как благодарю за с ч а с т ь е — встречи и твоей веры-открытости, доверия ко мне! Ты — не ошиблась: я не злоупотребил доверчивостью. Я благодарно принял. Господь с тобой, дитя. Целую. Ваня

[Приписка поверх текста:] Слава Богу, что могу высказать тебе все это: это — большая п р а в д а! И. Ш.

597

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[04.VIII.1947]

Мой дорогой Иван Сергеевич! Сегодня посылаю Вам этюд к «Куликову полю» — со старой обложки в несколько отделанном виде. Вчера просидела целый день, но, несмотря на это — недовольна. Того, что хотелось — не достигнуто. Я связана незнанием размеров книги. Это меня и сдерживает, и парализует и... нервирует крайне. Сообщите же!! Посылаю также и орнамент с птицами — на нем я набросала надписи с мыслью употребить его как заглавный лист, первый или второй после обложки. Мне лично этот орнамент очень нравится. Он бесспорно и внешне, и внутренне к р а с и в. О непонимании толпы могу только сказать, что и само «Куликово поле» — поймут далеко не все. А те, что его поймут, — примут и рисунок. Уверена. «Душой» работаю над еще одной вещью к «Куликову полю» — хотелось бы добиться. Если хотите, — могу сделать все тушью, — тогда недорого. Но такой рисунок, как с птицами, — лишать красок — это значило бы его обес-

кровить, лишить дыханья. Как только закончу следующий этюд — тотчас вышлю. Вы же подумайте над тем, что послала и окончательно сообщите Ваше желание и р а з м е - р ы!!!! Что Вы скажете об издании Вас у шведского издателя? Я могла бы с ним войти в контакт и многое «оговорить». II часть «Путей Небесных»? Он все берет, но с условием нового правописания. Адреса его еще не знаю, — Жукович* сообщит, как только Вы скажете, согласны или нет.

Господь да хранит Вас.

Ваша Оля

598

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.VIII.47

Дорогой Иван Сергеевич,

Я сделала большую ошибку — дала отправить Сереже акварели простым пакетом, не заказным. Побежала было вслед на почту, но как раз его уже отослали. Спросила чиновника, бывают ли случаи пропажи, — и он сказал, что бывают, хотя и нечасто. Я очень встревожена. Не нахожу места. Я не смогу повторить «птиц», — знаю, как и ничто, впрочем; — первый экземпляр всегда у меня остается неповторенным. Безумно будет жаль, если они пропадут. Не знаю, что на меня нашло за потемнение... Бывает «и на старуху проруха»... Очень прошу Вас, дорогой, — как только получите (если получите!), тотчас мне об этом сообщите! Если «птицы» и другое для Вас и не погодились бы, — то мне хотелось бы их просто сохранить для себя. Я люблю этих «птиц». Если получите, то пошлите их, дружок, обратно, не задержите. И заказным, пожалуйста. О, если бы они до Вас дошли! У меня появилась маленькая девочка (15 лет) в помощь по хозяйству. Я чуточку освобождена и каждую минутку урываю для рисованья и «литературы», если так можно назвать мои пробы пера. Обнимаю душевно. О.

[На полях:] От всего сердца спасибо Вам, родной, за дивную посылочку. Я наслаждаюсь ее содержимым!!!!

Высылаю новый этюд к «Куликову полю» сегодня—завтра.

---

* Ж[укович] плохого не посоветовал бы и с скверными людьми не стал бы о Вас говорить.

599

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VIII.47

Милая Олюша, как неправа ты, сводя все — к с е б е! До чего же это выпирает из твоего письма!.. И это на полную мою искренность, на мои два больших и каких же нежных письма! — 2 странички! Только и нашла сказать — одни упреки. Во всем. З а в с е.

Пишу о «самом важном», важном для меня и для судьбы моего духовного наследства... а ты — только о с е б е... Грустно мне стало, горестно.

Нет, я ждал от тебя — если не «совета», то хоть ответа по существу... Потому и писал тебе. Я верю в твою особливую чуткость... — и мне н у ж н о было тебя услышать. Ты — в сущности — прошла м и м о.

Ч т о может изменить для нас мой перелом? — Ровно ничего. За 8 лет мы раз только свиделись... — и — по-пусту! ты это отлично знаешь. И н е я был причиной этого «по-пусту». Что же меняет возможный мой... «отъезд»? Ровно ничего. Как пишет, например, И. А.: «Атлантический океан не может разделить нас»[650]. Тоже и меня с тобой. И потом: не навсегда же я могу уехать?! Может быть, на год? — до «выяснения». Думаешь — сладко мне? Это лишь осторожность... не «бегство», а мера, диктуемая вглядыванием в разворачивающиеся события... Исход — для меня — может быть роковым, если обстоятельства обернутся молниеносно и непредвиденно. Этим и объясняется — «да» — высказанное теми, кому я мог довериться. Я вполне, — и в большей степени доверяю тебе. И ты — н и с л о в а: ты в с е закрыла собой. Вчитайся в мои письма...

Ну, не высказывайся... ты почти уже сказала — нннет..? Но ты представь это «вдруг», в случае войны. Тогда Paris — будет адом — это общее убеждение: может быть переворот, «хлопанье дверями»: не можешь же ты желать, чтобы меня «взяли»?! А с этим надо считаться: в здешних условиях, ныне, мне д у ш н о молчать. Не увидимся? Захотим — увидимся. Если я поеду, то только avion'ом: я не переношу морской болезни — 5—6 суток. А ты... — только захоти — и через день — у монастыря. Буду говорить и американцам, и канадцам. Сейчас в моем распоряжении до... 180 тысяч французских франков. А там — сколько, публичных выступлений!.. — пока есть силы... Там у меня есть друзья. Не думаю жить *в* обители. Мечта увидеть Аляску!.. Я обязан остаться верным всему тому, чему служил.

Мне стало горько от письма твоего. Какую «отповедь» отыскала ты в моих письмах —? в чем? — укажи. Мне нужен вольный воздух. Мне нужно досказать: здесь я бессилен. Как же легко отнеслась ты к самому важному, все сведя — к себе! К оби-де... Этого не ждал.

Чем И. А. — «злой гений»? Что он любит меня и бережет? что он в самые трудные дни — так дружески протягивал мне руку поддержки, всяческой? Как неблагодарна ему за это — ты, мне столь близкая! Ты многого не представляешь себе. Конечно, я не «бесприданница»... у меня достанет средств личных на перемену... даже на первые месяцы жизни там. Мои гонорары останутся при мне. Но я обязан распорядиться разумно — по сердцу мне! — своим наследством. Ты не знаешь всего, моих планов: и в новом распоряжении никак не изменяется мое отношение к тебе. Ты должна остаться участницей — и еще в бо-льшей степени! — в судьбе моего наследства: я лишь с облегчением нашел путь лучший... достойный моей цели: отдать дорогое свое на цель чистую, — на просвещение и помощь. Ив — весь во власти чужих. Что ему — заветное мое! — на чрево? Ведь «Лето Господне» и «Богомолье» — если откроется наша Россия — могут давать... огромные средства! Это я — знаю. Во-имя моих отшедших... — я должен сделать достойное распоряжение. Разве это тебя исключает, обижает?! ... Вдумайся...

«Пепелище красивого Храма»? А кто же его сжигает? Я его строю... хочу до-строить. Ты отказываешься понять меня и помогать мне.

«Все у меня ушло»? От-ку-да это?! что за скороспешный вывод? сугубо — личный! Вдумайся... Твое письмо явилось для меня — неожиданным. И — болезненным.

Зачем укоряешь, что не вчитываюсь в твои письма? Конечно, я понял, что, в конце концов, сводится к русскому изданию в Швеции. Не странно ли это. Почему — в Швеции?.. — где русских читателей — горсточка. Да издателей — по-русски — у меня довольно: многие хотят, но я не решаюсь. Довольно, что «Лето Господне» набирается. Придет черед.

Посылаю завтра твои «этюды». Вот — заключение. Эта «терракотовая» окраска — не соответствует белизне «Куликова поля». Заглавие надо — ниже, словно оно теснит «Лавру». Рамка — колосья — дана очень стянуто, будто — канатик: колосьям тесно. Не лучше ли ограничиться изображением — двух — ясных и свободно дышащих колосьев — ржи, пшеницы или — может быть лучше ячменя? На свободном поле, где теперь — пустовато, можно дать

виньетку... это уже ты реши. «Птицы» — скорей тема «Неупиваемой чаши», чем «Куликова поля». Ты не находишь?.. Вот, что могу сказать по совести. Но дело неспешно, у тебя достанет воли и души. Иллюстрировать «Куликово поле» — никому не поручу. Только — обложку нужно. Слишком дорого, а я хочу для книги доступность. Зачем ты так отчужденно отозвалась на мои откровения?! ... Вдумайся, вчитайся... и — забудь себя. Тени мысли не было отходить... — всегда с тобой. А тут — ... Да разве ты не вняла, как писал тебе о счастье, о радости встречи с тобой?! о благодарении Богу! Горько, Оля... Больше нет сил писать... — разве — когда выяснится все. Твой, огорченный, Ваня

600

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VIII.47 Вечер

Как несправедлива ты, Оля, ко мне, и как поспешна! Дело совсем не в денежных затруднениях. У меня есть на черный день, предстоят и получки... — достаточно это года на 2—3, — при полной безработице. Пойми: крайняя неустойчивость здесь, и надоело мне — здесь. Я хочу воли... а тут рот заткнут. Мне душно. Я обязан говорить полным голосом. Не злобу изливать, а правду отстаивать, как ее понимаю. Да и для спокойной работы я не чувствую спокойствия. Я — предчувствую. Тебе же — первой — будет больно, если меня удавят. Почему — разлука навсегда? Ты живешь в каких-нибудь 8—10 часах пути, всегда паспорт, и при этом ты вот 14 мес. — не хотела свидеться. Разлуку «навсегда» ты, ты — создаешь! Теперь — Америка — в суточном пути. Только. Причем тут — «навсегда»? Это не 19-й век.

Да и поездку хотел бы сделать этапами. Сперва уехать в Испанию. Но т. к. границы закрыты, — то: через Португалию. Надо только получить визу. Надеюсь, мне ее дадут, как писателю, для устройства литературных дел. Из Америки пока нет ответа, жду на днях.

Внимательно прочти оба мои письма. Равняю тебя с Ильиным? Нет, наши отношения — совсем иное. Кому как не тебе, написать мне о важном!..

И я написал, тотчас же, как мне было сделано предложение (26.VII). Тебе писал от 3.VIII. А И. А. — 29.VII, — за-

прос только, т. к. я ничего не решил. И лишь получив 2-ой avion из Америки и ответ (краткий) от И. А., — написал тебе, — почти решив. Только — «почти». Написал еще в Аргентину, одному испанцу-читателю[651]. И ты — ни слова. Ты возмущена... (!?) Как я отнимаю у тебя «доверие к литературной заботе»? Что ты удумала?! И какая моя «отповедь», «подводящая итоги нашему чувству»?! Ничего не понимаю. Помни одно: на меня точат ножи,.. моя даже спокойная работа в «Русской мысли», ее крепящая, — это всем ведомо, — стала тем поперек горла. Уйди я, — газета потеряет 50% подписки. Она это знает. И те это знают. Значит — что?! ... Ясно: не мытьем — так катаньем. Вот, почему меня приглашает Братство преп. Иова-Печатника. «Православная Русь» — мне по духу. Как и все их дело (вне церковного разделения!)

Я надеялся, что хоть в этом-то... в упрочении моего спокойствия для работы, ты примкнешь ко мне. И вот — все учитываешь — через себя, через свое.

Мои сердечные письма тебе ты назвала «золочением пилюли»!.. Господи, как ты несправедлива и жестка ко мне!.. Мое сердце пело тебе, одной тебе! Не больно мне, думаешь?.. Тут хоть слабая надежда — а м. б. и приедет...

Что делать... На что Юля... — ей будет очень тяжело, знаю. И она, вдумавшись, сказала: «да... кажется, ты прав... Мы с Иваном Ивановичем тоже, м. б. ... соберемся с духом... у-е-дем...»

Многие... бегут. Другие топчутся. Мне, м. б. и жить-то остается — год—два... Я — на нервах держусь... качусь, как пущенный пятак. Все случилось как-то странно... и — в связи моей работы над очерком «Еловые лапы». Сразу!

Пошло... письмо за письмом!..

И я предоставил решение на Волю Божию. Пусть, как-бы самотеком. Рваться не буду, но не буду и отмахиваться. А ты пишешь: «я онемела», — молчу.

Нет, ты не молчи, а — вду-майся! Чего добивается твой Ваня. Худого? Нет! благого. Я знаю, где и чем могу послужить — во-Имя. Я думал, что ты хоть в этом — признаешь мой путь достойным и правильным.

За меня никто не решает, ни «Карташев», ни З[еелер], ни Ильин. Я лишь всесторонне взвешивал. Твое слово — я ждал его! — было бы для меня особенно ценно. Но тут ты меня заместила — собой, увы! Подумай, Оля... Я не вынуждал тебя сказать: да. Только — ждал доводов. Ты отвернулась.

Ничего в с е г о у меня не ушло — к тебе. Как ты можешь т а к?! Упреки, упреки... когда мне необходимо полное равновесие.

Не навсегда ехать... — а до вопроса (решения): это должно быть очень с к о р о: м. б. 2—3 месяца.

Нет сил больше, устал. И опять разыгрался ulcere, — эти дни, — нарушил диету? Теперь — лучше. Но «зуд» все то же.

Об изданиях думать не хочется. Париж пустой, вакации... Жара. Истома. Со вторника начну выбирать [нансеновский паспорт]. Это возьмет с месяц.

Квартиру не брошу. Кто-нибудь верный — поселится, оплачивать. Поеду о-чень налегке: самое нужное из книг, рукописей. Письма сдам на хранение в архив, крепкий. Фонды мои (остатки) в швейцарском банке, в Chur. Там 1700 швейцарских франков и немного бумаг, с 38 г. Получил вчера отчет.

Это — т о л ь к о ты знаешь. Тебе и хотел бы п е р е д а т ь депозитную квитанцию. Эти 1700 состоят из неличных (1300), у И. А. моих (для меня) 100. У Candreia — гонорара около 300. Получить предстоит от издательств: 30 000 французских франков — остаток за «Лето Господне». До 50 тыс. за проданные права Италии и Испании («Пути» запрещены veto — духовной цензуры. Будут заменены). И еще — из Германии: за немецкое «Богомолье» и, м. б. за «Пути» (в переводе А. Лютера). За «Русскую мысль» не менее 10 тыс. Есть издатели на другие книги, но я пока д е р ж у. Твоих у меня, 2 билета бумажных по 100 и до 700 французских франков — кажется.

«Православная Русь» — хочет платить за отдельные главки II ч. «Путей» — по 3—5 тыс. франков. Очень хотят издать (здесь) «Богомолье», «Куликово поле» и II ч. «Путей»... — не даю, п о к а . Я хотел бы жить в Jordanville, неподалеку от монастыря, в хорошей русской семье. С уходом. На в о з д у х е!..

Хотел бы хоть год пожить — разумно, в работе над 3 ч. «Путей». З д е с ь н е м о г у начать. А все готово, как будто. З н а ю — к а к. Молюсь. М. б. преп. Серафим укрепит.

Помолись обо мне. Не надумывай. Я — видит Бог — благодарю Его за посл[анное] мне счастье. Пусть — отсвет счастья. Благодарю за тебя. А ты... — «золотить пи-лю-лю!»

За-чем?! Хоть в этом-то поверь, пойми!.. О-ля!..

Ну, Голубка, успокойся и меня ободри. Ты, твое сердце — так н у ж н ы мне!

Не один я поеду, если поеду: с моими... и с тобой. Всегда — з д е с ь — с тобой.

Целую. Ваня

601

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.VIII.47

Дорогой Ванечка, третьего дня послала тебе посылку — так, всякую ерунду, то, что могла собрать без «тикеток» и то, что разрешили. Главное хлебное, но думаю, что сухари придут в виде трухи. Удалось найти очень доброкачественные, белые и другие заказала сделать из хлебов, которые получаем мы тут, — тоже из хорошей муки без примесей. Овсянки скопила, — ее тебе полезно и скоро варить, пакеты хорошенько освободи и пересыпли, — ты увидишь, что это надо так. Масла не послала, т. к. все бы растеклось. Сало, если его сварить, то наверное сам сможешь кушать, а то перемени на другой жир. Пакеты с манным пудингом обязательно оставь себе и кушай: легко, полезно и очень вкусно. Я часто их варю. И скоро! Кекс тоже для тебя, и только для тебя! Авось, все и дойдет, — не украдут!

В твоих письмах ты не прав в оценке моих побуждений.

Я именно не могу ничего тебе советовать. Я же ровно ничего из вашей обстановки не знаю. И т. к. кроме ощущений, исходящих из сердца я не чувствую, то и о п а с а л а с ь быть увлекомой этими личными чувствами, а потому и воздерживалась. Тут никакого «заслонения тебя собой» нет. Мыслей же по всему этому делу у меня тьма, но их только устно можно было бы изложить... Понятно, если тебе предстоит такая перспектива, какую ты видишь, то разве могут быть сомнения?! Не такой же я эгоист!

А что мне больно тебя знать за океаном, — так это же понятно! Приехать, и тем более прилететь туда я не смогу. Свои-то условия я ведь тоже знаю! Начать с того, что у меня физическое отвращение ко всему тому американскому «китчу-жизни», органическое сопротивление против перелета, — всегда бывшее и невозможность, наконец, материальная. Если мне для Парижа не достать «девиз», то что же говорить об Америке? Языка не знаю и никогда не осилю (видимо, в силу того же отвращения), принималась его 3 раза учить, — и кончилось тем, что даже читать не научилась. Материализм всяческий мне всегда претил, но американская подмена души долларом, — о м е р з и т е л ь н а! Собрав все мои ресурсы воедино, я бы все же не имела возможности лететь. Да никогда бы и не получила разрешения на выбор из кассы денег, т. к. почти все у меня под блокадой. В Голландии же все еще эти

меры! Потому и писала, что «не всегда». Теперь поймешь? Но поезжай с Богом, если это необходимо. Я не дура и не эгоистка, чтобы не понять тебя.

«Куликово поле» давно у меня готово, 5-го авг., — как раз начались роды у Флопы. Но нет охоты слать. Почему? — Сама не пойму. Мама удивилась на днях: «да разве ты не послала? Это же самое лучшее!» — А я не решаюсь. Я задергана и измучена... Всем. Не думаю, что соберусь в Париж. Это почти невозможно. В Hôtel'е я не могу остаться на приличное время, при условии тех цен, о которых знаю, а ехать на 1 неделю не стоит, да и сил не достанет. Хлопотала о деньгах тут, но ничего не вышло. Ехать так, как в прошлом году — бегать по кофейным, чтобы в предпоследний день наконец-то разменять — нет! Ни у Первушиной, ни у Бернацкой мне нельзя остановиться, у Шлюссер — не хочется. Я страшно себя в прошлом году надорвала Парижем. И нужно ли это проделывать еще раз?? Но иногда, когда моя душа горит всем тем, что бы тебе сказать хотела, — думается, что даже на 1—2 дня стоило бы тебя увидеть. И тогда начинаю собираться. Но у тебя вечный народ, «базар», при котором и часа с тобой не посидеть спокойно. В Вурдене масса дела. У мужа много занятий на «курсах плодового сада», — как раз выпускные экзамены, а у нас: мама, Сережа и я — глаз и рук, и... нервов не хватает на борьбу с воровством огромного масштаба. Дела столько, что не стоит и описывать. Ни ты, и ни единая из ваших парижских дам никогда не поймет. Имение большое, прекрасное и... запущенное. Сущий рай, а потому грешно смотреть бездейственно на его разрушение. Кой-кто просили взять их ребят на «работы» для отдыха. Не хотела, противилась. Устала я. Но все же взяла девочку. Она вместе с моей помощницей (14-тилетней «Тосей») собирают паданицу, которой как ковром усеяно все пространство. Жара и засуха виной тому. Они же следят за «пришельцами», — типами всякого рода, урывающими минутку возможности для кражи. С субботы в нашем парке отделом полиции будут обучаться 6 полицейских собак.

В благодарность за предоставленное место, обучат наших собак тоже. У Флопы было всего — 11 штук, а не 10. Оставила 5. Люди советуют больше завести себе собак и расставить всюду будки. Не знаю. С ними тоже много дела. Особенно с Флопиной любовью ко мне. Она не отходит и даже убегает от ребят. Уже ранним утром является к постели и лижет куда попало, суя свою лапу мне в руку. Чудный пес! С квартирным вопросом мы ни с места. Адвокат — дрянь! Жукович бомбардирует меня открытками об издателе в Швеции,

а я не знаю, что ответить. Это русский человек, издано было бы или в Швеции или в Голландии, но не только для этих стран, конечно. Условие: новое правописание. На основании твоих слов о сем последнем вопросе, — я откажу Жуковичу. Ты же не пойдешь на это. Мне тоже противна новая орфография, но, увы, — она укоренилась уже. И там — читают именно только так. Всюду ломают речь. У Бредиусов готовятся к свадьбе. Вчера новая чета делали мне визит. Нет ни времени, ни охоты. Надо платье, туфли, шляпу, — все для выхода, а это так трудно. Ничего приличного не найти и все дико дорого. На один день! Ведь больше я никуда не выхожу! Впрочем, была в поле на открытом концерте (музыка и балет), в пользу вдов и сирот войны. Получила извещение от бургомистра того местечка, — видимо, мое имя фигурировало среди «импресарио» в связи с концертом Жуковича. Было больше чем дивно! Неописуемо! Все это в парке перед озером, заросшим лилиями, на островке, за кущей буков был знаменитейший голландский оркестр, и лампочки от пюпитров, точно светлячки блестели то тут, то там. Балет на плавучей сцене, — нечто обаятельное. Известнейшая балерина.

Я была рада, что дала себя уговорить и поехала. Это — на всю жизнь воспоминание. Мендельсон, и Моцарт, и Дебюсси... в такой волшебной обстановке. А впрочем, всякий вечер я также зачарованно смотрю и на наши пруды и звезды...

Как можно до такой степени красивое создать почти в самом городе?! И тишина...

[На полях:] Этюды еще не пришли.

Чувствую себя неважно. Милый д-р К[ликенберг] уехал в Швейцарию его не видела месяцы. Все дела, дела, а лето-то и ушло, пролетело!

Обнимаю тебя, Ванёчек, очень нежно и крещу. Не ворчи, — ты не прав. Оля

602

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.VIII.47

Ванюша — светик, дорогой мой, спасибо тебе за гостинец с Ю[рием] Ф[едоровичем]! Но зачем ты это?! Себя лишаешь, а у меня же все есть! Получила и рисунки, но Ю[рия] Ф[едоровича] самого еще не видала, — жду. О своей жизни и не пишу, — она так волнительна, так запутана паутиной мерзости, что скучно и писать. Воровство, обман, мор и ис-

тязание скота, доносы со стороны рабочего, и ни единого человека, на которого можно положиться. Вся атмосфера не похожа на Schalkwijk. Там были к нам все расположены и приветливы. А тут — каждый ставит свою рогатку.

Но, авось, — распутается. Урываю минуты и рисую. Писать труднее в такой обстановке. Шведский издатель запрашивает Жуковича о моих рассказах, а я и не поняла, что обо мне это уже пошла речь у них, и запросы К. Т. Ж[уковича] «что же с изданием?» относила на твой счет и ответила: «я уже писала Вам, что И. С. не согласен на новую орфографию». Мама ездила 28-го в Гаагу, и Жуковичи ее донимали, почему я упорствую. Думаю для начала дать почти отделанный рассказ «Благодетели». Или м. б. начну «За белой ширмой»[652]. Это должна быть серия больничных рассказов, выводящих нравы западных врачей и пациентов, т. е. людей (последних), у которых душа обычно более обнажена, чем у здоровых. Несколько мотивов уже почти готовы. И все они имеют одно задание, как и все мое устремление в писании. Одна мечта. Не знаю, что выйдет. Хочу наичестнейшее и от всего сердца. Получила на днях письмо от Катениной, которой посылала перепечатанный мной твой рассказ «Преображенец»[653]. Она в исступленном восторге, хотя его знает почти наизусть. Меня очень толкает на писание, а также чудесный батюшка о. Михаил Родзюк[654] просит исповедоваться, приобщиться и с Божьей помощью садиться писать. И как же хочу! И вот такая собачья кутерьма. Жукович чего-то маме наговорил о моих «талантах», рисунок (ему к именинам пустячок набросала на поздравлении) показывал тому же издателю, и будто тот в восторге.

Получил ли ты посылку? Завтра пошлю последний набросок к «Куликову полю». Больше ничего не могу. Если не понравится, то я кончу, т. к. ничего не смогу больше дать. Так вижу, — иначе трудно. Значит, не хватает у меня на лучшее пороху. Подсунулась еще свадьба Кеса. Теперь еще на примерки платья надо ездить в Утрехт. Почти невероятно было найти «большое», вечернее платье. Но если удастся, то будет Ольгуна взаправской «дамой». Василькового цвета, с огромными «риверами» в виде крыльев в верхнем конце, крем с золотом. Сзади трен. Рукав: манжета узкая-узкая почти до локтя (а сверху очень широкий) и тоже расшита золотым шнуром. Парижская модель. На голове «шапочка-букет» — сплошь цветы и вуаль. Пишу так подробно, т. к. знаю, что все такое ты и понимаешь, и любишь. Мы поедем в первой карете за четой, как самые почетные гости, — надо было хороший туалет. Но все это — «суета сует». И... тлен. Но чудно у нас

в «Batenstein'e». Сказка. Рай. Я не могу насытиться, и каждый миг душа полна этой красотой. Для творчества чудесная обстановка. И вот — рвачка. Живу в зеленом «уединении», казалось бы. В раю. Сколько птиц! Зверюшек. Всего, всего. Сейчас ночь. Кричат утки, они всюду в зарослях на прудах, которых тут 5, и еще миленький полузаросший для уток специально. Луна во всю свою круглоту. Пруд перед домом как во сне. И целая поляна цветов, моих цветов. Сама садила. Пестрые, всякие. Гирьками висят груши, ломят ветви. Яблоки наливаются, щечки румянят. А сливы... Подернутые синеватым туманцем рдеют и манят. В пятницу молотьба. Трудный день. Вот сейчас кричат кибицы[i], — их масса. Сад живет своей таинственной ночной жизнью. И сколько звуков, «вздохов», шорохов каких-то. Флоп моя — душка. Хотя недавно задушила курицу. Наказанная, будет, кажется, остерегаться. Ребята ее прелестны. Другой псеныш тоже очарователен в своем детстве. Оба привязаны до трогательности и умиления. Я их очень люблю. Флопка обожает, когда я играю на рояле, с восторгом вскакивает мне на плечи и "целует" в щеку. А потом ложится на ноги и смотрит умными, редко-красивыми глазами, пока не кончу. Когда кормит ребят, — я должна быть тут же, — иначе вскочит и убежит за мной, а малыши так и повиснут на ее полных сосках. Вот расписалась... Ванёк, как же у тебя? Ты так давно молчишь! Обнимаю тебя нежно. Оля

[На полях:] Напиши же, милый! Как ты????

Модистка в салоне сказала, между прочим, что я могла бы быть манекеном для более «полных» размеров. Все там восторгались платьем.

603

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.IX.47[ii]

Дорогой Ванечка, ты совсем меня покинул. Дошла ли моя посылка? И рисунок?

От Юрия слышала, что ты донельзя исхудал, и очень встревожена. У тебя, конечно, масса трепки нервами в связи с планами. Юрию Федоровичу ты рассказал? Он первое, что сообщил мне, это о твоей поездке. Я предупредила его не да-

---

[i] Пигалица (*нем.*).

[ii] В оригинале описка: 8.VIII.47.

вать большой огласки. Не могу вообразить, что это произойдет. Не могу свыкнуться.

Ты, наверное, и работать не можешь теперь в суете? Я почти не сажусь. Дела тьма. О, какая масса суеты. И все это неминуемо и необходимо. До хатки своей не дорваться.

Жукович торопит меня дать что-нибудь в издание. И сегодня пишет маме[655]: «чувствую из Вашего письма, какая у Вас суета сует, и О[льга] А[лександровна], видимо, варится в этом соку целиком. Ей же, нашей Музе надо бы иное варить и других скорее начать питать». Мама не по годам много работает, милая, все хочет освободить меня. Душа моя рвется в Париж, но не думаю, что раньше конца октября смогу выбраться. Когда ты думаешь ехать? И неужели это будет фактом? Мы так и не просмотрим с тобой сообща нашу переписку? Читаю в газетах, какими делами ворочает мой, когда-то застенчивый и робкий мальчик, — George Kennan. Теперь — это большая шишка. Ты читал? Он, как выразился голландский корреспондент, — «“мозги” американской политики». Кто бы тогда это мог думать. Хотя он был и тогда уже выдающимся и очень талантливым.

Рисую наш сад с прудом, кусочек малюсенький сада. Но как-то не по душевной тяге. В данный момент меня занимают другие сюжеты. Масса всего, а времени нет. Вечерами я устаю и не могу ничего делать. Идти спать рано, а делать ничего не могу. Чуть-чуть было не взяла ребенка 11 месяцев на воспитание. Мне все-таки это[го] так не достает в жизни. И думаю, что возьму все же. Работе это не помешает. Я обожаю детей. У Флопки чудесные ребята. Надо раздавать, а жалко. Бегают уже. Хватают за ноги и начинают подпрыгивать. А она все время со мной и кормит деток только пока я стою рядом. Стоит мне шевельнуться, как она помчится, а детеныши так на сосках и повиснут. Если я ей не позволяю слишком на себя вешаться, то она, вздохнув, ляжет около стула, и если это в спальне, — то начнет лизать под стулом стоящие мои туфли! Милая такая. А глаза — красота. Ну, довольно о сем! Напиши же, Ванюша, мне так тоскливо! Целую. Оля

604

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IX.47

Совсем я разбился, дорогая Олюша: нет охоты писать, нет воли думать. Этим и объясняй долгое мое молчание. Крайняя подавленность, как было в... 16-м году, в канун в с е г о,

когда стали томить предчувствия. Сделай поправку на время: за эти 30 лет ско-лько утра-чено, — не прежние силы сопротивления, — устал. За это время я сделал более трех четвертей моей работы! Вот и понятно, почему я устал. И потому, может быть, все представляется мне — безнадежным... И эти 17 месяцев странного недуга: ни малейшего улучшения, едва выдерживаю. Последний доктор, — кажется, опытный, ученик профессора Захарьина, определил: это от сильного переутомления, или — от... потрясения, «шока»..? — «это не следствие “рожистого воспаления”, которого у вас не было, это — невралгия кожных нервов». Лечение? Оставьте все «мази», — надо полный отдых... надо укрепить нервную систему. Вам, при юльсер, нельзя кали-бромати, раздражает слизистые оболочки... вот, пропишу пока питье — стронций-бромат... — никакого результата! — «надо бы вам “спермин д-ра Пэля”, но его трудно достать из Германии. У вас в крови недостаток спермина. А это было бы верное средство для излечения! или — для укрепления». Он прав: когда-то, в 30-х годах я принимал «спермин Пэля...» — очень меня укрепило. Но как достать?.. Никакие гомеопаты — ни-чего! А мне нужно поднять размолотившиеся нервы... — у меня пропала всякая охота что-нибудь делать. Полное... безволие. И всюду — мрак. Знаю: спермин помог бы, но во Франции его нет, — так сказал доктор, который и для себя искал «укрепляющего». И самая мысль — уехать — гаснет. А, все равно. От себя не уедешь.

Спасибо, дружок, за твою посылку. Она обильная, и я прошу, очень прошу, больше не шли! — ни к чему мне, ей-ей! Кекс еще и нетронут, (почти половинка цела). Сыр понемногу ел. А «каши» — нет охоты, да и не знаю, как делать «пудинг» из «Кромми» — ванильсмарк[i]. Как, скажи. Сделай для меня, не посылай. И цветочков не посылай, ко Дню... а лучше помоги сироткам... во-имя наше! Что же питать голландских и французских торговцев?! А я и без цветов знаю, что ты помнишь Ваню...

Получил твой этюд для обложки. Он хорош, только не надо ни «богомольца» перед Лаврой, ни — внизу — всадника. Думал — думал, и решил — не делать «обложки», а дать просто, безо всего. Так лучше соответствует строгости и простоте сказа... И еще не решил, где и когда буду издавать. Издать готовы и в Париже, и в монастыре. Но я не решаю, почему-то. Замучила меня корректура «Лета Господня» — масса опечаток! Ведь больше 400 страниц! А я изнемог.

---

[i] Ванильный (*от нем. Vanillesmarke*).

Едва нахожу волю давать этюдики для газеты... ты не читаешь? Дал — «Еловые лапы», еще — «Бескрестный Лазарь»... — печатают это и в «Православной Руси», в Америке, которая хорошо идет. Нет у меня воли-силы ходить по канцеляриям, выправлять паспорт Нансена и визы... стоять в хвостах! Многие отъезжают. Американскую визу обещали... но я ничего не ускоряю... — ничего не решил. На твой приезд не надеюсь. Да, Ж. Кеннан — высоко назначен[656]. Может быть — так и надо: он, кажется, знает многое, — Россию знает, и — что есть — советчина! Но он и американец... Какой же у тебя «случай», если бы тебе пришлось чего-нибудь добиваться — визы в Америку? Да ты никуда не двинешься. Мне вряд ли дадут постоянную визу, квота закрыта. А туристическая — на полгода, с правом возобновления, а там — уезжай. Хоть я и писатель, и антибольшевик, и книги мои издавались и в Америке. Да и денег мало... Монастырь обещает купить мне «домик», готовый... — но мне и это безразлично, словно мне и жить остается... пустяк. Оля, я очень устал... недуг меня сокрушил. Я едва заставляю себя съесть-выпить каплю... — пора. Устал, Олюша... Очень хорошо этюд «шиповника» — ? Но почему такие «ягоды»? Можно оставить? Оля, прошу, напиши — в последний раз — твоему гомеопату, скажи: предполагают то-то и то-то... — мне нужно восстановить «нервную силу»! Я верю, потому что это будет — через тебя! Сама не езди, а только напиши. Я почему-то не хочу ехать к гомеопату княжны... — не верю! А ты сумеешь все объяснить. Не удастся ли тебе через берлинскую мою читательницу достать «спермин Пэля»? Я все уплачу, напишу в Мюнхен, Земмеринг. Да, «Пути Небесные» — пишет д-р Лютер, — взяты берлинским издательством[657], перевод давно ждет. «Богомолье» тоже взято[658], другим издательством. Публичная библиотека в Нью-Йорке, через заведующую русским отделом просит еще комплект моих книг, большой спрос читателей, но нет книг здесь, нигде, только «случайные». И у меня ничего не осталось, приходится публикацией просить экземпляр «Богомолья»! — для переиздания. Но у меня нет воли ни на что. Я — израсходовал все силы... — мне уже скучно и тяжело влачиться. Конечно, все это — переутомление. Я хотел бы — уйти. Но и на это не хватит сил... Что меня спасет от этого безволия..? Ты, Оля?! ... Но — как..? Пожалей меня, может быть, мне легче будет... я не могу и молиться... Ну, как — такому — куда-то... ехать?! ... А надо заканчивать... — да и на-до ли... ?! Все — безразлично. Таким ли я был лет пять тому? Даже — в твой

приезд? Когда такое состояние — я перестаю есть: отсюда и — исхудал... — да еще и язва отзывается... Но «спермин» помог бы... — знаю. «У вас в крови нет спермина!» — сказал доктор. Отсюда — и подавленность.

Не обижайся, Олюша, что надумал — без обложки. Право, трудно найти подходящее, — и не надо притязать. Тебя потормошил... — прости. Не кори. Не хочу, чтобы кто-то другой делал... — пусть — одно заглавие, на белом — черным. Или — зеленым?.. — лазурным?.. — посоветуй.

Господь с тобою. Нежно думаю о тебе, моя чудесная. Сколько света дала ты мне! — благодарю Господа. Отсчитываю для чего-то дни, влачусь. Я уже не нужен жизни. Я так устал...

Только сегодня, 16-го, вторник, заканчиваю: нет воли, чтобы размотаться, поехал 14-го на сутки в St-Remy (едва заставил себя!). Чуть отлежался, на воздухе, легче стало.

Оля, напиши г-же Катениной, может быть она найдет в Берлине Spermine д-ра Пэля, там до войны готовили. Мне очень помогало, поднимало силы. Если найдет, может быть не откажет написать M-me (Frau) R. Sömmering (Раисе Гавриловне Земмеринг) по адресу: 13b München 8 Havelstr. 10 I. Bavaria. Americ. Zona. Земмеринг не откажет выслать г. Катениной сколько-то марок, и та пошлет Spermine — Земмеринг. А я напишу Земмеринг: ей уплатит немецкое издательство, а [Земмеринг] найдет, может быть способ переслать лекарство мне. Видишь, как все сложно! Надо будет искать оказию в Париж. Я знаю, что Spermine мне поможет и от зуда, если это от переутомления. Ничего впереди не вижу, — надо себя приводить в порядок. Жара продолжается.

Господь с тобой. Помолись обо мне: так порой тяжело, бесцельно! Кажется: заснуть бы — и не проснуться. Убегаю от себя...

Твой Ваня

А столько набралось писем, — и деловых! — и еще масса корректуры — «Лето Господне» — завалило меня. А у меня — все мне безразлично: высшая степень неврастении! В.

605

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.IX.47

Дорогой Иван Сергеевич!

Давно мучает меня то, что не соберусь писать Вам — какая-то душевная усталость причиной тому. Я очень беспоко-

юсь и страдаю Вашей болезнью и состоянием Вашего духа, и сознание, что бессильна помочь Вам в этом, еще больше удручает. Давно я не чувствовала такого утомления, — ничего не могу и не хочу делать. Эта же усталость мешает и хлопотам для поездки в Париж. Останавливает и мысль, что негде мне будет приткнуться. Как жаль, что M-me Бернацкая не живет больше в ее очаровательной квартирке. Можно ли было бы достать комнату в Hôtel'е? Тогда я все же могла бы хоть на 1 неделю поехать. М. б. черкнете?! К лучшему, что Вы отклонили иллюстрации моего производства. Найдете лучших авторов! Я не в обиде. Жаль только убитого времени, — я все лето занималась только ими. Но и это — не беда. Ужасна Ваша болезнь. Не знаю, с чем явилась бы я к гомеопату: я до сих пор не знаю точного диагноза, а он и без того затрудняется помогать на отдалении. Мне больно, что отказываетесь от ничтожных посылок. Не знаю, как тогда отметить Ваш День рождения и Ангела?! Вы все отталкиваете. Скоро постараюсь писать, а сейчас крайне устала. Да хранит Вас Господь! Душевно Ваша О. Б[редиус]-С[убботина].

Ваше в газете читала. Но Вы-художник мне ближе.

606

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IX.47

Дорогая моя Олюшенька, получил твою хладную открытку. Ну вот, обиделась... А я не хотел обижать тебя: по долгом размышлении, вижу, что строгое «Куликово поле» лучше не снабжать красочной обложкой. И никому не поручу, — напрасно пишешь в укор, что найду «лучших авторов». А работать, как ты работала, только польза тебе. И твои райские птицы могут пойти в обложку к «Чаше». Тру-дно обрамлять «Куликово поле» — и я винюсь, что затруднил тебя. Верь мне, Олюша: мне было смутительно написать тебе, — будто я и впрямь злоупотребил твоим доверием. Ну, прости Ваню — бестолкового.

Да, что-то у меня неладно: анализ крови дал повышенное содержание протеинов — мочевины — 0,82 (грамм на литр), вместо 0,3—0,4. Отсюда, по мнению Крым, и «зуд». Не знаю... Мне делают уколы с «хофитоль»'ем, Chophytol — 12 пикюров[i], диета — ни мяса, ни яиц, ни рыбы... а там снова кровь возьмут. Отсюда, очевидно, и моя предельная подавленность,

---

[i] Уколы (*от фр. piqûre*).

которую я чуть избываю. Было уже 4 укола, в мышцы. Иван Александрович известил[659], что высылает авионом «спермин-Пеля», или адекватное. Только что узнал — Spermin Poel'я нет![i] Так что не пиши в Берлин. Обойдусь. Трудно достать оттуда. Еще указали очень замечательное средство от язвы, — это уже потом: тоже уколы, — средство рекомендуется немцами... дает замечательные результаты. Неоплялизин доктора Рикуар'а. Берется три четверти ампулы этого лекарства и в тот же шприц набирается четверть ампулы экстракта гепатик и панкретик, — 12 уколов, таким манером: три каждый день, 4 дня отдыха, и опять: следовать в течение 28 дней. Уверяют, что совершенно заживляет язву. Наш русский доктор, моих лет — 70, у которого была язва желудка, — он по кожным болезням, — сделал себе это лечение, узнав от немецкого врача, и вот, уже три года — ни малейшего намека на язву. Он давал это средство другим — и такие же результаты. Вот от одного, из вылечившихся этим средством, Юля узнала и сказала мне. Но трудно достать лекарство. Я был у доктора, и он — мой читатель — дал мне указания. Я уже достал эти средства, 2 коробки по 12 ампул, но начну уколы лишь после теперешнего лечения. Это же средство против рака и саркомы... — страшно даже писать.

Милая, я знаю, что я тебе ближе в других писаниях, но и то, что даю газете, — не на «задание» и никаких целей не преследует: я, просто, в более или менее художественной форме делюсь с читателем — живыми случаями, не выдумывая, а вливая в тесную форму. Таковы «Еловые лапы», таков и «Бескрестный Лазарь». И я ни на что не притязаю. Вот, на днях вынужден был написать — 1147—1947 — к 800-летию Москвы:[660] № 25 будет посвящен Москве. Все уклонились от трудной темы. Я не мог уклониться, сознавая ответственность. Дал — с в о е о Москве... Может быть, прочтешь. Газета растет, груды благодарственных писем каждый день, со всех концов мира. Одновременно — авионом — я даю некоторые очерки «Православной Руси» — в Америку. Журнал интересный, очень сильно растет, уже около 3 тысяч тиража. Новые читатели... И, знаешь, Олюша, ско-лько у меня читателей в Америке!.. Все новые открываются. «Лето Господне» — выйдет томом, в 3 частях — более 400 страниц — в ноябре. Правлю корректуру. Издательство «Имка» — «Эдитер Реюни» — связалось с издательством «Православной Руси», и моя книга пойдет в Америке — ее очень ждут. Мои книги — а их нет

[i] Приписка сделана позже, между строк.

в продаже, — требуют усиленно, заведующая русским отделом публичной библиотеки в Нью-Йорке. Запросила второй комплект моих книг, их ищут — хоть подержанные у букинистов. Моя задача, если буду в Америке, выступить с рядом лекций, на французском и английском языках — переведут, я разучу английское произношение. Конечно, и по-русски буду, и не только лекции, а и свое искусство. Бумаги начал выправлять. Визу в американском посольстве обещали в 2—3 недели. Уже собрано 300 долларов, и монастырь хочет купить для меня готовый домик с 2 комнатами, со всем комфортом, можно поставить — где угодно. От Франции я не отрываюсь, квартира останется, будет оплачиваться верными людьми-жильцами. Но все это лишь предположительно. Надо иметь готовыми все бумаги и заказать место на пароходе, или — аэроплане. Когда..? — не знаю. Возможно, что оттяну до весны, если не будет угрожающих событий. Меня зовут, как гостя, — и не только монастырь... Намечены и американские издательства... переведены «Про одну старуху» и «Каменный век». Я настаиваю на включении «На пеньках». Но все это — проекты. Может быть, переведут «Человека из ресторана» — его нет на английском языке. Отыскиваю прежнюю отличную переводчицу, которая жила в Ментоне.

Посылаю тебе газетное фото Ж. Кеннана. Что общего с моим Сережей?!! ... — ровно ничего, или такое отдаленное, что..? И эта трафаретная «веселость», эти «зубы», этот экранный — ! — «смех»! «Делайте веселое лицо»! — как, бывало, командовали жидки-фотографы в Крыму. У Сережи — светлые, чудесные глаза, а тут — темные и разрез совсем другой.

Не серчай, что писал о цветах... право же, милая, это никак не «отталкиваю»... нет, родная. Твоя, конечно, воля: мне всегда от тебя радостно получить привет, но подумай: лучше, во-имя Вани, помоги бедным... и мне это будет твой лучший привет... вот мое сердце, я не кривлюсь. Я очень тронут твоей заботой. Просил тебя — как варить пуддинг, ты не пишешь. А коробка ждет... я же не умею по-голландски. Теперь мое питание — молоко и кашки. Ни пирожных, где яйца, ни яиц, — а я так охотно ел одно утром! — ни ветчинки... а мясо я не ем месяцев 5.

Теперь о возможности твоего приезда. Это было бы — свет мне. Да. И ты была бы пай-девочка! И помни: никаких «глупостей» от меня не увидишь, ни услышишь, Ольга! Я уже не тот, не загорающийся, не взрывающийся... — и ты вполне спокойно можешь пристать у Вани... Даю тебе крепкое слово уважать твою чистоту и целомудрие! — клянусь тебе. Мы отдадим все духовные наши силы спокойному труду — о твор-

ческом. Я и тогда был готов к этому, но ты совсем этого не хотела... — не моя вина. Вдумайся — и согласишься. Отсюда — все. И моя болезнь, этот «шок» от внезапного твоего приезда, — наказание мне... Конечно, это в тесной связи с «припадком». Конечно, есть и привходящие причины... переутомление, может быть то же повышенное содержание протеинов в крови... Я же был здоров! И вдруг, ты приехала в пятницу 19 апреля, — я еще, чудак, поел твоего разогретого петуха, — и сразу почувствовал... — тошноту, но тебе не обмолвился. Хоть и проглотил-то всего кусочек. Заутреня, — и сразу!.. — жар, тошнота... Это — «нервное», это — потрясенность. Тебя не виню, конечно, но все — в связи с явлением Прекрасной. За сие и казнюсь. Кажется, что после 4 уколов у меня и почес уменьшился, сейчас — ни-чего! Может быть и оправлюсь...

Иного не придумаю, — т. к. отели дерут безбожно. Не смущайся, — Ваня будет — чистый... без тени помысла. Твое дело... верь — не верь. Полтора года что-нибудь значат... да еще таких — в страде. Я победил себя, и уже не принимаю на ночь, как делал года два—три, 1 сентиграмм[1] комприме гарденаля... — вот уже пять недель! А чайную ложку перед сном пасифлорин, безвредное, успокоительное. И сон — лучше.

Готовлюсь в — подвижники. И это надо. Надо завершить «Пути»... А потому — уехать в тишину. Тем более, что в 3 части все пойдет под сенью обители... Надо. А тут — тревожит все. Люди, слухи, — неопределенность. Если начнется война, здесь все зальют кровью... да, большевики. А война никак не исключена... ты же чувствуешь, как в мире? Быть или не быть — свободе. Я все учитываю... знаю, как трагично положение для России... и никак не могу радоваться, что кто-то будет освобождать. Важно для нас, чтобы сама освободилась. Но мы бессильны направлять события... — слишком круто замешано, слишком много упущено.

Целую, дорогая. Твой Ваня

607

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IX.47

Дорогой мой, неоцененный друг — Ванечка, от всего сердца шлю тебе мой привет ко дню рождения. И молю, и прошу Бога, чтобы и этот день, и последующие — многие-многие...

---

[1] Одна сотая грамма (*от фр. centigramme*).

дали тебе здоровье и покой душевный. Радость — сама придет, если будешь здоров и тих. Мне тревожно за тебя. Отчего у тебя повышенное наличие в крови мочевины? Это бывает при подагре. Я спрошу моего гомеопата. Мне он тоже что-то такое давал от этого. Какой доктор тебя исследует? Можно ли доверяться? M-lle Krymm я не очень доверяю. Так, — интуитивно, почему-то. Больно мне, если виной твоей болезни я же. Значит, не надо было приезжать. Удерживает что-то от поездки и теперь, хотя я хлопочу о «девизах». Spermin? Ты знаешь значение этого препарата? Мне как-то странно было читать о его рекомендации. Ведь его дают при изживании совершенно особого рода слабости. Само название показывает его назначение. Для чего нужно тебе взвинчивать эту сторону организма? И не думаю, чтобы это помогло тебе от зуда и т. п. Во всяком случае, справься, так ли это? Странный доктор. Но оговорюсь, — м. б. это новый способ, которого я не знаю. Но логически рассуждая: — к чему форсировать? Не думаю, чтобы подобные эксперименты привели организм в желаемое равновесие. Мне даже как-то неловко искать это средство. Всякому же известно, против чего оно в первую очередь. Прости, если я говорю как профан, и не понимаю; если я ошибаюсь.

Относительно «Куликова поля» я не обижена. Верни мне последний рисунок. Все это мне нужно. Шиповник вышел далеко не удачно. Послала его для «компании» «Куликову полю», чтобы не один листочек в трубочке трепался. Ягоды? Это же плоды шиповника. Здесь их едят в варенье и в уксусе... Очень вкусно. Вот их нормальная величина[i], а есть и больше. Но они плохо вышли... Бумаге 100 лет, какие-то пятна выступили, пришлось делать грубый фон. Рисование я оставила. Сейчас страшная суета. Масса визитеров. На той неделе ушла в хатку работать. Только что захлебнуться успела, — бежит моя девчушка: «барыня, к Вам гость...» Иду домой — оказалось, приехал из Лондона «дядюшка» один. Очень милый старичок. Ну, чай, ужин, то-се. В субботу едет автомобиль: другой «дядюшка» с тем же из Лондона, — на охоту за утками. Обед, чай, ужин. В перерыв еще визит инспектора полиции, затем в 5 часов еще визит. Не успела выпроводить — идет Юрий. Во время вечернего чая слышу мотоцикл: один русский из Утрехта... Ужинали целой компанией. И все — экспромт. «Дядья» очень хорошо именно ко мне относятся, думаю оттого, что могут бывать в имении. Они же все в «Batenstein» родились. В воскресенье Юрий гостил. После обеда, — еще за столом сидели, — авто-

[i] В письме рисунок.

мобиль — Dr. Klinkenbergh! Сегодня уже тоже с утра народ... (Dr. Klinkenbergh, как всегда очаровательный, милый человек. Был в Швейцарии, чуточку поправился). Ну, и свадьба Kees'a, конечно, утомила. Хотя было очень весело, несмотря на большую чинность. Мои ушки только снова разодрались не в меру тяжелыми серьгами-болтушками. Еле высидела. Но терпела. —

Ванечка, береги себя! Бывает ли у тебя уборщица? Варить «пудинг» *очень* просто. Ставь на огонь молоко и сыпь туда манную, мешая ложкой столько, сколько обычно для кашки. Это же манная. Прибавь для вкуса сахару. Дай уборщице сделать. Она знает, как варят манную кашу. Что тебе прислать? Скажи и не ломайся! Пока еще могу достать сухарей, — скоро сбавят паек. Как доехали сухари? Очень поколотились, или можно посылать? М. б. тебе послать сушеных яблок? Скажи, не ломайся!! Спасибо тебе за фотографию George'a, — странно мне было на него смотреть. И если не «буря ощущений»[661], то все же смесь чувств нахлынули при этом. Я с трудом его узнала. Это не его, чужая, казенная и потому отвратительная, улыбка. Видимо, он окончательно ушел в оболочку дипломата, заглушив свое. Не нахожу его застенчивости, его очень красивого начала волос у лба, — он полысел. Его юношеский изгиб шеи сменился прочно сидящей выей. Только глаза и зубы его. Глаза у G[eorge] не темные. Они совершенно синие. Не голубые, а именно синие. Такие, каких я ни у кого не видала. И очень хороши... были. Зачем он так ведет свою политику? Как больно мне все это реализировать[i] в своем мозгу. Не вяжется как-то с тем, что я о нем прежде знала... Неужели время и меня так же искорежило? Такой George, как на фото — был бы для меня отталкивающим типом. И странно было все это ощущать. Маска!

Ну, Ванёчек, обнимаю тебя, родного, крепко. Дай Бог, чтобы помогли тебе новые лечения! Господь Бог да пошлет тебе все блага. Твоя О.

608

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6 окт. 47

Мой дорогой, светлый, любимый Ванёк!

С Ангелом тебя поздравляю и от всего сердца, горячо хочу и прошу Бога, чтобы ты был светел и здоров! Я давно не

---

[i] Здесь: осознать (*от нем. realisieren*).

имею от тебя писем и тревожусь твоим состоянием. Как прошло последнее лечение? Я все жду и жду, когда же ты об этом напишешь. Очень огорчило меня то, что (по крайней мере позавчера) еще не пришло в магазин цветочный разрешение из министерства на посылку тебе цветов. Оно, конечно, придет, но... когда? Если придет сегодня, то еще есть надежда, что ты их ко дню получишь. Теперь все так усложнено с девизами. Прими же душой мой «душистый, живой» тебе привет. Ты получишь его, м. б. только несколько позже! Все это последнее время я была нездорова, лежала даже. Сильный жар, боли всего тела и ужасное самочувствие. В субботу я все же стаскалась в цветочный магазин, чтобы узнать, но, увы — никакого движения. Подала заодно и прошение о девизах для Парижа. Но это будет решаться «лотерейным» путем. Для меня — нет никакой надежды, т. к. никогда не выигрываю. Да и когда это будет?! В данный момент я не могу и помыслить о путешествии, — так я безумно утомлена. Нервы все перетянуты тоже. Конечно, и не работала. Начинается осень. У меня (за фрукты и подарки) наконец-то раскачались поставить газ в хатке. Посмотрю, смогу ли достать где-нибудь газовый радиатор, и насколько он греет. А пока могу лишь кипятить чай. И то — хлеб! Если здоровье позволит, — собираюсь в четверг в Амстердам на прекрасную и редкую выставку картин: «Венское искусство» — все лучшие произведения из венских музеев. Я, хоть и была там в 1937 г., но все же жажду посмотреть еще раз. И будет у меня четверг — праздник даже и внешне, без кухни и т. п. Трогательна моя Флопка! Во время болезни неотходно сидела у кровати, лижа от времени до времени мой локоть. Я ее нежнейше люблю, совсем как человека. Недавно, она, думая, что я в хатке (я была в спальне, а она не знала) просидела там у порога 1 1/2—2 часа вечером, и только я же догадалась и пошла за ней туда. А это я была в городе, а действительно заходила в хатку, вернулась другой тропой домой, и она меня не видала. По следам и ушла. «Дружка» растет тоже красавицей, совершенно на редкость. Изумительная линия, и чудесный нрав. Игрунья, с неиссякаемой энергией. Ревность у них... Ужас что такое. Ну, расписалась... Но много у меня радости от Флопки. Итак, дорогой мой, бесценный именинник, обнимаю тебя нежно и ласково и всей душой праздную с тобой этот светлый тебе день! Господь да сохранит и благословит тебя, мой милый Ангел!

Оля

Опять начало знобить. Боюсь, не малярию ли я снова подхватила!

609

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.X.47

Дорогой мой Ванюша,

пишу тебе в большой тревоге, не имея от тебя весточки почти месяц. На мои поздравления тебе к рожденью и Ангелу я тоже не получила отклика, никакого. Сначала думала, что виной тому парижские забастовки, но теперь, — не знаю, что и предположить. Если ты болен, то есть же люди, тебя навещающие, которым ты мог поручить черкнуть мне несколько слов. Или ты хочешь забыть меня? Тогда я не смею навязываться с своими письмами.

8-го октября по воздушной почте были посланы розы, — я дважды была у блумиста[i], и тот меня заверял, что срочно выправил разрешение на посылку, и ему удалось все же 8-го их выслать. Это старый, давнишний поставщик цветов, — не думаю, чтобы он обманывал меня. Я была нездорова, но все же с жаром и кружащейся головой притащилась к нему, чтобы еще раз поторопить, и он мне очень мило обещал все сделать, чтобы разрешение получить скорее.

Мне страшно думать, что ты болеешь. Или задергался в сборах? Об этом отъезде тоже страшусь подумать. Поступай, конечно, так, как лучше тебе, только ты сам можешь судить о создавшейся обстановке. Но мне больно ничего не знать. Как ты этого не понимаешь!!

В тревожных думах о тебе, я не могу ничего делать. И даже не могу путно и связно тебе писать. Отзовись же! Если не получу скоро от тебя самого, то запрошу твоих друзей, хотя мне это и не очень симпатично. Что писать о себе? Нет настроения даже. Я все еще не совсем в порядке. Сама виной: смазывая уши йодом, я не знала того, что вызываю этим очень ядовитое окисление металла (серьги) и регулярно себя отравляю. Вчера был доктор и пришел в ужас. Все железы за ухом и у шеи воспалены и болезненны, а в раковине другого уха — нарыв. Doctor считает чудом, что я еще сильнее не разболелась. И запретил всякие смазывания. Температура доходила до 39,00. Я думала, что это от желудка. А оказалось, что тошнота была симптомом того же отравления. Это, слава Богу, — прошло. Но каждый вечер у меня жар. И не сплю от болей. Но ты не беспокойся: днем я — в порядке и все делаю.

---

[i] Здесь: цветочника (*от нем. Blume*).

Лето прошло, но погода такая дивная, — что мы наслаждаемся еще уходящими теплыми днями. Хотя в «хатке» моей уже стало сыровато и холодно для постоянной работы. Да и не хожу туда больше.

Ванёчек, мне горько, что ты не пишешь, а так хотелось бы тебя приголубить и приласкать, мое солнышко.

Обнимаю тебя от души.

Оля

610

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.X.47

Дорогой мой, любимый Иван Сергеевич, отвечаю кратко на Ваше письмо[662], чтобы только скорее сказать о деловом, а письмо буду писать на свободе. Я в воскресенье собираюсь в Гаагу, чтобы просить Жуковича снестись с его знакомым в Швеции и наладить посылку того, о чем Вы пишете[663]. Если Ж[укович] сможет, то, — уверена, — с радостью сделает для Вас. У нас можно доставать только то, что я послала. Хлеб здесь тоже очень сокращен и с примесью, хотя я могу еще доставать и чистый. Не знаю, в каких отношениях Ж[укович] с издателем, — во всяком случае, если может — сделает. Он добрейший, порядочнейший человек, отзывающийся на все. А вот с ним самим неладно поступают: И. А. И. «отшвырнул» его без всяких объяснений. Ж[укович] напел по просьбе И. А. диски, затратя последние ресурсы (а живет он все это время главным образом на одолженное у нас же), — от судьбы этих дисков зависела бы устроенность Жуковичей. Нервно и трепетно ждал ответа. И так и до сих пор ждет... И. А. даже не уведомил его о получении их. Не понимаю, в чем дело... Не могли бы Вы узнать обиняком? Нельзя же так обращаться с человеком. Ж[укович] болен, — на почве нервной трепки, голодания прошлого года, и т. п. у него очень плохо сердце. Надо покой, воздух, питание... Все, что нельзя ему иметь. Гибнет большой талант и прекрасный человек. Но... это, видимо, удел многих в нашем мире!.. Да хранит Вас Господь!

Обнимаю Вас. Оля

P. S. Я работаю, — закончила два рассказа из серии.

Письмо Ваше шло долго.

611

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.XI.47 Вечером.

Забыла ты меня совсем, дорогушечка-Олюшечка!.. пообещала письмо, после хладной открытки-ответа на мое, и нет письма! Эх, ты... забывка... А я все время с тобой, о тебе... Милая моя, на днях закончил правку гранок-набора «Лета Господня», надписал посвящение «Михайлова дня» тебе, — выйдет к началу декабря. Заграничный паспорт в кармане, могу хоть завтра ехать, все готово и месяцев на 5 покойной жизни там уже обеспечено, как и дорога. Но я все не решаюсь... — как-что?.. Обсиделся Ваня, а надо заканчивать работу — здесь не могу сосредоточиться, многое дергает. Мой «зуд» тот же, хотя, после лечения печени — ? — состав крови почти нормальный — «протеинов» 0,53 г на литр крови, норма около 0,45, а было 0,82. Приемы «эндоспермина» благотворны: я стал уравновешен, нашел волю и вкус к работе, сил больше, не устаю, лучше аппетит. Крым очень одобрила это, — «во всех отношениях важно», — и никак не может быть возбуждения: только пополнение «нехватки».

С хлебом плоховато, но пока мне достали пакет сухарей белых. «Трясение» во внутренней политике зде — то же, но поправение явное. О войне меньше разговоров. Очень хочу тебя увидеть, была мысль — не махнуть ли в Голландию, но... откинул: надо в с е здесь привести в порядок, перед возможным отъездом. Отъезд?.. Только, конечно, временный, квартира останется в верных руках, будет оплачиваться. А т а м — я хотел бы прочесть 2—3 лекции, для своих, а равно и устроить 1—2 литературных чтения. Кроме сего — раза два выступить с французскими лекциями о нашей сущности, о значении — общечеловеческом, — нашей литературы: эти выступления предполагаются в Канаде, где французский язык ходовой. Если поеду — поеду морем: многие не советуют лететь, закачает хуже, бывает, что весь персонал влежку... как придется. Если бы ты — вместе?! ...

Напиши о себе, ты совсем «в тени» для меня. Ч т о делаешь? как здоровье? надумаешь ли в Париж? Слыхал от Вигена, — случайно встретил —, что Сережа собирается приехать. Скажи ему — пусть у меня пристанет. О-чень хочу тебя видеть!!! так хочу... Даже дух захватит иногда... — вот сейчас так. О-ля, приезжай, милок!.. свидимся ли еще..?

Не люблю эти короткие темные дни. Правда, еще тепло. Но у меня уже топят, я не жмусь у печурки, открываю на часок окна.

Так бы хотел повезти тебя к Бенуа, по галереям бы походили, поездили бы туда-сюда... — не надо тебе девиз, есть твои, есть и у меня, достаточно. И теперь все можно достать, буду кормить тебя сладостями. Скажи, миленькая моя, послать ли тебе миндалю? Если не ответишь, — пошлю назло какой-нибудь дряни.

Дальше не стану писать, осерчал! Ты не едешь... ты меня забыла. Ты хочешь выветрить из меня думки о тебе? Я не чувствую твоего присутствия, как раньше, или — очень редко. Недавно ночью я поймал себя — на окличке — «О-ля..!» И так мне стало тесно в сердце!..

Жду письма. Кажется мне — завтра получу! — ?? ... Если бы!.. И — нежное-нежное!.. — как, бывало, когда-то, когда дрожь в руках даже...

Ну, родная моя, крепко, нежно, и жарко! — целую тебя, моя прекрасная, моя нежно-ротая Олюнка... — ах, как губок твоих хочу... хоть бы коснуться только... провести своими, как... помнишь..? Ах, как порой вспомню... и как кляну себя, что... ... ... ты не стала м о е й! Но все равно, ты — п о ч т и, мы так были близки... и так это помнится, и так мне жгуче видится в с е... о, рыбка моя хладненькая... как я в и ж у тот чудный день, утро Троицы!.. — ты у меня на коленях, я тебя нежу... как умею, и ты шепчешь... о, мой Ангел!.. ты — в с я моя — большей близости нет... — все равно — мы — в м е с т е, и ты моя женка, пусть чуть, но... о, милая моя женушка, женка... моя Олюнка!.. Не сердишься?.. Дышу тобой Ольга, так чу-вствую тебя, в с ю тебя!..

Целую всю, в с ю... — понимаешь?.. — в с ю, и твои коленочки!.. К а к чувствую их!..

Твой Ванюша

612

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.XI.47

Дорогой мой, любимый Ванёк!

От тебя опять «ни ответа — ни привета». Задергался ты? Или не тянет на письма к Оле? У меня все время страшная суета. С переездом в Вурден еще как-то больше всякой сутолоки. Больше рабочих, — чаще обращаются, всяческие прихо-

ды, все еще идут перестройки, — тут многое надо было изменить, т. к. хозяйство не было приспособленным к нашего типа хозяйству. Одному жулику уже отказано от места, но 1) только к маю (иначе нельзя по новым законам), а 2) он все еще упирается принять отказ. Нахалье ужасное. Жить бок о бок при таких взаимоотношениях — пытка. А я с его бабой сталкиваюсь всюду: и в кухне, и во дворе, и в разных иных угодьях. Ходили на днях «уламывать» одного мужичонку выехать из рабочего домика и перемениться жильем с нашим старым работником (только из длительной службы, а так он молодой) из Shalkwijk'а. Не знаю, что выйдет. Если не уломаем, то нет никакой возможности взять хорошего работника, ибо все тут перезабыто народом*. Открылись жульничанья почти всего полицейского корпуса, вошедшего в контакт с нашим садовником. Пригрозили, как будто попритихли. Надо бы гнать и садовника в три шеи, но по некоторым причинам мы связаны и должны его терпеть еще minimum год. Инспектор здешней полиции говорит, что просит себе перевода в Гаагу, т. к. один среди «шпаны» — бессилен бороться, ибо часто нити ведут в очень большие и высокие круги, где против него вырастает мгновенно целая стена единомыслящих, и все его расследования, как вода, уходят в песок. Я могу себе это хорошо представить. Мне омерзительно население этого места. Сравнить нельзя со Shalkwijk'ом. Но оно и известно на всю страну своей неприятностью. Но жить противно тут, хоть мы и сидим как на острове. Сюда чаще, чем куда-либо раньше, ездят к нам гости, больше кто-нибудь из рода Бредиусов. Вчера целый день пробыл Енакиев. В понедельник по делу еду к Толену, во вторник у меня гостья — очень милая молодая дама, но займет много внимания и времени. Баронесса, сестра бельгийского посла. Давно, будто бы ко мне собиралась, чувствуя, будто бы какую-то «особенную тягу». Она недурно рисует. Относительно шведского «хлеба» говорила. Того издателя, кажется, сейчас там уже нет. Узнаю. Но у меня есть еще один план, и я надеюсь, что разыщу же кого-либо из шведов для посылки. Сережа сейчас в Oslo (Норвегия), но у него девиз «с гулькин нос», да и не мог останавливаться в Швеции. Сережа по возвращении оттуда начнет работу в огромном «синдикате» строительном в роли главного директора. Дело только что должно начаться. Сережу тут очень ценят как за его административные таланты, так и за огромную его честность и приятный нрав. В Норвегию он поехал уже отчасти по поручению нового «шефа», —

* сейчас узнали, что он не согласен!

отчасти же чтобы повидаться с одной близкой нам по Берлину семьей, приехавшей в Oslo в отпуск. Интересное путешествие — поездом. Проехал большую часть Германии, кусок Швеции, Дании. Очень легко задалась ему эта поездка, в несколько дней все многочисленные визы были даны.

Как же у тебя с Америкой? Закачает тебя с твоей «ulcus». Не думаю, чтобы очень было это все к «украшению» твоего здоровья. Но я отнюдь не хочу влиять.

Сама я часто все же думаю о Париже, но мне чего-то страшно. Каким-то он кажется холодным, неприветливым, неуютным, да и бесприютным. Куда мне ткнуться. В деньгах Сереже уже отказали. Он тоже собирался в Париж. Мне, конечно, тоже откажут, тем более, что я уже была 1 раз за границей после войны. Это они учитывают. Да и работать мне надо. Но, конечно, если ты уедешь, то я обязательно соберусь.

9.XI.47 Только сейчас могу продолжать письмо. Вечером 7-го не успела кончить, а вчера целый день, несмотря на мигрень, рисовала, увлекшись чудесным, сказочным видом на пруд. Было что-то неописуемое. Сидела на полу спальни, скорчившись до онемения всего тела, т. к. окно только с полу, и до полного изнеможения старалась схватить чудесный момент. Опять, слава Богу, появился нужный заряд. Хочу и писать. И буду. Рассказы переделала, исправила, наполнила. Хочется дать несколько штрихов — рисунков. И это не так трудно, т. к. «обстановка» вся передо мной.

С рабочим — полная трагедия. Надо вышибать, а тут новая компликация[1] с жилищем — ему дадут квартиру только на том условии, если у него есть работа в Вурдене... Вот и повертись! Новые правила вышли только что теперь. В «хатке» работать невозможно из-за холода. Газовый радиатор все еще не могу найти. Ванёк, если тебе не очень трудно, — пришли мне обратно набросок к «Куликову полю» последний. Мне хочется все иметь у себя под рукой. Будь добр, дружок! Тот, что прислала тебе вместе с шиповником-неудачником. Он (шиповник) плохо вышел. Эх, если бы ты видел мои лучшие работы. Есть прекрасные. Но я не хочу подвергать их почтовым «увечьям». Вделаю в рамки, — они прелестны, чисты, очень светлы. Есть желающие их приобрести. Но я не отдам. Люблю свой шиповник нежно, — прямо — бело-розовый, весь в свете. Листочки живут и дышат в солнце. И травки мои, и одуванчик. Недавно смотрели люди, знающие толк, и особенно хвалили их, а также и отвергнутые тобой груши. Изводит мигрень, второй

[1] Здесь: осложнение (*от нем. Komplikation*).

день. И уши страшно болят, не дают лечь на подушку. Кажется, плюну и выну серьги, чтобы скорее зажили, — пусть зарастают. Но это все пустое! Были с мамой у сердечного специалиста. Слава Богу, он остался ею более доволен, а я боялась после такой жары. Все лето мама изнывала, хоть и радовалась солнцу.

[На полях:] Ну, кончаю, родной мой. Обнимаю тебя ласково и нежно. Оля

12.XI.47 Только сегодня посылаю, — завертелась. Масса дела. Рисунок почти кончен. Это были последние миги чарующей улыбки осени. Сейчас ничего не осталось. За 2 дня все сорвал штурм.

613

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.XII.47

Мой дорогой Ванечка,

так много чувств меня волнуют, что не знаю, с чего и начать...

Прежде всего, спасибо за баловство — орешки. И дальше... сержусь на тебя, что вытолкнул же ты несчастные две бумажки через ничего не знавшего Сережу. Как и все мое, ты их выбросил. Твое дело! Ни одна посылка от меня не прошла без твоей оговорки, что: «зачем, у меня всего много...», или: «остро, вредно, неподходяще». От других почему-то можно и все приятно. Оттуда и «много». И Америка, и Швеция могут слать, а я — никогда не угадаю. Трудные вы люди... большие служители искусства!! Сами обижаетесь легко, а о других не думаете. Ну, да что там! Пора уж бы мне и привыкнуть.

Я в некотором недоумении: ты уезжаешь, а м. б. и уехал уже в Швейцарию[664], а я ничего и не знаю. Даже адреса не имею...

Ну, как же при всем этом главном можно «утешать» девочку орешками?! Но большие Иваны думают, что и чувства у таких девочек не больше орешков, очевидно. И. А., по крайней мере, прямо обухом молотит по чужим душам... И... ничего... так и полагается! От тебя — не ждала...

Если не хочешь моих писем, так скажи прямо, а не уносись безмолвно в голубую даль.

Слова твои через Сережу о «поспешишь — людей насмешишь» — приму к сведению. И очень может быть не пойду на знакомство с издателем[665]. Только странно мне все это. Я никому себя не навязывала. Меня попросили что-нибудь

дать, и когда я (очень не сразу, — месяцы тянула) согласилась и прочла мой «натюр-морт»[666], — то стали просить дальше. «Натюр-морт» я перерабатывала раза 3—4, не считая того, сколько раз он у меня «переписывался» в душе. Другие этюды из серии так еще не отделаны, но все же два более готовые (тогда думала, что и они готовы, но, читая именно постороннним, почувствовала, что им нужна тоже чистка): «Благодетели» и «Диана». Например, Жукович плакал, прячась в тень комнаты, и мама тоже прослезилась. А мама очень умный и трезвый, и строгий критик. И к нам — детям, — еще строже. Всегда так было. Я еще и еще буду править и чистить. Один этюд «Фонарь» я вовсе переломала. Да и «Диану» — тоже. Если бы говорить с издателем, то надо массу работать, не покладая рук, т. к. времени мало. В хатке больше не работа — холод. Но когда я в «раже», то не замечаю холода у себя в спальне, и коченея, сижу там у туалетного стола, скрючась в три дуги. Меня захватывает какой-то волной... и нетерпения, и горения, и... страха-жути-оторопи... от мысли, что мое главное еще и не затронуто. Когда же я его начну? Чтобы «набить руку», остановлюсь все же на этюдах пока и только после попробую главное.

А до него надо закончить серию для сборника «натюр-морт» и приготовить, хотя бы начерно, — «За белой ширмой». Там тоже много интересного. И все — в рамках моего «задания».

Ах, да, на днях узнала, что Dr. Шахбагов жив все-таки! Живет в горах Силезии. О нем, и вокруг него (вернее, вокруг его деятельности как врача) будет довольно много в «За белой ширмой». Никуда не хожу, сберегая минутки для работы. Собираюсь только на концерт 30-го — будет исключительно Шопен в лучшем голландском исполнении. Обожаю Шопена, как редко кого еще из композиторов. А 8-го января не удержусь наверное и, если будет все хорошо, — собираюсь в балет — целый вечер танцует «моя» Беатрис. Молодец — девочка! Ее ангажировали в Оперу солисткой. А этот вечер она танцует по приглашению большого государственного общества с благотворительной целью. Но она получит очень хорошо — 100 гульденов. Оклады здесь очень малы. В перерывы между ее номерами — пианистка.

Жуковича вызвали в Испанию петь в Scala (!) Барселона. Будут ставиться все оперы в их оригиналах, т. е. на родном языке. Это, кажется, единственное место в Европе. Рады мы за них. Вера Ипполитовна тоже собирается с ним и уже хорошо овладела испанским языком. Она — молодец!

Из-за поездки Жуковича сможет отложиться и мое знакомство с издателем. Жукович уже печалуется об этом и на-

деется, что тот устроит свой приезд в Голландию, сообразуясь с его поездкой в Барселону. Вот мои «новости».

Никому, понятно, не говорю о возможном разговоре с издателем. Только тебе написала. Так что и ты никому не говори. И не пиши обо мне ничего «Ивану-Великому». Не стоит! Мне совершенно безразлично, что бы он обо мне ни думал, а вот кол вбить между тобой и мной он с радостью постарается. Эта привычка у него издавна водилась — разводить и ссорить друзей, потому что думают такие люди только о себе и своем честолюбии.

Господь им судья! Но молю тебя: не пиши ему н и ч е г о о моем существе.

Не серчай за мои «попреки», — это все от любви к тебе, дорогуля. Больно мне, вот и высказываюсь так! Зачем ты твои бумажки отослал? Употребил бы их на ремонт нижней квартиры, хоть часть бы покрыли. В Швейцарии их меняют хорошо. Ну, да не стоит!

Обнимаю тебя нежно и прошу тотчас же сообщить новый адрес. Все это мне так больно и обидно.

Ну, Господь с тобой, солнышко, будь здоров и бодр! Доброго пути! И радостной работы!

Оля

614

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.47

Дорогой мой Иван Сергеевич!

Спешу этой открыткой сказать вам, как тепло сердцем приняла я Ваше письмо[667]. С Богом поезжайте в Швейцарию. Я все, от себя зависящее, приму, чтобы увидеть Вас до Вашего отъезда оттуда. Смогу же как-то все устроить и пробыть хоть краткое время около Вас там. Долго ли Вы собираетесь там остаться? Мне больно думать, что, как Вы пишете, это будет для того, чтобы «проститься» с Вами. Но что же делать?! Вы сами знаете, как и что для Вас лучше. Оставаться в такой трепке нервов, конечно, — невозможно. Судя по данному адресу, Вы будете у Юлии Александровны это время до отъезда. Быть может, Сережа в скором будущем еще раз будет в Париже по делам, но не знаю, увидит ли Вас, — Вы будете уже вне Парижа, а он будет связан компаньоном фирмы. Мне бы так хотелось, чтобы он свез Вам мой «живой привет». Ах, милый, дорогой мой друг, как светло и глубоко душевно думаю

я о Вас! В самом же близком будущем пишу Вам большое письмо. Все мои мысли и думы о Вас! Буду теперь думать о поездке в Швейцарию. Париж без Вас мне ничего не говорит, — ни душе, ни сердцу. Но Вы это и сами знаете. Останетесь ли Вы все время в Женеве или проследуете и дальше? Ну, да об этом, я уверена, что узнаю еще от Вас. Желаю Вам хорошего, доброго пути, родной мой! Кланяюсь сердечно Ю[лии] А[лександровне]. Благословляю Вас от всего сердца и обнимаю душевно и горячо. Всегда Ваша О.

O. Bredius-Subbotina

Пишу открытку, т. к. целый день в разгоне. Ее могла достать на вокзале.

615

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.47 Вечером, 8 ч.

Дорогая моя Олюшечка, сейчас Ю[ля] привезла твою открытку, — такую ласковую. Нет, я все дни был у себя. Вчера ездил с Ю[лей] в St-Genevieve. Была ясная, тихая погода. Ехали автокаром, до самого кладбища. Простился.

Выехать предполагаю 26-го в 9 ч. утра, автокаром, с ген. Ознобишиным[668]. Он заедет за мной. Боюсь, как бы он не расхворался. Сегодня от него pneumatique. Зовет, навестить. Обнадеживает, что у него легкий насморк (Вот его слова: «вот я слегка приболел, но, кажется, все обойдется насморком»). А я уж тревожусь: ну, поездка расстроится? А я, как мальчик... часы считал! ей-ей!.. И страшусь — ну, заболею. Осталось еще ждать — 84 с 1/2 часа, до 9 утра 26-го. И потому стараюсь не выходить. Узнаю завтра. Я тороплюсь уехать, все собрано. Багаж малый, Ю[ля] пошлет большой чемодан дорогой. Если ничто не будет угрожать катастрофой, предполагаю пробыть до апреля. Виза на 3 мес., могут продлить. На месте узнаю о мировой ситуации, — Mrs. Bareis всегда будет заранее оповещена, ду-маю. Иван Великий избегает писать о важном, но лично-то я узнаю. Генерал обнадеживает: «заживем на славу!». Самое главное для меня — найти себя для «Путей Небесных». Здесь не могу. Здесь снова поговаривают о феврале—марте. Ту-ман... Я уже не получаю молока, порошок, дозами, на 10 дней (!). Но этот порошок мне вреден. Кончатся шведские галеты, — беда. Видишь — условия жизни бытовой и то го-нят. Не смотри трагически на мою поездку. Теперь и мир — мал. Кругом

многие в па-нике, б е г у т, кто-куда. Умчалась Эмерик в Испанию, пока. В 2 дня все скрутила, а виза в Южную Америку у ней была готова. На Испанию м о г л а — транзитной визой, теперь таких французы выпускают на испанскую границу.

Ю[ля] тоже нервничает, за Ивана Ивановича. Возможность была бы — в Аргентину. Всех пугает неожиданность — ну, война? Тогда — конец. Франция с г о р и т, и к р а с н о е пламя сожжет всех нас. Это совершенно т о ч н о. Списки составлены, — известно. Я жаждаю работать. Знаю: в тишине — завершу в с е в год.

Какое счастье, если свидимся! Родная, постарайся. Столько надо с тобой обсудить. Ты — е д и н с т в е н н а я для меня во всем. Верь. Думы, думы — о тебе. Какой кошмарный сон на днях! (не о тебе! а я будто у красных, которые вот-вот). Проснулся: сердце бьет как колокол. Не дождусь пятницы... Если генерал разболеется, еду один поездом, но надо заранее билет! Как-нибудь найдусь, возьму справки, адреса. На [север] Швейцарии не хотел бы. Но, м. б., Бог все хорошо устроит, — уедем. Генералу 78 лет, но он свеж и бодр. Его — американская, только что прибывшая, — машина с внутренним согревом, будет тепло дорогой. Еду в шубе, которую хочу продать в Швейцарии. Она не нужна мне. Средств на Швейцарию хватит мес. на 5—6, без заработка. Но я заработаю. За «Лето Господне» мне дадут еще тысяч 60 французских франков. Да еще с Америкой, с Германией, со Швейцарией... с Италией. В Америке все налажено. Оплачена дорога, и на 1/2 года там есть, без заработка.

Ясно, что центр русский передвинется (уже!) на Запад. Таков, видно, План Божий. Верую. Ах, как х о ч у работать! И — видеть тебя, ч у в с т в о в а т ь тебя, моя чудесная! И не представляешь — как. О, ка-а-ак!..

Оль, родная... как мне томительно без тебя. Почти 2 года. Я никогда не покидал тебя. Я был часто в н е себя, я как бы рассредотачивался... только. Здесь — я у с т а л. Я вижу с ужасом, как валятся в пустоту дни мои. Это меня раздавливает. А я с л ы ш у с и л ы в себе! Я м о г у творить, мне бы покой. Я почти уверен, что за 2—3 мес. покоя я смог бы начерно дать 3-ю часть. Я хочу — м о л и т в ы. Хочу — ц е р к в и! Быть — около. Быть в чистой природе Божией, Оля! Меня тянет, з о в е т. Так, как теперь, — н е могу, не смею, н е должен. Это — преступление. Это — моя гибель. Д у х о в н а я, творческая. Молись обо мне. Мо-лись, Оля! Я — в е с ь твой, весь с тобой. Я хочу ч и с т о т ы, Олюша, — Бо-га х о ч у!

Петь Его хочу, Оля! И — видеть тебя — мое все ныне. Ты мне и мама, и дочь, и сестренка. Любимая.

Поеду — напишу и с пути. И там — тебе, первой. Обнимаю братски. Твой Ванюша. Целую твои глаза, ручки. Кланяюсь прощально — маме и брату. От него большое письмо из Арнхема. Ильин написал: «будет лучше, если “голландские” ничего не будут обо мне знать». Он пишет еще: «там все принимается обывательски — легко (пишу лишь общий смысл), когда на самом деле все — трагически важно, страшно. Нельзя переступать через кровь мучеников». Это неточные слова...[669] И это — помни, — пишу тебе, доверительно. От тебя я ничего, тебя касающегося, не могу таить. Я — твой, открытый. Я понимаю тебя и *не* корю. Тебе многое уяснится, думаю так. И не копаюсь. Я люблю тебя сильно и внятно. Не знаю, м. б. твоя прелесть что-нибудь и закрывает во мне, глушит во мне... — я чувствую тебя. И я спокоен. И потому — не кричу.

Господь да сохранит тебя и направит. Сколькое дорого мне в тебе!..

Твой, до конца, — Ванюша

И ты — моя. И я — твой?.. Да, да, да. Бу-ди, бу-ди!.. В.

Ах, как хочу писать. Ведь — к Оптиной подойду! Вот, для чего мне надо быть около обители. И так все — пока ладилось само. Дай, Господи. Ваня

Везу твою «любку», — единственное твое у меня. Она будет, как и ты, перед глазами.

616

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.I.48

Дорогой мой, любимый Ванечка!

С Рождеством Христовым, друг мой! Дай Бог, чтобы ты получил и нужный покой, и радость в работе, и силы, а главное будь здоров! Приветствую тебя, моя радость, на новом месте. Рада за тебя от души, что вся поездка состоялась и прошла благополучно. Ты, конечно, зарядишься волей к работе в этой хорошей обстановке, на чудесной природе. Дай Бог! Дай Бог!

Все эти дни, собственно даже недели, я задергана. С 28-го же декабря — просто в ураганах дел: к нам прилетел из Парижа муж Наты Первушиной и оставался в ожидании очереди на аэроплан до вчера. Он, слава Богу, улетел в Венесуэлу. От души за него рада, т. к. дойти до такого предела задер-

ганности и нервности — тоже не шутка. Он по комплекции еще худее тебя, одна кожа на костях, бледный, с горящими огромными черными глазами. Жуть. Судьба его очень тревожна. Всем нам его было жаль. Едет на последнее, что собрал, оставляя на жизнь в незнакомой стране лишь 25 долларов. Ни родных, ни знакомых там не имеет. Ты знаешь мой французский язык... И как мы с ним изъяснялись — одному Богу известно. И руками и прочими жестами в подмогу. Сережа, приехавший отдохнуть на праздники к нам, 28-го целый день проторчал на аэродроме в ожидании и привез его только в 1 час ночи. А вчера под проливным дождем провожал с 12 часов дня до 9 часов вечера. А я изустала. Такого обнаженного нерва я еще в жизни не встречала. Но, в общем — симпатичный человек. Сегодня же улетела и Ксения Львовна из Парижа в New-York к мужу. Брат мой собирается на днях снова по делу в Париж. Но мы сидим в этом году без Рождества Христова, т. к. Дионисий самовольно перешел на новый стиль и службы на русское Рождество Христово не будет. Это очень грустно. Но если бы и была, то охоты молиться с этим попом ни малейшей. Не хочу распространяться.

Хочу знать, как живешь ты? Я все сделаю к тому, чтобы быть у тебя. М. б. и нагряну. Но ты тогда не пугайся и не встречай меня, как в Париже: «вот так штука!» Но я шучу! Очень хочу работать, но времени совсем нет. У меня вдруг ясно и определенно наметилась форма серии рассказов «За белой ширмой». И сразу стало легче, т. к. я все не знала, как приступить. Была на концерте Шопена. Чудесная программа, но исполнение — без души! А Шопен без души — что же это? Я о-бо-жа-ю Шопена. Узнали на днях, что у Вигена родилась было дочка, но во время родов (длящихся 36 часов), — умерла. Жена приняла горе с большим смирением, но горе остается горем. Она больна, но уже дома. Мне их от души жаль. Такая дружная чета! Таким — надо иметь детей. Мне с годами все больше и больше недостает этого, и я это сильно ощущаю. Но м. б. так н а д о. Хотела было взять одну сироту 5 лет из Германии, но, кажется, ничего не выйдет. Да и сама прихожу к выводу, что — пожалуй, — не стоит... В большом и целом мы подумываем, не уехать ли в Южную Америку — единственное место более или менее надежное на случай войны. Но это все только пока что разговоры. Наши некоторые знакомые, однако, серьезно думают о таком плане. Война — безумие и самоуничтожение для человечества, но что удержит безумный мир? Северная Америка — мне лично претит со всей ее гангстеровской смесью народов. Все: деньги, деньги и деньги... Ну, да

у тебя «Няня из Москвы» лучше всего о ней рассказывает![670] От золовки же и ее ех-мужа достаточно наслушалась, да и от Ксении Львовны кое-что знаю. Лучше примитив Южной Америки, нежели «культивированное» мамоно-почитание. Кеннан же в свое время меня уверял, что там у них словом «культура» подменили только «цивилизацию», ибо культуры-то и нет! Все так мерзко и пакостно кругом, что не хочется читать газеты. Но это же и политика страуса... Не хочется думать. А пока что стремлюсь повидать тебя, мое золотко. Обнимаю и целую. Оля

617

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.I.48 4 ч. дня

Милая Олюша,

Получил сегодня твое невеселое письмо от 2.I. Что за бедлам! Дурацкий венгр (шарлатан-«доктор») должно быть удрал, просто, от суда (мне что-то сообщала Ксения Львовна, кто-то, будто, помер от его «системы» (!), но по ее словам это «месть» за что-то, заявление прокурору о смерти мужа[)]. Итак: этот, в лучшем случае маньяк свалился тебе на голову, (нашел место!), словно в Венесуэлу нельзя лететь из Франции! А ты и твои тратите нервы и время на такой отшибок человечий. Что это за ценность?! И христианская мораль сего не одобрит. Мало истинно несчастных своих, кои мятутся, без единого гроша, под вечной угрозой! Им бы лучше помочь... Есть такие, «без стеснения»: ни с того, ни с сего садятся на голову. Чудак Сережа. Видишь: глупенькую Нату бросил, себя храня! Такому помогать... — нельзя. Впрочем, все они из Bellevue, «с гвоздиком». Се-мей-ка..! — не бери на тяжелую ответственность ребенка: ма-ло у тебя своей «опеки»? Помоги, если нужно. Брать чужого ребенка... — о, какой шаг, — ты же не знаешь, что с тобой станется, и какая еще наследственность. Я бы, на твоем месте, не взял бы: страшно, — отдача себя на 3/4. У тебя и теперь-то вольного часа нет.

Война — будет. ? — когда. Думаю: западные ждать не станут, когда восток все бросает на «последний и решительный бой», моря народ. Случится вдруг. И тогда — будет поздно: пока буйного свяжут, он все в Европе может смести. Сим предчувствием одержим я. Да мне здесь, в Европе, нечего делать, когда я и молока и нужного хлеба не могу получить во Франции. Здесь — тоже томление — бесцелья. Чем жи-

вут? Смешно: работают, чтобы жрать и ходить в кино. Ну, есть капля элиты, живет самообманом. Утрачены цель-смысл Жизни. Выхолощено все. Я — родного хочу, нет его — ищу, вот, бреду к стенам обители. Там, живя своим инстинктом, как пчела, буду пытаться заканчивать свой литературный опыт, — духовного романа. И — пробовать учиться молитве. Ну, м. б. и я «обмануть» себя хочу. Но не хочу Франции, где в любой день могут тебя связать и повести на суд — туда. Ибо немало из нас намечено ими, — это известно. Даться «бесам» — нет, лучше погибнуть на перелете или в море. У меня к ним — мистическое отвращение: все, чего коснулись они — опоганено, одьяволено! А в Америке — чувствую — есть у меня люди. Да, читатели. Православные. И там ведется работа — «во-имя», и там люди, и там — добрые люди, с сердцем. Это я знаю. Мы — разны с тобой, Оля, — я никак не принимаю той «церкви», где возносят на ектинии моленье о... имя-отчество и Сталине (псевдоним!) (см. указание «патриарха»! в 20 № «Православной Руси»)) Единственная закономерная юрисдикция — да, архиереев Синода, установленного патриархом Тихоном. Но и это не суть важно, не главное. Я и во «Влад[ычнюю]» церковь мало ходил, ленивый. Теперь хочу подтянуться: это нужно и для моей работы. Тебя не корю: смотри сама. Вот, убедилась, что это за поп, Д[ионисий]. Там — большей частью такие, хуже. Есть, конечно, и праведники, мученики! Таков, слабый, архиепископ — Сергий Пражский[671]. Господь с ними. Мне дороги, как и тебе, Олюночка, наши чудесные песнопения, что узнали с детства! Мне дорога — духовная красота служб. Мне нужен — родной, священный, воздух. На этом мы сойдемся, не повздорим.

Почему в Южную Америку? У меня, думаю, есть случай попасть туда, — предполагаю: в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Там наш протопресвитер о. Константин Изразцов, мой читатель. Он будто бы был воспитателем (?) — не верится — генерала Перрона[672], президента, — и может приходить к нему, — когда угодно. Тот чтит его. Это — точно. О. Константин много сделал для наших несчастных (ди-пи) и, вообще. И он же протестовал (его письмо в «Русской мысли») против преступной выдачи на муки (в Италии) англичанами — советам — наших новых эмигрантов[673].

Почему думаешь о «примитиве», о Южной Америке? Но мне не верится... Я знаю точно: те, кто побывал в лапах у большевиков, (из новой эмиграции, и довольно большой квалификации: врачи, ученые...) — и кому удалось добиться до Парижа, кто имел уже визы... и ждал прохода, — в дни забастовок

у нас (так например одна девочка, 20 л., делавшая мне пикюры, у ней дядя — доктор, работал чернорабочим, отца и мать схватили большевики еще в Польше, в 39 г.) — и их знакомые, кто только смог, — на последнее купили билеты на аэроплан — и улетели. Все были в кошмаре. Но что будет, если разразится война? А она должна быть. Тогда — поздно. Вот и подумай. Конечно, лично тебе гибель не угрожает: лишь полное разорение и — издевательства. И — конечно — голод и мучительная кончина. Война принесет глад и мор, помимо ужасов рабства. Но рабство — еще человеческое установление. А «подсоветчина», да еще в Европе — вне-человеческое: бесово! Ты не перенесешь. Как и я. И потому еще я — в пути... Когда дальше? Пока не думаю. Мне еще не нашли оседлости. Вчера ходил смотрел комнату (отличная комната) у одного швейцарца-инженера[674], говорит немного по-русски, но я свободно говорю по-французски, — здесь это язык. К сожалению, решится через несколько дней, есть причины. И есть придется ходить в вегетарианский ресторан — [найду]. На вечер могу сам что-нибудь. Или — чай с сыром-маслом. Устроится. В русской семье — не хочу, надоедно. Уже начинают «зазывать», а я хочу быть один. Ген. Ознобишин очень мил, но я хочу стоять на своих ногах. Он тоже не советует — «у русских». Я уже раза 3 отказался от приглашений на завтраки и обеды. Но на «елку» придется... дал слово здешнему настоятелю[675], очень приятному монаху, чистому, по справкам и личному впечатлению. Храм — отличный, здесь много лет был прот. Орлов[676], ученый, умный. Нынешний получил богословское образование в Белграде, или — где-то, у сербов, что ли.

Милая, серьезно думай: война... да, может быть, должна быть. Все ведет к сему. По мнению Ивана из Цолликона — большевики пока неготовы. Не станут ждать, когда они будут готовы. У американцев иного выхода нет: Европа обречена. 3/4 ее под властью большевиков. Для Америки это вопрос бытия. И пока сила м. б. на их стороне, они начнут превентивную войну. А поводов сколько угодно. Думаю, что апрель будет — или май — решительные месяцы. Но это все гадания. Что же мне-то колебаться, раз я уже сдвинулся (а это при моем характере очень было нелегко!) Даже Юля с мужем надумывают — в Южную Америку! И — ско-лько! Когда придет решительный срок — будет стоп! Надо решать заранее. Помни: Европе предстоят ужасы, и жизнь здесь будет разрушена. Знаешь, недавно я загадал по старинному обычаю, раскрыл Евангелие: что меня может ожидать? И открылось — Луки, 21 гл., стих 5 и дальше![677] Поразительно. И мои отшедшие — сами — меня укрепили...

сном. Я тебе писал, об огненных языках, прорывающихся за деревянной стеной: там — пожар. И я прошу Олю послать Сережечку за pompiers[i]. Они не отвечали, не возражали, не шевелились. Я сказал: я знаю, С. всегда стеснялся даже в лавку пойти, но пойми: пожарные будут благодарны, это их дело... Ни ответа. Они оба смотрели, как бы удостоверяя, что они знают о пожаре, и это мое дело — предупредить. М. б. они не вправе говорить ясно. И я, будто, позвал пожарных. Пришел высокий, в форме. Я ему указал на прорывающиеся языки пламени за стеной. Он что-то промычал. И я проснулся. Да, это было во время смуты — в ноябре, в конце. Я понял, что я сам должен решать: пока еще опасность не грозит, но уже есть ее признаки. И я тогда решился — пока — уехать из Франции в Швейцарию, — до времени, сколько поживу. Там (здесь) я буду знать: американцы, если предстоит превентивная война, будут предупреждать, их колония в Швейцарии. Bareiss, друзья И. А., и Mrs. B[areis] — моя читательница, очень влиятельны в американской колонии. Они будут знать заблаговременно: их предупредят, конечно. Будет знать и И. А. Он написал мне:[678] «Вы себе и представить не можете, как облегченно я вздохнул, получив отсюда Ваше письмо! Слава Богу!» И я вздохнул облегченно, когда, в 12-20 27-го декабря я переступил границу! А дальше — что Бог соизволит. В Париже я был очень неспокоен: мы были обречены, это точно. «Патриоты» уже бродили и готовились — «приняться». Меня травила подсоветская газетка. Грозила — редакции — виселицей. И называла (подпевая советской «Правде») «Русскую мысль» — газетой Шмелева и... Ватикана. Ладно. Целую тебя. Смотри сама. Очень жду тебя. Мне здесь тошно, — очень сытно. Скверно. Противно. Я — из иного теста. Чего надо? России... Твой Ваня

Завтра поеду в церковь[ii], а сегодня — полежу.

618

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.I.48

Милая моя Олюша, — не по себе мне здесь, и боюсь за «язву» — от обильной еды, — трудно в pension'е с моим режимом. Да и не привык я так: я всегда стоял на своих ногах,

---

[i] Пожарные (*фр.*).

[ii] В оригинале: Церковь. Далее исправление не оговаривается.

а даже благородное великодушие моего друга ген. Ознобишина меня томит. Этот pension — очень дорогой, я вчера смотрел другой — претит, грязно. И тянет на Boileau. М. б. дней через 7—10 и поверну. Успей мне дать знать тотчас же: возле какого из больших городов этот вот Woerden, — н а д о мне. Куда уж тут ломать обиход на склоне! В Америку все равно удобней ехать через Париж: место на пароход будет оплачиваться во французских франках. Здесь я — вижу — все равно не могу вложиться в работу. Да и машинка все еще в дороге. Мне вернут в Париже мой чемодан с ней, попрошу. Боюсь расклеиться, — и все мне здесь не по душе: и погода — мразливая! Самое светлое было — твои розы, — сердце твое! Написал Юле — не сдавать квартиру. Они оба в ней, и перебудем вместе зиму, до отъезда. Господь с тобой. Твой В.

619

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.I.48
Крещенье.

Мой любимый Ванечка, много думаю о тебе... Как-то ты себя чувствуешь? Неужели растревожил свою «язву»? Сколько времени думаешь пробыть в Женеве? И куда мне мысленно направлять свои лыжи? М. б. в Париж?? Ни за что не хочу упустить возможность с тобой повидаться. В данный момент переживаем очень трудное время. Не знаю, как и вынесем... Всего не описать. Правительство задалось целью слопать всех, кто что-нибудь да значит. Всюду хамье. Все запрещено, ничего нельзя... и «оглянуться не успеешь»[679], как оказывается, что тебя за то или иное начинают травить. Самое лучшее было бы все бросить и уехать вон из этой странишки, которую наши соотечественники еще собираются «вписывать золотыми буквами в книгу истории за ее демократизм»! С ума сойти! Но нас никуда и не выпустят. Это точно узнано. Многие из голландских знакомых спят и видят вырваться, но это почти безнадежно. 1. Не дают деньги вывозить, 2. людей с предприятиями не выпускают. Арнольд довелся до полного изматывания нервов. Командует в стране всякая с.....ь! Шушера, работающая локтями и кулаками. Мерзко! В эти последние дни я так истрепана, что ни за что не могла взяться. А до этого писала. И закончила мой 3-ий рассказ[680], дополнив его и в иных местах урезав. Править буду, конечно, еще, и еще. Мама хвалит. Сережа все еще в Париже, и мы уже волнуемся, что вместо

недели уже 10 дней прошло, и была только 1 открытка. Уехали они 9-го с шефом на автомобиле. Сегодня пришло письмо от нашей одной старинной знакомой, проживающей в Париже, высланных одновременно с нами. Ее дети, внуки и муж уже в России, а сама она ждет очереди. Пересылает сведения от ее детей — они прекрасно встречены были на родине и уже месяцы работают все по своему желанию и профессии. Чтобы приложиться к раке преподобного Сергия в Лавре, пришлось стоять 4 часа в очереди! Много пишут таких мелочей, от которых слезы навертываются на глаза! Какое счастье, что народ может молиться! Уехавшие — в восторге и очень довольны своим решением уехать. В мой бывший приезд в Париж, я мельком видела эту семью — тогда они еще ничего не знали о том, что поедут туда.

Сегодня мы с мамой были в церкви. Нашего попа заставили из Парижа служить и по старому стилю для желающих. Он злой, как бес!

Ах, Ванечка, как хочется планомерно работать! И как все нервно и нет покоя душе! И очень не достает твоего водительства в творчестве! В самом ближайшем будущем (т. е. первые недель 4—6) не смогу вырваться, ввиду наших неурядиц... А там при первой же возможности! Хочу тогда все взять с собой, как рисунки, так и этюды. Чтобы ты мог судить. На днях письмо от Катениной[681] — просит послать «что-нибудь» из моего ей. Но хочу, чтобы ты сперва прочел или прослушал. В работе встречаю много трудностей: и внешне тоже. Но чувствую, что опытом и трудом может быть и добьюсь «формы», какой хочется. Как ты думаешь, мое солнышко? Машинка еще у меня скверная, проскакивают буквы. Поправляли, но толку мало. Ленты тоже скверные здесь. По-моему старые, намазанные чернилами. От золовки из Америки ничего не получаю из посылок, да и писем почти что нет. По секрету: Енакиевы расходятся. Пока что без развода. Ну, — их дело! И «американка» с жиру, видимо, бесится! Бедной себя считает!!!! Из Германии получаем ужасные письма — голодают страшно. И я послать бессильна — нельзя. Да и у нас все ухудшается экономическое положение: опять почти все по карточкам, меньше и хуже сортом. Но у нас необходимое все есть. Слава Богу, что пока не было холодов. С жильцами, по-моему, безнадежно, и они, наверное, никуда не укатятся. А так безумно надоела эта связанность и теснота! Woerden — мне гадок с его кликой в учреждениях и мелко, мелко-буржуазным болотом. Как свой внутренний мирок не охраняй и не отгораживай, а все же атмосфера давит. Но для теперешних моих этюдов, м. б., это

и лучше — сгущенней видится вся жуть «мишуры». Для ухода в себя, для отдыха души, читала много Пушкина. И трогаюсь до слез, до восхищенья. И вообще, нахожусь в состоянии особо чувствительном и чутком. Все меня берет и зовет и тянет к работе. Многое из старого, написанного видится иначе. Как бы смелее! Сегодня из Москвы передавали по радио гибель «Варяга» в музыкально-литературной постановке. Очень сильно отозвалось в душе. А я ведь этого буду чуточку касаться в моем романе! Там у меня прежний русский солдат живет еще этим и со слезами поет «Наверх вы, товарищи, все по местам!..» Все из жизни. Был такой. И какой же русский весь. И как его затерла жизнь! И как раз сегодня я силилась вспомнить слова этой песни. Открыла радио... и слышу эту песню, с подробным объяснением того геройства. Странно?! А недавно: утром сплю и слышу мамин голос (во сне): «Оля, от доктора Ш[ахбагова] тебе письмо». Проснулась, лежу... и слышу уже наяву эти же слова. Я думала, что доктор Ш[ахбагов] (тот армянин) уже не жив. С 1943 года ничего не слыхали о нем. Странно? Бывает такое... Видался ли ты с И[ваном] Цолликонским? Пора бы уж ему тебя обнять. Или они себя берегут? Мне его памяти и не нужно. Как легко он швыряется и по-своему квалифицирует людей! Но хорошо, что и над ним есть Бог! Ах, Ванюша, как я люблю тебя, как нежно думаю о тебе всегда! Как хочу, чтобы тебе было хорошо! Пиши мне, мой Ангел! Где ты теперь? Нашел ли приятную квартиру? От души хочу тебе этого! Жукович теперь в Испании. Там все безумно (по их словам) дорого. Не думаю, чтобы тебе там хорошо было — разве только тепло и солнце. А так, в Испании очень шумно и суетно. Все время думаю о тебе. Обнимаю. Оля

Привет ген. Ознобишину, потому что он так мил к тебе!

620

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.I.48

Свет мой, дорогуночка Олюна, — не писал, — ждал перетаски на твердую почву (?!). С 15-го: Мне, c/o Mr. Rich, ingénieur. 15, Bd. de George Favon, Geneve. Удобно. Но надо ходить завтракать к знакомым, 20 мин. ходу! Это отнимает время. Слава Богу, я — на своих ногах, это главное. Комната очень удобная, а главное — полная тишина! Это швейцарец, [л. в. о.], очень замкнутый, но питает глубокое уважение к нашему архимандриту Леонтию, который и устроил все.

Чуть знает по-русски, живал в России. Чтит императорскую Россию — все национально-русское! Ко мне — о-чень внимателен, предупредителен. Заботлив о тепле для меня. Словом, надо быть благодарным. Я боялся попасть в «русскую богему»! — задергают. А тут я закрыт. Как будто я становлюсь покойней, то все дергался: не вернуться ли в Париж? Дают знать: надо погодить. Правда. Очень я страшусь: «ну, заболею?! ...» Пока... слава Богу. Но «зуд» все почти прежний.

Эти дни я как бы потерял волю: ни-че-го не могу! Лежу — и думаю — невесело. Раз 5 был в храме. Чудесный храм! а певчие — почти все — швейцарцы! Русские — в разброде и... безразличии.

Но настоятель — прекрасный, умный, — анастасьевской юрисдикции. Мно-го делает! 33 года ему, богословское образование — в Белграде. Его все любят. И — особенно — почитают... швейцарцы. Мой хозяин — никакой по вере (лютеранин официально) невер, но... часто ходит в наш храм, любит пение и очень чтит настоятеля, архимандрита о. Леонтия. Я ему (о. Л[еонтию]) очень признателен за мудрое движение: устроил меня у инженера: лучше нельзя было решить. Здесь я мог бы писать: такая тишина!.. Я всегда — один. Пока мне не досаждают. Генерал навещал. Очень мил. И я счастлив, что — свободен. Решаюсь — пока не двигаться, прийти в себя. Розы твои (красные, чудесные-прекрасные!) были очень сильные, жили 10 дней! — и почти все были свежи, не обронили ни одного лепестка! Со мной здесь!! — еще иные живы! Ну ты не желаешь сказать, бл[из] как[ого] города? Да, я думал тебя порадовать. Теперь пошлю для твоего ротика... — пустячков. А ты жуй. Завтра-послезавтра. Родная моя! Ты всегда во мне. Мало пишешь о себе, только подумай, я очень одинок! Расловлева — тебе она по душе — мне пишет: здесь, в Paris'e, ждут снова... если бы мы имели возможность, мы уехали бы! Просит — готова полы мыть в обители!.. — там. Я верю в ее душевную мудрость. Да, лучше дальше от Paris'a. Но мне так нужна твоя опора, твоя ласка сердца... Как тебе кажется, — что, где мне лучше? Скажи, — вглядевшись в свое сердце! Я тебе верю глубже всех! Скажи, я так безволен... так шаток, как никогда еще. С Иваном Великим не видался: далеко, холодно-грязно и — дорого станет. Устроился я в моих возможностях, даже легче. 80 франков комната, завтрак, очень хороший, у милых русских (профессор и его жена[682]) — за 100 франков в месяц. Ну, на разное уйдет фр. 100, — всего около 300 в мес. Я считал 350—400. Я очень слаб. От обилия в pension'e и не

по режиму у меня начались неприятности (до vomissements[i]), теперь поправляется. Только простуды боюсь...

Огромное лишение — так редко пишешь! Не будь этого — я был бы светлее. Так хотел бы много-много говорить с тобой, глядеть на тебя, видеть тебя!.. Это даст мне силы. Оля, м. б. ты навестишь..? Как у Сережи? Наладилось ли дело? Вряд ли: Франция шатка, всячески, и,.. угрожаема, как и твоя страна, Голландия. Если бы ты решилась уехать! Тогда я поехал бы в Америку, как в родное. Да, это так. Знаю. Сумей! О-ля! Европа обречена (пусть на дни, месяцы), не миновать (и м. б. скоро) войны! А тогда... все опрокинется. И это будет развязка и — освобождение России. Только так. Так мне кажется... Но кто знает, что будет?! Ах, о скольком мне важно говорить с тобой, только с тобой, тихой!.. Оля, пиши. Для меня это будет лучшим лекарством — для работы. Только и цели и смысла для моей жизни!

Детка моя, благослови тебя Господь!

Кланяюсь маме, Сереже. Тебя нежно обнимаю, целую твои глаза.

Твой Ванёк

621

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.I.48 8-30 вечера

Голубка моя, Олюнка... сегодня я расписался... А получив часа 2 тому твое письмо, пересланное на новый адрес (ты его уже знаешь), сейчас же и пишу. Сегодня я был взбит... чудесной игрою Жизни! И в сем вижу «веху», указание... — как бы утверждение что мой путь (в Америку, к обители) не впустую! Суди сама. В 1-ой половине декабря я получил послание из Сан-Франциско от неведомой мне Марии Соловьевой[683]. Среди хлопот с отъездом, я все же — почему-то? — заставил себя ответить, запросив, почему мне, и кто — Вы? Очевидно, — читательница-друг?.. И вот, мне переслали из Парижа ответ-avion этой Соловьевой. Да, читательница: «чтение Ваших книг было для меня всегда большим наслаждением». Мало этого. «Как я была счастлива получить Ваше письмо! Я москвичка, с Калужской (моей!) ул. Моя девичья фамилия Изюмова и родилась в доме... Шмелева (!). Далее указывает очень состоятельных людей, которые могут выслать

---

[i] Рвоты (*фр.*).

мне «affidavits[i] и проч.» — «И если Вы будете в San-Francisko, то, помните, что Вас ждет Ваша землячка, и Вы можете приехать прямо к нам...»

«Уже давно приготовила нов[ую] пос[ылку]. И теперь не знаю, куда же послать».

Ответил — никуда не посылать. Affidavit'ы — три! — есть. И путь открыт.

Я уже потерял счет читателям-калифорнийцам: пославших 5—6... и ско-лько писавших! Так что — если придется приехать (о, планы!) в Калифорнию и там, как и в New York, уже есть пристани. Но не удивительно ли такое «скрещение» путей? Я это описывал во 2-й ч. «Путей» — помнишь, о «самоцветах»?..[684] Напиши о сем беллетрист, сказали бы: «какая глупая, нескладная... надумка!» Забывают, что Жизнь умеет играть очень тонко и... по своему плану. Этот случай является для меня — лишним, добавочным толчком, ободрением, что путь, кажется, пра-вильный. И я «укрепился», как мой Илья. Ну, и поцелуй меня в сердце! Ты, ведь, сама мне написала... 9 июня 1939 г.!!! Правда, не ты — первая, но... ты — единственная, слюбившаяся (как же иначе?) со мной. И ка-ак же ты слюбила меня! Связала с собой. Не чУдно ли?! ... И это, очевидно было надо. Для нас обоих. Теперь — по поводу твоего письма. Нельзя мириться с гниением. Жизнь обраща[ть] в клоаку..? Надо подняться из клоаки. Для сего у человека — воля и цели. Не гнилой же он, втоптанный в грязь лапоть, чтобы ему так и всохнуть в грязь! Не пускают? Пусть. При воле — все достигается, если человек хочет света, блага, свободы. Не будь же лаптем. Ка-ак надо? Для сего — ум. И воля. Люди выбирались — оттуда! Дознавай, «как сие делается»... у великих опытников — (евреев!): ука-жут, все. Ну, придется, понятно, оставить «волосков десятка 2—3 в "западне"»...[685] Ду-шу надо спасать. По-мни. Вот, когда, добиваясь, действительно ткнешься лбом в стену, и увидишь — не пробить... — тогда — да... но и тогда надо пробовать — обойти стену. Тут ты, будто случайно, сообщила о «восторгах» ново-обращенных. Песня знакомая... Еще бы такие не «восхищались»! К сему приставлены! Сим на сие пома-заны. Знаю: господчики [угри]..? Агенты, совершенно определенные и — раскрытые. Были высланы французской властью, а не поехали сами. Их со-держали здесь для известной работенки. Вот сии-то «угри» и вились в эмиграции, и захвати на 3 дня власть

[i] Рекомендация (*фр.*).

в Париже к[оммунис]ты, сии «угри» поработали бы на чекистов, и «списки» намеченных (были у них, конечно) стали бы помечаться «крестиком» или буквой «р» — расход. А ты — о «восхищениях» оных «угрей». Мне было смутительно читать... Оля! вдумайся. И ты- поверила, чистая душа?! ... И эти «угри» пошли в черед к раке Преподобного!!?[686] О, Господи! Народ... да, народ — чист, он — дитя... Но эти... эти «полторацкие» и проч. — торговцы кровью. Или втуне творилось «Солнце мервых»?! ... Да разве в нем — все?! Свыше 60 млн. загубленных! «Угрям» указано было так извиваться, все было предоставлено: «пиши, пиши, списывай... вот, копируй! Давай туда заряд!..» И чистые неискушенные умы и души... (иные — иногда) ве-рят!!! Го-споди... — «и избави нас от лукавого». Ты поверишь, что американцы хотят орАбить всю Европу? Кто это бросает, так глупо, (— для кого, для дураков?) вот уже 2 года! Ведь — смеются!

Ты, Оля, со мной никак, очевидно, не считаешься. Ты утратила веру в меня. В мое сердце, в мой умишко, в мои, интуитивные пусть, выводы. Есть же у меня хоть малость чутья правды? Способности — видеть — проникать? Я говорю всей силой моей искренности. Я слышу запах бесов и пролитой — и проливаемой! — ими крови мучеников. О-ля, будь крепко по сю сторону. У тебя тонкий душевный слух, ты — чистая! И если ты, такая, соблазняешься (пусть чуть-чуть, колеблясь!) то, опрометчиво высказываясь, (не мне: я-то кре-пок!) ты сеешь бесовский сев... Это — страшно. Скольких можно толкнуть (невольно!) и — погубить! Оля, помни: развязка-разрубка м. б. не очень далека... Она должна быть, если не в Плане Божьем истребить всех. (Помни: кара Содома-Гоморры). М. б. ради 3 праведников Бог пощадит многогрешный мир.

Будь тверда. Не испытывай нашу связанность и нужду друг в друге. Ты, в Голландии, как в глухой стороне, многого не ведаешь, многое принимаешь в кривом и сознательно пущенном преломлении... И потому — бичуешь И. А., и не вникаешь в мои слова. Я это знаю, слышу. Я оставил писать тебе о церковном... Но в последнем письме ты уже веришь (да, да!) в явный соблазн, в ложь, так скверно прикрытую! Я давно знаю эти «припущенные» копии выработанных там «Песен Сирен»... Почитай у Гомера, что бывало с зачарованными мореплавателями. «Угри» поднялись с гнило-тинного логова и стали извиваться и... затягивать скользкими путами... Они же кро-вью питаются, живут ею!.. Не веришь? Но чему же тогда ты веришь?! ... Или нужно

тебе, чтобы воскресли умученные и стали свидетельствовать пред тобой? Ты веришь... «угрям». Но ты — умна... Чего же ждать от рядовых? Скольких сбили с толку! Но, должно быть — и это верно — никто теперь не едет разве неврастеники и слабоумные... иначе незачем раздувать такое фимиамное кадило... Уверен, что тебе эта «оставшаяся» пока, бабушка сама написала, какой же там рай! А о сем рае многое уже известно от... прибывших оттуда французов (не заинтересованных) — читай их показания в осторожном даже «Figaro».

Но довольно, устал. Я не верю, что ты найдешь волю приехать проститься со мною. Ведь, — не увидимся больше. Ведь ты так и останешься засыхать в туземной грязи... лаптем (прости, но из песни слова не выкинешь). Я не хочу вовсе — тебя обижать.

Оля, помни: жизнь не возвращается... вдумайся. Ныне многим-многим приходится решать «вопрос жизни».

Расловлевы пишут, если бы хоть какая-нибудь возможность! Уехали бы... «Стала бы полы мыть!» (Ну, это крайность, можно и без «полов».)

Правда, ты связана... А у г-на А. нет воли. Он потонет — и тебя потянет. Не дай, Господи!..

Я пишу тебе, вдумываясь. Я — вижу впереди... или ошибки это? — сплошь ужас.

Обнимаю тебя. Храни тебя Пречистая.

Надеюсь хоть малым тебя порадовать. Дознаю.

[На полях:] Если ты так близка со мной, — а ты знаешь, какой я к бесам, — как же ты мо-жешь поддерживать сношенья с этой грязью-кровью, с этими «угрями»?! Не постигаю сего*.

622

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.I.48 10 ч. утра

Олюша, я сознательно не включил в письмо, от 21-го, ответ мой на твои слова о работе над рассказами: не хотел к больному и ранящему примешивать чистое и возносящее дух... — о творчестве. Я рад, что тебя влечет это, уносит, — берет. Это — высшее благо, нам данное, (не всем!). Это — проявление почти святого в человеке. Ты знаешь мое отношеник к искусству, — это есть служение, как бы предстояние перед Создателем. И потому — ответс-

* В конце концов, я, просто, обязан, быть с тобой... неоткровенным?

твеннейшее из дел человечеких, — священное. Мешать его с повседневностью — нельзя. Ему надо отдаваться, забывая себя, уносясь, возносясь. Нельзя тут — «между прочим», как во всем обыденном. А по твоим письмам я вижу, что ты, как раз, именно — «между прочим», урывками. Это не может ничего дать, это лишь создает сумятицу в душе, и томление: мне это очень хорошо известно, я этим мучился и мучаюсь. Отсюда у меня — большие перерывы в литературной работе, — ты это знаешь. Для сего, для творчества, необходима полная свобода, досуг. Только при этом условии можно отдаться творческому делу: оно, подлинное, берет всего человека. Вчитайся в Пушкина, в его стихотворения, где он говорит о творчестве, о Музе, ищет «покоя и воли»... — много у него откровений. Вчи-тайся. Перечитай Ильина «Основы художества» (О совершенном в искусстве). Все это — истина, великий опыт. Не может священник совершать литургию — «между прочим», задерганный злыми мелочами мятущегося быта.

Но ты учишься, стараешься овладеть формой... — эта, техническая, часть творческого дела — всегда возможна. И я рад, что ты так относишься к работе. Так строго. А дальше будешь еще строже, и увидишь, как не надо было писать, и как — надо, т. е. как лучше выражается вовне деющееся в тебе, берущие тебя о-бразы. Творить можно лишь тогда, когда образы тебя полонили, когда ты уже не можешь уйти от них. А работать над написанным всегда возможно, это техника, но — помни — что, только овладев техникой, можно читателй полонить твоими образами. Тебе, лично, форма не нужна: ты можешь жить твоими (в воображении) образами, видениями... — и удовлетворяться. Но раз ты — писатель, т. е. передатчик твоего мира — читателям (а это главная цель искусства) ты обязана уметь (это и выучка, и дар!) знать твое искусство, учиться ему: в искусстве слова — умение владеть формой слова, облекать словом образы.

О сем прекрасно говорит Ильин в своем труде. Вчитайся! И — трудись. Помни: научить творить образы (внутренний твой мир) — нельзя: надо его иметь, что и есть дар, талант... Облекать в форму — ловкость, которой часто и прикрывают свою пустоту многие, которые тоже называются «писателями», но кои не Писатели. А у тебя есть подлинный дар, твой мир! Ищи же для него умения-формы, совершенствуйся, будь более свободной. Есть, что сказать. Надо — суметь сказать. Это — большой труд. Дай Бог тебе удачи. Ваня

Но обо всем э т о м надо говорить: в письме — ничего не скажешь. А ты упустила счастливый случай — в бытность в Париже. Уеду — не увидимся больше, — так и знай.

623

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.II.48

Дорогой мой Ванечка,

непростительно долго тебе не писала, — но м. б. ты все же простишь свою Олю!? Надеюсь на это, т. к. никто, как ты, так не поймет, что значит быть унесенным работой, да еще урывая для сего часы от повседневной суеты, которой у меня больше, чем достаточно. Я все время о тебе думаю, но не могла противостоять захвату, и все сидела за машинкой. Другой вопрос — стоит ли игра свеч?! М. б. я еще сто раз мои рассказы перекрою, но когда-то и в черновиках они должны быть записаны! А эти последние 3 дня возились со свиньей (проза!!), кололи, и надо было сделать запасы на весь год. Вчера до 11 часов ночи стерилизовала. Сегодня еду на могилку свекра, — его день рожденья. Везу первые цветы — подснежники. (То, что здесь зовут "подснежники" — белые колокольчики.) У нас — ковры их! Да, уже весна! Я весной вся «рас-собра́на», не то, что осенью. И боюсь, что скоро не смогу интенсивно писать, — так всегда весной. Зато — манят краски. На одном аукционе я достала редкие книги искусства: моего любимого Росетти (!!), Тициана, Рафаэля и Леонардо! И Рафаэль, и особенно Росетти — одновременно и пером и красками творили. Росетти очень страдал от этого двойства. Он весь у меня у сердца. И я теперь не смущаюсь моей двойной тягой. Только не могу себя с ним сравнивать. Он был такой талант!! Вчера ночью не спалось, встала и еще все упивалась его репродукциями, хотя они без красок все равно, что «Храм без Божества»[687].

Откуда-то пошла болтовня о моих писаниях, — я сама н и к о м у не говорила, стыдясь прослыть за «писаку». Видно Жуковичи наболтали. Пустошкины одолевают, чтобы что-нибудь прочла. Не буду и говорю, что это все — выдумки. Очень собираюсь к тебе. Но когда? Как тебе, лучше?

Относительно твоих вопросов о том, ехать ли в Америку, — скажу то, что в душе: учитывая политические состояния, видимо, просто н а д о. Но если рассматривать дело с бытовой стороны, то, думаю, что тебе там будет очень тяжело. Но «из

двух зол выбирают меньшее». Как ты, мой родной, живешь? Давно от тебя нет вестей, и я волнуюсь. Но я сама тому виной. Ах, как бы хотела, хоть 1—2 недели уйти в тишину для работы! Так хочется работать и так и этак. Теперь начинают тянуть краски. И... безумно хочется писать человека. Я никогда не пробовала тело. Но думаю, чую, что это мне удалось бы. Я его — чувствую, и всегда так бывает, что то и выходит хорошо, что чувствуешь и любишь. Пока этого нет, — лучше и не браться. Но где взять натуру?! Хоть бы детей найти! Но они — плохие модели, — не усидят и 1/2 часа. Я думаю, что это наслаждение — творить человека. До сих пор во мне это молчало, но вот теперь так тянет на портреты. И что-то новое носится перед духовными глазами. Я часто вижу, закрыв глаза, очень ярко такие характерные лица, что даже никакой фантазией их не придумать, а тут вот... идут перед глазами, как в калейдоскопе! Чудесно это! Ну, целую тебя, мое сокровище! Будь здоров, и пиши!

Оля

624

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.II.48

Дорогой, ласковый Ванюша,

Вчера получила твой пакет из Швейцарии со сластями. Чудесно все, так вкусно. Спасибо, родной! Но не смей больше этого делать!! Таких конфет у нас давно нет, а миндаль и прочее тоже так прекрасны!

Как ты живешь? Мне больше бы хотелось от тебя письмо получить, чем эти лукулловские баловства! Я послала тебе в четверг письмо о себе. Что еще добавить?! Мало работаю... Недовольна днями. М. б. усталость сказывается, но вся я какая-то развинченная будто... без сил и воли. Страшная утомленность. Все бы спала и спала. Думаю, что весна тоже действует. Мыслей масса, а не работается что-то.

И главное: нет тишины, досуга, и... «приюта», ибо все и вся в одной комнате. Я больше всего от этого раздражаюсь и утомляюсь. Все мои бумаги развеяны повсюду, машинка водружается либо на рояль, либо на кожаное кресло вне работы, а во время работы — на столе обеденном. Ну, сам посуди, какая же работоспособность! Комната так тесна, что никакой столик даже негде водрузить, хотя бы самый малый. Да еще 2 собаки тут же, — иной раз прямо ступить негде, запина-

ешься. В «хатке» еще холодно, пока нельзя там работать. Да и неудобно все таскать с собой и перетаскивать. Это все же довольно далеко... сравнительно. Ну, так, как от тебя до Меркуловых. Конечно — близко, но не настолько, как если бы это относилось к комплексу нашего же дома. А во время дождей и совсем неуютно туда бегать. И потом эти надоедные «упободы» — завтраки, обеды, чаи и ужины. И вечно кому-нибудь что-нибудь от меня надо, придут, спрашивают и т. п. А мне хочется полной концентрации. С рисованием еще того труднее. Требуется еще больше «материалов», свет, пространство и т. д. Да и «плоды» трудов все время и у всех на виду. М. б. никто и не смотрит, а мне не по себе, и кажется, что все это видят... и мешает. Но что же делать!? Поэтому у меня раздраженность, беспокойство души. Постараюсь все же урваться на 1-у, хотя бы, неделю опять в вереск. Там — простор и взору, и душе. И тихо. Но это не раньше лета. Если бы наш работник хоть и впрямь к маю выехал из дома, то все же было бы свободней. Хоть чуточку мы бы разредились. Ну, да весной, в тепле и на чердаке можно работать. Главное — быть одной в творчестве. Ну, да ты-то это все отлично знаешь. Ах, как мне образования не хватает! Как много надо знать, читать... И как все упущено! Когда это ясно осознаешь, то делается очень грустно. Как непростительно-легкомысленно я относилась к жизни! В своих «писаниях» могу ограничиться лишь бытовыми рассказами. А ничего путного, конечно, мне не создать. Порой я так ярко в этом отдаю себе отчет, что мне это очень больно. Со всем опоздано! Как это тяжко! Ты понимаешь? Ты-то молодой начал. А вот у меня... так все это грустно!

Смог ли ты «вложиться» в работу? Теперь ты пристроился в квартирном смысле... думается, что м. б. ты уже в «Путях Небесных», до своих дальних путей... Долго ли ты хочешь пробыть в Женеве? Я все же собираюсь тебя навестить. Но мне еще надо продлить заграничный паспорт. Что-нибудь с деньгами надо тоже придумать. Смогу ли я устроиться с гульденами? Спроси, хоть у твоего хозяина квартирного. Заедешь ли ты в Париж? М. б. тогда лучше, чтобы я туда проехала? Напиши об этом! На днях мы ожидаем приезда митр. Серафима для разбора «деяний» нашего Дионисия. Если бы он все же удержался на своем посту, то придется искать способа поговеть где-то заграницей, т. к. он — мне (да и большинству) — не духовник. Отчаянный тип оказался. Обнимаю тебя, мое солнышко и еще раз — спасибо за баловство!

9.II.48 Всю ночь не спала, — наша сумасшедшая баба с 2-х часов ночи вздумала стирать. Собаки, слыша ее, стали

неистово лаять, только что удалось унять Флоп, как начали канючить ребята. И так до 6 часов утра. Разбита и не до работы. Зла, как бес! Вот как у нас.

625

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.II.48

Милый мой, дорогой Ванюша,

не знаю, что и думать о твоем молчании. Вот уже бесконечно долго не имею весточки от тебя.

Получаешь ли ты мои письма по новому адресу? Как здоровье твое? Меня это больше всего волнует. Или ты ушел в работу?

Черкни же, хоть кратко. Ты же знаешь, как меня всегда волнует твое молчание. Хочешь ты, чтобы я приехала или нет? Я вчера дала для продления свой заграничный паспорт. Но ни разу ты еще мне не ответил, куда мне приехать: в Швейцарию или в Париж? Если бы можно было увидеться в Париже, то я бы это предпочла. Как-то уж более знакомо.

Узнай, пожалуйста, смогу ли я обернуться с гульденами в Швейцарии? Это мне очень важно. И смогу ли легко получить где-нибудь комнату? У меня в Женеве ни души знакомой. Но мне иногда сдается, что ты и не хочешь быть может, чтобы я появилась.

Все это время у нас снова зима. Расцветшие подснежники все померзли. Даже крокусы было вышли, а в леску зацвел даже один нарцисс! Не думаю, чтобы эти холода были полезны. Ведь на многих деревьях уже почки надулись. Но солнце все же очень греет, и весна не за горами.

В последнее время у нас было много тревог. С квартирным вопросом все до отчаянья плохо. А у меня сил уже не достает терпеть это сожительство с хамами. И детский рев денно и нощно. Вся моя работоспособность ставится в зависимость от того, соблагоизволят ли эти крикуны спать ночью, или проорут до утра. Не знаю, от весны что ли, но я страшно устала, — засыпаю уже в 10 часов вечера в кресле. А в помещении, где сплю (спальней нельзя это назвать) все время ниже нуля, т. ч. вода в грелках замерзает, если постоит какое-то время.

Работать на юру, при всех, на одном общем столе — невозможно. Но все же я 2 дня тому назад сделала приличный «этюдик» — огромный букет весенних цветов, составленный у блумиста мной самой. Вышло удачно. В нормальную вели-

чину. Краски не обычно-мои — легкие, а очень яркие, сочные. Моим дома очень нравится, и они говорят, что это лучшее из всего. Я — этого не нахожу, но недурно.

Скоро начнется время, когда в каждом углу и на каждом шагу будут открываться картины красоты неописуемой. Как обворожительны ветлы, ивы, с их ожившими прутьями над водой... А плодовые деревья уже утратили свою закоченелость, не торчат торчком в воздухе, а все раскинулись, распрямили прутики, дышат под ярким солнцем, ждут своего наряда. Веточки, будто соком налились, даже другой окраски стали — какие-то розоватые, нежные. И так странно видеть впервые за эту зиму замерзший пруд... Вчера малиновка упала у дверей, обессилев от мороза. Я отогрела ее, кормила, — она ожила будто... а сегодня утром лежит мертвая... Не вынесла. И представь, обманутая теплой погодой заклохтала и села курочка. Сидит, бедняжка, в эти холода, а будет ли толк?! Родилась первая телочка... Вообще, совсем было пришла весна.

Моя Флопка тоже «влюбилась», но я ее выдержала дома. Чудесная она собака! Все больше ее люблю. На редкость понятливая, послушная и... ласкова предельно. Она не делает тех или иных запретных вещей не из-за боязни быть наказанной, но только из нежелания огорчить меня. Я это так ясно поняла. Скоро должны быть ягнятки. Овец уже держат вблизи дома, чтобы не прозевать. Я очень их люблю!

Ну, Ванечка, разболталась о нашем житье-бытье... Да ведь ты тоже это все любишь?! Но пиши же, ради Бога, пиши о себе! Почему ты замолк???? Обнимаю тебя, родной мой. Оля

Уж не Цолликонский ли Иван тебе запретил писать мне?!

626

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.III.48 11-30 утра. Четверг

Дорогая моя Олюша, все твои письма получил. Всякие обстоятельства — переписка-списка о визе в Америку одолевала: мо-жет быть, благодаря Цюриху, и дадут постоянную визу, т. к. теперь туристическая виза дается лишь на три месяца с правом продления еще на 3 месяца, а там надо выметаться хоть в Канаду... Помогут своим влиянием американцы Барейсс, друзья И. А. и мои читатели. Надо было собирать документы, то-се... Здешняя виза истекает 27 марта, но здесь продлят. И другое мешало: подавленность и страх заболеть.

Что я — больной, одинокий?! ... А грипп угрожал: и хозяин мой болел, и Волошина, у кого завтракаю... Пока держусь, принимая предохранительные меры... И погода все время была холодная, с ветром, а ходи каждый день, какая бы ни была погода, — а то — без еды останешься. (Эти последние дни солнце, тепло.) И события разбивали и придавливали, так что во-ли не находил спокойненько написать тебе. Опять читал, — на 40 минут, по просьбе прихода... (с большим успехом, — «Масленицу») — и все, конечно, — гра-тис, так что я здесь за 2 месяца и 10 дней ни гроша не заработал. Но оставим пока о себе... Меня придавило твое состояние. Это ужас — спать в холодище — зеро![i] — Го-споди!.. У меня — 15 иногда бывает, — а большей частью — 18—20, и то мне не по себе. А ты..! Что за жизнь! И как все дико складывается в условиях быта для тебя!.. да какая же тут может быть творческая работа!.. Дивлюсь, как еще ты ухитряешься хоть что-то делать — душевное! Бедняжка моя... Во имя чего, кого — !!? — такие жертвы?! ... Это же самоубийство!.. Олюша, тебе хоть для краткого отдыха нужно приехать!.. Я все усилия употреблю, чтобы найти тебе комнату с удобствами, — в отеле, приличном — очень дорого! — не дешевле 12—15 здешних франков (Чушь, надо именно — тебе — в хорошем!) — да еще на текущее надо добавить франка 4 в день. А мы так сделаем... Да, по справке, сто гульденов здесь меняют за 68—69 швейцарских франков, открыто, в банках. Комнату надо, ну... хоть 80—100 в мес. Я устраиваюсь так: моя комната, — удача! — с услугами и проч. — 80 франков в месяц. Завтрак, — полный обед, — у друзей, — 100 франков. Итого, в день — 6 франков. Да добавочных — ну, франка 3—4. Меньшим как 10 франков в сутки, но со всеми расходами — и почта! — Так что тебе надо считать в сутки — 12, около. Ну, проживешь здесь с месяц, вот и считай: 360 швейцарских франков около 520 гульденов. До Америки у меня хватит паров на здешние сбережения, — и ты, родная, не тревожься, — и на тебя достанет, будь уверена! — только приезжай... проститься! Месяца два еще придется здесь пробыть. Зато я — «вполне на своих ногах!» — не считая где-то болтающихся «гонораров». Так ныне трудно, — препоны с переводами денег! Понатужься, голубка... м. б. больше и не увидимся!.. Знай: ты на мель здесь не сядешь, — у меня все рассчитано. А Бог-то?! ... Деньги — с л у ч а й. Бу-дут. Пусть это тебя никак не останавливает. Н а д о о мно-гом переговорить, л и ч н о. Надо и для тебя,

---

[i] Ноль (*от фр. zero*).

и — для меня. У меня — по скромному расчету — здесь есть еще до 1500 швейцарских франков. А на дорогу будет, и там, на первые 3—4 месяца — уже есть. И предстоят издания и получения. Из Парижа просят — издавать. А я пока не даю... На очереди — «Богомолье», «Солнце мертвых», «Пути...» В Америке получить должен за «Куликово поле»...[688] «Русская мысль» — ни гроша не платит! — возмущение! А газета стала на ноги. На худой конец за газетой у меня... — франков 600—700 — швейцарских!.. А-а... — охота пропадает давать им что-либо... Здешние русские — капля, да и — «на отшибе» как-то. Так что я сомневаюсь, чтобы чтение — платное — дало хоть 200 франков! Слушать очень охочи, а... — с такого слушателя и клока «шерсти» не получишь. Богатые — русскиЯ... «Я»! — это жены русско-швейцарцев, только на церковь еще дают... а от всего родного дале-ки... как и старые эмигранты, здешние!.. — все забыли. На всю Женеву... ну, живых человек 20 наберется!.. М. б. поеду в Берн, звали читать. Но там, за оплатой путешествия, больше ста франков не получить. Издательства здесь — на русское! — дело дохлое. Во Франции все шатко. Да и всюду... Не предвижу доброго: большевизм все пожрет. Почему?.. Я сделал все выводы... и — вижу. Потому что у западного блока — ?! — нет Идеи... нет «духа», пафоса, Цели... а у дьяволов — своя, дьявольская Цель-Идея, и они могут ложью и пылом — злой волей! — захватывать — пока — молодежь, чтобы, не жалея, сжечь ее, для своих дьвольских планов. Но о сем как бы мне хотелось — тебе, родная! — *все сказать*, ду-шу открыть!.. Голубка ради Господа, приезжай!.. Только ты — для меня — единственная живая душа — в целом мире! Верь, Оля!.. Ты мне так нужна!.. — хоть на 2—3 недельки приезжай!.. Ты — я, я — ты... мы поддержим друг друга! Безоглядно приезжай, Оля!.. Это будет свет — и тебе, и мне. Ты мне дашь сил..! и я постараюсь влить и в тебя надежды, укрепить тебя в вере в себя! Надо многое сказать тебе и о творчестве, о — тебе! Глупости ты пишешь: «я мало училась!»... Чушь! А великие древние творцы — чему и как учились?! ... Верь: в тебе есть все!.. клянусь! Я тебе все скажу, как никто не скажет!.. По-мни: не встретимся — никогда не заменишь ничем такой потери! Не самомнение это, а — для меня — ис-ти-на!.. Умоляю: приезжай!!!! Иначе — я мно-гое утрачу!!! незаменимое. Меня хоть пожалей. Мы будем — умные дети, чистые... достойные нашего великого чувства! Нам дано было найти друг друга. Мы дадим друг другу много силы и воли, и — творческого огня! Поверь мне: сердце так говорит. Голубка. За-

втра еще напишу... Обнимаю, нежно целую и благословляю, моя голубка.

3 ч. дня (того же дня) 4.III

Только что пришел, пообедав. Выяснил кое-что для тебя. Волошина, Марья Тарасовна, у кого я завтракаю, — добрейший и чистый человек, как и ее муж, профессор-ученый-физик, — сказала мне, что неимоверно трудно найти комнату! Это совершенно точно. Она предлагает — до апреля, — если ты приедешь, и в пансионе к тому сроку комнаты еще не будет, — пристать у ней, — у ней есть на 2—4 дня комната, хорошая. Дольше нельзя, по условию с хозяйкой, но можно уладить, думаю. С апреля же Волошины бросают квартиру, т. к. М[ария] Т[арасовна] переедет под Лозанну, на горы, где и сын — туберкулезник! — в санатории: там они уже сняли квартиру и будут жить вместе, т. к. санаторий закрывается до полного ремонта и расширения. Советует — и это самое лучшее! — остановиться в «Мирабо». Родная моя дорогушка, ты — гранд-дам, и тебе приличествует хороший отель. Ну, проживешь 2—3 недели, зато в тепле и холе, будут тебе подавать «пти-дежене»[1] в постельку, и еда — от-личная! 15 франков в сутки. Справишься, милочка. И я пособлю, и это мне в радость-свет! Моя королева будет ухожена и согрета. А ты — королева! И ты — Василиса-Премудрая и — «Прекрасная»! — и все у тебя сладится. Трафь, именно, к середине марта, беги от холодищи, воздохни! Хоть последние дни нагляжусь на тебя, простимся, как самые близкие, самые любящие, родные.

К тому времени, надеюсь, вырешится приблизительно и срок моего отъезда. Так мне хотелось бы побыть с тобой, погулять, поглядеть... — только с тобой хотел бы, а то и глядеть ни на что не хочется. Полакомилась бы здесь в с е м — всласть. Какие пирожные! Торты, фрукты, ветчина!.. «пьяные» вишни, шоколат!.. — какие разнообразные конфеты!.. — глаза у тебя так и разгорятся, моя девчурочка!.. — бананов сколько, ну, всего, всего... и, в конце концов, недорого, если нормально прикинуть... это ныне, в хаосе валют, диком, кажется, что дорого... Здесь изобилие всего. Какие взбитые сливки!.. тут теперь и масло, и сахар... — все без тикеток. Ах, какой сдобный и — такой хлеб! — глаза колет. Да сама увидишь. Только бы ты решилась приехать!.. Дай же мне знать — точно — день, когда

---

[1] Утренний завтрак (*от фр. petit déjeuner*).

выедешь и приедешь, заранее, чтобы оставить для тебя комнату в отеле. Твой немецкий язык тебе пригодится. Сама все и наладишь. Ну, что такое трата на 2—3 недели!.. ведь, м. б., навсегда простимся... — все наладим. Вместе и поговеем. От меня отель — 10 мин. Олюночка, порадуй напоследок!.. приезжай!.. — так одино-ко мне... Ты перекрестишь меня — в далео-кий путь... Ну, спешу бросить письмо, сейчас же и пойду на почту, сегодня же и помчится к тебе. И не замедли ответить. Может быть сможешь так устроить, померекай-ка с Сережей, он молодец, все наладит... так, чтобы в Голландии внести, а здесь получить!.. не подвергая риску провоз?.. А я с генералом посоветуюсь. Кстати, сейчас узнал, что гульден ослабел... за 100 гульденов меняют всего 65. Но, м. б., и опять оправится. Вот и прикинь все с Сережей. У него деловые связи, он сможет посодействовать. Ты не смей корежиться со мной, — мое — твое. Бог даст, справимся, не миллионы тут. Голубка, решись и, благословясь, махни. Визы тебе не надо, кажется?.. Простей простого. А о скольком н а д о душевно поговорить. Сделай мне праздник, и сама вздохни. Здесь ты отдохнешь, не будешь, высуня язык, мотаться. Всего повидаем, весна, тепло... А не видеть тебя и уехать... — о, как было бы горько мне!.. Дай же мне лучик света!.. — мне так т е м н о, так одиноко!.. Сжимается сердце, когда думаю, как ты мечешься, как страдаешь в холоде и всей мерзости поганого быта!.. — ведь как скот, хуже... не щадит тебя твоя горевая жизнь!.. Вздохни хоть с Ваней, деньки, — это же не прихоть — души наши освежить, осветить, согреть..! разве грех это?! у кого ты и что отнимаешь этим?! ... — ты лишь ищешь ч е л о в е ч е с к о й жизни, — н а д н и хотя бы!..

Ну, Господь да хранит тебя. Крещу мое дитя, посланную мне радость... на миг радость... Оля, собери волю и скажи себе — мне: да будет! И Господь поможет.

Твой неизменный Ваня

Собери же волю, ду-шу!..

Знаю: если захочешь — все сделаешь. Сумей з а х о т е т ь. Буду молиться, чтобы Господь дал нам свидеться и проститься.

Получил от Земмеринг: едут весной в Канаду, очень зовут с собой.

Многие отъезжают. Я хочу — в тихую пристань, вблизи обители, только. Возможно, что придется — (выпишут!) побывать в Калифорнии, — з о в у т, и кров — дают. М. б. и смотаюсь — для лекций, для литературных (2—3) вечеров.

Целую тебя, светик. В.

627

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[24.III.1948]

Дорогой мой Иван Сергеевич!

На мое письмо[689] с просьбой, узнать Вас и сообщить мне адрес Ж[оржа] К[еннана] до сих пор не имею ответа. Время идет и надо бы ему скорее написать, а я не могу достать адреса. Посылать же прямо на ура мне бы не хотелось, т. к. надо хоть быть уверенной в том, что письмо дойдет. Как Вы поживаете? Не пишу письма, т. к. в рвачке страшной все это время. Нервы перенатянуты; толку мало. Сейчас мы должны убрать работника-хама, — если теперь не выйдет, то вся эта банда будет делать, что хочет. Положение просто ужасное. И при всей натянутости надо ежедневно сталкиваться с ними всюду в доме. Иногда мне кажется, что сил больше не достанет все это выносить.

Много было еще и волнений в связи с бумагами мамы. Меня ежедневно трепали. Как будто бы устроится, но не знаю наверно. Мне очень хочется побыть в Швейцарии, но в данный момент мое присутствие дома тоже совершенно необходимо. Придется быть все время начеку, чтобы успеть самим занять помещение прежде, чем нам всунут кого другого. Измучена я чрезмерно. Обнимаю Вас душевно и очень жду ответа с адресом. Ваша О.

628

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.IV.48

Милый друг Олюша, очень жду письма, нет слуху от тебя больше 3 недель! Я — все т о ж е. Не рискую выхлопатывать туристическую визу, хотя (сегодня) пишут мне оттуда: берите, здесь постараемся продлить. Душевное состояние очень подавленное, т. к. не могу работать без прочного причала. Это для меня — казнь. Голубка, да отзовись же! Я тебе давно ответил[690], написал, как адресовать в Washington. Но у меня нет надежды, после твоего письма с прежним — «impossible»[i].

---

[i] «Невозможно» (*фр.*).

Живу как-бы — в снах, как-бы в пустоте. И все эти «события» мешают собрать душу. Что же ты совсем меня забыла? з а ч т о?! Очевидно, есть причины... Меня очень тревожит, не заболела ты..? Понимаю твою задерганность, и бессилен тебя ободрить. Еще и докучаю. Думал ли я, что придет пора, когда прекратятся и т в о и письма?.. Выпал из памяти... что уж говорить о сердце!

Ну, да укрепит душу твою Господь! 17 и 18 — должен читать в Берне. Твой В.

[На полях:] Был у окулиста, хорошего. Ни-чего! От его лекарств «зуд» — все то же.

Измучил меня этот «зуд». Прописано витаминов B1, B2, B6 — Z E R O!

629

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.IV.48

Дорогой мой Иван Сергеевич,

Пишу только, чтобы сказать, что письмо Ваше от 11-го[691] получила и очень грущу. Мне больно было его перечитывать. Вижу, что, то чего я в отношении Вас опасалась — было верно. Вам неуютно уже сейчас, — что же будет в Америке?! Пишу скоро письмо, а сейчас я бегу по делам, и вот как назло опять пошли на почте в ход эти куцые открытки. Экономия страны, дерущей с нас три шкуры за все и не дающей ничего, даже приличных открыток!! У меня все в тревоге и неудаче. Не верю, что выгоним нахалов. Его жена устроила сегодня генеральную уборку комнат с побелом стен (!), а это значит, что решили силой засесть прочно. Адвокат болен — что-то вроде воспаления легких. Вчера ездила к нему, чтобы отдать яйца и узнать, как с ним. И тоже все это не так просто, т. к. целый день надо тратить на езду в другой город. Вчера же были похороны матушки Розановой в Гааге. Умерла очень тихо, не болея. А с ней ушла большая хорошая жизнь для русских здесь. Грустно. Я рада, что Вы написали Ж[оржу] К[еннану]. М. б. он и ответит. Я послала заказным авионом. Видались ли Вы с И. А.? Не постигаю, как он до сих пор не удосужился Вас позвать к себе. Эгоист № 1!! Помолитесь за нас, чтобы Бог дал сил перенести это несносное время. Нервы у меня все растрепаны. Обнимаю Вас. О.

630

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.IV.48

Христос Воскресе! — дорогая моя Олюшенька, — и «Воистину Воскресе!..» — и тебе кричу, и твоим — маме и Сереже. Да будет тебе Свет Христов, и светлые дни да осияют тебя, родная!..

Эх, забыла, забыла... Ну, Господь с тобой. Прости мои согрешения, — сейчас, в среду, иду каяться, а завтра, Бог даст, приобщусь... Да, голубка... забыла... не полюбопытствовала даже, как я съездил — 17 и 18 — в Bern[692], как все было..!

Светло было, на-редкость. О, ско-лько у меня друзей-читателей!..

До сего — ни отзвука из Вашингтона. Но я все же решил ехать. Возьму туристическую визу. А там — увидим. Я должен там выступать. И — с лекциями, по-французски, и по-русски. Доеду, буду здоров — сделаю, должен.

В понедельник, 26-го апреля, поручил магазину (сам все выбирал) послать тебе пустячок. Вложил и купленное (помнил же о тебе!) в Bern'е малюсенькое яичко, работки одного бедняги Д-П из Германии. Досадно, не знал, что медленно идут эти «colis»... — должна получить в четверг 6 мая, (так сказала опытная в сих делах лавочница), — все же в Светлый Четверг.

На 2-ой день Пасхи, если будет ясно, поеду «разговляться» в горы, к друзьям-читателям (одна докторша в санатории[693], моя горячая и благоговейная читательница, все время посылавшая мне дорогие лекарства)... Зовут на-долго, но я больше 3—5 дней не просижу. 1200 m высоты над Лозанной. На случай дам — адрес: Mlle V. Nossenko, doct. en medec., Leysin, Vaudoise, Swisse, мне.

Звали на публичное чтение в Zürich, но я пока отложил... И. А. не видал. Он мне звонил в Bern, (только что встал от гриппа), очень настаивал, чтобы я из Bern'а — к нему, но я был не в силах, отложил до..? Он все — чуть ли не 4 месяца — лежал. У него, думаю, мнительность. Немецкое издательство уже принесло аванс в Мюнхен, к Земмеринг, — в переводе будет около 800 швейцарских франков, обещают устроить нарочным, по выгодному курсу. В самой распространенной цюрихской газете «Tages Anzeiger» — пойдут «Росстани»...[694] Из Америки — настойчивое предупреждение — ехать! М. б. переберусь в Canad'у (после 3 мес.).

Очень мне досадно, что вынудил тебя, голубка, писать в Вашингтон... — и не получил ответа! А м. б. адресат эти дни (как раз) был в делегации в Южной Америке, в Bogot'е, где Копфер? Возможно. Я послал (должно быть получено) и английский экземпляр «Солнца мертвых», заказом. Пока еще надежды не теряю. Не свидимся? Нежно христосуюсь с тобой. Голубка Оля, будь здорова и не забывай так. Да, все проходит... Твой (все же!) Ванюша

Х. В.!

631

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.V.48

Дорогая, светлая Олюша,

Твои пасхальные цветы, — чудесные ландыши, большой букет, — пришли в Великую Субботу, утром, когда я собирался в церковь к литургии. И с ними — большой свет мне, чистая радость, обновляющая и влившая силы... — целую твое сердце. Эти ландыши пришли такими свежими, в прозрачной большой коробке из целлулоида, перевязанной красивой лентой. Это был истинно радостно-укрепляющий привет: весь день я был в Празднике, и — после. Не помню, когда так был вознесен за этой чудной литургией... И как же пели! Я не мог удержать себя, и после службы пошел и поблагодарил регента и хор. В Великий Четверг причащался. И все эти дни Страстной были наполнены великим смыслом. Я часто бывал в церкви... Словом, — был душевно спокоен, светел. За пасхальным столом был у настоятеля, в Светлый День, после пасхальной Вечерни. Был не один. Давно не было такого, (конечно, не говорю уж о Пасхе с тобой, — это вне всего!) Много было приветствий, даров пасхальных... Из Берна (за чтение?) получил две пасхальные посылки, из Германии, от читательницы «Ди-Пи» — чудесное резное деревянное яйцо. С гор — пасхальный дар, и от здешних... Но твои ландыши — все покрывают... и сейчас они, уже сникшие, опадающие... — передо мною. Целую их.

Яйцо — оно от достойнейшей из русских женщин, принявшей кротко страшные испытания!.. — ее отца, протопресвитера о. Терентия, разорвало бомбой в Варшаве, в сент. 39 г.; мать ее расстреляли немцы в Берлине — ни за что! — вывели из храма, где они укрылись от налета авиона вместе с со-

тней других жертв... (поблизости кто-то выстрелил и убил немецкого солдата).

Тебе посылаю этот дорогой мне привет, — включи в мои «пасхалочки». Не везу с собой. А у тебя он сохранится. Прими его свято, — он — от сердца чистого и кроткого. Лучшего назначения не вижу. Это дар — великого страдания — и — приятия кротким сердцем.

Ответа все еще нет. М. б. и не будет. В таком случае, недели через 2 буду хлопотать о временной 3 месячной визе. А там... — не хочу заглядывать.

Господь с тобой, родная моя. 2 дня был в горах, где санаторий, высота 1500 м, — около зимы (Leysin, над Lausanne). Там — первая весна, чуть зелень дымится, а в день приезда был снег.

Целую тебя. Твой В.

632

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.V.48 Geneve

Дорогая Олюша,

От тебя нет известий. Не знаю, как провела-встретила Светлый День. Такое забвение — впервые за все эти 9 лет. Я писал тебе...

Домыслами-гаданиями не пытаю душу: она, после многих сомнений и «вибраций», погружена в новую работу... — и это нежданно для меня, «в пути»...

Посылаю тебе «Лето Господне». Оно посвящено Ильиным — мой долг.

Как увидишь из текста, — так мне хотелось, так и вышло, — первый очерк «Михайлов день» — я отдал тебе.

Первый, посвященный живым. «Крестный ход» стоит первым, из «посвящаемых», и это потому, что Н. К. Кульман уже отшедший... и земно связан с женой своей[695], еще оставшейся.

«Куликово поле», как я уже писал тебе в 1946 г., — я отдаю тебе. Так и будет. Я в колебании, у кого издать. Оно печатается в «Православной Руси»[696]. И с этим издателем я уже договорился об отдельном издании: м. б. и отменю. Выскажись, — и я последую твоему совету; но — прошу! — не руководствуйся политико-церковными соображениями! Мне претит, что издательство пустило длинную строчку, и допущено мно-го опечаток! Скорее всего, я откажусь. Тогда «Кулико-

во поле» выйдет в Париже. Мне важно — очень чистое издание, компактный томик, карманного размера, четкой печати. Да, я откажусь. Теперь: или издаст «Русская мысль», или «Возрождение».

Я очень захвачен новой работой, которую м. б. и не завершу. Но — горю...

И многое тут зависит от поставленных мной условий... которые вряд ли будут приняты...

Целую. Прими радостно мой заветный труд — «Лето Господне». По-мни, что я себе обещал — очень давно! — что я должен воздать верному другу — И. А. Ильину — за все, что он для меня сделал. А он спасал меня в тяжкие годины.

М. б. еще заветней — и это так! — «Куликово поле», для меня. Его я отдаю тебе, уже отдал. Только бы дожить до дня, когда я вручу тебе эту знаменательную — для меня — работу (и совершенно особливую в Литературе!). Твой Ваня

633

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.V.48 Genève

Дорогая Олюша,

Вчера получил очень вежливое приглашение к здешнему американскому консулу. Сегодня был и заполнил формулярный лист (1). Консул сказал, что уведомит письмом о результате. Я написал просьбу о туристической визе не менее, как на 1 год. И так — сдвинулось с мертвой точки. Думаю, что это — благодаря Вашингтону, не иначе. Очень благодарю тебя, дружок. М. б. дадут и на год. Так я писал и в Вашингтон, привел мотивы. Иван Александрович известил, что организуется мое чтение в Цюрихе[697], в половине июня, по разработанному плану, — вырвал из Берна «устроителя» чтений в Берлине, своего большого слушателя. Обсуждал и с местным священником. Ему стало ясно, что я вряд ли поеду в Цюрих — расходы свыше 50 франков швейцарских, а тут, от вечера расходы покроются. Он отъехал недели на 3 на отдых, — все валялся. Так что раньше конца июня я не уеду. Очень хотел бы с тобой проститься! — «Лето Господне», наконец, вышло, но пока еще книгу не видал. Как получу — пошлю тебе, родная. До сих пор не знаю, получила ли ты посылочку, посланную еще 26.IV! Послал как «память пасхальную», яйцо резное — тебе, — что же мне его держать в моем бездорожье! А ты —

храни: может быть последнее это?.. Меня в з я л а, наконец, охота писать... — что — не знаю. «Пути» оставляю до «якоря». И еще — навязывается нечто для фильма...[698] — м. б. побываю в Холливуде, где есть знакомый, directeur de production[i], русский, читатель мой[699]. Отвезу и сценарий «Чаши». Ехать надо и для «Путей». Целую тебя. Твой В.

Завален письмами, книжками, рукописями — совсюду: не обернусь, — большой у меня читатель! А намечается будто крупная вещь, — «Записки *не*писателя»[700] (?!)

[На полях:] «Зуд» все то же, измучил.

Как давно нет от тебя!

634

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[19.V.1948]

Дорогой мой Ванюшенька, дружочек, спасибо тебе за обе посылочки (вчера получила). Зачем ты так балуешь меня?! Мне это всегда очень стеснительно.

Как твои дела? От Ж[оржа] К[еннана], конечно, никакого ответа, и, вероятно, не будет. Мне досадно, что к такому типу еще обращались с просьбой.

Недавно вышел здесь журнал целый, посвященный Kennan'у, с его портретом (омерзительным). Вся его «деятельность»[701] неприкровенно-гнусная именно в отношении России, как таковой, как сильного и единственного конкурента Америки. Фиговым листом явился только «X» вместо подписи, а в остальном стоят толстые точки над всеми «i». Где и откуда еще грезятся какие-то «идейные» подходы? Россию им сожрать надо, независимо от того, кто бы там ни правил.

У них-то золотой телец на троне.

В журнале открыто спрашивают Ж. Кеннана и предупреждают его не слишком зарываться в слепой ненависти к России, прикрывая это «ненавистью к коммунизму», ибо: «нельзя забывать, что дело идет в первую очередь о русском народе и русской армии». Это слова американцев, озабоченных судьбой Америки, благодаря неосторожным срывам Ж. Кеннана. Наша (голландская) пресса — подголосок англо-американских газет передает эти опасения дальше, не стесняясь раскрывать драпировку «идеологии». Одним сло-

---

[i] Производственный директор (*фр.*).

вом: Ж[орж] К[еннан] — для меня гад! И такой фрукт ничего не сделает для тебя, потому что им нужна русская эмиграция для «пятой колонны». А ты ему что-то намекнул о «подмене» и не подмене и попал, конечно, не в бровь, а в глаз.

Ванечка, прости скверный почерк и то, что мало пишу. Я еле держусь во всех смыслах. Дело доходит до ежечасных скандалов. Мы будем вышибать теперь с полицией хамов. Начали ремонт всей квартиры — кошмар. Ночами орут ребята хамов. Днем ходишь как пьяная. Никакой красоты природы не вижу и не замечаю. Эти дни плохо себя чувствую, — было необыкновенно с сердцем. Еле хожу. Не могу думать о поездке, даже если бы было время. Просто сил нет. Я утомлена и физически, и душевно. Писать это письмо безумно трудно. Напряженность атмосферы, накаленность последнего времени, скандалы, ругань, шиканирование...[i] доводят меня до изнеможения. А у А. экзамен дипломный. Душой хотела бы в Швейцарию, но не знаю, как соберу силы.

Сейчас это хамье, которое по суду не имеет права, собственно, жить дольше 1-го мая (но живут, благодаря нашему нежеланию скандалить), пользуются садом, где держат 20 кур в курятнике, подкидывают к рабочим своего мальчишку, чтобы не мешал дома, берут по 5 (!) литров молока каждый день, пользуются моим ковром (очень хорошим) и массой всякой домашней утвари. А когда попросили их передвинуть чуточку мебель, чтобы отделать не обитаемую ими комнату (а только занимаемую мебелью), так они отказались, а мастер с той недели уходит на подряды.

Ну, не стоит все это описывать. Опять стало скверно с сердцем — нечем дышать, — грудь давит. Обнимаю тебя, солнышко. О.

Не сердись, что пишу мало. Пиши сам, — мне тяжело сейчас.

635

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8/21.V.48

Ради Бога, прости: устал от «горенья» и потому в спешке, посылаю тебе «Лето Господне», завернул... ненадписанный экземпляр. Сейчас, придя с почты, прилег, чтобы просмотреть только что полученную книгу (всего пока получил 3 экз., —

---

[i] Здесь: придирки (*от нем. Schikanieren*).

для тебя, Ильина, и — себя). Тут сложно, через [контроль] таможни, — книга шла 3 недели! — и я остановил пересылку мне авторских экземпляров, так как облагают таможенным сбором — пусть шлют заказной бандеролью, как «авторские».

Исправляю оплошность, иду снова на почту и посылаю par expres.

Господь с тобой. Мне грустно. В.

Чтобы не перегибать лист с надписанием — возьму большой конверт и вложу. В.

636

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.V.48

Милая Олюша,

Сегодня письмо из Consulat de Genève[i] (Amer.) — в туристической визе о т к а з а н о: и совет — хлопотать — записаться в очередь — на иммиграционную (Consulat о сем написал в Цюрих генеральному консулу). Для меня — *?* — почему (кто дал толчок?) Consulat приглашал меня? Я не хлопотал. Пишут еще: «мы сообщим Mr. G. K[ennan] о Вашем “случае”» М. б. отказ потому, что я в их анкете просил о визе — «не менее, как на год». А у них новый закон: туристическая виза теперь на 3 месяца (была на 6). Я написал в Париж, читательнице[702], которая служила в американском посольстве 25 лет — и на отличном счету. Она мне [осенью] говорила: «через 2 недели будет у Вас туристическая виза». Посмотрим. Вот именно, чтобы «выправить и м мозги» и добиваюсь визы. Другое дело — не будут слушать; но я попытаюсь, это мой д о л г! Буду стучаться вся-чески. Я работаю, но отказ холодит. Письмо твое меня очень удручило. Твой В.

637

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[24.V.1948]

Дорогой Ванюша,

Сию минуту твоя открытка. По-моему, — прости уж, — ты делаешь колоссальную неосмотрительность и портишь

---

[i] Консульство в Женеве (*фр.*).

себе сам, обращаясь с хлопотами через какую-то служащую в посольстве (Америки) и добиваясь во что бы то ни стало туристической визы. Я ничего больше не пойму... Ты же хочешь главным образом постоянную визу? Или нет? По твоей просьбе я просила G. K[ennan] именно о постоянной, для которой нужна квота, а ты ее должен бы ждать 1 1/2 года. Я просила рассматривать тебя вне очереди, как ученых и служителей культа. Что же случилось теперь?

Ясно и очевидно, что только из-за вмешательства G. K[ennan] твое дело пошло таким путем. Консул только так и должен был тебе сказать: «откажитесь от туристической и просите иммиграционную». Пойми, что у них протекции не полагается и ни в коем случае никто не должен об том знать. Я знаю это по хлопотам о евреях. Ни жена президента, ни его дети не могут иметь привилегий вне закона. Ты это должен хорошо усвоить и поймешь тогда, что консул тебе и не может яснее говорить. Он только намекает. Ведь ясно же сказал, что о твоем случае напишут G. K[ennan'у]. Что же ты теперь делаешь, настаивая на туристической? Да еще через «мелкую сошку»? Кто бы она ни была (это не M-me Кудрявцева?[703]), но разве ей с G. K[ennan'ом] равняться? Боюсь, что многое ты уже напортил. Непонятно и обидно может это все показаться Georg'у Kennan'у.

Он сделал какие-то шаги и сделает, видимо, наперекор их законам, устыдясь моего письма. Теперь я понимаю, что мой шаг был верный в смысле того личного холода и отчужденности, с которой я ему писала. Он задет тем, что я ему сказала, что, «вероятно, и тут он ничего не захочет сделать, и что поэтому мне тяжко к нему обращаться, и делаю я это через силу, только для знаменитого писателя и во имя культуры». Видимо, «доказать» хочет, что «сделает». Писанием же к служащей в американском посольстве в Париже ты *все* портишь, 1. у G. K[ennan] может получиться впечатление «огласки», 2. просто чувство амбиции, что ты по «кухонным дверям» пошел хлопотать, когда тебе парадное открыть захотели. Спешу послать письмо, чтобы предупредить. Конечно, запрашивай постоянную визу. Если, конечно, хочешь. Я больше ничего не понимаю.

Обнимаю. Оля

[На полях:] Не понимаю, почему ты удивлен запросами консула? Ведь *ты*-то знаешь, откуда мог быть толчок?!! Советую тебе написать G. Kennan'у и поблагодарить, т. к., дескать, какое-то движение замечаю и полагаю, что это через Вас.

Консула отказ в туристической — есть замаскированное направление на постоянную визу, которую ты сам должен запросить, якобы вынужденный отказом в туристической... Ясно.

У нас все премерзко. [Чувствую себя плохо].

Почему бы консулу сообщать G. K[ennan'y] о тебе? Посуди сам! Ведь не паспортный у него отдел. Чтобы с этими делами к нему обращаться. «Ваш случай» — показывает уже на то, что ты рассматриваешься как особый случай.

[Приписка:] У меня впечатление, что ты не хочешь постоянной визы и потому так настойчиво добиваешься туристической, хотя бы через Ильину.

Иначе не постигаю этого хода твоего, при таких-то благоприятных условиях.

Потому ты не подал листа и в Цюрих... Так почему же ты прямо не скажешь, что изменил намерение.

Это же куда проще. А так: поставил всех в недоумение и сам недоумеваешь, что дело заткнулось. Мне все это очень неловко. Прошу, распинаюсь о твоем неустройстве в Париже, а ты... взял да и зачеркнул.

638

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.V.48
9 вечера[i]

Голубчик-Олюша, я ослеплен твоим тонким умом: ка-ак же ты глубоко все «вскрыла»! Именно: б е з участия Ж. К[еннана] тут ничего бы и не началось. Пра-вильно: «завуалировано» и н а п р а в л е н о на надлежащие рельсы. Но я письмом Наталье Александровне Ильиной, вдове русского врача, очень чистому и доброму человеку, не мог ничего — пока! — испортить. Она лишь мне посоветует, я не посылал ей никаких документов, н е подавал «просьбы», не заполнял «формуляров». Я с н о: вице-консул женевский в ы н у ж д е н был поставить «персону» в известность о «дураке», который п о р т и л наведенный для него «переход» через непроходимый овраг. Буду ждать листа перечня документов, необходимых для ходатайства о постоянной визе и попрошу занести меня в лист «ожидающих очереди квотной». Это, должно быть, лишь «формаль-

---

[i] К письму приложен проект обложки для предполагаемого издания повести «Куликово поле» (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 52. Л. 18). На обороте надпись: церковно-славянскими буквами (вязью?) не знаю... Должно быть будет стр. 120—40. Коротких страниц, не более 26 строк на стр. Отличная бумага. Но ты — В С Е знаешь. И. Ш.

ности», и можно рассчитывать, что мне дадут просимое... Ты распутала все «плетенье». Вот этим-то и ослеплен, до восхищения! Благодарю твое умное сердце, дорогая. Помни: ничего я тут не напортил..! и никого не мог никак подвести. Ибо: «персона» уже фактом сношения с вице-консулом что-то отчасти приоткрывала... т. е. «маневрирование»...

Вчера же я, вчитавшись в письмо вице-консула, написал ему благодарение за его «благожелательное внимание и советы». А не «вздернулся», как бы поняв, что бОльшего вице-консул и не мог сделать. А если что сделал, то не для меня, а идя навстречу желаниям «персоны». Держал я себя — думаю — с полным самообладанием, ровно и достойно. Теперь понимаю, почему вице-консул уклонился от разговора в последнюю пятницу: что мог он мне сказать?! ... Ты все и «просветила», мой чудный «рентген»!

Я начал новый «роман» — «Записки неписателя»... — 1 глава готова. Если черт не помешает, через полгода — сделаю: он уже есть, весь, смутно в душе моей... кон-ту-ры...

Получила ли ты малюсенькое «яичко» в сладкой посылке? Ты — ни слова, тебя, ныне, от меня — ничто не радует! Для тебя взял, быв в Берне — от трудов несчастного «ди-пи». Понравилось ли яйцо, резное? Работы хорошего художника, как мне писали. Тебе послал: ты мой «музей», ты сохранишь... память.

А 15-го мая — получишь дней через 5 —, послал сам, не через магазин, киловую посылку: 1 фунт фрюи глясе[i], — чудесные ананасики! 1 фунт миндаля, горсть орешков и несколько вафелек... — погрызи, белочка!

Очень прошу, родная... для твоего «Куликова поля»! — сделай, ради меня: дай «ширинки» — над главками, вверху странички, хотя бы одного рисунка, как орнамент[ii].

И — я перечисляю — заглавные буквы главок, крупновато, рисунком — ты сумеешь! — 1 — С, 2 — К, 3 — С, 4 — Г, — 5 — С, 6 — П, — 7 — В, 8 — У, 9 — П, 10 — Д, 11 — С, 12 — И, 13 — Н, 14 — Я, 15 — В.

«Красных» букв. Как бывает в изданиях — luxe. Кроме сего: обложка должна получить твой рисунок-начертанье — КУЛИКОВО ПОЛЕ — «без точек». Исполни это заглавие как бы древне-русскими крупными буквами, образцы можешь найти в соответствующих изданиях, в публичной библиотеке или в энциклопедии...

---

[i] Глазированные фрукты (*от фр. fruit glacé*).

[ii] В письме рисунок.

Не смущаясь, сделай. Цвет дадим зеленовато-белый на светлой «руба[i]

Лопнул тонкий лист у дурака, спешу! Милка, сделай, ножки целую, милые лапки целую... смотрелочки умные целую... сде-лай!

Олюша, приди в себя, ты — г д е -то!.. никак не отзовешься...

Ни в какую чертову Америку не поехал бы — мне р а б о т а т ь надо! — если бы в Париже было сносно, — ни молока, ни чистого хлеба! Но квартиру я держу и отказываю рою желающих — приезжих англичан там...

Не поехал бы... если бы можно было в Старый Иерусалим!.. Если будет там мир, — ту-да! Мечтаю в и д е т ь — и писать... Х р и с т а!..

А то, что теперь — это мне така-я сво-бо-да!.. тут-то уж я в с е [с]кажу!..[ii] п о ч е м у в с е — ТАК?! Всю жизнь дам, — в образах и бореньях. И всю г л у п о с т ь и пакость мира!.. — себя не буду щадить.

Го-рю... только бы дорваться до «якоря». Но «на якоре» сперва завершу «Пути». Знаешь тему? П Р Я Н И К И... да, да: «Р У С С К И Е П Р Я Н И К И». Ты поняла... — ду-ш е в н ы е..! — о, как я русских жен-щин хочу дать!.. и как ты мне тут н у ж н а!..

Нет, я не уеду, не повидав тебя. Это невозможно. Приезжай, — я половине ию[...]гаю[ii] в Цюрихе. Твой Ванёк

Почему твои последние письма <u>без</u> даты? где — ты?! и — когда — ты?!

С изданием “Куликова поля” решу до отъезда: хочу с тобой вырешить. Многое надо.

Скоро твое рождение. Ты будешь вспоминать?.. будешь сосать ананасики... Скажи, что хотела бы?!

639

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.V.48

Дорогой мой, любимый Ванюша!

Вчера послала тебе письмо[704] (я ошибочно поставила 28.V) и не могу найти себе покоя: как ты его примешь?! Мне больно было писать его, но я не могла <u>не</u> высказать своих мыслей.

---

[i] Письмо надорвано.

[ii] Письмо повреждено. Часть текста отсутствует.

Я с радостью, как только у нас условия, хоть чуточку, придут в человеческие нормы — попробую, приложив все старания, начертать для «Куликова поля» то, что ты просил. Можно ведь и инкогнито это сделать, не проставляя «автора», — да и какие же это «рисунки»? Орнамент и буквы, да надписание на обложке. Я думаю, что ты сам не хотел мне отдавать этот труд, и что мои мысли только облегчат тебе взять обратно данное обещание о посвящении. Я очень хочу быть у тебя, и тогда еще лично поговорим. Только, Бога ради, не обижайся, не сердись и не волнуйся. Попробуй понять меня тоже! Пока оставим это. Поговорим... Ты же знаешь, как я к тебе — всем моим сердцем! На этом базисе мы всегда сможем обо всем говорить. Нет на свете души более преданной тебе, чем моя. Смело могу утверждать это и утверждаю! Да, Ваня! Так это и есть, а не иначе.

Теперь о деловом:

G. K[ennan] пишет (от 25-го мая) авионом:

«Твое письмо от 6-го апреля я получил, и справился насчет визы для И. С. Шмелева. Хотя не могу ручаться, что он визу получит (решение зависит от самого консула в Женеве), — но были предприняты шаги для ускорения обсуждения вопроса, и я надеюсь, что он скоро получит окончательный и положительный ответ».

Дальше (в письме на 1 1/2 страницах) он больше об этом деле ничего не пишет, а входит в обсуждения и сожаления касательно моего отношения к нему, заверяя, что у него самого остались только самые хорошие и приятные воспоминания обо мне и наших прошлых днях. Все письмо в очень мягких тонах. Видимо, его задел мой холодок, — поскольку я его (по воспоминаниям) знаю.

Теперь мне очень нужно знать точно, какого рода поведение в отношении твоей визы было у женевского консула. М. б. именно теперь, до окончательного решения этого вопроса мне еще написать Ж. К[еннану]? Если консул хотел «об этом случае писать G. K[ennan'y]», — то, видимо, он не рискует о т к а з а т ь самолично. М. б. они оба «крутят», чтобы не было известно, кто из них превысил полномочия, нарушив законы?!

Я думала написать Ж. К[еннану], сообщив о положении в консульстве в Женеве. Дескать, к тебе обращаются, ты и решаешь, стало быть! В этом роде.

Пока жду твоих указаний, — буду намечать письмо, чтобы оно «выбродить» успело. Я не хотела бы писать ему неосмотрительно. Я думаю, что он, если может, — сделает все для тебя. О твоем письме и «Солнце мертвых» он ничего не сообщает. Ответил ли он тебе? Почему ты послал ему на английском

языке? Он в совершенстве владеет русским, а в переводе теряется аромат неизбежно. Очень прошу тебя поскорее ответить мне, чтобы не задержать хлопот. И также обязательно теперь же сообщи, когда ты уезжаешь в Цюрих и когда возвращаешься? Где читаешь? И кто устраивает чтение? Могла ли бы я обратиться к кому-нибудь с просьбой передать тебе на чтение цветы? Я заказала бы их здесь и послала бы аэропланом. Тогда бы знала наверное, *что* ты получишь. Будь такой милый и сообщи мне это! Барейсы там? Как их адрес? Сообщи же! Иначе рассержусь. Пожалей меня! Это нужно. Пусть знают, откуда тебя чтут читатели.

Если я буду связана весом посылки (кажется, очень ограниченно можно посылать авионом цветы именно; из-за девиз), то я устрою от разных имен, но все будет от меня. Напиши, что ты будешь читать? Я бы хотела после определенной вещи, как бы непосредственный мой привет. Не медли, т. к. надо для авиона просить разрешение в Гааге. Но до середины июня время есть еще. Если любишь Олю, — примешь и не задержишь. Я сделаю все возможное, чтобы к тебе приехать. Когда ты будешь опять в Женеве?

Итак: жду указаний о консульстве и о том, чтобы ты хотел довезти до сведения Кеннана? Он о-чень надеется, видимо, услышать что-либо еще и забитый, сделает, думаю, все, что может. Вишь, по самолюбию хлестнула! Ну, «с паршивой овцы хоть шерсти клок»! Тем более, если этот «клок» для тебя! Адрес дает Министерства в Вашингтоне.

А пока обнимаю тебя нежно и люблю.

Сладостями твоими балуюсь, а отz орешков за уши не оттащишь.

Оля

[На полях:] Я очень неважно себя чувствую — завтра же новая возня с квартирой... И откуда взять силы?!

Маленькое яичко висит у образа под лампадкой в спальне у меня.

640

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.VI.48

Дорогая моя Олюша, — о «нашем» напишу к 9-му, в связи с твоим письмом, от 28 — ? —, меня опечалившим... — но я разобрался, многое отнес к условиям твоей «призрачной» и «случайной» жизни-быту... — не тревожься, я надеюсь — мы разберемся, при встрече, — да, необходимой, м. б. и — по-

следней... — и сердечно, дружески, любя, все поняв, скрепим еще лучше и глубже нашу знаменательную встречу.

А теперь, срочно, о деле с визой...

Это хорошо, что К[еннан] ответил тебе. Я ответа не получил — да и не ждал. И объяснять домыслами — почему? — не стану. Неважно это.

Объясню всю «историю», чтобы ты имела ясное представление. 14 мая я получил очень любезное приглашение от вице-консула в Женеву — было там даже слово «сердечно»... — прийти переговорить об интересующем меня деле. Пришел 14 же и был с полным вниманием принят и выслушан. В беседе я, уже предполагая, что «толчок» дан из Вашингтона, — почему бы вице-консулу приглашать меня, я же не просил еще ни о чем и в консульстве не был?! — помянул, что писал в Вашингтон такому-то... по совету одной моей читательницы-друга, которая встречалась с мистером Кеннаном в Берлине... этим, мол, и объясняю, что г. вице-консул меня пригласил. И — только. Тебя, конечно, не называл и никак не разъяснял. Дурак я, что ли?.. Вице предложил мне заполнить «лист ходатайства о визе». Я написал, что мне нужна виза для «благоприятных условий бытовых, для работы вблизи обители, где есть нужная мне библиотека, для прочтения соотечественикам 2—3 лекций...» а так как иммиграционная квота русская заполнена и закрыта на полтора года, я прошу о «виза де визитер»[i], но на срок... «не менее года». Пояснил, кажется, что не могу, в мои годы, рисковать оказаться в неустойчивом положении, если по истечении срока визы — 3 месяца! — мне пришлось бы покидать Соединенные Штаты и куда-то выезжать, хлопотать о новых визах...

Вице-консул принял «лист» и сказал мне, что напишет мне. 21 мая я получил — отказ, — письмо. Вот точная копия.

20 mai 48

Monsieur, j'ai le regret de vous informer qu'après avoire examiner avec attention la demande de visa de visiteur que vous avez faite a ce Consulat en date du 14 mai, je suis obligé de conclure que vous n'êtes pas qualifié pour obtenir un visa de visiteur temporaire. En conséquence, je vous suggérer de maintenant la demande de visa d'immigration que d'après vos dire vous avez faite il y a quelques semaines auprès du Consulat General des Etats-Unis a Zurich. Au cas ou vous n'auriez pas encore eté inscrit.

Nous avons écrit afin renseigner Monsieur G. Cennan au sujet de votre cas. J'ai en outre demandé ou Consulat General des Etats-Unis a Zurich de vous envoyer la list de documents que vous devrez

[i] Гостевая виза (*от фр. visa de visiteur*).

lui soumettre a l'appui de votre demande de visa d'immigration. Veuillez agreer[i].

Тогда же, 21, я был в консульстве. Вице меня не мог принять (!) ... а мне хотелось знать, почему я... «кэ ву н'эт па калифие пур обтенир эн виза дэ визитер темпорер»[ii]. На следующий день я письмом все же поблагодарил вице-консула за его любезную готовность, за его «внимательное» обсуждение моей просьбы и о визе и — за его совет...

Я считал, что должен быть вежливым, тем более что тут хлопотал Вашингтон... Все. Я решил подождать и до сей поры не просил цюрихского генерального консула о постоянной визе. Остальное тебе известно. Движения нет, мертвая точка. Я спокоен, тем более что получил охоту работать... Теперь — жду. Но время идет, мне уже трудно — эта неопределенность. Мешает главному — моей работе.

Я не хочу тебя беспокоить, учитывая твое тяжкое душевное и бытовое житие. И потому не утруждаю просьбой — помочь выяснить, в каком же положении мое домогательтво... Как ты решишь, пусть так и будет. А погодя дней 10, напишу в Цюрих генеральному консулу — о постоянной визе, об включении меня в очередь стучащихся. Напишу и А. В. Тырковой[705] о визе в Канаду... — у ней большие связи, она вдова одного из редакторов «лондонского "Таймса"[706], известна и в Англии, и в Канаде, хорошая журналистка-писательница, меня чтущая... Могу, конечно, добиться и Аргентины... Но пока погожу, дней 10. М. б. «толчок» еще будет... М. б. я сам виноват в отклонении моей просьбы: я просил о туристической визе на срок «не менее 1 года!».

Вся правда на моей стороне. Я не добивался чего-то в н е правил... — я искренно хотел — между нами — и н а ш е м у помочь, если бы представился случай. Но, главное, мне надо

---

[i] Мсье, к сожалению, должен сообщить Вам, что после внимательного изучения просьбы о гостевой визе, которую Вы подали в Консульство 14 мая, я вынужден заключить, что Вы не можете получить гостевую временную визу. Поэтому рекомендую Вам просьбу об иммигрантской визе, о которой Вы говорили позже, представить несколько недель спустя в Генеральное консульство Соединенных Штатов в Цюрихе. В том случае, если Вы еще не сделали этого.

Мы уведомили мсье Г. Кеннана о Вашем случае. Я, кроме того, просил Генеральное консульство Соединенных Штатов в Цюрихе послать Вам перечень документов, которые должны будут Вам помочь в вопросе получения иммигрантской визы. Примите уверения... (*фр.*).

[ii] Вы не можете получить гостевую визу (*от фр. que vous n'êtes pas qualifié pour obtenir un visa de visiteur temporaire*).

иметь «якорь», чтобы закончить свою работу. А тут еще — эти дни — зажгло мне новое... — роман — ? — «Записки неписателя», — тут я огромную бы свободу получил, — все заключить... как бы мелькнуло мне «разрешение» самого главного вопроса: «так как же быть-то?!»... Я уже написал первую главу... — и так влечет — да-льше!.. и ско-лько же я вижу. И как бы и потонул в работе!..

Опять о том же... Возможно, что я оплошность допустил, прося туристическую визу, и — на срок «не менее 1 года». Вице-консул не мог, конечно... т. к., кажется, туристическая виза, «виза де визитер», — дается, по новым правилам не более как на 3 месяца. Но я не мог пойти на это, — 3 месяца! — т. к. мне тогда грозил бы принудительный выезд из страны... ку-да? — в Канаду, Мексику, Кубу?.. — нет, у меня не достало бы сил на эти «скачки». Хорошо, теперь бы я согласился и на 3 месяца, уповая, что как-нибудь Вашингтон поможет задержаться, даст отсрочку...

Сейчас был у меня настоятель церкви, архимандрит о. Леонтий, хороший пастырь. Мое чтение — в помощь «детского дома отдыха», для ослабевших детей, назначено — предположительно на 17 июля, в четверг в 8 ч. вечера — без определения цен — кто сколько осилит... буду читать «Куликово поле». — Ни сантима мне не надо. М. б. пущу в продажу с той же целью мои фото, написал в Париж. Дело с «домиком» налаживается, в горах над Лозанной: святые женщины — воистину! все отдают сему «подвигу». Дай Господи!.. Чтение же мое в Цюрихе — между 20 и 30 июня. Если бы ты была на моем чтении — здесь и в Цюрихе!.. Не труждайся посылкой цветов! Ты — мой дар, мои цветы! Я хочу проститься с тобой, хочу, чтобы ты в последний раз слышала меня. Но я тебе дня через 2—3 напишу обо всем подробнее и отвечу на твое письмо... — светло, правдиво, честно и благостно. Твое присутствие-прощанье меня укрепит. Оля, не смел афишировать тебя, давать повод к домеканиям, посвящая «Лето». Ты понимаешь. Я тебе подарил «Михайлов день», — это и означил-исполнил — в книге. А «Куликово поле» — другое дело. Тут ты дашь художественное обрамление. И это даст — пояснит, почему тебе посвящено «Куликово поле» — «авторство» твое будет обозначено на внутренней обложке: художественное оформление — такой-то. Ты сделаешь, мы все обсудим. И обо всем. Мы не разойдемся, не поняв друг-друга. Я хочу лишь обратить твое внимание: нет, после это, все выскажу в письме, спокойно... дня через 2—3. И никак не омрачу Дня твоего, духа твоего. Знаю тебя, верю в тебя, и мы не разделимся... нет! Ну, Господь с тобой.

[На полях:] От Натальи Александровны Ильиной, из Paris, пока нет ответа: м. б. уже уехала в отпуск, к дочери, в Соединенные Штаты.

Твой В.

641

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.VI.48

Дорогой Ванюша,

на твой экспресс пишу тотчас же, чтобы не задержать дело. Ответь мне тоже тотчас, *что* ты собственно хочешь получить от Kennan'a?

Я очень ясно вижу теперь всю картину.

А именно:

руководствуясь твоим письмом ко мне, я просила его устроить тебе постоянную, иммиграционную визу, подведя тебя под категорию ученых и служителей культа, — культуры, т. к. они вне квоты. Я точно списала с твоего письма ко мне, где ничего не было о временной визе. Ты ясно и отчетливо там писал: «туристическая виза меня не устраивает, и я решил хлопотать о постоянной».

Естественно, что G. K[ennan] об этом и запросил консула. А тот, увидя твой лист с просьбой о туристической на 1 год, естественно, был озадачен этим разнобоем и именно поэтому, должно быть, написал, что они запросили G. K[ennan].

Ведь для консула-то могло создаться впечатление, что G. Kennan'ну ты нужен, и что тот просит тебе иммиграционной визы.

Я поставлена теперь в глупое положение, ибо выходит так, что я Жоржа заставила не о том просить, чего тебе хочется. Теперь я не знаю, что ему писать! И чем объяснить перемену твоего желания. А писать, по-моему — ему необходимо, и именно теперь.

Я лично удивилась твоему решению ехать навсегда в Америку, но уж ничего не протестовала. Ты же ясно меня просил обратиться к G. K[ennan'y] именно с просьбой устроить тебя вне квотных просителей. Откуда же опять туристическая виза?

Напиши, пожалуйста, тотчас же мне, что ты хочешь от Kennan'a, и я ему тогда объясню. Или просто изложи мне с тем, чтобы я ему просто твое письмо переслать могла. Если бы ты стал настаивать на туристической, то надо какое-то найти объяснение для G. K[ennan], — иначе я — в дурах. Напиши тогда

мне об этом, и я ему просто пошлю и скажу, что вот положение изменилось, что И. С. Шмелеву надо временную визу.

Не медли, т. к. G. K[ennan], вероятно, тоже в дураках перед консулом сидит, не зная, о чем же хлопотать.

Почему ты о временной визе хлопотать начал? Я ничего не понимаю...

Я (по твоей же просьбе) писала, что возвращаться тебе в Париж — было бы гибелью и для здоровья, и для творчества, т. к. бытовые условия там для тебя ужасны. Таким образом, у Georg Kennan создалось определенное впечатление, при котором туристическая виза — не есть выход. Почему ты мне сразу не сказал, что тебя интересует только годовая виза. К чему же вся канитель о постоянной? Барейс-то ведь тоже об иммиграционной хлопотал. Я еще и еще перечитала твое письмо. Там ясная и определенная просьба о постоянной визе. Так я и просила. А теперь ты удивляешься, что в консульстве заминка! Иначе-то и быть не могло. Итак: жду твоего ответа и немедленно по получении пишу снова Жоржу Обнимаю. Оля

[На полях:] М. б. в июле соберусь в Женеву, но в Цюрих не попаду.

Твое письмо получила вчера в 11 часов вечера, всю ночь не спала от волнения, т. к. ты сам все портишь и затрудняешь. Ну, что, что мне дать в объяснение Кеннану? Попроси ты сразу визу на 1 год, не говоря о постоянной, — и все было бы очень просто. Зачем ты начал сперва одно, а потом, не предупредив никого, повернул на другое? Не понимаю и очень волнуюсь. Ответь поскорее, а то я в дурах сижу.

[Приписка на конверте:] Как Вы писали К[еннану]?

642

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VI.48 3-45 дня Только что твое письмо.

Дорогая Олюша,

Ничего я не перерешал и не спутывал. Вот точно, как было дело.

Я просил Ивана Александровича Ильина запросить, через миссис Шарлотту Барейс, генерального консула в Цюрихе, могу ли получить постоянную визу в Соединенные Штаты, так как туристическую визу теперь дают лишь на 3 месяца, что меня не устраивает. Генеральный консул ответил, что русская квота заполнена и закрыта на полтора года. Он посоветовал просить туристическую визу — у женевского консула. Вот

тогда я, не запрашивая женевского консула, написал Ж. К[еннану], прося помочь мне получить туристическую визу, но на срок длительный, не менее 1 г. 14 мая был приглашен в женевское консульство и заполнил формуляр, прося туристическую визу на срок не менее 1 года. Какая же тут путаница?! Мне письмом от 20 мая женевский вице-консул ответил — отказом, я тебе привел точный ответ вице-консула. Где же тут путаница?! Теперь мне думается, что отказ мне послан потому, что туристическую визу на такой срок — 1 год! — н е дают.

Теперь я, точно зная, что в туристической визе мне отказано, готов просить о постоянной визе, — но это возможно, выдача-то такой визы, лишь в н е квоты! — если меня признают вправе получить визу, как служителю культа или науки. Может быть, в Вашингтоне, признают за мной такое право?.. От Ильиной из Парижа все нет ответа: возможно, что она уехала в Соединенные Штаты к дочери, в отпуск.

Итак, дело обстоит: раз длительной, на 1 год, туристической визы получить н е л ь з я, — приходится просить о... вне-квотном праве для доступа в Соединенные Штаты. К цюрихскому консулу генеральному я не обращался, ожидая, как разрешится мое дело в женевском консульстве: я полагал, исходя из письма вице-консула от 20 мая, что вице-консул уведомил Ж. К[еннана], что я просил о туристической визе на 1 год, чего по правилам нельзя, а потому мне и отказано; я надеялся — и все еще надеюсь! — что получив такое сообщение от женевскоего вице-консула, Ж. К[еннан] как-то посодействует... — не, если нельзя туристической визы на 1 год, то скажет вице-консулу: в таком случае внушите Шмелеву просить в цюрихском генеральном консульстве визу на въезд в Соединенные Штаты, — сверх квоты!, как деятелю искусства, что ли... Словом, я прошу: разрешить мне въезд в Америку, — а каким путем, — квотно или вне-квотно, это для меня значения не имеет. Что же я тут напутал?! ...

Ну, ты умней меня... ну, поясни же г. Ж. К[еннану] — прошу разрешения на въезд, лишь бы меня не стали выселять по истечении 3 месяцев... — ку-да я поеду... ?! мне невозможно мотаться по свету в мои годы!.. не смею ехать «на-ура»! А какую визу дадут — безразлично: лишь бы не выселяли по истечении 3 месяцев. Может г. Ж. К[еннан] это сделать, я буду очень признателен, не может — что же тут возразишь?! ... Ну, реши сама... ты — мудрая, я в этом давно убедился. А я — ныне! — лишь в своих мыслях киплю... в творческом!.. — и самому чудно, почему это меня так охватили эти мысли!.. Мне н а д о работать, спешить завершить — в с е.

Эти дни я и ждал: вдруг, из Вашингтона придет решение, и вице-консул меня известит. Вот почему и не решаюсь писать цюрихскому генеральному консулу: скажет, — «закрыта квота!..» Так и верчусь, в неизвестности...

Надеюсь, тебе теперь понятно: я н е путал, я стал ходатайствовать о туристической визе, но на срок не менее года, потому, что «иммиграционная квота» закрыта, и я не имею прав на — вне-квотный въезд! потому и писал Ж. К[еннану] о туристической визе, на срок не менее 1 года... Но т а к о й визы... оказалось, не могут выдать. Потому-то и отказ. И я ждал — что как-то по-иному меня устроят... — ну, дадут, м. б., в н е квоты!.. Чем я в меньших правах, чем псаломщик или лектор..?

Теперь мне очень досадно, что я просил тебя писать в Вашингтон... Мне трудно менять план, проситься в Канаду... — т. к. ряд лиц и учреждений собрали некоторую сумму денег на мое путешествие... в Соединенные Штаты, а н е в другую страну. У меня — для другой страны — нет средств... пусть бы и разрешили власти Канады мне — въехать. Если я в течение двух месяцев не получу права на Соединенные Штаты — я вынужден буду вернуться в Париж, где у меня хватит гонораров продолжать французскую волынку... со всеми лишениями. Что делать?.. — покорись. Я и смирился, и — покоряюсь. Ну, что же я е щ е -то могу пояснить?! Я все написал в предыдущем письме авион-экспре!.. Больше прибавить нечего. М. б. успею написать тебе еще, ко дню рождения... — во всяком случае, шлю сердечный привет!..

Благодарю за желание помочь мне.

Ив. Шмелев

643

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VI.48

Милая Оля, — страшно устал, лежу... после чтения. Успех сверх-рекордный — в с я к и й. Сбор: до 700 швейцарских франков ч и с т ы х. 6 твоих акварелей, продано, — около 80—90 франков, как и мои все фото. Было переполнено, свыше 200 человек — говорят, «небывалое». Нет сил писать, — пла-стом, и — боли. А 26-го надо в Цюрих. Не могу писать о горечи, вызванной твоим par expres[707]. Бо-же, какое жуткое недоразумение. Но у меня нет сил — убеждать тебя. Я колебался... как поступить. И — не мог: ни тебя обидеть, ни — у «заморенных» отнять кусок. Но мне было так горько! Буд-

то — «швырнули» мне. А я — п р и н я л. Да, во-имя Божье принял. Надо лечь, кружится.. — надо же было одному наполнить вечер! Меня утомили — надписаниями...

Не могу... Благодарю. И сознаю, как у тебя в с е — п р о т и в доброй воли!.. Больше н и к о г д а не попрошу... ни о чем. В.

[На полях:] Сегодня — память О. Но я не имею сил — в церковь.

Папку верну после 26-го.

644

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.VI.48

Милая Олюша,

Полный успех в Цюрихе. Все остальные твои акварели разобраны, и 30 фото (с бородой, глаз зорко смотрит!) разобрали вмиг. Все это — на заморенных детей. За акварели выручено еще 100 швейцарских франков. Всего через т в о е — 190—200. За 30 фото 225.

В мою пользу (сверх фото и акварелей) — 275. Засыпали цветами, (7—8 подношений). Не отпускали.

Зал был сверх-полон: около 200. Была швейцарская профессура. Многие после, по телефону: «мы не знали, увы!» И хорошо: а то бы пришлось стоять. Читал в удивительном «храме» «суфийцев» (7 религий!) Чи-сто-та! И. А. был — выше всех похвал! Масса «друзей-читателей». Мои книги не ночуют в библиотеке (около 20). Ищут 2-ой комплект. Сто-лько любви! Жил в неге, у чудесной русской женщины[708]. Какое внимание! Напишу все, дня через 2—3. Подписан контракт на 4 книги (3 переиздания и 1—2 ч. «Путей»[709]) с «Возрождением». «Богомолье» — взято YMCA-Press[710], где «Лето». Ты — п о к о й н а теперь? Дай обложку к «Куликову полю». Оно взято назад мною от обители. Будет издаваться в Paris[711]. Дай — что просил. Я был в Цюрихе в полной «форме». Спасибо тебе за ж е р т в у. Обнимаю родную. И. А. в восторге от «Шмеля». А ты?.. Но я все твой. В.

На здравницу выручено свыше 1000 швейцарских франков.

С визой — ни-чего! Я в отчаянии. Ку-да?! ... Не пойму, что э т о...

«Лето Господне» почти все п р о д а н о! — 1500 экз. Теперь очередь за «Богомольем» и «Путями».

645

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.VII.48

Дорогой мой, любимый Ванюша,

написала тебе уже 2 письма, но не знала, куда их послать, — хотела все же на Женеву с тем, чтобы переслали в Цюрих. Но сегодня, слава Богу, твоя открытка со штемпелем из Женевы. Поздравляю тебя прежде всего с успехом и удовлетворением от чтений! Я и не сомневалась в успехе, но все же так приятно было услышать от тебя, что доволен!

Что ты взял для чтения окончательно? На чем остановился? Рада очень и за книги, что издаются и переиздаются. Ну, а как твое здоровье? Не утомился? Дорога не измотала? Напиши, как боли? Ты о них в последней открытке не упоминаешь, и хочется думать, что они прошли?!

Относительно визы досадно. Но я думаю, что тебе надо было последовать совету Женевского американского вице-консула и подать бумаги для постоянной визы. Иначе как-нибудь тебе ничего сделать, конечно, не смогут, ибо нельзя же слишком явно делать противное их постановлениям и законам.

Я писала Ж. К[еннану], указывая на то, что женевский вице-консул упомянул его имя, — следовательно, как-то будут считаться с его мнением и прислушиваться к нему. Ответа не было. Но в сущности, мне ему писать и нечего, — он должен бы, если хочет и может, действовать на женевского вице-консула.

Боюсь, не в отъезде ли К[еннан], — теперь время отпусков. А то м. б. сильно «кашу варят» против России, с Берлином им много возни[712]. Наверное, уже тут тоже политика не без рук Кеннана. Во всяком случае, я от него письма не жду. Справься в консульстве. Но я бы советовала, прежде всего, исполнить то, что советовал женевский вице-консул, иначе невозможно к ним и обращаться. Тебя это «запись в очередь», в конце концов, ни к чему не обязывает. Так думается мне.

У нас, наконец, уехала семья работника во вторник. Теперь я буквально рвусь на части: и ремонт, и чистка, и сразу все ягоды свалились для стерилизования. Вчера заделала 90 фунтов вишен, а завтра принесут черную смородину. С ней много возни. Из-за доносчика-работника не рисковали ни масло делать, ни сыр. Сегодня же начала. Свертила первое масло и сделала первый (!) сыр. Фактически время сырное уже упущено, т. к. лучший — майский. Но ничего не поделаешь. Занавески надо всюду вешать, а материи нет. Надо выдумывать что-то. По счастью,

получила прелестную девушку. Во всех смыслах. Прекрасно работает, скромная, вежливая, чистенькая и даже... хорошенькая, что у меня всегда играет некоторую роль. Люблю миловидную прислугу. 18 лет! Работает споро, не попадается под руки, как-то ее не приметно, а все сделано. Всего 1 неделю работает. Мечтаю, устроясь в квартире, уйти в работу. Теперь — не в счет — рисую абажуры, правда очень художественно, но все же не художество это. Очень хочу уюта и чистоты. Только тогда и могу работать. Затем в этом сезоне хочу взять на себя администрацию сада... у нас черт знает что происходит! Всего даже не опишешь. Ломают одна за другой 4,5 тысячные машины... Саботаж и воровство. Гадость! Не деньги важны, а дурачить себя давать противно. Я заделалась целью вывести мерзавца на свежую воду. Но до этих всех дел, т. е. до фруктового сезона, я должна увидеться с тобой. Сперва хотела ехать через Frankfurt, чтобы повидать на вокзале свою подругу детства[713], тоже Олю, и кое-что ей передать из своих вещей: обувь, пальто, платья, еду и т. д. У нее 3 детей. Но с проездом через Германию много волокиты. Я устала. Поеду, очевидно, прямо на Швейцарию. Dr. Klinkenbergh летит на конгресс в июле в Лозанну и советовал мне тоже лететь. Но я не решаюсь. И не знаю точно еще когда. Напиши, когда тебе лучше, чтобы я появилась. После автомобильной выставки? К именинам думала, но не поспеть. Да и не устроюсь с деньгами. Попытаюсь получить что-нибудь в банке, — надо тащить жребий, а я на них не удачливая. Попробую получить разрешение вне жребия, хоть на малость. Я не смогу остаться все равно надолго. Maximum — неделю, а то и дней 5. Осенью еще труднее. Если ты в Америку не соберешься, то смогла бы приехать в октябре—ноябре — тогда легче.

Но мне безумно хочется писать. Думаю даже устраиваться так: ложиться спать в 9—10 вечера, с тем, чтобы вставать в 5 часов утра и до 9 часов писать в хатке. Но «вдохновение»-то не приходит по заказу и по часам. М. б. после нашего устройства смогу отнять себя от хозяйства, — моя «Вилли» обещает «взять у меня из рук всю работу». Ее отец работником-конюхом у нас. Единственный, кто с чувством ответственности отдается своему делу. Даже больше: лошади — страсть его, до ночи с ними, и по праздникам. Единственный также, который не впаян в банду нашей своры. Он почему-то особенно предан мне и маме. Стоит только подумать о каком-нибудь деле, как он уже его исполнил. Доходит даже до того, что рыбы наловит и принесет в подарок. А к моему рожденью его другая дочка (она тогда у меня служила) притащила чудесный цветок в горшке, заметя, что когда-то слыша-

ла мое замечание, что не люблю губить цветы и не хочу срезанных для себя. А кроме того, приволокла огромную голову куклы... для «нового камина, в новых комнатах». Знаешь — фарфоровые, безвкусные... но что мне с ней поделать?! Для нее-то это роскошное украшение комнат! А сам отец подал письмо и тотчас скрылся. В трогательных выражениях — поздравление и... целая карточка на конфекты на 2 месяца. Бедность дома у них страшная, — 9 ребят. Отец бьется как рыба об лед, а толку мало. Затирает его тут шпана. Сестра его за профессором в Дельфте! И даже очень известным тут. А они — в дыре. Отец-то его был интернациональным жокеем и... разбился, оставив жену с 2 крошками. Ну, ценит, чтобы девчушки в порядочном доме служили. До смешного старается мне угодить: перевозили на днях со склада вещи, я и скажи тихонько Арнольду: «вот этот шкаф бы я хотела...» Ответ: «ах, он так заставлен... невозможно...» Вечером идет конюх: «Madam, мне показалось, что Вы шкаф резной хотели снять со склада, так я его уже перетащил на свободное место, — пустяк теперь его оттуда взять». Должно быть часа 2—3 там возился. Кой-что, правда, им перепадает от меня лично, но часто он ни за что не хочет брать, чтоб доказать, что не из-за этого старается.

Ну, обнимаю тебя нежно, Ванёк. Пиши, когда мне собираться в Женеву?! Оля

646

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VII.48 Казанской иконы Божьей Матери

Светло приветствую тебя, родная Олюша, в День ангела твоего. Пречистая да хранит тебя, голубка! Самое сильное мое пожелание тебе в этот День, — как и всегда, — чтобы т ы обрела душевное равновесие и радостность в любимой творческой работе. Рад, рад, что хамы выехали, и твои раздраженья ими кончились. Знаю, как это измучило тебя, — ох, знаю: я понимаю, что такое «хамство», повидал и испытал таковое — <u>там</u>, не в былой России, а полоненной и терзаемой... доселе. Да и ты, думаю, испытала т а м, хоть была еще ограждена ю н о с т ь ю: в юные годы все т а к о е не очень глубоко вонзается и не оседает в душе... — слетает, как пыль под ветром. Теперь в с е такое — ранит зрелую и углубленную душу...

В связи с хлопотами (а их много было и есть, всяких), я лишь 19-го заказал для тебя сладкую посылку, «именинную». Получить, должна, думаю, на дней 5—7 поздней. Прости! Было

много дела, хлопот — и не моих лично (хлопот), а для обездоленных... — а о моих нечего говорить, неутешительны.

Вице-консул отказал в 3-ий раз в туристической визе, хотя я обосновал свою просьбу законно-сильно, сократив план и цель поездки, до срока — по усмотрению г. вице... и подкрепив двумя вескими affidavit'ами: 1) от Фонда имени Пушкина[714], вызывающего меня для ряда лекций о русской литературе и, главным образом, о Пушкине: в начале 49 г. — 150 лет со дня его рождения, и 2) от New-York'ского издательства, издавшего мои 4 книги, — E. P. Dutton[715], — очень веский affidavit для личных переговоров о плане издания новых 2 книг моих, что «необходимо в интересах самого нашего издательства» (оно почти 100 лет существует и ворочает огромными средствами (на лучшей, 4-ой, avenue New-York — 4 или 5 №№ домов!)) И вот, ответ — отказ (сегодня, как раз) б е з объяснений, без всякой мотивировки! Во 2-ом отказе было сказано: у них сомнения, что я действительно bona fides[i] хочу лишь — на время, а *на самом деле* думаю иммигрировать в Соединенные Штаты, а «в таком случае — Вы должны обратиться в Цюрих, подать бумаги и ждать очереди, когда откроется квота». Хороша л о г и к а?! Им «кажется»... ?! Не надо быть юристом, надо быть только чуть неглупым, чтобы понять, что тут кроется н е ч т о... Очевидно, им сказано: не давать! М. б. тут и злые влияния, д о н о с ы... Здесь, ведь, т о г о сброда достаточно, а и х н я я (советская) печать время от времени не забывает поливать меня грязью. Не знаю точно, но м. б. «толчок» К[еннана] только навредил мне. Очевидно, с его мнением не считаются... здесь?.. Учитывают будущую смену партий на ноябрьский выборах?.. К[еннан] так и не ответил мне, (а я ему и книгу послал!) — что поделать: т а к, очевидно, воспитан... Бог с ним! Меня это никак не ранит, поверь, — для сего я достаточно забронирован. От «толчков» ведь не убережешься, в современной с у м я т и ц е.

Попытаюсь все же написать в Париж... — что-то будет. И теперь не знаю, выеду ли, и когда, и — к у д а. Здесь мне трудно работать (сам себе готовлю), да и дорого. Но последнее не очень смущает. Подписал договор с YMCA'ой на «Богомолье», с увеличенным тиражом, «Лето Господне» отлично шло и почти все прошло (за 2 месяца, при т а к о й-то цене!). С «Возрождением» подписал на 4 книги, и оно просит «Куликово поле». Жду пока. Я могбы получить визу в Аргентину, но меня больше тянет в Canad'у. Боюсь, что уже не хватит физических сил... А возвращаться в Париж, где не получу ни

[i] Здесь: искренно (*лат.*).

молока, ни белого хлеба... — да еще когда там сплошной хаос и «трясенье», при общем, в мире, полнейшем беспутьи... — эта мысль приводит меня в подавленность. Здесь я могу питаться по режиму, а там я — знаю — свалюсь. Что же делать?! ... Главное: дни валятся бесплодно... из-за неопределенности дальнейшего жизненного (бытового) плана. Это всегда лишает меня душевного покоя, необходимого для писания. Подай я в Цюрихе об иммиграционном выезде я з н а ю: меня будут «солить». Делаю последнюю попытку, пишу в Paris. Ильина, вернувшись из Соединенных Штатов (недели 3 тому), ответила мне: «советую продолжать пока хлопоты в Швейцарии, а там, если не удастся, я в Вашем распоряжении». Она — прямой человек и моя верная читательница. Она поражена (!!), что м н е (тут она квалифицированнее Шмелева) не дают временной визы! М. б. она устроит. Но это между нами: я не хочу, чтобы здесь знали: здесь мы как бы под стеклянным колпаком, и в русской среде есть здесь — «гнилая дрянь», патриоты (?!). Невеселое письмо написал... — голубка, да ведь у меня так в с е невесело! Да, большой у меня читатель, и любит он Шмелева... но ведь мы, без родины, бесправны! о, как бесправны!.. А я — все последние годы — никакого участия в политической работе не принимал: я только искусством своим служил родине, п е л Е е... Что могу сказать о твоем желании... приехать?! Мне начинает казаться, что ты этого не хочешь. Я не смею понуждать тебя. Если бы хотела... Ну, не касаюсь, мне больно и грустно. Я очень одинок, хоть и кругом мои читатели. Господь — да укрепит тебя! недуг мой — все тот же. И никто не поможет. Твой В.

647

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[30.VII.1948]

Дорогой мой любимый Ванюша!

Спасибо за привет к Ангелу, а вот за посылочку «отбранить» тебя хочу! Ну, к чему? Зачем? Тебе столько забот и расходов по всем статьям, а ты еще такое баловство придумываешь! Да еще извиняться вздумал за опоздание! Будто ты не знаешь, что самое ценное мне от тебя — весточка, словечко, привет твоего сердца! А сладости?.. Мне только неловко, досадно, — зачем хлопочешь. Пусть они дольше и не приходят... какая же важность? Ну, довольно. Я много думала о тебе и твоем всем в Ольгин день. Это именно т в о й день. Ты весь О л ь г и н. Как ты провел его, этот день? Был на могилке? Я ду-

мала о тебе, и об ушедшей, и о Сережечке, и вообще о твоем всем... У меня был радостный день. Приехали знакомые русские из Гааги и задарили. Всяческое внимание оказали. Мама меня от кухни отстранила, и я была настоящая именинница. Квартиру спешно доубрали, и все было новенькое и чистое. Я так это люблю. Уютно теперь стало. Починили радио и электрический граммофон. Музыка была, таким образом. Устала я только от этой переборки. Вчера еще ездила (на почти немецкую границу) на свадьбу к Беатрисе. Она глупость делает... вышла замуж за своего «цацу», которого, конечно, не любит (жалеет только!). Собралась расходиться было с ним, а он ее разжалобил и... сделал ей дитенка. Теперь в октябре ждет сразу и приплод. Стояла вчера сильно разбухшей, и все было дурно. Жара была несусветимая, меня отговаривали ехать, но я все же пересилила себя и поехала, уже в 6 часов утра. И хорошо это вышло, т. к. она тут совсем чужая, только меня и ждала, оказывается. Т. к. «он» — католик, а Б[еатрис] — без всякой «православной сознательности», то ее перевели в католичество. Приехала ее мамаша из Парижа. Так, все какие-то «птицы Божии». И жаль их, и удивляешься. И мозг — «птичий». Живут здесь в самом-то невозможном примитиве. Все трое (с мамашей) в одной клетушке. «Молодые» на постели, а мамаша у постели на полу. Ничего нет, и даже работа к сентябрю у него кончится. А ей — куда же с таким грузом танцевать!? И вот живут и радостны, да еще сдуру-то гостей назвали в гостиницу праздновать. Я пробыла до 1 часа дня и вернулась, не оставшись на фестиваль вечером, чтобы не ночевать там. Устала дико. Ведь в пути была 8 часов! 8 часов в поезде в пекле! Но хорошо, что была. Таких-то вот и надо поддерживать. Много бы всего можно сказать, да уж не стоит! А ведь люди. И интеллигентные все-таки... Как можно так опуститься на дно Парижа... Жизнь-то их там у вас в Париже — просто «Дно»! Сегодня, однако, встала уже в 6 часов утра и вот еще до завтрака пишу тебе. Очень хочу писать. И рвусь в хатку свою. Арнольд уехал на несколько дней на отдых, а хозяйство я пускаю идти «вольно». У меня чудесная прислуга. У меня новая совершенно «форма» созрела в голове для писания. Чувствую, что это — по мне, легко будет. «Мое» — будет. А то «форма» меня долго тормозила, не могла взять тона. Читаю книгу Эллиота Рузвельта[716]. Прочти! Нам знать не вредно! С твоей поездкой дело, видимо, — дрянь. Я слышала, что если кто-либо когда-либо запрашивали (или обмалвливались) о желании получить постоянную визу, а потом просили о туристической, — то им всегда отказывали, усматривая в этом

ходы — трюк переселиться в Америку. А м. б. ты и прав: м. б. К[еннан] имеет противников, которые делают обратное его просьбе. Как бы то ни было, а мне тревожно и беспокойно за твое будущее. Тебе надо было все сперва разузнать, а потом и ехать.

[На полях:] Люди безответственно болтают: «ах — это в 2 счета!» А когда дойдет до дела, то и получаются сороки-Эмерикши. А ты всем веришь!

Ну, обнимаю тебя нежно, дорогой. Оля

648

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4 авг. 1948 г.

Мой драгоценный, любимый Ванечка,

вот и гостинцы твои передо мной... какая роскошь! Спасибо, мой милый, тебе от всего сердца! Но зачем? Зачем? Балуешь ты меня без меры! Чудесно все: и орешки, и миндаль, и конфекты, и аппетитно и живописно уложенные фрукты. Я, как белка — сразу грызть принялась. За уши не оттащишь!

Эти дни чего-то прихворнула: продуло в поезде, когда в жарищу ехала со свадьбы Беатрис. Всю голову простудила, боялась за ухо, да Господь пронес.

Безумно хочу работать. Надеюсь, что после 10-го смогу спокойно сесть. Эти дни я вставала в 5 часов утра — чудесно! Были дела по дому, а в жару только утром и можно что-либо делать. И увидала, что совсем нетрудно рано вставать. Подумай: с 5 утра до 9 часов, т. е. до завтрака, — я без помехи могу писать целых 4, при том свежих часа!

Это — как бы выход мне. Горе-то, что когда дома Арнольд (теперь он в отпуску был), — то не удастся заснуть рано. Я чутко сплю, а он до 2-х, до 3-х сидит, ходит, шумит дверями, щелкает электричеством. И то уж осторожен, но я очень чутка. А теперь я в 10 часов ложусь и в 5 — как огурчик свежая. Дом-то у нас такой, что все всюду слышно. С хозяином и собаки всполошатся, просятся выйти, гремят, лают. Так-то вот. Но я все же что-нибудь устрою. Я должна закончить многое. Как ни странно, но у меня довольно много набралось всякой всячины. Знаю, что некоторые вещи недурны. Из Швеции торопят, — снова говорил Жукович. Конечно, м. б. и не понравится издателю, он же меня со слов супругов Ж[уковичей] судит, но «жанр» ему нравится. Они, кажется, ему письма мои читали. Точно не знаю, но они маме что-то намекали, что: «посторонний и опытный судья

по одним письмам Ольгу Александровну “мастером” пера назвал и очень заинтересовался». Какой-то разговор идет, видимо, т. к. одна старушка великосветская (84 года) меня вдруг просит «прочесть ей что-нибудь» из моего. Я разуверила ее, спросила, откуда такой «поклеп». Она смутилась, замялась, но никого не назвала, — видимо, проболталась. Жуковичи гарантируют, что будет издано, лишь бы я решилась. Не знаю, я боюсь...

Ванечка, я о тебе в большой тревоге. Как ты? Что с визой? Здесь многие ждут войны, рассчитывая, что через 2—3 дня русские займут Голландию. Я считаю эти слухи вздором. Однако, многие уезжают. Я ничего не боюсь, кроме атомных бомб. Это — апокалипсический ужас! Но в общем, газет не читаю, сохраняя свой собственный внутренний мир, такой нужный для моей работы. Пиши же, как ты?

Я думаю очень скоро окунуться по-настоящему в искусство. Очень тянет! Что Бог даст! Обнимаю тебя, дружок, нежно и люблю. Оля

649

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.VIII.48

Дорогой Иван Сергеевич!

Я беспокоюсь о Вас, — так давно нет никаких вестей. На мое последнее письмо не получила ответа. Вы хотите, чтобы я забыла Вас? Мне больно думать об этом. Вы сами знаете. Я вижу перед собой большую работу, которая четко наметилась в уме и сердце. А это самое главное, — «начертать» будет уж не так трудно, если слова звучат в душе. Хотела было уехать на несколько дней отдыха, но решила это время употребить на уединение для работы.

Сейчас у меня была одна голландская знакомая с сыном и матерью, увидала мою картинку — подарок маме в обновленную комнату (вид нашего парка) и пришла в восторг. Заказала для себя «что-нибудь», — лучше из русского. Настойчиво просила, утверждая у меня «талант». А я не могу больше «рваться» и хочу уйти в иную работу. Но манит меня, и то, и другое. И это — мука. Но в данный момент краски тянут меньше, и я как бы у них в «отпуску» и хочу ловить этот момент. Скоро осень — моя пора... Вставая в 5 часов утра я выгадываю много времени. Обнимаю вас. Оля

Откликнитесь же! Или замолкнуть и мне?

650

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[23.VIII.1948]

Дорогой Ванюша, пересылаю эту открытку[717], чтобы ты видел, в каком положении дело с доктором-гомеопатом. Мое письмо к тебе будет большим и серьезным, — потому спешу пока что дать таким образом знать о докторе. Твое письмо[718] я получила в субботу вечером — его мне передал жилец нашей виллы (барского дома), почтарь занес туда по ошибке. Сию минуту еду к сердечному специалисту в Утрехт. И вообще, я очень занята. Но сегодня же вечером постараюсь тебе написать. Оля

Сережа тотчас же, как вернулся с воскресенья домой, позвонил доктору, т. к. без предупреждения к нему нельзя — безумное стечение пациентов. Он действительно — феномен.

651

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.VIII.48

Дорогой Ваня.

Твое последнее письмо мне[718а] — «простой читательнице твоей» было сплошным желанием оскорбить меня и при том как можно больнее. Ты отлично знаешь, что вопрос твой: «м. б. и не откажешь мне?» — ненужный и обидный, т. к. не было еще случая, где бы я тебе отказала в помощи, да еще касающейся здоровья. «Простой читательнице» ты бы так тоже не написал, даже будь эта читательница самая-то замухрышка и глупышка, ибо с чужими читателями ты о-чень внимателен и осторожен. Нет, ты пользовался правами и своего человека, могущего колоть и жалить, и правами чужого, не дающего тепла. Иными словами ты использовал права и того и другого для отрицательного в твоем обращении. И за что? Нетерпимость твоя к моим взглядам доходит уже до крайности. Не допускаешь ли, однако, ты, что и я могу так же (или подобно) относиться к твоим миросозерцаниям? Почему такое неуважение к личности другого?

Я не «нейтральна» и не «обезразличилась», но напротив — сугубо живу и страдаю родными вопросами. А что «Ди-Пи» никак не принимаю, так это не значит, что я «нейтральна». Большинство-то из них с пушком на рыльце — трепались с немцами, кинувшись на шелковые чулки, а таких баб я никогда не уважаю. Много я их перевидала — в огромном большинстве —

самые-то обывательско-самочьи притязания. Идеологии не ищи. Не влекут меня и власовцы. Эти — в моих глазах — перебежчики, предатели. Иначе не могу. Твой цолликонский «пророк» когда-то их тоже порицал. Что же случилось с тех пор?

Не я делю детишек, а ты. Да, да. Я-то дала бы страждущему и без опроса анкетного, а вот ты с Цолликонским даже от меня отмежеваться хотите. А за что?? Господь разберет ваши гордыни. Я тебе вопрос задавала: помог ли бы сталинградским сиротам? Ты на него не ответил. Ну, а я тебе скажу, что я бы помогла: тем — от всего сердца, а [Ди-Пи] — тоже помогла бы, как самарянину почувствовалось. Да и во время войны помогала, кто страдал, не спрашивая... Всякие попадались. Брось злобствовать. Напрасно язвишь меня и «Куликовым полем». Я ответила тебе уже подробно и на это. Не моя вина, что ты забыл или невнимательно прочел. Я не могу себе представить, не чувствую, что тебе хочется. Ни в каких библиотеках я этого стиля (как ты писал) не найду. Не понимаю, что должно быть. И стою бессильной. Кроме того, я уже измучена и вымотана этой темой, т. к. ведь с 42-го года идет волынка. В прошлое лето я ничего другого не делала, как только рисунки к «Куликову полю». Не вышло. Теперь, я уверена, было бы то же самое. Считай, что я выбываю. Уверена, что найдешь других, достойнейших. Касательно издания моего? — М. б. ты во всем прав. Я охотно верю, что до «подлинного» мне далеко. Но не согласна, что «подлинность» высиживается «зубрежкой», — она либо дана Господом, — либо ее нет. Когда ты давал свою «У мельницы», то не ждал до 50 годов, а шел, хоть и робко, но все же 18-летним гимназистом[719]. Конечно, мне с тобой не тягаться, но я и не притязаю. Почему ты вспоминаешь «сказочку», — я после нее многое уже написала. И тебе посылала, да ты... никак не отозвался, а только разозлился, что я все настаивала на отыскании затерявшегося рассказа. О, нет, я очень нелегко «самоудовлетворяюсь», и странно мне, что после стольких лет открытости моей тебе, ты все еще не знаешь, что именно все горе в том, что слишком мало себе верю.

[На полях:] Ты гораздо глубже меня язвишь, чем м. б. того сам ожидаешь, т. к. лишаешь меня самых последних крупиц доверия к себе. Но все же я остаюсь работать. И не буду отвлекаться. И еще поэтому не могла бы заняться «Куликовым полем». Обрамление к нему сумеют дать другие гораздо лучше меня, а мое, пусть неподлинное, — знаю только я сама. Господь с тобой. О.

Своим письмом ты раздавил меня, — не удивляйся, что пишу в таком состоянии.

652

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.IX.48[i] 5 1/2 ч. дня

Дорогая Ольга Александровна,

Только что Ваша открытка. Сейчас несу, — готово уже до открытки — на почту только что вышедшее 3-е издание «Няни». Я страшно истомлен работой, еле держусь. Воздуха! воздуха!.. Но куда ехать — не знаю. С Ландами у меня не вышло. О-чень прошу пристать на Boileau, у меня, как дорогую сестру, ибо сестричка ты для меня, а я тебе — братик. Очень прошу! Платить в Hôtel'ях — безумие, обдирают: туристы разожгли аппетиты. Поговорим и вырешим. Мне никак не улыбается — русский пансион: задергают, заговорят, — поверь. Знаю это. А кто они — шоферы ли, землекопы — мне совершенно безразлично. Еще лучше, чем «образованные». Правду говорю! Горячо прошу во всем мне верить. Святое для меня — присутствие твое. Я так устал, что с ужасом представляю, что надо куда-то ехать. А надо, иначе я — никуда, я обязан отдохнуть. На отдыхе подумаю, надо писать. Ну, словом, мы переговорим умно, серьезно. Поверь. Сплю не более 2—3 ч. за ночь. А сейчас переводчица прислала (одновременно с твоей открыткой!) лекарство швейцарское от бессонницы. Что даст! Итак: 8 или 9-го. Сердечно Ив. Шмелев

[На полях:] Мария Тарасовна задержится в Сайво, сыну хуже, показалась в мокроте кровь.

Если нельзя приехать 8 или 9-го напиши. И час приезда ко мне. Во [всяком случае] если [2 сл. нрзб.].

653

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Начало октября 1948 г.]

Любимый Ванюша,

Шлю ко дню твоего рождения мои горячие пожелания тебе света, радости, здоровья и сил к работе! Обнимаю тебя от души и хочу верить, что злое в тебе ко мне не закрыло для тебя меня окончательно. Ты ничего не ответил мне на несколько писем, и я не знаю, хочешь ли ты их получать.

Но не могу оставить себя без общения с тобой, хотя бы в такие дни-памятки, и пишу. По правде говоря —

---

[i] В оригинале описка: 3.IX.49.

в смущении пишу, — м. б. неприятно тебе это, — но это твое дело. Мне такие чувства непонятны, ибо слишком многое и очень высокое связывало наши души все эти годы. В плане вечном и большом все «сорники», которые ты выискиваешь у меня, — ничто. Да и не понятно мне, почему ты отворачиваешься: ведь в самом основном и главном мы оба любим одно и то же и преданы ему до последнего дыхания.

Думаю, что ты скоро уверишься во многом, о чем я много тебе писала. Ваша газета (только теперь!) сама отметила то же самое, о чем я давным-давно говорила: нас сожрать хотят безразлично с какой властью. «Русская мысль» нападает на Липмена[720], а он-то еще «мягче» Кеннана! И этого последнего еще «сдерживал» в его уничтожающих Россию планах. Да, что об этом говорить. Для меня более, чем ясно, куда все ведет, а ты тоже увидишь. М. б. тебе это неприятно, — потому и обманываешь себя, но правда-то все равно наружу выйдет. И плевать на меня только за любовь к родине... Разве это можно? Цолликонский вещатель почему-то благословляет Америку и Англию на то, чем возмущался у немцев. Не потому ли, что немцы лично его обидели, заткнув ему в Германии рот?! Личное у таких «великанов» на первом месте. Ты — совсем другого формата, и я верю и надеюсь, что ты-то все раскусишь рано или поздно, а до того подожди плевать и в мой колодец! Посчитайся и с душой другого человека! Как только приедет доктор, так я к нему поеду о тебе. А пока, да хранит тебя Господь. Обнимаю. Оля

654

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6 окт. 48

Дорогой мой именинник!

Обнимаю тебя и крепко целую в День твоего ангела и от души желаю здоровья, и сил, и радости! Сегодня такой светлый день, — пишу и воображаю, что и твой день такой же будет! Тихо... солнце... и паутинки. Чудесное время — осень!

Ванечка, мне грустно, что не взяли у меня заказа на цветы тебе: говорят, что девизы кончились до января. Такая жалость. Я попытаюсь послать тебе другое, если достану, но наши власти очень ограничивают возможности посылок. Хотела послать тебе стило, хорошее, тяжелое, — нельзя: золото в пере! Так вот со многим.

От тебя все нет и нет писем. Хочется думать, что все же ты откликнешься.

Для моей работы (которая мне не дает покоя) думаю уехать в глушь, в леса. Если ничто не помешает и все будет благополучно, то хочу уехать уже с понедельника. Какое счастье — не возиться на кухне и все время дня и ночи брать для работы. Я должна торопиться писать. Все время дня и ночи я занята мыслями о том, что пишу. Иногда очень вскипаю. А иногда опускаю крылья и думаю, что все брошу, — тогда все во мне тускнеет и делается тошно на душе. Работа урывками действует на нервы, — посмотрю, что даст мне мой «отдых»!? Рассказ мой «Марейка»[721], детский рассказ — мне нравится: он не длинен (22 страницы машинки), но очень насыщен. Здесь и большая психологическая подкладка, и драма параллельная жизни ребенка, и проблема справедливости, и осознание суетности «благ мира сего». Все это очень ярко, и все сквозь глаза и сердце ребенка. Правила раза 4, и еще, наверное, буду править, но сущность рассказа — *не* «вода». И м. б. многие задумаются, прочтя о маленькой «Марейке». Писала я и плакала сама местами, и видела все, как наяву, а теперь сама не знаю, что вымысел, и что «правда»! Такое странное чувство. Но «Марейка» — только «шутка», то, что сейчас работаю — и серьезней и больней. И дай Господь мне хорошо показать мою мысль людям, потому что это не «мое», а извечное.

Ну, кончаю. Обнимаю тебя еще раз. Горячо любящая О.

655

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[16.X.1948]

Дорогой Иван Сергеевич! Вчера послала Вам лекарство заказным. В понедельник — первый день моего отдыха, — была у доктора и, прождав в его приемной 4 1/2 часа (!) получила рецепт. Как только достала в аптеке, так и послала. От души надеюсь, что поможет. Он расспросил меня, поясняя по его предположению Вашу натуру. Сразу сказал, что Вы человек чересчур живой, подвижный, нервный свыше меры и худощавый! У него было в тот день около 100 человек в приемной должно быть. Судите сами, какая известность. Просил точно принимать крупинки и высказал сомнение в том, что Вы аккуратно принимали раньше — должно было помочь иначе. Ну, в добрый час!

Не пишу пока, т. к. думаю, что Вам это неприятно, и не хочу докучать собой. Здесь я отдыхаю в почти что нашей природе: березы и холмы. Масса грибов и брусники. Но всю эту ночь промучилась в страшнейших болях: мои обычные теперь

припадки. Принимаю тоже крупинки. Сейчас нет еще 10 часов, а я уже давно в постели. Всего доброго! О.

656

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.X.48[i]

Олюша-светик, не виноват, что давно не пишу тебе! Я — болен, язва, больше месяца — нет аппетита, исхудал, лежу... Теперь чуть легче, измучен correctur...[ii] — 6 новых книг выходят. Все напишу — свалю correctur'ы. Целую за поздравления и лекарство. Да еще просят статью о Достоевском[722] (для немецкого издания «Идиота»). Больше 50 (важных) писем — без ответа. Много от читателей, отовсюду... Просят фото — «молится на Вас, за воссоздание России». Даже «враги» (левые русские американцы) в письмах к 3-м лицам признают н ы н е главенство Шмелева в «современной русской литературе». Статья вдовы Деникиной в «Новом русском слове»[723], в N.Y. — реабилитация меня. Еще статья, в Сан-Франциско: «перестать травить И. С. Шмелева», «он будет жить в веках и душах русских людей, когда от вас и следа не останется!»

Счастье, что ты работаешь: ты — настоя-щая!

Через 2 дня напишу большое письмо.

657

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.XI.48

Дорогой Иван Сергеевич!

Все поджидала обещанного Вашего письма «через 2 дня», но вот уже эти «2 дня» бесконечное число раз повторились, а от Вас все нет ни строчки. Не буду поэтому докучать собой. Пишу же для того, чтобы сказать Вам, что 6-го декабря утром я назначена гомеопатом на прием для дальнейшего его указания в лечении Вас. Мне необходимо сообщить ему результаты Вашего лечения за эти 2 месяца, т. ч., пожалуйста, сообщите мне, как оно Вам помогло? Или совсем не помогло? Или ухудшило? Это очень важно. Иногда бывает так, что первое время даже

---

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Корректура (*фр., искаж. correction*).

обостряется болезнь, но это доказывает только то, что доктор «попал в точку», и что лекарство все же поможет. Я ему сказала, что Вы страдаете язвой желудка (12-ти перстной кишки — duodenum). М. б. и в этом направлении поможет. Я должна сведения от Вас иметь уже заранее, т. к. м. б. придется ехать накануне, — у него совершенно безумная толкучка в ожидальной комнате — до 100 человек, т. ч. мне целый день надо на это отдать и забираться раньше. А на дорогу больше 3 часов надо, т. ч. думаю с ночевкой ехать. Пропускать срок свой очень не рекомендует, т. к. рискуешь на месяцы не попасть. Итак, я жду указаний: и со стороны чеса, и со стороны duodenum'а.

Всего Вам доброго.

О. Б.

658

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.I.49

С Рождеством Христовым!

Мой родной, дорогой Ванечка! Как хочет душа передать тебе самый горячий привет и желание Света и радости в этот чудесный Праздник. А также и все благие пожелания к новому году. Дай Бог тебе прежде всего здоровья и сил, — радость в работе тогда сама будет. Сегодня твое письмо[724]. И знала, что получу его: ночь была почти без сна, а к утру, забывшись, видела тебя, — странно. Будто я куда-то приехала как бы в отпуск, в какой-то пансион, устроилась в комнате и ложусь спать; чувствую, что кто-то еще рядом в большой постели. По «флюидам» ощущаю, что кто-то не расположенный ко мне, оглядываюсь — И. А. «Цолликонский». Поворачивается ко мне с упреком: «зачем Вы сюда приехали? Видите, что Вам нет места!» Вижу, что он крутится на узенькой полоске кровати и не может спать. Меня мучает упреком (и не понимаю, как так получилось), что из-за меня ему неудобно. А он вытаскивает доску из кровати и, делая провал между собой и мной, устраивается вплотную к стене. Смотрю и вижу, что он на тебя ложится. А ты совсем врастяжку, без реакции. Я в ужасе, что он тебя задавит. А И. А. зло мне заявляет: «сегодня в 12 часов я сообщу обреченному о его смертном приговоре». И я в дрожи: «кому?» Просыпаюсь и думаю и об И. А., и о тебе. Жду письма... А мама уже зовет: «Оля, тебе письмо от И. С.!»

Мне жутко подумать, как ты болел. Береги себя. Я все время собираюсь с тобой увидеться, но где лучше? М. б. подож-

дать до Парижа?! М. б., однако, я достану девизы и в Швейцарию. Но меня удерживает другое: хочу кое-что закончить из работы, не скакать зря. Ты так и не ответил — хочешь ли прочесть мой рассказ?

Да, я мучаюсь выбором творчества, но знаю, что не смогу одно взять, а другое оставить. Как мать не может выбрать одного из своих детей, а другого отослать. В живописи я отдыхаю душой, наслаждаюсь, без особых «заданий», без страданий. Слово от меня требует души и ставит задачи, этим и мучает. Я страдаю, горю, мучаюсь, но бросить не могу. Писать «в свободные часы» я не могу, потому что слишком вся занята задачами, поставленными словом, рассматривая их как свой долг. Не выплатив его, я не успокоюсь. Скорее я смогу в свободные часы отдаться живописи, как отдыху, как наслаждению. Для серьезного живописного труда упущено время, мои глаза даже не те, устают быстро, и не могу рассчитывать на одоление техники в нужном размере. Я рвусь и рвусь, а домашние «марфинские» заботы держат меня и для того, и для другого. Вот и мучаюсь. Обязательно должна начать роман, — он уж меня измучил. А в душе уже другое назревает и тоже пыткой жжет. Я бы была довольна, если бы моей рисовальной техники достаточно оказалось для некоторых характерных зарисовок, иллюстрирующих голландский быт. Я знаю, что так, как я пробовала «Неупиваемую чашу», — нельзя. Это — лубок, и совсем не нужно. Но я, очевидно, поддалась и заманности всех любимых мной подробностей, и требованиям здешнего вкуса (по крайней мере широкой публики). Хотелось им так показать, как для них и понятней и занятней. Я это чутьем угадала. Поражаюсь, насколько большим успехом эти мои картинки здесь пользуются. Если бы твоя «Чаша» была тут переиздана в «luxe», то их бы издатели у меня с удовольствием взяли. На днях у меня просила еще одна дама «продать» ей. Они прямо восторг вызывают. Я хочу на основе акварелей сделать масляные этюды с них, исправя то, что неважно и «дешево». Знаю, что тогда их отхватят. С одной дамой я избегаю разговоров об живописи, т. к. всякий раз она спрашивает: «когда же я получу твои русские картинки? Я им почетное место дам!» Эта — не совсем профан, не пропускает ни единой выставки, ни одного стоящего концерта. Вся семья в искусстве.

Мои пустячки цветочные предлагали устроить для издания художественных календарей, которые здесь в большой моде. Целой серией. А мне их жаль. Хочу многое, а времени нет. Да и холодно всюду. В «хатку» свою и носа не показываю. Сделали наконец-то мои абажуры, посадили на каркас. Чудесно! Все решительно в восторге. Предлагали работать на один перво-

классный магазин-ателье художественных вещей и фарфора. Но, это все чепуха. В прикладном-то я в Берлине еще досыта насиделась. Мне предложила одна особа открыть с ней на паях самим такое ателье. Но это мне тоже не очень улыбается. Абажуры свели с ума многих. Один в тонах под старый дельфтский фарфор (безумно трудный синий тон), — удался чудесно. Мотивы букетов взяты с подлинной дельфтской вазы. Эта ваза и является лампой. Получилась драгоценнейшая вещь. Другой — весь весенний из полевых цветов под стиль лампы — она тоже в цветочных мотивах. Я сама взяла букеты-гирлянды из природы, из нашего сада. Он такой веселый, радостно-светлый. Когда входишь в комнату, — сразу бросаются в глаза. Знаю, что подобные вещи украсили бы хоть какое ателье. Но жить для «прикладного» только все же не хочу. Я много на это ухлопала и сил, и глаз, по нужде. Ну, довольно. Нет, Ванёк, я не смогу сделать выбор. Останусь и для того, и для другого. И в первую очередь для слова. Живопись — мой отдых, «потеха», а слово — «дело», долг. «Делу — время, потехе — час». Так и чувствую. И мама, и Сережа благодарят тебя за поздравление, и сами тоже сердечно поздравляют тебя с праздником. Я послала тебе цветы, просила корзинку с гиацинтами или сирени, — не знаю, что у вас в Женеве есть. У нас масса цветов. Хлопотала послать тебе золотое стило, но нельзя вывозить золото, — не разрешили. Не шли, родной, сластей, — у нас их освободили от карточек, — все есть. За орешки (?) спасибо. Я их не получила, но думаю, что: раз — «грызи» — значит, орешки. Крепко обнимаю тебя, дружок мой. Оля

659

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19 янв. 49

Ванюшенька, светик мой родной, ласковый, милый! Я в страшной тревоге, что от тебя нет ни слуху — ни духу. Неужели ты опять болен? Ради Бога черкни, хоть кратко, или, если не дай Бог, — болен, то попроси кого-нибудь, чтобы не утруждаться. Последнее время я много работала, и время летело стрелой, не успела оглянуться, как уже за середину февраля перевалило. И ужаснулась, что от тебя, значит, так давно нет писем. Когда я работала, то буквально не знала ни который час, ни какой день, ни которое число. Слава Богу, — скоро уже и зима к концу. Сегодня утром ворковали голуби. Лесные голуби так: кру-кру — гу-гу-гу-гу... Значит уже не может быть

сильных холодов. Ванёчек, как мне тягостно ничего от тебя не слышать и ничего о тебе не знать!.. И вообще, я не знаю, кто около тебя... Ты писал об одиночестве... Ужасно это. Сердись — не сердись, а я скажу: от Цолликонского я не ожидала, что в одной стране живя со своим другом, он оставляет тебя одного. Все «Талочку» оберегая? Почему бы им тебя не пригласить? Почему бы ему к тебе не собраться?! Но у этаких-то вот «великих» — всегда так. «Друзья» — друзьями, а я сам — превыше всего. Да и к друзьям-то предъявляет странные требования. Когда И. А. что нужно от друзей, то, конечно, они должны, хотя бы выпустив свои кишки, все для И. А. сделать. Не сделают — к «злодеям» сопричтет[725]. А сами эти «друзья» великого учителя о «независимом стоянии» и «воле», и т. п. — не смеют даже никаких самостоятельных суждений иметь. Не оказалась я в стане анастасиевцев, а по собственному убеждению признаю Патриарха, — значит, все мои качества «друга» побоку. Готов меня с навозом смешать. Недаром же «разнузданной комсомолкой» тебе меня назвал[726]. И прочее.

Нет, от христианства у таких мало чего в душе! Завтра «они» — именинники. А с Жуковичем как подло он поступил! И это зная, что человек в крайней нужде! Мне все известно о Цолликонском. Знаю, как он и тебе меня «расхлестывал»... Мир-то мал, а люди и не знают, как что узнается. Я со многими людьми встречалась в Берлине, которые не выносили Ильина. Тогда я спорила с ними и готова была самих этих людей презирать. А теперь согласна с ними и если презираю кого, так это — *его*. Да еще таких типчиков, вроде Енакиева. Это — мразь на земле, сутенер и альфонс. Но это только кстати... Цолликонскому же не прощаю не его отношение ко мне, а небрежность его в отношении к тебе. Тебя он навинчивает и науськивает на то, что сам сделать трусит... Это он тебя и против меня настраивал. Я это знаю. Одно его выраженьице «разнузданная комсомолка» говорит красноречиво. А сам-то он заменяет тебе друзей? Хоть как-нибудь? Нет, «океаны нас не разделят», а вот железная дорога от Цюриха до Женевы это, видимо, делает. Паршивый эгоист! Он устроен, как редко кто из русских, получив кафедру, он же наравне с профессорами-швейцарцами. Неужели ему недоступно навестить тебя?! А, ну «их»! Мне гнусно и думать-то о нем. Я м. б. все-таки проеду в Женеву к тебе, если как-нибудь это будет можно и хочу в Париж по делу... о ребенке. М. б. возьму, не знаю. Боюсь, оставаясь бездетной, впасть в эгоизм. Налет на бездетных всегда какой-то есть.

[На полях:] Обнимаю тебя, мое солнышко, крещу и хочу всем сердцем, чтобы ты был здоров и светел! Оля

Не сердись за слова об И. А., но мне обидно за тебя! Мог бы согреть душу твою!

660

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7/20.I.49 № 2 (оба от 20 янв.)

Дорогая Олюша, в 4 ч. закончил письмо к тебе[727], а сейчас, около 6 часов вечера, — твое, от 19-го. Ты, явно, заработалась: пишешь — не видала дней а уже «за половину — ф е в р а л я! — перевалило». «И так давно от тебя нет писем». Ми-лая, я, истинно, рад, что ты в работе, — жги дальше! Твой «портрет» Ивана Цолликонского — т о ч е н, ни черточки не могу поправить. В с е верно, метко, глубоко и справедливо. Он — незащитим перед этим «аттестатом». Только — верно говорю! — не помню, чтобы он называл тебя — «разнузданной комсомолкой». И — никогда не пытался (разве — в связи с «возмущением» тобой) восстанавливать или охаивать тебя в моих глазах. Он — хла-ден и сух. Мне чуднО, как ты могла ожидать, что он «пригласит» меня или — навестит! Он хранит свой покой и свои «пенаты-лары» — о т о В С Е Х на свете. Да, ultra-эгоизм! Сухостой. Он весь — в р а з у м е. Но... можно писать о «сердце» и не имея его. Я это давно знаю в нем. Но правда велит сказать: он мне очень помогал, когда я был в Париже. Ныне, з н а я, что я почти о т х о д и л (теперь-то он узнал!) — он забыл обо мне. Ограничился — на одной странu*чке* (1/4 обычной) наскоро отписаться к... Рождеству!

Ну, оставим, — горько это. В каждом из нас есть «пятна» и «п-шки». Он меня н а ш е л — лет 20 с лишком тому, написал мне н е ж н о, — не я его! Я никогда никому не навязывал себя, не пытался завязывать дружбу... И это мне — облегчение.

Кто за мной х о д и т? О, это долго рассказывать... одно: так сложилось, как бы мне по-сла-но, но зато я поставлен быть свидетелем трагической жизни. Это жена одного профессора-ученого: вынуждена тяжкой болезнью сына (ему 40 л.) — туберкулез, — приехать в Швейцарию. Теперь вынуждена остаться еще на 2 месяца, хотя сына, из-за недостатка средств, перевели во Францию, Haute-Savoie. Она ездит к сыну каждую неделю!, — мается, а ее муж должен метаться между Paris и Genève — каждый месяц! — там у него ателье, а здесь он работает по своим бревэ[i] в женевской фабричной лаборато-

[i] Диплом (*от фр. brevet*).

рии. И он еще — п о ч т и (между нами!) полусумасшедший (да, да! mania grandiosa[1] у несчастного). Так вот, в таких-то условиях (трагедия) эта 60-летняя русская женщина находит время — болеть о других (о мно-гом, глубочайше православная!): о детях, о русском писателе и проч. Да, почти святая и — м у ч е н и ц а. Вот, почему я писал тебе: мое 13 месячное ж и т и е в Швейцарии — не впустую. Мно-го у з н а л!

Не случись этой Марии Тарасовны Волошиной в Женеве (она — моя чуткая читательница, хотя ее х в а т к а, вернее — ее образование-развитие невелики!) — я, быть может, и у ш е л бы... ибо я уже почти не сознавал своего положения. Так с т р а н н о вышло, что они временно (должны были сделать так!) поселились у т о г о же инженера A. Risch!.. Я до с е г о не видал их с 38 г., когда познакомились в Ментоне (а встретил в церкви, на другой день приезда 28 декабря 47 г.). Ну, писать о сем сложно. Нет, что говорить — все-таки мне оказывали внимание... и заботы.

Когда свидимся — много скажу. Я не обвиняю И. А.: да, конечно: он и сам больной (неврастения предельная!), и Наталья Николаевна — думаю — серьезно больна: она — б е л а, бледна — уже очень ненормально. И — слаба. «Очаг» для И. А. — священное место. Ни-ко-го, ни для кого! Святая святых. Ну, и нечего себя раздражать. Многого мы не делаем, хоть бы и м о г л и, и д о л ж н ы бы делать. О чужом ребенке... — о, ка-ак это т р у д н о... страшно даже. Я бы н и к о г д а не решился, разве в с е знал бы... о нем.

Ну, твое это — душевное — дело. Я не смею советовать, мешать.

Все написал. Устал. Выйду — бросить письмо в ящик рядом. Я мало выхожу, еще слабоват. У меня тепло, + 20—22°. Вчерашний день был — д а в я щ и й. (**6-ое** января!)

Ах, Оля, правду говорю: чаще и чаще думаю: «скорей бы — конец!» Не «слова» это... Устал, и — т о ш н о! О, если бы перекинуло в 80-ые годы!.. несмотря ни на что, хоть и тогда было тяжелого — для ребенка — первые годы отрочества! У к л а д, простой, скудный... — в сравнении с блеском современной техники... — но... какой внятный д у ш е!

Господь с тобой, родная. Когда и где свидимся? Счастлив видеть — проститься... да!

Твой Ваня

На три дня я — опять один, но теперь могу с а м — купить что, сварить. Мно-го по-читателей, да, но... это так труд-

---

[1] Мания величия (*лат.*).

но отделять часть с е б я — другому, даже — по-читаемому искренно. Твой В.

Более тяжкого запутанного узла, как у этой четы Волошиных — трудно и представить!

661

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.III.49

Дорогой мой милый Ванечка,

жду и не дождусь весточки от тебя. Я послала тебе огромное письмо[728], — думала, что ответишь. Меня волнует мысль о твоем здоровье и вообще о всем, что тебя касается. Ты предполагал в марте вернуться в Париж, — как с этим обстоит дело?

Вот скоро и Пост Великий начнется. В будущее воскресенье прощенья просят друг у друга люди и начинают готовиться к Великому Празднику. У нас трагедия с попом. Я уже второй год не бываю в церкви, — тягостно это. И, знаешь, постепенно начинаешь отбиваться, а прежде, бывало, ни одной всенощной не пропускала, не говоря уж об обедне. Живешь «басурманкой».

Если не удастся заполучить какого-нибудь батюшку для говенья, то придется собраться в Бельгию на Св. Заутреню и заодно отговеть. Но все это сложно очень. Ванюша, напиши же, родной мой, когда ты думаешь ехать в Париж? Или вообще передумал? И вообще — не томи меня неизвестностью, — дай же о себе знать!

А у нас весна вовсю наступает: на днях объягнились 2 овцы: у одной 2, а у другой 3 ягненочка. Один почему-то черный... сильнущий, прямо чертенок какой-то. «Девочек» только две и обе слабоватые, — «мальчишки» их забивают, вытягивая за один дух все молоко. То одна, то другая корова на череду, — волнительны эти сроки, — ночами следить надо. Свинья еле двигается, волоча набухшее вымя по земле, — лежит и отпыхивается. На днях тоже надо ждать и ее выводка. Цветут подснежники и крокусы... огромные вытянулись листья нарциссов в лесу. С 25-го января гомозятся и гомонят скворцы. На многих ранних кустах бисером наметились почки, а фруктовые деревья напружили ожившие ветки, — яблони блестят глянцевитой корой в солнце. Все ожило. И вдруг в понедельник наскочил ураган, с силой настоящего оркана[i], гнала буря морские

---

[i] Сильная буря (*от нем. Orkan*).

волны, разбрасывая корабли, перекинулась-метнулась и на материк, посрывала крыши, трубы, церковные башни, вырвала деревья, убила несколько людей, животных и под конец засыпала все снегом... Сегодня утром было все бело... У нас задрало крышу, но успели еще ее спасти. Ночью нельзя было заснуть, казалось, что целый табун лошадей гонится по крыше... рамы стучали, звенели стеклом, солому рвало с крыш и стога. В городах, в тех случаях, когда дома стоят прямо против ветра, — выдавливало напором ветра зеркальные витрины. Унесло цыганскую повозку и разметало в щепки. Сдуло с крыши плотника, чинившего разнесенную ветром черепицу, — убило. В городах было опасно ходить, — всюду летали части крыш, кирпичей, валились деревья. Я ничего подобного в жизни не видала. У нас перед окнами по прудику гнало целые столбы воды (раза в 2—3 выше человека), а над прудом фонтанной дымкой летели брызги. У мамы, вышедшей на двор с блюдом в руках, вырвало это блюдо, а сама она не могла идти. Дыхание захватывало и срывало. Сердится зима, что не успела поцарствовать в этот год, а срок-то ей уж и вышел![729] На окне у меня цветут буйно всяческие мои любимцы, — но краше всех камелия. Точно для нее нанесло снегу, и я обкладываю ее теперь, как полагается, этим редким «гостем». С приходом весны все во мне насторожилось, обострилось, забеспокоилось... Растерялось как-то. Не люблю это состояние весной, для творческой работы плохо это. Слишком оглушают все эти «гомоны» природы. Осенью все собранно и глубоко. Я както разметалась душой, а работать надо, надо... Закрыть надо глаза и уши и снова уйти в себя и в дело. А так это трудно... Столько красоты... Все невольно и видишь, и слышишь. Пиши же, Ванечка. Мне больно, что ты молчишь! Прости меня заочно в день прощений и будем светлыми встречать Пост! Обнимаю. Оля

662

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IV.49

Дорогой мой дружок Ванюша,

Все собиралась тебе тотчас же написать, как только узнала, что ты уже в Париже[730], но у нас опять такая нервность и суета, что не могла спокойно сесть за письмо и собрать мысли. Вкратце — выгоняем главного жулика, садовника, сидевшего тут 17 1/2 лет и раскрадывавшего все и запускавшего

все систематически. Но «выкорчевывать» такой «зуб-коренник» очень трудно. Чтобы хоть сколько-нибудь оторваться от всей этой грязи, я уходила в работу на природе, расчищала лес и сад, подстригала розы, разбивала новый цветник на месте вырубленных уродливых кустов и т. д. Но о себе довольно.

Твое состояние меня тревожит. Как теперь в Париже? Все так же трудно с молоком, маслом и хорошим хлебом? Или лучше? Кто ходит за тобой? Или нет никакой уборщицы? Как Ю[лия] А[лександровна]? И что с ее мужем? Я непрестанно думаю о тебе. И вот о чем хочу просить тебя: приезжай на лето к нам! Я могу за тобой приехать и увезти тебя в удобном, если хочешь, спальном вагоне, чтобы меньше утомился. У нас, кроме комнаты в доме, где ты бы имел спальню, можно быть совершенно «самостоятельным» в моей «хатке». Можешь работать там, думать, просто лежать, т. к. там есть удобный диван. Здесь все для тебя было бы: сколько хочешь молока, сливок, масла, яиц и т. п. Все самое свежее. Никаких забот. Потом будут фрукты. Мы готовили бы для тебя диетический стол и ходили бы за тобой с радостью. Тут чудесно весной и летом. Отдохнул бы ты. Право, подумай! В «хатке» у тебя мог бы быть совершенно <u>свой</u> мир, без помех. Она стоит в парке у воды с балкончиком над самой водой. Там электричество, уборная, можно кипятить воду. Только топить нельзя, но это летом и не нужно. Воду можно получать из недалеко стоящего барского дома, где теперь уже не живет «мегера», а занимают дом доктор с его женой, тоже докторшей (очень хорошей интернисткой) и только что родившимся сынком (были близнецы, но старшенький тут же умер, поврежденный при вынимании). С этими людьми мы договорились, что я могу брать у них воду, сколько хочу для «хатки». И вообще, они в самых дружеских тонах разговаривали, когда делали нам визит. Совсем иная атмосфера, чем при другой жилице. Видишь, даже доктора под рукой! Я очень прошу тебя серьезно отнестись к этому и решиться поехать. М. б., когда бы ты отдохнул, мы устроили бы твое чтение тут, хоть русских мало, но все же нашлись бы. И еще одна просьба: обязательно и как можно скорее сообщи мне твои размеры для костюма (длина и объем плеч, хотя бы). Мне очень хочется послать тебе костюм, т. к. у нас они появились.

На днях послала тебе немного «ерунды» всякой: сладкого, белой муки, масла и ореховой пасты, она очень мне кажется вкусной. Но я не знаю, что было бы самым нужным. Напиши. У нас есть шоколад и сахар. Масло еще по бонам и потому разрешают посылать ограниченное количество, но можно все-таки. Я положила в желтую баночку сливочного 1/2 фунта

и в жестяную банку русского масла, на которое не получила разрешение, и оно идет контрабандой, напиши, дойдет ли?

Итак, я жду, что ты мне скоро на мои просьбы ответишь, дорогой мой!

Господь да хранит тебя, солнышко.

Обнимаю тебя. Оля

663

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Начало апреля 1949 г.]

Христос Воскресе!

С этим светлым приветствием обнимаю тебя, дорогой мой Ванюша, и всей душой хочу, чтобы у тебя было светло и радостно на сердце!

Чудесные книги твои я приняла открытой душой и радостно и трепетно читаю вторую часть романа. Вижу, что ты многое еще сократил против последнего варианта, который я читала в рукописи. Много поработал и над этой частью. Ты ничего о себе не пишешь, и я тревожусь. Как хочется, чтобы у тебя был праздник! Жду ответа от тебя на мое приглашение побыть у нас летом! Все мечтаю, как чудесно тебе тут было бы отдохнуть! Сейчас рай прямо, — все зацвело.

Спасибо тебе, родной, за книги! Какая мне это радость!

Обнимаю тебя. Оля

У нас еще не вылупились цыплятки, но жду. Много уже всяких «новорожденных» зверюшек. Особенно хороши ягнятки. В саду такая красота, что голова кружится. Хочется рисовать, и полный разброс чувств — так много всего, что трудно собрать себя. И цвет, и буйный рост всего, и солнце, и гомон птиц, и до оглушения кваканье лягушек. Все живет и шумит.

Получил ли ты мой пакетик? Я запросила разрешение на второй, — хотела к Пасхе, но еще не имею разрешения.

664

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Не позднее 28 апреля 1949 г.]

Мой дорогой, милый Ванюрочка!

Прежде всего, благодарю тебя за письмо[731], доставившее мне огромную радость присланной меркой костюма и твоим

принципиальным согласием приехать в Голландию. Спасибо тебе за посылочку и яичко милое в ней! Чудесный мармелад! Чудесный миндаль! Посылку принесли как раз к моменту разделывания теста для куличей, и мы смогли миндалем их еще усластить! Я очень тронута! Мама и Сережа очень рады, что ты и их вспомнил в пасхальном приветствии. Благодарят и очень сердечно тебе кланяются.

Ванечка, теперь о деле: ты обязательно собирайся к нам. Здесь тебя уже ждут и другие русские люди. Есть большие твои почитатели, которые ухватились за мое предложение устроить твое чтение тут. Я использовала для этого разговора пасхальное стечение народа в церковь. Нашла себе в помощь одну даму, глубоко тебя чтущую и готовую все сделать, чтобы собрать народ. Она живет в Гааге и это очень хорошо, т. к. там именно русские в большинстве. Мы кратко за крестным ходом уже решили, что устроим все уютно, радостно, м. б. чай и т. п., чтобы все носило теплый характер. Предлагали бы публике твои фотографии. Здесь русских крайне мало, суди сам: на службе в Великую Субботу было 8 человек! Но как я, так и она думаем, что ты объединишь рассеянное, только надо всех оповестить заранее. Мне важно, что кроме меня («своего» твоего человека) есть «посторонняя» душа, желающая помочь мне. Очень ухватился Пустошкин за эту идею, — я на разговеньи рядом с ним сидела, и все время только о тебе и говорили. Часа 3—4! Затем у меня мысль сегодня явилась поговорить с переводчицей Схот, — у нее много голландцев, знающих русский язык. Это очень важно. Вообще, я-то на 1000% буду стараться. И тебе это не трудно будет, т. к. у нас ты хорошо отдохнешь и запасешься силами. До Гааги 45 мин. езды без пересадки прекрасным вагоном. Я заранее, уже сейчас спишусь кой с кем, чтобы выяснить, насколько человек можно рассчитывать и сообразно с этим подыскать помещение. Лучше все это сделать неофициально, чтобы избежать налогов. Если ты здесь хоть и не очень много заработаешь, то все же сможешь купить и то и другое, — здесь теперь все есть и не так сумасшедше дорого, как в Париже. Но главное — это такое ценное обогащение для русских — услышать твое от тебя же! Возьми твои книги, какие есть, тут их все раскупят. Здесь нет книг совсем.

Я завтра же постараюсь отослать письмо голландскому консулу для визы. Пошлю его тебе, а ты пойди в консульство и передай письмо консулу. Так всегда делается. Я назову тебя своим дядей. Мне все равно, когда ты соберешься.

Ты можешь соединить поездку с Швейцарией. Но надо скорее просить визу. Я бы больше всего хотела за тобой приехать сама, но выяснилось, что девизный институт не может мне выдать разрешения раньше августа, т. к. у них такие правила.

А до августа откладывать долго. Можно тогда так устроить, что, получив мое разрешение, я осенью тебя проводить смогу лично до Парижа. Во всяком случае, не бери билета «retour»[1], — я тебе отсюда возьму билет обратный. И м. б. сама с тобой поеду.

Я сегодня же хотела писать и консулу, но должна ехать к зубному врачу через 1/4 часа, а голландскую бумагу надо проверить орфографически, — Арнольд занят в полях и надо подождать до вечера. А мне не терпится, и я хочу скорее послать это письмо.

Целую тебя, родной мой, и жду, жду, жду!

И не только я, а и русские люди в этой стране! Утешь их!

Сегодня же постараюсь договориться с портным о костюме. Если не выйдет в Утрехте, то поеду в английский магазин в Амстердам.

Есть ли у тебя специальные желания: цвет? Однобортный или двубортный? Напиши! Нам говорили, что для тех, кто много работает сидя, двубортный немного стеснителен, т. к. плотно застегивается.

Но ты скажи, что тебе хочется!

И еще раз благодарю тебя, что согласился. Я и вправду обиделась бы на тебя. И не ты, а **я** у тебя в долгах. Молчи о таких вещах! Жизнь у нас в имении очень простая, без всяких «этикетов». Нам нисколько не важно, кто в чем ходит, что делает. Арнольд работает в комбинезоне рабочем, а мы с мамой тоже очень по-домашнему. Все очень просто и без затей. У нас не похоже на голландские церемонии. Живи так, как привык, как тебе хочется, ни с кем не считаясь. Хоть лежи, хоть работай, хоть гуляй... Тут каждый сам по себе. О желудке твоем мы диетически позаботимся. И я тебя свезу к гомеопату, — он поможет! Ванюша, думай конкретней о поездке! Ведь всего несколько часов от Парижа до нас! Бери 2-ой класс! Я очень жалею, что до августа не получу разрешение, — так хотела тебя привезти сама!

Целую. Оля. Жду! Пиши скорее!

---

[1] «Обратный» (*фр.*).

665

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IV.49

Дорогой мой, любимый Ванечка,

Посылаю тебе бумагу для голландского консульства в Париже. Ты должен с ней пойти к консулу и там заполнить анкету. Ее пошлют сюда, и мы ее тут сможем двинуть. Но первый шаг должен сделать ты сам в Париже. Когда бумага придет сюда, дело не задержится, я попрошу полицию местную сделать спешно. Все они нас тут хорошо знают.

При заполнении анкеты имей в виду, что я тебя назвала «дядей» своим. Для семейных дают охотней визу.

Не откладывай, пожалуйста, и тотчас соберись в консульство! И так достаточно уйдет времени на разную канитель. Есть ли у тебя 2 фотографии? Их, кажется, нужно. Впрочем, у тебя уже есть паспорт? Для Швейцарии был же? Тогда м. б. и не надо фото. Узнай все в консульстве.

О себе много не пишу, т. к. спешу отослать это письмо.

Обнимаю. Оля

P. S. Я прошу визу на ± 2 месяца, т. к. обычно не дают на дольше, но когда ты будешь здесь, и если захочешь, то здесь на месте легче ее продлить.

Я не указываю числа поездки, т. к. предоставляю это тебе самому назначить.

О.

666

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[14.V.1949]

Дорогой мой друг! Самое искреннее, душевное спасибо за чудесную книжку «Богомолье». Я со слезами ее перечитываю, когда урываю от злой суеты дня время. Меня очень тревожит то, что от Вас нет никакого ответа на мое последнее письмо с посланной бумагой для консульства. Получили Вы его? Были ли в консульстве? И что Вы скажете на вопросы мои о костюме? Я сижу и жду: уходит время, уходят возможности хороших материалов. Двубортный или однобортный? Какого цвета? Есть хорошие темно-серые и темно-коричневые. На мой вкус, я бы взяла серый, — более нейтральный. Но я жду и ничего не могу делать. Черкните же, хоть кратко. Пишу

открытку, чтобы скорее послать. Я чрезмерно задергана, как и все мы тут. Масса кругом подлости и неправды. Бывают дни, когда вся я внутри дрожу. Нервы истрепаны в конец. Все время стояла холодная погода, а все цветет и благоухает. Каждый день в природе как праздник, и несмотря на суету и злобу дня, я не устаю наслаждаться красотой вокруг себя. Но, видимо, Вас не соблазнить сюда приехать. А как бы это хорошо было! Очень жду ответа! От души всего доброго! Ваша О.

667

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.V.49

Дорогая Олюша, со 2-го дня Пасхи не выходил, — глубокий бронхит. 7 раз ставили банки, только вчера выходил на 1/2 ч. Полное безволие, запустил почту, у с т а л. А писем — гора! Очень много от читателей, — все книги мои выходят, — на днях выйдет новое издание «Няни» и «Солнца мертвых»[732]. Прости меня за бессилие ответить в срок. Благодарю, письмо (с вложением к консулу) получил. Не уверен, приеду ли... Нет, ни-ка-ких моих выступлений! Побереги свои силы, родная моя, а я поберегу и свои, и твои. Но поехать к тебе лишь иногда очень хочется: знаю, что это моя последняя поездка за границу. Надо вложиться в 3-ю часть «Путей Небесных». 2-ая, кажется, нравится читателям, пишут — ж д у т, 3-ю...

Милая, всецело тебе предоставляю — все о костюме: у тебя хороший глаз, большой вкус, а я ничего в сем не смыслю. Знаешь, я уже 20 дней не курю, — очевидно, оставлю совсем. Мария Тарасовна бывает 2—3 раза в неделю, кормит меня... Бронхит ослабил меня, я — пластом, ложусь в 9 вечера. Сумасшедший связал Юлю по рукам — по ногам. Наводит панику в St-Remy... Раз были у меня, на 1/2 часа, я — у ш е л. Господь с тобой. Н а п и ш у. Твой В.

668

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.V.49

Дорогой мой Ванюша,

на твою грустную открытку с сообщением о бронхите не могла сразу ответить, т. к. сама жестоко болела, да и сейчас еще не в порядке. Меня круто забрала ангина, и я в одну

ночь разболелась. Доктор дал какие-то порошки, которые прекратили острую боль в горле в 2 дня, но, очевидно, оказались слишком сильными для меня, т. к. я потом совершенно ослабла и до сих пор разбита. С сильного жара температура упала до 35,4°, и я еле шевелилась при постоянной тошноте и рвоте от малейшей попытки что-нибудь съесть или выпить. Я встаю, но еле передвигаюсь. А как назло в доме начата весенняя уборка, — надо ее как-то приводить к концу. Во время лежанья меня мучили разные «темы» для рисунков к одному моему рассказу, и я, как только встала, начала заносить на бумагу свои мысли и фантазии. Увлеклась и, вместо того, чтобы по совету врача встать на 1—2 часа, просидела не вставая с утра до ночи за рисунком. Результат был печальный. На следующий день я снова была больна. Рисунок зато запечатлен, хотя и не окончен. Но буду надеяться, что теперь уже встала прочно.

Отвратительная стоит погода, а так хочется свежего воздуха. Хочется скорей свалить уборку, чтобы в убранной комнате сесть за работу. Я начала свой главный роман[733]. Масса новых лиц и картин просят воплощения, и я в нетерпении, но в разгроме не могу работать. К счастью, у меня совершенно исключительная прислуга, — сокровище во всех смыслах. Такую вторую, думаю, и не найти. Прелестна по внешности, гордый, независимый характер свободной натуры, из одного самолюбия, делает все первоклассно. Не надо указывать дела, — сама видит. Трогательно мила к маме и мне. Любит животных, особенно лошадей. Первоклассная наездница, и сидит на нашей верховой, как амазонка. Увидя ее однажды на лошади, Жукович просто ахнул, а он сам хороший был кавалерист и знает цену посадки. К сожалению только этой девушке тяжелая выпала доля, — вся ее семья пария[i] здесь. Мать ее родом из России и фамилия ее — Волынская[734]. Дедушка их был еще русский и православный, потом стали немцами. За это-то их и «сжирает» вурденовское лицемерное общество. Отец Вилли у нас конюхом, — тоже явление редкое, — бьется для семьи как рыба об лед, а толку мало: живут в хибаре (даже без уборной) в количестве 12 человек в одной комнате. А сестра нашего конюха замужем за профессором в технической высшей школе в Делфте (т. е. в самой знаменитой в Голландии). Вилли убегает из дома, когда приезжает тетка с визитом, и плачет от стыда за свою нищету.

У нее хороший вкус. С голытьбой их улицы она не ведет знакомств и слывет потому «гордячкой». В начале с ней было

---

[i] Бесправны (*нем.*).

сложно, — тысячи всяких «чувствований», основанных на подозрительности, надо было как-то умело упразднить без причинения ей боли. Такой девушке дать образование и вырвать из условностей лицемеров... Что было бы из нее? Манера держаться, ее скромная, но со вкусом выбранная одежда заткнут за пояс нашу королевскую семью. Работает у меня она не покладая рук, не страшась никакой самой грязной работы и все это в каком-то «радостном порыве». Скоро год, как она у нас, а «порыв» этот все еще такой же свежий, как и в начале. Но довольно о ней. Вот бы для ухода за тобой такую! О тебе я думаю все время. Неужели ты так и не соберешься сюда? А как хорошо было бы тут отдохнуть без всяких забот. Теперь все буйно растет, все более зрело, чем ранней весной, получило свои формы, но зелень еще свежа, во всей своей силе. Ягили цветут буйно, заплетая кружевной сеткой лесок сзади дома. Чуть не в рост человека вытянулись они. Но на некоторых участках в поле уже был сенокос и с этой недели начнется вплотную. По модной системе кормят скот здесь сушеной травяной «мукой», срезанной уже в апреле. Огромные фабрики сушат эту коротенькую весеннюю травку в печах и перемалывают в муку. Во дворе, где сложена она в мешках, стоит сильный дух печеного хлеба. Это очень здоровая пища для коров. Безумно дорогой способ заготовки, но стоящий того по высокому содержанию белка. И так будут у нас скашивать некоторые участки все лето. Сильно удобряют и косят не выше 20 сантиметров. Дела сейчас в хозяйстве масса. В ту ночь родился первый жеребенок, которого сторожили 10 ночей! В этом году много умирает лошадей от родов. И нашу только-только устерегли... пришлось вытаскивать жеребеночка, иначе бы она тоже не выжила. Арнольд теперь вполне вошел во все отрасли хозяйства и сам тащил маленького, делая указания конюху, который, несмотря на знание толка в лошадях, работал больше в манежах для скачек, а не имел случая помогать при родах. Теперь еще надо ждать у молодой матки... впервые... И опять дежурства ночами. Но по общему наблюдению, в этом году невезиха с рождениями у животных. Цыплята очень недружно выходят, мрут, кривоногие; телята часто в неправильном положении, — часто приходится звать ветеринара. Лошади мрут. М. б. что-нибудь с солнечными пятнами?! И у людей нет лада!.. А мир так прекрасен... Ванюшенька, я тебе нарочно все о деревне, чтобы соблазнить тебя... А пока будь здоров, поправляйся и укрепляйся, а письмо мое сожги из-за бактерий.

Обнимаю. О.

669

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VI.1949

Дорогая моя, новорожденная, Олюшенька,

Поздравляю тебя. Здоровья и творческих удач! Прекрасно твое письмо, — как просто, четко, ярко... Отлично дала девушку. Так и надо писать, не думая, чтобы «вышло лучше». Разбавил водой, никуда стали чернила, забыл купить. Ты вот ее «примет» не дала (блондинка, брюнетка, глаза, то, се...), а я уже в и ж у, в з я т!.. Молодец! И отлично о животных. Меня все это (такое) всегда влечет, я люблю — в е щ н о е... Удивительно просто — и читаешь, как роман. Думаю, что причина трудных и несчастных родов не «пятна солнечные» — тогда бы по всей Европе было, а читать о сем не доводилось: не затопление ли? — могло отразиться на «дыхании» земли, (радиация!), на составе-качестве корма...

Напиши, на всякий случай, какой мотив поездки в Голландию указан в письме к консулу. Поблагодари, прошу, Mr. Arnold — за письмо. Пока не решил с поездкой. Благодарю, но н е знаю, как найду волю собираться. Есть воля, вот уже 40 дней, как не курю. После 50 лет «злой похоти». Обре-зал! Держу папиросы навиду — и не сдаюсь.

Вот, уже де-сять лет н а ш е й «встрече»! 1939 — июнь — 1949 — июнь. Ско-лько (!) было... в с е г о!.. А какие письма!.. какие чувства, переживания! Благодарю Господа за Его Милость: тут и радование, и — испытание, в с е.

Да, благодарю Господа. Как душа п е л а!.. Разве э т о *н е* счастье?! ...

Подумай. Олюша, подумай. Большой бы был нехват в моей жизни, — не будь этой встречи с тобой, светлый мой друг. И я кланяюсь тебе, дорогая, и шлю мой светлый-светлый привет. Прими его благостно. М. б. кроме сего (парижского), получишь нечто из Швейцарии, — я сегодня написал, но не знаю, как это устроится. Ну, увидишь, только... когда? Из Женевы напишут в Bern, а когда оттуда пошлют тебе — не знаю.

Целую твои ручки и глазки, моя светлая Олюша. Поздравь от меня маму и брата.

Твой Ив. Шмелев

Скоро пошлю еще 2 новые книжки: «Няню» и «Солнце мертвых».

670

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботина

Всем сердцем приветствую светлое Рождение. Здоровья, творческих сил и удач!

Ив. Шмелев
4.VI.49
Париж

671

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10 июня 1949

Мой милый дорогой Ванечка!

Спасибо тебе за чудесное письмо, принесшее мне столько радости, и роскошные цветы — прелестные розы! Зачем ты это? В букете твоя приписка такая вся от сердца... Спасибо! Спасибо!

Я все же жду тебя! В письме к консулу я никакого мотива поездки определенно не назвала, сказала только, что ты мой дядя.

Что надо? Разве нельзя просто в гости? Ты узнай все же, побывай в консульстве, — ведь требуется на все масса времени. Я поеду в Гаагу и попытаюсь там еще продвинуть, но надо тебе в Париже хлопотать. Когда я сама буду во Франции, — еще не знаю, но думаю, что не раньше августа. Мы запросили девизы, надо ждать. Арнольд хочет после 10 лет без отдыха ехать на горный спорт (он альпинист), а я буду сперва (или после) в Савойе и потом (или до) в Париже. В Савойю я очень хочу попасть, т. к. давно мечтала. Хочу это для живописи тоже. Но главное — Париж. Нам дадут девиз на 3 недели. Я бы хотела тогда тебя забрать с собой и привезти сюда, а то ты не соберешься. Хлопочи, пожалуйста!

Пока что я мало занималась своим делом: все хозяйственные дела. 9 июня, вчера, был чудный день. Начался он с ночи... Всю ночь мы дежурили у молодой лошади, ждали ее родов. Около 3-х часов она забеспокоилась. Арнольд и конюх ушли со всеми «приборами» в хлев, а я, чтобы не мешать, ходила около ворот хлева, вся в трепетном волнении, прислушиваясь и к шорохам предрассветного часа, и к непонятным звукам там... у роженицы. Нескончаемо долго тянулось время. Начали петь птицы. Под крышей в гнездышке высуну-

лась белая головка ласточки, и, надувая горлышко, «зажурчала» чудесную песенку. Завозились куры на нашестах, пропел петух, немолчно квакали лягушки на всех прудах... солнце взошло и залило все радостными лучами. А в хлеве все те же непонятные звуки: двиганье чего-то... кого-то? Вздохи, легкое громыханье, как будто бы бадьи и тихая речь двух мужчин. Я обежала сад, прошла в цветник, попеременно снова то слушая, то молясь, глядя в широкое светлое небо. «Батюшка, Феодор Стратилат, облегчи ей, помоги!» — шепталось от сердца и не хотелось верить, что в такое светлое утро, в этот час всеобщего пробуждения случиться может что-то темное и дурное. А роды длились уже слишком долго... так долго, как не полагается у лошадей... как становится уже опасным... Я побежала в спальню, привела себя совсем в порядок для того, чтобы можно было идти в город. Робко прильнув к щели ворот хлева, шепнула: «если ветеринара надо, — позовите; я тут, готова...» Такое же сдержанное слово оттуда: «подождать еще можно... пока не надо!..» Я снова хожу... молюсь... стараюсь молиться, но от волненья не умею, не могу собраться...

Уже 5-ый час... прикладываю ухо к скважине и слышу... «чик» ножницами. Отрезали пуповину... Новая жизнь получила свое самостоятельное существование! И различаю голос Арнольда: «следи за матерью, пока не встала, подвязывай место к хвосту, чтобы ночами не оторвала...»

Я открываю двери и вижу маленькое, мокренькое с узловатыми ногами существо. Он слаб еще, но уже топорщится встать. И она, мать, тихонько ржа, обнюхивает его и начинает лизать. Только, только успели подвязать ей место, она уже встала... чистит своего первенца.

«Трудно было...» говорит конюх, и пот катится с его побледневшего лица. — «Вы устали?» Спрашиваю... «Ну... не от работы... а... переволновался я... знал я, что узкого она сложения... первым». И обращаясь к Арнольду: «Уж извините, что я и помочь-то Вам мало смог, — как хотелось мне, чтобы кобылка... думалось так, что у этой моей любимицы дочка будет... как раз в срок ожеребилась... не переходила... А как мучилась она вот сейчас... все забыл... только бы жива осталась!» Хозяин слушает его молча, присев на оглобле какой-то тележонки, руки еще мокры и грязны в крови, засучены рукава блузы, и с бледного лба катится тоже пот. «Была минута... как она опять вдруг вскочила... думал я: плохо кончится дело... Ведь этакого не бывает с ними, чтобы вставали?» — пытает конюх. Оба они обсуждают, как распределить день и кто должен дежурить у лошади, чтобы приучить маленького сосать. Он будет, спустя

1—2 часа тыкаться мордочкой, не понимая, как надо. «Да ты бы спать шел, — говорит хозяин, — ведь вчера с 4-х утра косил, да так и не передохнул?» «Мне бы только за папиросами домой, мигом тут буду... нет, я их ни на кого тут не оставлю».

«Думаю, что он за жену свою так не волнуется, как сегодня за “Илону”...» — говорит мне по дороге к дому Арнольд. «Не мог он тащить маленького... нервничал... боялся... да еще я скажи ему, что переработал он сгоряча с косилкой и утомил Илону накануне. Не было у нее схваток. Перетрусил он, что сам же загубил лошадь. 11 часов косил на ней... неуемный. Теперь наука будет». Мы слышим еще легкое ржанье из конюшни, а кругом и гомон, и пенье птиц...

Так начался мой день. Немного я спала, но была свежа и радостна. Я подходила к твоим цветам и вдыхала их свежесть и аромат. Они стоят, как будто только что сорваны. Кончаю письмо в Утрехте, ожидая дальнейшего сообщения — еду в Schalkwijk. Была в магазине-салоне, где заказала тебе костюм. Чудесный удалось получить материал «tropical» английский, немнущийся. Серый, годящийся и на зиму, и на лето. Но сообщи **скорее**, тотчас, какой твой конфекционный №. Если не знаешь, то зайди в любой магазин и спроси там, — скажут. Это необходимо для их ориентации, т. к. данные, присланные тобой, не вполне точны. И обязательно смеряй талию по телу, т. е. не по брюкам, а твою, не слишком туго, а хорошо прилегающую линию, т. к. 86 сантиметров они считают слишком широко. И обязательно объем бедер. Но главное: конфекционный размер твой. Т. к. нужны еще выемки рукава и специальные измерения спины, которые могут снять только портные.

Пришли, голубчик, мне скорее данные для костюма. Жаль будет, если чудный материал испортят. Да они и не согласны начинать, не зная точно. Это первоклассный салон. Обнимаю тебя. Оля

672

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[18.VI.1949]

Дорогой Иван Сергеевич,

Я просила Вас как можно скорее ответить мне касательно костюма, а именно: какой Ваш конфекционный номер. Это необходимо для закройщика, — иначе он не может, не видя Вас. Кроме того, необходимо знать объем талии, т. к. они не

верят, что 86 сантиметров, считая это слишком много при прочих размерах. Надо смерять не по брюкам, а прямо по своей фигуре. Я очень прошу Вас поскорее ответить, т. к. выходит задержка, а то и вообще уплывет материал. Хорошие, быстро расхватываются. Кроме того, если я поеду в начале августа во Францию, то необходимо, чтобы костюм был уже готов, и я смогла бы его взять, — иначе какой же смысл. По почте я не рискну его послать: 1) не разрешат новую вещь «вывозить» из страны; 2) могут украсть.

И еще: как у Вас дело с визой? Сережа пригласил одного товарища из Франции и это дело очень быстро идет. Сходите же, пожалуйста, в консульство, если имеете желание к нам приехать!! Лето мчится, и скоро пройдет. Очень жду ответа, т. к. и меня из ателье торопят!

С самым сердечным приветом

Ваша О.

P. S. Привет г-же Волошиной и Ю[лии] А[лександровне]. Пусть они Вас поторопят!!!!

673

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Не позднее 20 июля 1949 г.][i]

Дорогой мой Ванюша, спасибо за большое письмо[735]. Хоть мне и грустно, что оно уже и именинное, и я не услышу от тебя ничего больше ко Дню ангела, но я понимаю, что ты занят и устал. Я буду думать о тебе в Ольгин день и мысленно побуду тоже и в Сент-Женевьев. Твое письмо на каждом слове доказывает полную твою усталость и задерганность. Почему ты не хочешь ехать к нам? Проси визу на сентябрь—октябрь. Я получила девизы для Франции и думаю, что в конце августа буду в Париже проездом в горы. Тогда в самом начале сентября поеду обратно и возьму тебя с собой. С билетом я же все устрою, т. ч. тебе никаких хлопот. У нас ты бы вполне отдохнул. Где ты в Пиринеях будешь один опять перебиваться по пансионам?! Одно дело пансион и совсем другое — собственное хозяйство. Будет масса фруктов. Рыбы много в прудах, — лови себе, если хочешь! Сходи же в консульство, — отсюда я только продвинуть могу, но в консульство тебе обратиться необходимо. Не захочешь ехать, — пропадет виза,

---

[i] На конверте карандашная помета И. С. Шмелева: получено 20.VII, отвечено 21.

не беда, и только, — а не пойдешь, так ничего и не выйдет. Природа у нас тут не похожа на нашу, но у Сережи березовые рощи и леса очень напоминают, — есть и косогоры. Там очень красиво. Ну, соберись же! Я тоже страшно устала. От людей устала, — у нас постоянно народ. С косьбой каждый день кормила 4—6 человек, а теперь приезжают кандидаты на садовника, порой издалёка, т. ч. тоже кормлю и пою, иногда по 5 человек. Очень хочу работать. Мечтаю, что время отпуска и даст мне возможность работать. Я не от работы устала, а от толчеи и от того, что не могу работать. Напора у меня достаточно и «хотенья» тоже. Когда я дорываюсь до дела, то не замечаю ни времени, ни голода, ни жажды. Могла бы сутки писать, не вставая. «Любаву»[736] я долго изучала и чем дольше я на нее смотрела, тем меньше она мне нравится. Текст — полная ерунда: нахватано отовсюду, вплоть до «Садко», а н у т р а нет. Никакого! И непонятно — в чем же суть? В рисунках нет никакой самобытности, не чувствуется личность художницы. С одной стороны Билибин, — с другой — нечто американско-рекламное, особенно в отвратительной физиономии примазанного «принца» на морском дне. Это же Рамон Наварро[737] из Холливуда. М. б. авторша им увлекалась, как большинство дам?! Уж если она начала по Билибину, то почему же не выдержала стиля и на дне морском?* Ты заметил — в книге два совершенно различных стиля? Лица художницы не видно поэтому. Сравнивая сказку в тексте и рисунки, явно видишь, что она бьет на внешний эффект, не стесняясь дергать у других авторов. Вся «Любава»-то не стоит иллюстраций, — пустой орех! Не подумай, что я это из «ревности»... авторской... Книжка красива внешней красивостью. А обратил ты внимание на придворных? Это же какие-то вельможи Фридриха Великого[738], но никак не русские бояре! Откуда-нибудь тоже сперла! М. б. у нее есть чувство красок, но в этой книге я вижу только: с одной стороны подражание Б[илибину], и там *его* краски (несколько только грубее), с другой стороны нечто американо-монденное[i], прилизанное и надуманное. Что мне действительно понравилось, так это на первом листе чертенок, играющий на дудке, сидящий на гнилом пне. Если это ее собственность, то имеет цену. Но я сомневаюсь, видя ее подражания и полное отсутствие *своей* линии. Современные рек-

---

* Да потому, что у Билибина-то этой темы не встречалось! Поверхность моря он дал своей манерой, а дна — нет.

[i] Здесь: модное (*от нем. mondän*).

ламщики иногда достигают виртуозности и ей бы не уступили. Нет, с надписью г. Ознобишина о «художественном произведении» я не согласна. Но оставим это! Мне очень грустно за тебя, что тебя дергает И[ван] И[ванович]. Я только не писала тебе, но он и меня вымогал. Ему спешно были якобы нужны деньги, не так важно сколько, как спешно. Он мне несколько раз писал. Очень, очень странно. Получалось впечатление, что он обижен и женой своей и не понят тобой. Были какие-то и мне намеки. Т. к. денег официально переводить нельзя, то ему послали просто билет в конверте раза 2 (хотя это бессмысленно, менять ведь все равно нельзя), а потом я узнала от тебя, что он попал в сумасшедший дом и больше не посылала. Ты не должен, ты не смеешь ради своего большого, давать себя тиранить. Заяви в полицию и все! Такого сорта люди только этого и заслуживают. Ю[лия] А[лександровна] — другое дело, она любит его, но ты-то не обязан ради этого жертвовать собой. Если же не хочешь скандала, то призови слесаря и заставь сделать цепочку у двери, — позвонит кто, сперва приоткрой на столько, как позволит цепочка. Здесь у всех так. Если у него есть второй ключ, то заставь сделать новый замок. У меня было впечатление, что И. И. скрыл от тебя мои письма, по крайней мере, намеки его были очень странны: «все здесь мне напоминает Вас...» или: «сперва Вы легли мне тяжелым камнем на сердце, но теперь я свыкся и Вы стали нам даже близки...» что-то в этом роде.

Я не хотела тебя беспокоить и не написала об этом. Он писал несколько раз, всегда avion'ом. Хотел как будто денег на издание какого-то журнала, не-то «сверчок», не-то «кузнечик», или на издание своих книг... не знаю. Помню, что мне и стиль его, и почерк сам были гадки и внушали отвращение, но помня свои споры с тобой о нем и его жене, я пересилила себя и во имя тебя его не хотела оттолкнуть. Если Ю[лия] А[лександровна] в то время жила тоже в твоей квартире, то значит она была тоже в курсе дела. Он представлял дело так, как будто бы он от нее вырвался в Париж и сидит у тебя. Не стесняйся, береги себя и свое и дай решительный отпор. Где теперь г-жа Волошина? Дай мне ее адрес! Бывает ли Меркулов? Серов? Эти все же верные твои друзья. Пусть Александр Николаевич хорошенько пригрозит И. И., — слово постороннего более действительно! Закажи же цепочки и замок и не отпирай! Обнимаю тебя. Оля

Сережа благодарит тебя за поздравление. Сегодня он именинник.

674

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VII.49 Париж

Поздравляю тебя, светлая моя Ольгуночка, со Днем ангела, — пресветлой Ольги. Будет тебе еще много таких светлых дней, и я всеми силами моего сердца желаю тебе здоровья и здоровья, душевного равновесия и исполнения твоих надежд и устремлений. Работай и будь довольна этой работой. В чем бы она ни проявлялась. Конечно, самое желанное для тебя — творческая работа. О, еще большой запас лет у тебя! Ты еще дитя, в сравнении с моим веком, и — всего можешь добиться, только желай крепко! Ты будешь светла в этот твой День, и я душой с тобой. А, м. б., увидишь шмеля-гуделку... постарайся его поймать и приласкать. Шмели добрые, у них нет жала. Только еще рановато для них, но может и случиться: вот, забубнит!.. А там придет срок осам, в августе—сентябре, золотые дни. Но в Голландии, думаю, в половине августа уже холодно будет, а сентябрь и совсем — свежо и дожди. Какое же это «лето»? — звала-то меня. А вышло — к осени. Сомневаюсь очень, поехать ли. Подмывает поглядеть на твой быт, посидеть на бережку и, в думах, половить рыбу... — люблю! — а какая рыба-то? Карасики, лини? Напиши, прошу.

Хочу заставить себя пойти к консулу... плевать, если не использую... Но раз ты поедешь во Францию в конце августа... какой мне смысл ехать к тебе на дожди, на сырость?.. Пока я так использую эти недели... Махну в Камбо, (только вот воплощу статью о Достоевском, для иностранцев, — ответственная, но приятная работа, и заработаю тыс. 50 — мне дано право — «сколько хотите, хоть 60 страниц»! Работы дней на 10, т. к. в уме — готово), неподалеку от Байонны-Биаррица, там мне найдут комнату, а кормить нас — приедет на август и профессор Волошин — будет Марья Тарасовна Волошина,.. она так просила! Она хотела бы хоть на три дня вернуться в Париж, чтобы меня устроить... привести в порядок квартиру, но это безумие я пресек. Дорого и — не кчему. Невесело там будет мне: видеть приговоренного и горе матери... Ну, я поброжу округ, навещу былые места, посижу у океана. М. б. на несколько дней поеду в Капбретон, там, в лесной глуши есть у меня хуторяне, один безрукий капитан — военный писатель[739], у них хозяйство и — ти-ши-на. Женился на вдове одного нефтяника. Кажется, есть — была раньше — и машина, правит жена. Когда-то я у них танцевал с Марго Серовой и Ириной под граммофон, в 33 г.!

Хочу вспомнить нашу виллу «Риан-Сежур»...[740] Там мне писалось.

Ах, мерзавец-вымогатель!.. меня так удручило твое сообщение!.. Напрасно посылала билеты, — это грязное животное. Я их заставлю вернуть, здесь же трудно разменять. Ноги его у меня не будет, я и ей написал, чтобы не являлась, еще до твоего письма. Мне и она теперь отвратительна, своим напускным христианским «смирением», — противно писать. Цепь на двери была всегда, но я не открою и на цепь, — может вломиться, всунув ногу. Если будет шуметь за дверью, консьержка вызовет полицию, и его возьмут. Он будет противиться, и его изобьют. Пусть даже убьют, — это же сверх-хам, змея, бешеная собака... грязное животное. Подлец выискал твой адрес, — письма твои были под ключом, в сундуке, — а ключ у меня. Ключа от квартиры у животного нет, консьержке я приказал не давать ключа и е й! Порву, к черту!.. Оба невыносимы мне, н е м о г у. Все переломаю, заменю завещание, и уже принял меры... — выясню важный вопрос о преемнике моего литературного наследства. Ты ничего не пиши ей, прошу. Пока я ей не скажу, а то она закидает тебя письмами. Она настойчива, и будет извинять своего гада!

Адрес М. Т. Волошиной: villa «Maitena», Cambo-les-Bains, (Basses Pyren) France. Ты ничего не пиши ей, прежде, пока я ей не скажу, а то она закидает тебя письмами. Она настойчива и будет извинять своего гада!

У меня не дрогнула бы рука пробить брюхо грязному животному! А как я носился с ним! А он вымогал — и у тебя, и у председателя Кулаевского фонда[741] в Сан-Франциско, и в монастыре св. Троицы, должно быть, — и ему посылали. И лгал, лгал, что я отъездом в Швейцарию поставил «их» в критическое положение. Скотина! Мне написали, и я все разъяснил, просил — ни-чего не посылать! Они получили, в мое отсутствие, много (до 10) моих посылок, я все им дозволил... и вот, те-бя осмелился хам-гад беспокоить!.. (это уже непереносимо!) Довольно. Ей ни слова не пиши, напрасно, она все будет оправдывать его «болезнью». А я думаю, что это лишь сознательно притворство, чтобы все вымогать. Уверен, что он многих моих влиятельных друзей перепробовал, — где можно. Во всем согласен с тобой относительно глупой «Любавы», и глупое пятно «морды» холливудской, должно быть ее пассии... тьфу, дочего приторен. А послал, как образец, из-за «красок». В Женеве еще сказал: нет с в о е г о.

Другие книжки колоритней, но я не мог найти в Женеве, а художница куда-то провалилась. Спешу бросить, обнимаю. Твой Ванёк

Да, я устал. Но — выправлюсь!

[На полях:] Поцелуй за меня и за себя священный цветок и ходи за ним, он — многолетний. Как я их люблю!

Александру Александровну и Сережу поздравь от меня с тобой — Ангелом!

О-чень устал, — был в центре. Да и о «хаме» расстроило.

675

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Да принесет этот священный цветок — «глоксиния», упоминаемый много в «Путях Небесных»[742], дорогой Ангел — Оля, свет, только Свет на многия лета! Ив. Шмелев

21.VII.49
Paris

676

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.VII.49

Дорогой Ванюша, живая Божья песенка!

Осветил ты меня своим письмом и чудесными цветами. Их привез автомобиль уже поздно вечером в субботу, — я совсем не ждала и очень удивилась, увидя сильные прожектора машины, резавшие густую темень нашей дубовой, прямой, как стрела, аллеи. «Кто так поздно?» Лай собак, гудки... Сережа пошел узнать, в чем дело, и через минуту вносит дивную красоту... Мне больно даже, дружок, — к чему такая трата?!!!! Темно-красные глоксинии в корзиночке позолоченной, как бархатны они. Но в эту жару, которая наступила у нас только эти дни, колокольчики через полчаса повисли. Их, конечно, пересадили из горшков в корзиночку, и они «болеют». Поливать тоже сложно, — все стекает. Я отнесла их на ночь в подвал, где они чуточку оправились. Сегодня тоже их пока там держу, бегая взглянуть. Не думаю, чтобы у меня достало уменья их выхолить, — я и прежде пробовала, но они не остаются. Как ты провел Ольгин день, такой для тебя знаменательный? Я была утром в церкви, где, несмотря на воскресенье, Ольгу и еще празднование Казанской Божьей Матери, было всего 9 человек, благодаря личности настоятеля. Дома мамочка (сама жестоко простуженная) все мне парадно припасла. В 7 часов утра еще прибегала моя девушка и принесла 2 горшка цветов и тот-

час скрылась, боясь смущенья от моей благодарности. Я наказала ее отцу передать ей мое приглашение к чаю. Она и шла, да увидав одну знакомую из Утрехта, направлявшуюся тоже к нам, сбежала, тоже от смущенья. К чаю были эта дама и один инженер из Утрехта да младшая сестренка Вилли, служившая у меня до нее. Гостей званных не было, — мы безумно устали и в прошлое воскресение соединили Сережино торжество с именинным, отозвав знакомых. Засыпали и эти 2 визитера цветами меня. Кругом дома масса цветов во всех клумбах. А есть еще радость: каждую ночь ко мне прилетает птичка ночевать в комнате и утром на рассвете чирикает и улетает. Я всякий раз растрогана этой гостьей. После сильной грозы на той неделе, птичка перестала прилетать, и я горевала, а вчера (я знала наперед!) она прилетела снова, и сегодня тоже. Милая поздравительница! А теперь о деле: Ваня, ты «кривишь ножки»[743] с поездкой сюда! Я же с весны тебя звать начала! Почему ты тянешь?! И еще: я писала тебе, что лето у нас в этом году было холоднущее, а что обычно именно осень бывает прекрасная. Да и не все ли тебе равно? Неужели одному сидеть в Париже без ухода приятнее? Осень здесь прекрасная. Я 11 октября в прошлом году уезжала отдыхать в лес. У нас же масса фруктов — это своя красота. И потом, даже если и будет дождь, — что не найдется разве других плюсов пребывания тут? Ты, хотя бы, просто отдохнул от забот о себе самом. Ну, твое дело! Я больше нудить тебе не буду. Рыба в прудах: карпы, щуки, окуни, плотва, лини, масса угрей. Какие-то еще есть, — не знаю. Ну, кончаю. Еще и еще благодарю тебя за цветы и тепло! Обнимаю. Оля

677

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.VII.49

Дорогой Ванюша, не знаю, как и писать тебе, — правая рука моя подвешена в платке, — вчера я была в больнице, в понедельник, т. е. завтра опять назначена. Никто толком ничего не понимает. Была у 3-х докторов. Завтра назначена к Klinkenbergh'у его ассистентом, т. к. сегодня Klinkenbergh возвращается из отпуска.

Рука уже неделю болит, начиная от кисти до выше локтя. Распухла, местами красноватая. Предполагают воспаление: мускула, нерва главного, сухожилия и влагалища его. И тогда «обещают» долгую канитель. Послали к хирургу. Этот — ассистент Klinkenbergh'а находит общее воспаление лимфатичес-

кой системы руки, первым делом смерил tr-y[i] с возможностью уложить меня в кровать. Жара не оказалось. Сделали теплую сухую повязку и подвязали руку. Что бы там ни было, — никто из 3-х не знают причины. Я волнуюсь, стараясь все же отогнать мысль о совпадении этой же стороны оперированной! Доктор не ставит этого казуса в зависимость от того, но не отрицает наотрез. Ничего не знает. Ждет. Завтра увижу Klinkenbergh'a. Я рву и мечу, т. к. эта история вырвала меня из работы. Я массу рисовала, пользуясь вырванными деньками. И вот — пожалуйте! Первые дни я еще крепилась и продолжала рисовать, но рука бастовала. Боль расползалась почти до плеча. Теперь ничего не могу. У-ж-а-с-н-о! А что делать? Писать тоже не могу. И что будет с отпуском тоже не знаю. Вчера все же ездила за твоим костюмом. Сережа для этого со мной ездил, и привез его. Не знаю, как будет сидеть, а на вид очень хорош. Скоро приедет Сережин товарищ[744] из Парижа и его возьмет для тебя.

Здесь засуха все лето: сперва при холодном ветре, теперь при жаре. Скот голодает. Фрукты падают. Вчера свезли первые груши на сдаточный пункт: цены — 1 фунт = 6 центов, 2 = 5 центов и 3 = 1 цент за кило! 1 цент = 1 вашему франку! А уход за садом + рабочая сила = 11—12 тысячам гульденов в год. Вот и работай! Даже рабочие смущены; говорят: «это же работы нашей не стоит!» Не знаю, как хозяин выкрутится. Налоги дикие, продать ни куска из майоратного имения нельзя, а выколотить с него нечего. И так у всех. Правительство же в своем рвении к «пактам» и танцуя под английскую дудку ввозит аграрные продукты отовсюду, а свои свозит на навозную кучу. Целые фуры овощей и фруктов бросаются в навоз! Регулярно! К чему это приведет?! Надеюсь, что Бог не потерпит и хорошенько ткнет их носом в эту кучу! Почему бы не завести государственных свиней и кормить их этими продуктами для бедноты? Нет! Надо магнатам наживаться и искусственно держать цены! Ну, шут с ними! Обнимаю. Оля

678

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VIII.49 Париж

Голубка моя, светлая Олюша... подавлен твоим заболеванием, мысли не соберу. Не отягощай себя надумываниями:

---

[i] Здесь: температуру.

причин м. б. много, и одна из них — перетрудила руку, и хозяйством, общим, и — ко Дню ангела, и — много писала. Все может пройти, этим себя крепи. И — Господом. Молюсь сердцем. Сам — едва пишу, так ослаб, — 10 дней почти не ел, нет охоты, не сплю все время, нынче, наконец, принял снотворное — gardenale — спал. Стал есть. Это — как в Женеве. И — один! Уповаю. Да еще писал о Достоевском — душу натрудил. Меня оставили, я — на склоне. Но ты должна восстановиться. По-мни. Господь может все. А в твоем случае все — ? Думаю, что ничего общего, с операцией, а на ослабленное — всегда падает итог: ты надорвала (в [данном случае]) ру-ку. Так думаю. Но я весь взбит и разбит. Ни о какой поездке речи нет: я свалюсь в дороге. А Мария Тарасовна не может приехать, она сама вся — [излом]: сын, муж. Надо знать все. Святая душа. Если ты в силах, напиши ей кратко. Она шлет отчаянные письма. Родная моя, знай, что я весь с тобой, не слова это, Оля. Я тоже встревожен, но моя тревога — иное: невозможность увидеть тебя. Но молю, дружок светлый, крепись и надейся. Не оставляй меня без известий, попроси маму писать. Не утруждай руку! И еще — хозяйственный незалад. Разве нет выхода? Надо просить о снятии майората, этого пережитка прошлого. Иначе — что же? Абсурд!

Олюша, извести. Молись, бодрись. Я не в силах писать, ослабел, лежу.

Обнимаю, молюсь, истерзанный. Но Господь даст тебе силу, все превозможешь.

Обнимаю тебя, светик, — так бы и полетел к тебе. Но усилия — валят меня, слабею, до дрожи.

Твой неизменный Ваня, твой друг, соратник, сострадальник, — и — но я так немощен! — молитвенник.

Ванюша — во-веки веков.

Хорошо, что зашла Юля, она опустит письмо.

679

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.VIII.49[i]

Дорогой Иван Сергеевич!

Спешно хочу только сказать, что рука у меня поправилась, — все оказалось от чрезмерного рисования.

---

[i] На открытке помета И. С. Шмелева о получении: 13.VIII. И ответил открыткой тотчас.

Я безумно тороплюсь. Скоро напишу. Будьте сами здоровы и Богом хранимы.

Оля

680

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботина

13.VIII.49

Счастлив светло, милая О. А., — только что получил (6 часов вечера) открытку. О, какое облегчение! Могу работать теперь: я был в анабиозе. Слава Богу, мой диагноз оказался точным: да, переутомление, это бывает и у пишущих пером. Все будет отлично! Как рад, что можешь работать! Славьте Господа! На то пущены в мир. А творчество — служение Ему. Я эти 2 недели был пластом, — и бессонница! Сегодня 2-ой день был спокоен. Настолько был придавлен, оглушен, что (и это — не считаясь с моей уверенностью, что все будет хорошо) не послал, кажется, пиша Александре Александровне[745] открытку, тебе благословение и ободрения-укрепления здоровья. Вы будете здоровы, иначе и мне близкий конец. Жду с больным нетерпением письма! О поездке в Cambo не думаю: очень будет удручать вид бедняги больного, и горе М[арии] Т[арасовны]. Не эгоизм тут, а не отдых это. А мне необходим (все врачи!) отдых. И ду-мы: я задумал (между прочим) огромный труд о Достоевском, чего недоставало: всем нужен, как путь к нему. Ура! Да благословенна Милость Христова. В.

Почему же не известили раньше? Это — жестоко.

Сердечный привет А[лександре] А[лександровне] и С.

681

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.VIII.49

Дорогой Ванюша,

не сердись, что долго заставила ждать с письмом — не моя вина. Сперва я должна была беречь руку, а потом нахлынула такая масса дел, что я вечером как мешок валилась в кровать. Последние дни был у нас гость из Парижа — друг Сережи. Я рада была послать с ним тебе костюм. Но он до того измотан и истощен, так постарел до неузнаваемости, так ослабел, что мы боялись, что он по выражению наших лиц поймет, что смотрим на него, как на «смертника». Предел истощения

и всяческой усталости, без единого признака жизненности. Они 3 года голодали в Австрии, да и теперь его выжимают во французской фирме, как лимон. Дали отпуск на 3—4 дня, и опять он в упряжке. Очень хотел как можно скорее быть у тебя, но ввиду массы спешной работы в фирме боялся, что раньше воскресенья (28-го) не попадет. Черкни тотчас, как он побывает. Если же задержится еще, то я дам тебе его адрес, м. б. кто-нибудь от тебя туда съездит?

Сама я тоже совершенно измотана. Не знаю и помыслить не могу, когда смогу отдохнуть. Главное — нервная перегрузка. Обо всем писать сложно, но трудностей у нас хоть отбавляй. Сегодня надо тоже массу дел решить первой важности. Арнольд измотался. Вчера в мое отсутствие должен был уехать по делам до вечера. Я не могла его ждать и легла спать, хотя он был без обеда. Проснулась в 3 часа ночи, констатировав, что его еще нет. Сейчас уже 11 часов следующего дня, а его все нет. Не понимаю, что такое случилось. И даже толком не знаю, где он. Телефона у нас нет, поэтому сижу без вестей. Моя рука все еще не совсем хороша. Как только поработаю, так и начинает ныть. Но я не понимаю, почему ты так переволновался? Я же сама не била тревогу?! М. Т. Волошиной я не буду писать. О чем? Единственно, что я могла бы ей сказать, — это спасибо за тебя, но считаю, что это бестактно, ибо для нее, как и для всех, я такая же читательница твоя, как и она, без особой «монополии» на тебя. Получилось бы тоже самое, как у г-жи Земмеринг: бестактно и глупо. Я хотела ее просить раньше не похлопочет ли она в голландском консульстве за тебя, или не подвинет ли тебя самого туда сходить, но раз ее нет в Париже, то это бесцельно. А так — мне не о чем ей писать. М. б. я в начале сентября соберусь все же в Париж мимоходом, чтобы где-нибудь провести 1—2 недели, вдали от нашей суеты, хотя нервно я совсем не расположена пускаться в путь, — чувствую себя очень издерганной, — до отказа. Работать хотелось бы, и надо бы, а нет нужного покоя. Ну, обнимаю тебя, будь здоров. Тревожно о твоем здоровье! Оля

682

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VIII.49

Дорогой Ванечка,

На днях получила письмо от М. Т. В[олошиной][746], — до чего же ты бил панику из-за моей руки! Почему? Я же сама-то

так не боялась! Ответила ей. Больно мне было и досадно на тебя: в то время, как ты все же, видимо, хотел поехать к нам и М[арии] Т[арасовне] об этом писал как о решенном факте, — передо мной ты «кривил ножки». Почему — не пойму. И из-за этого «кривленья» вышло только то, что потеряна возможность твоего отдыха в Голландии. Я уж только молчала, но в душе очень было обидно, когда ты на мои просьбы собираться сюда, решительно писал о намерении уехать на Пиринеи. Что я могла думать и говорить? При всем желании, я не могла тебя избавить от визита в Голландское Консульство, ибо мне категорически было заявлено, что я могу хлопотать о визе только после твоего запроса и подачи паспортных данных на месте. Теперь получается то, что если я не воспользуюсь правом на девизы до начала сентября, — я потеряю это право, — следовательно, и толку в моем приезде в Париж нет. Что я могу там без денег? Или я должна ехать во Францию до истечения срока девиз, и тогда не может быть разговора о моем поджидании визы для тебя, или же я вообще никуда не поеду. Если бы тебе даже дали визу, то мне уже нельзя будет за тобой приехать, как я хотела, т. к. сама не получу валюты. Единственно, что возможно — это поехать все же во Францию, не теряя права на валюту и... или взять себе отдых где-нибудь на природе, и тогда только мельком увидеть тебя, или же просить тебя провести 7—10 дней со мной тоже на природе. Но это, конечно, не то, что у нас. Не понимаю и не постигаю, почему ты ломался! Откуда выползли Пиринеи? Почему писал, что о поездке на отдых «не м. б. и речи»? А получилось для всех неудобно и скверно. Я не решаюсь торчать свои драгоценные краткие дни в Париже — это измотаться еще больше, а у меня и так сил нет. Но и не решаюсь приглашать тебя туда, куда сама собираюсь (вблизи Парижа в русский отель) — скажешь: «повезла Оля, где русские шоферы отдыхают». Я не знаю, кто там отдыхает. Шитов мне хвалил. Я, главное, хочу тишины и отдыха. Вот — как хочешь.

Ты мудреный. Ко мне у тебя всегда особые счеты. И не можешь и не хочешь понять, что я не всемогуща... и часто не могу в силу условий жизни располагать собой. Вот и сейчас: все решительно шлют меня на отдых, рвусь... а обстоятельства сильнее нас. Если бы ты побыл хоть неделю на моем месте, то м. б. понял бы. И... не «куражился» бы надо мной. «Покривил ножки» и все пропало... Жди теперь будущей весны. Я с мая ведь тебя, кажется, звала?! Получив визу, даты ее мог бы дать проставить в течение 4-х месяцев! Решил бы не ехать — дал бы визе пропасть. Я же писала! Билет я хотела тебе взять удобный. Сел в поезд и поезжай с провожатой — мной! Чего же удобней?

[На полях:] И какое значение для получения визы имело то обстоятельство, что я не знала заранее точно, когда приеду. Четыре месяца ждать мог бы! А теперь пропало! Напиши, что ты думаешь о моем новом предложении? И поскорее (надо заказать комнаты) и... отнесясь попроще, без «ножек». Это так затрудняет жизнь. Обнимаю. Оля

Под Парижем был бы ты моим гостем — без всяческих хлопот тоже!

683

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.VIII.49

Дорогая Олюша, весь разбит, едва пишу. Наконец написал труднейшую статью о Достоевском, о его романе «Идиот» и жизни, и отослал в Швейцарию. И тут же, через день, написал большой рассказ «Приволье»[747] — для сентябрьской книги «Возрождения». Написал в 1 1/2 дня, выпитый непрерывной работой (больше месяца) над статьей о Достоевском, теперь я должен отдохнуть, иначе свалюсь. Куда уехать? К тебе поздно, ты будешь в Париже в начале сентября — а в Голландии будет уже холодно. Во всяком случае я хочу дождаться твоего приезда. М. б. поеду в Ланды, на ферму, к знакомым. Там — в лесах — т и х о. Там мы 10 лет по 6 месяцев жили. До 1/2 октября там отличная погода. М. б. рыбки половлю, это мне услада, и хорошо д у м а е т с я. Напиши точно, когда приедешь. 25 привезли костюм, мать инженера. Спасибо, родная, тебе. О-чень хорош! Чудесный цвет, — покойный. Думаю, что впору, только рукава несколько длинны. А пиджак, если и широковат чуть так я его буду надевать на свитер — сойдет. Но... не было сил примерить: я лежу, весь выпитый работой. Статья — 25 страниц, рассказ — 15. Скажу интимно, тебе только: кажется, рассказ у д а л с я. Дивлюсь: писал весь выпитый.

М[ария] Т[арасовна] приезжает 5-го сентября. Измучилась там со своим мужем, который, — пишет она, — все время на нее «рычал». Бедная! И сын — все в том же состоянии. Скорей напиши, когда приедешь. И час. Я мечтал приехать и много сказать, половить рыбки и подумать. Не вышло. А как мечтал! Но все как-то отодвигалось... я мнителен. Твой сердечно Ив. Шмелев

Рвусь уехать.

[На полях:] Вышло 3-е издание «Няни из Москвы». Скоро вышлю или вручу здесь.

Благодарю А[лександру] А[лександровну] за письмо[748]. Нет сил больше писать. Очень плох сон, 2 ч. в ночь.

684

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.IX.49

Дорогой Иван Сергеевич!

Не хочу задерживаться с ответом, но к сожалению точной даты своего приезда дать не могу, т. к. случилось совершенно неожиданное и неучтенное обстоятельство: мою девушку лягнула лошадь, и она выбыла из хозяйственного строя. Сейчас 7 часов утра, — обещали, что она сегодня придет, но не знаю, конечно. Дел накопилось масса: каждый день я стерилизую по 20 двухлитровых банок паданицы, за которую на рынке ничего не дают и которую надо в навоз. Идет ремонт большого дома и моей хатки, надо постоянно быть и там. Делать каждый день сыр, казать зубы дантисту на дорогу, и починить то-се. Для дома. Но я думаю, что числа 8-го сентября буду в Париже. Остановлюсь в hotel'е, где был Сережа, около Gare du Nord. Вы ничего не пишете о моем предложении поехать вместе куда-нибудь вблизи Парижа. Но когда я приеду, то поговорим. Если Вы знаете хорошие адреса, то подумайте тоже! Я, по-видимому, еду одна. Арнольд так затрепан делами, что так и ухнул его отдых. Сегодня с 6 часов утра за плугом на тройке лошадей. Итак, по всей вероятности до 8—9-го!

Обнимаю. О.

Хотела выезжать завтра, но болезнь девчонки все сбила.

685

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.X[i]

Дорогая Ольга Александровна, все еще очень слаб, но временами тошнит. Голландское средство отсрочено — нет [мускулов], принимаю другое. Была докторша Крым, сердце в порядке, подтвердила крайнее недоедание, уход за мной трогательный. Меркулов прочтет письмо[749], когда я окрепну. Прошу не давать такого значения выдумкам двух сумасшедших. Очень прошу — совладать с собой и не писать одержимой.

---

[i] Письмо продиктовано И. С. Шмелевым М. Т. Волошиной.

Целую руку, привет сердечный от всех нас. Не выхожу, аппетит лучше. Думаю, что похудание кончилось.

[Приписка М. Т. Волошиной:] Милая Ольга Александровна, очень прошу Вас не волноваться, есть много другого, о чем надо беспокоиться. У меня большое горе. У сына нашли туберкулезное гнездо в кишечнике, надо привезти его на операцию. На днях поеду за ним. К Ивану Сергеевичу нашла женщину, т. е. даму, но привыкшую к уходу и работе, ему будет хорошо.

Целую Вас. М. В.

686

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5 окт. 1949 г.

Дорогой мой, родной Иван Сергеевич!

Ко Дню Вашего ангела шлю Вам от полноты душевной и сердечной горячее пожелание здоровья, света, радости. Да пошлет Вам в этот день Святой и Светлый Апостол Иоанн Богослов — Апостол любви — свою благостность, да покроет он Вас и сохранит от всего злого и больного.

Поздравляю Вас, неоцененный наш, именинничек дорогой, и обнимаю. Будьте покойны, — Вы будете скоро поправляться! Я сердцем чувствую это. Не смущайтесь худобой и не бойтесь ее. У Вас опасного ничего нет. Доктор сказал бы нам, если бы что-нибудь сомнительное было. Ничем себя не тревожьте. Кушайте легонько и осторожно и по возможности чаще, а не сразу помногу.

Как досадно, что как раз теперь к Вам зашла M-lle Krymm (видимо, случайно?), когда Вы начали лечиться у другого врача. Зная по опыту этику врачебную, я боюсь как бы доктор Гониев[750] не перестал бывать у Вас. Они не любят параллельного лечения, если это не консилиум. А Гониев мне очень понравился: вдумчивый, серьезный и не дающий много лекарств, а старающийся поднять организм естественным путем. Это — верный метод. Почему Вы не берете больше фитинь? Сами отменили или же он не советует больше? Дорогой Иван Сергеевич, умоляю Вас, доверьтесь же врачу, если он хороший. Об этом же просит Вас и доктор Klinkenbergh, которому я предала Ваш привет и который от души приветствует Вас, с большим уважением и почтением. Он сказал, что и великие люди, развитые, культурные, как Вы, должны, признав достоинства медицины и ее служителей, суметь подчиниться их авторитету. Это верно, родной. Ведь Вам бы дико показалось, если бы

Гониев, или другой врач начали судить о Вашем творчестве, исправляя его. Никто не станет переправлять чертежи строителя, архитектора, никому в голову не придет менять те или иные растворы химика... Не так ли? А почему же мы отменяем, отклоняем и изменяем рецепт врача? У них тонкая наука, и как бы мы образованы ни были, мы не можем всего учесть. Я боюсь, что M-lle Krymm Вам надает разных лекарств, а Вы имейте в виду, что все они в какой-то мере яды. Вы очень ослабели, — зачем же истощенный организм накачивать в первую голову этими препаратами?! Послушайте доктора Гониева... Будьте такой милый, поверьте, что он опытней всех нас вместе взятых! Спросите его, — м. б. Вам полезно принимать «Sanostol» — это препарат рыбьего жира, но со вкусом апельсина, с витаминами. Оно и послабляет. Чудесное средство для восстановления сил у детей и после болезней. Спросите его! Если в Париже нет, то я вышлю. И еще: «Dextropur» очень хорошо укрепляет и для сердца хорошо. Причем это все натуральные продукты, а не химия. Спросите обязательно! Как трагично с сыном Марьи Тарасовны. И что тут сказать можно?! Но если предлагают оперировать, то м. б. еще не так плохо. Но все равно, как тяжело им! Она, наверное, уже уехала теперь, т. ч. я ей не пишу. Кто у Вас теперь? Обо мне никак не беспокойтесь. Конечно, я писать Кутыриной не буду, и не собиралась. К чему? И вообще — не думайте об этом!

Мне очень хотелось послать Вам цветов, но из-за девальвации пока приостановлено отсюда, а для аэроплана уже поздно. На днях высылаю Вам посылочку. Но малиновое варенье не кушайте с ягодами! Косточки их вредны. Кушайте сироп только. Посылаю также и Карским[751]. Луковиц, к сожалению, не разрешили послать, но я их контрабандой ввезу. Хочу попытаться что-нибудь для него тут поразузнать в смысле работы и переезда в Голландию. Жаль людей, — бьются, бьются. О Дидуке часто вспоминаю. Какой он был милый, когда сам целовал Вашу руку... И я Вам целую ручку и обнимаю Вас. Оля

Мама тоже Вас очень, очень поздравляет. Мы так любим Вас, дорогой наш. Слушайте доктора! Это необходимо.

687

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.X.49

Драгоценный мой Иван Сергеевич!

Вот уже 2-ая неделя, как от Вас нет известий, и я в большой тревоге. Не знаю, кого и спрашивать о вас. М. Т. Воло-

шина должно быть еще не вернулась, да мне и затруднительно обременять ее при всех ее личных горестях.

Она мне и сама дала понять об этом, написав в последней открытке: «прошу Вас не волноваться, есть многое о чем надо беспокоиться, у меня большое горе, у сына нашли туберкулезное гнездо в кишечнике»... и т. д. Понимаю, конечно, ее, но по приказу не могу «не волноваться», т. к. всей моей душой с Вами. Кто у Вас теперь бывает? И какой доктор лечит? Хочу верить, что Гониев не посчитался и продолжает бывать, без обиды на вмешательство M-lle Krymm?! Я здесь, в Голландии на днях слышала о Гониеве, как об очень крупном и значительном медике.

А пока я оставлю о всем этом и скажу о том, что меня сегодня очень взволновало:

в периоде краткого забытья сном ночью, я видела все один и тот же сон: образ Серафима Саровского, такой же белый, светлый, светящийся даже, как и тогда в Esbly. Я везла куда-то Вас на тележке, куда-то к определенной цели, — выяснилось, что к Серафиму Саровскому, к единственной помощи в Вашей болезни. Проснувшись, я вспомнила, что в Американском Госпитале Вы видели во сне надпись Преподобного на Ваших снимках, и вот мне кажется, что это Господне указание на то, что Угодник этот Вам поможет. Сама я крепко верю в это, и не избегай я общения с Дионисием, я сегодня же отслужила бы молебен о Вашем здравии. М. б. это можно сделать в Париже? Александр Николаевич Меркулов с радостью это исполнит, конечно. Мне приятно думать о них, — если бы Вы знали, с какой глубокой, годами испробованной любовью они оба говорили о Вас! Это простые, но в своей простоте очень прямые и бескорыстные люди. У них нет изломов и извивов, какими в Париже больны почти все русские. Мне было легко говорить с Александром Николаевичем, я не чувствовала у него никакого камня за пазухой против меня. Но, довольно.

Пожалуйста, попросите кого-нибудь черкнуть мне о Вас, ведь бывает же кто-либо у Вас? И не забудьте сказать: какого мнения доктор о Sanostol'е? Это прекрасное средство с вкусом апельсина. Там все витамины, а рыбий жир, которого Вы никак не чувствуете на вкус, легко и регулярно послабляет кишечник. Это средство дается детям, больным и выздоравливающим. Кроме того, в современной медицине рыбьим жиром хирурги очищают всякие раны и язвы. Лечащая сила его поразительна. Я знаю, что для желудка это идеальное средство. Но спросите доктора, как в Вашем случае. Если нет Sanostol'a

в Париже, то я вышлю. Ценно то, что это естественный продукт, а не химия.

Получили ли Вы мою скромную посылку? Я туда всунула еще цветы-бессмертники для Ваших икон. У меня такой же букет у иконы Спасителя... У нас жизнь идет нервно и суетно. Арнольда не было эти дни дома, и сегодня еще не вернулся из деловой поездки. Он что-то задумал. Но точно еще сама не знаю. Приходится страшно крутиться. О себе я ничего не могу сказать... вся в тревоге и заботе о Вас, от неизвестности в вечном трепете и не могу взяться за свою работу. Если бы я хоть знала, что Вы в руках Гониева, то была бы спокойна. И надо же было судьбе занести M-lle Krymm!!

Вчера письмо от М. Ф. Карской[752]. У них беда: болен Дидук, — что-то вроде паралича, она пишет: «a moitié paralisé[i]». И дальше: «Il ne pouvait pas marcher du tout. Il tombait — les médeciens d'Esbly n'ont rien trouvé, c'est de nouveaux notre cher docteur de Paris, qui l'a sauvé»[ii]. Здоровье Фомы Владимировича в настоящий момент лучше, чем бедной Марьи Фоминичны, которая совершенно извелась тревогой за Дидука. Просит меня молиться о ее мальчике... Но что мои молитвы!? Вот, страдание! Вот безысходность! Да надо еще как-то зарабатывать кусок хлеба и те лекарства, которые превышают всякие возможности. Бедная, бедная М[арья] Ф[оминична]! Она пишет, что, считаясь с больной нервной системой мужа, должна еще вид делать, что ничего особенного нет, что все обойдется, и ей слова сказать не с кем и не с кем выплакать свое сердце, в котором, как она пишет, «сидит все время острый нож». И как мало она говорит о себе при всем этом: все письмо о Дидуке, больном муже и о Вас, которого она любит «как своего отца». Так и пишет. При первой же возможности будет у Вас. Трогательно извиняется за то, что по ее мнению не все так сделала для нас, как бы хотела и как бы могла. У меня почему-то всегда было чувство страха за Дидука, — уж слишком он хорош, — я даже, кажется, Вам об этом говорила. У меня бывают такие проклятые предчувствия, и почти всегда безошибочная оценка людей. Иногда даже неприятно: хочется хорошее видеть, а где-то внутри шевелится другое, знание сердца... и никогда не обманет. И наоборот — другой раз все данные за то, что «общество дурное», а в сердце тишина... И так всегда и бывает. Тогда потрясающе,

---

[i] Полупарализован (*фр.*).

[ii] Он совершенно не в состоянии ходить. Он падал – врачи в Эсбли ничего не нашли, только наш дорогой доктор в Париже снова его спас (*фр.*).

и вопреки всяким доводам рассудка. Но будем верить, что этот паралич у Дидука не оставит следов. Мне больно, что М[арья] Ф[оминична] не сможет пока что бывать у Вас. Она, конечно, не оставляла бы меня в томительной неизвестности. И сейчас-то она готова все сделать, чтобы помочь Вам. Ко мне, как сестра. Не постигаю, почему такая душевность. Ведь мы неполных 2 недели знакомы. Пишет, что ей тоже меня недостает. Да, а для меня это просто ужас, что она к дому такой скорбью привязана. Как я на нее надеялась, что все толково мне о Вас расскажет. Она на редкость разумная и рассудительная женщина при всей ее сердечности.

Только что села продолжить письмо сегодня, 15-го, как с утренней почтой пришла открытка М[арьи] Т[арасовны], написанная под Вашу диктовку[753], дорогой Иван Сергеевич!

Мало отрадного. В ней нет ни одного ответа на мои тревожащие вопросы. Видимо, доктора Гониева нет, о нем ни звука. Средство, прописанное M-lle Krymm, мне неизвестно. Ничего о нем не могу сказать. Вы жалуетесь на трудности кишечника. Дорогой мой, не пользуетесь ли Вы «свечами» для сна? Если да, то в этом большая вина в смысле вялости кишечника. Умоляю Вас, не прописывайте себе сами средств! Всякий разумный доктор не даст Вам этих свеч, т. к. они — наркотики и связывают перистальтику кишок, отсюда затруднения и завалы. Это же так просто. Сон надо приводить в порядок режимом, а не наркотиками. Спросите Гониева о «свечах», он Вам тоже скажет. Вы парализуете ими деятельность кишок, а сна все равно нет. Для того, чтобы применять то или иное средство, надо очень вдумчиво отнестись к больному. Что можно одному, — другому оказывается ядом.

По правде говоря, милый мой, родной дружок, у меня лично руки опускаются при наблюдении Вашего уклада. Нельзя ничего сделать, если Вы сам не хотите поверить действительно хорошему врачу, а предпочитаете прислушиваться ко всякого рода обывательским рецептам. Мне даже иногда кажется, что и писать-то на эти темы мне не стоит... К чему? Я человек (помимо искусства) абсолютно трезвый, рациональный, ставящий в жизни и к жизни прямые вопросы и давая такие же прямые ответы. Нельзя из чувства умилительности трогательно ухаживать за зараженным гангреной пальцем, тетешкать его и перевязывать с приятной мазью только потому, что так приятней больному. Нет, вопреки чувствам и трогательностям, такой палец надо отсечь. Мне не легко было принять от жизни такую операцию, которую сделал мне Dr. Klinkenbergh, но это было необходимо. Я это только образно говорю об операции

и «отсечении», как о вещах радикальных. Не поймите, что для Вас операция нужна!

Наблюдая, вот уже больше месяца, Ваше состояние, я твердо уверена, что все то, что с Вами происходит, неправильно. Картина Вашего хронического недуга мне слишком знакома по опыту, и жить так, как Вы, — это значит усугублять болезнь. Необходимо уничтожить образование кислотности. Ясно, что в течение 3—4 дней она берет свои права. Это, ставшее уже хроническим, состояние можно вылечить только строгим режимом, и не только диетой, а вообще во всех смыслах режимом. Вам надо целиком выйти из всего Вашего быта и оказаться под постоянным наблюдением врачей и опытной сестры. Не мягкость и трогательность, а разумная строгость к Вашей болезни необходимы теперь для Вас. Вы не хотите этого, и отбояриваетесь от мысли о госпитале, но это н е р а з у м н о. Болезнь надо пресечь, — пусть это будет «отсечением больного пальца». Почему Вы не хотите? Вы же разумный человек. 2—3 недели (не будут вас таскать по рентгену, у Вас хроническая вещь) клинического ухода поставят Вас на рельсы, по которым Вы с помощью добрых ваших друзей легонечко покатитесь. Я уверяю Вас, что по опыту знаю: 2—3 недели избавляют пациента от именно этих явлений. А дома все бессильно. Так было с моим отчимом. Его рвоты были быстро прекращены в больнице. Напишите мне относительно этого. Если надо материальные средства, то я приложу все старания к тому, чтобы их предоставить Вам, т. к. лечение в госпитале считаю в человеческих рамках, не говоря о чуде исцеления, единственным путем к выздоровлению. Не будьте малодушны. Во имя О. А. и Сережи, и для миллионов русских читателей Вы должны это сделать. Я даже не понимаю, о чем может быть разговор? Неужели Вы такой строптивый, что не захотите подчиниться клиническому режиму? «Во Имя»-то? О, да, Вы для Ольги Александровны Вашей это сделаете. Она умоляла бы Вас, как и тогда, с американским госпиталем. Если вопрос в материальных средствах, то его можно уладить. Обнимаю Вас и крещу. Оля

P. S. То, что сегодня пишу — единственное, что я могу сказать, — если не хотите принимать, то мне и говорить не о чем.

[На полях:] *Не забудьте спросить доктора о Sanostol'е.*

Как же с сыном доброй Марьи Тарасовны? Если оперируют, то, думается, не так уж плохо?

Сердечное спасибо Марье Тарасовне за весточку и посылку подушки. Душевный привет ей.

688

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.X.49

Дорогой Иван Сергеевич!

Хочу предупредить Вас, что в скором времени к Вам зайдет (м. б. и была уже?) одна дама — подруга Фаси Толен и передаст Вам какую-то мелочь (об этом ниже), но главное, если Вам нужно, то она могла бы регулярно о Вас заботиться. Фася ее очень хвалила. Живет близко от Вас, привыкла к уходу за больными и пока без занятия. Она бесплатно бы ходила к Вам... По своем приезде из Франции, я сочла нужным поставить Фасю и еще 2-х Ваших читательниц-почитательниц в известность о состоянии Вашего здоровья. Узнав от Фаси о том, что ее муж собирался в Париж, мы просили его передать вам из его дела в Париже некоторую сумму, которую он получил бы от нас здесь. Он не знал точно, сможет или нет. 15-го он уехал из Парижа, и я узнала, что он, к сожалению, не смог сделать перевода с фабрики, а отдал только остаток от своих девиз приятельнице своей жены с просьбой ее купить Вам разных продуктов. Это он сделал, имея в виду Вашу привязанность к кровати. Фася тотчас же написала, чтобы она не покупала продуктов, т. к. у Вас диета, а лучше бы просто передала деньги. Дама эта добрая и, конечно, несчастная... не отбояривайтесь от ее участия — все это исходит от любящих Вас читателей. Эти дни я занята поисками иных путей для перевода того, что у меня на руках благодаря неудаче с Толеном. Найти пути трудно, но не невозможно, и я думаю, что скоро Вы получите. Это — вместо визита к больному*. Хочу верить, что Вы скоро сможете сами черкнуть мне, а пока что настоящая переписка мне кажется невозможной. Обнимаю Вас. Оля

689

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.X.49

Чуть оправляюсь, дорогой друг, пишу в постели. Встаю на 1/2 часа, а то слаб. Ем достаточно, уход за мной хороший. Мария Тарасовна — в гриппе, — я без нее, но почтенная femme de ménage — великая услуга!

---

* все от сердца — писателю

Лежу, думая о тебе — в полусне. Стал сильней. Лечение Krymm — верное, ч у ю. Тошнит реже. Голландские уколы будут делать через неделю, а пока — лечение Krymm. Средства твои здесь неизвестны.

Целую руку, милый друг. Утомился. Не забывай меня: я — один. Из New York пока нет ответа[754].

Твой В.

690

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.XI.49

Дорогой мой Иван Сергеевич!

Все это время, что я не писала Вам, — мне было очень тревожно и тяжко. Какой-то темный нервный вихрь мотал меня от неизвестности к отчаянью и снова к надежде. Время мое было до отказа забито всяческими делами и бесконечными посещениями, иногда по неделям, т. ч. было похоже на настоящий пансион. Но все же я сделала все для того, чтобы найти пути для пересылки Вам того, о чем писала. На мое сообщение о Вас и Вашей болезни, кроме Фаси Толен, откликнулась ее сестра, а другая читательница сама занята родами, и я ничего о ней не знаю. Свое — то, что перевела мне Фасина сестра, я к великому сожалению не смогла устроить так, как бы хотела и, несмотря на 3—4 различных адреса, на которые я надеялась, пришлось всюду услышать отказ. Ничего другого не оставалось сделать, как прибегнуть к самому простому, но и самому нежеланному: — послать просто по почте. Вчера я это и сделала из города, где живет мой доктор. Надеюсь очень, что Вы как-нибудь сможете этим воспользоваться. Хотелось все устроить без хлопот для Вас, чтобы Вы получили уже французское в руки, но ничего не поделать, если не удалось. Я надеюсь, что Вы получите. Известите, пожалуйста, об этом. У меня лично тоже очень тревожно и до выяснения всего я не писала Вам, не желая и Вас тревожить. Дело в том, что в моем здоровье не все благополучно, — еще в Esbly я беспокоилась об этом, но превозмогала думы и не говорила Вам о своем беспокойстве. Недавно Dr. Klinkenbergh установил, что операция для меня самое правильное решение. Острой необходимости в ней нет, и ничего опасного нет тоже, но оставлять так не советует. Дал сроку месяц. Я была вчера у своего «чудесника»-врача в полной надежде, что он-то все исправит и уж никак не думая, что посоветует оперативный путь, т. к. он принципиально против это-

го. Каково же было мое удивление (и разочарование, конечно), когда и он совершенно определенно послал меня к хирургу, отказавшись что-либо сделать для меня. Значит, ничего не остается, как идти к моему Klinkenbergh'у. Когда? Еще не решено. Сам Klinkenbergh был болен, чуть на ногах держится, и сам тоже ждет своей операции, очень неприятной. Предоставлю ему все за меня решить. Моя нервная напряженность, мучившая еще в Esbly, дошедшая до предела по случаю Вашего состояния, недели тяжкой неизвестности и все время зноздящая мысль о своей болезни сделали из меня нервную калеку. Мне бы хотелось подкрепить себя немного, т. к. так нервно-истощенно я редко себя чувствовала.

Очень прошу Вас не волноваться обо мне и главное — н и к о м у не рассказывать обо мне. Пустяковый случай с моей рукой Вас так перепугал, и всполошил даже M-me Волошину вплоть до заказов молебнов... Мне это было чрезвычайно неприятно. Я не люблю занимать собой, да, кроме того, такое преувеличение опасностей является как бы накликанием действительных болезней.

Поэтому я и теперь так долго крепилась и Вам ничего не писала, зная, что Вы тотчас расскажете другим. Я очень не хочу этого. Я говорю Вам правду, что ничего серьезного у меня не нашли оба доктора. Операция должна быть несложная, а что это действие никогда не бывает пациенту приятно и стоит нервов, — то это уже такой закон. Придется стиснуть зубы. Я гораздо больше страдаю от нервов. Я совершенно истрепана и задергана. Люди, увидавшие меня 25-го сентября, т. е. сразу после отпуска, по-за моей спине[i] спрашивали маму: здорова ли я? Такой измученной им я показалась. Вряд ли мне удастся исправить нервы в период ожидания операции, — быть может, правильнее не откладывать надолго. Ну, увидим.

Если благополучно получите то, что я вчера послала, то можно рискнуть еще. Если я буду знать, что доходит и имеет для Вас пользу, то это можно повторять.

Как Вы теперь? Кто у Вас? Есть ли уборщица? Жив ли сын Волошиных? Будет ли операция. И живет ли, или вернее — ночует ли, — г-н Волошин у Вас? Я не могу себе составить ни малейшего представления о Вашей жизни. Бывает ли дама, знакомая Фаси, которая должна была передать Вам 20 гульденов (2 тысячи франков)? Она могла бы захаживать, по словам Фаси.

Вы не сердитесь на меня, что не могу писать. Мне совершенно невыносимо писать и отдавать душу свою куда-то,

---

[i] Так в оригинале.

в чьи-то неизвестные руки, знать, что все это кем-то читается. И затем получать официальные бюллетени в открытках от г-жи Волошиной о Вас. Да и их-то больше не стало. Хочется верить, что Вы сможете мне сами написать, и я смогу прямо к Вам обращаться. Иначе — я не могу писать. Будьте такой добрый и не говорите обо мне ни с кем. Для всех я в Париже — ничто, объект, отвлекающий на себя внимание их любимого писателя. Объект, в отношении коего может быть только чувство ревности своеобразной, что я и почувствовала очень явственно. Да и мне из них никто не близок, т. к. для этого надо людей хоть сколько-нибудь знать. Душевную близость нельзя купить или заказать. Мне приятней будет, если у всех их там я исчезну из памяти. Исключение делаю для Меркуловых, потому что они — «неискушенные». И это я тоже знаю. Пусть по Вашему — «топь», но ведь большинство людей именно от «топи». Итак, прошу Вас, дайте всем забыть обо мне. Благословляю Вас и обнимаю. Оля

[На полях:] О работе, конечно, и речи нет. Не могла и не могу себя для этого собрать.

Отдали ли Волошины Вам свой долг?? И что слышно от А. Л. Толстой?

691

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XI.49

Дорогой Иван Сергеевич!

Спасибо за письмо, — рада была получить Вашу весточку. Хорошо, что посланное дошло, — надеюсь, что Вы сможете привести оное в удобный и нужный вид!

Сейчас я только что узнала, что могу без рецепта получить «pernaemon» (кажется так?), но должна точно указать нужно ли Вам простые растворы или же «forte», т. е. более сильные. Тотчас же ответьте на этот вопрос, и тогда я вышлю. У меня получены разрешения на посылку для М. М. Меркуловой, и я вложу ампулы для ускорения в их посылку, якобы конфекты. Если ждать разрешений на посылку Вам (я тоже запрашиваю), то пройдет много времени, — всегда такая волокита. А посылку им я теперь же могу послать и жду только Вашего указания: простые или «forte». На ампулах это стоит написано. Посмотрите! Я спешу все это уладить до моей операции, т. к. со дня на день жду извещения из больницы, когда освободится там место. И тогда, даже если будет уже для Вашей посылки разреше-

ние, то, очень возможно, что меня-то дома уже не будет. Маме с голландскими инстанциями без языка трудно, а на Ара не могу рассчитывать, т. к. он затрепан до отказа и чувствует себя очень неважно. По поводу его состояния у меня тоже немало забот.

О себе не хочу писать. Сами можете представить, как отвратительно сидеть и ждать операции. Dr. Klinkenbergh, у которого я была вчера, сам нехорошо выглядит и тоже ждет удобного момента для своей операции. Обещает дать мне какой-то очень «приятный» наркоз, совсем новый. Но поскольку подобные вещи могут быть «приятны» — не знаю. Но делать нечего и надо сжать зубы. Он все же советует общий наркоз, а мне эта мысль так противна, хотя я во всем полагаюсь на Бога и моего милого доктора, которому беззаветно верю. Очень была тронута письмом М. Ф. Карской, которая в тот же день, как была у Вас, мне написала. Сообщает, что Вы от Толстой имеете ответ и теперь дело за тем, согласны ли Вы с их предложением. Рада, что малиновое варенье Вам по вкусу. Его варила я сама, даже без маминой ассистенции! Горжусь этим и потому сообщаю. Но, это все глупости, конечно. О работе своей, конечно, и думать не приходится. Сейчас все приготовляла к уходу в клинику. Теперь все собрано, все обдумано, — только жду сигнала.

Итак, очень жду скорейшего ответа о лекарстве, т. к. действую быстро, по старой заводке, как автомат. Все привожу в порядок, все дела надо не откладывать, потому не медлите, пожалуйста, с ответом! Обнимаю Вас. Оля

692

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.XI.49 2 ч. дня

Дорогая моя Олюша. Пишу тотчас же. Лекарство — forte, 1 коробочку. Очень благодарю. Спаси тебя Христос в твоем испытании! Я стражду, худение продолжается. Уколы не дают сил, я едва могу дойти до... страшная слабость, полное отсутствие аппетита, до отвращения. Ем насильно. Во вторник повезут меня к доктору Antoine'у, (как в 42 г.). М. б. у меня катар желудка? Бывают рвоты, и почти ежедневно тошнится. Я — в унынии — до смертной тоски. Все лежу. T° — нет. Пульс сегодня у[тром] 80, t° — 36,8 (rectal) или должно быть надо скинуть 0,5 — 36,3. М. б. это нервная слабость?

Помоги тебе Господь! Пробую молиться и не могу. Иногда сижу. И это утомляет. Помоги нам Господи! Твой В.

Пошли в посылке échantillon[i]. За посылку из Женевы я уплатил 475 фр.

693

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.XII.49

Дорогой мой, любимый, неоцененный дружочек Иван Сергеевич!

Господь дал Вам милость Свою, провел через опасное и мучительное и направил Вас к жизни и творчеству.

Храните это Касание Десницы Господней на Вас, берегите Ее, помните о ней и пребывайте в радостном сознании, что Вас упас Господь!

Какое это счастье!

Верьте в Милость Божию и, ощутив на себе так явственно данную Вам благодать в исцелении, идите и дальше путем Господним с Ним, и в Нем! Это так необходимо Вам. Да сойдет благостность на Вас и да пребудет с Вами.

Сегодня было письмо от А. Н. Меркулова[755], обстоятельное и точное обо всем, что касается Вас. Да подаст Господь Вам скорейшее восстановление сил и полное здоровье!

О моих переживаниях и чувствах не стану говорить, — Вы знаете меня хорошо и все сможете вообразить и представить.

Да воздаст Господь доброй Марье Тарасовне за все, что она Вам делает и особенно за то, что сумела вытянуть Вас к доктору. Это просто геройство с ее стороны.

Обо мне Вы не беспокойтесь, — Бог даст, все пройдет хорошо. До сих пор я все ждала вызова в больницу, но сейчас вот узнала, что в понедельник надо туда идти. Не волнуйтесь, а тихо и спокойно помолитесь обо мне. Господь милостив.

Доктор Klinkenbergh называет мой случай «пустяком». Но главное — надо Господа призывать.

Кто-нибудь Вам, или М[арье] Т[арасовне] напишут, как сойдет у меня, а м. б., если Бог даст, такая легкая будет операция, что я сразу сильная буду, то и сама напишу.

Не волнуйтесь, это самое главное. Вы были молодцом и храбрецом, и я горжусь Вами! А все — Господь!

Да сохранит Он Вас и укрепит. Благословляю Вас, дорогой мой, и обнимаю. О.

---

[i] Образец (*фр.*).

[На полях:] Хотелось бы цветов Вам послать, но уже не успею. Постараюсь перебросить Вам более нужное, Бог даст, по моем выходе из больнице.

Ваша открытка о pernaemon «forte» от 18.XI.49 только вчера пришла ко мне! Нужно ли это средство. Дайте знать!

694

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.XII.49

Драгоценная моя Олюночка, мученица безвинная! Слава Богу — дома ты[756], так понятно мне это чувство «свободы», хоть бы и в неподвижности! Я не чаял, когда вырвусь из клиники, и, к счастью, хирург разрешил уехать 3 декабря (а операция была 9 1/2 ч. утра 26.XI! — на 8-й день, — так быстро — успешно шло заживление! В клинике были удивлены, что меня отпускают. А я — заранее! з н а л, что выйду 3 декабря (день знаменательный), под Введение. Доставили в клиническом амбуланс'е[i]. Дольше я не выдержал бы. Сегодня ровно месяц операции, ем с удовольствием и, ясно, набираю вес. Бока стали гладкими. Силы прибывают, ноги крепче. Пока никаких отрыжек, изжог и прочего нет. Ни этой ужасной кислотности. Много видел ласки и участливости за болезнь. Отзывались неведомые, нежданные, называли «наш», «родной»... и посылали деньги. Нужды ни в чем пока не испытываю, за лечение все уплачено — около 55—56 тыс. франков. Уход хороший: каждый день приходит femme de ménage, из образованных, бывшая питерская певица[757], очень хорошей фамилии, — по рекомендации «сестричества», моя читательница, конечно. Мария Тарасовна с мужем завтра едут к сыну в Cambo — у Пиренеев. Femme de ménage приходит на 4—5 часов. Не дождусь, когда смогу встать совсем. Дали, наконец, горячую воду, могу взять ванну.

YMCA выпускает «Куликово поле»[758] (7-ая книга за эти 1 1/2 года!), — м. б. к Пасхе. Генерал Ознобишин очень трогателен! Присылает денег и всяких продуктов. Пишет: «пока я живу, Вы не будете испытывать никакой нужды». Все жду решительного ответа от А. Толстой, чтобы, решив главное, переделать завещание. Все тянут. Уверен, что многие суют, из зависти, палки в колеса. Если не Толстовский фонд, — другое учреждение м. б. примет мои условия. Уже делаю шаги, послав А. Тол-

[i] Здесь: больница (*от фр. ambulance*).

стой письмо, требуя решительного ответа. Господь не оставит меня, — уже теперь вижу: получу возможность спокойно без нужды, продолжать работу. Очень важное решается и, кажется, положительно. Но пока не решится — не смею о сем говорить.

Много сделал Иван Александрович для меня! Много любви узнал я. Очень хочу воздуха, солнца, — дышать, дышать! Ведь — как бы воскрешен! Опоздай на 2—3 дня — погиб бы. Это так же верно, как и то, что Господь даровал мне Милость и сколько-то дней жизни. Было, Олюша, ч у д о! И это ясно всем, неверам даже. Не называй меня храбрецом — неверно это. Я в с е г д а страшился операции. А тут *все* страхи както *закрылись*, я был спокоен, будто н и ч е г о не будет: была уверенность, что 3.XII я вернусь! А вся клиника ждала дня через 2—3 моей смерти! (Оля, верь: б ы л о явное ч у д о!) даже сам хирург!! По всем объективным признакам я д о л ж е н был умереть. А вышло совсем обратное: укрепляли перед операцией 1 1/2 сут. вместо недели, и не только я не холодел во время операции, а пальцы ног ж г л о! и я свободно шевелил ими. О смерти и мысли не было. Думал, как, м. б., поеду к тебе, как буду (смогу) есть окрошку, и все, все... а, главное, буду писать «Пути». Хирург был в восторге. «Все главные органы у Вас — молодые, не по годам». Не курю со дня операции. Голубка моя, радость моя, — мы живы! Как хочу молиться. Выпрямить душу, стать настояще православным! М. б. скоро я стану вполне независим от материальных случайностей! Одна читательница запросила нейтрального человека, сколько надо для жизни в Париже, «чтобы жить без лишений». Она же прислала 25 тысяч еще до клиники, узнав о моем недомогании. Другая, в Стокгольме — тоже, у ней особо заказан шкафчик для моих книг (другие мне писали). К весне хотел бы в Ментону. Обнимаю нежно, моя единственная и крещу, — да здрава будеши. Маме нежный привет. Твой Ваня

Странная выпала нам обоим доля! Обоих резали (по чреву!) почти одновременно, (10 дней разницы). У обоих операция тяжелая (твоя куда тяжелей!), но мои годы, и — твои! Я потерял всю мускулатуру, более 24 кило! ослабел до последнего предела, и общего наркоза не вынес бы. И так был спокойно-ясен, лежа на операционном столе (совсем не стол, а жесткое ложе из никелированных прутьев!). И — первое мое слово, когда я услыхал голос (веселый!) хирурга[759] (он же владелец и директор — этих исключительно хирургических — клиник) — «finit»[i] — «Finit? — «Доктор, Вы довольны мной?» —

---

[i] «Закончено» (*фр.*).

«Parfaitement!»[i] Он был в восторге!!! — так сам и сказал. «Я в восхищении! Вышло все так, как я желал бы, как и д е - а л а! это со мной впервые». А он один из славнейших. Нельзя все описать: надо рассказать. Как он в ночь (2 часа) на 27.XI, мрачный, вошел в мою комнату... смотрел бюллетень и был обрадован чудесной работой почек! Сиял. Потрепал по плечу, сказав: «будете жить». Он не знал, к а к и е были у него «ассистенты»... Б ы - л и! Все ждали моего конца, а я и не чуял. Я з н а л, что Господь даст мне срок закончить «Пути». 23.XI — архимандрит Мефодий[760], из Asnieres'а, служил у меня молебен, исповедывал и причастил, — светлый, радостный... праздничный. Это мне подтвердило мое предчувствие. Как это было дивно! До слез. Я понял тогда, как я недостоин Милости Божией! И дал слово себе — выправиться. Все произошло головокружительно: через 2 1/2 суток после причащения я был спасен: 9 1/2 часов утра 26.XI!

За тебя я был спокоен, ты под покровом Пречистой. Теперь нам обоим н а д о стать л у ч ш и м и. Я должен быть готов к ответственной, труднейшей работе над 3—4 книгами «Путей». Подумай: недуг, томивший меня 39 лет, — в д р у г исчез. Вот уж не мог ожидать! Разве не ч у д о?!

Хочу в церковь, говеть, Господа благодарить. До Великого поста осталось 55 дней! Хочу Храма! Хочу слез покаяния. Олюша, ты должна найти возможность посещать церковь, ж и т ь этим божественным лекарством! Подумай, к а к устроить. Нам обоим н е л ь з я без церкви. Господь зовет нас, милостиво оставив жить, дабы были достойными. Ты можешь быть достойна, я — о, нет, я — дрянь ленивая. Господи, помоги мне! Я могу дышать?! могу созерцать всю красоту Творения?! ... Какое счастье!..

Обнимаю нежно светлую мою безвинную страдалицу. Прости, устал.

Вечно — по духу — твой В.

[На полях:] Лежи терпеливо. Как хочу видеть тебя! Хотя бы на 1—2 недельки побывать у тебя!

Сегодня (26.XII) утром — твоя открытка. Это дало мне толчок написать тебе (я послал дня 4 тому тебе открытку[761]). Мария Тарасовна просит благодарить тебя и посылает сердечное пожелание полного выздоровления. Она молитвенница, молится и за тебя, знаю. Послезавтра — уедут. Но меня будут навещать другие. Серов болен, чем-то отравился.

---

[i] «Совершенно!» (*фр.*).

696

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[02.I.1950]

Дорогой Иван Сергеевич!

Рада за Вас, что крепнете в благостном сознании того, что с Вами было Милостью Божией. От души рада!

О себе не могу сказать этого. Не идет дело с поправкой. За 24 часа в сутки не сплю и получаса, таким образом 10 х 24 часа почти без сна. Боль раны, боль внутри, часто боль в груди (при движении), слабость и полная разбитость нервами. Дома все сбились с ног: в день моей операции прибыл новый садовник, но т. к. дом его еще занят старым (подлецом), то он поселился у нас (при всех тесноте-то), мама кормит его. Приехала еще на 1 месяц тетка из Берлина. Ей тоже масса внимания. Мама ездила ежедневно ко мне в Утрехт (часа 4—5 тратя). Она измучилась. Арнольд тоже извелся. Полухворает и прислуга. Тетка уехала на другой день моего приезда домой. Лежать мне негде, т. к. спальня на чердаке и темная и холодная, ледяная. Внизу — как на базаре! Думаем-думаем, куда мне деваться... По-настоящему я могу лечь только в больницу. Но нигде нет мест. Я не понимаю Вашего стремления из клиники домой. Там уход, удобства, никому не обязываясь. А дома? Только обузой уставшим людям. Я бы осталась лучше в больнице. Для санатория я слаба: и не доехать, и обслуживать себя не могу. М. б., когда смогу перенести дорогу, постараемся устроиться в дом отдыха для дьяконисс. Но наверное очень дорого. В связи с операцией расходов набралось до 1000 гульденов, т. е. 100 000 fr. Не так много доктору, но несколько ассистентов и специальный наркотизер[i] — единственный в Голландии по этому новому наркозу. По правде сказать, Арнольд не постоит и отправит меня, но я сама знаю, чего это будет стоить. Ну, что Бог даст. Doctor разрешил мне в постели писать или рисовать... но какое там... у меня все мысли застыли и нет никаких желаний. Операция была огромная, собственно 3 их было. Klinkenbergh сам поражался, что я такая сильная. 4 первых дня, по их словам, я «рекордно» шла. Хотя temperatur была 38°. А потом вдруг упадок сил. Его будто бы ждал Klinkenbergh и уверял меня, что это потому, что я «художественная натура», живущая нервами. Что первые 4 дня были ненормально хороши. Не знаю. Мне-то от этого не легче. Пробуждение от наркоза было длительно и отвратительно, — сутки

[i] Врач-анестезиолог (*от нем. Narkotiseur*).

мук. Не могла совладать с глазами — они не открывались и не смотрели прямо, а куда-то уползали: то вверх, то в стороны. Мерзкое пробуждение оставило свою тень и на последующем состоянии. Я еле тащусь. Меня тронуло, очень тронуло человеческое понимание моего состояния Александром Николаевичем Меркуловым, когда он пишет:[762] «надеюсь, что Вы наконец получите давно заслуженный и необходимый Вам отдых». Я годами жду этого отдыха и не нахожу его. От меня чего-то только ждут, требуют, теребят, но никто не хочет подумать, что есть предел и моим силам. Мне больно видеть, как измучены мои домашние, но если я себя не поставлю хорошо на ноги, то будет еще хуже. В хозяйстве масса дел. Тетка моя была как бы ребенком. Первые 2 недели я сама еще с ней возилась, а потом она целиком на маму пала, даже спать ей пришлось с мамой, т. к. комнату занял садовник. И мама почти что не спала из-за теткиной суетливости. Между прочим: в Берлине сейчас все, решительно все есть и многое такое, чего у нас нет в Голландии. Цены даже дешевле наших, только денег ни у кого нет. О времени блокады Берлина она говорит, что «по совести говоря, все было очень преувеличено и голода не было». Германия быстро восстанавливается. Странно, но наша маленькая Голландия, разрушенная и разграбленная войной, во многом терпит бОльшие неудобства, чем Германия. Во многом здесь жизнь ужасно тяжела. Тетка моя — в прошлом очень богатая фабрикантка, архимиллионерша, из немцев, объездила в свое время весь «культурный» мир, обходила все музеи и галереи, перечитав всех передовых авторов, и считалась «культурнейшей» дамой, тем выше котировавшейся, по причине немецкой крови.

Мы читали с ней «Няню» Вашу, вслух. После чего она маму вдруг спрашивает: «А что, у Шмелева его последние вещи все такие комические?» Она Вас лично знает. В Крыму в «Профессорском домике» (или «Профессорский уголок»?[763]) она провела с Вами все лето и знает и Вас, и О. А., и Сережу. Читала все Ваше и раньше. И вот такой вопрос! Вот Вам понимание иностранцев!! Ибо тетка моя, конечно, — немка!* Она милый, [святой] человек, добрый, но — немка. Но, кончаю... Трудно писать. Господь да поможет Вам и дальше! Слава создателю за все с Вами! Мне безумно жаль, что из-за моей болезни задерживается посылка Вам нужных средств... Меня это мучает... Надо ли ампулы «pernaemon»? От души благодарна Меркуловым за их внимание и сердечность ко мне. Марье Тарасовне спасибо за ее сообщение о Вас. Она Вам maximum

---

* Хотя русский язык знает лучше немецкого и православная.

сделала, слушайтесь ее и не кушайте запретного! Пощадите и ее, это очень трудно — ходить за больными! Сама этим людям не пишу, не могу, пусть не сердятся. Передайте Вы им мою благодарность. Счастливого Нового года! Не знаю, смогу ли еще скоро писать.

[На полях:] Письма мои к Вам уничтожьте — они же все на виду!

Дома обо мне очень заботятся, и все мне сделают. М. б. и уеду в санаторий.

Обнимаю. С любовью. Оля

696

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.50 Paris Сегодня 42 день по операции. 21.XII — привозили Пречистую Курско-Коренную. Я говел и жду Великого поста.

Родная моя Олюша, — «возсия мирови Свет Разума». Поздравляю тебя, дружок, с Праздником Рождества Христова! Да укрепит Солнце Правды твое здоровье! Да свершится Господне чудо над тобою, как оно свершилось надо мною. Свидимся — все скажу, и ты будешь светло потрясена.

Я сделал — и ка-ак! — вывод: нет смерти! Этот опыт, уверен, не прошел и мимо медицинского персонала клиники: были поражены явной, раскрывшейся тайной, начиная с хирурга Masmonteil'я — он же директор и собственник клиник: в истину, воскресение из праха, ибо я — тело мое, было уже прах. 2 gr. мочевины в 1 литре крови! И — к вечеру после операции, — почти 2 л мочи, при нормальной t°, в 36,9°. Ночью, в 3-ем часу ко мне зашел хирург, тревожный, мрачный... и — был по-ражен. Чу-до? Я ему не сказал, кто его ассистировали. «Вы — весь молодой», — сказал он, — 40-летний недуг кончился. И это — показал он на сосуд с делениями в centigramme — говорит, что Вы уже здоровы». Вот почему мне дали уже на 5 день — 2 раза в день полусырое мясо и разрешили — домой. Заживление было молниеносное. И я был избавлен от необходимости платить 1600 в день.

Швы убрали уже дома, на 12-й день. Я спешил — не выношу клинической обстановки, ухода никакого. Даже туалетную бумагу надо иметь свою. Довольно о себе.

Родная, светлая моя! Ты будешь, ты — должна жить! Всю жизнь драли с вола 7-ую шкуру, жизнь драла. Ради Бога, думай только о себе! — не обо мне. Я устроен, я отдыхаю. Мне разрешена работа на 1/2 часа. Придет тепло — м. б. уеду в Кап-

бретон. Голубка, как можно дольше отдыхай! А я хочу молиться, чтобы [быть достойным] — писать «Пути Небесные». Поздравь маму. Не удивительно ли? Почти одновременно: нас взяли под нож. И мы будем жить, пока не исполним Воли Божьей. Нежно тебя целую и благословляю. Твой, довечно, Ваня

Как хочу-жду твоего выздоровления! да будет! Я должен тебя увидеть. Как милостив был ко мне Господь! Н е т смерти! О сем — будет в «Путях Небесных», мой о п ы т. Под ножом, все сознавая, думал и о тебе, как я тебя увижу. Я должен быть у тебя! и все сказать.

Павел Гаврилович Криволай (Гаага), чья пишущая машинка у тебя, мой читатель, купил много моих книг и был растроган надписаньем. Он — <u>достойный русский человек</u>. Я о нем з н а ю. Очень скромный, любитель книг.

Ну, до скорой встречи. Великий пост — с 20.II, м. б. буду уже выходить. Силы прибывают. Принимаю «Протеолиза»(т) как питающее и крепящее. Еще компримэ solucamphre. Охотно ем, чуть полнею. Все говорят: «похорошел», помолодел. Мария Тарасовна у сына под Пиринеями, и — свалилась. Должно быть грудная жаба (?). *Вся* больна, и еще ревматизм. А там холод и туман-мразь. Расширение аорты, «устало» сердце, не может ходить — лежит в болях. Я устроен, каждый день, на 4—5 часов — русская пожилая дама, все умеет, евангелистка, — все можно доверить, лучшей русской фамилии. Ночью я — один. Нет, со мной — Господь. Оля, как хочу воздуха: ведь с Esbly — безвыходно. Не могу опомниться, как все было <u>в д р у г</u>! О, я в с е расскажу тебе.

«Куликово поле» издается YMC'ой.

Какое счастье-благо — данная Богом — ж и з н ь! И как чутко надо ее принимать!.. —

Господь да поможет нам и да сотворит с нами — по Воле Своей. Примем в с е — радостно! Ж и в и!

Твой Ванёк — Ив. Шмелев

697

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.I.50

Дорогой Иван Сергеевич!

Вот я и в доме отдыха, среди сосен и берез, — последние, увы, голые, но в данный момент как раз — совершенно огненно-пурпурные в солнце. Я еще совершенно «дохлая». Klinkenbergh сам был оперирован 2 дня после моего

выхода из больницы. А на 13-ий день уже вдруг появился у нас в «Batenstein'e», сам правил автомобилем! Я была в тот день в самом отчаянном состоянии — не спав и 5 минут во всю ночь. Он велел немедленно же ехать в тишину, «на лоно», и сам написал директрисе письмо с просьбой дать саму тихую комнату. Вот, я почти неделю тут. Еле добралась. Чуть живая была.

Теперь начинаю спать, но с таблетками. Ложусь в 8—9 часов и лежу до утра 9 часов. В 9 — завтрак в постели и в 9 1/2 — горячая вода для умывания. К 11 часам сползаю вниз, где мне уже готова чашка кофе. В 12 1/2 обед и сон (или лежанье) до 4 часов. Затем чай и в 6 ужин. И когда я иду вечером спать, то еле уже передвигаюсь. В хорошую погоду хожу гулять, т. е., опираясь на палку и на директрису, обходим дом в саду — минут 5. Письмо зараз написать трудно. Хочу завтра попросить поискать тут разных лекарств, рекомендованных Шахбаговым, который, узнав о такой операции, засыпал письмами[764], «в чем же дело»? Я просила его помощи, т. к. тут плохие интернисты, и он сразу массу прислал рецептов. Очевидно, здорово же меня «выпотрошили», судя по реакции и Шахбагова, и других врачей. Да и самого Klinkenbergh'a, который прямо сказал: «Ну и сильный же у Вас организм!» Видимо, после такой истории и хуже еще бывает. Да и так достаточно: неизвестно сколько пробуду тут — не меньше месяца, да после этого надо быть на положении больной minimum 4—5 месяцев, а затем опять где-нибудь отдыхать.

Запрещен всякий умственный труд, всякое, даже малое, напряжение мысли и нервов. Первоначальное разрешение рисовать — отменено и надолго. Да я и не могу. Мне все трудно и ничто не интересно. По-моему, я поглупела как-то и совершенно потеряла память после наркоза.

Ну, а как же Вы-то? Мне прямо больно думать, что я ничего Вам не в силах теперь сделать.

Если будут силы — черкните. И не оставляйте моих писем на столе — ими все интересуются. Сжигайте! Ну, Господь с Вами!

Обнимаю. Оля

Здесь так тепло, что растут сыроежки!!

698

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.I.50 Париж

Дорогая моя Гулинька, Олюша,

Благодарю за письмо. Открытку переслал М[арие] Т[арасовне] в Cambo-les-Bains (Basses Pyrénées), c/o Mr. P. Volochine,

Sanatorium «Les Terrases». Как же ты, бедняжечка моя, страдаешь!.. Не смущайся, силы возвращаются крайне медленно, знаю по себе, но моя операция куда же была легче (!!) твоей!.. Крепись, соблюдай предписания, не пересиливай себя, ради Господа! — и все будет хорошо, — крепко уверен в этом. И вернутся те счастливые часы, когда, в Esbly, мы с тобой обсуждали твои работы!

Помнишь? А что еще предстояло вынести нам обоим!.. Вот, дал Господь — вынесли. Благодарю Его за каждую минутку жизни! Не спеши домой, умоляю. Месяца мало для отдыха. Обо мне не тревожься, у меня все есть, я обслужен заботливо, femme de ménage отличная, честная, культурная, религиозная, ей 65 л. Она из отличной петербургской семьи, ее отец был много лет хранителем драгоценностей Кабинета Его Величества (Александра III). Денег у меня много, ни в чем не испытываю недостатка.

Верю предписаниям Шахбагова. Но почему же он прислал, как ты пишешь, «массу» рецептов? Мой хирург прописал, для укрепления, — Proteolysat, выпивать за едой одну ампулу в 20 сс. Я принял 24 шт. и чувствую себя сильней. Что-то говорит мне, что прописанное Шахбаговым — тебе будет полезно. Да у тебя еще хирург Klinkenbergh... чуткий, многознающий. Родная, голубка, молюсь за тебя. Как в постель — за тебя молюсь-молюсь.

Ешь больше! Лежи, лежи... не утруждай себя никаким напряжением, — *берегись простуды*!!! Накапливай сил, — все придет в свое время. Также и мне: запрещено всякое — и умственное — напряжение, «даже думать» — на 5-6 месяцев. Но ты сильней меня, ты еще молодая, и все превозможешь. Какая радость — сыроежки!

О, берегись простуды, организм ослаблен и легко подвержен. А погода января—февраля будет ломкая, холодная. Хоть, говорят, за нынешними холодами, — 2° — через 2—3 дня будет опять тепло. Как я тоскую по тебе..! Как был рад письму! Но я готов лишиться этой радости, лишь бы ты не напрягалась. Я тебе буду писать часто. Завален письмами, за почти 5 месяцев. И вот, 2—3 письма в день силюсь написать — и скоро устаю.

Господь поможет тебе, сохранит тебя, моя голубка. Обнимаю мою родную Олю.

Твой Ванюша

[На полях:] Если будут нужны деньги, немедленно напиши, — вышлю, только бы ты подольше пожила в санатории! Говорю серьезно: у меня много денег.

Крещу тебя: будь здорова, *укрыта* от всех недугов Покровом Пречистой! Оля, молись Ей! — будешь спокойна, *уповай*!

[Приписка на конверте:] La fleur — incluse[i].

699

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.II.50

Дорогой мой, милый Ванюша,

Давно тебе не писала. Наши письма разминулись. Как ты себя чувствуешь? Был ли уже на воздухе? Теперь началась хорошая погода, — почти весенняя. Я все еще в санатории. Думаю, что пробуду еще 10—14 дней. Скоро я уже месяц здесь. Силы прибывают, но очень медленно. И каждый раз, когда чуточку побольше прыжок сделаю, — «тычусь носом», т. е. замечаю, что еще не все могу от себя требовать. Чуточку подальше пройдусь, или книгу почитаем вслух с обитательницами дома, или поболтаем подольше, — устаю, сердце колотится, не сплю и т. п. Dr. Шахбагов стал моим пользующим врачом: часто пишет и дает советы. По его указанию принимаю 3 различных препарата и еще Sanostol, который мама советовала и Шахбагов одобрил. По его мнению, мое выздоровление будет долго длиться, — я ему должна была все подробно рассказать об операции. Он в ужас пришел от того, что мне пришлось перенести за один раз, т. к. дела было на 3 операции. Кроме того, организм был подорван уже давно сидящими опухолями. Они были не злокачественные, но очень большие. Сейчас видно глазом даже, как образовался в животе «провал». Т. к. были затронуты органы важных функций, обрезаны и перерезаны, то теперь приходится всему организму напрягать силы и перестраиваться. Часто болит нестерпимо шов, будто его рвут на части. Но то все — «нормально». Здесь меня балуют и нежат. Изредка приезжают посетители: в субботу будет золовка целый день (и тоже ходит за мной), в воскресенье жду маму тоже с 12 часов дня до вечера, если ничто не помешает. И в понедельник — одна голландская приятельница. А то 10 дней одна была. Шахбагов запрещает всякое напряжение мысли. «Легкий роман, газета, — вот все, что ты можешь, — ни в каком случае не советую работать над своим романом, как бы я его сам ни ждал с большим нетерпением». Велит часто сообщать ему

---

[i] Цветок — внутри (*фр.*). К письму приложена веточка мимозы.

о состоянии и настаивает на исследовании крови. Жалеет, что не может лично все увидеть сам. Klinkenbergh — сам пациент, а кроме того, он никогда не дает советы интерного[i] характера: «я хирург — и больше ничего не понимаю». В санатории старая сестра (бывшая директриса) сказала, что только через год я совершенно поправлюсь.

Нет, дорогой Ванёк, я не могу и подумать поехать во Францию. Бог знает, что будет дальше, но сейчас я и до Woerden'а-то с трудом доползу. Летом мне предписывается дальнейший покой дома, т. ч. ничего из поездки куда-либо не выйдет. Ведь я сейчас почти что в больнице. В 9 часов получаю в постель завтрак, 1/2 10 горячую воду для умывания, к 1/2 11 только сползаю вниз, т. к. не могу быстро одеваться, в 11 часов дают усиленное питание, до 1/2 1-го я или иду немного гулять, или пишу письма, или вяжу что-нибудь. В 12 1/2 обед. После него иду спать в нагретую кровать, до 4 часов, пьем чай до 5 часов в удобных креслах, чуть не лежа. В 6 часов ужин и в 9 часов — спать.

Вот и день мой! Совсем непривычный для моего колеса. Я, слушаясь Шахбагова, не работаю. Но мысли начинают мучить меня, и это поистине ужасно, т. к. я теряю сон. И ничего не поделать с этим! У меня появлялись новые темы до болезни, а теперь я все забыла и потеряла нити и этим тоже мучаюсь.

[На полях:] Ну, дорогой мой, кончаю! Пиши все-таки почаще, хотя я знаю, как это трудно. Если можешь, то напиши поскорее! Обнимаю. Христос да будет с тобой. Оля

Напишешь ли ты Великому Ивану-гордецу, или нет обо мне, — это твое дело. Но от моего имени *не* проси его писать мне. Можешь только сообщить, а как он поступит — его дело. Он только тщеславием жив и бывает!

700

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.II.50 Париж

Дорогая, драгоценная моя Олюшенька! Камень упал с души, когда узнал от тебя, что все благополучно, нет опасности! Обнимаю тебя, родная моя, и умоляю: останься в санатории до Страстной, не меньше! Тогда окрепнешь. Дома ты не удер-

---

[i] Внутренний (*от нем.* intern).

жишься и вложишься в работу, подорвешь остаток сил, жалея маму. Я все понимаю, знаю тебя. Голубка, закрепи здоровье! Все придет в свое время: ты молода, сильна, и найдешь силы написать роман. Ты отлично начала!

Ради Бога, останься, отдохни: иначе великий грех, непокорность Господней Воле, положившей тебе — о т д ы х! Не дерзай идти против: так н а д о! Слушай внутренний голос и руководись указанием Клинкенберга и Шахбагова! Не иди против Воли Божией! Этим я *очень* тревожусь. Я хочу покоя за тебя, чтобы ты радовала (и радовалась!) своей работой. Силы возвращаются медленно, по себе знаю. 10 недель всего от твоей операции, — чего ты хочешь? Отдайся, в с я, заботам о тебе других, это твое, страданиями полученное право. Цени себя, ибо ты подлинная ценность, и не смущайся. Я вот н и -че-го не пишу — и не смущен: я накапливаю силы, благодаря Господа. У м о л я ю остаться еще *6* недель! Будут холода, способность сопротивления всяким простудам-гриппам у тебя, пока, минимальная. С этим считайся. Не дай Бог, заболеешь дома, — тогда все пропало. Ты сейчас вся — в риске! А в санатории ты окрепнешь и встретишь весну. Тебе предстоит жить и творить, — по-мни это! Спроси Klinkenbergh'а — и следуй его советам. Мне что-то тревожно за тебя, что ты задержишь излечение, если скоро вернешься. Да тревожно. Хоть раз послушайся меня, помня, что санатория тебе д а н а Волею Божьей. Твой организм весь надорван, он теперь замещает и восстанавливает ряд желез-гланд, которые могли быть вырезаны... ведь не все известно пока врачам, — железы-то... — только твое тело знает. Вот отчего слабость, — не все гланды восстановлены! — уверен. Время все наладит. Больше лежи, не напрягайся. Я чувствую себя сильней, и Мария Тарасовна, 6 недель меня не видавшая, — глазам не верила: «Вы прежний, давний, как на фото, с О. А. и сыном!» Да, я немного поднакопил мяса, сил. Помолодел. И все еще — часов 18 на дню — лежу-сплю. В с е ем, даже горчицу, немного. И не смущаюсь, что ничего не делаю, даже стараюсь не думать. Пока, до следующего письма, скоро.

Твой неизменный Ванёчек. Голубка, целую и молюсь за тебя. В.

Пью с удовольствием malt-biere[i], черное пиво на пивных дрожжах. Дает силы.

---

[i] Солодовое пиво (*фр.*).

701

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.III.50

Дорогой мой, душевный друг!

Стыжусь, как давно не писала. За это время я вернулась домой, и все эти эмоции: и путешествие, и водворение, и прирастание к дому, к обычной жизни, — брали много моих сил. Я, конечно, гораздо сильнее стала, но все же еще не так, как бы надо было. Быстро устаю и много времени провожу в горизонтальном положении. Ни писать, ни рисовать нет еще охоты. Читать начинаю. Была в ту субботу в Гааге — говела у приехавшего из Бельгии батюшки. О-чень довольна осталась, вынесла и службу натощак, с самого начала до самого конца была, сидела, правда. Но зато дома, как ребенок, сразу же запросилась спать. Сон понемногу приходит. Очень мучаюсь болями шва, который все еще лилово-красный и местами очень толстый и широкий. Особенно к погоде, — еле терплю. Недавно буквально не могла идти от боли. Но ничего ненормального тут нет. Так все должно быть. И по словам сестры-дьяконисы в санатории, я с год должна очень осторожно жить, не забывая, что пациентка. Ну, что же, надо смириться. Лишь бы все было нормально. Медикаментов никаких больше не принимаю. В санатории дольше 1-го марта никто не мог оставаться, т. к. дом с марта открыт только сестрам. Мы очень трогательно расстались. Вчера получила оттуда письмо. Зовут потом, когда-нибудь в гости. Дьякониcса (± 70 лет) очень интересный человек. Я все вытягивала из нее разные случаи из ее практики, — целые романы! Она была директрисой в обсервационном доме для молодых преступниц. Кроме того, она истый художник. Мы много с ней говорили. И об искусстве главное. Я ничего ей не говорила о том, чем занимаюсь. Она сама сказала: «неужели Вы не пишете? У Вас большой дар видеть и передавать это другим, — в чем-то Вы должны себя высказать». Что меня удивило, — это то, что она нашла во мне много... юмора! Этого я за собой не знала! Ну, довольно о себе! Как Вы, мой дорогой? Ради Бога, не сердитесь за мое молчание и не платите тем же! Я очень жду сведений о Вашем здоровье! Я никому не пишу. Мне так трудно собрать мысли и писать. Иначе я бы уж за работой сидела. Как Марья Тарасовна и их сын? Кто на rue Boileau 91 хозяйкой? Я все думаю, что м. б. опять никого нет и боюсь этой мысли. Или опять постоянные визиты ничего не говорящих

сердцу людей? Считаясь с этим, сообразно и письма свои пишу, — боюсь, что на столе они являются общим достоянием. Ну, родной мой, всего, всего доброго! Здоров будьте, главное! Говеть собираетесь? Хорошо бы это! Пишите, я скоро отвечу. Обнимаю. О.

[На полях:] 21.III.50 Дорогой мой Ванечка, сегодня — только что — я собралась заклеить конверт, — получила твое письмо. Как больно мне, что я давно не писала и еще усугубляла твое чувство одиночества. Хотела письмо послать в субботу, но не было дома марок, а почту по субботам закрывают в 12 часов дня. Какое горе у Волошиных! Я напишу М[арье] Т[арасовне], — как ее адрес? Rue d'Aleria? А №? Родной мой, возьми свою волю в руки! Не грусти! Я скоро еще напишу. Чего тебе послать? Я могу теперь это сама сделать, т. к. выхожу. Обнимаю. Оля

Недавно было письмо от М. Ф. Карской[765], — им очень плохо живется. Думают ликвидировать виллу и идти каждому своим путем на заработок, т. к. иначе ничего не найти. Она очень угнетена этим решением. Думает идти нянькой с удержанием Дидука около себя. Но мужа она очень любит, как и он ее, и это решение, конечно, очень мучительно и вызвано только острой нуждой.

702

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Начало апреля 1950 г.]

Дорогой и милый Иван Сергеевич,

Спасибо за открыточки. Что же это у Вас с бронхами? Позовите доктора! М. б. от лежанья? Как часто Вы встаете и долго ли остаетесь вне постели? Я понемногу вхожу в жизнь, хотя еще очень устаю. Не знаю, как соберусь в церковь в Пасху, — м. б. возьмем автомобиль (без шофера — это можно) и тогда сразу после службы домой, чтобы не утомляться ожиданием поезда. Дела масса, а сил мало. Надо бы работать, а и на это еще сил нет. С трудом пишу и собираю мысли. Это — самое мучительное. А так — я потолстела даже и никто с виду не может сказать, что я болела. На днях посылаю Вам посылочку — рамки возможного очень сокращены таможней. Сахару только 1 фунт можно. Ну, постараюсь. Обнимаю Вас и крещу. О.

[На полях:] Это Амстердам — очень типично:[766] поднимающийся мост для прохода судов по каналу.

М[арье] Т[арасовне] я писала. Как она сама себя чувствует? У нас был болен Арнольд — сильный бронхит, а потом что-то вроде грыжи. Он очень устал. Работ всяких масса, и встал он слишком преждевременно.

Пока не найду новую девицу — мука.

Хотела нарисовать яичко, но так безумно перегружена, что не найду сил. Нет прислуги.

703

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.IV.50

Христос Воскресе!

Трижды целую тебя, дорогой мой Ванечка и от души желаю тебе света душевного и радость в Великий день Христовой Пасхи! Как-то ты себя чувствуешь? Окреп ли хоть немного? Говел ли? Надо в эту неустойчивую погоду очень беречься.

Я мечусь. Прислуги нет, и найти ее трудно. Все на моих и маминых плечах, да еще к Пасхе разные приготовления сверх нормы. Вымыть окна и т. п. придет ко мне жена садовника-управляющего, но у нее 2 маленьких детей, и она чаще бывать не может. Да и неловко — они себя чувствуют наполовину господами, а не прислугой. Слава Богу, что отношения с ними очень хорошие, и всегда они готовы к услугам. Хозяйство в Голландии сложное. Надо безупречную чистоту и соблюдение всяческих мелочей. Так что стала я девкой-чернавкой вместо своей-то работы. Благодарение Богу, еще сил как-то хватает, но устаю очень. Ни одной душе не пишу. На приглашение в Гааге разговляться коллективно отказалась, оберегая себя от усталости. Не знаю, как все и пройдет. Все-таки хочется в церковь. Мама собирается завтра и в Субботу в церковь, а я страшусь, что не вынесу: хочу только в пятницу — Благовещение. На Заутреню Светлую мы поедем на автомобиле и с ним же прямо домой после службы. Думаю, что достанем машину без шофера, — Сережа будет править.

Получил ли ты мою скромную посылочку? Я собирала ее прямо в каком-то «белкином колесе», среди разгрома комнат уборкой.

Верчусь, не приседая, не говоря уже о необходимых 2-х часах отдыха после обеда. Ну, да что о себе. Как ты-то? Очень жду весточку! А пока крепко обнимаю тебя, мое солнышко, и целую.

Оля

P. S. Привет М. Т. В[олошиной]. Как она?

704

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.IV.50

Дорогая моя, светлая моя Олюшенька,

В подавленности небывалой, душевной, я голову потерял, лежал камнем. Теперь легче, могу писать, и аппетит возвращается... Я получил твою чудесную посылку, давно, и не ответил тебе, весь разбитый. Обнимаю, благодарю. Прошу: не посылай больше, мне все это — бесполезно, ни к чему охоты. Правду говорю. 1/2 года не выхожу, не мог тебе послать пасхального дарочка.

Снова лечусь: uree в крови — 0,70 gr. на 1 l. Возили к dr. Antoine. Сказал: не тревожьтесь, дам уколы (10), intraveineux[i], и лекарства, строжайшая диета: мясо через день, griller[ii], и не больше 60 gr.! Ни молока, ни яиц. Все — постное, муки, крупы, вареные овощи... — полная аскеза... За 2 месяца потерял часть набранного веса. Всего теперь набрал до 5 кг. Аппетит несколько лучше...

Едва прихожу в себя. Почёс истомляет. И вряд ли излечим, сказал Antoine. Это — следствие zon'ы, поражены нервы... Погода ужасающая. Слава Богу, снова начали топить.

Написал один рассказ. Сижу, лежу... без воздуха. Томит одиночество. Словом — разбит, вы-бит... Написать письмецо — труд сверх сил. Прости. Хочу знать скорей, как твое здоровье. Ради Бога, напиши, я так одинок.

Милая, родная... как я устал жить!..

Твой верный Ваня

Едва осилил написать: так бы все и лежал... Ты — мудрая, дорогулька, и ты все поймешь — мое безволие-то... Это след всей болезни... Но, Бог даст, оправлюсь. Так ни разу и не был в церкви...

705

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.V.50

Милый мой родной Ванечка!

Все время рвалась тебе писать, — была страшная кутерьма. Но, наконец-то, я получила хорошую прислугу! Она уже 10 дней у меня, надо было ее приучить к дому и работе. 16-го числа

---

[i] Внутривенно (*фр.*).

[ii] На решетке (*фр.*).

было у нас празднование так называемой «бронзовой» свадьбы (12 1/2 лет), в Голландии это обычай. И против нашего желания пришлось устраивать, т. к. все родные изъявили волю «все равно праздновать», а также и персонал имения. Я ограничила все до minimum'а, но все же возни было немало. А и я, и мама, и Арнольд еле ноги тащим. Все же я увидела, что невозможно было отбрыкаться, — такая масса была внимания со всех сторон! Слава Богу, теперь это за спиной. Масса была подарков, уйма цветов, т. ч. теперь утопаем в их красе, как в оранжерее. Особенно почему-то чествовали меня, — даже неловко! Прямо из рук вырвали у нас этот праздник. Рабочие, особенно садовник новый, прямо в лепешку разбился. Даже фейерверки пускали на пруду. Мальчуган его (5 лет) пришел с цветами (в красивом блюде целая группа растений) и поздравлял как умел. Наугощались выпивкой и куревом так, что не знали, как коров отдоят, — от остальных работ они были освобождены. Преподнесли огромную азалию и были с супругами. Жена садовника была за хозяйку и за чаем и за ужином, который я заказала в ресторане. И все же я устала до отказа. Ну, буду теперь беречься и отдыхать.

Меня очень волнует твое молчание. Как здоровье? Ради Бога, черкни! Что М[арья] Т[арасовна]? От нее я не получила ответа. Да ей м. б. не до писем! Умоляю, напиши, что с тобой! Как бы я хотела тебя увидеть! Скажи, что тебе можно по диете? Я прислать бы тебе чего-нибудь хотела! М. б. что-нибудь из вещей? Стоит такой холодище, что о теплых вещах хочется думать. Работу свою я совсем забыла. Но с новой девушкой, думаю, наладится. Она — прелестна и работяща. Чуткая, сама меня понуждает все на нее оставить и заняться своим делом, — видела мои рисунки. Т. ч. я надеюсь скоро уйти в работу и тогда никого и никуда! Давно жду этого момента.

Наш «Batenstein», к сожалению, слишком большая приманка слишком для многих. И я до неприличия отклоняю желающих приехать. Все-таки я еще очень слаба. М. б. придется Арнольду делать операцию. Скоро выяснится. Не дай Бог! По себе знаю, что это такое! Сейчас, взглянув в окно, вижу, как на пруду перед домом стоит цапля и выслеживает добычу. Красиво крадется и изгибает шею. Никого не боится. У Флопки на днях должны быть щенки, ходит бомбой (но не водородной)! Был ли ты в церкви? Будешь ли на Троицу? Мне грустно, что уже кончили петь «Христос Воскресе!» Сегодня Вознесенье — всегда для меня грустный праздник, — будто был с нами Христос все время после Воскресенья и сегодня вознесся. Так все это осязательно. Напиши, Ванёчек, о себе! Будь здоров и бодр, моя радость. Обнимаю. Оля

ДОПОЛНЕНИЕ

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.XII.42

Дорогой Ванюша,

Вот уж совсем близко наш светлый праздник, такой чудесный, радостный, великий. Так жаль, что общим празднованием по западному стилю как-то разбивается цельность торжества, его единство. Но я прикладываю все силы к тому, чтобы наш праздник б ы л. У меня будет елочка и... даже свечи. Получила в подарок 10 шт. Твои я берегу до Пасхи. Салон, где стоит елка, не топится, и потому елочка, купленная, конечно, заранее, стоит свежая. Кроме того, попалась с корнями. Я поставила ее в воду, в ведро, задрапировав его белой материей и забросав ветками елки и... (ну как это по-русски?) красные ягодки еще, по-голландски это — hulst[i].

Красиво.

Получишь ли ты мои цветы ко времени? Мне с трудом обещали, боялись взять заказ, уверяя, что после Нового года даже и здесь почти никаких цветов не будет.

Белую сирень, ландыши, тюльпаны (здесь к Р.Х. был обычай: украшать стол маленькими красными тюльпанчиками), гиацинты и пр. запрещено выводить. Магазин, который для меня берет заказы, — очень солидная фирма и потому ни в какие «аферы черного рынка тюльпанов и гиацинтов» не вступает, оберегая имя. Я не могла ничего выбрать по сердцу для тебя. Барышня предоставила на возможности, имеющиеся в Париже. Не огорчайся, если узнаешь, что и тебе не пообещают сирени. Впрочем, зачем ты все-таки это делаешь?

До цветов ил в такое время?! Сколько умирает, не получив последнего привета земли — цветов. За что ты одаряешь меня? Меня это все смущает.

Перечитываю Толстого «Война и мир» и мысленно на коленях перед его гением, хотя вообще, за многое совсем *не*

---

[i] Падуб (*голл.*).

преклоняюсь и наоборот кляну. Но этот роман — такая прелесть. И сколько нового открываешь всякий раз! Подростком я глотала с упоением все, что касалось Наташи и Андрея, часто почти выпуская военные и дипломатические разговоры, суждения, действия. Грешила, читая их вскользь. Но какая же полнота, когда вбираешь всякое слово этой чудесной книги!

Ванечка, как твое здоровье? Спрашивай во всем совета Antoine, о нем хорошо отзывается Меркулов. Не бросайся на каждое предложенное средство. Не смущайся тем, что сладкое не очень хорошо принимает желудок. Это известно, что много сладкого при язве нельзя принимать. Именно сахар. Он «разъедает». Вспомни диабетиков: часто одним из симптомов являются язвы, фурцикулы и т. п. Отчиму запретили пить много сладкого чаю. И он сам это испытал. У тебя желудок перераздражен. Пощади его. И на малое количество уже реагирует. Кушай строго только предписанное, не торопись с введением новых блюд. Постепенность и осторожность много значат. Малые порции и частый прием пищи. Покой, спокойствие. Не пиши до усталости! Это очень вредит. Лежи, отдыхай! Попытайся получить визу в Швейцарию, — это хорошо бы на тебя, думаю, подействовало.

Не утруждай себя и нервы, не принимай самостоятельно лекарств!!!!!!!!!

Мое здоровье — день ото дня... Ты говоришь: «победи недуг», превозмоги. Ты знаешь, что я заболеваю почти всегда как раз, когда внутренне от него освобождаюсь, когда совсем не думаю о нем, забываю. У меня такое впечатление, будто меня именно заставляют все время не забывать. Я пью «виши» и траву (давнишнюю). Молока теперь мало, мы все должны сдавать в центральный распределитель. По количеству сданного молока определяется и количество коров, разрешенных нам для содержания на ферме. Так что в своих же интересах больше сдавать молока. Конечно, это очень отражается на домашнем, кухонном хозяйстве. Но, Бога не хочу гневить, — мы хорошо живем. Мечтаю съездить в храм на Рождество. Но как это удастся? Что это газета-то[767] грохнула с поздравлением к 25-му нового стиля?? Сегодня принесли. Впрочем, это и логично. Мне часто бывает досадно на разницу стилей. Как сбивается наш праздник!

Хотела я тебе устроить елку, но ничего не вышло. Сестры Анна Семеновна и Елизавета Семеновна не смогли (или не

захотели?) в этом мне помочь. Впрочем Елизавету Семеновну не упрекаю — она не могла исправить сделанное (или вернее не сделанное) ее сестрой. Но мне было очень больно. Только молю тебя ничего с ними обо мне не говори! Я не сержусь, но не надо все время об этом. Побереги и мое самолюбие. Хочу мира, тепла и ласки. И шлю тебе привет от сердца, от души, души жаждущей молитвы и покоя. Целую благословляю тебя в чудесную рождественскую ночь. Смотрю на звезды... ловлю тоже их свет! Оля

[На полях:] Духи твои (жасмин) мне очень н р а в я т с я!

Господь с т о б о й да будет в светлый Праздник Рождества! Как чудесны наши молитвы!

Приложение



1

[07.IV.1944]
Благовещение <...>

Ив. Шмелев

ПУТИ НЕБЕСНЫЕ

Часть II-я

I — Благовестие

В «Уютове», под Мценском, прошла самая важная часть жизни Дариньки и Виктора Алексеевича.

В «посмертной записке к ближним» Дарья Ивановна называет уютовскую жизнь «светлым житием», и отмечает, что там им было даровано — «вновь родиться». По словам Виктора Алексеевича, там он как бы вкусил от «Древа Жизни», постиг сладчайший и глубочайший смысл литургического гимна — «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»[768]

— Когда я постиг это, восходя ступенями трудными, ведомый моею «Побеждающею», как назвал Дариньку старец Варнава у Троицы[769], я постиг и другое важнейшее: все в моей жизни, — как и в жизни каждого человека, — все в мой жизни, до мартовской встречи на Тверском бульваре с бесприютной девушкой-ребенком, и после этой знаменательнейшей для нас обоих встречи, было как бы уже предначертано в плане наджизненном. До этого откровения, ничего наджизненного, или, как принято говорить, потустороннего, для меня, просто, не существовало, являлось порожденьем недомыслия или болезненного воображения. Ну, что за ерунда! — усмешливо отзывался я на робкие попытки бедной моей Дари, бессильно старавшейся открыть мне пути в ее «четвертое измерение», в ее святое — «там... там..!» Я потешался над этим ее «там-там», выстукивая и напевая — там-там, там-там!.. — а она бессильно выставляла перед собой ладошки, как бы ограждала свое священное от горшего осквернения. Конечно, этого своего там она не могла бы мне доказать, будь она даже доктором богословия от Оксфорда. На мои «там-там» она толь-

ко шептала с кроткой укоризной: «это сердцем надо принять, это... у Господа!..» До вразумления моего, — или, вернее, дарованного мне о т к р о в е н и я... — проявившегося в одном событии уютовской нашей жизни, это ее «у Господа» для меня было такой же невнятицей-бессмыслицей, как для калужского мужика... ну, «квадратный корень»! До случившегося со мной прозрения я не понимал, что э т о раскрывается только сердцем, верой и... вдохновением, «когда божественный глагол до сердца чуткого коснется»[770]. Замечательно высказано это... язычником! — Гафизом, персидским поэтом XIV века. Когда-то, еще в юности, пометил я эти его стихи знаком вопроса и заметкой — «красиво, как поэтическая вольность»:

Сошло дыханье свыше,
И я слова распознаю:
— «Гафиз! зачем мечтаешь,
Что сам творишь ты песнь свою?
С предвечного начала
На лилиях и розах
Узор ее волшебный
Стоит начертанный в раю!»[771]

— Я не подозревал тогда, что мой «узор», план жизни моей, уже начертан «с предвечного начала», д а н, как бы з а д а н мне: выполняй. И, что особенно примечательно, указываются некие пути к распознаванию «узора», некие знаки-знамения, как вехи, чтобы не сбиться с пути в метель. Ну, как вот добрый учитель намеками наводит ученика на разрешение задания. Еще задолго до прозрения моего не раз замечал я это наведение, но сводил все к случайности. Помню, меня удивило совпадение: письмо от петербургского приятеля с его советом принять служебный перевод в Мценск... и тут же, в самое то утро, бросилось мне в глаза газетное объявление, набранный крупно заголовок...

— П О Д М Ц Е Н С К О М — «по случаю семейного раздела, дешево продается усадьба-дача...» Теперь я знаю, что это была в е х а. И, слава Богу, мы не проглядели ее. Не я, — Дари не проглядела, сказала, озаренная, — «хочу... так хочу!.. там, будет, хорошо». Словом, «Уютово» далось нам в руки как бы с а м о. Даринька провидела это вдохновенно нашла у з о р.

Как бы в утверждение, что избираемый путь — верный, Дарья Ивановна, еще и не видя «Уютова», почувствовала сердцем некое «благовестие». Об этом она вспоминает в «записке к ближним»:

«Всю дорогу радовалась я приволью лугов и рощ, как, бывало, в детстве, когда ходили мы с тетей на богомолье. И я

совсем забыла, какая стала нечистая. А как подъезжать нам к Мценску, опомнилась и устрашилась, какие испытания посланы будут мне за грех мой. И воззвала я душой к Пречистой, молясь: “Призри на смирение мое, Всепетая Богородице... и исцели души моея болезнь”[772]. И в радости услыхала Благовестие».

Был светлый, тихий июньский вечер, в червонном солнце, когда поезд подходил к станции «Мценск». Уже косое, солнце светило в купе директорского их вагона, ложилось теплыми пятнами на малиново-бархатной обивке, играло на хрустале графина, на бронзе и подвесках настенников, и от такого света было пасхально-радостно.

— Глядите-глядите, милая барыня... яичко-то наше... христосованное стало!.. захлебнулась от радости Анюта, показывая на столик, где закусывали они взятым с собой в дорогу, — Даринька не любила выходить в буфет на станциях.

Яйца, бумага, чашки, молоко в бутылке — все было пасхально-радостное; радостно-свеже пахло первыми огурцами, земляникой, — купили дорогой целую кошелку, свежим сеном с покошенных откосов, с лугов недалекой Зуши. Великий зеленый купол старинного белостенного собора открылся им на холме, и донесло, в замедлявшемся постуке колес на стрелках, смягченный далью, разливный звон мценских колоколен. Даринька крестилась на видневшийся городок, так благостно их встречавший, и, радостно-удивленная, залитая пасхальным светом, сказала сама с собой: «как хорошо, покойно... и благовест...» Этот с в е т и этот благовест-встречу приняла она в сердце, как б л а г о в е с т и е.

Виктор Алексеевич хорошо помнил этот пасхальный свет, покоющий благовест и затаенно-радостное лицо Дари: давно не видел ее такою просветленной, трепетно-радостной. Подумал: что она так насторожилась, будто радостная тревога в ней? Он взял ее руку и тихо поцеловал, но она не слыхала, не отзывалась, — где-то была, в с в о е м.

Они приехали в Мценск в четверг, и Даринька удивилась, услышав благовест: почему всенощная? кому же празднуют завтра?.. И тут же вспомнила-спохватилась, что, ведь, завтра 24 число июня, празднуют Рождеству Крестителя Господня! Она очень почитала этот праздник: с этим в ней связывалась больная ее т а й н а. Вспомнив, какой день завтра, она радостно-удивленно затаилась. Виктор Алексеевич спросил ее, что ее так хорошо встревожило. Она пошептала сбивчиво, смутилась будто: «так, хорошо... звон какой...» — и прикрыла рукой лицо. Он удивился, что она так смутилась, вся залилась румян-

цем, и переспросил, что с ней. Не открывая лица, она тороп-ливо-взволнованно сказала:

— Да, ведь, завтра... как это хорошо, на наше новоселье... завтра Крестителя Господня!.. И так хорошо, Господи... так покойно...

С самого возвращения из Петербурга, он не помнил ее такой умиленно-радостной. После всего страшного и странного, что было с ними, когда он, казалось, безвозвратно ее утратил, прежнюю, с осветляющими глазами, какую впервые встретил в келье матушки Агнии в душный июльский вечер, и все полней раскрывавшуюся ему в новых ликах и обаянии; после ее «ухода в себя» и отчужденности от него и, вообще, от жизни, — Даринька радостно в е р н у л а с ь, явилась снова в светлой своей нетронутости. Он хотел увидеть ее глаза, но они уклонялись от него в смущеньи. И вдруг, он понял, почему она в радостной тревоге, почему так прелестна детски: такое важное для нее связывала она с Крестителем... — страстно желанные в о з м о ж н о с т и, утраченные после тяжелого недуга, — носила на чреве поясок с молитвой, — раньше, до «дней безумия», читала на молитве «Славу» Крестителю Господню —

2

[07.IV.1944]
Благовещение <...>

«Ангел из неплодных ложесн произшел еси...»[773] И вот, на пороге новой жизни, благовест их встречает — б л а г о в е с т и е м , озаряет померкшие надежды. Он боялся спугнуть это умиленно-радостное в ней, не стал тревожить расспросами.

За «благовестием» последовала тут же приятная неожиданность.

Поезд подходил к задымленному вокзалу «Мценск». Высунувшаяся в окно Анюта радостно визгнула: «офицериков-то сколько, ма-тушки-и!..» Но это были не офицерики, а инженеры-путейцы, в белых кителях, со знаками, парадно. Виктор Алексеевич удивился, что это за «сбор всех частей», но это сейчас же объяснилось и очень его растрогало.

Это были сослуживцы, из Орла и Тулы, дружно отозвавшиеся на телеграмму начальника дороги, имевшего счеты с Петербургом. Виктору Алексеевичу стало ясно, почему начальник запросил его дня за два до отъезда срочной телеграммой, в какой, точно, день и с каким поездом предполагает он выехать. Он ответил, строя предположения, почему... но

и в мысли не приходило, что будет такая «встреча». Начальник дал знать «срочно» по линии — просил «ин-корпорэ[i] выразить Вейденгаммеру товарищеские чувства». Все понимали, что с Вейденгаммером обошлись по-свински: вместо повышения по службе «за заслуги», — все признавали ценность его усовершенствованной паровозной топки, дававшей миллионную экономию, — ему предложили «Мценск»! Недоумевали, почему «философ и астроном», как называли его приятельски, пылкий, самолюбивый, хотя и не карьерист, а в житейском, скорей, младенец, проявил такую покладистость. Ходили слухи о миллионном наследстве после брата, сибиряка-золотопромышленника, а Вейденгаммер полез в такую дыру-глушь, купил даже «поэтичную» усадьбу, из которой рады были сбежать владельцы, ребята Ютовы. Много ходило разговоров о таинственной красавице, убежавшей из монастыря и вскружившей голову всей Москве: из-за нее покончил самоубийством известный миллионер барон Р..., дрались на дуэли два гвардейца, а третий пошел добровольцем на Балканы[774]. Рассказывали, что красавица отреклась от света, резко переломила жизнь, и фантазер Вейденгаммер, безумно в нее влюбленный, как и она в него, развелся с женой, — или разводится, — недавно женился без огласки на романтичной красавице, ради нее принял такое захолустье, а из привязанности к работе не оставляет службу, хоть теперь и миллионер. Все это разжигало любопытство. Ктому же, все путейцы уважали и любили мягкого, всегда деликатного Вейденгаммера, никого не подсиживавшего, никому поперек дороги не становившегося, очень любимого железнодорожниками, — и на просьбу начальника «выразить чувства» ответили всем собором.

Встреча вышла необыкновенно дружная, душевная: «както всех подняло, взвинтило, освежило...» — долго вспоминали после. Виктор Алексеевич никак не ожидал такого горячего приема, такого дружеского сочувствия. Оффициально, он еще и должности не принял, а приехал в частном порядке — к себе в «Уютово». Путейцы — народ трезвый, на излияния не щедры, а тут вышло удивительно сердечно, как-то даже семейственно, — Дариньку, прямо, восхитило и «согрело», — а она, было, испугалась, увидя такой парад. Она приняла и это в сердце свое, как «знамение благое».

Старейший по линии путеец Караваев, широкий, развалистый, с седеющей бородой по грудь, подал ей, — «не совсем-то изысканно», как шутили, — огромнейший куст-букет

---

[i] Совместно (*лат.*).

белых лилий, перевязанный зеленой с серебрецом, «путейской», лентой, — она едва могла удержать его, — и сказал, вместо приготовленной и одобренной всеми речи, — «почему-то родившийся в голове экспромт», восторженно всеми принятый. После все очень удивлялись: так это было неожиданно от «батеньки-медведя», от «теплого Караваши»! Так его нежно называли за развалку, за его ленивую беспечность к «движению по службе»: он увяз в калужской лесной глуши по своей доброй воле, был страстный охотник, любил природу и «пустынное житие», как лесной бродяга. И звался-то подходяще — Михайла Иванович, — «игра природы!» — прищурив зеленоватый, «лесовой», глаз, говорил он не без приятности.

Караваев и сам недоумевал, как это вышло, и почему «вышло так здорово»?

«Увидал глаза, взглянул на... ну, бо-жественное..! — другого не подберу... лицо..! — рассказывал он про этот “казус”, — и почему-то мне “Лесная царевна” пришла на мысли, с какой-то картинки вспомнилось, в “Третьяковке”, гимназистом еще, был очарован! И как искрой передалось, — заготовка ни к черту не годится, не подходят эти оффициальности, заезженные, удушливые словечки. Поглядел на копну-букетище, на эту... “лилию Сарона”[775], и вдруг, осияло вдохновением!»

А сказал он, — «как-то само сказалось»: «Примите эти королевские лилии — наш восторг перед отныне нашей, путейской, Королевой!..»

И такое грохнуло тут ура, какого никогда еще не слыхали на уныло-казенной закопченой станции «Мценск». Вейденгаммера дружно обнимали, целовали ручку Дарьи Ивановны, поднесли и «хлеб-соль», — изрядный клубничный торт, в пене из сбитых сливок с земляникой, шедевр орловского первого кондитера, с «путейской» солоницей, в виде серебряной, в чернь, паровозной трубы раструбом, выпили «досуха» шампанского, как и полагается путейцам, проводили шумно к убранной зеленью, колосьями и васильками ретивой тройке и усадили под взрыв ура. До восторга растроганный, Виктор Алексеевич тут же пригласил всех «друзей и братьев» — так и назвал, от переполненного сердца, — отпраздновать уютовское новоселье, только вот чуть устроются. Приняли на-ура и заявили, что до «уютовского визита» все, ин-корпорэ, приглашают новосельцев на товарищеский обед у Касьяныча на Зуше — «загрузить балласт нового пути».

На площади перед вокзалом, когда садились в коляску, их встретил Карп, приехавший перед тем дня за три. Он уж освоился, был, видимо, доволен, смотрел солидно — усадебно-

барским кучером, в плисовой безрукавке. На радостный оклик Дариньки в хаосе восклицаний, — «а, Карп!.. ну, как нравится наша дачка?..» — Карп весело ответил — «хорошо, барыня... уж очень ти-хо!..» Забрал на тарантас чемоданы и таращившую глаза Анюту.

Все ладилось чудесно — начинавшийся новый путь. Покоем, утверждением, что теперь все будет хорошо, отозвалось в сердце Дариньки, когда она увидала покойного, «уверенного» Карпа. И опять, как в Москве, подумала: «хорошо, что Карп с нами».

II. — Знаменательная встреча

Мягко погремливая бубенцами, — поддужный колоколец, по городу, был подвязан, — встряхивая на рытвинах и ямах крупно-булыжной мостовой, подкидывая видавшими все рессорами, коляска спускалась к Зуше, разделяющей город на две «стороны»: «к чугунке» и — «главную». Пристанционная сторона походила на слободку, — кузницы, постоялые дворики, баньки, деревянные домишки, с пустырями и огородами, канавы по обе стороны дороги, вымощенной лишь по середке, заросшие буйным лесом крапивы и лопуха, никем, видимо, не тревожимых, — попалась на радостные глаза Дариньке развесистая береза, оставленная, должно быть, «для красоты», так и росла в канаве, — ласково опушенные просвирником и шелковкой косенькие ступенчатые крылечки, заросли плодовитой бузины, лавчонки с ворохами лаптей и кнутьев на охровых растворах, бальзаминчики, в чем попало, по окошкам, открытые бочонки с селедками у порожка, тугие кули с овсом и солью, усеянные голубями, воробьями, не пугаемыми никем, дремлющие по окнам кошки... — все говорило Дариньке — «видишь, какие мы... привычные, тихие, простые... хорошо!..» И как бы отвечая этим простым, привычным, сказала Даринька, купаясь сладко в душистых лилиях:

— Славные все какие, тут все другое... как хорошо-то, Господи!..

В этом ласковом слове «славные» слилось все, равное для нее: шумливые путейцы; глазевшие на разукрашенную тройку, высунувшиеся в окошки любопытные бабьи головы, в повойниках, в платках, в «головках»; скворешники на шестах в березах, дикая каланча пожарная, такая близкая, «здешняя», ручная, тоже глазеющая на них дремотным дозорным на перильцах; тихие домики, с избушками-баньками на курьих ножках,

3

Благовещение, 1944 <...>

на курьих ножках, возившаяся в теплой пыли обочин голопузая детвора, жестяной калач булочной пекарни, блеснувшее сонное зерцало Зуши... — со всего веяло покоем.

— Славные... чудесный народ, путейцы наши!.. — рассеянно отозвался Виктор Алексеевич, унесенный нежданной встречей, впервые за много лет восчувствовавший такой покой. — А все ты, твое все очарование. Чего так, укорливо на меня... — правда. Подумать только... сколько потенциально благостного в людях, и как редко оно прорвется! А как прорвется, — сразу слетит эта фальшивая личина, так искажающая людей, и как всем делается легко!.. А, какие возможности!..

Эти беглые мысли — всегда он был склонен к этому «философскому копанью», над чем сам и посмеивался порой, — пошли от приятной встречи и от только что читанной в вагоне «Анны Карениной». Подумал: как только устроятся на новом месте, поставить себе за правило каждый день хоть час отдавать Дари, вводить ее в мир мысли — идей и идеалов... развить ее умственный кругозор, помочь ей разобраться в сложном и смутном, что в ней... — робость эта ее перед реальной жизнью, пропитанная мистицизмом! — и непременно вместе продумать-перечитать чудесную «Анну Каренину»...

Мысль его перебил окрик ямщика. — «А-ты, несчастная... чуть не зашиб!» Что случилось?.. Они почувствовали резкий толчок коляски, — ямщик вдруг осадил коней, коренник взвился в воздухе. Случилось происшествие, не такое уж редкое по городкам России.

Коляска спускалась к плашкотному мосту через Зушу, и только чуть припустил ямщик — прокатить по приятному настилу, как из-под самых копыт вывернулось что-то отрепанное и грязное.

— Киньте ей пятак, барин, — сказал повернувшийся к ним ямщик, — а то, ну-ка, словами застегает. Настенька это наша, юродная... выйдет нехорошо.

— Кто, юродная?!.. — в тревоге, торопливо спросила Даринька, — дай, дай ей гривенничек скорей!...

Выглянула из лилий — и увидала невысокую, худенькую, девушку ли, старушку ли, — трудно было понять: лицо было вымазано глиной или илом. Юродная скакнула скоком к коляске, заглянула пытливо в лица, словно хотела запомнить их, — так показалось Дариньке, — стала на них креститься и тоненьким, совсем, будто, девичьим голоском крикнула:

«молодые едут, с цветочками!.. дай, молодая, цветочков Настеньке, Богородице их снесу... Младенчику поиграть, Младенчику поиграть!..»

Даринька, в испуге, сорвала зеленую ленту на букете, отняла половину лилий, оторвала непослушными пальцами кусок ленты, помогая зубами даже, обмотала цветы, шепча в испуге, — «Господи, Господи...» — и сунула юродной, ласково-нежно проговорив: «да, да... положи, милая, Пречистой... Господь с тобой...» А Виктор Алексеевич, встревоженный, как бы не принялась ругаться, сунул в сухую ручку, густо измазанную глиной, всю в трещинках, — рублевую бумажку. Настенька махнула на них цветами, — «не сердито, а благословила словно», — рассказывала Даринька, — и крикнула им во след: «вот добрые-то, хорошие... учись! учись!!...»

— Вот и хорошо, барин, — сказал ямщик, довольный, что обошлось по-хорошему, — она вас теперича признала, будет за вас молиться. Мы ее характер знаем... горевая она, замуж ее не выдали, мачеха не пожелала, разбила их любовь. А кого невзлюбит — словами застегает. Не шибко бранные, а слушать неприятно... одно и одно: «мучители-извергы... мучители-гонители!» — заладит и заладит.

Коляска пронеслась по мосту через довольно широкую, полноводную в этом месте Зушу и стала замедленно брать подъем. Дариньке очень понравился вольный плавучий мост, на смоленых дощаниках; легко дышалось крепко-дегтярным духом, пАривщей к вечеру рекой, медом начавшегося в лугах покоса. Она была вся захвачена встречей, трепетно-радостна, и все пытала у ямщика — как и что? Он рассказывал покойно и рассудительно — «прямо, философ прирожденный», говорил Виктор Алексеевич, слушавший и сам охотно:

— У нас не смеются над ней, как в протчих местах с такими... Есть, как же... по местам есть, в Оптину их привозят, отчитывать... ТихАя она, болезнущая, а кто говорит — будто и святая. Пять годов, как с ней произошло, недоумение-то... привыкли к ней. Да вот, все узнаете... ее хорошо Аграфена Матвевна знает, все про нее... которая в «Ютове» у вас, ютовских ребят воспитала, такая-то мудрая, бого-мольная! Очень пра-вильная, Тургеневых дворовая была, у Варвары Петровны, в «Спасском»[776], проживала, а после к Ютовой барыне прижилась, увидите ее. Не сладко ей, как барчуки гнездо свое на слободный воздух обменяли... как уж она расстанется теперича..? Настенька к ней похаживала, она все про нее обскажет.

Рассказ ямщика захватил и Виктора Алексеевича: близко, в десяти верстах, тургеневское имение «Спасское-Лутовиново»!

От романов Тургенева он был в восторге. Теперь они соседи, может быть и знаменитого писателя увидят и познакомятся, из-за границы нет-нет и наезжает сюда — охотиться. Отлично сделали, что купили «Уютово». Он залюбовался на Дариньку: она была вся унесена восторгом, «вознесена» — светилась.

— Она была неописуемо счастлива, — рассказывал он про этот, первый их «мценский» вечер. Простенький городок, приволье, живописно-обрывистая Зуша, луга и взгорья, рощицы, перелески, синяя полоса боров по горизонту, укрывавших «большие монастыри»... встреча с юродивой... все это было — родимый ее в о з д у х, чего она так искала. С первых минут приезда она преобразилась, о ж и в е л а: снова и снова обновлялась, открывалась такой, какой я не знал еще. Тогда, перед Рождеством, после ее чудесного выздоровленья, я видел ее расцветшей, п о ч т и такой... Нет, теперь она стала еще необычайней, н а с т о я щ е й. Эта встреча у моста, ну... явилась мне поводом для размышлений — порядка, так сказать, психологического, бытового, иллюстрацией нравов, в духе Островского, «темного царства» его, по Добролюбову[777]. Никакого значения для нас она не могла иметь. Так думал я. Но Даринька приняла этот заурядный случай очень чутко и углубленно, и оказалась права. «Случай с цветами» бросил на Дариньку в глазах городка особенный свет — п р и я з н и, неожиданно произвел некое «сотрясение» в сердцах «амчан», как по-старинному именуют они себя, дал толчок мыслям, чувствам... больше, конечно, чувствам, лучшим чувствам. И многое в нашей жизни, чего и учесть нельзя, связано с этим случаем. Он поражающе-наглядно закрепил мои размышления о фальшивой личине, о потенциально благостном в человеке, о чудесных его возможностях, о чем я думал и говорил за какую-нибудь минуту перед этим. Не странно ли? И бессвязный выкрик юродивой — «учись, учись!..» — оказался совсем не бессмыслицей, а полным глубокого значения не только для нас, но и для многих в городе, как увидите. И сама-то выкрикнувшая это, думается, и не разумела, и д л я ч е г о выкрикнула она. Так, выкрикнулось... н а д о было, чтобы т а к выкрикнулось. А народ-то «амчанский» по-нял, стихийностью своей внял это ее «учись»! Это и я постиг, только много спустя, когда обернулось живою жизнью.

Навстречу, с «главной стороны» города, лился дремотный перезвон. — «К Великому славословию[778], пожалуй», — сказала благоговейно Даринька. Она крестилась на я[в]лявшиеся над кровлями там и там кресты невидных еще церквей, озлащенные багровевшим солнцем.

— Господи, как чудесно!.. — сказала она взволнованно, — как это хорошо, что мы тут, совсем... светлая тишина какая, как я ждала ее..!

— У нас, барыня, хорошо, тихо, — сказал разговорчивый ямщик, обернувшись к ним, и Даринька увидала круглое, благодушное лицо, в русой, подстриженной бородке, приятно-мягкий, голубоватый взгляд. — Понятно, скушно зимой, снега у нас глыбкие, большие, сторона-то лесная близко, калужская... с нее и метет на нас.

4

11.V.44 <...>

А летнюю пору — самая дача для господ, из Орла даже приезжают, в имения. А «Ютово» рай чистый, цветы какие, ранжереи, фрукты-ягоды всякие. Покойная барыня до страсти цветы любила, только бы ей цветы... а хозяйством не шибко занималась, вот и барчуки в нее, не любят хозяйствовать. Аграфена Матвевна скажет ей, — «гречки хошь бы посеять, а то все в городу покупаем, стыдно даже, смеются, — “что ж вы, помещики, от своей земельки да в лавочку за крупой!”» Барыня-то еще до всякой птицы была охоча, какая безо всякой пользы живет, а питания требует диликатного, для глаз держала... Три павлины было, заморских... так им изюму брали, с чем чай-то пьют о посту... а изюм-то кусается, три гривенника за фунт отдай, а она ящиками брала! Плачет, бывало, Аграфена-то Матвевна! лучше бы, скажет, сапожки барчукам справили, нищему бы человеку помогли, а чего с вашей павлины хорошаго, один хвост!.. Ну, мы-то на шляпы пользовались.

Было приятно слушать неторопливую, покоющую речь благодушного ямщика, — как сказку. Коляска ползла-укачивала на ухабистой мостовой подъема. Начались домики нарядней, с резными наличниками, подзорами, с прозрачными рисунчатыми занавесками, здешнего тонкого вязанья на коклюшках. Сады с гвоздяными заборами — просторней, резные палисадники с цветами, медные дощечки на парадных, затейливые решетки на воротах, староверческие кресты над входами. Ото всего веяло уютом, мерной неторопливостью, крепким, простым укладом. В отворенные окна трактира было видно, как истово, враздумку, строго потягивают с блюдечек чайный кипяток [распо]тевшие мужики в рубахах, подперев блюдечко «тройчаткой», как цветут розаны на бело-пузатых чайниках, на разопревших лицах.

На все любовалась Даринька, все ласкало ее глаза.

— Всегда мечтала пожить вот так, в тишине, уютно... — сказала она, довольная, — как вот молятся в церкви... «благоденственное и мирное житие...»[779] Ходила с тетей на богомолье, всегда мечтала, — в таком бы вот городке остаться, жить просто-просто, пусть в бедности... вышивала бы гладью приданое богатым, на двадцать—тридцать копеек в день прожила бы, в церковь ходила бы. А в Москве суета, не жизнь. Ведь жизнь — это... когда и тело, и душа покойны, в Господе! Христос всегда говорил — «мир вам»... и в церкви о мире молятся... «мира мирови Твоему даруй»![780] Правда, ведь?..

Виктор Алексеевич был радостно удивлен, что Даринька разговорилась, стала «высказываться», — такого не было никогда за эти два года ихней жизни: таила в себе; боялась его учености; — стыдилась своей «неграмотной простоты»? Он это чувствовал. И вот, теперь, в этой тишине и простоте, стала смелей, доверчивей, — раскрывалась.

— Правда, Даринька, — искренно согласился он. — Ты знаешь это сердцем... а знаменитый мудрец наш, Лев Толстой, пришел, в сущности, к тому же, но только после долгих исканий, после мучительных шатаний. Ты му-драя у меня! — Всегда высказывайся, не таи в себе... это и мне полезно.

Он говорил искренно. И ему нравились тишина, уют. Вот где можно работать, думать. Все отговорки, что глушь засасывает. Вся Россия живет в глуши, и работает, творит, мыслит. Тут вот только и можно уйти в себя, душу выпрямить, — все зависит от доброй воли.

Совсем перед выездом на площадь с каланчой, Даринька увидала низенькую церковь, с невысокой круглой колокольней, смотревшую игрушкой: приятная была эта колоколенка, в березах.

— Одну минутку... — попросила она остановиться, — только поставлю свечку и приложусь... на новое, ведь, место едем.

Она вбежала по поросшей травою папертке. Виктор Алексеевич с удовольствием закурил. Ему не хотелось вылезать, не хотелось смущать молитвенный порыв Дариньки, — пусть ее. Да она и не позвала с собой. Покуривал и думал. Много нового будет для нее в усадьбе, пойдет теперь жизнь без взры

5

12.IV.44 <...>

окончание 2-ой главы «Путей Небесных»:

...без порывов, без потрясений, — «жизнь жительствует»[781], говорится где-то. В этом и жизнь — «без взрывов», «взры-

вы» — болезнь души, как, для тела, горячка. Сколько досуга будет, многое надо прочитать, продумать, вырешить главное, как Левин у Толстого. Надо побывать в «Ясной Поляне», отсюда недалеко, спросить совета. «Самого главного и не разрешил», — подумал он о Боге, о смысле жизни. Надо заняться Даринькой... «Ее внутренняя жизнь ускользает от меня, в ней какая-то смута, особенно после всего того... помочь ей разобраться... — укорил он себя, вспомнив, как мало давал ее душе, брал только чувственно, — и она стала отчуждаться, отсюда-то и это увлечение несчастным Димой... в нем пыталась она найти, чего я не дал ей...»

— Видать, богомольная у вас супруга, — сказал ямщик, — с божьего благословения всегда на новом месте надо, так полагается. Вот, дядя мой в Оптину ушел, в монахи... — счего-то добавил он.

«Было бы интересно Дариньке», подумал Виктор Алексеевич, и спросил ямщика, как его звать, и где стоит: понравился ему ямщик степенной речью.

— Нас в городе все знают, Донцовы мы. А я, значит, Арефа Костинкиныч Донцов. Папаша спокон-веку лошадок держит, когда еще и чугунки не было, до земских еще пунхтов[782] вольную гоньбу держали, с дедушки пошло, а то и ране. А жительствуем мы на Московской, сразу наш дом увидите, в два яруса, голубой, лошадка вырезная на крыше... и по голубятне признаете... высокая, через забор видать. Папаша до голубей охотник... как праздник, из церкви придет — к голубкам, любит погонять. Наши лошадки первые в городу, у цыганов лучше не бывает. Гляди-ты, Настенька барынины цветочки в церкву понесла... правильно, стало-быть, давеча сказала! Очень цветочки любит... с цветочков и недоумение началось у ней, стала из чайника на себя поливать, на платье... цветочное платье на ней было, это как жених смотреть ее приехал, фабрикантов сын, Клушкин Иван Петрович... а ей не желалось за него.

Виктор Алексеевич видел только черные от загара ноги юродивой: Настенька юрко скакнула в дверь. — Но лилии он заметил.

— Ее у нас все жалеют, не препятствуют... — продолжал Арефа. — Она по церквам обхаживает, и на блюдо подаст, чего дадут. Ваш рублик, барин, на пропой не пойдет. Есть у нас Митька Грош... напущает на себя, мелет-мелет всякое непонятное... ну, подадут, чтобы только отвязался, страшного бы чего не насказал. Раз и угадал, в точку попал. Все, бывало, кричит — «гроб несут, гроб несут!...» — ну, и страшатся. Мучнику

нашему Ходикову и насказал, не любил его Василь Петрович. Что ж вы думаете?!.. — на масленой насказал, а он возьми да и помри, в ба-нях... в Чистый понедельник! шибко парился, у нас страсть любят париться! Ну, еще пуще страшиться стали, а ему — барыш. Сорвет чего — на пивко сейчас, пиво шибко уважает, ба-рхатное все требует, золотой ярлык. А эта... и ребятишкам пряников-леденцов накупит, очень ребятишек жалеет... и они-то не смеются ей, жалеют тоже.

Виктор Алексеевич слушал Арефу с удовольствием. Предложил ему папиросу, но ямщик сказал, что теперь бросил баловство, зарок дал. А почему — не сказал. И это понравилось Виктору Алексеевичу. Тут вышла из церкви Даринька, особенная, радостно-просветленная, — «лучезарная», совсем такая, какой увидел ее Виктор Алексеевич в келье матушки Агнии, с осветляющими глазами, — юницу, воистину непорочную, в белом, все закрывающем одеянии... И теперь она была в белом, — в пикейном платье; только тогда головка ее была повязана белым платочком «белицы», с ясной полоской лба. Радостно-просветленно кивнула она ему, и он ответил ей взглядом забытых «встреч» и нежно поцеловал ей руку.

— Не долго, не сердишься на богомолку? — спросила она шутливо, запыхавшись.

— А цветы?! — спросил удивленно он, — только три лилии!..

Она блеснула глазами к церковке.

— Знаешь, и та... Настенька тоже пришла, принесла цветы!.. стала ставить перед иконой «Всех Скорбящих Радосте», будто это свечки!.. какие не втыкались, падали... ей стали помогать, и так все дивились на нее, и никто не мешал! И так молилась, будто совсем разумная... И на меня все... так смотре-ли... и я поскорей вышла. Все, должно быть, дивились, что у ней лилии, и у меня... это, ведь, редкие цветы, душистые лилии?.. и вместе почти вошли! Как хорошо, что ей не запретили ставить...

— Этого запретить нельзя, дело благоугодное, для Господа... — отозвался ямщик. — Ну, теперь я вас за двадцать минут доставлю, от города семь верст, дорога мягкая. Эй, ро-дныи..!

Город мелькнул мгновеньем. Свернули на мягкую дорогу. Зушей, по дубнячку, овсами, увалами, по взгорьям, раздольными хлебными полями. Поддужный колоколец визжал и ерзал в бойком уносе тройки. Дух захватывало от этой скачки, от резких поворотов вертевшейся, как юла, дороги, от теплого полевого меда зревших уже хлебов, кружившихся полосами пышных перин своих.

— Вон и «Ютово», по-над гривкой!.. — крикнул ямщик, — хорошо стоит, высоко... э-эй, маленькие... над-дай!...

Они ничего не различали, унесенные летом тройки.

В своей «записке к ближним» Дарья Ивановна писала о возложении лилий:

«Умилосердилась Пречистая, осияла душу мою, при всяческом недостоинстве моем, даровала покой и умиление. Так мне пришлась по сердцу бедная эта церковка, старенькая, с узенькими оконцами, со сводами корытцем. Народу было немного, все больше девицы и женщины. Уже кончили прикладываться к иконе Праздника на аналое. И так хорошо, легко молилось! Склонилась перед Крестителем, пошептала тропарик и в радости сердца возложила чистые лилии, знаменование Благовестия. Не было у Праздника цветочков. Тогда в нашем городке не убирали цветами иконы на аналое, только Животворящий Крест и св. Плащаницу, а местные иконы украшали венцами рукодельными, розанами из цветной бумаги. И вот, — да не возгоржусь, Господи! — приметила я: стали потом и на аналое полагать живые цветы, и в зимнюю даже пору, кому по силе-возможности, из теплиц. Цветы — самое чистое творение Господне, «премудростию Сотворшаго вся»[783].

III — «Уютово»

Дариньке с первого взгляда пришлось по-душе «Уютово».

Склонявшееся к закату солнце тронуло розовой медью липовую аллею въезда. Розовым промелькнули две колонки, — остаток былых ворот, — смотревшие в золотое поле. Зацветали липы. В благоуханном полусвете, под липами, в мягком звоне бубенчиков и колокольца, приглушенном тенистым сводом, выкатилась коляска на широкую луговину перед домом. Тронутый серебристым лоском гладкой своей обшивки, приземистый, широкий, загибавшийся флигелями по сторонам, с надстройкой, похожей на светелку и окаймленной балкончиком, смотрел ютовский дом стариковски подслеповато-благодушно радужными окошками в ушастых ставнях и как бы говорил ласково: «вот я какой простой, обжитой... по вас».

— Ах, какой же приятный дом!.. — сказала радостно Даринька, — и светелка даже... как теремок!..

Бывает в жизни: встретишься с человеком, и с первого взгляда, слова почувствуешь, как с ним легко, приятно, что называется — по-душе. Так же бывает и в предметном мире: придется по-сердцу местность, квартира, улица. Так случилось и с Даринькой: повеяло на нее уютом, лаской, будто родное

увидала. Было у ней такое чувство, — говорила она потом: «показалось вдруг таким близким, своим... будто я здесь все знаю... бывала здесь!» Почему-то представилось: «а там, впереди, как-будто огромная терраса... много-много цветов, река..?» И тут же подумала: «а направо, *кажется*... сараи, кухня..?» Взглянула направо, за лужайку, и радостно-удивленно увидала бревенчатую стройку, — людскую, кухню, дымок над ней... — будто давно знакомое.

— Это — необъяснимое явление в человеческой душе, как бы припоминание бы

6

15.IV.44 Св. и Вел. Суббота 10 ч. утра <...>

— Это — необъяснимое явление в человеческой душе, как бы припоминание бывшего или виденного во сне, как бы «сон прошлого»... — пытался объяснить эту особенность Дариньки Виктор Алексеевич. — Присуще это, думается, натурам духовно одаренным, с сильным воображением, как и большим поэтам... может быть и... святым? Ведь эта душевная особенность — *узнавать* никогда в подлинной жизни невиденное, как-то проникшее в душу... как бы родственно прозорливости, *узнаванию* еще не проникшего в подлинную жизнь, но уже назревающего, уже готового в каком-то... начертанном плане! Такое случалось с Даринькой не раз, будто она жила в разных путях Времени. Меня это натолкнуло на интересную работу-опыт, — «Механика двух путей Времени». Я ее бросил, когда понял, — не умом, а... духом понял! — что силами, известными механике, этого объяснить нельзя, это — иррациональное или... входит в область «механики духа», нам пока неизвестной. Тут — тайна. Вот, например, летанье во сне, всем до известной степени присущее. Чаще всего такие «крылатые сны» снятся в юности... какое дивное ощущение! Может быть это как-то связано с... провидением ретроспективным?.. это дивное чувство окрыленности, так радостно ощущаемое нами... что это? Не припоминание ли утраченного нами блаженного «полета», возвращаемой нам на миг легкости духа нашего... забытого райского блаженства?.. Не по Дарвину же *это* объяснять? Почему не видим себя ползучими гадами, хищниками, пожирающими трупы, тиграми, гиенами?.. а вот, почти-ангелами — видим! Помню, в каком упоении летал я с одной стороны улицы на другую: чуть притопнешь — и не слышишь земли, своего веса, а — легкокрылость, парение! Проснешься, — какая же грусть, что это толь-

ко сон, что не крылат ты! Так вот, Даринька... помню, сходя с коляски, в первый приезд в «Уютово», почему-то радостно-робко озиралась, будто что-то хотела вспомнить, как бы нащупывала во тьме глазами. И вдруг, показывая на дом, сказала, словно спрашивая себя, припоминая, как в полусне: «т а м, т у д а... — она помотала пальцем за дом, — большие окна, до земли, полукругами сверху..?» Так и оказалось: окна дома, выходившие на цветник, к реке, были до пола, арками! Еще поразительней было с клумбой, как вы увидите. Она прознавала то, чего еще не видала, но что б ы л о. Нечто похожее — «сон прошлого» — отмечает в своих стихах поэт гр. А. К. Толстой. Помните...? —

«И так же шел жид бородатый,
И так же шумела вода...
Все это было когда-то,
Только не помню — когда..?»[784]

Разубранной цветами тройки в «Уютове» не ждали: ждали новых владельцев, на обычной городской «паре гнедых», в развинченной до дребезга извозчичьей «коляске», — и такой пышный въезд оказался как бы приездом важных гостей на праздник: как раз были именины Аграфены Матвевны, старинной домоправительницы «Уютова». В этом Даринька увидала нечто ободрительное и знаменующее.

Только они вошли в дом, Даринька сразу н а ш л а - у з н а л а огромную террасу, спускавшуюся полого, широкой лестницей, к великолепному цветнику. Цветник был, поистине, царственный, «чуть ли не петергофский, — по словам Виктора Алексеевича, — куда роскошней и больше, чем так восхищавший Дариньку — перед Александровским дворцом в Нескушном Саду, в Москве». Он расстилался тремя уступами-площадями, спускаясь к затейливой решетке, тянувшейся по крутому берегу над Зушей. На средней его террасе было озёрко, поросшее белыми кувшинками, с островком, голубым от незабудок и колокольчиков, что привольно растут в низинках. Над ними клонилась-грезила плакучая низенькая ива. В восторге, Даринька вскрикнула — «Го-споди... красота!.. Жасмину-то... жасмину! как я его люблю!..» — Тут они услыхали приветливый голос за собой:

— Здравствуйте, барин... здравствуйте, барыня. С приездом. Дай, Господи, жить счастливо.

Так, в созерцании красоты, на западавшем червонном солнце, произошло первое их знакомство в «Уютове» — с Аграфеной Матвевной Думновой. Виктор Алексеевич особенно

отмечал «светлую» эту встречу, как бы «им посланную». Речь Аграфены Матвевны певучая, плавная, растяжечкой, напомнила ему матушку Агнию, душный июльский вечер, благоухающие цветы Страстного, явление светоносной Даринькн. То же почувствовала и Дарья Ивановна, отметившая в «записке к ближним»:

«Никогда не видала я такой красоты цветов, как в этот, первый, наш день в “Уютове”. Какое было солнце, как шар пунцовый! Будто ангелы пели в сердце: “...пришедше на запад солнце...”[785] Никогда не забуду розовый свет вечерний по цветнику. И вдруг, услыхала милый голос, напомнивший дорогую матушку. И приняла его, как светлое знамение мне. Это Аграфена Матвевна, бабушка-Аграфеночка нас встречала. Пожелала нам счастливой жизни, так просто, так душевно».

Нельзя сказать, чтобы лицо Аграфены Матвевны было приятное, располагающее: оно было, скорей, суровое, закрытое, старо-иконное, будто в себя глядящее, озабоченно-деловое, — лицо русской старухи, привыкшей обдумывать, править делом. Виктор Алексеевич отмечал ее независимый характер и прямоту, — ее «на-чисто все выкладывать». Эта ее черта тут же и обнаружилась. Аграфена Матвевна «выложила все на-чисто»:

— Умеете ли вы, барыня, в хозяйстве, не знаю. Молоденькие, вряд ли умеете. Сдам вам ключи, все на ходу хозяйство, и по дому, и по двору... пообглядитесь. Я тут двадцать три года прожила, привышная. Нужна буду, придусь по ндраву, при вас останусь... нет — отойду, есть у меня куда. И к вам поприсмотрюсь, по душе ли мне будете, какой тоже у вас характер... А так, глядеться... ндравитесь вы мне.

— Мы были очарованы ее прямотой, — вспоминал Виктор Алексеевич, — ее независимостью, самоуважением. Когда-то она была дворовой Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя. И вот, из-под деспотички, какой была ее барыня, перед которой тянулся и сам капитан-исправник, — остаться такой цельной и независимой, без единой черточки «рабы»! Что ее сохранило так? Поняли мы потом, что сохранило... как и многих в народе нашем. Эту её свободу Даринька сразу оценила, каким-то своим чутьем. И как же мудро выразила себя! Обычно, порывистая, горячо отдававшаяся всему, что ей по-душе, тут она спокойно, деловито, как бы в тон Аграфене Матвевне, высказалась:

— И вы мне нравитесь. Без вас я ничего не сумею в таком большом... в таком хозяйстве... я растеряюсь, никогда не жила в имении, городская я. Если останетесь, буду стараться делать,

как посоветуете. Буду рада, если останетесь. А жалованье... уж сами вы назначьте.

Она взглянула на Виктора Алексеевича. Он сейчас же сказал: «да, да... приглядитесь, подумайте — и решите».

— Ну, что ж, и хорошо, — сказала Аграфена Матвевна, — спешить некуда, поживем — увидим. А хозяйству, барыня, научитесь, наука не хитрая, бабья наша... Хозяйство, понятно, не любит сложа руки... тогда и веселит. А полевое своего требует, это уж бариново дело. Думаться так, и в нашем «Ютове» без убытку можно вести хозяйство, вот, ежели без лишнего баловства. Только, ясно дело, расходов требует, а тогда и с лихвой воротится. Потому-то мальчики и продали, что денег нет... да и воли им захотелось, потянуло ту

7

16.IV.1944 Светлое Христово Воскресение <...>

Продолжение 3-й главы «Путей Небесных»

...да и воли им захотелось, потянуло туда-сюда, крылышки-то подросли. А я, сказать правду, как отговаривала... родимый кров бросать. Ну, что у них теперь... ни сбывища, ни скрывища, ни крова, ни пристанища! Ну, вышло — вышло, на все воля Господня.

Прямота Аграфены Матвевны оставила в них обоих чувство душевной легкости, будто они давно сжились с ней. Она спросила, что приготовить им на ужин, то-то и то-то есть, к проводам «мальчиков» готовила, завтра они отъедут... да они не постятся. Можно и постного подать, «петровки»... похлебка со свежими грибами и лещик жареный, коль постятся, и пирог с клубникой... на именины как раз попали, Аграфены Купальницы сегодня. И так это просто вышло, что они тут же ее поздравили и на минутку прошли в людскую, — Дариньке пожелалось так.

— И сразу закрепилось наше знакомство-встреча, — вспоминал Виктор Алексеевич этот безоблачный, первый их день в «Уютове». — Аграфена Матвевна оценила это движение Даринькиной души. Этот случай, как и происшествие с лилиями, покатился по городку и произвел удивительный эффект. Ничего, кажется, чрезвычайного не произошло, зашли мы на минутку, ничего не подчеркивая этим, не играя в «народолюбие»... вышло само собой, до презента коробки абрикосовского мармаладу из нашего московского запаса. И Аграфена Матвевна приняла наше посещение и подарочек

с той же спокойной простотой, с какой только что спрашивала, чего приготовить нам на ужин. А в итоге оказалось немалое, неуловимое никаким учетом: в душе творилась некая молекулярная работа.

В большой и чистой «людской», рассчитанной когда-то на полсотни дворовых, сидели гости: ямщик Арефа, ютовская матушка с дочкой Надей, только что ото всенощной, — поджидали и батюшку, позадержавшегося на требах, — бывший бурмистр из тургеневского «Спасского», какие-то старушки и «ребята Ютовы», как называли в округе бывших владельцев «Уютова». Появление «новых хозяев» не то, чтобы удивило, а как-то хорошо всех насторожило. Перезнакомились, поздравили именинницу рюмочкой отличнейшей вишневки, отведали именинного пирога. Надо было устраиваться, падали сумерки. Как раз подъехал и Карп с Анютой, и их усадили праздновать. И вот, что такое благостное в людях, — отмечал Виктор Алексеевич: и у него, и у Дариньки осталось от этого «именинного визита» такое чувство, будто сегодня праздник. Не помешало такому настроению и нечто курьезное, — старший Ютов.

Этот парень, лет 20, крепко сбитый, скуластый, с русой бородкой а-ля-мужик, сидел за столом оперным бандитом: в широкополой шляпе, — Аграфена Матвевна раза два сказала ему — «шапку-то бы снял, Костя... ведь образа-а!..» — но он, будто, и не слыхал, — в красной рубахе, с суковатой дубинкой, с которой так и не расставался. Знакомясь с Даринькой, буркнул мрачно — «Ютов Костинкин, студент-медик...» — и прищурил в усмешку глаз. Виктор Алексеевич видал его, когда приезжал покупать усадьбу, и у нотариуса, и оба раза — в той же красной рубахе, с палкой. Значения сему не придал: так, под «народника» играет, мода такая, от «петровцев-разумовцев»[786], — несколько, правда, запоздавшая. Но Даринька удивилась: студент, а такой... чудак! Но тут Ютов показал и другие качества. На обычное, мимоходное, Виктора Алексеевича — «а, здравствуйте, очень рад...» — насмешливо-грубовато бросил — «ужли рады?» — и тут же спросил небрежно: «а остатние две тыщенки привезли?» Виктор Алексеевич поспешно отозвался — «как же-с, сейчас получите», а Даринька совсем смутилась. Тут Аграфена Матвевна не выдержала — остановила: «ты бы, Костя, повежливей!..» Но Ютов не унялся. — «Ну, нянюшка Матвевна, святым людям не подобает заниматься пустяками мира сего!» Гости не дивились такому тону студента-медика — привыкли, видимо. Аграфена Матвевна только рукой махнула и сказала: «да не такой,

ведь, ты, настоящий-то, а так... напущаешь на себя!» — «Ну, именинница, не серчай», — сказал уже добродушно Ютов. — «Идемте, по-мещики... введу вас во владение».

Даринька не знала, что и думать, смотрела во все глаза. И удивилась, что Виктор Алексеевич сказал Ютову, совсем приятельски: «вы что... под Базарова запущаете, или под Марка Волохова?»[787] Это подействовало отлично: Ютов сперва, словно бы, смутился, но тут же добродушно рассмеялся, сказал просто: «да ни под кого, а... терпеть не могу условностей и освобождаюсь». Его брат, юноша лет 18, нежный лицом и белокурый, молчал смущенно.

Уже в сумерках, ходили они по комнатам. Дом оказался куда обширней, чем показалось Виктору Алексеевичу в первый его приезд. Захваченный неотвязной мыслью — скорей купить, такое было в нем чувство «непонятной спешки», тревога даже, как бы не передумали, он признавался, что покупал как бы заглазно, ничего как следует не осмотрев, не обошел даже всей усадьбы, не оглядел угодий, — «за пять минут купил, как кота в мешке». Оказалось чуть ли не двадцать комнат, и еще в мезонине три. Мебель была старинная, крепостной работы: и карельской березы, и под красное дерево, много от прошлого века, в прокладках меди, цветного дерева и перламутра, — столики, секретеры, несессеры, шкатулки с тайничками, резные трюмо и зеркала, люстры и бра-настенники, в гирляндах из хрусталя... — Даринька и глазам не верила, такая роскошь! Виктор Алексеевич чувствовал себя смущенным: не грабит ли он юных наследников, купив все за 12 тысяч? — хотя и знал от нотариуса, что усадьба-дача продавалась больше года, и никто не давал за наличные больше 7—8. От множества комнат, коридоров, закоулков, лестниц и лесенок, балкончиков, переходов... — у Дариньки закружилась голова. А когда поднялись в светелку, где угловые комнаты, на цветник и Зушу, со шторами от солнца, были, как огромные фонари, она воскликнула, выбежав на балкон: «Господи, красота какая!..» Ютов взглянул на нее и усмехнулся:

— Как кому... Красота — понятие отно-сительное. Красота, например... когда я вскрываю тру-пы!..

Даринька даже отшатнулась и крикнула с возмущением, что изумило Виктора Алексеевича:

— Это ужас, что вы говорите! Равнять такое... Все, все... — показала она на цветник, на Зушу, на даль за нею, где, за темневшими в сумерках полями, мигал золотыми точками громыхавший поезд, — все чудесно-живое... дышит... все — красота Господня!..

— Как кому... — не унимался, будто поддразнивая, Ютов, продолжая всматриваться в нее. — Когда я смотрю под микроскопом клеточку любой ткани...

— Неужели вы ничего не чувствуете?!.

— Почему это — ни-че-го? — усмехнулся Ютов, которому было забавно ее дразнить, так это было ясно. — Нет-с, и я чувствую кое-что... хотя бы желание немножко вас рассердить...

В белом платье-пике, в откинувшейся назад соломке с васильками, с горячими глазами, досиня потемневшими, она была, действительно, прелестна. И другое еще отметил Виктор Алексеевич: она была — свободна, воспламенилась, заспорила, чего не случалось прежде.

— Вот как!... — смутилась сначала Даринька, и вдруг, по неопытности и простосердию, и в самом деле вспыльчиво приняла шутливые слова студента за «неслыханную дерзость»:

— Вы, просто, духовно слепы! — воскликнула она и отвернулась, — у вас нет вкуса... к красоте!..

Виктор Алексеевич, не веря своим ушам, как Даринька могла так «разговориться», не выдержал, крикнул — браво!

— Ну, это по-ло-жим... вкус-то у меня е-эсть... — не унимался Ютов, явно любуясь ею, — к красоте в женщине, например... и — к отбивным котлетам!

Даринька так и вспыхнула. Она хотела ответить резко, дать понять этому «нахалу» непристойность таких сравнений, — говорила она потом Виктору Алексеевичу, — и не ответила. Виктор Алексеевич сказал шутливо:

— Да вы в самом деле такой ци-ник... или «напущаете на себя», произвести впечатление? Дешевенький нигилизм и всяческое «наплевайство», оказывается, еще в моде... провинция-матушка.

8

18.IV.1944 3-й день Св. Пасхи <...>

...оказывается, еще в моде... провинция-матушка!

Ютова, видимо, задело. Он пробовал острить насчет «духовной слепоты», но ничего не вышло: Даринька не отвечала. Виктор Алексеевич передал ему две тысячи. Ютов сказал, что завтра покинет родное пепелище чем-свет, — «дорожная сума готова», — давно мечтал весь Крым исходить пешком.

— Теперь есть, на что... — сказал он, и Дариньке послышалось в тоне его слов — «таимое что-то, горькое».

«Потому-то и продали», — подумал Виктор Алексеевич, и пожалел его, опять чувствуя укоряющее-тревожное, — «воспользовался неопытностью, задешево купил...»

— А вы что... подумали, потому мы и с «Ютовым» расстались?.. — уловил его мысль студент.

— Пожалуй, угадали... — сказал не без удивления Виктор Алексеевич.

— Матвевна наша только об этом и долдонит, да и прочие народы. Понятно, не потому. Держать наше «Ютово» в том порядке, как нравилось покойной маме... она не могла иначе... — раздумчиво сказал Ютов, забыв «ломанье», — без средств нельзя. Содержать такие цветники, оранжереи, грунтовые сараи... вы еще не видали всего, что главное тут, без чего мама не могла... нам не под силу. Можно бы перестроить хозяйство... я в этом кое-что смыслю, когда-то, гимназистом, увлекался... но на таком клочке, в тридцать-сорок десятин, надо вводить интенсивное хозяйство, высокие культуры, — куроводство, молочное дело, шелководство даже, с плантациями скорцонера вместо шелковицы, для выкармливания червей... надо иметь деньги. Я мечтал даже добывать цветочные эссенции, — это идея мамы... И вот, в земские врачи готовлюсь, пойду к народу... Не думайте, не «по течению» плыву, а так, ну... нравится так!.. Ну, и пришлось продать, надо кончать университет, на это хватит. А пока... — и он, — «с грустной улыбкой», отметила Даринька, — обратился к ней: — доеду до Крыма, и пойду пешедралом созерцать кра-со-ту! Пусть, по-вашему, — «красоту Господню». У нас с Алешей от мамы это. Цветы... для нее это было в с е. И она так же говорила про «красоту», как вы. Ну, «Господня»... это, ведь, не меняет сущности. Алеша, если разрешите, побудет здесь с недельку... хочет закончить прощальные этюды — с в о ю красоту. Он у нас художник, ничего себе, кажется... Крамской хвалит. Кстати, увидите там, в «угловой», где сложено наше... отличный портрет мамы, еще совсем молодой... Крамской писал, старый наш друг семьи. А потом поедет на летнюю работу, в выучку к нему...

Когда он говорил это, своим настоящим голосом, — «до трогательности простым и искренним», по словам Виктора Алексеевича, Даринька в волнении слушала его, и «ей хотелось плакать».

— Сложна душа человеческая... — вспоминал Виктор Алексеевич этот «разговор в сумерках», на балкончике светелки, — сразу как-то оттаял парень. Удивительно нежно произносил он это ласкающее слово — «мама»! Может быть отчасти повлияла и непосредственность Дариньки, ее открытость, я с н о с т ь... и, главное, конечно, — расставанье с родным гнездом. Было и еще, о чем мы тогда и понятия не имели, что

поразило нас, особенно Дариньку... связало с этими «мальчиками»... Словом, Ютов сразу как-то... как это..? — приручился. Все напускное соскочило... Ведь чаще всего «напускают на себя» натуры несильные, стыдливые, детские... ну, такое же вот, когда дети смущаются чем-нибудь и начинают ломаться, «кривить ножки». Ютов не давал нам разбираться, смущался, видимо, что мешает нам, и не уходил. Алеша не проронил ни слова, а когда брат говорил о нем, — краснел, как девица. Да и лицом был, как девица, — что-то мечтательное, хрупкое было во всей его фигуре, — противоположность брату, он был стройный, высокий, «ломкий», — в нежной и тонкой шее, в устремленном куда-то взгляде, во что-то — вне.

Словом, грубоватый Ютов оказался удивительно сердечным, мягким, очень начитанным. Когда говорил о «нашей старушке», в голосе слышалось волнение. Да он и сам сказал, что грустно вот с «нянькой» расставаться:

— Вы ее узнаете — и оцените. Приласкайте ее, стоит она того. Сколько она всего повидала, знает... порасспросите ее, сама не скажет, ту-гая она, навязываться на разговор не любит. Когда бывает тут, чаще — к концу лета, «европеец» наш, Тургенев[788], всегда присылает за ней нарочного — повидаться. Я хорошо знаю, много он от нее взял в свои рассказы... не говорю уж о «языке»... вдруг почувствуешь — «Матвевна наша!» Это как у Пушкина — Арина Родионовна. Да, кстати... она, ведь, очень хорошо знала ту Лукерью, с хутора «Алексеевки»... помните, «Живые мощи»?..[789] Не читали?.. — удивился Ютов, — как, неужели не читали... «Живые мощи»?!.. — с изумлением переспросил он.

Даринька смутилась, вспыхнула. Смутился и Виктор Алексеевич: помнилось смутно, — кто-то болел, в сарае..?

— Непременно прочтите! Это же здешнее, вся округа знает, из стариков. Там-то и есть это... — улыбнулся Ютов, — «красота Господня». Наша Матвевна Лукерью ту за святую почитает... и кается. А вот... Сама она этого вам не скажет, и никому не скажет. Я про этот ее «грех», как она называет, — про себя, конечно, — слышал от спасского бурмистра Тихоныча. Тургенев, конечно, знает, но, в своем рассказе, о нашей Аграфенушке говорит скупо[790]. А вы спросите Матвевну, как ее фамилия... Думнова — это по отцу, а по мужу — Полякова она. А Василий Поляков когда-то был Лукерьиным женихом, у них была страстная взаимная любовь... и кончилось все — «мощами»!.. Непременно прочтите.

Даринька загорелась, спросила, порывисто-наивно, где достать эту книжечку, «про “Живые мощи”. Ютов с недоуме-

нием, чуть, опять, и с усмешкой даже, изучающе, оглядел ее, как-будто хотел спросить: «да с кем я имею дело...»

— Везде!.. — вскинув плечами, воскликнул он, — в любой читальне, в каждой начальной школе!.. это же в «Записках охотника»!..

Даринька со стыда сгорела. У ней даже проступили слезы, и она растерянно взглянула на Виктора Алексеевича.

— «Провинциалами»-то оказались мы с Даринькой, — вспоминал Виктор Алексеевич, — не «провинциалами» даже, а, просто, невеждами: не знали путем и того, что знают школьники. Не знать тургеневского шедевра! Ютов не стал нас вышучивать, виду не подал даже, что уличил нас в безграмотности. Он достал из портмоне серебряный ключик на шелковом шнурочке и вручил Дариньке, говоря: «все книги в вашем распоряжении, там все найдете». Дело в том, что свою библиотеку Ютовы продать нам отказались, — а я им предлагал за нее две тысячи, было с десяток изящных шкапиков черного дерева, с прокладкой из серебра, и большинство томиков в «гагеновских» переплетах: библитека, семейные портреты, картины и разные семейные реликвии были включены в сохранную расписку и временно оставлены в усадьбе, помещены в «большой угловой».

Передавая ключ от этой комнаты, Ютов добавил, совершенно неожиданно для них:

— Как я рад, что именно вы купили «Ютово» наше... уверен, что оно будет в сохранности.

И, говоря это, особенно как-то пристально глядел на Дариньку. Виктор Алексеевич, рассказывая об этом «непонятном доверии» к ним, особенно отмечал выражение лица Ютова: «оно было в тот миг удивительно нежно, с оттенком неопределимой грусти...» Подумал тогда — «что это с ним..?» Он был поражен таким оборотом дела, таким «чудесным раскрытием души»: да, сложна душа человеческая!..

— Почему такое доверие к нам? — спросил он. — Вы не ошиблись, но... вы же совсем нас не знаете!..

9

17.V.44 <...>

— Не знаю... — сказал неопределенно Ютов, всматриваясь в Дариньку и как бы соображая, почему он верит, что все будет в сохранности. — Подумалось почему-то так... Дарья Ивановна так радостно приняла все это, — махнул он на цветник, — а маме так было это дорого! Вспомнилось, как она все

лелеяла, жила всем этим... так ярко вспомнилось, будто я слышал ее голос, видел ее лицо.

Последние слова он сказал как бы про себя. Видно было, как он взволнован: даже закусил губы, стараясь подавить волненье, и отвернулся. Так это было неожиданно, после «напускного».

Так случилось «удивительное проявление Даринькиной души, словно взволнованность Ютова передалась ей», — как бы подчеркивал Виктор Алексеевич.

Неожиданно для Ютова, — он чуть подался и поглядел тревожно, — Даринька схватила его руку, взглянула ему в лицо и, в сильном волнении, побледнев, начала говорить прерывисто:

— Ради Бога, простите, милый... я ошиблась, подумала... когда вы так... шутили! Это же горечь, а я подумала... мне показалось грубо. А теперь я вижу, что вы хороший... о маме так... вы славный, я это чувствую! Какое счастье, светлое-светлое... что мы... родное ваше, ваше «Уютово»...

— «Ю-тово»... — тихо поправил ее Ютов, не отводя взгляда от нее.

— Ах, да... «Ютово»..? А мы... «Уютово», меж собой... так сбылось в нашей жизни, будто так н а д о было, после в с е г о... — говорила она, сбиваясь, стараясь удержать слезы. — Вот, сама не знаю, почему так волнуюсь, плачу... — шептала она растерянно, по-детски, — но вы поймете... я хочу сказать... — не находила она слов, — что вы... я чувствую!.. — прижала она руку к сердцу.

«Константин Ютов странно как-то вглядывался в нее, — рассказывал об этом случае Виктор Алексеевич, — и на его лице был как бы радостный испуг».

— Да, я чувствую!.. — говорила проникновенно Даринька, — чувствую, как вам все это дорого... до скорби чувствую!.. И вот... видит Бог... все, все здесь, дорогое ваше, будет так же, как было при вашей маме, как теперь... даю вам слово!... — и она поглядела на Виктора Алексеевича, спрашивая взглядом, как бы ища поддержки, одобрения; он поспешил сказать: «да, да... именно так, как ты сказала!» — Знайте, милый... я вижу, как тяжело вам покидать... но вы же не покидаете... все остается с вами!.. — сказала она твердо, — вы у себя здесь, всегда, пока мы живы...

«Я был потрясен таким порывом ее сердца... но этого не высказать словами, — вспоминал Виктор Алексеевич эти “искры сердца”. — Вскоре я понял все: в них обоих, в неисследимой душевной глубине, таинственным инстинктом, приотк-

рывалась подлинная сущность их отношений в будущем. Оба они как бы разгадали, нашли друг друга. Даринька вскоре узнала все, была потрясена, и радостно, и горько, и увидала в этом — указание. Ютов — не узнал этой горькой Даринькиной тайны. Но что-то чувствовал... догадывался, может быть? — не знаю. Ни словом, ни намеком не высказал. Аграфена Матвевна, думаю, знала что-то: чувствовалось это потому, как она обходилась с Даринькой. Но она — крепкая: ни слова, ни намека. Надо еще сказать, что, продавая нам усадьбу, Ютовы выговорили, на пятилетний срок, жить летом в "Ютове", на даче, во флигеле, три комнаты. Конечно, я охотно согласился, и забыл сказать об этом Дариньке. И вот, она почувствовала сердцем душевную потребность братьев не порывать с родимым домом, — и так дополнила-сказала: "навсегда... все как бы остается по-прежнему". Ютов был потрясен ее порывом, ее необычайной нежностью. Как-то весь засветился, смотрел на Дариньку благоговейно, свято, как на образ. Теперь это был совсем другой, с ним совершилось чудо преображения! Даже его красная рубаха — пропала, и оперная шляпа, и дубинка: я не замечал их. Голос, лицо, глаза... — ну, все другое. Помню лицо Алеши. Он и тут не проронил ни слова. Сидел на перилах балкончика светелки и неотрывно смотрел на Дариньку. И как смотрел! Он взирал, вби-рал. В его недвижно-устремленном взгляде раскрытых глаз, — действительно, прекрасных, больших и чистых... необыкновенно светлых, мягких, мечтательных, ушедших, потонувших в ней... — было и поклонение, и восторг. Это был взгляд проникновенного художника, — он это потом и обнаружил в своих работах "одухотворенной жизни", русских недр духовных, — взгляд мастера, лелеющий неуловимый образ, вдруг давшийся.

— Вот, ка-кая... вы!.. — проговорил, чуть слышно, Ютов. — Благодарю... — и он склонился перед Даринькой: не поклонился, а, именно, склонился. — Да, вы почувствовали верно... — продолжал он, оживившись. — Правда, было нелегко... все эти дни, последние. А теперь легко! — сказал он, радостный и удивленный, и улыбнулся светло. — Знаете, такое ощущение, будто никакой перемены не случилось, а... продолжается! — и рассмеялся, совсем по-детски.

— Соловьи!.. — воскликнула Даринька, — как близко... тут, в кустах!..

— В мае послушали бы!.. Теперь — последние, короткие коленца, неполные... — Вон, на островке, маленькая где ива... «грустной малюткой» мама ее звала... всегда у них гнездо бы-

вает, в незабудках. Привыкли, не боятся. Да везде... и по жасмину, и по Зуше... заросли там черемухи.

Пели соловьи. Чудесно-нежно, последние. Один — в жасмине, под балконом, другой — к реке. Один послушает — ответит. Так, чередовались. Вправо, за усадьбой, где село Покров, церковный сторож отбивал часы, — как в сковородку: ... ...девять... десять.

— Де-сять?!. — спохватился Ютов. — Вам надо разобраться, а я мешаю. Завтра рано, с пятичасным... В Орле еще подсядут... целая нас компания. Значит, до сентября. А знаете, и уезжать не хочется! — сказал он — будто удивился. — Ну, увезу с собой, нечаянную встречу!.. — проговорил он шутливо-грустно.

Было хорошо, легко.

В большой столовой засветили лампу. Кто-то, неслышный, приготовил ужин: цыплята, лещ с кашей, варенец, «свой хлеб», чудесный. В большие окна-арки глядела ночь, вливался пряный аромат жасмина, мешался с крепким духом от разогретой за день ели. И тут пел соловей, в кустах. В селе Покров играли на гармоньи, кричали песни. За рекой — в пролеты комнат было видно — костры горели.

Все было необыкновенно вкусно, ели с аппетитом. Даринька такого хлеба — «никогда не ела, с медом будто, — похож на монастырский». Ютов совсем освоился. Было у всех такое, будто давно знакомы, близки.

— Сегодня как раз под Иван-Купалу!.. — говорил Ютов, — жгут костры. Здесь еще уцелели «игрища», прыгают через огонь, кричат с особым ударением, на «о» — «О-гни!.. О-гни!..» — осколок заклинаний, что ли. «Огни» значит, по-санскритски, — «огонь».

И квас был необыкновенный — стоялый, крепкий, — «нянькин квас».

— Так и зовется — «матвевнин». Имейте в виду, — смеялся Ютов, — у нас от старины осталась некая «квасная натуральная повинность»: в чистый понедельник Матвевна посылает сколько-то бутылок покровскому батюшке, и еще — ведерко квашеной капусты и огурцов. А ка-пусту... заквашивает особенно — «с молитвой»!

— Какая прелесть!.. — восхитилась Даринька, — как в монастырях!..

— Да, тут много любопытного. Иной раз вдруг представится, чуть ли не в девятом веке, при Перуне!.. И еще теперь, в ночь Купалы, старухи собирают травы... и недурно лечат! Есть тут знахарка... рожистое воспаление «ручником снимает»,

полотенцем. Привозят из Орла, из Тулы, совершенно безнадежных. Доктор все добивается понять, в чем дело. Почему-то тут нужно еще «лягушечье г н е з д о». Вот уж кто чи-

10

17.V.44 <...>

Конец 3-й главы «Путей Небесных»:

Вот кто чистейший-то нигилист, — доктор наш!.. Базаров перед ним — младенец чистый. И вот, перед этим «чудесным» полотенцем, только плечами пожимает и кривится. Хороший врач однако. Часто с ним мама спорила, не терпела его цинизма. А Матвевна... как-то он с ней схватился... как же его разделала!... Много любопытного увидите. Если интересуетесь, найдите у нас книгу — «Амчанская старина», о нашем крае... папа написал. Этнографы очень ценят. Вы всего поместья не видали еще... Так любите природу — сколько же в одном саду увидите! начнете открывать «причуды» наши... соседи-практики, так, о нашем Ютове. Думаю, — вам понравится.

Так разговорился Ютов.

Кто-то приготовил им постели, в приятных спальнях. Дариньке — в голубоватой, в серебристых птичках, с огромным окном в цветник. Виктору Алексеевичу — в лиловом кабинете, затененном елью. Так и оставили, — пришлось по сердцу.

«А завтра сколько... всего, всего..!» Детская эта думка мешала Дариньке молиться, к окну тянуло. Она подняла штору. Розово-золотистый месяц на ущербе выглядывал из-за кустов, прищурясь: «ну, как на новосельи..?» Соловьи все пели. Пахло сладко петуньями, дурманно-страстно — никотианой, ночной красавицей. Глушило пряный дух жасмина. Запах петуний напомнил милые цветы Страстного... многое напомнил. Даринька поглядела в небо. Звезды мерцали редко, бледно, — мешали зОри. Чувствуя, как замирает сердце, как вся она полна чудесным, легким... светлым детским счастьем, она упала на колени в огромном, до-пола, окне, будто она на воле, под этим небом. Не было слов, не было сил молиться, — так ликовало сердце.

Долго не могла заснуть. Лежала, охватив подушку... — соловьи мешали. Сковородка в селе пробила — раз. Дремалось, сладко: «глупые... мешают...» И была светло рада, что мешают, — до слез, как в детстве. В ногах звенело нетерпеньем — побежать, сейчас, на островок... гнездышко у них... Видела островок, весь голубой от незабудок, «грустную малютку»... «Как

чудесно... побежать,... петь вместе с глупыми...» И улыбалась, в сладкой дреме: «а завтра, ско-лько..!» И улыбалась, и молилась, — «Господи, благодарю Тебя... за все...»

Об этой первой ночи в «Уютове» Дарья Ивановна вписала в свою «Записку» — «незабываемые строки». По словам Виктора Алексеевича, — «в них сказалась вся ее душа, вся сущность».

Вот, что она вписала:

«Тогда впервые сердцем познала я дарованную Господом милость людям, неоценимое счастье — жить. В ту первую ночь в “Уютове”, смотря на небо, я так почувствовала Бога! До сладких слез, до радостного замиранья сердца. Почувствовала Его в звездах, в колыханьи шторы, в благоуханном дуновеньи, как дыханье от цветника. Почувствовала и в пеньи соловьев, и в несказанном счастье, что я живу и никогда не умру, ибо я сотворена по Его Воле, Его Словом, и буду вечно. Почувствовала Его в сердце своем, и оно трепетало счастьем, свято, как никогда до того. Как бы почувствовала искру в сердце, и... этого нельзя постигнуть... видела эту искру в своем сердце! Эта святая искра стала во мне светить все ярче, стала во мне — как неопаляющий, но все озаряющий огонь. Господь показал мне путь — познавать Его. С того дня каждый день жизни моей стал познаванием Его, стал Осанной Ему... через красоту Творения Его. Чем измерю безмерное счастье — ж и т ь? Как выскажу? Есть ли слова такие? В псалмах, только. В ту ночь вспомнила я любимое слово матушки, ее молитовку. Всегда она вычитывала ее сладостно и благодарно, — любимый и мною ирмос: “Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество”»[791].

Виктор Алексеевич говорил, что в этом Даринька обрела «путь жизни».

Конец 3-ей главы

11

25.V.44
Вечер <...>

IV — БЛАГОСЛОВЕННОЕ УТРО

Утро первого своего пробуждения в «Уютове» Дарья Ивановна вспоминала светло до конца дней. Она называла его «благословенным», «утром жизни». И правда: в то памятное утро она получила как бы благословение на жизнь, явно, «до лицезрения»; получила — «духовную жажду жизни». По сло-

вам Виктора Алексеевича, случившееся с ней в то утро непостижимо-чудесно раскрыло богатство души ее, «отомкнуло ее уста».

— Я и раньше видел богатство ее души, — рассказывал он впоследствии, — но не предполагал, дочего же утонченно сложна была внутренняя жизнь ее. До сего «пробуждения» Даринька никогда себя не проявляла в области... ну, неуклюженаучно выражаясь... — в области «философии жизни», или, проще, — мировоззрения. Был, правда, один случай, давний, когда она как бы приоткрыла душевное свое богатство, — когда мы с ней слушали в Кремле колокольный разливный звон, в рождественскую ночь. Я тогда с изумлением услыхал, что она понимает, как поют звезды... Она тогда пояснила мне, из знакомого ей псалма[792], что «все может славить Господа». Я принял это формально-узко: ну, да... она не слышит, как поют звезды, а лишь привычно-песнопевно одухотворяет их, как и все сотворенное, поющее славу Творцу своему. Нет, она, — именно, слышала!.. Это я глубже понял, когда Даринька рассказала мне — так откровенно-детски! — что она чувствовала, видела и слышала на овсяном поле, когда испытала радование... — то неизъяснимо-чудесное, что знают лишь избранные души, — пустынники-созерцатели, глубочайшие мудрецы, великие поэты. Тогда я понял, что такое пушкинский «дар умиленья»[793], что выразил Лермонтов в стихе — «И в небесах я вижу Бога»[794]. Это цветенье души ее и меня коснулось. С этого дня я и считаю ее воздействие на меня, ее ведение. Вот когда она «повезла возок», по вдохновенному слову старца Варнавы у Троицы.

Даринька проснулась с солнцем и услыхала замиравшую песню соловья. Слушала, и не сознавала, — да где она..? И вдруг, озарило радостно: «в “Уютове”, у себя, всегда!.. скорей к обедне!..» С вечера было в мыслях, что завтра надо пойти к обедне, завтра память Крестителя Господня, и надо начать новую жизнь молитвой. И когда нежилась-лежала, чувствуя и душой, и телом, как ей легко, покойно, как никогда еще не было, и какое это счастье, что теперь они в тихом, своем, «Уютове», на всю жизнь... и как чудесно все здесь, и какие здесь все хорошие... и какие славные мальчики, те, оба... и как хорошо, что она вчера сказала... — да, да, так и останется все, как было, и они никогда не почувствуют горькой разлуки с родимым кровом!.. — стало ей так умилительно, светло на душе, что она заплакала благодатными слезами, как в молитвенном умилении. И услыхала милую «сковородку», покоющую, уютную, отбившую шесть ударов.

В тот день была ранняя обедня, в семь, — узнала она вчера от матушки, когда были в людской на именинах, — и Даринька хотела прийти пораньше, до народа, чтобы не обращать на себя внимание. До обедни надо было повидать батюшку, попросить отслужить после литургии молебен Крестителю, и еще — нельзя ли в воскресенье принести в «Уютово» иконы и отслужить молебен с водосвятием, по случаю их приезда на постоянное жительство.

В радостном нетерпении, босая, подбежала она к окну, вздернула влажную от росы штору, — и ее ослепило блеском. Она замерла в восторге, радостно-изумленно повторяя — «Го-споди..!» Ее затопило блеском росы и солнца, чем-то жемчужно-розовым, хлынувшим на нее совсюду, влажным благоуханьем воздуха, ласковой теплотою утра. Жмурясь от ослепительного света, стояла она в окне, дышала этим блеском, благоуханьем света, слыша его ласканье. Ее озарило этим светом, и она почувствовала, — мгновенье! — что он ж и в о й. «Твой, Господи, свет... святое творение Твое!..» — сказала она свету, певшему в ее сердце, как молитва. И это, неясное в ней, радостное, ж и в о е, излилОсь умилением, — молитвой: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»[795] Хотелось кричать и петь, — так было полно ее сердце. Она помолилась в небо, в великое лоно Господа, без слов, из сердца, и стала благословлять молитвенно «святое, святое... все!..» Будто в волшебном сновиденьи, будто в чудесной сказке было все это, — не настоящее: яркими, самоцветными коврами расстилались великолепные цветники, сиявшие небывалым светом, ж и в ы м... жемчужным..? — этого не бывает в жизни! И знала, радостная, что это — в жизни, что это з д е с ь, — в тихом ее «Уютове».

До церкви было совсем близко: «малинником вот, а там, огород увидите... огородом, напересек, по тропке, в калиточку пройдете... а там чуть в горку, овсы увидите... и все по стежке, нашими овсами...» — рассказала дорогу Аграфена Матвевна, подивившись, какая барыня богомольная, — «а там на ветлы, в низок, к прудочку... чуток подняться — сразу и церковь, на самом въезде в село».

Когда Даринька шла в росистых овсах по тропке, заблаговестили к обедне. В бирюзовом сверканьи неба тонко звенели жаворонки, в овсах потягивал коростель. Овсы уже выбросили сережки, были жемчужно-седые от росы. «Чудесные, сочные какие, совсем живые...» — ласкала их взглядом Даринька, радовалась на них по-детски, совсем как тогда, давно, как ходила на богомолье с теткой. Тогда, ранними утрами, умывалась она росой с зеленой травки, — хорошо это для

здоровья — умыться живой росой. Вот и теперь, захотелось ей детской радости: она умылась росой с овсов, захватывая пригоршнями с сережек, вдыхая сочную свежесть их, окуная лицо в сверканья. «Наши овсы...» — говорила она овсам, вспомнив слова Аграфены Матвевны, и эти слова, это невнятное еще — «наши», — показались ей странно-новыми, и — уютными, близкими, своими. Она не сознавала, что эти росистые овсы — ее... ее овсяное поле: эти овсы, в пошумливавших сережках, бросавших огнистые капельки росы, сыпавших бриллиантами, были в ее глазах — живые, Божьи, как и она: шептались, дышали, радовались, слушали благовест к обедне, лившееся журчанье жаворонков. Она приклонилась к ним, притянула к себе, обняв, нежно прижала к сердцу и целовала, вся умиленная, ласково им шепча, как детям: «милые мои... чистые мои... овё-ски...!» — надумывая слова, как дети. Не было никого, не стыдно, — она да овсы, да благовест, да солнце... И надо всеми — Господь.

«Наши овсы...» — повторяла она ставшее близким слово, внимая душе его, слыша, как пОлно ее сердце, исполнено нежностью ко всему, что вокруг нее. И, словно постигнув что-то, открывшееся вдруг ей, влекущее новой радостью, такое чудесное, живое, стала благоговейно-робко благословлять сверкающее поле, полная умиления и счастья, от этого познанного впервые нового. Это благословенное чувство радования, слиянности духа с видимым, с этими вот безмолвными овсами, и через них, оживших, — с Господом, ведомое иным пустынножителям, — знала Даринька из житий, — случавшееся с ней в детстве, проявлявшееся порывом непонятной и буйной радости, так раздражавшей тетку, в росистое это утро явно открылось Дариньке, — раскрылось глубинно в сердце. Озаренная этим новым, таким чудесным, «будто живой молитвой, запевшей в сердце», — так она и отметила в «записке», — она поднялась и оглянулась, словно в испуге, не видят ли. Не было ни души. И она увидала свое «Уютово».

Оно открылось ей в утреннем чистом воздухе, так хорошо и близко, что Да

12

26.V.44 <...>

Оно открылось ей в утреннем чистом воздухе, так хорошо и близко, что Даринька различала даже озерко среди цветов и крохотный островок на нем с «грустной малюткой» — ивой. Признала по темному платью высокую Агра-

фену Матвевну у колодца перед людской: даже серебряную струю воды, бившую в ослепительное ведерко. Увидала цветы, цветы... — пышные цветники, стелившиеся цветастыми коврами, сквозившую за кустами под обрывом серебряную Зушу, фонарь-светелку в колючем блеске, темно-зеленую кучку елей, что-то за нею — в пламени, словно расплавленное солнце, множество солнц слепящих... Она не знала, что это теплицы-оранжереи, грунтовые сараи с созревавшими персиками и вишнями, — высокие стены из стекла, с которых уже сняли соломенные щиты окутки.

«Наше "Уютово"»... — радостно думала она, любуясь. Покоем, лаской отзывалось душе «Уютово», как бы приветно говорило: «да, я "Уютово"... и тебе хорошо со мной». Не стояло в глухом молчаньи, не пропадало бесследно, как другие, виденные в пути поместья; не казалось таинственным и чуждым, как бывало давно, на богомольях: смотрело оно ж и в ы м, манило к себе, ласкало, шептало — «узнай меня». «Сколько всего, всего!..» — радостно заливало думкой, манило чудесною загадкой: помнилось слово Ютова — «сколько всего увидите!» Даринька благословила мыслью лежавшее перед ней «Уютово», ласково ей шептавшее — «я — твое». Обернулась, чтобы идти, и увидала — как на ладоньке — церковь.

С высоты овсяного поля стежка спускалась к ветлам, вилась по взгорью, — вот и село «Покров».

На крутом берегу, над Зушей, извивавшейся петлями в вольных лугах и перелесках, ярко белела церковь, приземистая, широкая, пятиглавая, — в синих репах, с золотыми на них крестами, — «старинная наша церковь, и Спасской не уступит благолепностью», — рассказывала вчера матушка. Над ступенчатой сенью паперти, на пузатых столбах-«графинах», высилась небольшая колокольня, пониже реп. Эта приятная колокольня напоминала церковку в тупичке, в Москве: такая же островерхая, уступами, в синеватых кокошничках-оконцах. С правого боку церкви была невысокая пристройка, похожая на часовенку, — придел, должно быть. Влево от церкви, над самой Зушей, в старых березах по канаве, светлело крестами кладбище. Вправо, через лужок, на котором белели гуси, стояли в садочках домики, похожие на дачки: «это домики причта, "поповка", — думала Даринька, — там вчерашняя матушка с дочкой Надей». И увидала, как вышел из калитки, в летнем подряснике, батюшка и направился лужком к церкви, а перед ним, с громким, веселым гоготаньем, размахались на крыльях гуси, — дотого было четко видно в утреннем чистом воздухе.

За «поповкой» и огородами начиналась широкая улица села, обсаженная березами и ветлами. Село оказалось небольшое, дворов с полсотни. Матушка рассказывала вчера, что раньше село было большое, дворов четыреста, называлось даже — «Большой Покров», но годов пятьдесят тому господа продали главную его часть, что за оврагом, барину Кузюмову, а тот перевел купленных крепостных верст за десять отсюда, в свое «Кузюмово», снес-перевез дворы, а землю пустил под коноплянники, — «такой-то был самондравный, старики наши говорят, — вспомнилось Дариньке, — не ладил с прежними господами... да и сынок не лучше». И еще вспомнилось, как Наденька сказала: «папаша “одержимым” зовет его и “темным”... что-то трагическое тут, в духе Достоевского... да вот, узнаете». Даринька не читала Достоевского, да и разговор о Кузюмовых замялся, только и осталось, что — «темный» и «трагическое тут».

Когда Даринька любовалась церковью с высоты овсяного поля и собиралась спуститься стежкой к прудочку в ветлах, до нее долетели выкрики, галденье, и с окраины «ПокровА», где тянулся большой овраг, вывалилась на сельскую дорогу толпа народа, окружавшая беговые дрожки с сидевшим на них человеком в белом картузе. Сидевший грозился палочкой на толпу, а толпа отвечала гомоном. Толпа двигалась в сторону церкви, крики становились громче, и Даринька различила даже одно слово, выкрикнутое отчетливо, — «коноплянники». Толпа вышла к лужайке перед церковью и стала расходиться, а человек в белом картузе, погрозив палочкой, свернул на проселок и замелькал белым картузом в созревавших уже хлебах. Все затихло, и только всполошившиеся гуси продолжали выкрикивать тревожно. Но и они утихли, пощипывали травку. И теперь только мерный и редкий звон разливался в чудесном утре.

V — СВЯТИТЕЛЬ

Вышло так, как хотелось Дариньке: в церкви не было еще никого, только за свещным ящиком хлопотливо возился со свечками и просвирками сухенький старичок в холстинном кафтане и все воздыхал — «о, Господи милосливый...» Даринька вошла неслышно, остановилась у входа и огляделась. Церковь была светлая, просторная, пронизанная снопами солнца из частых и узких подкупольных оконцев. Стены были расписаны, позолота высокого иконостаса светилась приятно, мягко; серебряное, богатое паникадило играло подвесками

хрусталя, позлатившимися от времени, бросало на плиты церковного настила радужные полоски отсветов. «Приятная какая церковь, — подумала Даринька, довольная, что церковь такая светлая, — и образа какие, и какой богатый иконостас... пять, шесть... семь ярусов! даже хрустальное паникадило... редко и в городе увидишь...» Довольная, она пошла к старичку взять свечи и просвирки.

Старичок так весь и засветился и почтительно поклонился ей, особенно как-то выразительно-почтительно, и Дариньке показалось, что он, пожалуй, знает, откуда и кто она, — «новая ютовская барыня», как вчера уважительно назвал ее у Аграфены Матвевны старик-бурмистр из «Спасского», доложивший, как бы поверяя таинственное нечто, что — «наш барин Иван Сергеевич господин Тургенев изволят больше в-заграницах проживать, и там-с они изволят знаменитые книжки сочинять». Она спросила старичка, не староста ли он церковный. Он так и просиял весь и умильно, с ухмылочкой, ответил: «а как же-с, милая барыня... ктитором уж двадцать четвертый годок хожу... и миндальку надеваю по большим дням... как же-с...» — и предупредительно опросил, какие она просвирки больше уважает, беленькие или румянистые. Старичок понравился Дариньке: чистенький такой был, говорил ласково, говорком, с растяжечкой и ухмылочкой, как говорят с детьми. Такие встречались ей на богомольях, такими же были старенькие, «незлобивые», монахи в дальних монастырях, особенно монахи-пасечники, с лучиками у глаз и лысенькие, ласково рассказывавшие про божьих пчелок. Она знала, что такие старички уже не зовутся по имени, а величаются ласковыми именками больше, — «Асеич», «Митрич», «Калиныч», и Дариньке это нравилось. И тут так вышло. На ее вопрос, как его зовут, старичок просиял лучиками и ласково ответил: «а Пимыч я, милая барышня... Пимыч я...» — и сейчас же поправился-спохватился: «то-бишь, барыня, уж извините... молоденькие совсем, как барышни». Очень, видимо, был доволен, что она взяла десять пятачковых свечек и три больших просфоры, румянистых, и особенно почтительно и даже благоговейно принял от нее лиловое бархатное поминаньице, — прямо, на него залюбовался, — с выдавленным на вскрышке осьмиконечным золотым крестиком. И тут же поведал, что певчие у них на-редкость согласные, «по ноткам тянут», амценским соборным не удадут, старший батюшкин сынок-семинар за регента, да четверо пареньков-охотничков, да батюшкина Надюша — «соловий голосок», да псаломщикова Параня, да мальчишки еще — «на тонкий вынос»... — «благогласное пение у нас». А на великие праздники двое из Моск-

вы бывают, от «сахаровского хора», в выучку посылали господа. И тогда из Амценска наезжают купцы-любители — послушать. Покойная барыня Ольга Константиновна очень согласное пение уважали и всегда

13

1.VI.1944 <...>

Покойная барыня Ольга Костинкиновна очень согласное пение уважали и всегда певчих гостинцами баловали, а девиц платьицами жаловали. И мамаша ихняя, когда изволили бывать здесь, в летнюю пору больше, всегда внимание оказывали храму Покрова... они и колоколенку воздвигли, и придельчик устроили, там и упокояются, в склепу, пожелали так. «А вы, милая барыня, не срОдни Ольге-то Костинкиновне?..» — спросил Пимыч, умильно смотря на Дариньку. Она смущенно улыбнулась и сказала, что — нет, не срОдни. — «Подумалось так, Ольга Костинкиновна-покойная вспомянулась... взгляд у вас схожий, такой же ласковый...» — пояснил Пимыч, почему так спросил. Даринька попросила его передать батюшке — хотелось бы ей отслужить после обедни молебен Крестителю Господню, с акафистом, — «и еще важное дело есть», после обедни сама его попросит. И тут вспомнила и укорила себя, что не принесла цветов, украсить икону Праздника.

Пимыч пошел в алтарь доложить о. настоятелю, и сейчас же к Дариньке вышел батюшка, парадный, в малиновой новой рясе, и еще издали покивал приветливо, смотря на Дариньку, будто уже знакомый. Она подошла под благословение, по-монастырски, чинно. Он вдумчиво-неспешно благословил ее, и она почувствовала, что ему приятна такая чинность, встречающаяся у мирских нечасто, — непоказная, очень примечаемая людьми церковными. Батюшка с искренним одобрением отнесся к ее желанию отслужить молебен Крестителю и к ее «большой просьбе» — поднять иконы для молебна с водоосвящением в «Уютове», в воскресенье, после литургии: «радостно видеть благое желание ваше принять Божие Милосердие... — сказал он с искренним благочестием, — это почувствовала Даринька, — освятить новое жительство молитвой... это нечасто теперь встречается среди образованных людей». Сказал еще, что матушка была душевно рада познакомиться с новыми владельцами усадьбы и добрыми прихожанами, столь обходительными и благожелательными, — «очаровалась, прямо...» — закончил он краткую беседу, поклонился чинно и отошел в алтарь.

И батюшка понравился Дариньке — скромной сдержанностью и спокойной речью, без словечек наружного благочестия, без слащавости или нарочитой важности, что не раз примечала она у городских священников, особенно у протоиереев. Чувствовалось, что это бесхитростный человек, ничего от нее не ищущий. И наружность его была приятная, располагающая к доверию, простецкая, без елейности: благодушное русское лицо, несколько угловатое, даже мужиковатое: как говорил Виктор Алексеевич, — «чуть с деготком». Дарья Ивановна как-то по-своему находила в его лице некий «духовный склад» — мягкость и вдумчивость во взгляде. Был он хорошего роста, крепкий, загорелый, с реденькой бородкой в проседи на пухловатом лице, — такие лица, простецкие, часто она встречала у духовных, помнила по изображениям-гравюрам архиереев и архимандритов в обителях, — духовные лица русские, угловато-скуластые и, так ей всегда казалось, — «внутренно мудрые». У таких лиц, в их простоте и некрасивости, всегда чувствовались глаза: или пронзающие, как у старца Амвросия Оптинского[796], или озаряющие кроткой лаской, или вдумчиво-добрые, полные как бы радостным покоем и безмятежностью. Такие глаза, покоющие, вдумчивые, с мягкою синеватостью, были у этого батюшки, — располагающие глаза. «Наденька очень на него похожа, — подумала Даринька, — такие же и у ней глаза, о т к р ы т ы е».

Стал набираться народ, и это смущало Дариньку. Бабы и девки, разодетые по-праздничному, откровенно глазели на нее, оглаживали с головы до ног, — чувствовала она, не видя, пытающие глаза их, — шептались вокруг нее так внятно, что она слышала все, до слова: что это новая ютовская барыня, молоденькая совсем, пригоженькая, замужем за богатым анженером, а такая-то добрая, про-о-стая... — «авчерась, только-только приехали — прямо к Аграфене Матвевне пожаловали на именины, так хорошо уважили... с ангелом поздравили и цельную коробку московских конфет самых дорогих-мармаладных подарили!» Даринька не знала, куда ей стать, теснились кругом нее, засматривали в лицо, приветливо и пытливо. И все доходило шептанье-дивованье — «красивенькая-нарядная какая... фасо-нистая... складненькая какая, живая куколка!..»

Она была в тонком-летнем, из голубой сарпинки, с чуть-беловатой пронизью, как искры, с тройными буфами понизу, с пышно приподнятыми «плечами», с узенькими рукавчиками пониже локтя, с открытой шеей, последнего образца, незатрепанного еще портнихами, выбранного на Кузнецком

мосту перед отъездом, по настоянию Виктора Алексеевича. Она отказывалась рядиться, много из платьев раздарила, но он настаивал, что нельзя иначе, в провинции с этим очень считаются, он занимает известное положение, и быть кое-как одетой — вызовет только разговоры и домеки. Пришлось покориться, — Даринька очень боялась «разговоров», — и нарушить данное себе слово — «забыть наряды и в с е». Она купила, как он хотел, — он же на ней и выбрал, — и теперь, хотя и смущали ее откровенные пересуды баб, прямодушная их оценка и любованье ею, ей было все же приятно, что платье на ней нарядное, с ч а с т л и в о е, — обновила она его в такое дивное утро, в нем в первый раз познала сладостное чувство святого радования всем, всем... — что оно нравится ей самой и всем, даже и немножко строгой Аграфене Матвевне, сказавшей, увидав ее сегодня, — «ишь, какие хорошие-нарядные!» Стоявшая рядом молодуха, в плисовой жаркОй кофте с позументом, — видимо, щеголиха, — пощупала даже на ней у локотка и чмокнула-задохнулась от восторга: «тонинА-то-тонЮшенька кака... живой-то шелк!» И, пока рыжий худой псаломщик, с повязанной теплым шарфом шеей, глухим голосом, мелко покашливая, вычитывал часы, все дивовались-расхваливали: «кралечка писана... и губки, и глазки... чисто патрет красивый!» Даринька не знала, куда деваться. А тут еще две девчонки, в розовом ситчике, стали против нее, засунули в рот пальцы и смотрели, как на икону. Тут подошла шустрая старушка, низко ей поклонилась и застелила льстиво: «да вы, милая барыня-красавица, к правому крылоску-то пожалуйте-с, на барское местечко... навсягды наши господа там стаивали-молились, и Ольга Костинкиновна-покойница... и стулец остался ихний, и коврик бархатный ихний, под моим доглядом... пожалуйте-с, проведу вас... пустите, бабочки, барыне нашей пройтить дайте». Дариньке надо было взять еще свечек, забыла она поставить Распятию и на канун, как всегда, в поминовение усопшей матушки. Она поблагодарила услужливую старушку и пошла к Пимычу. Все расступались перед ней, и упреждали задних — «барыне нашей пройтить дайте! новая барыня, ютовская-наша это!..» — хотя ни единой не было в церкви бабы, которая бы не знала, что эта молоденькая и нарядная красавица — новая ютовская барыня. Даринька чувствовала, как пылает у ней лицо, — так это было непривычно, откровенные бабьи разговоры, пытающие глаза, отовсюду смотревшие на нее, будто видевшие в ней в с е. Она шла, опустив ресницы, слыша невольно шепот, горя от стыда и... — больше, чем от стыда... — от душевной муки. Эта мука

была от пронзившей ее вдруг мысли, таившейся в ней всегда, всегда крепко таимой ею: «не знают, какая я... кто я!..» За этими сокровенными словами — «какая я, кто я...» — зияла незаживающая рана: страшное в ее жизни, ее позор. Это, таимое, всегда терзало ее, когда ее хвалили, ласково обходились с нею. И вот, теперь, в этой, светлой такой, такой приятной, отныне — ее церкви, все любуются на нее, дивятся ей, радуются ей искренно, охотно дают дорогу, расхваливают, признают откровенно, прямодушно, что она красивей и лучше всех, знатней и богаче всех, и предлагают ей самое лучшее место, где спокон веку стояли барыни, настоящие барыни, а не... Подавленная всем этим, не поднимая ресниц, стараясь сдержать слезы, дошла она до свещного ящика. Пимыч так весь и засветился, стал спрашивать, нравится ли ей церковь. Она сказала, обмахиваясь кружевным платочком, что очень нравится, и попросила свечек. Он вызвался поставить, но она поблагодарила и отказалась: она всегда сама возжигает свечи. Он обходился с ней еще ласковей, еще мягче, совсем отечески: «барыня-голубушка, да вы насупротив правого крылоса становитесь-то, уж я наказал Митревне провести вас... и коврик подкинет вам, и на стульчик прися

14

4.VI.1944 Троицын день <...>

...и коврик подкинет вам, и на стульчик присядете-устанете...» Даринька поблагодарила его и спросила, где бы не на виду ей стать. — «Нестеснительно чтоб молиться, желаете? — догадался Пимыч, — да начто же лучше, в придельчик вот пройдите, проведу вас... и вольготней там, холодок приятный, и мОлится хорошо, неглазно... уютный у нас придельчик, будто часовенка, во-имя умученного Святителя....»[797] Он назвал имя Святителя, которому она всегда молилась, и сердце ее вспорхнуло пугливо-радостно, — она даже выронила свечи. Бабы кинулись подымать, а одна, старенькая, чмокнула ее в ручку и ласково так взглянула, будто смотрела на ребенка. Пимыч было-повел ее к канунному столику, у большого Распятия, но она попросила еще свечку, «самую большую»: она думала о Святителе. Пимыч засуетился, извинился, что теперь у них самая важная свечка — за гривенничек только, но к Покрову-дню и на свято-великие Дни всегда бывают и за полтину даже. Она взяла несколько свечей.

Когда она возжигала перед Распятием, а Пимыч дожидался, чтобы проводить ее в придельчик, у ней дрожала рука, и она никак не могла поставить, — Пимыч уж ей помог. Так

ее взволновало, что придельчик ее церкви — во-имя умученного Святителя. Это было такое важное для нее, такое глубоко-знаменательное... — здесь, в ее отныне церкви... и — воимя того Святителя, память которого связана с ее жизнью, с ее... — она страшилась думать. Не память только, не только подвиг высокого служения и мученичества... В ней светло и остро-больно таились-жили — смутные и отрывочные, правда, — намеки-разговоры ее тетки о темном, жутком, болезненно-горьком для нее, постыдном даже... — о грехе матери ее, о ее «незаконности»... об «отродье блудном»... — крикнула как-то ей дворовая соседка, когда Даринька была еще ребенком, но это страшное и непонятное тогда слово завязло в памяти, потом раскрылось, — об ее отце, каком-то бароне-графе... о горемычной жизни, когда тот «важный человек-персона» неожиданно застрелился, а ее мать, — она ее не помнила, была тогда двух годочков только, — выгнали на улицу злые люди, и росла она «на корочках и слезах»... — обо всем этом она, в порыве откровенности, поведала единственному человеку в жизни, Виктору Алексеевичу, и потом жалела и смущалась, что поведала. Не посмела она от него таить, не могла, не умела лгать, надо было, чтобы знал он о ней всю правду, пусть — грязную. Он понял, как тяжело ей это, и они этого больше не касались. И вот, теперь, когда ее жизнь так светло обновлялась, когда впервые познала она счастье душевной легкости, и это чудесное радование... почувствовала так близко Господа... — Святитель, которого она всегда держала в сердце, чтила в благоговейном страхе, как бы сам указал ей пути к нему, как бы призвал ее... и она так чудесно, произволением божиим[1], пришла сюда, под Покров Пречистой, под защиту благословляющей десницы его, Святого ее прихода, — становится видимой ее опорой, хранителем ее «Уютова»?.. Так чувствовалось ей сердцем, и она молилась этим сердцем, радуясь и страшась: «Призри на недостоинство мое, прими меня, рожденную во грехе, прости мне и помолись за меня...»

Когда она ставила свечку на канун, слезы стлали все, она ничего не видела. Пимыч взял у ней свечку и поставил. И когда она увидала радужный язычок огня, озаривший серебряное Распятие, совсем такое, как на канунном столике в келье усопшей матушки, — этот канунный столик подарила матушке чтившая ее богатая купчиха, — ей озарило мысли: может быть это, все, — по молитвам матушки Агнии... она там печется о ней, несчастной, и все, случившееся с ней

---

[1] Здесь и далее сохранено написание оригинала.

благостное — покупка «Уютова», душевное просветление ее, дивное чувство радования, только что открывшееся ей в овсах, и эта встреча такого близкого ей Святителя, и самая эта церковь, отныне ее приход, во-имя Покрова Пречистой, — все это связано как-то с ее судьбой, все это послано ей... может быть это знамения милосердия Господня к ней, грешной, которого она не заслужила...

Радуясь и страшась, не поднимая глаз, боясь выдать свое волнение, чувствуя, как все на нее пытливо смотрят, она прошла за Пимычем к придельчику на южной стороне церкви, и, когда шла в толпе, обмахивая лицо платочком, от духоты, вея своим грэпэплем, слышала шепот удивления.

«Тут вам покойно будет, и не душно, и служение слышно... — ласково говорил Пимыч, входя в придельчик узким и низеньким проломом в стене храма. — Это старая барыня наша, мамаша покойной Ольги Костинкиновны так указали альхитехтору, чтобы по ее рисуночку все уделал, как в старину умели. Тут ее и похоронили, в склепу, у подножия образа Святителя, прописано тут на чугуне».

Он говорил ей что-то еще, о днях памяти, — Даринька не вникала. Началась обедня, Пимыч ушел, а она все стояла на пороге придельчика, не решаясь войти в него, будто страшилась встречи. Сначала она ничего не различала, кроме синего отсвета лампады. Этот недвижный, дремотный отсвет в полутьме действовал на нее покоюще. Она перекрестилась, приблизилась к лампаде и затеплила от нее свечу, поставила и склонилась перед неразличимым образом. Увидала тут же канунный столик, с пшеницей в чашечке, с фарфоровыми и хрустальными яичками, с восковыми цветами в вазочке, совсем живыми, затеплила и на нем. Стало светлей в придельчике, и Даринька увидала облегченно, что она здесь одна.

Придельчик во имя Святителя не был похож на обычные церковные приделы: он напоминал погребальную часовню или сводчато-каменную келью в старинных монастырях, пещерную келью, в каких подвизались затворники. Но это был храмик, с низеньким иконостасом, с алтариком, с узким оконцем за решеткой в заломчике под сводом. Стены вверху смыкались, и это напоминало Дариньке виденные ею на богомольях затворы, «узилища» Спасо-Евфимиевского монастыря[798]. Направо от Спасителя теплилась темно-синяя лампада. Оконце чуть пропускало свет, лампада была глубокая, и если бы не затепленные ею свечки, нельзя было бы различить, кого изображает престольная икона. Даринька знала о Святителе слышанное от тетки и от матушки Агнии. В монастыре

прочитала житие его и узнала о его заступничестве за гонимых овец стада своего, о его заточении в монастырь и мученической кончине. И вот, увидав придельчик-часовенку, удивилась, что он такой темный, тесный, под низким сводом: Святитель, своею чистотой, святостию и высотою подвига, казалось ей, достоин был храма, высокого и светлого. И вдруг, поняла она, почему все это — тесное, темное: это — в напоминание мученической его кончины, это как бы «клеть каменна и тесна», как писано в житии, в которую был он вввержен, где непрестанно молился перед иконой Спаса, где, на молитве, коленопреклоненный, приял от зверского палача мученический венец нетленный. Растроганная, в слезах, склонилась она перед едва различимым ликом, молилась без слов, сердцем. И, обратив туманившийся слезами взор на образ, увидала как бы вдруг просиявший лик: лик Святителя выступал на ее глазах из скрывавших его теней, из синего полусумрака лампады, яснел, светился... Она видела старческий, изможденный лик, взирающий вдохновенно-молитвенно на образ Спаса: сияние от светильника перед иконой Спаса на образе озаряло этот смиренный, горе вознесенный лик. Два лика видела Даринька: приемлющего моленье Спаса и — молящегося Ему Святителя. Оба лика, казалось ей, связаны были светом, исходившим от этих ликов, — не от светильника: светом неугасимой веры, — светом Неизреченной Благости. В прояснявшемся на глазах образе Даринька увидала на низеньком аналое кельи, справа от Спаса, свиток с начертанными киноварью и золотом словами Евангелия от Иоанна: «Аз есмь Пастырь добрый и знаю Моя и знают Мя Моя...» и — в самом конце спадающего свитка: «и душу Мою полагаю за овцы»[799]. Это не был образ Святителя, как иконописцами принято уставно изображать святителей: ни митры, ни клобука, ни мантии, ни Евангелия,

15

5.VI.44
Духов день <...>

ни благословляющей десницы, ни святительского посоха-жезла. Это был образ коленопреклоненного перед Спасом, молящегося за всех и за вся старца-подвижника, в ветхой холстинной ряске, опоясанной вервием, в грубой монашеской обувке, — образ смиренного русского затворника, с просветленным, как бы нездешним ликом. В каменной клети не было и оконца за решеткой: все тонуло во мраке, и оттого еще ярче светились Лики: Пастыря Доброго и посланного Им миру Его

служителя. Так приняла Даринька этот необычайный образ в сердце свое в то памятное утро, таким и сохранила.

Она не слыхала, как началась обедня: не было никого в придельчике, легко молилось, — горело сердце перед Святителем. Она удивилась, слыша, что поют — «Тебе поем, Тебе благословим...» Разобрала на чугунной плите, под образом, крупные слова — .....Веры Георгиевны Б....., в девичестве княжны Т....., по матери, рода бояр К.......»

Конец обедни она стояла у входа в придел, опять глазели на нее бабы, но она не смущалась, не видела, — благоговейно внимала службе и молилась. К ней подошел стриженый мальчуган, лет восьми, в голубой рубашке, и подал на церковной тарелочке большую просфору, смущенно пролепетав — «батюшка... просвирка вам...» Она взяла просфору, приложилась губами, как привыкла от детских лет, и сказала мальчику поблагодарить батюшку.

Молебен служили благолепно, с полными певчими. Такое благолепие ее смутило, молилась она рассеянно, вся в мыслях о знаменательной в с т р е ч е со Святителем. И опять смущали ее бабы, оставшиеся во множестве по случаю такого молебна с певчими. И еще мешало, сколько же дать священнику? Она отложила за молебен рубль, — Аграфена Матвевна, с которой она советовалась, сказала, что и полтинника за глаза довольно, — но теперь ей казалось, что рубля мало, а у ней была еще только трехрублевая бумажка. Она и отдала ее батюшке, а приготовленный рубль передала Пимычу — «для певчих, пока...» Хотелось домой скорей, а тут батюшка напомнил ей вчерашнее обещание матушке зайти к ним после обедни, чайку откушать: «матушка наперед ушла, ожидает вас». Пришлось зайти, чтобы не обидеть, и покривить душой, выгораживая Виктора Алексеевича, почему его не было: надо осмотреться, разобраться, и служебные всякие дела... — «а на ближайших днях мы вместе будем в церкви и посетим вас, просил он извиниться...»

Она осталась довольна посещением. Было все просто и радушно, будто они давно знакомы. Пили чай на террасе с парусиной, «по-дачному», был вкусный пирог со свежим судаком, только что пойманным в Зуше самим батюшкой, страстным рыболовом, — «как раз посчастливилось для вас», — сказал о. Никифор, как комплимент. Угощали душистой русской клубникой с грядки, показывали плюшевый альбом, как всегда в провинции, при знакомствах, — по этому поводу Виктор Алексеевич заранее шутил: — «задушат тебя альбомами». Даринька как в тумане видела вереницу батюшек и матушек,

благочинных, какого-то родственника-архиерея, преосвященных, «академиков», с умными-настороженными лицами, в легком пушку бородок, семинаристов — торчками, с руками на коленях, епархиалок с испуганными глазами, и напряженно выслушивала родственные и прочие именования: «а это бабушка Капитолина Полиэвктовна... а это...» И тут впервые увидала портреты прежних владельцев ютовских: строгой и сановитой барыни, с надменным взглядом и лорнетом в руке, — «это мамаша покойной Ольги Константиновны», — объясняли ей, — «а вот, посмотрите, какая милая... сама Ольга Константиновна, глаза какие!..» Это была последняя ее карточка, за два года перед болезнью. Даринька удивилась, что «нашей милой Олюшеньке» — так называли ее батюшкины по-домашнему, — «было тогда 36 лет, за два годочка до кончины»: совсем юное лицо и живые, мило-наивные глаза, — «совсем, как у девочки, правда?..» — спрашивала Надюша, влюбленно смотря на Дариньку, — «Ах, если бы видели вы ее... нельзя было не влюбиться... и все, все положительно влюблялись... живой-то ангел!..» И матушка восторженно говорила об «Олюшеньке», и даже батюшка подкреплял: «да, глаза изуми-тельнейшие... чистоты несравненной». Даринька узнала еще, что Ютова была «не от мира сего», вся особенная, всегда в мечтах, и далеко не в мамашу характером и всем. И скончалась особенно: таяла и белела, стала, как писчая бумага, «как тонюшенький ландышек!» — сказала Наденька и утерла слезы. Надо было ее живую видеть и знать, карточка ничего не передает. Алеша ее чуть только ее напоминает, такие же пепельные волосы и глаза похожи, но и сравнения никакого нет. Вот на большом портрете, у них в доме, обаяние ее чувствуется, известный художник с нее писал, знаменитый К.., но и это только слабая тень ее. — «Она могла бы одним взглядом укротить бешеного тигра!» — пробасил вдруг все время молчавший старший сын батюшки, только что кончивший семинарию, регент хора покровской церкви, и покраснел. Наденька замахала на него и засмеялась, и все заулыбались, а батюшка похлопал регента по плечу: «правильно, Володёк, могла бы и тигра укротить... да и укро-щала!..» — значительно закончил он и покивал головой.

«Знаете, Дарья Ивановна... дочего у вас глаза на ее похожи!.. — вскрикнула Наденька, сложила ладони перед собой и поглядела на Дариньку вдумчиво-восхищенным взглядом. — Правда, мамаша, скажите... не похожи разве?!..»

Даринька смутилась, а батюшка только рукой махнул: «ах, ты, моя стремига-опрометь!..» — с ласковой укоризной

сказал он дочери, и матушка согласилась, что «так нельзя». Но Наденька нимало не смутилась, а заявила с жаром, что это сущая правда, а правду, особенно хорошую, надо всегда высказывать, — «это мой при-нцип, и я всегда буду ему верна!» И опять все заулыбались. Словом, Даринька почувствовала себя в батюшкином семействе совсем легко, — что-то родственное ее душе.

Надо было спешить домой, масса дела, ничего еще не разобрано. Ее провожали всем семейством, до ветел, как родную. И все показались ей родными: регент поднес ей большой пучок только что с грядки сорванной клубники, мальчуган в голубой рубашке, поднесший ей просфору, — сероглазый, из всех детей батюшкиных один сероглазый, в мать, а все синеглазые, в отца, — доверчиво ей сказал: «вот, возьмите этого жука... это очень редкий жук-носорог... вы тоже любите жуков?..» — Даринька его поцеловала и сказала, что она жуков боится и не любит накалывать на булавку, мучить. Были еще тут дочки-погодки, Руфина и Тасена, подростки, а еще две дочки и средний сынок гостят у бабушки под Орлом, сообщили ей. Наденька пошла ее дальше провожать, до овсов.

«Милочка, Дарья Ивановна... как же я рада, что вы такая... что теперь будете с нами здесь... — горячо говорила Наденька. — И знаете что... Аграфенушка ваша такое золотце... во всем, во всем ее слушайтесь, все-то она знает! Дочего же я рада, что вы... будто опять Олюшенька наша к нам вернулась... ну, правда, правда! Если бы вы ее видели...! Ну, будто она не от мира сего была. Вот вы сейчас так взглянули... Господи, дочего напомнили!.. Простите меня, папаша верно... стремига я, я и сама знаю, что стремига и опрометь... но вы все можете простить, я это чувствую. Человек должен быть искренним, правда ведь? Так всегда Олюшенька наша говорила... Вы стояли в придельчике... понравилась вам икона... правда, особенная она? совсем не уставная? Сколько из-за нее перепалки было у нас!..»

Наденька рассказала, что Олюшенькина мамаша, хоть и маловерка, а очень почитала Святителя, и сама составила чертежи придельчика, и мысль иконы — тоже ее. Преосвященный не разрешал, консистория завела страшную волокиту, и взятки не помогли: преосвященный был упрямый — ни-как не хотел позволить. Тогда баронесса поехала к самому оберпрокурору, и сейчас же разрешили, а преосвященному нагоняй был. Теперешний преосвященный очень хвалит идею придельчика и самый образ, так и сказал: «идея очень глубокая и вразумительная». Полчаса про-[800]

16

21.VI.1944 <...>

— Когда новый владыка осматривал нашу церковь, он долго пробыл в придельчике и сказал — «как все сие глубоко по мысли и назидательно!» Правда, глубокая мысль? такой подвиг, и такое смирение! Я на эту тему сочинение писала: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». Но тут глубже, тут — все наше! Наше, русское, православие, понимание сердцем, наше благоговение перед всем что омолено и освящено, до упавшей на землю крошки просвирки даже... я так все чувствую, выразить только не могу!..

Даринька внимала слабо, захваченная своими чувствами.

— И это наше проявляется даже у равнодушных к Церкви. Вот, старая баронесса, важная барыня, ко всему, кажется, безразличная... я плохо ее помню, а папаша знал хорошо, «прохладный» ее характер. Маловерка, даже не чисто-русская, по отцу, и вот, постигла дух русской святости, жертвенности, и так православно-русс[ко] выразила! Все по ее мысли тут, и молодой совсем художник так мог!... Папаша говорит, что на баронессу с о ш л о, от Святителя. А, знаете, почему? Она, ведь, княжеского рода, который идет от старинного боярского, а из этого рода и Святитель!..[801]

— Из их рода... Святитель?!.. — воскликнула Даринька. Она почувствовала слабость и остановилась перевести дыхание.

— Да, из боярского рода..... это из истории известно. Там, на стенке, «родословное древо» их... видели? Посмотрите, там все показано, ветками, как шел род... Баронесса выходит, в каком-то колене, пра-пра-правнучкой Святителю! в ней какая-то капелька той крови, какая и в Святителе!... Вы, будто удивляетесь? Конечно, как-то странно, — хладная, важная, полунемка, баронесса, — и весь русский Святитель-Мученик! Если вдуматься, поглядеть на все... вон, поезд за рощей, телеграфные столбы... газеты получаем, воздушные шары летают теперь... вся жизнь другая, чем триста лет тому... другие мысли, идеалы, умственный кругозор расширился, пошло неверие, сколько раз покушались на жизнь нашего любимого Царя-Освободителя...[802] ах, как любит его народ!.. Даже и в нашем уезде подсовывают ужасные подпольные листки... я сама читала эту гадость. Ну, все, все другое пошло... А о н все еще, будто с нами, в нас, близко...

— Близко... — тихо сказала Даринька.

— Такое у меня чувство, что с нами о н, где-то тут... светлые его глаза, кроткая улыбка... Все изменилось, папаша

в отчаяние иногда приходит, сколько «нигилистов» этих теперь... читали «Отцы и дети»?.. И у нас есть, хоть бы наш болтун-доктор или страшный этот, «черный», Кузюмов... Я верю, что это только наносное, я согласна с Тургеневым, что это — «детская болезнь»...[803] Да, что это я хотела..? Вот... все другое, а святая капелька продолжает жить, хранится в избранных и влияет. Святое, чистое... умереть не может! Эта капелька и победила в хладной баронессе ее безразличие ко всему, ее «на все свысока», через лорнет. Про-няло ее, с о ш л о!.. Как же чудесно это! на наших глазах, так явно! Смотрите... в нашей Олюшеньке было еще больше от Святителя, она глубже чувствовала его, была свободней... и она не захотела, чтобы ее замуровали в склеп, в известку... а распорядилась, чтобы похоронили ее по-православному, на вольном кладбище, в березах, где все... ведь Святитель — для всего народа, за весь народ себя отдал! чтобы вольный ветер и березы, и луговые цветочки русские... и там осеняет ее дорогой прах Святитель...

Все, что говорила восторженная Наденька, — она не говорила, а выкрикивала: «я в папашу, он тоже кричит, когда его захватит», откровенничала она, вся наружу, — все это вспомнилось Дариньке потом, и она не раз об этом с Наденькой после говорила, а тут, на тропке, внимала смутно. Почувствовав сильную слабость, она присела у овсяного поля. Наденька переполошилась, — как она побледнела, дурно ей..? Даринька слабо улыбнулась и успокоила: устала, немного посидит и пойдет.

— Идите, милая, мне лучше... — сказала она, овладев собой, — ей хотелось одной остаться, — столько у меня дела, а я не знаю, за что и взяться...

— Да Аграфенушка-то у вас, это же благословение божие! Олюшенька всегда витала где-то, будто не на земле она, а все и без нее шло...

Они расстались. Пройдя несколько шагов, Даринька остановилась, вдумываясь в оставшиеся в душе слова — «из этого рода и Святитель... капелька его крови все еще здесь, живая...»

В полном солнце лежало перед ней «Уютово» — «как же это... — думала она, стараясь понять что-то важное... — и здесь, е г о же рода, как и...?» — она испугалась думать дальше.

По словам Виктора Алексеевича, она еще не сознавала тогда всего, не постигала связанности своей с теми, кому принадлежало «Уютово». Ей думалось, что и прежние владельцы тоже связаны как-то со Святителем. Тогда ее захватило главное, озарило душу ее: все здесь освящено и м, и на «Уютове» почиет е г о благословение.

Радостная, смотрела она с высоты овсяного поля, и все, что было перед ее глазами, казалось особенным, совсем другим, — таинственным и священным: все было просвЕтлено Святителем. Она крестилась и думала-шептала: «все — святое, Господне». Но теперь это святое и Господне — было перед нею, как живое, светилось священным светом, таинством освященное. Она осматривалась кругом, как в чудесном, огромном храме поднебесном, и увидала блиставшую белизною церковь. Она опустилась на колени и прижала руки к груди, чтобы успокоить ликующее сердце. Благословенное чувство радования, еще сильнее, еще более возносящее, чем росистым утром, сошло на нее, переполняло играющее сердце, и она почувствовала, что вся тягота и смута, столько ее томившие, упали с ее души. Почувствовала себя освобожденной, «развязанной». Так называла она после это душевное состояние благостности, сходившее на нее и раньше, в редкие светлые минуты, в Светлую Заутреню... после исповеди и принятия Св. Тайн...

Этот благословенный миг отпущения Дарья Ивановна отметила в «записке»:

«Как в ночном мраке молния вдруг озаряет все, так и во мне озарилось все. Я сердцем почувствовала, как я должна жить и для чего должна жить. Почувствовала и еще, другое, укрепившееся во мне: все в моей жизни было не случайно, а как надо для назначенного мне пути в жизни. “Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему, с миром... яко видеста очи моя спасение Твое”»[804].

Благословенное чувство свободы, душевной легкости, было дотого сильно, что она не могла вынести его сердцем: оно вырывалось из нее, искало себе исхода. Ей хотелось «обнять весь мир», — так и сказала она Виктору Алексеевичу, не зная, что так же выражали душевное состояние свое и другие, немногие, познавшие его, — хотелось обнять, к сердцу прижать все, все, как прижимала она овсинки утром, бежать и петь, молиться, благословлять и славить; хотелось все поведать, что теперь с ней, чтобы и всем открылось это освобождение от мрака, томления и страха, — «как бы воскресение из мертвых».

Виктор Алексеевич вскоре после читал ей поэму гр. А. К. Толстого — «Иоанн Дамаскин»[805]. Она перечитывала ее и многое из нее помнила, а известные стихи, вдохновившие Чайковского, — «Благословляю вас, леса...» — любила напевать работая за вышиваньем или в саду, с цветами. Когда он, читая ей, дошел до «Благословляю вас, леса...» — Даринька воскликнула: «Я это знаю, знаю... это — то!..» Она радо-

валась, что и у Святого было это, что это — божественное в человеке, голос души бессмертной. В «благословении» Дамаскина открылось ей неизъяснимое, таинственное, — как в радовании ее на овсяном поле, — предвосхищение того, «что будем», как говорит Апостол[806]: земные, на земле, мы разумеем лишь отчасти, «яко зерцалом в гадании»; нетленные, мы познаем «лицом к лицу». Она знала слова Апостола, и вот даровано было ей по-

17

21.VI.1944 <...>

Она знала слова Апостола, и вот, даровано было ей познать «отражение в зеркале» — того, что избранные узрят «лицом к лицу». Она старалась объяснять это Виктору Алексеевичу. Он радовался ее восторгу, любовался ее «освобождением», новым ее преображением, поновому к ней влекущим, целовал эти новые глаза, игравшие голубым огнем, гаснувшие в мечтах-истоме, брал к себе на колени, ласкал ее, пылко горящую, живую, а она и не замечала этого, вся — в своем. Он говорил ей нежно, что понимает и разделяет ее радость... Он понимал это состояние души, оно как-будто переливалось в него от Дариньки, в близкие миги их... — но не отдавался сердцем, не воскресал. После он клял себя, что бесстыдно ее обкрадывал, пользовался ее восторгами, когда она забывалась, себя не помнила... искренно даже уверял, что ее блаженство переливается и в него, очищает его ее огнем! Он впоследствии бичевал себя, что, «безумный, похотливец, в эти минуты ее забвенья, повторял с ней то низкое, что и майским утром, когда она, почти ребенок, горем сраженная, прибежала к нему, искала опоры, сердца...» Только впоследствии, многое выстрадав, постиг он это паренье духа. «Да, говорил он, и в этот рай, на земле, можно войти только тесными вратами».

— После отчаяния от душевной пустоты, — говорил он, — после преодоления «логики реальных фактов», с поддержкой сильной моей Дарюши, познал и я возносящее душу радование и благословение всего. Когда мне открылось это вполне, — впервые, «отчасти», открылось это мне давно-давно... когда я слышал в Кремле, как пели звезды! — и я в сердце своем услышал эту божественную гармонию, понял я, что в сравнении с этим, лишь «отражением в зеркале»... — все песни земли — ничто. Эта песня души освобожденной неизмерима, неизъяснима, непереложима в звуки. Она пре-

ображает все тленное, бессмертит его, и самый ужас смерти пропадает, все в нас начинает звучать согласно с этой песнью и это — святость. Тогда мне стал понятен светлый, тихий восторг подвижников, гимны христиан в цирках, «тихая песня» лермонтовского Ангела[807], благословения гонителям... — что слепые кроты называют «неврастеническим экстазом». Что творится в душе, какая поет гармония, если можешь почувствовать такое, как Дамаскин, хотя бы земными словами выраженное большим поэтом!..

Виктор Алексеевич — это было незадолго до его «последнего шага, поклона всему земному», — любил прочитывать наизусть этот отрывок из поэмы, в память незабвенной Дариньки. Для него она училась пению. Она еще в Страстном монастыре выучилась петь по нотам и недурно играла на фисгармонии, — у ней был исключительный по силе и красоте контральто, — находил гремевший когда-то в Москве певец императорских театров, живший тогда в именьи, недалеко от Мценска, дававший уроки избранным и бравший неимоверный гонорар с неизбранных. Все — для того, чтобы и Виктора Алексеевича приобщить к открывшемуся в ней «раю». Рассказывая об этом, он воспламенялся, ходил широкими шагами по комнате, все еще пылкий, высокий, стройный, с горячими, то восторженными, то отдававшимися мечте глазами, несмотря на свои за-шестьдесят. Он горячо убеждал, что эти стихи надо знать всем, повторять, как молитву, что это самое лучшее у знаменитого поэта, равное пушкинскому — ...«Владыка дней моих...»[808] Читал он отлично, пел сердцем. Трудно было не поддаться его горенью, и становилось понятным, что и он мог иногда владеть сильной Даринькой, как она неотступно владела им. И слушатель, юный тогда студент и «скептик», до конца дней сохранил в памяти эти прекрасные стихи. Чтение их Виктор Алексеевич всегда заканчивал пояснением:

— Они напечатаны, но могут проглядеть их, книга может и не попасть в руки. Всякий ищущий до-лжен знать их! Если бы слышал Чайковский, как она пела их!.. Я написал ему благодарственное письмо, и он мило ответил мне, — прислал даже Дариньке свой портрет, в обмен на тайно от нее посланный ему мною, и написал на нем — «душе, постигшей высшую гармонию... о, не мою, конечно!» Скромность — присуща гениальности. Слушайте, и постарайтесь услышать эту высшую гармонию:

«Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды...
Благословляю всю природу,

И голубые небеса.
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму...
И степь, от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму.
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду...
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду.
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!..
О, если б мог в мои объятья
Я вас, друзья, враги и братья,
И всю природу заключить!...»[809]

Высокое овсяное поле, откуда открывались «Уютово» и «Покров», стало для Даріньки священным местом, ее «Фавором»[810]. Долго она не могла отвести глаз от блистающего в лазури храма, откуда лился на нее свет. Слышала она сердцем, что Святитель принял ее под свою защиту, и все, что было, — был ее путь к нему. Чувствовала, что отныне она развязана.

С того дня всегдашней ее молитвой было — «Ныне отпущаеши...» —

Она поклонилась земным поклоном сияющему храму, лазурной дали, и, радостная, легкая, повернула в свое «Уютово».

Жаворонки звенели над ней нежно-журчливой трелью, и она пела с ними, устами, сердцем, — пела пасхальное, что находило сердце, пела всему, что по-новому открывалось глазам ее: овсам, тропинке, старым плетням в бурьяне, малиновым колючкам татарника, цеплявшего ее за платье, золотившимся в солнце пчелам, реявшим над малинником в низинке, валкой калитке заборчика в зарослях лапуха, крапивы, сочным дудкам морковника, раскрывшего перистые зонтики в манной крупке... всему, что радовало новым открывшиеся глаза ее. Увидала под елками маслята, высыпавшие дружно из-под колючек после недавних дождей, вдыхала острую крепость их, радостно любовалась ими, — и пожалела, не стала брать. Вздрогнула от радостного визга выскочившей из малинника Анюты — «ды-ба-рыня..!... ми-лыи... чисто мы в рай попали!..» Приласкала девочку, спросила, что делает, сказала, что вот, осмотрится и займется ею, теперь много веселой работы будет, и наказала слушаться во всем Аграфены Матвевны, как бабушки. Анюта пугливо насторожилась и шепнула, что ба-

бушка Матвевна — «ух, стро-огая... а правильная, дедушка Карп сказал...» — чуть-свет, в лес ее за грибами подняла, цельную она кошелку березовичков наломала для пирога, а сейчас малину подвязывает к тычинам с девчонками, уж краснеть начала малина, — «мали-ны у нас что, ба-рыня... осыпуче, прямо!..» Пахло от нее малиной. — «Ой, побегу... Матвевна в окошечко увидит!..»

Проходя мимо людской, откуда тянуло постными пирогами и жареными грибами, Даринька увидала в окошко Аграфену Матвевну, смотревшую, как стряпка защипывает пирог на противне, и зашла в кухню. На чисто выскобленном столе лежала груда только что собранной клубники. Руки у Матвевны были в клубничных пятнах, и пахло от нее сладким клубничным духом. — «Уж и нарядныи...» — покивала ей Матвевна, и Даринька по глазам видела, что радуется ей старуха. Она обняла Матвевну и стала радостно говорить, какая чудесная у них церковь, вся светлая, и как все чудесно здесь, и ласковые какие все, и какой

18

22.VI.1944 <...>

очаровательный вид оттуда, «с нашего овсяного поля», как легко дышится!...

— Аграфена Матвевна, голу-бушка, ми-лая... как все любят и ценят вас, необыкновенная вы!.. — восклицала Даринька от переполненного сердца, не находя, что сказать еще ласковей, чтобы и Аграфена Матвевна радовалась-светилась, перестала быть такой замкнутой, суровой, будто всегда в заботе. — И все, все здесь у вас... у нас... такое чудесное, светлое... я так счастлива!..

Взволнованная до слез, ласкалась она, хотела ласки... целовала суровое, морщинистое лицо. Аграфена Матвевна даже растерялась от такого невиданного порыва нежности, совсем необычной для нее: «мало видала я за свою жизнь привета-ласки», — говаривала она после Дариньке. Она ничего не сказала, не нашлась, чего и сказать, но сумрачное лицо ее смягчилось, и губы, всегда сдержанно сжатые, раскрылись чуть различимою улыбкой. Она глядела пытливо-недоуменно на Дариньку, будто спрашивая себя, что это с барыней. И все же, нашла слово, сказала — похвалила словно: «и ласковы же вы, барыня... как дите! ну, дай Бог, дай Бог».

Даринька почти что бежала цветником, между рядами роз, в полном цветении, радостно окрыленная всем новым, что

теперь открывалось ей. Этого «радостного и светлого опьянения», как сказал ей Виктор Алексеевич после, она не могла описать словами, и в ее «записке» сказано об этом смутно: «непостижимый, чтобы передать словами, всю меня охвативший, чистый, святой восторг перед всем... я была готова жизнь свою отдать, за всех, если это надо». Выходя из-за роз к террасе, она увидала Алешу, обрадовалась ему и приостановилась, чтобы отцепить от шипов рукавчик. Алеша сходил с террасы, с мольбертом и ящичком, юный, легкий, в парусинной, «художнической», блузе, измазанной красками, увидал в розах голубую Дариньку и оторопел, — так и остался на ступеньках. Смотрел, как она осторожно отцепляла от колючек тонкий рукавчик, боясь испортить платье.

— Здравствуйте, с добрым утром, милый Алеша!.. — говорила-спешила Даринька из-под руки, стараясь освободить рукавчик, под игравшими у ее лица нежно-розовыми бутонами великолепного деревца, — ну, вот... отцепила, наконец... — и целовала льнувшие к ней бутончики, — идете писать картинки? Ах, дивные какие... таких не видала никогда... какие оттенки... Го-споди!... — она только сейчас увидела это розовое обилие, палевое, лимонное, тонкого снежного фарфора, казалось ей, темно-пунцовое, пламенное, восковое... — И какие на них золотые жучки, смотрите!..

Он стоял на ступеньках, изумленный чем-то, что вбирали его глаза.

— Какое дивное утро... какое бы-ло!.. — торопилась она сказать, и себе, и ему, и этому разливу света, этим, невиданным никогда, цветам, — так ей тогда казалось, — какой удивительный блеск, на всем!.. Вы чудесно напишете сегодня, я чувствую!..

— С добрым утром... — сказал Алеша, опомнившись, все еще стоя на ступеньках. — Да, этюдик один мне надо... Верно, сегодня очень хороший свет там, в березах... светлая полутень сейчас... — сказал он, одолев замкнутость.

— В березах... где? и почему надо полутень..? — забросала она его, продолжая упиваться розами.

Он оживился, стал говорить, что это на кладбище, березы... и, вдруг, воскликнул: «ах... одну минутку... ваше платье в солнце, на цветнике, на розах... вы светитесь!.. п о е т е!.. — тогда любили так говорить, если "жила" картина, — и все поет...»

— И вы поете!.. — сказала Даринька, чуть-чуть задорно, — наконец-то ваш голос услыхала, какой приятный, милый. Алеша, вы больше не будете грустить? Вчера вы ни слова не сказали...

Он сразу отозвался на ласковую ее открытость, нежность:

— Нет, я теперь не грустный!.. — сказал он, оживившись, и улыбнулся «удивительно чисто, кротко», — так вспоминала Даринька. — Мы с Костинькой всю ночь проговорили, и так хорошо нам было... Ах, да... там, на чайном столе, около блюдечка, его записка... вам! — воскликнул он и побежал, прыгая через ступеньки, играя своим мольбертом, насвистывая веселое.

На затененной, большой террасе, было по-праздничному накрыто к чаю, — свежею голубою скатертью. Кипел самовар, сиял медью старинный, начищенный кофейник, широкий книзу, похожий на просфору, совсем такой же, как и у них, в Москве, захваченный и сюда с собою, но еще не вынутый из ящиков. И тут радовали цветы, особенные, невиданные еще, стоявшие на ступеньках горок — жардиньеров. Когда Даринька вбегала по широким ступеням отлогой, раздольной лестницы, Виктор Алексеевич, тоже праздничный, в свежем путейском кителе, пробритый, надушеный, свежий, встретил ее восторженным восклицанием: «Светик! ты, прямо, ослепительна сегодня... ты вся сияешь... вот, именно, светишься, верно сказал милый наш молчальник... ты отомкнула его уста!» Он взял ее руку и нежно-благоговейно поцеловал. Она упала на качалку, запыхалась, едва шептала: «Как я устала... но как хорошо там... и все... Господи, я так счастлива...» Он побежал в комнаты и принес ей веер, хотел сам веять на нее, но она взяла у него и помахала. Он стал рассказывать, что проснулся рано и уже обошел усадьбу, видел не все еще... — «тут столько всего, ничего подобного еще не приходилось видеть... изумительно-артистическое, столько вкуса положено... я уж и не знаю, как это все у нас наладится... главный садовник какой-то странный... идеалист-чудак, но, кажется, очень знающий... почему-то его зовут “Мухомор”... да ты увидишь! Я прикинул, во сколько же все это обойдется, но теперь... все будет! — сказал он весело-загадочно. Даринька слышала и не слыхала, вся в своей радости. Поняла лишь последнее: «как это хорошо сложилось, что мы здесь!» Она попросила дать ей церковного вина, «кагору», с горячей водой, и мешочек с просвирками, на столе. Вспомнила про записку и сама пошла взять ее. Ютов писал: «Пишу наспех, но не могу уехать, не сказав Вам: Вы внесли сюда жизнь и радость! Благодарю за брата, за себя, за всех здесь. А вчерашнюю “неловкость” мою Вы верно поняли и простили, знаю. Уезжаю, чтобы скорей вернуться. И прямо скажу, повторю Ваше слово — оно и мамино! — да, теперь для меня... “все — красота Господня!” И все мне кажется, что сегодня праздник! Ютов».

Даринька прочла и засветилась. Виктор Алексеевич готовил горячее вино.

— Прочти, что пишет наш «чудак»... Славные они какие, оба...

— Да, отличные ребята! — сказал он, пробежав записку. — От тебя все очищается, лучшеет, светится... я всегда это говорил. А теперь... э-то вот прочти... — сказал он, выжидательно, и выложил полученную утром телеграмму, примял ее ладонью. — И как же кстати! из Иркутска.

Некий Брыкин, доверенный покойного Алексея Вейденгаммера, извещал, что, при сделке с английской компанией у нотариуса, открылось «заимочное свидетельство» на золотоносные участки по Лене, выданное Горным Округом на Алексея Алексеевича и не входившее в договор с компанией. Компания предлагает за право на участки 20 тыс. Требуют срочного ответа. Виктор Алексеевич ответил «наудачу»: «согласен за 30 тыс., телеграфируйте Мценск».

— Что?... спросил он, в нетерпении.

Даринька приняла депешу безразлично, рассеянно сказавши: «зачем так много... денег?..»

— Не рада?! — удивился он. — Так мно-го..? А для «Уютова»! а для те-бя, для твоей свободы, ты обо всех болеешь!.. Это как бы д а р «Уютова», тебе!.. Я вдруг это почувствовал бла-

19

22.VI.1944 <...>

Я вдруг это почувствовал, благодаря тебе же... ты так всегда проникновенна! — говорил он с жаром, — ты как-то всматриваешься, каким-то чутким инструментом... столько случалось с нами, и... ты была права. И вот, мне показалось, что и т у т...

Даринька смотрела м и м о, вслушиваясь во ч т о-то, что было за его словами.

— Когда увидишь, ч т о здесь, и к т о живет... Я мельком видел, и все же что-то понял или угадал... но ты увидишь! Действительно, Ютовым не оставалось другого выхода. «Уютово» для них явилось труднейшим моральным испытанием, и я их понимаю, Константина... и эту замкнутость Алеши... их мучило все это! И я почувствовал, что это сложные натуры, для них есть цен-ности!.. Этот «чудак», с его «ломаньем», мне понятен... он пробовал перемогаться, «напускным». Ты разгадала, и так проникновенно р а з в я з а л а!.. Ну, это после, ты слушай... — продолжал с жаром Виктор Алексеевич, стараясь

уяснить «самое главное», как бы отсутствующей, Дариньке: она смотрела в сад, держа перед глазами пальцы: так дети смотрят, как алеет кровка. — Я, прямо, потерялся, увидав людей, кланявшихся мне совсюду... каких-то ребятишек, смотревших на меня, как на страшилище какое... и все эти чудесные «затеи», или, как, вчера, Костя... «причуды»! Так интересно, до кормушек птицам в парке! Их там масса! всяких... совсем ручные! Рис даже покупали!.. В стойлах три старых клячи, на пенсии!.. Если оставить все, как было или как есть, не тронув ни-кого и ни-чего... как ты вчера чудесно и так у в е р е н н о сказала, бо-льшие надо деньги! Ведь тут, насколько я почувствовал, бла-гостность реально проявлялась... Странная вещь, вчера я думал о благостности в человеке... к а к можно разрешать огромные проблемы... их разрешали кровью... Прости, я все болтаю, утомил тебя..?

— Нет-нет... — сказала Даринька за пальцами, — я слушаю... да... деньги...

— Да, и для благостности нужно деньги. Но вот, по поводу... о главном, нашем. У нас нашлось бы... на три, на пять лет, но ты не могла бы проявлять себя до полной меры твоего редкостного сердца. Я тебя знаю, к а к а я ты... особенно т е п е р ь... и вот, при-хо-дят деньги, т е б е необходимые! Приходят... в пе-рвый же день наш здесь! Мне как-то даже странно стало... даже оторопел я... ты понимаешь?...

Даринька поняла в с е. Поняла глубже, чем высказал Виктор Алексеевич. Хотела что-то говорить, губы ее полуоткрылись, дрогнули, перекосились от сдержанного вскрика, ей не хватило воздуха, — взметнулось сердце, — все перед ней ходило, зыбилось, вдруг потемнело, — и она упала на качалку, у стола. Виктор Алексеевич перепугался, крикнул кому-то, ничего не помня, — «воды! за доктором!..» — забыв, что это не в Москве. В доме не случилось ни души. Людская далеко, не слышат. В ужасе, он видел, как лицо Дариньки «мертвеет», восковеет... кинулся в комнаты за спиртом. Искал, расшвыривая чемоданы, страшась ч е г о-то, — «вот, ударит!» — так чувствовал, как осенью, в Москве, когда подкрадывался к р и з и с, на страшных лапах. Когда вернулся с одеколоном и мокрым полотенцем, Даринька лежала неподвижно, чуть дыша, хватая слабыми губами воздух, глаза были закрыты. Он, «призывая Бога», — он призывал, хоть и не верил, «не решил еще!» — с горькою усмешкой говорил потом об этом «не решил еще»! — прыскал в ее лицо одеколоном, тер у висков и за ушами, махал над нею мокрым полотенцем, хотел освободить дыханье — расстегнуть лифчик,

расшнуровать корсет... и вдруг почувствовал, — радостно метнулось сердце, — что она отстраняет его руку, что-то невнятно шепчет. Он расслышал только — «много... было...» Она вздохнула, повела губами; лицо ее живело, розовело, глаза полуоткрылись, и «кроткая, слабая, как бы стыдливая улыбка... — вспоминал он нежно, — обозначалась, расцветала на ее все еще полудетских губках». Даринька удивленно-робко улыбалась, чему-то в ней, вслушивалась будто, благоговейно-кротко. Боясь тревожить, он, затаенно, пугаясь радостности в себе, смотрел на ее лицо и думал, какая красота и чистота доступна человеческому лику!.. — «Вот, выраженье святости в чертах, — подумалось ему так и осталось в сердце, — вот — икона. Как прекрасно, и как оправдано высокое искусство, благословляемое Церковью... какая Пра-вда!..» Этот «миг созерцания» имел для него, как говорил он, огромное значение.

Даринька подняла глаза и осмотрелась. Он увидал слезы в ее глазах, — чуть, влажной дымкой. Спросил — «лучше тебе... может быть перенести тебя, в постель..?» Она ответила глазами — чуть повела, но он услышал — «нет». Прошли минуты. Он не шевелился, смотрел. Подумал — «дремлет». И удивился, когда услышал голос:

— Я здесь, опять... в «Уютове».

— Да, милая... в «Уютове». Подреми, покойно...

— Дивные какие... — показала она глазами на цветы, стоявшие на жардиньерке-лесенке. Райские... я не видала! их не было?.. — сказала она здраво, не в бреду, как он подумал. — В жизни не видала... какие это?..

Он не знал — какие: впервые видел. Сказал, не зная:

— Должно быть, поставили сегодня только... для тебя..? Помню, тот, оригинал... этот, в балахоне... «Мухомор»... — вспомнил он странного садовника, — держал что-то похожее, опрыскивал... я удивился, какие колокольчики... как-будто это самое... впервые вижу!..

Это были великолепные глоксиньи, всех оттенков, большими колокольцами-бокалами, склонявшимися к ниспадавшим листьям, широко-лапистым, похожим на рубчатый зеленоватый бархат: синие-густые, голубые; чистые, как снег весенний, выпавший несрочно, в солнце: розовые, как розовы бывают зори; лиловые, малиновые, золотые... — редкостные еще тогда цветы-экзотики.

— Будто дремлют. Живые, дышат... — благоговейно, умиленно, шептала Даринька, — боялась пробудить их. — Я слышу... они играют..? Слышишь, как они... позванива-

ют..? Такие колокольчики бывают, тонкого-тонкого стекла, на елках..? Когда-то, видала я... была ребенком... много-много «божьих огонечков»... и колокольчики играют... Ах, как красивы... здесь даже...

Он просил ее не говорить, не утомлять себя... —

— Теперь мне лучше, я могу руку подымать... смотри! Все помню. Я пришла оттуда, там овсяное поле, наше... какая церковь, вся сияет... — говорила она, припоминая, — там... — сказала она чуть слышно, будто поверяла тайну, — Свя-ти-тель... Пастырь Добрый... о, какой светлый!.. Он все снял, с меня... так мне легко теперь... дай руку... чувствуешь, как мне легко?.. — Виктору Алексеевичу казалось, что она в бреду, он смочил ей лоб одеколоном, но она отстранила руку. — Не думай, что я путаю... я по-мню, сознаю... — он даже отшатнулся: знает, что он подумал! — Я ослабла, мне стало плохо... слишком много было, всего... так, сразу. Дай же мне теплоты... Ну, разве ты не знаешь, что это те-плота, — вино с водой! — сказала она чуть раздражительно. — И мой мешочек, с просфорами...

Она привстала на качалке, расстелила платочек на коленях и стала есть просвирку. Выпила вина.

— Вот я и сильная, встаю... — сказала она, и поднялась с качалки. — Теперь я хочу чаю... Дивные какие!.. это небесные цветы... смотри, какие чистые и кроткие!... Господи, я так счастлива... как мне благодарить Тебя!..

Он поразился, как быстро к ней вернулись силы, как она вся светилась счастьем.

20

24.VI.1944
Париж <...>

Помнил ее Виктор Алексеевич — «как бы воскресшею, опять и опять новою, еще не бывшею никогда такою». Она попросила еще вина и продолжала вкушать просвирку: не ела, а вкушала, благоговейно, обирала с платочка крошки. Рассказывала о церкви, о дивном виде с высоты овсяного поля. Вечером только поведала она ему все — о Святителе.

Когда вкушала просфору, вошла из комнат Аграфена Матвевна, принарядившаяся для праздника, в турецкой темной шали с «желудями», с праздничным пирогом на блюде, и поздравила с праздником Крестителя Господня. Ее усадили пить с ними чай, — она никогда не пила кофе, — и она

не отказывалась: так было и до них, узнали они после. За ней смиренно вошла Анюта, праздничная тоже, — велела ей Матвевна, — в свежем московском ситчике, и подала широкие плетушки: на кленовых листьях, крупные вишни, «шпанские», и бархатные розовые персики, созревшие несрочно в грунтовых сараях.

Они залюбовались. Матвевна повела речь чинно, — о «перво-первинках, ново-новинках»: с завтрашнего дня, Господи благослови, начнем посылать в Орел и Тулу бакалейщикам; привыкли к ютовскому фрухту, богатые охочи, и военные любят щегольнуть, да и амценские купцы задорятся, и из именьев присылают где не заведено... Кузюмов даже, «темный», гордец, «слышать о наших господах не может», а и он подсылает, со стороны... — все хоть расходы оправдаем, «Мухомора» да двух еще его подручных, да дрова-то-се... — «и вам, милые, в полную усладу». И, как уж заведёно, батюшке, в уважение, корзинку: персика до второго Спаса[811] не будут кушать, варенье сварят, а вишеньками себя порадуют.

Так, благостно и ярко, началась новая их жизнь в «Уютове»: р а д о в а н и е м и «счастьем».

VII — «ЗЕМНОЙ РАЙ»

Виктор Алексеевич понимал, что обморок с Даринькой случился от «перегрузки» впечатлениями от вдруг открывшегося ей «земного рая», — так называл и он «Уютово», как Даринька, у которой это вырвалось из сердца, в изумленьи перед красотой Господней, — да и вчерашний день был полон приятных треволнений: и потому уговаривал ее отложить до завтра осмотр усадьбы. Но она проявила настойчивость, «забавную властность даже», чего он и не подозревал в ней. Он был радостно изумлен, когда кроткая и покорная Даринька сказала: «ты говорил, что купил “Уютово” для меня, что я полная тут хозяйка? — улыбнулась она игриво, — ну, и надо слушаться... х о з я й к у». Он пришел в восторг от ее «детской важности», от непривычной ее «игры», — он это принял как «полное забвение всего», — разумел «петербургскую историю», — и, не будь на террасе вернувшегося Алеши, стал бы целовать ей ножки. Он не знал еще, что это оттого, что она чувствовала себя р а з в я з а н н о й, что в с т р е ч а со Святителем дала ей покой и волю, и она познала возложенное на нее отныне: не только «везти возок» — послушание о. Варнавы; «возок» не казался бременем; но и, в радовании, «обнять весь мир», радовать всех и радоваться со всеми. Это, неясное

ей еще, она не высказывала Виктору Алексеевичу до времени, но уже чувствовала себя вправе делать «по своей воле», что будет говорить ей сердце.

— Я принял это за ее «игру» со мной, — вспоминал Виктор Алексеевич, — за ее о т в е т таким кокетством на мои настояния чувствовать себя в жизни госпожой и перестать пугаться, — о. Варнава так и назвал ее, — «ну, ты, пуганая!», — перестать р о б е т ь. На самом деле, это было началом ее господства надо всем и всеми, так ярко проявившегося в ее жизни. Это было началом ее п о с л у ш а н и я, оправдание имени ее — Дария, исполнение провидения о. Варнавы — «победишь». И что удивительно... — проявляя свое «господство», она оставалась прежней — кроткой, нежной в очаровательности своей, всех привлекающей лучившеюся из нее детской чистотой и как бы... неощутимой, позволю себе философский термин, — ирреальной женственностью... подобною... я не смею т е п е р ь подумать о таком сравнении!.. — тут не гетевское — «извечно-женственное»[812], а тоньше, выше, глубже... Помните, как кощунственно называл ее барон Ритлингер, вольничал «поэтически» Вагаев Дима... да и я сколько повергал ее в безумный ужас, именуя..? Исключительным чувством такта, боленья обо всех, умела она обходиться так, что никто не испытывал этого ее «господства»: выходило, что иначе нельзя, все этого хотят, и рады, и счастливы. Можно это определить так: мудрое и благое в о с п и т а н и е. Мог ли я ожидать, что скромница окажется сильнее многих насильников, слабенькая станет ломать крепышей... словом, явится гениальным воспитателем?!.

Детское нетерпение — «скорей бежать, смотреть!..» — не дававшее ей вчера заснуть, сменилось сознанием, что все здесь — е е, и навсегда — е е, и не надо спешить, а принимать чинно и благодарственно, как посланное свыше, не только для нее, а для — в с е г о. Она записала в своей «записке», что даже в самый день приезда голос сердца остерегал ее подумать, что это для нее, что она это как-то заслужила, и этот голос внушил ей «радостно, и в таком восторге», сказать Косте, что они «у себя», и все здесь останется, как было. Тогда она познала радость, и эта радость открыла ей другие радости, до высшей — р а д о в а н и я, освобождения, — о т п у щ е н и я. Так приняла она и сибирскую депешу — «для в с е г о». Все это, — а депеша, как «последняя капля», — переполнило сердце и вызвало утрату сознания, г д е она. Она была г д е -то: не здесь, в «Уютове». После что-то она припоминала, и записала, хоть и с провальцами, ч т о она испытала г д е -то... —

потому и высказалось у ней, как удивленье, — «в “Уютове”... о п я т ь..!»

Знакомство с «земным раем» начала Даринька с цветников.

Она позвала Алешу, а Виктору Алексеевичу сказала, что не хочет отрывать его от дела: он говорил с Матвевной о хозяйстве. Тут же присутствовал и Кузьма Савельич, когда-то бурмистр, «всезнающий», объяснила Матвевна, вызвавшая его для разговоров, — «а теперь за людьми доглядывает». Кузьма Савельич был уже старичок, с дубовой клюшкой, и в валенках, — «ногами жалуется, а все доглядывает, заботливый», ликом благообразный, речью медлительный, и, показалось Дариньке, смиренный, даже робкий: при обращении к нему, прикладывал руку к уху и привставал со стула, на который велела ему сесть Матвевна. Привставал и все оглядывался пугливо на Матвевну, как бы спрашивая ее, так ли он говорит. Дариньке стало его жалко, — подумалось, что старичок боится, ну-ка его по старости прогонят, куда он денется, старый такой, и в валенках! — и, уходя, сказала ласково старичку, что и сама посоветуется с ним, он, видно, все знает по хозяйству, и доктора позвать надо, пусть отдохнет-полечится... и все здесь, кто до них жили при усадьбе, так все и будут служить по-прежнему, она позаботится обо всем. Кузьма Савельич привстал со стула, поклонился ей низко-низко, у него перекосилась щека и задрожали губы, а Матвевна приветливо покивала Дариньке.

Осматривали верхний цветник — розарий, в буйном разливе цвета. Даринька снова восторгалась, но торопилась увидеть сегодня же всю усадьбу — потом все сама, как следует, рассмотрит, — почти бежала. Задержалась перед «болгарками» — поразили ее развалистые кусты, залитые сплошь пышными, в блюдце, розами, разогретыми солнцем, дышавшими драгоценным миром, — с детства она любила этот священный запах. Алеша объяснял ей, что мама [любила][i] в утренние часы лежать здесь на лонгшезе с книгой, «и розы дышали ей». Матвевна всегда перед полуднем посылает внучек Кузьмы Савельича — при нем две внучки после покойной дочери, — собирать лепестки, варит из них варенье, отсылает в дорогой магазин, в Москву, и насушивает целые пакеты орловским-тульским аптекарям, и еще велит выбирать из роз «шпанских мух», — «жучки-то зелено-золотистые, вам понравились... только не дотрагивайтесь до них, оставляют пронзительно-острый запах», —

---

[i] Зачеркнуто в оригинале.

21

27.VI.1944
Париж <...>

— она их сушит и продает в аптеку.

За розами открылись прозрачные, стройные ряды нежных, душистых лилий, — «архангельских». Светясь золотыми сердечками, грезя своею тайной, стояли они дремотно, чистые. Даринька смотрела на них благоговейно, в радостном умилении. Думалось ей: это чистые девы, в ожидании несказанной в с т р е ч и, небесно-брачной.

За лилиями кустились пышные снежные пионы, запоздавшие из-за большого снегопада: были они в полном теперь цветеньи — «троицыны цветы», так называл Алеша: «всегда мы на Троицын день ходили с ними в церковь... и по всем комнатам, в березках, стояли пышные их букеты». Они особенно удавались маме, она недурно писала акварелью, давала внутренний лик цветов. На вопрос Дариньки, что такое «внутренний лик», он сразу не мог ответить, пожал плечами, будто и сам не знает.

— Трудно это, надо к а к -то... увидеть в н у т р ь. Как-вот, увидеть... д у ш у? Знаменитый художник К., наш друг, всегда сердится, если я рву этюды, по рисунку, пожалуй, не плохие... но г л а в н о г о они мне не говорят. Я к нему вот поеду, но только за техникой, набить руку. Что же надо..? Ну, вот, пион... написать лучше, чем он такой, нельзя... зачем же писать! А когда я поймаю, увижу что-то осо-бенное... это, конечно, очень редко... тогда..! Вот, давеча, увидал... в розах стояли вы, и это же голубое платье было... но было все в вас с о в с е м д р у г о е, будто вы... засветились! Вот это — главное, д у ш у увидать. Вы тогда так хорошо сказали, угадали, что я н а й д у сегодня! Вы сказали — «чудесно напишете сегодня». Я побежал на кладбище, попробовать в з я т ь мамину могилку. Какое же было освещение! не-жная-нежная полутень в березах... Кажется, я н а ш е л.

— Нашли..? — поняла, и не поняла она.

— Да. Будто душа ее могилки... е е душа. К. стал бы меня бранить, я знаю... и березы у меня ненастоящие, а «бледные», тоненькие совсем... и — будто спят. Но, ведь, т а м в с е с п я т!.. Т а м , на кладбище, совсем уж не так видится, как... в роще, где весело и светло. Ну... если вот какой-нибудь вид смотреть через вуалировку... Не могу и себе сказать понятно.

— Поняла, поняла!.. — воскликнула Даринька, — это во сне когда! Цветы мне снятся, совсем другие... и деревья, и все

не настоящее, а из сна деревья, березки... будто они о чем-то грезят.

— Да, пожалуй... Меня ругает и Костинька, — давай рисунок, краску, как я вижу! А я ему говорю — нет, этого не хочу, мне скучно так... я хочу так, как я в и ж у!..

Осматривали середнюю площадку «петергофского» цветника, — просторные, вольные газоны, расписанные арабесками цветных трав. Это были «персидские ковры», ж и в ы е. Так, рядом, они не показывали себя: надо было подняться по лесенке на вышку, стоявшую с краю цветника.

Алеша рассказывал, что так надумал «наш Мухомор», удивительный фантазер, который умеет в и д е т ь. Немножко чудак... Когда-то бабушка Вера рассердилась на старика Кузюмова, страшного богача и самодура. Обыкновенно, летом она жила под Ригой, в родовом имении дедушки-барона. Там были прекрасные цветники, а здесь, — это было когда-то очень большое родовое имение ее отца, моего прадеда, князя..... и все пришло в запустение. И вот, как-то она приехала сюда с мамой на целое лето, хотела устраивать придел во-имя Святителя. Мама только что кончила институт, приехал с ними и учитель... мама очень любила ботанику, и бабушка пригласила молодого ученого, приват-доцента... Ютова, давать уроки естественной истории. С этого все и началось. Приехал к бабушке с визитом старик Кузюмов, с сыном, еще студентом тогда. Приезжали они не раз, потом вдруг вышла какая-то размолвка, Кузюмов разгорячился и назвал бабушкино имение «дырой», а про цветник сказал, что это не цветник, а огород, «свиней пасти». Бабушка его выгнала, с той поры все сношения кончились. Очень самолюбивая, бабушка Вера сейчас же выбрала из садовников самого способного, КамОрова, и послала его в Петровскую академию на два года — выучиться всему у главного садовника, известного Шредера[813]. Каморов вернулся совсем другим, набрался у студентов «мудрости»... — «он чуточку даже нигилист!» — но отлично узнал на практике цветоводство и все садовое дело, сам вывел новые разновидности и цветов, и яблок, и в этом смысле — что-то исключительное.

— Папа был довольно известный ботаник, — рассказывал Алеша, — и всегда говорил, что получи Каморов образование, он стал бы большим натуралистом, может быть русским Линнеем или Гумбольдтом[814], а то и больше. У него пылкое воображение и сметка. А вот, талантливый только самоучка. «Мухомор» почему? А это Матвевна прозвала. Странности у него, он ужасно боится мух! — побледнеет даже, если на

него муха сядет. Как-то увидал в микроскоп, сколько на мухе «заразы»... ну, бактерий... Матвевна и смеется ему: «глупый ты глу-пый... Бога не боишься, а мухи боишься!» Изобрел особый «мушиный яд», и все опрыскивает. Увидите, всегда балахон на нем, и чем-то пропитан, от мух, и шляпа особенная, на мухомор похожа. Знаете, — Алеша улыбнулся, — он не верит в Бога! Обычно это, у недоучек, всегда говорила мама. Нахватался от «петровцев», страшная каша в голове у него, все спутано.

Они поднялись на балкончик-вышку, и открылись живые «персидские ковры». Не верилось, что можно так «выткать по земле».

— А вон и «Мухомор» наш, — показал Алеша, — у озерка, глядит на небо. Он так часами может стоять и думать. А ночью на звезды смотрит. Ему смеются, чего все на небо смотрит, а он отшучивается — «да вот, Бога хочу увидеть!» А они ему — «пойди в церкву — увидишь». И очень добрый, последнее бедняку отдаст, его все любят.

Они сошли с вышки и подошли к озерку. Даринька восторгалась — как же чудесно это! Озерко было оваликом, совсем маленькое, шагов на 20—30, но совсем, будто, настоящее, заросло по бережкам тростником, уже поднявшим бурые «банники», крупнейшими белыми кувшинками, елочками болотной гречки. На плавающих листьях нежились зеленые лягушки-погодники, суля вёдро.

— Мама, бывало, лежала здесь под балдахинчиком, писала акварельки...

Вровень с водой лежал маленький островок, весь голубой от крупных колокольчиков и невиданных незабудок, — «почти в копейку». На островок можно было попасть по особым сходням, служившим и скамейкой, — «Мухомор» придумал. На островке плакала шелковыми ветвями «грустная малютка» — ива. Когда они шли к озерку, с деревца камушком свалился в траву соловушка: там было соловьиное гнездо.

Заслышав шаги, к ним обернулась стоявшая у озерка странная фигура в сером балахоне, подняла широкий гриб-шляпу и галантно раскланялась, говоря изысканно-радостно: «мое почтение созерцателям... присядьте и полюбопытствуйте на водяной пейзаж!» Даринька чуть не рассмеялась, но сдержалась, и покивала ласково:

— Здравствуйте, сейчас узнала, и сама вижу, какие вы чудеса творите в саду, не видывала никогда такого.

«Мухомор» приятно осклабился, даже растерялся и, проговорив наскоро, — «это что, пустяки пока...» — смахнул

«грибом» со скамейки невидимую пыль и пристукнул рукой, как бы приглашая сесть. Было видно, что он чувствовал себя здесь хозяином. Отбежал шага три, что-то повернул в газоне, и сейчас же из бережков озерка начали бить фонтанчики на кувшинки, а из ивы выкинулась высокая сильная струя и кипуче разбилась в радужно-ниспадающие брызги.

22

27.VI.1944
Париж <...>

и кипуче разбилась в радужно-ниспадающие брызги. Даринька вскрикнула — «Господи, как чудесно... красота, чудеса Господни!..» — все для нее теперь казалось в небесном свете.

— Не чудеса, а продукт человеческого мозга! — сказал «Мухомор» значительно. — Пожелаю, крантиком поверну, — и «чудеса» пропадут.

Они искренно рассмеялись, и с ними, откровенно-детски, смеялся и «Мухомор». Алеша сказал ему, что это новая их хозяйка, очень любит цветы и все прекрасное. «Мухомор» опять изысканно поклонился и проговорил значительно:

— Очень приятно, буду иметь в виду. Прекрасное... что есть прекрасное?! Три сути: «истина, добро, красота!» — сказал мудрейший филозОф древности. И потому не надо выпускать из виду: у разумного человека нет и не должно быть никакого хозяина, каждый человек — сам себе хозяин! — и сел перед ними на песочке.

Он был приятный: среднего роста, с открытым взглядом, сухощавый, остроугольным худым лицом напоминал Дон-Кихота, с тревожными, мечтательно-умными глазами. Виктор Алексеевич говорил, что надень «Мухомор» сюртук, пенс-не, — не отличить от профессора. Особенно привлекал к нему красиво очерченный, высокий, открытый лоб, с сильно развитыми височными буграми, — лоб мыслителя. Когда он улыбался, его живые, светлые сероватые глаза раскрывались как в изумлении, будто он спрашивал, — а, ведь, правда, как это хорошо и радостно? Приметила еще Даринька, что он все выбрасывает перед собою руки, как в изумлении-восторге, будто видит что-то необыкновенное. Так и было, когда он увидел Дариньку: выкинул вперед руки и, смутившись, снял свою шляпу-гриб и пригласил изысканнейше «полюбытствовать водяным пейзажем». Казалось ей, что он всегда и всему радуется-дивится. Он ей сразу понравился, несмотря на его «неверие». Было ему к шестидесяти, но подвижности

был он необычайной, — бегал легко, мальчишкой, попрыгивал, как кузнечик. Жил он — рассказывал Алеша, — «как Диоген», в шалаше в яблонном саду с апреля до морозов, спал чуть ли не без подушки, «на сухолистии», ел больше растительную пищу, а пил «земляничный настой» на кипятке, — живой кипяток, все даже поражались, как он глотки не обожжет себе. На сбережения выписывал книги по цветоводству, «для собственной библиотеки», и даже «философические», какие указывали ему бывшие «петровцы», иногда и профессора, — с известным почвоведом К... была у него дружеская переписка. Покойную маму он благоговейно чтил, угадывал все ее желания, создавал для нее новые цветы. Узнав, что она любит только самые тонкие духи, задумал выработать неподдающийся выгонке аромат «персика» и утоньчить вытяжку жасмина и яблонного цвета. Завел переписку с Раллэ, где директором парфюмерного отдела был знакомый ему «петровец», купил перегонный аппаратик с охладителем, и первыми опытами, «с пустяков», привел всех в такое изумление, что мама уже подумывала наладить в «Ютове» выгонку «экстрактов». Болезнь ее только помешала... Каждый день «Мухомор» ходит на кладбище, обновляет цветы, следит за красотой могилки, и все дивятся на эту живую красоту, обновляющуюся чуть ли не каждый день.

На последней площадке цветника были в свободном беспорядке разбросаны рисунчатые клумбы, завитушки с летниками, лекарственные травы. Летники были всюду, по бордюрам, так тонко собранные, что вечерами чувствовался б у к е т, разливалась «симфония из ароматов», как говорил Алеша.

От цветника они поднялись к парку.

Парк создавался постепенно, замещая давно уже отмиравший, липовый. Это был не обычный, исконный, парк[815], — с просеками, аллейками, с унылой правильностью разбивки: это была — сказал «Мухомор», — «сама натура». Не было тут дорожек, скамей, беседок, статуй с отбитыми носами, гротов, «хижин любви», мостиков из березы, арок... — было приволье, воздух, вольное солнце, тропки, — ходи, как знаешь.

Сейчас же за краем дома, маленьким островом, стояли ели, в полной силе, обвешенные по верху шишками. «Мухомор» свистнул, и Даринька увидала изумленно рыжеватую белку, махнувшую в воздухе «правилом». «Мухомор» выкинул под ели горсть орешков. Сейчас же, на их глазах, соскользнули на хвою две белочки и весело принялись за угощенье. «Мухомор» подмигнул восхищенной Дариньке и, сам, видимо, восхищенный, вытянул свои руки.

— Некое предание говорит несмысленным людям, — сказал он, будто для себя, — что так было в ра-ю каком-то!.. А мы вот свой рай устроили... вот э-то — и-стина!

Даринька поняла, что он хочет этим сказать, и сама сказала — осенилась:

— И никогда бы вы не устроили, если бы р а я не было! вы бы его и не чувствовали... а вот, чувствуете и радуетесь!

«Мухомор» взглянул на нее, на небо, и сказал совсем простосердечно, удивленно даже:

— А ведь это... правильно!.. «если бы н е б ы л о...»?...

— Да, в нас, в нашем сердце, есть только то, что — е с т ь! — не думая, высказывала она. — И если верят в Бога, и если сомневаются, е с т ь ли Бог, и так иногда кощунствуют... так это оттого только, что е с т ь Т о т, в К о г о так горячо веруют, К о г о так безумно оскорбляют! О том, чего н е т, — вовсе не думают!..

Она и сама не сознавала, чтО она выкрикнула, — она тут же и позабыла, чтО сказала. По рассказам Виктора Алексеевича, это в ней выкрикнулось с а м о, как отстоявшееся в ее душе от чтения книг священных, от встреч с мудрыми старцами, еще с детства, от своих потаенных размышлений. Она не поверила Алеше, когда он напомнил ей, к а к она высказалась. Но она сердцем з н а л а, что это правда: не восхитился бы так Алеша; а он так тогда восхитился, что схватил ее руку и хотел благодарно поцеловать, но Даринька не дала поцеловать. З н а л а, что правда это: видела она, как «Мухомор» смотрел на нее устремленными в изумлении глазами, выбросил свои руки... как, опомнившись, огляделся кругом растерянно, вытащил из-под балахона тетрадки и, поглядывая в верхушки елей, стал записывать что-то карандашиком.

— Вы, барыня, сказали... — вымолвил он, вглядываясь в мысли, было видно по напряженным чертам его, и это «барыня» вырвалось у него невольно, — мне такого еще не доводилось слышать... вот уж никак не думал!.. А это же... суть и с т и н ы!.. — и недоуменно-раздумчиво чесал бровь.

— Дальше, дальше... — спешила все видеть Даринька.

Открылась за елями поляна, с в о я, родная, залитая полдневным солнцем, ласково-яркая от родных цветов, любимых с детства: розовой и белой кашки, ромашки-белопоповника, малиновой смолянки, розовой-полевой гвоздички, золотистого курослепа, мелкого полевого колокольчика, султанчиков щавеля, лилового-золотого зверобоя — львиного зева... — дохнула на них прогретым медом. Маленькая она была, случайная. За ней начались березы. С молодой поросли, шли они, выше,

толще, взрослей, сильней, перемежались сочными пятнами лужаек, где, в затини, тайно-дремотно грезили, как тоненькие былинки-свечки, с детства любимые «восковки», — хмельные орхидейки русские, — душистые ночнушки, фиалки-любки, в полном теперь расцвете, с редкими, совсем безуханными сестрицами — лиловыми. Были полянки уже давно отцветших ландышей в низинках, луговых золотых бубенчиков — «розанов». Были бесплодные островки — пОросли можжевельника, в зеленоватых, сухих и бледных розанчиках заячьей капустки, тронутых жаром — ржавчиной; в бессмертниках, не обыкновенных — «кошачья лапка», а крупнейших, невиданных. Здесь стоял под накрытием пропеченный солнцем, блестевший лоском высокий крест: эта неплодная полянка звалась «Крестовой». Да-

23

29.VI.1944
Париж <...>

Даринька узнала, что в старину убило здесь молнией кого-то. На песчаной плешинке рос белый донник, пестрели иван-да марья, стлалась мать-мачеха; рубчатый жесткий хвощ зелено красовался ярусными своими перемычками, будто малютки-елочки; путался под ногами брусничник и черничник. Алеша рассказывал, что здесь все чернозем глубокий, и на эту плешинку навозили песку, «для этих пустынных обитателей»: маме хотелось, чтобы здесь было все из родной природы, все эти, незаметные, песочек любят. В этих рощицах, говорил Алеша, водятся всякие грибы, с белых и до груздей, и все это Дормидонт Анисимыч — «Мухомор» — устроил, грибницу переносил, долго добивался, капризничали грибы, грузди и белые — особенно; но все-таки добился. Об этом писали и в газетах, и сюда приезжал один немецкий специалист-фитолог, расспрашивал Дормидонта Анисимыча, — мама ему переводила, — восторгался всем виденным и долго пожимал руку «гениальному практику и собрату». «Мухомор» нисколько не возгордился похвалами, и просил сказать немцу, что «все это пустяки». Немец, говорят, был ошеломлен таким ответом и воскликнул, растроганный: «о, вельхэ унгетайльтэ бешайдэнхайт, вельхэ тройхерцигкайт!»[1] — подарил, «на-память», Дормидонту целых три рубля и прислал из Ляйпцига изящнейшее издание,

[1] «О, какая безраздельная скромность, какое чистосердечие!» (*от нем. Welche ungeteilte Bescheidenheit, welche Treuherzigkeit).*

в красках, — «Атлас грибов Германии», с трогательным автографом. Особенно поразило немца, что Дормидонту удалась выгонка тончайшего-деликатесного гриба, раньше считавшегося здесь за мухомора, — не знаменательно ли?! растущего в чащах, рядом с самыми ядовитыми — «вонючками». Этот огромный гриб, похожий на шоколадно-молочный зонтик, осыпанный миндалем и сахаром, напоминал окраской чуть подрумяненный, зефирный пирог-калач от Трэнблэ, любимый Даринькой. Этим грибом «Мухомор» особенно восхищался: упорней его нет для выгонки! Когда показывали его Дариньке, уже в августе, «Мухомор» даже поглаживал его «по спинке». И, действительно, соус из этого гриба-деликатеса, приготовленный поваром Листратычем, по словам Виктора Алексеевича, побил всякие соуса грибные — из шанпиньонов и трюфелей.

От рощиц и лужаек, — было их десятины три—четыре, а Дариньке казалось, что это какое-то беспредельное пространство, — через канаву с валом, обсаженным густо елками, попали в яблонный сад, где, в междурядьях, росла на грядах клубника, и пушились огромнейшие кусты всякой смородины и крыжовников. Красная смородина поспевала, горели кусты рубинами. Как исполинские чаши, приземистые, широкие, полные плодоносной силы, дремали в богатом солнце, словно в до лоска начищенной коре, отборные яблонные виды, — «двенадцать только, из восьмисот сортов, которые у нас, в России, — пояснил Дариньке “Мухомор”, — да уж зато — нет лучше!» — и выкинул руки к яблонькам. — «В мае, когда цветенье... прямо, заплакать хочется!..»

И здесь, как и по рощицам, видела Даринька привешенные в деревьях ящички и туески из бересты — «кормушки птичьи». Как и в рощицах, здесь стоял писк и щебет чижей, малиновок, зарянок, зябликов, овсянок, реполовов и прочей пернатой мелочи. Постукивали дятлики: «деревья обчищают, как им натура указала», — говорил «Мухомор».

— Со-рок пудов!.. — сказал он значительно.

— Что — сорок пудов? — не поняла Даринька.

— Всякого семени и зерна, Кузьма Савельич высчитывал, — пустяки, на полсотни рублев, а удовольствия-то и м сколько! Они нам сторицей выплачивают, многие и всеядные из них, чи-стят дерева — вот как! Всех этих мух проклятых, заразу эту... червье все нечистое расточают... без их, ведь, всему погибель-смерть!.. — Он сорвал с головы «гриб» и, в исступлении, хлястнул по балахону. — Бойтесь, страшитесь проклятых мух! — диким голосом закричал он, вытаращив глаза на Дариньку, — она отскочила даже, — это чума, холера, черто-

ва нечисть окаянная!... Черт их нам припустил... тонкая наука показала! Борюсь посильно... сюда-то они не залетают, по нужникам да помойкам крутятся... у, про-клятые!... До всех добираются... тысячи, может, милиёнов, по всему земному глобусу... неповинных людей пропадает из-за такой ничтожности!.. Где же тут справедливость, а?.. И никакого фи... финтрапического общества, а?! Я в газеты письмо писал, не напечатали... потому там друзья у них... такая же зараза!.. Это же гнус, гнус!.. Погубят они нас, страшные сны мне снятся... у, гну-сы!..

Алеша упал в траву, катался по ней от хохота. Не выдержала и Даринька. Она смеялась от всей души, как никогда еще не смеялась в жизни. Она взяла «Мухомора» за руку, и, в слезах от душившего ее смеха, старалась успокоить:

— Голубчик, милый... да успокойтесь же... я тоже не люблю мух... и, знаете, что... и в церкви тоже молятся избавить нас от всякой нечистоты, от гнуса... и от мух, конечно... всегда молятся! Если муха попадет, например, в сосуд, в пищу... верующие всегда должны очищать молитвой и святой водой! Такие молитвы есть...

— Молитвы? есть молитвы?!.. — воскликнул «Мухомор» радостно, — от мух?! Вот эт-то замечательно! а я не знал!.. И в церкви молятся?!.

— Да обо всем, ведь, молятся!.. Вода осквернилась чем, овечка ли родилась, избу новую построили... новые плоды вкушают... вот на Спаса, 6 августа... все освещается молитвой!.. на все призывается божья защита и благодать. Вы подумайте... вот вы новую яблоньку посадили... и хотите, чтобы она хорошо росла, в заботе, в уходе... всегда религиозный, верующий, православный человек молится, хоть в душе... Как это благодатно, как прекрасно!.. Ведь все, все... и эти яблоньки, и эти птицы... и эти цветы, все травки... все — на пользу и радость человекам... и Церковь[i] разделяет эту радость, и молится о всех и за вся...

Она разгасилась от волнения, вся горела. «Мухомор» взирал на нее и слушал, как зачарованный. И Алеша смотрел на нее, вбирал ее восхищенным глазом, проникновенно всматривался в нее.

— Как говорите вы... — сказал он тихо, — сколько у вас любви, ко всему!..

— Вот, не знал!.. — вскрикивал «Мухомор», — ведь это... это глу-бокая, это фи-лосо-фи-ческая... тема! О... всех и за все!..

---

[i] В оригинале: церковь.

— Разве вы не слыхали?! Каждый день, за обедней, во всех церквах, по всей России возносят чудесную молитву — о всех и за вся!.. «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»

— Не знал!.. не слыхивал... И ни-кто из умных людей мне этого не сказал!... Но не за этих гнусов, га-дов!.. чертово отродье!... Это я запишу... это — мысль!.. Чего вы мне, барыня, сказали!.. Будто это было и во мне... я сам свои молитвы составлял, когда... — он покачал головой и уныло махнул рукой.

— Зачем составлять, все есть!... — воскликнула Даринька. — Молитвы... какие есть молитвы!.. Вы не знаете... вы, бедный, ничего не знаете... У нас, в Страстном монастыре... — она остановилась... и, радостно как-то тряхнув головкой, — я была раньше в монастыре, девушкой когда... — продолжала она открыто-ясно, светясь искренней, детской радостью, — там у нас была ученая монахиня, мать Мелитина, высшие курсы кончила, говорили... знала лечить и всякие травы знала и цветочки... Она меня полюбила, часто к себе звала и читала мне... и книжек мне давала, разных, чистых... У ней были большие полки, все книги, книги... и она писала большую книгу... о молитвах вот. Ах, какие молитвы есть!.. И говорила мне, что самые высокие молитвы, глубокие самые... написали самые знаменитые славопевцы, как вот у нас Пушкин... Он, ведь, тоже молитвы составил! брал старинные молитвы и стихами переписал[816]. И вот, один знаменитый славопевец... это которые молитвы сочиняют, как теперь вот стихи... Иоанн Дамаскин... это славнейший песнопевец! Его молитвы и до сих пор поются в церкви!...

24

29.VI.1944
Париж <...>

— Не знал! — крикнул-оглушил «Мухомор», окидывая сад глазами, и загляделся в небо. — Пу-шкин... молитвы писал?!.. И все древние, самые сочинители... называется, по-эты... тоже..! Не знал!.. И никто мне этого не сказал... вы — первая мне открыли!... Всегда думал, как же это так..? я в шалаше спать ночами не мог... все хотел высказать, как хорошо кругом!.. Яблоньки цветут... а там звезды горят... и вот, хочется запеть!... и плакать хочется... петь и плакать.

— Вы не знаете... все поют!.. И звезды поют, и моря поют, и горы поют... все славят Того, Кто все сотворил!... Вы читали «Псалмы»?

— Какие пса-лмы?.. Не читал... А там — е с т ь про э т о?..

— Там про все!.. Такая мудрость, светлость такая там... Там, матушка Мелитина сказывала... — «духовная бездна»!.. Никакие стихотворцы не могли т а к... Ах, как играла она на фисгармонии, и меня учила... И говорила: «Дарочка, только сердцем можно познать Господа... музыка, молитва, песнопения... входят в сердце и открывают путь к Господу».

— Ах, как вы говорите!.. ведь это ан-гел поет... ан-гел!.. — завопил, прямо, «Мухомор». — Я теперь... сколько мне духу придало!.. Э-то вот де-ло... как все составлено, а?.. Так мне никто не говорил!... И т а м не говорили... уче-ные, а не говорили!...

— Это вы сегодня поставили на террасе большие колокольчики... я таких не видала никогда... это вы, сегодня..?

— Да. Их Ольга Константиновна обожала, прямо... называется — глёксинии... — и «Мухомор» назвал какое-то латинское слово, — он всегда прибавлял ботаническое название, латинское: скажет «ландыш», и пояснит — «конвалярия майялис», скажет — «любка», и назовет еще — «гесперис», всегда, и про фрукты тоже, и про все травы. — Как раз в силу они вошли, я и поставил... нравятся вам?

— Нравятся..! это же р а й с к и е цветы!.. Я обомлела вся, они п о ю т... я слышала, как они по-ют...! Как я вам благодарна!.. Они грезят, как-будто... дремлют — и тихо-тихо позванивают... я с л ы ш а л а!..

«Мухомор» благоговейно слушал, сложив перед грудью руки.

— С л ы ш а л и..? Да, верно, можно так... яблони вот, когда... в мае когда... Уж все спят, а заря еще... в них заря... через них зОрю еще видать... небо еще горит к закату... и вот, тогда... Там, к Зуше, соловей тихо почокивает, а тут зарянка еще чуть пикает... тонкий посвист такой... И раз, знаете, барыня... с л ы ш у я... будто э т о, молочко розовое, яблонное... чуть, будто, пошло поигрывать... как-то это колыхнулось... шелест такой... с подзвоном будто... Обомлел я... ж и в о е... голос подает!... во мне-то поет... с л ы ш у...

— Вот, самое такое, внутри, в душе... в самом сердце... Радость это поет... я знаю!.. И сегодня слышала, т а м... на овсяном поле... жаворонки пели... и будто овсы им... тоже п е л и... И еще, пришла, устала... а когда очнулась... — они, эти... как это... глё... да, глёкинии, колокольчики милые, играли... Ну, пойдемте.

Она спешила увидеть в с е, чувствовала себя необычайно легко — «на крыльях». И все перед ней было легко и светло.

«Мухомор», видела она, шел погруженный в мысли, рассеянный. Алеша молчал — в себе. Она спросила:

— Вы не устали показывать мне... замолчали?..

— Я?!.. — удивился он, подняв на нее глаза, И сказал, будто себе сказал: «на вас молиться можно...» — смутился и опустил глаза.

— Сейчас оранжереи, «грунтики»... и там есть, чего поглядеть... — говорил «Мухомор», но говорил не тем голосом, как раньше, попрыгивая кузнечиком: говорил так, будто все вне его, и он занят совсем другим. — Да, за сиренями вот еще... тут Ольга Константиновна «церковный сад» завела...

Даринька непременно спросила бы — «какой... церковный?» — но ее отвлекло, сиреневая заросль отвлекла. Не только сиреневая заросль, а высившаяся над зарослью развесистая, старая рябина, осыпанная еще не закрасневшимися вгустую, с прожелтью еще, гроздьями. Она почувствовала толчок в сердце, будто испугалась. Эта рябина над сиренями напомнила ей московский сад, напомнила самое то место, где простилась она с Димой... — Диму напомнила. Было «совсем, как там»! Она увидала вспомнила круглую большую клумбу, засаженную маргаритками, одними маргаритками. Грустная это была клумба, холмиком, как бывает на кладбищах и в монастырях, — так она всегда видела, — «грустная». Она выкапывала тогда в лоточек маргаритки — отнести на могилки матушки Агнии и Виринеи-прозорливой. И вот, белея в деревьях кителем, нежданно явился Дима, проститься с ней... навсегда? Нет, она знала, — не навсегда. И вот, увидав заросли сирени и рябину, почувствовала она острое в сердце, — тоску и боль. Не темная была тоска эта, и боль — не больная боль; а светлая, тихая тоска, и боль — грусть. Она не могла не вскрикнуть:

— Как там!... совсем, как тогда, в Москве!... Там... — говорила она, — с собой, словно, говорила, — вспоминала, большая клумба... вся в маргаритках...

— В маргаритках?!... сейчас увидите!... — в маргаритках!.. — закричал дико «Мухомор», — сейчас увидите маргаритки!...

Он кинулся вперед, раздвинул-примял кусты, и она увидала... круглую большую клумбу, поросшую маргаритками. Она остановилась, схватясь за сердце...

— Что это... Го-споди?.. зачем это?!.. — спросила она, в страхе.

Она увидала и скамейку, зеленую скамейку, как там. Невольно оглянулась, не видно ли серого дома за кустами, где

т о г д а, быстро шагая через клумбы, белел Дима. Серого дома не было: сияли стекла грунтового сарая за кустами.

— На скамейку присядьте, барыня, устали... — говорил «Мухомор», придерживая сирень.

Верно, она устала, чувствовала большую слабость. А только что — «летела, как на крыльях». Она едва дошла до скамейки, села в тени сиреней и смотрела на клумбу маргариток. Грустно светились они, розовые и белые, простенькие, н е м ы е, как таимая в сердце грусть. Это были другие маргаритки, пышней и больше, но они были маргаритки, розовые и белые, простенькие и грустные, как и т е. Спутники ее молчали, — может быть понимали, что не надо ее тревожить: так она утомилась, побледнела. Даринька их не видела, не помнила, были ли они тут или отошли куда-то. Она видела только маргаритки, белое свое платье, руки в земле от маргариток... видела белую фуражку на сирени... видела загорелое лицо, замкнутое сначала, потом — о т к р ы в ш е е с я, ставшее примиренным, мягким... видела губы, сжатые болью... прощавшиеся глаза, темные милые глаза, как вишни... д р у г и е, совсем не т е, — первых их дней знакомства, — слышала милый голос, оставшийся в ней живым: — «Мценск? Вот-как... Знаю, как раз поеду мимо. Мы еще встретимся, Дари? правда, мы встретимся..?» Все помнила. Помнила, в и д е л а, вот сейчас: взял он с куста фуражку. Она его крестила, с е й ч а с крестила, притронулась к темной голове, к играющимся височкам, все таким же... нежно поцеловала над глазами. Слышала, вот сейчас, здесь слышала: — «...Дари... до сви-данья?» Слышала свой упавший голос — «да...» Видела, как тянул из ее руки белую сирень...

25

1.VII.1944
Париж <...>

Видела, как потянул из ее руки ветку белой сирени, которой она смахнула слезы, вспомнила, как сказала, — «все возьмите...», как в глазах его блестели слезы... вспомнила — с л ы ш а л а — последнее его — «чудесно!..» Это восторженное его — «чудесно!..» — отозвалось в ней сейчас, играло, пело. «Чудесно!» — повторила она, слыша звук его голоса, и посмотрела в небо.

Чудесно было в голубизне, в прозрачной, чуть набежавшей снежности таявших облачков. «Какая чистота...» — думала она, смотря на голубизну и снежность, — и его душа такая,

чистая... открылась такой тогда...» Эта мысль, вдруг ее озарившая, что Дима чистый, что он все понял, что было с ней, смирился и выбрал чудесный путь — «душу свою отдать за други своя»[817], свеяла ее грусть, и она почувствовала себя сильной, поднялась со скамейки и осмотрелась. И удивилась, что они оба здесь, садовник и Алеша, — а она их не видела! — глядят на развесистую рябину, и «Мухомор» показывает в ней что-то, трясет пальцем, словно остерегает — тише!.. Она спросила, что это там.

— Рой... рой сел... какой клубище-то!.. — сказал шепотом «Мухомор», — Егорычу скорей сказать, он умеет их огребать... — и побежал за Егорычем на пчельник.

Даринька увидала на рябине, в полвысоте ее, отблескивавший чуть золотцем темный рой, державшийся чудом в воздухе, под сучком. Вокруг этого темного, золотистого, с голову, яйца вились и налипали пчелы. Это, впервые виденное ею, казалось таким чудесным!

— Рой увидеть — к счастью, такая примета здесь, — тихо сказал Алеша.

— В первый раз в жизни вижу... — сказала Даринька. — К счастью, да?..

— Говорят... Впрочем, вчера утром, в день вашего приезда, мы с Костинькой разбирали вещи на чердаке... и вот, в маминой ватной шубке... она проветривалась перед слуховым окошком... знаете, увидали рой! в рукаве, в маминой шубочке!.. Костя еще сказал, — «ну, какое же нам будет счастье?» И вот, приехали вы!..

— Это... счастье?... — безотчетно спросила Даринька.

— Да. Мы вспоминали сегодня ночью, когда говорили с ним. Будто мама так сделала. Он, Костинька, — больше позитивист, не признает примет... но тут, даже и он сказал — «как это странно!..» Конечно, обычно это, роЯтся пчелы... но нас поразило, что в маминой шубке, в рукаве!.. И все дивились. И вот, приехали вы... и так удивительно все почувствовали!.. Если бы вы знали, как принял Костя, что вы вчера сказали... как радостно уезжал сегодня!.. Всю тяжесть сняли. Разве не счастье это?!.

Она спросила, что это сказал садовник про какой-то «церковный сад». Он пояснил, что здесь мама велела сажать особенные цветы, не смешивать их с другими, называла «церковными»: маргаритки, астры, бархатцы, георгины... — «вон, на клумбах, за спаржевой канавкой!» — особенного сорта бессмертники, крупнейшие, как из чешуек-стружек, — мама их окрашивала всегда, — и особенно любимый ею «душистый

горошек» — «мотылечки», — чуть ли не до морозов держится. И, белые только, хризантемы. Эти цветы и веерную спаржевую зелень она посылала в церковь — убирать хоругви на крестный ход и на пелену под Животворящий Крест. И всегда на всякую новую могилку.

Пришел «Мухомор» с пчеляком Егорычем, принесли стремянку, а то высоко, не достать так. Егорыч, старенький, веселый старичок, низко поклонился Даринька и хотел ручку поцеловать у ней, но она не дала поцеловать — сказала: «нет, нет... это только у батюшки, ручку...» Егорыч взмахнул руками, весело сказал — «ишь-ты, какая умница-разумница!.. ну, так поклонюсь тебе», и еще низко поклонился. Видно, шутник он был, Дариньку будто за ребенка принял, сказал: «ужо, на медового Спаса, загляни ко мне, медком-почином тебя попоштую, новую хозяйку нашу... а на хозяйку-то не похожа, не строгая, девица чистая!» Умильно, так хорошо смотрел, и у глаз его лучики сияли — совсем, как пчеляки-монахи в монастырях.

— Вот, загану-ка тебе, а ты и разгадай: «висит мохнато, увидал — жить богато!» Ну, чего будет, а?

Даринька засмеялась — ро-ой!..

— Говорю — красавица-умница, всему разумница! А ну-ка, еще скажу: «Сидят чернички во темной во темничке, без нитки, без спицы, вяжут вязеницы, ни девки, ни вдовы, ни мужни жены, детёв не рожают, Господу-Богу угожают?»

— Пче-лки!.. — воскликнула Даринька, радостная, ребенком стала.

— Ах, ты, какая... светлая!.. — даже всплеснул Егорыч. — А теперь огребать, на твое счастье, милая... ну, Господи баслови, далось бы...

Егорыч еще с земли окрестил рой, пошептал что-то, полез по шаткой стремянке огребать, подставил под ком широкий сачок-наметку из кисейки, и сверху тряхнул сучок. Ком мягко упал в наметку.

— По-лный роек, фунтиков на семь будет, кака прибыль-то! Это на счастье тебе, р о и т ь с я... — сказал Егорыч, растяжечкой, с ласковою ухмылочкой.

Даринька не поняла, чего это говорит — «роиться»? И вдруг, так вся и вспыхнула.

— Ишь, к а к о е п о д в е с и л о... молись Богу!

И пошел, покачивая в наметке, как кадило. Даринька растерянно смотрела ему во след. Смотрела на рябину и думала — что это он сказал?.. Испугало ее и осветило. Повторяла оставшееся в душе — «роиться»... «молись Богу»... Там,

где висел золотистый рой, еще кружились сорвавшиеся с кома пчелы.

— Это... здешний? — спросила она, таясь.

— Наш, Егорыч... пчеляк-балагур, французов видал, ходил по лесам с рогатиной... — сказал «Мухомор», — большой у нас пчельник, за малинником... кто — что, а Егорыч всегда себя оправдает, пудов пятьдесят одного меду Матвевна продаст. Бабы его за святого признают, к слову его прислушиваются. Кой раз и сгадывает... будто в нем магне-тизм такой... ученые знают такой магне-тизм... во сне вот прорицают. А он, будто, проникает-видит. Ну, суеверие! А по пчеле погоду узнает, лучше барометра, справляюсь у него.

— Странный он, — сказал Алеша, — в е щ и е сны видит.

— Да, ве-щие?..

— Матвевне за год еще сказал, что мама «не жилица на свете»...

— Да?!.. вскрикнула Даринька, в испуге, — так и сказал?!..

— Да. И Костиньке сказал, когда мы решили продать усадьбу: «продадите, да не продадите... будете медок мой есть!» Посмеялись мы, какую околесицу несет. А вот, вы вчера сказали...

Осматривали грунтовые сараи, светлые, сквозящие сады зреющих персиков, матово-темных шпанских вишен, алевших щечками абрикосов, добела наливавшихся ренклодов, — укрытые за стеклянными стенами. Даринька видела, как во сне. Все, что являлось ее глазам, казалось призрачным: длинные, в золотисто-зеленом свете, оранжереи, налитые влажным теплом, как в банях, с аллеями апельсинов и лимонов в зеленых кадках, в сильной и яркой зелени, с желтыми и зелеными плодами, с упоительными белыми цветами, ж и в ы м и, впервые виденными. Она вдыхала их, венчальные, брачные цветы, ни с чем несравнимые по аромату, истомно-сладостному, топящему... — «иных и нельзя придумать», — вдруг пробежало в мыслях. У ней закружилась голова, и она села на кадушку, под апельсинное деревце. Столько было, всего и сразу, за один день! Сон или явь все это, — она не сознавала: все сливалось, все путалось, слепило, дышало, заливало, кружило голову, играло сердцем, пугало и ласкало, напоминало прошлое, манило, обещая... — не было сил вместить. «Мухомор»..? серый кузнечик этот, что-то он говорит... что это? — «тут ананасы вызревают... а там тропические цветы пойдут...»? Она схватилась за деревцо, сказала, задыхаясь от этой пари:

— Устала... скорей на воздух...

26

2.VII.1944
Париж <...>

Она не помнила, как оказалась на террасе, в подушках, в качалке-кресле. Виктор Алексеевич мочил ей виски одеколоном, обмахивал ее веером.

— Ну, вот, доходилась... как удерживал, нельзя так!.. — говорил он с мягкой укоризной.

— Ах, что я видела... — говорила она устало, томно, поводя головой в подушках, — чудесного, благостного сколько... неужели это так и есть? я это *видела*?.. была *там*?.. ходила там, или это мне все...?

— Ну, да, ходила... чуть ли не три часа ходила!.. Алеша, и тот высунул язык, пришел бледный. Нельзя, нельзя так ухлопывать себя... надо же понимать, не ребенок же ты!..

Она смотрела удивленно, стараясь понять, что было.

— Но как же... *это же продолжается*... цветы эти?.. — смотрела она на жардиньерку, — я же помню милые эти колокольчики... и все они, чудесные, неземные... *продолжается*..? Ах, видела я... пче-лки! что еще видела..?... Да, теперь я помню, *все* помню... *все*!... — сказала она в улыбке, как-будто видела это «все». — Знаешь, у нас и пчелы есть, много пчел, и ласковый какой пасечник... сказал мне — «молись Богу!»...

Все вспомнила: слышала, видела, как живое, все вставало перед ее глазами... — и все казалось чудесным сном.

VIII — ДЕЛАНИЕ

После первых дней «неописуемого горения», как называл Виктор Алексеевич состояние Дариньки во время обозрения усадьбы и ее обитателей, к ней вернулось спокойствие, то просветленное состояние души, с каким выехала она из Москвы, — «благостное спокойствие». Но это благостное спокойствие не было, как тогда, отчуждением от жизни, безразличным успокоением в сознании, что «теперь все будет хорошо», — и только. Новое «спокойствие» ее проявлялось *деланием*, «творческим деланием», по выражению Виктора Алексеевича, что его радостно удивило: он и не подозревал в Дариньке таких качеств, не понимал, каким же чудом все это проявлялось.

Началось с того, что Даринька объявила ему, — «надо внести в нашу жизнь порядок», — и просила, «если он ее любит», этого порядка не нарушать. Он любовался той милой важностью, с какой она говорила это, — чуть детской важ-

ностью, как вот дети играют в хозяйку с куклами, — и был доволен, что у ней проявляется цель жизни, что она теперь будет «чуть поземней», выйдет, наконец, из того полубытия, в каком до сего жила. Он сознавал, что, действительно, в прежней жизни совсем не было порядка, — только одни тревоги и случайность! — до мелочей, до обеда и ужина совсем в неурочные часы, до полного хаоса в доме. В его характере, при всей его порывистости, склонности увлекаться, «до фантазии», была, — сознавался он, — и склонность к налаженности, порядку, привитая ему в детстве, в отцовском пансионе, бывшая и в крови, пожалуй, — «вейденгаммеровская» размеренность: он и при беспорядке вставал в 6, — а засиживался за чтением и «чертежами» до третьих петухов, — неизменно записывал в дневник дела и мысли, два раза на неделе менял белье, любил тонкую простоту наряда, отличнейшие платки, английские духи «жокей-клёб», гимнастику по утрам, с гантэльками, показывал врачу зубы, не терпел сора на полу, беспорядочной мебели, пошлых анекдотов, по службе был строг к себе и подчиненным, законно и обходительно. И Дариынькину «важную деловитость» принял восторженно.

В тот же день, после обморока от «перегрузки» и осмотра «земного рая», услыхав благовест, она пришла в смятение, какое же празднование завтра -?! Виктор Алексеевич посмотрел в «Крестный Календарь» и сказал, что завтра — воскресенье! Даринька изумилась, она думала — пятница сегодня, приехали же в четверг они! или она ошиблась днями..? да верно ли? Она взяла календарь и проверила, так ли это. Да, 24, суббота. Она вспомнила, как уже раз ошиблась, в страшный тот день, — в новолетие, — вдруг оказавшийся в субботу тоже, а она думала — пятница, как сегодня. Тогда она побежала в церковь, ко всенощной, и это спасло ее «от бездны». Она припомнила это ярко, до ужаса. Перебрала страницы, нашла 1 января: да, первое приходилось на субботу. В т у субботу... — в ней заиграло сердце, — когда она призывала в отчаянии, зажатым плачем — «ма-а-тушка..!» — втиснулась в уголок дивана... — вышла из темноты матушка Агния, ж и в а я, — «ликом одним явилась». У в и д а в в с е, так ярко, до т о г о ужаса и боли в сердце, Даринька встрепенулась — «иду ко всенощной!» Виктор Алексеевич хотел удержать, крикнул ей даже — «не позволю! это — самоубийство!» но она так на него взглянула, и так, шепотом, решительно, сказала — «я п о й д у...» — не повышенным даже, а «хладным» тоном, что он отступил и не настаивал.

— Вот, когда понял я всю красоту ее... почувствовал силу ее воли! — говорил он, припоминая тот миг, вызывая тот дивный

лик. Такой шла бы она на пытки, на сожженье... ничьей бы силе не удержать ее. Это была такая ледяная страстность, что могла бы закаменить-сжечь своим холодом, испепелить все. Тут, может быть, и кровь сказалась, тайная сила предков... Она пошла, а я... я плакал, от счастья плакал, какая она, моя. От страха за нее плакал. И не пошел за ней. Не потому, что было мне лень пойти, совсем не потому... с ней, с такой, тысячи бы всенощных выстоял... не пошел, страшась навязать ей, такой, свою заботу: она не нуждалась в ней, она бы, пожалуй, оскорбилась. Стеснять чем-нибудь такую... нет, этого я не мог.

Даринька отстояла всенощную, показавшуюся дивным мигом, отслужила панихиду по рабе божией инокине Агнии, уклонилась от настойчивых приглашений попить чайку, «очаровательно», как высказала Наденька, извинилась, что теперь много у ней дела, и на минутку только остановившись на «Фаворе», прибежала в «Уютово» — «свежей, сильной», — Виктор Алексеевич и глазам не верил. И — не забыла, предупредила батюшку: спутала она дни, думала, что сегодня пятница, и просила поднять иконы в следующее воскресенье, а то еще ничего не прибрано.

Она на глазах преображалась, вырастала. Все у ней шло по ряду, по какому-то внутреннему, продуманному плану.

Она дознала, кто из людей в усадьбе, к чему приставлен, давно ли служит, хорошо ли ему живется, нет ли у кого какой особой просьбы. Обходила, осматривала жилье, записывала на бумажку, не забыть бы. Водила ее Матвевна, дивилась ее разумности. Радостно увидала Карпа и, назвав его ласково, — «милый Карп», спросила, чем же он занимается. Карп ответил, что «так, вот, с лошадками покуда...» Сказала ему: «с Матвевной мы все уладим». Увидала приятную лицом, тихую, пришедшуюся по душе ей, сестру одного из помощников Дормидонта Анисимыча, Таню, лет 17, из села, спросила ее, нужна ли она дома, вышла с Матвевной из людской на луговинку и посоветовалась, годится ли она ей в горничные, для дома и для услуг, одной горничной для такого дома мало, Настасья ей нравится, но она уже не молодая, ей не под силу сновать по лестницам, придется кого-нибудь взять еще, а Анюту надо грамоте обучать и к делу приучать, пока у нее, Матвевны, «поучится порядку», как уж решит Матвевна. Матвевна стала-было намекать, — «с расходами-то как, барыня..?» — конечно, одной бабы для дома маловато, Васса Платоновна была еще, старенькая, да померла... — но Даринька ей сказала, что расходы не страшны, «на это хватит». Тогда Матвевна, с довольным

лицом, сказала: «Покровская Танюшка хорошая, и сноровиста, и уважительна, лучше и не найти». Тут же Даринька и решила: вернулась в людскую и спросила Таню — «пойдешь к нам в горничные?»

27

4.VII.1944
Париж <...>

Девушка засветилась счастьем, сказала только, изумленно — «барыня...» Даринька не ошиблась в ней: преданней этой ее Тани нельзя было бы отыскать. И двор этот на селе был чуть ли не самый бедный и многодетный, девчонки больше, — о счастье таком и не мечталось.

Заглянула к Кузьме Савельичу, дознавшись от Матвевны, какой это человек, как служил. Матвевна сказала прямо: «хорошо отслужил свое, им-то все и держалось, именье-то ка-кое было!.. чуть не пол-ста годов выстоял... а теперь что с него спрашивать, сами видите, барыня... две внучки при нем, да брат в Амценске, в богадельне при церковке, покойная барыня поместили, а и нажитку всего — на похороны только, все пролечил на дочку и бессребреник был». Жили они в людской, в общей казарме, в комнатке, отгороженной досчатой стенкой. Даринька умилилась, что у Кузьмы Савельича много было иконок, и теплилась лампадка. Застала Кузьму Савельича за работой, выписывал он «лепортичку для барина»: «Приход и расход по Ютовскому имению с 1 сентября 1876 г. по 1 ж того ж месяца 1877, если Бог даст дослужить». Так выведено и было, с хвостиками. И это очень ее растрогало. Тут же сидели внучки, под окошком, тихие, робкие; встали и поклонились чинно, заробели. Даринька обласкала их. Одной, Матреше, было уже лет 12, другой, Стеше, — «десятый вот, с Покрова пойдет». Даринька себя вспомнила, такой же, робкой. Матреша плела кружева на коклюшках, — на торчках, воткнутых в «подушку», крутила как-то, умеючи, скоро-скоро; Стеша зашивала ей на плече порванную розанными колючками вылинявшую кофточонку. Даринька — теперь всегда при ней были деньги — дала Кузьме Савельичу три рубля — «новые платьица внучкам пошить», а башмаки на осень сама им купит, к празднику Покрова: поедет вот в город и их возьмет, по ноге чтобы были хороши. У Кузьмы Савельича опять дернулась щека, глаза округлились, в изумлении, он не нашел и слова, только поклонился низко и молча показал Дариньке к образам. А девочки все стояли — не понимали словно, что

это такое — «возьму их в город». Узнав, что Кузьма Савельич получает 25 рублей в месяц... — «а вчерась Костинька вчистую выплатил за шесть месяцев, паров-то уж не было у них... и всем выплатил... боле шестисот выплатил, у меня в лепортичке означено...» — доложил Кузьма Савельич Даринька, — «а с Матвевной у них свой расчет, потайный...» — Матвевна только рукой на него махнула, — Даринька объявила, что теперь он будет получать по 30, да девочки, — они ничего не получали, — по 3 рубля, — «они же вон по саду и огороду трудятся!» Выходя из казармы, Даринька спросила Матвевну, так ли надо, как она поступила, — «я всегда слушаю, что говорит мне сердце», — сказала она, будто хотела оправдаться. Матвевна сказала только: «на все ваша воля, барыня... а правильно-справедливо». Тут же Даринька объявила, что «надо людскую переделать, переговорит вот с барином: надо, чтобы у каждого была своя «квартирка», а не эти «тряпочки на веревочках вместо стенок, кучерок Андрей семейный, двое детей, а все вместе». «Стряпка Агафья, его жена, что-то одета неопрятно... разве у ней нет почище платья?» — «Да есть, а приберегает, третьего скоро вон родит... Андрюшка-то малость зашибает, своих зажитых не очень-то ей дает... — сказала Матвевна, — а так ничего, поправный... да, ведь, где же, барыня, святых-то взять... все у кажного пятнышко какое». Тут только узнала Даринька, что стряпка Агафья — «черная, людская стряпка», а господский повар — Листратыч, сейчас в больнице, уж «свое перебыл», да доктор не отпускает, все недели на две задержит, очень Листратыч мастер на всякие блиманже-пирожные, сколько раз купцы в какой-то «клуб» к себе сманивали, а он боится — совсем в «клубе»-то скрутится, да и к месту привычен, ни за какие деньги не отойдет. Даринька узнала, что Листратыч с т р а д а е т, «хуже Андрюшки»: обязательно два раза в год запойничает, недели по три, «тогда его отставляем, а как о т п у с т и т его — в больницу везем, он уж никуда, не соображается... там ему очень рады, просвежают недели две, а потом и попредержат, для блиманже, а он рвется сюда, на свое место... отговеется — и опять за дело». Болезнь у Листратыча, узнала Даринька, случается всегда в срок: «в самую-то распутицу, после Покрова, и в мае, «как ландышам распускаться». Так и смеются: «и Листратыч наш распустился».

Когда говорили о Листратыче, Матвеевна весело даже крикнула: «что, сокол ясный, вырвался?» — «Вы-дрался... свет Божий увидал!» — услыхала Даринька сиплый голос, откуда-то, сбоку, и увидала, как из кустов, за луговиной выдирается что-то бурое, в полушубке и бараньей шапке. — «Легок на

помине», сказала Матвеевна, — «вон он, Листратыч-то наш... покойный барин избаловал, все прощал... и Ольга Константиновна уж привыкла к его отлучкам, за его талан да за ндрав веселый извиняла... прогнать-то жалко, совсем пропадет... все, бывало, рацеи ему читала, стыдила... он зарок положит, а время свое берет... что с им поделаешь!»

Тут произошла встреча любопытная.

Листратыч, узналось после, прознал в больнице, что в «Ютово» прибыли новые господа, и господа — «ласковые», — приятель Андрюшка за покупками в город ездил и навестил его, — «про чудеса рассказывал: "все будет, как при Ольге Костинкиновне заведено было, всем полная слобода!"» Это было накануне. Листратыч улучил час, как доктор ездил по городу, добыл свой полушубок, — холодно было в мае, как привезли его в больницу, — и шапку, которые прятали от него, чтобы не сбежал, еще бы недельку подержался, до докторских именин, до парадного обеда, 5 числа июля, — доктора звали Сергеем Саввичем, — и «духом примчал в "Уютово"». Он уже был «в прямоте и чистоте, все из него пары изошли», и погибал от тоски в больнице. И теперь, увидав новую хозяйку, — он это сразу почувствовал, — еще не вступил и на луговинку, как воскликнул:

— Здрасте, ее превосходительство! Вот он, я сам, Листратыч! Повар-кондитер здешний, готов служить, если милости вашей будет — не прогоните... а прогнать меня следует, я сам знаю, и Матвевна скажет. Ну, скажите ваше слово-решение!..

Он хрипло выкрикивал все это, шествуя по лужайке, мягко, в валенках, — медведь-медведем. Вышел к людской, снял лохматую шапку и умильно взглянул на Дариньку. Вида он был благообразнейшего, в круглой седой бородке, не бритый, как обычно у поваров, похожий — Дариньке показалось — на Николу Угодника, не строгого ликом, а ласкового, русского Миколу. Только под ласковыми, старчески-водянистыми глазами висели тряпочками мешки-натеки. Роста он был низенького, но коренастый, крепкий, — что говорится — не ладно скроен, да крепко сшит. Доктор, будто бы, говорил ему — «пей, ничего, до ста лет проживешь». Даринька ему сказала:

— Здравствуйте, Листратыч. Слышала про ваши грехи, знаю. Грешить вы теперь не будете... — она даже рукой повела по воздуху, будто *снимала* с Листратыча зараньше его *грехи*, — мы с Матвевной такое слово знаем, — не будете теперь *праздновать*.

— Го-тов! — воскликнул Листратыч, — готов вам, барышня, служить... попомните мое слово!.. — Даринька вздрогнула,

услышав это — «попомните мое слово», вспомнив странного купца в лисьей шубе, который тоже называл ее «барышней», да Листратыч и лицом напоминал ей купца, даже скрипучим голосом, только ростом пониже был и прихрипывал. — Слава о вас и в Амценске славится, по всей больнице знают, как цветочки в церкви возложили на икону, как утешили нашу Настеньку, — все известно! Попомните мое слово, жить будете богато, а Листратыч всякие суфлэ-зефиры... на что Матвевна божественный человек, а и она неравнодушна... понимает мастерство, сливошные тянучки любит!..

— Вы и тянучки умеете?!.. — засмеялась Даринька, очень любившая тянучки.

— Чего там тянучки!.. Душэ-бушэ, зефирную пастилу, сливошную пасху, — у Абрикосова сыновья не лучше!

28

6.VII.1944
Париж <...>

— Ну, ступай, вылеживайся... ишь, как вот подгадал, кашу нонче грешневую варили, тебя ждали! — сказала Матвевна строго, — березовой бы тебе, да уж зубы съел. — И пояснила Дариньке: — Разное вот сладкое умеет; надумает, а сам и не попробует никогда, грешневой ему каши только подай!

— Не серчай, Матвевна... тянучками тебе на Петров день поклонюсь во-как! — прохрипел Листратыч, — при барышнях-то уж не конфузь... — и полез в берлогу свою, в людской.

Даринька вспомнила про крупу, спросила:

— Правда, крупу покупали в лавочке, не сеют тут?

— Почем знаете? — удивилась Матвевна, — Вона что... Арефа вам смеялся. А и правда, не сеяли и не сеяли, какой уж год. А хорошо бы посеять-то, ничем купчишкам переплачивать!

— А можно теперь, не поздно? — обрадовалась Даринька.

— На Акулину-мученицу у нас сеют, 13 числа, а нонче, за снегами, все недели на две перепоздало... не ушло время. А кака гречиха-то будет! И клин слободный, сколько лежал под паром... Сейчас на село пошлю, у Грачевых, знато, семена хорошие, пудика полтора возьмем, вернем укосом... — суровое лицо Матвевны прояснилось. — И сноровисты же вы, барыня! На что уж лучше, когда свое. Капризна гречиха, годом тоже, как задастся... так и говорится — «холь гречиху до посева, да сохни до покоса», а на вас, может, Господь пошлет.

Все досмотрела Даринька, все принимала к сердцу, — радовалась на все. Полюбовалась на курочек, гусей и уток. Понравились ей цесарки, рябенькие, с осаночкой, в коронках будто. Нравились и черные, алосережчатые лонгшаны, серебристые плимутроки, пышные, палевые кохинхины, — гуляли в особе, за сетками. Особо по сердцу были разномастные, простецкие, — «ноские самые, русские наши курочки», — говорила Матвевна. Любовалась на индюшат голенастых, черножелтых, совавшихся за подтянутыми тревожными мамашами; на болтливого индея, напыженного, налившегося по пузырчатой шее кровью, сердито кружившего все, цыркавшего крыльями по пыли. Увидала, впервые в жизни, хвостатого павлина-сироту, — потерял он за эту зиму всех пав своих, — стоили они больших денег. Матвевна ей сказала: «ох, не ко двору она нам, павлина эта, кричит так нехорошо, будто чего накликивает». Только купили их — и году не прошло, барин заболел, язык у него опух, полгодика только проболел, резали ему язык, в Москву возили; привезли домой, он и месяца не прожил. А потом, как раз через три годочка, день в день, Ольга Константиновна «белой кровью» стала болеть, омморок с ней случился... слабела и слабела, так и истаяла, стала как белая бумажка.

— Ох, примите от нас павлину, барыня!.. «Мухомор» говорил надысь, в сад их какой-то забирают, для показу... в саду-то никому от нее вреду не будет.

Даринька затревожилась, не понравился ей павлин. А он, будто, почуял, — о нем разговор: махнул на курятник, стал поплясывать, расправил-поднял за собой хвостище, таким-то радужным веером огромным, будто себя показывал: гляди-ка, какое диво! И красив, нечего говорить, а не понравился. Сказала — «Бог с ним, кчему он нам?» Все эти дни так было неприятно от пустынного его крика-накликанья.

За птицей ходила застарелая девка, хроменькая, рябая Поля, покровская, унылая, «обиженная жизнью». Она и коров доила. Три коровы было в «Уютове»: «Важная», «Скромница» и «Крася», все бело-рыжие, приятные, «мягкие», — молочницы. Полюбила их Даринька, радостно пробуждалась, как трубили они по утру, когда выгоняли их. Любила встречать их к вечеру, давала им хлеба с солью, дышала парнЫм за ними духом.

Восхитили ее лошадки, — ласково говорила так. Было четыре их, разной масти. Рыжий, высокий жеребец, с отливом в живую медь, хороших кровей по паспорту, именем «Гусар»; ходил под седлом и в экипаже. Виктор Алексеевич взял его себе, «на службу», возить его в Мценск, в депо. Еще — пароч-

ка сивогривых вяток, с подпалинкой, — под коляску, — одна в одну, сытенькие, покладистые. Даринька называла их — «кургузки». Четвертая лошадка — молоденькая совсем кобылка, складненькая, ласковая, — «за все — про все»: и в пахотУ, и в возку, и в тарантас, и под-верх, — гнеденькая, простая, покровской крови, под смешным прозвищем — «Зевака»: привычку взяла такую, позевывать. Стала Дариньскиной любимицей. Крикнет ей Даринька с террасы, — сильный у ней был голос, — «Зева-ка»!... «Зева-а-ка»...!.. — а «Зевака», хоть и далеко, за малинником, конюшни, сейчас же и отзовется ржаньем. И не раз бывало, — влётывала галопом в сад, сигала, как цирковая, через полисадник, творила беды, играла от радости глазами, просила, вытягивая шею, — «ну, ушко мне почеши, обними...» Понимали они друг-дружку, до удивления.

Были еще три «богаделки», на покое, на пенсии, «для навоза». Ольга Константиновна не могла слышать, чтобы их «коновал увел». Так они и держались, доскрипывали. Все были с разными заслугами, — детей прогуливали, то-се... — да и какой же на них расход, сена своего хватает. И позабавить могут: по первопутке, откуда и прыть возьмется, рысцой могут еще прокатить на дровнях. Пожалела их Даринька, вислогубых, сказала, — «Господь с вами, и на вас достанет». И, говоря это, вспомнила: «блажен иже и скоты милуяй»[818].

Собак в «Уютове» давно не было, с той поры, как напугала Ольгу Константиновну забегшая бешеная собака и перекусала кинувшихся на нее ютовских, дворнягу и лягаша. Их тогда заперли в сарае, и они... — Ольга Константиновна с того дня так и не проходила никогда там, — и собак больше не держали. Не было в «Уютове» и кошек, — оберегали птиц. Листратыч «где-то» держал старого кота, прогуливал потаенно на веревочке, и теперь, слышала Даринька, кот был совсем невредный, — «во всем разочаровался», — шутил Алеша, недвижимо лежал в продавленном кресле, «как генерал на покое», и много ел. Листратыч в хорошую погоду выдвигал его «погулять на солнышке». Так и осталось дальше — «бессобачье-бескошечье».

Поговорив с Матвевной, Даринька определила Карпа: правой рукой Матвевны, «за старшего приказчика», в полном ее распоряжении. О Карпе Матвевна сказала так: «книгочий, приверженный, сурьезный». Кузьму Савельича пожаловала в «советники» по важным делам, и — подавать месячные «лепортички».

Виктор Алексеевич удивлялся, как Даринька быстро осмотрелась, все прознала, до мелочи, будто сроду была помещи-

цей. Не прошло и недели, как все в «Уютове» отстоялось, получило покой, налаженность. Все ходили бодрые, довольные. Даже унылая Поля надела праздничную кофточку и мыла руки с мылом, несколько раз на дню, особенно перед доеньем, что-то уразумев, когда Даринька — сама! — принесла ей кусок розового мыла и чистое полотенце. И сказала: «Поля, барин любит парное молоко... коровой чтобы не пахло только».

На другой день после разговора о гречихе, лежавший под паром клин — лет пять все лежал под паром, — был уже готов к посеву. Матвевна позвала Дариньку полюбоваться, — «заботушка ваша первая», — и попросила почин положить, высеять гречки горсточку — «на счастье». Перекрестясь, бросила робко Даринька гречишку и загадала... И только бросила-загадала — заблаговестили ко всенощной, Петров день. И, как была в поле, в ситцевом светлом платье с в[аси]льками[i], в белой косыночке-повязке, так и пошла на благовест. Дивились на нее бабы: то была барыня, а то вот совсем наша, — чуть ли еще не краше!

29

8.VII.1944
Paris <...>

Не это простенькое платье, не платочек-повязка делали Дариньку свободной, незаметной, как почувствовала она себя за всенощной: напротив, этот сельский простой наряд, обычный и у господ, «на даче», вызывал у баб восхищенный шепот, и Даринька слышала этот шепот, но не было смущенья, она приветливо улыбалась, встречаясь глазами с бабами, и те улыбались ей: установилось между ними душевное общение, сближение. После уж поняла она, что сделало ее свободной: полученная ею благодатно развязанность, разрешение душевного ее гнета. Поняла сердцем, тут же, как увидала опять Святителя.

Взяв свечки у Пимыча, — он радостно на нее поахал, сказал — «совсем уж наша теперь, веселая какая стала!» — раньше бы непременно сказал — «...какие стали!» — она с укоризной вспомнила, что забыла опять цветочки, — возложить у иконы Праздника. Увидала девочку-подростка, смотревшую на нее оторопело, голубоглазую, глазастую, — понравилась ей девчонка эта! — и, сказала ей на ушко: «беги скорей к нам, скажи садовнику, пионов и лилий мне прислал бы, много-много... — вспомнила о Святителе, — да поскорей, вот тебе

[i] Пропуск в тексте.

гривенничек... сама принеси цветочки!» Девочка вспыхнула от счастья, кинулась к выходу, а бабы зашептались. Поставила свечки, приметила, как хорошо у окна, налево: окно открыто, летают с верезгом береговки, и такая вольная даль за Зушей, за лугами, — хлебА, хлебА, налившиеся, чуть вжелть, озаренные уже косившим солнцем. Выбрала себе тут место, недалеко от Распятия, у окна. И пошла, нетревожная, в придельчик.

Ей казалось, что в придельчике теперь светлее, что-то, как будто, праздничное, пасхальное. Затеплила свечки перед образом и на кануне и стала на колени, устремив взор на лик, сиявший ей тихим светом. Не молилась, — взирала только, беседовала сердцем, высказывалась-благодарила сердцем. После, она припомнила, как, за всенощной под Петров день, беседовала она сердцем со Святителем. Вписала об этом в «записку к ближним»:

«Он не осудил меня. Я это чувствовала и тогда, а теперь знаю, что он слышал меня и не осудил. Я называла его — родным, шептала ему: “недостойна я, но ты все знаешь, все мне простил, снял с меня путы и укрепил меня. Помолись за меня, недостойную и слабую... ты знаешь, — Господа петь хочу, Господу служить... благословлять, благодарить — за все! Мне страшно, как я счастлива... но ты и в несчастии дашь мне счастье!..”»

И так беседуя, чувствовала, что он принимает ее сердце и благословляет — на все. Она еще не сознавала этого — «на все», но потаенно уже видела. Радостная, как в Светлый День, полюбовалась на пасхальные яички, лежавшие на канунном столике, на бессмертники в красивой чаше, будто из голубого снега вылепленной, и ей казалось, что Святитель следит за ней, — за ее «забавой», — так и подумалось, и было радостно, что следит, ласково так следит. Увидала на стенке черную рамочку под стеклом, и в ней — «разные разводы, будто ветки», но разобрать не могла слова, выписанные киноварью и золотом: «после, Виктор Алексеевич прочитает и мне скажет». Тут решила, что завтра они будут вместе у обедни и зайдут к батюшке знакомиться. Тут же решила — после всенощной пойти на могилку, поглядеть кладбище, березы.

Когда выходила из придельчика, читали шестопсалмие. Читал, — удивительно явственно, каждое слово отделяя, «возвышенно», батюшкин сын, Володя, регент. Помнила до конца дней, как, выходя из придельчика, услыхала певучие слова и почувствовала, что отпущена и покрыта Милостию:

«Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости твоея явил ми еси».

И — далее:

«Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя и паче снега убелюся»[819].

Приняла их, как обетование.

Она прошла направо и стала у открытого окна, на Зушу. Митревна принесла ей коврик и стулец, поняв, что барыня тут местечко себе облюбовала. Даринька ее поблагодарила, приняла все, как должное, дала гривенничек и шепнула: «мне здесь хорошо, прохладно». Ее не смущало, что может развлекаться, видеть луга, хлеба, белые клубы пара по-над лесом, где чугунка, слушать игривый верезг ласточек-береговок, — много их гнездилось по Зуше, — смотреть, как толкутся на солнце мошки: все это сливалось с пением, со всенощной, с возгласами священника; казалось освященным, хвалу поющим, по-своему молилось. Мысленно говорила — «вы тоже славите, не понимая, все радуетесь Животворящему». Так и стояла всенощную, обрадованная.

Перед «Хвалите имя Господне»[820], запыхавшаяся от бега девочка, красная вся, как мак, подала ей большой букет лилий и пионов, всунутый в голубую вазу. «Дедушка велел... неси так», — шепнула она опасливо. Даринька потрепала ее по щечке, спросила, как ее звать. Та шепнула: «Манька», и досказала: «много у нас Манек, а я Манька с дальнего двора». Даринька шепнула: «после праздника зайди ко мне... слышишь?» Девочка захлебнулась, шепнула — «да».

Пели «Хвалите имя Господне». Дариньке пенье это показалось «совсем необыкновенным», — открывалось сердцу, как никогда до сего, будто душа ее выпевала это, простое такое, близкое: «яко благ, яко в век милость Его...» Осанной звучало в ней, раскрывало глубинный смысл звучное — «аллилуия». Она слышала чистый, восторженный голос Наденьки, видела ее синие глаза, устремленные ввысь, к Нему. Казалось, что и жасмин в темной ее головке пел с нею «аллилуия». И в резком верезге ласточек слышалось то же «аллилуия». Не казалось грехом смотреть на тронутую вечерней позолотой голубизну: все пело «аллилуия». И в фимиаме, и в радужном хрустале паникадила — клубилось-блистало — «аллилуия». Столько горело в сердце, что не в силах была держать, склонилась земно, утирала глаза платочком.

Из окна вливалась вечерняя прохлада, — воздух широкой дали, теплый, густой, медовый, влажный от быстрой Зуши. В лугах начался покос. Там уже ворошили сено, пестрели бабы, сверкали грабли.

Перед «Величаем...» Даринька сама понесла цветы в придельчик, хоть бабы и [назывались] помочь нести. Она поставила вазу с лилиями перед Святителем и помолилась: — «прими эти чистые цветочки, благослови меня». Он принял милостиво и благословил. Так и осталась там голубая ваза, наполняемая всегда цветами. Белые пионы она взяла и положила Апостолам. Слышала — не смущалась, как бабы одобрительно шептались, ласково провожали ее взглядом. И как была после рада, когда бабы и девушки стали приносить в церковь простые свои цветочки.

После всенощной она попросила Наденьку показать ей могилку Ольги Константиновны: — хотелось общения и дружбы, — трудно было одной.

30

10.VII.44
Paris <...>

После всенощной, она попросила Наденьку показать ей могилку Ольги Константиновны: ей хотелось общения и дружбы, трудно было одной. Не от радости только о Святителе, не от умиления открывшимся ей у церковного окна хвалением всей твари на «Хвалите...» — не от возносящего сердце «аллилуиа», — оно еще в ней звучало: другое еще было, таимое, в чем она не смела себе признаться: знамение, явленное ей во храме. Она хранила это в сердце, не допускала в мысли. И потому было трудно ей быть одной. И Виктору Алексеевичу не говорила, — стыдилась сказать ему. Помянула в «записке» чтобы знали, «для вразумления».

Вот, что случилось с нею.

Когда выходила из придельчика, в радостности и свете, остановилась на миг у выхода и посмотрела к образу: что-то ей повелело оглянуться. На миг, только. Взглянула на лик Святителя, перекрестилась, вышла... и услыхала, из «шестопсалмия», стих, озаривший ее, и — знаменательный. Она знала наизусть пятидесятый, «покаянный», псалом и хорошо помнила, что перед стихом осьмым, — «Се бо, истину возлюбил еси...» — был тот, страшный, обличительный, напоминавший ей о грехе. В тоске и трепете, всегда вслушивалась она в него, с трепетом повторяла ежедень. И вот, тогда, не услыхала она его, он прозвучал без нее: его — закрыло. Так и сказала в себе, уразумев, почему не слыхала. Вот это, что задержалась она на миг — взглянуть на образ, и закрыло от нее грех ее, и она поняла, что

этого уже нет на ней. Она повторила в себе тот стих, закрытый, — «Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя...» — и не испытала трепета и тоски. Не испытала, ибо пело в ней, утверждало, — и навсегда:

«...омыеши мя, и паче снега убелюся».

Для нее стало явно, что так внушено ей было: оглянуться — и не услышать напоминания.

И потому было трудно ей быть одной.

Она обласкала Наденьку: какой у ней дивно-духовный голос; — это была высокая похвала в Страстном, так не раз говорила ей головщица правого клироса строгая мать Руфина; — как она возносила сегодня дивное это — «аллилуиа»! Наденька смутилась, стыдливо робела перед нею, вся в обожании.

— Это вы от особенной доброты... что вы! Вы, будто, вся светитесь сегодня! Как хороши вы так... — любовалась она ее «простушкой», — на вас и васильки — будто совсем живые, вы все оживляете собой!..

X — РАБА БОЖИЯ ОЛЬГА

Кладбище «ПокровА», не в пример деревенским погостам, содержалось в порядке: было окопано канавой с высоким валом, засаженным густо жимолостью и барбарисом. Над запиравшимися на ночь воротцами высились, в обрамлении, иконы — «Успение» и «Покров», омытые дождями. Даринька тут же дала обет обновить иконы и выкрасить ворота в голубое. Не было дорожек, — тропки. Много было черемухи; когда она распускалась, все заливали соловьи. Местами розовел шиповник, рябина рдела. Много могил-застарок было без крестов, — так, травяными бугорками, в сурепке. Трава была сильная, чистая. В затини, под березами, темнели семейки ландышника. Влево, к Зуше, было светло, почищено. Свежие, белые березы осеняли недавние могилы, белели кресты, цвел розовый шиповник, синели сочные колокольчики. С высоты овсяного поля Дариньке показалось, что кладбище совсем у обрыва, к Зуше; а тут она увидала, что до реки еще небольшое ржаное поле, совсем на обрезе кладбища. И тут, у самого поля, была могилка рабы божией Ольги.

К Зуше было открыто, вольно, глядела даль. Березы, справа, скрывали кладбище; были развесистые, приземистые, сильные, трогали верх креста. Не было камня, — только высокий крест, осьмиконечный, с накрытием, светлый, крытый прозрачным лаком.

— Так желала, чтобы крест только, светлый, из березы, — сказала Наденька. — Жалела, что на могилку Александра Федоровича положили глыбу и написали... ей тогда было очень тяжело, ничего не соображала, только кивала — да, да... А потом не решилась изменить. Отсюда видно, писано позолотой, — «приват-доцент Московского университета...» — показала Наденька, через свободное место перед могилкой «рабы божией Ольги», на гранитный камень, тоже у края кладбища. — А т у т, правда, хорошо... просто, чисто и никакой оградцы...

— Да, православная могилка, мягкая... — грустно сказала Даринька. — А т а — е г о? — показала она на глыбу. — Почему же не рядом?..

— Е й желалось, чтобы «совсем на краю», у поля... а е г о положили тоже на краю. Тут даже, видите, и вал срыт, — скотина тут не ходит, тихо совсем, и даль. А между н и м и оставлено... для мальчиков.

— Правда, хорошо... светло, привольно, я с н о. У родного поля... Так — на полночь, к реке..? а туда... — показала она направо, — полдень... весь день полутень, березы. Говорил Алеша — светлая полутень тут. Какая приятная могилка, цветы по краешку, и чистые какие... цветные травки...

— Все Дормидонт... тонкая, будто, вышивка! Он благоговел перед усопшей, поклонялся святому в ней. А вот, будто и безбожник! Сбили его «петровцы»... он два года на практике был, баронесса платила главному садоводу там. Видите, голубенькие искорки в рисунке травок? Это редкостная лобеллия, цветет чуть ли не до морозов, Дормидонт вывел. Очень она ее ценила... будто осыпано синим бисером, с каким же вкусом... Вот и простой мужик!.. Алеша никак не может схватить эту «живую синюю искристость», — говорит, в э т о м чувствуется ему взгляд мамы... И мне, иногда... будто меня осветит! Все только «церковные» цветы... какие георгины будут, потом астры... Ведь георгины, кажется почему-то мне, самые д у х о в н ы е цветы! чистые самые, красивые, без аромата, скромные... травянистое только, свежее, бесстрастное...

— Да, в монастыре... в монастырях всегда особенно ухаживают за георгинами... — сказала Даринька, вспомнив Страстной, его цветники и кладбище.

— А в Оптиной! Если бы георгины там видели... такими звездами!.. Как жаль, до первого утреника только, зябкие они, р а й с к и е...

На крест был повешен образок Благовещения. Под ним, за стеклом с отдушинкой, негасимая голубенькая лампадка, в бе-

лых глазках-кружочках, дремотно теплилась. Надписания не было, — только, чуть заметное на кресте, «раба божия Ольга».

— Тут уж ни Ютовых, ни... — вздохнула Наденька.

— Да...

Стояли молча. Ветерок пробежал по ржи, — зыбко пошло волнами.

— Папаша говорил об этой могилке проповедь. И все поняли. И, может быть, стали хоть на минутку лучше. Помню, как слушали. Он просто говорит, «простецки». Плакали... Пимыч после сказал: «все человеки божьи, вот и живи, вровень». Может быть, хотел... — по-божьи, с божьим вровень?.. А может, — не гордись.. общий удел-то, правда? Был тогда в церкви а-мценский купец, ужасный скаред... собак даже не держит, из-за хлеба, сам ночью выходит лаять, воров пугать... уверяю вас! скаред такой. Так ловко лает... от собаки не отличишь,

31

10.VII.1944 <...>

Амчане только не верят, говорят — «не обма-нешь, собаку-то потайно держишь!» А амчане такие жохи... плохо не клади. И Тургенев писал про них[821], поговорка такая тут, кому зла желают — всегда скажут: «амчанина бы тебе во двор!» И такой-то скря-га, после проповеди, вдруг.. пя-ать рублей серебром! — «на помин души рабы божией барыни Ольги»! — прибавил все-таки «барыню». В Ольгин день было, заупокойная обедня, пели мы с воодушевлением, и так растрогался, все головой крутил. И вдруг, к вечеру, с нашим мужичком целых полпуда мятных пряников нам, певчим! Ахнули все... скаред-то такой, Понитков! У него в метель снега не допросишься, а тут... Не чудо разве?!..

— Человеческая душа — чудо божие! — сказала, как всегда говорила, Даринька. — И все творение Его — чудо. Смотрите, какое облачко...

Совсем на закрое неба лежало длинное золотое блюдо, светилось розовым. Стало таять на их глазах, — стекало с него золотистое розовое масло. «Небесное миро», — сказала Даринька.

— Вы совсем необыкновенная сегодня!..

Даринька не отозвалась: благостное держала в сердце. Смотрели, как тает облачко, в лучах западающего солнца.

— Приходите к нам, как своя... — сказала Даринька, — столько у нас близкого...

Наденька хотела обнять ее, смутилась, и вдруг — заплакала.

— Простите, это... я так счастлива, что вы у нас... Всегда, если меня взволнует... слезы у меня... Володёк все дразнит — «дар слезный»! — засмеялась она по-детски. — Пора бы, 17 мне, епархиальное кончила, в учительши готовлюсь, а все ню-ня. Докторишка наш все кричит — «здравствуй, “истерика”!» С детства меня лечил, гордится, что спас от смерти... гнилой дифтерит тут был, много умирало. Но я знаю, это не он, а вымолили меня... мамаша сон видела... и батюшка о. Амвросий, в Оптиной, молился... вышел к мамаше, такой веселый, заздравную просвирку дал и сказал весело: «вот тебе и заздравная, чего ж плачешь... скачет уж о н а !..»

— Провидел?!..

— В самый тот час, с постельки я соскочила и затопала — «ка-шки хочу!..» А докторишка смеется: «признайте же хоть, что о-бщими усилиями!»*

— Ах, знаете, что у нас случилось?..

— Что случилось? — спросила, в испуге, Даринька: ее т о г д а — рассказывала она, — охватило оторопью, тревогой.

— Что-то странное, необъяснимое... будто, чудо!..

— Чу-до..?!..

— Да, прямо... никто не понимает, что с н и м сталось... с Кузю-мовым! с т е м, с «темным»! Это таинственный, странный и... страшный человек. И что же выкинул! Да, вы главного не знаете. В нашей церкви он никогда еще не был... нет, раз только был, когда Олюшеньку отпевали. Вообще, полный невер и циник. Когда умер отец, он даже и на отпевании не был, в «Рогожине»! Только до паперти проводил и н е в с т у п и л, как бес. И на кладбище не был: «все чушь», — излюбленное у него словечко, все покрывает им. Когда в «Рогожине» стал священствовать новый батюшка, совсем молодой и ревностный, «по призванию»... теперь это редкость, семинаристы наши все больше теперь с душком, «писаревцы» да «добролюбовцы», стыдятся духовного звания, отходят... но этот батюшка, во-истину, «молитвеник», обет дал матери, за старших братьев, которые отошли. Узнав про Кузюмова, каков «чадушко», вздумал воздействовать на него, пастырски, и ждал случая. На Рождество поехал и к нему Христа славить, хоть благочинный и остерегал его. Приехал с причетником: «Господь поможет!» И вышло ужасное бесчинство. Кузюмов... — у него были гости, со всего уезда, полон

* Отсюда — новая глава, XI — С т р а н н о е п р е о б р а ж е н и е (— Ах, знаете,

двор кучеров, лакеев... — выслал мальчишку, казачка, и тот, пьяный, нагло так, в лицо, передал батюшке «точные слова барина», считывал при нем с бумажки: — «вот тебе твой попов целковый, отыди во-свояси с миром!» Батюшка горячий, возревновал... Швырнул целковый мальчишке в рожу и крикнул: «возвратися, пес, на блевотину свою и отдай е й злое сие лукавство!» За это попало ему от преосвященного! И вот, ехал когда на дровнях из «Кузюмовки», нагнал его верхом конюх, хотел — «по приказу барина»! — ожечь нагайкой по голове, да сгоряча-то-спьяну промахнулся, слетел с коня и прямо башкой об дерево... выбило ему глаз сучком!

— Это же зна-мение!.. — вскрикнула Даринька.

— Ну, явное!.. Батюшка с причетником привез его в «Кузюмовку», — наш Ловцов, докторишка, знает эту историю, тут же и вынул глаз! — и велел сказать барину, в экстазе: «да бережет свои, демонские!» Не по-христиански, конечно... но очень поревновал... не за себя, понятно, а... Христа г н а л Кузюмов, оскорбил Крест Христов!..

Даринька слушала с ужасом, вся дрожала: такого она еще никогда не слышала, не воображала, признавалась она Виктору Алексеевичу.

— А у Кузюмова глаза, действительно, ужасные, что-то в них... демоническое, темный огонь какой-то... сразу мне бросилось, я его только сегодня увидала, мельком. А как Олюшеньку хоронили, не до него уж было. И вот, сегодня, такое чудо..!

— Сегодня?!..

— Да, сегодня, сейчас, совсем перед всенощной... папаша был, прямо, поражен, встревожен даже... — к нам, прискакал, с а м господин Вольтер! Папаша его окрестил так — «Воль-тер» и «темный». Хуже, чем Вольтер, грязней! Вольтер хоть в Высшее что-то верил, а этот — совсем пустышка, ни-гиль совсем... ничего для него, чего глаза не видят! И как раз перед всенощной. В чем дело?! Да, вы не знаете... Недавно покровские лошади помяли конопляники за селом, по-за оврагом. Там кузюмовская земля, и отличные конопляники, целая палестина чернозему. Ну, на пустяки помяли.., дело не в том, а мужики нарочно, кажется, лошадей пустили, считают, что земля там ихняя... там покровские дворы были, до вывода мужиков в «Кузюмовку», когда отец Веры Георгиевны; баронессы, ту сторону села продал Кузюмову... и земля теперь должна бы отойти к ним, какой-то закон, по манифесту Царя-Освободителя, а мировой посредник не признал льготного выкупа за покровскими, тянул кузюмовскую руку... ну, мужики и не унимаются. На днях, прикатил управляющий на дрожках и грозился, побоища чуть не вышло.

— Ах, да... видела я от овсов на днях, утром... шла большая толпа, кричали что-то про конопляники!.. — сказала Даринька. — И что же, хочет их засудить?..

— Ничего подобного, в этом-то и чу-до! Но послушайте, дальше какие чудеса. Сейчас, перед самой всенощной, вижу вдруг — скачет кто-то верхом, в хлебах! Я собирала васильки... взглянула, кто такой, стрелой мимо меня, на дивном коне, на рыжем, пламенном... будто огнем в глаза! У него, говорят, такие лошади... известного английского скакуна победили! —

— У кого...? — не поняла Даринька. Но Наденька, увлеченная рассказом, продолжала:

— Только спина мелькнула, в белом... узкая такая куртка, верховая. Смотрю — у нашего крыльца спрыгнул, видно мне изо ржи. Бегу домой, а мамаша, белая-белая, шепчет мне, в ужасе, — «о н... о н!... с а м!!...»

32

11.VII.44
Paris <...>

Бегу домой, а мамаша белая, как мел, шепчет мне в ужасе — «он... сам, сам?..»

Не поняла я, кто это он-сам... И что же!.. — о н! Кузюмов!!. Я так и села... ужасов сколько про него..! Папаша вышел к нему, попросил войти, встревожился... из-за конопляников этих, думает. И, конечно, выходки какой-нибудь ужасной... ждет, конечно. Горячий, вспыльчивый папаша... и за себя боится, не выдержит и сан забудет! Он страшно сильный, раз — один от пятерых отбился, в калужских лесах, шайка разбойников напала, а у него запасная оглобля только, в тарантасе... всех раскидал и ускакал, лошадка вынесла! И за себя, боится, не снесет оскорбления... сану. Даже, ведь, Николай Угодник возревновал на соборе[822] и заушил еретика Ария! А папаша, прямо бы его... если бы тот оскорбил святое... или сан его, благодать на нем, он бы, кажется, все забыл. Потому-то мамаша и испугалась, за батюшку. И стали мы за дверью слушать. Меня всю трясло, и в скважинку все видно. Кузюмов чрезвычайно элегантен... довольно моложав, лет сорок — сорок два, но молодой совсем, у него вид, взгляд такой... и, конечно, уме-ет держаться, захочет если, сразу видно. Он университет окончил, а после был в Сумском драгунском, убил кого-то на дуэли... одного студента, пришлось подать в отставку. Смотрю... держится настоящим джентльменом! Я не видала джентльменов, но читала

много... Князь Болконский у Толстого, вот джентльмен! Го-споди, как он умирал..! и бедная Наташечка Ростова... я плакала!.. Ах, простите, такая я болтушка... — сказала смущенно Наденька, когда Даринька перебила, — «и что же вышло?»

— Глазам не верю, слушаю разговор... Обворожи-телен..! Не красавец, резкие черты лица, скуластость, чуть... татарская в них кровь, брови с изломом... но такое в лице, такая властность, сила... подавляет как-то, связывает вот... а глаза странные, не страшные, как говорили, а... что-то в них... будто темный огонь в них, тлеет, и вот-вот сожжет! Это у норовистых лошадей бывает, «темный огонь». И что же слышим... обворо-жи-телен! в голосе мягкость, бархатное что-то... я, прямо... в восхищении была!..

— Да?!.. какая перемена, чудесная! — воскликнула Даринька, сияя. — Слава Богу, как это хорошо... Го-споди, всякая душа — живая, от Господа!

— Разительный пример... — обращение Савла![823] Тогда же пришло на мысль... завтра как раз память Апостолу!.. а он, Кузюмов... Па-вел!

— Да?! ... Как знаменательно!.. — прошептала Даринька, блестя слезами, — как чудесно!..

— Да, да!.. Павел Кирилыч он... и вот, в канун памяти...

— Такой неверующий...

— Не неверующий, а кощунник, издеватель!.. Мамаша крестится, глазам не верит, плачет... И я, в таком восторге, в таком... Может и пела-то оттого, в забвении... так возносило на «Хвалите...»! Но дальше вы по... Что же он говорит..! — «Чушь дурацкие эти конопляники, управляющий-болван перестарался, дал ему нагоняй. Скажите дуракам — пусть угомонятся, подожду, как поведут себя... будет им конопляного масла в кашу!» — И как артисти-чески сказал, великодушно-властно!.. И стал расхваливать нашу церковь...

— Да?! — вскрикнула Даринька.

— Папаша ушам не верил, что это с ним?! будто бы благодать сошла!..

— Это... он, Святитель... — шептала Даринька благоговейно, — так внушил...

— Иначе и объяснить нельзя! Так и папаша, слово в слово. Но дальше слушайте... Попросил показать ему придельчик... сказал: «знамени-тый ваш придельчик»!

— Видите, видите..?! — воскликнула Даринька, сияя: слезы были в ее глазах, светлое торжество. — Как же провидел батюшка о. Амвросий!..

— Да, да!.. Мамаша плакала, от умиления. Откуда знаете, что батюшка о. Амвросий...

— Матвевна мне вчера... я спросила про Ольгу Константиновну... нет, про Оптину спросила, а она сказала, что барыня ездила к старцу Амвросию, он ее успокоил... и сказал... про этого, Кузюмова, невера... — «без нас с тобой спасется, придет время». Она неразговорчива, мало я поняла.

— Верно, верно, я вам объясню после... Ну, хорошо... — покажите придельчик. Папаша тут же повел его, всенощная вот-вот. Как он держался в храме!.. — не передать. Папаша умилился на него, чуть не заплакал. Вошел в придельчик, благоговейно... склонился перед Святителем с минуту, в умной молитве будто... все там располагает... о-чень повлияло на него... слова на свитке!.. Дал десять рублей «на свечи и за требу», — так и сказал... и просил, благоговейно, отслужить «просительный» молебен! Он отлично знает обиход! это редкость, у таких... Отслужить, «к сожалению», без него... спешит по делу... Сказал — «не смею нарушать порядок, всенощная сейчас?» Как раз заблаговестили. Дал еще серию на церковь. Папаша, в таком волнении от «проявления», забыл спросить, какому же святому молебен... решил, конечно, его Ангелу, и, разумеется, Святителю, — он же так молился, втайне... Я его понимаю, сто-лько он пережил, сто-лько нагрешил!.. и раз открылось... весь свой огонь — на по-двиги!.. С такими всегда так... бурно, до экстаза!..

— Сколько примеров, в Четьи-Минеи... на меня так чудесно..! — Даринька слов не находила.

— И ускакал. И вдруг, в самом начале всенощной... опять!

— Да?!.. — поразилась Даринька.

— Да!.. — Отдал сторожу лошадь, — «подержи, я тотчас...» — и вошел в церковь. Народ обомлел, все знали про него. Явное проявление Промысла! Не все, может, поняли, но светлое приняли в сердце несомненно.

— Как это возвышает душу! — сказала Даринька. — Может быть э т о — е е молитвами... — показала она к могилке.

— И мы подумали. Ведь он, вы знаете... был без ума влюблен в Олюшеньку! Стрелялся, когда замуж вышла! Баронесса слышать не хотела, чтобы за Ютова. Но боялась бешеного нрава, «кузюмовщины», и отказала... Старик скандал устроил, обозвал поместье «дырой» и «свинарником». А Олюшенька любила чуткого, умного Ютова и сказала — не выйдет за него — уйдет в монастырь. Тогда баронесса уступила. Ютов был все-таки хорошего рода, дворянин, хотя и небогатый, и ученый, ему предрекали блестящую дорогу, скоро профес-

сором... его учебник ботаники один из лучших... Но, главное, ангельская чистота! Такая была пара — на редкость. Но тот и после свадьбы не успокоился. Чего он ни делал только!.. Боялись за Александра Федорыча, Кузюмов мог на все решиться. Был случай... Как-то вечером, по осени, вдруг, пожар! конюшни загорелись. Александр Федорыч выбежал помочь тушить, — вдруг, выстрел... пуля просвистела!.. Видели, как Кузюмов... тогда еще офицером был... скакал жнивьем.

33

12.VII.1944
Paris <...>[i]

лугами, — хлебА, хлебА, налившиеся, чуть вжелть, озлащенные уже косившим солнцем. Выбрала тут себе местечко, перед Распятием, у окна. Митревна принесла ей коврик и стулец, поняв, что барыня облюбовала себе тут местечко. Даринька приняла, как должное, дала ей гривенничек, шепнула: «здесь хорошо, прохладно». Ее не смущало, что может отвлекаться, видеть луга, хлебА, белые клубы пара по-над лесом, где чугунка, слышать игривый верезг ласточек-береговок, — много их гнездилось по Зуше, — смотреть, как толкутся в солнце столбики мошкары: все это сливалось для нее с пением, с возгласами священника, — со всенощной; казалось освященным, хвалу поющим, по-своему м о л и л о с ь. Мысленно говорила — «вы тоже славите, не понимая, радуетесь Животворящему». Так и стояла всенощную, о б р а д о в а н н а я.

За Шестопсалмием, запыхавшаяся от бега девочка, красная вся, как мак, подала ей душистый ворох лилий и пионов, в широкой голубой вазе. — «Дединька тот велел... так и неси, не растряси...» — пошептала она опасливо, сладко дыша малиной. Даринька потрепала ее по щечке, шепнула — «скорая же ты какая, смышленая, вся малинка... как звать тебя?» Та шепнула: «а Манька я...» — и досказала: «много у нас Манек-то, а я Манька с дальнего двора, Устиньина». Даринька дала ей еще, пятак, и пошептала: «после праздника зайди ко мне... слышишь?..» Девочка захлебнулась-шепнула — «да».

Даринька вынула пионы, пошла к левому клиросу, к аналою, на котором лежала икона Праздника — Петра и Павла, склонилась перед Апостолами... — и обложила образ чудесными белыми цветами. Смотрели на нее бабы, — любовались. Вернулась к окну, — взять вазу с лилиями, нести в придель-

---

[i] Второй вариант фрагмента главы “Аллилуиа” (см. с. 847).

чик, Святителю, и отложила: сейчас запоют «Хвалите имя Господне»... — светлейшее для нее во всенощной.

Царские Врата отверзлись: в солнечной церкви стало полное многосветие: вспыхнула зажигательная нитка, вспыхнули хрустали паникадила. На правом клиросе пробежало, как ветерок, регентово-напевное — «а-а-а-а-оооо...», — и стало разливаться, ширясь и возносясь, полнея... дивное ----

«Хва-ли-те и-и-мя-а... Го-о-спо-о-о-дне....»

Дариньке показалось пение необыкновенным, сладостно возносящим сердце, как никогда. — Сердце ее радостно томилось, — пело, и эти слова хваления такие знакомые, от детства, — будто и не слова, а новое, живое, льющееся во храме окрыленно, поющее радостное, свое, и — всех. Она смотрела в алтарный свет, клубившийся синеватым фимиамом, на крайние лампады — розовую, пунцовую, голубую, — правого края семисвещника, и видела все в мерцаньи, в радужном трепетании, — сквозь слезы. Душа ее возносилась в пеньи... —

«...яко благ... аллилуиа...
«....яко в век ми-и-лость Его... аллилуиа... аллилу-и-а-а...»

Осанной звучало в ней, разверзало глубинный смысл возносящее душу —

«...аллилу-и-а-аааа...»

Она слышала чистый-чистый, восторженный голос Наденьки, видела — не смотрела — синие глаза, устремленные ввысь, к Нему. Будто и тот жасмин, в темной ее головке, пел золотыми сердечками с нею вместе свое ароматное, живое —

«аллилуиа!..»

И в резком верезге ласточек за окном слышалось то же — «алилуиа». Нет, не казалось грехом смотреть в голубую бездонность неба, тронутого вечерней позолотой: и оно пело «аллилуиа».

И в дымном фимиаме, и в радужных хрусталях паникадила — клубилось-блистало — «аллилуиа».

Столько горело в сердце, что не в силах была держать, склонилась земно, утирала глаза платочком.

Из окна вливалась вечерняя прохлада, воздух широкой дали, теплый, густой, медовый, — свежий от быстрой Зуши. В лугах начался покос. Там уже ворошили сено, пестрели бабы, сверкали грабли...

После «Хвалите...», хотела-было нести лилии Святителю, но боялась, что не услышит Евангелия: она любила див-

ное, полное грусти нежной, — «Симоне Ионин, любиши ли Мя?..»[824] Слушала «Величание»[825]. Слушала Псалом избрАнный — «Небеса поведают славу божию, творение же руку Его возвещает твердь»[826]. Слышала прокимен, глас восьмый, возносивший ее всегда, — «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их». И сладко замирало ее сердце, внимая Слову: «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?» — И отзывалось — «Ей, Господи! Ты веси, яко люблю Тя». И еще: — «Симоне Ионин...» — изнемогало сердце, все отдавало сердце ее — Ему: «Господи! Ты вся веси... Ты веси, яко люблю Тя!..» «Глагола ему Иисус: “паси овцы Моя”».

Эти слова Пастыря Доброго напомнили Дариньке — «цветы... е м у..!»

Сейчас же, после Евангелия, пошла она, нетревожная, в придельчик, понесла голубую вазу лилий. Ей казалось, что в придельчике теперь светлее, пасхально-праздничное как-будто. Она затеплила свечки перед образом и на канун, стала на колени и подняла взор на лик, сиявший ей кротким светом. Не молилась — взирала только, беседовала сердцем, высказывалась-благодарила сердцем. После, она припомнила, как за всенощной под Петров день, б е с е д о в а л а сердцем со Святителем. Вписала в «записку к ближним»:

«Он не осудил меня, с л ы ш а л меня и не осудил. Я говорила ему: “недостойна я, но ты в с е знаешь, все отпустил мне, снял с меня путы и укрепил меня. Помолись за меня, недостойную и слабую... Господа петь хочу, Господу служить... благословлять за все! Мне страшно, как я счастлива... но ты и в несчастьи дашь счастье мне!..”»

Радостная, как в Светлый День, поставила вазу с лилиями на столик, перед Святителем, — «прими эти чистые цветочки, благослови меня». Он принял и благословил ее, — чувствовала она. Так и осталась там голубая ваза, наполняемая всегда цветами. Радостная, как в Светлый День, любовалась на пасхальные яички на столике, в красивой чаше, будто из голубого снега вылепленной. Увидала на стенке рамочку — разводы, ветки, выписанные киноварью и золотом: «после, Виктор Алексеевич мне скажет». Подошла к выходу, и ей захотелось оглянуться, посмотреть на Святителя. Взглянула... вышла. И, удивленная, услыхала: читают псалом пятидесятый. Не был то день недельный, не пелось радостное — «Воскресение Христово видевше...»[827], и без нее отпели предканонные краткие молитвы. И вот, теперь, нежданно, — псалом, пятидесятый, покаянный... После она узнала, что батюшка любит служить уставно, почти по-монастырски, а в это празднование

Апостолам — особо уставно, полно. Потому и читался псалом этот. Читал — явственно, каждое слово выделяя, «возвышенно», — Володя, регент. Помнила до конца дней, как выходя из придельчика, услыхала певучие слова... — сердце заликовало и вознеслось. И она почувствовала: о т п у щ е н а.

Первое, на выходе из придельчика, услыхала:

«Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси».

И — далее:

«Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя, и паче снега убелюся».

Приняла, как о б е т о в а н и е.

После всенощной, она попросила Наденьку показать ей могилку — и далее, стр. 113[i].

Ив. Шмелев

34

15.VII.44
Paris <...>

Когда Ютов скончался, Олюшеньке было тридцать лет. Через год, Кузюмов сделал ей предложение, упал на колени, ломал руки, клялся, что «все кончится», если она не спасет его. Она ездила в Оптину, и батюшка о. Амвросий сказал ей: «и без нас с тобой спасется, придет срок». Написала Кузюмову об этом. Тот уехал в Москву, тогда-то и убил студента, из-за какой-то девушки, — студент ее оскорбил, — «посмеялся над ее чистотой!» — ходили у нас слухи. Она была очень религиозная, а студент ее высмеял.

— Во-от как...! — воскликнула Даринька.

— Страшно сумбурный, «неуемный», — так его и назвал батюшка о. Амвросий Олюшеньке, ласково так сказал. Пришлось уйти из полка. Он всех драгунов перепоил, и в носорога стрелял в Зоологическом саду, только не прострелил! И — ни-чего, на гауптвахте только отсидел два дня. Кн. Долгоруков[828] дядюшкой ему приходится, генерал-губернатор, ну и... На Святках, вернулся сюда с молоденьким гусаром, троюродным, что ли, братцем... какого-то знаменитого полка в Петербурге, тоже богачом и сорванцом. Необыкновенный красавец, говорят, всем барышням орловским вскружил голову. И что же они устроили... вы-крали одну барышню, очень хорошего семейства! Да, так и выкрали, только не одну, а с ее тетушкой.

---

[i] См. с. 849 (Фрагмент 30).

Орловская бабушка мне рассказала, когда я выросла. Будто они романов начитались, про рыцарей... должно быть Вальтер-Скотта... и все у них перепуталось, тетушка была тоже восторженная очень. Сговорились на балу, чтобы «умчаться», — а отец, прямо, молился, на свою Аничку. Она необыкновенная, я ее раз видала, уж много после... юная-юная богиня!... И те, молодцы-то, решили вдруг «в рыцарей сыграть», от скуки. Прикатили к барышне в имение, она с тетушкой вышла к ним, как смерклось, посадили их на лихую тройку, а сами верхами поскакали, и разные стременные, с бенгальскими огнями. Так и мчались с огнями, на все деревни страх навели... в трубу трубили, ракеты запускали... Мужики говорили, — «огненный змей летит!» — В набат ударили, страх такой. Привезли к себе, и начали вытворять..! Кузюмовские лакеи рассказывали. И, знаете, благородно вели себя, «в рыцарей» играли. Барышню посадили на трон, — кресла нагромоздили на столы, все накрыли парчей, на барышню корону возложили и всю осыпали бриллиантами! У него после мамаши горы, прямо, бриллиантов. Становились перед ней на одно колено и что-то пели... молитвы будто.

— Молитвы?!.. — воскликнула Даринька.

— Ну, ги-мны, что-ли... Духи курили в курильницах... называли божественной «Лорелей»...[829] сказочное такое, вроде Лесной Царевны. И тетушка восторгалась с ними, так обожала Аничку. Вроде святочной пантомины, как ряженье. К утру отец разыскал... все, слава Богу, благополучно кончилось. Но Аничка до безумия влюбилась в того гусара. А он, будто, сказал, что «недостоин такой богини»! Она ему писала, а он ей и не ответил. А Кузюмов, говорят, был мрачен, как ночь. И чем же кончилось! в Шамордино она ушла, послушницей... И теперь там.

— Как это... знаменательно... — вздохнула Даринька. Такое было в языческие времена... я про св. Таисию[830] читала, в Минеях.

— Про Таисию? Не знаю... а какое преображение случилось с Марией Египетской![831] Это все у сильных натур, конечно... И теперь такое же!.. Особенно у нас, в русской душе... Я зачитываюсь Достоевским, хоть папаша и сердится, — рано, говорит. Сильные души всегда ищут. И ап. Павел говорит о «горячих»...[832] И сам такой был!

— Да... странно это и... чудесно...

— Потом привез танцовщицу из Москвы. Ходили с ней на высоких ходулях, ночью, под простынями, баб стращали. Думали сперва — оборотни, морока. Тогда не было еще такой

моды, это теперь пошло, Костинька ловко ходит... Мужики подкараулили и подшибли дубинками, чуть не убили. Кузюмов уж закричал — «я это, дурачьё, Павел Кириллыч!» И вдруг, опять себя показал: чудесную школу выстроил, двадцать тысяч стоило, такой нигде нет в уезде. И пособия все, теллурий... как вот планеты движутся... учителей выписал, с отличиями. Писали в газетах, знаменитые педагоги были на открытии, славили его. Даже граф Лев Толстой потом приезжал смотреть... он тогда азбуку свою составлял[833], ребят учил... Остался недоволен, сказал Кузюмову: «не пыль в глаза, а свет в душу надо! на такие деньги пять школ можно завести». А Кузюмов и с ним не посчитался, — «светИте, граф, у себя в "Ясной"!» Толстому, будто, понравилось, смеялся: «остроумно, — "светИте в «Ясной»"!» Но слушайте, что дальше...

Дарья Ивановна отметила в «записке»:

«Меня захватило это, особенно про т о г о... петербургского. Подумалось, — Дима это! Радостно было, что вел себя целомудренно. Я видела эту девушку, и полюбила ее. Не смела тревожить ее душу. Не знала я, слушая Наденьку, какое испытание готовилось мне: была в радостности и свете».

— И вот, — продолжала Наденька, — вошел он в церковь. Сначала стоял у дверей, с клироса я следила, грешница. Вбежала Манюшка с цветами, даже и его толкнула, и всех распихивала, как чумовая... слышно было, — шестопсалмие читал Володёк, — как пищала, будто ее душили, — «ды пропущайте скорейча... твиточки барыне!..» — на всю церковь. Конечно, и он слышал, — смотрел, кому эти чУдные цветы? Смотрел, когда вы полагали их: перешел направо, где «Вход Господень во Иерусалим»... — правда, хорошая у нас живопись? — и смотрел к вам. Вы опустились на колени... Вы осо-бенно опускаетесь, как ни-кто! с таким благоговением, изящно... д у х о в н о как-то! Все любовались вами, бабы впивались, прямо. И вот, «Хвалите имя Господне...» Все стали на колени, Пимыч поджег бенгальскую нитку на паникадиле... Петра и Павла у нас большой праздник! Такое многосветие, солнышко, хрусталики... дивно! А он так и остался стоя, откинулся к стене, на живопись, и я увидала, в ужасе, в руке у него... нагайка! Так смутилась... чуть не сорвала на самом выносе «аллилуиа»!.. Не смотрела больше. Когда читали дивное, Иоанново... взглянула, как он... Он все стоял, откинувшись, смотрел налево. Вы слушали коленопреклоненно, вашего лица не видно было. Потом понесли цветы в придельчик. Вы были восхитительны, как светлый ангел... эти воздушные рукавчики с «плечиками», крылышки у вас будто! И к а к же

он смотрел! А я думала — «смотри, это не твоя т ь м а, вот — ч и с т о т а!..» Он высокий, вперед подался, смотрел, как расступались перед вами. Матовое лицо его так напряглось!.. Вы вошли в придельчик. Тут и он ушел. Странное какое... преображение! Может быть он переменился..? Слово батюшки о. Амвросия никогда втуне не бывает. Что вы так грустны стали?..

— Нет, я ничего... — сказала Даринька. — Думала... сложна человеческая душа... — вспомнились ей слова Виктора Алексеевича.

— И как еще сложна! Это в Достоевском и увлекает... Многого я еще не понимаю, в епархиальном было строго запрещено читать его. Кузюмов чем-то Ставрогина напоминает, из романа «Бесы». Очень образованный, филологический кончил, знает всю философию, — Костинька говорил, — у него богатейшая библиотека. Костинька посылал к нему за книгами, уж после мамы. Да... когда ее хоронили, он проводил до могилки, подошел к Костиньке и пожал молча руку.

35

15.VII.44 <...>

подошел к Костиньке и пожал молча руку. В первый раз видели его таким: стоял и глядел в землю. Мне даже его жалко стало. Правда, несчастный он?

— Конечно... — в своем вся, сказала Даринька.

— Зазвал Костиньку к себе. Тот был как-то у него, за книгами... здесь трудно доставать, редкие... хотя у них тоже отличная библиотека. И опять размолвка вышла. Когда узналось, что усадьба продается, очень хотел купить, давал — «сколько хотите»! Но мальчики... — не было уж сил тянуться, — решили продать с выбором. Скольким отказали... Когда приехал ваш муж, в мае... — говорили, — сразу произвел хорошее впечатление. Им понравилось, что «совсем непрактический»... такой и папа был, в мыслях всегда, рассеянный... Ваш муж ничего не осматривал, сказал только — «моей жене понравится, она любит цветы, тут так тихо, это ей нужно, очень она болела». Вы болели?..

— Да, раньше... хотелось тишины, уюта. Вот и зовем — «Уютово».

— А было — «Ютово»! как вышло... удиви-тельно! И решили продать вам. Именно, в а м! Помнилась мама, тихая всегда... долго она болела, таяла... Т а к им легче было расставаться. Это было большое испытание для них... Все говорили, — пусть все замирает но все-таки бу-дет! землю будем копать крестьянствовать, пока Матвевна. Но Костиньке очень

хотелось окончить медицинский, стать врачом. Алеша только что кончил на аттестат зрелости, и весь в своей живописи... особенный, ведь, он какой-то, одухотворенный, в маму. Хочет объехать Север, смотреть старинные погосты, деревянные церковки, скиты... исконную Русь нашу. Какие у него альбомы, вся наша красота... изумилась, прямо. Наши старые церкви, особенно на Севере... все деревянные, и так мягко душе от них, так льется в сердце... это высокое искусство! Да... Кузюмову о-чень купить хотелось. Но Костинька как-то отклонял, не знаю... Тогда он через подставных пробовал, разных подсылал.

Матвевна как-то дознавала, стерегла. Ночей не спала, боялась, — ну-ка, «темный» схватит гнездышко наше! И докторишка суетился, зубы мальчикам заговаривал... даже и на папашу повлиять старался! а то все свысока, и в церковь не заглянет никогда... циник и безбожник. Матвевна ему прямо: «лечить тебя нанЯли, а ты базаришь, у богатея на-побегушках, а еще до-хтур!» Она все тыкает его, терпеть не может. Бесстрашная, может так обрезать..! Так весь и исказился, ни словечка не мог сказать, прильпе язык к гортани... исчез, как бес от ладана. И вот, все Бог устроил, послал нам вас. Олюшенькина душа теперь покойна. Правда, как удивительно устроилось?..

В мире, пошла Даринька в «Уютово». На «Фаворе», полюбовалась на розовую от заката церковь. Повернула к «Уютову» — и увидала над ним, в закатном, позлащенном небе, розовых голубей, кружившихся в блеске над усадьбой. Сказала, радуясь:

— И белые голубки у нас!..

Смотрела — любовалась. И в сердце ее пело — «аллилуиа»...

XII — МИРНОЕ ЖИТИЕ

Виктор Алексеевич благостно вспоминал о первых неделях жизни в «Уютове», — безмятежных, светлых. Правда, безмятежно-светлое продолжалось годы, до конца, но то была уже другая безмятежность, когда случилось с ним обновление: тогда и невзгоды, до тяжких испытаний, не могли закрыть света и лишить безмятежности. До этого «обновления» с ним, светлые дни уютовские скоро были затемнены.

— И для Дариньки даже, совсем, казалось, просветленной, духовно закаленной, — говорил он, — порою меркла безоблачность нашего мирного жития. Нам было дано познать наглядно, какая требовалась подготовка, закалка духа, чтобы такими «тесными вратами»[834] выдержать испытание на... высшее житие.

Он, близорукий, радовался, что раньше смущавшие Дариньку знамения, явления, — они и его порой смущали, — как будто кончились. Даринька стала совсем земной, оживленной, радовалась всему, самому обыденному, жила-кипела. Это делало ее доступней, заманчивей, прелестней. Словом, настала настоящая жизнь, то, что называется, как говорил он, помня что-то «из богословского», — «жизнь жительствует». В эти первые дни-недели часто он говорил: «вот э т о — жизнь! свобода, радости, труд веселый, душевное равновесие... может ли лучше быть?!..»

Даринька радовалась и отвечала ему загадочно и, казалось ему порой, — игриво:

— Да... будет еще лучше... уви-дишь!..

Что же может быть «еще лучше»?.. Время шло, и он чувствовал, как будто, что теперь было — «еще лучше». В Москве, он считал, что в захолустье — Мценск тогда был для него полным захолустьем, — никакой жизни нет, живут изо дня в день, нудно... — ни свежей книги, ни интересного ученого доклада, ни симфонических концертов... — он любил музыку, — ни обеда в «Эрмитаже» с Даринькой, — он привык, после своего упорного одиночества за чертежами, прививать ей вкус к жизни и развлечениям, и сам увлекся, — ни театров, ни троек за город, к «Яру», — проветриться. А теперь, в захолустье, открылись ему нежданные радости, как-будто еле заметные, но, если всмотреться глубже, — самые тонкие, самые изумительные радости... — радости б ы т и я. Ему открылась поэзия этих радостей, неразличимая тугим ухом с и м ф о н и я великого оркестра — Жизни. Он с удивлением спрашивал себя, почему же раньше не упивался ею, почему было это скучно, почему слышал лишь шум, иногда и веселый, но шум и шум?..

Эта поэзия и симфония открылись ему с первых же дней в «Уютове». Он почувствовал, как «одухотворенно» поет соловей на островке, — «высказывает себя»; как «осмысленно» дышит каждый цветок, дышит с в о и м дыханьем: жасмин, розы, пионы, лилии, петуния, резеда... как позванивают колокольчики глоксиний... высвистывает зяблик, тоже с в о е... деловито-осмысленно реют пчелы в малиннике, кудахчут с заливом куры, под петушиный бодрящий вскрик... — и все эти песни, дыханья, вскрики — связаны общим чем-то, что-то творят единое... — чудный какой-то... г и м н?!..

Он всегда был склонен к глубокомыслию. Но прежние размышления были совсем другие, — «бесплодные», признавался он, — упражнения рассудка, — «без раскраски, без я д р ы ш к а». А тут, в «Уютове»... — что за диво? — самое

неприметное как будто вызывало ж и в ы е размышления, строило в нем какую-то важную постройку...

В такой умягченности душевной, в радости от новой и новой Даринькн, от этой жизни «по-новому», как выздоравливающий после тяжелого недуга, он забыл свои деловые планы, — в нем всегда роились «чертежи» — машин ли, новых ли поисков в механике, синие кальки «движений в небе», — прежние размышления, перестал «кабинетничать», — о т д ы х а л. Взял месячный отпуск, не ездил в депо, — купался в уютовском приволье.

В Петров день охотно пошел с Даринькой к обедне. Церковь ему понравилась, и все, до празднично разодетых цветастых баб, на него глазевших. С улыбкой слышал оценку Дариньки и его, — «и супруг красивый какой, инерал... ништо анажанер, сказывают... звезда селебрена...» — «про знак это», шепнул он Дариньке, — был он в блиставшем белизной кителе. Все пропускали их, улыбались приветливо, и было приятно, как сероглазый мальчик подал им на тарелочке большую просфору, — «батюшка прислал». Понравилось и пение, и батюшка: «артистически, прямо, возглашает...» — шепнул он Дариньке, а она укорительно повела глазами, — «так бы вот и расцеловал!..»

36

17.VII.1944
Paris <...>

Понравилось и пение, и о. Никифор: «артисти-чески, прямо, возглашает!..» — шепнул он Дариньке, но она укорительно повела на него глазами. — «Так это она делала... ну, вот, так бы и расцеловал, при всех!» — сознавался он. Этими же глазами говорила она ему, п р о с и л а нежно, когда надо опуститься на колени, и он это охотно делал. Так она «вдохновенно» преклонялась, что и на него невольно влияло это ее движение, и было приятно это, будто крепче сближало их. До конца дней помнил он эту чудесную «обедню вместе». Помнил, как удивительно — напевно, даже восторженно, возглашал в алтаре о. Никифор: «Твоя от Твоих... Тебе приносяще... о всех... и ——— за вся-а-а-а...!»[835] Даринька преклонилась, он увидел «непередаваемый» взгляд ее, — и преклонил колени. Ему мелькнуло тогда, что сейчас... «самое что-то важное на литургии», — помнилось смутно что-то на уроках Закона Божия... батюшка о. Николай Успенский называл это... — так сохранилось в памяти, — «кульминационным пунктом во всей обед-

не»...[836] — но ч т о ... — забылось. Он старался припомнить, ч т о ..? — забылось. Прекрасно пели — «Тебе поем, Тебе благословим...» — «необыкновенно пели», — шепнул он Дариньке, и она осветила его взглядом. И не только это помнилось до конца дней: было еще д р у г о е, совсем, будто, и милое, случайное, но почему-то осталось в памяти еще ярче, чем дивное преклонение Дари. Слушая пение, следя, как возносился кристально чистый девичий голос, совсем не вникая в смысл, он посмотрел над склоненной головкой Дариньки, за окно... и увидал — «поразительное».

Окно было открыто. За ним было только небо, чистое голубое небо. С коленей не было видно земной дали, — только небо. И на этом небе, на его пологе лазурном, в голубом воздухе, тихо покачивалась ветка. После Виктор Алексеевич понял: это была ветка розового шиповника, росшего за окном, направо, невидного, — только ветка с розовыми цветами виднелась из-за правой оконницы, словно висела в воздухе. И на этой ветке покачивалась птичка, с розовым горлышком. Она тихо покачивалась, только что вот-вот села. Покачивалась, и, вытягивая шейку, засматривала в окно, — «засматривала, как-будто, с любопытством, — “а что тут делают?..”» Так его восхитило это, что он не удержался и шепнул Дариньке — «взгляни поскорей налево... птичка!..» Она взглянула, — «против желания, с досадой даже, что отвлекает в такой-то миг!» — говорила она потом, и писала в своей «записке». Она увидала птичку, малиновку... увидала в последний миг... — «малиновка вытягивала шейку, взглянула в церковь, присела и порхнула... и все качалась розовая ветка». Поглядела на Виктора Алексеевича, «изумленно», будто благодарила его за эту птичку, и слезы блестели в ее глазах. После она сказала: «и малиновка радовалась, молилась с нами... все поет славу Господу».

Этот «случай с малиновкой», оставшийся на всю жизнь, привел его в восхищение и укрепил светлое настроение его. После обедни, он пошел с Даринькой в придельчик, смотрел образ Святителя, согласился, что, действительно, «удачно дано, глубинно», читал надписание надгробия, рассматривал «родословное древо» в рамочке, а Даринька светила ему свечкой. Сказал, будто про себя: «да... о-чень любопытно...»

В таком хорошем, «даже веселом», настроении отправились они делать визит о. Никифору и матушке. Так и в детстве было, когда, после экзаменов, приезжали семьей в свое именьице, и в первое же воскресенье, после обедни, шли к батюшке, пили парадный чай и ели вкусную кулебяку с луком и яйцами. И теперь, проходя лужком к батюшкину дому, уютно крывше-

муся в березах и рябинах, Виктор Алексеевич весело спросил: «а будет кулебяка с луком и яйцами... очень ее люблю?»

У батюшки встретили радушно, задушевно, и парадно, будто и ждали их. Угощали чаем на террасе, была и вкусная кулебяка, с луком и яйцами, — угадал! — не «душили альбомами», а весело говорили о том, о сем... Виктор Алексеевич разговорился, был в ударе, хвалил хор, похвалил и церковь, и привел всех в восторг, рассказав «случай с птичкой», — напомнила Даринька. Очаровал всех искренней простотой. Их провожали всем семейством, до самых овсов, полюбовались с «Фавора» «Уютовым» и храмом и расстались, очень довольные. Батюшка обратил внимание на овсы: «бо-гатые яровые нынче, и рожь хороша... снега-то какие были, напилась землица, с хлебцем будем».

— Отличнейшие, симпатичнейшие люди!.. — говорил Виктор Алексеевич Дариньке, — и молодежь приятная, особенно девчурка эта, огонь-девчонка... вот-те и захолустье! С запросами, живые... и матушка такая приятная, домовитая, добрую гусыню напоминает. И как же наша Россия чувствуется... вот она где, самобыть-то наша!..

Мирное житие, благостное и ласковое... — такое впечатление оставило в Викторе Алексеевиче это посещение церкви и настоятеля. И кругом — все было благостное и ласковое. Проходя мимо пАрившего малинника в низинке, полюбовались уже наливавшимся обилием малинным, — местами уже горели ягоды, крупнейшие, и Даринька сказала, что сегодня у них будет «первая малина со сливками». В укрытии, в низинке, малина выспевала рано; пчелиное дружное гуденье — живой неумолчный звон — стояло над малинником, будто малиновыми духами пахло, — с перегретых ягод, с сочной зеленой силы.

— Го-споди, благодать какая!.. — услыхали они знакомый голос и увидали кланявшегося им, любовавшегося малиной Карпа. — С праздником вас, барин!.. с праздником вас, барыня... уж и мали-на!..

Он тоже был у обедни, — видела его Даринька, — праздничный, в синей чуйке нараспашку, в малиновой рубахе, в начищенных сапогах, московских. До праздничного чая с колобашками и пирогами, любовался-погуливал. По праздникам в «Уютове» чай пили с горячими колобашками и всегда с припозданием, — стряпня большая, — и обедали на часок поздней, — так повелось и держалось Матвевной неизменно, а после обеда отдыхали до послеполуденного чая. Из кухни тянуло сытным чадцем от пирогов, чем-то густым

и сладким. Листратыч, в белом наряде и белом поварском колпаке, орудовал с ясными медными кастрюлями. Даринька сунула голову в окошко кухни, ласково поздоровалась и весело спросила, — «а что сегодня, Листратыч, будет?»

— Бу-дет, бу-дет... все будет! — выкрикнул Листратыч свою бауточку: — на первое-с, шпинатец будет со спаржицей и все такое-с... паровые цыплята будут, саус ай-укроп-с!.. картофелец молодой будет, соус-пританьер... курячий бульон с шпинатцем, курьи филейчики на верр-ртеле, с пикан-подливкой... пер-рвая малина в сбитых сливках... пломбирр-пуддинг... а напоследок, барышни... — он говорил «барышни», как бы от восхищения юностью молодой хозяйки, — «кресты»-с... а потом-с и сладкие подремушки на сахарной подушке!..

Весельчак был Листратыч, всегда и поварил весело. Перед Виктором Алексеевичем почему-то вытягивался во фронт и отдавал честь, — чудак такой.

За праздничным чаем, на террасе, восхищались «чудом», — вертевшеюся живой клубникой! Это было изобретение-презент «Мухомора» — к празднику. На столе тихо кружилась тумбочка, как устраивают в богатых магазинах перед Пасхой вертушку с пасхальными яичками, на заводной пружине. Это была — разглядели после — кадочка, вся в дырках, и из этих дырок, одни над другими, глядели на свет кустики земляники и клубники, обильно осыпанные ягодами; и так это было густо, что совсем не было видно кадочки, — только клубника-земляника. Такой удивительный сюрприз, невиданный никогда, что они захлопали в ладоши, вызвали Дормидонта Анисимыча, пожимали ему руку, и Виктор Алексеевич подарил ему пять рублей — «на библиотеку».

37

17.VII.44
Paris <...>

и Виктор Алексеевич подарил ему пять рублей — «на библиотеку».

Дормидонт был растроган их восторгом и обхождением, прижимал руку к сердцу, раскланивался галантно и выбрасывал перед собою руки со своей шляпой-мухомором. Даринька ему сказала, какой же он милый и какой великий мастер, но вот сегодня такой праздник, а он все в этом некрасивом балахоне, — «ну, зачем вы так... зачем боитесь каких-то мушек?..»

Дормидонт растерялся, пробовал оправдаться, что «эта нечисть всех может погубить...» и рад бы пощеголять, и «тройка»

хорошая есть, московская, да... Даринька сказала совсем нежно:

— Но все это уже прошло! вы знаете, я за вас молилась, и теперь никакие мухи не тронут вас, никак не повредят вам, и всем нам!

Дормидонт просиял, выбросил руки и воскликнул:

— Да?!.. вы!... за меня, моли-лись?!.. Теперь я спокоен. Если вы... молились... святой человек вы, барыня... я чувствую! Прошло?!.. Слава Богу, теперь могу щеголять по праздникам. А этот щит... — показал он на балахон, — очень способно на работе. То-то мне нонче, как-то... душе свободней!.. Во-он что, мо-лились вы... А я все думаю, думаю... ах, какие у меня мысли... все, барыня, у меня записано, слова все ваши!..

Он галантно раскланялся и пошел медленно с террасы, напряженно о чем-то размышляя. И к обеду все на него дивились: «“Мухомор”-то... в московскую “тройку” обрядился... невидано никогда!..»

Виктор Алексеевич сказал, что это, конечно, «мания» у него, мухи эти... — «странный, но удивительно одаренный и, должно быть, чи-стый человек... совсем ребенок». Даринька вдруг сказала:

— Мне кажется, что это не мухи, какие вот летают, страшны ему... может быть тут иносказательное у него... знаменовАние, в виде мух?.. в его душе-то?.. А он перевел на видимое, на мух... Кажется почему-то мне, что его грязь пугает, греховное, что растлевает и заражает душу... Он где-то воспринял эту грязь, она его захватила... у каких-то «петровцев», не знаю я... он этим мучается, и это его страшит, я так это чувствую! Он ничего не знает, что очищает душу... он и молитв не знает, а молиться хочет...

Виктор Алексеевич поразился, какой же «философ» Даринька! Про «Мухомора» она ему рассказывала. И он согласился, что она, может быть, и права, и «это все очень любопытно».

— Странно, странно... — сказал он, вдумываясь в свое, — ты высказала очень глубокую мысль, умница моя. Так это мне теперь понятно: «грязные мухи» эти... и как же бессильно защищается... щитом своим!

— Видишь, тебе теперь понятно... — сказала она с ласковым укором, — и ты все знаешь, а и не думаешь о «грязных мухах».

— Нет, я думаю... очень иногда думаю... — сказал он, — смотрю на тебя, на себя... и думаю о «мухах»...

— Да,... думай, думай... — сказала она, вглядываясь в свое.

После чая, они перешли в комнаты и с удивлением заметили — новое в них: на стенах, где были светлые квадраты на обоях, после снятых портретов, уже не было этих пятен: опять висели фамильные портреты. Они были составлены в угловой, внесены в «сохранную опись». И вот, утром, до них, Алеша развесил их по прежним местам, — вернул. Он тут же и появился и сказал об этом, и прикровенно, и детски-просто:

— Им теперь лучше здесь. Вот, Дарья Ивановна, это — мама! Лучший ее портрет... по-моему, самая удачная работа К... Он писал ее 16 лет тому... маме тут было 25 лет. Только она тут чуть-чуть... не вся.

Портрет был повешен хорошо, по свету, — ни отсветов, ни жесткого освещения, что топит живопись. Среднего портретного размера.

На безоблачном небе, бирюзовом, в раме окна, как будто у балкона, — Дариньке показалось, что это в том «фонаре», в светелке, — стояла, в-пояс, светлая, юная совсем женщина, с тонким, овально-приятно округленным лицом, «в три четверти», всматривалась, чуть вверх. Она была в легком, утреннем, чуть открытом у шеи пеньюаре, в уложенных на головке светлых косах, как причесывались тогда «для дома». Лицо, тонкой розовой белизны, нежное, с чуть открывшейся нижней губкой, — как у детей, в тихом удивлении. Но, главное, — были ее глаза: ласково-мягко изумленные, большие, — и светлые-серые, и голубые, — пепельно-голубиные, — «мерцающие глаза», — подумалось Виктору Алексеевичу, — «озаряющие»... — определил он себе точней. И, изумленный, вспомнил эти глаза, — «там, в Страстном..!» Эти радостно-изумленные глаза вглядывались во что-то, — там, в лазури. И это, — небо, — куда смотрели эти глаза, отраженно светилось в них.

Он воскликнул:

— Дочего же... Непостижимо... чудесно!...

Он другое хотел сказать, хотел сказать все, — и не сказал. После, вечером, он сказал это Дариньке. Она удивилась, ей этого не показалось. Иногда бывает сходство, случается... И вспомнила, что говорил ей Пимыч, как говорила Наденька. Может быть, — кажется иногда, другим.

«Мама», — «милая мама» — подумала она, смотря на чудесное лицо, — так ей понравилась, что она долго не могла ничего сказать, смотрела и смотрела. «Она была вся унесена...» — рассказывал Виктор Алексеевич, не отвечала спрашивавшему ее Алеше, нравится ли ей мамино лицо, и он

понял, как она вся захвачена. И когда Алеша смотрел на нее — заметил это Виктор Алексеевич — и переводил взор к портрету, и сейчас же, с портрета на нее, — «у ней чуть приоткрылась губка... нижняя губка, как в портрете... как у детей, в тихом изумлении восторга». Это, кажется, уловил Алеша. Но не говорил ни слова, смотрел... сличал? Виктор Алексеевич увидал и глаза Дариньки, на один миг только уловил, — «будто она смотрела в небо, как эта юная женщина-ребенок». Это, должно быть, увидел и Алеша. Он съежил плечи, как будто затаился, и в его мягком всегда лице выразился на миг испуг. «Какое потрясающее сходство!..» — в оторопи как будто, мелькнуло Виктору Алексеевичу.

— Ах, какая она чудесная... — будто самой себе тихо проговорила Даринька. — Да, ее нельзя было не любить... Наденька мне понятна... да... «раба божия Ольга...» — шептала она, как в сновиденьи.

— Но это — только чуть-чуть... не вся! — говорил Алеша, не отводя глаз от Дариньки. — Ее лицо сто-лько жило... и как многообразно!.. Тут только взгляд ее схвачен, один из взглядов... И, знаете... мама себя не узнавала в этом... говорила, с улыбкой, — «как меня умягчили тут, одевичили... даже во-святили!» Нет, это очень удачно, такая она бывала... даже совсем поздней, когда я отлично видел, такая же светлая-молодая, юная совсем...

В тот же день Виктор Алексеевич написал своему приятелю, большому знатоку «родов российских», сообщил некоторые справки и просил, если имеются у него какие сведения, сообщить ему все, что можно, о родословной .... особенно — о Феодоре Константиновиче, который, по слухам, кончил самоубийством, приблизительно в 18... году. Написал и своему адвокату, — не жалеть расходов и собрать все, что можно о семье ..... разыскать людей, служивших у Ф. К. ..... во дни «несчастного случая», и «обо всем последующем», — кто жил у него, кто вступил в наследство после его кончины, — «все, елико можно». Он знал — помечено было в дневнике, — как звали покойную мать Дариньки, дал адвокату «нити» и настаивал на справках в приходских метриках.

38

20.VII.1944
Париж <...>

Накануне поднятия икон, узнав от Матвевны, что покровские принесут завтра хлеб-соль на новоселье, «спокон веку

так водится», Даринька всем распорядилась. На площадке перед террасой поставили помост и вынули новые простыни — накрыть. Сказано было Дормидонту — «цветов побольше». Послали Андрея в город за угощением. Узнав, что баб дарили платками, а мужиков рубахами, Даринька сказала Виктору Алексеевичу, — «чтобы были довольны все». Всегда щедрый, а тут, в восхищении, как она вся горит, живет э т и м, Виктор Алексеевич просил ее «делать по своей волюшке». Решили дать бабам по рублику, а мужикам по полтора. Привезли из города гостинцев, меду-пива, ситников, калачей, колбасы, хлебного вина, — всего вдосталь. Все в «Уютове» весело суетились, словно к Светлому Дню готовились. Даже Дормидонта захватило: ходил озабоченно, выписывал что-то на бумажке.

Воскресенье выдалось на-диво, как Петров день, — ни облачка. Все пошли в церковь, только Кузьма Савельич с «Мухомором» стеречь остались. Почел долгом присутствовать и Виктор Алексеевич, — Даринька не просила, «знала».

— Она так меня изучила, угадывала мысли! — говорил он. — В это светлое воскресенье она была особенно вдохновенна, приподнята. Помню, когда стали выносить иконы, шепнула мне: «пожалуйста, это н а д о... ты примешь Крестителя Господня», — и взглянула — словно мне в душу заглянула, и прося, и, как бы, в е л я. Я озадачился... никогда не носил икон, а тут, на всем народе... Она поняла, снисходительно улыбнулась и сказала: «да, примешь Крестителя Господня, я уж сказала батюшке». И я при-нял... и после был доволен, — что-то праздничное вошло в меня.

Дариньке желалось, чтобы п о д н я л и и Святителя, и она с удивлением узнала, что нет иконы Святителя, а написано «на камени» в заломе, и одето рамой, как кивотом. Так пожелала устроительница, — «не тревожить Святителя, сказал Пимыч, — всегда чтобы был над ней».

Понесли иконы многолюдно, крестным народным ходом. Впереди нес фонарик сероглазый Сережа батюшкин; четыре за ним хоругвицы, повитые цветами, несли Листратыч с Егорычем, Агафья, Поля. Карп с Андреем приняли тяжелую икону Спаса. Местную, «Покрова», понесли Даринька с Танюшей, хоть и просил Виктор Алексеевич «не надрываться». Она и не слыхала, будто ее и не было. Виктору Алексеевичу о. Никифор вручил небольшой образ «Рождества Крестителя Господня», сказавши: «и вы потрУдитесь...» С непривычки, Виктор Алексеевич смущался, но «хорошо выдержал экзамен»: нес икону, на шитом полотенце, б е р е ж н о. «Сам анжанер несет» —

прибавило всем духу. Пели разливно — «Царю Небесный»[837]. Матвевна несла запрестольный Крест, убранный колосьями и васильками, — «ликом светла была». Об этом «крестном ходе» говорили по всем деревням.

Все было благолепно. Пришло на-роду... — пришлось перенести помост на широкую луговину перед домом. Над помостом висела сень, «воздушная беседка», сквозная, из легкой драни, увитая хвоей и цветами, — «невиданной красоты!» — дивились, — «все “Мухомор” уделал!» Был он и за молебном, в парадной «тройке».

Вносили иконы в дом, кропили святой водой. Носили и по службам, и по хлевам. Даринька попросила, чтобы и в сад внесли. Пронесли и по яблонному саду, кропили тихие яблони, покрытые россыпью зеленой, тронувшеюся в рост — налив. И здесь о. Никифор читал молитву — «от всякого вреда соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище...»[838] Говорили, что «Мухомор» слушал удивленно, — был его здесь шалаш — жилище.

Угощали обильным завтраком причт с Пимычем и певчих. На луговине, после поднесения господам хлеба-соли на ручнике, Матвевна с Карпом угощали народ, и все были довольны, что «так порядливо». С обедом запоздали. До ночи стоял в «Уютове» «светлый дух», праздничное на всем светилось. Матвевна сказала Дариньке:

— Вот, милая барыня, как хорошо-то все было... и так все довольны, уж так благодарили...

Поняла Даринька, — похвалила ее Матвевна, дополнила чашу радости.

— Помню, — рассказывал Виктор Алексеевич, — с той поры я стал себя чувствовать другим немножко, заряженным чем-то новым, освежился, и все казалось, — что-то приятное случится. Неприятностей уже не было, мы успокоились в нашей «незаконности». О разводе с Анной Васильевной не говорили больше. Я еще сносился с адвокатом, предлагал еще денег, — ответа не было. Даринька примирилась, после назначенного о. Варнавой — «вези возок». Жизнь наладилась, Даринька отдалась хозяйству и «задушевному», служению своему. Выходило это как-то незаметно. Я был счастлив, лучшего не желал, но почему-то казалось мне, что будет что-то хорошее... что — и понять не мог. Теперь и начнется самое главное! — Был в светлом опьянении, очень тонком, как после трудных экзаменов. Словом, — ждал какой-то «приятной неожиданности», а она все не приходила. Понял, много спустя, когда это пришло ко мне.

Не нарушило мирного жития и одно происшествие, не совсем приятное.

Накануне Казанской было, Даринька собиралась после чаю идти ко всенощной. Пришла Матвевна и доложила, — «становой приехал... желает вас видеть». Виктор Алексеевич приготовил «положенное» и сказал — пусть пожалует. Пили на террасе четырехчасный чай. Становой заехал «поприветствовать, а кстати и по долгу службы». Алеша ушел на кладбище, одни были. Даринька предложила чаю, — «очень жарко»: становой, кургузый, плотный, вытирал пот с лица. Чайку с лимончиком принял с удовольствием. Виктор Алексеевич мигнул, — «а водочки..?» — «Жарынь-с... и уж по долгу службы пришлось малость освежиться, три дня мертвое тело прело... тут, в Зазушье, порезали косой парня, на покосе, что закосил... драка махонькая случилась... хватили маленько с доктором... а чайку с нашим удовольствием». Извинялся, что обеспокоил, да кстати, мимоездом уж, поприветствовать. Вежливо намекнул «насчет прописки»: «время-то нонче... тьма!» Виктор Алексеевич принес ему свой служебный вид и Даринькин вид на жительство, — «а двоих служащих, приехали с нами, — у приказчика». Становой тут же и прописал. Записывая в свои бумаги, переспросил: «и супруга-с... Дария Ивановна... Вен-де-грамер?» — «Вейденгаммер, — поправил, несколько волнуясь, Виктор Алексеевич, — я жене взял отдельный вид, придется ездить, к доктору в Москву...» Он несколько волновался, уловив, как смотрит на него Даринька. «И очень хорошо-с...» — сказал становой, допивая чай и утираясь. — «Злющее пошло время... вчера опять в Мухине поджог... в окружности тихо, слава Богу, все на виду... а в Зазушье опять подметные листки, "стрыженую" одну видали... а завтра кати в Казаково, ярмонка там, надо на-чеку». — «Да, да, понимаю...» — подакал Виктор Алексеевич. Получив сверх-положенное, становой укатил на дрожках.

Даринька вопросительно смотрела, ни слова не сказала. Виктор Алексеевич чувствовал неловкость.

— Ну, да... все по форме... так надо, не было чтобы болтовни. Не ради себя, а... чтобы не смущаться тебе. Ты так болезненно... Теперь для всех ты — моя жена! Для меня, с первого дня и до смерти... жена, законная, больше!..

— А перед Богом?.. — сказала она тихо и поникла.

— Бог... все видит! Ты каялась, отпущена... О. Варнава признал... Кто виноват во всем, в этой «лжи»? Она!

39

22.VII.1944
Париж <...>

...Кто виноват во всем, в этой «лжи»? О н а!... О н а обесчестила, нарушила... совесть моя спокойна. Есть же, наконец... п р а в д а?!.. Ну, я грязен... но ты-то..! чи-стая вся, святая!...

Она подняла в ужасе ладони -----

— Н е л ь з я так говорить... прошу тебя!.. Я п р и н я - л а, несу... но как это тяжело, ложь... всегда! Ну, прости меня, довольно.

XIII — «НОВОЕ»

Приезд станового, такое обычное в уездной жизни, очень запомнился Виктору Алексеевичу. И душный вечер запомнился, и лицо станового, совсем простецкое, «фельдфебельское»... — а вот, «ужасно запечатлелось», — и острый луковый от него дух, и клетчатый, «в сырости», платок... Но, особенно, — сосущее ощущение тревоги, неопределимое, родившееся внезапно, с первым словом Матвевны, — «становой приехал...» Помнилось, как она, уходя, сказала: «нелегкая принесла».

— Смешно, конечно... но с этого станового как раз и стало вкрадываться в мирное наше житие «новое», тревожное. «Но-вое», сказал я... но это в особом смысле. Под «новым» народ разумеет... в мое время, по крайней мере, разумел... все, что сбивает жизнь с естественного пути, с ее, так сказать, х о д а... — «происшествия», «события», на что люди просвещенные так падки. Народ, инстинктом, боится «происшествий» и «событий». Он любит «случаи», «чудеса»... — что не сбивает жизнь с хода, а еще лучше налаживает. Это я после понял, когда в полноте услышал симфонию великого оркестра — Жизни. Народ тоже слышит ее, как-то по-своему, но об этом не говорит, и «происшествия-события» для него — то же, что для чуткого слушателя в концерте, если в «баховское», к примеру, ворвется в улицы — «караул!» или неприятно начнут сморкаться. Бывало, встретишь Егорыча-пчеляка, спросишь, — «ну, как, Егорыч... что нового?» Всегда скажет, еще и перекрестится: «да ничего, слава Богу... ладно, по ряду все». Матвевна — та резче говорила: «н о в о е одному бесу радость». И вовсе не косность это, не «дикость», а... д у х о в - н о е отношение к Жизни. Постройте новый храм, издайте новый закон, в котором увидят п р а в д у, проведите новую, нужную, дорогу, обучите новой, хорошей, песне, а лучше

еще — молитве... — вот этому порадуются. И вот, со станового, которого «нелегкая принесла», и пошло в нашей жизни «новое». Народ полиции опасается, з н а я, что она всегда соседствует с «грехом». Назначена «для порядка» — тоже знает, но... все-таки не любит ее. Тут не «анархизм» наш, нисколько... а — о-чень тонкое, саднящее чувство от одного воображения чего-то греховного, от сознания «непорядка». Это чувство «тревоги» живет и в нас, «просвещенных»... у многих — совсем по противоположным основаниям: «мешает беспорядку!» Я знавал тихих, прекрасных людей, очень образованных, у которых всегда со словом «полиция» связывалось тревожное ощущение «зацепки»: зацепит вот — и по-тянет! Честнейшие начинают тревожиться, если увидят, что квартальный вошел во двор. — Терпеть не мог я ходить в участок, получать «полицейские бумажки»... — «что-то... н о в о е!» У нас это «новое» началось приятным.

На другой день по приезде станового, пришла жданная депеша из Иркутска. Брыкин сообщал, что, после угрозы порвать переговоры, компания приняла условия, 30 тысяч серебром внесены в казначейство, депозитное свидетельство послано страховым, в коем все и изложено. Это Виктора Алексеевича окрылило, и он решил прокатить Дариньку в Москву, «на один—два денька, кой-чего закупить, будем принимать путейцев». Нимало его не огорчило, когда узналось после, что «молодчага Брыкин» сорвал с англичан полсотни тысяч: «что ж... — волчий кус!» Не вызвало досады и узнанное много после, газеты сообщали: «Ленские прииски» гремели, давали миллионы. Эти, запрошенные «по наитию», 30 тысяч, так во-время давшиеся в руки, были куда больше миллионов, — дали свободу Дариньке делать, как говорит ей сердце, ж и в и л и ее, многим утерли слезы, еще больше — обрадовали.

Депеша была приятна, но «тревожное», после станового, не пропало. Даже после «удачной прописки». Его тревожило раньше, с непривычки, Дариньке он не говорил, а нет-нет — и поджидал «полицию», хоть перед отъездом из Москвы все хорошо наладил. Побывал у знакомого полицеймейстера, который уже однажды помог ему в «этих обстоятельствах», объяснил, что переезжает в Мценск, а в уезде неопределенность семейного положения может многое испортить им обоим, и просил совета, нельзя ли как-нибудь... Отставной кавалерист расхохотался:

— Ангело-чек!.. Да легче пу-ха, голубушка!.. По таким ли делишкам «липовые» пускаем... ну, «тайны мадридского двора»... Для вашей же пользы, «господа парла-мен-та-рии»!

А чи-стых-то обвенчать... да с превеликим удовольствием... Россия не погибнет!..

И тут же, взяв бланк, начертал, что требуется... — «для свободного проживания во всех городах и поселениях Российской Империи...» — расписался «за правителя канцелярии», размашисто подмахнул и весело приложил печать.

— Крепко и нерушимо. Живите в любви-согласии и наполняйте землю. Повенчаны, — и никаких недоразумениев. Турку бить еду, удачно захватили.

В Москву потянуло — освежиться, развеять это, «что-то тревожное». Хотелось и получше ответить сослуживцам за радушие и задушевность, здесь нельзя ничего порядочного достать. Дариньке не хотелось ехать, но Виктор Алексеевич привел целую кучу доводов...

— Разве не чувствуешь, как ты на виду, особенно после т е х разговоров! В Москве сама все выберешь, надо табаку, гильз, матерьяла для корпии... на войну пошлем... Надо угостить миляг, освятить наше новоселье хлебосольством... Все на руках готовы тебя носить, поклоняются, как...

Правда, путейский обед «у Касьяныча на Зуше», можно было назвать Даринькиным триумфом. Обед был исключительно великолепный: «со всех широт и долгот» доставили путейцы, чем бы порадовать-удивить, — показали широкую натуру. Касьяныч из кожи лез — угодить. Трактиришка был уездный, — «без особенных зеркалов-с, а повар не хуже и царского, у графа Шереметева готовил, покойного государя Николай Павлыча ублаготворил... каков наш А-мценск-то!» И местоположение очень живописное: над самой Зушей, длинный, дачный, балкон на сваях, — «рыбку можно ловить, прямо в ушицу-с!» Широкий вид открывался — на Зазушье, на самый покос в разгаре. Съехались все, прибавилось еще двое—трое, с боковой колеи, — прознали про необычайное. Экстренным паровозом примчали много московского, до горячих растегаев от Тестова, до замороженного «Кремля» — от Абрикосова С-вья. Парная зернистая, — «только что выпростана», — экстренно прикатила с Дона, с фельдъегерем на парах. О винах и шампанском — пиши поэму! — загружали балласт нового пути.

Виктор Алексеевич помнил, — подавались «раки-исполины», с Кубани, что ли... Хорошо помнил: случилась одна история, всех, и его, особенно, — поразившая.

Только стали закусывать перед обедом, рюмочками вызванивать, один путейский, недавно испеченый инженерик, смущавшийся перед Даринькой, неожиданно вошел в раж. С та-

кими это случается, после «второй». Вдруг объявил... — вовсе не глупый был, а хотел как-то отличиться! — что самая настоящая закуска... какая? И этим привлек общее внимание.

40

22.VII—44
Париж <...>

внимание: в чем дело? Инженерик налил «по-третьей» и заявил, что по-настоящему закусывать, — надо... жи-вым раком! Залюбопытствовали, как это он закусит. Он тут же кинулся в кухню и принес, сам, на большом круглом блюде, огромного зелено-бурого рака — совсем омар! — мягкого еще, недавно отлинявшего. Надо бы, собственно, закусывать, для удобства, «июньским», но «я и с этим справлюсь», — заявил дерзатель. Все сбились в круг — созерцать. Виктор Алексеевич помнил, какими «горящими» глазами смотрела Даринька. Но, прежде чем начать, инженерик сказал, что рак очень польщен вниманием такого избранного общества, в восторге, что удостоен высокой чести и... «смотрите, сейчас начнет даже аплодировать!» Тут он вилкой перекувыркнул рака на спину, и, действительно, исполин «зааплодировал» по блюду шейкой, — и так удивительно похоже, что все зарукоплескали. И тут случилось — «самое лучшее из всего меню», — говорили после, да и тогда кто-то обронил. Услыхали прелестный, радостный женский возглас, — Виктор Алексеевич не разобрал, что это вскрикнула Даринька, — — «будто и не ее был голос, веселый такой, восторженный!..»----

— Стойте, стойте... вот это как надо делать!..

Виктор Алексеевич увидал Дариньку... услыхал... — и его «охватило ужасом»: подумал, что не в себе она. Даринька схватила со стола вилку... — царило мертвейшее молчание! — ловко перевернула все еще аплодировавшего рака спиной кверху, перехватила поперек пальчиками, и.... — рак полетел с балкона в Зушу, слышали даже, как шлепнулся. И тут же, — прелестный, «радостно-вдохновенный» голос:

— Правда, т а к, ведь, гораздо лучше... ж и в о м у раку?!..

Если бы грянул гром над Зушей, в чистом вечернем небе, не потрясло бы так, как э т о потрясло всех. Не только э т о. Надо было видеть Даринькино лицо, в с ю ее. Ни вызова, ни укора, ни усмешки, — ничего, что можно было бы представить себе в подобном случае.

— Она глядела наивно-детски, виновато... так смущенно, будто хотела сказать: — «глупая такая, сбаловала... уж прости-

те...» — вспоминал Виктор Алексеевич. А что тут было... этого и передать нельзя. Всех охватило... изумление. Бросились к ней, и... я не [преувеличиваю][i], нисколько... благоговейно взирали на нее. Ни возгласа, ни рукоплесканий, а — благоговейнейшее молчание, восторг, обожание, поклонение... Все почувствовали творческое, высоко-вдохновенное, что сейчас случилось, — во-истину, боговдохновенное художество! — в самом простейшем слове, в самом естественном движении. Изумление проявилось — онемением преклонением. «Караваша» первый оправился. Он жестом отстранил всех и тихо, особенно как-то выразительно, сказал, — голос его дрожал: «Дария Ивановна... разрешите мне, от всех нас... и от самого “шутника”... — поклониться вам». И, в общем молчании, он поклонился ей, низко, в пояс, по-русски, по-православному. Помню, как чудесная борода его коснулась пола, — так и запомнилась. И тут, Даринька, так же низко, по-православному, по-монастырски легко, как умеют инокини и белицы, хоть и была в очаровательном голубом своем, — поклонилась ему. Чудесное было в поклонах этих, умиряющее, говорящее, чего и не высказать словами. Того, мальчика-инженерика, увели... с ним «судорога лица» случилась, будто он плакал даже. Потом он явился, тенью. Когда сели обедать, Даринька подошла к нему и сказала: «не серчаете на меня... за мою выходку? правда, нет..?» Тот совершенно потерялся, взмолился к ней и тихо вымолвил: «я?!.. что вы... я запомню это на всю жизнь... какое узнал... счастье...» Все слышали. И умный «Караваша» объявил: «господа!... и так, будем обедать, дружно и радостно... будем чествовать..! чествовать всем нам дорогую... всем нам близкую... родную нам всем... ду-шу русскую!.. ура-а..!...»

И грянуло тут русское ура. Это — все разрешило. Все ожили. Все чувствовали, — так это было явно, — умягченность, задушевность. И потому так легко всем стало. «Райски радовались!» — сказал кто-то.

Были тосты, подходили к гостям, чокались. Много тогда выпили шампанского, «само пилось», — такое было очарование. Шампанское — да и все — не прошло даром для Дариньки: по дороге домой, в чудесной ночи, она расплакалась. А то была так оживлена, до одного, правда, «случая». Не одного: в самом конце обеда произошло «два явления».

Один из путейских, собиравшийся на оперную сцену, — он и ушел потом и восхищал Москву, особенно в «Лоэнгрине»[839]

---

[i] В оригинале: преувеличение.

и «Фаусте», — по настойчивым просьбам товарищей, — он редко пел, но тут сразу согласился, когда услыхал и робкую просьбу Дариньки, — «отважилась, под шампанским!» — «спойте, если можно...» — пропел «совершенно изумительно», под гитару, — «Во лузях... во зелены-их лузях...» пропел и еще, «Лучинушку»...[840] — «сердце вынул!..» — так все и говорили. Потом, перебрав что-то веселое на струнах, задумался... — и, вздохнув, дав струной долгий стон... - - -

«Ска-жи-и-и.... за-чем...?... --- тебя... я встре-тил...?
За... че-э-эм....? ------- тебя.... я... полюбил...?»[841]

Пел он совершенно бесподобно, пел он совсем по-другому, чем когда-то — т о г д а... — Любаша. Был он некрасивый, что-то калмыцкое. Но таким страданьем ж и л о его лицо, что Даринька не могла глаз отвести от его страданья, слезы все затуманили... И — только кончил, только очнулись все, — сочный и сильный голос сказал — отмерил:

— Бра-во, Шурик. Наро-ду у трактира... весь городишка, кажется.

Вошли на балкон двое: путеец, и с ним крепкий, высокий, б а р и н, лет сорока с небольшим, смуглый, «с властным взглядом», — говорил Виктор Алексеевич, — «с тяжелым взглядом, скользящим, как свысока, — сразу почувствовала Даринька, — и тон, тоже свысока». Не было фатовства, игры, а подлинное, ему присущее. Одет был свободно-просто, по-верховому: в синем сюртуке в талию, жилет-пике, серые брюки в клетку, низкие сапоги с желтыми отворотами, белейшие манжеты с «пуговицами» в черное серебро, темный галстух с жемчужиной, палевые перчатки, стек... Поклонился чуть свысока, одной головой, извинился — принял депешу в «Липовом», на охоте, с нарочным переслали... «но лучше поздно, чем...»

— Нет, Павел Кирилыч, на сей-то раз «не лучше»! — сказал «Караваша», встречая гостя. — Пропустили н е п о в т о р и м о е!

— Да..?.. — осмотрелся Кузюмов удивленно. — Но... что же... неповто-римое?

— К сожалению, это и... н е п е р е д а в а е м о е. Эй, свежий прибор!..

Кузюмов отказался, уж в дороге перекусил, и жарко. Кофе и коньяку можно. Ну, и мороженого, «знаменитого», ладно. Знакомили: «наши новоприбывшие... ваш сосед...» Подошел «с выправкой», поклонился Дариньке, — «почтительно», отмечал Виктор Алексеевич. В волнении, — «сразу, в с е!» — Даринька подала холодную свою ручку, чувствовала сама —

холодная. Кузюмов склонился, но не поцеловал, как делали путейцы. Скользнул поверху, «быстрым, но зорким взглядом, темно-карим... все будто увидавшим, — казалось ей, — по голубой повязке и по глазам», — помнилась удивленная улыбка. Она была в той же голубенькой сарпинке, с льдистыми искрами, как в церкви в Иванов день, в голубой с серебром повязке, синие бокальчики глоксиний в бутоньерке были вколоты в вырезе у лифа. Виктор Алексеевич вспоминал, как она была «чудесно-очаровательно бледна», — действовал так бокал шампанского.

41

25.VII.1944
Париж <...>

Кузюмова усадили с гостями, были внимательны, но сдержанны. Его хорошо знали на дороге: тульские и калужские леса его требовали больше тысячи вагонов, Караваев охотился в его угодьях. Говорили о войне. Кто-то спросил — «скоро едете?»

— Охочусь, пока... неопределенно-небрежно сказал Кузюмов, пожав плечом — с апрельского манифеста[842], жду ответа.

И обратился к Дариньке:

— Я уже видел вас, однажды... мы в одном поезде ехали, имел удовольствие видеть, как вас встречали.

Она не нашлась ответить, промолчала.

— Отлично-трогательно... — сказал он, опять неопределенно: трудно было понять, прямо ли сказал или подчеркнуто. — Я вот что хотел бы знать... ваше суждение...

И объяснился: не находит ли она, что надо устроить что-то: через «Мценск» проходят эшелоны; с лазаретом спешить, кажется, преждевременно, и в губернии пока пустуют... но сбор вещей, всякого вязанья, средств... встретить на вокзале, угостить... — «что вы скажете?..»

Она не нашлась ответить, замешалась, —

— Я так мало понимаю в этом... Что же надо?

Кузюмов, — заметил Виктор Алексеевич, — взглянул на нее, и, будто, изумился, откинулся на стуле. И опять трудно было понять, что его изумило: беспомощный ли ответ или другое что. Он сказал, опять неопределенно:

— В вас *этого* с избытком, *чего надо*. А это — *все, что надо*.

Даринька не поняла, — смутилась. — «Да, да!..» — поддержали Кузюмова, а кто-то, уже «под шампанкой», воскликнул:

— Всем известно... Дария Ивановна может горами двигать!..

Даринька взглянула на Виктора Алексеевича, ища поддержки. Кузюмов поймал ее взгляд, — видел Виктор Алексеевич, — и опять откинулся на стуле, насторожился как-то.

— Не примите за лесть... или, как это...? — за кощунство... Жизнь творит легенды. Что-то, близкое к чу-ду, и я слышал...

И Виктор Алексеевич тут не понял, взглянул на Кузюмова, — ?..

— Вы не знаете?.. Здесь случилось н е ч т о, близкое к чу...ду... — Кузюмов протянул слово, и можно было понять двояко: и удивление, и, чуть, усмешку. — Тут есть дурочка, называют — «юродная». Всегда в грязи, что-то выкликала, невнятицу. Вы, Дарья Ивановна, ее видали..? Мне сказывали, она попалась вам у моста, в самый день вашего приезда... и вы, совсем не зная ее, пожаловали ей чудесные цветы, белые лилии. Это произвело на всех сильное впечатление, докатилось и до «Кузюмовки». Она отнесла эти цветы в церковь... видели там и вас. Простите, что позволяю это сказать, в пояснение... — вы там молились. Здесь все теперь говорят, — вот она, легенда, — что вы «молились за нашу “юродную”, и она...»

Даринька поникла, смутилась вся...

— Я не знаю... я только дала цветочков... — сказала она, не подымая глаз, — такие пустяки...

— Не спорю. Но и через «пустяки»... как это..? Я слаб в этом, в бого-словском... — произнес на-двое Кузюмов, — где-то говорится, о великом... «чрез малое»...[843] как это..? И вот, дурочка перестала возиться с грязью и выкликать... с самого, будто бы, того дня. Вчера видели ее в церкви, впервые за эти два—три года в чистом платье, и «совсем в себе». И это, действительно, верно, я сам видел.

- Да?!.. — воскликнула Даринька, взглянув на Кузюмова полными глазами, сияя искренней радостью, — он даже откачнулся, — Пречистая просветила потемнение ее... — сказала она благоговейно, и перекрестилась.

— И вот-с... — продолжал Кузюмов, смотря на нее, как бы плененный ее восторгом, — отметил Виктор Алексеевич, — сегодня она... будто бы в пе-рвый раз... з а п л а к а л а. Сейчас, когда мы проходили сюда в толпе. Весь городишка, кажется, сбежался послушать нашего милого «Мазини»...[844] все показывали на нее пальцами — «глядите, глядите... плачет Настенька!..» Она, будто бы, н е м о г л а плакать, три года была «как закостенелая», — говорили мне все наперебой, сейчас... будто что-то мне доказать хотели. Она, говорят,

шла мимо, чистенько так одета, «совсем, как умная» услыхала песню и остановилась... и плакала. Потом пошла. На моих глазах было. Показалась очень приятной, при-вле-кательной. Помнится, показывали мне ее, еще до «случая» с ней, года два—три тому... — мещаночка-красавка... но сегодня, ни-какой мещаночки, а... просто, де-ва... чистая дева, как вот пишут чистых, — светильники, ли-лии... и в глазах никакой сумасшедчинки, чи-стый, глубокий взгляд... пре-ображе-ние! Извините, отклонился... Так вот, с вашего позволения, как-нибудь я заеду... иметь честь приветствовать ваше новоселье, и мы обсудим, что предпринять.

— Да... — сказала Даринька рассеянно.

— Очень просим, пожалуйста... — исправил неловкость Виктор Алексеевич.

Говорили о войне[845]. Что-то не совсем ладно, Осман-паша под Плевной[846] разбил, говорят, нашу дивизию, а в газетах ни звука. Не дают ходу Скобелеву[847].

— Точно, Осман-паша отбил атаку 5-ой пехотной дивизии Шульднера, на днях было. Вчера был у меня оттуда, проездом, капитан Волынского полка, грудь пробита... едет в Белев к семье, на поправку. Попал как раз под первые пули, когда форсировали Дунай, в ночь на 15 июня... — и сейчас еще у меня. И вот пример, как сообщают, в депешах даже. А-а, коньяку..? налейте. Действительно, недурён... — посмаковал Кузюмов. — Не позволите..? — обратился он к Дариньке. — Ну, не смею. Да-а, в чем дело... Может быть читали, недавно было... крупно так набрано, первое сообщение о потерях... «геройски пал, ротмистр лейб- гвардии Гусарского Его Величества полка, князь... Вагаев Димитрий...»? — отмерил он.

Виктор Алексеевич почувствовал вдруг, как Даринька стиснула его руку, взглянул на нее в испуге. Она сидела, сжав губы, мертвенно бледная, окаменевшая. Кто-то сказал — «помнится, читали...»

— Немножко... таво... Но это «немножко» как, воображаю, отозвалось в Питере, он так гремел. И что пережила моя тетушка, его мать, когда прочла о сем у себя в тамбовщине... всегда там летом, в своих поместьях. На самом же деле... Вагаев жив.

Виктор Алексеевич почувствовал, как рука Дариньки ослабла, и услышал глубокий вздох. Она сидела все так же неподвижно, но лицо чуть порозовело.

— Дайте... каплю... — сказала она, кому-то.

Кузюмов предупредительно-быстро налил, она пригубила.

— Вы, кажется, встречались..? — спросил он Виктора Алексеевича, — он называл фамилию... Вейденгаммер, если не ошибаюсь?..

— Вместе учились в пансионе... и потом встречались. Отличный малый, немножко...

— Сорви-голова. Не без талантов. С воображением, фа-нтазер, ро-мантик, с легеньким опозданием... нельзя было не любить его. Женщины находили — «красив безумно»... с одного взгляда покорял, су-шил. Правда, глаза красивы. Теперь — кривой.

42

26.VII.44 Париж <...>

— Кри...вой... — повторила беззвучно Даринька это ч у ж - д о е слово, какое-то... «без смысла», — говорила она после Виктору Алексеевичу.

— Пуля пробила глаз.

Даринька дернулась, от боли.

— Глаз вытек, — продолжал Кузюмов мерно. — Пуля засела в голове, в затылке. Пишет мне: «прибавил весу, на пульку». Как подлечат, сбирается в тамбовщину, проездом завернет ко мне, расскажет. Неуемный. Думает — о п я т ь, «весу добирать».

Замороженный «Кремль» был великолепен, — вкусом и мастерством: и Спасские ворота, и Царь-пушка, и Иван-Великий. Кондитерское диво, сливочное-фисташковое, — мороженое в марципане, с чуть-ромовым. Мчали на паровозе, в чану со льдом.

Синели сумерки, сияло зарей от Зуши. Касьяныч пустил лиминацию: цветные фонари, — шары, гармоньи. Шипели бенгальские огни. Просили «Мазини» еще спеть. «Раз такой “галя”», — сказал он, подмигнув за Зушу, где чернело на берегу народом, — пел много и охотно. Пропел из «Аскольдовой могилы» — «Уж как веет ветерок...»[848]

«По кусточкам он шуми-и-ит...
По листочкам шеле-сти-ит...
По-о-лужайкам... пере-па-а-рхи-ва-е-эт...»

И хоровое пели, под звезды выносил диковинный «Мазини» русский —

......«Ра-ааа... зовьем мы-ы... бе-э... ре... зу-у...
Ра-зо-вье-ом мы ку-удря-ву...
. . . .
.... Е-е-ще ра-зо-ок....
..... Э-эй... у-хнем...»

И не ожидали, как тонко спели, снижали, замерли... — в Зушу, как-будто, кануло. Слушала ночь, мерцала. Заслушалась. И вдруг, совсюду, с притаившихся берегов, взрывом, раскатами — ура-а-а...!.....

Тургенева кто-то помянул: «орловцы понимают песню и петь умеют!» Было к полуночи. Кузюмов уже уехал. Виктор Алексеевич пригласил всех — «к нам, в "Уютово", хлеба-соли откушать... в воскресенье». И Даринька просила — «очень... очень...»

Пара «кургузок» понесла душистыми полями, в дремотном перезвоне, укачивала в покойном экипаже. От бокала шампанского, ото в с е г о — плакала Даринька неслышно, в букет... — и откуда они достали! — редких цветов — гардений и магнолий.

XIV — СПОКОЙСТВИЕ

Виктор Алексеевич удивлялся, как Даринька приняла т о и з в е с т и е — о Диме. Он ожидал перемены в ней, «резкой перемены»; ожидал, что может «опять начаться», то, московское... эти недели, после Москвы, придумывал, как бы сообщить ей о смерти Вагаева, и боялся, что она примет остро, боялся, как бы не истолковала неправильно его «печальное известие», не подумала — и не высказала! — что он р а д этому. И потому все откладывал — сказать. Теперь само сказалось. И хорошо, что так, а то бы могла подумать, что нарочно он «выдумал о смерти». Он сознавался, что в нем — дико, безобразно это... — «вспыхнуло что-то вроде радости, когда прочитал в вагоне о смерти Вагаева: "теперь все кончилось"[»]. Странное было это чувство — н е ч и с т о е. И вот, услышав, что Дима жив, но «окривел», почувствовал странное с п о к о й с т в и е. В этом — признавался он — «нечистом» спокойствии было такое унизительное для него, для его совести, для его брезгливости, что было трудно смотреть Дариньке в глаза.

— Когда она, по дороге в «Уютово», плакала, меня мутило... — признавался он, — я насилу сдержал себя, чтобы не бросить ей оскорбительного... — и казнил в то же время себя... «подлецом». И, казня, наслаждался удивительным «спокойствием». Не понимал, что такое во мне творится: торжество ли, что теперь «больше ничего не будет», или — другое что-то... не низменное, а, наоборот, в ы с о к о е душевное движение, раньше мне не знакомое. И вот, какая странность: она почувствовала, как-будто, что во мне борется, мои недоумения, и, помню, когда ехали въездной аллеей, взяла мою руку

и сказала: «милый... я теперь так покойна... так в моей душе светло!.. я вижу, что все, все... — правда, Его Правда. Так было нужно, и мы оба... — она как бы подчеркнула это "оба", — должны принять это, как Его милость нам. Ты, может быть, подумал... — "она плачет... о нем?" Нет. Я от радости плачу, за него, и за нас обоих».

Она осветила меня этим, она уяснила мне и мое «спокойствие», и я, благодаря ей, поднялся в собственной оценке, получил ободрение. Не могу объяснить этот такт ее, откуда он в ней... ее чуткость, ее... знание моей души! Я взмолился к ней, глазами, которых она не могла видеть в ночи, в аллее, робко взял ее руку и поцеловал. И прошептал: «Дарочка, ты — святая». Она почти крикнула, грозно так: «не смей!...»

Но это было так, и не для меня одного. Все, что произошло в этот чреватый день, — одно за одним... — открывало мне, что она — именно, святая. Мне ли одному! Теперь, в ночи, — я эту ночь не мог спать, — все стало так ясно мне. А я все путался, стараясь понять, — почему в таком банальном случае, как это «избавление рака», случилось все так, как, казалось мне, никогда не могло случиться. Почему все, после «второй», все резвые, настроенные шуметь, играть, вдруг — притихли, сжались, как бы окаменели в изумлении? Бьюсь об заклад, все — и я в том числе — ждали, когда увидали, как она схватила вилку, что она эту вилку... во-нзит в рака! — и, если не вонзит, так сошвырнет его вилкой на пол, в реку... Я в ужас пришел, при мысли, что она «вне себя», видел безумно-восторженное ее лицо. Может быть и другие думали. А все произошло совсем по-другому, художественно-вдохновенно, неповторимо, — правильно сказал бородач «Караваша». Это и неопределимо. Возьмите сто дам в такой ситуации, и все сделают, как всегда делают: иные скажут, какая дикость — играть таким, другие — обернут игривой шуткой, швырнут рака, и все загогочут, зааплодируют... А тут... был дан урок... — и как целомудренно-властно дан! Вот это божественное художество человеческой души и потрясло всех. Открылось — и вознесло всех, до онемения. И после сего — дивная эта робость, смущение... сознание какой-то вины... — какой вины? А вот, какой: «мне стыдно, что я позволила показать вам, какие вы... какие все мы...» Стыдно было за... дивное движение сердца. И все это, если и не сознали, так вняли сему и — изумились. И потому — без восклицаний одобрения. И отсюда — эти два «просящих прощения» поклона. Тут головокружительная высота. В таком-то пустяшном и глупом случае. А случай

с юродивой, *уже* известный иным из сотрапезников, живших в «Мценске», еще больше способствовал эффекту. А мы-то и не знали. *Все* знали, и в усадьбе *уже* знали, и на «поповке» знали... и, не понимаю... «не смели», что ли, прямо сказать нам..? Открыл Кузюмов. Знали, что Настенька уже не бродит по городу, не мажется у реки. А ее «обмягчение» только что случилось, тут, *рядом* с пиром. И все это сотворило в нашей душе «спокойствие», закрепило Даринькину «гармонию» и уяснило мне — *мое*. Я оказался... простите, — несколько лучше, чем мне казалось.

В таком благостном состоянии, Виктор Алексеевич решил проехаться с Даринькой в Москву.

43

2.VIII.1944
Париж <...>

Даринька охотно согласилась, не ожидал он: боялась она Москвы, все говорила — «ни-куда из “Уютова”!» А тут, весело стала собираться, — «столько в Москве мне на-до!..» Надела серенькое, дорожное, сумочку на ремне, через плечо, — «совсем ты у меня стала англичанка! — пошутил Виктор Алексеевич, — и Москвы теперь не пугаешься». Она посмотрела весело, сказала: «вот и пригодились... деньги-то подарил *тогда*!» Вспомнила положенные на книжку, на ее имя, десять тысяч. Какие-то у ней планы были на эти деньги. Он не стал спрашивать, — ее дело. Просила выехать пораньше, за час до поезда, — «в городе дело у меня, — сказала она загадочно, — увидишь». Он был доволен, что она такая, радостная-спокойная. Совершенно другого ждал, после вчерашнего «оглушения», как называл известие о Диме, — а «оглушения» и не случилось, — «разберись в человеческой душе!»

Повез Андрей, на «кургузках», 8 пробила сковородка. Только выехали на городскую площадь, Даринька приказала — «в лавку Пониткова». Шепнула Виктору Алексеевичу: «скрягу сейчас увидим». Тот не понял, — «какого... скрягу?..» — Даринька ему о Пониткове не говорила. Андрей сказал: «уж и жо-ох, старик... собакой во двору лает, сам слыхал!»

Это был полутемный большой лабаз, заваленный кулями овса и соли, мешками муки, гороха, подсолнуха, ящиками всякой бакалеи. За выщербленным прилавком, между стеклянными банками с царьградскими стручками, пряниками и мармаладом, светлела седая борода веером, — Понитков пил желтоватую воду — чай, с огрызком сахару и черной корочкой.

Удивился таким гостям: подъехали на па-ре... да на ка-кой! Накрыл сахарок от мух, поднялся, — оказался низенький, на куль похожий, — и вопросительно оглядел: «чего изволите-с..?» Глаза у него были маленькие и вострые. — «Вы хозяин, купец Понитков?» — спросила Даринька. — «Самый я, Понитков... а чего изволите, сударынька..?» Даринька сказала, что давно у него берут, из «Уютова». — «Из “У-ю-това”...? что-то я не слыхал-с... “Ую-това”..?» — «Ах, все я... из “Ютова”!» — «Так, так... вы, сталоть, новые хозяева... слыхал-слыхал, оченно хорошо слыхал-с». Велел мальчишке — «присесть барышне, выбери там чего... почище выбери!» Мальчишка поставил большой ящик, грохнул его об пол, пыль взвилась. — «Не взыщите уж, барышня... была табуреточка, да разлезлась. Приказать не изволите ли чего?» — «А как же... запишите: мятных пряников, полпуда... это для наших певчих, церкви “Покрова”»... — «Это вот хорошо, сударынька... певчие там — арха-нгельский глас, прямо!» — «Да, да... это вы, пример показали нам, все там помнят, как пряничков им прислали, порадовали... вот и мне в голову пришло». Старик поглядел на Дариньку умильно. — «Будто и посылал... так, сказываете, помнят..?» — «Еще как помнят-то! Ласку-то, ведь, все помнят. Мне батюшкина дочка сказывала, плакала даже, как всех растрогали». — «Чего уж тут... — пошарил исподлобья старик по банкам, — не стоит и разговору вашего». Приказала еще фруктовой карамели, — «и этого вот, сухого мармаладцу... ну, хоть по пять фунтиков, тоже певчим». Кучер обратно поедет, заберет. Тут же и расплатилась, из сумочки. Старик проводил до экипажа, раскланялся уважительно, сказал: «Так вы, сталоть, ютовские новые... слыхал-слыхал... оченно хорошо слыхал-с... дай Господи!» — что-то особое разумея в этом «слыхал-слыхал».

Даринька приказала: «к Настеньке, лавочка у них...» Андрей не знал, но прохожие указали — «на Тульской, на уголку, посуда выставлена».

— На минутку только, справиться хочу... — сказала Даринька Виктору Алексеевичу, вопросительно на нее глядевшему, — на чудо посмотреть... давно почему-то у Матвевны не была.

Нашли посудную лавочку — «посуда всякая и игрушки». Еще совсем моложавый хозяин, приятный ликом, сказал тихим голосом, «кротко так», — показалось обоим им:

— Дочку мою повидать желаете?.. — и что-то грустное увидали они в глазах его, — «усталое и грустное»: — Теперь все спрашивают, навещают, любопытствуют... а она совестится, совестливая у меня такая... и сам-то в уме держу:

ох, тревожно для нее это! Господь внушил, на зорьке еще ушла с товарками в Оптину, по обещанию... — вздохнул он и перекрестился.

— И слава Богу, — сказала Даринька. — Теперь ничего, здорова она?..

— И говорить-то не смею... здорова, словно... — проговорил «тихий человек», — так его назвал про себя Виктор Алексеевич, — и перекрестился опять, с просветлевшим и, будто, насторожившимся лицом. — Три года вот, будет к Покрову... все страждала, не в себе была. А вот, чудо Господне, вдруг просветлело в ней, уж так успокоилась, ти-хая вовсе стала. А вы, сударыня, что же... знаете мою Настеньку?... сами-то вы откуда?

— Из «Уютова» мы... Нет, Настеньку я не знаю, раз только и видала... — сказала, смутившись, Даринька.

— Что-то не слыхал-с про «Уютово»... «Ютово», может?..

Услыхав, что из «Ютова», тихий человек озирнулся, будто и растерялся.

— Это вы, стало быть, у господ Ютовых поместьичко-то купили? Го-споди, как же она к вам все эти дни зарилась пойтить, говорила все — «папашенька, милый... хочу пойтить, да боюсь обеспокоить...» Уж как рвалась-то... «Схожу, говорит, в Оптину, помолюсь за них, а потом и к ним пойду». Хаживала она в «Ютово», к Аграфене Матвевне, к економке... к одной только к ней и хаживала, по недельке гащивала, не гнушалась Аграфена-то Матвевна... Настенька-то моя без разумения была... обижать не обижали ее, а... сами понимаете, сударыня... воздерживались. Обеспокоить вас побоялась, ти-хая она у меня... и всегда скромная была, а теперича... ну, до слез тихая-умильная. Господи, сударыня милая... вы ей легость-то подали, так и говорит, во сне вас видит! Три года плакать, ведь, не могла, как вот ожёстчилась... а теперь все-то плачет, с радости плачет, и лёгко ей... — Он закрутил головой и заплакал в руки.

Не выдержала Даринька — заплакала-заморгала. Растрогался и Виктор Алексеевич. И было ему приятно, когда Даринька, тряхнув головкой, просветлевшая, ласково сказала:

— Голубчик, ра-дуйтесь! Да, вот что... Посу-ды нам надо, Матвевна подаст записку, пришлем. А пока... скажите е й, непременно чтобы приходила... и Матвевна соскучилась, и я хочу познакомиться с вашей дочкой... Так и скажите, — ждем, поживет-отдохнет у нас.

Тихий человек вышел на улицу за ними. Когда Даринька садилась, он поглядел на нее, «благоговейно», и, перекрестясь,

поцеловал ей руку, которой она держалась за край коляски, — «приложился».

— Спасительница наша!.. — воскликнул он, весь в слезах.

— Что вы, что вы!... — в ужасе, прошептала Даринька, — как вы так говорите!.. Пречистая умилостивилась над ней и исцелила!... Я знаю, Настенька всегда горячо молилась... сама я видела...

Этот случай сильно подействовал на нее, всю дорогу до станции она молчала. Виктор Алексеевич старался успокоить ее, приводил доводы: чего же тут смущаться! отлично, что такие легенды еще творятся... — «ну, и пусть верят, что твоими молитвами... ты не возгордишься, а им в утешение».

На вокзале их встретили почетно. Знакомый путеец, заведующий подвижным составом, велел прицепить к ожидавшемуся курьерскому служебный вагон-салон. В Москву прибыли к вечеру, остановились в «Славянском базаре».

44

5.VIII.1944
Paris <...>

Утомление ли сказалось, или это от легкости душевной, — Даринька спала «сладко, как никогда». Проснулась в высокой, красивой комнате, «в золотых покоях», — они занимали три комнаты, «по-царски», — и увидала в ногах постели, на высокой тумбе, букет магнолий, редких и для Москвы цветов. И всюду, на столиках и этажерках, — розы, розы. Подумала смущенно: «милый... засыпает меня цветами». И увидала — вносит из другой комнаты, из-за бархатной занавески, красивую чашку на подносе, уже совсем одетый, в свежем кителе, Виктор Алексеевич, и услыхала ароматный запах шоколада. Это ее растрогало, она взяла его руку и прикрыла себе глаза.

— Какой ты... славный!

Он чувствовал под ладонью движенье ее ресниц. Это его сильно взволновало, и он подумал: «давно она не была т а к со мной». Подали превосходный завтрак: горячий филипповский калач, свежую икру, сладкий швейцарский сыр, и много другого вкусного, всякие булочки, сухарики. Он завтракал с нею у постели, настоял, чтобы не торопилась, отдохнула. Она корила себя, — забыла! — с вечера наказывала себе проснуться рано, поехать в Страстной, к обедне, а уж половина одиннадцатого! Это Москва сумбурная...

Москва освежила в нем первые дни их жизни. Все, что темнило их отношения, после т е х страшных дней, отошло,

будто ничего не было. Он старался быть чутким к ней, угадывать ее желания, и она это чувствовала и боялась чем-нибудь удручить его. Поездка в Страстной, к обедне, думалось ей, никак его не могла смутить. Москва и в ней вызывала «обновление», но ч е м-то ее смущала...

Виктору Алексеевичу надо было поехать в казначейство, получить 30 тысяч, привести в порядок денежные дела, заехать к адвокату, еще — к знатоку по «родословным», покупки разные... и еще одно, — порадовать Дариньку «сюрпризом». Он дождался, когда она оделась, и они вышли вместе. Он усадил ее в шикарную коляску и пожалел, что не может поехать вместе, она же его просила — «только не больше двух дней в Москве!..» — приходится очень торопиться.

— Ах, эта будоражная Москва... в «Уютове» сколько бы дел переделала за утро!..

Он в утешение сказал, — «ми-лая, мы же ку-тим!..» — и с удивлением увидал радостно-детский взгляд.

— Как т о г д а..? — сказала она игриво.

— Да, как т о г д а... пусть же так и останется! — влюбленно ответил он.

В это утро он показался ей особенно живым, влекущим. Свежий китель особенно выделял сегодня открытое загорелое лицо, синеву его глаз, горячих.

— Да как же это...! — воскликнул с досадой он, — у тебя нет светлого кружевного зонтика!.. — как раз увидел у проехавшей в экипаже дамы кремовый зонтик в кружевах. — Уж раз торопишься, милая... постарайся вернуться к половине второго, будем обедать в «Эрмитаже», потом... перероем весь «Кузнецкий»! Не отпускай коляску!.. — крикнул он, обернувшись, на лихаче, — эй!... привезешь барыню — подождешь, беру до вечера!..

«Ах, сумасшедший-глупый... — думала Даринька, глядя на окна магазинов, — ехали по Тверской, — этот московский омут... нет, не поеду больше».

«Омут» притягивал, но в с е э т о, что мелькало перед ее глазами, мелькало и манило, было теперь случайным, мимолетным, в ее воле: была верная пристань — «Уютово». Даринька держала его в сердце — «наше “Уютово”», и эта «уюточка», куда «привеял ее Господь», по вещему слову матушки Виринеи-прозорливой, давала душе покой. А эти г р е х и — грешки. Она борола свои сомнения, вспоминая с улыбкой шутку Виктора Алексеевича, — и в обители слыхала: «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Поймала себя на «помысле»: было приятно, как на нее смотре-

ли, как щеголь-офицер, — много их было тогда в Москве, — обгоняя на лихаче коляску, пристально оглянул ее, весело козырнул и крикнул: «ах, красотка!..» — был уже через меру весел. И укорила себя: катит в коляске, в а ж н о, откинулась в подушки. «Почему так люблю в с е э т о?..» Устыдилась, и не поправилась: нежило так приятно. Только на Страстной площади опомнилась.

Было близко к полудню, обедня давно кончилась, — ранняя, будний день. Под святыми воротами сидела незнакомая старушка: столик с крестиком позументным, тарелочка оловянная с копейками, — по-прежнему. Даринька попросила вызвать «привратную». Старушка позвонила в «сторожевой». Вышла незнакомая белица, — «новенькая, не помню». Даринька знала все порядки: попросила доложить матушке келарнице, хотела бы панихидку отслужить, проездом она в Москве. В таких случаях совершали требы и в неурочный час. Час этот еще не пробил, было без четверти 12. Белица известила: «можно-с, пройдите на кладбище, к часовне, собор-то уж замкнули». Все это знала Даринька. Она дождалась старенького иеромонаха. Старичок не узнал ее, была на лице вуалька. Не признала и послушница, рябая Степанида, «панихидная», шутница, запретные песенки любила, ей за то панихидное послушание назначили, и теперь то же послушание у ней. Даринька и у могилки вспомнила песенку про нее — «Степанида рыло мыла, мыло пальмово хвалила...» — ужаснулась-опомнилась — «какая стала!..» и закрестилась. Преклонила колени у могилки, взывая мысленно. Служила панихиду и на могилке матушки Виринеи-прозорливой, умягчилась, поплакала. Три рубля сунула старичку, не ожидавшему такого даяния щедрого, — поклонился он низко-низко. Дала рублик смешливой Степаниде, та чуть не ахнула. Посидела на матушкиной могилке, подумала... порадовалась, как хорошо ухаживают сестрицы: свежая, живая травка, цветы, цветы... — «какие же георгины... бархат!..» — не место печали и воздыхания, а сад божий. Прощаясь, припала к холмику, воззвала — «матушка... не оставь сероглазую свою!..» Слушала тихую могилку, и сердце ее услышало: н е о с т а в л ю.

Не было трудной боли, как бывало, — светлая была грусть, покой. Шла «келейной» дорожкой, по цветнику, любовалась пышными георгинами, — небесно-земные звезды, цветы д у х о в н ы е..! — остановилась, смотрела в очаровании, — «темные... как церковное вино...» Присела на скамейку у цветников, скрывши лицо вуалькой.

Был час покоя, послеполуденный. Тихо было в обители — тихий свет. Не проникал сюда гул московский. Гудели

шмели, — переломилось лето. На колокольне отбило — раз. Взглянула на золотые часики на груди: час первый, в половине. Признала во втором ярусе розового корпуса, «келейного», два окошка, где жила с матушкой. Не было клетки с чижиком. Вспоминала тихое житие... Вспоминала душный июльский день, такой же... к вечерням одна ходила, ставила самоварчик матушке... Вспомнила: «над нами... покои матушки Мелитины были...» Узнала радостно кремовые вязаные занавески, лоточки с бархатцами, настурции... Помнила — хорошо у матушки Мелитины было, розовым маслом пахло, кипарисом... дивные образа какие, святые книги... как ее матушка учила на фис-гармонии... И — услыхала... торжественные звуки, молитвенные, густые, важные... — «Бла-а-же-эн му-уж... иже не иде-э...»[849] Играла матушка Мелитина на фис-гармонии, в час покоя, как и тогда. Подумала — зайти к ней..? Стыдно было пойти, да еще такой, «англичанка будто». Да и... — «все сказал батюшка о. Варнава... всего, все равно, не скажешь, еще и ее смутишь». Слушала, затаившись, покоившее всегда, вечернее, — «алли-лу-и-и-и-а-а-а-а...»

45

5.VIII.44
Париж <...>

Услыхала шорох на дорожке, посмотрела: от больничного корпуса медленно подвигалась, постукивая клюшкой, старенькая монахиня, поравнялась с нею, приостановилась, поглядела — и поклонилась гостье. Даринька быстро встала и поклонилась монахине, иночески, легко-привычно. Монахиня поглядела, пожевала беззубым ртом и тихо, молитвенно сказала: «помилуй тебя Господь и Пречистая...» — и пошла, постукивая клюшкой. Даринька приняла это за благостное напутствие.

Тихо пошла к воротам, прислушивалась к певучим переливам, — «Блажени непорочные в путь ходящие в законех Госпо-о-дних...»[850] Приняла в сердце, как укрепление, — как ни бывало грусти. Вспомнила об «Уютове»: «там теперь жизнь моя, и сколько же надо там!» Много надо, а что надо, — не разумела еще. И радовалась, предчувствуя, что «сделает все, что надо». Остановилась на плитах главной дорожки, которая шла к собору. Не было ни души кругом. Она опустилась на колени и поклонилась земно, долго не поднимала головы. А когда поднялась, все еще слыша торжественные переливы над цветником, увидала давешнюю монахиню: она шла от святых ворот

навстречу, будто прогуливалась. «Что бы у ней спросить... ласковое сказать..? — подумала она, идя навстречу монахине, — цветочек на память попросить!..» И, забывшись, откинула вуальку. И с удивлением услыхала, будто ответ на мысли:

— Возьми, возьми цветочки, в память нашу.

Монахиня подала ей вязочку душистого горошка. Даринька изумленно отступила, — «только подумала, а...» Монахиня ласково сказала:

— Давеча еще, словно, тебя признала... белица была наша... Да-шенька?..

— Да, матушка... — едва промолвила оробевшая Даринька, — Дарья, грешная... простите меня, матушка... — и закрыла лицо ладонями.

— Что ты, что ты... смутилась... Господь с тобой. Грешная... а кто не грешный!.. — воздохнула монахиня, — все грешные. Хорошо, не забываешь обители, во смирении преклоняешься. Ах, милая... кто и в обители, да без обители... а ты и без обители — в о б и т е л и. Не помнишь меня, а я тебя упомнила... изюмчику-то приносила, в больничке я лежала... вспомнила, а?... матушку-то Аглаиду...

— Вспо-мнила!... вспо-мнила, матушка Аглаида... вспомнила!... — воскликнула Даринька в порыве и припала к плечу старушки, давясь слезами.

— Не плачь, деточка, а живи по Господню Слову... вот и путь твой... может, и не легкий путь твой, а ты не сбивайся, и поможет тебе Господь. Господь с тобой.

Монахиня поласкала ее по плечику, светло взглянула на нее, кивнула ласково и пошла, постукивая клюшкой. Смотрела ей Даринька во-след, хотела пойти за нею... растерялась. Видела — повернула монахиня за рухлядную. Чувствовала — не надо тревожить: «все мне сказала, в с е знает... и в с е простила». И вспомнила...

Упала матушка Аглаида в церкви, т о г д а, в Великую Середу, на утрени, на другой день, как вошла Даринька в обитель. Ждали в монастыре ее кончины: трудно болела сердцем, задыхалась. Носила ей в больничку от матушки изюмцу и винных ягодок, и матушка Аглаида, как и теперь ласково говорила — «деточка». Называли ее в обители молитвенницей и светлосердой. Помнила, Аглаида — «светоподобная».

На выходе подала рублик на тарелочку. И просветлело в ней: признала и «незнакомую» старушку: не «незнакомая» была старушка, и не хромоногая мать Иустина, «страшная», кричавшая на нее т о г д а, в страшный метельный день, — «не даст тебе радости Пречистая... матушку Агнию в гроб све-

ла!..» — а добрая матушка Иллария, которая отняла ее у одержимой и утешала в своей келье. Не признала ее старушка, и Даринька не открылась ей. Поклонилась низко, подала ей зеленую бумажку, три рублика, и сказала: «купите себе чайку-сахарку, матушка... помолитесь за грешную Дарью...» — и, растроганная, от слез ничего не различая, заторопилась к ждавшей ее коляске. Велела ехать в гостиницу. И, чуть отъехали, узнала проезд бульвара... «По бульвару...» — сказала она кучеру: вспомнила — повидать Марфу Никитишну хотела, просвирню. Но когда проезжали вдоль бульвара, узнала поворот в уличку, где жили, и почему-то остановила кучера: «стойте, сейчас вернусь...» — и почти побежала улочкой.

Все было так знакомо, — тихие домики, крылечки, сады, заборы... Увидала высокую рябину, слева, красные кисти ягод, угол террасы над забором, и сердце ее заколотилось... — остановилась передохнуть. Смотрела на домик, чувствуя грусть и... жалость, что-то неясное, что-то и светлое, и скорбное. Окна были открыты, пахло краской, рабочие ушли обедать, никого в доме не было, тишина. Она постояла на крылечке, вспомнилось многое... Потянуло войти. Не думая, зачем она это делает, позвонилась. Звякнуло в пустоте... тот, «страшный», колокольчик. Вспомнилось, поднялось тоской... «Зачем я это?..» — спросила она глухую дверь, и увидала, карандашом на ней, — Дари Дари Дари.... — Эти буквы, знакомые... — не отозвались болью, а так... светлая грусть была: все прошло. «Все прошло...» — подумала она вслух. Подошла к воротам, заглянула в чуть приоткрытую калитку, — ни души не было, у сарая лежала все та же куча бревен, заросшая крапивой. Не думая, обошла она дом, захотелось взглянуть на сад.... — так, тянуло. Прошла зарослями сирени, постояла с минуту на террасе... — «вот тут... упала...» Кустились георгины, распускались... — «мои сиротки!..» Прошла по травяным дорожкам, узнала широкую антоновку, устраивали тут каток с Анютой... И увидала клумбу. Присела на валкую скамейку, под рябину. Узнала свою сирень, торчки поломов. Маргаритки уже пожухли, смотрели грязно... «Господи... зачем я это..? — спросила она скорбно, чувствуя слезы на лице,... все же прошло... Го-споди, ну, за-чем я так..?!..» И быстро пошла из сада.

Совсем забыла, что думала повидать просвирню. Спешила улочкой, вспоминала сугробы-горы, видела угол дома, у бульвара, вспомнила голову... «Огарка». На том же месте, из-за угла, виднелись головы лошадей. Она вскочила в коляску, — «скорей, домой!..» В половине второго было.

Виктор Алексеевич вернулся и беспокоился. Денежные дела устроил, виделся с адвокатом и получил справки, — больше, чем ожидал. Получил и от знатока «родов российских» нужные данные. Узнанное его ошеломило. И раньше немного знал, кой о чем и догадывался, но то, что узнал теперь, было... — «непостижимо и... знаменательно!...» — в волнении говорил он себе, ошеломленный, ходя и ходя по комнатам, поминутно смотря на часы, за окна, не в силах сесть, успокоиться, обдумать. — «Да где же она... что с ней?..» — спрашивал он, в тревоге. Наконец, увидал коляску, высунулся в окно, шептал «светлая моя... чудесная!..» Бросился к ней, на лестницу.

— Дарочка... как я измучился!... — шептал ей, протягивая руки, — ужасы передумал...!

— Ах, запоздала чуточку... — говорила она взволнованно, входя в покои.

Он смотрел на нее восторженно, «как на святыню». Увидя, как он смотрит, она прильнула к нему и прошептала:

— Знаешь... я была т а м...

— Ах, милочка... я бы с тобой поехал, но вот, дела... все нужно, ты так спешишь, на один день только... не любишь Москвы... я и хотел поскорей... Нет, теперь буду всегда с тобой... за тобой, всегда!.. Ну, как... ничего с тобой, т а м..? спокойно..?...

— Где... т а м?.. — не поняла она.

— В Страстном... так за тебя тревожился... избегала ты...

— Да нет... там чудесно, покойно было... так светло, ласково... получила цветочки... — протянула она ему горошек, — правда, как то-нко пахнут... особенно! получила такое укрепление... после скажу... Нет, т а м была!.. у нас, т а м!..

46

8.VIII.1944
Paris <...>

...Нет, т а м я была... т а м, у нас!..

— Где — т а м..? — спросил он нерешительно, не понимая, — и понял. — Т а м, в улочке?!.. Ну, что же, почему ты так... что тебя там встревожило?

— Не понимаю, как вышло... я совсем не думала... в с е п р о ш л о! — говорила она с укором, — за-чем я это!.. Там столько было... тяжелого, ужасного...

— Неужели т а м было то-лько тяжелое?.. — сказал он с горечью.

— Ах, нет... конечно... но... Оставим это, я теперь совсем спокойна... я хочу быть спокойной. А т а м... так все поднялось... не помню, как убежала. Больше я ни-когда туда! Теперь я с тобой, т а к н а д о. Н о в о е теперь все... Ты знаешь, матушка Аглаида мне что сказала... дала цветочков... молитвенница она, светлосердая! Она сказала: «ты и без обители — в обители!» Ты понимаешь?.. Значит, наша жизнь с тобой — чи-стая! И еще сказала: «трудный тебе путь, а ты не сбивайся». Понимаешь... с то-бой путь это... всегда, до конца!...

Она положила ему на плечи руки, смотрела в его лицо.

— Дарья!.. — воскликнул он, необычно называя ее, и привлек к себе. — Дарья... — говорил он страстно, нежно, — с тобой, всегда, до конца!...

— Да, да... — шептала она, как в забытьи.

— Д а р ты мне... Да-рья!... Ах, какая ты, вся... чистая, святая... и э т о — м н е!.. Не знаешь ты себя, как же ты вы-росла!.. Ты опять вся — другая... и прежняя, зи-мняя, горячая.... — шептал он, повторяя, лелея родившееся в страсти новое имя — Дарья. — Да-рья...! душу твою хочу перелить в себя... всю тебя влить в себя...! вкрутить, закрутить!.. — не сознавал, что и говорит, весь взятый, охваченный безумной страстью, — хочу... всю тебя, в с ю!..

— Да... да... — шептала она, вся унесенная его порывом, его страстью, ловя губами воздух, задыхаясь...

Это был «взрыв» — всех чувств... — высоких и... всех чувств. Виктор Алексеевич писал в дневнике, чтО он испытал в тот день. Об этом «взрыве» отметил: «это передалось и ей». Это было пределом счастья. Чувства, «взорвавшиеся тогда», называл он «высокими»: ничего низменного не видел в этом: «это был союз любящих, высший, какой мог бы вообразить». Он понял, что его Дарья д а н а ему, «вручена». Еще до «взрыва» понял, когда у з н а л в с е. Все позабыв, упал он к ее ногам, забыл все слова, только одно шептал — «святая». Упал, обнимал колени, и слушал шепот открывшихся губ ее:

— Да, да... твоя... всегда... возьми меня, всю меня...

В этот миг постучали в дверь: депеша. Даринька опомнилась, перебежала к двери... Сообщал какой-то Циммерман: «сдано первым пассажирским завтра Мценске».

— Что такое?!... — спросила она, — это тебе, да?..

— Ах, чудак!.. — Виктор Алексеевич рассмеялся, — ах, эта пунктуальность!.. Но... браво, Юлий Генрих Циммерман!...

Она ничего не понимала.

— Кто это... Циммерман?...

Он просил сделать для него, потерпеть, приедут домой — узнает: «можешь?» Ей очень хотелось знать, что такое, но она сказала: «хорошо, могу». Было уже два, в «Эрмитаже» заказано: по случаю войны и съезда из Петербурга, — ожидали проездом из Крыма Государя, — все было переполнено, — надо приехать вовремя.

Виктор Алексеевич просил «чуть приодеться», для такого дня, не в дорожном же, сереньком... это неудобно. Но в чем же?!.. Он все предусмотрел, и, кажется, недурно вышло: зашел купить приличный зонтик, кстати и шляпку к зонтику, — «и как-то на глаза попалось... это вот...» — показал он на длинную коробку, — «мерку твою знаю, может быть понравится... взял, с условием, можешь обменить». Тут же напомнил, что в воскресенье дружеский обед... конечно, всем приятно будет...

— Хочешь закружить, как тогда..? — и убежала в будуар с коробкой.

— Хочу!... — радостный, крикнул он. И услыхал ее вскрик, восторженный: «безу-мец!..»

Было чудесно выбрано, «нельзя лучше!» Сливочное, легкое совсем, как воздух, «и без этого ужасного хвоста!» В чуть блеклых, травянистых буфах, — «из крема словно... сливочно-фисташковое...» Такая же и шляпка, с выгнутыми широкими полями, особенной соломки... — «Ну, что же это... вот безумец!... — слушал он милый лепет. — И чудные митенки... и зонтик... ах, безумец!...» Немножко запоздали, но... какая прелесть!.. Виктор Алексеевич не ожидал, когда она выпорхнула из будуара, — «какое легкое!..» — а, в сущности, совсем гроши!..

— Кто ты, прекрасная?!.. — спросил он, отступая перед ней, играя. Был ослеплен. Сходя по бархатным коврам, любуясь ею, «скандировал» под легкое ее порханье:

«Но царе-вна всех миле-е...[851]
Всех...» — строй-не-е... как ли-ле-я!...

Она обернулась и осияла взглядом, обожгла.

Катили к «Эрмитажу», молодые. День был необычайно жаркий, удушливый, дворники поливали мостовую, тротуары, — парило, мерцало дымкой.

— Сейчас холодненького, и освежишься. Нельзя, сегодня день... исто - - - ри - - - ческий! Потерпи, — узнаешь.

— Опять... сюрприз?...

— В с е — с ю р п р и з! — крикнул он так, что кучер покрутил затылком.

Решительно, кружило. У «Эрмитажа» — «сбор всех частей»: подкатывали кабриолеты, ландо, коляски; сверкали сабли, квартальные трясли перчатками; играли страусовы перья, червонили ливреи, мальчишки голосили: — «Гурко разбил тур-ку!»[852] «Новая победа!..» Вывесили депешу: «Генерал Гурко разбил под Ени-Загру дивизию Реуфа-паши, взял 12 пушек».

Неторопливо, «важно», восходя по мягкой, широкой лестнице, Даринька видела в зеркалах — «кремовое-фисташковое». Входили в белый, «колонный», зал, в сладком воздухе пряностей, — вин, соусов, духов, легкой и тонкой сытости. Пахло шампанским, дыней, сигарами. Обед был уже в развале, дымилось кофе, играли глаза, провожая «воздушное созданье», — уловил Виктор Алексеевич хрипучий шепоток нафабренного генерала в пышных сверх меры эполетах. Зал был совершенно полон, — где же найти тут место! Но место было заказано, «придворное», у самого балкона, — на площадь, на бульвары, — столик: устроил знакомый метр'д'отель, полсотней: «день исто-ри-ческий!» Шампанское было заморожено, в хрустале желтели «толстые гнутые стручки», пробившиеся в Москву бананы. Струнный оркестр, где-то вверху, укачивал томным вальсом — «Дунайские волны...»[853] — совсем сезонным.

Оставленное место было завидное, «на виду». В огромное окно, в шелковых занавесях, веяло с балкона холодочком: там, в серебряных ведерках, стоявших «про запас» рядами, морозилось во льду шампанское, райн-вайн, густились лавры, радовали цветы с балясин. Подавали самое тонкое, выбранное метр-д-отелем, сугубо поощренным: паровую лосось, с соусом «пом'д'амур», входившим в моду, бульон-а-л'асперж, с крокетками, юные цыплята с трюфелями, отбивные котлеты, «скобелевские», в райн-вайне, — в гарнире молочного горошка... персики в мадере, «царский пломбир», фруктовый, пролитый тонким ромом... к мороженому — ташкентская дыня, ароматнейшая из всех. Сам метр'д'отель, важный, осанистый, в министерских баках, пробритый изумительно, в великолепном фраке, наливал вино. В «Дунайских волнах» кружило, — блеском эполет, мундиров, звоном шпор, ложечек, дзеньканьем рюмок, тонкой игрой бокалов. Даринька забылась, закружилась, — будто в т е дни, «безумия». Шампанское, с игрой, в «иголках», совсем не охмеляло, — освежало.

— Нет, до дна!... Сама же говорила, — «больше уж ни-когда в Москву!..» — ну, так — до дна!..

— Хочешь напоить меня... я пла-кать буду... какой ты странный!.. ты уж опьянел...

— От тебя. Ото в с е г о, чего еще не знаешь... Чего?.. Ну, потерпи!...

— Сю-рприз..?

— Еще ка-кой!... Знаешь, царевна... ска-зочная ты...

— Что с тобой..? Так... еще ни-когда не был... — шептала через бокалы Даринька, — у меня закружится...

— Закружись!.. будешь еще чудесней!.. Т а к... я впервые влюблен с тебя!.. — шептал он, всматриваясь в нее, через «иголки». — «Никогда таким не был?..» — Правда. Ни-когда и не было... т а к о г о. Ни-когда!.. Это могло быть... то-лько с тобой, и то-лько д л я т е б я! Т е п е р ь я начинаю в и д е т ь... Крещение твое принимаю нынче... Понимаешь, к р е щ е н и е, от тебя, — через тебя!

— Ви-ктор..! — вырвалось у ней невольно, — мне страшно, за тебя... я совершенно серьезно говорю... что ты так странно улыбаешься?.. Прошу тебя, сейчас же уйдем... таким никогда ты не был... Господи, у меня кружится... что ты со мной, безумец... де...аешь...?

— Как ты дивно грассируешь... «де...аешь...»! Впервые слышу! Это твой, забытый, голос...

— Послушай, у меня кружится...

— О, закружись, царевна..! сказка..! Ну, последний. За тебя, за нас... за п у т ь наш!... Хотел бы повидать твою А-ги-ду!...

— Что ты! что ты говоришь?!. — шептала она, в ужасе; но ее лицо этого не выражало, она за собой следила, — видела, как смотрят на нее. — А...ги-ду? Я не понимаю..?

— Ту, «матушку»... ты говорила..?

— Ах, матушку Аглаиду..! — и подняла бокал. — Ну... чок!... — сказала она, тряхнув головкой; и опалила взглядом, и г р а я.

Это был новый «взрыв», неповторимый. Это была «вершина», — так и осталось, — земного счастья.

Виктор Алексеевич был только весел, «слегка весел». Даринька сияла бледностью. Когда проходили залой, — не кружилось: ни лица, ни колонны. Шампанское отступило перед ч е м-то, над чем не было и у него власти. Даринька нервно ожидала, что вот... «что-то сейчас случится». Это «что-то» одолело впервые выпитые ею два бокала.

Она сбежала по топкой лестнице, спешила навстречу р а д о с т и: так играло сердце, так шептало. У подъезда попалась монашка-сборщица со своей «книжкой». Здесь было место бойкое, монашка эта,

8.VIII.1944
Paris <...>

должно быть, была счастливая: никто не гнал ее от полосатого подъезда; съезд давно кончился, квартальные пили-заправлялись в ресторане, в «метр'д'отельской». Она уныло причитала: «святой обители “Покрова Пресвятыя Богородицы”... Владимирской губернии... в Покрове-Граде...» Даринька спохватилась, но сумочки не оказалось. — «Дай ей рублик... — сказала она Виктору Алексеевичу, — ты столько выбросил, а тут...» Он дал не рублик, — что под руку попалось, пятерку, кажется. Монашка поклонилась им до земли, — такой [щедрости][i] «святые ревнители... спаси вас Пресвятая...» Эта встреча напомнила Дариньке, о чем она забыла: накупить всего, и отослать матушке Аглаиде-светлосердой. Она хотела сейчас же ехать на Тверскую, к Андрееву, целый кулек набрать, но Виктор Алексеевич удержал: «это завтра, а сейчас...»

— Красные ворота! — крикнул он кучеру. — Куда..? А вот, сейчас узнаешь!..

— Опять... сюрприз?..

— Ты сюрприз, бесценный! — воскликнул он, — и все, гляди... — сюрприз!

Москва кружила, все кружило. «А там... так тихо, так покойно...» — вспомнилось вдруг «Уютово», вызванное этой встречей у «Эрмитажа». Увидела овсяное поле, блистающую церковь «Покрова», «Уютово»... родное, — так и подумала.

У Красных ворот остановились на углу, направо: пройтись немного. Улица была широкая, спокойная, совсем пустынная: особняки, сады, колонны, александровского века, — фронтоны, барельефы, «орлы» и шлемы, с мечами на-крест, — «под лимон», чуть впробель, — в глубине, за круглой луговиной, с широким въездом. Виктор Алексеевич был возбужден, блестел глазами, указывал:

— Помнишь, у Пушкина, — «Балконы, львы на воротах...» — нет только «галок на крестах»![854]

Он был в ударе. Они остановились перед черной, резной решеткой, вделанной в устои-башни, литой, из винограда с грушами.

— Чудесная решетка! В морозы, когда иней... все это побелеет, виноград и груши совсем живые, сизые... Помню,

---

[i] В оригинале слово зачеркнуто.

такой же барский особняк, в Замоскворечьи, графа Сологуба...[i] [855] красота-а..! Перейдем, оттуда лучше...

Они перешли через дорогу. Даринька не понимала: «что с ним? с шампанского...»

— Нравится, царевна?.. — указал он на белый, с фронтоном на семи колоннах, дом-дворец, за круглой луговиной с елями.

— Да... старинный... Такие я видала... — сказала Даринька. — Помню, водила меня куда-то тетя... Совсем такой же... она говорила — «графский». Ты что... думаешь купить?.. У нас же есть, «Уютово»... — сказала она тревожно.

Виктор Алексеевич улыбнулся.

— Если бы и хотел, — не продадут. Это — кре-пкий дом. Слушай, будь спокойна: з д е с ь ты родилась.

48

9.VIII.44 Paris

— З д е с ь... я..?!.. — сказала она, недоумело, растерянно...

— З д е с ь. Это совершенно точно. На этой луговине, под елями... может быть, играла. Видишь, в глубине, решетка, такая же... там парк, большой, сирени... говорят, пруд там, купальни были. Может быть, тебя купали там... Хотел бы все показать тебе, что т а м, но дом пустой, хозяева в поместье, все заперто, даже и старик-дворник ушел на богомолье. Может быть, в другой раз увидим...

— З д е с ь... я родилась..? — шептала Даринька, вглядываясь в темневшие в колоннах окна.

Странным представлялось, что она родилась з д е с ь, где-то, за окнами в колоннах... Э т о не отзывалось в ней. Тетя говорила, правда, — «ты родилась в богатом доме...» Много домов богатых...

— Ты спокойна. Это хорошо.

— Ничего не помню... — говорила она растерянно, — ты еще что-нибудь знаешь?.. — заглянула она ему в лицо.

— Теперь я знаю в с е. Как ты можешь [помнить]...[ii] отсюда унесли тебя совсем малюткой, два с половиной года тебе было, только...

— Это ч е й же дом?..

— Твоего отца... был. — Он не назвал ей имени. — Теперь пройдем, недалеко отсюда... в богадельню.

---

[i] Так в оригинале.

[ii] В оригинале описка: помнишь.

— В богадельню?!.. почему..? зачем нам в богадельню? — сказала она, в тревоге.

— Сейчас узнаешь. Я боюсь, тебя взволнует радостно... не говорю все сразу. Ну вот, плачешь... Все же хорошо, нежданно-радостно... и так чудесно!..

Она смотрела за решетку и плакала.

— Это ничего... видишь, я спокойна, я же знаю все... все тебе сказала про себя, что знаю... ничего не утаила... что «незаконная». Всегда за него молилась... молюсь... — шептала она, глотая слезы, — только бы он был... хороший...

— Слушай, я знаю: твой отец был хороший!

— Да?!... — воскликнула она, — хороший?!..

— Благородный, честный, великодушный! Знаю точно. И если бы не трагическая случайность, твоя мать была бы его женой, и ты была бы узаконена. Это точно. Услышишь, сама. Пойдем...

— Дай поглядеть... немножко... — сказала она, в слезах, смотря в мерцавшие от слез колонны.

Они вернулись к экипажу. Виктор Алексеевич приказал: «в Елохово!»

Коляска покатила той же улицей. Снова, дом в колоннах, уже не чужой, не «странный». Виктор Алексеевич велел остановиться у высокой церкви. Они сошли.

— Это — «Богоявления в Елохове». Здесь тебя крестили, записали в метрики: Дарья Королева, рождена 7 марта 1858 года, крещена 15 того ж месяца. Восприемниками были: вольноотпущенный господ .... Иван Афиногенович Королев, 69 лет... Этот Королев был у твоего отца и деда егерем, любимцем... верный человек. Крестной матерью записана...

— Я знаю, тетя... вдова диакона... маменька выписала ее в Москву, из Суздаля... Мы с ней ходили потом в Суздаль, на богомолье... мне было 12 лет, когда она умерла...

Благовестили к вечерне. Они вошли. Церковь была обширная, — видимо, приход богатый. У стен, к окнам, — крытые сукном помостики, для уважаемых прихожан. Великолепный, в семь ярусов, иконостас, в золотых гроздьях. Иконы — в самоцветах. Богатые паникадила.

Даринька взяла свечек, пошла ко храмовому образу, под богатой сенью, и пала на колени, — «в трепете и свете». Это был образ "Богоявления", нового письма, «пресветлый».

В «записке к ближним» писала о сем:

«В конце июля 1877 года были с В. А. в Москве. Были в храме "Богоявления в Елохове", где меня крестили, неподалеку от дома, где я родилась. Не знаменательно ли, что моя

церковь во-имя Богоявления Господня! Много почувствовала я, молясь перед иконой. Господи!.. В канун Богоявления Господня послано было мне вразумление! В наваждении соблазна, пролила я, грешная, воду крещенскую! Тогда близко была погибели, но знамением ограждена была. Неизреченно Милосердие Божие ко мне, грешной! В ночи на Праздник Богоявления дано мне было знамение сна крестного. И в утро Праздника, отпущенная, воспела я светлым сердцем святую песнь Дня того: "Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?"[856] Вспомнила я тогда в родимом храме и свет, и трепет. И воспарила духом».

На выходе, Даринька оглянула притвор и увидала в заломчике, что искала: купель крестильную, покрытую рядном с парчевым крестиком. Она тут же пошла за богаделкой. Старушка покрыла купель, оловянную, помятую, и сказала, что купель старинная, — «к ста годам, наша просвирня говорит». Спросила Дариньку:

— И вас, милая барышня, тут крестили?.. В этой самой, другой и нет... в самой этой и кунали. А теперь ишь, какии... красавицы!.. Теперь-то не здесь живете?..

— Нет, далеко, за Тулой... — сказала Даринька, склонилась перед купелью и приложилась к ее бочку.

Дали старушке рублик. Она все кланялась им на паперти, пока не отъехала коляска. Поехали в «княжью богадельню», — кн. Куракиных, — совсем у Красных ворот, рядом с церковью Трех святителей, на той же улице, и опять проезжали мимо родного теперь дома. Виктор Алексеевич просил Дариньку «быть молодцом», сейчас увидит почтенного старика, который на руках ее нашивал, он теперь на покое, ему 87 лет, — «но еще довольно крепкий, только порой сбивается».

— Минут на пять, чтобы сама ты слышала. Все подробности из него адвокат-ловкач вытянул... «марсалой»! — Дам тебе прочитать.

— Какой... «марса...лой»?..

— Сладкое вино такое, старик — охотник до тонких вин. Ловкач все разведал, подарил ему бутылку, вместе и смаковали. Это и прояснило память, прямо, соловьем пел! Ловкач все с его слов записал, на десяти страницах. Утомлять не будем. Кто такой?.. Важная особа: был дворецким у твоего отца, самым приближенным человеком. Ему назначена пенсия, живет на покое здесь.

Они подъехали к солидному зданию, старинному. Даринька сильно волновалась, — до слез, — вуальку опустила. Их провели в «почетное отделение». Вел сам эконом, по длинным

коридорам с пеньковыми дорожками на зеркальном полу из камушков. Мелькали двери, под №№. Постучали в 20 №, эконом сам отворил, сказал: «гости к вам, Макарий Силуаныч».

Они вошли в светлую комнату, на солнце. У большого окна сидел в креслах крупный старик, «старинный барин», в зеленоватом халате, в воротничках, в галстуке, пробритый, в чудесных бакенбардах, до плеч, в серебряных очках, и читал «Московские ведомости».

— Милости прошу... — проговорил он неторопливо, важно, смотря из-за газеты к двери. — Кого имею удовольствие принимать...? — произнес он чуть вычурно, с достоинством. — Уж извините старика... не встаю... постигнут... хе-хе... благородной... па-дагрой. Расплата, в некоем роде, за... виноградное прошлое... хотя всегда наблюдал умеренность.

49

9.VIII.1944
Paris <...>

Пожали его огромную руку — «лапищу».

— Пра...ашу садиться. Какому приятному а-казиону... обязан посещением вашим... молодые люди?.. — вопросил «львище» — назвал про себя Виктор Алексеевич. — Прелестная барышня... — галантно сказал старик, вынося бакенбарды на плечи, — благоволите развлечь себя сиими приятными фрухтами... прошу вас, полакомьтесь... — указал он на фарфоровую вазу, в которой лежали персики. Даринька только покивала, вся — в н е м.

Виктор Алексеевич сейчас же пояснил: его поверенный получил от почтеннейшего Макария Силуановича полные сведения, и вот они явились «представиться и поблагодарить».

— Так, так... по-веренный?.. — вопросил старик, силясь вспомнить.

— Тот... вы с ним изволили пробовать «марсалу»... — нашелся Виктор Алексеевич, повел «наводкой».

— Мар...са-лу!... Хе-хе... да, да, да... ве-селый господин!.. ах, говорун!.. Это такая ре-дкость... где достал?!.. Да, да, да, да... как же, по пол-рю-мочке... после... а-са-жэ... Да-да, да, да... — указал он пальцем на комодик, — есть немножко... берегу... асажэ... Но сегодня душно... атмо-сфе-ра...

— И вот... представиться и поблагодарить вас...

— Очень тронут вашим вниманием, молодой человек... господин... полковник..?

— Инженер механик...

— А-а... Меха-ника... вы-сокая наука!.. очень полезно, для отечества.

— А это моя жена... та самая «Дайнька»... вы ее когда-то на руках держали, Макарий Силуаныч... помните?..

Виктор Алексеевич волновался, смотрел на Дариньку. Она, откинув вуалетку, смотрела на важного старика молитвенно-благоговейно, как маленькая девочка могла бы смотреть на митрополита, — так говорил Виктор Алексеевич.

— Как-с вы изволили... держал на руках... — старик старался вспомнить и перевел взгляд на Дариньку: она взирала, притихшая, чего-то ожидая...

— ...«Дайньку»... ребенка... — наводил Виктор Алексеевич, — ее вот... это та девочка... дочка покойной Олимпиады Алексеевны, которая жила за экономку у покойного вашего барина Федора Константиновича... вы помните?..

Макарий Силуаныч расправил бакенбарды и постарался выпрямиться в креслах.

— Их сиятельства, кня-зя Фе-о-дора Константиновича .... — поправил он внушительно и гордо. — Их сиятельство князь Феодор Константинович... запрещал...! — погрозил он пальцем, — именовать его... ба-роном!.. Он высо-кого рода!.. Прадеды их сиятельства, князь-Феодора Константиновича... были у Ивана Васильевича Грозного, у его престола, у правой руки!.. А... Но не дерзаю, грешный, имя Святителя поминать в приватном разговоре. Вот, от какого рода их сиятельство, князь Феодор Константинович ......! Они были наиблагороднейшие... они были... их сиятельство... наивысоконравственные!.. чистота голубиная.... и сердце... се-рдце... князиньки моего... — он взял с окошка табакерку в перламутре, с эмалевой Екатериной, достал щепоть, — стряхнул и крепко зарядился. — Нету такого больше... и не будет! Не бу...дет... — свел он в шепот.

Даринька впивалась в его слова, взирала подобострастно как-то. Насторожилась, затаилась. Нижняя ее губка полуоткрылась, чуть сникла в радостно-детском умиленьи... — как недавно в «Уютове», перед т е м портретом. Старец перевел на нее свой взгляд, смотрел — не понимая... в и д я, как-будто, что-то... чуть наклонился в креслах, перевел глаза на стену, где висели в рамочках фотографические карточки... показывал на ч т о-то.

— Так вот, это — т а девочка, «Дайнька»... — повторил Виктор Алексеевич.

— Ее сиятельство... княжна... Ольга Константиновна!... — проговорил старик, осматриваясь, в удивлении, как-будто. —

Но как же это... оне уже... — он потер лоб. — Нонче... атмосфера. Гроза бу...дет... — передохнул он и разинул рот.

— Да, да... — согласился Виктор Алексеевич, — это вот «Дайнька»... маленькая девочка, дочка Липочки... помните, говорили вы моему поверенному... все в княжеском доме любили Олимпиаду Алексеевну... ее его сиятельство, князь Феодор Константинович ...... выписал из суздальского поместья... и называл... вы говорили... Липочка! Так это до-чка ее... выросла теперь большая.

— Так, так, так, так.... — он, как-будто, понял, что-то вспомнил, — эта благородная барышня... девица..? Го-споди!... — он хотел подняться, протянул руку к Дариньке, — и не мог подняться, откинулся. — Ее сиятельство... княжна... Ольга Константиновна... жи-вая!..

Смотрел на Дариньку, и кивал, кивал...

— Да, да... да... Их сиятельство князь Феодор Константинович... был наиблагороднейший... наидостойнеший!.. При мне изволили сказать... братцу, молодшему князиньке... Ростиславу Константинычу... изволили сказать, и все это слышали. Я стоял по правую руку, кушали они... «Ува-жай!» — грозно воскричали и разбили бокальчик... Вижу вот, как вчера... и объявили свою волю: «я сочетаюсь законным браком с благородной и кроткой, моей... Ли-почкой!.. и девочка наша... Дайнька... по Высочайшему рес-кри- пту!.. — поднял он палец к потолку, — будет именоваться, законно!.. и ты будешь уважать!... дочь моя!.. ее сиятельство... Дария Феодоровна, княжна!..» В промер с графиней Шереметьевой... Только... граф Шереметьев оженился на своей крепостной крестьянке, излил на нее от своего высокого и славного рода высокую честь... а наша Липочка была духовного рода... внука протопопа! Пращур его сиятельства .... был государевым наместником в Суздальском княжестве... и протопоп! то-же... с тех местов... А у протопопа была...

Старик разохотился вспоминать родословье, и Виктор Алексеевич навел его мысль на Дариньку:

— Это вот и есть та самая, от праправнучки того протопопа... «Дайнька», вспомните-ка!..

— Так, так, так, так... да-да-да-да.... «Дай-нька»!... Ну, ка-ак же!... — просветлел Макарий Силуаныч и опять зарядился табачком. — На руках нашивал!.. за ручку водил по саду... ры-бок кормили с ней... Бывало, их сиятельство, князь Феодор Константинович... скажут: «Слоныч»!... они меня «Слонычем» перечислили, так шутили... У меня руки большие... и я крупный, из-себя... а тогда ка-ким был... кавалергарда выше! Скажут:

«“Слоныч”, ты мне ее еще уронишь, “Дайньку”... золото мое!..» И примут от меня... и сами... примут под ребрушки, «Москву покажут»! Дрожали над ней их сиятельство... Го-споди... — старик всплакнул, достал лиловый фуляровый платок и утер глаза, — ну, за что... такой молодой... на тридцать первом годочке, ведь, на охоте этой... злая пуля... сразила!.. случай нечаянный... на номере за кустом стояли... волчья облава была...

— Да?!.. — вскрикнула Даринька и перекрестилась. Закаменела.

— Воля Божия... Первый красавец был на Москве! прынцесу сватали, набивались!.. А князинька высо-кого духа был, и му-дрый... все науки знал... и поднял старик палец, — благороднейшей аттестации. Все говорил: «женюсь на единственной любови... мне ее Бог судил!...» — так и говорил, сейчас вот помню...

И тут случилось, — не ожидал никто. Даринька упала на колени перед Макарием Силуанычем, сложила перед ним ладони, молилась будто, — смотрела неотрывно.

50

29.VII/11.VIII.1944
Paris <...>

Слезы стояли в глазах ее, не изливались. Шептали губы, не могли сказать. Вздохом, она шепнула — «вы... все... сердце...» — больше не могла сказать: излились слезы, градом, как у детей бывает. Она взяла руку Макария Силуановича и поцеловала, как у отца. Он принял руку, откинулся на креслах. Покивал, раздумчиво:

— Как о н а выросла... как же не узнать-то... кровь... Дозвольте ручку, ваше сиятельство... — сказал он умиленно, — ручка-то какая, великатная...

Он, посильно наклонившись, почтительно поднес ручку к блеклым губам и приложился. Даринька встала и поцеловала в голову. Макарий Силуаныч закрыл глаза, откинулся в креслах.

— Ду-шно... атмо-сфера... мутно... голове... — он передохнул, устало, взял газету и накрыл голову.

Они переглянулись, покивали. Макарий Силуанович дремал. Виктор Алексеевич достал два радужных билета, черкнул на записной два слова, — «от Дайньки», и положил на столик, придавив вазой с персиками. Даринька взяла персик... Отошли тихо к двери, оглянулись: Макарий Силуанович дремал. Неслышно вышли.

Оставили смотрителю свой адрес, «на случай». Макарий Силуанович Хлебников был обеспечен пожизненно заботами баронессы и ее дочери, — сказал смотритель богадельни, отставной военный: «послушали бы, как вкусит марсалы... но, зна-ет меру! “Карамзин” наш, соловьем поет!..»

Поехали. Когда Даринька немного успокоилась, Виктор Алексеевич сказал:

— Ну... все узнала?..

Откинувшись к подушкам, бледная, смотрела она в небо. Он видел слезы на ее ресницах...

— Все... — шепнула она, вздохом, взяла его руку и приложила к сердцу.

Он чувствовал, что говорить не надо. Она казалась ему новой, еще другой. Видел что-то в ней, — не мог определить, что это: это уже чувствовал, как прочел справку адвоката. И это, неназываемое, делало ее еще бесценней, еще непостижимей. И вот, когда проверил все это сам, когда все в ней стало бесспорным для него, он до боли почувствовал вину перед ней... что получил ее обманно. И его восторг смутился. Таясь, он взглянул на нее, боясь ее глаз, страшась уловить в них свои мысли. Так и осталось в нем то... — ваше сиятельство. Конечно, «ваше сиятельство». Да, условность, но... это не девочка-золотошвейка, не белица, не кинутое на улицу, «безродное», что оберег он, безмерно любит, что ему дано... — так иногда ему казалось, — что он насилием присвоил!.. Она, ведь, и тогда хранила в себе все, что только что открылось: века, подвиги, славу предков... он знал историю, знал этих предков, до... подвига Святителя. И тогда, в первые дни их жизни, когда она была оглушена, открыла ему все, что знала, он почти знал все, что теперь объявилось так бесспорно.

Она почувствовала что-то в его молчании.

— Что ты... такой?.. — спросила она тревожно и посмотрела в глаза, открыто, светло, как утром, когда он подал ей чашку шоколада.

Он не смел сказать ей, что его так болезненно коснулось, теперь, когда она так воскрешена, когда все мутное в ее жизни слетело пылью, и под этой пылью... — он знал больше, чем она только что узнала, — открылась такая чистота, такая правда!

— Что с тобой, мой славный...? — повторила она тревожно, нежно, — ты не рад?..

— Не рад!... — воскликнул он, страшась увидеть в ней его томившее, — я потрясен!.. так счастлив... за тебя!... это... не

найду слов... — он смотрел молящим взглядом, не смея омрачить свет в ней.

Этот свет сиял из ее глаз, все заливал сияньем.

— Свет какой в тебе!.. — воскликнул он.

— Ты это... осветил во мне... — сказала она, взяв его руку, и ею утерла слезы. — Ах!.. — воскликнула она, чем-то поразившись, — как же это..? Ви...ктор... Го-споди... — шептала она, отыскивая слова, уясненье, — это же... она...?!... та..?!

Он испугался окаменевшего ее лица, — не понял:

— Что ты, о ком ты..?

— В «Уютове»... она..? се...стра?!.. и я не поняла... теперь, вдруг... все поняла!... Господи... мы там, в родном!... И мальчики...

— Да... — сказал он, осторожно, — твои двоюродные братья... а она — родная тетя, это совершенно точно. Ты так была захвачена... я не мог тебе... столько приняла сердцем...

— Господи... — только и могла сказать: иссякли силы, и она упала на подушки.

Видя, как помертвели у ней губы, Виктор Алексеевич крикнул кучеру — «гони, барыне дурно!..» Коляска бешено помчалась. И было время: вдруг померкло, нависло черным, в пене. На Лубянской площади рвануло вихрем, ураганом: швыряло пылью, клочьями соломы, секло песком в лицо, летели шляпки, прыгали зонтики по камню; разносщики, с лотками, бежали в подворотни, кричали голоса, гремели вывески, грохало кругом... Виктор Алексеевич — не было времени поднимать верх — сорвал дождевой фартук, притянул Дариньку к себе, прикрыл, укрывал собою. На Никольской потише было, но и тут гремело, грохнуло вывеску за ними, кто-то заверещал, лошади понесли, кучер неистово орал, натягивая вожжи, перевалился к ним, — «ста-а-айй!... а-ста-а-аййй!...» У подъезда «Славянского базара», как раз, будочник повис на дышле, выбегли швейцары, кони осели, задравши головы. Дариньку внесли. И только внесли на первую площадку, так ослепило-грохнуло, что зазвенели окна. Ламповщики зажигали лампы: тьма упала, несрочная, был седьмой час, в начале. Стучало градом, летели стекла, мотались в коридоре шторы, гуляло ветром, звенели колокольчики из комнат, падала посуда, сбивалась с ног прислуга, откуда-то кричали — «до-ктора!...» — вспоминал после Виктор Алексеевич.

Он стоял на коленях у дивана, слушал, как Даринька дышала, ловила воздух. Окна были настежь, — комнаты выходили в цветник с фонтаном, в укрытие, за ветром. Крупный град, «в яйцо», перебив в гостинице все стекла, сменился ливнем.

Это был памятный ураган, июльский, поваливший сотни десятин векового бора в «Погонном Лосином острове», вырвавший половину «Анненгофской рощи», подхвативший пятилетнюю девочку и опустивший ее за две версты на склад соломы за Ходынкой, — писали о сем «чуде», — натворивший немало бед.

ДОктора, конечно, не дозвались: живший в гостинице возился с каким-то дипломатом, которого хватил «ударчик», — ставил ему пиявки. Виктор Алексеевич применил, что знал, дал коньяку, компресс на сердце... Даринька очнулась, вздохнула полной грудью, улыбнулась, слабо...

— Хорошо как, свежестью... дождь это, шумит..? попить дай... славный ты мой...

Он налил сельтерской, со льдом, с ложечки давал...

— Сколько тебе со мной... заботы... поцелуй меня...

Он склонился, поцеловал, благоговейно. Она взглянула... так взглянула, так светло, в с я н а р у ж у...

Этот незабвенный взгляд переполнил все в нем, так тронул сердце, что он не вынес... — отошел к окну, ткнулся лицом в портьеру и стиснул зубы, чтобы не вырвались рыданья.

— Куда же ты... ушел?.. — позвала Даринька.

— Я здесь, с тобой... — сказал он от портьеры, и подошел. — Всегда с тобой... з а тобой...

— До конца... — сказала она, как утром. — Ты плачешь..? почему ты плачешь?..

— От счастья. От... незаслуженного счастья... — сказал он и пал к ее ногам.

51

15.VIII.1944
Париж <...>

«Кто такая, красавица?.. А вот, такая-то. Чего она в черном? А родители померли. Липочка и заплакала при нем. Он вынул платочек, сам ей слезки утер, пожалел. И велел тут же в дом перебираться, — чего ей у просвирни жаться, дом такой!.. Капитолина уж не смела прекословить. Ну, пробыл тогда не три недели, а почитай до Филипповок. И такой веселый, молодой, годков-то ему было 26—27... пушок-бородка. И все, бывало, насвистывал. А вечером на роялях... вот играет-играет, сам себе подпевает. А то придет к Капитолине... — “чего вы тут забились... в ералаш давайте играть!” — в карточки. Стали примечать, — антересуется Липочкой. Повел ее, где шкапы у него, все книги... — “бери, Липочка, читай, что хочешь!..” Капитолина темней ночи стала, на людей не глядит, а Липочка

канарейкой заливается, по всему дому носится, барина ни-как не боится, приручилась к нему совсем. Стал он отъезжать, — мороз был, снегу навалило, а Липочка, простоволосая, без платочка даже, выбегла на крыльцо, — в слезы!.. Так все и задивились. А он ей покивал-поморгал, пальцем так, ласково погрозился, будто на дитю, а Капитолине крикнул: "дом оберегайте, Виссарионовна, и к т о в дому!" Укатил. Капитолина ее ругать принялась, — "голову ты с меня сняла, безумица!.." А Липочка речкой разливается, извелась. Стали уж за ней приглядывать, будто как каменная стала!» — рассказывала набилковская старушка. — «И Рождество уж не в Рождество, темь и темь. И вот, в самый третий день Рождества, колокольчик на дворе забрякал, бубенчики заиграли. Выбегли все, глядят, кого это Бог дает... Ма-тушки-светы, сам Макарий Силуаныч к нам в гости, в крытом возке, нарядном, со стеклышками, с лакеем-фалетором, в четыре коника, гу-сем!.. Уж почтенный, на седьмой десяток уж ему было... какие-такие аказии..? И с ним шубка бархатная, зеленая, соболья, и платки всякие, пуховые, и сапожки, лисой подшиты... А он, знато всем, главный при барине, задушный... Письмо Капитолине: "снарядить Липочку в Москву, будет учиться там, нечего ей тут бобыльничать!.." — так, будто, прописал. Липочка, как с ума сошла! в ладошки заликова, запрыгала, а Капитолина — в рев. Не пущу и не пущу! На нее Макарий Силуаныч, так это, покивал пальцем: "как же, тебя спроси-ли... не мать родная, никаких правов нет! барышня свою волю заявляет, барин будет опекать... желаете, Олимпиада Алексеевна, в Москву ехать, своей охотой?" А она, прыг-прыг, — "еду, еду!... а то и так убегу!.." Так мы и ахнули!.. Ну, ча-су не прошло, укуталась, как сумела, скок в возок... по-мчали-заиграли...

А через годок она и Капитолину вытребовала, и меня, грешную... любила она меня, очень отличала... песенки я ей певала и сказки сказывала...» — рассказывала словоохотливая набилковская старушка. — «Я, говорит, в няни тебя беру, скоро у меня детка будет... Федор Константиныч на мне непременно поженится, обещался, на образ покрестился... маменька его только несогласна, да он ее как-нибудь упросит, а то и так, без нее..." Очень она доверчивая была ко мне, да и со всеми, ласковая, простая, будто рабенок чистый.

Капитолину на квартиру поставили, пусть Богу молится. Липочка так желала, свой человек чтобы близко был. Хаживала и в дом, чаем ее поил Макарий Силуаныч, а она ему из житий рассказывала, уважал ее. А судомойка в няни определилась, дочка у Липочки родилась, "ангелочек". Души в ней

не чаял барин, она уж к годочку стала лепетать. Спросят ее — “как тебя звать-то?” А она, губенки так поведет, головенкой так, бычком, на грудку, а сама так глядит, глазастенькая... — “Дайнька!..” Так ее все и величали. Уж такая была красавочка... в беленькое во все украсят... в колясочке барыня повезет ее в парк, в сад, большой сад, заблудишься, и пруд большой, лебеди даже выплывали, и рыбки к берегу соберутся... рыбок кормили папушничком, и Макарий Силуаныч всегда при них, барин так наказал.

Два годика пролетели, как светлый день. И стал к ним частить младший братец барина, жил он в особой половине. Самондравный, гордый, на человека не смотрит. Офицер был, саблями все гремел. Все деньги в карты прокидывал, весь в долгу. Барина дома не было, он и прихвати Липочку под спинку, охальное стал шептать. Она его хлёс по щеке, вырвалась, затопала на него. Макарий Силуаныч видал, как было. Сказал: “эх, нехорошо, ваше сиятельство так...” Не боялся, вольную ему барин дал. Узнал барин, вытребовал его, за ворот рванул, — “ноги чтоб твоей не было у меня!..” Тот прощенья после просил, — “я, говорит, ради тебя это... хотел испытать твою Липочку!” — А барин ему — “не Липочка она тебе, а Олимпиада Алексеевна, а скоро будет «ее сиятельство»!” Долго братец письма писал, с лакеишкой присылал. Помирились, только велел барин прощенья у Липочки попросить. Все-таки попросил, будто. И вот, кушали вместе, барин волю свою и объявил: “До Рождества оженюсь на Липочке, будешь уважать... и дочку мою Дайньку будешь за княжну почитать!” А к Липочке, еще как только приехала, учительницы приходили, всему обучали, и атикету, и по-французскому разному. И мамаша ихняя подалась, приехала, далёко она жила, барон-то сидел без ног, в креслах его катали. И так ей Липочка распондравилась, — рассказывала старушка, — “и не ожидала, говорит!” Ангел такой, как не пондравиться!.. И манеры великатные, и полное благородство. А уж мы-то радовались... ну, просто, святая доброта!..»

А потом — «случай на облаве». Липочка словно чувствовала, упрашивала не оставлять ее, уж она опять понесла. А он не мог без охоты, надо проветриться. Все в кабинетах книги читал-писал.

Как громом сразило Липочку. «А через неделю пришел лакеишка, от братца, — “извольте выбираться”. Хам. И барин тот же хам. Липочка взяла Дайньку, в шубочку завернула, к Капитолине пошла. Безо всего вышла, лакеишка и укладки на ключ замкнул. Макарий Силуаныч только ахал, а чего мо-

жет — наследник! Да Липочка и не думала ни о чем. Сережки на ней были да браслетка, да колечко обручальное, барин ей сам надел. Мамаша все узнала, ей Макарий Силуаныч отписал про все. Прислала депешу — сама приеду. А Макарушка-то сам им образа ихние отнес, так кой-чего, игрушечки Дайнькины, бельецо. Все горевал — "ох, не в себе наша свет-Липочка... ох, нехорошо". — "А меня в судомойки определили", — так-то я плакала-жалела, все плакали... зверь и зверь!..

Великим постом, помнится... — рассказывала старушка, — баронесса приехала, была у Липочки, подарила Дайньке сто рублей, а на другой день и воз пригнали с сундуками. Увидала Липочка сундуки, руками замахала — "назад!.." Упрашивала ее Капитолина, — "не приму!" Выбежала на двор, дворник наш с сундуками ездил, рванула на себе кофточку, — "здесь у меня, Федичка мой и Дайнька!... а это и м, и м!.." — наотмашь, на сундуки. И поехали сундуки. Совсем она голову потеряла, бегала по морозу в одном платьишке. Говорили соседи, видали: под колодцем бельецо полоскала, а кругом намерзло... упала она на льдышки, и разрешилась, на льдышках. Живенький, будто, был... так и застыл, на льдышках, по восьмому, что ли, месяцу... мальчик был. Подняли ее без памяти, свезли по ближности в чернорабочую больницу, на Басманной, она через пять деньков Богу душу и отдала».

Капитолина Виссарионовна осталась с Даринькой. Помогал им Макарий Силуаныч, чем мог. А скоро и его в богадельню барыня поместила, не ужился он с наследником. На Введенском кладбище[857], за Лефортовым, похоронили Липочку. Прошло года четыре—пять, пошла Капитолина с Даринькой на богомолье, воротилась, а на могилке и крестика нет. Опять поставила, надписание сделала, продала Липочкино колечко, все берегла, — решеточку поставила.

Вот, все, что мог узнать адвокат. Справку свою закончил:

«Это, действительно, потрясающий роман, по плечу разве только Толстому или, скорей, Достоевскому. Я дал только оболочку».

Ив. Шмелев

КУЛИКОВО ПОЛЕ

рассказ следователя

I

Скоро семь лет, как выбрался я о т т у д а, и, несмотря ни на какие «невозможно», крепко верю, что страшное испытание наше кончится благодатно и — невдолге. «Невдолге» — разумею, конечно, относительно: случившееся с Россией — явление исторического масштаба, а историческое меряется особой мерой. Говорите, — развязку принесут мировые события? Не думаю: творящееся в мире скорей может нагнать уныние. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня некий духовный опыт. Хотя опыт мой — опыт маловера, — дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я — Фома, как огромное большинство, и не прикрываюсь. Сказано — «могий вместити»... Но огромное большинство — не могут, и им подается помощь. Я получил ее. «Ми-сти-ческое»? — как вам угодно именуйте, это не меняет случившегося на моих глазах.

Живя т а м, я, хоть и маловер, искал знамений и откровений, — сознаюсь вполне искренно, — и когда жизнь наталкивала на них, я — о щ у п ы в а л, производил, как бы следствие. Я — судебный следователь по особо важным делам... вернее, был когда-то. В э т о м... в таинственной области знамений и откровений... — что не признают их материалисты и рационалисты, это, конечно, сущего устранить не может, — предмет расследования, как и в привычно-земном и очевидном, — человеческая душа, и следственные приемы те же. Ну, с поправкой на некое «неизвестное». А в уголовных делах... как полагаете, — в с е известно?.. не раз, в практике следователя, чувствовал я, «добру и злу внимая равнодушно»[858], как требует этого закон, таинственное влияние как бы т е м н о й с и л ы... видел порабощенных ею и, что довольно редко, — духовное торжество преодоления. И не раз повторял самому себе гамлетовское — «есть вещи, друг Горацио, какие и не снились мудрецам!».

«Знамения» там были, для меня это несомненно: одно из них, совершенно изумительное по красоте духовной и «историчности», произошло на моих глазах, и я как-будто сцеплением событий был вовлечен в него, дабы самому ощупать: на-вот, «вложи персты»! Невиданные страдания народа невольно дополняли знаменные явления... — это, психологически, так понятно! — но зерно истины неоспоримо. Да как же не дополнять, не приукрашивать, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в нее православный народ не может почти фи-зи-чески... он чувствует в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал... — и ему подавались знаки.

На-род, говорю я... православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Выделяю не я, — Исто-рия.

Вы должны ее знать. Вчитайтесь — и поймете. От нее не только не отрекся Пушкин, а, напротив, твердо объявил, — в ответе, помнится, Чаадаеву..? — что предпочитает ее всякой другой истории. «Умнейший в России человек», — сказал про него Николай I. А на днях читал я письмо другого умнейшего человека, глубокого, точного русского мыслителя и большого ученого, национального зиждителя душ и точного иследователя «основ художества», в частности русского... — своего рода, мой коллега, «исследователь по особо важным делам»! Как люди интеллигентные, вы, понятно, читали его книги и помните его «о борьбе со злом»[859], удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он заявляет:

«...Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такой мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато мы выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании — да славится в нас Воскресение Христово!..»

Эти слова я связал бы с известными словами о русском народе — Достоевского[860], — с выводом из русской истории — Ключевского... помните про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться после государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Кажется знал русскую историю. Связал бы в «триптих русской духовной мощи».

Я расскажу вам не из истории, а из моих «документов следствия». Признаюсь: ими сам же себя и опрокинул, сомнения-то мои!

Я сказал, что народу подавались знаки. Помните — обновление куполов, икон..? Это и здесь случалось, на родине Декарта. Да, были обновления... и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не

могли придумать: это вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них — неутолимая «жажда Правды» — и есть свидетельство исключительно духовной мощи. Где в целом мире найдете Вы такую «жажду Правды»? кто возразит?.. В этом моем портфеле имеются «вещественные доказательства», могу предъявить.

Как маловер, — говорю это без смущения, — я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву... — имеется документик и на это, — так сказать, качественность моя, как следователя, была оценена... — не думайте, никаких «связей», я сын мелкого казначейского чиновника, — знаю людские свойства, и «психозы толпы»... — Вы конечно, читали Сигалэ? — мне хорошо известны. В моем случае «толпы» нет, круг показаний тесный, главные лица — нашего с вами толка, а из народа — только один участник, преходящий, и, как раз, его-то показания ничего сверхъестественного и не заключают.

Что особенно знаменательно в «явлении»... так это — духовно-историческое... звено! звено из великой цепи родных исторических событий, из далей — к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие — на Куликовом Поле.

II

Куликово Поле... — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле?.. Где-то в верховьях Дона..? Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется..? Да, на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически-знаменательно умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по «Запискам охотника», — Красивая Мечь, Лебедянь... Но кто удосужился побывать, ощупать... где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину — «ленивы мы и нелюбопытны».

Я сам, прожив лет пять в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции «Куликово Поле», мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле при-

пасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать... Как я корю себя, из этого прекрасного далека, что мало узнал Россию, не изъездил, не исходил!.. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра... ни Ростова Великого не видал, «красного звона» не слыхал, единственного на всю Россию!.. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне сберег не помнящим этот «аккорд небесный», подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея... — жив ли еще «аккорд»?.. Не видал Туркестана, завоеванной нами гробницы Тамерлана, ее изваяний-кружев... Не побывал и на Бородинском поле, в Печерах, в Изборске, на Белоозере... Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого... ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века, во Владимире на Клязьме... Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали и в глаза... — это дело специалистов-гробокопателей! — даже родной истории не знаем путно, ни мифологии, ни-чего. Иваны Непомнящие какие-то... Сами, ведь, иссушали свои корни, пока нас не качнули, — и как качнули!.. Знали избитую дорожку — «По Волге», больше ради «стерлядки-кольчиком», «на Минерашки», «в Крым». И, разумеется, «за-границу». Народных учительниц возили даже в эту «за-границу» и сим гордились, это же так важно, для культуры. Так вот и домотались «до культуры». В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать, все запахи вспомянешь... — и защемит-защемит... Да как же ты Се-вер-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши?!.. А видел ли российские каналы — великие водные системы, молился ли в часовне болотной, откуда родится Волга... И это при нашей-то ска-зочной путевой дешевке!.. А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена?.. «Ка-кого Гермогена..?» А как же..? Не спорьте и не оправдывайтесь... это кри-чит во мне! А если кричит — правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда с дочерью ютился в Туле, под чужим именем: меня искали, как «кровопийцу народного». И вот, один мукомол-мужик, по социальному состоянию — «кулак», понятно, из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, ни в чем совершенно неповинный, попавший в трагическую петлю. Таких петель немало встре-

чалось в моей работе, нагляделся на жизненные сальто-мортале. Долго рассказывать... словом, я его спас от возможной каторги, — обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, — тоже, понятно, «кровопийца», — и проживал при станции «Волово», по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю-туляку — «доставь спасителю моему». И я получил красноречивую записочку — «по случаю голодаете, как наслышаны, пребудьте екстрено, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом за все ужасные восемь лет и, как увидите, привела к первоисточнику явления.

Приехал я в Волово... Правду сказать, крайней нужды я не испытывал, и в Волово поехал, чтобы — подумалось так, — сбросить овладевшее мною оцепенение безысходности... а, пожалуй, и из признательности к моему сердечному «должнику», растрогавшему меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, березки только опушились. Там-то и повстречал участника «действия первого». Он ютился с внучатами у того «кровопийцы»-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, — таки — доели! — был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. Вот от него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло «явление», для меня. Думаю теперь: как бы у к а з а н о было мне поехать, и не только для того, чтобы сделать меня участником «явления», и исследователем его и оповестителем, но и... самому перемениться. Как не задуматься..?

III

Случилось э т о в 25 году, по осени.

Василий Сухов — почему-то все его звали Васей, хотя он был седой, очень благообразный и положительный, только в его светлых глазах светилось открыто-детское, — служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябышевых. Надо сказать, что по соседству с этим именем лежало «Княжье», осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавшей барину Средневу, родственнику Ахлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Димитрия Донского. Дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое «Княжье» тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблоневым садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.

Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, — вблизи Куликова Поля. А «Княжье», по каким-то приметам стариков, — отголосок предания? — лежало на самом Поле. Это мне и здесь подтверждали, со слов кого-то из графов Олсуфьевых, сейчас не помню... их имение тоже было «у Куликова Поля». Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было трое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал в че-ке, «за горячее слово». Надо было кормиться.

Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а, по нужде, дал порядочный-таки крюк, на станцию «Птань», к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, — был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил совершенно точно, что было это в родительскую субботу, в «Димитриевскую», в канун Димитрия Солунского. Потому помнил точно, что в тех местах эту «Димитриевскую субботу» особенно почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, «с кашей»! — давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, «Димитриевская суббота» установлена Церковью в поминовение по убиенным на Куликовом Поле, — и, вообще, по усопшим, и потому называется еще — «родительская». Отметьте это.

Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, — до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот — Куликово Поле...

В точности неизвестно, где границы давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы... старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа — ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина, — «мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня...»? Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему — «ты одолеешь»..? Дух его был на Куликовом Поле, а отражение битвы видимо ему было за четыреста с лишком верст, в обители, — духовная телевизия.

По каким-то своим приметам Сухов определял, что было э т о «на самом Куликовом Поле». Голые поля, размытые дороги, полные воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие уж тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул... — трах!... чуть из седла не вы-

летел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое..? К вечеру было дело, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал... — нет: пятится и храпит. Поглядел через коня, видит — полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. «Чего боится?..» — подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта побольше только. Пригляделся... — что-то, словно, в воде мерцает... подкова, что ли..? — бывает, «к счастью». Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, — ни с места, уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, — нет, ни-как. Не по себе что-то стало Сухову, подумалось: «может, змею чует... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост..?»

Сошел Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало... — и вытащил... медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест — добрый знак. Перекрестился Сухов на крест, поводья выпустил, позабылся... а конь и не шелохнется, «как ласковый». Смотрит Сухов на крест: видать, старинный... зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, — кто-то, должно, подковой оцарапал.

В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, — грунтовая под лесом шла.

Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит — литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле. Ходил с рабочими копать на счастье, — какую-нибудь диковинку и найдет: бусины, кусок кольчуги серебряной, золотой раз перстень с голубым камушком откопали, а раз круглую бляху нашли, татарскую, — «месяц» на ней смеется. С той поры, как с татарами здесь битва была, больше пятисот лет сошло. Сухов и подумал: и крест этот, может, с той поры: земля-целина, выбили вот проезжие, в распутицу.

Стал крест разглядывать... Помене четверти, с ушком, — наперсный: накось — ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской кривой саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке!.. — да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал... она и образа пишет, — какая бы им радость. А это он про барина из «Княжьего», который усадьбу в Туле у купцов выменил и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал: бросил свою

усадьбу и отъехал в Сергиев Посад, там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, осквернили, монахов разогнали, а кого и поубивали, нехристи, а мощи Преподобного... Го-споди!.. — в музей поставили, под стекло, глумиться.

Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило в горле. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, с острой болью ему представилось, что все погибло, и ни за что.

— «Обидой прожгло всего, — рассказывал он, — будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность... внуки малые, а то, кажется, взял бы да и...»

Опомнился — надо домой спешить. Дождь перестал, и посветлело будто. Смотрит — с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, лучше не потеряется. Полез за пазуху... — «и что-то мне в сердце толкнуло»... — рассказывал он, с радостным лицом, — «что-то как затомилось сердце, затрепыхалось... дышать трудно...»

IV

— Гляжу — человек подходит, посошок меряет. Обрадовался я душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен.

По виду из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая бородка окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, «будто самого родного встретил». Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: «здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался: «благодатного ли чину?». До слова помнил тот разговор со старцем, — так называл его.

Старец ласково «возгласил», — «голосом приятным»:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо».

От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца... — повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и — «так хорошо поговорили». Только словно смутился, когда сказал: «такой лик, священный, ...как на иконе пишется, в себе сокрытый». Может быть что и таил в себе Сухов, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой душевной обходительности, — такие встречаются в народе.

Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:

— Крест Христов обрел, радуйся. Чего же смущаешися, чадо?

Сухов так и определил, что старец говорил «священными словами, церковными, как писание написано», но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один-на-один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит — как бы переслать крест барину. Так и объяснял мне Сухов:

— Пожалел меня, словно, что у меня мысли растеряны, не знаю я, как бы сберечь мне крест... сказал-то: «чего же смущаешися, чадо?»

Сказал Сухов старцу:

— Да, батюшка... мысли во мне... как быть, не знаю.

И рассказал, «будто на духу», как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а все это место — самое Куликово Поле, тут в старинные времена страшная битва была с татарами... может и крест этот с убиенного православного воина; есть, словно, и отметина, что саблей, будто, посечено по кресту... и вот взяло раздумье, верному бы человеку переслать, сберег чтобы... а ему тут негде беречь, время теперь лихое, неверное,.. надругаться могут, и самого-то замотают, — да откуда взял, да... пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов... «а нонче — у кого и живу — не знаю».

И когда говорил так старцу, стало тесно ему в груди, от жалости и к себе, и ко всему доброму, что было... — «вся погибель наша открылась...» — и он заплакал.

Старец сказал — «вразумительно-ласково, будто хотел утешить»:

— Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень — знамение Спасения.

От этих священных слов стало в груди Сухова просторно, — «будто всякую тягость сняло». И он увидел: светло, светлей, светлей, кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь... Понял, что от заката это — багровый свет. Спросил старца: «далече идете, батюшка?»

— Вотчину свою проведать.

Не посмел Сухов спросить — куда. Подумал: «что я, доследчик, что ли... непристойно доспрашивать, скрытно теперь живут». Сказал только: «есть у меня один барин, хороший человек... ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал.

И здешние они, у самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише... да навряд ли».

Старец сказал:

— Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему.

Несказанно обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, — «будто бы так и надо». Сказал старцу:

— Сам Господь вас, батюшка, послал... только как вы разыщете, где они на Посаде проживают? Скрытное ноне время, смутное... Звание их — Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей... Ольгой Егорьевной звать, и образа они пишут... только и знаю.

— Знают на Посаде. Есть там нашего рода.

Радостью осияло Сухова, — «как светом-теплом согрело», — и он сказал:

— Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите... скажите — кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик... они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете... ночь подходит? Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу... время лихое ноне, обидеть могут... уж и церковь у нас заколотили.

Старец ласково посмотрел на Сухова, — «весело так, с приятностью», и сказал ласково, «как родной»:

— Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище.

Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.

— Как хорошо-то, батюшка... Господь дал! — радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось. — Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось... почтой если послать, да улицы не знаю... доспрашивать еще станут, насмеются... да, где, скажут взял... да не церковное ли утаить от н и х... заканителят, нехристи.

Сказал старец:

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. — И помолился на небо.

— Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся.

И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, — плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца — «увидимся», — знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре он

помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа... — словами он этого не обнаружил, — для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление: скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом «первом действии», как видите, нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не искал, не пытался ощупывать, а принимал, как сущее, «в себе сокрытое», — так прикровенно-точно определил он «священный лик». Вот простота приятия верующей душой. Во «втором действии», в Сергиевом Посаде, — люди иного рода: как увидите, там «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и, в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. И это психологически понятно: празднуется победа, над злейшим врагом — неверием.

V

Должен сказать, что рассказ Василия Сухова о встрече со старцем на Куликовом Поле не оставил во мне впечатления, что было ему явление и как бы знамение: просто — несколько странный случай, странный по совпадениям, с мистической окраской. Мистику эту и совпадения приписывал я душевному состоянию рассказчика, и это вполне понятно. Василий Сухов, простой православный человек и, заметьте, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда должна восторжествовать над этим злом... иначе, для него, не было никакого смысла и строя в жизни! — все рушится?!.. — нет, все в нем протестовало, инстинктивно. Он должен был верить, что правда скажет не мог не верить, он — подлинная суть народа: «правда не может рушиться». Вспомните поговорки, сказки о Правде и Кривде... — и вы эту суть поймете. И так естественно, что тот случай на Куликовом Поле мог ему показаться «знамением свыше», знамением спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление» ему старца, и вполне добросовестно, невольно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла [не][i] раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.

---

[i] В оригинале «не» пропущено.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал о том, что слышал от Сухова в «Волове». Впрочем, дочери рассказал, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне осязательно открылось, что тут не «случай», а явное знамение свыше. И тогда рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше...! — это воспринимается нелегко, так это ныне необычно, особенно здесь, в Европе. Но т а м... в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло я в л е н и е, вдруг озарило мою душу... — впервые испытанное мною чувство с в я щ е н н о г о!.. — и я принял знамение с благоговением, и как... «ирреальную реальность», позволю себе такое невнятное словосмешение. Я видел «святой восторг» и... с в я т ы е слезы чистейшей и чуткой девушки... — какая может быть в человеке красота!... — и как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный всем необычайным, я, следя за самим собой, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы даровано было мне и с к а т ь и найти правду, я повел свое с л е д с т в и е, и, неожиданно для себя, одним ударом разрушил последнее сомнение цеплявшегося за «логику» Фомы-интеллигента. Не передать словами, что испытывал тогда: э т о — вне наших обычных чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное, без колебаний и ныне принимаемое мною: что я п р и в л е ч е н к раскрытию «необычайного»... привлечен Высшей Волей! А что тогда пережил в миг неизмеримый... — выразить это я бессилен. Ну, как передать хотя бы душевное состояние, когда... когда коснулось сознания моего, что... в р е м е н и н е т, н е с т а л о!.. в е к а с о м к н у - л и с ь... будущего не будет, как нет и прошлого, а в с е — н ы н е, в с е — т о л ь к о е с т ь?!.. — и это меня не удивляет! и это в меня вместилось!.. Я на миг стал как бы... и д е е й, и с т и н о й... — для аксиомы нет времени!.. — жалок земной язык. В миг озарило и пропало. Можно приблизительно подбирать слова, для выражения э т о г о, но опалившего душу озарения... — передать это невозможно.

Попытаюсь же восстановить, как все было.

VI

Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... — стала невмоготу. Что за мной «числилось»? Вопрос праздный. Ровно ничего не «числилось», кроме посильно-

го выполнения долга — раскрывать преступления и помогать находить действительных преступников. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: например, приезд самого Плеве, по делу убийства губернатора... раскрытие мною виновников одной железнодорожной катастрофы, злостной катастрофы, в которой погибло больше двухсот человек, из них семнадцать младенцев... причем намеченная «добыча», важный правительственный чин, счастливо избег «кары»... нашлось бы и еще многое. Я делал свое дело, спасая неповинных, ловко подставляемых провокацией, чтобы сбить с толку следствие. Но вот какая странная вещь... — теперь не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение почти восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать, и не раз узнавали приезжие из Богоявленска. Возможно, что тут работала моя «психология»: уж здесь-то меня никак искать не станут, в районе моих «преступных дел», и не откроют, если не укажут обыватели. Какое-то непонятное оцепенение, превратное сознание безысходности, словно пробка в мозгу застряла. Страшился смерти? Нет, худшего: страх за судьбу дочери, издевательства... и, что иным покажется невероятным или невнятным, — полного беззакония страшился, вопиющего искажения «судебной правды», чего не переносил почти физически. Это, своего рода, «порок профессиональный», если вам угодно, нечто... ми-стическое. Словом, оцепенение и «проб[ка]»[i]. Самое, кажется, простое — ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Мог бы обзавестись «липовым» дипломчиком... ну устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти «нейтральное» что-нибудь, предложил бы полезный курс — «психология и приемы следствия», надо же молодежь учить. Почему-то все эти комбинации отбрасывал, сидела «пробка». И [вот][i], сказалось, что мое сидение в Туле было «логично», но только не логикой.

Учил грамоте оружейников, помогал [чертеж]никам[i] с завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Кой-как перебивались. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась, прямо, эпидемия — «на вертипьяных»! Все желают «выигрывать на вертипьяных разные польки и романцы». И выпало нам «счастье»: навязалась моей Надюше... «Клеопатра». И по

[i] Пропуск в тексте. Фрагмент восстановлен по более поздним редакциям.

паспорту — Клеопатра, а разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили: «Антошка и Клеопатра». А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ-Отдела, своего рода мой коллега... вы разумеете? Бывший фельдшер. И вот эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка-белошвейка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая... глупое и предобрейшее существо, походя пряники жевала и щелкала орешки, и навязалась: «ах, выучите меня на верти-пьяных!..» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был — чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки, и вот... «на верти-пьяных». Забылась както, с «Шопеном» замечталась... — и вдруг, ревом по голове: «лихо наяриваете, ба-рышня!» «Антошка», во всей красе, с наганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: «выучите, ради Господа, и меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать, и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, «папаше вашему табачку», то-се... С отвращением, со стыдом но принимали, чтобы отдать другим... не проходило в глотку. А нужда кругом!... «Урочные» деньги Надюша моя не могла брать в руки, всегда надевала для сего перчатки. Нет, лучше уж картузами, гармошками... — кровь и слезы на всем, от н и х, да еще от «Антошки»... Тошно, гнусно, безвыходно... — и это при моем-то «ясновидении»! По мнению народа, — я был «гадателем», так и говорили: «нашего следователя не объедешь, под землю на три аршина видит!» И вот, такое бессилие: засела «пробка». Будто кролик перед змеиным зраком. И в «Волово»-то смотался не от нужды, а чтобы как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку». И мукомол советовал: «ныряйте, Сергей Николаич, в Москву, — большая вода укроет». Но «пробка» сидела и сидела. Или — так н у ж н о было?.. ч е г о-то не хватало?.. И вот это ч т о-то и стукнуло. Теперь-то вижу, что т а к, именно, и н у ж н о было.

Вскоре после поездки моей в «Волово», в начале мая, приходит моя Надюша, пополовелая[1], остановилась у косяка... и такими страшными, неподвижными глазами, глазами у ж а с а и к о н ц а, смотрит в меня и шепчет: «папа... конец...» Это слово — к о н е ц прошло мне холодом по ногам, не мог подняться, как паралич. Да, к о н е ц. Другого исхода не было: пришло то, о чем мы с ней з н а л и молчаливо, «если о н о случится». И о н о случилось: «в с е известно».

[1] Здесь: побледневшая (*рус., устар.*).

Но самое страшное не это, не мытарства, если бы не удалось нам уйти: самое страшное — позор, и какой позор!

В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: «а что вы думаете, мой-то все-о про вашего папашу знает, как он людей утрудящих засуживал... но только вы не бойтесь, и папаша чтобы не боялся... мой для меня все сделает, так и говорит — "я его устрою на высокую должность, как раз по нем, засуживать... в помощники при себе возьму, в заследатели по Особ-Отделу... а то все негодящие, дела спят..." — и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша диалогические подробности мне передала, а тогда только — «в с е и з в е с т н о». И тут — вышибло мою «пробку»! в Москву!.. сейчас же бежать в Москву!.. Это при «в с е известно»-то!.. при зверском контроле на вокзале!.. как новичок-воришка... вся «логика», весь мой следовательский о-пыт — испарились.

Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу — «есть выход... Москва — выход!..» Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, — поезд когда отходит. Бегу, ничего не остерегаясь, не соображая, что обращу внимание... — одно только в уме, взываю — «Господи, помоги...» — забыл молиться. И уже в и ж у какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у н и х пошел... А он был когда-то ко мне прикомандирован, для стажа, кандидат на судебные должности, очень ловкий, талантливый, «без предрассудков», последнее время товарищем прокурора был, и работник, действительно, отличный. Расстались мы с ним друзьями. Только бы разыскать его.

Вбегаю в вокзал, запыхался, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит сердито: «как вы сюда попали?.. уходите, пока целы... главная комиссия отъезжает, Раб-крин!» Понимаете — рабоче-крестьянская инспе-кция! гроза и огнь!... в с е м о ж е т!.. страх и трепет. Метнулся, попал в боковую залу, а там... «губернатор» наш, тянется перед кем-то, и вышние из Особ-Отдела, с наганами... Кошмар!.. И вдруг, слышу: «Сергей Николаич... вы как здесь?» О н! Самый... Творожников, о ком только что в голову пришло. Т а м такие «случайности» бывали, многие это подтвердят. Теперь, ч т о-то мне в этом видится... Но уточнять не буду, примите за «случайность».

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, деловито спросил — «устроены?» Я ему — одно только: «в Москву... необходимо». Понял молниеносно, вынул бланчок и тут же, на портфеле, — чирк! — «явиться немедленно в Москву, в распоряжение....» — универсальнейшая

отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, д ы ш а л, после стольких годов удушья. Словом, — «счастливый случай».

VII

В Москве я устроился «нейтрально» — по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, с обвиняемым — коллективом, — действия скопом, бунты и прочее. Мне дали уездную секцию. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде... и, в середине августа, выехал в Загорск, как переименовали Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, «случай» на Куликовом Поле выпал из памяти, а захотелось увидеть Лавру, толкнуло «к Троице». Что, собственно, толкнуло?.. Работавшие «по архивам» частенько рассказывали о «Троице»: там проживало много выдающихся «бывших людей», оставивших свой след в родной культуре. Там скончал дни свои В. Розанов, ученик К. Леонтьева Александров, Л. Тихомиров, работали в относительной тиши многие художники, часто наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с о. Флоренским... Нестеров написал с них замечательную картину-портрет, дав их «в низине», а по гребешку мягкой «троицкой» горки в елках дал как бы символ «поднявшихся гор»... — русских паломников, молитвенно встречающих куполки «Святого Града» — Троицы-Сергия... В нормальной жизни, когда в с е было, так и не собрался, а тут — погляди остатки. И я поглядел эти остатки... и увидал — н е т л е н н о е. Но в каком обрамлении! в каком надрывающем разломе!.. Не повидал при с в е т е, — теперь посмотри во тьме.

Приехал я в Загорск утром. Да, уже не «Сергиево», а Загорск. И первое, что увидел тут же, на станционной платформе, — ломается парнишка-дурак, в кумачевой ризе, с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги... коренником: с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка ночной горшок в бечевках, — «кадило»; у монашки ряска выше колен, располосована, в с е видать, затылок бритый, в руке бутылка с водкой — «святой водой». И эта «тройка» вопит-визжит: «товарищи!.. в клуб безбожников к обедне!.. в семнадцать вечера доклад товарища Зме-я!.. из Москвы!.. “обман-легоргия у попов-монахов”!.. свидетельство бывшего монаха-послушника!..» И не смотрят на дураков, привыкли.

Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка, — и вот, лезет из лопухов-крапивы кудлатая голова и рычит: «обратите антелегентовое внимание, товарищ!.. без призвания прозябаю... быв-

шему монаху-канонарху!..» Отмахнул портфелем, а он сивушной горечью на меня, рычит: «антелегентовы пле-велы!.. из-за вас вот и прем в безбожники!..»

И тут увидел я солнечно-розовую Лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, долго смотрел и думал... Сколько пережила она за свои пять веков! Сколько светила русским людям!.. Она светилась... — и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. — «Ско-лько еще увидит жизни!..» Так это ярко помню. Поруганная, плененная, светилась она — нетленная. Было во мне такое чувство... не знаю, чувство ли, дума ли... — «все, что творится, — дурманный сон, призрак, ненастоящее... а вот это — живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это — вне времени, нетленное... можно разрушить эти розовые, сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется...» Высокая розовая колокольня, эта «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной... синие и золотые купола... — не грустью отозвалось во мне, а осветило. Впервые тогда, за все эти мутные и давящие восемь лет, я почувствовал веру, что — есть защита, необоримая!.. Без веры, никакой, инстинктом, что ли, почувствовал, в чем — опора. И, помню, подумал тут же: «вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защиты и опоры...»

VIII

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице, у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и «антирелигиозный музей». Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И, вдруг, слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:

— «Абсуурд!... аб-сурд!!...»

Потом — невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее из грамматики Шульца и Ходобая[861] уложенные в стишок предлоги: «антэ-апуд-ад-адверзус...»[i] и опять, с болью, с недоумением:

---

[i] Перечислены предлоги пространства и времени (*от лат. ante, apud, ad, adversus*).

«Абсурд!.. аб-сурд!!...»

Проталкиваюсь к кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это? Он косится на мой портфель и говорит уклончиво: «Так-с... выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре... да он невредный».

Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он истошно гнусит:

— Товарищ-комиссар — купите... — ра-ков!.. — гадости говорит и передразнивает кого-то: «абсурд!.. аб-сурд!!...» — прямо, бедлам какой-то.

И тут, монастырские башенные часы — четыре покойных перезвона, ровными переливами, — будто у них свое, — и гулко-вдумчиво стали отбивать — отбили — 10. И снова — «абсурд!.. аб-сурд!!..»

Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит человек... в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп — отполированный до блеска старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами, — чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, бородка, и... золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим недоумением, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: «абсурд!.. аб-сурд!!..» Я различаю в бормотаньи, будто он с кем-то спорит, внутри себя:

— Это же абсолю-тно... импоссибиле!.. абсолю-тно!!.. это же... контрадикцио!..[1] «антэ-апуд — ад-адверзус»... абсолю-тно!.. абсурд!.. аб-сурд!...

Бородатые мужики, с кнутьями, — видимо, приехавшие на базар крестьяне, — глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу порой сторожкий шопот: «Вон чего говорит... "ад отверзу"!.. "об-со-лю"!.. вон чего говорит». «Стало-ть уж ему известно...»

«Сидит — не отходит с места... ждет-взывает... ему и открывается, такому...»

Спрашиваю посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно: «Так... в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской академии[862], ученый примандацент,

---

[1] Противоречие (*от лат. contradictio*).

в мыслях запутался, юродный вроде... да он невредный, красноармейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего... хлебца подают. А, конешно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские... не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают... которые без пропоганды-образования».

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

IX

Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Меня потянуло в «заводь», в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я — человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе-тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня Лавры за садами. Увидал в садике цветы, приятные георгины, астры, петунии... кто-то, под бузиной, в лонгшезе, в чесучовом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет малиновым... Подумалось: «а хорошо здесь, тихо... читают книги... живут...». Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта... художники стреляли галок, для пропитания, писали свои картины Виноградов, Нестеров... приехал из нашей Тулы помещик Среднев... — «там потише», вспомнилось ласковое ласковое словечко Васи Сухова... — и рассказ его тут-то и выплыл из забвенья.

В грусти бесцельного блужданья нашел отраду, — не поискать ли Среднева? Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю, донес ли ему старец крест с Куликова Поля. У кого бы спросить..? И вижу: у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопа толстых книг. Приветствую, извиняюсь, спрашиваю: не знает ли где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает, без всякого недоверия:

— Да как же-с... отлично знаю Георгия Андреевича... слава Богу, благополучно переживает... книгами одолжаемся взаимно.

Знакомимся: «бывший следователь...» «бывший профессор Академии.....» Среднев проживает через два квартала, голубой домик, покойного профессора ...... друга Василия Осиповича Ключевского.

— Рыбку, бывало, вместе они ловили в Вифанских прудах, с особого разрешения... и я частенько присутствовал, видел с какой детской радостью фунтового линька вываживал на сачок Василий Осипович, словно неизвестный исторический фрагмент откапывал!.. какие чудесные беседы были, споры... теперь в с е кануло. В Лавре были?.. Да, понимаю, понимаю... трудно. «Абсурд»? Наш бедняга Сергей Иваныч, приват-доцент... любимый ученик Сергея Осиповича... не выдержал н а п о р а, «абсурд» помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом, но... о с е б е! а наш «Иов» мучается з а в с е х и з а в с я... не может принять, как абсурд, что «врата Лавры з а т в о р и л и с ь, и лампады... п о г а с л и».

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо серебоволосой старушки в черной наколочке. Я почтительно поклонился.

— Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок... — сказала она тревожно-ласково и скрылась.

— Да-да, голубка... — ласково отозвался профессор и продолжал, потише: «О нашем с т р а ш н о м теперь говорят, как об “апокалипсическом”. Вчитываются в “Откровение”... Не так это. Как раз я продолжаю свою работу. Сличаю и выверяю тексты, с подлинника, с греческого. Сегодня как раз читаю... — указал он карандашом, — 10 глава, стих 6: “И клялся Живущим... что времени уже не будет...” — и дальше про “горькую книгу”. Не то, далеко еще до сего, если принимать богодухновенность “Откровения”. Времена, конечно, “апокалипсические”, условно говоря...»

Мы говорим, говорим... — вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о «“нравственном запасе”, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка...» — ссылается на Ключевского.

— Обновляем ли запас этот? Кто скажет — «нет!» — ? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется.

Ключевский отлично отметил «смысл испытаний». Вопрос в чем?!.. для чего?.. Каков духовный потенциал наш?.. История обнаружила его и утвердила. И Ключевский ярко сказал об «исключительном свойстве» русского народа — в ы п р я м л я т ь с я чудесно-быстро. Иссяк ли «запас»? Нисколько. Потенциал огромный. З д е с ь, только за день до нашего «абсурда», в народной толпе у раки Угодника, было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иваныч спутал «залоги», выражаясь фигурально, этимологически-глагольной формой. Я сейчас объяснюсь...

Снова милая старушка тревожно его остановила:

— Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди..!

— Да, да, голубка... не буду... — ласково-покорно отозвался профессор.

— Видите, какая забота, ласковость, теплота... и это со-рок пять лет, с первого дня нашей брачной жизни, неизменно. Этого много и в народе: душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. «Окаянство», — разве может оно — пусть век продлится!.. — вскрикнул Василий Степаныч в пафосе, — истлить все клетки души и тела нашего?!.. клеточки, веками впитавшие в себя Бо-жие?!.. Вот это — аб-сурд!.. Призрачности, маленькой видимости — однодневке... не верьте! Не становьте над духом... над православным духом — крест!.. аб-сурд; — повторяю я...!

— Да Васи-лий Степаныч..! — уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка.

— Да-да, голубка... я не буду — жалея, отозвался профессор. — Сергей Иваныч... — продолжал он, понизив голос, — увидел себя ограбленным, обманутым, во всем: в вере, в науке, в народе, в... правде. Он боготворил учителя, верил в его прогнозы. И прав... но..! он сме-шал «залоги». Помните, у Ключевского..? в его прекрасном слове о Преподобном Сергии? Не помните... Ну, я помню. Но предварительно заявлю: народ нисколько не изжил «нравственного запаса»: православный народ наш, русский народ... — и я это знаю наблюдением и проверкой — знает: Преподобный — здесь, с ним... со всем народом, во всем народе... «Он ходит по народу, сокрытый», — говорят здесь и крепко верят. Раз есть такая вера, «запас» далеко не изжит, да и не изживался. Как это объяснить? Я же Вам говорю: глядите в душу народную! крепко вдумайтесь во — все. Все это — лишь испытание крепости «запаса», за-кал-ка, ну, как прививка перенесением болезни... сейчас творится выработка «анти-токсина». Так я верю и так я вижу. И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне якобы исполняющегося, как потрясенно принял Сергей Иваныч. «Залоги»?.. Да, спутал Сергей Иваныч, как многие. Все видимости «окаянства», всюду в России... — а Лавра — центр и символ! — это как бы «залог страдательный», а у Ключевского сказано в ином залоге.

Я, сознаюсь, не понял.

— Да это же так просто!.. — воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку. — Ключевский и весь народ, если

поймет его речь, признает, — заключает свою речь-«слово» о: «Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его», дерзнете ли Вы сказать, что мы «растратили без остатка»? Подумайте... Нет? конечно, бесспорно, ясно!... Мы все в страдании! Ныне же видим: ворота затворены, и лампады погашены!.. — выражено в стра-дательном залоге! страдание тут, насилие!.. и народ в этом неповинен. Свой «запас нравственный» он несет, и, в страдании, пронесет его, и — сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры растворятся, и лампады затеплятся,.. — залог дей-стви-тель-ный!.. не так ли?..

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «святая правда!.. но не волнуйся же так, дружок».

Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало: — «Душно в комнатах... в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней».

Часы-кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за интересную беседу, за удовольствие знакомства и думал — «да, здесь еще живут». Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего «кустырга». Я не понял.

— Все еще не привыкли к «словолитию»? Георгий Андреевич работает в отделе кустарей-игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают... это, конечно, между нами... на дальний путь. Поэт сказал правду!.. — и профессор прочитал трогательно:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль... —
Не им размыкать наше горе,
Развеять русскую печаль[863].

— Теперь не сказал бы... — заметил я, — тогда все же была свобода.

— Да-а... не все же, а — была!.. — мягко поправил меня профессор. — Гоголь мог ставить своего «Ревизора» на императорской сцене, и царь рукоплескал ему!.. Да что уж говорить... Другой поэт, повыше, лучше сказал: «Камо пойду от Духа Твоего? и от Лица Твоего камо бежу?..» Так вот через два квартала, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось — «Свободен от постоя», и «Дом действительного статского советника профессора Арсения Вонифа-

тиевича ....» Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл провидчески — «живописная эпитафия»... и добавлял: «Жития его было...»

Шел я, приятно возбужденный, освеженный, — давно не испытывал такого. И колокольня Лавры с в е т и л а мне.

X

Домик «Действительного статского советника» оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них «сердечками»; но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тут кто и ездил: на немощеной дороге, в буйной нетронутости, росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеяньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, за развороченным забором паслась коза на приколе. Подумал — ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз, хозяева: сегодня запоздали, получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка, редкость.

Узнали мы друг друга сразу, хотя я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и, в парусиновой «толстовке», размашистый, смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась, — все та же «девчушка», все такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным... — наивно-детским?.. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались.

Разговор наш легко наладился. Средневу посчастливилось: приехав в Посад, он поместился у родственника-профессора; профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкент передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска — «Свободен от постоя» — оказалась как раз по времени. Все в доме осталось попрежнему: иконы, портреты духовных лиц, троицкие «лубки», библиотека, кабинет с рукописями и свитками давних лет, пыльные пачки «Нового времени» и «Московских ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: «рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом: «Да-а... “Все в прошлом..!”[864] Картина такая была, в “Третьяковке”: запущенная усадьба, помещичий дом, в колоннах... старая барыня в креслах, и при ней ключница, на

порожке... Так и мы, “на порожке”...» Олечка отозвалась из другой комнаты:

— Нет, все с нами, есть.

Сказала спокойно-утверждающе. Среднев подмигнул мне и стал говорить, понизив голос:

— Для нее прошлого не существует, а все вечно, и все — живое. Это теперь ее вера. Впрочем можно найти и в философии, даже недалекого прошлого, как, например, у...

Я промолчал. В философии я профан, помню из Гераклита что-то... что «все течет...», да, кажется, Сократ, что ли, изрек: «я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать.

— У ней это, как говорится, «через призму религиозного восприятия», — продолжал он, понизив голос, — весь наш «абсурд», еще недавно вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет, он вне ее. Вот, видели Вы нашего «Иова на гноище»... его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет... «о всех и за вся», как говорится...

— Не кощунствуй, папа! — крикнула Олечка с укором, — ты же отлично знаешь, что это — не «как говорится», а...! Помимо своей воли, бедный Сергей Иваныч как бы Христа ради юродивый теперь, через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему.

Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне его эти жесты не нравились. Но Среднев, видимо, намолчался и теперь рад был разрядиться:

— Да, мужики по-своему понимают... и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес — свое! Наши философы страдают пристрастием к терминам, и на десяток слов у них, обыкновенно, половина иностранных... Сергей Иваныч не исключение. Путается в своем потемнении, шепчет или выкрикивает, например,.. — «на-ша традиция... на-ши традиции...» — а мужики свое слышат: «наше отродится!» Как вам нравится, а?.. недурно, а?..»

— И они се-рдцем правы!.. — отозвалась Олечка: — Правдой своей они живут, слушают внутреннее в себе, и им открывается.

Я дополнил, рассказав, как из «ад-адверзус» они вывели «ад отверзу», а из «абсолютно» — «обсолю». Среднев расхохотался, Олечка возмутилась: «Чего тут смешного, папа!.. Верят, что “ад отворится”, и все освободятся... и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, — “обсолится”!.. Только нужно истинную “соль”, а не ту, которая величала себя “солью земли”!..»

Среднев поднял руки и замахал с ужимками.

Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, тут же вспомнил о Сухове и спросил, не этот ли крест прислал им Вася Сухов с Куликова Поля.

— А вы-то откуда знаете?.. — очень удивился Среднев. Я ему объяснил. Он позвал Олечку. — Для нее это чрезвычайно важно... она все собиралась сама поехать. Вы знаете, она верит, что нам явился... Нет, лучше уж пусть она сама вам скажет... Нет, это профессорский крест, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был поменьше, и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко... несомненная старина. И, возможно, что «боевой», с той знаменитой Куликовской битвы. В лупу ясно видно, как посечено чем-то острым... саблей?.. Где посечено — полоска зелени, а все остальное — ясное.

Я удивился:

— Ка-ак?!.. ни черноты, ни окиси?...

— Только — где посечено... а все — совершенно ясное. Тут вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.

— Скажите... — она говорила прерывисто, пересиливая одышку, от волнения, — все, что знаете... я три раза писала Васе, ответа не было... хочу поехать — узнать все как было. Для папы в этом ничего нет, он лишь анализирует, старается уйти от очевидности!.. и не видит, что все его умствования ползут... А вы сами... верующий?.. — Я ответил, что — маловер, как все, тронутые «познанием».

— Маленьким земным знанием, а не «познанием»... — поправила она меня с улыбкой сожаления.

— Да-а... «чердачок» превалирует!.. — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, и не без удовлетворения. «Скажите все, что говорил вам наш Вася... Сухов!.. как он говорил?.. он не умеет лгать, он сердцем...»

Я постарался передать рассказ Сухова, точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязанный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении: «Так он и сказал — "священный лик"?.. "как на иконах пишется, в себе сокрытый..."?!.. Слышишь, папа?.. а я... что я сказала... тогда?!..»

Среднев пожал плечами:

— Что тут доказывает!.. — сказал он, чуть снисходительно. — Почему не объяснять не чудесным? ре-аль-ностью?!.. Ну, хотя бы тождеством восприятий?.. Бывают лица, особен-

но у старцев, о-чень даже «иконописные»! Иконописцы же не «небесной медалью» себе служили, изображая...!..

Чувствовалось, что Среднев говорит наигранно, и не так уж равнодушен к «случаю», как хочет показать это: в его тоне слышалось раздражение. Он слушал мой рассказ очень вдумчиво. Заинтересованный «случаем», — может быть тут сказалась и профессиональная моя привычка к «проверке», — «следственная», — я попросил рассказать обоих, как они получили крест. И вот, что мне рассказала Олечка, причем Среднев вносил порой поправки и пояснения, в своем стиле.

XI

Случилось э т о в конце прошлого октября, по старому стилю. Весь день лил холодный дождь, «с крупой», — как и т а м! — но к вечеру прояснело и захолодало. В тот день они получали в кооперативе — это они хорошо помнили — подсолнечное масло и пшено и вернулись домой поздней обычного, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря, — «как и выйти со двора, — поправил Среднев, — забор на пустырь полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило — 7. Среднев читал газету, Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг, кто-то постучал в ставню, как будто палочкой, — «три раза, раздельно... точно с в о й». Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая, «кто это..?» К ним знакомые заходили редко, больше по праздникам, и всегда днем. Те стучат властно, и в ворота. Оля приоткрыла форточку — постучали как раз в то самое окошко, где форточка! — и негромко спросила — «кто там?» Среднев, через «сердечко» в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом» — так говорил и Сухов! — «С Куликова Поля».

Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... — знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату: «папа... с Куликова Поля!..» — и тут же крикнула в форточку — Среднев отметил — «радостно-радушно»: «пожалуйста... сейчас отворю калитку!..» — «и стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже», — добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... — «не видала, кажется, никогда такого». Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру, в монашеской наметке поверх скуфьи, и, —

«очевидно, от блеска звезд», — вносил свое объяснение Среднев, — лик пришельца показался ей — «как бы в сиянии».

— Войдите — войдите, батюшка... — прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой — посветить.

Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа — «Рождество Богородицы» и «Спаса Нерукотворенного», по преданию, из опочивальни Ивана Грозного, и, «благословив все», сказал:

«Милость Господня вам, чада».

Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что... — «как-то невольно вышло... от торжественных слов, возможно». Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им в с е и сказал, «внятно и наставительно»: «Радуйтеся Б л а г о в е с т и ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом Поле и Волею Господа посылает, во знамение Спасения».

— Он — рассказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить. — Проще и... сильней, — поправил Среднев, — так, что я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах... затрудняюсь определить... — глубоко-проникновенную... духовную..? — Они стояли, «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги, — Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе, — и, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:

— Не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе... останьтесь, батюшка!..

— Вот, именно, про пшенную похлебку... отлично помню!.. — заметил к Олину рассказу Среднев, — редкое такое лакомство.

С Олей творилось непонятное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, «настойчиво даже», по замечанию Среднева: «Нет, вы останетесь!.. мы не можем вас отпустить так... у нас чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал о нашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны».

— Она была, прямо, в исступлении, — заметил Среднев.

— Не в исступлении... а я была... так у меня горело сердце, играло в сердце!.. я была... вот, именно, б л а ж е н н а!.. — пояснила Оля.

Она даже упала на колени. Старец положил руку на ее склоненную голову, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, «как бы вслушиваясь в себя»:

— Волею Господа, пребуду до утра зде.

Дальше... — «все было, как в тумане». Среднев ничего не помнил: говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял... — «был это, как миг... будто пропало время».

В этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не зажигали, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, — «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...» — озарило ее сияние, и она увидала... Л и к . Это был образ Преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горенье сердца и трепетное, от слез, сияние.

В благоговейном и «светлом ужасе», тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.

— Что было в моем сердце, этого нельзя высказать... — рассказывала, в слезах, Оля.

— Я уже не сознавала себя, какой была... будто я стала другой, в н е обычного-земного... будто я — уже не «я», а... д у ш а моя... нет, это нельзя словами...

— Она показалась мне радостно-просветленной, будто сияние от нее!.. — определил свое впечатление Среднев.

А с ним ничего «особенного» не произошло: «На душе было как-то необычайно легко, уютно». Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец «как-то особенно т о н к о уклонился, не приняв и не отказав»:

— Завтра день н е д е л ь н ы й, повечеру не вкушают.

Среднев не понял тогда, что значит «день недельный». Оля после ему сказала, что значит это — «день воскресный».

По его рассказу, Оля тогда «была г д е-то, не сознавала себя». Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, «чтобы гостю было удобно и уютно». Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, — «вот, эту самую», — и удивился, «как уютно стало при лампадке». Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев — это он запомнил — ничего не сказал, «будто так и надо», а лишь почтительно поклонился. Старец — видела Оля через слезы — остановился в дверях, и она услыхала «слово благословения»:

— Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом.

И благословил «пространно», — «будто благословлял все». И затворился. Оля неслышно плакала. Отец недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и, в слезах, шептала: «ах, папа... мне так хорошо, тепло...» И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту «приятную тишину», признавался Среднев: «и мне хорошо».

— Было такое чувство... безмятежного покоя... — подтверждал он, — что мне жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется «воздействием родственной души»... в психологии: волнение Оли сообщилось мне... то есть, ее благостное состояние.

Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась. Ей казалось, что Крест сияет. Среднев хотел осмотреть Крест, но Оля, страшась, что он возьмет его в руки, умоляюще зашептала: «не тронь, не тронь...» Так Крест и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронуто.

Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о жизни». Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее — «радостными и светлыми». Ей «все вдруг осветилось, как в откровении». Ей открылось, что все — живое, все — есть: «будто пропало время, вернулось время... не стало прошлого, а все — есть!» Для нее стало явным, бесспорным, что покойная мама — с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, любимый Шура, единственный брат у ней, — жив, и — с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого, — «все родное наше», — есть, и — с нею; и Куликово Поле, откуда явился Крест, — здесь, и — в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это «дано на миг»... боялась шевельнуться... «испугать мыслями»... — но «все становилось ярче... светилось, жило...

Ночи она не видела. В ставнях рассвет...

Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда. И не могла объяснить словами. И прочла, на память, из ап. Павла «К Римлянам»:

«...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни».

— Понимаете, все живет! у Господа ничто не умирает, а все — есть! нет утрат, а... всегда, все... живет.

Я не понимал.

XII

И вот, утро. Заскрежетал будильник — 7. Среднев вспомнил — «завтра отыду рано», и осторожно постучал в кабинет профессора... — ? — он — ушел». Но он не мог уйти! Оля сказала уверенно:

— Как ты не понимаешь, папа... это же было явление Святого!..

Среднев не понимал, не мог поверить. Он вошел в комнату: постель не тронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного:

— Ты ви-дишь?!.. и ты — не веришь?!..

Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был — абсурд.

Меня этот «странный случай» затронул двойственно: как следователя — загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека — явлением, близким к чуду, против чего восставало «здравое чувство привычной реальности». Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая, как будто: «и вы, как папа..?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка — рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к «странному случаю» особенно чутко и осмотрительно.

И я приступил к расследованию.

Только один был выход из кабинета профессора, — через их комнату, они не спали и — не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала; это облегчало уход бесшумный... но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, — это и могло, на первый взгляд, поразить: ушел, а дверь оказалась, после ухода, на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное, а то, что за ним дверь оказалась снова запертой, можно легко объяснить. Случай со щеколдой — не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.

— Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, и...

Он повел меня в сени и показал:

— Смотрите... поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю ее, чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь... — и щеколда падает в пробой! — сказал он уже за дверью. — Какое же объяснение иначе..?!..

Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: «гость», выходит, уж слишком предупредителен, — не хочет беспокоить спящих, оберегает их достояние от воров и... догадывается повторить как раз их уловку, со щеколдой, которая туговато держится!..

Оля упорно повторяла: — «Это было явление!.. Он ушел, для него нет преград».

Из дальнейшего рассказа о том утре...

Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: след завалило снегом. Оля показала на крыльцо:

— Завалило снегом?.. Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!.. — Среднев и тут объяснял «логично»: значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было; но, конечно, мог уйти и до снега... мог пройти мимо них неслышно... можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут... можно было пролезть в малинник, — забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала «логика». Для Среднева — чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о «встрече» на Куликовом Поле — «еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, добрейший, достойнейший человек... может быть, страстно болеющий страданиями народа, инок примерной жизни...» Пробовал объяснить и мотив «явления»:

— Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Эта находка Васи..! только вообразите: крест, с Куликова Поля!... какой же си-мвол!.. Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что... «ад отверзется»!.. эффект, психологически, совершенно исключительный. Заметьте тожественность его слов Васе и нам!.. «Господь посылает благовестие!» Пять веков назад, с благословения преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму... и вот голос от Куликова Поля: уповайте! — и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его!.. И он принимает на себя миссию, идет к нам, в вотчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет!...»

— Не вы-думал же о н Куликова Поля!.. — воскликнула Олечка, — это же б ы-л о!.. и Вася думал о нас, о Троице!.. Как все наду-мано у тебя!..

Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:

— Согласен, неясности есть... но..! — он развел руками, ища решения. — Я искренно расстроган, я преклоняюсь... за идею!.. готов руку поцеловать у этого светлого пришельца... И этот у х о д таинственный!.. какое тончайшее воздействие!.. обвеять т а й н о й... это же почти граничит с чу-дом! Если т а к о е... «явление»... бросить в массы! Но кто поверит нам, интеллигентам?.. Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным... нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо о б ъ я в и т ь Крест!.. И она хотела принять этот крест, бесстрашно!.. я умолил ее не делать этого... это повело бы лишь к великим бедствиям... — эти последние слова о «принятии креста» Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.

Помню еще: на доводы отца об «идее пришельца» Оля воскликнула: «Но это ты сам выдумал “идею” и приписываешь ее... к о м у?!. И принимаешь э т о за... доказательство! Где же твоя излюбленная “логика”?!.. Эта “идея” — обычный революционный прием!.. как это... ме-лко... в связи со в с е м!.. ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..»

Нет, ч у д а Среднев принять не мог. Я... почти верил. Я помню смуту во мне... — и необъяснимую мне самому у в е р е н н о с т ь, что я — близь ч у д а. Но я хотел — да, о щ у п а т ь. Опытом следователя я чувствовал, — по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему матерьялу «дела», что тут — необъяснимое, чудесное.

— И вы не верите... — с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.

Я сказал, что искренно хочу верить, что... «не могу не верить, смотря на вас», что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного у ч а с т и я в явлениях человеческой жизни «благой силы», что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и... п р о с т о т о й, таким благоговением, что я испытываю чувство с в я щ е н н о г о, — испытываю впервые в жизни. Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос: «да, тут — чудо». Но не высказывал этого категорично: мне, — это я тоже чувствовал, — ч е г о-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти-вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою

в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею; «какая она несовременная: извечное что-то в ней, заземное... такие были христианские мученицы-девы».

Наши «обмены мнений» продолжались дня два—три, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление «неразрешимости». Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме, что потерял сон. С утра меня тянуло в голубой домик, казавшийся мне теперь «таинственным». Не раз я, — искренно говорю, — взывал молитвенно... да, я страстно х о т е л ч у д а!.. и — ж д а л его.

— Ну, хорошо, допустим... я в л е н и е, о т т у д а... — будто сдавался Среднев. — Но!.. не могу я понять, почему... у н а с?!.. Я, конечно, не чистый атеист, я... не знаю, кто я..! но почему я, я удостоен такого... «высокого внимания»?!.

— Но почему вы допускаете... — вырвалось у меня невольно, — что это в ы удостоены... «высокого внимания»?.. — и перевел взгляд к Оле.

Среднев заметил это и смутился.

— Нет, я не обольщаюсь... — сказал он нерешительно, — я говорю смиренно: я недостоин, я...

— Папа, не укрывайся за слова!.. — с болью и нежностью вырвалось у Оли. — Ищет твоя душа... Бо-га ищет!.. но ты страшишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил... а то, чем ты жил — разве уже не рухнуло?!. ч т о у тебя осталось?.. все твои «идеалы» рухнули!.. чем же жить-то тебе теперь?!.. ведь не может рушиться только в е ч н о е, нетленное!.. А ты не бойся, ты не... — она заплакала.

И тут... ч т о-то блеснуло мне, как вдохновение!.. — дрожь по мне пробежала, помню... — и страх, и радость. В мозгу горело и томило: да? нет?.. Я поступил, слушаясь голоса инстинкта, не думая... быть может, по привычке к формуле протокола?.. — я коснулся «срока»: «к о г д а э т о произошло?» Стараясь не показывать волнения, стыдясь его почему-то, я восстановил для них: встреча Васи со старцем на Куликовом Поле произошла около 4-х часов дня, 25 октября, в субботу... в «родительскую» субботу, в «Димитриевскую», и это совершенно точно, потому что Сухов возвращался от дочери, со станции «Птань», где его угощали пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день очень чтут и пекут поминовенные пироги... пекли и в это время всеобщего опустошения.

— Вы это точно помните?!.. — воскликнула Оля, смертельно бледная. — Папа... слушай... па-па!.. — задыхаясь, едва выговорила она и показала к письменному столу, — «там,

в продовольственной книжке... записано у тебя... у меня в дневнике... знаю... а в твоей книжке..?..»

Она выбежала из комнаты. Среднев глядел на меня растерянно, в испуге даже, — и, вдруг, что-то поняв, нервно выдернул ящик стола, но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем... Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев — руки его тряслись — прочел прерывисто: «200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена... штемпель кооператива... 7 ноября...»

— Но это... 7 ноября!.. — крикнул он, в раздражении, и растерянно посмотрел вокруг.

— Да... 25 октября!.. по церковному исчислению... по старому стилю!.. — с усилием выговорила Оля, — в субботу... в Димитриевскую субботу!.. как там, на Куликовом Поле... в тот же вечер!.. больше четырехсот верст от нас!... Па-па..!...

Она зашаталась, упала бы, если бы я не поддержал ее. Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его дрожали, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Мог едва выговорить:

— В тот же... вечер...

Он опустился на стул, закрыл руками лицо. Оля стояла перед ним, прижав руки к груди, смотрела молча, понимая, что в нем сейчас происходит величайшее в его жизни. Среднева, буквально, сотрясало, спазмами... Подобное «разряжение» я не раз видал в своей практике следователя, но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось все привычное и замещалось... — на это ответить невозможно, это — вне наших измерений. Оля смотрела напряженно и выжидательно... и это было такое нежное, почти материнское душевное движение... — взгляд сердца. Я... совсем не был потрясен: очевидно, был уже подготовлен, нес в своем подсознательном бесспорность чуда. Уверовал ли я?.. Не смею говорить о сокровеннейшем в человеческой душе. Кто дерзнет о себе сказать, как и когда уверовал?!.. Это знает сердце. Но испытал впервые тогда, что такое, когда ликует сердце. Дивное чувство переполнения, вдохновенной, небывалой радостности, до сладостной боли в сердце, почти фи-зической!.. Знаю определенно одно только: все, томившее душу, конечно!.. чувствовалась радость-сила, — именно, ликование... упование!.. — ну, ничего не страшно, все чудесно, все предусмотренно... все — ведется!.. и все — так нужно. И — страстная воля к жизни!.. Полное освежение души, обновле-ние. И было еще... чувство профессионального торжества: раскрыл! — и так неожиданно для себя. Хотя... я, подсознатель-

но, уже ждал «самого важного». И оно случилось: не со Средневым только, а и со мной. Из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить «самое важное». Это — факт. Да, чувство профессионального торжества. Не я одержал победу, это я сознаю: Бог мне помог в моей победе. Это определить нельзя: это важнейшее в человеке, как неохватны сознанием величайшие миги жизни: рождение и смерть. Тут было — возрождение. Да, победа: никакими увертками нельзя было опорочить «юридического акта». Мое предварительное заявление о дне и часе было документально подтверждено записями в дневнике Оли и в сальной тетрадке Среднева... о... подсолнечном масле и пшене!.. Вду-майтесь же — ка-ки-ми же будничными мелочами!.. Это — разительно.

Со Средневым совершалось сложнейшее и, уверен, непонятное для него. Он отнял от лица руки, оглянул все, смущенно-радостно, новым каким-то взглядом, смазал совсем детским движением слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник: «Го-споди...!»

Оля нежно смотрела на него, вся в слезах. А я... я ликовал.

В Посаде я пробыл две недели, не мог уехать... Много тогда переговорилось, передумалось. Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это лишь начало... но какое прекрасное начало!.. мы как бы предчувствовали, что впереди — огромное богатство, которого едва коснулись.

Какие были дивные вечера тогда, какие звездные ночи!.. какую связанность нашу чувствовали мы со всем!.. Это был, поистине, творческий подъем.

И стало так понятно, почему притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены... чего искали.

В светлой грезе, я покидал Посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся, и до зимы приезжал не раз.

Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все было чисто, бело, — и розовая над снегом Лавра. Приехал, постучался в милый голубой домик, — никто не вышел.

Соседи шепотом мне сказали, что «господа спешно уехали куда-то». Очевидно, так надо было.

Январь—февраль, 1939 — февраль 1947.

Париж

Примечания

310

Ед. хр. 28. Л. 52, 53. Письмо, рук.

[1] *Прошлое письмо (от 11.I)...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 73).

[2] *...«страх страха», по Достоевскому...* — И. С. Шмелев неточно цитирует фразу Кириллова («Бесы». Часть 1. Гл. 3. VIII). В оригинале: «...боль страха смерти» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 10. Л., 1974. С. 94).

[3] *На днях умер ген. Головин...* – Николай Николаевич Головин (1875—1944), генерал-майор, военный теоретик, педагог, историк. Начальник штаба адмирала Колчака. В 1920 г. эмигрировал во Францию. После оккупации Франции германскими войсками Н. Н. Головин входил в Комитет взаимопомощи русских эмигрантов, отправлял добровольцев на работу в Германию и офицеров в армию генерала А. А. Власова. Генерал Головин умер 10 января 1944 г. от сердечного приступа.

[4] *...Сережино писание...* — речь идет о письме В. А. Нарсесяну, которое С. А. Субботин отправил на адрес И. С. Шмелева.

[5] *...«Слава Тебе, показавшему нам Свет!»* — возглас из всенощной службы.

[6] *...твой рассказ о «звезде»...* — об этом идет речь в письме О. А. Бредиус-Субботиной от 30 декабря 1943 г. (Т. 2. № 69).

[7] *И веется рассказ – «Бред?»...* — речь идет о рассказе И. С. Шмелева «Почему так случилось». См. примечание 350 к письму № 73 (Т. 2).

[8] *...пушкинского «Воспоминания»...* — упоминается стихотворение А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828).

[9] *...проработанное «Куликово поле».* – имеется в виду вариант 1942 г. См. вступительную статью к данному изданию (Т. 3. Ч. 1).

311

Ед. хр. 29. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

[10] *...«Почему так случилось» ... не отдам в печать.* – впоследствии намерения И. С. Шмелева изменились. Рассказ был опубликован в газете «Парижский вестник» (1944. 15, 22 апреля. № 95—96).

[11] *...случай с Фетом...* — далее И. С. Шмелев излагает мифологизированную версию смерти А. А. Фета (1820—1892). Поэт умер 21 ноября

(3 декабря). За полчаса до смерти А. А. Фет, отослав жену, продиктовал секретарше записку: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». После этого он попытался покончить с собой и умер от сердечного приступа.

312

Ед. хр. 29. Л. 13, 14. Письмо, машинопись.

313

Ед. хр.29. Л. 32—34. Письмо, машинопись, рук.

12 *...будет 25—26 глав...* — И. С. Шмелев называет второй частью романа часть 2 «Радости» и часть 3 «Скорби», деление на которые произошло позже. В окончательном варианте 2-ой и 3-ей частей романа «Лето Господне» 24 главы. См. письмо И. С. Шмелева от 21 февраля 1944 г. (Т. 2. № 79). См. также вступительную статью к ч. I настоящего тома.

13 *...с 27 года, помаленьку писалось...* — первым был опубликован очерк «Наше Рождество. Русским детям» (Возрождение. 1928. 7 янв. № 949), ставший впоследствии главой «Рождество» 1 части романа «Лето Господне».

14 *...заключить... «Бессмертным»!* — имеется в виду молитва «Святый Боже, Святый Крепкий...» (Трисвятое), словами которой заканчивается роман «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 388).

314

Ед. хр. 29. Л. 38, 39. Письмо, машинопись.

15 *...сказанное мной в Праге, в июне 1937 г. ...* — о выступлении И. С. Шмелева на Дне русской культуры см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 2000. С. 231. См. также примечания 238 к письму № 59 и 548 к письму № 129 (Т. 1).

315

Ед. хр. 29. Л. 45, 46. Письмо, машинопись.

316

Ед. хр. 29. Л. 52, 53. Письмо, машинопись.

317

Ед. хр. 30. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

16 *...«вспыхнуло крестом»...* — И. С. Шмелев цитирует фразу из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 21 января 1944 г. (Т. 2. № 75). См. также примечание 355 к этому письму.

318

Ед. хр. 30. Л. 8, 9. Письмо, машинопись.

319

Ед. хр. 30. Л. 15, 16. Письмо, машинопись.

17 *...«Похороны» — тронули тебя.* – письмо О. А. Бредиус-Субботиной, на которое ссылается И. С. Шмелев, не сохранилось. Из переписки 1944 г. в архиве О. А. Бредиус-Субботиной хранятся ее письма от 1, 8, 15, 21 января (Т. 2. № 71, 72, 74, 75), 24 марта (Т. 2. № 83), 19 апреля (Т. 2. № 84), 7 июля и 20 августа (№ 372, 396 в наст. томе). Остальные письма утрачены.

320

Ед. хр. 30. Л. 20, 21. Письмо, машинопись.

18 *...17 страниц вместо 12...* — рассказ был переслан И. С. Шмелевым в письмах от 24 и 25 января 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 6, 7, 13—15). Вариант 1944 г. незначительно отличается от опубликованного текста рассказа.

19 *...похлопотать о визе мне.* – из-за военных событий поездка И. С. Шмелева в Швейцарию состоялась только в 1947 г. Писатель жил в Швейцарии с декабря 1947 г. по апрель 1949 г.

20 *«...любовь к отеческим гробам».* – И. С. Шмелев цитирует фрагмент незавершенного стихотворения А. С. Пушкина (1830).

321

Ед. хр. 30. Л. 25, 26. Письмо, машинопись.

322

Ед. хр. 30. Л. 35, 36. Письмо, машинопись.

323

Ед. хр. 30. Л. 40, 41. Письмо, машинопись.

324

Ед. хр. 30. Л. 45, 46. Письмо, машинопись.

325

Ед. хр. 30. Л. 51, 52. Письмо, машинопись.

326

Ед. хр. 30. Л. 57, 58. Письмо, машинопись.

327

Ед. хр. 31. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

21 *...письмо от 16.II. ... в письме от 12-го...* — указанные письма в архиве О. А. Бредиус-Субботиной не сохранились.

22 *...для календаря отрывки.* — речь идет о публикации отрывков из произведений И. С. Шмелева на листках отрывного календаря.

328

Ед. хр. 31. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

329

Ед. хр. 31. Л. 11. Письмо, машинопись.

23 *...«У всенощной»...* — И. С. Шмелев имеет в виду свой очерк «Свете тихий». См. письмо от 12 марта 1944 г. (№ 337 в наст. томе).

330

Ед. хр. 31. Л. 12. Письмо, машинопись. В одном конверте с первым письмом И. С. Шмелева от 28 февраля 1944 г. (№ 329).

331

Ед. хр. 31. Л. 16 ,17. Письмо, машинопись, рук.

332

Ед. хр. 31. Л. 21, 22. Письмо, машинопись, рук.

24 *...«Вчера я растворил темницу...» Туманского.* – речь идет о стихотворении Федора Антоновича Туманского (1799—1853) «Птичка» (1827). Это стихотворение упоминается также в главе «Благовещенье» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 48).

333

Ед. хр. 31. Л. 26, 27. Письмо, машинопись, рук.

334

Ед. хр. 31. Л. 31, 32. Письмо, машинопись, рук.

25 *...рассказов, которые отдала доктору!* – см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 29 августа 1943 г. (Т. 2. № 55).

335

Ед. хр. 31. Л. 36, 37. Письмо, машинопись, рук.

26 ...*«Детство», «Отрочество» Л. Толстого...* — см. примечание 718 к письму № 184 (Т. 1).

27 ...*«Семейные хроники», Аксакова.* – автобиографическая дилогия Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), состоящая из романов «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858).

336

Ед. хр. 31. Л. 41, 42. Письмо, машинопись, рук.

28 ...*Скончался (вдруг) Петр Бернгардович Струве.* – П. Б. Струве (1870—1944) умер 26 февраля.

29 *«...окончен мой труд многолетний...»* — И. С. Шмелев цитирует первую строку стихотворения А. С. Пушкина «Труд» (1830).

337

Ед. хр. 31. Л. 52, 53. Письмо, машинопись, рук.

30 ...*10-го марта...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 80).

31 ...*твое последнее письмо.* – в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

32 ...*помню их гостеприимство в 38 г. ...* — речь идет о пребывании И. С. Шмелева в Швейцарии с января по апрель 1938 г. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 2000. С. 236. См. также примечание 341 к письму № 77 (Т. 1).

33 ...*много я тогда написал!* – в замке Хальденштейн И. С. Шмелев написал первые главы романа «Иностранец» (роман остался незавершенным) и главы «Ледяной дом», «Говенье» и «Вербное воскресенье» второй части романа «Лето Господне».

34 *«...учиться у московских просвирен».* – И. С. Шмелев неточно цитирует фрагмент из «Опровержение на критики и замечания на собственные сочинения» А. С. Пушкина (1830). В оригинале: «...не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 11. Критика и публицистика 1819—1834. Л., 1949. С. 149).

35 ...*немецкое издание «Няни».* – об этом см. примечание 368 к письму № 79 (Т. 2).

338

Ед. хр. 32. Л. 6, 7. Письмо, машинопись, рук.

36 ...*снабжают деньгами «патриотов»...* — речь идет о движении Сопротивления, которое поддерживалось правительствами Англии и США.

[37] *...эти «налеты» всюду...* — в феврале 1944 г. Париж подвергался постоянным бомбардировкам.

339

Ед. хр. 32. Л. 11. Письмо, машинопись.

[38] *...10-го – тебе...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 80).

[39] *13-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 12 марта 1944 г. (№ 337 в наст. томе).

[40] *...вчера, с рассказом «Петровками».* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 18—20 марта 1944 г. (№ 338 в наст. томе).

[41] *...твое, от 15—17.III.* – в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

340

Ед. хр. 32. Л. 20, 21. Письмо, рук.

[42] *...от 27.III ...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

341

Ед. хр. 32. Л. 15, 16. Письмо, машинопись.

[43] *...«На Святой»...* — глава из романа «Лето Господне» впервые была опубликована в газете «Возрождение» (1939. 7 апреля. № 4178).

342

Ед. хр. 32. Л. 25. Письмо, машинопись. В одном конверте с 1 ч. второго письма И. С. Шмелева от 7 апреля 1944 г. (№ 343).

[44] *...это окончательная редакция...* — о работе над романом «Лето Господне» см. вступительную статью к первой части Т. 3.

343

Ед. хр. 32. Л. 26, 31. Письмо, машинопись.

344

Ед. хр. 32. Л. 30, 36. Письмо, машинопись.

345

Ед. хр. 32. Л. 35, 40. Письмо, машинопись.

346

Ед. хр. 32. Л. 41. Письмо, машинопись, рук.

347

Ед. хр. 32. Л. 45, 46. Письмо, машинопись, рук.

45 *...«Чертог Твой...»* — пасхальное песнопение; *...думалось о «Путях Небесных».* — И. С. Шмелев ссылается на эпизод из II главы «На перепутьи» первого тома романа, в который включено данное песнопение (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 30).

46 *...твое пасхальное...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

348

Ед. хр. 32. Л. 56, 57. Письмо, машинопись, рук.

349

Ед. хр. 33. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

47 *...в русской парижской газете.* – см. примечание 10 к письму № 311 в наст. томе.

350

Ед. хр. 33. Л. 6, 7. Письмо, машинопись, рук.

351

Ед. хр. 33. Л. 15, 16. Письмо, машинопись, рук.

48 *...письмо от 19.IV...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 84).

49 *...написал тебе 28.IV...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 85).

50 *...твое от 1-2.V.* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

352

Ед. хр. 33. Л. 30, 31. Письмо, машинопись, рук.

51 *...разобью на 2—3.* – в окончательном варианте романа «Пути небесные» первый день Дариньки в «Уютове» описан в V—VIII главах («Благословенное утро», «Святитель», «Откровение», «Миг созерцания»).

52 *...у А. К. Толстого в «Иоанне Дамаскине...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует первые две строки второй главки поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (1858). В оригинале: «Благословляю вас, леса, / Долины, нивы, горы, воды!»

[53] *...образ святителя (Филиппа)...* – речь идет о Филиппе (Федоре) Колычеве (1507—1569), митрополите Московском. Канонизирован в 1648 г.

[54] *...древнейший предок рода...* — И. С. Шмелев неточен: род Колычевых происходит от боярина Андрея Ивановича Кобылы.

[55] *Навожу справки о художниках...* — в редакции романа «Пути небесные» 1943—1944 гг. автором портрета Ольги Константиновны Ютовой и учителем ее младшего сына Алексея Ютова назван И. Н. Крамской (см. Приложение. «Пути небесные». Фрагмент № 9). В окончательном варианте романа фамилия художника обозначена как «К...» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 285).

[56] *...барона Бодэ...* — после смерти последнего представителя рода Колычевых в 1875 г. гофмейстеру барону М. Л. Боде было позволено принять фамилию своей матери Н. Ф. Колычевой и герб Колычевых и именоваться бароном Боде-Колычевым. См.: Боде-Колычев М. Л. Боярский род Колычёвых. М., 1886.

[57] *...принесение икон в Уютово...* — в окончательном варианте романа «Пути небесные» этот эпизод описан в XIX главе «Поднятие икон».

353

Ед. хр. 33. Л. 25, 26. Письмо, машинопись, рук.

354

Ед. хр. 33. Л. 30, 31. Письмо, машинопись.

355

Ед. хр. 33. Л. 35. Письмо, рук.

356

Ед. хр. 33. Л. 39, 40. Письмо, машинопись, рук.

[58] *Твое письмо...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

[59] *...знакомая дама-казанка...* — сведений о ней нет.

357

Ед. хр. 33. Л. 44, 45. Письмо, машинопись, рук.

358

Ед. хр. 33. Л. 51, 52. Письмо, машинопись, рук.

[60] *...старик-агроном (петровец!)...* — упоминается знакомый Ю. А. Кутыриной, о нем см. письмо И. С. Шмелева от 7 августа 1946 г. (Т. 2.

№ 140). И. С. Шмелев обыгрывает название Петровской земледельческой и лесной академии (осн. в 1865 г.).

359

Ед. хр. 34. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

61 *...твое письмо, от 9-го – VI...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

360

Ед. хр. 34. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

361

Ед. хр. 34. Л. 11, 12. Письмо, машинопись, рук.

362

Ед. хр. 34. Л. 16, 17. Письмо, машинопись, рук.

363

Ед. хр. 34. Л. 21, 22. Письмо, машинопись, рук.

62 *...«Лик» и «Белую ширму».* – речь идет о произведениях О. А. Бредиус-Субботиной. Рассказ «Лик» был назван впоследствии «Заветный образ» (см. примечание 471 к письму № 192, Т. 3. Ч. 1). О замысле второго рассказа см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 31 августа 1947 г. (№ 603 в наст. томе).

364

Ед. хр. 34. Л. 26, 27. Письмо, рук.

63 *...последнее письмо – от 9.VI.* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

365

Ед. хр. 34. Л. 32, 33. Письмо, машинопись, рук.

366

Ед. хр. 34. Л. 37, 38. Письмо, машинопись, рук.

65 *...Чайковский создал романс...* — романс «Благословляю вас, леса...» принадлежит к циклу из семи романсов (ор. 47), созданных П. И. Чайковским в 1880 г.

367

Ед. хр. 34. Л. 44, 45. Письмо, машинопись, рук.

368

Ед. хр. 34. Л . 49, 50. Письмо, машинопись, рук.

[66] *...исправь ... 3-ий стих...* — в отправленной О. А. Бредиус-Субботиной редакции второй части романа вместо «Благословляю я свободу» было написано «Благословляю всю природу» (см. Приложение. «Пути небесные». Фрагмент № 18).

[67] *...писалась вот так – «Неупиваемая».* – об этом см. в кн.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 2000. С. 117.

369

Ед. хр. 34. Л. 57, 58. Письмо, машинопись, рук.

370

Ед. хр. 35. Л. 1, 2. Письмо, машинопись, рук.

[68] *...письмо твое, от 21.VI.* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

371

Ед. хр. 35. Л. 6, 7. Письмо, машинопись, рук.

372

Ед. хр. 80. Л. 10, 11. Письмо, рук.

[69] *После твоего разбора «ландышей»...* — речь идет об отзыве И. С. Шмелева (Т. 2. № 52) о сказке О. А. Бредиус-Субботиной (Т. 2. № 51).

373

Ед. хр. 35. Л. 11, 12. Письмо, машинопись, рук.

[70] *...«место из шестопсалмия»...* — в тексте главы «Аллилуиа» приводится строка из псалма 50 «Помилуй меня, Боже...» (Приложение. «Пути небесные». Фрагмент № 31), который не входит в шестопсалмие. См. примечание 399 к письму № 86 (Т. 2).

374

Ед. хр. 35. Л. 16, 17. Письмо, машинопись, рук.

[71] *...письмо «именинное».* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 86).

375

Ед. хр. 35. Л. 21, 22. Письмо, машинопись, рук.

376

Ед. хр. 35. Л 26, 27. Письмо, машинопись, рук.

72 *...твое, от 2.VII ...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

73 *Все твое, июль 41...* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной о ее жизни в Викенбурге (Т. 1. № 28—30).

74 *...«прости, он рек, тебя я видел...»* — первая строка третьей строфы стихотворения А. С. Пушкина «Ангел» (1827).

75 *...сцена-то с «роем»...* — фрагмент главы XII «Вещий рой» второй части романа И. С. Шмелева «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 312—313).

377

Ед. хр. 35. Л. 37, 38. Письмо, машинопись, рук.

76 *...«Симоне Ионин... любиши ли?»* — Ин. 21, 16.

77 *...3-кратное отречение Петра.* — Ин. 18, 25-27.

78 *...убежавшего в страхе юноши...* — Мк. 14, 51-52.

79 *...«из шестопсалмия».* – см. примечание 70 к письму № 373 в наст. томе.

378

Ед. хр. 35. Л. 42, 43. Письмо, машинопись, рук.

80 *...этой главой (11-ой)...* — в окончательном варианте романа «Пути небесные» данный фрагмент стал частью XVI главы «Романтика».

81 *...«ино еще побредем!»* — И. С. Шмелев приводит фрагмент из диалога протопопа Аввакума (1621—1682) и его жены Анастасии Марковны: «"Долго ли муки сея, протопоп, будет?" — "Марковна, до самыя смерти!" — "Добро, Петрович, ино еще побредем!"» (Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 47).

379

Ед. хр. 35. Л. 49, 50. Письмо, машинопись, рук.

380

Ед. хр. 35. Л. 56, 57. Письмо, машинопись, рук.

82 *Умер... о. Сергий Булгаков.* — С. Н. Булгаков умер 12 июня 1944 г. в Париже.

381

Ед. хр. 35. Л. 61, 62. Письмо, машинопись, рук.

83 *Почему даже...153 рыбы.* — Ин. 21, 11.

382

Ед. хр. 36. Л. 1, 2. Письмо, машинопись, рук.

84 *...письмо твое от 8.VII...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

85 *...случай на путейском обеде...* — в окончательном варианте второй части романа указанный эпизод описан в XXIV главе «Еще “явление”».

86 *...«ничего в волнах не видно»...* — строка из русской народной песни «Вниз по матушке по Волге».

383

Ед. хр. 36. Л. 6, 7. Письмо, машинопись, рук.

384

Ед. хр. 36. Л. 12, 13. Письмо, машинопись, рук.

385

Ед. хр. 36. Л. 18, 19. Письмо, машинопись, рук.

386

Ед. хр. 36. Л. 23, 24. Письмо, машинопись, рук.

87 *...«Иисус Неизвестный»...* — вероятно, И. С. Шмелев пользовался следующим изданием: Мережковский Д. С. Иисус Неизвестный. Т. 2. Ч. 1. Белград, 1933; Т. 2. Ч. 2. Белград, 1934.

387

Ед. хр. 36. Л. 28, 29. Письмо, машинопись, рук.

388

Ед. хр. 36. Л. 33, 34. Письмо, машинопись, рук.

88 *Под названием XV главы...* — имеется в виду глава «В опьянении». В окончательном варианте второй части романа это XXX глава.

389

Ед. хр. 36. Л. 38, 39. Письмо, машинопись, рук.

89 *...«Петр и Иоанн»...* — речь идет о книге С. Н. Булгакова «Святые Петр и Иоанн» (Париж, 1927).

390

Ед. хр. 36. Л. 43, 44. Письмо, машинопись, рук.

391

Ед. хр. 36. Л. 48, 49. Письмо, машинопись, рук.

90 *...очень давно (с 1-го VIII)...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 25 июля 1944 (не сохранилось).

392

Ед. хр. 36. Л. 53, 54. Письмо, машинопись, рук.

393

Ед. хр. 36. Л. 58, 59. Письмо, машинопись, рук.

394

Ед. хр. 37. Л. 1, 2. Письмо, машинопись, рук.

395

Ед. хр. 37. Л. 6, 7. Письмо, машинопись, рук.

91 *...как события сложатся.* – в связи с военными действиями переписка была прервана. См. примечание 402 к письму № 87 (Т. 2).

92 *...тут апокалипсическое...* – о событиях во Франции в августе 1944 г. см. примечание 406 к письму № 88 (Т. 2).

396

Ед. хр. 80. Л. 13, 14. Письмо, машинопись, рук.

93 *...и Леной...* — упоминается приемная дочь семьи Толен.

94 *...Лиличка...* — сведений о ней нет.

397

Ед. хр. 37. Л. 11. Письмо, машинопись, рук.

95 *...послал письмо...* — письмо И. С. Шмелева от 12 июня 1945 г. опубликовано в Т. 2 (№ 88).

96 *...твое от 23.V.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 87).

398

Ед. хр. 37. Л. 21. Письмо, рук.

97 *...от последнего моего письма...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 15 августа 1944 г. (№ 395 в наст. томе).

98 *...когда взорвали.* – речь идет о шлюзах, взорванных немецкими войсками при отступлении. См. примечание 405 к письму № 87 (Т. 2).

[99] *Последнее твое письмо...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 16 июня 1945 г. (Т. 2. № 90).

[100] *...в тот же день тебе написал.* – письмо И. С. Шмелева от 26 июня опубликовано в Т. 2 (№ 91).

399

Ед. хр. 37. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

[101] К сноскам внизу страницы:

...«16 июня». – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 90).

...одной моей американской читательницы! – имеется в виду Шарлотта Барейс. См. примечание 411 к письму № 88 (Т. 2).

Издается «История любовная»... — речь идет о неосуществленном французском издании романа. См. примечание 153 к письму № 418 в наст. томе.

Переиздается «Человек»... — в библиографиях произведений И. С. Шмелева, составленных Д. М. Шаховским и О. Н. Сорокиной, сведений об этом переиздании нет.

400

Ед. хр. 80 Л. 32. Почтовая открытка, рук.

401

Ед. хр. 37. Л. 46. Почтовая открытка, рук.

[102] *...письмо от 17—19 сент. ...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 99).

[103] *...на письмо от 6-го...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 98).

402

Ед. хр. 81. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

[104] *...письмо от 25.IX...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 100).

[105] *...«рыба, рак, лебедь».* – О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует название басни И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» (1816).

403

Ед. хр. 81. Л. 11, 12. Письмо, рук.

404

Ед. хр. 38. Л. 1. Письмо, машинопись.

106 *...сумасбродное письмо...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 11 октября 1945 г. (Т. 2. № 104).

107 *...Иоанн Шаховской, едет в Америку...* — в статье «Близок час» о. Иоанн Шаховской приветствовал немецкую оккупацию России, так как видел в ней средство борьбы с советской властью. Поэтому в 1945 г. он был выслан из Германии во Францию, затем уехал в США. В 1946 г. стал епископом Бруклинским, а впоследствии архиепископом Сан-Францисским. Об о. Иоанне Шаховском см. примечание 143 к письму № 41 (Т. 1). *Говорили о тебе.* — в 1932 г. митрополит Евлогий назначил о. Иоанна благочинным русских приходов в Германии. Живя в Берлине, о. Иоанн познакомился с И. А. Ильиным и О. А. Бредиус-Субботиной. Отзыв Ильина о Шаховском см. в примечании 113 к письму № 405 в наст. томе.

108 *...«Сущность русской культуры».* – речь идет о книге И. А. Ильина «Wesen und Eigenart der russischen Kultur. Drei Betrachtungen» («Сущность и своеобразие русской культуры. Три соображения»), изданной в Цюрихе в 1942 г.

109 *Там и о Шмелеве частенько.* – творчеству И. С. Шмелева посвящена первая часть книги.

110 *Звал меня о. Иоанн — в далекое...* — речь идет о возможном переезде И. С. Шмелева в США. Писатель начал планировать эту поездку позже, в 1948 г. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 2000. С. 293.

405

Ед. хр. 81. Л. 18, 19. Письмо, рук.

111 *В Швейцарии Dr. Klinkenbergh...* — о поездке доктора Клинкенберга в Швейцарию и о его встрече с И. А. Ильиным см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 19 октября 1945 г. (Т. 2. № 105).

112 *Один русский господин...* — лицо не установлено.

113 *...«смиренно-лукавый».* — И. А. Ильин писал И. С. Шмелеву о «беспринципном честолюбии», «иезуитской лживости» и «святовидимости» о. Иоанна Шаховского (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 402). О произведениях о. Иоанна он отзывался как об «искренних, но слабых и неумных» (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 97).

406

Ед. хр. 81. Л. 22. Письмо, рук.

407

Ед. хр. 81. Л. 28. Письмо, рук.

114 *...газету из Парижа...* — вероятно, имеется в виду еженедельная газета «Русские новости». См. также примечание 486 к письму № 109 (Т. 2).

408

Ед. хр. 38. Л. 19, 20. Письмо, рук.

115 *...«Чехов» с моим выбором и предисловием ... новую книжку...* — см. примечания 407 и 408 к письму № 88 (Т. 2).

116 *Новая переводчица...* — речь идет об Элен Эмерик.

409

Ед. хр. 81. Л. 35. Письмо, рук.

117 *...укоризненное письмо...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 18 декабря 1945 г. (Т. 2. № 109).

118 *...Валентина Дмитриевна Грондейс...* — о ней см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 21 декабря 1945 г. (Т. 2. № 110).

119 *...умер один дядюшка...* — профессор Абрахам Бредиус, коллекционер произведений Рембрандта.

120 *После моего подношения Королевскому дому...* — об этом см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 21 декабря 1945 г. (Т. 2. № 110).

410

Ед. хр. 38. Л. 30. Почтовая открытка, рук.

121 *...вкатить из моего тебе «Washington»'а!* – И. С. Шмелев ошибочно решил, что О. А. Бредиус-Субботина отправила обратно часть высланной ей американской продовольственной посылки.

122 *...взята еще дама для услуг...* — лицо не установлено.

123 *...вышлю ее дорогому другу И. А.* — И. С. Шмелев отправил рукопись романа «Пути небесные» 7 и 12 февраля, о чем сообщил И. А. Ильину в письме от 13 февраля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 381).

411

Ед. хр. 81. Л. 41, 42. Письмо, рук.

124 *...твоя забота обо мне...* — О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует фрагмент предыдущего письма.

125 *...Королевская семья...* — см. примечание 492 к письму № 110 (Т. 2).

412

Ед. хр. 38. Л. 43, 44. Письмо, рук.

126 *...главу про «петуха»...* — в окончательном варианте романа XXVI глава «Почему?».

127 *...весь ушел-было в К. Леонтьева...* — 18 января 1946 г. И. С. Шмелев писал И. А. Ильину: «Вчитываюсь в К. Леонтьева. Он *не* по мне... Своеобразен, да... но – за волосы себя притащил (притащил ли?!) –

к вере... (и ка-кой!) и вряд ли дам встречу с ним в Оптиной (в романе)» (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 380).

128 ...*Феофана-Затворника*... — см. примечание 528 к письму № 116 (Т. 2).

129 ...*«служенье муз не терпит суеты»!* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

130 ...*«буду являться и...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует слова Ивана Дмитриевича Громова, персонажа рассказа А. П. Чехова «Палата № 6» (1892). В оригинале: «Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 8. 1892—1894. М., 1977. С. 121). «Кивающий» палец встречается в более раннем рассказе А. П. Чехова «Либерал» (1884): «...и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 2. 1883—1884. М., 1975. С. 298).

131 ...*«Панферовна»*. — прозвище Домны Парфеновны, персонажа романов И. С. Шмелева «Богомолье», «Лето Господне».

132 ...*«Dracena Grandiosa»*... — см. примечание 8 к письму № 1 (Т. 2).

133 ...*сын богача-сапожника*... — прототип «Булки», персонажа автобиографических произведений И. С. Шмелева.

413

Ед. хр. 38. Л. 35. Письмо, машинопись.

414

Ед. хр. 81. Л. 44. Письмо, рук.

134 ...*последнего письма*... — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 10 января 1946 г. (Т. 2. № 112).

135 ...*почему я его взяла*. – об истории брака О. А. Субботиной и А. Бредиуса см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 28/29 октября 1941 г. (Т. 1. № 67).

415

Ед. хр. 82. Л. 1. Письмо, рук.

136 ...*за твои фотографии!* – И. С. Шмелев отправил О. А. Бредиус-Субботиной две свои фотографии: «Москвич» (1942) и профильный портрет, приложенный к французскому изданию «Человека из ресторана» (1925). Фотография «Москвич» опубликована в Т. 1. Указанные фотографии находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116).

137 ...*такое письмо?* – имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 18 февраля 1946 г. (Т. 2. № 114).

138 ...*немцы взорвали могилу Пушкина*... – при отступлении в июле 1944 г. немцы заминировали Святогорский монастырь. Был взорван Успенский собор и все монастырские постройки. Могилу А. С. Пушкина

немцы взорвать не успели, однако при взрыве собора памятник на могиле был поврежден.

139 *«Лорды» еще себя покажут.* – основные положения внешней политики Великобритании были сформулированы в Фултонской речи У. Черчилля (5 марта 1946 г.), которая считается началом «холодной войны» с СССР.

416

Ед. хр. 82. Л. 2. Почтовая открытка, рук.

140 *...сообщение о Гребенщиковых.* – см. примечание 516 к письму № 114 (Т. 2).

417

Ед. хр. 82. Л. 4—7. Письмо, рук.

141 *...девица из Парижа.* – вероятно, имеется в виду Беатрис Шлюссер.

142 *...«откуда-то, м.б. из-за спины...»* — неточная цитата из рассказа И. С. Шмелева «На морском берегу». В оригинале: «Откуда-то, из-за спины, что ли, — вытащил Димитраки белую тросточку» (Шмелев И. С. На морском берегу. Белград, 1930. С. 61).

143 *...«это человек-то вошь?»* — фраза Сони Мармеладовой, часть 5 глава IV романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

144 *Афонского послушать.* – см. примечание 92 к письму № 30 (Т. 1).

418

Ед. хр. 38. Л. 58, 59. Письмо, машинопись, рук.

145 *...написал от 7-го.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 116).

146 *...в обитель преп. Иова.* – о пребывании И. С. Шмелева в монастыре преп. Иова Почаевского см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 231—232.

147 *...«Вакса»...* — кличка лошади из рассказа И. С. Шмелева «Мери» (1907).

148 *...она никуда.* — имеется в виду Р. Б. Кандрейя, переводы которой неоднократно вызывали неодобрительные отзывы И. А. Ильина. Например, И. А. Ильин писал И. С. Шмелеву 13 января 1946 г.: «Ох, за Кандрюшку не отвечаю. Няню она перевела *развязно* – где не понимала (ароматнейшие детали!), там или пропускала, или *перевирала от себя*» (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 379).

149 *...Кэт Розенберг...* — Катарина Розенберг (Rosenberg), переводчица произведений И. С. Шмелева на немецкий язык («Человек из ресторана», «Это было» и др.), работала в издательстве S. Fischer. И. С. Шмелев высоко оценивал ее переводы. См. письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 18 января 1932 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 252—253).

[150] *След Лютера нашел Иван Александрович.* – об этом см. письмо И. А. Ильина от 23 февраля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 385).

[151] *...окончательно составить для печати.* — книга И. С. Шмелева «Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби» вышла в 1948 г. в издательстве YMCA-Press.

[152] *...французское издание «Путей»...* — роман И. С. Шмелева «Пути небесные» (Les Voies Celestes) в переводе Элен Эмерик был издан в 1946 г. издательством «Павуа» (Pavois).

[153] *...от французской «Истории любовной»...* — издание не было осуществлено, так как издательство разорилось. См. письмо И. С. Шмелева от 16 сентября 1946 г. (№ 492 в наст. томе).

[154] *Ехать туда...* — речь идет о возможном возвращении в Россию.

419

Ед. хр. 39. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

[155] *...«веленью Божию»...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

[156] *...«ни за что не смей предлагать»...* — И. С. Шмелев приводит фразу из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 21 марта 1946 г. (Т. 2. № 117).

[157] *...о твоей «колотовке»...* — имеется в виду Елизавета Бредиус, золовка О. А. Бредиус-Субботиной.

[158] *...ответ-отписка профессора из «Скучной истории»...* — И. С. Шмелев неточно цитирует фрагмент из повести А. П. Чехова (1889). В оригинале на вопрос Кати: «Говорите же: что мне делать?» — профессор отвечает: «По совести, Катя: не знаю...» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 7. 1888—1891. М., 1977. С. 309).

[159] *...Барейс... взяла слово с И. А. найти... переводчика для «Богомолья»...* — И. С. Шмелев не совсем точен: Шарлотта Барейс обещала И. А. Ильину перевести «Богомолье» «под его надзором». См. письмо И. А. Ильина И. С. Шмелеву от 2 июля 1945 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 316).

[160] *...швейцарское издательство... во Фрауэнфельде...* — упоминается издательство Verlag von Huber & Co.

[161] *...издавало «Няню из Москвы».* – см. примечание 368 к письму № 79 (Т. 2).

[162] *...князей Волконских...* — см. примечания 348 и 349 к письму № 77 (Т. 1).

[163] *...узнаю от парижских Волконских.* — речь идет о вдове и сыне князя А. Н. Волконского. См. примечание 506 к письму № 202 (Т. 3. Ч. 1).

420

Ед. хр. 82. Л. 15. Письмо, рук.

164 *...прилетает из Америки золовка с мужем и дочкой...* — речь идет о Верру Бредиус-Хичман, ее муже и дочери Рене. О них см. примечания 458 к письму № 101 и 582 к письму № 133 (Т. 2).

165 *...останусь без говенья.* – в конце 1945 г. – начале 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина изменила свое отношение к о. Дионисию, так как его поведение, по ее мнению, не соответствовало сану священника. Об этом см. письма от 30 декабря 1945 г. (Т. 2. № 111) и от 22 июля 1946 г. (№ 453 в наст. томе).

166 *...эксперт Рембрандта.* – имеется в виду Абрахам Бредиус. О нем см. примечание 281 к письму № 55 (Т. 2).

421

Ед. хр. 39. Л. 9—11. Письмо, рук.

167 *...хорош с Сикорским...* — Игорь Иванович Сикорский (1889—1972), авиаконструктор и промышленник. В эмиграции с марта 1918 г., с 1919 г. в США, где в 1923 г. создал свою авиастроительную фирму. И. И. Сикорский активно помогал эмигрантским общественным и политическим организациям, поддерживал Русскую Православную Церковь в США.

168 *...он все хиреет...* — после войны у А. М. Ремизова ухудшилось зрение. «Я отдал мои глаза земле, а жду солнца», — писал А. М. Ремизов Наталье Владимировне Кодрянской 3 февраля 1946 г. (Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977. С. 32).

169 *...с Бальмонтом...* — см. примечание 249 к письму № 62 (Т. 1).

170 *...с Куприным...* — об отношениях И. С. Шмелева с А. И. Куприным см. в кн.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 141, 180, 207.

171 *...письмо о «Богомолье»...* — см. примечание 268 к письму № 54 (Т. 2).

172 *...бывало езжал в казино...* — об этом см. письмо И. С. Шмелева от 18 августа 1943 г. (Т. 2. № 54).

173 *...открывается «conference de la Paix».* – речь идет о Парижской международной конференции по подготовке мирных договоров со странами, побежденными во Второй мировой войне.

174 *...или где-то в рассказе.* – И. С. Шмелев неточен. Приведенные им слова произносит не конторщик Семен Епиходов, персонаж комедии «Вишневый сад» (1904), а Григорий Цыбукин — герой рассказа А. П. Чехова «В овраге» (1900).

175 *...Геббельс арестовал «Няню» в январе 38 г.* – книга, как не соответствующая «германскому духу», была запрещена в Германии в январе 1938 г. Через три месяца тираж было разрешено вывезти в Швейцарию. Подробнее об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 270.

[176] *...«Хозяин и работник».* — рассказ Л. Н. Толстого (1895).

[177] *...писал в 1864—69 — 5 лет...* — И. С. Шмелев не совсем точен: Л. Н. Толстой начал работу над романом «Война и мир» в 1863 г. Оценку творчества Л. Н. Толстого см. также в письме к И. А. Ильину от 5 апреля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 400—402).

[178] *...недавно женился...* — Л. Н. Толстой женился на С. А. Берс в сентябре 1862 г.

[179] *Сейчас письмо И. А. И.* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 2 апреля 1946 г. с упоминанием об О. А. Бредиус-Субботиной. См.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 398.

422

Ед. хр. 39. Л. 14. Письмо, рук.

[180] *...д-р Вербов...* — сведений о нем нет.

[181] *...лечивший и мою почитательницу и даже незадачливую сценаристку...* — лица не установлены.

[182] *...письмо от И. А. Ильина по поводу моих... писем...* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 11 апреля 1946 г., ответ на письма И. С. Шмелева от 5 и 7 апреля 1946 г. ; *...«буйно-вдохновенных».* — неточная цитата из указанного письма И. А. Ильина. См.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 414; *...концепцию религии...* — слова И. С. Шмелева о вере как искусстве и второстепенной роли философии в богопознании. См. письмо от 7 апреля 1946 г. (Там же. С. 410—411).

[183] *...о Квартирове и Нарсесяне.* – речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 8 апреля 1946 г. (Т. 2. № 119).

423

Ед. хр. 39. Л. 17. Поздравительная пасхальная открытка, отправленная в конверте, рук.

424

Ед. хр. 39. Л. 20, 21. Письмо, рук.

[184] *Открытка из Утрехта...* — имеется в виду открытка от 23 апреля 1946 г. (Т. 2. № 120).

[185] *Был мне свет...* — 19 апреля 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина приехала в Париж и впервые встретилась с И. С. Шмелевым. 22 апреля она была срочно вызвана телеграммой в Голландию и уехала в тот же вечер. Об этом см. письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 28 апреля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 419—420).

[186] *Вспомни «Тучку», Лермонтова...* — И. С. Шмелев ошибочно называет «Тучкой» стихотворение М. Ю. Лермонтова «Утес» (1841).

[187] *...французский перевод «Чаши»...* — в библиографиях, составленных Д. А. Шаховским и О. Н. Сорокиной, сведений об этом издании нет.

425

Ед. хр. 82. Л. 26, 27. Письмо, рук.

188 *М[ария] М[ихайловна]...* — М. М. Меркулова. См. примечание 556 к письму № 124 (Т. 2).

426

Ед. хр. 82. Л. 34, 35. Письмо, рук.

427

Ед. хр. 82. Л. 41. Записка, приложенная к цветам, рук.

189 *Пусть я уеду...* — вторая встреча О. А. Бредиус-Субботиной с И. С. Шмелевым произошла [7—8] мая 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина уехала из Парижа 11 июня 1946 г. Об этом см. также письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 16 июня 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 426).

428

Ед. хр. 40. Л. 10—12. Письмо, машинопись, рук.

190 *...от 12 – вечером?..* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 127).

191 *...мое пятое письмо...* — письмо И. С. Шмелева от 15 (утро) июня 1946 г. (Т. 2. № 129). Четыре письма, написанные до этого, датируются 11, 12, 13 и 14 июня 1946 г. (Т. 2. № 123, 124, 125, 128).

192 *...чтобы было приятно «хозяину» твоему...* — речь идет об Арнольде Бредиусе. См. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 12 июня 1946 г. (Т. 2. № 127).

193 *...авион от Ивана Александровича...* — об этом см. письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 13 июля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 432). И. С. Шмелев не совсем точен: об отъезде О. А. Бредиус-Субботиной в Голландию он сообщил И. А. Ильину в письме от 15 июня 1946 г. (Там же. С. 426).

194 *Фавсте Николаевне...* — имеется в виду Ф. Н. Толен.

195 *...бумажку-депешу...* — см. примечание 569 к письму № 130 (Т. 2).

196 *...Ивонин...* — см. примечание 548 к письму № 122 (Т. 2).

429

Ед. хр. 40. Л. 16—21. Письмо, рук.

197 *На проклятии Пушкина?* – речь идет об истерике О. А. Бредиус-Субботиной.

198 *...«крэпка, Зорзик!»* — отсылка к эпизоду прощания из рассказа И. С. Шмелева «На морском берегу»: «Понял ли Жоржик, что хотел сказать Димитраки? Если и не понял, так почувствовал все, что

вложил старик в свое последнее слово “крэпка”» (Шмелев И. С. На морском берегу. Белград, 1930. С. 62).

430

Ед. хр. 83. Л. 7, 8. Письмо, рук., чернила, карандаш.

199 *...письмо от 12.VI!* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 124); *Твои от 11-го и 13-го...* — указанные письма опубликованы в Т. 2 (№ 123, 125).

200 *Жида самого...* — речь идет о муже Верру Бредиус Р. С. Хичмане.

431

Ед. хр. 83. Л. 12. Открытка с городским пейзажем, рук.

201 *...это уже 4-ое писанье.* – два письма О. А. Бредиус-Субботиной от 11 и 12 июня 1946 г. опубликованы в Т. 2 (№ 126, 127).

432

Ед. хр. 82. Л. 53, 54. Письмо, рук.

202 *...твоим письмом от 14-го.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 128).

433

Ед. хр. 83. Л. 1, 2. Письмо, рук.

203 *...M-lle Peltenburg...* — см. примечание 576 к письму № 131 (Т. 2).

434

Ед. хр. 40. Л. 26. Письмо, машинопись.

204 *...«Каменного века».* – см. примечание 549 к письму № 129 (Т. 1).

205 *Не знаешь «Солдат»...* — речь идет о незавершенном романе И. С. Шмелева. См. примечание 483 к письму № 108 (Т. 1).

206 *Родионов...* — поэт Вадим Николаевич Родионов. О нем см. примечание 572 к письму № 130 (Т. 2).

207 *...медь звенящая и кимвал бряцающий!* – 1 Кор. 13, 1—2.

208 *...Поль Клоделю...* — упоминается французский писатель и поэт Поль Клодель (1868—1955), один из основоположников католического возрождения (неотомизма) в литературе.

209 *...г-жа Ражо...* — сведений о ней нет.

210 *...продолжения «Иностранца»...* — незавершенный роман И. С. Шмелева. См. примечание 552 к письму № 129 (Т. 1).

211 *...«Придет пора...»* — И. С. Шмелев цитирует третью и четвертую строфы из стихотворения «Дитяти» (1851) И. С. Никитина

(1824—1861). В третьей строфе пропущены три последние строки: «Быть может, труд тебя согнет... / И детства радужные грезы / Умрут под холодом забот».

212 *...простой парень говорит о них!* – И. С. Шмелев упоминает эпизод из очерка «Петровками» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 161).

435

Ед. хр. 83. Л. 14, 14а. Письмо, рук.

213 *...Бернацкая...* — см. примечание 577 к письму № 131 (Т. 2).

436

Ед. хр. 40. Л. 30. Фрагмент письма, рук.

214 *«Экспресс»...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 17 июня 1946 г. (№ 429 в наст. томе).

437

Ед. хр. 83. Л. 22. Почтовая открытка, рук.

438

Ед. хр. 83. Л. 23, 23а. Письмо, рук.

215 *...мама вырвала у меня из рук.* – об этом см. письмо И. С. Шмелева от 28 июня 1946 г. (№ 442 в наст. томе). См. также примечание 567 к письму № 130 (Т. 2).

216 *Мама писала... тебе письмо...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо А. А. Овчинниковой не сохранилось.

217 *...«Трагедию на охоте».* — имеется в виду повесть А. П. Чехова «Драма на охоте» (1885).

218 *...жены Рембрандта.* – см. примечание 546 к письму № 216 (Т. 3. Ч. 1).

439

Ед. хр. 83. Л. 24—26. Письмо, рук.

219 *...твое заказное письмо.* – письмо И. С. Шмелева от 21 июня 1946 г. (Т. 2. № 130).

220 *...Беатрис.* — вероятно, Беатрис Шлюссер.

221 *...за фотографию.* – см. примечание 568 к письму № 130 (Т. 2).

222 *...гимн-стих.* – речь идет о стихотворении в прозе, которое И. С. Шмелев отправил О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 21 июня 1946 г. (Т. 2. № 130).

440

Ед. хр. 40. Л. 36. Письмо, рук.

223 *...мои лихорадочные записи...* — позднее И. С. Шмелев переслал их О. А. Бредиус-Субботиной. В настоящее время они находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 1—4).

224 *Исходишь пеной безнадежно...* — 1 строфа из стихотворения И. С. Шмелева «Завет прощальный» (1946). Полностью это стихотворение приведено в письме к И. А. Ильину от 11 июля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 428).

441

Ед. хр. 40. Л. 40. Письмо, рук.

442

Ед. хр. 40. Л. 43—45. Письмо, машинопись.

225 *Этот «доктор»...* — речь идет о женихе Н. Н. Первушиной.

226 *...«возлюбил много»...* — неточная цитата из Евангелия (Лк. 7, 47).

227 *...в Лиге Обера!* – см. примечание 855 к письму № 194 (Т. 2).

443

Ед. хр. 83. Л. 36, 37. Письмо, рук.

228 *...о твоих гениальных любовных гимнах...* — см. примечание 222 к письму № 439 в наст. томе.

444

Ед. хр. 83. Л. 51, 52. Письмо, рук.

229 *...о тетке из Берлина... Ее племянник...* — сведений о них нет.

445

Ед. хр. 40. Л. 49. Письмо, рук.

230 *...в прекрасной женщине...* — имеется в виду чешская пианистка Славица Златка. О ней см. примечание 586 к письму № 134 (Т. 2).

231 *...в советском посреднике (инженере).* – речь идет о визите «Пантелеева» (вероятно, Б. Г. Пантелеймонова). Об этом см. примечание 594 к письму № 135 (Т. 2).

232 *...«искушение в пустыне».* – Мф. 4, 1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13.

446

Ед. хр. 40. Л. 53—56. Письмо, машинопись.

233 ...*«подстреленной птицей»*... — И. С. Шмелев цитирует стихотворение Ф. И. Тютчева «О, этот Юг, о, эта Ницца!» (1864).

234 ...*о «завете»*. – речь идет о стихотворении «Завет прощальный», первую строфу которого И. С. Шмелев отправил О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 27 июня 1946 г. См. также примечание 224 к письму № 440 в наст. томе.

235 ...*«Оленька-ясочка...»* — имеется в виду стихотворение в прозе И. С. Шмелева. См. примечание 222 к письму № 439 в наст. томе.

236 *«...Никто... не перевел бы "Богомолье", как она»*. – И. С. Шмелев цитирует свое письмо к И. А. Ильину от 11 июля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 429).

237 ...*Восторгами души и сладостною болью!..»* — стихотворение опубликовано в переписке с И. А. Ильиным (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 429).

238 ...*на 29 июля — мирная конференция!* – Парижская мирная конференция проходила с 29 июля по 15 октября 1946 г. На ней рассматривались проекты мирных договоров государств — участников антигитлеровской коалиции с бывшими союзниками Германии.

239 ...*«Про одну старуху» с «Каменным веком»*. — сведений об этом издании в библиографиях, составленных Д. М. Шаховским и О. Н. Сорокиной, нет.

240 ...*Расловлева*... — речь идет о М. С. Расловлеве. См. примечание 628 к письму № 140 (Т. 2).

241 ...*советский ученый-химик*... — см. примечание 231 к письму № 445 в наст. томе.

242 ...*Елена – немка*... — домработница И. С. Шмелева. О ней см. письмо от 31 октября 1941 г. (Т. 1. № 69).

243 ...*«скульптора» — Фигаро*. – имеется в виду художник и скульптор Hernandes. О нем см. письма О. А. Бредиус-Субботиной от 30 июня 1946 г. (Т. 2. № 132) и 8 августа 1946 г. (№ 472 в наст. томе).

244 ...*в феврале — писал тебе*... — речь идет о письме И. С. Шмелева от 18 февраля 1946 г. (Т. 2. № 114).

245 ...*О, Красота Господня!»* — автоцитата из письма И. С. Шмелева от 16 декабря 1945 г. (№ 408 в наст. томе).

246 *Письмо Юле*... — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо Ю. А. Кутыриной не сохранилось.

447

Ед. хр. 41. Л. 6—11. Письмо, рук.

247 ...*голландский «чичиков»*... — И. С. Шмелев ссылается на эпизод о службе Чичикова на таможне из XI главы поэмы «Мертвые

души» (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1951. С. 234—237).

248 *...они взяты тобой...* — в целях подготовки переписки к публикации О. А. Бредиус-Субботина планировала начать перепечатку писем. Работа не была завершена.

249 *...переписку Чехова?* – речь идет о шеститомнике «Письма А. П. Чехова», который Книгоиздательство писателей в Москве издавало с 1913 по 1916 гг.

250 *И насовал же я тут лоскутков!* – письмо написано на 7 листах разного размера.

251 *...письмо от 30.VI.46...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 132).

448

Ед. хр. 41. Л. 15—21. Письмо, рук.

252 *...франк пьяный теперь...* — речь идет о колебаниях послевоенного курса франка.

253 *...в завершение 2 книги «Лета Господня».* – речь идет о подготовке романа «Лето Господне» к книжному изданию. См. примечание 710 к письму № 161 (Т. 2).

254 *Катюшка...* — Екатерина-Ольга Жантийом (род. 1943), дочь Ива Жантийома и его первой жены Люсьен Лекомт.

449

Ед. хр. 41. Л. 25. Записка, приложенная к цветам, рук.

450

Ед. хр. 84. Л. 9, 10. Письмо, рук.

255 *...«Въезд в Париж» переведен?* – рассказ «Въезд в Париж» был переведен на немецкий язык в 1951 г. Р. Кандрейей (Einzug in Paris. Zuerichsee-Zeitung. 10 nov. 1951. № 265).

451

Ед. хр. 41. Л. 38—41. Письмо, машинопись.

256 *...Буренин в «Новом времени»...* — имеются в виду критические фельетоны Виктора Петровича Буренина (1841—1926), которые он публиковал в газете «Новое время» с 1866 по 1917 г.

257 *...это еще Чехов отмечал.* – об этом см. примечание 7 к письму И. С. Шмелева от 1 июня 1942 г. (Т. 2. № 1).

258 *Твое «ДОма»...* — имеется в виду набросок рассказа О. А. Бредиус-Субботиной, отправленный И. С. Шмелеву в письме от 14 июля 1946 г. (Т. 2. № 135).

259 *...Потапенки, Баранцевичи, Тимковские...* — И. С. Шмелев перечисляет следующих писателей: Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929), Казимир Станиславович Баранцевич (1851—1927), Николай Иванович Тимковский (1863—1922).

260 *И таким — премию Нобеля.* – в 1929 г. Томасу Манну была присуждена Нобелевская премия за роман «Будденброки» (1901).

261 *...жена у него...* — Екатерина Принсгейм (1883—1980), дочь мюнхенского профессора, вышла замуж за Томаса Манна в 1905 г.

262 *...моя Каточка...* — Кэт Розенберг. См. примечание 149 к письму № 418 в наст. томе.

263 *Один писал романизированные биографии, другой — почти порнографию.* — И. С. Шмелев неточен. И романизированные биографии, и рассказы с подробным описанием любовных переживаний принадлежат Стефану Цвейгу. См. примечания 699 и 702 к письму 182 (Т. 1).

264 *...идиоту испанскому...* — имеется в виду скульптор Hernandes.

265 *...«молодку», в красном платье!* – см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 14 июля 1946 г. (Т. 2. № 135).

266 *В последнем рассказишке...* — упоминается рассказ И. А. Бунина «Гость» (1940) из сборника «Темные аллеи». Рассказ был также напечатан в американском журнале «Новоселье» (1946. № 26).

267 *...«Когда цветет молодое вино»* ... — И. С. Шмелев упоминает комедию (1909) норвежского писателя Мартиниуса Бьёрнстьерне Бьёрнсона (1832—1910).

268 *...как пели музыканты...* — имеется в виду эпизод из рассказа «Песня» (1925) (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 177—179).

269 *...как мой несчастный в «Мареве».* – речь идет о герое рассказа «Марево» Степане Кадырине.

270 *...послал тожественные...* — в РГАЛИ находятся два «именинных» письма И. С. Шмелева от 21 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 41. Л. 30—33; Ед. хр. 42. Л. 36, 37). Рукописный вариант опубликован в Т. 2. (№ 136). Машинописный вариант с пометами О. А. Бредиус-Субботиной (№ 465 в наст. томе) был отправлен И. С. Шмелеву не ранее 25 июля 1946 г., возвращен им с его приписками в одном конверте с письмом от 27 июля 1946 г. На конверте (Ед. хр. 41. Л. 27) помета О. А. Бредиус-Субботиной: Послано обратно по просьбе.

271 *...Поленов, ...Крымов...* — русские художники Василий Дмитриевич Поленов (1871—1927) и Николай Петрович Крымов (1884—1958).

272 *...прекрасные космические стихи!* – речь идет о стихах И. И. Новгород-Северского из сборника «К созвездиям» (Париж, б.г.).

452

Ед. хр. 41. Л. 46, 47. Письмо, рук.

273 *...французский доктор...* — лицо не установлено.

274 *«Птицы»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован в берлинской газете «Руль» (1924. 8 ноября. № 1197). Сведений о публикации перевода Кэт Розенберг в библиографиях, составленных О. Н. Сорокиной и Д. А. Шаховским, нет; *«На пеньках»* — об этом см. примечание 715 к письму № 161 (Т. 2).

453

Ед. хр. 84. Л. 13, 14. Письмо, рук

275 *...флюнтик...* — младший брат Арнольда Бредиуса Корнелиус (Кес).

276 *...о. Евграфа...* – вероятно, Евграф Евграфович Ковалевский (1905—1970), церковный деятель, иконописец, член парижского общества «Икона», регент, один из учредителей и членов Православного братства им. святого патриарха Фотия при Трехсвятительском подворье в Париже. В храме Братства в знак единства христианских конфессий литургия раз в неделю служилась по-французски. В 1953 г. о. Евграф Ковалевский организовал самостоятельный (не входящий в юрисдикцию ни одной из Поместных Церквей) православный приход L'Eglise Catholique Orthodoxe de France. С 1964 г. – епископ.

454

Ед. хр. 41. Л. 52. Письмо, рук.

277 *...тонкие «сосульки»...* — имеется в виду фрагмент письма О. А. Бредиус-Субботиной от 14 июля 1946 г. (Т. 2. № 135).

455

Ед. хр. 84. Л. 17, 18. Письмо, рук.

278 *...Наденьки, моей питомицы...* — сведений о ней нет. В РГАЛИ находится поздравительная открытка [23.VII.1936], адресованная О. А. Бредиус-Субботиной, с подписью «Надя» (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 154. Л. 4.).

456

Ед. хр. 42. Л. 1. Письмо, рук. Адрес отправителя: Au coin de la rue Digue et de l'avenue de Coubertin, St. Remy-les-Chevres, S. O.

279 *Читал — одобрил.* — к письму И. С. Шмелева приложено письмо Ю. А. Кутыриной от 21 июля 1946 г. с поздравлением О. А. Бредиус-Субботиной с именинами и стихами И. И. Новгород-Северского (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 42. Л. 2).

280 *...жена писателя...* — Вера Алексеевна Зайцева (урожд. Орешникова, 1878—1965).

457

Ед. хр. 42. Л. 6—8. Письмо, рук. На конверте указан вымышленный адрес отправителя: Giovanni Tchmelini, 11, Claud Lourrain, apart. 7. Paris, 16-e.

281 *...с покойной Императрицей...* — о фотопортрете О. А. Бредиус-Субботиной см. примечание 253 к письму № 62 (Т. 1).

282 *...с сыном Струве...* — речь идет о Глебе Петровиче Струве (1898—1985), литературоведе, журналисте, переводчике.

283 *...не раз свидетельствовал мне И. А. Ильин...* — в самом первом письме И. С. Шмелеву от 19 января 1927 г. И. А. Ильин писал: «Истинное искусство всегда философично, всегда метафизично и религиозно – горит, и жжет, и очищает душу» (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 13). В письме от 23 февраля 1927 г. И. А. Ильин подчеркивал: «В каждой строчке Вашей философия живет и поет...» (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 16).

284 *...«звезда Любви на небосклоне»...* — И. С. Шмелев неточно цитирует романс «Гори, гори, моя звезда» (муз. П. Булахова, сл. В. Чуевского, 1847).

285 *...Jaques Lusseyran...* — Жак Люсейран (род. 1924), французский писатель, публицист и общественный деятель. Ослеп в 8 лет в результате несчастного случая. Во время войны принимал активное участие в движении Сопротивления.

286 *...наша гимназия (6-ая)...* — о гимназических годах И. С. Шмелева см. в кн.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 25—26.

287 *...писать о ревности... в «Солдатах»...* – речь идет о сюжете романа «Солдаты», основанном на истории любви капитана Степана Бураева.

458

Ед. хр. 42. Л. 13—15. Письмо, рук. На конверте указан вымышленный адрес отправителя: M-me de Bourdon, 112, av. de Versailles, Paris, 16-e.

288 *...писал тебе о Денисе-попе?!* – имеются в виду письма И. С. Шмелева от 16 февраля 1942 г. (Т. 1. № 147) и от 10 января 1946 г. (Т. 2. № 112).

289 *...«Богословского института»...* — Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Основан в 1925 г.

290 *...сынков покойного Евграфия Петровича.* – И. С. Шмелев упоминает Евграфа Петровича Ковалевского (1865—1941), юриста, председателя комиссии по народному образованию Государственной думы, эмигрировавшего во Францию в 1917 г., и его сыновей: Петра Евграфовича (1901—1978), историка, преподавателя русского языка и литературы, председателя Братства св. Александра Невского; Максима Евграфовича (1903—1988), председателя Русского музыкального общества в Париже и Евграфа Евграфовича Ковалевских.

291 *Написал статью...* — речь идет о статье «Вселенскость православия», опубликованной в «Журнале Московской Патриархии» (1946. № 10. С. 18—20).

292 *...Владимира Ницкого...* — о нем. см. примечание 336 к письму № 77 (Т. 1).

[293] *...(из Киевского патерика) преп. Дионисий...* — преп. Дионисий, затворник Печерский (XV в.). Чудо с преп. Дионисием упоминается в 8-й песне общего канона киево-печерским святым.

459

Ед. хр. 42. Л. 19. Письмо, рук. На конверте указан вымышленный адрес отправителя: M-me Aimee, 68, rue Michel-Ange, Paris, 16-e.

460

Ед. хр. 84. Л. 21. Письмо, рук.

[294] К сноске внизу страницы:
И все — не вышли. – у Л. Н. и С. А. Толстых было тринадцать детей: Сергей (1863—1947), Татьяна (1864—1950), Илья (1866—1933), Лев (1869—1945), Мария (1871—1906), Петр (1871—1873), Николай (1874—1875), Варвара (родилась и умерла в ноябре 1875), Андрей (1877—1916), Михаил (1879—1944), Алексей (1881—1886), Александра (1884—1979), Иван (1888—1895); *...Сергей...* — Сергей Львович Толстой был талантливым музыкантом, писал рассказы о жизни народа и мемуарные очерки; *Александра...* — см. примечание 925 к письму № 225 (Т. 2); *Илья...* — см. примечание 147 к письму № 22 (Т. 2); *Лев Львович...* — Л. Л. Толстой серьезно занимался литературой, писал пьесы, рассказы и воспоминания.

[295] *...на твои письма...* — имеются в виду именинные письма И. С. Шмелева (Т. 2. № 136, № 465 в наст. томе).

461

Ед. хр. 84. Л. 24—26. Письмо, рук.

[296] *... Dr. Noest...* — сведений о нем нет.

[297] К сноске внизу страницы:
...прадедушкой Аполлос... — речь идет об Аполлосе Ивановиче Субботине (1807—1884). О нем см. в кн.: Добровольский Г. Ф. О роде Субботиных на Ярославской земле. М., 2003. С. 17—18; Добровольский Г. Ф. Дорогами испытаний. М., 1998. С. 12—13.

[298] *...«Wickenburgh'a».* – стихотворение И. С. Шмелева, отправленное О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 21 июля 1946 г. (Т. 2. № 136).

[299] *...за 4 фото твои.* – одна из ужгородских фотографий опубликована в Т. 1. Оригиналы хранятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 117. Л. 1, 2).

462

Ед. хр. 42. Л. 23—26. Письмо, рук.

[300] *...17 1/2 лет.* – о реальном возрасте И. С. Шмелева см. примечание 217 к письму № 54 (Т. 1).

[301] *«...должна быть немножко глуповата...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует фразу из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому. См. примечание 703 к письму № 183 (Т. 1).

463

Ед. хр. 42. Л. 36, 37. Письмо, рук.

[302] *...«память Сен-Женевьев».* – название рисунка О. А. Бредиус-Субботиной, посланного И. С. Шмелеву.

464

Ед. хр. 42. Л. 29—31. Письмо, рук. На конверте указан вымышленный адрес отправителя: M-lle Darinka Koroljova-Bellevue, 7, rue Rossignol, Sévres (S. O.).

[303] *Брось о [Светлике]...* — вероятно, имеется в виду Славица Златка.

[304] *...о. Сергиенко...* — речь идет об о. Андрее Сергеенко. О нем см. примечание 460 к письму № 102 (Т. 2).

[305] *...сынок ... Сергиенко, кормившегося от Толстого.* – упоминается литератор и публицист Петр Алексеевич Сергеенко (1854—1930). И. С. Шмелев ошибается: П. А. Сергеенко и А. А. Сергеенко родственниками не являются.

[306] *...“похоронные дроги”.* – И. С. Шмелев неточно цитирует фрагмент из письма А. П. Чехова А. С. Суворину от 24 августа 1898 г. В оригинале: «Я боюсь его, это погребальные дроги, поставленные вертикально» (Переписка А. П. Чехова: В 3 т. Т. 1. М., 1996. С. 401).

[307] *...ночью, в поле, «Яре».* – эпизоды из главы XXIV «Исступление» и главы XXV «Прелесть» первой части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 198—209).

465

Ед. хр. 42. Л. 35. Письмо, рук. На конверте указан вымышленный адрес отправителя: M-me Sladkoglasnuy, 84, rue de la Cigale, Paris 20-e (Мадам Сладкогласная, 84, улица Кузнечика, Париж 20-й, *фр.*).

[308] *...возвращаю — для твоего архива.* — в одном конверте с письмом отправлен машинописный вариант «именинного» письма И. С. Шмелева от 21 июля 1946 г. (№ 465 в наст. томе). См. примечание 269 к письму № 451 в наст. томе.

466

Ед. хр. 42. Л. 41. Письмо, рук.

[309] *...послал большое письмо!* – имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 11 июля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 427—432).

[310] *...от него было от 10-го.* – указанное письмо И. А. Ильина опубликовано в кн.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 427.

467

Ед. хр. 84. Л. 37—40. Письмо, рук.

[311] *Портрет мой...* — впоследствии О. А. Бредиус-Субботина выслала И. С. Шмелеву фотографию с этого портрета. Его отзыв см. в письме от 11 сентября 1946 г. (№ 487 в наст. томе).

[312] *Express: Darenka Korolewa...* — имеется в виду вымышленный адрес отправителя. См. легенду к письму № 463 в наст. томе.

468

Ед. хр. 84. Л. 44, 45. Письмо, рук.

469

Ед. хр. 84. Л. 48. Конверт.

470

Ед. хр. 42. Л. 45—48. Письмо, рук.

[313] *...Анна Михайловна...* — сведений о ней нет.

[314] *...портрет жены — "в серых тонах".* – речь идет о портрете Ольги Хохловой (1891—1955), первой жены Пабло Пикассо (1881—1973). «Портрет Ольги» написан в 1923 г.

[315] *...Utrillo...* — Морис Утрилло (1883—1955), французский живописец-пейзажист.

[316] *...Hernando...* — имеется в виду скульптор Hernandes. О нем см. примечание 243 к письму № 446 в наст. томе.

[317] *...епископу Никону...* — архимандрит Никон (Гревс, ?—1983) в феврале 1946 г. стал епископом Сергиевским. После смерти митрополита Евлогия вышел из юрисдикции Московской патриархии.

[318] *...«Признание»...* — стихотворение опубликовано в Т. 2 (№ 139).

[319] *...там «Пушинка»!* – И. С. Шмелев упоминает эпизод из VIII главы «Соблазн» первой части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 80).

[320] *...убившего Урицкого...* — Моисей Соломонович Урицкий (1873—1918), член ВЦИК и председатель Петроградской ЧК, был убит поэтом Леонидом Каннегисером (1898—1918) 30 августа 1918 г. Исторический этюд «Убийство Урицкого» был написан М. А. Алдановым (Современные записки. 1923. № 16).

[321] *И — пе-ча-та-ют. В Америке.* – рассказы И. А. Бунина из цикла «Темные аллеи» печатались в американских журналах «Новоселье» и «Новый журнал».

[322] *...про «тетю Паню»?..* — персонаж первого тома романа «Пути небесные».

[323] *...мой первый рассказ...* — см. примечание 230 к письму № 59 (Т. 1).

[324] *...для рассказа «Голуби»...* — рассказ И. С. Шмелева впервые опубликован в четвертом номере «Русского сборника» (Париж, 1920), изданном Комитетом помощи русским литераторам и ученым. Впоследствии рассказ вошел в книгу «Про одну старуху».

[325] *...поет старушка.* – упоминается следующее стихотворение: «Ай, гули-гулочки, / А с коей вы улочки? / А с улицы Варварскай / С хоромы боярскай... / У боярина Евтюги / Все калены утюги, / У ярыги Пашки / Березовы плашки... / У Спасова Личка / На небе пшаничка, / Ядрену горошку / По небу дорожка!» (И. С. Шмелев. Про одну старуху. Париж, 1927. С. 53).

[326] *...в «Неупиваемой чаше» — девки в лесу.* – речь идет об эпизоде второй главы повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Избранные сочинения: В 2-х т. Т. 1. М., 1999. С. 399).

471

Ед. хр. 43. Л. 11, 12. Письмо, машинопись, рук.

[327] *...старушка-газетчица...* — Анна Владимировна Солодовникова (урожд. Бахрушина, 1879—1958); *Ее дядя...* — Алексей Александрович Бахрушин (1865—1929), театральный деятель, коллекционер, на основе своих коллекций в 1894 г. создал частный литературно-театральный музей; *...брат – профессор...* — Сергей Владимирович Бахрушин (1882-1950), историк, ученик В. О. Ключевского, приват-доцент Московского университета.

[328] *...“Эколь де-Бо-з Ар”...* — Высшая национальная школа изящных искусств в Париже (*от фр. Ecole des Beaux Arts*) основана в 1795 г.

472

Ед. хр. 85. Л. 1—4. Письмо, рук.

[329] *...народ наш вырвал у власти свое.* – см. примечание 638 к письму № 143 (Т. 2).

[330] *...наш бывший батюшка...* — о. Диодор. О нем см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 13 декабря 1941 г. (Т. 1. № 109).

[331] *...наш друг – инженер.* – лицо не установлено.

[332] *...переводит «Соловей», а «Огарок» не переводит?* – речь идет о кличках лошадей в романе «Пути небесные» (Глава XII «Восхищение» и глава XIII «Знак»).

[333] *...купец играет словами...* — эпизод из главы XIII «Знак» первой части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 113—114).

[334] *«Билет до Вальпарайсо!»* — О. А. Бредиус-Субботина цитирует заключительные слова рассказа «Марево» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 7. С. 233).

473

Ед. хр. 43. Л. 36. Почтовая открытка, рук.

335 *...в «метаморфозу» «Петухи»...* — речь идет о стихотворении И. С. Шмелева, опубликованном в Т. 2 (№ 141).

474

Ед. хр. 85. Л. 18. Открытка с изображением парка в Утрехте, рук.

475

Ед. хр. 43. Л. 53. Почтовая открытка, рук.

336 *...письмо от Земмеринг...* — об этом И. С. Шмелев упоминает также в письме И. А. Ильину от 19 августа 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 437).

337 *...от балерины Горной...* — речь идет о Л. С. Горной, см. примечание 832 к письму № 191 (Т. 2).

476

Ед. хр. 85. Л. 28, 29. Письмо, рук.

338 *...твое мне благословение.* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 17 августа 1946 г. (Т. 2. №. 144).

339 *...от Леонардо да Винчи...* — вероятно, имеется в виду картина «Иоанн Креститель» (ок. 1513—1517 гг.).

340 *...моя тетя.* – вероятно, А. В. Груздева. См. примечание 649 к письму № 146 (Т. 2).

477

Ед. хр. 85. Л. 33—35. Письмо, рук.

341 *...Молотову...* – Вячеслав Михайлович Молотов (наст. фамилия Скрябин, 1890—1986), государственный деятель. В 1939—1941 гг. и 1953—1956 гг. нарком и министр иностранных дел. В 1941—1945 гг. был заместителем председателя Государственного Комитета Обороны.

478

Ед. хр. 85. Л. 38. Почтовая открытка, рук.

342 *...церковным новым расколом.* – 8 августа 1946 г. скончался митрополит Евлогий, в сентябре 1945 г. перешедший под юрисдикцию Московского патриархата. Его преемником был назначен митрополит Серафим (Лукьянов, 1879—1961). Однако архиепископ Владимир (Тихоницкий), который ввиду длительной болезни Евлогия фактически управлял экзархатом, не под-

чинился этому решению и возглавил приходы, отказавшиеся воссоединяться с Московским патриархатом. Весной 1947 г. Констатинопольский патриарх назначил арх. Владимира экзархом Западно-европейских Церквей. См. также примечание 336 к письму № 77 (Т. 1).

479

Ед. хр. 44. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

343 *...31 августа послал письмо.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 147).

480

Ед. хр. 85. Л. 39. Почтовая открытка, рук.

481

Ед. хр. 85. Л. 50, 51. Письмо, рук.

344 *...на мою «исповедь»...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 21 августа 1946 г. (Т. 2. № 146).

482

Ед. хр. 44. Л. 12—14. Письмо, рук.

345 *...«болтаться на осине».* – фраза из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 14 августа 1946 г. (Т. 2. № 143).

346 *...«О тьме и просветлении».* – см. примечание 557 к письму № 129 (Т. 1).

483

Ед. хр. 17, 18. Письмо, рук.

347 *...они плакали, читая.* – И. А. Ильин писал И. С. Шмелеву 16 марта 1939 г.: «Только что прочел Куликово Поле и отер слезы» (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 261).

484

Ед. хр. 85. Л. 1. Письмо, рук.

485

Ед. хр. 86. Л. 5—7. Письмо, рук.

348 *...твоих стихов последних.* – речь идет о стихотворении «Увенчание любви», которое И. С. Шмелев выслал О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 1 сентября 1946 г. (Т. 2. № 148).

[349] *Спроси Ильина.* – см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 21 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 472). О поездке доктора Клинкенберга в Швейцарию см. также примечание 111 к письму № 405 в наст. томе.

[350] *...«разгульная коммунистка»...* — фраза из письма И. С. Шмелева от 28 августа 1946 г. (Т. 2. № 147).

[351] *Целую «поэму» написал.* – речь идет о письме, которое И. А. Ильин предложил А. А. Овчинниковой размножить и подписать своим именем. См. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 3 сентября 1946 г. (Т. 2. № 150).

486

Ед. хр. 86. Л. 10. Письмо, рук.

487

Ед. хр. 44. Л. 24—27. Письмо, рук.

[352] *...чтобы найти своего Христа...* — Александр Андреевич Иванов (1806—1858) работал над картиной «Явление Христа народу» двадцать лет – с 1837 по 1857 г.

[353] *...погнала книжку мою даже в Швецию...* — речь идет о попытках О. А. Бредиус-Субботиной способствовать распространению французского издания романа И. С. Шмелева «Пути небесные».

[354] *...Henri Troya...* — Анри Труайя (наст. имя Лев Тарасов, род. 1911), писатель, историк. Уехал из России во Францию вместе с родителями в 1917 г. Член Французской академии, лауреат Гонкуровской премии. Автор биографий А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, М. Горького, М. И. Цветаевой и др.

[355] *...новый перевод "Чаши".* – в библиографиях, составленных О. Н. Сорокиной и Д. М. Шаховским, сведений об этом издании нет.

488

Ед. хр. 44. Л. 30—33. Письмо, рук.

[356] *...«я могла бы стать весталкой»...* — неточная цитата из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 3 августа 1946 г. (Т. 2. № 138).

[357] *...как мой «Соловей» в «Путях»...* — И. С. Шмелев ссылается на эпизод из главы XIII «Знак» первой части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 113—114).

[358] *...при слабом учебном образовании...* — С. И. Шмелев окончил четыре класса в Мещанском училище. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 15.

[359] *...в «Русских новостях»?* – речь идет о еженедельной газете «Русские новости», выходившей с мая 1945 г. Газета придерживалась просоветского направления и была основана как продолжение «Последних новостей» группой их бывших сотрудников.

[360] *Постановление ЦК Партии большевиков...* — упоминается постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.

[361] *...Григорович.* – речь идет о переводчице Елене Казимировне Григорович. См. примечание 740 к письму № 167 (Т. 2).

[362] *...Анненкова.* — Юрий Павлович Анненков (1889—1974), живописец, график, иллюстратор, сценограф, мемуарист. После 14-й Интернациональной художественной выставки в Венеции (1924) не вернулся в Россию. Во Франции занимался живописью, книжной графикой и плакатом, работал как художник театра и кино.

[363] *...пародию на... самоэпитафию... И его отдельные стихи...* — И. С. Шмелев выслал О. А. Бредиус-Субботиной оба стихотворения в письме от 10 октября 1946 г. (№ 509 в наст. томе). Также они опубликованы в Т. 2 «Переписки двух Иванов» (С. 466—469).

489

Ед. хр. 44. Л. 37, 38. Письмо, машинопись.

490

Ед. хр. 85. Л. 13. Почтовая открытка, рук.

491

Ед. хр. 86. Л. 15, 16. Письмо, рук.

[364] *...своей дочери.* – упоминается Варвара Владимировна Зеелер (в замуж. Дмитриева, 1898—1966).

[365] *Ты сам мне написал...* — в письме от 14 марта 1946 (№ 418 в наст. томе) И. С. Шмелев писал О. А. Бредиус-Субботиной об отношении И. А. Ильина к переводам Р. Б. Кандрейи: «И. А. давно мне говорил – она никуда». См. также примечание 148 к указанному письму.

492

Ед. хр. 44. Л. 41, 42. Письмо, машинопись.

[366] *...вдовой прежнего переводчика...* — речь идет об Анне Михайловне Монго. См. также примечание 618 к письму № 140 (Т. 2).

[367] *Женка его...* — о жене В. Нарсесяна см. примечание 730 к письму 164 (Т. 2).

493

Ед. хр. 86. Л. 19. Письмо, рук.

494

Ед. хр. 44. Л. 45, 46. Письмо, машинопись.

495

Ед. хр. 86. Л. 23, 24. Письмо, рук.

368 ...*Nicolas*... – о нем см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 17 декабря 1946 г. (№ 530 в наст. томе).

369 ...*Жуковичи*... — речь идет о Константине Тарасовиче и Вере Ипполитовне Жуковичах. См. примечание 561 к письму № 127 (Т. 2).

370 ...*символ к Иеремии*... — Иер. 31, 15; Мф. 2, 18.

496

Ед. хр. 44. Л. 49. Письмо, машинопись.

497

Ед. хр. 44. Л. 52, 53. Письмо, машинопись.

371 ...*новая менажка*... — о новой домработнице см. также письмо И. А. Ильину от 7 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 455).

372 ...*ученым ватиканским каноником*... — лицо не установлено.

373 ...*Ценский*... — имеется в виду С. Н. Сергеев-Ценский. О нем см. примечание 705 к письму № 183 (Т. 1).

498

Ед. хр. 45. Л. 1. Письмо, машинопись.

499

Ед. хр. 45. Л. 8. Письмо, машинопись.

374 ...*к последнему письму, от 27 сентября.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 152).

375 *Юон... «Москву», «Троицу», «Гулянье»*... — И. С. Шмелев упоминает картины Константина Федоровича Юона (1875—1958) «К Троице. Март» (1903), «Гуляние на Девичьем поле» (1903) и работы из цикла «Старая Москва».

500

Ед. хр. 86. Л. 36, 37. Письмо, рук.

376 *Не пиши о моих искусствах*... — в письме от 28 сентября 1946 г. (Т. 2. № 153) О. А. Бредиус-Субботина сообщила И. С. Шмелеву о том, что сожгла все свои художественные работы.

377 ...*одна художница*... — лицо не установлено.

501

Ед. хр. 45. Л. 16, 17. Письмо, машинопись, рук.

[378] *...твое безумное письмо.* – имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 28 сентября 1946 г. (Т. 2. № 153).

502

Ед. хр. 86. Л. 40—42. Письмо, рук.

[379] *...дедушка (благочинный)...* — речь идет о протоиерее Александре Михайловиче Груздеве. См. примечание 376 к письму № 81 (Т. 1).

503

Ед. хр. 45. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

[380] *«Чем — свет — уж на ногах, И я у ваших ног...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует начало 7 явления первого действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». В оригинале: «Чуть свет уж на ногах! И я у ваших ног».

[381] *...самого известного критика... (Prist)...* — более подробно об этом отзыве И. С. Шмелев написал И. А. Ильину. См. письмо от 7 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 455).

504

Ед. хр. 86. Л. 48. Открытка с изображением цветов, рук.

[382] *...в Вашем 1-ом письме...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 26 сентября 1946 г. (Т. 2. № 152).

505

Ед. хр. 45. Л. 25. Письмо, рук.

506

Ед. хр. 86. Л. 51, 52. Письмо, рук.

507

Ед. хр. 45. Л. 28, 29. Письмо, рук.

[383] *...послал тебе письмо...* — речь идет о письме от 8 октября 1946 г. (№ 505 в наст. томе).

[384] *...одна молодая русская женщина...* — более подробно об этом см. в письме И. С. Шмелева И. А. Ильину от 7 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 461).

[385] *...Агаджаняна.* – Карапет Саркисович Агаджанян (1876—1955), доктор медицины, профессор. Эмигрировал в 1920 г., с 1924 г. жил в Париже.

508

Ед. хр. 45. Л. 32. Письмо, машинопись.

509

Ед. хр. 45. Л. 35—37. Письмо, машинопись.

386 *...«Пушкин на Неве».* – имеется в виду картина «Пушкин над Невою в 1835 году». И. Е. Репин работал над ней с 1897 по 1924 г., создав более 100 этюдов; *Для «Крестного хода», для «Запорожцев»...* — упоминаются картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878—1891), «Крестный ход в Курской губернии» (1880—1883).

387 *...в «Пенатах»...* — И. Е. Репин с 1899 г. жил в усадьбе «Пенаты» (Куоккала), которая после 1917 г. оказалась на территории Финляндии.

388 *...«Иоанн убивающий сына...»!* – речь идет о картине «Иван Грозный и сын его Иван» (1885).

389 *...«дум великих полн»...* — И. С. Шмелев цитирует вторую строчку вступления к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

390 *«Стрекотунья-белобока...»... «Скачет пестрая сорока...»* — приведены первая и третья строки незавершенного стихотворения А. С. Пушкина (1829).

391 *...«Из Пиндемонтэ»... «Прозерпину»... из послания к кн. Юсупову...* — в письме перечислены стихотворения А. С. Пушкина «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...», 1836), «Прозерпина» (1824), «К вельможе» (1830).

510

Ед. хр. 45. Л. 40. Письмо, рук.

511

Ед. хр. 87. Л. 6. Письмо, рук.

392 *...моя приятельница...* — в дальнейшем О. А. Бредиус-Субботина называет ее Теа (Thea). См. письмо от 6 апреля 1947 г. (№ 572 в наст. томе).

512

Ед. хр. 87. Л. 9. Письмо, рук.

393 *...акварели Лукомского!* – Георгий Крескентьевич Лукомский (1884—1954), искусствовед, художник, краевед. Эмигрировал в 1919 г. Известен своими карандашными и акварельными рисунками памятников архитектуры.

394 *...Проф. Чахотина...* – Сергей Степанович Чахотин (1883—1974), литератор, профессор. В 1919 г. эмигрировал в Хорватию, с 1920 г. жил в Берлине. Участник группы «Смена вех», соредактор газеты

«Накануне» (1923—1924). В 1933 г. переехал во Францию. Во время Второй мировой войны был активным участником французского Сопротивления. С 1944 г. член Союза русских патриотов, в 1958 г. вернулся в СССР.

513

Ед. хр. 45. Л. 48. Письмо, машинопись. К письму приложено письмо С. С. Чахотина к О. А. Бредиус-Субботиной *(Л. 49, 50).*

395 *...мой Аршин или Паршин...* — имеется в виду Михаил Варшев, персонаж рассказа И. С. Шмелева «Панорама». См. также примечание 551 к письму № 129 (Т. 1); *...Гаршина...* — речь идет о Всеволоде Михайловиче Гаршине. О нем см. примечание 712 к письму № 161 (Т. 2).

396 *...из письма покойного Амфитеатрова...* — о взаимоотношениях И. С. Шмелева и А. В. Амфитеатрова см. примечание 250 к письму № 62 (Т. 1).

514

Ед. хр. 46. Л. 1—3. Письмо, машинопись.

397 *...«маленькие средства»!* — здесь и далее И. С. Шмелев цитирует письмо С. С. Чахотина: «Вы знаете, что движет сейчас мною и моими друзьями: надо сделать все, надо изощриться, чтобы кошмар войны не повторился <...> сейчас один вопрос стоит, как самый главный: средства, достать средства, даже сравнительно небольшие (т. к. надо только для начала: дальше они сами будут множиться)...» (Л. 49).

398 *...изгнал легион бесов...* — Мк. 5, 9; Лк. 8, 30.

399 *...вместо — «прости», как Иван Ильич...* — И. С. Шмелев ссылается на окончание рассказа Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»: «Он хотел сказать еще “прости”, но сказал “пропусти”...» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Серия первая. Произведения. Т. 26. М., 1936. С. 113).

400 *...прочел его «О Пушкине»...* — речь идет о публичной лекции И. А. Ильина «О Пушкине» (1938).

401 *...писал о сем Ильину.* – см. письмо И. А. Ильину от 25 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 475—481).

402 *...как Григорович!* – И. С. Шмелев упоминает Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899), прозаика, переводчика, искусствоведа.

403 *...болтун Стасов.* – речь идет о критике Владимире Васильевиче Стасове. См. примечание 934 к письму № 231 (Т. 2).

404 *Сейчас узнал о Ж. ...* — о национальности К. Т. Жуковича см. приписку О. А. Бредиус-Субботиной к письму И. С. Шмелева от 21 октября 1946 г. (№ 515 в наст. томе).

405 *...«Коллаборатор» ли Ж. ...* — об этом см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 8 ноября 1946 г. (№ 515 в наст. томе).

[406] *...письма от 21—22 октября...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 157).

[407] *...«взять хлеб у детей и бросить псам»!* – Мф. 15, 26.

515

Ед. хр. 87. Л. 12—19. Письмо, рук.

[408] *День кончины отца моего.* – примечания к письму И. С. Шмелева, откомментированному О. А. Бредиус-Субботиной, см. в Т. 2 (№ 157).

516

Ед. хр. 46. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

[409] *...сожалеет о замене.* – В. И. Даль дает следующее определение слова «рухлядь»: «...рушимое добро, пожитки, скарб, что заменили словами: движимость, движимое имущество (лучше ли это?)» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955. С. 115).

517

Ед. хр. 87. Л. 25, 26. Письмо, рук.

[410] *Прилагаю мое...* — письмо переслано в одном конверте с письмом от 18 ноября 1946 г. (Т. 2. № 158).

[411] *...к отцу Blanche Peltenburg...* — сведений о нем нет.

518

Ед. хр. 46. Л. 15—18. Письмо, машинопись.

[412] *...кн. Трубецкой.* – упоминается Софья Евгеньевна Трубецкая (1900—1982), дочь Е. Н. Трубецкого.

[413] *...я написал ему...* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 7 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 453—454).

[414] *...хвалит он Ванюшку?! ...»* — И. С. Шмелев цитирует письмо И. А. Ильина от [26—29] октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 483).

[415] *...ответил ему стихами...* — см. письмо И. С. Шмелева от 30 октября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 485—487).

[416] *...прапрадед мой...* — более подробно об этом эпизоде И. С. Шмелев рассказал в письме И. А. Ильину от 5 апреля 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 398).

[417] *...жену с двумя малолетками...* — ко времени начала Отечественной войны 1812 г. у Ивана Ивановича и Устиньи Васильевны (урожд. Зиновьевой) Шмелевых родился первый сын Василий. О предках И. С. Шмелева по мужской линии см.: Грико Т. И. История семьи Шмелевых // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 332—335.

[418] *...Бронштейн...* — о ней см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 11 ноября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 491).

519

Ед. хр. 46. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

419 *...по «Основам художества»...* — см. примечание 65 к письму № 25 (Т. 1).

420 *...А. Н. Бенуа...* — об Александре Николаевиче Бенуа см. примечание 687 к письму № 181 (Т. 1).

421 *...Гукасов.* – Абрам Осипович Гукасов (1872—1969), нефтепромышленник, меценат, владелец и издатель газеты «Возрождение» (1925—1940) и литературно-политического журнала «Возрождение» (1949—1974).

422 *...о свободной... газете.* – имеется в виду газета «Русская мысль», издававшаяся в Париже с апреля 1947 г. См. примечание 743 к письму № 167 (Т. 2).

423 *...Милюков-сушка...* — Павел Николаевич Милюков (1859—1943), историк, политический деятель, главный редактор наиболее влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».

424 *...Метнер...* — речь идет о композиторе Николае Карловиче Метнере (1879—1951), в эмиграции с 1921 г.

520

Ед. хр. 87. Л. 35—38. Письмо, рук.

425 *...к одному «родственнику» голландскому...* — лицо не установлено.

426 *...современный композитор ...* — сведений о нем нет.

427 *«Христос Воскресе» Рахманинова...* — пасхальное песнопение «Воскресение Христово видевше» из «Всенощного бдения» С. В. Рахманинова (ор. 37. № 10. 1915).

521

Ед. хр. 46. Л. 26. Почтовая открытка, рук.

522

Ед. хр. 87. Л. 41—43. Письмо, рук.

428 *...Ивану Семеновичу Мореву...* — об И. С. Мореве см. примечание 377 к письму № 81 (Т. 1).

429 *...с Разгуляевой Пашей...* – О. А. Бредиус-Субботина упоминает героиню рассказа И. С. Шмелева «Марево».

430 *... М-те Катениной...* — сведений о ней нет.

431 *...чудесный священник есть...* — лицо не установлено.

523

Ед. хр. 87. Л. 46. Почтовая открытка, рук.

524

Ед. хр. 87. Л. 50. Письмо, рук.

432 *...«Палата № 6» в устах Кандрейи.* – имеется в виду перевод Р. Б. Кандрейи повести А. П. Чехова (1892).

525

Ед. хр. 46. Л. 29. Письмо, рук.

433 *С изданием «Лета Господня»...* — книга вышла в 1948 г. в издательстве YMCA-Press. См. примечание 710 к письму № 161 (Т. 2).

526

Ед. хр. 46. Л. 33. Почтовая открытка, рук.

527

Ед. хр. 87. Л. 54. Почтовая открытка, рук.

434 *...возмущена ...тем, кому выдана Nobel.* – имеется в виду И. А. Бунин, получивший в 1933 г. Нобелевскую премию.

435 *...одной из дочек Пельтенбурга...* – речь идет о Леоноре Роброк-Пельтенбург, муж которой был помощником министра земледелия и хозяйства Голландии.

528

Ед. хр. 88. Л. 3—5. Письмо, рук. К письму приложена программа концерта К. Т. Жуковича 30 ноября 1946 г. в Утрехте.

436 *...у Van Wijk'a.* – имеется в виду профессор Николай Васильевич ван Вейк. См. примечание 38 к письму № 12 (Т. 1).

437 *...Бальмонт... сказал о Шмелеве...* — творчеству И. С. Шмелева К. Д. Бальмонт посвятил статьи «Горячее сердце» (Сегодня. 1927. № 246) и «Шмелев, какого никто не знает» (Сегодня. 1930. № 345). Также об отношении К. Д. Бальмонта к И. С. Шмелеву см. примечание 249 к письму № 62 (Т. 1).

438 *...со своим братом...* — о брате доктора Клинкенберга сведений нет.

439 *...проф. Verzijl...* — сведений о нем нет.

529

Ед. хр. 46. Л. 36. Письмо, машинопись.

440 *Исхудал, как Ганди.* – см. примечание 293 к письму № 137 (Т. 3. Ч. 1).

441 *На голландском у меня 3 книги или 4.* – о переводах И. С. Шмелева на голландский язык см. примечание 121 к письму № 39 (Т. 1).

442 *...напечатано в голландской газете.* – рассказ И. С. Шмелева «Орел» в переводе проф. Н. ван Вейка («De Adelaar») был напечатан в газете «Het Vaderland» (1927. 11 сентября).

443 *...в переводе двух старых девиц...* — см. примечание 481 к письму № 107 (Т. 1).

530

Ед. хр. 88. Л. 9. Письмо, рук.

531

Ед. хр. 46. Л. 46. Письмо, рук.

532

Ед. хр. 47. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

444 *...начало твоего рассказа...* — О. А. Бредиус-Субботина отправила И. С. Шмелеву начало рассказа «Заветный образ» в письме от 19 декабря 1946 г. (Т. 2. № 162).

445 *...«гонял» Мопассана...* — см. примечания 694 и 696 к письму № 298 (Т. 3. Ч. 1).

446 *...будут переводиться на итальянский.* — в библиографиях, составленных О. Н. Сорокиной и Д. М. Шаховским, сведений об этом издании нет.

447 *...художница-карикатуристка...* — лицо не установлено.

448 *...какого-то из князей Щербатовых...* — вероятно, имеется в виду князь Сергей Александрович Щербатов (1875—1962), художник, коллекционер, меценат.

449 *«...гоните Оле все!»* — И. С. Шмелев неточно цитирует фрагмент письма И. А. Ильина от 26 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 533).

450 *...Бунинскую «Лику»...* — см. примечание 733 к письму № 164 (Т. 2).

451 *...исторический полк...* — лейб-гвардии Измайловский полк был сформирован в Москве в 1730 г. Полк принимал участие во всех военных кампаниях. Упразднен в 1918 г.

452 *Последнее его письмо...* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 26 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 532—535).

453 *...хорошо писал о тебе...* — см. письмо И. С. Шмелева от 19 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 527—528).

533

Ед. хр. 88. Л. 23—25. Письмо, рук.

454 *...послала тебе еще дальше...* — продолжение рассказа «Заветный образ» О. А. Бредиус-Субботина отправила в письме от 27 декабря 1946 г. (Т. 2. № 163).

455 *...письмо от И. А. ...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

456 *...«кусочками» читала о тебе.* — об этом см. также письмо И. А. Ильина от 26 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 533).

457 *...Козлихино заглавие «Чаши»?* — о переводе А. М. Козловой см. примечание 720 к письму № 161 (Т. 2).

458 *Ты ему писал об этом?* — И. С. Шмелев сообщил И. А. Ильину о концерте, организованном О. А. Бредиус-Субботиной, в письме от 19 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 528).

459 *...«назови, укажи!»* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 13 декабря 1946 г. (№ 528 в наст. томе), в котором она просила И. С. Шмелева выбрать произведения для предполагавшихся чтений.

460 *...пришло ... письмо.* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 30 декабря 1946 г. (№ 532 в наст. томе).

461 *...хотя бы Молоховец.* – речь идет об известной и многократно переиздававшейся «Настольной поваренной книге» Е. И. Молоховец.

462 *...«ВХУТЕМАС»...* — см. примечание 725 к письму № 162 (Т. 2).

463 *...о ней тебе писала?* – о своей няне Александре Андреевне Зуевой О. А. Бредиус-Субботина рассказывала И. С. Шмелеву в письме от 20 августа 1942 г. (Т. 2. № 14).

464 *...«без черемухи»?* – имеется в виду одноименный рассказ П. С. Романова (1926).

534

Ед. хр. 47. Л. 12. Письмо, машинопись.

465 *По-новому сцена на Зуше, у «Касьяныча».* – глава XXII «Поклон» второго тома романа «Пути небесные».

466 *«"...но не как вы, а по-другому!"»* — И. С. Шмелев неточно цитирует строку из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому (ноябрь 1825 г.): «Врете подлецы: он мал и мерзок – не так как вы – иначе».

467 *...стихи о Матери...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду фрагмент второй части «Пир на весь мир» неоконченной поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1865—1877).

468 *...строчку из «Крестьянских детей»...* — И. С. Шмелев неточно цитирует фрагмент стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861). В оригинале: «Но мальчик был мальчик живой, настоящий, / И дровни, и хворост, и пегонький конь...».

469 *...диалог... старого доктора...* — речь идет о главе «Под ветром» романа «Солнце мертвых».

535

Ед. хр. 88. Л. 28. Письмо, рук.

470 *Degelder...* — сведений о нем нет.

536

Ед. хр. 88. Л. 31. Почтовая открытка, рук.

537

Ед. хр. 47. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

538

Ед. хр. 88. Л. 39. Письмо, рук. К письму приложена открытка Л. Роброк-Пельтенбург с рекомендацией переводчицы Алейды Схот *(Л. 40).*

471 ***...в маминомъ письме.*** – письмо И. С. Шмелева А. А. Овчинниковой в архиве О. А. Бредиус-Субботиной не сохранилось.

472 *...письмо Нате...* — имеется в виду Н. Н. Первушина.

473 *Некая Дуся...* — сведений о ней нет.

474 *Прилагаю...* — к письму приложена открытка от Леоноры Роброк-Пельтенбург (Л. 40):
13.I.1947 Многоуважаемая Ольга Александровна! Только сегодня получила Ваше письмо от 22-го декабря. Очень жалко, что не удалось встретиться с Вами 6-го или 7-го января. Но я думаю, что это не необходимо Вам, приезжать сюда*. По-моему, не стоит труда ехать специально для этого. Самая хорошая переводчица, которую я знаю, — M-lle Aleida G. Schoot. Beethovenstraat 82 Amsterdam (Luid). Она уже перевела массу русских классиков**, но не знаю, переводила ли она вещи живущих современных писателей. Взаимно с наступившим годом желаю Вам всего наилучшего. С прежним приветом, уважающая Вас L. Roebroek-Peltenburg.
[Примечание О. А. Бредиус-Субботиной:]
*Я хотела дать ей сличить Чехова по-русски и переводы Схот. И писала, что готова даже специально приехать в Гаагу.
** стихи Пушкина, например вступление к «Медному всаднику» — превосходно! В пушкинском же размере. Масса «шарма». Когда вслух — дивно! Скоро пошлю «Пути небесные» одному издателю, который горит русским. Идеалист!

539

Ед. хр. 88. Л. 44. Почтовая открытка, рук.

475 *...родился один мальчик...* – речь идет об С. И. Шмелеве, который родился 19 января 1896 г.

540

Ед. хр. 47. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

476 *И. А. писал мне...* — далее И. С. Шмелев цитирует фрагмент письма И. А. Ильина от 16 декабря 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 525).

477 *...некого американца...* — с 1944 г. издательство «YMCA-Press» возглавлял Дональд Лаури.

478 *...вчера написал.* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 24 января 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 11—17).

479 *...в «христианском движении».* – об этом см. также в письме И. А. Ильину от 24 января 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 13).

480 *...Михаил Петрович Долгоруков... с матерью-княгиней.* – сведений о них нет.

481 *...Петр Долгоруков...* — кн. Петр Дмитриевич Долгоруков (1866—1945), один из организаторов и член ЦК партии кадетов; *Его брат князь Павел...* — Павел Дмитриевич Долгоруков (1866—1927), председатель ЦК партии кадетов. Эмигрировал в 1920 г., в 1926 г. нелегально перешел границу СССР, был арестован и в 1927 г. расстрелян.

482 *...главки 3 – о Миколе...* — речь идет о главах «К Николе-Мокрому», «Скрещение путей», «Чистейшее» второй части романа «Пути небесные».

541

Ед. хр. 88. Л. 46—49. Письмо, рук.

483 *...одного господина...* — имеется в виду Павел Гаврилович Криволай (?—1969), инженер-геолог. О нем см. также письмо И. С. Шмелева от 5 января 1950 г. (№ 596 в наст. томе).

484 *...Шитов...* — о нем см. письма О. А. Бредиус-Субботиной от 15 мая 1947 г. (№ 584 в наст. томе) и от 9 июля 1949 г. (Т. 2. № 217).

542

Ед. хр. 47. Л. 30. Письмо, машинопись. В одном конверте с письмом от 2 февраля 1947 г. (Т. 2. № 167).

485 *...писал Россини в... тюрьме!..* – И. С. Шмелев ошибается. Джоаккино Россини (1792—1868) написал оперу «Севильский цирюльник» (1816) не в тюрьме, а во время своего пребывания в Неаполе (постоянный композитор и музыкальный руководитель театра Сан-Карло). Согласно театральной легенде, взаперти (под надзором директора театра) была написана опера «Отелло» (1816) и увертюра к опере «Сорока-воровка» (1817).

486 *...у о. Касьяна.* – сведений о нем нет.

487 *...«Похвалы Пресвятой Богородицы»...* — служба в субботу пятой недели Великого поста.

488 *...на копии письма!..* – письмо написано на обратной стороне копии письма к А. М. Козловой от 20 сентября 1946 г. Так как А. М. Козлова нарушила сроки договора, И. С. Шмелев отказывается от ее услуг по переводу и изданию «Неупиваемой чаши».

489 *Юродик...* — речь идет об С. М. Серове.

490 *Раньше Фоминой не отпущу...* — следующая неделя после пасхальной, на которой отмечается память ап. Фомы.

543

Ед. хр. 47. Л. 33 Почтовая открытка, рук.

491 *...напишу ему...* — см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 4 февраля 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 21—26).

492 *...брат-инженер...* — речь идет о Николае Гербертовиче Земмеринге. О нем также см. примечание 573 к письму № 232 (Т. 3. Ч. 1).

493 *...с картины Нестерова...* — имеется в виду картина «Философы» («П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков», 1917).

544

Ед. хр. 47. Л. 36—38. Письмо, машинопись, рук.

494 *«Покаяния отверзи ми...»* — песнопение, исполняемое во время Великого поста.

495 *...твое письмо, от 2.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 169).

496 *...за недели до принятия Булгаковым священства.* – С. Н. Булгаков принял священнический сан в июне 1918 г.

497 *...«Свет невечерний» Булгакова...* — книга была издана в Москве в 1917 г.

498 *...«Разнообразие религиозного опыта».* – речь идет о книге «Многообразие религиозного опыта» (1902) американского философа Уильяма Джеймса (1842—1910).

499 *...владыка м. А. ...* — упоминается митрополит Анастасий. См. примечание 634 к письму № 143 (Т. 2).

500 *«...свет ра-зу-ма!..»* — из рождественского тропаря.

501 *...за «темные аллеи».* – имеется в виду второе дополнительное издание сборника рассказов И. А. Бунина (Париж, 1946).

502 *... «писатель внешнего опыта».* – неточная цитата из книги И. А. Ильина «О тьме и просветлении» (Введение. О чтении и критике. 3). См.: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 197.

503 *«И времени уже не будет».* – см. примечание 15 к повести «Куликово поле» (Т. 3. Ч. 1. Приложение. Фрагмент № 4).

504 *...музей Клюни...* — Национальный музей средневековья в Париже, расположенный в бывшей резиденции аббатства Клюни. Основан в 1842 г.

505 *...Фому Кемпийского...* — см. примечание 736 к письму № 167 (Т. 2).

506 *...«суворовский путь»...* — имеется в виду швейцарский поход русского полководца Александра Васильевича Суворова (1729—1800), во время которого русская армия в тяжелейших условиях перешла через Альпы (1799).

507 *...на вечере для аньерской церкви...* — вечер в пользу русской церкви в Аньере состоялся 30 марта 1947 г. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 290.

508 *...мыслящий тростник...* — см. примечание 327 к письму № 66 (Т. 2).

509 *...Тургеневскую библиотеку.* – И. С. Шмелев упоминает Русскую общественную библиотеку, основанную в 1875 г. И. С. Тургеневым и Г. А. Лопатиным. В сентябре 1940 г. по распоряжению А. Розенберга библиотека была закрыта, книги конфискованы и вывезены в Германию. Тургеневская библиотека открылась заново в 1959 г.

510 *...«открытку» от 1 февраля.* – указанная открытка опубликована в Т. 2 (№ 166).

511 *«По-мни... по-мни!»* — И. С. Шмелев цитирует слова Горкина из главы «Чистый понедельник» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 17).

512 *...зарисовывал Гойя!* – речь идет о серии офортов «Капричос» (1797—1798).

513 *...Мадонна держит лилию в руках.* – об этой картине см. примечание 763 к письму № 174 (Т. 2).

545

Ед. хр. 47. Л. 41, 42. Письмо, рук.

514 *...будет издано в Германии...* — замысел не был осуществлен.

515 *Ах – тележка-то!* – И. С. Шмелев ссылается на эпизод из главы «Сборы» романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 405).

516 *...«мытищенская вода»!* – упоминается эпизод из главы «Москвой» романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 419).

517 *...у матушки Розановой...* — о ней см. примечание 78 к письму № 26 (Т. 1).

546

Ед. хр. 47. Л. 45, 46. Письмо, машинопись, рук.

518 *...от 18 марта 27 года.* – письмо И. А. Ильина опубликовано в кн. «Переписка двух Иванов» (Т. 1. С. 21—23).

519 *...письмом Ивана Александровича...* — 19 января 1927 г. И. А. Ильин отправил первое письмо И. С. Шмелеву (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 13).

520 *...«О путях России»...* — статья И. А. Ильина опубликована в литературно-художественном иллюстрированном журнале «Перезвоны» (1927. № 32), который издавался в Риге в 1925—1929 гг.

521 *...номер рижского «Сегодня» с Вашим суждением.* – вероятно, имеется в виду статья И. С. Шмелева «Анри Барбюс и Российская корона», опубликованная в ежедневной газете «Сегодня» (1927. 18 декабря).

522 *...чудесное письмо.* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 1 марта 1927 г., в котором писатель рассуждает о России и будущих путях ее развития (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 17—21).

[523] *...Петра Бернгардовича (моя вставка: Струве)...* — в 1925—1927 гг. П. Б. Струве был редактором газеты «Возрождение». См. примечание 36 к письму № 12 (Т. 1).

[524] *...в 1 сб. «Окно»... во II сб. «Окно».* — И. С. Шмелев неточен. Роман «Солнце мертвых» был опубликован в № 2 (1923) и № 3 (1924) ежеквартального журнала «Окно».

[525] *Книгой вышло, кажется, в 1926 г.* – И. С. Шмелев неточен. Роман «Солнце мертвых» вышел в издательстве «Возрождение» в 1924 г.

547

Ед. хр. 47. Л. 49. Письмо, машинопись. В одном конверте со вторым письмом И. С. Шмелева от 8 февраля 1947 г. (Т. 2. Письмо № 171).

[526] *...твое письмо...* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 4 февраля 1947 г. (Т. 2. № 170).

[527] *Пишу ему...* — см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 8 февраля 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 26).

[527а] *...у Елизаветы Семеновны Виты...* — И. С. Шмелев обыгрывает профессию мужа Е. С. Гелелович, занимавшегося торговлей продуктами (vita, *лат.* — жизнь). См. письмо И. С. Шмелева от 23 апреля 1947 г. (№ 578 в наст. томе).

[528] *...сестра Марги...* — имеется в виду Любовь Александровна Лихонина.

[529] *Я тебя и Оле в «Куликовом поле» придам.* – впоследствии замысел не был осуществлен.

[530] *...«да единомыслием исповемы».* – И. С. Шмелев цитирует фрагмент Божественной литургии.

548

Ед. хр. 89. Л. 8, 9. Письмо, рук.

[531] *...«ты ничего никогда не достигнешь».* – О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует фразу из письма И. С. Шмелева от 21—22 октября 1946 г. (Т. 2. № 157). В оригинале: «Ты не можешь ничего создать...»

[532] *...другая «матушка»...* — лицо не установлено.

549

Ед. хр. 89. Л. 14. Почтовая открытка, рук.

550

Ед. хр. 48. Л. 1. Письмо, машинопись.

[533] *...его старушка...* — Анна Карловна Бенуа (урожд. Кинд, 1869—1952).

[534] *...провалился как художник».* – И. С. Шмелев неточно цитирует фразу из письма И. А. Ильина от 11 февраля 1947 г. В оригинале: «Грубо,

детально, грязно, отвратно — без смысла; и с *огромными, чисто художественными* ошибками!» (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 34).

535 ...*«отложил попечение»*. — из «Херувимской песни» Божественной литургии.

551

Ед. хр. 48. Л. 4. Почтовая открытка, рук.

552

Ед. хр. 89. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

536 ...*издатель «Куликова поля»*. — речь идет о митрополите Анастасии.

537 ...*архиепископа Александра...* — Александр (Немоловский, 1880—1960). С 1921 г. в эмиграции. С 1936 г. архиепископ Брюссельский и Бельгийский Константинопольского патриархата. В 1945 г. вернулся под юрисдикцию Московской патриархии, назначен архиепископом (позднее митрополитом) Брюссельским и Бельгийским. См. примечания к опубликованной М. И. Одинцовым переписке митрополита Евлогия с Московской патриархией (Исторический архив. 2000. № 6. С. 140).

538 ...*епископа Серафима Лядэ...* — речь идет о митрополите Берлинском Серафиме (?—1950).

539 *Он был одним из первых...* — заметка арх. Александра о его поездке в СССР «Что мои глаза видели в Москве и Киеве в течение 10 дней» была опубликована в «Журнале Московской Патриархии» (1946. № 10. С. 17).

540 ...*«На страх врагам!»* — О. А. Бредиус-Субботина цитирует 4-ю строку из государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» (сл. В.А. Жуковского, муз. А. Ф. Львова; 1833).

541 ...*отказаться потом?* — после смерти митрополита Евлогия арх. Владимир и часть западно-европейских приходов не подчинились указу патриарха Алексия о воссоединении с Московской патриархией. Об этом см. предисловие М. И. Одинцова к публикации переписки митрополита Евлогия и Московской патриархии (Исторический архив. 2000. № 6. С. 100—103). См. также примечание 342 к письму № 478 в наст. томе.

542 ...*родилась принцесса, 3-я по счету!!* — О. А. Бредиус-Субботина неточна. В 1947 г. родилась четвертая принцесса — Кристина.

553

Ед. хр. 48. Л. 10. Письмо, машинопись.

543 ...*чудесно-нежное письмо.* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 18 февраля 1947 г. (Т. 2. № 172).

544 ...*письмо на днях от И. А.* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 11 февраля 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 33–36).

545 *...мне тогда «левые» швыряли...* — речь идет о публикациях в газете «Последние новости». См. примечание 57 к письму № 22 (Т. 3. Ч. 1).

546 *...ввел в дневник В. А. – стихи...* — речь идет о стихотворении, завершающем второй том романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 439) и представляющем собой 6 и 7 строфы стихотворения «Оле — в День ангела», посвященного О. А. Бредиус-Субботиной (Т. 2. Письмо № 136).

554

Ед. хр. 89. Л. 25, 26. Письмо, рук. Письмо не было отправлено О. А. Бредиус-Субботиной.

547 *...до «Свете тихий».* – то есть до сентября 1941 г. Очерк И. С. Шмелева, посвященный О. А. Бредиус-Субботиной, опубликован в Т. 1 (№ 42).

548 *...«болтающиеся серьги» уборщицы... и ее «подвязки поддергиванье»...* — упоминается фрагмент письма И. С. Шмелева от 31 октября 1941 г. (Т. 1. № 69).

555

Ед. хр. 89. Л. 27, 28. Письмо, рук.

549 *...письмо от 8.VIII.41...* — имеется в виду письмо от 24 августа 1941 г., опубликованное в Т. 1 (№ 35).

550 *... княгини Трубецкой... разведшейся с князем Оболенским...* — вероятно, имеется в виду кн. Любовь Петровна Трубецкая (1888—1952), бывшая замужем за кн. Алексеем Александровичем Оболенским (1883—1942); *...неким Купфером.* – Владимир Александрович Купфер (?—1959), регент хора Свято-Никольского собора в Брюсселе.

556

Ед. хр. 48. Л. 14. Письмо, рук.

551 *...«отвергся» от меня.* – Лк. 12, 9.

552 *...один «следователь по особо важным делам»...* — речь идет об И. А. Ильине.

557

Ед. хр. 89. Л. 31—33. Письмо, машинопись. Письмо не было отправлено О. А. Бредиус-Субботиной.

553 *...«Московской патриархии».* – о журнале см. примечание 638 к письму № 143 (Т. 2).

554 *...от 24.VIII.41 г.* – указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 35).

555 *Письмо от г-жи Гелелович...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

556 *Он в свое время стоял у руля...* — А. В. Карташев с 25 марта 1917 г. занимал должность товарища обер-прокурора Святейшего Синода, с 25 июля 1917 г. – должность обер-прокурора; с 5 августа 1917 г. был назначен министром исповеданий Временного правительства; также в 1917—1918 гг. участвовал в Поместном соборе Русской Церкви.

557 *...о митрополите Серафиме.* – Серафим Парижский (Лукьянов), экзарх западно-европейских приходов Русской Православной Церкви. См. примечание 371 к письму № 81 (Т. 1).

558 *...«избави мя от клеветы...»* — Пс. 118, 134.

558

Ед. хр. 48. Л. 24—26. Письмо, машинопись, рук.

559 *...«дважды два – стеариновая свечка!»* — И. С. Шмелев цитирует вторую главу романа И. С. Тургенева «Рудин» (1855). Эти слова произносит Пигасов, один из персонажей романа (Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 28 т. Сочинения в 15 т. Т. 6. М.—Л., 1963. С. 253).

560 *...«слепой осел, сбившийся с дороги»...* — И. С. Шмелев перефразирует первую строку басни И. А. Крылова «Филин и Осел» (1830). В оригинале: «Слепой Осел в лесу с дороги сбился...».

561 *...«отцеживание комара» ?!* — Мф. 23, 24.

559

Ед. хр. 89. Л. 37. Письмо, машинопись.

562 *«Врата адовы не одолеют...»* — Мф. 16, 18.

560

Ед. хр. 48. Л. 29. Почтовая открытка, рук.

563 *...изданной в Гамбурге брошюрой, Сенько-Поповским...* — И. С. Шмелев неточен. Брошюра «Нападение на Гамбургскую церковь» Леонида Александровича Сенько-Поповского была издана в Париже (1928).

561

Ед. хр. 48. Л. 32, 33. Письмо, машинопись.

564 *«...О поле, поле... кто тебя усеял...?»* — И. С. Шмелев цитирует фрагмент песни третьей поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

562

Ед. хр. 48. Л. 36, 37. Письмо, машинопись.

565 *...новый список романа.* – впоследствии О. А. Бредиус-Субботина вернула рукопись И. С. Шмелеву.

566 *...не получила 1-2 отрывки «Заветного образа».* — об этом О. А. Бредиус-Субботина сообщила И. С. Шмелеву в письме от 11 марта 1947 г. (Т. 2. № 175).

567 *...замечание о «7 ноября»...* — см. письмо от 11 марта 1947 г. (Т. 2. № 175).

568 *...с апреля по ноябрь 22 г.* — И. С. и О. А. Шмелевы вернулись в Москву из Крыма весной 1922 г., в конце ноября 1922 г. они выехали в Берлин. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 113.

569 *...«нэп» тогда был самый свежий!* — новая экономическая политика была введена в 1921 г. См. также примечание 766 к письму № 175 (Т. 2).

570 *...у писателя Тренева...* — см. примечание 310 к письму № 74 (Т. 1).

571 *Вересаев...* — см. примечание 133 к письму № 19 (Т. 2).

572 *...епископ Сергий...* — о нем см. примечание 769 к письму № 176 (Т. 2).

563

Ед. хр. 89. Л. 43. Открытка с видом Утрехта, рук.

564

Ед. хр. 48. 49—52. Письмо, рук.

573 *...к дневному письму того же числа...* — И. С. Шмелев упоминает письмо от 21 марта 1947 г. (Т. 2. № 177).

574 *«...жевала корочку».* — упоминается эпизод из XI главы повести И. С. Шмелева «Куликово поле» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 154).

575 *...«не могла “жевать корочку”! НЭП был»!* — И. С. Шмелев цитирует фразу из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 18 марта 1947 г. (Т. 2. № 176).

576 *...«хуленье» — в одном «лесу»... 5 июня.* — речь идет об истерике О. А. Бредиус-Субботиной в Булонском лесу. См. также письмо И. С. Шмелева от 16 июня 1946 г. (№ 429 в наст. томе).

577 *...сценке на лавочке...* — И. С. Шмелев ссылается на эпизод из IX главы повести «Куликово поле» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 148—150).

578 *...доктора Михаила Васильевича...* — речь идет о главах «С визитом», «Мементо мори», «Сады миндальные», «Под ветром» романа «Солнце мертвых».

579 *...«Спас Черный»...* — о замысле этого романа см. письмо И. С. Шмелева от 28 декабря 1941 г. (Т. 1. № 108).

580 *...иеремиада «следователя» о незнании родного...* — речь идет о начале повести «Куликово поле» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 132—133).

581 *...Алексей Митрополит...* — Святитель Алексий митрополит Московский (ок. 1300—1378); *...Димитрий Ростовский...* — святитель Димитрий, митрополит Ростовский (Даниил Туптало, 1671—1709),

духовный писатель, религиозный мыслитель. Канонизирован в 1757 г.; *...Митрофаний Воронежский...* — епископ Воронежской епархии (1623—1703). Канонизирован в лике святителя.

582 *...«Иов» на навозе...* — И. С. Шмелев упоминает эпизод из VIII главы повести «Куликово поле» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 146).

583 *...дорогой Г. Г.»* — речь идет о заметке из «Журнала Московской Патриархии», процитированной О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 18 марта 1947 г. (Т. 2. № 176).

584 *...по поводу адреса Ремизова...* — в письме от 18 марта 1947 г. И. А. Ильин сообщил И. С. Шмелеву, что О. А. Бредиус-Субботина попросила у него адрес А. М. Ремизова (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 71).

565

Ед. хр. 89. Л. 50, 51. Письмо, машинопись.

585 *...поприветствовать со сменкой кожи?* – подробнее об истории получения А. М. Ремизовым советского паспорта см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 286.

586 *...«узор чего стоял начертанным в раю».* – см. примечание 67 к письму № 25 (Т. 1).

587 *...на его «Жанне д'Арк».* – Данте Габриель Россетти (1828—1882), поэт и художник, автор двух картин «Жанна д'Арк» (1863, 1882); *Беатриче в гробу!* – речь идет о картине «Видение Данте во время смерти Беатриче» (1856, 1870); *...Беатриче, «смотрящая в себя»...* — над этой картиной Россетти работал с 1864 по 1870 г.

588 *...трагически ранней кончины.* – Элизабет Сиддел (1829—1862), жена Данте Габриеля Россетти, умерла от передозировки опиума.

589 *...картина его друга...* — имеется в виду «Офелия» (1851—1852) Джона Эверетта Миллеса (1829—1896).

566

Ед. хр. 90. Л. 1. Письмо, машинопись.

590 *...письма от 23-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 22—23 марта 1947 г., отправленное 24 (№ 564 в наст. томе).

591 *...«суди не выше сапога».* – О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует последнюю строку первой строфы стихотворения А. С. Пушкина «Сапожник (притча)» (1829). В оригинале: «Суди, дружок, не выше сапога!»

567

Ед. хр. 48. Л. 55, 56. Письмо, рук.

592 «*...да кружит по сторонам?!..*» — И. С. Шмелев цитирует две заключительные строки второй строфы стихотворения А. С. Пушкина «Бесы» (1830).

[593] *Рассказ будет издан в Париже...* — замысел не был осуществлен.

[594] *«В Кремле на Пасхе».* – речь идет о главе «В Кремле на Святой» из романа «Лето Господне», которая была опубликована в № 1—2 газеты «Русская мысль» (1947. 19, 26 апреля).

[595] *Русский человек...* — Владимир Александрович Лазаревский (1891—1953), прозаик, журналист, основатель газеты «Русская мысль».

[596] *...Маклаков...* — Василий Алексеевич Маклаков (1869—1957), адвокат, один из лидеров партии кадетов, в эмиграции с 1917 г.; *...барон Нольде...* — Борис Эммануилович Нольде (1876—1948), юрист, в эмиграции с 1919 г.

[597] *Буду давать и другое...* — И. С. Шмелев наряду с художественными произведениями публиковал в «Русской мысли» также очерки и критические статьи («Мисюсь и Рыбий глаз», «800 лет Москвы», «Записки неписателя» и др.). См. библиографию в кн.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 387.

[598] *...Титовы...* — упоминаются братья Титовы: Алексей Андреевич, инженер-химик, Андрей Андреевич, профессор медицины, и Александр Андреевич (1878—1961), директор фармацевтического предприятия «Биотерапия»; *...они толкнули несмысленных.* – речь идет о визите 12 февраля 1945 г. в советское посольство видных представителей русской эмиграции, в том числе В. А. Маклакова, А. С. Альперина, А. А. Титова, М. М. Тер-Погосяна, В. Е. Татаринова и др.

568

Ед. хр. 49. Л. 1, 2. Письмо, машинопись, рук.

[599] *...твое письмо, 28.III!* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 178).

[600] *...идет под титулом... могущественной организации...* — первые два года газета «Русская мысль» выходила как орган русских секций французских конфедераций дружинников-христиан. См. также примечание 743 к письму № 167 (Т. 2).

[601] *...«Три разговора» Владимира Соловьева...* — книга В. С. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900) включает «Краткую повесть об антихристе», сюжет которой приводит И. С. Шмелев.

[602] *...статью Старого Политика «О советской церкви».* – речь идет о статье И. А. Ильина, опубликованной в нью-йоркской газете «Россия» под псевдонимом «Старый Политик» (1947. 28 февраля, 1 марта). В том же году статья была издана в Париже отдельной брошюрой под названием «О Церкви в СССР» с предисловием А. В. Карташева. В статье И. А. Ильин назвал себя «жителем Италии», что впоследствии ввело в заблуждение О. А. Бредиус-Субботину (см. письмо № 572 в наст. томе).

[603] *Это мне И. А. напоминал.* – И. С. Шмелев цитирует письмо И. А. Ильина от 21 марта 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 82).

604 *Послал авионом И. А. ...* — имеется в виду письмо И. А. Ильину от 30 марта 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 110—111).

605 ... *«немой возгласит»*. – отсылка к притче об исцелении немого бесноватого (Мф. 9, 33).

606 *«Собрашася книжники и фарисеи...»* — Мф. 23, 1-3.

607 ...*«Автобиографические заметки»*... — сборник трудов С. Н. Булгакова, составленный его учеником Л. А. Зандером (Париж, 1946).

608 ...*«Две встречи»*... — очерк С. Н. Булгакова, посвященный его посещению дрезденской галереи Цвингер в 1898 и 1924 гг.

569

Ед. хр. 90. Л. 8. Почтовая открытка, рук.

570

Ед. хр. 49. Л. 5. Письмо, рук., карандаш.

608а *Депеша...* — речь идет о телеграмме И. С. Шмелева с уведомлением об отправке О. А. Бредиус-Субботиной рукописи ее рассказа «Заветный образ». В архиве О. А. Бредиус-Субботиной телеграмма не сохранилась. См. также письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 6 апреля 1947 г. (№ 572 в наст. томе).

571

Ед. хр. 90. Л. 11. Телеграмма.

572

Ед. хр. 90. Л. 12—14. Письмо, машинопись.

573

Ед. хр. 49. Л. 8. Пасхальная поздравительная открытка, рук.

609 ...*чтением 30 марта.* – см. примечание 780 к письму № 177 (Т. 2), а также в кн.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 290.

574

Ед. хр. 90. Л. 17. Открытка с изображением цветов, рук.

575

Ед. хр. 49. Л. 16, 17. Письмо, рук., карандаш.

610 ...*И. А. ... отказался от сотрудничества.* – И. А. Ильин был несогласен с составом редакции газеты «Русская мысль». См. письмо И. А. Ильина от 6 апреля 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 112—113).

576

Ед. хр. 90. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

611 ...*«нищих всегда при себе имеете...»* — Ин. 12, 8.

577

Ед. хр. 90. Л. 22. Письмо, рук.

612 *Ты не хочешь видеть меня.* – О. А. Бредиус-Субботина ссылается на письмо И. С. Шмелева от 12 апреля 1947 г. (Т. 2. № 179).

578

Ед. хр. 49. Л. 27, 28. Письмо, рук.

613 ...*твое письмо от 17—20.IV.* – указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 180).

614 ...*выдержку из рабьего журнала...* — речь идет о статье Б. Л. Черкеса «Пребывание Г. Г. Карпова в Чехословакии», опубликованной в «Журнале Московской Патриархии» (1946. № 8), выдержку из которой О. А. Бредиус-Субботина приводит в письме от 18 марта 1947 г. (Т. 2. № 176).

615 *Торговец...* — имеется в виду С. И. Гелелович.

579

Ед. хр. 90. Л. 37, 38. Письмо, рук.

580

Ед. хр. 90. Л. 41. Открытка с видом бухты, рук.

616 ...*за доброе письмо...* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 25 апреля 1947 г. (Т. 2. № 182).

581

Ед. хр. 90. Л. 44, 45. Письмо, рук.

582

Ед. хр. 49. Л. 34. Письмо, машинопись.

617 ...*«Как я встречался с Чеховым».* – см. примечание 11 к письму № 1 (Т. 2).

618 ...*«Монтигомо, Ястребиный коготь».* – И. С. Шмелев называет рассказ А. П. Чехова «Мальчики» (1887) по прозвищу одного из персонажей.

619 ...*«Ясновидец».* – рассказ из цикла «Заметы», опубликован в газете «Русская мысль» (1947. 31 мая. № 7).

620 *...о преп. Серафиме...* — имеется в виду рассказ «Еловые лапы» из цикла «Заметы», опубликован в газете «Русская мысль» (1947. 2 августа. № 16).

621 *...«На высоте и в низинке»...* — замысел не был осуществлен.

583

Ед. хр. 90. Л. 48, 49. Письмо, рук.

622 *...письмо от Ксении Львовны...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо от К. Л. Первушиной не сохранилось.

623 *...твоя статья...* — см. примечание 597 к письму № 567 в наст. томе.

584

Ед. хр. 91. Л. 1, 2. Письмо, рук.

624 *...о «каменном цветке»?* – речь идет о фильме режиссера А. Л. Птушко (1900—1973), снятом по мотивам уральских сказов П. П. Бажова (1946); *Недаром ему дана 1-ая премия.* – фильм «Каменный цветок» в 1947 г. получил Государственную премию СССР.

585

Ед. хр. 91. Л. 6. Письмо, рук.

586

Ед. хр. 49. Л. 37. Письмо, машинопись.

625 *...хулу на «антикоммунистическую газету»...* — 25 мая 1947 г. советское радио назвало «фашистами» всех сотрудников газеты «Русская мысль». См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 294.

626 *...«Врешь, есть Бог!»...* — рассказ из цикла «Заметы», опубликован в газете «Русская мысль» (1947. 17 мая. № 5).

627 *...«Бескрестный Лазарь»...* — рассказ из цикла «Заметы», опубликован в газете «Русская мысль» (1947. 20 сентября. № 23).

628 *...«Необходимый ответ»...* — см. примечания 26 к письму № 2 и 805 к письму № 183 (Т. 2).

629 *...живущий у него писатель Зуров...* — Леонид Федорович Зуров (1902—1971), прозаик. С 1929 г. жил в Грассе у Буниных.

630 *Посылаю тебе нужную бумагу...* — к письму приложено официальное письмо И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной о переводе и иллюстрировании его произведений: Le 27 mai 1947 / Chère Madame, / C'est avec plaisir que je vous confirme que je vous ai chargee de la traduction d'une de mes oeuvres et de l'illustration d'une autre. / Il va sans dire que je vous autorise à faire l'usage qu'il vous conviendra de la présente et de vous en servir pour ce que de droit. / Veuillez croire, chère Madame, à tout mon amitié et recevez mes respectueux hommages. / Ivan Chmelov (27 мая 1947. Дорогая мадам, с удовольствием сообщаю Вам, что возложил на

Вас перевод одного моего произведения и иллюстрирование другого. Безусловно, Вы имеете полную свободу действий и в настоящее время, и в [будущем]. Заверяю Вас, дорогая мадам, в дружеском к Вам отношении и примите уверения в почтении. Иван Шмелев, *фр.*)

587

Ед. хр. 91. Л. 8—10. Письмо, рук.

631 *...голландка из Утрехта...* — лицо не установлено.

632 *...у одного художника...* — сведений о нем нет.

633 *...письма Чайковского и Н. Ф. фон Мекк...* — см. примечание 810 к письму № 184 (Т. 2).

588

Ед. хр. 49. Л. 41. Почтовая открытка, рук.

589

Ед. хр. 49. Л. 44. Письмо, машинопись.

634 *...мое окончательное письмо...* — письмо И. С. Шмелева в газете «Русская мысль» опубликовано не было.

590

Ед. хр. 49. Л. 47, 48. Письмо, машинопись.

635 *...«переиздать "Солнце мертвых"»...* — роман «Солнце мертвых» был переиздан в 1949 г.

636 *...бывшая леди Детерд...* — сведений о ней нет.

637 *...приводишь слова Катениной?* – речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 12 июня 1947 г. (Т. 2. № 183).

638 *...«Всенощная, июнь»?* – И. С. Шмелев имеет в виду свой очерк «Свете тихий».

591

Ед. хр. 91. Л. 19. Письмо, рук.

639 *...едет Енакиев...* — см. упоминание об этом в письме И. С. Шмелева от 21 июля 1947 г. (Т. 2. № 184).

592

Ед. хр. 91. Л. 22, 23. Письмо, рук., чернила, карандаш.

640 *...обручиться и жениться...* — П. И. Чайковский начал переписываться в Н. Ф. фон Мекк в 1876 г. (см. примечание 810 к письму № 184, Т. 2). 6 июня 1877 г. композитор женился на своей студентке Антонине Милюковой (1853—1917).

593

Ед. хр. 91. Л. 26. Письмо, рук.

594

Ед. хр. 49. Л. 51. Записка, приложенная к цветам, рук.

595

Ед. хр. 91. Л. 30—34. Письмо, рук.

641 *Пришлю тебе, как перепишу.* – впоследствии намерения О. А. Бредиус-Субботиной изменились.

596

Ед. хр. 50. Л. 1—3. Письмо, машинопись.

642 *...из Эдгара По, — «собака Баскервилей».* – И. С. Шмелев приписывает американскому писателю Эдгару По (1809—1849) повесть английского писателя Артура Конан Дойла (1859—1930) «Собака Баскервилей» (1901—1902).

643 *...в «Православную Русь».* – см. примечание 818 к письму № 185 (Т. 2).

644 *Написал И. А. ...* — см. письмо И. С. Шмелева от 29 июля 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 157—162).

645 *...от одного духовного лица...* — речь идет о еп. Серафиме (Иванове). О нем см. примечания 818 к письму № 185 и 859 к письму № 195 (Т. 2).

646 *... «Свободная мысль»...* — имеются в виду сборники «Свободный голос», которые издавались С. П. Мельгуновым с 1946 г. См. также примечания 623 и 624 к письму № 140 (Т. 2).

647 *...« "Мисюсь" и "рыбий глаз"»...* — речь идет об очерке И. С. Шмелева «Мисюсь и Рыбий глаз. Письмо о русских женщинах», опубликованном в газете «Русская мысль» (1946. 19 июля. № 14).

648 *Собрать в 8—10 статей...* — при жизни писателя замысел не был осуществлен. При издании собрания сочинений И. С. Шмелева его статьи и очерки опубликованы в Т. 7 (Это было. М., 1999).

649 *...у Достоевского его Аглая...* — более подробно об этом см. письмо И. А. Ильину от 3 августа 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 163)

597

Ед. хр. 91. Л. 37. Письмо, рук.

598

Ед. хр. 91. Л. 39. Почтовая открытка, рук.

599

Ед. хр. 50. Л. 13. Письмо, машинопись.

650 *«...не может разделить нас».* – И. С. Шмелев неточно цитирует фразу из письма И. А. Ильина от 2 августа 1947 г. В оригинале: «*А нас с Вами* Атлантич<еский> океан *не* разлучит» (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 167).

600

Ед. хр. 50. Л. 16—19. Письмо, рук.

651 *...одному испанцу-читателю.* – лицо не установлено.

601

Ед. хр. 91. Л. 45, 46. Письмо, рук.

602

Ед. хр. 91. Л. 50. Письмо, рук.

652 *...«Благодетели»... «За белой ширмой».* – в архиве О. А. Бредиус-Субботиной рукописи рассказов не сохранились.

653 *...«Преображенец».* – рассказ И. С. Шмелева из сборника «Степное чудо» (Париж, 1927).

654 *...о. Михаил Родзюк...* — сведений о нем нет.

603

Ед. хр. 92. Л. 1. Письмо, рук.

655 *...пишет маме...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

604

Ед. хр. 50. Л. 22—23. Письмо, машинопись, рук.

656 *...высоко назначен.* – Дж. Кеннан занимал пост директора Совета по планированию внешней политики при президенте США.

657 *...взяты берлинским издательством...* — роман «Пути небесные» в переводе Рудольфа Карманна (нем. название «Dunkel ist unser Glück») вышел в издательстве Herder в 1965 г.

658 *...«Богомолье» тоже взято...* — роман в переводе Артура Лютера и Рудольфа Карманна (нем. название «Die Strasse der Freude») был издан в 1952 г. в издательстве Eckart Verlag.

605

Ед. хр. 92. Л. 4. Почтовая открытка, рук.

606

Ед. хр. 50. Л. 27, 28. Письмо, машинопись.

659 *Иван Александрович известил...* — речь идет о письме И. А. Ильина от 23 сентября 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 183).

660 *...к 800-летию Москвы...* — очерк И. С. Шмелева «800 лет Москвы. 1147—1947» был опубликован в № 21 газеты «Русская мысль» (1947. 4 сентября).

607

Ед. хр. 92. Л. 6. Письмо, рук.

661 *...«буря ощущений»...* — О. А. Бредиус-Субботина цитирует роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. VIII, XLVIII).

608

Ед. хр. 92. Л. 10. Письмо, рук.

609

Ед. хр. 92. Л. 15. Письмо, рук.

610

Ед. хр. 92. Л. 20. Почтовая открытка, рук.

662 *...на Ваше письмо...* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 21 октября 1947 г. (Т. 2. № 187).

663 *...посылку того, о чем Вы пишете.* – в своем письме И. С. Шмелев просил прислать ему белого хлеба.

611

Ед. хр. 50. Л. 37. Письмо, машинопись.

612

Ед. хр. 92. Л. 22, 23. Письмо, рук.

613

Ед. хр. 92. Л. 30, 31. Письмо, рук.

664 *...уехал уже в Швейцарию...* — И. С. Шмелев уехал в Швейцарию 26 декабря 1947 г. на автомобиле с Д. И. Ознобишиным. См. письмо от 27 декабря 1947 г. (Т. 2. № 190).

665 *...не пойду на знакомство с издателем.* – речь идет о возможной публикации рассказов О. А. Бредиус-Субботиной. См. письмо от 22 ноября 1947 г. (Т. 2. № 188).

[666] *...мой «натюр-морт»...* — о замысле этого произведения см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 19 октября 1945 г. (Т. 2. № 105).

614

Ед. хр. 92. Л. 35. Почтовая открытка, рук.

[667] *...Ваше письмо.* – имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 15 декабря 1947 г. (Т. 2. № 189).

615

Ед. хр. 50. Л. 46, 47. Письмо, рук.

[668] *...ген. Ознобишиным.* – о нем см. примечание 530 к письму № 126 (Т. 1).

[669] *«...ничего не будут обо мне знать».* – И. С. Шмелев неточно цитирует письмо И. А. Ильина от 9 декабря 1947 г. В оригинале: «...я *обязан* принять все меры к тому, чтобы они знали обо мне *как можно меньше*» (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 211); *Это не точные слова...* — в указанном письме И. А. Ильин писал: «Здесь все связующе и трагически-серьезно. Добродушно обывательствовать не смею. А *они* — должны были *раньше* думать, что делают, куда присклоняются и что из этого выйдет» (Там же).

616

Ед. хр. 92. Л. 37. Письмо, рук.

[670] *...о ней рассказывает!* – О. А. Бредиус-Субботина упоминает эпизод из LIV главы романа «Няня из Москвы» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 3. С. 156—158).

617

Ед. хр. 51. Л. 13—15. Письмо, рук. Адрес отправителя: Pension Mirabeau, 4, rue Candolle. Geneve, Suisse.

[671] *...Сергий Пражский.* – о нем см. примечание 769 к письму № 176 (Т. 2).

[672] *...о. Константин Изразцов... генерала Перрона...*— см. примечания 799 и 800 к письму № 182 (Т. 2).

[673] *...наших новых эмигрантов.* – см. примечание 642 и 644 к письму № 145 (Т. 2).

[674] *...у одного швейцарца-инженера...* — имеется в виду Герман Оскарович Риш. О нем см. письмо И. С. Шмелева от 20 января 1948 г. (№ 620 в наст. томе), а также письма И. А. Ильину от 16 и 23 января 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 234, 242).

[675] *...здешнему настоятелю...* — речь идет об о. Леонтии (Барташевиче). О нем см. примечание 870 к письму № 203 (Т. 2).

[676] *...прот. Орлов...* — Сергей Иванович Орлов (1864—1944), с 1905 г. настоятель храма Воздижения Креста Господня в Женеве.

677 *...стих 5 и дальше!* – имеется в виду пророчество о разрушении храма (Лк. 21, 5, 6).

678 *Он написал мне...* — И. С. Шмелев цитирует письмо И. А. Ильина от 2 января 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 217).

618

Ед. хр. 51. Л. 22. Письмо, рук. Адрес отправителя: Pension Mirabeau, 4, rue Candolle. Geneve, Suisse.

619

Ед. хр. 92. Л. 44. Письмо, рук.

679 *...«оглянуться не успеешь»...* — цитата из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» (1808).

680 *...мой 3-ий рассказ...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной рукопись рассказа не сохранилась.

681 *...письмо от Катениной...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

620

Ед. хр. 51. Л. 24, 25. Письмо, рук. Адрес отправителя до марта 1949 г. (последнее письмо из Женевы отправлено И. С. Шмелевым 20 января 1949 г. (№ 660 в наст. томе)): c/o A. Rich, ingénieur.15, Bd. de George Favon. Geneve, Suisse.

682 *...профессор и его жена...* — речь идет о Федоре Ефимовиче и Марии Тарасовне Волошиных. См. примечание 846 к письму № 191 (Т. 2).

621

Ед. хр. 51. Л. 28—30. Письмо, рук.

683 *...Марии Соловьевой.* – о ней см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 23 января 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 243).

684 *...о «самоцветах»?* – речь идет о главах XLIV «Скрещение путей» и XLV «Чистейшее» второго тома романа «Пути небесные».

685 *...«волосков десятка 2—3 в "западне"»...* — Вторая книга царств 18, 9.

686 *...пошли в черед к раке преподобного!!?* — 20 апреля 1946 г. мощи преп. Сергия Радонежского были перенесены в Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. В 1946—1947 гг. Лавра была передана Русской Православной Церкви. 9 июня 1947 г. состоялось первое патриаршее богослужение.

622

Ед. хр. 51. Л. 32, 33. Письмо, рук.

623

Ед. хр. 92. Л. 47, 48. Письмо, рук.

687 *...«Храм без Божества»...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Исповедь» (1831).

624

Ед. хр. 92. Л. 52, 53. Письмо, рук.

625

Ед. хр. 93. Л. 1, 2. Письмо, рук.

626

Ед. хр. 51. Л. 36, 37. Письмо, машинопись.

688 *...за «Куликово поле»...* — сведений об американском издании этой повести в библиографиях И. С. Шмелева, составленных Д. М. Шаховским и О. Н. Сорокиной, нет.

627

Ед. хр. 93. Л. 10. Почтовая открытка, рук.

689 *На мое письмо...* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 17 марта 1948 г. (Т. 2. № 196).

628

Ед. хр. 51. Л 47. Почтовая открытка, рук.

690 *Я тебе давно ответил...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 24 марта 1948 г. (Т. 2. № 197).

629

Ед. хр. 93. Л. 16. Почтовая открытка, рук.

691 *...письмо Ваше от 11-го...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 199).

630

Ед. хр. 52. Л. 1. Письмо, рук.

692 *...съездил – 17и 18 – в Bern...* — об этих чтениях см. письма И. С. Шмелева И. А. Ильину от 2 и от 21 апреля 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 303, 308—309).

693 *...одна докторша в санатории...* — речь идет о Вере Дмитриевне Носенко. О ней также см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 9 мая

1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 316—317) и примечание 867 к письму № 202 (Т. 2).

694 *...пойдут «Росстани»...* — об этой публикации см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 293.

631

Ед. хр. 52. Л. 4. Письмо, рук.

632

Ед. хр. 52. Л. 7. Письмо, рук.

695 *...Н. К. Кульман... с женой своей...* — о них см. примечание 708 к письму № 183 (Т. 1).

696 *...печатается в «Православной Руси».* – повесть «Куликово поле» была опубликована в журнале «Православная Русь» (1948. Март—апрель).

633

Ед. хр. 52. Л. 10. Почтовая открытка, рук.

697 *...мое чтение в Цюрихе...* — об этом см. письмо И. А. Ильина от 9 мая 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 319—320). Чтение состоялось 26 июня 1948 г. О нем см. письмо И. С. Шмелева от 30 июня 1948 г. (№ 644 в наст. томе).

698 *...навязывается нечто для фильма...* — И. С. Шмелев планировал написать сценарий на сюжет своего рассказа «Трапезондский коньяк».

699 *...русский, читатель мой.* – Иосиф Николаевич Ермольев (?—1962), кинорежиссер, продюсер, основатель одной из первых русских киностудий. С 1920 г. в эмиграции; жил в Париже, затем переехал в США. О нем см. также письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 14 мая 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 321).

700 *...«Записки неписателя»...* — цикл очерков И. С. Шмелева, опубликованы в газете «Русская мысль» (1948. 30 июля. № 68; 22 октября. № 80; 13 ноября. № 84; 1949. 9 февраля. № 109; 25 февраля. № 114; 22 апреля. № 130).

634

Ед. хр. 93. Л. 25. Письмо, рук.

701 *Вся его «деятельность»...* — речь идет о попытках ограничения советского влияния в послевоенной Европе.

702 *...читательнице...* — имеется в виду Наталья Александровна Ильина. О ней см. также письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 21 мая 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 327).

635

Ед. хр. 52. Л. 12. Письмо, рук.

636

Ед. хр. 52. Л. 15. Почтовая открытка, рук.

637

Ед. хр. 93. Л. 29, 30. Письмо, рук.

703 *...М-те Кудрявцева...* — сведений о ней нет.

638

Ед. хр. 52. Л. 17. Письмо, машинопись. К письму приложен проект обложки для предполагаемого издания повести «Куликово поле» *(Л. 18).*

639

Ед. хр. 93. Л. 34. Письмо, рук.

704 *Вчера послала тебе письмо...* — вероятно, речь идет о письме, фрагмент которого, датированный [апрелем-маем 1948], хранится в архиве И. С. Шмелева в Российском Фонде Культуры (Свидетельство о дарении 1053). Фрагмент опубликован в журнале «Наше наследие» (1990. № 60. С. 136—137).

640

Ед. хр. 52. Л. 21. Письмо, машинопись.

705 *...А. В. Тырковой...* — Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962), писатель, журналист, политический деятель.

706 *...одного из редакторов «лондонского "Таймса"»...* — речь идет о Гарольде Вильямсе. А. В. Тыркова вышла замуж за Г. Вильямса в 1906 г.

641

Ед. хр. 93. Л. 38. Письмо, рук.

642

Ед. хр. 52. Л. 24. Письмо, машинопись.

643

Ед. хр. 52. Л. 39. Почтовая открытка, рук.

707 *...твоим par exprès...* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 13 июня 1948 г. (Т. 2. № 203).

644

Ед. хр. 52. Л. 41. Почтовая открытка, рук.

708 *...у чудесной русской женщины.* – речь идет о Дине Михайловне Рустергольц. О ней см. письмо И. А. Ильина от 4 июля 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 349).

709 *...1—2 ч. «Путей»...* — роман «Пути небесные» был опубликован издательством «Возрождение» в 1948 г.

710 *«Богомолье» — взято YMCA-Press...* — второе издание романа «Богомолье» вышло в издательстве YMCA-Press в 1948 г.

711 *Будет издаваться в Paris.* – отдельное издание повести «Куликово поле» было осуществлено только в 1958 г.

645

Ед. хр. 93. Л. 44, 45. Письмо, рук.

712 *...с Берлином им много возни.* – положения Лондонских протоколов (сентябрь—ноябрь 1944), подтвержденные на Ялтинской конференции (февраль 1945), предусматривали оккупацию Берлина СССР, Великобританией и США (в будущем также Францией). После капитуляции 2 мая 1945 г. Берлин был разделен на четыре сектора, которые управлялись Союзным контрольным советом и Союзной комендатурой. Расхождения во взглядах на статус Берлина, введение марки в Западной Германии (односторонне получавшей помощь по плану Маршалла) и принятие западногерманской денежной единицы в Западном Берлине в июне 1948 г. привели к советской блокаде всех подъездных путей. В сентябре 1948 г. активисты СЕПГ захватили здание городского парламента, расположенное в Восточном Берлине. В ноябре 1948 г. была учреждена отдельная городская администрация. В течение 11 месяцев Западный Берлин снабжался исключительно по воздуху. Блокада была снята в мае1949 г.

713 *...свою подругу детства...* — лицо не установлено.

646

Ед. хр. 52. Л. 42, 43. Письмо, рук.

714 *...от Фонда имени Пушкина...* — см. примечание 856 к письму № 195 (Т. 2).

715 *...E. P. Dutton...* — см. примечание 858 к письму № 195 (Т. 2).

647

Ед. хр. 93. Л. 48. Письмо, рук.

716 *...книгу Эллиота Рузвельта.* – речь идет о книге второго сына президента США Франклина Рузвельта «Его глазами» («As He Saw It», 1946), русский перевод которой вышел в 1947 г.

648

Ед. хр. 93. Л. 53. Письмо, рук.

649

Ед. хр. 94. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

650

Ед. хр. 94. Л. 3. Почтовая открытка, рук.

717 *Пересылаю эту открытку...* — текст письма О. А. Бредиус-Субботиной написан на обороте открытки С. А. Субботина к ней от 23 августа 1948 г.: 6 1/2 часа, понедельник / Дорогая Олюша! / Звонил сейчас д-ру Ваутерсу, — его вообще нет дома и вернется он только в начале октября! Если возобновит практику раньше, то будет объявлено в газетах. Если бы ты все же собралась в Арнхем, то был бы очень рад тебя здесь видеть. М.б. вместе с муликом бы и приехали?! / В Утрехте оставил адрес и все сведения о Вигене, т.к. самого Шумахера не застал. А так, конечно, ничего нового нет. / Целую вас всех крепко. Сережа

718 *Твое письмо...* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 18 августа 1948 г. (Т. 2. № 205).

651

Ед. хр. 94. Л. 7. Письмо, рук.

718а *Твое последнее письмо мне...* — здесь и далее О. А. Бредиус-Субботина отвечает на письмо И. С. Шмелева от 18 августа 1948 г. (Т. 2. № 205).

719 *...18-летним гимназистом.* – рассказ «У мельницы» был опубликован в 1895 г. (Русское обозрение. № 7). И. С. Шмелев в то время учился в Московском университете, ему было 22 года.

652

Ед. хр. 52. Л. 49. Почтовая открытка, рук.

653

Ед. хр. 94. Л. 10. Письмо, рук.

720 *...на Липмена...* — Вальтер Липмен (1889—1974), американский журналист, писавший о внешней политике США.

654

Ед. хр. 94. Л. 12. Письмо, рук.

721 *...«Марейка»...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной текст рассказа не сохранился.

655

Ед. хр. 94. Л. 18. Открытка с пейзажем, рук.

656

Ед. хр. 52. Л. 52. Почтовая открытка, рук.

722 *...статью о Достоевском...* — об этом см. примечание 889 к письму № 210 (Т. 2).

723 *Статья вдовы Деникиной...* — имеется в виду «Письмо в “Новое русское слово”» К. В. Деникиной (Новое русское слово. 1948. 7 июля). О ней см. примечание 106 к письму № 12 (Т. 2).

657

Ед. хр. 94. Л. 20. Почтовая открытка, рук.

658

Ед. хр. 94. Л. 30, 31. Письмо, рук.

724 *Сегодня твое письмо.* – речь идет о письме И. С. Шмелева от 31 декабря 1948 г. (Т. 2. № 210).

659

Ед. хр. 94. Л. 39. Письмо, рук.

725 *...к «злодеям» сопричтет.* – Лк. 22, 37; Мк. 15, 28.

726 *...меня назвал.* – «разгульной коммунисткой» назвал О. А. Бредиус-Субботину И. С. Шмелев. См. письмо от 28 августа 1946 г. (Т. 2. № 147).

660

Ед. хр. 53. Л. 17—19. Письмо, рук.

727 *...письмо к тебе...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 212).

661

Ед. хр. 94. Л. 44. Письмо, рук.

728 *...огромное письмо...* — вероятно, имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 27 января 1949 г. (Т. 2. № 213).

729 *...а срок-то ей уж и вышел!* – отсылка к стихотворению Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится...» (1836).

662

Ед. хр. 94. Л. 51, 52. Письмо, рук.

[730] *...ты уже в Париже...* — И. С. Шмелев вернулся в Париж 16 марта 1949 г. См. письмо И. С. Шмелева от 24 марта 1949 г. (Т. 2. № 215).

663

Ед. хр. 95. Л. 3. Почтовая открытка, рук.

664

Ед. хр. 95. Л. 1, 2. Письмо, рук.

[731] *...благодарю тебя за письмо...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной указанное письмо не сохранилось.

665

Ед. хр. 95. Л. 5. Письмо, рук. Приложено официальное письмо для голландского консульства в Париже (*Л. 6, на голл. языке*).

666

Ед. хр. 95. Л. 8. Почтовая открытка, рук.

667

Ед. хр. 53. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

[732] *...новое издание «Няни» и «Солнца мертвых».* – в 1949 г. романы И. С. Шмелева «Солнце мертвых» и «Няня из Москвы» были переизданы в издательстве «Возрождение».

668

Ед. хр. 95. Л. 10, 11. Письмо, рук.

[733] *...свой главный роман.* – о замысле этого романа см. также письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 1 января 1944 г. (Т. 2. № 71).

[734] *...Волынская.* – сведений о ней нет.

669

Ед. хр. 53. Л. 27. Письмо, рук.

670

Ед. хр. 53. Л. 30. Записка, приложенная к цветам, рук.

671

Ед. хр. 95. Л. 12, 13. Письмо, рук.

672

Ед. хр. 95. Л. 15. Почтовая открытка, рук.

673

Ед. хр. 95. Л. 22. Письмо, рук.

735 *...большое письмо.* – имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 13 июля 1949 г. (Т. 2. № 218).

736 *«Любаву»...* — см. примечание 905 к письму № 216 (Т. 2).

737 *...Рамон Наварро из Холливуда...* — латиноамериканский актер (1899—1968), снимался на киностудии «Метро Голден Майер» в 1920-х — 1930-х гг. в амплуа героя-любовника.

738 *...Фридриха Великого...* — Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король с 1740 г.

674

Ед. хр. 53. Л. 43. Письмо, машинопись.

739 *...военный писатель...* — Константин Сергеевич Попов (1893—1962), капитан, участник Первой мировой войны, сотрудник Зарубежного союза русских военных инвалидов. С 1931 г. – секретарь редакции газеты «Русский инвалид». О нем см. также в кн.: Жантийом-Кутырин И. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 31.

740 *...нашу виллу «Риан-Сежур»...* — описание жизни на вилле см. в кн.: Жантийом-Кутырин И. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 42—44.

741 *...председателя Кулаевского фонда...* — речь идет о Николае Викторовиче Борзове (1871-1955), историке и преподавателе, главном редакторе журнала «День русского ребенка» (Сан-Франциско). О Просветительском фонде им. И. В. Кулаева см. примечание 783 к письму № 177 (Т. 2).

675

Ед. хр. 53. Л. 41. Записка к цветам, рук.

742 *...упоминаемый много в «Путях Небесных»...* — глоксиния упоминается в главах VIII «Миг созерцания», XXIII «Явление» и др. (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 300, 346).

743 *...«кривишь ножки»...* — О. А. Бредиус-Субботина цитирует выражение из романа И. С. Шмелева «Богомолье» (См.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 417).

676

Ед. хр. 95. Л. 24. Письмо, рук.

677

Ед. хр. 95. Л. 27. Письмо, рук.

[744] *...Сережин товарищ...* — речь идет о Шитове. См. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 9 июля 1949 г. (Т. 2. № 217).

678

Ед. хр. 53. Л. 46. Письмо, рук.

679

Ед. хр. 95. Л. 31. Почтовая открытка, рук.

680

Ед. хр. 53. Л. 49. Почтовая открытка, рук.

[745] *...пиша Александре Александровне...* — указанная открытка находится в архиве О. А. Бредиус-Субботиной (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 3).

681

Ед. хр. 95. Л. 33. Письмо, рук.

682

Ед. хр. 95. Л. 37. Письмо, рук.

[746] *...письмо от М. Т. Волошиной...* — указанное письмо хранится в архиве О. А. Бредиус-Субботиной (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 54).

683

Ед. хр. 54. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

[747] *...«Приволье»...* — рассказ И. С. Шмелева «Приволье. К 45-летию кончины А. Чехова» был напечатан в журнале «Возрождение» (1949. № 5).

[748] *...за письмо.* – в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

684

Ед. хр. 95. Л. 40. Почтовая открытка, рук.

685

Ед. хр. 54. Л. 4. Почтовая открытка, рук.

[749] *Меркулов прочтет письмо...* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 26 сентября 1949 г. (Т. 2. № 219).

686

Ед. хр. 95. Л. 46. Письмо, рук.

[750] *...доктор Гониев...* — сведений о нем нет.

[751] *...Карским.* – см. примечание 922 к письму № 219 (Т. 2).

687

Ед. хр. 95. Л. 52, 53. Письмо, рук.

[752] *...письмо от М. Ф. Карской.* – в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

[753] *... написанная под Вашу диктовку...* — имеется в виду открытка от 13 октября 1949 г. (Т. 2. № 221).

688

Ед. хр. 96. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

689

Ед. хр. 54. Л. 10. Почтовая открытка, рук.

[754] *Из New York пока нет ответа.* – о переписке И. С. Шмелева с Толстовским фондом см. примечание 930 к письму № 226 (Т. 2).

690

Ед. хр. 96. Л. 3, 4. Письмо, рук.

691

Ед. хр. 96. Л. 8, 9. Письмо, рук.

692

Ед. хр. 54. Л. 13. Почтовая открытка, рук.

693

Ед. хр. 96. Л. 13. Письмо, рук.

[755] *...письмо от А. Н. Меркулова...* — речь идет о письме от 21 декабря 1949 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 106).

694

Ед. хр. 54. Л. 20, 21. Письмо, рук.

[756] *...дома ты...* — о своем выходе из больницы О. А. Бредиус-Субботина сообщила И. С. Шмелеву в открытке от 17 декабря 1949 г. (Т. 2. № 223).

757 *...бывшая питерская певица...* — лицо не установлено.

758 *YMCA выпускает «Куликово поле»...* — повесть «Куликово поле» была опубликована издательством YMCA-Press в 1958 г.

759 *...хирурга ...* — имеется в виду хирург Masmonteil. О нем см. открытку И. С. Шмелева от 22 декабря 1949 г., письма от 5 и 17 января 1950 г. (Т. 2. № 224; Т. 2. № 226; № 696 в наст. томе).

760 *...архимандрит – Мефодий...* — о. Мефодий (Кульман), настоятель церкви в Аньере, впоследствии епископ, был духовником И. С. Шмелева.

761 *...послал дня 4 тому тебе открытку.* – имеется в виду открытка от 22 декабря 1949 г. (Т. 2. № 224).

695

Ед. хр. 96. Л. 16—19. Письмо, рук.

762 *...когда он пишет...* — 21 декабря 1949 г. А. Н. Меркулов писал: «Поправляйтесь-же скорее и дайте себе наконец заслуженный и необходимый отдых после столь тяжелой операции» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 106. Л. 7 об.).

763 *...«Профессорский уголок»?* – дачный поселок вблизи г. Алушты, где семья Шмелевых жила с 1918 по 1921 г.

696

Ед. хр. 54. Л. 25, 26. Письмо, рук.

697

Ед. хр. 96. Л. 25, 26. Письмо, рук. Адрес отправителя: «Mariahoeve» Elspetenweg, 6 Nunspeet.

764 *...засыпал письмами...* — письма Е. Шахбагова сохранились в архиве О. А. Бредиус-Субботиной (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 152).

698

Ед. хр. 54. Л. 35. Письмо, рук.

699

Ед. хр. 96. Л. 35. Письмо, рук. Адрес отправителя: «Mariahoeve» Elspetenweg, 6 Nunspeet.

700

Ед. хр. 54. Л. 38, 39. Письмо, рук.

701

Ед. хр. 96. Л. 39. Письмо, рук.

765 *...письмо от М. Ф. Карской...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

702

Ед. хр. 96. Л. 45. Открытка с изображением моста в Амстердаме, рук.

766 *...Амстердам — очень типично...* — на обороте открытки рисунок: Anton Pieck. Brug Groenburgwal Amsterdam.

703

Ед. хр. 96. Л. 41, 42. Письмо, рук.

704

Ед. хр. 54. Л. 45. Письмо, рук.

705

Ед. хр. 96. Л. 51, 52. Письмо, рук.

ДОПОЛНЕНИЕ

Ед. хр. 76. Л. 9, 10. Письмо, рук.

767 *Что это газета-то...* — речь идет о газете «Новое слово». См. примечание 741а к письму № 189 (Т. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Пути небесные»

Фрагменты романа со сплошной нумерацией страниц с 1 по 200 пересылались в письмах И. С. Шмелева с 7 апреля по 15 августа (№ 343—354, 356—371, 373—395 в настоящем томе). Страницы 193—196 в архиве О. А. Бредиус-Субботинной не сохранились. В нумерацию страниц не включен второй вариант фрагмента главы «Аллилуиа», пересылавшийся в письме И. С. Шмелева от 12 июля 1944 г. (№ 377).

1

Ед. хр. 32. Л. 26, 31. Машинопись с авторской правкой.

768 *«...Тебе благодарим, Господи...»* — возглас священника во время освящения Св. Даров на литургии.

769 *...старец Варнава у Троицы...* — см. примечание 212 к письму № 54 (Т. 1).

770 *«... до сердца чуткого коснется».* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827). В оригинале: «...до слуха чуткого коснется...».

771 *...Гафизом...* — см. примечание 67 к письму № 25 (Т. 1); *«...Стоит начертанный в раю!»* — эти строки впервые использованы в письме И. С. Шмелева О. А. Бредиус-Субботинной от 23 мая 1941 г. (Т. 1. № 25).

772 *«...души моея болезнь».* — из канона Пресвятой Богородице.

2

Ед. хр. 32. Л. 30, 36. Машинопись с авторской правкой.

773 *«...произшел еси...»* — Лк. 1, 5-11. Евангельские строки включены в акафист Рождеству Иоанна Крестителя.

774 *...пошел добровольцем на Балканы...* — до официального объявления Русско-турецкой войны в апреле 1877 г. в военных действиях на Балканах принимали участие русские добровольцы. В 1876 г. в Сербию направилось до 5 тысяч русских добровольцев.

775 *...«лилию Сарона»...* — неточная цитата из Песни Песней (2,1).

3

Ед. хр. 32. Л. 35, 40. Машинопись с авторской правкой.

776 *...у Варвары Петровны, в «Спасском»...* — см. примечания 268 к письму № 64 и 284 к письму № 70 (Т. 1).

777 *...«темного царства» его, по Добролюбову.* – подразумеваются статьи Н. А. Добролюбова (1836—1861) «Темное царство» (1859) и «Луч света в темном царстве» (1860), посвященные разбору драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859).

778 *«К Великому славословию...»* — богослужебное молитвословие. Входит в состав утрени и повечерия.

4

Ед. хр. 32. Л. 41. Машинопись с авторской правкой.

779 *...«благоденственное и мирное житие...»* — из песнопения «Многая лета».

780 *... «мира мирови Твоему даруй»!* – возглас священника на литургии (причащение священнослужителей).

5

Ед. хр. 32. Л. 45, 46. Машинопись с авторской правкой.

781 ...*«жизнь жительствует»*... — из Слова огласительного на Св. Пасху св. Иоанна Златоуста.

782 ...*до земских еще пунхтов*... — речь идет о земской реформе 1864 г. (введение самоуправления в земствах).

783 ...*«премудростию Сотворшаго вся»*. – Пс. 103, 24.

6

Ед. хр. 32. Л. 56, 57. Машинопись с авторской правкой.

784 *«Только не помню – когда..?* — И. С. Шмелев неточно цитирует стихотворение А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской...» (1840-е гг.). Две последние строки оригинала: «Все это уж было когда-то,/ Но только не помню когда!»

785 *«...пришедше на запад солнце...»* — см. примечание 44 к письму № 14 (Т. 1).

7

Ед. хр. 33. Л. 1, 2. Машинопись с авторской правкой.

786 ...*от «петровцев-разумовцев»*... — речь идет о студентах Петровской земледельческой и лесной академии.

787 ...*под Базарова запущаете, или под Марка Волохова?»* — упоминаются персонажи романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862) и романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869).

8

Ед. хр. 33. Л. 6, 7. Машинопись с авторской правкой.

788 ...*«европеец» наш, Тургенев*... — с 1862 г. и до своей смерти И. С. Тургенев преимущественно жил за границей, в Париже и Баден-Бадене.

789 ...*«Живые мощи»?* – см. примечание 490 к письму № 195 (Т. 3. Ч. 1).

790 ...*о нашей Аграфенушке говорит скупо.* — в своем рассказе И. С. Тургенев приводит следующие слова Лукерьи: «Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали <...> А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо» (Тургенев И. С. Записки охотника. М., 1984. С. 232).

9

Ед. хр. 33. Л. 15, 16. Машинопись с авторской правкой.

10

Ед. хр. 33. Л. 21. Машинопись с авторской правкой.

791 *«...и прославих Твое Божество».* – из Великого покаянного канона св. Андрея Критского.

11

Ед. хр. 33. Л. 25, 26. Машинопись с авторской правкой.

792 *...из знакомого ей псалма...* — отсылка на Пс. 148, 1-12.

793 *...пушкинский «дар умиленья»...* — см. примечание 363 к письму № 76 (Т. 2).

794 *«И в небесах я вижу Бога».* – заключительня строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

795 *«Слава Тебе, показавшему нам свет!»* — см. примечание 130 к письму № 41 (Т. 1).

12

Ед. хр. 33. Л. 30, 31. Машинопись с авторской правкой.

13

Ед. хр. 33. Л. 39, 40. Машинопись с авторской правкой.

795 *...Амвросия Оптинского...* — см. примечание 267 к письму № 64 (Т. 1).

14

Ед. хр. 33. Л. 44, 45. Машинопись с авторской правкой.

797 *«...во-имя умученного Святителя...»* — см. примечание 53 к письму № 352 в наст. томе.

798 *...«узилища» Спасо-Евфимиевского монастыря.* – речь идет о больничном корпусе суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (основан в 1352 г.). В 1766 г. по указу Екатерины II при монастыре была организована тюрьма для «безумствующих колодников». В XIX в. тюрьма расширилась, и монастырские постройки возле Никольской церкви были перестроены в корпус с камерами-одиночками.

799 *...«и душу Мою полагаю за овцы».* — Ин. 10, 11-15.

15

Ед. хр. 33. Л. 51, 52. Машинопись с авторской правкой.

800 *Полчаса про...* — окончание фрагмента V главы «Святитель» II части романа «Пути небесные» в данном письме не соответствует началу

фрагмента той же главы в следующем. Вероятно, И. С. Шмелев посылает новый вариант, созданный им за время перерыва в переписке (последнее письмо отправлено им 5 июня 1944 г.). В данном варианте глава «Святитель» разбита на 2 («Святитель» и «Отпущение» (первоначальное название); в опубликованном варианте главы: VI. – Святитель, VII. – Откровение).

16

Ед. хр. 34. Л. 6, 7. Машинопись с авторской правкой.

801 *...из этого рода и Святитель!* – см. примечания 54 и 56 к письму № 352 в наст. томе.

802 *...на жизнь нашего любимого Царя-Освободителя...* — на Александра II (1818—1881) было совершено шесть покушений: 4 апреля 1866 г. – покушение Дмитрия Каракозова в Петербурге; 25 мая 1867 г. – покушение Антона Березовского в Париже; 20 апреля 1879 г. покушение Александра Соловьева в Петербурге; декабрь 1879 г. – взрыв в царском поезде; 5 февраля 1880 г. – взрыв в Зимнем дворце; 1 марта 1881 г. Александр II был убит в Петербурге народовольцами.

803 *...«детская болезнь»...* — И. С. Шмелев ссылается на статью А. И. Герцена «Еще раз Базаров» (1868).

804 *«...яко видеста очи моя спасение Твое».* – перефразирована молитва св. Симеона Богоприимца (Лк. 2, 29, 30).

805 *...«Иоанн Дамаскин».* — см. примечание 52 к письму № 352 в наст. томе.

806 *...как говорит Апостол...* — 1 Кор. 13, 12.

17

Ед. хр. 34. Л. 1, 2. Машинопись с авторской правкой.

807 *...«тихая песня» лермонтовского Ангела...* — отсылка к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1830).

808 *«Владыка дней моих...»* — цитируется строка из стихотворения А. С. Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны...» (1836).

809 *«...И всю природу заключить!..»* — см. примечание 52 к письму № 352 в наст. томе.

810 *...«Фавором».* – Мф. 17, 1-9; Мк. 9, 2-8.

18

Ед. хр. 34. Л. 11, 12. Машинопись с авторской правкой.

19

Ед. хр. 34. Л. 16, 17. Машинопись с авторской правкой.

20

Ед. хр. 34. Л. 21, 22. Машинопись с авторской правкой.

811 *...до второго Спаса...* — 19 августа отмечается праздник Преображения Господня. В этот день в храмах окропляют святой водой фрукты, овощи и злаки.

812 *...гетевское — «извечно-женственное»...* — речь идет о предпоследней строке второй части трагедии И.-В. Гете «Фауст»: «Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan» («Вечная женственность / Тянет нас к ней», нем., пер. Б. Пастернака).

21

Ед. хр. 34. Л. 26, 27. Машинопись с авторской правкой.

813 *...известного Шредера.* — Рихард Иванович Шредер (1822—1903), главный садовник Петровской академии.

814 *...Линнеем или Гумбольдтом...* — Карл Линней (1707—1778), шведский натуралист, автор ботанической систематики и создатель биологической номенклатуры; Александр Гумбольдт (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

22

Ед. хр. 34. Л. 32, 33. Машинопись с авторской правкой.

815 *...обычный, исконный, парк...* — И. С. Шмелев имеет в виду парк с геометрически правильной планировкой (регулярный или французский).

23

Ед. хр. 34. Л. 37, 38. Машинопись с авторской правкой.

816 *...брал старинные молитвы и стихами переписал.* — речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...», вторая половина которого является поэтическим переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...». Библейские мотивы использованы также в стихотворениях «Пророк» (1826) и «Мирская власть» (1836).

24

Ед. хр. 34. Л. 44, 45. Машинопись с авторской правкой.

25

Ед. хр. 34. Л. 49, 50. Машинопись с авторской правкой.

817 *...«душу свою отдать за други своя»...* — неточная евангельская цитата (Мф. 20, 28).

26

Ед. хр. 34. Л. 57, 58. Машинопись с авторской правкой.

27

Ед. хр. 35. Л. 1, 2. Машинопись с авторской правкой.

28

Ед. хр. 35. Л. 6, 7. Машинопись с авторской правкой.

818 ...*«блажен иже и скоты милуяй».* – неточная библейская цитата («Праведный печется и о жизни скота своего», Притчи 12, 10). В такой форме это выражение упомянуто в книге В. И. Даля «Пословицы русского народа» (1861—1862). Также встречается у А. Н. Радищева, А. А. Бестужева-Марлинского, А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова-Печерского, В. С. Соловьева. И. С. Шмелев цитирует это выражение в начале XII главы своей книги «Старый Валаам» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 412).

29

Ед. хр. 35. Л. 11, 12. Машинопись с авторской правкой.

819 *«...и паче снега убелюся».* — Пс. 50, 9.

820 ...*«Хвалите имя Господне»...* – см. примечание 93 к письму № 30 (Т. 1).

30

Ед. хр. 35. Л. 16, 17. Машинопись с авторской правкой.

31

Ед. хр. 35. Л. 21, 22. Машинопись с авторской правкой.

821 *И Тургенев писал про них...* — И. С. Шмелев ссылается на примечание И. С. Тургенева к очерку «Татьяна Борисовна и ее племянник»: «В простонародье город Мценск называется Амченском, а жители амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят “амчанина на двор”» (Тургенев И. С. Записки охотника. М., 1984. С. 130).

32

Ед. хр. 35. Л. 26, 27. Машинопись с авторской правкой.

822 ...*возревновал на соборе...* – речь идет о Первом Вселенском Соборе в Никее (325), на котором была осуждена ересь Ария.

823 ...*обращение Савла!* – Деян. 9, 4.

33

Ед. хр. 35. Л. 37, 38. Машинопись с авторской правкой.

824 *«Симоне Ионин, любиши ли Мя?..»* — Ин. 21, 16.

825 ...*«Величание»*. – величание Иоанну Крестителю.

826 *«...творение же руку Его возвещает твердь»*. – Пс. 18, 2.

827 *«Воскресение Христово видевше...»* — пасхальное песнопение, которое поется на Всенощном бдении.

34

Ед. хр. 35. Л. 42, 43. Машинопись с авторской правкой.

828 *Кн. Долгоруков...* — Владимир Андреевич Долгоруков (1810—1891), с 1865 по 1891 г. московский генерал-губернатор.

829 ...*«Лорелей»*... — Лорелея, образ из стихотворения Г. Гейне (1797—1856) «Не знаю, о чем я тоскую...» (1823—1824).

830 ...*про св. Таисию...* — речь может идти о преп. Таисии Фиваидской (IV в.) или о блаж. Таисии Египетской (V в.).

831 ...*с Марией Египетской!* – см. примечание 519 к письму № 124 (Т. 1).

832 *И ап. Павел говорит о «горячих»*... — И. С. Шмелев неточен. Приведена цитата из Откровения Иоанна Богослова (3, 15—16).

833 ...*азбуку свою составлял...* — над созданием «Азбуки» и «Новой азбуки» Л. Н. Толстой работал в начале 1870-х гг.

35

Ед. хр. 35. Л. 49, 50. Машинопись с авторской правкой.

834 ...*«тесными вратами»*... — Мф. 7,13.

36

Ед. хр. 35. Л. 56, 57. Машинопись с авторской правкой.

835 *«Твоя от Твоих...»* – возглас священника в момент освящения Св. Даров на литургии.

836 ...*«кульминационным пунктом во всей обедне»*... — речь идет о претворении Св. Даров на литургии.

37

Ед. хр. 35. Л. 61, 62. Машинопись с авторской правкой.

837 ...*«Царю Небесный»*. – см. примечание 91 к письму № 8 (Т. 2).

838 *«...благословляя тех зде жилище...»* — из молитвы «О вхождении в новый дом» (чин освящения жилища).

38

Ед. хр. 36. Л. 1, 2. Машинопись с авторской правкой.

39

Ед. хр. 36. Л. 6, 7. Машинопись с авторской правкой.

40

Ед. хр. 36. Л. 12, 13. Машинопись с авторской правкой.

839 *...в «Лоэнгрине»...* — опера Рихарда Вагнера (1848).

840 *...«Во лузях... во зеленых лузях...»... «Лучинушку»...* — русские народные песни.

841 *...тебя... я... полюбил..?* – упоминается романс «Зачем?» (сл. неизв. автора, муз. А. Давыдова).

41

Ед. хр. 36. Л. 18, 19. Машинопись с авторской правкой.

842 *...с апрельского манифеста...* — речь идет об официальном объявлении Россией 24 апреля 1877 г. войны Турции.

843 *...о великом... «чрез малое»...* — Лк. 16, 10.

844 *...«Мазини»...* — см. примечания 366 и 367 к письму № 156 (Т. 3. Ч. 1).

845 *Говорили о войне.* — действие II части романа «Пути небесные» происходит в конце 1870-х гг. В роман введено обсуждение военных действий Русско-турецкой войны (1877—1878).

846 *...Осман-паша под Плевной...* — командующий турецкой армией во время осады болгарской крепости Плевна (Плевен, август—ноябрь 1877).

847 *...Скобелеву.* – Михаил Дмитриевич Скобелев (1843—1882), генерал от инфантерии с 1881. Командовал отрядом в сражении под Плевной.

42

Ед. хр. 36. Л. 23, 24. Машинопись с авторской правкой.

848 *...из «Аскольдовой могилы»...* — опера А. Н. Верстовского (1799—1862) на либр. М. Н. Загоскина (1789—1852) написана в 1835 г.; *...«Уж как веет ветерок...»* — песня Торопки из указанной оперы.

43

Ед. хр. 36. Л. 28, 29. Машинопись с авторской правкой.

44

Ед. хр. 36. Л. 33, 34. Машинопись с авторской правкой.

849 *«Бла-а-же-эн му-уж... иже не иде-э...»* — Пс. 1, 1.

45

Ед. хр. 36. Л. 38, 39. Машинопись с авторской правкой.

850 *«...в законех Го-спо-о-дних...»* — Пс. 118, 1.

46

Ед. хр. 36. Л. 43, 44, 48. Машинопись с авторской правкой.

851 *«Но царе-вна всех миле-е...»* – цитируется строка из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина (1833).

852 *«Гурко разбил тур-ку!»* — Иосиф Владимирович Гурко (1828—1901), генерал-фельдмаршал с 1894 г. 18—19 июля 1877 г. в сражении под Ени-Загрой разбил дивизию Реуф-паши.

853 *«Дунайские волны...»* — вальс румынского композитора Иосифа Ивановича (1845—1902) написан в 1880 г. Возможно, автором допущен анахронизм (действие II ч. романа происходит в 1877 г.) или И. С. Шмелев имеет в виду вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» (1867).

47

Ед. хр. 36. Л. 49. Машинопись с авторской правкой.

854 *...«галок на крестах»!* — цитата из романа «Евгений Онегин» (Гл. VII, XXXVIII).

855 *...в Замоскворечьи, графа Сологуба...* — упоминается так называемый «дом Демидовой» (Большой Толмачевский пер., 3), построенный в 1760-х – 1780-х гг. В 1860-х – 1780-х гг. дом принадлежал Марии Федоровне Соллогуб (урожд. Самариной, 1821—1888), вдове графа Л. А. Соллогуба (1812—1852), брата писателя В. А. Соллогуба (1813—1882). В 1882 г. дом приобрели городские власти для 6-ой мужской гимназии, в которой с 1884 по 1894 г. учился И. С. Шмелев. В 1917 г. гимназия была закрыта. С 1942 г. в доме располагается Государственая научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского.

48

Ед. хр. 36. Л. 53, 54. Машинопись с авторской правкой.

856 *«...Спаситель мой, кого убоюся?»* — Пс. 27, 1.

49

Ед. хр. 36. Л. 58, 59. Машинопись с авторской правкой.

50

Ед. хр. 37. Л. 1, 2. Машинопись с авторской правкой.

51

Ед. хр. 37. Л. 6, 7. Машинопись с авторской правкой.

857 *На Введенском кладбище...* — кладбище в Москве. Основано в 1771 г. Первоначально называлось Немецким, так как здесь хоронили лиц лютеранского и католического вероисповедания.

«Куликово поле»

Ед. хр. 2. Копия, выполненная О. А. Бредиус-Субботиной. Машинопись.

858 *...«добру и злу внимая равнодушно»...* — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1839). В оригинале: «К добру и злу постыдно равнодушны».

859 *...помните его «о борьбе со злом»...* — речь идет о работе И. А. Ильина «О непротивлении злу силой» (1927). Далее цитируется письмо И. А. Ильина от 18 марта 1927 г. См. примечание 517 к письму № 546 в наст. томе.

860 *...с известными словами о русском народе – Достоевского...* — цитата из «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевского (1880): «Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способный из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия обстоятельно и со всею полнотою...».

861 *...из грамматики Шульца и Ходобая...* — речь идет об учебнике: Шульц Фердинанд. Латинская грамматика. Обработана для русских гимназий Ю. Ходобаем. М., 1872.

862 *С Вифанской академии...*— имеется в виду Вифанская духовная семинария. Основана московским митрополитом Платоном (Левшиным) в 1800 г., закрыта в 1918 г.

863 *Не им размыкать наше горе, /Развеять русскую печаль.* — неточно приведены строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» (1857). В оригинале третья строка: «Ни ей поправить наше горе».

864 *...«Все в прошлом!»...* — упоминается картина В. М. Максимова (1889).

Именной указатель

Указатель писем по томам[i]

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1.	О. А. Бредиус-Субботина	9 июня 1939	1	1
2.	И. С. Шмелев	19 июня 1939	1	2
3.	О. А. Бредиус-Субботина	23 сентября 1939	3	1
4.	И. С. Шмелев	9 октября 1939	1	3
5.	О. А. Бредиус-Субботина	14 октября 1939	1	4
6.	И. С. Шмелев	23 октября 1939	1	5
7.	О. А. Бредиус-Субботина	19—27 октября 1939	1	6
8.	О. А. Бредиус-Субботина	27 октября 1939	1	7
9.	О. А. Бредиус-Субботина	27 октября 1939	3	2
10.	И. С. Шмелев	17 ноября 1939	1	8
11.	О. А. Бредиус-Субботина	29 декабря 1939	1	9
12.	О. А. Бредиус-Субботина	18 января 1940	3	3
13.	О. А. Бредиус-Субботина	2 февраля 1940	1	10
14.	О. А. Бредиус-Субботина	17 февраля 1940	1	11
15.	И. С. Шмелев	25 февраля 1940	1	12
16.	О. А. Бредиус-Субботина	6 марта 1940	1	13
17.	И. С. Шмелев	20 марта 1940	1	14
18.	О. А. Бредиус-Субботина	25 марта 1940	1	15
19.	И. С. Шмелев	31 марта 1940	1	16
20.	О. А. Бредиус-Субботина	4 апреля 1940	3	4

[i] Письма в указателе расположены по хронологическом принципу. В случае отправления нескольких писем в один и тот же день указывается точное время написания письма. Все даты в указателе приведены по новому стилю.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
21.	О. А. Бредиус-Субботина	24 апреля 1940	1	17
22.	И. С. Шмелев	28 апреля 1940	1	18
23.	О. А. Бредиус-Субботина	3 мая 1940[i]	3	5
24.	И. С. Шмелев	30 июля 1940	3	6
25.	И. С. Шмелев	3 декабря 1940	1	19
26.	О. А. Бредиус-Субботина	2 февраля 1941	1	20
27.	И. С. Шмелев	29 марта 1941	1	21
28.	О. А. Бредиус-Субботина	[16—17 апреля 1941]	1	22
29.	И. С. Шмелев	26 апреля 1941	1	23
30.	О. А. Бредиус-Субботина	[Март—апрель 1941][ii]	3	7
31.	О. А. Бредиус-Субботина	8 мая 1941	1	24
32.	И. С. Шмелев	23 мая 1941	1	25
33.	О. А. Бредиус-Субботина	16 июня 1941	1	26
34.	И. С. Шмелев	30 июня 1941	1	27
35.	О. А. Бредиус-Субботина	8 июля 1941	1	28
36.	О. А. Бредиус-Субботина	23 июля 1941	1	29
37.	О. А. Бредиус-Субботина	27 июля 1941	1	30
38.	И. С. Шмелев	5 августа 1941	1	31
39.	И. С. Шмелев	6 августа 1941	1	33
40.	О. А. Бредиус-Субботина	6 августа 1941	1	32
41.	И. С. Шмелев	17 августа 1941	1	34
42.	О. А. Бредиус-Субботина	[24—25 августа 1941][iii]	3	8
43.	О. А. Бредиус-Субботина	24—26 августа 1941	1	35

[i] В оригинале описка: 3 апреля 1940 г.

[ii] Письмо датировано И. С. Шмелевым.

[iii] Черновой фрагмент письма от 24 августа 1941 г. (Т. 1. Письмо № 35).

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
44.	И. С. Шмелев	27 августа 1941	1	38
45.	О. А. Бредиус-Субботина	31 августа 1941	1	36
46.	И. С. Шмелев	3 сентября 1941[i]	1	41
47.	И. С. Шмелев	4 сентября 1941[ii]	1	39
48.	О. А. Бредиус-Субботина	4 сентября 1941	3	9
49.	О. А. Бредиус-Субботина	10 сентября 1941	1	37
50.	И. С. Шмелев	[12 сентября 1941][ii]	1	42
51.	И. С. Шмелев	12 сентября 1941	3	10
52.	И. С. Шмелев	13 сентября 1941 (10 ч.)	1	43
53.	И. С. Шмелев	13 сентября 1941	3	11
54.	О. А. Бредиус-Субботина	13 сентября 1941	3	12
55.	О. А. Бредиус-Субботина	14 сентября 1941	3	13
56.	О. А. Бредиус-Субботина	15 сентября 1941	1	40
57.	И. С. Шмелев	18 сентября 1941	3	14
58.	И. С. Шмелев	20 сентября 1941	1	45
59.	О. А. Бредиус-Субботина	20 сентября 1941	1	44
60.	И. С. Шмелев	22 сентября 1941	1	46
61.	И. С. Шмелев	23 сентября 1941	3	15
62.	О. А. Бредиус-Субботина	23 сентября 1941[iii]	3	16
63.	О. А. Бредиус-Субботина	23 сентября 1941	1	47
64.	И. С. Шмелев	24 сентября 1941	1	48
65.	О. А. Бредиус-Субботина	25 сентября 1941	3	17

[i] Оригинал письма утрачен. Публикуется по черновику, хранящемуся в Российском Фонде Культуры.

[ii] Датировано О. А. Бредиус-Субботиной. В оригинале описка: 4.VIII.41.

[iii] Черновик письма от 23 сентября 1941 г. (Т. 1. Письмо № 47).

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
66.	И. С. Шмелев	30 сентября 1941	1	49
67.	О. А. Бредиус-Субботина	2 октября 1941	1	50
68.	О. А. Бредиус-Субботина	2 октября 1941 (16 ч.)	1	51
69.	О. А. Бредиус-Субботина	6 октября 1941[i]	1	55
70.	О. А. Бредиус-Субботина	6 октября 1941	3	18
71.	И. С. Шмелев	9 октября 1941	1	52
72.	О. А. Бредиус-Субботина	9 октября 1941	1	56
73.	И. С. Шмелев	10 октября 1941	3	19
74.	И. С. Шмелев	10—11 октября 1941	1	53
75.	И. С. Шмелев	14 октября 1941	1	54
76.	О. А. Бредиус-Субботина	16 октября 1941	1	57
77.	И. С. Шмелев	16—17 октября 1941	3	20
78.	И. С. Шмелев	17 октября 1941	1	58
79.	О. А. Бредиус-Субботина	17 октября 1941	3	21
80.	И. С. Шмелев	18 октября 1941	3	22
81.	О. А. Бредиус-Субботина	19 октября 1941	3	23
82.	И. С. Шмелев	20 октября 1941 (12 ч.)	3	24
83.	И. С. Шмелев	20 октября 1941 (12 ч. 40 мин.)	1	59
84.	И. С. Шмелев	20 октября 1941 (17 ч. 40 мин.)	1	60
85.	И. С. Шмелев	20 октября 1941 (18 ч. 30 мин.)	3	25
86.	И. С. Шмелев	20 октября 1941 (21 ч. 15 мин.)	1	61
87.	И. С. Шмелев	21—22 октября 1941	1	62
88.	И. С. Шмелев	22 октября 1941	3	26

[i] Датировано И. С. Шмелевым. В оригинале описка: 4 окт. 41 г.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
89.	О. А. Бредиус-Субботина	22 октября 1941	1	65
90.	И. С. Шмелев	23—24 октября 1941	3	27
91.	И. С. Шмелев	24 октября 1941	1	63
92.	И. С. Шмелев	25 октября 1941 (13 ч. 40 мин.)	1	64
93.	И. С. Шмелев	25 октября 1941 (20 ч. 30 мин.)	3	28
94.	И. С. Шмелев	26 октября 1941	3	29
95.	И. С. Шмелев	26—27 октября 1941	3	30
96.	И. С. Шмелев	27 октября 1941	1	66
97.	И. С. Шмелев	28 октября 1941	3	31
98.	И. С. Шмелев	28 октября 1941	3	32
99.	О. А. Бредиус-Субботина	28—29 октября 1941	1	67
100.	О. А. Бредиус-Субботина	29 октября 1941	1	68
101.	О. А. Бредиус-Субботина	[30 октября 1941]	3	33
102.	О. А. Бредиус-Субботина	30 октября 1941	3	34
103.	И. С. Шмелев	31 октября 1941	1	69
104.	И. С. Шмелев	1 ноября 1941	3	35
105.	И. С. Шмелев	2 ноября 1941	3	36
106.	И. С. Шмелев	3 ноября 1941	1	70
107.	И. С. Шмелев	4 ноября 1941	1	71
108.	И. С. Шмелев	4—6 ноября 1941	1	74
109.	О. А. Бредиус-Субботина	6 ноября 1941 (19 ч.)	3	37
110.	О. А. Бредиус-Субботина	6 ноября 1941 (24 ч.)	3	38
111.	О. А. Бредиус-Субботина	8 ноября 1941	1	72
112.	И. С. Шмелев	10 ноября 1941	3	39
113.	О. А. Бредиус-Субботина	10 ноября 1941	1	73
114.	И. С. Шмелев	12—13 ноября 1941	1	75

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
115.	И. С. Шмелев	13 ноября 1941 (11 ч. 30 мин.)	1	76
116.	И. С. Шмелев	13 ноября 1941 (21 ч.)	1	77
117.	И. С. Шмелев	15 ноября 1941	3	40
118.	О. А. Бредиус-Субботина	15 ноября 1941	1	78
119.	О. А. Бредиус-Субботина	15—17 ноября 1941	3	41
120.	О. А. Бредиус-Субботина	19—20 ноября 1941	1	79
121.	О. А. Бредиус-Субботина	20 ноября 1941	1	82
122.	О. А. Бредиус-Субботина	21 ноября 1941	1	83
123.	О. А. Бредиус-Субботина	22 ноября 1941	3	42
124.	О. А. Бредиус-Субботина	22 ноября 1941	3	43
125.	О. А. Бредиус-Субботина	23—24 ноября 1941	3	44
126.	О. А. Бредиус-Субботина	24—25 ноября 1941	3	45
127.	И. С. Шмелев	25 ноября 1941	1	80
128.	О. А. Бредиус-Субботина	25—26 ноября 1941	3	46
129.	И. С. Шмелев	26 ноября 1941 (13 ч.)	3	47
130.	И. С. Шмелев	26 ноября 1941 (15 ч.)	3	48
131.	О. А. Бредиус-Субботина	26 ноября 1941	3	49
132.	И. С. Шмелев	27 ноября 1941	3	50
133.	О. А. Бредиус-Субботина	27 ноября 1941	3	51
134.	И. С. Шмелев	28 ноября 1941 (14 ч.)	1	84
135.	И. С. Шмелев	28 ноября 1941	3	52
136.	О. А. Бредиус-Субботина	28 ноября 1941	3	53
137.	И. С. Шмелев	29 ноября 1941	1	85
138.	О. А. Бредиус-Субботина	29 ноября 1941	3	54
139.	О. А. Бредиус-Субботина	29 ноября 1941 (22 ч.)	3	55

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
140.	О. А. Бредиус-Субботина	30 ноября 1941	3	56
141.	О. А. Бредиус-Субботина	[Ноябрь 1941]	1	81
142.	И. С. Шмелев	1 декабря 1941	1	86
143.	И. С. Шмелев	1 декабря 1941	3	57
144.	О. А. Бредиус-Субботина	1—2 декабря 1941	3	58
145.	И. С. Шмелев	3 декабря 1941 (13 ч.)	1	87
146.	И. С. Шмелев	3 декабря 1941 (17 ч.)	1	88
147.	О. А. Бредиус-Субботина	3 декабря 1941	3	59
148.	И. С. Шмелев	4 декабря 1941 (11 ч.)	1	91
149.	И. С. Шмелев	4 декабря 1941 (16 ч.)	1	92
150.	О. А. Бредиус-Субботина	4—5 декабря 1941	1	89
151.	И. С. Шмелев	5 декабря 1941 (14 ч.)	1	93
152.	И. С. Шмелев	5 декабря 1941 (20 ч. 30 мин.)	3	60
153.	И. С. Шмелев	6 декабря 1941 (16 ч.)	3	61
154.	И. С. Шмелев	6 декабря 1941 (17 ч.)	3	62
155.	О. А. Бредиус-Субботина	6 декабря 1941	1	90
156.	И. С. Шмелев	5—7 декабря 1941	1	94
157.	И. С. Шмелев	6—7 декабря 1941	1	97
158.	О. А. Бредиус-Субботина	7 декабря 1941	1	95
159.	И. С. Шмелев	8 декабря 1941	1	98
160.	О. А. Бредиус-Субботина	9 декабря 1941	3	63
161.	О. А. Бредиус-Субботина	9 декабря 1941 (24 ч.)	1	96
162.	И. С. Шмелев	10 декабря 1941	1	99

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
163.	О. А. Бредиус-Субботина	11 декабря 1941	3	64
164.	И. С. Шмелев	12 декабря 1941	3	65
165.	И. С. Шмелев	13 декабря 1941	3	66
166.	О. А. Бредиус-Субботина	13 декабря 1941	1	109
167.	И. С. Шмелев	14 декабря 1941	1	100
168.	И. С. Шмелев	15 декабря 1941	1	101
169.	И. С. Шмелев	16 декабря 1941 (16 ч.)	3	67
170.	И. С. Шмелев	16 декабря 1941 (22 ч.)	1	102
171.	О. А. Бредиус-Субботина	16 декабря 1941	3	68
172.	О. А. Бредиус-Субботина	17 декабря 1941	1	105
173.	И. С. Шмелев	19 декабря 1941	3	69
174.	И. С. Шмелев	19 декабря 1941 (19 ч.)	3	70
175.	О. А. Бредиус-Субботина	19 декабря 1941	1	106
176.	И. С. Шмелев	22 декабря 1941 (14 ч.)	1	103
177.	И. С. Шмелев	22 декабря 1941[i]	3	72
178.	И. С. Шмелев	22 декабря 1941 (21 ч.)	1	104
179.	О. А. Бредиус-Субботина	22 декабря 1941	1	112
180.	И. С. Шмелев	22—23 декабря 1941	3	71
181.	О. А. Бредиус-Субботина	[22—23 декабря 1941]	1	114
182.	О. А. Бредиус-Субботина	24 декабря 1941	3	73
183.	И. С. Шмелев	25—26 декабря 1941	1	107
184.	И. С. Шмелев	27 декабря 1941	3	74
185.	О. А. Бредиус-Субботина	27 декабря 1941	3	75
186.	О. А. Бредиус-Субботина	16—28 декабря 1941	3	76

[i] В оригинале описка: 22.XII.40.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
187.	И. С. Шмелев	28 декабря 1941	1	108
188.	О. А. Бредиус-Субботина	29—30 декабря 1941	1	115
189.	И. С. Шмелев	31 декабря 1941	1	123
190.	О. А. Бредиус-Субботина	31 декабря 1941	1	116
191.	О. А. Бредиус-Субботина	[Декабрь 1941]	1	110
192.	О. А. Бредиус-Субботина	[Декабрь 1941]	1	111
193.	О. А. Бредиус-Субботина	[Декабрь 1941]	1	113
194.	О. А. Бредиус-Субботина	1 января 1942	1	117
195.	О. А. Бредиус-Субботина	1 января 1942 (19 ч.)	3	77
196.	И. С. Шмелев	2 января 1942	1	124
197.	О. А. Бредиус-Субботина	2 января 1942	1	118
198.	И. С. Шмелев	2—3 января 1942	1	125
199.	О. А. Бредиус-Субботина	4 января 1942[i]	1	119
200.	О. А. Бредиус-Субботина	4 января 1942	1	120
201.	И. С. Шмелев	5 января 1942 (10 ч.)	3	78
202.	И. С. Шмелев	5 января 1942 (12 ч.)	3	79
203.	И. С. Шмелев	5 января 1942	3	80
204.	И. С. Шмелев	5 января 1942	3	81
205.	О. А. Бредиус-Субботина	6 января 1942	1	121
206.	О. А. Бредиус-Субботина	7—8 января 1942	1	122
207.	О. А. Бредиус-Субботина	8 января 1942	1	133
208.	И. С. Шмелев	10 января 1942 (13 ч.)	1	126
209.	И. С. Шмелев	10 января 1942 (20 ч.)	3	82
210.	И. С. Шмелев	12 января 1942	1	127
211.	И. С. Шмелев	13 января 1942	1	128

[i] В оригинале описка: 4.I.41 г.

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
212.	И. С. Шмелев	14 января 1942	3	83
213.	И. С. Шмелев	15 января 1942	1	129
214.	И. С. Шмелев	16 января 1942	1	130
215.	И. С. Шмелев	17 января 1942 (13 ч.)	1	131
216.	И. С. Шмелев	17 января 1942 (20 ч.)	3	84
217.	О. А. Бредиус-Субботина	17 января 1942	1	134
218.	О. А. Бредиус-Субботина	17 января 1942 (13 ч.)	3	85
219.	И. С. Шмелев	18 января 1942 (14 ч.)	3	86
220.	И. С. Шмелев	18 января 1942 (19 ч.)	1	132
221.	О. А. Бредиус-Субботина	19 января 1942	1	135
222.	И. С. Шмелев	21 января 1942	1	137
223.	О. А. Бредиус-Субботина	21 января 1942	3	87
224.	И. С. Шмелев	22 января 1942 (16 ч.)	1	138
225.	И. С. Шмелев	22 января 1942	3	88
226.	О. А. Бредиус-Субботина	22 января 1942	3	89
227.	О. А. Бредиус-Субботина	22—23 января 1942	3	90
228.	И. С. Шмелев	23 января 1942	3	91
229.	И. С. Шмелев	24 января 1942 (8 ч.)	1	139
230.	И. С. Шмелев	24 января 1942 (11 ч.)	1	140
231.	И. С. Шмелев	24—25 января 1942	3	92
232.	О. А. Бредиус-Субботина	26 января 1942	3	93
233.	И. С. Шмелев	28 января 1942	1	141
234.	О. А. Бредиус-Субботина	28 января 1942	3	94
235.	И. С. Шмелев	29 января 1942	1	142
236.	И. С. Шмелев	30 января 1942	3	95

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
237.	О. А. Бредиус-Субботина	30 января 1942	3	96
238.	О. А. Бредиус-Субботина	31 января 1942	1	136
239.	И. С. Шмелев	1—2 февраля 1942	3	97
240.	И. С. Шмелев	2 февраля 1942	3	98
241.	И. С. Шмелев	3 февраля 1942	3	99
242.	И. С. Шмелев	3—4 февраля 1942	1	143
243.	И. С. Шмелев	4 февраля 1942	1	144
244.	О. А. Бредиус-Субботина	5 февраля 1942	1	145
245.	О. А. Бредиус-Субботина	5 февраля 1942	3	100
246.	О. А. Бредиус-Субботина	5—6 февраля 1942	3	101
247.	И. С. Шмелев	7—8 февраля 1942	3	102
248.	И. С. Шмелев	8 февраля 1942	3	103
249.	О. А. Бредиус-Субботина	8 февраля 1942	3	104
250.	И. С. Шмелев	9 февраля 1942	3	105
251.	О. А. Бредиус-Субботина	9 февраля 1942	1	146
252.	О. А. Бредиус-Субботина	10 февраля 1942	1	151
253.	И. С. Шмелев	11 февраля 1942	3	106
254.	И. С. Шмелев	13 февраля 1942 (13 ч.)	3	107
255.	И. С. Шмелев	13 февраля 1942 (15 ч.)	3	108
256.	О. А. Бредиус-Субботина	13 февраля 1942	1	152
257.	И. С. Шмелев	15 февраля 1942	3	109
258.	О. А. Бредиус-Субботина	15 февраля 1942	3	110
259.	И. С. Шмелев	16 февраля 1942 (11 ч.)	1	147
260.	И. С. Шмелев	16 февраля 1942	1	148
261.	И. С. Шмелев	18 февраля 1942	1	149
262.	И. С. Шмелев	19 февраля 1942	1	150
263.	О. А. Бредиус-Субботина	20 февраля 1942	1	153

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
264.	О. А. Бредиус-Субботина	20—21 февраля 1942	1	154
265.	И. С. Шмелев	23 февраля 1942	3	111
266.	О. А. Бредиус-Субботина	23 февраля 1942	3	112
267.	О. А. Бредиус-Субботина	24 февраля 1942	1	155
268.	И. С. Шмелев	25 февраля 1942 (12 ч.)	1	156
269.	И. С. Шмелев	25 февраля 1942 (16 ч.)	3	113
270.	О. А. Бредиус-Субботина	25—26 февраля 1942	3	114
271.	И. С. Шмелев	26 февраля 1942	1	157
272.	И. С. Шмелев	27 февраля 1942	1	158
273.	О. А. Бредиус-Субботина	27—28 февраля 1942	3	115
274.	И. С. Шмелев	28 февраля 1942	3	116
275.	И. С. Шмелев	1 марта 1942	1	159
276.	О. А. Бредиус-Субботина	3 марта 1942	1	160
277.	И. С. Шмелев	5 [марта] 1942	1	163
278.	О. А. Бредиус-Субботина	5 марта 1942	3	117
279.	О. А. Бредиус-Субботина	7 марта 1942	1	161
280.	О. А. Бредиус-Субботина	9 марта 1942	1	162
281.	И. С. Шмелев	11 марта 1942	1	164
282.	И. С. Шмелев	12 марта 1942	3	118
283.	О. А. Бредиус-Субботина	13 марта 1942	1	168
284.	И. С. Шмелев	16 марта 1942	1	165
285.	О. А. Бредиус-Субботина	18 марта 1942	3	119
286.	И. С. Шмелев	18—19 марта 1942	3	120
287.	И. С. Шмелев	19—20 марта 1942	1	166
288.	О. А. Бредиус-Субботина	20 марта 1942	1	169
289.	И. С. Шмелев	20—21 марта 1942	3	121
290.	И. С. Шмелев	22—24 марта 1942	3	122

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
291.	О. А. Бредиус-Субботина	24 марта 1942	3	123
292.	О. А. Бредиус-Субботина	27 марта 1942	3	124
293.	И. С. Шмелев	28 марта 1942	1	167
294.	О. А. Бредиус-Субботина	28 марта 1942	1	170
295.	О. А. Бредиус-Субботина	29—30 марта 1942	3	125
296.	И. С. Шмелев	30 марта 1942	1	171
297.	О. А. Бредиус-Субботина	1 апреля 1942	1	175
298.	И. С. Шмелев	3 апреля 1942	3	126
299.	И. С. Шмелев	4 апреля 1942	1	172
300.	О. А. Бредиус-Субботина	4 апреля 1942	3	127
301.	О. А. Бредиус-Субботина	3—6 апреля 1942	3	128
302.	О. А. Бредиус-Субботина	6 апреля 1942	3	129
303.	И. С. Шмелев	7 апреля 1942	1	173
304.	О. А. Бредиус-Субботина	9—10 апреля 1942	3	130
305.	И. С. Шмелев	11—12 апреля 1942	1	174
306.	О. А. Бредиус-Субботина	14—15 апреля 1942	1	176
307.	И. С. Шмелев	16 апреля 1942	3	131
308.	О. А. Бредиус-Субботина	15—17 апреля 1942	1	177
309.	И. С. Шмелев	16—17 апреля 1942	3	132
310.	О. А. Бредиус-Субботина	18 апреля 1942	3	133
311.	И. С. Шмелев	20 апреля 1942 (16 ч.)	1	179
312.	И. С. Шмелев	20 апреля 1942 (19 ч. 30 мин.)	3	134
313.	О. А. Бредиус-Субботина	21 апреля 1942	1	178
314.	О. А. Бредиус-Субботина	22 апреля 1942	3	135
315.	И. С. Шмелев	22—23 апреля 1942	1	181
316.	И. С. Шмелев	24 апреля 1942	3	136
317.	О. А. Бредиус-Субботина	25 апреля 1942	1	180
318.	И. С. Шмелев	27 апреля 1942	1	183

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
319.	О. А. Бредиус-Субботина	27 апреля 1942	3	137
320.	О. А. Бредиус-Субботина	29 апреля 1942	1	182
321.	И. С. Шмелев	30 апреля 1942	3	138
322.	О. А. Бредиус-Субботина	1—2 мая 1942	3	139
323.	И. С. Шмелев	4 мая 1942[i]	3	140
324.	О. А. Бредиус-Субботина	5 мая 1942	1	185
325.	О. А. Бредиус-Субботина	7—8 мая 1942	1	187
326.	И. С. Шмелев	8 мая 1942	1	184
327.	О. А. Бредиус-Субботина	9 мая 1942	3	141
328.	О. А. Бредиус-Субботина	13 мая 1942	1	189
329.	И. С. Шмелев	14 мая 1942	3	142
330.	О. А. Бредиус-Субботина	14 мая 1942	1	190
331.	И. С. Шмелев	15 мая 1942 (12 ч. 30 мин.)	1	186
332.	И. С. Шмелев	15 мая 1942	3	143
333.	И. С. Шмелев	16 мая 1942 (12 ч. 30 мин.)	1	188
334.	И. С. Шмелев	16 мая 1942	3	144
335.	О. А. Бредиус-Субботина	18 мая 1942	1	192
336.	О. А. Бредиус-Субботина	20 мая 1942	3	145
337.	О. А. Бредиус-Субботина	20—21 мая 1942	1	193
338.	И. С. Шмелев	21 мая 1942	1	191
339.	О. А. Бредиус-Субботина	22 мая 1942	3	146
340.	И. С. Шмелев	26 мая 1942	3	147
341.	И. С. Шмелев	27 мая 1942	3	148
342.	О. А. Бредиус-Субботина	27 мая 1942	3	149
343.	О. А. Бредиус-Субботина	27—28 мая 1942	1	195
344.	И. С. Шмелев	29—30 мая 1942	1	194

[i] В оригинале описка: 4.IV.42.

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
345.	И. С. Шмелев	1 июня 1942	2	1
346.	И. С. Шмелев	2 июня 1942	3	150
347.	О. А. Бредиус-Субботина	2 июня 1942	3	151
348.	И. С. Шмелев	3 июня 1942	3	152
349.	И. С. Шмелев	4 июня 1942	2	2
350.	О. А. Бредиус-Субботина	4 июня 1942	3	153
351.	О. А. Бредиус-Субботина	5—6 июня 1942	3	154
352.	И. С. Шмелев	8 июня 1942	3	155
353.	О. А. Бредиус-Субботина	8 июня 1942	3	156
354.	О. А. Бредиус-Субботина	10—11 июня 1942	2	3
355.	И. С. Шмелев	12 июня 1942	2	4
356.	О. А. Бредиус-Субботина	15 июня 1942	3	157
357.	О. А. Бредиус-Субботина	16 июня 1942	3	158
358.	О. А. Бредиус-Субботина	17—18 июня 1942	3	159
359.	И. С. Шмелев	19 июня 1942	3	160
360.	О. А. Бредиус-Субботина	19 июня 1942	3	161
361.	О. А. Бредиус-Субботина	21 июня 1942	3	162
362.	О. А. Бредиус-Субботина	[22 июня 1942]	3	163
363.	О. А. Бредиус-Субботина	24 июня 1942	3	164
364.	О. А. Бредиус-Субботина	24 июня 1942	3	165
365.	И. С. Шмелев	23—25 июня 1942	2	5
366.	И. С. Шмелев	26—27 июня 1942	2	6
367.	О. А. Бредиус-Субботина	27 июня 1942	3	166
368.	И. С. Шмелев	29 июня 1942	3	167
369.	И. С. Шмелев	1 июля 1942	3	168
370.	О. А. Бредиус-Субботина	4 июля 1942[i]	3	169

[i] По воле О. А. Бредиус-Субботиной и И. С. Шмелева письмо не публикуется.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
371.	О. А. Бредиус-Субботина	5 июля 1942	2	7
372.	И. С. Шмелев	7 июля 1942	3	170
373.	О. А. Бредиус-Субботина	7—9 июля 1942	3	171
374.	И. С. Шмелев	10 июля 1942	3	172
375.	И. С. Шмелев	11 июля 1942	3	173
376.	О. А. Бредиус-Субботина	[13 июля 1942]	2	8
377.	О. А. Бредиус-Субботина	13 июля 1942	2	9
378.	О. А. Бредиус-Субботина	13 июля 1942	2	10
379.	О. А. Бредиус-Субботина	14—15 июля 1942	3	174
380.	О. А. Бредиус-Субботина	[Середина июля 1942]	2	11
381.	О. А. Бредиус-Субботина	16—17 июля 1942	3	175
382.	И. С. Шмелев	17 июля 1942	3	176
383.	И. С. Шмелев	20 июля 1942	3	177
384.	О. А. Бредиус-Субботина	22 июля 1942[i]	3	178
385.	О. А. Бредиус-Субботина	22 июля 1942	3	179
386.	О. А. Бредиус-Субботина	26 июля 1942	3	180
387.	И. С. Шмелев	29 июля 1942	3	181
388.	И. С. Шмелев	3 августа 1942	2	12
389.	О. А. Бредиус-Субботина	4—5 августа 1942	3	182
390.	О. А. Бредиус-Субботина	5 августа 1942	3	183
391.	И. С. Шмелев	11 августа 1942	3	184
392.	И. С. Шмелев	12—14 августа 1942	3	185
393.	О. А. Бредиус-Субботина	14—15 августа 1942	3	186
394.	О. А. Бредиус-Субботина	15 августа 1942	3	187
395.	И. С. Шмелев	16 августа 1942	2	13
396.	О. А. Бредиус-Субботина	19 августа 1942	3	188

[i] Черновик письма от 22 июля 1942 г. (Т. 3. № 179).

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
397.	И. С. Шмелев	20 августа 1942 (15 ч. 30 мин.)	3	189
398.	И. С. Шмелев	20 августа 1942 (21 ч. 30 мин.)	3	190
399.	О. А. Бредиус-Субботина	20 августа 1942	2	14
400.	И. С. Шмелев	22 августа 1942	3	191
401.	О. А. Бредиус-Субботина	25 августа 1942	3	192
402.	И. С. Шмелев	26 августа 1942	3	193
403.	И. С. Шмелев	27 августа 1942 (10 ч.)	3	194
404.	И. С. Шмелев	27 августа 1942	3	195
405.	И. С. Шмелев	28 августа 1942 (9 ч.)	2	15
406.	И. С. Шмелев	28 августа 1942 (9 ч. 30 мин.)	2	16
407.	О. А. Бредиус-Субботина	29 августа 1942	3	196
408.	И. С. Шмелев	31 августа 1942	2	17
409.	О. А. Бредиус-Субботина	31 августа — 1 сентября 1942	3	197
410.	О. А. Бредиус-Субботина	5 сентября 1942	3	198
411.	И. С. Шмелев	10 сентября 1942	3	199
412.	О. А. Бредиус-Субботина	10 сентября 1942	3	200
413.	О. А. Бредиус-Субботина	11 сентября 1942	3	201
414.	И. С. Шмелев	13—15 сентября 1942	3	202
415.	О. А. Бредиус-Субботина	16—17 сентября 1942	3	203
416.	О. А. Бредиус-Субботина	18 сентября 1942	3	204
417.	О. А. Бредиус-Субботина	21—22 сентября 1942	2	18
418.	О. А. Бредиус-Субботина	21—22 сентября 1942	3	205
419.	И. С. Шмелев	22 сентября 1942	3	206
420.	О. А. Бредиус-Субботина	24 сентября 1942	3	207

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
421.	И. С. Шмелев	28 сентября 1942	3	208
422.	И. С. Шмелев	29 сентября 1942	3	209
423.	О. А. Бредиус-Субботина	29 сентября 1942	3	210
424.	О. А. Бредиус-Субботина	4—5 октября 1942	3	211
425.	И. С. Шмелев	12 октября 1942	3	212
426.	И. С. Шмелев	10—13 октября 1942	3	213
427.	И. С. Шмелев	15 октября 1942	3	214
428.	О. А. Бредиус-Субботина	17 октября 1942	3	215
429.	О. А. Бредиус-Субботина	18 октября 1942	3	216
430.	И. С. Шмелев	22 октября 1942	3	217
431.	И. С. Шмелев	26 октября 1942	2	19
432.	И. С. Шмелев	29 октября 1942 (12 ч.)	3	218
433.	И. С. Шмелев	29 октября 1942	3	219
434.	О. А. Бредиус-Субботина	31 октября 1942	3	220
435.	О. А. Бредиус-Субботина	3 ноября 1942	3	221
436.	О. А. Бредиус-Субботина	4 ноября 1942	3	222
437.	И. С. Шмелев	5 ноября 1942	3	223
438.	О. А. Бредиус-Субботина	5 ноября 1942	3	224
439.	О. А. Бредиус-Субботина	7 ноября 1942	3	225
440.	И. С. Шмелев	10—11 ноября 1942	2	20
441.	О. А. Бредиус-Субботина	12 ноября 1942	2	21
442.	И. С. Шмелев	12—13 ноября 1942	3	226
443.	И. С. Шмелев	14 ноября 1942	3	227
444.	О. А. Бредиус-Субботина	[16 ноября 1942]	3	228
445.	О. А. Бредиус-Субботина	16 ноября 1942	3	229
446.	И. С. Шмелев	17 ноября 1942	3	230
447.	И. С. Шмелев	18 ноября 1942	2	22
448.	О. А. Бредиус-Субботина	22 ноября 1942	3	231

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
449.	О. А. Бредиус-Субботина	25 ноября 1942	2	23
450.	И. С. Шмелев	26—27 ноября 1942	3	232
451.	И. С. Шмелев	30 ноября 1942	3	234
452.	И. С. Шмелев	30 ноября 1942 (20 ч.)	3	235
453.	О. А. Бредиус-Субботина	27 ноября – 4 декабря 1942	3	233
454.	О. А. Бредиус-Субботина	4 декабря 1942	3	236
455.	О. А. Бредиус-Субботина	12 декабря 1942	3	237
456.	О. А. Бредиус-Субботина	15—16 декабря 1942	2	24
457.	О. А. Бредиус-Субботина	17 декабря 1942	3	238
458.	И. С. Шмелев	20 декабря 1942	3	239
459.	И. С. Шмелев	21 декабря 1942	3	240
460.	О. А. Бредиус-Субботина	24 декабря 1942	3	241
461.	О. А. Бредиус-Субботина	25 декабря 1942	3	242
462.	И. С. Шмелев	22—29 декабря 1942	2	25
463.	О. А. Бредиус-Субботина	29 декабря 1942	3	243
464.	И. С. Шмелев	30 декабря 1942	3	244
465.	О. А. Бредиус-Субботина	30 декабря 1942	3	б. н.
466.	И. С. Шмелев	31 декабря 1942	2	26
467.	И. С. Шмелев	6 января 1943	3	245
468.	О. А. Бредиус-Субботина	7 января 1943	2	27
469.	И. С. Шмелев	8 января 1943	3	246
470.	И. С. Шмелев	8—9 января 1943	2	28
471.	О. А. Бредиус-Субботина	10 января 1943	3	247
472.	И. С. Шмелев	11 января 1943	3	248
473.	О. А. Бредиус-Субботина	13—15 января 1943	3	249
474.	О. А. Бредиус-Субботина	17 января 1943	2	29
475.	И. С. Шмелев	20 января 1943	3	250

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
476.	И. С. Шмелев	21 января 1943	3	251
477.	И. С. Шмелев	9—22 января 1943	3	252
478.	И. С. Шмелев	21—22 января 1943	3	253
479.	И. С. Шмелев	22 января 1943	3	254
480.	О. А. Бредиус-Субботина	24 января 1943	3	255
481.	И. С. Шмелев	27 января 1943	3	256
482.	И. С. Шмелев	28 января 1943	2	30
483.	И. С. Шмелев	1 февраля 1943	3	257
484.	И. С. Шмелев	1 февраля 1943	3	258
485.	И. С. Шмелев	1 февраля 1943	3	259
486.	И. С. Шмелев	1 февраля 1943	3	260
487.	И. С. Шмелев	4 февраля 1943	3	261
488.	О. А. Бредиус-Субботина	4 февраля 1943	3	262
489.	И. С. Шмелев	5 февраля 1943	3	263
490.	И. С. Шмелев	9 февраля 1943	3	264
491.	О. А. Бредиус-Субботина	9 февраля 1943	3	265
492.	И. С. Шмелев	12 февраля 1943	3	266
493.	О. А. Бредиус-Субботина	16 февраля 1943	3	267
494.	О. А. Бредиус-Субботина	26—27 февраля 1943	2	31
495.	И. С. Шмелев	3 марта 1943	3	268
496.	И. С. Шмелев	5 марта 1943	3	269
497.	О. А. Бредиус-Субботина	8 марта 1943	3	270
498.	И. С. Шмелев	10 марта 1943	2	32
499.	И. С. Шмелев	14 марта 1943	3	271
500.	И. С. Шмелев	15 марта 1943	3	272
501.	И. С. Шмелев	16 марта 1943	3	273
502.	О. А. Бредиус-Субботина	16 марта 1943	3	274
503.	И. С. Шмелев	22 марта 1943	3	275

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
504.	И. С. Шмелев	23 марта 1943	2	33
505.	И. С. Шмелев	25 марта 1943	3	276
506.	О. А. Бредиус-Субботина	31 марта 1943	3	277
507.	О. А. Бредиус-Субботина	6 апреля 1943	3	278
508.	И. С. Шмелев	8 апреля 1943	2	35
509.	О. А. Бредиус-Субботина	8 апреля 1943	2	34
510.	И. С. Шмелев	17 апреля 1943	3	279
511.	О. А. Бредиус-Субботина	17 апреля 1943	2	36
512.	И. С. Шмелев	19 апреля 1943	3	280
513.	И. С. Шмелев	22 апреля 1943	2	37
514.	И. С. Шмелев	24 апреля 1943	2	38
515.	О. А. Бредиус-Субботина	25 апреля 1943	2	39
516.	О. А. Бредиус-Субботина	3—4 мая 1943[i]	2	40
517.	О. А. Бредиус-Субботина	6 мая 1943	3	281
518.	О. А. Бредиус-Субботина	8 мая 1943	3	282
519.	О. А. Бредиус-Субботина	12 мая 1943	3	283
520.	И. С. Шмелев	14 мая 1943	2	41
521.	О. А. Бредиус-Субботина	15 мая 1943	3	284
522.	О. А. Бредиус-Субботина	25—26 мая 1943	2	42
523.	О. А. Бредиус-Субботина	27 мая 1943	3	285
524.	И. С. Шмелев	2—3 июня 1943	2	43
525.	И. С. Шмелев	5 июня 1943	3	286
526.	И. С. Шмелев	8 июня 1943	3	287
527.	И. С. Шмелев	11 июня 1943	3	288
528.	О. А. Бредиус-Субботина	[19 июня 1943]	2	44
529.	И. С. Шмелев	25 июня 1943	2	45
530.	О. А. Бредиус-Субботина	[26 июня 1943]	3	289

[i] В оригинале описка: 3.I.43.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
531.	И. С. Шмелев	5 июля 1943	3	290
532.	О. А. Бредиус-Субботина	[10 июля 1943]	2	47
533.	И. С. Шмелев	12 июля 1943	3	291
534.	И. С. Шмелев	17 июля 1943	2	46
535.	И. С. Шмелев	17 июля 1943	3	292
536.	И. С. Шмелев	19 июля 1943	3	293
537.	О. А. Бредиус-Субботина	20 июля 1943	2	49
538.	И. С. Шмелев	21 июля 1943	2	48
539.	О. А. Бредиус-Субботина	25—26 июля 1943	2	50
540.	О. А. Бредиус-Субботина	29 июля 1943	2	51
541.	И. С. Шмелев	4 августа 1943	2	52
542.	О. А. Бредиус-Субботина	9—11 августа 1943	2	53
543.	И. С. Шмелев	14 августа 1943	3	295
544.	И. С. Шмелев	14 августа 1943	3	296
545.	О. А. Бредиус-Субботина	12—17 августа 1943	3	294
546.	И. С. Шмелев	18 августа 1943	2	54
547.	О. А. Бредиус-Субботина	21 августа 1943	3	297
548.	И. С. Шмелев	22 августа 1943	3	298
549.	И. С. Шмелев	25 августа 1943	3	299
550.	О. А. Бредиус-Субботина	29—31 августа 1943	2	55
551.	И. С. Шмелев	5 сентября 1943	2	56
552.	О. А. Бредиус-Субботина	4—6 сентября 1943	3	300
553.	И. С. Шмелев	9 сентября 1943	2	58
554.	О. А. Бредиус-Субботина	9 сентября 1943	2	57
555.	И. С. Шмелев	15—16 сентября 1943	2	59
556.	О. А. Бредиус-Субботина	17 сентября 1943	3	301
557.	О. А. Бредиус-Субботина	22 сентября 1943	3	302
558.	И. С. Шмелев	24 сентября 1943	3	303

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
559.	О. А. Бредиус-Субботина	3 октября 1943	2	60
560.	О. А. Бредиус-Субботина	4 октября 1943	3	304
561.	И. С. Шмелев	7—8 октября 1943	3	305
562.	О. А. Бредиус-Субботина	9—10 октября 1943	2	61
563.	И. С. Шмелев	12 октября 1943	3	307
564.	И. С. Шмелев	16 октября 1943	2	62
565.	О. А. Бредиус-Субботина	25 октября 1943	2	63
566.	И. С. Шмелев	5 ноября 1943	2	64
567.	О. А. Бредиус-Субботина	7 ноября 1943	3	306
568.	О. А. Бредиус-Субботина	15 ноября 1943	3	308
569.	И. С. Шмелев	23 ноября 1943	3	309
570.	О. А. Бредиус-Субботина	29 ноября 1943	2	65
571.	И. С. Шмелев	8 декабря 1943	2	66
572.	И. С. Шмелев	10 декабря 1943	2	67
573.	О. А. Бредиус-Субботина	17 декабря 1943	2	68
574.	О. А. Бредиус-Субботина	[30 декабря 1943]	2	69
575.	И. С. Шмелев	31 декабря 1943	2	70
576.	О. А. Бредиус-Субботина	1 января 1944[i]	2	71
577.	О. А. Бредиус-Субботина	8—11 января 1944	2	72
578.	И. С. Шмелев	11 января 1944	2	73
579.	И. С. Шмелев	14 января 1944	3	310
580.	О. А. Бредиус-Субботина	15—17 января 1944	2	74
581.	О. А. Бредиус-Субботина	21—22 января 1944	2	75
582.	И. С. Шмелев	24 января 1944	2	76
583.	И. С. Шмелев	24 января 1944	3	311
584.	И. С. Шмелев	25 января 1944	3	312
585.	И. С. Шмелев	4 февраля 1944	2	77
586.	И. С. Шмелев	5 февраля 1944	2	78

[i] В оригинале описка: 1.I.43.

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
587.	И. С. Шмелев	6 февраля 1944	3	313
588.	И. С. Шмелев	10 февраля 1944	3	314
589.	И. С. Шмелев	10 февраля 1944	3	315
590.	И. С. Шмелев	10 февраля 1944	3	316
591.	И. С. Шмелев	11 февраля 1944	3	317
592.	И. С. Шмелев	11 февраля 1944	3	318
593.	И. С. Шмелев	17 февраля 1944	3	319
594.	И. С. Шмелев	17 февраля 1944	3	320
595.	И. С. Шмелев	17—18 февраля 1944	3	321
596.	И. С. Шмелев	21 февраля 1944	2	79
597.	И. С. Шмелев	21 февраля 1944	3	322
598.	И. С. Шмелев	21 февраля 1944	3	323
599.	И. С. Шмелев	25 февраля 1944	3	324
600.	И. С. Шмелев	25 февраля 1944	3	325
601.	И. С. Шмелев	25 февраля 1944	3	326
602.	И. С. Шмелев	27—28 февраля 1944	3	327
603.	И. С. Шмелев	28 февраля 1944	3	328
604.	И. С. Шмелев	28 февраля 1944	3	329
605.	И. С. Шмелев	28 февраля 1944	3	330
606.	И. С. Шмелев	29 февраля 1944	3	331
607.	И. С. Шмелев	29 февраля 1944	3	332
608.	И. С. Шмелев	29 февраля 1944	3	333
609.	И. С. Шмелев	1 марта 1944	3	334
610.	И. С. Шмелев	1 марта 1944	3	335
611.	И. С. Шмелев	1 марта 1944	3	336
612.	И. С. Шмелев	10 марта 1944	2	80
613.	И. С. Шмелев	12 марта 1944	3	337
614.	И. С. Шмелев	16 марта 1944	2	81
615.	И. С. Шмелев	18—20 марта 1944	3	338
616.	И. С. Шмелев	21 марта 1944	3	339

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
617.	О. А. Бредиус-Субботина	24 марта 1944	2	83
618.	И. С. Шмелев	5 апреля 1944	3	340
619.	И. С. Шмелев	4—7 апреля 1944	3	341
620.	И. С. Шмелев	7 апреля 1944	3	342
621.	И. С. Шмелев	[7 апреля 1944]	3	343
622.	И. С. Шмелев	[7 апреля 1944]	3	344
623.	И. С. Шмелев	7 апреля 1944[i]	3	345
624.	И. С. Шмелев	11 апреля 1944	3	346
625.	И. С. Шмелев	12 апреля 1944	3	347
626.	И. С. Шмелев	14 апреля 1944	2	82
627.	И. С. Шмелев	15 апреля 1944	3	348
628.	И. С. Шмелев	16 апреля 1944	3	349
629.	И. С. Шмелев	18 апреля 1944	3	350
630.	О. А. Бредиус-Субботина	[Не ранее 18 — не позднее 28 апреля 1944]	2	84
631.	И. С. Шмелев	28 апреля 1944	2	85
632.	И. С. Шмелев	17 мая 1944	3	351
633.	И. С. Шмелев	17 мая 1944	3	352
634.	И. С. Шмелев	25 мая 1944	3	353
635.	И. С. Шмелев	26 мая 1944	3	354
636.	И. С. Шмелев	30 мая 1944	3	355
637.	И. С. Шмелев	1 июня 1944	3	356
638.	И. С. Шмелев	4 июня 1944	3	357
639.	И. С. Шмелев	5 июня 1944	3	358
640.	И. С. Шмелев	21 июня 1944	3	359
641.	И. С. Шмелев	21 июня 1944	3	360
642.	И. С. Шмелев	22 июня 1944	3	361

[i] В оригинале датировано: Благовещение, 1944.

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
643.	И. С. Шмелев	22 июня 1944	3	362
644.	И. С. Шмелев	24 июня 1944	3	363
645.	И. С. Шмелев	27 июня 1944	3	364
646.	И. С. Шмелев	27 июня 1944	3	365
647.	И. С. Шмелев	29 июня 1944	3	366
648.	И. С. Шмелев	29 июня 1944	3	367
649.	И. С. Шмелев	1 июля 1944	3	368
650.	И. С. Шмелев	2 июля 1944	3	369
651.	И. С. Шмелев	4 июля 1944	3	370
652.	И. С. Шмелев	6 июля 1944	3	371
653.	О. А. Бредиус-Субботина	7 июля 1944	3	372
654.	И. С. Шмелев	8 июля 1944	3	373
655.	И. С. Шмелев	10 июля 1944	3	374
656.	И. С. Шмелев	10 июля 1944	3	375
657.	И. С. Шмелев	11 июля 1944	3	376
658.	И. С. Шмелев	12 июля 1944	2	86
659.	И. С. Шмелев	12 июля 1944	3	377
660.	И. С. Шмелев	15 июля 1944	3	378
661.	И. С. Шмелев	15 июля 1944	3	379
662.	И. С. Шмелев	17 июля 1944	3	380
663.	И. С. Шмелев	17 июля 1944	3	381
664.	И. С. Шмелев	20 июля 1944	3	382
665.	И. С. Шмелев	22 июля 1944	3	383
666.	И. С. Шмелев	22 июля 1944	3	384
667.	И. С. Шмелев	25 июля 1944	3	385
668.	И. С. Шмелев	26 июля 1944	3	386
669.	И. С. Шмелев	2 августа 1944	3	387
670.	И. С. Шмелев	5 августа 1944	3	388
671.	И. С. Шмелев	5 августа 1944	3	389
672.	И. С. Шмелев	8 августа 1944	3	390

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
673.	И. С. Шмелев	8 августа 1944	3	391
674.	И. С. Шмелев	9 августа 1944	3	392
675.	И. С. Шмелев	9 августа 1944	3	393
676.	И. С. Шмелев	11 августа 1944	3	394
677.	О. А. Бредиус-Субботина	13 августа 1944	2	94
678.	И. С. Шмелев	15 августа 1944	3	395
679.	О. А. Бредиус-Субботина	20 августа 1944	3	396
680.	О. А. Бредиус-Субботина	23 мая 1945	2	87
681.	О. А. Бредиус-Субботина	10 июня 1945	2	89
682.	И. С. Шмелев	12 июня 1945	2	88
683.	И. С. Шмелев	12 июня 1945	3	397
684.	О. А. Бредиус-Субботина	[16 июня 1945]	2	90
685.	И. С. Шмелев	26 июня 1945	2	91
686.	И. С. Шмелев	10 июля 1945	3	398
687.	О. А. Бредиус-Субботина	20 июля 1945	2	92
688.	И. С. Шмелев	27 июля 1945	3	399
689.	И. С. Шмелев	3 августа 1945	2	93
690.	О. А. Бредиус-Субботина	7 августа 1945	3	400
691.	О. А. Бредиус-Субботина	18—23 августа 1945	2	95
692.	И. С. Шмелев	25 августа 1945	2	96
693.	О. А. Бредиус-Субботина	6 сентября 1945	2	98
694.	И. С. Шмелев	5—6 сентября 1945	2	97
695.	О. А. Бредиус-Субботина	17 сентября 1945	2	99
696.	И. С. Шмелев	25 сентября 1945	2	100
697.	И. С. Шмелев	26 сентября 1945	3	401
698.	О. А. Бредиус-Субботина	30 сентября 1945	2	101
699.	О. А. Бредиус-Субботина	2 октября 1945	3	402
700.	О. А. Бредиус-Субботина	[6 октября 1945][i]	3	403

[i] В оригинале датировано: День св. апостола Иоанна Богослова.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
701.	О. А. Бредиус-Субботина	5 октября 1945	2	102
702.	И. С. Шмелев	8 октября 1945	2	103
703.	И. С. Шмелев	11 октября 1945	2	104
704.	И. С. Шмелев	15 октября 1945	3	404
705.	О. А. Бредиус-Субботина	19 октября 1945	2	105
706.	О. А. Бредиус-Субботина	28 октября 1945	3	405
707.	О. А. Бредиус-Субботина	7 ноября 1945	3	406
708.	И. С. Шмелев	14 ноября 1945	2	106
709.	О. А. Бредиус-Субботина	29 ноября 1945	2	107
710.	О. А. Бредиус-Субботина	13 декабря 1945	3	407
711.	И. С. Шмелев	15 декабря 1945	2	108
712.	И. С. Шмелев	16 декабря 1945	3	408
713.	И. С. Шмелев	18 декабря 1945	2	109
714.	О. А. Бредиус-Субботина	21 декабря 1945	2	110
715.	О. А. Бредиус-Субботина	27 декабря 1945	3	409
716.	О. А. Бредиус-Субботина	30 декабря 1945	2	111
717.	И. С. Шмелев	3 января 1946	3	410
718.	О. А. Бредиус-Субботина	9 января 1946	3	411
719.	И. С. Шмелев	10 января 1946	2	112
720.	И. С. Шмелев	15 января 1946	3	412
721.	И. С. Шмелев	15—16 января 1946	3	413
722.	О. А. Бредиус-Субботина	20 января 1946	3	414
723.	О. А. Бредиус-Субботина	24 января 1946	2	113
724.	О. А. Бредиус-Субботина	16 февраля 1946	2	115
725.	И. С. Шмелев	18 февраля 1946	2	114
726.	О. А. Бредиус-Субботина	25 февраля 1946	3	415
727.	О. А. Бредиус-Субботина	26 февраля 1946	3	416
728.	И. С. Шмелев	6—7 марта 1946	2	116
729.	О. А. Бредиус-Субботина	10 марта 1946	3	417
730.	И. С. Шмелев	14—17 марта 1946	3	418

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
731.	О. А. Бредиус-Субботина	21 марта 1946	2	117
732.	И. С. Шмелев	27 марта 1946	3	419
733.	И. С. Шмелев	30 марта 1946	2	118
734.	О. А. Бредиус-Субботина	[2—4 апреля 1946]	3	420
735.	И. С. Шмелев	4—5 апреля 1946	3	421
736.	О. А. Бредиус-Субботина	8 апреля 1946	2	119
737.	И. С. Шмелев	13 апреля 1946	3	422
738.	И. С. Шмелев	[17 апреля 1946]	3	423
739.	О. А. Бредиус-Субботина	[23 апреля 1946]	2	120
740.	И. С. Шмелев	26 апреля 1946	3	115
741.	О. А. Бредиус-Субботина	27 апреля 1946	3	116
742.	О. А. Бредиус-Субботина	29 апреля 1946	2	121
743.	И. С. Шмелев	2 мая 1946	2	122
744.	О. А. Бредиус-Субботина	3 мая 1946	3	426
745.	И. С. Шмелев	11 июня 1946	2	123
746.	О. А. Бредиус-Субботина	[11 июня 1946]	2	126
747.	О. А. Бредиус-Субботина	[11 июня 1946]	3	427
748.	И. С. Шмелев	12 июня 1946	2	124
749.	О. А. Бредиус-Субботина	12 июня 1946	2	127
750.	И. С. Шмелев	13 июня 1946	2	125
751.	И. С. Шмелев	14 июня 1946	2	128
752.	И. С. Шмелев	15 июня 1946	2	129
753.	И. С. Шмелев	15—16 июня 1946	3	428
754.	И. С. Шмелев	16 июня 1946	3	429
755.	О. А. Бредиус-Субботина	17 июня 1946	3	430
756.	О. А. Бредиус-Субботина	[17 июня 1946]	3	431
757.	О. А. Бредиус-Субботина	17 июня 1946	3	432
758.	О. А. Бредиус-Субботина	17 июня 1946	3	433
759.	И. С. Шмелев	19 июня 1946	3	434

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
760.	О. А. Бредиус-Субботина	19—20 июня 1946	3	435
761.	И. С. Шмелев	20 июня 1946	3	436
762.	И. С. Шмелев	21—22 июня 1946	2	130
763.	О. А. Бредиус-Субботина	21 июня 1946	2	131
764.	О. А. Бредиус-Субботина	22 июня 1946	3	437
765.	О. А. Бредиус-Субботина	24 июня 1946	3	438
766.	О. А. Бредиус-Субботина	25 июня 1946	3	439
767.	И. С. Шмелев	27 июня 1946	3	440
768.	И. С. Шмелев	27 июня 1946	3	441
769.	И. С. Шмелев	28 июня 1946	3	442
770.	О. А. Бредиус-Субботина	30 июня 1946	2	132
771.	О. А. Бредиус-Субботина	3 июля 1946	3	443
772.	О. А. Бредиус-Субботина	6 июля 1946	2	133
773.	О. А. Бредиус-Субботина	9—10 июля 1946	3	444
774.	И. С. Шмелев	11 июля 1946	3	445
775.	И. С. Шмелев	11 июля 1946	3	446
776.	И. С. Шмелев	12 июля 1946	2	134
777.	И. С. Шмелев	12—13 июля 1946	3	447
778.	И. С. Шмелев	13 июля 1946	3	448
779.	О. А. Бредиус-Субботина	14—16 июля 1946	2	135
780.	И. С. Шмелев	16 июля 1946	3	449
781.	О. А. Бредиус-Субботина	18 июля 1946	3	450
782.	И. С. Шмелев	21 июля 1946	2	136
783.	И. С. Шмелев	21—22 июля 1946	3	451
784.	И. С. Шмелев	22 июля 1946	3	452
785.	О. А. Бредиус-Субботина	22 июля 1946	3	453
786.	И. С. Шмелев	23 июля 1946	3	454
787.	О. А. Бредиус-Субботина	23 июля 1946	3	455
788.	И. С. Шмелев	24 июля 1946	3	456
789.	И. С. Шмелев	24 июля 1946	3	457

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
790.	И. С. Шмелев	25 июля 1946 (11 ч.)	3	458
791.	И. С. Шмелев	25 июля 1946 (16 ч. 30 мин.)	3	459
792.	О. А. Бредиус-Субботина	25 июля 1946	3	460
793.	О. А. Бредиус-Субботина	25 июля 1946 (22 ч.)	3	461
794.	И. С. Шмелев	25—26 июля 1946	3	462
795.	И. С. Шмелев	[21—27 июля 1946]	3	463
796.	И. С. Шмелев	27 июля 1946	3	464
797.	И. С. Шмелев	27 июля 1946 (15 ч. 30 мин.)	3	465
798.	И. С. Шмелев	28 июля 1946	3	466
799.	О. А. Бредиус-Субботина	27—29 июля 1946	2	137
800.	О. А. Бредиус-Субботина	30 июля – 1 августа 1946	3	467
801.	О. А. Бредиус-Субботина	1 августа 1946	3	468
802.	О. А. Бредиус-Субботина	[2 августа 1946]	3	469
803.	О. А. Бредиус-Субботина	3—4 августа 1946	2	138
804.	И. С. Шмелев	5 августа 1946	3	470
805.	И. С. Шмелев	5—6 августа 1946	2	139
806.	И. С. Шмелев	6 августа 1946	3	471
807.	И. С. Шмелев	7 августа 1946	2	140
808.	И. С. Шмелев	8—10 августа 1946	2	141
809.	О. А. Бредиус-Субботина	8 августа 1946	3	472
810.	О. А. Бредиус-Субботина	11—12 августа 1946	2	142
811.	О. А. Бредиус-Субботина	14 августа 1946	2	143
812.	И. С. Шмелев	14 августа 1946	3	473
813.	И. С. Шмелев	17 августа 1946	2	144
814.	О. А. Бредиус-Субботина	[17 августа 1946]	3	474
815.	И. С. Шмелев	19 августа 1946	2	145
816.	И. С. Шмелев	19 августа 1946	3	475
817.	О. А. Бредиус-Субботина	21 августа 1946	2	146

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
818.	О. А. Бредиус-Субботина	24 августа 1946	3	476
819.	О. А. Бредиус-Субботина	26 августа 1946	3	477
820.	И. С. Шмелев	28 августа 1946	2	147
821.	О. А. Бредиус-Субботина	30 августа 1946	3	478
822.	И. С. Шмелев	1 сентября 1946	2	148
823.	И. С. Шмелев	2 сентября 1946	3	479
824.	И. С. Шмелев	2 сентября 1946 (23 ч. 45 мин.)	2	149
825.	О. А. Бредиус-Субботина	3 сентября 1946	2	150
826.	О. А. Бредиус-Субботина	3 сентября 1946	3	480
827.	О. А. Бредиус-Субботина	4—5 сентября 1946	3	481
828.	И. С. Шмелев	6 сентября 1946	3	482
829.	И. С. Шмелев	6 сентября 1946	3	483
830.	О. А. Бредиус-Субботина	6 сентября 1946	3	484
831.	О. А. Бредиус-Субботина	10 сентября 1946	3	485
832.	О. А. Бредиус-Субботина	10 сентября 1946 (22 ч.)	3	486
833.	И. С. Шмелев	11 сентября 1946	3	487
834.	И. С. Шмелев	12 сентября 1946 (13 ч.)	3	488
835.	И. С. Шмелев	12 сентября 1946 (20 ч.)	3	489
836.	О. А. Бредиус-Субботина	13 сентября 1946	3	490
837.	О. А. Бредиус-Субботина	15 сентября 1946	3	491
838.	И. С. Шмелев	16 сентября 1946	3	492
839.	О. А. Бредиус-Субботина	16 сентября 1946	3	493
840.	И. С. Шмелев	18 сентября 1946	3	494
841.	О. А. Бредиус-Субботина	18—19 сентября 1946	3	495
842.	О. А. Бредиус-Субботина	20 сентября 1946	2	151
843.	И. С. Шмелев	20 сентября 1946	3	496
844.	И. С. Шмелев	23 сентября 1946	3	497
845.	И. С. Шмелев	24 сентября 1946	3	498

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
846.	И. С. Шмелев	26 сентября 1946	2	152
847.	О. А. Бредиус-Субботина	28 сентября 1946	2	153
848.	И. С. Шмелев	30 сентября 1946	3	499
849.	О. А. Бредиус-Субботина	30 сентября 1946	3	500
850.	И. С. Шмелев	1 октября 1946	2	154
851.	И. С. Шмелев	2 октября 1946	3	501
852.	О. А. Бредиус-Субботина	2 октября 1946[i]	3	502
853.	И. С. Шмелев	3 октября 1946	3	503
854.	О. А. Бредиус-Субботина	[4 октября 1946]	3	504
855.	О. А. Бредиус-Субботина	5—7 октября 1946	2	155
856.	И. С. Шмелев	8 октября 1946	3	505
857.	О. А. Бредиус-Субботина	8 октября 1946	3	506
858.	И. С. Шмелев	9 октября 1946	3	507
859.	И. С. Шмелев	10 октября 1946	3	508
860.	И. С. Шмелев	10 октября 1946 (22 ч. 30 мин.)	3	509
861.	И. С. Шмелев	11 октября 1946	3	510
862.	О. А. Бредиус-Субботина	15—16 октября 1946	2	156
863.	О. А. Бредиус-Субботина	18 октября 1946	3	511
864.	И. С. Шмелев	21—22 октября 1946	2	157
865.	О. А. Бредиус-Субботина	23 октября 1946	3	512
866.	И. С. Шмелев	25 октября 1946 (17 ч. 30 мин.)	3	513
867.	И. С. Шмелев	25 октября 1946	3	514
868.	О. А. Бредиус-Субботина	8 ноября 1946	3	515
869.	И. С. Шмелев	15 ноября 1946	3	516
870.	О. А. Бредиус-Субботина	18 ноября 1946	2	158
871.	О. А. Бредиус-Субботина	20 ноября 1946	3	517
872.	И. С. Шмелев	23 ноября 1946	2	159

[i] В оригинале описка: 2.IX.46.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
873.	И. С. Шмелев	24 ноября 1946	3	518
874.	И. С. Шмелев	27 ноября 1946	3	519
875.	О. А. Бредиус-Субботина	28 ноября 1946	2	160
876.	О. А. Бредиус-Субботина	2—3 декабря 1946	3	520
877.	И. С. Шмелев	3 декабря 1946	3	521
878.	О. А. Бредиус-Субботина	5 декабря 1946	3	522
879.	О. А. Бредиус-Субботина	7 декабря 1946	3	523
880.	О. А. Бредиус-Субботина	9 декабря 1946	3	524
881.	И. С. Шмелев	10 декабря 1946	3	525
882.	И. С. Шмелев	12 декабря 1946	3	526
883.	О. А. Бредиус-Субботина	12 декабря 1946	3	527
884.	О. А. Бредиус-Субботина	13 декабря 1946	3	528
885.	И. С. Шмелев	14 декабря 1946	3	529
886.	О. А. Бредиус-Субботина	17—18 декабря 1946	3	530
887.	И. С. Шмелев	18 декабря 1946	2	161
888.	О. А. Бредиус-Субботина	19 декабря 1946	2	162
889.	И. С. Шмелев	20 декабря 1946	3	531
890.	О. А. Бредиус-Субботина	27 декабря 1946	2	163
891.	И. С. Шмелев	30 декабря 1946	3	532
892.	О. А. Бредиус-Субботина	2 января 1947	3	533
893.	И. С. Шмелев	5—6 января 1947	2	164
894.	И. С. Шмелев	9 января 1947	3	534
895.	О. А. Бредиус-Субботина	10 января 1947	3	535
896.	И. С. Шмелев	11 января 1947	3	536
897.	О. А. Бредиус-Субботина	11 января 1947	3	537
898.	О. А. Бредиус-Субботина	12 января 1947	2	165
899.	О. А. Бредиус-Субботина	16 января 1947	3	538
900.	О. А. Бредиус-Субботина	23 января 1947	3	539
901.	И. С. Шмелев	25 января 1947	3	540
902.	О. А. Бредиус-Субботина	28—30 января 1947	3	541

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
903.	О. А. Бредиус-Субботина	31 января 1947	2	168
904.	И. С. Шмелев	1 февраля 1947	2	166
905.	И. С. Шмелев	2 февраля 1947	2	167
906.	О. А. Бредиус-Субботина	2 февраля 1947	2	169
907.	И. С. Шмелев	3 февраля 1947 (14 ч. 30 мин.)	3	542
908.	И. С. Шмелев	3 февраля 1947 (18 ч.)	3	543
909.	О. А. Бредиус-Субботина	4 февраля 1947	2	170
910.	И. С. Шмелев	5 февраля 1947 (9 ч. 30 мин.)	3	544
911.	И. С. Шмелев	5 февраля 1947	3	545
912.	И. С. Шмелев	6—7 февраля 1947	3	546
913.	И. С. Шмелев	8 февраля 1947	3	547
914.	И. С. Шмелев	8 февраля 1947 (23 ч.)	2	171
915.	О. А. Бредиус-Субботина	12 февраля 1947	3	548
916.	О. А. Бредиус-Субботина	14 февраля 1947	3	549
917.	И. С. Шмелев	15 февраля 1947	3	550
918.	О. А. Бредиус-Субботина	18—19 февраля 1947	2	172
919.	И. С. Шмелев	18 февраля 1947	3	551
920.	И. С. Шмелев	19 февраля 1947	2	173
921.	О. А. Бредиус-Субботина	19 февраля 1947	3	552
922.	И. С. Шмелев	21 февраля 1947	3	553
923.	О. А. Бредиус-Субботина	22 февраля 1947	3	554
924.	О. А. Бредиус-Субботина	24—25 февраля 1947	3	555
925.	И. С. Шмелев	27 февраля 1947	3	556
926.	О. А. Бредиус-Субботина	2—4 марта 1947	3	557
927.	О. А. Бредиус-Субботина	[4 марта 1947]	2	174
928.	И. С. Шмелев	4—5 марта 1947	3	558
929.	О. А. Бредиус-Субботина	5 марта 1947	3	559
930.	И. С. Шмелев	7 марта 1947	3	560

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
931.	И. С. Шмелев	7—8 марта 1947	3	561
932.	О. А. Бредиус-Субботина	[11 марта 1947]	2	175
933.	И. С. Шмелев	14 марта 1947	3	562
934.	О. А. Бредиус-Субботина	[14 марта 1947]	3	563
935.	О. А. Бредиус-Субботина	18 марта 1947	2	176
936.	И. С. Шмелев	21 марта 1947	2	177
937.	И. С. Шмелев	22—23 марта 1947	3	564
938.	О. А. Бредиус-Субботина	22 марта 1947	3	565
939.	О. А. Бредиус-Субботина	27 марта 1947	3	566
940.	О. А. Бредиус-Субботина	28 марта 1947	2	178
941.	И. С. Шмелев	26—31 марта 1947	3	567
942.	И. С. Шмелев	1 апреля 1947	3	568
943.	О. А. Бредиус-Субботина	2 апреля 1947	3	569
944.	И. С. Шмелев	4 апреля 1947	3	570
945.	О. А. Бредиус-Субботина	[5 апреля 1947]	3	571
946.	О. А. Бредиус-Субботина	6 апреля 1947	3	572
947.	И. С. Шмелев	9 апреля 1947	3	573
948.	О. А. Бредиус-Субботина	[9 апреля 1947]	3	574
949.	И. С. Шмелев	10 апреля 1947	3	575
950.	И. С. Шмелев	12 апреля 1947	2	179
951.	О. А. Бредиус-Субботина	[15 апреля 1947]	3	576
952.	О. А. Бредиус-Субботина	15—16 апреля 1947	3	577
953.	О. А. Бредиус-Субботина	17—20 апреля 1947	2	180
954.	О. А. Бредиус-Субботина	23 апреля 1947	2	181
955.	И. С. Шмелев	23 апреля 1947	3	578
956.	И. С. Шмелев	25 апреля 1947	2	182
957.	О. А. Бредиус-Субботина	29 апреля 1947	3	579
958.	О. А. Бредиус-Субботина	30 апреля 1947	3	580
959.	О. А. Бредиус-Субботина	6 мая 1947	3	581
960.	И. С. Шмелев	12 мая 1947	3	582

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
961.	О. А. Бредиус-Субботина	12 мая 1947	3	583
962.	О. А. Бредиус-Субботина	15 мая 1947	3	584
963.	О. А. Бредиус-Субботина	16 мая 1947	3	585
964.	И. С. Шмелев	27 мая 1947	3	586
965.	О. А. Бредиус-Субботина	1 июня 1947	3	587
966.	И. С. Шмелев	3 июня 1947	3	588
967.	И. С. Шмелев	6 июня 1947	3	589
968.	О. А. Бредиус-Субботина	12—16 июня 1947	2	183
969.	И. С. Шмелев	27 июня 1947	3	590
970.	О. А. Бредиус-Субботина	28 июня 1947	3	591
971.	О. А. Бредиус-Субботина	30 июня — 4 июля 1947	3	592
972.	О. А. Бредиус-Субботина	8 июля 1947	3	593
973.	И. С. Шмелев	18 июля 1947	3	594
974.	И. С. Шмелев	21 июля 1947	2	184
975.	О. А. Бредиус-Субботина	[28 июля 1947]	3	595
976.	И. С. Шмелев	3 августа 1947	3	596
977.	О. А. Бредиус-Субботина	[4 августа 1947]	3	597
978.	О. А. Бредиус-Субботина	5 августа 1947	3	598
979.	И. С. Шмелев	8 августа 1947	2	185
980.	О. А. Бредиус-Субботина	11 августа 1947	2	186
981.	И. С. Шмелев	14 августа 1947	3	599
982.	И. С. Шмелев	14 августа 1947	3	600
983.	О. А. Бредиус-Субботина	21 августа 1947	3	601
984.	О. А. Бредиус-Субботина	31 августа 1947	3	602
985.	О. А. Бредиус-Субботина	8 сентября 1947[i]	3	603
986.	И. С. Шмелев	12 сентября 1947	3	604
987.	О. А. Бредиус-Субботина	24 сентября 1947	3	605
988.	И. С. Шмелев	26 сентября 1947	3	606

[i] В оригинале описка: 8.VIII.47 г.

№	Отправитель	Дата	Том	№ письма в томе
989.	О. А. Бредиус-Субботина	29 сентября 1947	3	607
990.	О. А. Бредиус-Субботина	6 октября 1947	3	608
991.	И. С. Шмелев	21 октября 1947	2	187
992.	О. А. Бредиус-Субботина	23 октября 1947	3	609
993.	О. А. Бредиус-Субботина	31 октября 1947	3	610
994.	И. С. Шмелев	11 ноября 1947	3	611
995.	О. А. Бредиус-Субботина	7—12 ноября 1947	3	612
996.	О. А. Бредиус-Субботина	22 ноября 1947	2	188
997.	О. А. Бредиус-Субботина	8 декабря 1947	3	613
998.	И. С. Шмелев	15 декабря 1947	2	189
999.	О. А. Бредиус-Субботина	17 декабря 1947	3	614
1000.	И. С. Шмелев	22 декабря 1947	3	615
1001.	И. С. Шмелев	27 декабря 1947	2	190
1002.	И. С. Шмелев	31 декабря 1947 — 1 января 1948	2	191
1003.	О. А. Бредиус-Субботина	2 января 1948	3	616
1004.	И. С. Шмелев	5 января 1948	2	192
1005.	И. С. Шмелев	6 января 1948	3	617
1006.	И. С. Шмелев	9 января 1948	2	194
1007.	И. С. Шмелев	10 января 1948	3	618
1008.	О. А. Бредиус-Субботина	12 января 1948	2	193
1009.	О. А. Бредиус-Субботина	19 января 1948	3	619
1010.	И. С. Шмелев	20 января 1948	3	620
1011.	И. С. Шмелев	21 января 1948	3	621
1012.	И. С. Шмелев	22 января 1948	3	622
1013.	О. А. Бредиус-Субботина	5 февраля 1948	3	623
1014.	О. А. Бредиус-Субботина	7—9 февраля 1948	3	624
1015.	О. А. Бредиус-Субботина	25 февраля 1948	3	625
1016.	И. С. Шмелев	4 марта 1948	3	626
1017.	И. С. Шмелев	13 марта 1948	2	195
1018.	О. А. Бредиус-Субботина	17 марта 1948	2	196

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1019.	О. А. Бредиус-Субботина	[24 марта 1948]	3	627
1020.	И. С. Шмелев	24—26 марта 1948	2	197
1021.	О. А. Бредиус-Субботина	6 апреля 1948	2	198
1022.	И. С. Шмелев	8 апреля 1948	3	628
1023.	И. С. Шмелев	11 апреля 1948	2	199
1024.	О. А. Бредиус-Субботина	13 апреля 1948	3	629
1025.	И. С. Шмелев	28 апреля 1948	3	630
1026.	О. А. Бредиус-Субботина	[1 мая 1948]	2	200
1027.	И. С. Шмелев	6 мая 1948	3	631
1028.	И. С. Шмелев	8 мая 1948	3	632
1029.	И. С. Шмелев	14 мая 1948	3	633
1030.	О. А. Бредиус-Субботина	[19 мая 1948]	3	634
1031.	И. С. Шмелев	21 мая 1948	3	635
1032.	И. С. Шмелев	21 мая 1948	3	636
1033.	О. А. Бредиус-Субботина	[24 мая 1948]	3	637
1034.	И. С. Шмелев	25 мая 1948	3	638
1035.	О. А. Бредиус-Субботина	30 мая 1948	3	639
1036.	И. С. Шмелев	2 июня 1948	3	640
1037.	О. А. Бредиус-Субботина	4 июня 1948	3	641
1038.	И. С. Шмелев	5 июня 1948	3	642
1039.	И. С. Шмелев	6 июня 1948	2	201
1040.	И. С. Шмелев	7 июня 1948	2	202
1041.	О. А. Бредиус-Субботина	13 июня 1948	2	203
1042.	И. С. Шмелев	16 июня 1948	2	204
1043.	И. С. Шмелев	22 июня 1948	3	643
1044.	И. С. Шмелев	30 июня 1948	3	644
1045.	О. А. Бредиус-Субботина	2 июля 1948	3	645
1046.	И. С. Шмелев	21 июля 1948	3	646
1047.	О. А. Бредиус-Субботина	[30 июля 1948]	3	647
1048.	О. А. Бредиус-Субботина	4 августа 1948	3	648

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1049.	И. С. Шмелев	18 августа 1948	2	205
1050.	О. А. Бредиус-Субботина	20 августа 1948	3	649
1051.	О. А. Бредиус-Субботина	[23 августа 1948]	3	650
1052.	О. А. Бредиус-Субботина	25 августа 1948	3	651
1053.	И. С. Шмелев	3 сентября 1948[i]	3	652
1054.	О. А. Бредиус-Субботина	[Начало октября 1948]	3	653
1055.	О. А. Бредиус-Субботина	6 октября 1948	3	654
1056.	О. А. Бредиус-Субботина	[16 октября 1948]	3	655
1057.	И. С. Шмелев	23 октября 1948	3	656
1058.	О. А. Бредиус-Субботина	25 ноября 1948	3	657
1059.	И. С. Шмелев	29 ноября 1948	2	206
1060.	О. А. Бредиус-Субботина	4 декабря 1948	2	207
1061.	И. С. Шмелев	9 декабря 1948	2	208
1062.	О. А. Бредиус-Субботина	12 декабря 1948	2	209
1063.	И. С. Шмелев	31 декабря 1948	2	210
1064.	О. А. Бредиус-Субботина	4 января 1949	3	658
1065.	О. А. Бредиус-Субботина	10—12 января 1949	2	211
1066.	О. А. Бредиус-Субботина	19 января 1949	3	659
1067.	И. С. Шмелев	20 января 1949	2	212
1068.	И. С. Шмелев	20 января 1949	3	660
1069.	О. А. Бредиус-Субботина	27 января 1949	2	213
1070.	О. А. Бредиус-Субботина	3 марта 1949	3	661
1071.	О. А. Бредиус-Субботина	21 марта 1949	2	214
1072.	И. С. Шмелев	[24 марта 1949]	2	215
1073.	О. А. Бредиус-Субботина	4 апреля 1949	3	662
1074.	О. А. Бредиус-Субботина	[Начало апреля 1949]	3	663

[i] В оригинале описка: 3.IX.49.

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1075.	О. А. Бредиус-Субботина	[Не позднее 28 апреля 1949]	3	664
1076.	О. А. Бредиус-Субботина	29 апреля 1949	3	665
1077.	О. А. Бредиус-Субботина	[14 мая 1949]	3	666
1078.	И. С. Шмелев	16 мая 1949	3	667
1079.	О. А. Бредиус-Субботина	29 мая 1949	3	668
1080.	И. С. Шмелев	4 июня 1949	3	669
1081.	И. С. Шмелев	4 июня 1949	3	670
1082.	О. А. Бредиус-Субботина	10 июня 1949	3	671
1083.	О. А. Бредиус-Субботина	[18 июня 1949]	3	672
1084.	И. С. Шмелев	5 июля 1949	2	216
1085.	О. А. Бредиус-Субботина	9 июля 1949	2	217
1086.	И. С. Шмелев	13 июля 1949	2	218
1087.	О. А. Бредиус-Субботина	[Не позднее 20 июля 1949]	3	673
1088.	И. С. Шмелев	21 июля 1949	3	674
1089.	И. С. Шмелев	21 июля 1949	3	675
1090.	О. А. Бредиус-Субботина	26 июля 1949	3	676
1091.	О. А. Бредиус-Субботина	31 июля 1949	3	677
1092.	И. С. Шмелев	3 августа 1949	3	678
1093.	О. А. Бредиус-Субботина	12 августа 1949	3	679
1094.	И. С. Шмелев	13 августа 1949	3	680
1095.	О. А. Бредиус-Субботина	19 августа 1949	3	681
1096.	О. А. Бредиус-Субботина	24 августа 1949	3	682
1097.	И. С. Шмелев	30 августа 1949	3	683
1098.	О. А. Бредиус-Субботина	2 сентября 1949	3	684
1099.	О. А. Бредиус-Субботина	26 сентября 1949	2	219
1100.	О. А. Бредиус-Субботина	30 сентября 1949	2	220
1101.	И. С. Шмелев	2 октября 1949	3	685

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1102.	О. А. Бредиус-Субботина	5 октября 1949	3	686
1103.	О. А. Бредиус-Субботина	8 октября 1949	2	222
1104.	И. С. Шмелев	[13 октября 1949]	2	221
1105.	О. А. Бредиус-Субботина	14 октября 1949	3	687
1106.	О. А. Бредиус-Субботина	20 октября 1949	3	688
1107.	И. С. Шмелев	22 октября 1949	3	689
1108.	О. А. Бредиус-Субботина	10 ноября 1949	3	690
1109.	О. А. Бредиус-Субботина	17 ноября 1949	3	691
1110.	И. С. Шмелев	19 ноября 1949	3	692
1111.	О. А. Бредиус-Субботина	3 декабря 1949	3	693
1112.	О. А. Бредиус-Субботина	17 декабря 1949	2	223
1113.	И. С. Шмелев	22 декабря 1949	2	224
1114.	И. С. Шмелев	26 декабря 1949	3	694
1115.	О. А. Бредиус-Субботина	[2 января 1950]	3	695
1116.	О. А. Бредиус-Субботина	[5 января 1950]	2	225
1117.	И. С. Шмелев	5 января 1950	3	696
1118.	И. С. Шмелев	17 января 1950	2	226
1119.	О. А. Бредиус-Субботина	18 января 1950	3	697
1120.	И. С. Шмелев	20 января 1950	3	698
1121.	О. А. Бредиус-Субботина	28 января 1950	2	227
1122.	О. А. Бредиус-Субботина	9 февраля 1950	3	699
1123.	И. С. Шмелев	14 февраля 1950	3	700
1124.	О. А. Бредиус-Субботина	16—21 марта 1950	3	701
1125.	О. А. Бредиус-Субботина	[Начало апреля 1950]	3	702
1126.	О. А. Бредиус-Субботина	5 апреля 1950	3	703
1127.	И. С. Шмелев	7 апреля 1950	2	229
1128.	О. А. Бредиус-Субботина	[13 апреля 1950]	2	228
1129.	О. А. Бредиус-Субботина	26 апреля 1950	2	230

№	*Отправитель*	*Дата*	*Том*	*№ письма в томе*
1130.	И. С. Шмелев	27 апреля 1950	3	704
1131.	О. А. Бредиус-Субботина	18 мая 1950	3	705
1132.	И. С. Шмелев	9 июня 1950	2	232
1133.	О. А. Бредиус-Субботина	10 июня 1950[i]	2	231

[i] В оригинале описка: 10.V.50.

Содержание

И. С. Шмелев

Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной.
Неизвестные редакции произведений

Т. 3 (дополнительный). Ч. 2.

Редактор *М.А. Айламазян*
Художественный редактор *А.К. Сорокин*
Компьютерная верстка *М.В. Минина*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 15.08.2006.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 68. Тираж 1000 экз. Заказ № 4831

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82. Тел.: 334-81-87 (дирекция)
Тел./Факс 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Сергей Шмелев (сын писателя)
и Дарья Замотина. [1904]



о. Александр Субботин. 1900-е гг.
Фотография находится
в личном архиве Р. П. Твильховского



И. С. Шмелев.
На обороте фотографии надпись:
«На океане, у Капбретона,
в 1931-32 г., осень. Ив. Шмелев»



Семьи Шмелевых и Бальмонтов в Капбретоне.
Слева направо: Мирра Бальмонт, А. Н. Иванова, Ив Жантийом, О. А. Шмелева, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт, Е. К. Бальмонт. 1928

IV — БЛАГОСЛОВЕННОЕ УТРО

Утро своего перваго пробужденія въ "Уютовѣ" Дарья Ивановна свѣтло вспоминала до конца дней своихъ. Она называла его "благословеннымъ утромъ", утромъ жизни". И правда: въ то памятное утро она получила какъ бы благословеніе на жизнь [illegible] явно, "до лицезрѣнія"; получила [illegible] "духовную жажду жизни". По словамъ Виктора Алексѣевича, случившееся съ ней въ то утро непостижимо чудесно расширило [illegible] богатство души ея, "отомкнуло уста ея".

— Я и раньше чувствовалъ богатство ея души, — разсказывалъ онъ впослѣдствіи, — но не предполагалъ, до чего же утонченна была сложна [illegible] внутренняя жизнь ея. До сего "пробужденія" Даринька никогда [illegible] себя не проявляла въ области... ну, [illegible] неуклюже-научно выражаясь... — въ области "философіи жизни", или, проще, — міровоззрѣнія [illegible]. Былъ одинъ случай, давній, [illegible] когда она пріоткрыла [illegible] свое душевное богатство, [illegible] — когда мы [illegible] слушали въ Кремлѣ колокольный разливный звонъ. Я тогда съ изумленіемъ услыхалъ, что она понимаетъ, какъ [illegible] звѣзды... Она тогда пояснила мнѣ, изъ хорошо знакомаго ей псалма, что "все можетъ славить Господа". Я принялъ это [illegible] узко, формально: ну, да... она в о о б р а ж а е т ъ, какъ п о ю т ъ звѣзды, а [illegible] привычно-восторженно славословятъ ихъ, какъ и все сотворенное, [illegible] Творцу. Нѣтъ, она [illegible] о щ у щ а л а!.. Это я [illegible] когда Даринька разсказала мнѣ — такъ откровенно-дѣтски! —

Фрагмент рукописи романа «Пути небесные». Редакция 1944 г.



К. П. Пясковский. Наброски к портрету И. С. Шмелева.
1937. Бумага, карандаш

К. П. Пясковский. Портрет И. С. Шмелева.
1937. Бумага, карандаш

2

[illegible]у, охальникъ, - всѣ говорятъ. Я хочу отругать его, [illegible] и растереть... -
смотрю за его спиной: тѣнь на стѣнѣ за нимъ, и вспоминаю Ангела, кото-
рый стоитъ за каждымъ. Вижу въ углу иконку съ засохшей вербой, вспоминается
"Верба", вербный веселый торгъ на Красной площади, великiй постъ..." - скоро бу-
ду говѣть, понесу батюшкѣ грѣхи, въ первый разъ. Пересиливая ужасный стыдъ,
я говорю ему: "я на тебя плюнулъ вчера... ты не сердись ужъ... прости мое согрѣ-
шенiе..." - и тру-растираю картинку пальцемъ, стыдясь чего-то, боясь смотрѣть.
Онъ глядитъ на меня, и лицо у него какое-то другое, будто онъ думаетъ о чемъ-то
очень трудномъ, будто какую-то загадку хочетъ отгадать... и потомъ грустное дѣ-
лается его лицо. - "Энъ, про чего ты... а я и думать забылъ," - говоритъ онъ, и
лицо его становится добрымъ, ну, совсѣмъ-совсѣмъ другимъ, словно и не онъ это,
даже улыбается мягко, ласково, - ну, совсѣмъ не онъ это, всегда насмѣшникъ, вс-
гда съ подковыркой и зацѣпкой. - "Вотъ, погоди, паря..." - и это самое ласковое
у него - "паря", когда онъ очень доволенъ чѣмъ-нибудь... - снѣгу навалитъ, во-ско-
лько снѣгу... ужъ тогда мы съ тобой слѣпимъ такую ба-бу... во всей-то сбруѣ!.."
Я срываюсь съ лавки, бѣгу-топочу по лѣстницѣ къ себѣ, въ дѣтскую, и такъ мнѣ
чего-то радостно, такъ хорошо, легко...

Я никакъ не могу заснуть, все [illegible]. За чернымъ окномъ стегаетъ по стекламъ
... снѣгомъ?!... идетъ зима..?!! Снѣгомъ, снѣгомъ... конечно, снѣгомъ!...
Утро... Окна захлестаны. Въ комнатѣ снѣжный свѣтъ, новый, холодный, радо-
стный, з и м н i й свѣтъ. - вотъ и пришла зима! ..."Зима... крестьянинъ, т-
оржествуя, на дровняхъ обновляетъ путь..." - - Господи, вотъ и пришла зима!..
Я соскакиваю съ постельки, въ холодъ, въ радостный, снѣжный, свѣтъ, пробѣгаю по
крашеному полу, не слыша холода, взбираюсь на окошко... - снѣгу-то, снѣгу ско-
-лько..! Грязь завалило снѣгомъ, Антипушка, весь въ снѣгу, отгребаетъ лопатой
отъ конюшни. Засыпало и сараи, и заборы, и конуру Бушуя, и барминихину бузину,
вѣтки ея заплюхало, придавило, - только мутно [illegible] лужа. Я отворяю форточ-
ку... - свѣжiй и острый, новый какой-то воздухъ, яблоками какъ-будто пахнетъ, кры-
мскими яблоками, свѣжими-свѣжими... какъ ~~бываетъ~~ въ театрѣ, вдругъ донесетъ
изъ ложи, рядомъ, гдѣ хрустнутъ яблочкомъ... таким сочнымъ, крѣпкимъ такимъ
и сладкимъ. И ти-хо-тихо. Я кричу въ форточку, совсѣмъ задыхаясь ~~въ восто-~~
~~ргѣ~~, "Антипушка... зима...!" и мой голосъ какой-то новый, будто кричитъ въ по-
душку. И Антипушка, будто изъ-подъ подушки тоже, - "при-шла-а... слава те, Го-
споди... при-шла-ааа... зимушка-зима... зима-а..." Лица у него не видно, -
снѣгъ не стегаетъ, а густо валитъ, сильнѣй, сильнѣй. Попрыгиваетъ по снѣгу кош-
ка, отряхиваетъ лапки. Куры стоятъ у лужи и не шевелятся, словно боятся снѣга.
Пѣтухъ все вытягиваетъ голову къ забору, ~~на забор~~у, хочетъ взлетѣть, но и на заб-
ръ навалило, и куда ни гляди - все бѣло.

Я прыгаю по снѣгу, проваливаюсь [illegible], по-колѣно, нюхаю полушубочекъ-обнову
- радостно пахнетъ кислымъ, какими-то звѣрями... зимой пахнетъ! Наступаю ~~на~~
~~снѣгу~~ на путающуюся полу, падаю въ снѣгъ, карабкаюсь. Ковыряю лопаточкой, лопа-
точка глубоко уходитъ, тупо стучитъ объ землю, - значитъ, зима легла. Въ саду
завалило смородину, крыжовникъ; торчатъ изъ снѣгу ~~до половины~~ почернѣлые палки
голыхъ подсолнуховъ, пропали клумбы съ сухими маками и астрами, низкiя совсѣмъ
стали скамеечки, на кругломъ столѣ [illegible] огромный снѣжный пирогъ - мороженое
безъ, какъ-будто... даже смѣшно! Ну, все завалило, завалило, только подъ ябло-
нями еще ~~синѣетъ~~ [illegible]. Снѣгъ вязко налипаетъ, похрупываетъ туго и маслится.
[illegible] надо ему окрѣпнуть. Отъ воротъ на крыльцо слѣдочки, - кто-то уже [illegible].
Михаилъ-Архангелъ все по снѣжку приходитъ.... но онъ безслѣдный, ходитъ [illegible]
по воздуху?... Изъ конторы у воротъ выходитъ Василь-Василичъ, [illegible] зимнемъ,
[illegible] знакомой "коротышкѣ" свѣтлаго сукна, похожаго на войлокъ, [illegible]
~~[illegible]~~ поплескиваетъ по снѣгу сапогами: ~~[illegible]~~
Горкину.
Спрашиваетъ, чего у именинника подарю. Я не знаю. [illegible] онъ бо-гатую чайную [illegible]
[illegible] подъ яблоней, гдѣ варили варенье [illegible] и ни [illegible] —

«Михайлов день». 1942. Фрагмент рукописи

8-2-42. II - 40 у.
Продолжаю, милая Оля, "Куликово Поле".

.... Но въ этотъ "мигъ" Оля стелила постель въ кабинетѣ профессора, взяла чистое, что нашлось. Лампадокъ они не зажигали, гарнаго масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, – "вотъ эту самую, голубенькую, въ молочныхъ глазкахъ... теперь негасимая она..." – озарило ее сіяніе, и она увидала... Л и к ъ. Это былъ образъ Преподобнаго Сергія. Ее охватило священнымъ ужасомъ. И до сего дня помнила она, какъ горѣло въ ней сердце, какъ вздрагивало отъ слезъ с і я н і е.

Въ благоговѣйномъ и с в ѣ т л о м ъ у ж а с ѣ, вошла она тихо въ комнату и, трепетная, склонилась молча, не смѣя поднять глаза. – "Что я въ сердцѣ своемъ держала... этого нельзя высказать словами, это выше сознанія. Будто и сердца не было во мнѣ, будто я разсталась съ с о б о й... и меня, какой я знаю себя, уже нѣтъ... а я... я, будто, д у ш у въ себѣ сознала... нѣтъ, это нельзя словами..." – разсказывала, обливаясь слезами, Оля. – "Стала, какъ она... ну, оглушенной она показалась мнѣ!.." – замѣтилъ Средневъ, явно взволнованный. А съ нимъ ничего "особеннаго" не происходило. – "На душѣ... то-есть, внутри меня... хорошо какъ-то было, уютно... только". Онъ предлагалъ "иноку" поужинать съ ними, хотя бы напиться чаю... – "да чай-то у насъ какой-то морковно-липовый былъ," – но старецъ уклонился, "какъ-то особенно тактично, не принявъ и не отказавъ:

"Завтра день н е д ѣ л ь н ы й, по вечеру не вкушается".

Средневъ тогда не понялъ, что такое "недѣльный" день. Оля ему послѣ разъяснила: "значитъ это, что завтра воскресный день".

Оля такъ и осталась – "преклоненной", не сознавая себя, – "была г д ѣ-то". Средневъ ... въ комнату, гдѣ постелила старцу, стаканъ воды принести единственную ... стеариновую свѣчу и спички, – "мнѣ тогда, помнится, все хозяйственное пришло въ голову, чтобы всетаки нѣкоторыя удобства были для гостя нашего", – признавался Средневъ, – но Оля не слыхала, не понимала, – "будто себя забыла." Средневъ отворилъ заклеенную обоями – "вотъ эту самую", – дверь въ кабинетъ профессора, оглядѣлъ, "удобно будет гостю на клеенчатомъ диванѣ, гдѣ была постлана чистая постель, подъ пикейнымъ одѣяломъ, "изъ Олечкина приданаго", – и удивился: "какъ хорошо стало при лампадкѣ, – давно отвыкли!" Приглашая гостя движеніемъ руки перейти въ комнату профессора, Средневъ, – это онъ твердо помнилъ, – "почему-то ни слова не сказалъ, будто забылъ слова, а только о ч е н ь в ѣ ж л и в о и р а д у ш н о поклонился." Старецъ – видѣла Оля черезъ слезы, – остановился въ дверяхъ, и она услыхала "послѣднее его къ намъ слово... слово б л а г о с л о в е н і я":

"Завтра рано отойду отъ васъ. Пребудьте въ мирѣ. Господь да благословитъ в с ѣ х ъ."

И благословилъ широкимъ знаменіемъ Креста, – "будто благословлялъ всѣхъ и вся." И затворился.

Оля все плакала. Отецъ недоумѣвалъ, что съ ней. Она прильнула къ нему и, какъ бывало въ дѣтствѣ, въ слезахъ шептала: "ахъ, я не знаю, папапа... не знаю, папочка... мнѣ такъ хорошо, легко..." Она прильнула къ его груди и плакала, беззвучно. Это его до слезъ растрогало. И онъ, потомъ, ..., будто страшась нарушить "с т р а н н у ю, какъ бы ... с в я т у ю, тишину", – такъ объясняла Оля, – признался ей: "странно, и мнѣ ч е г о-то, такъ непонятно-хорошо!" – "Да, я не отрицаю..." – разсказывалъ мнѣ Средневъ, – "было такое чувство... ну, ... ваетъ иногда, очень рѣдко, когда ... бы... таинственное, что ли... будто ... объясняется "воздѣйствіемъ родственной души ... мнѣ, и я какъ-бы понялъ, что въ ней тв... лью, Оля подошла къ столу, перекрестилась н... слезы "сіяніе ослѣпительное", и, не касаясь ... тѣлъ взять его въ руки, но она не позволила ...

Такъ Крестъ и лежалъ до утра, на бѣломъ лис...

«Куликово поле».
Фрагмент рукописи.
1942

Ив. Шмелевъ

Куликово
Поле

изд-во
Париж

И.С. Шмелев.
Эскиз обложки
к изданию повести
«Куликово поле».
1948

UIT DE CRITIEKEN:

„Constantin Joukovitch? Jeune encore, possédant une voix de basse admirable, au timbre limpide et sonore, ce chanteur russe mérite bien les succès éclantants qu'il a remporté et qu'il continue à remporter à travers le monde"

„Le Theatre et la Vie"
PARIS

„Hier soir a eu lieu le début du chanteur Joukovitch, dont la renommée est mondiale. L'art de ce chanteur russe est la perfection du génie musical russe. Il possède une magnifique et puissante voix de basse, profonde et passionnée, aux nuances tantôt métalliques, tantôt légères et tièdes"

„Politiken"
KOPENHAGEN

„Le chanteur Joukovitch possède une voix de basse qui résonne comme le bourdonnement des cloches du Kremlin"

„Gazette Nationale"
ITALIË

1

BESLOTEN VOORSTELLING

UITNODIGING

TOT HET BIJWONEN VAN EEN ZANGRECITAL TE GEVEN DOOR

DEN OPERA-ZANGER



BAS

ZATERDAG 30 NOVEMBER 1946

20.30 UUR IN DE KLEINE ZAAL VAN DE STADSSCHOUWBURG TE UTRECHT

Программа концерта К. Т. Жуковича 30 ноября 1946 г.
Оформление О. А. Бредиус-Субботиной



Оборот открытки О. А. Бредиус-Субботиной к И. С. Шмелеву от 30 апреля 1947 г.

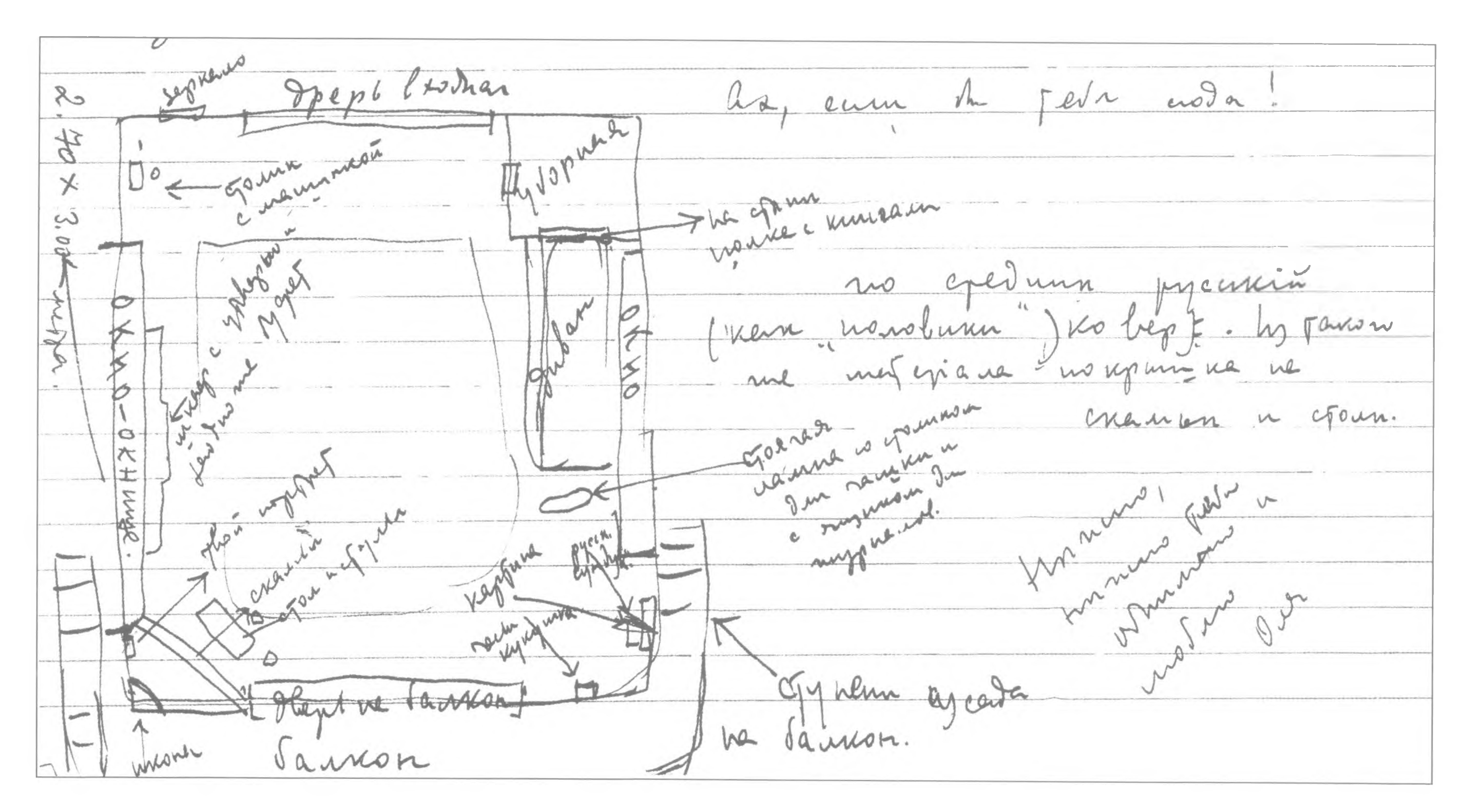


Рисунок интерьера летнего домика («хатки») О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 30 июня 1947 г.